This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

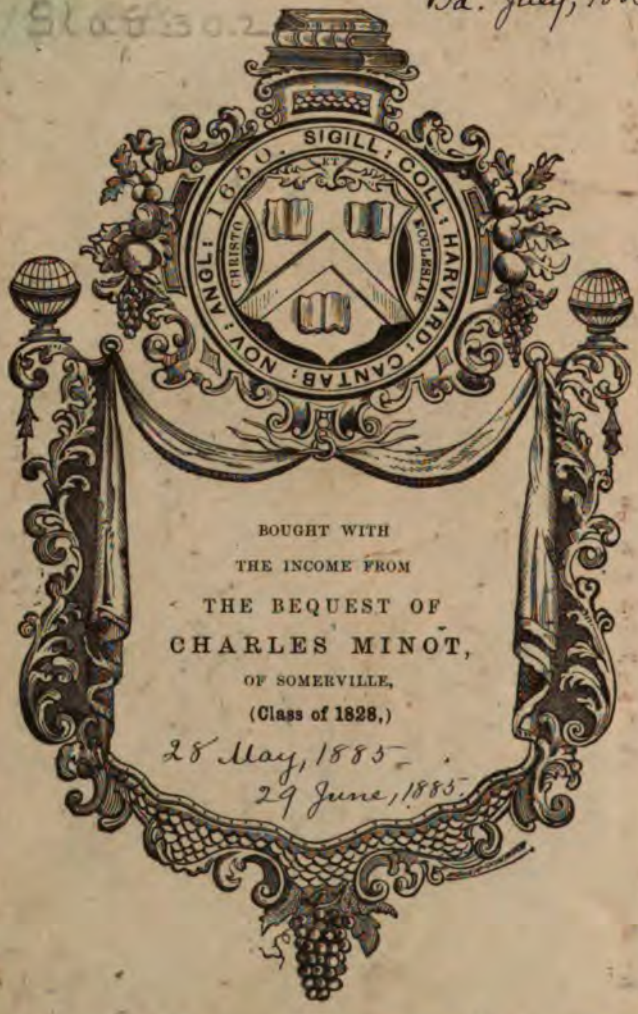
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

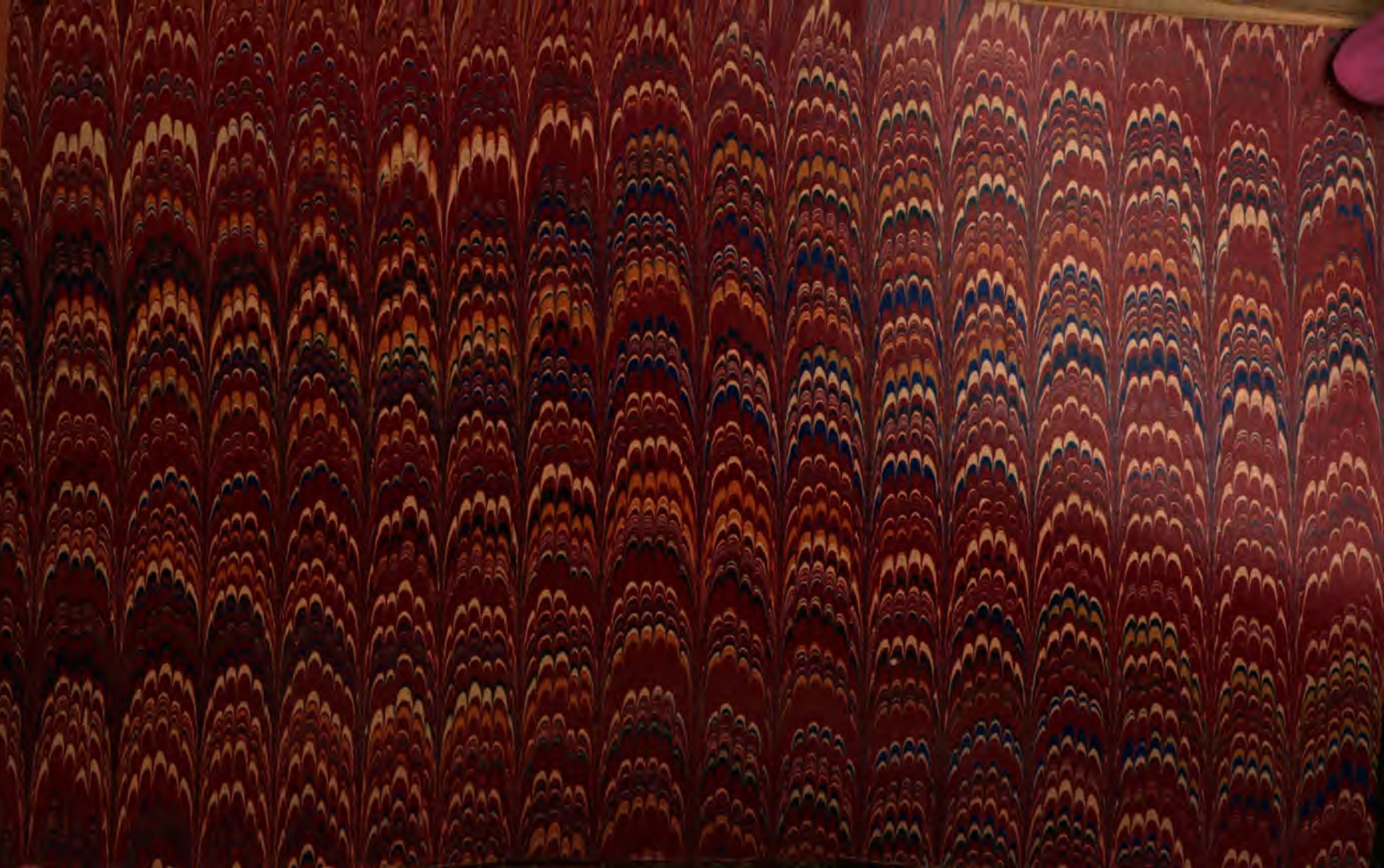
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav
176
25

Bd. July, 1885.



BOUGHT WITH
THE INCOME FROM
THE BEQUEST OF
CHARLES MINOT,
OF SOMERVILLE,
(Class of 1828,)
28 May, 1885.
29 June, 1885.



ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

M. 1885

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ

ЛИТЕРАТУРЫ.

HARVARD COLLEGE LIBRARY MASS.

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 5-я.

МАЙ, 1885.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 2 лин., 7.

КНИГА 5-я. — МАЙ, 1885.

Стр.

I.—ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ.—Разсказъ.—VII-XII.—**Н. А. Таль** 5

II.—ТОРМАЗЫ РУССКАГО ИСКУССТВА.—XIV-XIX.—Окончаніе.—**В. В. Стасова.** 64

III.—РОДИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ.—Очеркъ.—**Д. Н. Мамина.** 115

IV.—КРЫМСКІЕ ПЕЙЗАЖИ.—I. Море.—II. Годы.—**А. Луговой** 157

V.—О ЗАДАЧАХЪ РУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ.—II.—Окончаніе.—**А. Н. Пыпина** . . 159

VI.—ЭТЮДЫ ПО ПСИХОЛОГІИ ТВОРЧЕСТВА.—I-VII.—**Н. Д. Боборыкина** . . 182

VII.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I-II.—**Н. Минскій.** 220

VIII.—ПЕЙЗАЖЪ ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ РУССКОМЪ РОМАНѢ.—**К. К. Арсеньева.** 222

IX.—МИЛЫЙ ДРУГЪ.—Повѣсть Гюи де-Мопассана.—VII-VIII.—**А. Э.** 262

X.—ГРЕКИ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ЦАРСТВѢ.—**А. В—въ.** 298

XI.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I-IV.—**Кн. Э. Э. Ухтомскаго** 321

XII.—ХРОНИКА.—ТЕКУЩАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА, въ трудахъ департамента земледѣлія и сельской промышленности.—**В. В.** . . . 324

XIII.—МОРСКОЙ ПОРТЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.—Z. 344

XIV.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Закрытіе Кахановской коммиссіи.—Администрація и судъ.—Законопроектъ о налогѣ на процентныя бумаги.—Отношеніе его къ подоходному налогу.—Инструкція чинамъ фабричной инспекціи.—Успѣхи и притязанія протекціонизма.—Высочайшій рескриптъ дворянству. . 360

XV.—ПИСЬМА ИЗЪ МОСКВЫ.—Z. 380

XVI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Перспектива войны съ Англіею.—Особенности настоящаго кризиса.—Рѣчь Гладстона въ палатѣ общинъ, при требованіи кредита на военныя надобности.—Русскій отвѣтъ на депешу генерала Лемсдена.—Какой смыслъ для Россіи имѣла бы война съ Англіею, при современномъ положеніи дѣлъ въ Европѣ?—Увлеченія печати.—Паденіе Жюля Ферри во Франціи, и новое министерство Бриссона 386

XVII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Исторія Санкт-Петербурга, съ основанія города до введенія въ дѣйствіе выборнаго городского управленія, 1703—1782. П. Н. Петрова.—О популяризаціи свѣдѣній по классической древности, Д. И. Нагуевскаго.—Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго, состав. В. Зелинскій.—**А. В—въ.** 402

XVIII.—НЕКРОЛОГЪ.—Н. И. Костомаровъ.—**А. Н. Пыпина** 411

XIX.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Настроеніе общества и печати, въ виду возможной войны.—Походъ противъ дипломатіи и дипломатовъ.—Духовная связь между вонистваннымъ азартомъ и домашнимъ реакціонерствомъ.—Празднество 6-го апрѣля, и внѣшнія къ нему приставки.—Столѣтіе петербургскаго городского общества 427

XX.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Столѣтіе Спб. Городского Общества. 1785—1885 гг. Изд. Спб. Городской Думы.—Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго общества, т. 42 и 43.—Учебникъ исторіи, пр. А. Трачевскаго: Русская исторія.—Современный пессимизмъ въ Германіи, вн. Д. Цертелева.

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстника Европы" въ 1885 г., см. ниже, на оберткѣ.

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ III.

LIX. — ТОМЪ CCLXXXVII. — ¹/₁₅ МАЯ, 1885.

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ – ПОЛИТИКИ – ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-ТРИНАДЦАТЫЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ III

РЕДАКЦІЯ ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ": ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала: на Васильевскомъ Острову, 2-я линія, № 7.

Экспедиція журнала: на Вас. Остр., Академ. переулокъ, № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1885

~~Slav 302~~
P Slav 176.25

(1033)

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ

РАЗСКАЗЪ.

VII *).

— Вѣрочка,—сказала Анна, — Штейнъ прислалъ спросить, не желаешь ли ты прокататься по морю на яхтѣ графа Шварценберга?.. Конечно вмѣстѣ со всѣми дѣтьми.

Вѣра Андреевна подошла къ периламъ террасы. Небо было безоблачно, море тихо.

— Пожалуй,—отозвалась Вѣра Андреевна,—я спрошу Петю, не поѣдетъ ли и онъ съ нами.

— Спроси, вы были бы тогда въ полномъ комплектѣ...

— А ты?

— Мегсі, сегодня я останусь дома. Вотъ и самъ Петръ Николаевичъ.

На вопросъ жены, Петръ Николаевичъ отвѣчалъ согласіемъ. Посланный Штейна ушелъ съ обозначеніемъ часа, когда Веприны прибудутъ на яхту. Вѣра Андреевна пошла снаряжать дѣтей.

— Этотъ австріецъ прелюбезный,—замѣтила Анна Петру Николаевичу:—онъ, кажется, очень преданъ вашему семейству.

— Да, онъ нашъ хорошій другъ.

— Это видно, онъ дѣлаетъ все что́ можетъ, чтобъ общество его было пріятно.

— Онъ веселаго характера и любитъ всякія забавы.

— Да, и хитеръ на выдумки. Досталъ-таки яхту графа

---

*) См. выше, апр., 577 стр.

Шварценберга! Вы на это не обращаете вниманія, но въ сущности вѣдь это очень трудно.

— Для Штейна не трудно, весь свѣтъ съ нимъ за панибрата и все какъ-то дѣлается по его желанію.

— Это опасно,—замѣтила Анна и многозначительно засмѣялась, чѣмъ привела Петра Николаевича въ большое изумленіе.

— На что вы возразили мнѣ? потрудитесь повторить,—сказалъ онъ.

— На ваши послѣднія слова, что все дѣлается по желанію Штейна, и еще разъ говорю: это опасно.

— Извините, Анна Игнатьевна, въ другой разъ доберусь до глубокаго смысла вашихъ рѣчей, но признаюсь, теперь никакъ не могу его схватить. Не прикажете ли сходить за вашей шалью?

— Я не ѣду.

— Почему?

— Такъ... не хочется...

— Нездоровы?

— Нѣтъ, здорова. Не хочется, вотъ и все.

— Пустяки, поѣдемте. Вы—такая любительница моря.

— Вы меня просите?

— Прошу, умоляю, заклинаю,—въ шутку сказалъ Петръ Николаевичъ и подумалъ: „дура, уродъ, а сантиментальничаетъ; о, женщины!“

— Хорошо, сходите за шалью.

Семейный „брэкъ“, запряженный парой сильныхъ лошадей, скоро увлекъ всю компанію къ графской яхтѣ. Когда онъ остановился, Штейнъ подскочилъ къ нему однимъ ловкимъ прыжкомъ и помогъ пріѣзжимъ выйти. Онъ скоро усадилъ ихъ въ роскошную яхту, съ бархатными подушками и прифранченными матросами. Въ центрѣ группы сидѣла Вѣра Андреевна, а онъ, не найдя для себя подходящаго мѣста, бросилъ плэдъ на дно лодки и полуразвалился на него.

— Гамлетъ у ногъ Офеліи,—пошутила Анна, и это очень польстило Штейну.

— Я бы и желалъ и не желалъ быть Гамлетомъ,—съ улыбкой сказалъ онъ.

— Я совершенно сочувствую вамъ, — замѣтила Анна, — пріятно быть принцемъ, но непріятно не имѣть престола.

— О, я совсѣмъ не то имѣлъ въ виду, когда сдѣлалъ свое замѣчаніе!—Я хотѣлъ сказать...

— Постойте!—перебила Анна,—пусть каждый изъ насъ сдѣ-

лаетъ предположеніе, почему вы бы и хотѣли и не хотѣли быть Гамлетомъ. Вѣра, начинай!

— Потому что философскій умъ Гамлета, вскормленный на теоріяхъ отвлеченной науки, не могъ выдержать столкновенія съ преступной жизнью его окружающихъ.

— Развѣ Офелія была преступна?—перебила Анна.

— Офелія имѣетъ мало значенія во внутренней борьбѣ Гамлета...

— Вы ошибаетесь,—съ живостью перебилъ Штейнъ:—Офелія—та единственная свѣтлая точка въ его жизни, которая давала ему силы для борьбы, поддерживала въ немъ энергію и учила выносливости. Когда же онъ увидѣлъ, что свѣтъ этотъ растетъ, разливается и поглощаетъ всѣ прочія способности и силы его души, когда онъ созналъ, что страсть его къ Офеліи непремѣнно возьметъ верхъ надъ холодной рѣшимостью, онъ сдѣлалъ надъ собой насиліе и оттолкнулъ ее. Но и жизнь его была покончена. Въ немъ сталъ говорить уже не разумъ, а только бушевало помѣшательство. Жертва превзошла силы... Великъ и жалокъ Гамлетъ тѣмъ, что онъ изъ рода тѣхъ людей, у которыхъ смерть идетъ рядомъ съ любовью...

Штейнъ глубоко вздохнулъ и вперилъ въ даль свой томный взглядъ.

Чайка, уже давно витавшая надъ яхтой, сѣла на корму и вызвала радостные крики дѣтей, и въ этихъ крикахъ утонуло величіе и жалость несчастнаго датскаго принца. Но Анна все же успѣла вставить мимоходомъ по русски:

— Бѣдные Гамлетики XIX-го столѣтія, строющіе глазки чужимъ Офеліямъ!

Петръ Николаевичъ слегка подпрыгнулъ на своемъ мѣстѣ, и ему показалось, что Штейнъ ведетъ себя дѣйствительно неприлично-фамильярно съ Вѣрой Андреевной. Лежать посреди лодки, когда можно сѣсть по-человѣчески, не ломаясь передъ дамами!

Желчь закипѣла въ Петрѣ Николаевичѣ.

— Любезный другъ Штейнъ,—сказалъ онъ посмѣиваясь,—мы приняли ваше доброе приглашеніе для того, чтобы вмѣстѣ пріятно провести время, но вовсе не для того, чтобы подвергать синякамъ ваши бока. Можетъ быть, для настоящаго Гамлета и было очень поэтично лежать у ногъ Офеліи, но такъ какъ здѣсь нѣтъ Офеліи, а есть только моя жена, весьма положительная мать многочисленнаго семейства, то не лучше ли будетъ, если вы сядете на мягкую подушку и избавите ваше тѣло отъ истязанія?

Штейнъ понялъ, что ему лучше послѣдовать совѣту друга, а главное, не вдаваться при Аннѣ въ поэтическія сравненія.

Онъ сѣлъ „по-человѣчески“ и до самаго заката солнца катанье не ознаменовалось ничѣмъ выдающимся. Но когда солнце уже совсѣмъ зашло, и по морю началъ разстилаться синеватый туманъ, и мѣсяцъ блѣдно выглядывалъ изъ самой глубины горизонта, кто-то изъ дѣтей спросилъ, правда ли, что подъ моремъ цѣлое царство водяныхъ духовъ и русалокъ? Завязался разговоръ о русалкахъ и перешелъ наконецъ въ восторженную декламацію Штейна всѣмъ извѣстной „Лорелеи“.

— А знаете ли, г. Штейнъ,—замѣтила Анна,—когда мы были еще дѣвицами, кузина изображала Лорелею въ живыхъ картинахъ. Она была такъ поразительно-хороша со своими распущенными волосами, что привела въ восторгъ всю залу, кажется тогда-то г. Вепринъ въ нее и влюбился.

Дѣтямъ показалось очень смѣшно, что мама когда-нибудь представляла русалку.

— Да еще какъ!—увѣряла Анна,—стояла какъ вкопанная и вмѣстѣ съ тѣмъ сама же пѣла пѣсню русалки...

— Подъ звуки арфы, на которой страшно фальшивилъ аматеръ...—смѣялась Вѣра Андреевна.

— Здѣсь арфы нѣтъ, но есть та же русалка, тотъ же голосъ,—этмѣтила Анна:—дѣти, заставьте маму представить Лорелею!

Дѣти живо принялись за дѣло. Они драпировали Вѣру Андреевну въ чей-то бѣлый платокъ, сняли съ ея головы шляпку, вынули изъ косы гребенку. Волнистыми, густыми прядями легла она на бѣлыя складки шали. По приказу Штейна, матросы поставили яхту противъ самаго мѣсяца, и послѣ нѣсколькихъ дружныхъ взмаховъ, подняли весла. Вѣра Андреевна встала и опираясь на плечо сына, запѣла глубокимъ меццо-сопрано... Тишина невозмутимая, чуть-чуть замѣтное движенье яхты и этотъ задушевный голосъ...

У всѣхъ захватывало за сердце.

Съ послѣдними звуками пѣсни, раздались бурныя рукоплесканія дѣтей и снова дружные удары веселъ. Яхта полетѣла какъ стрѣла, и скоро общество было уже у пристани.

Домой отправились пѣшкомъ, чтобы „расправить суставы“—какъ выразилась Александра Ивановна. Во время пути, Анна нашла-таки возможность въ шутку шепнуть Петру Николаевичу:

— А Лорелея-то, кажется окончательно погубила Датскаго Принца!

И Петръ Николаевичъ дѣйствительно не могъ не согласиться,

что Штейнъ держалъ себя какъ-то натянуто, будто не желая обращать на себя вниманія, или выдать сердечную тайну. Петръ Николаевичъ еще больше убѣдился въ справедливости своихъ предположеній, когда Штейнъ простился на полъ-дорогѣ и рѣшительно отказался зайти къ Вепринымъ и напиться чаю.

— Штейнъ замѣчательно опошлился,—было однимъ изъ первыхъ замѣчаній Петра Николаевича за чайнымъ столомъ.

— Онъ всегда былъ таковъ; я не замѣчаю въ немъ большой перемѣны,—отозвалась Вѣра Андреевна.

— Неправда, другъ мой, прежде онъ былъ похожъ на человѣка, а теперь сталъ какимъ-то Донъ-Жуаномъ провинціальнаго городка.

— Ну вотъ, теперь и Донъ-Жуаномъ! — воскликнула Вѣра Андреевна,—а помнишь, какъ ты все дразнилъ его Вертеромъ?

— Но, кажется, это время миновало для него безвозвратно!— сказала Анна, усмѣхнулась и вздохнула.

Вечеромъ, когда Веприны остались одни, между Петромъ Николаевичемъ и Вѣрой Андреевной завязался длинный разговоръ, поводомъ къ которому послужилъ все тотъ-же Штейнъ. Вѣра Андреевна увѣряла мужа, что она нисколько не интересуется Штейномъ, и просила его придраться къ первому попавшемуся предлогу и прекратить знакомство. Петръ Николаевичъ стоялъ на своемъ и доказывалъ, что она должна вести себя со всякимъ человѣкомъ такъ, чтобы ему и въ голову не приходило какое-либо ухаживанье.

На свою бѣду, Вѣра Андреевна возразила:

— Развѣ васъ что-нибудь остановитъ, когда вы вобьете себѣ въ голову ухаживать! Тутъ одно средство — указать вамъ на дверь.

Петръ Николаевичъ вошелъ въ ужасную амбицію, обвинилъ всѣхъ женщинъ въ кокетствѣ, въ тщеславіи, въ зломъ желаніи нарочно помучить. Онъ говорилъ долго и съ жаромъ, даже съ досадой, а разговоръ все-же кончился ничѣмъ. Прервать знакомство со Штейномъ, изъ-за того, что жена его не умѣетъ держать себя съ мужчинами, онъ рѣшительно отказался.

На это Вѣра Андреевна замѣтила, что она всю жизнь прожила въ обществѣ ихъ многочисленныхъ разнородныхъ и разноплеменныхъ друзей, была и моложе и, конечно, привлекательнѣе, и что всѣ всегда находили ея обращеніе вполнѣ согласнымъ съ ея возрастомъ и достоинствомъ, и что прежде такихъ сценъ между ними никогда не выходило.

— Мы точно стали говорить на разныхъ языкахъ,—замѣтила

она, но тотчасъ съ улыбкой протянула мужу руки: — неужели, Петя, тотъ простой языкъ, на которомъ мы понимали другъ друга на полусловѣ, для насъ утратился?

Петръ Николаевичъ поцѣловалъ протянутыя руки.

— Утро вечера мудренѣе,—сказалъ онъ,—ужъ поздно, пора спать. Спокойной ночи.

Улыбка озарила ея лицо, и рука въ руку вышли они изъ гостиной.

По лѣстницѣ спускалась Анна.

— Ты еще здѣсь?—съ удивленьемъ спросила Вѣра Андреевна.

— Да, я баюкала Бэби. Вѣроятно, вслѣдствіе долгой прогулки, онъ никакъ не могъ уснуть. Но однообразная пѣснь убаюкала и его, и меня. Мы оба заснули, и только скрипъ этой двери разбудилъ меня.

— Позвольте проводить васъ до дому! — замѣтилъ Петръ Николаевичъ.

— Ахъ нѣтъ, благодарю... здѣсь такъ близко... совершенно не стоитъ... что же вамъ безпокоиться...

— Для меня это не составляетъ безпокойства.

— Въ такомъ случаѣ благодарю и принимаю. Прощай, Вѣрочка, зайди къ Бэби, у него, кажется, небольшой жаръ.

Анна и Петръ Николаевичъ вышли. Ночь была еще прекраснѣе вечера. На густой синевѣ неба ярко горѣли звѣзды. Воздухъ былъ пропитанъ тѣмъ пріятнымъ ароматомъ, который составляетъ характеристическую особенность теплыхъ приморскихъ ночей.

— Какъ чудесно!—воскликнула Анна.

— Однако я замѣчаю, что вы большая поклонница природы,—замѣтилъ Вепринъ.

— Развѣ это непонятно?—грустно отозвалась Анна, — что осталось мнѣ въ жизни, какъ не природа? Горько пришлось мнѣ отъ людей, Петръ Николаевичъ. Мужа я не любила, остальныхъ людей почти ненавидѣла...

— За что же?

— За ихъ дрянность. Отличительная черта человѣчества— это дрянность. По крайней мѣрѣ, на мою долю приходились не люди, а людишки. Теперь только... да и то этотъ шаблонный фатъ Штейнъ...

Анна все не договаривала.

— Вы читали его романы?

— Романовъ вообще я не читаю, и ужъ никакъ не начну съ романовъ Штейна!.. Мы пришли, благодарю васъ.

Анна протянула руку.

— Я прощусь съ вами, но еще не войду. Я пойду посидѣть на берегъ моря.

— Ночью-то и одна! Что вы будете дѣлать?

— Ахъ, сказала бы словечко, да вы разсмѣетесь...

— Скажите словечко. Вы—esprit fort и вѣдь презираете мнѣніе людей.

— Презираю, но не ваше, а словечко, пожалуй, скажу — мечтать!

— Анна Игнатьевна!

— Я-съ.

— Это ужъ дѣйствительно совсѣмъ какъ-то не вяжется съ вашей особой!—и Петръ Николаевичъ разсмѣялся.

Темная ночь скрыла краску, выступившую на лицѣ Анны, и утаила слезу ярости.

— Мечты бываютъ различныя,—спокойно сказала она,—въ эту дивную ночь я буду мечтать о покоѣ, о блаженствѣ не-бытія, о счастьѣ забвенья. Я буду думать, какъ отрадно лежать, хотьбы подъ этой роскошной липой, и знать, что надо мною будутъ горѣть эти звѣзды, что сквозь вѣтви липы мѣсяцъ будетъ бросать на меня свои мягкіе лучи. Передо мной будетъ искриться фосфорическая зыбь необъятнаго моря, и въ небытіи моемъ я сольюсь со всѣмъ этимъ общимъ гармоничнымъ цѣлымъ, которое въ настоящую минуту даетъ мнѣ такое блаженство.

Анна повела рукой, указывая на окружающее. Она остановилась. Глаза ея горѣли, на губахъ играла горькая и вмѣстѣ съ тѣмъ грустная усмѣшка. Петръ Николаевичъ ужъ больше не смѣялся.

— Какъ жизнь-то уходила васъ, — сказалъ онъ, — гдѣ же та упрямая, своевольная, даже самодурная женщина...

— О которой шла молва бездушія и жестокости,—перебила его Анна,—женщина sans foi ni loi. Вотъ она!

Голова ея поникла на грудь, руки безпомощно опустились...

И опять они были одни на пустынномъ берегу необъятнаго моря; и опять передъ нимъ стояла эта черная тѣнь, но уже не угрожающая, а скорбящая среди величественной, торжественной тишины, и опять волны о чемъ-то едва слышно стонали...

Молча шли Петръ Николаевичъ и Анна въ обратный путь. Оба были заняты каждый своими мыслями и какъ будто не замѣчали другъ друга. Уже подходя къ своему дому, Анна нарушила молчаніе.

— Петръ Николаевичъ, позвольте сдѣлать вамъ маленькое замѣчаніе,—сказала она.

— Будьте такъ добры.

— Мнѣ кажется, что вы не совсѣмъ справедливы къ Вѣрѣ.

Петръ Николаевичъ помолчалъ.

— Съ нѣкоторыхъ поръ,—сказалъ онъ,—мы постоянно наталкиваемся на „проклятые вопросы", на которые никакъ не можемъ дать „прямыхъ" отвѣтовъ.

— Полно, Петръ Николаевичъ, это все фразы! На дѣлѣ вы просто обижаете Вѣру подозрѣніемъ. Я боюсь какъ-бы это не озлобило ее.

— Но подозрѣніе мое имѣетъ основаніе!

— Вы не должны его высказывать.

— Согласитесь, что Штейнъ очень положительно волочится за Вѣрой!

— Это все-же не есть причина, чтобы вы высказывали Вѣрѣ досаду.

— Но вѣдь Штейнъ ухаживаетъ за Вѣрой, и она принимаетъ это ухаживанье благосклонно?—настаивалъ Петръ Николаевичъ.

— Это только для забавы, или, можетъ быть, для того, чтобы подразнить васъ.

— Для забавы! подразнить! Развѣ честная женщина можетъ позволять себѣ такія забавы! У васъ умъ за разумъ заходитъ.

— А вы хотите все подводить подъ теоріи. Между тѣмъ въ жизни, все очень просто, какъ, напримѣръ, просто и то, что никакая женщина, даже и Вѣра, не лишена извѣстной доли тщеславія и задора.

— Т.-е. вы хотите сказать, что Вѣра принимаетъ ухаживанье Штейна изъ тщеславія, и чуть ли не смѣется надо мной изъ задора?

— Съ вами нельзя говорить, вы тотчасъ же стараетесь подвести все подъ какія-то теоріи.

— Вы это сказали, Анна Игнатьевна!

— Ничего подобнаго я не говорила.

— Однако это былъ смыслъ вашихъ словъ.

— Вѣра очень добра, что съ шуткой относится къ такимъ двумъ нестерпимымъ трагикамъ, какъ вы и Штейнъ,—отозвалась Анна.—Васъ и помучить должно быть для женщины истинное удовольствіе.

— Какъ это вы странно путаете меня со Штейномъ! и тутъ Вѣра, какъ будто надъ нами смѣется...

— Я не знаю, можетъ быть, и смѣется, я съ нею объ этомъ

не говорила, — начала кружить Анна, — вы же съ нею часами бесѣдуете, вамъ лучше знать. Послѣ двѣнадцати лѣтъ неразлучной жизни, вы должны были бы читать въ душѣ другъ у друга, какъ въ наизусть заученной книгѣ, и знать, гдѣ точка, гдѣ запятая... Прощайте, и теперь окончательно: покойной ночи.

И быстро пожавъ руку Петру Николаевичу, Анна скрылась за калиткой.

Когда онъ подходилъ къ дому, въ гостиной еще горѣлъ свѣтъ. Ему отворила сама Вѣра Андреевна.

— Вы гуляли?—спросила она.

— Да. А ты караулила меня?—желчно возразилъ онъ.

— Нѣтъ, я сидѣла у открытаго окна и наслаждалась ночью. Эта тихая, теплая ночь принесла мнѣ успокоеніе... Только одно огорчало меня, что тебя не было со мною...

— Что я былъ съ Анной, не правда ли? Ну, конечно, теперь ревность. Только ужъ сдѣлай милость, не старайся вымещать ее въ улыбочкахъ Штейну. Улыбочки эти могутъ довести до какого-нибудь непріятнаго столкновенія.

Въ голосѣ и въ манерахъ Петра Николаевича явно высказывалось сильное раздраженіе. Этого раздраженья совсѣмъ не было какой-нибудь часъ тому назадъ.

Вѣра Андреевна помолчала, потомъ подозвала его поближе.

— Петя,—сказала она,—отношенія наши сдѣлались до такой степени странными, что намъ слѣдуетъ снова установить ихъ, удаливъ изъ нашей интимной жизни всякое постороннее вліяніе. Съ какой стати у насъ проводитъ днями Анна? съ какой стати постоянно вертится тутъ Штейнъ?

Петръ Николаевичъ покачалъ головой.

— Конечно, конечно,—сказалъ онъ,—во всемъ другіе виноваты. Анна, которая убивается для нашихъ дѣтей, и въ своемъ одиночествѣ находитъ въ этомъ хоть какую-нибудь отраду...

— Мы съ тобой не виноваты въ ея одиночествѣ, — сказала Вѣра Андреевна сухо:—вѣрь мнѣ, Петя, противъ Анны я ничего не могу сказать. Я только нахожу, что намъ было лучше, когда мы были одни, тѣсно замкнутые въ нашей семьѣ, вдали отъ всякаго посторонняго вліянія. Мнѣ странно, что съ тѣхъ поръ, какъ мы сблизились съ Анной, у насъ больше нѣтъ возможности до чего-либо договориться. Прошу тебя, переѣдемъ въ Парижъ и будемъ снова жить какъ жили—окруженные друзьями, но интимно замкнутые.

Петръ Николаевичъ только пожалъ плечами.

— Для чего же это, кто же стоитъ намъ поперегъ дороги?

— Анна.

— Ты думаешь?—А та же Анна все врѣмя бранила меня за тебя.

— Очень нужно! и добранила до того, что ты противъ меня озлобился!

— Это несправедливо.

— Это очевидно.

— Положительно, твоя болѣзнь какъ-то странно повліяла на твой умъ. Теперь ты ни о чемъ не можешь говорить хладнокровно.

— Такъ умоляю тебя, ради моего полнаго выздоровленія, исполни мою просьбу.

— Уѣхать въ городъ?

— Да.

— Это капризъ!

— Ну хоть и капризъ!.. На сердцѣ у меня ужасно тяжело и тревожно.

— Все оттого, другъ мой, что ты вмѣсто того, чтобы спать, проводишь цѣлыя ночи, волнуясь и болѣзненно настраивая себя. Понятно—нервы разойдутся и все кажется въ черномъ цвѣтѣ...

— Я не отрицаю,—послѣ всѣхъ волненій, которыя мы пережили, мнѣ нуженъ покой.

— Гдѣ же ты найдешь больше покоя чѣмъ здѣсь? Всѣ бѣгутъ теперь изъ Парижа и у немногихъ есть такія удобныя дачныя помѣщенія, какъ у насъ.

— Я знаю это и очень цѣню, что ты доставляешь мнѣ всѣ удобства жизни. Но здѣсь есть люди, которые мнѣ въ тягость.

— Анна?

— Да, Анна и Штейнъ тоже.

— Успокойся, другъ мой, лягъ; я очень недоволенъ, что мы проводимъ полночи въ разговорахъ.

— И возбуждаемъ мои нервы,—съ горечью прибавила Вѣра Андреевна и, простясь съ мужемъ, удалилась.

На слѣдующій день, когда Вѣра Андреевна вернулась съ купанья, она нашла записку отъ Петра Николаевича. Онъ извѣщалъ ее, что вызванъ въ Парижъ депешей и не можетъ дождаться ея возвращенія, чтобы проститься.

Къ завтраку пришла Анна, и очень удивилась исчезновенью Петра Николаевича. Она стала добиваться причины его внезапнаго отъѣзда, но Вѣра Андреевна сама ничего не знала.

— Я видѣла сегодня Штейна, — сказала, между прочимъ, Анна:—онъ блѣденъ какъ смерть, и грустенъ какъ Карлъ I пе-

редъ казнью. Не правда ли, въ Штейнѣ есть что-то напоминающее портретъ Карла I?..

— Опять сравненія, я не обратила вниманья... — и Вѣра Андреевна пожала плечами.

— Обрати. Презанимательно, какъ художественная параллель. Да вотъ и самъ Штейнъ!.. Мы говорили о васъ.

— Мнѣ это очень лестно...

— Я находила въ васъ сходство съ портретомъ Карла I.

— А ваша кузина?

— Кузина еще не успѣла высказать своего мнѣнія.

Штейнъ вопросительно поклонился Вѣрѣ Андреевнѣ.

— О присутствующихъ не говорятъ, — сказала она и взяла газету.

Вѣра Андреевна не стѣснялась со Штейномъ, такъ какъ онъ былъ частымъ ихъ посѣтителемъ, и онъ не обидѣлся, что она начала читать въ его присутствіи. Онъ вынулъ изъ кармана корректурные листы, присѣлъ тутъ же къ столу, и занялся ихъ поправкой.

Анна незамѣтно выскользнула изъ комнаты.

Нѣкоторое время оба молчали. Штейнъ изрѣдка бросалъ бѣглый взглядъ на Вѣру Андреевну. Волненіе отражалось на его дѣйствительно смертельно-блѣдномъ лицѣ.

Анна снова торопливо вошла. Она держала въ рукахъ письмо.

— Вѣра, мнѣ нужно сказать тебѣ два слова.

Онѣ вышли на терассу.

— Письмо это отъ мужа, они въ Парижѣ. Я тотчасъ же хочу ѣхать, чтобъ не вышло чего-нибудь непріятнаго. Петръ Николаевичъ вѣрно не знаетъ... вѣрно не подозрѣваетъ... Онъ по какимъ-нибудь другимъ дѣламъ...

Голова закружилась у Вѣры Андреевны, она сѣла на скамейку.

„Нѣтъ,—подумала она, — счастье кончено; остается только поставить надъ нимъ крестъ!“

Анна ласково взяла ее за руку.

— Для тебя я готова на все; прощай! Я вернусь дня черезъ два.

И Анна вышла.

Въ домѣ все было тихо. Дѣти ушли гулять. Вѣра Андреевна позабыла о Штейнѣ. Она сидѣла, неподвижно опустивъ голову.

Въ отвосѣ двери, прислонясь и сиреставъ руки, стоялъ Штейнъ. То блестящіе, то томные глаза его быстро скользили по изящной фигурѣ Вѣры Андреевны. Они останавливались въ восторгѣ

на прекрасныхъ линіяхъ шеи; пробѣгали по волнамъ золотистыхъ волосъ; падали на скорбныя складки полуоткрытыхъ губъ; умилялись надъ сверкавшею слезой; утопали въ густыхъ кружевахъ полуоткрытаго ворота. Глаза помутились, сердце мучительно забилось... Штейномъ овладѣло безумное желанье снова пробудить къ страсти эту сраженную жизнью красавицу, и своею любовью зажечь любовь въ ея сердцѣ. Въ какомъ-то полусознаніи бросился онъ къ ея ногамъ и судорожно обнялъ ея колѣни.

— Вы несчастны, вы покинуты,—шепталъ онъ порывисто: —но я отдалъ бы за васъ свою жизнь! Я люблю васъ, Вѣра!.. Безнадежно, мучительно, безумно!.. Я люблю васъ!.. тебя!.. тебя!..

Въ ужасѣ вскочила Вѣра Андреевна.

— Мосье Штейнъ,—воскликнула она, какъ бы пробуждаясь, —встаньте!.. Встаньте, я вамъ это приказываю!

Она бросилась въ гостиную. Но Штейнъ опередилъ ее, и видя, что она идетъ къ выходной двери, заслонилъ дверь собою.

— Моя, моя,—шепталъ онъ точно въ бреду,—я ждалъ тебя годы, безпредѣльно любя тебя!.. другихъ я не видѣлъ, не замѣчалъ... Ты одна всегда, повсюду... Тысячи-тысячъ разъ, вотъ такъ... на моей груди... Вѣра! Вѣра!..

Она вырвалась изъ его страстныхъ объятій и нашла убѣжище за большимъ кресломъ. А Штейнъ закрылъ лицо руками и нервно зарыдалъ.

— Простите меня,—наконецъ покорно прошепталъ онъ,— но видѣть ваше несчастье было выше моихъ силъ... Это сломило мою волю!..

Онъ сдѣлалъ къ ней шагъ, она въ ужасѣ отшатнулась!

— Не бойтесь меня, я такъ люблю васъ, что не сдѣлаю вамъ ничего дурного,—печально сказалъ онъ.

— Уйдите,—задыхаясь, прошептала Вѣра Андреевна.

— Я такъ люблю васъ...—повторилъ Штейнъ.

— Уйдите, уйдите!

Штейнъ нерѣшительно посмотрѣлъ на Вѣру Андреевну и сдѣлалъ шагъ къ двери, но снова обернулся.

— Знайте, Вѣра, — сказалъ онъ, — я больше чѣмъ люблю васъ, я васъ обожаю. Я весь въ вашихъ рукахъ. Отъ васъ зависитъ мой талантъ, мое вдохновеніе, мой геній. Вы побуждаете меня ко всему доброму. Въ васъ вся моя жизнь, моя любовь, мое счастье! Штейнъ отдаетъ себя вамъ всецѣло, безвозвратно!..

Онъ еще разъ бросилъ на нее жгучій взглядъ и опрометью выбѣжалъ изъ комнаты.

Увлеченье его было искреннее и онъ не только не сожалѣлъ

о немъ, но наслаждался имъ. Онъ наслаждался, что привелъ Вѣру Андреевну въ замѣшательство; а негодованье ея было ему такъ же дорого, какъ тотъ поцѣлуй, который онъ силой взялъ съ ея холодныхъ губъ.

Штейнъ былъ счастливъ, минуту онъ держалъ Вѣру Андреевну въ своихъ объятіяхъ и упивался нѣжнымъ запахомъ духовъ, которыми была пропитана ея одежда. Онъ переживалъ наслажденіе прижимать къ груди „настоящую честную женщину". Мысль объ этомъ положительно пьянила его, такъ какъ Штейнъ былъ большой любитель всего настоящаго. Онъ любилъ настоящее древнее оружіе, настоящія рѣдкости, настоящіе драгоцѣнные камни, настоящаго кровнаго коня, и въ Вѣрѣ Андреевнѣ тоже любилъ настоящую честную женщину. Онъ бы такъ не возгорѣлся къ ней, еслибы она не сопротивлялась ему. Тогда въ его глазахъ она утратила бы свою цѣну, и онъ откинулъ бы ее въ разрядъ поддѣльныхъ добродѣтелей, „которымъ такъ же далеко до честности",—какъ онъ увѣрялъ товарищей, разсказывая имъ свои минутныя интрижки съ дамами свѣта,—„какъ стразамъ до брильянтовъ".

А между тѣмъ, Вѣра Андреевна въ ужасѣ остановилась передъ своей дальнѣйшей судьбой: мужъ—въ постоянныхъ отлучкахъ, она брошена на произволъ постороннихъ объятій, и некому заступиться за нее, и сама она уже не можетъ сказать: „уходите, у меня есть мужъ, и я любима имъ!"—„Вы несчастны, вы покинуты!"—звучали въ ея ушахъ слова Штейна. Значитъ, положеніе ея уже дошло до того, что первый встрѣчный все видитъ, все понимаетъ!..

Еще новое мученье прибавилось ко всѣмъ мукамъ Вѣры Андреевны,—она страдала отъ уязвленнаго самолюбія.

„Заброшенная, обманутая, проведенная жена! И я это стерплю? Я примирюсь съ безчестьемъ"!

Мысль покончить всѣ эти мученья, положивъ конецъ жизни, блеснула въ ея головѣ, но она тотчасъ же отбросила ее, обозвавъ себя малодушною. Смертельно жаль стало ей дѣтей. Оставить малолѣтнихъ сиротами...

А они тутъ, какъ тутъ! Веселой ватагой влетѣли они въ комнату и стали покрывать поцѣлуями тѣ самыя уста, на которыхъ еще горѣли другіе, преступные и ненавистные поцѣлуи...

VIII.

Прошло двое сутокъ, а Вѣра Андреевна не имѣла еще извѣстій ни отъ мужа, ни отъ Анны. Штейна она не принимала, она встрѣчалась съ нимъ только на прогулкахъ и удѣляла ему холодный поклонъ. Однажды онъ подошелъ къ ней, но она тотчасъ же попросила его удалиться.

— Что подумаетъ ваша мать, дѣти, послѣ нашей короткости, —съ мольбой замѣтилъ онъ.

— Что хотятъ,—лаконически отозвалась Вѣра Андреевна, не глядя на него.

Штейнъ глубоко поклонился и отошелъ, но Вѣра Андреевна все же чувствовала, что онъ издали слѣдитъ за нею, засматривается на нее...

„Петя, другъ мой, мужъ мой, спаси меня!“ —внутренно твердила она.

На третьи сутки, уже къ вечеру вернулась Анна. Петръ Николаевичъ посылалъ тысячи поклоновъ и коробку конфектъ отъ Boissier. Анна начала разсказывать новости. По ея словамъ выходило, что Погорѣловъ уже разошелся со Стеллой и та теперь ускакала съ какимъ-то соотечественникомъ на бой быковъ въ Мадридъ. Анна благоразумно совѣтовала Вѣрѣ Андреевнѣ быть вполнѣ спокойною; но совѣтовала такимъ тономъ и съ такими жестами, какъ будто Вѣрѣ Андреевнѣ никакъ не слѣдовало поддаваться великодушному обману. Когда же Вѣра Андреевна спросила, что̀ именно Петръ Николаевичъ дѣлаетъ въ Парижѣ, Анна какъ-то неловко замялась.

— Ученые труды... засѣданія... свиданія съ кѣмъ-то...

— Однимъ словомъ, все туманъ и туманъ! — нетерпѣливо воскликнула Вѣра Андреевна.

— А что Штейнъ?—вкрадчиво освѣдомилась Анна.

— Не знаю. Безъ мужа я не принимаю его.

— Вотъ какъ! развѣ опасенъ?

— Скученъ,—и Вѣра Андреевна ушла къ себѣ.

Рѣшеніе ея было принято: она поѣдетъ въ Парижъ и предложитъ мужу выборъ: если онъ еще любитъ ее, то, конечно уступитъ ея просьбѣ немедленно перевезти ихъ всѣхъ въ Парижъ, и тѣмъ снова войти въ уютныя рамки ихъ привычной жизни; если онъ разлюбилъ ее, то тогда... тогда...

Въ первый разъ въ жизни Вѣра Андреевна не знала, какъ ей слѣдуетъ поступить и что̀ сдѣлать, если окажется, что Петръ

Николаевичъ больше не любитъ ее. И тоже въ первый разъ въ жизни она рѣшилась на хитрость. Чтобы никто не воспрепятствовалъ ей въ отъѣздѣ, она удалилась въ свою комнату подъ предлогомъ головной боли. Когда же приблизился часъ отъѣзда утренняго поѣзда, она уѣхала, ни съ кѣмъ не простясь, и отдавъ слугѣ приказаніе доложить Александрѣ Ивановнѣ объ ея отъѣздѣ только за чаемъ.

Въ Парижъ Вѣра Андреевна пріѣхала поздно вечеромъ. Слуга, остававшійся при домѣ въ Парижѣ, отворилъ ей дверь.

Изумленный, сконфуженный сталъ онъ растерянно суетиться около Вѣры Андрееевны, приглашая ее войти въ темную залу. До слуха же Вѣры Андреевны долетали голоса изъ столовой.

— У мужа гости?—спросила она.

— Да-съ, т.-е. нѣтъ... Это только такъ, — не зная, что сказать, путался слуга.

— Съ кѣмъ же мужъ разговариваетъ?

— Потрудитесь въ залу, я сейчасъ доложу...

— Мужъ не въ залѣ,—и Вѣра Андреевна взялась за ручку столовой.

— Кто-жъ тамъ пришелъ?—раздался съ другой стороны голосъ Веприна, и онъ быстро отворилъ дверь на распашку.

Глазамъ Вѣры Андреевны представился изящно накрытый столъ, украшенный цвѣтами въ ея серебрянныхъ вазахъ и уставленный гастрономическими деликатессами. Въ бокалахъ двухъ накрытыхъ приборовъ пѣнилось шампанское. За столомъ, вся сіяющая южной красотой и обмахиваясь большимъ вѣеромъ, сидѣла Стелла. Увидя Вѣру Андреевну, она вскочила какъ ужаленная и скрылась во мракѣ смежной комнаты.

Слуга почтительно остановился за Вѣрой Андреевной, ожидая бури. Но бури не было.

— Вѣрочка, другъ мой, какими судьбами!..—растерянно и съ заискивающей улыбкой говорилъ Петръ Николаевичъ,—сними шляпку, я сейчасъ...

— Анна сказала мнѣ, что Стелла въ Мадридѣ,—будто въ извиненіе невнятно произнесла Вѣра Андреевна.

— Да, дѣйствительно... она уѣзжаетъ... Позволь мнѣ отнести твою шляпку... Не хочешь ли пройти въ спальню освѣжиться... пойдемъ, другъ мой... я сейчасъ...

Петръ Николаевичъ былъ уничтоженъ; онъ не зналъ, что говорить, что дѣлаетъ. Вѣра же Андреевна была такъ поражена и сконфужена, что стояла въ дверяхъ неподвижна, какъ статуя.

Изъ мрака смежной комнаты, въ которую-было скрылась Стелла, она снова выбѣжала.

— Будетъ ли всему этому конецъ!—воскликнула она,—я сижу цѣлый часъ въ темнотѣ и жду, когда же вы освободите меня, а вы тутъ любезничаете съ нею,—и она указала пальцемъ на Вѣру Андреевну,—трусъ этакій!

И Стелла въ сердцахъ схватила со стола салфетку и бросила ее въ лицо Петру Николаевичу.

Изъ груди Вѣры Андреевны вырвался стонъ. Петръ Николаевичъ быстро подошелъ къ Стеллѣ и между ними завязался жаркій разговоръ. Вѣра Андреевна не хотѣла больше ни слышать, ни видѣть; она вышла въ переднюю и велѣла отпереть себѣ выходную дверь. Ея тѣнь нѣсколько разъ мелькнула подъ ближайшими фонарями и потерялась во мракѣ. Слуга захлопнулъ дверь, Вѣра Андреевна взяла извощика и, пріѣхавъ на станцію, только-только успѣла добѣжать до отходящаго въ Трувиль ночного поѣзда.

IX.

Въ то время, какъ Вѣра Андреевна должна была неподвижно сидѣть въ одномъ изъ угловъ дамскаго купэ, а въ сердцѣ ея происходила отчаянная борьба самыхъ противорѣчивыхъ чувствъ, въ то самое время величественно и спокойно всходило надъ Трувилемъ утреннее солнце, предвѣщавшее теплый и тихій день.

Ранними гостями были въ то утро дѣти Вепринхъ на своемъ обычномъ мѣстѣ на берегу моря, но вмѣсто матери ихъ сопровождала Анна. Глаза ея часто оборачивались къ мосткамъ, будто кого-то поджидая. Наконецъ, они радостно заискрились и она махнула рукой.

— Вѣра уѣхала вчера въ Парижъ,—сказала она подошедшему Штейну.

— Уѣхала!—машинально повторилъ онъ.

— Да, уѣхала, къ мужу,—очень вразумительно напирала Анна,—позвольте сдѣлать вамъ нескромный вопросъ: вы нисколько не причастны къ этому необъяснимому и внезапному отъѣзду?

Кровь бросилась въ лицо Штейну, розовыя струйки разлились подъ его нѣжной кожей.

Анна улыбнулась.

— Я такъ и думала,—сказала она, погрозивъ ему пальцемъ, и прибавила:—но вы молоды, а кузина моя очаровательна.

— Я ничего еще не сказалъ,—отозвался Штейнъ, овладѣвъ собою,—а очаровательныхъ женщинъ я встрѣчалъ на своемъ вѣку очень много.

— Много званыхъ, да мало избранныхъ,—замѣтила Анна:—впрочемъ, я ничего и не спрашиваю. Сядьте, потолкуемте. Вы, какъ романистъ, должно быть, не прочь поговорить, покопаться въ душѣ ближняго.

Штейнъ сѣлъ, но, какъ-бы въ противорѣчіе словамъ Анны, молчалъ и глаза его неопредѣленно блуждали.

— Вы давно знакомы съ Вепринымъ?—спросила Анна.

— Почти четыре года.

— И видались часто?

— Довольно.

Молчаніе.

— А я не видалась съ ними болѣе десяти лѣтъ.

— Я это слышалъ. Вы, кажется, встрѣтились съ ними здѣсь, въ Трувилѣ?

— Да.

Анна вздохнула.

— Какой глубокій вздохъ,—замѣтилъ Штейнъ.

— Мнѣ жаль, что я встрѣтилась съ ними,—печально замѣтила Анна:—эта встрѣча разбила одну изъ лучшихъ моихъ иллюзій.

Штейнъ встрепенулся.

— Какую?

— Сказать ли?

— Пожалуйста!

— Зная близко моихъ родственниковъ, вамъ ничего не бросилось въ глаза за эти послѣдніе мѣсяцы?—спросила Анна.

— Ничего,—коротко отвѣтилъ Штейнъ.

— Простите за нескромный вопросъ,—и Анна замолчала.

Молчаніе вышло неловкое. Штейнъ былъ какъ на иголкахъ: ему и хотѣлось закидать Анну вопросами и страшно было задѣвать сокровенныя семейныя тайны.

— Когда же мадамъ Веприна уѣхала?—спросилъ онъ.

— Вчера, съ утреннимъ поѣздомъ. Она была передъ тѣмъ очень взволнована и уѣхала, ни съ кѣмъ не простясь, какъ сказала мнѣ ея мать.

— Мадамъ Веприна, кажется, совершенно напрасно разстраиваетъ себя, Вепринъ—такой превосходный человѣкъ.

— Да, вы правы, онъ превосходный человѣкъ. И знаете ли, что въ немъ лучше всего?

— Скажите.

— А то, что онъ человѣкъ нашей націи.

— Это въ вашихъ глазахъ большое преимущество? — замѣтилъ Штейнъ.

— Огромное, для насъ, для русскихъ женщинъ,—возразила Анна,—только люди нашей націи вполнѣ могутъ понять насъ.

Штейнъ уже весело повернулся къ ней лицомъ.

— Однако это интересно, — сказалъ онъ.

— Славянскія женщины, m-r Штейнъ,—начала Анна увѣренно,—не терпятъ никакого насилія. Онѣ сдержанны и горды въ изліяніи своихъ чувствъ и имъ не можетъ быть большей обиды какъ неделикатная попытка взять ихъ съ боя, или сдѣлать имъ, противъ ихъ воли, даже самое честное признанье.

Штейнъ поникъ красивой головой.

— Вы, западные люди, и понять этого, кажется, не можете,— продолжала Анна,—ваши женщины восхищаются въ васъ силой и смѣлостью. Скажу даже, что дерзость и насиліе охотно прощаются вамъ, и ваши женщины видятъ въ нихъ только избытокъ увлеченья, льстящаго ихъ самолюбію. Но мы, женщины славянскія, въ несдержанномъ и непрошенномъ порывѣ видимъ для себя оскорбленіе. Навязчивая страсть кажется намъ унизительною. Въ ней мы видимъ презрѣнье къ нашей волѣ, и тотъ, кто, можетъ быть, былъ бы намъ симпатиченъ, дѣлается намъ гадокъ.

Порывистое движенье невольно вырвалось у Штейна. Онъ молча водилъ по песку концомъ палки.

— Такъ онъ дѣлается вамъ, славянскимъ женщинамъ, гадокъ, —задумчиво повторилъ онъ слова Анны:—скажите мнѣ, m-me Погорѣлова, вы, которая такъ хорошо знаете душевныя свойства женщинъ вашей націи, скажите мнѣ, одарены ли онѣ способностью прощать?

— Это зависитъ отъ большей или меньшей важности проступка.

— Положимъ, что проступкомъ было непрошенное признанье?

Анна опять улыбнулась.

— Для того, чтобы въ этомъ случаѣ заслужить прощеніе, нужно, чтобы впечатлѣніе о немъ совершенно изгладилось,—сказала она: — нужно постараться ни взглядомъ, ни намекомъ не напомнить о немъ. Нужно забыть, что оно когда-либо сорвалось съ нетерпѣливыхъ устъ, и спокойнымъ обращеньемъ добиваться только дружбы. Если удастся пробудить дружеское расположеніе, то переходъ отъ дружбы къ любви уже самый ничтожный. Мы великодушны, и разъ, что увѣруемъ въ возвышенныя чувства друга, готовы дать ему даже больше, чѣмъ онъ отъ насъ требуетъ.

Штейнъ съ признательностью взглянулъ на Анну.

— Вы открыли мнѣ глаза, — сказалъ онъ, — васъ я считаю другомъ и благодарю.

Онъ поцѣловалъ ея руку.

— Довѣріе намъ дороже страсти, — добавила Анна, — только тогда мы твердо обопремся на руку друга, только тогда можетъ и въ насъ загорѣться огонекъ, только тогда мы даруемъ ему любовь какъ награду, когда увѣруемъ въ его преданность.

Оба помолчали.

— Вамъ неизвѣстно, когда ваша кузина должна вернуться? — спросилъ Штейнъ.

— Совершенно неизвѣстно, но я предполагаю, что даже сегодня, даже сейчасъ, съ двухъ-часовымъ поѣздомъ.

— Почему вы такъ предполагаете?

— По нѣкоторымъ личнымъ соображеньямъ.

— Только?

— Только.

Когда, въ два часа, Вѣра Андреевна вышла изъ вагона на платформу, къ ней спокойно и почтительно подошелъ Штейнъ. Онъ взялъ ея мѣшокъ и шаль и попросилъ позволенія проводить ее до экипажа. Доведя ее до кареты, онъ только глубоко поклонился и, противъ своего обыкновенья, не поцѣловалъ ея руки.

Эта неожиданная встрѣча послѣ столькихъ пережитыхъ тревогъ, это спокойное и достойное обращеніе, этотъ знакъ симпатіи и вмѣстѣ съ тѣмъ уваженія вызвали въ Вѣрѣ Андреевнѣ смутное чувство дружелюбной благодарности.

Произвольная лекція Анны, въ которой вмѣсто имени Вѣры, она говорила: „мы, славянскія женщины“, не осталась гласомъ, вопіющимъ въ пустынѣ. Штейнъ хорошо передумалъ все сказанное Анной и принялъ къ свѣденію.

Вѣра Андреевна вернулась въ Трувиль, но разбитая душа ея осталась въ Парижѣ. Она негодовала на Петра Николаевича и вмѣстѣ съ тѣмъ не могла повѣрить, чтобы онъ не бросился за ней, не пріѣхалъ, не согласился на всѣ условія, которыя она поставитъ ему, лишь бы она простила его. Ей казалось ненатуральнымъ, невозможнымъ, чтобы такой человѣкъ какъ Петръ Николаевичъ безвозвратно сбился съ пути, погрязъ въ ничтожествѣ. Нашла на него какая-то уродливая полоса, но вѣрно этотъ послѣдній ударъ въ Парижѣ образумитъ его, и онъ хотя бы изъ самолюбія броситъ свои нелѣпыя похожденія.

Съ волненіемъ ожидала Вѣра Андреевна прибытія утренняго

поѣзда. По ея разсчетамъ, Петръ Николаевичъ долженъ былъ пріѣхать съ нимъ. Она не пошла гулять, въ полной увѣренности, что отворится дверь и немножко сконфуженный, но все же важный, Петръ Николаевичъ покажется на порогѣ. Но прошло полъ-часа, и часъ—а Петра Николаевича все же не было.

— Должно быть, опоздалъ къ утреннему и пріѣдетъ съ вечернимъ, —утѣшала себя Вѣра Андреевна и не подозрѣвала, что двадцать часовъ передъ тѣмъ, когда она сама только-что вернулась, Петръ Николаевичъ торопился на поѣздъ, наскоро давалъ приказанья слугѣ и уже надѣвалъ шляпу, когда ему подали телеграмму отъ Анны. „Не пріѣзжайте,—стояло въ ней.—Вѣра въ сильномъ гнѣвѣ, дайте непріятнымъ чувствамъ улечься. Буду увѣдомлять".

Нѣсколько минутъ Петръ Николаевичъ поколебался, время ушло, ѣхать было поздно.

Какъ тѣнь блѣдна и разстроена явилась Вѣра Андреевна на берегъ моря. Съ книгой въ рукахъ подошелъ къ ней Штейнъ. Послѣ краткаго, незначащаго разговора онъ предложилъ почитать ей громко. Чтеніе избавляло отъ бесѣды и Вѣра Андреевна охотно приняла предложенье. Штейнъ хотя и видѣлъ, что красоты его любимаго автора будутъ въ тотъ день потеряны для Вѣры Андреевны, но не сдѣлалъ никакого замѣчанія и самъ ступевался вскорѣ послѣ того какъ закрылъ книгу. Молчаливо идя домой, Вѣра Андреевна невольно подумала: „какой однако Штейнъ деликатный человѣкъ".

Вечерній поѣздъ пришелъ, но Петра Николаевича все же не было.

Дни смѣнялись днями, а ни самого Петра Николаевича, ни отъ Петра Николаевича ничего не приходило. Вѣра Андреевна начала безпокоиться. „Ужъ не заболѣлъ ли онъ?" ежеминутно думала она. Наконецъ она не выдержала и написала ему письмо, спрашивая о здоровьѣ. Въ отвѣтъ она получила нѣсколько словъ по телеграфу. „Благодарю за вниманіе, я здоровъ". Этотъ отвѣтъ обидѣлъ Вѣру Андреевну, и она рѣшилась пассивно выжидать.

Между тѣмъ въ Парижѣ Петръ Николаевичъ страдалъ не менѣе, чѣмъ жена его страдала въ Трувилѣ. Извѣстія, которыя онъ получалъ отъ Анны, сбивали его съ толку и раздражали его. Изъ нихъ онъ вообразилъ себѣ, что жена его негодуетъ и обѣщаетъ ничего больше не прощать ему; что она не хочетъ скорой встрѣчи съ нимъ; что она обыкновенно бываетъ раздражительна или молчалива, и что только Штейну удается немножко развлекать ее.

Златокудрый Штейнъ сдѣлался для Петра Николаевича отвратительнымъ чудовищемъ. Онъ не могъ вспомнить о немъ безъ скрежета зубовнаго. Тысячи разъ хотѣлъ онъ неожиданно явиться въ Трувиль, и вышвырнуть изъ окна этого увертливаго гада! Ничего не интересовало Петра Николаевича. Цѣлыми днями ходилъ онъ по своему кабинету и съ бьющимся сердцемъ ожидалъ, какія вѣсти прибудутъ изъ Трувиля. Однажды эти вѣсти привезла сама Анна. Все благополучно; дѣти здоровы. Вѣра тоже, только...

— Только?

— Только Вѣра поклялась, что никогда не проститъ вамъ.

— Чего же она наконецъ хочетъ! бросить меня, уѣхать, развестись что ли?

— Не знаю.

— Но я долженъ это знать и узнаю!

Петръ Николаевичъ въ этотъ разъ схватилъ шляпу и пальто и на поѣздъ не опоздалъ. Анна поѣхала вмѣстѣ съ нимъ.

Вокзалъ былъ недалеко отъ виллы, гдѣ жили Веприны, и по пріѣздѣ въ Трувиль Петръ Николаевичъ и Анна пошли домой пѣшкомъ.

— Неужели онъ каждый день приходитъ читать Вѣрѣ вслухъ?

— Каждый день.

— Посмотримъ, читаетъ ли онъ ей и теперь.

— Весьма вѣроятно.

— Странно, что Вѣра не можетъ прочесть сама того, что интересуетъ ее!

— У Штейна такой прелестный голосъ, такое искусство громкаго чтенія!

— Но вѣчно слышать громкое чтеніе, это должно, наконецъ, надоѣсть!

— Кому какъ. Посмотрите!

Анна повлекла Петра Николаевича черезъ садовую калитку на террасу и слегка задержала его за рукавъ. Съ террасы было видно въ глубину освѣщенной гостиной. Въ мягкомъ креслѣ, подпираясь локтемъ, уютно сидѣла Вѣра Андреевна. Издали казалось, что взглядъ ея былъ устремленъ на Штейна. Штейнъ читалъ съ видимымъ увлеченіемъ. Иногда онъ дѣлалъ невольный жестъ рукой, иногда все лицо его озарялось восторгомъ. Сидя подъ самой лампой, онъ былъ ярко освѣщенъ, и, безспорно, лицо было красивое, вдохновленное.

— Я не войду туда,—гнѣвнымъ шопотомъ произнесъ Петръ Николаевичъ,—тамъ хорошо и безъ меня, къ чему я туда пойду!

— Вы, кажется, жаждали объясненія?—отозвалась Анна.

— Какое же еще объясненіе! вотъ оно!—яростно воскликнулъ Петръ Николаевичъ,—мнѣ остается только придушить его!

— А ее?—шепнула ему въ ухо Анна.

— Ее... ее... — какъ-то промычалъ Петръ Николаевичъ не своимъ голосомъ,—ну и ее тоже придушить...

И онъ зарыдалъ.

Въ гостиной Вѣра Андреевна мгновенно вскочила съ кресла и, ставъ на средину комнаты съ поднятымъ пальцемъ, стала прислушиваться.

— Пойдемте, пойдемте, вы теперь звѣрь!—испуганно сказала Анна и, нервно вцѣпившись въ руку Петра Николаевича, почти силой увлекла за собой. Она повела его къ себѣ.

Когда Петръ Николаевичъ переступилъ порогъ ея комнаты, долго напряженные нервы, наконецъ, не выдержали, и нужно было имѣть несокрушимую силу воли Анны, чтобы выдержать его дикій, долгій и мучительный нервный припадокъ.

Хотя Петръ Николаевичъ и былъ подъ гнетомъ гнѣва и ревнивой злобы, но онъ былъ въ рукахъ Анны, онъ былъ у нея, въ ея комнатѣ. Ея часъ, наконецъ, пробилъ... Ею овладѣло безумное волненье; одной рукой она подносила ему успокоительное питье, а другою любовно обвилась около его шеи и шептала ему: „Я не красавица—но я люблю тебя! Я не чародѣйка—но я у ногъ твоихъ! Молодость моя увяла въ страстной любви къ тебѣ. Ты мой кумиръ, мой идеалъ, мой Богъ!.. Я потому и злая Анна, что отдала тебѣ все свое сердце и ни одного кусочка не оставила ни для кого другого... Во всемъ мірѣ ты одинъ для меня—другихъ нѣтъ! Дать тебѣ счастье, покой, отраду тебѣ одному и больше никому. Пусть все страдаетъ, исчезаетъ, гибнетъ—лишь бы ты жилъ, любимый мой, любимый!..“

Вѣра Андреевна скоро убѣдилась, что ей только прислышался голосъ мужа. Она подбѣжала къ окну и нѣсколько разъ окликнула мужа, но отвѣта не было. Она вышла на террасу и долго прислушивалась; потомъ обѣжала на крыльцо и ждала его непремѣннаго прихода, но, наконецъ, должна была сдаться на очевидность и признать смутные звуки, долетѣвшіе до нея, отголосками собственнаго воображенія. Но внезапная надежда увидѣть Петра Николаевича и внезапное же разочарованіе повліяли на нее болѣзненно. Штейнъ замѣтилъ это и поспѣшилъ удалиться.

Вѣра Андреевна поднялась къ себѣ и въ ту ночь нервы ея тоже не выдержали. Она долго и мучительно рыдала. Выбившись изъ силъ, она забылась, но тутъ ее разбудила няня съ извѣстіемъ,

что у Бэби опять сильный жаръ. Измученная Вѣра Андреевна все же тотчасъ встала, и остатокъ ночи провела у изголовья своего больного ребенка.

Къ разсвѣту Петръ Николаевичъ опомнился! Что это была за страшная, дьявольская ночь! Онъ открылъ глаза—чужая комната, на краю чужой постели сидитъ вся въ бѣломъ, какъ въ саванѣ, чужая женщина. Воспоминанье о чемъ-то чудовищномъ смутно мелькнуло въ головѣ... Но вотъ пришло сознаніе, что это чудовищное не пригрезилось, а было...

— Ты отдохнулъ?—спросила Анна, наклоняясь къ нему.

— Клянусь, что даже подъ вліяніемъ вина я никогда не былъ въ такомъ безпамятствѣ!—отозвался онъ и отвратилъ свое лицо отъ ея прикосновенія:—отойдите, Анна Игнатьевна; нужно вставать.

Онъ торопливо всталъ, кое-какъ набрасывая на себя одежду, и наскоро простился съ Анной. Онъ зналъ, что нѣтъ ни одного поѣзда, съ которымъ онъ могъ бы пріѣхать, но счастье вырваться отъ „чужой“ было слишкомъ велико. Онъ прибѣжалъ домой, и сталъ искать „свою“, родную. Не найдя ея въ спальнѣ, онъ зналъ, гдѣ нужно искать ее. Онъ не ошибся—какъ ангелъ-хранитель, задумчиво сидѣла она у изголовья сына. О комъ думала она? о сынѣ или о немъ самомъ?—но ужъ, конечно, объ одномъ изъ нихъ; на непорочномъ челѣ ея не могло быть преступной думы!

— Вѣра!

Опять она встрепенулась, опять поднялась на звукъ знакомаго голоса, скрещенныя руки разомкнулись—и она бросилась въ его объятія. Онъ цѣловалъ ее съ бѣшеной страстью, какъ бы стараясь поцѣлуями своими задушить ту черную тѣнь, которая стояла теперь между имъ и ею.

Бэби расхворался не на шутку и Вѣра Андреевна цѣлую недѣлю не отходила отъ его постельки. Но она была опять спокойна, опять счастлива и только одно казалось ей страннымъ: почему на лицѣ Петра Николаевича часто появлялось страдальческое выраженіе, котораго прежде не бывало.

Петръ Николаевичъ не ѣздилъ больше въ Парижъ и не намѣревался ѣхать туда безъ семьи. Было уже начало августа, и рѣшили оставить Трувиль недѣли черезъ двѣ. Петръ Николаевичъ уступилъ желанію Вѣры Андреевны опять сомкнуться въ тѣсной

семьѣ, и она была довольна. Еще немного, и Анна не будетъ больше постоянно на глазахъ молчаливая, суровая, какъ привидѣніе.

— Очевидно, что ее что-то грызетъ, — думала Вѣра Андреевна:—ну, что дѣлать; дотянемъ какъ-нибудь до города и разстанемся.

Штейнъ уѣхалъ съ первыхъ дней болѣзни Бэби, но не въ Вѣну, а въ Парижъ, гдѣ ему нужно было поработать въ библіотекѣ для историческаго романа, который онъ взялъ изъ исторіи Франціи. Уѣзжая, онъ сказалъ Вѣрѣ Андреевнѣ:

— Если бы вамъ когда-либо понадобился искренній другъ, вспомните, что на свѣтѣ есть Генрихъ Штейнъ.

Время промчалось быстро; Бэби уже совсѣмъ выздоровѣлъ и желанный день отъѣзда Вепринхъ въ Парижъ былъ назначенъ. Вѣра Андреевна распоряжалась укладкой и сама наблюдала за нею, переходила изъ одного конца дома на другой. Петръ Николаевичъ дописывалъ что-то спѣшное у себя въ кабинетѣ. Въ гостиной сидѣла одна Анна, вышивая для Бэби платье.

Петръ Николаевичъ заглянулъ въ гостиную.

— Вѣры здѣсь нѣтъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ. Но прошу васъ, войдите. Я все еще жду обѣщаннаго объясненія.

— Не здѣсь,—отозвался Петръ Николаевичъ.

Анна встала.

— Изволь, пойдемъ къ тебѣ. Но объясненія я хочу и требую.

Въ то время, какъ Вепринъ вышелъ изъ кабинета, слуга зажегъ въ немъ лампу и, выйдя въ маленькую дверь, ведущую въ буфетную, оставилъ ее полуоткрытою. Въ буфетной была Вѣра Андреевна, она вынимала столовое бѣлье изъ шкапа. Ее поразилъ голосъ Анны.

— Я хочу и требую объясненія,—повелительно повторяла Анна,—ты думаешь, что я когда-либо позволю тебѣ приравнять меня къ мотылькамъ, которые родятся съ вечерней зарей, а къ утренней уже умираютъ! Теперь мы одни — я требую отвѣта.

Вѣра Андреевна не могла ничего сообразить, какъ только то, что Анна называетъ ея мужа „ты“, а онъ противъ этого не протестуетъ, — значитъ Анна имѣетъ на то право. Съ бьющимся сердцемъ хотѣлось ей услышать отвѣтъ мужа, но Петръ Николаевичъ отвѣтилъ такъ тихо, что слова его ускользнули отъ ея

слуха. Стоять за дверью и подслушивать было для Вѣры Андреевны и совѣстно, и унизительно. Она порывисто вошла въ кабинетъ.

— Ты насъ слышала?—спросила Анна.

— Слышала. Петя, что ты отвѣтилъ?

— Вепринъ, повтори отвѣтъ,—спокойно сказала Анна.

— Петя, что все это значитъ? Говори! говори!

Петръ Николаевичъ хотѣлъ обнять Вѣру Андреевну, но она отшатнулась.

— Вѣдь это какой-то адъ! — воскликнула она,—помѣшана я, что ли!

— Вѣра! Вѣра! я люблю тебя... только тебя... увѣряю, клянусь!..

— Ты лжешь!—воскликнула Анна:—ты лжешь, малодушный! Когда мы пріѣхали изъ Парижа, ты сидѣла со Штейномъ, какъ всегда сиживала съ нимъ часами, когда мужа не было...

— Это неправда!

— Какъ неправда? Развѣ Штейнъ не приходилъ къ вамъ каждый день, развѣ онъ не читалъ тебѣ вслухъ цѣлые романы? развѣ онъ не старался выказывать тебѣ свою любовь? развѣ онъ прямо не говорилъ тебѣ, что любитъ тебя?...

— Петя, не вѣрь ей, не вѣрь... она все лжетъ.

Анна грозно подошла къ Вѣрѣ Андреевнѣ.

— Штейнъ не дѣлалъ тебѣ признанья наканунѣ твоего отъѣзда въ Парижъ? Онъ не обнималъ тебя, не цѣловалъ?

— Въ этомъ я не виновна!—воскликнула Вѣра Андреевна.

— Ну, то-то же!—и Анна бросила на Петра Николаевича взглядъ торжества.

— Зачѣмъ же ты послѣ того принимала Штейна? — спросилъ онъ.

— Онъ велъ себя безукоризненно!

— Я видѣлъ, какъ онъ велъ себя, и какъ ты впивалась въ него глазами.

— Я? я? Вѣра Веприна? твоя жена?.. я впивалась глазами въ Штейна?

— Да, ты, моя жена, мать моихъ дѣтей, ты всѣхъ насъ промѣняла на этого австрійца!

— Петя... вѣдь я не сошла съ ума... это мы всѣ трое здѣсь, у тебя... въ кабинетѣ... я все сознаю и вижу, и понимаю, что ты говоришь...

— Пожалуйста, не разыгрывай трагедій,—досадливо сказалъ

Петръ Николаевичъ:—мы очень хорошо понимаемъ другъ друга и никто здѣсь не рехнулся!..

— Такъ я влюблена въ Штейна?—съ негодованіемъ воскликнула Вѣра Андреевна,—и ты говоришь это серьезно, отвѣчай?

Ты ведешь себя съ нимъ какъ влюбленная.

— А почему же ты позволяешь Аннѣ называть себя ты?

Петръ Николаевичъ медлилъ отвѣтить.

— Твой мужъ тебѣ не помѣха,—вмѣшалась Анна,—ты любишь Штейна...

— Молчи! не твое дѣло!—яростно топнувъ ногой, закричала Вѣра Андреевна:—почему Анна осмѣливается называть тебя ты? Петя, отвѣчай! отвѣчай! отвѣчай!

— Онъ мой,—прошептала Анна, но Петръ Николаевичъ схватилъ ее за руку.

— Подите прочь!—воскликнулъ онъ, увлекая Анну къ двери.—Онъ искалъ меня, онъ признавался мнѣ въ любви, онъ мой!..

Глаза Петра Николаевича сверкали, губы судорожно дрожали. Вѣра Андреевна бросилась къ нему.

— Отрекись отъ ея словъ, опровергни ихъ!—молила она.

— Ну, отрекись же!—грубо говорила Анна,—въ углу ей какому!..

Въ яростѣ своей Петръ Николаевичъ замахнулся на Анну, но Вѣра Андреевна схватила его за руку.

— Постой... постой. Петя... онъ не нуженъ... постой...—повторяла она и повисла на его поднятой рукѣ.

Все смѣшалось въ головѣ и на языкѣ Петра Николаевича.

— Вѣра, въ какой мѣрѣ можно простить?—пронеслась въ его разбитомъ мозгу и горячечной симфоніи имя Александры Ивановны въ этой жизненной драмѣ.

— Сейчасъ ду, мама, отпустите меня,—говорилъ Вѣра Андреевна.—сейчасъ, сейчасъ.—автоматически повторялъ онъ. Александра Ивановна все еще стоитъ въ дверяхъ.

— Прощай, Петя,—обратилась она къ нему.—знай, что все кончено, прощай.

И Вѣра Андреевна вырвалась и вышла изъ кабинета.

Въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль Анна Ивановна замѣтила, что ей приходилось слишкомъ много и слишкомъ открыто лгать. Петръ Николаевичъ въ Аннѣ уже давно очень мало нуждался, его интересовала въ ней лишь Анна. Въ продолженіе этого времени Вѣра Андреевна вполнѣ ему заплатила, что онъ сказалъ ей правильно. И значительно выгравированное чутье—

ніе ея духа граничило съ помѣшательствомъ. Когда она дотащилась до своей комнаты, она не могла связать ни одной мысли. Кровь стучала ей въ виски, и въ глазахъ рябили красные круги. Эти круги очень безпокоили ее, и она металась изъ стороны въ сторону, стараясь отдѣлаться отъ нихъ. Наконецъ біеніе сердца немного унялось, и наступилъ хаосъ отрывочныхъ видѣній. Ей смутно вспоминалось потомъ, что Александра Ивановна входила спросить о какой-то укладкѣ и, кажется, потомъ какъ будто мелькнулъ обликъ Петра Николаевича, но больше она, конечно, не могла вспомнить и вѣрно никто уже больше не тревожилъ ее.

Свѣтало, когда сознаніе снова вернулось къ Вѣрѣ Андреевнѣ. Она наконецъ поняла, что все случившееся наканунѣ не обманъ больного воображенія, а дѣйствительно случилось въ ея жизни. Она поняла, что ея мужъ, человѣкъ, котораго она любила и которому посвятила всю жизнь, больше въ ней не нуждается и переходитъ отъ одной интриги къ другой, швыряя ей въ лицо какую-то выдуманную страсть!

Гнѣвъ, злоба, униженіе, жажда отмести—все разомъ обожгло сердце Вѣры Андреевны. Она не хотѣла больше ни терпѣть, ни прощать. Тутъ было ужъ не увлеченіе, а въ отношеньяхъ къ ней мужа вкралось что-то омерзительное, преступное... Она не хотѣла больше видѣть его, не хотѣла даже подставить своего лба для его предательскаго поцѣлуя!.. Отомстить ему больно, глубоко, поразить его въ самое сердце тѣмъ же орудіемъ, задѣвъ кусокъ живого мяса—вотъ что проснулось въ сердцѣ Вѣры Андреевны послѣ всѣхъ пережитыхъ униженій. Ей говорятъ, что она любитъ Штейна—почему-жъ бы ей и не любить Штейна?—во всякомъ случаѣ Штейнъ человѣкъ съ высокой, благородной душой!

„Отмстить, отмстить!“ — и съ этой жаждой мести сливался и переплетался образъ Штейна. Привѣтливый и грустный, покорно выжидалъ онъ счастья быть призваннымъ, чтобы во всякое время протянуть ей руку помощи. Онъ, умный и добрый, научитъ ее, какъ поступить, какъ выйти изъ ужаснаго положенья. Если бы онъ былъ въ Трувилѣ, она бы тотчасъ послала ему записку, но его не было. Нужно ждать, встрѣчаться съ мужемъ, съ Анной, продолжать эту несносную мучительную укладку! Тутъ дѣти станутъ приставать: „Блѣдна, больна“.—Мать начнетъ или порицать мужа или надоѣдать доморощенной моралью. А нельзя же ей сказать, что Анна обольстила таки Петю!—Языкъ на это не повернется.

— Обольстила и пусть беретъ!.. лишь бы не на глазахъ, лишь бы не видѣть этого, лишь бы быть гдѣ-нибудь далеко, да-

леко отъ всѣхъ этихъ ужасовъ!.. въ какой-нибудь другой странѣ, гдѣ ихъ нельзя ни увидѣть, ни встрѣтить!.. Уѣду,—со страстью ухватилась Вѣра Андреевна за эту мысль,—уѣду и отомщу... отомщу.

Она схватила перо и написала: „Послѣ всего случившагося я не могу больше оставаться подъ твоимъ кровомъ. Я люблю тебя, но все же уѣзжаю. Сердце не можетъ больше терпѣть; гордость не велитъ больше прощать. Я уѣзжаю“...

Было еще очень рано, дѣти спали. Вѣра Андреевна тихо подошла къ постелькѣ каждаго изъ нихъ и каждаго благословила. Когда она обернулась, за нею стояла мать. Слезы лились изъ глазъ Александры Ивановны.

— Куда ты, Вѣра?—едва внятно прошептала она.

Вѣра Андреевна взяла ее за руку.

— Обѣщай мнѣ, мама, никогда не покидать ихъ, несчастныхъ...

— Вѣра, опомнись, образумься, куда ты!

— Я никуда, только прогуляться, не безпокойся. Обѣщаешь?

Александра Ивановна обѣщала.

Вѣра Андреевна поцѣловала мать и вышла какъ будто только на прогулку, и, въ чемъ была, пошла на встрѣчу темному будущему.

X.

— Другъ мой, моя обожаемая Вѣра,—говорилъ Штейнъ мѣсяцевъ шесть спустя послѣ ихъ шумнаго появленія въ Вѣнѣ,—повергаю къ стопамъ твоимъ еще новое доказательство моей пламенной любви.

И онъ положилъ на колѣни Вѣры Андреевны голубой бархатный экранъ.

— Къ чему эти постоянные подарки,—съ укоризной произнесла она и, не взглянувъ, отложила экранъ на столикъ,—ужъ и то говорятъ, что ты разоряешься на меня.

— Кто смѣетъ это говорить!

— Хоть бы баронъ Ризенштернъ.

— Опять!

— Да. Онъ говорилъ мнѣ еще вчера, что твоя мать и сестра ненавидятъ меня и скрежещатъ зубами, когда при нихъ произнесутъ мое имя, а Эмилія...

Штейнъ нетерпѣливо вскочилъ.

— Никогда этотъ безконечный уродъ не будетъ моей женой!—воскликнулъ онъ,—хоть бы она принесла мнѣ всю Вѣну

въ приданое! Я самъ богатъ; мнѣ не нужно посадить себя на одну цѣпь съ чудовищемъ для поправленія финансовъ!

— Генрихъ, позволь мнѣ поговорить съ тобой откровенно?..

— А до сихъ поръ ты развѣ только лукавила со мной?— съ любезной улыбкой замѣтилъ Штейнъ, но въ душѣ онъ все же былъ немножко обиженъ, что Вѣра Андреевна не взглянула на его дорогой подарокъ.

— Съ тѣхъ поръ какъ мы пріѣхали въ Вѣну,—начала Вѣра Андреевна,—мнѣ кажется, что ты слишкомъ выставляешь меня на показъ. Часъ модной прогулки, опера, концертъ, балъ, какое бы то ни было общественное увеселеніе, никакъ не можетъ обойтись безъ насъ.

Штейнъ взялъ обѣ руки ея въ свои и, поперемѣнно цѣлуя ихъ, замѣтилъ:

— И ты ставишь мнѣ это въ укоръ? Помнишь, первый разъ, когда мы показались на Пратерѣ? Я раскланивался на всѣ стороны, а ты, гордо и молча, точно королева, сидѣла со мною рядомъ. Я никогда не забуду, какъ билось мое сердце и какимъ оно горѣло ненасытнымъ желаньемъ!..

Штейнъ припалъ головой къ плечу Вѣры Андреевны.

— Ласкай меня, моя любимая, — восторженно воскликнулъ онъ,—и своимъ чуднымъ голосомъ пой мнѣ сладкую пѣснь любви! Вдохновляй мой геній твоимъ очарованьемъ!..—онъ взглянулъ на нее,—мой геній погибнетъ, Вѣра, если эта грусть будетъ вѣчно лежать тѣнью на твоемъ прекрасномъ челѣ, туманить твой печальный взоръ, глубокій какъ самая глубь бездоннаго моря... Пой мнѣ, Вѣра, ту пѣснь, которую пѣвала въ первые дни моего счастья!..

Вѣра Андреевна запѣла что-то нѣжное, что-то любовное, а мысли ея уносились далеко отъ роскошнаго будуара, и отъ краснваго Штейна, и видѣлись ей четыре дѣтскія головки, и грустные глазки ихъ съ укоризной глядѣли на нее...

И пѣла она все тише, и голосъ ея становился все беззвучнѣе, и слезы крупными каплями падали на дорогое кружево розоваго капота...

Штейна не было дома. Вѣра Андреевна одѣвалась къ театру. Голова ея была искусно причесана первымъ парикмахеромъ Вѣны, и въ ней небрежно красовались перья и брильянты. Дѣвушка уже подносила ей нарядное платье.

— Подождите, сейчасъ, — и Вѣра Андреевна прошла въ будуаръ и вынула изъ ящика въ-четыре сложенное письмо. —

Какъ это, Петя кончаетъ,—подумала она и чуть ли не въ сотый разъ стала перечитывать короткую записку, полученную отъ Петра Николаевича вскорѣ послѣ ея пріѣзда въ Вѣну. Этой запиской корреспонденція Петра Николаевича съ женой и ограничивалась; онъ не отвѣчалъ на два или три ея позднѣйшія письма.—„Милая Вѣра,—читала она,—я виноватъ передъ тобой — спора нѣтъ, но ты не хотѣла простить меня, потому что больше не любила меня. Я минутно увлекался, подъ-часъ грѣшилъ, но все же сердцемъ любилъ тебя одну, ты же, добродѣтельная, отдавала свое сердце другому. Я не упрекаю тебя, и не осуждаю. Мой домъ останется всегда твоимъ домомъ, и если бы случилось такъ, что дѣйствительная жизнь не сдержала обѣщаній мечты, то возвратясь, ты всегда займешь въ немъ мѣсто матери моихъ дѣтей и хозяйки. Будь счастлива. Прощай".

„Мое мѣсто не здѣсь,—думала Вѣра Андреевна,—не въ этомъ вѣнскомъ омутѣ разсѣянной жизни и удовольствій... Оно тамъ, далеко, у очага, среди дѣтей, мамы"....

И опять слезы замутили ея свѣтлый взглядъ.

— Другъ мой, ты еще не одѣта!—точно стальное лезвіе по точильному камню, рѣзнулъ ей по нервамъ мягкій голосъ Штейна. Изъ-за штофной портьеры выдвинулась его красивая фигура: — скорѣй, скорѣй,—торопилъ онъ,—будь великолѣпна! Мы готовимъ тебѣ сюрпризъ.

— Какой?

— Это секретъ, но я его выдамъ: послѣ оперы состоится многочисленный пикникъ, и мы всѣ поѣдемъ въ загородныя оранжереи барона Ризенштерна.

— Адольфа Ризенштерна?

— Да.

— Ты думаешь, что мнѣ можно къ нему ѣхать?

Едва замѣтная усмѣшка пробѣжала по тонкимъ губамъ Штейна.

— Почему же нѣтъ?—спросилъ онъ.

— Тамъ, кажется, дамы не бываютъ.

— Ты ошибаешься, тамъ дамы будутъ.

— Но, можетъ быть, не такія, съ которыми знакомство мое было бы пріятно.

Штейнъ замялся.

— Однако мы не можемъ всегда и постоянно ограничиваться одними мужчинами,—сказалъ онъ: — хотя моя повелительница и прекрасна, и горда, и недоступна...

Вѣра Андреевна вся зардѣлась. Въ сотый разъ двусмысленность ея положенія точно обливала ее кипяткомъ.

— Я не поѣду на этотъ пикникъ,—сказала она рѣшительно.

— А если я очень, очень попрошу, — заискивалъ Штейнъ, ласково глядя ей въ глаза.

— Генрихъ, прошу тебя, позволь мнѣ не ѣхать?—обратила она отказъ въ просьбу.

— Другъ мой, я обѣщалъ. Мы съ барономъ затѣяли большія дѣла, онъ мнѣ очень нуженъ.

— Но я-то тутъ съ чего же примѣшалась?

— Ты царица сегодняшняго раута. Для тебя баронъ пригласилъ лучшихъ оперныхъ пѣвцовъ, музыкантовъ. Для тебя будетъ великолѣпная иллюминація оранжерей, танцы, ужинъ. Другъ мой, время проходитъ, одѣвайся.

— И тамъ, вѣрно, будетъ эта извѣстная Нинета, которая такъ нахально киваетъ даже самому императору!

— Ну вотъ сама себя и побила! Если императоръ отдаетъ ей поклонъ, то тебѣ и подавно можно кивнуть ей головой.

— Но эта женщина скандализируетъ даже васъ, вѣнцевъ.

Штейнъ улыбнулся.

— Пустяки, другъ мой, она предобрая. Къ тому же Ризенштернъ мнѣ право очень, очень нуженъ, а она его фаворитка; что дѣлать!

Въ сильномъ волненіи, Вѣра Андреевна судорожно мяла свой шитый платокъ.

— И не одна фаворитка Ризенштерна будетъ на этомъ пирѣ,—воскликнула она,—всѣ фаворитки тамъ сойдутся, и фаворитка Штейна! О, Боже! Боже!

И закрывъ лицо руками, Вѣра Андреевна со стономъ упала въ кресло.

Штейнъ постоялъ въ нерѣшительности.

— Вѣра, милая моя,—наконецъ сказалъ онъ, — взгляни на своего Штейна. Развѣ тебѣ такое униженіе быть имъ любимой? Другъ мой, многія аристократки, которыхъ ты встрѣчаешь въ роскошныхъ экипажахъ, съ ливрейными лакеями, добивались счастья его благосклоннаго взгляда, и самолюбіе ихъ было польщено, когда этотъ самый Штейнъ, въ многолюдномъ залѣ, нагибался и дѣлалъ видъ, что прикасается губами къ кончикамъ ихъ лайковыхъ перчатокъ. Много маленькихъ ручекъ, въ нервномъ пожатіи, говорили Штейну о тайныхъ желаніяхъ, и влажные глаза заманчиво обѣщали блаженство. Но Штейнъ все презрѣлъ, все отвергъ, и вѣрный своему прозвищу, остался твердъ какъ камень въ своей любви къ тебѣ, и холоденъ какъ камень къ чужимъ

восторгамъ. Я обожаю тебя, Вѣра, всю, какая ты есть!.. даже съ твоей вѣчной грустью и подавленной слезой!..

Дорогое платье придавало „сѣверной звѣздѣ“ — какъ называли Вѣру Андреевну въ мірѣ вѣнскихъ бароновъ и графовъ,— истинно-королевскій видъ. Съ задумчиво-томной улыбкой, вся залитая брильянтами, она куталась въ бѣлую ротонду, подбитую горностаемъ. Когда она появилась въ ложѣ, по театру пробѣжалъ шопотъ. Штейнъ небрежно развалился за ея стуломъ. На барьерѣ рядомъ съ Вѣрой Андреевной появился чудовищный букетъ. На сопровождавшей его карточкѣ стояло: „Баронъ Адольфъ Ризенштернъ въ знакъ глубочайшаго восторга“.

Вѣра Андреевна съ отвращеніемъ глядѣла на нѣжные цвѣты букета, и изъ-подъ каждаго цвѣтка мелькали все тѣ же дѣтскія личики, и тѣ же грустные глазки съ укоризной глядѣли на преступную мать.

Лицо самой Вѣры Андреевны дѣлалось все неподвижнѣе и неподвижнѣе, а ея бѣлое плечо нельзя было отличить отъ спускающагося съ него горностая.

— Она хороша какъ мраморное изваянье! — въ антрактѣ воскликнулъ кавалеръ (Ritter) изъ старшей линіи Шварценбурговъ.

— Она сведетъ меня съ ума!—отозвался баронъ Ризенштернъ, и побагровѣлъ отъ восторга.

Противъ ложи Штейна собралась цѣлая группа великосвѣтскихъ представителей вѣнскаго high-life'a. Всѣ безцеремонно наводили бинокли и лорнеты на „сѣверную звѣзду“ и разбирали ее по частичкамъ. Всѣ въ одинъ голосъ завидовали Штейну. Утромъ того же дня, эта самая группа разбирала по частичкамъ бѣговую кобылу графа Гичька и держала пари, продастъ ли онъ ее, и если продастъ, то кому и за какую цѣну?

Нѣсколько дней спустя, сидя одна въ своемъ будуарѣ, Вѣра Андреевна вспоминала о вечерѣ, проведенномъ въ оранжереяхъ барона Ризенштерна, со всѣми его мелкими, но полными значенья подробностями. Она не могла не отдать себѣ отчета, что въ этотъ вечеръ положеніе ея въ вѣнскомъ обществѣ ясно опредѣлилось. Она съ горечью сознала, что, помимо своей воли и вовсе этого не предвидя, очутилась на одномъ ряду съ женщинами, всегда вызывавшими въ ея душѣ или ярый протестъ или гадливое отвращеніе.

Совсѣмъ иначе представляла себѣ Вѣра Андреевна и Штейна, и его любовь къ ней, и ту обстановку, въ которой онъ поселитъ ее. Она знала, что у Штейна есть мать и сестра; что онѣ живутъ въ той же Вѣнѣ, и даже по близости. Она думала, что, какъ женщина честная, она будетъ знакома съ ними. Но обѣ женщины краснѣли и отворачивались, если случайно встрѣчались съ нею. Она думала, что Штейнъ будетъ ревнивъ, будетъ любить ее скромно, не допуская до нея пріятелей. Но Штейнъ совсѣмъ не былъ ревнивъ и никогда не сердился, когда она разсказывала ему о преувеличенно-любезныхъ выходкахъ его друзей. Подъ видомъ любви, съ приправой поцѣлуевъ и восторговъ, онъ всегда устраивалъ такъ, чтобы выставить ее на показъ какъ рѣдкость, и гордился ею какъ рѣдкостью.

Все существо Вѣры Андреевны въ тотъ день какъ-то особенно замерло. Она почувствовала и жаръ, и головокруженіе, и лихорадочную дрожь. Точно тиски сдавили ей грудь. Она встала, чтобы дохнуть свободнѣе и закашлялась, и чуть не захлебнулась —весь платокъ ея обагрился кровью. Мысль о смерти мелькнула у нея въ головѣ—бѣдная женщина протянула къ ней руки съ безмолвной мольбой, и тихо, въ какомъ-то блаженномъ забытьи упала на мягкій коверъ...

Когда Вѣра Андреевна очнулась, блѣдный Штейнъ суетился около нея, и примачивая ей виски, съ участіемъ и безпокойствомъ о чемъ-то шептался съ докторомъ. Докторъ находился тутъ же и, принужденно улыбаясь, старался обратить всю суматоху въ шутку. Когда Вѣра Андреевна немного оправилась, онъ пожелалъ осмотрѣть ей грудь, и въ концѣ концовъ не придалъ большого значенія случившемуся. За то, только-что онъ вышелъ за дверь, онъ безъ церемоніи сказалъ Штейну:

— Моя обязанность предупредить васъ, милый другъ, что этой прелестной женщинѣ суждено имѣть славное, но краткое царствованіе. Если вы не желаете брать на себя тяжелыхъ хлопотъ или же опасаетесь непріятныхъ впечатлѣній, то отвезите ее туда, откуда вы привезли ее. Въ организмѣ уже давно гнѣздились зародыши болѣзни, которая разовьется теперь съ чрезвычайной быстротой. У вашей сожительницы одинъ изъ видовъ скоротечной чахотки.

Докторъ ушелъ, а Штейнъ остался пораженный. Долго ходилъ онъ взадъ и впередъ по комнатѣ, скрестивъ руки и глубоко задумавшись. Наконецъ онъ нервно взялъ перо и сталъ писать:

„Любезный баронъ и дорогой другъ,—писалъ онъ,—мнѣ не-

обходимо отлучиться въ Прагу недѣльки на двѣ. Довѣряю вамъ мое сокровище, мою Вѣру. Навѣщайте ее и будьте съ нею почтительны и ласковы. Главное, почтительны; она пуглива какъ дочь степей, и приручить ее можно только терпѣніемъ и кротостью, а ужъ никакъ не излишнимъ пыломъ. До свиданія".

Штейнъ уѣхалъ, покрывъ лицо и руки Вѣры Андреевны поцѣлуями, клянясь ей въ вѣчной любви; а другъ его, баронъ Ризенштернъ, постоянно забѣгалъ навѣстить „скучающую" и освѣдомиться, не можетъ ли онъ быть ей чѣмъ-либо полезенъ. Его визиты дѣлались все чаще, продолжительнѣе и безцеремоннѣе. Онъ входилъ безъ доклада, и даже съ блаженной улыбкой просовывалъ голову въ дверь ея спальни. Отказы принять его вовсе не смущали барона. Онъ бросалъ швейцару нѣсколько гульденовъ и шелъ прямо въ хорошо знакомую дверь. Наконецъ Вѣра Андреевна разсердилась, запретила ему являться и написала Штейну.

Штейнъ вернулся озабоченный, разстроенный, будто чѣмъ-то обиженный. Онъ отвѣчалъ разсѣянно на привѣтъ Вѣры Андреевны.

— Что съ тобою, Генрихъ?—съ безпокойствомъ спросила она.

— Я потерялъ значительную сумму денегъ,—сердито отвѣтилъ онъ.

— Какое несчастье!—воскликнула Вѣра Андреевна.

— Да, несчастье,—какъ бы злобно повторилъ онъ,—а знаешь ли, кто виноватъ въ этомъ несчастьи?

Она покачала головой и вопросительно посмотрѣла на него своими большими, блестящими глазами.

„Пора,—подумалъ онъ,—въ эти двѣ недѣли еще рѣзче обозначилась роковая печать",—онъ сказалъ громко:

— Ты, милая.

— Я?

— Да. Ты обидѣла Ризенштерна. Онъ писалъ мнѣ...

— Ризенштернъ былъ назойливъ, неделикатенъ и держалъ себя совершенно неприлично. Ради твоихъ дѣлъ, о которыхъ ты всегда говоришь, я съ большимъ терпѣніемъ выносила его до послѣдней возможности... Если я запретила ему приходить, то это потому...,—она не договорила,—неужели Генрихъ тебѣ было бы пріятно...

— Позволь, другъ мой,—раздраженно перебилъ Штейнъ:—между нами есть недоразумѣніе, которое я давно хотѣлъ разъяснить. Дай мнѣ твои ручки и терпѣливо выслушай стараго друга. Когда ты осчастливила меня своей любовью,—продолжалъ онъ уже спокойно,—ты знала, что вся жизнь твоя должна принять иной характеръ. Ради страсти, и повѣрь, я горжусь этимъ

и не забуду этого счастья до конца моей жизни,—но все же ради страсти ты оставила дѣтей, мужа...

— Нѣтъ, Генрихъ, нѣтъ!..

— Другъ мой, прежде выслушай меня, а потомъ ты скажешь свое слово. Въ качествѣ чего могъ я представить тебя свѣту? Развѣ ты не думала объ этомъ прежде, чѣмъ приняла мою любовь? Жениться на тебѣ я не могъ—я взялъ тебя отъ живого мужа...

— Но ты любилъ меня...

— Я и теперь люблю тебя, но никакая любовь моя не въ силахъ дать тебѣ иного положенія, чѣмъ то, которое даютъ тебѣ условія свѣта.

— Положеніе женщины на содержаніи!—съ отчаяніемъ воскликнула Вѣра Андреевна.

— Что дѣлать!—печально покачалъ онъ головой.—Можетъ быть, у васъ въ Россіи, въ странѣ, гдѣ понятія еще шатки и не вполнѣ установились, или скорѣе начинаютъ принимать какое-то необыкновенное направленіе, и понятіе о женщинѣ, оставляющей мужа и дѣтей ради новой любви, идеализируется, ставится на пьедесталъ; но у насъ, на западѣ, въ странахъ „условной, но строгой морали", какъ говаривалъ твой мужъ, всякій членъ общества занимаетъ то мѣсто, которое опредѣляетъ ему его общественное положеніе.

— Но гдѣ же восторженный обожатель,—воскликнула Вѣра Андреевна,—гдѣ тотъ герой когда-то посвященнаго мнѣ романа, который съ ревнивой страстью хранитъ свою любовь какъ сокровище, и не даетъ злому и пошлому свѣту загрязнить ее своимъ прикосновеніемъ?

Штейнъ улыбнулся и слегка ударилъ себя по лбу.

— Онъ здѣсь,—сказалъ онъ,—здѣсь въ воображеніи романиста Генриха Штейна!

Вѣра Андреевна порывисто встала.

— Генрихъ!—воскликнула она,—зачѣмъ ты ввелъ меня въ заблужденіе!

— А ты въ самомъ дѣлѣ думала, что мои герои и я одно и то же?—съ наивнымъ изумленіемъ воскликнулъ онъ,—ты, женщина тридцати лѣтъ, мать семейства!..

— Я думала, что ты былъ искренъ...

— Я и былъ искренъ, клянусь тебѣ. Но съ другой стороны, я былъ убѣжденъ, что ты придаешь всему житейскому его истинное значеніе. Знаешь, Вѣра, не сердись на меня за то, въ чемъ я теперь признаюсь тебѣ: я любилъ тебя безумно какъ женщину

честную. Шумъ, который надѣлало твое блестящее появленіе въ нашемъ городѣ, продолжалъ кружить мнѣ голову. Но мало-помалу туманъ разсѣялся—избалованнаго любимца высшаго свѣта глубоко уязвила твоя холодность. Ты вѣдь никогда не любила меня!.. Теперь я спокойно гляжу на тебя, такую чистую и непорочную душой, и вѣрь, во мнѣ самомъ нѣтъ больше страсти... Мнѣ только глубоко, безконечно жаль тебя!.. Ты ошиблась, моя бѣдная Вѣра! Тебѣ слѣдовало остаться дома, примириться со случайными отступленьями мужа и посвятить себя всецѣло дѣтямъ... Ты плачешь? — я знаю, что тебѣ горько слышать мои слова, но я правъ. Дѣти всегда и постоянно тревожили тебя. Всюду садились они, какъ тѣнь, съ тобою рядомъ. Твой прелестный обликъ былъ въ этихъ объятіяхъ — но мысль твоя была далеко, а сердца твоего ужъ и вовсе тутъ не было!.. Ты родилась матерью, а не куртизанкой. Въ порывѣ оскорбленія и гнѣва ты бросила себя на ложе страсти, какъ грѣшница — и одинъ Богъ знаетъ, чѣмъ все это кончится!..

Штейнъ сталъ нервно ходить по комнатѣ, Вѣра Андреевна тихо плакала.

— Я понесъ большую денежную потерю, — снова началъ Штейнъ, но уже совершенно инымъ голосомъ, холоднымъ и металлическимъ, — потерю, которая на половину разоряетъ меня. Помочь мнѣ можетъ только Ризенштернъ, онъ тебя любитъ...

— Какъ ты, когда-то!..

— Совершенно справедливо: какъ я.

— Но я не только не люблю его, а даже чувствую къ нему отвращеніе...

— Очень жаль...

— Изъ твоихъ словъ я могу понять, что ты желалъ бы передать меня Ризенштерну!

— Какія рѣзкія выраженія!

— Но смыслъ вѣренъ?

Штейнъ усмѣхнулся.

— Есть вещи, которыя понимаются, но о которыхъ прямо не говорятъ.

— И не нужно,—воскликнула Вѣра Андреевна, — я здѣсь лишняя,—меня не будетъ!

— Другъ мой, не волнуйтесь, отнеситесь къ жизни здраво. Я вовсе не желаю наносить вамъ обиду. Я предлагаю вамъ принять самое искреннее увлеченіе моего хорошаго друга, человѣка во сто разъ богаче меня, молодого, красиваго, изъ древнѣйшаго рода. Ко всему тому, что я уже для васъ сдѣлалъ,—а

я разорился на васъ, да, я заплатилъ чистымъ, звонкимъ золотомъ за мою безумную любовь, — ко всему тому, что́ я уже для васъ сдѣлалъ, говорю я, я еще повергаю къ ногамъ вашимъ гордость и красу вѣнской аристократіи!

— Чтобы спасти ваши деньги! — воскликнула Вѣра Андреевна, — это на языкѣ моей націи называется продажей!.. Вы продаете меня.

— Опять рѣзкія выраженія,—и Штейнъ покачалъ головой,— я прошу у васъ дружеской услуги. Вамъ вѣдь въ сущности рѣшительно все равно, что Штейнъ, что Ризенштернъ. Вы отнесетесь къ нимъ обоимъ съ одинаковымъ равнодушіемъ, и безумная любовь Ризенштерна пробудитъ въ васъ такъ же мало взаимности, какъ и безумная любовь Штейна...

— Я обошлась вамъ дорого и теперь вы хотите, чтобы я вернула вамъ затраченные капиталы! — запальчиво сказала Вѣра Андреевна.

— Вотъ какъ хорошо вы понимаете меня,—съ ироніей замѣтилъ Штейнъ.

— Да, но я понимаю и то, что...

— Я взялъ васъ въ одномъ платьѣ, — гнѣвно перебилъ Штейнъ,—обласкалъ, обогрѣлъ, нарядилъ и теперь...

— Я женщина падшая!—въ свою очередь гнѣвно перебила Вѣра Андреевна,—и у меня ничего нѣтъ, кромѣ позора! Положеніе мое—позоръ, жизнь моя — позоръ, и на всемъ существѣ моемъ лежитъ клеймо позора... Еслибы, умирающая, я протянула руку вашей матери, то она съ отвращеніемъ отвернулась бы отъ меня!..

— А вамъ бы хотѣлось, чтобы наши матери принимали въ свои объятья тѣхъ, кто поведеньемъ своимъ заслужилъ клеймо позора!..

Но тутъ Штейнъ внезапно опомнился.

— Другъ мой, мы оба разгнѣвались,—сказалъ онъ тихо,—и какъ всѣ разгнѣванные люди начинаемъ говорить глупости. Перейдемте на практическую почву и дайте мнѣ окончательный отвѣтъ, на что можетъ разсчитывать баронъ?

— Рѣшительно ни на что.

— Прекрасно. Какъ же вы думаете распорядиться собою.

— Я уѣду.

— Куда?

— Еще не знаю.

— Нужно знать, моя милая. Здоровья вы не крѣпкаго, зачѣмъ же вы будете подвергать себя лишеніямъ? Выслушайте

меня еще разъ спокойно, я сдѣлаю вамъ предложеніе, которое исходитъ изъ искренняго желанія вамъ добра. Примите любовь Ризенштерна, но съ условіемъ, чтобы онъ предварительно далъ вамъ въ руки двадцать-пять тысячъ гульденовъ. Онъ это сдѣлаетъ, я вамъ за это ручаюсь. Имѣя въ рукахъ эти деньги, вы очень скоро можете указать ему на дверь. Прошу васъ, позвольте мнѣ это устроить и, повѣрьте, мы всѣ будемъ очень довольны.

Штейнъ былъ блѣденъ и съ волненіемъ ожидалъ отвѣта Вѣры Андреевны. Ему было и тяжело, и гадко выставлять себя передъ нею въ неблаговидномъ свѣтѣ грубаго циника, но онъ дѣйствительно былъ разоренъ. Онъ безсмысленно бросилъ свой небольшой капиталъ на тщеславное желаніе блеснуть Вѣрой Андреевной. Цѣль его была достигнута, но онъ разорился въ конецъ и вошелъ въ неоплатные долги. Откровенно признаться въ этомъ Вѣрѣ Андреевнѣ Штейнъ никакъ не рѣшался. Но ему было тоже тяжело при мысли, что послѣднія недѣли ея жизни могутъ быть отравлены погромомъ описи и наплывомъ кредиторовъ. Онъ боялся, что, переживя униженіе, ей придется угаснуть гдѣ-нибудь въ скромномъ уголку, можетъ быть, лишенной даже тѣхъ матерьяльныхъ удобствъ, къ которымъ она привыкла.

Штейну пришлось искупить увлеченіе тщеславными порывами, страшнымъ нравственнымъ униженіемъ. Съ большимъ волненіемъ ожидалъ онъ отвѣта.

— Благодарю васъ, мосье Штейнъ, но ваше предложеніе не подходитъ мнѣ,—холодно отозвалась Вѣра Андреевна.

— Однако, чтожъ вы думаете дѣлать?

— Я буду телеграфировать мужу.

— Попросите прощенья?

— Если нужно, попрошу прощенья, и умру спокойно среди моихъ дѣтей,—тихо сказала она.

Штейнъ дрогнулъ.

— Кто говоритъ о смерти!—воскликнулъ онъ.

Вѣра Андреевна уже безъ гнѣва подошла къ Штейну.

— Генрихъ,—съ покорностью сказала она,—въ словахъ своихъ ты былъ жестокъ, и чаша, которую ты заставилъ меня испить, горька,—но я не ропщу, не протестую, не оправдываюсь. Ты во всемъ правъ, Генрихъ, а главное въ томъ, что честная женщина никогда не должна надѣвать на себя маску куртизанки... Я надѣла ее, и видишь—плачу́сь жизнью за свою глупость...

Рука только-что жестокаго Штейна съ нѣжностью легла на исхудалую ручку, едва опиравшуюся о его могучее плечо.

— Къ чему такія печальныя мысли и кто сказалъ тебѣ...

— Мнѣ ужъ давно говорило изнывшее сердце, — перебила Вѣра Андреевна и прижала обѣ руки къ груди,—глаза мои плакали слезами, а грудь моя надрывалась кровью...

И Вѣра Андреевна горько заплакала.

— Дитя мое, бѣдное,—шепталъ онъ, тихо прижимая ее къ груди,—да поможетъ тебѣ Господь!

Еще разъ Штейнъ былъ очарованъ, обвороженъ и глубоко тронутъ великой простотой души Вѣры Андреевны. Въ страшный и грозный моментъ близящагося конца Вѣра Андреевна еще разъ пробуждала его геній. Онъ едва касался до ея изстрадавшагося облика, а въ его воображеніи слагался цѣлый романъ, который долженъ былъ вызвать восторгъ и умиленіе его обширной родины...

Въ вечеру того же дня Штейнъ, по просьбѣ Вѣры Андреевны, самъ отнесъ депешу, адресованную Петру Николаевичу. Въ ней Вѣра Андреевна изъявляла желанье вернуться. Отвѣтъ не заставилъ ждать себя долго. „Обѣщаніе мое неизмѣнно, пріѣзжай“—отвѣтилъ Петръ Николаевичъ.

Вѣра Андреевна съ восторгомъ прижала къ губамъ дорогое посланіе.

На слѣдующій день Штейнъ проводилъ ее на желѣзную дорогу, заботливо усадилъ въ вагонъ, отправилъ съ ней курьера вплоть до Парижа, и много разъ поцѣловавъ ея разгорѣвшіяся щеки, отрѣзалъ на память прядь ея волосъ.

— И еще объ одномъ прошу тебя,—сказалъ онъ, — благослови меня на прощанье, чтобы вспоминая о тебѣ, я зналъ, что ты меня во всемъ простила.

Она благословила его. Раздался свистокъ, и Штейнъ вышелъ на платформу. Онъ долго стоялъ неподвижно и не могъ оторвать глаза отъ исчезающаго на вѣки милаго лица.

Кто-то гнѣвно схватилъ его за рукавъ.

— Гдѣ она!—прозвучалъ громовой голосъ, и передъ Штейномъ выросъ баронъ Ризенштернъ.

— Тамъ!—указалъ Штейнъ на быстро-удалявшійся поѣздъ.

— Вы обманули меня! вы оставили меня въ дуракахъ! Когда вамъ угодно будетъ принять моихъ секундантовъ?

— Не кричите, вы обращаете на насъ вниманіе.

— Я хочу и буду кричать!—запальчиво оралъ Ризенштернъ.

— Я спасъ васъ.

— За что и получите достойную благодарность! Спасли меня отъ гибели, не правда ли!?

— Отъ зрѣлища ужасной смерти—у нея чахотка.

— Вы лжете! кто вамъ это сказалъ?

— Консиліумъ,—и Штейнъ вынулъ изъ кармана бумагу, которую развернулъ передъ Ризенштерномъ. Въ ней баронъ прочелъ смертный приговоръ своей пламенной любви, подписанный полдюжиной извѣстнѣйшихъ вѣнскихъ эскулаповъ.

Онъ стоялъ безмолвно, пораженный.

— Чахотка, чахотка,—растерянно твердилъ онъ, — душная комната, худоба скелета, раздражающій кашель... А какъ она была очаровательна!..

— Когда же вы пошлете мнѣ секундантовъ?—презрительно освѣдомился Штейнъ.

— Простите, другъ, и забудьте мою горячность. Не судьба мнѣ, видно, пожить, какъ сердцу хочется!.. Нужно опять тянуть лямку съ этой рыжей капризницей. Поѣдемъ къ ней.

— Благодарю, я спѣшу домой.

— Куда домой! лишились вы теперь своей подруги, вдовцомъ поѣдете на Пратеръ.

И Ризенштернъ уныло покачалъ головой.

— Я женюсь.

— Женитесь! возможно ли? на комъ?

— На подругѣ сестры, на Эмиліи Франкгеймъ...

— На дочери банкира, на мильонершѣ?

— Да.

— Поздравляю отъ всей души. Эмилія—дѣвица изъ прекрасной фамиліи. Вы будете очень счастливы.

— Надѣюсь,—равнодушно промолвилъ Штейнъ и подумалъ: „дуракъ“.

А Вѣра Андреевна все болѣе и болѣе уносилась отъ того міра, гдѣ узнала только горечь раскаянія и ужасъ паденія, откуда уѣзжала униженная, разбитая. Можетъ быть, она еще не вполнѣ сознавала опасности своего положенія — смертельно подкошенная, она мечтала снова увидѣть свое родное гнѣздо, встрѣтить молчаливый укоръ матери, сдержанный привѣтъ мужа. За то дѣти, мнилось ей, съ какой радостью, они бросятся ей навстрѣчу! какъ прижметъ она ихъ къ сердцу, какъ закидаютъ они ее вопросами!

И унеслась счастливая мать въ міръ свѣтлыхъ видѣній...

XI.

Было холодное, мартовское утро, когда Вѣра Андреевна подъѣзжала къ Парижу. Бѣлый иней лежалъ на крышахъ высокихъ, мрачныхъ домовъ предмѣстья, окутанныхъ въ пелену сѣроватаго тумана. Парижъ еще не проснулся. Неметеный, съ улицами, покрытыми соромъ и скользкой грязью, обдалъ онъ Вѣру Андреевну томительнымъ унынiемъ; послѣ свѣтлаго, теплаго дня, проведеннаго наканунѣ съ яркими лучами солнца, врывавшимися въ окно вагона, онъ навелъ ей на душу тоскливое чувство.

Поѣздъ остановился, курьеръ отворилъ ей дверцу. Вѣра Андреевна уже давно искала глазами знакомыя и дорогiя лица, но въ толпѣ головъ у барьера не находила ни одного. Она послѣдовала за курьеромъ, еще и еще перебирая стоявшую гурьбой публику. Когда она уже прошла барьеръ и отдала билетъ, она увидѣла Анну у двери залы. О ней-то она ни разу и не подумала во всѣхъ своихъ мечтанiяхъ о радости свиданья!

— Здравствуй, Анна, ты одна?

— Одна. Здравствуй, милая Вѣра, какъ твое здоровье?

— Какъ видишь, не важно. Гдѣ же наши?

— Это твой курьеръ? пусть онъ посадитъ насъ въ карету, а самъ останется принять и привезти багажъ.

Вѣра Андреевна распорядилась.

— Гдѣ же наши?—повторила Вѣра Андреевна свой вопросъ, оставшiйся безъ отвѣта:—гдѣ мама? гдѣ Петя? гдѣ дѣти?

— У насъ тутъ безъ тебя случились большiя перемѣны,— вздохнула Анна.

— Они развѣ не въ Парижѣ?

— Петръ Николаевичъ въ Парижѣ.

— А мама, дѣти?

— Ихъ пока здѣсь нѣтъ.

Вѣра Андреевна заплакала.

— Гдѣ же они, гдѣ же?—повторяла она.

— Успокойся, другъ мой; ты, однако, немного похудѣла!

Вѣра Андреевна нервно схватила руки Анны.

— Прошу тебя, отвѣчай, говори!

— У насъ зимой случилось большое несчастье... Бэби...

— Умеръ!

— Да.

Съ пронзительнымъ крикомъ закрыла Вѣра Андреевна лицо

руками. Невыразимое торжество на мигъ отразилось на злобномъ лицѣ Анны, но она тотчасъ же подавила его.

— Не плачь, Вѣрочка,—утѣшала она, — это уже случилось давно... Онъ страдалъ только три дня... Онъ умеръ отъ дифтерита. Я ни на минуту не отходила отъ него... онъ умеръ на моихъ рукахъ...

— Умеръ... умеръ... а я... мнѣ ничего даже не написали!

Анна предвидѣла этотъ упрекъ, и уже заранѣе приготовила свой отвѣтъ, въ немъ-то и была вся тяжесть удара и все торжество побѣды.

— Другъ мой, — сказала она кротко, — ты оставила насъ, увлеченная порывомъ страсти. Положеніе наше на первыхъ порахъ было крайне грустное. Петръ Николаевичъ никакъ не могъ помириться съ мыслью, что ты полюбила другого,—съ тѣхъ поръ онъ сталъ пить. Мать твоя ходила какъ въ бреду. „Вѣра, Вѣра", кричала она,—„отдайте мнѣ дочь, вы убили ее, уничтожили!" Много труда стоило растолковать ей, въ чемъ дѣло. Но ты тогда была въ чаду любви, счастья, блеска, всеобщихъ восторговъ. Петръ Николаевичъ очень любитъ тебя, онъ самъ не хотѣлъ и намъ не позволялъ набросить тѣнь на твое новое счастье.

— О, Боже, Боже!—въ отчаяніи повторяла Вѣра Андреевна.

Анна замолчала.

— А дѣти?—тихо вымолвила Вѣра Андреевна.

Анна махнула рукой.

— Сердце изныло, глядя на нихъ,—грустно отозвалась она,— снерва они со дня на день ожидали тебя. Шумъ, звонокъ—и они уже на ногахъ, и въ перегонку бѣгутъ встрѣчать тебя. Но время шло—напряженное ожиданіе смѣнилось тяжелымъ унынiемъ. Особенно Бэби...

— Что Бэби?

— Онъ какъ будто началъ чахнуть... такъ что острая болѣзнь, отъ которой онъ умеръ, спасла его...

— Отъ медленной смерти!—воскликнула Вѣра Андреевна и откинулась въ уголъ кареты.

— Успокойся, другъ мой. Увѣряю тебя, мы тогда все сдѣлали, чтобы спасти остальныхъ дѣтей. Мы удалили ихъ изъ дома, зараженнаго дифтеритомъ. Александра Ивановна взяла Соню и увезла ее въ свое богатое имѣніе, въ Крымъ.

— Какъ далеко!

— Да, далеко. За то Соня окрѣпла, разцвѣла. Александра Ивановна пишетъ, что она вылитый портретъ твой.

— Мнѣ бы только взглянуть на нее!

— Они пріѣдутъ осенью, это уже рѣшено.

— Только черезъ полгода! Но я напишу мамѣ, попрошу ее пріѣхать раньше...

— Александра Ивановна была очень огорчена твоимъ пребываніемъ въ Вѣнѣ...

— Огорчена или озлоблена?

— Не то что озлоблена, а сильно раздражена. Твоя жизнь, такая открытая...

— Кто вамъ писалъ?

Анна усмѣхнулась.

— А газеты?—сказала она,—всѣ вѣнскія газеты и даже нашъ „Figaro“ всю зиму только и угощали насъ твоей славой.

Вѣра Андреевна покраснѣла до самыхъ волосъ и потупилась.

— Ну, мать твоя и была сердита,—продолжала Анна:—„жила бы тихо“, часто говаривала она мнѣ, „еще куда ни шло, и простить, пожалуй, можно было бы. А то къ позорному столбу себя бриллiантовыми гвоздями пригвоздила“. Ты знаешь, вѣдь Александра Ивановна немножко грубовата...

— А теперь, меня и простить нельзя, — тупо промолвила Вѣра Андреевна.

— Время все сгладитъ,—утѣшала Анна,—все забудется, тогда и простится...

— Подъ могильной плитой!—беззвучно прошептала Вѣра Андреевна:—Анна, вѣдь я умираю!

— Что за вздоръ, что ты выдумала! — воскликнула Анна, очень хорошо сознавая, что Вѣра Андреевна задѣта крыломъ смерти, но въ ея разсчеты вовсе не входило, чтобы Вѣра Андреевна вернулась умирающая. Къ умирающимъ сердца развязаются, предчувствуя близость кончины. Являются заботы о послѣднихъ дняхъ отходящаго. Инстинктивно хочется усладить ихъ и заставить страдальца незамѣтно испить горькую чашу. Нѣтъ той досады, той злой памяти, даже той вражды, которая не смягчилась бы передъ близостью смерти, а сердце матери, мужа, дѣтей?..

Нѣтъ, Аннѣ положительно было бы не сподручно, чтобы Вѣра Андреевна вернулась домой умирающая. Она снова наполнила бы заботами о себѣ всѣхъ своихъ близкихъ. Для нея пошла бы суета, возня, перемѣна. Преступница превратилась бы въ страдалицу, и гнѣвъ смѣнился бы на жалость. Семья сложилась бы по прежнему, счастье свиданія съ уцѣлѣвшими заставило бы примириться съ потерей утраченнаго, и Вѣра Андреевна, счастливо прожившая всю свою молодость, счастливо отошла бы отъ міра, среди слезъ, заботъ, благословеній и неутѣшнаго горя.

А она-то, Анна-то, что̀ будетъ дѣлать въ этой „траги-комической отрадной печали?“ Какое будетъ ея мѣсто?

Нѣтъ, Вѣра не больна! Петръ Николаевичъ не долженъ видѣть въ ней больную!

— Такія ли бываютъ умирающія! — съ улыбкой продолжала она,—на нихъ лица нѣтъ! А ты, Вѣра, просто устала съ дороги. Ты должна хорошенько отдохнуть. Кромѣ того, ты взволнована тѣми грустными новостями, которыя я должна была сообщить тебѣ... А можетъ быть, и твоя еще недавняя разсѣянная, свѣтская жизнь немного отзывается на тебѣ...

— Я ужъ давно больна,—замѣтила Вѣра Андреевна.

— Дома ты скоро поправишься. Я сама буду ходить за тобой, а тамъ, на лѣто, пріѣдутъ старшія дѣти...

— И ихъ нѣтъ дома!

— Нѣтъ. Саша въ Швейцаріи, въ превосходномъ пансіонѣ, гдѣ имъ очень довольны и не нахвалятся, а Олю—по ея убѣдительнѣйшимъ просьбамъ—мы отдали въ Лиль, къ сестрамъ...

— Въ монастырь?!

— Н-да, къ сестрамъ. Во время твоей отлучки, въ Олѣ все сильнѣе и сильнѣе сталъ проявляться какой-то мистицизмъ. Онъ наконецъ перешелъ въ idée fixe. Она часто плакала и повторяла, что единственное ея желаніе, это—молиться. „Отдайте меня туда,—умоляла она,—гдѣ всѣ молятся, и гдѣ меня научили бы молиться. Я хочу молиться за маму, за бѣдную маму“. Она такъ убѣдительно просила Петра Николаевича, что онъ уступилъ.

— И теперь безвинная дочь молится за преступную мать!— воскликнула Вѣра Андреевна и съ такимъ отчаяніемъ схватила себя за голову, что даже Анна пожалѣла, что зашла слишкомъ далеко.

Карета остановилась. Слуга высадилъ дамъ, и онѣ пошли по пустому дому. Все было по прежнему, все стояло въ порядкѣ и по мѣстамъ, какъ въ заброшенныхъ замкахъ. Шторы были спущены и бросали на всѣ предметы холодный полумракъ.

— Петръ Николаевичъ еще спитъ,—сказала Анна,—ты будешь имѣть время переодѣться и мы позавтракаемъ.

Анна позвонила. На звонокъ явилась дѣвушка, которой Анна приказала подать „madame“ горячей воды и прислуживать ей усердно. На другой звонокъ Анны явился лакей, которому она приказала поставить два прибора и приготовить чай. Анна приказывала отрывисто и распоряжалась тономъ, не терпящимъ возраженій, какъ истая хозяйка.

— До свиданья, Вѣра, ты, конечно, не забыла дорогу въ свою спальню?

Вѣра Андреевна вошла въ спальню. И тутъ все было разставлено симметрично, прибрано, вычищено. Но все въ комнатѣ какъ будто закостенѣло, и даже занахъ былъ какой-то затхлый, какъ бываетъ въ нежилыхъ покояхъ. Только полгода съ небольшимъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Вѣра Андреевна добровольно, по своему желанію, покинула эту комнату, и какъ все измѣнилось! Все рухнуло и разлетѣлось въ ея жизни, и сама жизнь теперь отлетала... Куда она ни оборачивалась, она камня на камнѣ не находила. Мать, мужъ, дѣти, здоровье, все, все безвозвратно утрачено! Остается только покорно склонить голову и безропотно встрѣтить смерть!

Потерянная, истерзанная, изнемогающая подъ бременемъ стольких ударовъ, стояла Вѣра Андреевна у изголовья своей постели. Она стояла одинокая среди милліоннаго міра, и не къ кому ей было обратиться за участіемъ или за утѣшеніемъ. Все было мертвенно-тихо въ этомъ мертвомъ домѣ и былъ онъ точно предверье безмолвной, холодной могилы...

И вдругъ среди агоніи ея безумнаго отчаянія, предъ нею предсталъ образъ дѣвочки—кроткіе глазки были опущены, нѣжныя губки тихо шептали молитву, дѣтскіе пальчики слагались въ крестъ...

Въ то туманное утро чистая молитва невиннаго ребенка встрѣтилась и слилась съ горячей молитвой раскаянія несчастной грѣшницы.

XII.

Было уже около полудня, когда Анна вошла къ Вѣрѣ Андреевнѣ и сказала ей, что Петръ Николаевичъ всталъ, желаетъ ее видѣть и ожидаетъ ее у себя въ кабинетѣ.

— Ты найдешь еще одну перемѣну — Викторъ живетъ съ нами. Петръ Николаевичъ и Викторъ затѣяли періодическое изданіе и имъ было очень неудобно жить порознь.

— Я знаю, я читала изданіе. Оно произвело впечатлѣніе въ Вѣнѣ и возбудило толки.

— Да; и было очень досадно для Петра Николаевича, когда вѣнскія газеты говорили о положеніи жены редактора.

— Я не читала, — покраснѣвъ, отозвалась Вѣра Андреевна.

— Штейнъ вѣрно пряталъ отъ тебя тѣ нумера, которые могли бы огорчить тебя.

— Возможно,—грустно сказала Вѣра Андреевна, и глаза ея случайно упали на фигуру Анны. Она быстро подняла голову.

— Кажется, и еще есть перемѣна... ты, кажется, скоро будешь матерью?..

— Да,—конфузливо проговорила Анна и улыбнулась,—и на мою долю выпадаетъ это счастье...

Страшная мысль, какъ молнія, промелькнула въ головѣ Вѣры Андреевны. Не даромъ Анна распоряжалась въ ея домѣ полною хозяйкой; не даромъ во всѣхъ ея разсказахъ звучало слово „мы"; не даромъ Петръ Николаевичъ не удостоилъ ее даже встрѣчи; не даромъ всѣ дѣти были разсованы по разнымъ угламъ; не даромъ Викторъ поселился съ Анной подъ однимъ кровомъ!

И Анна, все отнявшая у Вѣры Андреевны, все, начиная съ мужа, считается женщиной высоко-честной, а она... она...

— Этотъ ребенокъ отъ Пети? — прерывающимся голосомъ спросила она.

Она встрѣтила холодный, свинцовый взглядъ.

— Мой мужъ живетъ со мной подъ одной кровлей,—былъ отвѣтъ.

— Но вѣдь ты давно бросила мужа,—воскликнула Вѣра Андреевна.

— Теперь онъ здѣсь,—спокойно отозвалась Анна.

— Но это будущее дитя отъ моего мужа?

— Милая Вѣрочка, я совершенно не понимаю, съ чего ты такъ волнуешься! Ты измѣнила мужу и бросила его въ полномъ цвѣтѣ здоровья и силы, неужели ты воображала, что онъ сдѣлается анахоретомъ? Ты бросила его въ увлеченьи новой страстью, что же ты теперь можешь требовать отъ него... и отъ другихъ, — добавила она.

— Ничего,—задыхаясь, прошептала Вѣра Андреевна.

— То-то и мнѣ кажется, что ничего. Но пойдемъ къ Петру Николаевичу. Ему очень пріятно, что ты вернулась и, наконецъ, бросила свою совсѣмъ неподходящую жизнь въ Вѣнѣ.

Петръ Николаевичъ сидѣлъ у письменнаго стола, когда Вѣра Андреевна, въ сопровожденіи Анны, вошла къ нему въ кабинетъ. Онъ сдѣлалъ видъ, что погруженъ въ работу, а между тѣмъ, сердце его сильно билось.

— Петръ Николаевичъ, вотъ и Вѣрочка! — окликнула его Анна.

Петръ Николаевичъ вскочилъ и любезно расшаркался.

— А-а, Вѣрочка, хорошо ли обошлось путешествіе? Надолго ли къ намъ?—и онъ нагнулся, чтобы поцѣловать ея руку.

— Навсегда,—отвѣтила она, цѣлуя его въ високъ, и слеза ея упала ему на лобъ.

Онъ быстро поднялъ голову, и тутъ оба они внутренно испугались той перемѣны, которая произошла въ нихъ за эти мѣсяцы: —передъ нимъ стояла не жена, а тѣнь прежней жены. Передъ нею было обрюзгшее лицо, съ подтеками подъ глазами, съ сизоватымъ оттѣнкомъ щекъ и носа, съ значительной просѣдью въ порѣдѣвшихъ волосахъ и съ тѣмъ особеннымъ запахомъ, который присущъ людямъ испивающимъ.

Въ ужасѣ поглядѣли они другъ на друга, оба разомъ зарыдали и бросились другъ другу въ объятія.

Но тутъ стояла Анна. Съ самаго пріѣзда Вѣры Андреевны она больше всего опасалась сцены свиданья. Ея мучительная забота именно въ томъ и заключалась, чтобы Петръ Николаевичъ не растрогался. Съ крикомъ схватилась она за голову и повалилась на полъ. Она металась и рыдала, и разумѣется, все вниманіе тотчасъ же было устремлено на нее. Мало-по-малу, она, однако, успокоилась, и взявъ руку Вѣры Андреевны, увлекла ее въ свою комнату.

— Не сердись и не ревнуй,—говорила она,—но я откровенно признаюсь тебѣ, что люблю Петра Николаевича. Я любила его всю жизнь, но твоя любовь къ нему была свята для меня. Страдая, выжидала я долгіе годы, и только тогда взяла его, когда ты его бросила ради Штейна. Онъ былъ очень, очень несчастливъ, и я знаю, что меня онъ не любитъ такъ, какъ любилъ тебя, но теперь онъ мой, онъ отецъ моего будущаго ребенка, и пока я жива, я не отдамъ его!

— Я и не отнимаю его у тебя...

— Ты не можешь отнять, я не отдамъ!

— Но что съ нимъ? онъ на себя не похожъ?

— Ужъ это дѣло твоихъ рукъ!—рѣзко отрубила Анна:—но я и съ этимъ мирюсь, я принимаю его какъ онъ есть, со всѣми его недостатками, даже пороками. Лишь бы онъ былъ мой, и никто не дѣлалъ бы попытки лишить меня его...

Анна помолчала.

— Я говорю: никто,—продолжала она,—подразумѣвая тебя, Вѣра. Никто другой не можетъ отнять его у меня. Я не боюсь прекрасныхъ испанокъ, парижанокъ, англичанокъ—однимъ словомъ, всѣхъ этихъ минутныхъ подругъ случайнаго веселья. Я примиряюсь съ его минутными забавами внѣ дома, но дома онъ—мой, и горе той, которая захочетъ отнять его у меня!

Анна стояла, выпрямившись, съ угрозой въ поднятой рукѣ.

Глаза ея гнѣвно и злобно сверкали на Вѣру Андреевну. Непослушный клокъ волосъ, преждевременно посѣдѣвшій, густой прядью падалъ на переносицу длиннаго, немного выгнутаго носа, и верхняя тонкая губа, точно срѣзанная, легла на выпяченные впередъ, рѣдко посаженные зубы.

Больною и изнемогающей отъ слабости Вѣрой Андреевной овладѣлъ ужасъ. Въ паническомъ страхѣ вскочила она и хотѣла бѣжать, — ея слабыя ноги не повиновались. Въ глазахъ у нея потемнѣло — „Волчиха!“ — прозвучалъ въ воспоминаніи голосъ матери.

Сильный припадокъ кашля напомнилъ Вѣрѣ Андреевнѣ, что бороться съ „Волчихой“ ей не подъ силу.

— Какая тутъ борьба,—прошептала она, опустивъ вспотѣвшую голову на безсильную руку,—я вѣдь умираю...

— Полно, Вѣрочка, твоя слабость отъ волненія. Лягъ, усни. Ты въ путешествіи вѣрно не спала двѣ ночи.

„Нѣтъ счета тѣмъ ночамъ, которыя я не спала“, подумала Вѣра Андреевна и содрогнулась отъ прикосновенья Анны, помогавшей ей подняться съ кресла.

Подъ предлогомъ усталости Вѣра Андреевна весь остатокъ того дня провела въ своей комнатѣ. Одиночество было ей страшно, и покой ея безмолвной, безучастной комнаты доводилъ ея потрясенный умъ до томительнаго бреда, а больная грудь будто хрустѣла подъ тяжестью пудовой гири.

„Все въ мірѣ рушится, исчезаетъ, измѣняетъ,—подумала она,—одно только, говорятъ, остается неизмѣннымъ и несокрушимымъ—любовь матери... Всепрощающая, самоотверженная, святая!“

„Къ твоимъ ногамъ падаетъ несчастная дочь твоя, — стала писать Вѣра Андреевна письмо матери,—и молитъ о прощеніи. Мама, прости меня, я умираю! Послѣ многихъ мѣсяцевъ душевнаго мученья, я вернулась домой, но это уже не прежній домъ мой, это чужое гнѣздо, въ которомъ мнѣ отвели уголъ, гдѣ бы я могла умереть. Мама, мнѣ страшно! Въ моемъ прежнемъ домѣ, какъ въ своей берлогѣ, царитъ Волчиха. Она забрала Петю въ свои когти и уже показала мнѣ свои острые зубы. При первомъ моемъ движеніи, она бросится и разорветъ меня. Она таки обольстила Петю,—когда я это узнала, я и покинула васъ, дорогіе мои,—и теперь носитъ отъ него дитя. Мамочка, моя милая, я преступница, я въ этомъ сознаюсь, но я плачу жизнью за свою ошибку. Если преступленіе велико, то и искупленіе громадно... А самое страшное то, что теперь я въ полной власти этой Волчихи. У меня нѣтъ мужа—она взяла его. У меня нѣтъ дѣтей—

она разогнала ихъ. У меня нѣтъ матери — и опять-таки она, должно быть, этому причиной. Умоляю тебя, мама, пріѣзжай! Защити свою погибающую дочь! Когда я разскажу тебѣ обо всѣхъ моихъ страданіяхъ, когда ты увидишь, какой цѣной я искупаю свой проступокъ, тогда сердце твое не утерпитъ, и я умру на твоей родной груди, и родная рука твоя ляжетъ на мои холодѣющія вѣки. Сердце мое въ послѣдній разъ замретъ въ радостномъ біеніи, и мрачная тѣнь моей могилы озарится свѣтомъ твоего прощенья!.. Мама, приди ко мнѣ, родная, молю тебя приди... приди"...

Въ дверь тихо постучали, и голова Анны просунулась въ пріотворенную половинку.

— Не нужно ли тебѣ чего-нибудь? У тебя такъ тихо, мы думали, что ты уснула.

Анна вошла въ комнату, глаза ея такъ и бѣгали по письму.

— Я не спала, — отвѣтила Вѣра Андреевна.

— Вижу, ты, кажется, писала.

— Я писала мамѣ.

— Вѣрно звала ее пріѣхать? какая хорошая мысль! Пусть, въ самомъ дѣлѣ, она поскорѣй пріѣдетъ. Можетъ быть, тогда ты могла бы провести весну въ Ментонѣ или въ Сорренто. Теплый морской воздухъ быстро поставилъ бы тебя на ноги. И Соня была бы съ тобой. Пожалуй, Петръ Николаевичъ согласился бы послать съ тобой и Олю.

Радость блеснула на увядшемъ лицѣ Вѣры Андреевны.

— Я не вполнѣ помню адресъ мамы. Продиктуй, какъ нужно надписать его.

— Я и сама не помню его, но онъ у меня записанъ. Дай мнѣ письмо, я тотчасъ же надпишу его и пошлю. Оно сегодня же и пойдетъ.

Прійдя въ свою комнату, Анна повернула ключъ и сорвала конвертъ. Когда она прочла письмо, съ пылающими глазами подошла она къ зеркалу — и въ немъ дѣйствительно отразилась разъяренная морда Волчихи. На секунду сама Анна съ отвращеніемъ отвернулась отъ себя, но потомъ она приподняла и приколола свой сѣдоватый клокъ, соразмѣрила насколько вѣко должно падать на свинцовый глазъ, чтобы умѣрить его зловѣщій блескъ и придать ему нѣкоторую мягкость. Рѣшила впредь не позабывать держать верхнюю губу такъ, чтобы не слишкомъ обнажать хищные зубы, и изучила то наклоненіе головы, которое придавало ей приниженный видъ. А письмецо она замкнула въ ящичекъ съ секретнымъ замочкомъ, который въ свою очередь

заперла въ самый потаенный уголокъ своего письменнаго стола. Это былъ первый экземпляръ той коллекціи, которую она рѣшилась сдѣлать изъ всѣхъ чувствительныхъ посланій сантиментальной дочки къ дѣтолюбивой матушкѣ.

Между тѣмъ, написавъ матери, Вѣра Андреевна немного успокоилась. Ее стала поддерживать надежда на скорое свиданіе. Она терпѣливо переживала однообразные дни; выходила въ столовую къ обѣду и садилась на свое мѣсто хозяйки; остатокъ дня проводила въ кабинетѣ Петра Николаевича, куда каждый вечеръ заглядывали нѣкоторые изъ его близкихъ пріятелей.

Въ такомъ затишьи прошла первая недѣля. Въ концѣ второй Вѣра Андреевна уже начала волноваться.

— Хорошо ли ты надписала адресъ?—спрашивала она Анну.

— Очень хорошо, совершенно вѣрно. Я принесу тебѣ его, чтобы ты сама въ другой разъ надписала письмо. Нужно немножко терпѣнія, подожди еще нѣсколько дней, почта бываетъ такъ неаккуратна.

— Я подожду.

И Вѣра Андреевна ждала. Но дни проходили, и нетерпѣніе ея и безпокойство росли. Она прислушивалась къ каждому звонку; издали узнавала шаги почтальона; не могла дождаться, когда онъ вручитъ прибывшую корреспонденцію. Потомъ на лицѣ ея отражались разочарованіе и тоска, и сдержанный вздохъ тяжело сдавливалъ больную грудь.

— Такъ ожидали тебя дѣти, — замѣтила однажды Анна съ участіемъ,—но ты не должна падать духомъ, Вѣрочка. Все въ свое время разъяснится. Въ жизни нужно много терпѣнія.

— У меня, кажется, есть терпѣніе, — возразила Вѣра Андреевна,—скажи Анна, мама уѣзжала очень разсерженная?

— Да, очень. Она даже...—впрочемъ нѣтъ...

— Что даже?

— Ничего. На что огорчать тебя какими-нибудь отжившими предразсудками.

— Прошу тебя, договори, что начала.

— Ты непремѣнно этого желаешь?

— Я прошу.

— Смотри, Вѣра, не обвиняй меня потомъ въ жестокости.

Вѣра Андреевна покачала головой.

— Александра Ивановна, уѣзжая, прокляла тебя! Видишь, другъ мой, ты напрасно настаивала!..

Блѣдная, шатающаяся, Вѣра Андреевна ухватилась за край стола.

— Прокляла... о Господи!.. прокляла... — твердила она.

— Другъ мой, всѣ эти проклятія отживающихъ старухъ одни пустыя слова, не имѣющія никакого смысла...

— Прокляла, прокляла,—съ восторженной экзальтаціей болѣзненнаго состоянія твердила Вѣра Андреевна, не слыша даже словъ Анны,—надо мною тяготѣетъ проклятіе матери!..

Чаша горести переполнилась. Вѣра Андреевна слегла. Докторъ, лечившій ее, сказалъ Аннѣ, что очень опасается послѣдствій большой слабости и желаетъ консиліума. Анна не дала ему войти въ кабинетъ Петра Николаевича.

— Два слова, докторъ, — торопливо сказала она: — кузина моя плоха, очень плоха, бѣдняжка, это и я вижу. Она таетъ съ каждымъ днемъ, и я думаю, какъ и вы, докторъ, что у нея чахотка. Но ради человѣколюбія подождите съ консиліумомъ. Вепринъ обожаетъ жену; мысль потерять ее могла бы довести его до отчаяннаго поступка. Тогда бѣдные дѣти моихъ родственниковъ лишились бы разомъ и отца, и матери. Взываю къ вашему чувству, докторъ, и во имя сиротъ, прошу пощадить ихъ!

— Положеніе мое очень щекотливо,—отозвался докторъ, — я боюсь, какъ бы господинъ Вепринъ потомъ не былъ на меня въ претензіи.

— Спасти кузину вы можете?

— Увы, не надѣюсь!

— Такъ подарите мнѣ нѣсколько дней, чтобы я могла, по крайней мѣрѣ, приготовить Веприна къ неотразимому удару. Какъ долго можетъ прожить кузина?

— Съ мѣсяцъ или недѣль шесть...

— Такъ дайте мнѣ нѣсколько дней, и я постараюсь такъ подготовить Веприна, что приговоръ консиліума не обрушится на него, какъ громовой ударъ.

— Извольте, будь по вашему, вы такъ добры!—воскликнулъ докторъ и съ чувствомъ пожалъ Аннѣ обѣ руки.

Только-что онъ скрылся за дверью, Анна опять заперлась въ свою комнату и вынула изъ кармана второе письмо Вѣры Андреевны къ матери.

„Мама,—читала она съ нетерпѣливымъ любопытствомъ,—ты не пишешь, не отвѣчаешь, и я только на дняхъ узнала о причинѣ твоего молчанія. Анна долго не рѣшалась сказать, но наконецъ правда вырвалась у нея. Мама, ты ли это такая добрая, всепрощающая! Ты ли могла проклясть меня, несчастную! Это проклятіе тяготѣетъ надо мной и если я скоро не умру, то, кажется, сойду съ ума... Пощади меня, прости. Я не хочу уми-

рать съ твоимъ проклятіемъ! Если тебѣ тяжела мысль увидѣть меня, преступную, напиши слово прощенія, и среди моего безконечнаго несчастья, я все же умру спокойная. Мнѣ такъ тяжело!.. еслибы ты только могла заглянуть въ мою душу, глаза твои ослѣпли бы отъ жалости... И все кажется мнѣ, что преступленіе мое не было такъ велико, чтобы обрушиться на меня съ такою звѣрской карой. И мерещится мнѣ, въ часы моей горячечной безсонницы, что въ жизни моей примѣшался какой-то злой духъ. Онъ прильнулъ къ самому сердцу моему и одну за другой загубилъ всѣ мои радости, все, чѣмъ жизнь моя была свѣтла и богата... А теперь онъ досасываетъ послѣднія капли крови, которыя еще не вылились изъ груди моей съ надрывающимъ кашлемъ. Злой геній этотъ является мнѣ въ образѣ Анны. Мои несчастія начались съ минуты нашей встрѣчи въ Трувилѣ. Все пошло верхъ дномъ и зданіе моего счастья было потрясено въ самомъ его основаніи. Еслибы ты знала, какой ужасъ наводитъ на меня эта женщина! Она всегда тутъ, всегда я чувствую надъ собой тотъ злобный взглядъ, который однажды случайно подмѣтила. Черная тѣнь ея, точно образъ смерти, юркнетъ тутъ, юркнетъ тамъ и злобно сверкнетъ на меня хищными глазами. И я вся застыну отъ внутренняго холода... Мама, заклинаю тебя, спаси меня!.. Мнѣ страшно... я боюсь... вѣдь я умираю!.. Спаси меня!..“

Анна аккуратно сложила и это письмо, и спрятала его въ ящикъ вмѣстѣ съ первымъ. Она постояла у окна, подумала и отправилась въ кабинетъ Петра Николаевича.

Вепринъ задумчиво и грустно сидѣлъ въ уголку.

— А Вѣра-то, кажется, очень больна?—встрѣтилъ онъ Анну вопросомъ.

— Да, нервы ея порядочно разстроены.

— Помилуй, Анна, ужъ тутъ не нервы!

— Докторъ увѣряетъ, что одни только нервы. Вѣдь всѣ нервныя разстройства ужасно изнуряютъ.

— А кашель? а кровь горломъ?

— Ну, другъ мой, все это преувеличено! когда же она кашляетъ? и много ли разъ у нея шла горломъ кровь?

— Я слышу, что она постоянно кашляетъ.

— Да, когда ты дома, или мы у тебя въ кабинетѣ.

— Ты хочешь сказать, что Вѣра нарочно представляется?

— Не нарочно, а для того, чтобы возбудить къ себѣ жалость.

— Ты лжешь, Анна! ты это говоришь, чтобы меня утѣшить!

Анна обвилась руками около его шеи.

— Другъ мой,—мягко сказала она,—не я утѣшу тебя, а то маленькое существо, которое бьется у меня подъ сердцемъ. Оно должно скоро явиться на свѣтъ, Пьеръ,—я боюсь, очень скоро, можетъ быть, раньше времени. Мы должны ѣхать...

— Куда? Зачѣмъ!—воскликнулъ Петръ Николаевичъ.

— Ты обѣщалъ...

— Да, но тогда не было больной Вѣры! У тебя есть мужъ, Анна, онъ живетъ съ нами, ему все равно, онъ дастъ ребенку имя.

— Ему все равно и тебѣ тоже, можетъ быть, все равно, но мнѣ совсѣмъ не все равно! Плодъ нашей любви долженъ носить твое имя! Это было условлено, обѣщано... Это мое право, и я его требую!

— Обстоятельства съ тѣхъ поръ измѣнились...

— Нисколько, ничего не измѣнилось! Вѣра совсѣмъ не такъ опасно больна, чтобы мы не могли оставить ее на недѣльку, окруженную прекраснымъ уходомъ и всѣми удобствами. У нея сидѣлка, докторъ, можетъ быть, скоро подъѣдетъ и Александра Ивановна.

— Ты отослала письмо?

— Разумѣется; тотчасъ же. Ну когда же мы ѣдемъ и куда?

— А когда мы вернемся, кто объявитъ Вѣрѣ, что мы безъ ея спроса записали ее матерью чужого ребенка?

— Я объявлю, если у тебя не достанетъ храбрости. Повѣрь, Пьеръ, Вѣрѣ будетъ все равно, она не такая мелочная.

— Она женщина безконечной доброты...

— Да, да,—нетерпѣливо перебила Анна:—это уже давно извѣстно, она женщина безконечной доброты и добродѣтели...

— Молчи, Анна!—и Петръ Николаевичъ порывисто всталъ.

— Мы должны ѣхать послѣ завтра,—сказала Анна, презрительно пожавъ плечами,—собирайся.

— Увидимъ,—отозвался Вепринъ.

Анна заплакала.

— И ты готовъ пожертвовать мною, невиннымъ младенцемъ,—сказала она сквозь слезы,—для женщины, которая тебя разлюбила, бросила, опозорила твое имя! И только потому, что она надоѣла своимъ любовникамъ и что ее выпроводили вонъ, ты ставишь ее на пьедесталъ мученичества, а меня, любящую, какъ старый башмакъ выбрасываешь вонъ.

Она подошла къ нему, угрюмо сѣвшему на прежнее мѣсто.

— Вспомни, Пьеръ,—сказала она,—что было, когда жена бросила тебя и малолѣтнихъ дѣтей? Въ этихъ стѣнахъ, начиная съ тебя, все ревомъ ревѣло, и не будь тогда моей безумной любви

къ тебѣ, неизвѣстно, чѣмъ бы все это кончилось, и что бы сталось со всѣми вами!

Петръ Николаевичъ поцѣловалъ руку Анны.

— И я тебѣ отъ всей души благодаренъ,—сказалъ онъ,—я отдаю тебѣ полную справедливость—со мной ты всегда была уступчива, съ дѣтьми терпѣлива. Ты утѣшала меня и ласкала ихъ, но Анна, жизнь моя все же связана съ Вѣрой.

— Я это понимаю,—угрюмо отозвалась Анна,—потому и прошу у тебя послѣдняго доказательства признательности, которую я все же немножко заслужила. Ни я, ни мой бѣдный ребенокъ, мы не будемъ потомъ для васъ помѣхой. Когда Вѣра поправится, когда вернутся дѣти и Александра Ивановна, тогда, дорогой мой, клянусь тебѣ, я уѣду далеко и только ребенокъ, носящій твое имя, будетъ напоминать мнѣ о моемъ короткомъ счастьѣ и о томъ единственномъ человѣкѣ, котораго я такъ пламенно и такъ безнадежно любила всю свою жизнь!

Анна встала на колѣни около кресла Петра Николаевича и цѣловала его руки.

— Пьеръ,—умоляла она,—дай мнѣ этотъ послѣдній знакъ твоей признательности, и я на вѣки отстранюсь отъ твоей жизни.

— Хорошо,—сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ,—собирайся.

Анна быстро собралась въ путь, оставя мужу и прислугѣ самыя точныя приказанія. Особенно точны были они относительно корреспонденціи Вѣры Андреевны, т.-е. тѣхъ писемъ, которыя она могла бы получить, а главное, написать. Прислугѣ строго-на-строго было приказано всякое письмо или телеграмму, врученную Вѣрой Андреевной, передавать Погорѣлову, а мужу, подъ секретомъ, Анна разсказала такія страсти про злобу Александры Ивановны на дочь, что Погорѣловъ призналъ совершенно основательнымъ не допускать до больной и слабой Вѣры Андреевны посланій „старой вѣдьмы“ и не посылать ей писемъ дочери.

Вѣру Андреевну окружила нѣмая безнадежная, ничѣмъ ненарушимая тишина. Дни и ночи слились для нея въ какую-то безпредѣльную, мучительную вѣчность. Она смирилась такъ всецѣло и такъ абсолютно, что даже сестра милосердія, ходившая за ней, утирала украдкой набѣгавшую слезу, глядя на безропотность и кротость этой сознательно-умирающей женщины.

Опять было начало мая, опять лежала на кушеткѣ молодая женщина, закутанная пледами. Но вмѣсто роскоши южной природы—виднѣлись въ окно стѣны высокихъ домовъ. Вмѣсто беззаботныхъ лицъ счастливыхъ дѣтей—изъ угла комнаты серьезно и уныло выглядывало блѣдное, некрасивое лицо сестры милосердія,

изнуренное постомъ, молитвами и безсонными ночами, на половину скрытое огромными полями бѣлой форменной шляпы. Вмѣсто веселыхъ споровъ дружескаго кружка—безмолвіе и заброшенность одиночества.

Докторъ не могъ понять послѣ своего разговора съ Анной, почему Вепринъ оставилъ на такой долгій срокъ свою опасно больную жену. Въ его голову закрадывались всевозможныя подозрѣнія и сомнѣнія, и онъ упрекалъ себя, что тогда не настоялъ на консиліумѣ. Онъ жалѣлъ, что послушалъ Анну, вмѣсто того, чтобы прямо высказать Веприну печальное подозрѣніе, которое съ каждымъ днемъ дѣлалось яснѣе и яснѣе.

Наконецъ, въ теплый майскій вечеръ, когда, на улицѣ уже стемнѣло, къ крыльцу подъѣхала карета, и въ домѣ скоро раздался плачъ младенца.

Петръ Николаевичъ вошелъ къ Вѣрѣ Андреевнѣ, и побывъ съ нею нѣсколько минутъ, ушелъ и увелъ съ собою сестру милосердія. Тогда въ комнату тихо вошла Анна съ ребенкомъ на рукахъ, завернутымъ въ пеленки, обшитыя дорогимъ кружевомъ.

— Вотъ твой новый младенецъ,—сказала она, кладя ребенка на колѣни Вѣры Андреевны,—прими его.

— Развѣ я буду его крестной матерью? — спросила Вѣра Андреевна.

— Ты его мать,—смиренно отозвалась Анна.

— То-есть какъ же это?

— Петръ Николаевичъ записалъ его на свое и на твое имя.

Вѣра Андреевна посмотрѣла на крошечное личико новорожденной, и не смотря на всю горечь новой печали, тихо поднесла его къ своимъ губамъ.

— Какъ вы назвали дитя?—спросила она.

— Любовью!

Въ ту же ночь, съ большими усиліями и часто отдыхая, писала Вѣра Андреевна матери:

„Мама,—писала она,—хотя я и потеряла надежду тронуть твое сердце и смягчить твой справедливый гнѣвъ, но я все же еще и еще припадаю къ ногамъ твоимъ съ мольбой о прощеніи. Прости меня, хоть ради того добраго дѣла, которое я сдѣлала сегодня:—я не оттолкнула отъ себя ребенка своего злѣйшаго врага. Чѣмъ бѣдное дитя виновато! — Она принесла мнѣ его, этотъ плодъ своей жадной и всепожирающей страсти, и положила мнѣ его на колѣни. Она и назвала дѣвочку Любовью. Мама, справедливо ли, чтобы ее записали моей дочерью, не спрося на

это моего согласія? Но я не хочу спорить ради дѣвочки... Да ужъ и что-жъ мнѣ спорить!.. меня все равно скоро не будетъ...

„Надѣюсь, что жизнь этого новаго гостя на нашей землѣ будетъ яснѣе и счастливѣе нашей. Надѣюсь, что она не узнаетъ ни горечи измѣны, ни ужаса паденія. А главное, не узнаетъ никогда, какъ много страданій доставила мнѣ, ея мнимой матери, ея настоящая мать. Съ какой утонченной жестокостью, она отобрала отъ меня все, а главное дѣтей. Такъ я и умру, не прижавъ къ груди ихъ дорогія головки, не сказавъ имъ, какъ горячо я ихъ люблю, не почувствовавъ на холодѣющей щекѣ своей ихъ дѣтской ласки... И все же, мама, я прощаю ей! да найдетъ она счастье и отраду въ дочери, и подъ вліяніемъ невинной дѣтской души, да смягчится ея каменное сердце.

„Мнѣ худо, мама, очень худо... кровь хлынула ручьемъ... Прощай, прощай на вѣки!“...

Утромъ сестра милосердія передала это письмо Аннѣ. Его постигла та же участь, какъ и предъидущія, но сердце Анны смягчилось. Ребенокъ ея былъ признанъ и принятъ. Вѣра Андреевна не могла больше ничѣмъ повредить ей—она безмолвно и безсильно дотягивала свои послѣдніе дни.

— Меня очень безпокоитъ состояніе Вѣрочки, — сказала она Петру Николаевичу,—нужно созвать консиліумъ и телеграфировать Александрѣ Ивановнѣ, чтобъ она непремѣнно пріѣхала.

Консиліумъ состоялся на слѣдующій же день, и знаменитости Парижа только удивлялись, на чемъ держится жизнь Вѣры Андреевны.

Петръ Николаевичъ былъ извѣщенъ о близкой потерѣ.

— Мама отвѣтила!—сказала въ тотъ же вечеръ Анна, передавая Вѣрѣ Андреевнѣ телеграмму, — она ѣдетъ, она благословляетъ тебя!

Вѣра Андреевна жадно ухватилась обѣими руками за протянутую ей депешу. Съ глубокимъ вздохомъ облегченья и свѣтлой улыбкой упала она на подушки.

— Дай мнѣ Любу! — сказала она тихо, и на нѣсколько минутъ впала въ забытье, прижимая дитя къ своему сердцу.

Къ ночи измученную сестру милосердія перевели въ сосѣднюю комнату, и Петръ Николаевичъ непремѣнно самъ хотѣлъ остаться съ больной. Вѣра Андреевна была безпокойна.

— Что это съ мной дѣлается, — нервно говорила она, вся горя какъ въ огнѣ,—сердце мое бьется точно птица въ клѣткѣ—приложи сюда руку, Петя, слышишь... слышишь... Ой тяжело, тяжело, неловко...

И Петръ Николаевичъ бережно приподымалъ жену и поправлялъ ей подушки.

— Петя, — сказала Вѣра Андреевна уже къ утру, когда Петръ Николаевичъ обнялъ ее, чтобы приподнять,—скажи мнѣ, любишь ты Анну?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ и порывисто прижалъ свою пылающую щеку къ ея мокрой щекѣ.

— Ахъ, Петя... и мы могли такъ прожить... и ты не пріѣхалъ за мной...

— Ты любила другого,—произнесъ онъ чуть внятно.

Холодѣющія руки ея, съ посинѣвшими уже ногтями, обвились около его шеи.

— Тебя я любила, — прошептала она, — тебя одного... неизмѣнно и вѣчно... до послѣдняго издыханья...

Она безпокойно заметалась.

— Спать, спать хочу, — говорила она, — я устала, я спать хочу... положи меня хорошенько, чтобы кости мои не болѣли... Теперь хорошо... прощай, Петя... поцѣлуй меня, прощай... прощай...

Онъ положилъ ее на цѣлую гору взбитыхъ подушекъ, и Вѣра Андреевна постепенно отошла отъ міра, просто, какъ проста она была во всемъ, что дѣлала.

Петръ Николаевичъ долго сидѣлъ въ полумракѣ комнаты. Онъ ждалъ зова и вмѣстѣ съ тѣмъ невольно останавливался мыслью и на словахъ умирающей, и на печальныхъ событіяхъ истекшаго года. Внезапно повязка, такъ долго затмѣвавшая его глаза, упала—онъ прозрѣлъ! Онъ понялъ, что онъ былъ игрушкою злой воли третьяго лица. Теперь онъ видѣлъ ясно, что онъ самъ, онъ одинъ и только онъ, былъ виновникомъ всего случившагося, всей этой страшной трагедіи съ погибающею жертвою искупленья. Виновникомъ безвиннымъ, какъ медикъ, невѣдомо для себя самого отравляющій паціента, какъ охотникъ, нечаянно пускающій зарядъ въ своего лучшаго друга, но все же виновникомъ одной изъ тѣхъ ужасныхъ случайностей, которыя на всю послѣдующую жизнь набрасываютъ мрачную тѣнь, ничѣмъ не изгладимую, примѣшивающуюся ко всѣмъ радостямъ жизни и камнемъ давящую вѣчно тоскующее сердце.

Какъ могъ Петръ Николаевичъ не понять всего этого раньше? Теперь же ему было такъ ясно, такъ очевидно, что подъ личиной участія къ Вѣрѣ Андреевнѣ Анна чувствовала къ ней завистливую ненависть. Она не могла простить Вѣрѣ Андреевнѣ ея красоту, ея привлекательность, а главное, того, что она была любима такъ искренно и такъ долго!

Некрасивая Анна въ первый разъ представилась Веприну такою же уродливою нравственно, какою была физически. И этотъ-то уродъ, этотъ ходячій порочный, злобный духъ, могъ обойти его? Чѣмъ объяснить это, гдѣ найти этому какое-нибудь оправданіе?

Въ его собственномъ душевномъ разладѣ.

Когда, въ Трувилѣ, онъ встрѣтилъ Анну, онъ былъ подъ властью минутнаго, но сильнаго увлеченія. Красота Стеллы разожгла въ немъ бурный порывъ страсти—онъ не устоялъ противъ искушенія, но въ то же время онъ презиралъ себя за Стеллу. Каждый разъ, когда онъ возвращался изъ Парижа въ Трувиль и его встрѣчала Вѣра,—Вѣра, всегда бѣжавшая къ нему на-встрѣчу съ радостной улыбкой, теперь же грустная, съ отпечаткомъ пошатнувшагося довѣрія къ нему, — Вепринъ внутренно содрогался, нравственно страдалъ, не могъ долго вынести пытки и снова ѣхалъ въ Парижъ съ твердымъ рѣшеніемъ на этотъ разъ порвать со Стеллой круто, окончательно, навсегда.

Но она являлась сіяющая и обольстительная, задорная и капризная, и разумъ умолкалъ, слѣпая страсть торжествовала!

Этой-то двойственностью, поселившей разладъ во внутреннемъ мірѣ Веприна, потрясшей его обыкновенно твердый духъ, воспользовалось третье лицо для своихъ цѣлей.

Все, все припомнилось Петру Николаевичу, каждая мелочь отчеканилась въ его мозгу отчетливо и ясно. Онъ спрашивалъ себя еще и еще: какъ все это тогда же не пришло ему въ голову?—какъ могъ онъ быть до такой степени ослѣпленнымъ, чтобы съ первыхъ же встрѣчъ съ Анной не догадаться, къ чему она ведетъ свои подходы? А ему тогда и въ голову не приходило, что Анна могла бы быть для него опасна какъ женщина. Она подошла къ нему скорѣе какъ товарищъ, чѣмъ какъ влюбленная женщина. Въ ней все было угловато, рѣзко, даже слишкомъ прямодушно. Онъ не могъ и заподозрить въ ней какое-либо чувство. И до самаго рокового момента, когда она, поймавъ его въ свои сѣти, заманила его къ себѣ, она искусно съумѣла сохранить тайну своей ни передъ чѣмъ не останавливающейся страсти.

Онъ теперь припомнилъ, что въ одну изъ первыхъ же встрѣчъ ихъ Анна бросила ему въ лицо дерзкую насмѣшку, что онъ хватаетъ съ неба звѣзды, а не видитъ, что дѣлается у него подъ носомъ, и онъ, нравственно ослѣпнувшій, дѣйствительно ничего не видѣлъ, не соображалъ, не замѣчалъ. Не замѣчалъ и того, какъ Анна постепенно притягивала его въ свои лапы и наконецъ

завладѣла имъ. Подъ ехиднымъ покровомъ дружбы и любви къ Вѣрѣ, она начала копать ей ту яму, въ которую онъ самъ, собственноручно, долженъ былъ столкнуть Вѣру. И онъ это сдѣлалъ... и даже съ убѣжденіемъ, что онъ правъ, а она виновна!..

И онъ, человѣкъ, переживший столько прекрасныхъ, истинно-человѣческихъ моментовъ во всѣ года своей счастливой жизни съ любимой женщиной, могъ попасться въ эту предательскую ловушку! И когда несчастная жена его, въ своемъ отчаяніи, въ своей беззащитности кричала ему: „Это не правда, я не люблю Штейна, я тебя люблю, тебя, тебя!“—онъ отвернулся отъ Вѣры и прильнулъ къ той...

Она ушла безмолвная въ своемъ отчаяніи, разбитая, смертельно подкошенная, поруганная во всѣхъ завѣтныхъ чувствахъ своихъ... Что же могла она сдѣлать другого?

Онъ бушевалъ, бѣсновался, и пилъ, для того, чтобы въ его головѣ вѣчно ходилъ туманъ и затмѣвалъ гнетущую тоску, въ каждую ясную минуту охватывавшую все существо его.

Въ безпредѣльномъ отчаяніи взглянулъ Петръ Николаевичъ на торжественное ложе умирающей—она угасала—въ этомъ не было никакого сомнѣнья... Скоро, скоро ея больше не станетъ... Такъ пусть же она отойдетъ, услышавъ изъ его устъ горячія мольбы раскаянія; пусть она угаснетъ торжествующая и побѣдоносная! — прощеньемъ своимъ пусть дастъ ему твердость терпѣливо принять наказаніе и послѣднимъ поцѣлуемъ своимъ пусть благословитъ его на цѣлую жизнь искупленія.

Петръ Николаевичъ осторожно всталъ и подошелъ къ изголовью — сонъ Вѣры Андреевны былъ тихій, глубокій, непробудный...

Онъ овдовѣлъ.

Н. А. Таль.

ТОРМАЗЫ
НОВАГО РУССКАГО ИСКУССТВА

(Окончаніе).

XIV *).

Можетъ быть, многіе скажутъ: „А Глинка? А Даргомыжскій? Вѣдь они явились у насъ раньше основанія консерваторіи, вѣдь они давно уже признаны у насъ не только крупными, но самостоятельными талантами, начавшими новую эру въ музыкѣ. Значитъ, они явились сильнымъ противовѣсомъ общей низменности вкусовъ и понятій, они ихъ навѣрное повысили, они помогли подъему музыкальной интеллектуальности въ нашемъ отечествѣ". Да, это дѣйствительно такъ, это дѣйствительно случилось, но не сразу, не въ первое же время, а гораздо позже. Въ первое время и Глинка и Даргомыжскій потерпѣли крушеніе. Ихъ напередъ надо было самихъ пропагандировать и прививать, прежде, чѣмъ они оказали какое нибудь вліяніе на массу. Ихъ долго не хотѣли знать, ихъ долго отталкивали. Первоначальное „признаніе" ихъ было очень сомнительнаго свойства, а для большинства оно было, пожалуй, только на словахъ: симпатіи публики лежали вовсе не къ нимъ. Теперь, имѣя передъ глазами результаты послѣднихъ лѣтъ, видя прочную позицію Глинки и Даргомыжскаго въ нашей музыкѣ, легко было-бы подумать, что и всегда, съ самого же начала, оба наши великіе композитора были окружены тѣмъ самымъ почтеніемъ, что и нынче. Но на дѣлѣ было совсѣмъ иначе. Надо припомнить факты.

*) См. выше: апрѣль, стр. 526.

Когда Глинка началъ свой великій переворотъ, когда онъ водрузилъ у насъ знамя самостоятельности и національности въ музыкѣ, одни остались равнодушны, другіе разсердились. Но всего примѣчательнѣе и любопытнѣе были тѣ, которые — удивлялись. Юрій Арнольдъ разсказываетъ въ статьѣ, написанной по-нѣмецки и назначенной, 20 лѣтъ тому назадъ, дать нѣмцамъ понятіе о ходѣ музыки въ Россіи, что, когда опера „Жизнь за царя“ явилась на сценѣ, которое-то „лицо“, высоко стоявшее у насъ въ театральномъ мірѣ, съ величайшимъ изумленіемъ говорило: „Я право не знаю, чего хотятъ эти господа? За-границей есть столько знаменитыхъ оперъ, что намъ нечего дѣлать съ русскими сочиненіями“ (Neue Zeitschrift für Musik, 1863, № 10). Фактъ характерный. Подобные люди даже и не догадывались, что оперы Глинки — это совершенно новый міръ музыкальный, начало новой эры для насъ, а, можетъ быть, однажды, и для другихъ. Имъ казалось, что оперы Глинки—одно и тоже со всѣми остальными операми, только „понепріятнѣе и поскучнѣе“ тѣхъ, которыя они обыкновенно потребляютъ и любятъ.

Даже такіе, казалось бы, музыкально-образованные люди, какъ князь Одоевскій, люди, учившіеся солидной техникѣ, прошедшіе всю школьную музыкальную премудрость, были тогда въ своихъ понятіяхъ все-таки до крайности слабы, шатки и незначительны. Въ разборѣ „Жизни за царя“, написанномъ тотчасъ же при появленіи оперы на сценѣ, князь Одоевскій признавалъ Глинку композиторомъ геніальнымъ, создателемъ русской оперы, но тутъ же вмѣстѣ признавалъ „прекрасными“ сочиненія графа Віельгорскаго, Верстовскаго, Геништы; онъ заявлялъ, что съ оперою Глинки „является новая стихія въ искусствѣ и начинается новый періодъ: періодъ русской музыки“, но тутъ же вмѣстѣ признавалъ, что и въ сочиненіяхъ тѣхъ трехъ композиторовъ—предшественниковъ Глинки, „у насъ были счастливыя попытки отыскать общія формы русской мелодіи и гармоніи. Но никогда еще употребленіе этихъ формъ не было сдѣлано въ такомъ огромномъ размѣрѣ, какъ въ операхъ Глинки“ (Сѣверная пчела, 1836, № 280). Итакъ, разница была только въ размѣрахъ! Итакъ, князь Одоевскій не чувствовалъ той разницы, которая существовала между фальшью никуда негодныхъ попытокъ гр. Віельгорскаго, Верстовскаго, Геништы,—и истинною народностью, истинною правдою русскихъ мелодій и гармоній Глинки! Подобный образъ мыслей и объясняетъ то, что кн. Одоевскій и всѣ ему подобные „любители“ и „знатоки“ могли Богъ знаетъ какъ высоко ставить и Глинку, и приходить въ восхищеніе отъ сознаваемой ими будто

бы необычайности его созданія и почина, и вмѣстѣ продолжать восхищаться „Семирамидами“, „Пиратами“, „Сомнамбулами“, „Монтекками и Капулетами“. Любить заразъ и хорошее и никуда негодное — не значитъ ли это не понимать ни того, ни другого?

Но если такъ мало разумѣли въ Глинкѣ „лучшіе люди“ тогдашняго времени, настоящіе музыканты, то чего можно было ждать отъ остальныхъ всѣхъ? Что думало въ то время большинство о Глинкѣ, это высказалъ вполнѣ отчетливо и явственно Ѳаддей Булгаринъ, тогдашній обычный выразитель понятій, вкусовъ и мнѣній толпы. Булгаринъ вознегодовалъ на слова Одоевскаго, что „съ оперою Глинки является то, чего давно ищутъ и не находятъ въ Европѣ: новая стихія въ искусствѣ,—и начинается въ его исторіи новый періодъ—періодъ русской музыки“. Какъ такъ? Возможно ли это? кипятился Булгаринъ. „Такой похвалы не слыхалъ Моцартъ и не услышитъ Россини, два различные генія, но оба преобразовавшіе вкусъ своихъ современниковъ, и утвердившіе новые законы въ музыкѣ. Цѣлый міръ знаетъ Моцарта и Россини, а имъ никто не сказалъ и не скажетъ, что они открыли новую стихію въ искусствѣ, которой давно ищутъ и не находятъ!.. Мы вѣримъ, что въ музыкѣ не можетъ быть никакой новой стихіи, и что въ ней невозможно открыть ничего новаго. Все существуетъ. Берите и пользуйтесь“.. Далѣе, все знающій и все понимающій Ѳаддей Булгаринъ отлично разумѣя, въ качествѣ фельетониста, все на свѣтѣ, въ томъ числѣ и оркестръ, и голоса, и все, все, въ оперѣ, объявлялъ, что „изъ увертюры нельзя постигнуть, какого рода эта музыка, не взирая на отголоски главныхъ мотивовъ оперы въ увертюрѣ, быстрые переходы изъ такта въ тактъ производятъ какое-то замѣшательство въ цѣломъ“... Въ заключеніе, Ѳаддей Булгаринъ высказывалъ такой обвинительный приговоръ противъ оперы: 1) Хоровъ слишкомъ много, и они слишкомъ растянуты; 2) Мало отдѣльныхъ арій, мало дуэтовъ, терцетовъ и проч. 3) Музыка иногда не соотвѣтствуетъ дѣйствію; 4) Музыка для оркестра написана слишкомъ низко (?); наконецъ 5) Въ цѣлой музыкѣ мало разнообразія, а отъ этого и длинныхъ хоровъ, сколь музыка не примѣтна, какъ ни восхитительны отдѣльныя части, но цѣлая опера... извините... скучна!.. Г. Глинка имѣетъ громадный талантъ. Дай Богъ, чтобъ онъ не слишкомъ вѣрилъ своимъ хвалителямъ!.. Воля ваша, а сценическая музыка должна дѣйствовать на массы народа, двигать ихъ и производить глубокое впечатлѣніе. Она должна производить восторгъ въ партерѣ и въ ложахъ, и удив-

леніе въ знатокахъ. Должно соединить это. Какъ это сдѣлать, не знаемъ, а какъ сдѣлали Моцартъ, Веберъ, Спонтини, Россини— не постигаемъ, но чувствуемъ"... (Сѣверная Пчела, 1836, № 291 — 292). Итакъ, главное обвиненіе состояло въ томъ, что Глинка отступалъ отъ общепринятыхъ тогда оперныхъ привычекъ и правилъ, давалъ недостаточно арій, дуэтовъ и терцетовъ, что онъ былъ недочтаточно итальянцемъ (тогда какъ нынче, напротивъ, думаютъ, что Глинка именно слишкомъ много далъ тутъ арій, и терцетовъ, квартетовъ и т. д., и притомъ вообще въ нихъ черезъ чуръ еще являлся итальянцемъ). Когда шесть лѣтъ спустя, Глинка далъ на сценѣ „Руслана и Людмилу", та-же „Сѣверная Пчела", устами своего постояннаго критика, Рафаила Зотова, объявила, что опера эта—„провалъ Глинки". „Приверженцы, друзья, фанатики Глинки своими возгласами, своею слѣпою, безусловною похвалою дѣлаютъ ему больше вреда, нежели самая злая критика (NB: не читаемъ ли мы и теперь каждый день точь-въ-точь эти самыя изрѣченія по поводу новыхъ созданій искусства и ихъ сторонниковъ, непремѣнно всякій разъ, когда эти созданія не нравятся толпѣ и „критикамъ"?). Вообще же главныя замѣчанія Рафаила Зотова состояли въ томъ, что Глинка далъ оркестру „слишкомъ важную роль въ составѣ оперы", что музыка танцевъ 3-го акта — вѣнецъ всей оперы, что увертюра не производитъ никакого эффекта, потому что „три перехода изъ тона въ тонъ доказываютъ изысканность, которой зрители не могли постигнуть", наконецъ, въ итогѣ всего, Зотовъ признавалъ, что „Русланъ" въ гармоническомъ отношеніи имѣетъ высокія достоинства, но „въ мелодіи" эта опера ниже „Жизни за царя"; что какъ техническое ученое произведеніе, она прибавила автору много славы и много приверженцевъ, но какъ опера... c'est une chose manquée"... („Сѣверная Пчела", 1842, № 277). Опять, такимъ образомъ, „мелодія" на первомъ планѣ и, значитъ, ожиданіе прежде всего отъ оперы итальянскихъ morceaux, похвалы тому, что въ оперѣ всего слабѣе (танцы 3-го акта) и порицаніе того, что превосходно (увертюра).

Что касается тѣхъ приверженцевъ, друзей и фанатиковъ Глинки, про которыхъ говорила „Сѣверная Пчела", то надо, кажется, прійти нынче къ тому заключенію, что, не взирая на свои великія похвалы, они не такъ далеко отстояли отъ публики и „Сѣверной Пчелы", какъ это сначала, пожалуй, покажется. Вотъ напримѣръ, если взять хоть Сенковскаго, тогдашняго судью, законодателя и рѣшителя всѣхъ дѣлъ. Какъ великій другъ Глинки и всей его компаніи, онъ находился въ такомъ положеніи, что

не могъ не восторгаться новой оперой, не могъ не находить ее необычайной, феноменальной, геніальной. Еще до появленія оперы на сценѣ, онъ объявлялъ въ „Библіотекѣ для чтенія“, что эту оперу „создавали три геніальные человѣка: Пушкинъ, Брюлловъ и Глинка“. По секрету, про себя, онъ конечно прибавлялъ къ нимъ еще и четвертаго великаго человѣка и друга своего—Кукольника, который въ тѣ времена все постоянно терся около Глинки, предлагалъ ему разные свои тексты для музыки и поставилъ для „Руслана“ нѣсколько своихъ стиховъ, въ либретто. Судя по вкусамъ и натурѣ Сенковскаго, онъ не могъ быть доволенъ „Русланомъ“; эта музыка не могла приходиться ему по вкусу; онъ былъ только ординарнѣйшій дилеттантъ, изъ тѣхъ, для кого итальянскія оперы стоятъ выше всего въ музыкѣ. Но надо было непремѣнно хвалить до небесъ, восторгаться въ печати—и Сенковскій произвелъ это такимъ нескладнымъ образомъ, что легко различить поддѣлку, притворство, неискренность. Онъ писалъ: „Русланъ и Людмила“—одно изъ тѣхъ высокихъ музыкальныхъ твореній, которыя никогда не погибаютъ, и на которыя могутъ указывать съ гордостью искусства великаго народа. Эта опера—chef-d'oeuvre въ полномъ смыслѣ слова, отъ первой до послѣдней ноты. Это прекрасно, величественно, безподобно. Никто лучше нашего русскаго композитора не владѣлъ и не владѣетъ оркестромъ; никто не развивалъ въ одномъ сочиненіи такого множества смѣлыхъ, счастливыхъ и оригинальныхъ мыслей; никто не посягалъ на такія гармоническія трудности и не преодолѣвалъ ихъ такъ удачно, ни въ одной оперѣ не найдется такого разнообразія красотъ, рождающихся одна изъ другой безконечною цѣпью, безъ общихъ мѣстъ, безъ условныхъ дополненій“... Ну вотъ и прекрасно, говоритъ себѣ читатель: ясно, что Сенковскому „Русланъ“ очень-очень нравится!

Однако, послѣ всѣхъ этихъ безмѣрныхъ похвалъ, ставящихъ Глинку выше не только всѣхъ оперныхъ, но вообще всяческихъ музыкальныхъ композиторовъ, безусловно съ которой бы то ни было стороны, слѣдуютъ въ статьѣ разныя оговорки, которыя совершенно измѣняютъ сущность дѣла, и доказываютъ, что автору статьи опера вовсе не такъ нравится, какъ надо было-бы полагать. Тотчасъ же вслѣдъ за всѣми своими гиперболами, Сенковскій высказываетъ нѣчто совсѣмъ другое, на этотъ разъ—уже настоящую свою мысль: „Скажемъ откровенно наше мнѣніе: при первомъ слушаніи въ цѣломъ, „Русланъ и Людмила“ производитъ то утомительное дѣйствіе, какое мы испытуемъ при чтеніи очень умныхъ книгъ, гдѣ каждое слово — острота, замысловатость и

оригинальность, каждая фраза—верхъ искусства, каждый періодъ—цѣлая бездна геніальныхъ красотъ. Чтеніе идетъ трудно. Ослѣпленный безпрерывнымъ фейерверкомъ разноцвѣтныхъ огней, читатель измученъ уже на третьей страницѣ. Надо тихо прочесть четыре раза, чтобы все понять, все оцѣнить, всему надивиться въ разбивку, и тогда уже можно читать книгу съ начала до конца съ полнымъ и свободнымъ восторгомъ"... Такъ вотъ, въ концѣ концовъ, къ чему, при откровенности, сводились всѣ восторги отъ неописуемыхъ красотъ „Руслана", гдѣ все — совершенство, „отъ первой до послѣдней ноты": слушатель утомленъ, слушатель измученъ, и такое впечатлѣніе прекращается только отъ привычки... Хотѣлось бы спросить, послѣ этого, много ли же разницы было въ впечатлѣніяхъ отъ „Руслана" у Сенковскаго („фанатика" Глинки!) и у Булгариныхъ и Зотовыхъ („враговъ" Глинки)? Но это еще болѣе подтверждается подробностями разбора. Сенковскій находитъ въ „Русланѣ" пропасть длинноть и совѣтуетъ хорошенько урѣзать оперу, для истинной пользы ея. Но что же онъ проситъ урѣзать? Какъ-разъ множество самыхъ капитальныхъ, самыхъ талантливыхъ, иногда даже геніальныхъ вещей въ оперѣ. Такъ, напримѣръ, онъ желаетъ выкинуть вонъ многое въ интродукціи и 1-й пѣсни Баяна, все начало „въ сценѣ оцѣпенѣнія" 1-го акта, балладу Финна, и арію Руслана („не худо было бы укоротить хоть въ началѣ"); въ аріи Ратмира выпустить всю первую часть и начинать прямо съ аллегро „Чудный сонъ живой любви"; каватину Гориславы начинать со словъ „Любви роскошная звѣзда!"; выпустить большую часть финала 3-го акта, также начало 4-го акта и особенно финалъ его, все начало 5-го акта, въ томъ числѣ съ аріей Ратмира „Она мнѣ жизнь, она мнѣ радость", и т. д. Кому нужны такія сокращенія вещей все самыхъ капитальныхъ—явнымъ образомъ и не любитъ и не понимаетъ ни Глинку, ни „Руслана". Легко представить себѣ, какое впечатлѣніе должны были производить на Глинку оцѣнки публики и ея „критиковъ", все равно и приверженныхъ и не приверженныхъ къ нему. Немудрено, что Глинка не только тогда, но и гораздо позже говорилъ съ грустью: „Авось черезъ сто лѣтъ поймутъ у насъ „Руслана"!—Какъ много и глубоко любили великую оперу Глинки, какъ въ ней нуждались „фанатики" и „друзья" Глинки, очень ярко доказывается тѣмъ, что ее не давали на театрѣ цѣлыхъ 14 лѣтъ, и никто изъ нихъ на это никогда не жаловался, и не сдѣлалъ ни малѣйшей попытки для того, чтобъ ее снова увидѣть на сценѣ, даромъ что у иныхъ изъ числа этихъ „фанатиковъ" и „друзей" были въ рукахъ

цѣлые журналы и газеты, да еще всемогущіе по тогдашнему времени. Такъ ли любятъ, такъ ли понимаютъ великія созданія? Но до того ли было? Все вниманіе, всѣ симпатіи публики повернулись какъ разъ въ эту самую минуту совершенно въ другую сторону.

Спустя всего нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ Глинка кончилъ и поставилъ на сцену свою великую оперу, „Руслана", у насъ совершилось событіе, которое имѣло неизмѣримо пагубныя послѣдствія для нашей музыки и музыкальной интеллектуальности.

Въ 1842 году пріѣхали въ Петербургъ итальянцы, прочно засѣли въ нашемъ театрѣ и съ тѣхъ поръ уже насъ болѣе не покидали. Сумма вреда, нанесеннаго нашей музыкѣ итальянцами, просто неисчислима. Вкусъ, окончательно испорченный, какъ относительно сочиненій музыкальныхъ, какъ и относительно исполненія ихъ, фальшь, банальность и въ томъ, и другомъ, привычка ко всему плоскому и условному, ложный паѳосъ, отсутствіе правдиваго выраженія—все соединялось и дѣйствовало за-одно, и дѣйствовало тѣмъ вреднѣе, тѣмъ неотразимѣе, что будило всѣ самые фальшивые инстинкты и наклонности публики, потворствовало имъ, раздувало ихъ до послѣднихъ предѣловъ и отучало отъ всякаго рода правды. Благодѣтельное вліяніе Глинки разомъ стушевалось и исчезло, результаты его великой иниціативы отошли на далекій планъ. Русская музыкальная самостоятельность и иниціатива—отсрочились надолго.

Глинка разсказываетъ въ своихъ „Запискахъ", что̀ такое были пріѣхавшіе къ намъ въ 1842—1843 годахъ итальянцы (предпочитаю, конечно, привести слова нашего великаго художника, хотя я могъ бы разсказать многое и по личнымъ своимъ собственнымъ впечатлѣніямъ того времени). „Образъ пѣнія Рубини еще въ Италіи я находилъ изысканнымъ, въ 1843 году преувеличеніе дошло до нелѣпой степени. Онъ пѣлъ или чрезвычайно усиленно, или же такъ, что рѣшительно ничего не было слышно; онъ, можно сказать, отворялъ только ротъ, а публика пѣла его ррр, что естественно льстило самолюбію слушателей, и ему ревностно апплодировали..." Исключеніе составляла одна Віардо, у которой и таланта, и естественности, и правды, было въ сто разъ больше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ ея товарищей, но и она до мозга костей была заражена итальянизмомъ, бравурностью, руладами, трелями, нелѣпой итальянской орнаментистикой, и ничего, повидимому, не находила анти-музыкальнаго, глупаго и позорнаго въ тѣхъ операхъ Беллини и Доницетти, въ которыхъ губила и обезображивала свои врожденныя способности. Но что было за дѣло публикѣ до

той „нелѣпости“ исполненія, которую такъ ярко чувствовалъ—одинъ изъ немногихъ—Глинка! Когда именно эта-то нелѣпость и была пріятна, когда она-то и нравилась, она-то и доводила до энтузіазма, до фурора, до истерики, до слезъ, до фанатизма. Вотъ что значитъ банальность и фальшь! Вотъ до какой степени онѣ нужны людямъ съ низменными еще вкусами и понятіями, вотъ до чего онѣ имъ близки и дороги! Притомъ же—дѣло не послѣднее—эти итальянцы, со своими операми, были нѣчто модное, привезенное изъ Парижа и Лондона, прямо съ тамошнихъ тріумфовъ, давно начавшихся и давно укоренившихся: какъ было не гордиться, не торжествовать всѣмъ русскимъ, добывшимъ обладаніе такими всемірными сокровищами, какъ было не находить во всемъ этомъ оправданіе и поощреніе всѣмъ своимъ скернымъ вкусамъ?

То, чего Глинка видѣлъ въ 1842 году только начало, то разрослось потомъ, въ теченіе 40 лѣтъ, до громадныхъ размѣровъ, пустило въ нашу почву такіе глубокіе корни, что ихъ оттуда никогда не выроетъ никакой ломъ и кирка. То, что у насъ написано было за эти 40 лѣтъ, въ газетахъ и журналахъ восторговъ и восхищеній, по поводу итальянцевъ конечно, составило бы цѣлую библіотеку; то, что говорено про нихъ за это время, составило бы горы, еслибъ слова и разговоры сложились въ твердую, осязательную форму; пролитыя слезы составили бы рѣки и озера. Когда провинціалъ мечтаетъ о Петербургѣ, какъ о царствіи небесномъ, полномъ благъ великихъ, неизмѣримыхъ, безпредѣльныхъ, въ этой радужной картинѣ, конечно, всегда стоитъ на одномъ изъ самыхъ первыхъ мѣстъ: „Побывать въ итальянскомъ театрѣ!“ „Послушать чудныхъ великихъ оперъ!“ „Послушать чудныхъ великихъ пѣвцовъ!“ Для достиженія такого счастія никакія жертвы не щадятся. Какое блаженство безумія, какая несокрушимая сила заблужденій! Кончится ли когда-нибудь царство итальянщины, разносящее по міру громадныя массы художественной отравы и лжи—и предвидѣть нельзя! Каждый до того убѣжденъ въ величіи итальянской музыки и пѣнія, что попробуйте ему возразить, попробуйте ему доказывать что-нибудь на счетъ всего, что есть худого, невыносимаго и непозволительнаго въ итальянской оперѣ—и каждый подумаетъ только про васъ: „Да онъ вовсе не понимаетъ музыки! Да онъ не способенъ ее любить! Она для него просто невѣдомое царство“!

Забавенъ одинъ фактъ, показывающій, каково иногда консерваторство поклонниковъ „итальянщины“ даже внутри ея собственныхъ рамокъ. Когда появился Верди, онъ показался слишкомъ

вреднымъ новаторомъ, какимъ-то отступникомъ отъ истиннаго итальянства, даже многимъ изъ числа самыхъ коренныхъ исповѣдниковъ этой вѣры. Въ Италіи, Парижѣ, Лондонѣ произошло не мало преній по этому поводу, и поломано не мало копій за Россини, Беллини и Доницетти—противъ Верди. Нѣкто Ростиславъ, нынѣ совершенно забытый, но въ 40-хъ и 50-хъ годахъ очень извѣстный музыкальный петербургскій критикъ, также, какъ и другіе выразилъ въ печати свои сомнѣнія, выговоры, упреки Верди, старался подставить ему нѣкую музыкальную подножку. Тогда Сенковскій, публицистъ тѣхъ временъ, все знавшій, обо всемъ писавшій, все рѣшавшій, тотчасъ выступилъ впередъ и самымъ основательнымъ образомъ доказалъ ему непослѣдовательность его мнѣній! „Ростиславъ Ѳеофилычъ! Вы такой умный человѣкъ, такой даровитый и понятливый писатель, ну что вамъ стоитъ подумать немножко, да понять, что Верди вы вовсе не понимаете? Представить себѣ не можете, какъ немелодично и неловко слушать, что, если исключить васъ и г. Улыбышева, то всѣ мы, другіе, все остальное человѣчество не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія... Ну, станемъ ли мы, Европа, спрашивать, что̀ думаетъ о предметѣ нашихъ душевныхъ восторговъ, нашего очарованія, нашего счастія, какой-нибудь капельмейстеръ? или кланяться какому-нибудь знатоку объ указаніи намъ времени и мѣры нашего внутренняго блаженства? Развѣ знатоки знаютъ что-нибудь, кромѣ своего собственнаго самолюбія? Развѣ знать толкъ въ геніяхъ—капельмейстерское дѣло? На то Господь Богъ создалъ насъ, публику, общество, человѣчество, и надѣлилъ насъ, по благости своей, удивительнымъ чутьемъ геніальности. Мельчайшую частицу генія мы чуемъ за сто саженъ подъ землею, непремѣнно добудемъ магнитомъ или вытянемъ золотомъ оттуда этотъ драгоцѣнный алмазъ, для нашего наслажденія и счастія... Верди дѣлаетъ смѣлый обратный шагъ отъ преувеличеній перехитреннаго ремесла къ величественной и трогательной простотѣ природы. Бранить его, варвара, какъ невѣжду! гнать, какъ разрушителя искусства! Вокальное искусство, забывъ свой важный санъ, бросилось въ вѣтролетство, въ быстродвижность нотъ и тоновъ, въ безконечныя и безтолковыя рулады. Верди старается пѣніе воротить, по возможности, къ достоинству человѣческаго пѣнія. Бранить его опять за грубую вокализацію! за истребленіе породы искусныхъ пѣвцовъ и пѣвицъ! за разстройство голосовъ! Нѣтъ, вы не понимаете Верди! Мало того, что геній его нашъ, нынѣшній геній, что его музыка наша внутренняя музыка: онъ еще будетъ точкою исхода, съ которой пойдетъ далѣе и далѣе коренное преобразованіе но-

вѣйшей музыки и возвратъ ея отъ вавилоновъ зазнавшагося искусства къ чистымъ линіямъ натуры... О Моцартъ! о Бетховенъ! жаль мнѣ васъ! близокъ вашъ конецъ! не желалъ бы я быть на вашемъ мѣстѣ! Вы сдѣлались исключительными идолами всѣхъ бездарностей и посредственностей. Вы теперь въ такой у нихъ славѣ, въ такой страшной милости, что не сдобровать вамъ: они навѣрное васъ погубятъ... Живи ты, пылкій и страстный нѣмецъ, въ наше время, ты, Моцартъ, былъ бы Верди" („Сынъ Отечества", 1856, № 30). Послѣ такихъ доводовъ, послѣ такой логики, послѣ такихъ рѣзвенькихъ строчекъ, совершенно во вкусѣ нынѣшнихъ газетчиковъ, Ростиславъ долженъ былъ, конечно, одуматься, опомниться и стать на надлежащій рельсъ. Онъ скоро увѣровалъ въ Верди, и причислилъ его къ лику своихъ идоловъ и угодниковъ, на слѣдующей же страницѣ, тотчасъ послѣ Россини, Беллини и Доницетти; публика, конечно, ласково кивнула ему за то головой и поставила добрый баллъ.

Итакъ, итальянцы успѣшно дѣйствовали у насъ и, конечно, не нуждались ни въ чьей помощи. Но черезъ 20 лѣтъ послѣ ихъ прибытія къ намъ, у нихъ оказались двѣ великодушныя помощницы и покровительницы: наши консерваторіи. Тотчасъ послѣ своего открытія, онѣ отвели цѣлую половину своихъ классовъ, концертовъ, симпатій и усилій — итальянцамъ и итальянской музыкѣ. Пока одна половина консерваторскихъ залъ оглашалась звуками арій и хоровъ Генделя, сухихъ сюитъ и жигъ Баха, симфоній Моцарта и Гайдна, бездушныхъ фугъ Скарлатти, деревянныхъ концертовъ Баха и Гуммеля, прозаическихъ и бездарныхъ ноктюрновъ Фильда, другая половина гремѣла аріями изъ Семирамиды, Нормы, Сомнамбулы, Эрнани, Троватора, Риголетто, Аиды, и множества тому подобныхъ превосходныхъ оперъ. Въ тоже время писатели консерваторій не только оправдывали, но доказывали полнѣйшую законность итальянскаго сочиненія и итальянскаго исполненія. Любопытнѣйшее зрѣлище представлялъ въ этомъ отношеніи г. Ларошъ. Съ одной стороны онъ хлопоталъ о томъ, какъ бы заставить музыку поворотить оглобли за 300 лѣтъ назадъ: вѣдь ему все въ музыкѣ нашего времени казалось упадкомъ и растлѣніемъ нравовъ, вѣдь ему всѣ уцѣлѣвшія еще отъ схоластическихъ временъ орудія пытки (при музыкальномъ ученіи) казались малы и слабы, вѣдь ему хотѣлось бы, чтобъ изобрѣтены и пущены были въ работу такіе капканы, колодки и дыбы „строгаго контрапункта", на помощь воспитывающемуся музыканту, гдѣ онъ бы задыхался и корчился — и въ то же время съ милой улыбкой граціозной симпатіи, онъ простиралъ свою холодную „техническую" руку на встрѣчу

тѣмъ низменнымъ традиціямъ музыки, гдѣ уже какой-либо науки не присутствовало и тѣни, гдѣ все состояло изъ крайняго невѣжества, безпомощной неумѣлости и безвкусной рутины. „На всемірный культъ итальянщины можно сердиться, говорилъ онъ, но нельзя его объяснять временнымъ увлеченіемъ, мѣстнымъ вкусомъ, качествомъ исполненія, искусственной пропагандой или рекламой. Причина кроется въ самой музыкѣ, въ могучемъ талантѣ композиторовъ, а болѣе всего въ ихъ мудро-разсчитанной, ловко-примѣненной, чисто-практической методѣ, въ ихъ превосходномъ знаніи слушателя съ его слабостями и страстями“ („Голосъ“, 1874, № 23). Не чудное ли это дѣло, какъ въ одной и той же головѣ, въ одной и той же проповѣди укладываются вещи совершенно противорѣчащія, совершенно исключающія другъ друга, направляющіяся къ совершенно противоположнымъ концамъ! Схоластическое ученіе, требующее уничтоженія личности, презирающее человѣческую натуру и ея эстетическія естественныя требованія, прославляющее самый лютый аскетизмъ мысли и творчества, погружающее человѣка въ самую каменистую сушь старины—и тутъ же рядомъ итальянская опера, только и хлопочущая, что о слушателѣ, о его слабостяхъ и несчастныхъ вкусахъ, только и дающая, что бумажные цвѣты и лайковыя куклы!

Но такова консерваторія, такова ея двойственная натура, таковы законы и правила, прославляемые ея приверженцами.

Какого пониманія, какихъ симпатій къ Глинкѣ можно было бы ожидать при существованіи такихъ условій, прямо противуположныхъ тому, чего Глинка искалъ, чего хотѣлъ, что онъ внесъ своими двумя великими созданіями въ нашу музыку? Даже черезъ цѣлыхъ 22 года послѣ появленія на свѣтъ „Жизни за царя“, и черезъ цѣлыхъ 6 лѣтъ послѣ появленія на свѣтъ „Руслана“, Сѣровъ былъ свидѣтелемъ характернаго факта, имъ тогда же опубликованнаго. При выходѣ изъ концерта, гдѣ много исполнялось музыки Глинки, нѣкоторые говорили: „Концертъ всѣмъ бы хорошъ, да музыка Глинки испортила всю программу“. Вообще же, ни одна пьеса Глинки (въ томъ числѣ антракты „Холмскаго“) не вызвала ни малѣйшихъ аплодисментовъ“. (Музык. и театр. Вѣстникъ, 1858, № 8). Вотъ какъ публика наша была прочно и надежно увлечена въ совершенно другую сторону отъ того, что было начато Глинкой. Музыкальный критикъ нашихъ 40-хъ и 50-хъ годовъ, Ростиславъ, считавшій себя и взаправду великимъ критикомъ, потому что самъ старый педантъ и моцартовскій фанатикъ, Улыбышевъ, написалъ ему однажды: „Читая ваши фельетоны въ „Сѣверной Пчелѣ“, я съ наивною гордостью

говорилъ себѣ не разъ, что вы—законный мой наслѣдникъ, единственный истинный музыкальный критикъ въ Россіи",—этотъ Ростиславъ самому Глинкѣ читалъ въ глаза (въ 1856 году) свой печатный разборъ „Жизни за царя", гдѣ, нахваливая оперу, все-таки считалъ обязанностью указать на „нѣкоторое однообразіе" музыки, особливо въ 1-мъ актѣ, и, вмѣстѣ, на множество, по его мнѣнію, ошибокъ и недочетовъ Глинки, въ томъ числѣ даже грамматическихъ ошибокъ (параллельныя кварты и квинты, и т. д.), а въ разборѣ „Русалки" Даргомыжскаго спрашивалъ: „Безподобное классическое твореніе Глинки „Жизнь за царя" положило ли прочное основаніе національной русской драматической музыки?", и отвѣчалъ на это: „Намъ кажется, что слѣдуетъ отвѣтить отрицательно, потому во-первыхъ, что самъ Глинка уклонялся отъ указаннаго имъ пути въ послѣдующемъ своемъ произведеніи, „Русланѣ и Людмилѣ", а во-вторыхъ, что самыя причины этого уклоненія, кажется, довольно основательны. Во избѣжаніе речитативовъ съ итальянскими формулами, Глинка придумалъ замѣнить ихъ мелодическими фразами, тщательно обработанными, какъ въ вокальной партіи, такъ и въ оркестрѣ. Подобное богатство музыкальныхъ мыслей должно было бы, казалось, послужить украшеніемъ оперѣ, а на опытѣ вышло иначе. Безпрестанное напряженіе вниманія слушателей производитъ утомленіе, и оттого опера, прѣисполненная первоклассныхъ достоинствъ, кажется безконечно длинною. Другое неудобство состоитъ въ однообразіи оборотовъ національной мелодіи, которая въ русскихъ напѣвахъ большею частью вращается въ минорныхъ тонахъ, отчего происходитъ неизбѣжная монотонность и нѣкоторая мрачность, придающая оперѣ характеръ ораторіи. Слѣдовательно, прочнаго основанія русской драматической музыки, отвѣчающей всѣмъ условіямъ вполнѣ художественно-драматическаго произведенія, еще не положено, но вовсе уклониться отъ указаннаго Глинкой выраженія русской музыкальной рѣчи—почти невозможно". Вотъ какъ итальянизмъ долгихъ лѣтъ въѣдался въ плоть и кровь, вотъ какъ онъ давалъ себя знать. Русской оперы все еще нѣтъ на свѣтѣ, а съ „Жизнью за царя" и „Русланомъ" можно только не безъ пользы справляться, ихъ нельзя вполнѣ считать окончательными нулями, какъ бы тамъ ни было, а нельзя, все-таки уже больше уклониться отъ того, что начато Глинкой. То ли дѣло „Семирамиды", „Вильгельмы Телли", „Сомнамбулы", „Лучіи" и т. д.? Тѣ уже рѣшительный, окончательный законъ въ искусствѣ, тѣ уже вполнѣ художественно-драматическія произведенія.

Съ Даргомыжскимъ повторилось приблизительно то же самое.

На его „Русалку“ обратили очень мало вниманія въ 1856 году, потому что въ ней было (не смотря на недостатки) слишкомъ много правды, и слишкомъ мало итальянской условности. Въ своей автобіографіи Даргомыжскій пишетъ: „Репертуарное начальство, капельмейстеръ и режиссеръ считаютъ мою оперу неудачною; въ ней, по выраженію ихъ, нѣтъ ни одного мотива“...

Въ 1856 году Даргомыжскій писалъ одной своей ученицѣ и близкой пріятельницѣ, Л. И. Кармалиной: „Артистическое положеніе мое въ Петербургѣ незавидно. Большинство нашихъ любителей и газетныхъ писакъ не признаетъ во мнѣ вдохновенія. Рутинный взглядъ ихъ ищетъ льстивыхъ для слуха „мелодій“, за которыми я не гонюсь. Я не намѣренъ снизводить для нихъ музыку до забавы. Хочу, чтобы звуки прямо выражали слово. Хочу правды. Они этого понять не умѣютъ“...

При такомъ взглядѣ, при такихъ стремленіяхъ, Глинка и Даргомыжскій не могли, естественнымъ образомъ, имѣть другой участи, какъ той, какую они имѣли, среди людей, отуманенныхъ, съ одной стороны музыкальной рутиной и слѣпой вѣрой въ авторитеты, а съ другой—опьяненныхъ итальянщиной. Ихъ торжество было надолго отложено. Оно должно было придти гораздо позже.

XV.

Въ тѣ самые дни, когда воздвигалась консерваторія, ставшая у насъ тотчасъ же пріютомъ, оплотомъ и центромъ для большинства нездоровыхъ, ложныхъ и вредныхъ музыкальныхъ элементовъ, уже давно бродившихъ въ нашемъ обществѣ и не находившихъ себѣ необходимой гавани—выступило впередъ и другое учрежденіе, сдѣлавшееся немедленно же центромъ стремленій, самыхъ противуположныхъ предъидущимъ, которые точно также хотя и существовали, но не находили себѣ опредѣленнаго и твердаго выраженія. Это была „Безплатная музыкальная школа“.

П. Сокальскій, въ своихъ „Музыкальныхъ арабескахъ“, заключающихъ очень много вѣрнаго, писалъ въ началѣ 1863 года: „Воздадимъ Русскому Музыкальному Обществу полную дань уваженія за его почтенные труды на поприщѣ музыкальнаго космополитизма. Мы признаемъ за его концертами—достоинство превосходнаго развлеченія для публики; но образовательное вліяніе они могутъ имѣть только на немногихъ, которые къ тому подготовлены. Немалая заслуга Русскаго Музыкальнаго Общества состоитъ также въ томъ, что оно обрисовало въ обществѣ такъ-

называемую русскую партію... Многіе у насъ не вѣрятъ въ русскую партію въ музыкѣ. Ея нѣтъ, говорятъ они. И точно, для нея есть теперь только готовые матеріалы; соединить ихъ некому. Еслибы Глинка былъ теперь живъ, можетъ быть, онъ соединилъ бы ихъ въ своей сильно-національной личности; это былъ-бы для нихъ естественный глава, которому охотно подчинились бы разрозненные члены съ азіятски-неотшлифованными самолюбіями, и непривычкой дѣйствовать en corps. Но теперь нѣтъ такой личности, которая могла бы стать въ уровень съ этимъ назначеніемъ: и оттого центра для развитія національнаго начала въ музыкѣ не образовалось у насъ и не существуетъ до сихъ поръ... Тѣмъ не менѣе нѣкоторые элементы русскаго свойства успѣли сгруппироваться въ безплатной школѣ для пѣнія, открытой весной 1862 года и руководимой Ламакинымъ..." (Спб. Вѣдом., 1863, № 31).

То, чего такъ желалъ П. Сокальскій, и съ нимъ, конечно, многіе другіе, —осуществилось. Человѣкъ, котораго такъ жаждали, который такъ былъ нуженъ, но появленія котораго не смѣли надѣяться—явился. Это былъ Балакиревъ. Онъ сначала сдѣлался товарищемъ и помощникомъ Г. Я. Ламакина по Безплатной музыкальной школѣ, а потомъ и единодержавнымъ ея директоромъ. Скоро около него и дирижируемыхъ имъ концертовъ этой школы сгруппировалась цѣлая группа молодыхъ талантливыхъ русскихъ музыкантовъ, съ совершенно оригинальнымъ и самостоятельнымъ направленіемъ, діаметрально противуположнымъ тому, что у насъ существовало по музыкальной части за послѣднее время. Это сообщество молодыхъ талантливыхъ людей брало себѣ исходной точкой—Глинку и Даргомыжскаго, желало продолжать начатое ими дѣло, и брало себѣ задачею, въ противуположность царствовавшему у насъ тогда космополитизму—точно такое же служеніе національности въ искусствѣ, какому примѣръ подали Глинка и Даргомыжскій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, эти талантливые люди, оставаясь впрочемъ, вполнѣ самостоятельными, примыкали къ новому музыкальному движенію, выразившемуся въ созданіяхъ Берліоза, Шумана и Листа. При этомъ, со смѣлостью и независимостью свѣжихъ молодыхъ талантовъ, эти новые музыканты не хотѣли слѣпо покоряться существующимъ преданіямъ и авторитетамъ, усердно пропагандируемымъ у насъ Русскимъ Музыкальнымъ Обществомъ, его вполнѣ „нѣмецкими" консерваторіями и легіономъ его чужеземныхъ во всѣхъ отношеніяхъ приспѣшниковъ. Они рѣшились собственнымъ умомъ и вкусомъ убѣдиться въ настоящей стоимости авторитетовъ. Они ничего не брали на вѣру, и все пере-

оцѣнивали сами. Поэтому, глубоко преклоняясь (гораздо искреннѣе и сознательнѣе, чѣмъ всѣ консерваторы вкупѣ) передъ всѣмъ что есть дѣйствительно великаго въ созданіяхъ старыхъ и новыхъ композиторовъ, они отказались отъ многаго, что давно и вездѣ считалось неоспоримо-превосходнымъ, отличнымъ внѣ всякаго сомнѣнія. Поэтому и концерты Безплатной школы получили своеобразный обликъ, были составлены изъ другихъ элементовъ, чѣмъ тѣ, что входили обыкновенно въ составъ всѣхъ нашихъ концертовъ. Изъ нихъ было удалено многое, иностранное, старинное, что до сихъ поръ считалось необходимымъ для почтеннаго, солиднаго и серьезнаго концерта. Шуманъ говоритъ въ своихъ „Musikal. Haus-und Lebensregeln“: „Ты не долженъ распространять дурныхъ сочиненій; напротивъ, ты долженъ помогать всѣми силами задавить ихъ. Не только ты не долженъ исполнять дурныхъ сочиненій, но даже, если нѣтъ къ тому принудительной силы, ты не долженъ слушать ихъ“. Балакиревъ не зналъ этихъ афоризмовъ Шумана; но по внушенію собственной натуры въ точности выполнялъ ихъ въ дирижируемыхъ имъ концертахъ Безплатной школы. Въ то же время въ концертахъ Безплатной школы стало появляться большими массами многое новое, до сихъ поръ еще нигдѣ не исполненное и никакими посторонними авторитетами не признанное за классическое. Одновременно съ такими своеобразными и дерзкими концертами, мнѣнія новыхъ музыкантовъ стали высказываться въ печати (и именно въ „Спб. Вѣдомостяхъ“), и точно также какъ и тѣ, отличались смѣлостью мнѣній и непризнаваніемъ общепринятыхъ авторитетовъ. Собственныя сочиненія молодыхъ „товарищей“ отличались тѣми же качествами, какія присутствовали въ общемъ ихъ направленіи: они были талантливы, оригинальны, смѣлы, не слѣдовали правиламъ школы (которой они мало вѣрили), и часто поступали въ противность многимъ ея запретамъ, столь часто напраснымъ, но выполняемымъ повсюду съ безсловесною покорностью фетишизма.

Все это не могло не взволновать до глубины души консерваторовъ какъ среди публики, такъ и еще въ большей мѣрѣ среди „критиковъ“. Они всѣ были очень больно затронуты въ своихъ привычкахъ, вѣрованіяхъ, всегдашнемъ невозмутимомъ покоѣ. И они объявили войну горсти новыхъ молодыхъ музыкантовъ, сразу оказавшихся ихъ неумолимыми врагами. Этихъ музыкантовъ признали хотя и талантливыми по натурѣ, но круглыми невѣждами, тогда какъ на самомъ дѣлѣ эти молодые люди, при иниціативѣ и товарищескомъ учительствѣ Балакирева, знали все старое и новое, созданное въ музыкѣ, въ сто разъ тверже, глубже и основательнѣе

всѣхъ своихъ оппонентовъ, вмѣстѣ взятыхъ; объявили ихъ нелѣпыми презирателями всего великаго и высокаго въ музыкѣ, даже созданій Бетховена, тогда какъ никто изъ враговъ новыхъ русскихъ музыкантовъ болѣе ихъ не былъ поклонникомъ генія этого великаго композитора; дерзкими самоучками, беззаконными разрушителями, неуважающими ничего самаго священнаго, важнаго и значительнаго; ихъ концерты были признаны негодными, высказанныя ими въ печати мнѣнія—зловредными, непозволительными и безсмысленными; сочиненія ихъ — дилетантскими, иногда безграмотными, но всегда почти пустыми и ничтожными.

XVI.

Начнемъ съ Сѣрова, который во многихъ отношеніяхъ представляетъ замѣчательное явленіе, и явился однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и ожесточеннѣйшихъ противниковъ новой музыкальной школы.

Въ продолженіе первыхъ годовъ своей музыкально-критической дѣятельности, Сѣровъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ впослѣдствіи. Правда, и въ 50-хъ годахъ онъ нигдѣ не показалъ особенной глубины и силы мысли, его мнѣнія всегда вращались въ рамкахъ довольно узкихъ и ограниченныхъ, но слишкомъ многое было у него невѣрно, но при всемъ томъ онъ стоялъ и по уму, и по даровитости, и по знаніямъ, гораздо выше тогдашнихъ музыкальныхъ критиковъ нашихъ: Улыбышева, Ростислава и Ленца. Со всѣми ими онъ вступилъ въ полемику, и одерживалъ надъ ними легкія побѣды. Улыбышевъ былъ фанатикъ Моцарта и проповѣдывалъ (въ книгѣ, писанной на французскомъ языкѣ), что вся музыка до Моцарта была приготовленіемъ къ тому, чтобы родился на свѣтъ Моцартъ и создалъ „Донъ-Жуана“, величайшее изъ величайшихъ созданій въ мірѣ, съ которымъ не можетъ равняться не только все, что до того было сдѣлано, но также и все, что съ тѣхъ поръ создано и что впредь будетъ создано. Ленцъ проповѣдывалъ (въ книгахъ, писанныхъ на французскомъ и нѣмецкомъ языкѣ) совершенно то же самое относительно Бетховена, только съ замѣною „Донъ-Жуана“—девятою симфоніею. Ростиславъ, въ противуположность имъ двумъ, не имѣлъ никакой спеціальной, фанатической исключительности, но любилъ все, что ни попало, изъ прежняго. Онъ былъ безпредѣльнѣйшій эклектикъ. При этомъ онъ обожалъ, разумѣется, болѣе всего, итальянцевъ и все итальянское, но затѣмъ готовъ былъ

восхищаться чѣмъ угодно, только бы оно было не самое новое, самое послѣднее, о чемъ въ Европѣ не составилось еще готоваго мнѣнія, и о чемъ онъ не слыхалъ, будучи еще молодымъ человѣкомъ. Поэтому-то онъ и Глинку и Даргомыжскаго уважалъ лишь очень умѣренно, и хотя восхвалялъ ихъ печатно (по-русски въ „Сѣверной Пчелѣ", по-французски—въ „Journal de S.-Pétersbourg"), но очень многаго въ нихъ и не одобрялъ, и подавалъ имъ постоянно совѣты на счетъ того, что̀ у нихъ не такъ, что̀ не соотвѣтствуетъ школьнымъ и оперным привычкамъ нѣмецкимъ, итальянскимъ и французскимъ. Ленца Глинка не зналъ, но Улыбышева и Ростислава — очень хорошо, и въ 1855 году писалъ въ одномъ письмѣ: „Этимъ чваннымъ Улыбышевымъ и Ростиславамъ слѣдовало бы еще посидѣть съ указкой въ рукахъ, да хоть нѣсколько познакомиться съ таинствами искусства и постигшими ихъ геніальными маэстро". И вотъ противъ такихъ-то „критиковъ" Сѣровъ исписалъ цѣлыя стопы бумаги. Собственно говоря, это было не очень-то нужно: всѣ три противника пользовались очень невеликою извѣстностью въ средѣ нашей публики; имъ никто особенно не вѣрилъ, никто особенно не принималъ близко къ сердцу ихъ ученій. Публика, со своими собственными вкусами проходила мимо, очень мало обращая вниманія на ихъ симпатіи и антипатіи. Такимъ образомъ, Сѣровъ, собственно говоря, только самого себя тѣшилъ, затѣвая поминутныя и продолжительныя битвы съ Улыбышевыми, Ленцами и Ростиславами. Онъ только забавлялъ читателей задорностью, бойкостью, иногда остроуміемъ своей полемики, своими разнообразными выходками, шутками и подтруниваньями. Но была у Сѣрова и другая сторона въ его статьяхъ: желаніе поднять общій уровень и общее музыкальное пониманіе, которые, дѣйствительно, въ то время стояли очень низко, подъ вліяніемъ итальянцевъ, концертныхъ виртуозовъ и концертныхъ пьесъ. Сѣровъ проповѣдывалъ любовь и почтеніе къ Бетховену, старался помочь пониманію его высокихъ созданій, особливо сочиненій послѣдняго періода его жизни, тогда еще едва начинавшихъ быть извѣстными у насъ—и здѣсь онъ пустилъ въ ходъ много усилій, ревности, краснорѣчія, огня. Проповѣдуя Бетховена, Сѣровъ много старался и о распространеніи любви вообще къ „серьезной" и „хорошей" (по его понятіямъ) музыкѣ. Приступая, въ 1856 году, къ сотрудничеству въ „Музыкальномъ и Театральномъ Вѣстникѣ", онъ заявлялъ въ 1-мъ же №, что „у музыкальнаго критика главная цѣль заключается въ томъ, чтобы дѣйствовать на воспитаніе музыкальнаго вкуса въ публикѣ. Почему не допустить, что можетъ существовать музыкальная педагогика, дѣльная, серьезная, толко-

вая, но свободная, безъ педантства, и занимательная по изложенію". Взявшись выполнять такую программу, Сѣровъ дѣйствительно приложилъ много старанія на то, чтобы осуществить ее. Во многомъ это ему и удалось, и онъ не мало способствовалъ повышенію вкусовъ нашей публики. Но его дѣятельность въ этомъ отношеніи не могла имѣть слишкомъ большихъ и глубокихъ результатовъ, потому что его собственные вкусы и понятія были довольно еще ограничены. Нерѣдко онъ проповѣдывалъ любовь къ такому старью, которое ни для кого уже не годилось, или же проповѣдывалъ презрѣніе къ такому новому, которое было очень хорошо и всѣмъ годилось, такъ что то истинное, что онъ понималъ и проповѣдывалъ, иногда слишкомъ еще мало способно было просвѣщать публику и приносить ей пользу. Въ иномъ, публика наша понимала гораздо больше Сѣрова, потому что не была ослѣплена узкимъ его доктринерствомъ. Въ иномъ, на основаніи простыхъ своихъ непосредственныхъ симпатій или антипатій, она прямо не слушалась Сѣрова. Такъ наприм., не могла же публика, послѣ Беллини и Доницетти, каковы бы они ни были, не то, что полюбить, а даже съ удовольствіемъ слушать Чимарозу и Буальдьё, или перестать видѣть талантливость Мейербера, и вдругъ отворотиться отъ того дѣйствительно трагическаго и поразительнаго, что́ иногда представляютъ его оперы. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, Сѣровъ самъ себѣ портилъ дѣло и отваживалъ отъ своей проповѣди не только массу, но даже тѣхъ, кто былъ среди нея интеллигентнѣе другихъ и готовъ былъ примкнуть къ проповѣди искусства, болѣе правдиваго и болѣе достойнаго, чѣмъ то, которое было въ общемъ ходу. Сверхъ того, Сѣровъ былъ необыкновенно измѣнчивъ въ своихъ мнѣніяхъ. То, о чемъ онъ говорилъ вчера „да", о томъ онъ очень часто говорилъ сегодня „нѣтъ", и тѣмъ ставилъ въ совершенный тупикъ своихъ читателей и даже послѣдователей. Чему же наконецъ вѣрить?—спрашивали они съ удивленіемъ. А Сѣрову было до этого все равно. Онъ слѣдовалъ въ разное время разнымъ теченіямъ, и часто самъ не давалъ себѣ отчета въ томъ, что̀ такое онъ еще недавно проповѣдывалъ съ жаромъ, увлеченіемъ и всевозможнымъ задоромъ. Я приведу всему этому нѣсколько примѣровъ.

Не только въ началѣ 1856 года, но даже въ концѣ его, Сѣровъ очень не любилъ Верди, даже презиралъ его, а въ № 42 „Музыкальнаго и Театральнаго Вѣстника" за тотъ годъ говорилъ, что „къ именамъ Мейербера и Верди можно присоединить имя Флотова: вліяніе музыки этого послѣдняго столько же вредно, какъ вліяніе Мейербера и Верди"... И что же? Не дальше, какъ спустя

три недѣли, въ № 45 того же самаго „Театральнаго и Музыкальнаго Вѣстника“, Сѣровъ уже писалъ, что „отрицать талантъ въ музыкѣ Верди, отзываться о немъ du bout des lèvres, изъ мнимо-знатовскихъ убѣжденій; дожидаться, что-то порѣшатъ о Верди въ высокомъ ареопагѣ Фетисовъ и ихъ послѣдователей, значитъ обличать только свою неспособность къ прямому, самостоятельному взгляду на вещи, свою неспособность къ музыкальной критикѣ“... И отчего вдругъ такая внезапная перемѣна, такой необычайный поворотъ налѣво-кругомъ? Что случилось новаго? Создалъ ли Верди что-то неожиданное, поразительное, заставляющее перемѣнить всѣ прежнія о немъ мнѣнія? Ничуть не бывало: ни экстреннаго ничего не случилось, ни новой оперы Верди не появлялось въ эти три недѣли въ Петербургѣ, а только Сѣровъ прочелъ въ „Сынѣ Отечества“ ту приведенную мною выше статью Сенковскаго, противъ Ростислава и за Верди, гдѣ объявлялось, что Верди—величайшій композиторъ, и что живи Моцартъ теперь, онъ сдѣлался бы Верди. Эту легкомысленную, ничтожную, совершенно поверхностную статью Сѣровъ призналъ необычайно умною, талантливою и блестящею, и тотчасъ перешелъ на сторону Верди. Читателямъ предоставлялось выпутываться изо всего этого какъ имъ угодно. Правда, Сѣровъ кое-что и порицалъ у Верди, „недостатокъ истинной красоты въ музыкальномъ изобрѣтеніи“— но что это значило въ сравненіи съ остальными высокими качествами этого композитора! „Музыка Верди,—писалъ онъ, —вездѣ свидѣтельствуетъ о неотъемлемомъ, весьма сильномъ талантѣ, въ наше бѣдное композиторами время, чрезвычайно замѣчательномъ, имѣющемъ много правъ на преобладаніе, талантѣ природномъ, самостоятельномъ, не насильственномъ, не вымученномъ, какъ у Мейербера (котораго Верди скоро затмитъ окончательно). Но, по моему убѣжденію, въ талантѣ Верди, при всѣхъ многихъ его блестящихъ качествахъ, элементъ не эфемерной, истинной красоты въ музыкальномъ изобрѣтеніи слишкомъ незначителенъ“... (Муз. и Театр. Вѣстн., 1856, № 45).

Сѣровъ постоянно твердилъ о безвкусіи нашей публики, о любви ея ко всему только виртуозному, о необходимости поднять и очистить этотъ вкусъ, о своемъ желаніи помочь этому, и тутъ же, въ одинъ голосъ съ послѣдними неотесаннѣйшими дилеттантами, изъ публики не только приходилъ въ пламенный восторгъ и почтенное умиленіе отъ всевозможныхъ „Моисеевъ“, „Вильгельмовъ Теллей“, „Сомнамбулъ“ и т. д., но еще провозглашалъ, что „у Рубини, какъ у всѣхъ большихъ талантовъ, было что-то свое, оригинальное во всемъ его существѣ, во всей его персонѣ. Онъ

очаровывалъ тончайшими оттѣнками своего ни съ чѣмъ несравнимаго фальцета... Роли Эльвина онъ придавалъ необыкновенную грацію, среди всей мѣшковатости, неповоротливости своей... Не говоря уже о безподобныхъ оттѣнкахъ собственно пѣнія, о мастерствѣ, не говоря о виртуозной сторонѣ совершенства недосягаемаго, игра Рубини въ этой роли была такого же свойства..." (№ 22).

Но, спустя нѣсколько лѣтъ, опять новый поворотъ налѣво-кругомъ. Ни Верди, ни Россини болѣе не годятся, и Сѣровъ уже пишетъ: „Великому драматику Мейерберу до драмы ни малѣйшаго дѣла нѣтъ, точно такъ же, какъ синьору Россини или синьору Верди, да тѣ по крайней мѣрѣ и не прикидываются жрецами „серьезности" въ искусствѣ — съ нихъ за недраматичность никто и не взыскиваетъ"... (Якорь, 1863, № 2). И все-таки, Сѣровъ не остановился даже и на этомъ. Въ 1869 году онъ опять на сторонѣ Россини, и печатаетъ въ „Journal de S.-Pétersbourg" цѣлыя хвалебныя, восторженныя статьи о Россини, гдѣ выгораживаетъ всѣ его недочеты и сравниваетъ его съ венеціанскими живописцами.

Что касается Мейербера, я привелъ уже выше нѣсколько образчиковъ крайняго отвращенія къ нему Сѣрова. Впродолженіе 50-хъ годовъ отвращеніе это все только росло. „У Мейербера, при всѣхъ неоспоримыхъ качествахъ таланта и знанія, ушамъ больно, тяжело; уму—непріятно, оскорбительно; о душѣ и сердцѣ авторъ и не заботится... За одинъ актъ „Jean de Paris" Буальдьё, или „Maçon" Обера я готовъ отдать всѣ три акта „Сѣверной Звѣзды" и со всѣмъ „Пророкомъ"... (Музык. и театр. Вѣстн., 1856, № 10). „Отдавая должную справедливость заслугамъ Мейербера, громадному его таланту, я никакъ не вижу въ немъ одно изъ свѣтилъ искусства, какъ смотрятъ на него иные... Пора, наконецъ, разжаловать Мейербера изъ безсмертныхъ геніевъ въ замѣчательные, но преходящіе, эфемерные таланты"... (тамъ же, № 6). Всего любопытнѣе, что при этомъ, лучшее, значительнѣйшее и характернѣйшее (хотя далеко несвободное отъ крупныхъ недостатковъ) созданіе Мейербера: „Гугеноты" Сѣровъ ставилъ несравненно ниже „Роберта", гдѣ, будто бы, „важная роль, предназначенная этому композитору въ исторіи оперной музыки, была уже выполнена"... Мы увидимъ ниже, что точь-въ-точь такія же кривыя опредѣленія Сѣровъ высказывалъ и на счетъ „Жизни за царя" по отношенію къ „Руслану". Самый выборъ сюжета „Гугенотовъ" Сѣровъ считалъ „жертвой Ваалу, т.-е. развращенному вкусу парижской публики". Сравнивая „Гугенотовъ" съ „Вильгельмомъ Теллемъ", Сѣровъ увѣрялъ, что въ сценѣ за-

говора Мейерберъ взялъ себѣ за образецъ очевидно россиніевскую сцену трехъ кантоновъ, и во многомъ дошелъ до результатовъ болѣе эффектныхъ, болѣе прямыхъ; въ цѣломъ, огромный перевѣсъ на сторонѣ Россини: тамъ несравненно болѣе красоты въ музыкальныхъ мысляхъ, и драматическій моментъ, въ благородствѣ своемъ, возбуждаетъ полное сочувствіе слушателей, а не антипатію, какъ это сходбище мрачныхъ изувѣровъ, замышляющихъ тайкомъ, ночью, переколоть 70,000 своихъ согражданъ"... Въ заключеніе всего, у Сѣрова являлось „отлученіе" и „пророчество": „Но это посрамленіе оперной музы Мейерберу прощено не будетъ. Наказаніе онъ понесетъ въ томъ, что болѣе и болѣе будетъ внушать отвращенія къ своимъ операмъ въ тѣхъ, для кого искусство — святыня, а черезъ десятка два лѣтъ Мейерберовскія оперы навсегда будутъ похоронены въ театральныхъ архивахъ"... (Тамъ же, № 48). Сѣрову съ пророчествами не удавалось: прошлю уже не 20, а цѣлыхъ почти 30 лѣтъ со времени „анаѳемъ" Сѣрова, а оперы Мейербера все еще не погребены навсегда въ архивахъ. Другое пророчество, что „Верди скоро затмитъ окончательно Мейербера" тоже не осуществилось въ эти 30 лѣтъ; наконецъ, было у Сѣрова еще третье пророчество, про изгнаніе „Руслана" со всѣхъ сценъ—съ нимъ мы еще встрѣтимся ниже. Впрочемъ, въ заключеніе надо замѣтить, что впослѣдствіи Сѣровъ сталъ гораздо мягче и покладистѣе съ Мейерберомъ, и совершенно пересталъ называть его „эфемернымъ талантомъ".

Еще одинъ очень любопытный фактъ представляетъ первоначальное, и потомъ послѣдующее отношеніе Сѣрова къ Вагнеру. Вагнеръ сначала сильно не нравился Сѣрову. „Теоріи Вагнера,—писалъ онъ въ 1856 году,—конечно, несбыточны по существу, но въ нихъ проглядываетъ много правды; по крайней мѣрѣ стремленія его проникнуты восторженною любовью къ искусству и человѣчеству (до самыхъ чудовищныхъ, впрочемъ, преувеличеній фанатизма). Что же касается до его оперъ, то въ нихъ видно несомнѣнное дарованіе, но вездѣ огромность намѣреній, претензія, въ постоянной борьбѣ съ безсиліемъ автора какъ художника, съ неодолѣніемъ технической стороны дѣла. Слишкомъ эти оперы, вмѣсто образцовыхъ твореній, какими онѣ кажутся на глаза Листа и другихъ вагнеристовъ, представляются насильственнымъ, вымученнымъ произведеніемъ очень даровитаго, но неудавшагося дилетанта. Общее впечатлѣніе его музыки — несносная скука и какое-то мучительное чувство неудовлетворенія. Кто хорошо знакомъ съ „Эвріантой" Вебера, получитъ самое вѣрное

понятіе о музыкѣ Вагнера въ двухъ главныхъ его операхъ: „Тангейзерѣ“ и „Лоэнгринѣ“, если представить себѣ карикатурное преувеличеніе стиля „Эвріанты“... (Музык. и Театр. Вѣстн., 1856, № 5). Читая, хочется собственнымъ глазамъ своимъ не вѣрить: можетъ ли быть, чтобъ это писалъ Сѣровъ, спустя очень короткое время ставшій самымъ фанатическимъ вагнеристомъ? Точно будто не Сѣровъ писалъ эти строки, а кто-то совсѣмъ другой. Но замѣчательно, во-первыхъ то, что и для этого превращенія, какъ всегда, у Сѣрова не потребовалось новыхъ фактовъ, новыхъ твореній Вагнера, чтобъ перейти отъ одного взгляда къ другому. Достаточно было съѣздить (въ 1858 и 1859 годахъ) за-границу, пожить нѣсколько дней съ Листомъ и Вагнеромъ, хорошенько поговорить съ ними—и Сѣровъ былъ уже готовъ, отработанъ съ головы до ногъ въ новомъ видѣ. Такое превращеніе могло съ нимъ случиться, а, пожалуй, могло и не случиться, и тогда онъ продолжалъ бы быть только самымъ ревностнымъ поклонникомъ Бетховена, но заразъ тоже и Моцарта, и Россини, и Обера, и Верстовскаго. Но конечно, для превращенія у Сѣрова были давно заложены готовые матеріалы въ самой его натурѣ, и случай только помогъ ему.

Вмѣстѣ съ наступленіемъ „вагнеризма“, для Сѣрова наступило и нѣчто другое: совершенное измѣненіе отношеній къ русской музыкальной школѣ. Въ первой половинѣ 50-хъ годовъ онъ былъ горячимъ поклонникомъ Глинки (съ которымъ былъ и лично знакомъ). Во второй половинѣ 50-хъ годовъ Сѣровъ начинаетъ переходить къ другому образу мыслей. Въ 1856 году онъ уже писалъ: „Опера Русланъ и Людмила во многомъ была уже не такъ удачна, какъ „Жизнь за царя“. Въ высокой степени замѣчательная какъ музыка, какъ партитура, опера „Русланъ и Людмила“ весьма неудовлетворительна, какъ опера, т.-е. на сценѣ. И музыкѣ этого произведенія можно сдѣлать многіе упреки, особенно со стороны мѣстнаго колорита, которому композиторъ придалъ уже слишкомъ много важности (!). Кромѣ древне-славянскаго характера, композиторъ, для разнообразія, ввелъ много эпизодовъ восточныхъ, и, въ ущербъ единству, слишкомъ остановился на этихъ эпизодахъ... Съ огромною силою таланта, при опытности, Глинкѣ легко было бы избѣжать и нѣкоторой монотонности и мрачности, которыя по необходимости тяготѣютъ надъ музыкою „Жизни за царя“, и нѣкоторой лишней барочности въ „Руслановѣ“. Итакъ, въ 1856 году Сѣровъ начиналъ говорить про оперы Глинки почти то самое, что за 15, за 20 лѣтъ говорили Булгарины, Зотовы и всѣ остальные „критики“. Сѣровъ

начиналъ уже поворачивать на общую, правовѣрную дорогу. Впослѣдствіи, его нападки на Глинку, особливо на „Руслана“, разрослись до громадныхъ размѣровъ. „Какъ сценически-музыкальное произведеніе, „Русланъ“ не можетъ соперничать даже съ операми Маршнера и мелкими Обера“, писалъ онъ въ 1860 году (Русскій міръ 67). Про „Русалку“, при ея появленіи на сценѣ въ 1856 году, Сѣровъ написалъ цѣлыхъ десять статей. Въ это время Сѣровъ признавалъ еще многое хорошее въ Даргомыжскомъ, находилъ у него глубокій драматизмъ, вдохновеніе, правду выраженія (чего въ то время не признавало большинство, только скучавшее въ новой оперѣ), находилъ, что, какъ опера, какъ музыкальная драма, „Русалка“ выше даже „Жизни за царя“. Впослѣдствіи, Сѣровъ отъ всего этого отступился, и писалъ (въ 1869 году, въ „Journal de S.-Pétersburg“, что Даргомыжскій — только блѣдный подражатель Глинки. Но при всемъ этомъ самое печальное было то, что уже и съ 1856 года Сѣровъ мало начиналъ понимать въ значеніи русской музыкальной школы, въ значеніи всего созданнаго ею, и въ состояніи былъ провозглашать, что „характеръ нашей школы еще не установился какъ слѣдуетъ, еще находится въ періодѣ колебанія и броженія“. Русская школа еще колеблется и бродитъ, послѣ того какъ у ней, существуютъ уже „Жизнь за царя“ и „Русланъ“! Могли-ли бы сказать что-нибудь болѣе безсмысленное всѣ любители и критики 30-хъ и 40-хъ годовъ?

Съ такими понятіями въ головѣ и въ статьяхъ своихъ, Сѣровъ не могъ не сдѣлаться очень скоро антипатичнымъ новымъ русскимъ музыкантамъ, начавшимъ появляться, одинъ за другимъ, со второй половины 50-хъ годовъ. Они исповѣдывали совершенно другой символъ вѣры, чѣмъ Сѣровъ, и если въ состояніи были, въ началѣ, быть съ нимъ за одно, принявъ его за прогрессиста, то скоро увидѣли свое заблужденіе и раскусили настоящую его натуру. Такъ точно и они, въ свою очередь скоро ему сдѣлались ненавистны. Въ началѣ, Сѣровъ радовался появленію на нашемъ музыкальномъ горизонтѣ, Балакирева, и „поздравлялъ Россію“ съ этимъ появленіемъ, признавалъ его замѣчательнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, сочиненія его (напримѣръ, концертъ для фортепіано) поэтическими, занимательно оркестрованными, изобилующими прелестными мелодическими оборотами, и т. д. (Музык. и Театр. Вѣстн., 1856, №№ 6 и 8). Но скоро это измѣнилось, особливо со времени поѣздки Сѣрова за-границу и перехода его въ вагнерскій толкъ. Въ 1863 году пріѣхалъ въ Петербургъ Вагнеръ, и Сѣровъ, ратуя изъ всѣхъ силъ за него, оповѣ-

стилъ въ своихъ статьяхъ публику, что Вагнеръ, феноменальный художникъ-поэтъ, „міры“ продумалъ, что „послѣ Бетховена не было ни одного художника, который бы живописалъ звуками въ такой степени ясно, какъ Вагнеръ“, что про его прелюдію къ „Тристану и Изольдѣ“ будутъ писать не статьи, а цѣлыя книги и т. д. (С.-П.-Б. Вѣдомости, 1863, №№ 40 и 52). Но Сѣровъ, уже совершенно измѣнившійся, выступилъ и какъ сочинитель. Новые русскіе музыканты признали еще, сравнительно говоря, нѣкоторыя достоинства и нѣкоторыя счастливыя исключенія въ первой операѣ его „Юдиѳь“. Но когда явилась на театръ „Рогнѣда“, они уже остались только полны негодованія на банальность и бездарность этой оперы, возбуждавшей пламенные восторги публики и критиковъ (особенно Ростислава, до тѣхъ поръ врага Сѣрова), и признанной ими за величайшее созданіе. Именно по своей безпредѣльной банальности „Рогнѣда“ приходилась по всѣмъ вкусамъ публики и затмѣвала для нея все остальное, въ томъ числѣ и Глинку, довольно притворно любимаго не только массой, но и музыкантами. Этой нелюбви, этого презрѣнія новыхъ нашихъ музыкантовъ не расположенъ былъ сносить Сѣровъ; при томъ даже, внѣ вопроса личнаго, эгоистичнаго, онъ до такой степени измѣнился, что отъ прежняго Сѣрова, когда-то прогрессиста, ничего уже не осталось, и былъ на лицо только ярый фанатикъ, гонитель всего новаго въ искусствѣ (кромѣ Вагнера), и въ особенности ненавистникъ новой русской школы. Въ 1856 году онъ могъ еще говорить, въ отвѣтъ на упреки на его нелюбовь къ современной музыкѣ: „Я горой стою за новѣйшаго, за самаго мало-оцѣненнаго, мало-признаннаго изъ композиторовъ, за геніальнаго Роберта Шумана; значитъ, я не врагъ современной музыки“... (Музык. и театр. Вѣстн., 1856, № 48). Теперь подобныя слова были бы для него уже совершенно невозможны. Въ 60-хъ годахъ, Сѣровъ отъ души терпѣть не могъ не только Шумана, но и Франца Шуберта (какъ симфониста), и Берліоза, и Листа, однимъ словомъ, не выносилъ всей новой европейской музыки. „Третья симфонія Шумана,—писалъ онъ въ 1867 году,—доказываетъ только, что всѣ такъ-называемыя классическія нѣмецкія симфоніи послѣ Бетховена—вовсе не симфоніи и написаны безцѣльно“ (Музыка и театръ, № 15); про симфоніи же Шумана вообще, онъ говорилъ, что онѣ „скоро вымрутъ“ (тамъ же, № 17). Про „Danse macabre“, одно изъ величайшихъ и геніальнѣйшихъ созданій не только Листа, но всей вообще музыки XIX столѣтія, Сѣровъ писалъ, совершенно въ духѣ и понятіяхъ консерваторій, что она „принадлежитъ къ самымъ экстра-

вагантнымъ исчадіямъ Берліозо-Листовскаго романтизма, поминутно впадая въ бизарность непозволительно-каррикатурнаго свойства (напримѣръ, глиссады спинкой пальца по бѣлымъ клавишамъ, и т. д.); участіе тутъ фортепіаннаго звука съ разными виртуозными затѣями для меня—загадочно, и врядъ ли объяснимо чѣмъ-нибудь инымъ, если не капризомъ композитора-піаниста"... (тамъ же, № 12). „Нельзя иногда не замѣтить,—говорилъ онъ еще,—слабости и сухости изобрѣтенія Листа собственно въ мысляхъ, въ идеяхъ музыкальныхъ, но умная поэтическая разработка идей и необыкновенно-эффектная, поразительная оркестровка съ успѣхомъ выкупаютъ внутренніе недочеты, тѣсно связанные съ его титаническою, но виртуозною натурою, и съ его парижскимъ воспитаніемъ"... (Голосъ, 1870, № 307). Про Берліоза Сѣровъ еще въ 1856 году говорилъ. „Многаго, слишкомъ многаго Берліозу недостаетъ, чтобъ его можно было считать симфонистомъ" (Музык. и театр. Вѣст., 1856, № 38). Семнадцать лѣтъ спустя, Сѣровъ писалъ: „Берліозъ въ музыкѣ точь-въ-точь то же самое, что французскіе романтики 30-хъ годовъ. У него то же извращеніе натуры, какъ въ драмахъ Гюго, Дюма и К°". Потомъ Сѣровъ съ удовольствіемъ ссылался на слова Мендельсона, изъ временъ начала 30-хъ годовъ, что „у Берліоза ни искры таланта нѣтъ, что онъ бродитъ ощупью въ потьмахъ, принимая себя за создателя міровъ", и на неизвѣстнаго нѣмецкаго автора, писавшаго въ 1843 году, что „Берліозъ положительно лишенъ чувства красоты и вся музыка его, за малыми исключеніями—гримаса"... „Приговоръ, на мой вкусъ, вѣрный", прибавлялъ Сѣровъ (тамъ же, № 321). „У Листа, равно какъ и у Берліоза,—говорилъ еще Сѣровъ,—недостатокъ музыкальнаго вдохновенія; у нихъ обоихъ, музыка ничто иное, какъ головная работа" (Journal de S.-Pétersbourg, 1869, № 279). Въ общемъ же, Сѣровъ высказывалъ въ концѣ 1869 года, т.-е. всего за годъ до смерти, такой результатъ своихъ размышленій: „Послѣ Бетховена и Вебера, я довольно люблю Мендельсона, я очень люблю Мейербера, я обожаю Шопена, я ненавижу Шумана и его подражателей, я довольно мало люблю Берліоза, я очень люблю Листа (но съ большими исключеніями), я обожаю Вагнера, особливо въ послѣднихъ его сочиненіяхъ, которыя я ставлю выше всего существующаго по части музыкальной драмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ я нахожу здѣсь nec plus ultra симфоническаго стиля, приготовленнаго (!!) Бетховеномъ" (тамъ же, № 253). Надо замѣтить, что въ концѣ 60-хъ годовъ, Сѣровъ, не взирая на свой фанатизмъ къ Вагнеру, особливо въ отношеніи къ его „Тристану", „Нибелунгову

перстню“ и „Нюренбергскимъ пѣвцамъ“, все-таки находилъ, что есть „бездна причинъ, почему многія его оперы невозможны на сценѣ. Для нихъ надо пересоздать все, начиная отъ машиниста и кончая публикой. Требованія художника эксцентричны до-нельзя, граничатъ съ какимъ-то бредомъ. Кромѣ того, уже слишкомъ пренебрежены условія пѣнія голоса человѣческаго“... (Музыка и театръ, 1867, № 1).

Что же думалъ въ это время Сѣровъ про русскую музыку и русскую школу? Продолжая увѣрять въ своей „безпредѣльной любви къ Глинкѣ“, онъ все болѣе и болѣе нападалъ на его оперы, особенно на „Руслана“. Онъ увѣрялъ, что „Русланъ“ ложно задуманъ; что Віельгорскій былъ правъ, называя эту оперу „opera manqué“, а Брюлловъ—„неперебродившимъ пивомъ“; соглашался съ Булгаринымъ, что это—драгоцѣнная жемчужина Клеопатры, распущенная въ кубкѣ съ уксусомъ: „и жемчужина пропала, и вино вышло невкусное“; соглашался со страннымъ отзывомъ Листа объ увертюрѣ: „ça sent l'exercice, c'est une oeuvre médiocre“; соглашался съ тремя пѣвцами нашими, что роль „Руслана“—неблагодарна и нерельефна; соглашался съ Сенковскимъ на счетъ справедливости и необходимости всѣхъ громадныхъ купюръ въ этой оперѣ; отъ себя самого твердилъ о „ничѣмъ неизвиняемыхъ недостаткахъ Руслана“ (тогда какъ охотно извинялъ, въ своихъ статьяхъ, чьи угодно недочеты: и Мегюля, и Россини, и Беллини, и Вебера, и Бетховена и т. д., не говоря уже о своемъ идолѣ Вагнерѣ); говорилъ еще, что „судьба Руслана—14 лѣтъ исключеннаго со сцены—ничего ни рѣзкаго, ни замѣчательнаго, ни оскорбительнаго для Россіи не представляетъ“, наконецъ, что „Русланъ“ значительно богаче, зрѣлѣе, могучѣе первой оперы Глинки; какъ партитура, это вѣчный предметъ изученія и удивленія для русскихъ музыкантовъ, но—это капризъ великаго художника, который могъ быть и не быть: русская опера уже была создана“... Кромѣ всего этого, Сѣровъ жестоко нападалъ на неудовлетворительное либретто „Руслана“, какъ на нѣчто непростительное, между тѣмъ какъ и не думалъ дѣлать подобныхъ же упрековъ множеству другихъ оперныхъ композиторовъ, всего менѣе Вагнеру, котораго напыщенные, реторическіе, символическіе и часто нелѣпые оперные сюжеты казались ему верхомъ совершенства. Что касается мнѣнія, не разъ высказаннаго въ нашей печати, что Глинка равенъ Глюку, Моцарту и Веберу, то Сѣровъ объявлялъ, что онъ съ этимъ не согласенъ и что „это дѣло еще очень проблематичное“, что „музыка Глинки тяжеловата на подъемъ, любитъ подступать къ драмѣ со стороны

серьезной (?), иногда просто плаксивой, со стороны элегическаго пафоса"... (Музыка и театръ, №№ 2—10). Какъ вѣнецъ и результатъ всѣхъ своихъ соображеній, Сѣровъ объявлялъ, что лѣтъ черезъ пять „Руслана" навсегда перестанутъ давать на театрѣ.

Понятно, что при такомъ образѣ мыслей, сочиненія и дѣятельность новой нашей музыкальной школы должны были казаться Сѣрову еще болѣе антипатичными. Сочиненія Балакирева онъ сталъ теперь признавать совершенно ничтожными; говорилъ, что его „Лиръ"—очень слабая музыка; увертюры—ничто иное какъ попурри на разныя тэмы; да и вообще „самая форма увертюры стоитъ ли того, чтобы ее продолжать въ наше время? Она въ сущности безсмысленна и права гражданства въ искусствѣ надолго имѣть не можетъ и не должна... Ремесленныхъ способностей къ музыкальному дѣлу никто и не подумаетъ отрицать въ Балакиревѣ, но надо еще бездѣлицу—творчество, а оно обыкновенно не зарождается въ головѣ, неспособной къ мысли... Такія люди не зодчіе, а каменьщики"... Дирижировку Балакирева оркестромъ, которую за 10 лѣтъ передъ тѣмъ Сѣровъ такъ усердно хвалилъ, онъ, въ концѣ 60-хъ годовъ, когда она стала еще гораздо зрѣлѣе и могучѣе, сталъ находить „еще ниже" дирижировки Рубинштейна, которую уже и такъ называлъ „ординарной" (Музыка и театръ, 1867). „Самый послѣдній музыкантъ изъ водевильнаго оркестра,—говорилъ еще Сѣровъ въ 1869 году,—продирижировалъ бы лучше Балакирева героическую симфонію Бетховена и Реквіемъ Моцарта, такъ какъ у оркестровыхъ музыкантовъ есть въ этомъ своя традиція, у г.-же Балакирева нѣтъ собственнаго вкуса и разумѣнія, нѣтъ и признаковъ серьезнаго образованія, а надъ „традиціей" и надъ „классицизмомъ" онъ издѣвается... При всей даровитости, г. Балакиревъ вполнѣ неучъ"... Но этого мало: Сѣровъ въ своей нелюбви къ Балакиреву, позволялъ себѣ увѣрять печатно публику, будто онъ умышленно „сгубилъ" въ одномъ изъ концертовъ того года увертюру „Нюренбергскіе мейстерзингеры" Вагнера (Голосъ, 1869, № 119). Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсенъ Балакирева Сѣровъ признавалъ то „не совсѣмъ удачнымъ", то „замѣчательнымъ" (Музыка и Театръ, 1867, № 12; Голосъ, 1869, № 145), то писалъ противъ него цѣлыя статьи, доказывая, что онъ гармонизовалъ вычурно, пошумановски (Музык. сезонъ, 1870, № 13).

При появленіи Римскаго-Корсакова на нашемъ музыкальномъ горизонтѣ, Сѣровъ вздумалъ было воспользоваться имъ для униженія Балакирева, и превозносилъ его сочиненія явно въ пику своему врагу; въ „Садко" онъ признавалъ много истинно-рус-

скаго, говорилъ, что палитра автора искрится своеобразнымъ, самобытнымъ богатствомъ", и только жалѣлъ о томъ, что Римскій-Корсаковъ вступилъ въ „кружокъ балакиревскій" (Музыка и театръ, 1867, № 15); но скоро онъ все это забылъ, и смѣшалъ этого автора въ одной общей ненависти своей къ прочимъ сотоварищамъ новой русской школы. Симфоніи, какъ Римскаго-Корсакова, такъ и Бородина, столько оригинальныя, поэтическія, сильныя и талантливыя, Сѣровъ находилъ только „доморощенными ученическими симфоніями" (Голосъ, 1879, № 145).

Про оперу Кюи „Ратклиффъ", Сѣровъ писалъ, что это рядъ сценъ изъ сумасшедшаго дома. „Несчастнѣйшія аріи Доницетти или Верди — настоящій колоссъ драматической правды въ сравненіи съ этимъ нелѣпымъ нагроможденіемъ синкоповъ и диссонансовъ, которые ровно ничего не выражаютъ, черезъ-чуръ перестаравшись выразить слишкомъ многое" (Journal de St.-Pétersbourg, 1869, № 233).

Какъ общее заключеніе, Сѣровъ говорилъ, что „неудачные композиторскіе опыты, исходящіе изъ лагеря „ультра-прогрессистовъ", и комки грязи, бросаемые ими въ Баха, Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта, Россини, Вагнера и даже въ нѣкоторыя симфоніи царя музыки, Бетховена, свидѣтельствуютъ никакъ не о здравомъ и просвѣщенномъ вкусѣ, а о жалкой односторонности и неразвитости"... (Голосъ, 1870, № 321). Встрѣчаемые въ послѣднихъ цитатахъ нашихъ упреки со стороны Сѣрова Балакиреву и его товарищамъ за неуваженіе „преданій", „классицизма" и „авторитетовъ", очень характерны. Было время, когда самъ Сѣровъ былъ противъ всего этого, писалъ цѣлыя статьи противъ Русскаго музыкальнаго Общества, консерваторіи и Рубинштейна (Библіотека для чтенія, 1861), и испытывалъ нападенія „классиковъ" за отсутствіе достаточной правовѣрности: теперь же онъ и самъ принялся за ремесло консерваторовъ. И случилось это вотъ какъ. Долго былъ Ростиславъ во враждѣ и въ борьбѣ съ Сѣровымъ, но въ 1865 году пришелъ, вмѣстѣ съ остальною петербургскою публикою, въ неистовый восторгъ отъ „Рогнѣды", палъ ницъ передъ Сѣровымъ и сталъ превозносить его въ своихъ статьяхъ выше облака ходячаго. Сѣровъ былъ польщенъ, и скоро сошелся съ Ростиславомъ, тѣмъ болѣе, что этотъ послѣдній былъ ревностный врагъ новой музыкальной школы. „Наши композиторы, особенно даровитѣйшіе,—писалъ этотъ,— имѣютъ какое-то странное притязаніе стоять особнякомъ. Каждый изъ нихъ полагаетъ, что съ его произведеній начинается новая эра для искусства. Горячіе поклонники Глинки не признаютъ Сѣрова,

тогда какъ Глинка и Сѣровъ въ сущности стремились къ одной и той же цѣли (!!), именно къ правдѣ въ дѣлѣ драматической музыки. У Даргомыжскаго есть также свой кружокъ, который свысока относится къ произведеніямъ Сѣрова... Разительный примѣръ ничѣмъ неоправданнаго фетишизма представляетъ Балакиревъ. Кружокъ его адептовъ или поклонниковъ упорно силится его поставить на недосягаемый пьедесталъ"... (Голосъ, 1867, № 88). „Если русское искусство,—восклицалъ еще Ростиславъ, въ ту минуту, когда Балакиревъ принужденъ былъ покинуть дирижированіе концертами Русскаго Музыкальнаго Общества (попытка, доказавшая наглядно, до какой степени новымъ русскимъ музыкантамъ не мѣсто въ Русскомъ Музыкальномъ Обществѣ),—если русское искусство должно зиждиться на разрушительныхъ принципахъ, проповѣдуемыхъ нашими музыко-кластами, такъ Богъ съ нимъ со всѣмъ. Не нѣмецкая враждебная партія сгубила Балакирева, а сгубилъ его и въ конецъ скомпрометировалъ тотъ же кружокъ, который превозносилъ его черезъ мѣру и не дозволялъ ему подчиняться законнымъ требованіямъ Русскаго Музыкальнаго Общества (NB: это все на счетъ введенія большей дозы „классическаго элемента" въ концерты общества). Можно ли вручать участь концертовъ Музыкальнаго Общества человѣку, который завѣдомо принадлежитъ и поддерживается кликою разрушителей? Возможно ли ввѣриться людямъ, договорившимся до абсурда?" (Голосъ, 1869, № 136). Сѣровъ, позабывшій всѣ прежнія свои слова о „нѣмецкой партіи", восклицалъ въ это же время: " Нѣтъ у насъ никакой партіи, ни русской, ни нѣмецкой, а есть гнѣздо самохваловъ-интригановъ, которые хотятъ орудовать музыкальными дѣлами для своихъ личныхъ цѣлей, отстраняя высшія цѣли искусства на задній планъ. Паденіе Балакирева, а вмѣстѣ съ нимъ и его „лагеря"—дѣло вполнѣ логичное и справедливое" (Голосъ, 1869, № 145). Восхищенный „Рогнѣдой" и ея авторомъ, своимъ новымъ товарищемъ и союзникомъ, Ростиславъ поспѣшилъ сдѣлать его членомъ нѣкоего „спеціально-музыкальнаго комитета", учрежденнаго при Русскомъ Музыкальномъ Обществѣ, и Сѣровъ, всегда мало разборчивый, а теперь совсѣмъ забывшій все, что писалъ до тѣхъ поръ про Русское Музыкальное Общество и консерваторію, не устыдился сообщества съ Ростиславомъ, и съ восхищеніемъ сдѣлался членомъ комическаго комитета.

Въ любопытномъ засѣданіи дирекціи Музыкальнаго Общества 2 декабря 1869 года было рѣшено и „въ журналѣ записано", что „вопросъ о правильномъ преподаваніи музыкальнаго искусства въ нашей консерваторіи дирекція считаетъ разрѣшеннымъ, и

самое дѣло преподаванія поставленнымъ на основаніи прочныхъ обезпечивающихъ дальнѣйшее процвѣтаніе музыкальнаго искусства въ нашемъ отечествѣ" (Голосъ, 1869, № 357). Сѣровъ со всѣмъ этимъ былъ согласенъ и ничего не находилъ возражать. Что касается вопроса объ исполненіи въ концертахъ Общества лучшихъ произведеній вокальной и инструментальной музыки, то „для составленія программъ этихъ концертовъ не было еще выработано прочныхъ основаній. Сверхъ того, уставъ Общества обязываетъ его развивать музыкальный вкусъ публики и поощрять отечественныхъ композиторовъ и исполнителей музыки. Но какими правилами должно руководствоваться для достиженія этихъ цѣлей? Этотъ вопросъ составляетъ задачу еще нерѣшенную". Ее-то и вознамѣрился рѣшить спеціально-музыкальный комитетъ, а Сѣровъ взялся помогать ему. Въ первомъ засѣданіи, Ростиславъ (на этотъ разъ подъ настоящимъ своимъ именемъ Ѳеофила Толстого) провозгласилъ въ рѣчи своей: „Надѣюсь, что мы постоимъ за себя... Учрежденіе комитета должно положить у насъ начало сильной музыкальной корпораціи, которая представитъ надежный оплотъ противъ напора людей, отрицающихъ пользу музыкальной науки (?!). Позвольте пожелать всѣмъ намъ стойкости, твердости и терпѣнія для отпора зловредному напѣву"... Сѣровъ ничего противъ всего этого не возражалъ, со всѣмъ былъ согласенъ, и конечно, только радовался новой оказіи нанести вредъ „врагамъ". Но комитетъ былъ недолговѣченъ, и канулъ въ Лету, ничего не совершивъ, не соорудивъ никакого оплота, ничего не сокрушивъ и ничѣмъ не развивши музыкальнаго вкуса публики. Сѣровъ только понапрасну увеличилъ списокъ своихъ легкомысленныхъ поступковъ и непослѣдовательностей, примкнувши къ тѣмъ людямъ и учрежденіямъ, которыхъ былъ раньше того горячимъ противникомъ. Но въ это время онъ окончательно уже былъ „консерваторъ", писалъ цѣлыя статьи въ честь Россини и Патти (Journal de S. Pétersbourg, 1869), сочинялъ особыя пьесы для этой примадонны, и въ послѣдніе дни жизни собирался даже писать итальянскую оперу спеціально для нея. Вліяніе такого человѣка могло быть только зловредно. Онъ не возвышалъ, онъ не развивалъ понятія публики, онъ только затемнялъ и путалъ ихъ.

Одновременно съ Ростиславомъ и Сѣровымъ дѣйствовалъ противъ новой русской школы, въ концѣ 1867 года, г. Фаминцынъ, незадолго передъ тѣмъ кончившій свое музыкальное „образованіе" въ лейпцигской консерваторіи. Онъ привезъ съ собою всѣ самые прочные взгляды и убѣжденія нѣмецкихъ консерваторій, ординарные, умѣренные и аккуратные, такъ что, наприм.,

онъ нападалъ на Берліоза за то, что тотъ въ программной музыкѣ пошелъ „слишкомъ далеко“ не вполнѣ освободился отъ нѣкоторой „поверхностности и реализма“, выражающихся, наприм., въ звукоподражаніи грому въ сельской сценѣ въ „Фантастической симфоніи“, въ выборѣ для послѣдней части „безобразнѣйшей, почти отвратительной сцены шабаша“; наконецъ въ „слишкомъ матеріальной мотивації 4-й части симфоніи“. „Зачѣмъ тутъ отрава, зачѣмъ именно опіумъ, отчего не просто сонъ“? наивно, нѣжно и деликатно спрашивалъ г. Фаминцынъ (Голосъ, 1867, № 331). Онъ обожалъ по всѣмъ нѣмецкимъ правиламъ Вагнера, а у насъ Рубинштейна, и разливался, вмѣстѣ съ г-жами воспитанницами нашей консерваторіи, въ горькихъ сѣтованіяхъ, почти проливалъ слезы, когда Рубинштейнъ, раскапризничавшись, вышелъ изъ этого учрежденія въ 1867 году и уѣхалъ изъ Петербурга. Въ припадкахъ своего горя г. Фаминцынъ не соображалъ того, что̀ въ состояніи былъ сообразить даже Ростиславъ, а именно, что причиною ссоры Рубинштейна съ консерваторіей былъ крайній „деспотизмъ и абсолютизмъ его“, почему Ростиславъ и старался уговорить его перемѣнить гнѣвъ на милость (Голосъ, 1867, № 88). Но у г. Фаминцына, сверхъ всего этого, главною чертой его музыкальной физіономіи были: претензія разумѣть истинную просодію въ вокальныхъ сочиненіяхъ, и потому манія поправлять, въ этомъ отношеніи, каждый романсъ, каждую вокальную пьесу, попадавшуюся ему на глаза. Онъ очень любилъ „поправлять декламацію“ (Музыкальный сезонъ, 1870, № 13, статья „Новые русскіе романсы“)—и это онъ совершалъ съ примѣрною безтолковостью. Во-вторыхъ же, у него была претензія до тонкости разумѣть цѣломудренность и благородство въ музыкѣ, и охранять ее отъ всего тривіальнаго, циничнаго и недостойнаго. По поводу „Садко“ Римскаго-Корсакова, г. Фаминцынъ сердечно сожалѣлъ, что авторъ слишкомъ „зараженъ, пропитанъ простонародностью“. „Неужели,—восклицалъ онъ,—народность въ искусствѣ заключается въ томъ, что мотивами для сочиненій служатъ тривіальныя плясовыя пѣсни, невольно напоминающія отвратительныя сцены у дверей питейнаго дома? Неужели музыка, идеальнѣйшее изъ искусствъ, способная вызывать въ фантазіи слушателя самые идеальные образы, возбуждать въ немъ самыя чистыя, возвышенныя чувства, можетъ спускаться до низкаго недостойнаго уровня пѣсенъ пьянаго мужика?... Если въ кабацкихъ сценахъ состоитъ народность, то мы можемъ похвалиться русскою народною инструментальною музыкой, такъ какъ мы имѣемъ въ этой формѣ довольно много различныхъ трепаковъ

(подъ этимъ общимъ именемъ я подразумѣваю всѣ банальныя, простонародныя плясовыя пѣсни), мы имѣемъ нѣсколько трепаковъ русскихъ, трепакъ казацкій, трепакъ чухонскій, чешскій, сербскій. (Подъ этими презрительными названіями г. Фаминцынъ разумѣлъ „Камаринскую“ Глинки, „Садко“ Римскаго-Корсакова, „Казачка“ и „Чухонскую фантазію“ Даргомыжскаго, „Ченскую увертюру„ Балакирева, „Сербскую фантазію“ Римскаго-Корсакова); современемъ, вѣроятно, прибавятся татарскій, киргизскій, можетъ быть, остзейскій, и все это вмѣстѣ называется національной музыкой“! Въ заключеніе всего, г. Фаминцынъ объявлялъ, что вездѣ въ Садко проглядываетъ „дилетантизмъ“. (Голосъ, 1867, № 357). Сочиненія товарищей Римскаго-Корсакова г. Фаминцынъ оцѣнивалъ въ томъ же родѣ, жалуясь на излишества въ формѣ и оркестровкѣ. Но всѣ добродѣтельные и цѣломудренные вопли г. Фаминцына пролетѣли передъ нашей публикой безслѣдно, не убѣдивъ ее ни въ „дилеттантствѣ“ Римскаго-Корсакова и его товарищей, ни въ „тривіальности“ ихъ сочиненій.

Но еще болѣе консерватористомъ, чѣмъ г. Фаминцынъ, явился, въ концѣ 60-хъ годовъ, еще другой нашъ писатель: г. Ларошъ. Этотъ былъ уже консерватористъ въ квадратѣ и въ кубѣ, быть можетъ, именно потому, что онъ воспитывался въ петербургской консерваторіи. Не разъ замѣчали, что русскіе прогрессисты и радикалы часто превосходятъ всѣхъ своихъ товарищей въ западной Европѣ по силѣ и иниціативѣ мысли: можетъ быть, это правда; по крайней мѣрѣ, въ отношеніи музыки, самъ Ларошъ высказался однажды въ этомъ смыслѣ. Но мнѣ кажется, будетъ еще справедливѣе сказать, что если у насъ заведется хорошій, добрый консерваторъ, то онъ всегда бываетъ такой ревностный, такой усердный, такой предпріимчивый и настойчивый, что заткнетъ за поясъ всякаго другого консерватора, нѣмца, француза, или англичанина. Г. Ларошъ представляетъ собою яркій примѣръ именно подобнаго консерваторства, передъ которымъ должны спасовать и стушеваться всѣ остальныя консерваторства. Онъ нерѣдко говоритъ, съ большей или меньшей похвалой про созданія новаго музыкальнаго искусства, но всѣ симпатіи его на сторонѣ стараго, даже древняго искусства. При первомъ появленіи г. Лароша въ нашей печати, Сѣровъ привѣтствовалъ его съ энтузіазмомъ: „Блистательныя статьи г. Лароша по музыкально-исторической критикѣ обращаютъ теперь на себя большое вниманіе публики, и со многихъ сторонъ сдѣлали бы честь профессору зрѣлому, знаменитому и передовому“ (Музыка и театръ, 1867, № 15). На первый взглядъ, эти похвалы могутъ пока-

заться странными и непослѣдовательными: г. Ларошъ не являлся въ своихъ статьяхъ ни вагнеристомъ, ни исключительнымъ бетховеніанцемъ, не нападалъ ни на Глинку за „Руслана“, ни на новую русскую музыкальную школу, какъ это, въ то время надобно было, чтобы понравиться Сѣрову: напротивъ, г. Ларошъ многое порицалъ и въ Вагнерѣ, и въ Бетховенѣ (особливо за послѣднее его время); онъ обожалъ „Руслана“ и ничего еще не имѣлъ противъ новыхъ русскихъ музыкантовъ. И все-таки онъ былъ крайне пріятенъ Сѣрову! Видно свой своего видитъ издалека.

Въ своихъ статьяхъ о Глинкѣ (Русскій Вѣстникъ, 1867, декабрь и слѣд.) г. Ларошъ высказывалъ вещи, которыя, со стороны человѣка, воспитывавшагося въ консерваторіи и горячо приверженнаго къ ней, не могли не казаться изумительными. Не только онъ отдавалъ безусловное преимущество „Руслану“ надъ „Жизнью за царя“ (гдѣ находилъ очень много непохвальнаго итальянскаго элемента), но вообще ставилъ Глинку необыкновенно высоко. „Какъ Пушкинъ создалъ русскій стихъ,—говорилъ онъ,—такъ Глинка создалъ русское голосоведеніе... Мы вѣримъ, что наступитъ пора рѣшительнаго вліянія Глинки и на западныхъ композиторовъ. ...Нельзя не видѣть, что германская музыкальная школа (самая обширная, самая выработанная, самая богатая великими именами) уже высказала свое содержаніе, что ея свѣжесть и непосредственность начинаютъ выдыхаться, что она приходитъ въ упадокъ... Если музыка достигла зенита, а теперь начинаетъ опускаться въ Германіи, то есть еще другія, свѣжія, непочатыя и вмѣстѣ съ тѣмъ музыкально-одаренныя народности, въ которыхъ круговращеніе искусства еще все впереди. Два великіе залога, народная пѣсня и Глинка, ручаются намъ за то, что въ ряду этихъ народовъ музыкальнаго будущаго, русскій—не послѣдній. Глубина нашихъ народныхъ пѣсенъ еще не исчерпана, ихъ огромное сокровище даже только въ самой незначительной мѣрѣ сдѣлались извѣстны. Точно также и Глинка, еще не оцѣненъ въ своемъ значеніи и мало кому извѣстенъ во всемъ своемъ объемѣ... Русская школа, можетъ быть, въ непродолжительномъ будущемъ, поведетъ борьбу за первенство со школой германской. Да устремится же наше искусство по пути серьезнаго и глубокаго изученія, да пріобрѣтетъ оно, въ борьбѣ съ техническими трудностями, въ анализѣ великихъ композицій прошлыхъ вѣковъ, ту крѣпость мысли и то смиреніе передъ исторіей искусства, безъ которыхъ немыслимъ высокій подвигъ создать свою народную музыку“... Читая эти строки, каждый, конечно, радуется и веселится, столько въ нихъ преданности русскому дѣлу и желанія

ему успѣха. Однако, скоро потомъ оказывается, что все это не болѣе, какъ миражъ: г. Ларошъ такъ озаботился русской музыкой потому, что недоволенъ европейской, къ которой лежатъ всѣ настоящія его симпатіи и, отчаявшись увидѣть тамъ когда-нибудь процвѣтаніе тѣхъ идей, которыя ему дороги, обращается къ Россіи, „странѣ дѣвственной", въ такихъ мысляхъ, что авось хоть здѣсь насадятся и процвѣтутъ добрыя сѣмена. Къ сожалѣнію (какъ мы увидимъ ниже), надежды на Россію не осуществились, и тогда г. Ларошъ съ горестью снялъ и съ нея лучшія ожиданія свои.

Г. Ларошъ всего болѣе любитъ старую, допотопную музыку, процвѣтавшую въ Европѣ лѣтъ 300 назадъ, съ ея „строгимъ контрапунктомъ" и всяческой схоластикой: объ этомъ мы говорили уже выше. Гдѣ нѣтъ „строгихъ контрапунктовъ, тамъ для него музыка не въ музыку, самые великіе музыкальные геніи—хороши, да не совсѣмъ, и все у нихъ чего-то не хватаетъ. И это до такой степени, что еще въ 1869 году (какъ мы видѣли) г. Ларошъ объявлялъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ", что „въ сферахъ мелодіи, контрапункта, ритма и композиціи, съ 20-хъ годовъ нашего столѣтія не только не видно успѣха, но замѣтно несомнѣнное и сильное паденіе" („Русскій Вѣстникъ", 1869, іюль, статья: „М. И. Глинка"). Нынче, спустя 15 лѣтъ, и въ томъ же „Русскомъ Вѣстникѣ", г. Ларошъ принялъ на себя трудъ еще явственнѣе опредѣлить это, объявивъ, что Бетховену, котораго онъ, впрочемъ, признаетъ великимъ міровымъ геніемъ, —недоставало одного изъ главныхъ признаковъ всесторонняго музыканта: онъ не былъ контрапунктистомъ. „Взгляните на бетховенскій контрапунктъ: почти всегда первоначальная мелодія задумана великолѣпно, полна рельефа, своеобразности, благородства, энергіи, или же нѣжности и заманчивости, но она задумана „гомофонно", т.-е. она по природѣ своей не годится для контрапункта, а должна быть сопровождена самымъ простымъ аккордовымъ или фигуральнымъ аккомпаниментомъ"... (Русскій Вѣстникъ, 1884, декабрь, статья: „По поводу концерта, посвященнаго Бетховену"). Какой странный доктринеръ этотъ г. Ларошъ! Онъ воображаетъ, что какіе были способы сочиненія 300 лѣтъ тому назадъ, такіе должны быть и нынче, хотя бы они вовсе не соотвѣтствовали ни нынѣшнимъ потребностямъ, ни нынѣшнимъ намѣреніямъ, ни нынѣшнимъ вкусамъ, а главное—потребностямъ, намѣреніямъ и вкусамъ такого-то автора. Неужто „строгій контрапунктъ" такое чудо и диво, что могли ему научиться и усвоить себѣ его старинные схоластики, младенцы музыки, такіе

какъ Гудимели и Жоскины, Клименты и Виллаэрты (про Палестрину я не говорю, онъ—рѣдкое исключеніе), могъ ему научиться до тонкости даже г. Ларошъ,—и не могъ научиться только геніальный Бетховенъ! Казалось бы, проще было бы предположить, что если „строгаго контрапункта", этого столько наживного дѣла, не было у Бетховена, то ему вовсе и ненадобно было его, и что этотъ старый притупленный инструментъ слишкомъ мало свойственъ нашему выросшему времени. Но г. Ларошъ разсуждаетъ иначе. Онъ считаетъ „строгіе контрапункты" чѣмъ-то на вѣки-вѣковъ для всѣхъ необходимымъ и обязательнымъ, и потому-то, истымъ шульмейстерамъ заботясь несравненно больше о школьной формѣ, чѣмъ о поэтическомъ и геніальномъ содержаніи, онъ вычеркиваетъ изъ списка истинно-великихъ произведеній Бетховена всѣ глубочайшія созданія его послѣдняго періода: квартеты и 2-ю мессу (одна 9-я симфонія вполнѣ удовлетворяетъ его первыми своими тремя частями, и передъ ними онъ благоговѣетъ). „Не могу понять удовольствія, которое находятъ образованные музыканты,—говоритъ онъ,—въ музыкѣ подобнаго рода... Музыканты-прогрессисты, задающіе тонъ въ современной литературѣ, привыкли относиться къ Моцарту свысока, но иная маленькая моцартовская работа содержитъ въ себѣ больше истинной красоты и истиннаго величія, чѣмъ хваленая вступительная фуга въ хваленомъ Cis-мольномъ квартетѣ".

Если таково отношеніе г. Лароша къ Бетховену, легко понять, каково оно должно быть у него къ новымъ европейскимъ композиторамъ послѣ-бетховенскаго періода. Они еще болѣе должны были быть непонятны г. Ларошу по своему содержанію, и враждебны по „своеволію" формы, далекой отъ прежней архаической. „Исходная точка дѣятельности Вагнера и Листа,—говоритъ онъ,—это—отрицаніе всякой музыки, которая сама себѣ цѣль (!); для нихъ музыка только тогда получаетъ raison d'être, когда опирается на опредѣленную поэтическую задачу... Программная музыка у новѣйшихъ музыкантовъ Германіи возводится въ абсолютную теорію, въ музыкальное евангеліе... Величайшій изъ современныхъ композиторовъ, Берліозъ, въ противуположность Листу и Вагнеру, исполненъ мелодической и ритмической жизни; его оригинальность и свѣжесть поразительны. Но и у него экгармонизмъ гармоніи и разрозненность формы указываютъ на упадокъ искусства, теперь совершающійся"... „Современный упадокъ музыки"—вотъ въ чемъ главный тезисъ всего, что пишетъ г. Ларошъ съ 1867 года. Въ этомъ его отчаяніе, въ этомъ его несчастіе, и онъ только о томъ и мечтаетъ, какъ бы воротиться

самому, да воротить и весь міръ, если можно, къ своимъ любезнымъ „классикамъ“, къ своимъ драгоцѣннымъ старикамъ. Но это кажется г. Ларошу такимъ счастьемъ, котораго и предвидѣть нельзя; за неимѣніемъ лучшаго, онъ увѣряетъ, что „на знамени умѣреннаго направленія должны быть написаны имена Гайдна, Моцарта, Глука, Мегюля, Керубини, Шпора; для фортепіано: Клементи, Гуммеля, Фильда“ (Голосъ, 1874, № 72). Кому сносны въ наше время Фильды, Гуммели и Шпоры — понятно, какъ такой человѣкъ долженъ смотрѣть на новыхъ музыкантовъ, шагнувшихъ такъ далеко впередъ. Листъ для г. Ларош а — „музыкальный Викторъ Гюго, изобрѣтатель музыкальнаго абсента, музыкальныхъ пикулей и музыкальнаго друммондова свѣта“ (тамъ же). Берліоза онъ называетъ „безсмертнымъ французомъ“, но тутъ же жалуется, что „на композицію послѣднихъ 30-ти лѣтъ онъ имѣлъ вліяніе преимущественно въ смыслѣ разрушенія формы: свободный отъ ея гнета и фантастическій въ своихъ постройкахъ, онъ для Листа и другихъ сдѣлался образцомъ рапсодической свободы и произвола, и никто не наносилъ прежнимъ рамкамъ сонаты болѣе тяжелаго и рѣшительнаго удара“. (Голосъ, 1874, № 86). Про Шумана г. Ларошъ спрашиваетъ себя: „Принадлежитъ ли онъ къ хорошей школѣ, и пользовался ли онъ ея благодѣяніями? Строго говоря, отвѣчаетъ онъ, нѣтъ. Онъ былъ самоучка. Однако онъ создалъ памятники, которые, при всѣхъ недостаткахъ школы, при всей неправильности постройки, поражаютъ смѣлымъ величіемъ мысли и богатствомъ чарующихъ подробностей... Сравнительно съ глубокимъ упадкомъ, все болѣе и болѣе распространяющимся въ наши дни, Шуманъ является представителемъ ясной, прозрачной и правильной формы“... (тамъ же, № 86).

Все форма! Одна форма! Только про нее вѣчно и рѣчь идетъ у г. Ларош а.

Въ своемъ глубокомъ отчаяніи отъ Европы и страшнаго „упадка“ ея музыки, г. Ларошъ вдругъ замѣтилъ Глинку и вдругъ нашелъ, что онъ „самый классическій, самый строгій и чистый между первоклассными композиторами XIX вѣка“. Это была молнія счастія, это былъ призракъ осуществляющихся впереди блаженныхъ надеждъ, и г. Ларошъ пустился проповѣдывать въ печати о величіи Глинки и о томъ, чего можно ожидать отъ музыкальной Россіи, молодой и свѣжей, идущей на смѣну устарѣлой музыкальной Европы, ничего болѣе не желающей знать о „строгомъ контрапунктѣ“ праотцевъ, и погрязшей въ нечестивой „программности“. Онъ сталъ надѣяться, что „совратитъ“ Россію

на путь древнихъ, почтенныхъ контрапунктовъ, и онъ внушалъ только „смиреніе“ передъ исторіей музыки (т.-е. передъ Климентами и Жоскинами), а вѣнецъ побѣды и торжества — уже впереди!

Но розовыя иллюзіи скоро исчезли у г. Ларош. „Классика“ Глинки, „достойнаго Моцарта по кристаллическимъ формамъ“ (опять все формы!) уже не было на свѣтѣ, и не оказывалось никого, кто согласенъ былъ бы заниматься кристаллическими формами. Вмѣсто того, онъ замѣтилъ у новыхъ русскихъ музыкантовъ, наслѣдниковъ и послѣдователей Глинки, музыкальный произволъ, музыкальное буйство, отсутствіе „смиренія передъ исторіей“ и отчаянную рѣшимость ничего не имѣть общаго съ Гудимелями и Виллаэртами. Г. Ларошъ открылъ „либерализмъ“ въ новой русской музыкѣ! Для такого прилежнаго ученика и вѣрнаго послѣдователя г. Каткова, какимъ онъ былъ по натурѣ и воспитанію, это было по-истинѣ нѣчто трагическое. И г. Ларошъ возсѣлъ на боевого коня, для уничтоженія, московскимъ оружіемъ „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“, тѣхъ самыхъ враговъ, которыхъ все какъ-то не могли уничтожить, раньше него, ни Ростиславъ, ни Сѣровъ, ни г. Фаминцынъ.

Уже въ 1869 году г. Ларошъ сталъ жаловаться на „дилетантизмъ и невѣжество“ новыхъ русскихъ музыкантовъ. Но, говорилъ онъ при этомъ: „сила заблужденія является вдесятеро опаснѣйшею, когда оно принимаетъ личину либеральнаго протеста, когда сторонники застоя и упадка облекаются въ одежду борцовъ за прогрессъ, когда элементарныя условія нашего обученія клеймятся отсталыми и зловредными тормазами всякаго развитія... Подъ знаменемъ либеральнаго направленія, съ лозунгомъ прогресса и свободы, у насъ открытъ походъ противъ коренныхъ, необходимыхъ условій музыкальнаго образованія. Подвергаются порицанію и осмѣянію учрежденія, долженствующія разлить музыкальныя познанія по нашему отечеству... Значеніе „строгаго контрапункта“ понимается не менѣе ложно и толкуется не менѣе превратно, нежели значеніе классическихъ языковъ“... (Русскій Вѣстникъ, 1869, іюль, статья: „Мысли о музыкальномъ образованіи въ Россіи“). „Поднимите вопросъ о преподаваніи,— говорилъ еще тутъ же г. Ларошъ,—и вы сейчасъ услышите вопли противъ „схоластическихъ рамокъ“ и совѣтъ ограничиться саморазвитіемъ“...

Обращаясь къ новымъ русскимъ сочиненіямъ, г. Ларошъ констатировалъ, точно также, какъ и гг. Сѣровъ, Ростиславъ и Фаминцынъ, что „отчаянное исканіе новизны и пикантности,

ломка художественной формы, ломка для ломки, а отнюдь не по требованію внутренняго содержанія—вотъ чѣмъ отличаются многія изъ новѣйшихъ произведеній русской школы музыки"... (тамъ же).

Въ особой статьѣ, подъ заглавіемъ „Русская музыкальная композиція нашихъ дней" (Голосъ, 1874, № 9) и во множествѣ другихъ статей, напечатанныхъ въ „Голосѣ" и „Московскихъ Вѣдомостяхъ", г. Ларошъ съ глубокой антипатіей разсматривалъ сочиненія новыхъ русскихъ музыкантовъ, которыхъ онъ, подобно своимъ предшественникамъ по критикѣ, называлъ „дилеттантами". Онъ признавалъ ихъ подражателями то Глинки и Даргомыжскаго, то Шумана, то Листа, то Берліоза, и одного только не видѣлъ и не находилъ въ нихъ, того, что именно составляло ихъ физіономію и силу—собственный ихъ характеръ, самобытность и починъ. „Симфоническія рапсодіи Балакирева („1000 лѣтъ" и „Чешская увертюра") по разрозненности формы нѣсколько напоминаютъ,—говорилъ онъ,—оперныя сцены въ новѣйшемъ духѣ, а романсы и оперы Кюи по преобладанію аккомпанимента надъ пѣніемъ имѣютъ симфоническій характеръ... И Балакиревъ и Кюи имѣютъ талантъ, хотя изобрѣтенія у нихъ мало... При многихъ увлеченіяхъ ума, они владѣли (вначалѣ) несомнѣнно здоровымъ и вѣрнымъ чувствомъ, которое съ теченіемъ времени притупилось, но тогда вело ихъ нерѣдко самою вѣрною дорогой: культъ народной пѣсни, защита „Руслана" отъ Сѣрова, пропаганда Шумана и Берліоза—все это обличало въ нихъ извѣстное чутье правды"... Вдобавокъ ко всему этому, г. Ларошъ обвинялъ новыхъ русскихъ музыкантовъ въ томъ, что будто бы, даже, „Бетховенъ признавался у нихъ болѣе для почета, чѣмъ для прямого вліянія".

„Исламей" Балакирева, г. Ларошъ находилъ только „длиннымъ, шумнымъ и однообразнымъ фортепіаннымъ этюдомъ". Бородина называлъ „врагомъ и гонителемъ музыки"; его „секунды" производилъ отъ трелей Листа; вообще же находилъ у него „оргію диссонансовъ", „тенденціозное стремленіе къ музыкально-безобразному и нелѣпому", и увѣрялъ, что этотъ композиторъ „поставилъ себѣ задачею вездѣ дѣлать непріятность слушателю" (Голосъ, 1874, № 18). У Римскаго-Корсакова г. Ларошъ находилъ много хорошаго въ „Псковитянкѣ" въ 3-й симфоніи, но жалѣлъ, что при его „обстановкѣ и средѣ" онъ склонился въ ту сторону, гдѣ его „богатыя силы не находятъ никакой пищи, кромѣ голаго отрицанія лучшихъ преданій и высшихъ твореній музыкальнаго искусства" (Голосъ, 1874, № 66). Но когда явился „Антаръ", онъ про него писалъ, что эта симфонія „составляетъ высшую точку,

до которой достигалъ (до 1876 года) этотъ авторъ". Правда, онъ тутъ же упрекалъ его въ Листовской разработкѣ, въ „незначительности мыслей"; но все-таки объявлялъ, что „въ слушаніи всѣ эти недостатки скрываются": „необычная роскошь оркестроваго колорита (впрочемъ, при нѣсколько изысканномъ оркестрѣ), въ соединеніи съ пикантною густою гармоніей, дѣйствуютъ какимъ-то опьяняющимъ образомъ; вы словно отвѣдали гашиша", восклицалъ г. Ларошъ (Голосъ, 1876, № 14). Про нѣкоторые романсы Кюи (наприм. „Эоловы арфы") г. Ларошъ говорилъ, что хотя они написаны въ ложномъ декламаціонномъ родѣ, но содержатъ красоту, вкусъ, благородство"... (Голосъ, 1874, № 66). „Ратклиффъ" Кюи г. Ларошъ считалъ созданіемъ по преимуществу симфоническимъ, говорилъ, что „при огромныхъ драматическихъ недостаткахъ, эта опера содержитъ много музыкальныхъ красотъ", а по поводу „Анджело" говорилъ: „Въ Кюи надо дѣлать различіе между натурой несомнѣнно даровитой и симпатичной, и наросшей на ней толстой корой тенденціи и предразсудковъ... Кюи — элегическій лирикъ, чуждый силы и смѣлаго полета... Оригинальничанье, погоня за курьезами, манера рѣзкая, крайняя, односторонняя и монотонная, отсутствіе рельефности и самобытности"—вотъ что, по г. Ларошу, составляло сущность сочиненій Кюи, „огромныхъ миніатюръ", по его мнѣнію (Голосъ, 1876, № 36).

Не трудно понять, что при подобныхъ понятіяхъ и образѣ мыслей, оперы Даргомыжскаго и Мусоргскаго должны были, для г. Лароша, быть еще антипатичнѣе. Реализмъ и небывалая до нихъ правда выраженія человѣческой рѣчи, посредствомъ декламаціи, составляющіе главную сущность ихъ таланта, были еще менѣе всего прочаго, въ созданіяхъ новой нашей школы, доступны его пониманію. Какъ мы видѣли уже выше, г. Ларошъ считалъ Даргомыжскаго, до „Русалки", дилеттантомъ необлагороженнымъ, въ родѣ Варламова, а когда проснулось въ немъ нѣчто похожее на музыку высшаго полета, онъ сталъ подъ вліяніе Балакирева и Кюи, людей болѣе его молодыхъ, болѣе его знакомыхъ съ новѣйшею западною музыкой, несомнѣнно талантливыхъ, но по образованію такихъ же дилеттантовъ, какъ и онъ (Голосъ, 1874, № 9). Даргомыжскій былъ „по преимуществу талантъ деталей и характеристики,—говоритъ г. Ларошъ въ своей статьѣ о „Каменномъ гостѣ":—онъ никогда не проходилъ основательной систематической школы композиціи, и его техника, хотя бы въ сравненіи съ Глинкой, просто младенческая. Но въ немъ была самостоятельная струя вдохновенія; стоитъ вспомнить романсы: „Что въ имени тебѣ моемъ" и „На раздольѣ небесъ", чтобъ убѣдиться, что онъ

умѣлъ возвышаться до красивой и патетической мелодіи. Но послѣдніе романсы Даргомыжскаго, лучшіе и значительнѣйшіе между всѣми остальными по декламаціи и выраженію, напр. „Паладинъ", г. Ларошъ признавалъ результатомъ излишняго реализма, односторонности и исключительности.

Про высочайшее созданіе Даргомыжскаго, оперу „Каменный гость" г. Ларошъ писалъ (1872), что заключающійся здѣсь „воображаемый реализмъ есть страшное насиліе надъ публикой, а въ настоящей оперѣ, весь громадный талантъ композитора оказался недостаточнымъ для того, чтобъ смягчить насиліе, сдѣлать его не замѣтнымъ, или, по крайней мѣрѣ, сноснымъ... Даргомыжскій къ задачѣ своей относится строже и послѣдовательнѣе Вагнера, гораздо цѣломудреннѣе его какъ художникъ, у него нѣтъ вагнеровской чувственности, маскированной заоблачнымъ романтизмомъ, онъ въ музыкѣ гораздо свободнѣе отъ общаго мѣста и въ декламаціи тщательнѣе и счастливѣе. Но за то „Каменный гость" безконечно менѣе музыкаленъ, нежели любая опера Вагнера..." Вообще, эта опера—„весьма типичное произведеніе новой школы, передовое во всѣхъ отношеніяхъ, но за то это произведеніе невозможное, написанное для невозможной публики"... Вдобавокъ ко всему остальному, г. Ларошъ нападалъ на Даргомыжскаго даже за взятіе, для либретто, поэмы Пушкина. „Что прекраснѣйшія оперы написаны на безцвѣтные, пошлые тексты, говорилъ онъ, это прискорбно, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы творцы этихъ оперъ выиграли, если бы писали исключительно на высочайшія произведенія поэзіи... Для оперы нужны стихи скорѣе съ отрицательными достоинствами: не глупые, не пошлые, не топорные, не безграмотные, но отнюдь не геніально-глубокіе"... Такія мысли, явно доказывающія, что г. Ларошъ и понятія не имѣлъ о цѣляхъ и стремленіяхъ новой оперы, не требуютъ, конечно, никакого опроверженія.

Два года спустя, въ 1874 году, когда явилась на сценѣ опера Мусоргскаго „Борисъ Годуновъ", г. Ларошъ высказалъ все свое негодованіе на реальное новое направленіе въ оперномъ дѣлѣ. Всего за нѣсколько недѣль до новой оперы, г. Ларошъ уже говорилъ про Мусоргскаго, что это—преувеличенный Даргомыжскій послѣдняго періода, что его „какофонія не умѣряется ничѣмъ, между тѣмъ какъ у Даргомыжскаго она умѣрялась вкусомъ"; острилъ, что если обыкновенная правда колетъ глаза, то его музыкальная „правда" рѣжетъ слухъ; наконецъ, что „Мусоргскій въ декламаціи неспособенъ вовсе" (Голосъ, 1874, № 18). Но теперь, при появленіи оперы, г. Ларошъ разразился цѣлою

статьею: „Мыслящій реалистъ въ русской оперѣ“, гдѣ насмѣшкамъ и глумленію надъ Мусоргскимъ не было предѣловъ. Конечно, г. Ларошъ признавалъ у Мусоргскаго талантъ, но вмѣстѣ „сугубое необразованіе и сугубый либерализмъ“; находилъ у него слѣды множества вліяній, и, въ томъ числѣ, не только Даргомыжскаго, Римскаго-Корсакова и другихъ настоящихъ музыкантовъ, но даже Сѣрова (NB: всегда въ высшей степени антипатичнаго, по музыкѣ, Мусоргскому). „Декламація—любимый конекъ того либерализма, который стремится реформировать музыкальное искусство, говорилъ г. Ларошъ. Речитативъ Мусоргскаго—верхъ либерализма: нѣтъ условной формы, нѣтъ ни мелодическаго, ни гармоническаго, ни ритмическаго закона, который стѣснялъ бы или останавливалъ его въ передачѣ акцентовъ простой рѣчи акцентами музыкальными. Мусоргскаго поддерживаетъ не одно только направленіе — ясно, что онъ имѣетъ и талантъ. Въ его способности иллюстрировать повышеніе и пониженіе человѣческаго голоса, остановки, запинку и скороговорку, видна несомнѣнная наблюдательность, видѣнъ человѣкъ, умѣвшій подмѣчать, какъ говорятъ люди, и одаренный чуткостью, которая угадываетъ спеціальный акцентъ минуты и индивидуальный акцентъ лица... Декламація—самая свѣтлая сторона реальной оперы, но и здѣсь образованіе реалиста даетъ себя знать самымъ недвусмысленнымъ образомъ. Выборъ тональностей, модуляція и голосоведеніе этого страннаго композитора такъ фортепіанны, что ихъ только и можно объяснить безпрестаннымъ бренчаньемъ съ обильнымъ употребленіемъ правой педали“ (Голосъ, 1874, № 44).

Въ отпоръ злокачественности всей этой новой русской музыки, столько оказавшейся несоотвѣтствующею первоначальнымъ его ожиданіямъ 1867 года, г. Ларошъ разсыпался постоянно въ похвалахъ тѣмъ созданіямъ, на которыхъ онъ отдыхалъ отъ отсутствія, въ современныхъ концертахъ и операхъ, произведеній Гудимелей, Жоскиновъ, Виллаэртовъ и иныхъ, равно какъ и созданій Мегюля, Керубини, Шпора, Гуммеля, Клементи, Фильда. Г. Ларошу нравились, оперы Верди, особенно „Аида“, такъ какъ г. Ларошъ признавалъ Верди „вдохновеннымъ выразителемъ инстинктовъ и стремленій массы“, а оперу его „Аида“ ставилъ особенно высоко, такъ какъ „присяжная критика всегда склонна поощрять знаніе, вкусъ и чистоту стремленій болѣе, чѣмъ сырой матеріалъ таланта, находя, не безъ основанія, что за качества, пріобрѣтенныя сознательнымъ трудомъ, артистъ заслуживаетъ болѣе похвалы, чѣмъ за тѣ, которыя подарила ему щедрая природа“ (Голосъ, 1875, № 125). Далѣе, г. Ларошъ сильно радовался на

сочиненія Рубинштейна, котораго признавалъ „первоклассным композиторомъ“. Его дарованіе и характеръ, по словамъ г. Ларош, напоминаютъ Генделя. „Онъ питомецъ Германіи, но свободный отъ ея предразсудковъ (?!), музыкальный космополитъ, чуждый всякой исключительности“. При этомъ, г. Ларошъ искренно жалѣетъ, что Рубинштейнъ, какъ Мейерберъ и Глинка „не тянулъ итальянской лямки: быть можетъ, не пострадавъ въ оригинальности и во внутренней силѣ сочиненія его выиграли бы во внѣшней, чувственной красотѣ, въ обаяніи эффекта и колорита“... (Голосъ, 1874, № 63). Про 4-ю симфонію Рубинштейна г. Ларошъ писалъ, что „по самобытности стиля, мощи основныхъ темъ, по искусству развитія... главное же, по грандіозности общей концепціи, эта симфонія займетъ мѣсто среди немногихъ первоклассныхъ сочиненій нашего времени“ (Голосъ, 1874, № 325). Про оперу „Демонъ“, этого жалкаго фаворита низменнѣйшей толпы, г. Ларошъ отзывался такъ: „Въ цѣломъ, музыка этого произведенія представляется картиной, написанной широкимъ и смѣлымъ розмахомъ кисти, которая страдаетъ нѣкоторою искусственностью, замѣняющею вдохновеніе, блѣдноватостью красокъ и отсутствіемъ эффектности, но въ общемъ, по благородству стиля (!) прекрасна...“ (Голосъ, 1875, № 22). Наконецъ, съ начала 70-хъ годовъ, г. Ларошъ сталъ высказывать въ статьяхъ своихъ великое восхищеніе отъ сочиненій Чайковскаго, и это было бы очень странно, на первый взглядъ, такъ какъ Чайковскій принадлежитъ къ числу крупнѣйшихъ музыкантовъ нашего времени; но странная любовь г. Ларош къ Чайковскому объясняется тѣмъ, что у этого композитора, кромѣ необычайной талантливости, есть въ его музыкальной натурѣ также нѣкоторыя стороны, тѣсно связанныя съ рутинной консерваторіей и неразборчивыми вкусами публики, и, конечно, эти-то скорбныя стороны Чайковскаго и дѣлали его пріятнымъ и дорогимъ г. Ларошу. Что было превосходно, глубоко и поэтично у Чайковскаго, то мало интересовало г. Ларош иначе какъ со стороны технической, или же чисто внѣшней, а всего чаще и вовсе оставалось непонято. Такъ, напримѣръ, превосходный, по созданію, по творчеству, финалъ симфоніи на народную тему „Журавель“ г. Ларошъ признавалъ только „небывалымъ образцомъ богатѣйшей тематической эксплуатаціи“ (Голосъ, 1873, № 329); про увертюру „Ромео и Джульетта“ и другія программныя сочиненія Чайковскаго онъ говоритъ только, что по формѣ и блестящей, громкой оркестровкѣ они въ значительной мѣрѣ приближаются къ Литольфу; по гармоніи, они представляютъ комбинацію Глинки, Шумана и нѣкоторыхъ современ-

ныхъ элементовъ, кромѣ Вагнера; „Буря“ составлена (именно „составлена“) почти такъ же, какъ „Préludes“ Листа; это рядъ отдѣльныхъ сценъ или картинъ, между которыми опускается и поднимается занавѣсъ... и т. д. (Голосъ, 1874, № 323): намъ уже извѣстно, что г. Ларошъ врагъ современной программности. Зато, осыпая Чайковскаго безпредѣльными похвалами, повѣствуя, что онъ „выработалъ себѣ опредѣленный стиль, быть можетъ, нѣсколько односторонній и склонный къ манерѣ, но, въ самыхъ недостаткахъ, полный симпатичности и очарованія“, г. Ларошъ провозглашалъ, что онъ имѣетъ „наибольшее призваніе къ симфонической музыкѣ безъ программы“, и это г. Ларошу такъ казалось потому, что здѣсь Чайковскій выказывалъ тѣ качества, которыя его критику всего драгоцѣннѣе въ музыкѣ: искусство формы и контрапунктическаго развитія и инструментовки, и это въ такой степени, что „едва ли не затмилъ ими всѣхъ остальныхъ русскихъ композиторовъ нашихъ дней“ (Голосъ, 1876, № 28). Оперы Чайковскаго всегда казались г. Ларошу крайне удачными и значительными, такъ что даже про „Опричника“ онъ говорилъ, что онъ „займетъ важное мѣсто между образцами русской драматической музыки“: этого, кромѣ „Руслана“, г. Ларошъ не говорилъ, кажется, ни про одну русскую оперу, даже ни про одну оперу Рубинштейна, а это уже было очень много!

Напротивъ, достойно истиннаго удивленія то, что г. Ларошъ мало симпатизировалъ операмъ Сѣрова. Впрочемъ, это должно, кажется, объяснить тѣмъ, что Сѣровъ не занимался „строгимъ контрапунктомъ“ и „музыкой для музыки“, а предназначалъ музыку только для драматическаго выраженія. „При большомъ умѣ и начитанности, хорошемъ знакомствѣ съ иностранными языками и склонности къ серьезнымъ занятіямъ,—говорилъ г. Ларошъ,—онъ имѣлъ много данныхъ для того, чтобъ перейти въ музыкальный „цехъ“ и сдѣлаться съ нимъ солидарнымъ; только случайныя, внѣшнія обстоятельства помѣшали совершиться этому переходу“... (Голосъ, 1874, № 9). Но такъ какъ перехода этого не случилось, то „за исключеніемъ“ Юдиѳи, операмъ Сѣрова г. Ларошъ не предсказывалъ долгаго вѣка; особенно недолговѣчною и внутреннобезжизненною казалась ему „Рогнѣда“ съ ея „претензіями на исторію и драму, съ ея наборомъ мишурныхъ и безсвязныхъ эффектовъ, съ ея выспреннимъ сюжетомъ и тривіальными мелодіями, съ ея повсемѣстной бѣдностью изобрѣтенія, съ ея отсутствіемъ стиля, самобытнаго и народнаго отпечатка“... (Голосъ, 1876, № 14). Впрочемъ, и про самую „Юдиѳь“ г. Ларошъ объявлялъ, что „эта опера, стоявшая въ 1863 году во главѣ нашего посту-

пательнаго движенія, теперь оказывается чуть-ли не въ хвостѣ его" (Голосъ, 1874, № 314).

Кончая обзоръ критической дѣятельности г. Лароша, я не могу пропустить безъ упоминанія и тотъ необычайный фактъ, который онъ выставилъ въ печати, разбирая въ 1874 году „Бориса Годунова" Мусоргскаго. Онъ объявилъ, что его мнѣнія вполнѣ раздѣляетъ теперь Кюи. Но Кюи былъ тотъ критикъ, котораго статьи, помѣщаемыя въ „Спб. Вѣдомостяхъ", впродолженіе болѣе 10 лѣтъ, передъ тѣмъ служили выраженіемъ мнѣній новыхъ русскихъ музыкантовъ, съ Балакиревымъ во главѣ, и такая внезапная перемѣна, столько горестная для партіи новыхъ русскихъ музыкантовъ, явилась чѣмъ-то пріятнымъ для г. Лароша. „Г. Кюи, писалъ теперь г. Ларошъ, выставилъ неумѣлость Мусоргскаго въ его „Борисѣ Годуновѣ" (этомъ полудѣтскомъ и болѣзненномъ дѣтищѣ „могучей кучки"); въ сценѣ пролога, жиденькій характеръ сцены; „рубленый"; безсодержательный речитативъ; грубое звукоподражаніе; оркестровую рисовку мелочей; мелодраматическій и ходульный характеръ іезуита; крикливость, утомительность и неблагодарность партіи самозванца; однообразіе инструментовки; некрасивость параллельныхъ квинтъ и октавъ; неразборчивое, самодовольное, спѣшное „сочинительство"; „незрѣлость" художника, которая сказывается во всемъ... Г. Кюи сразу и круто оставилъ путь своихъ прежнихъ запальчиво-пристрастныхъ рецензій... Я съ особеннымъ удовольствіемъ вижу, что въ теченіе моего настоящаго очерка мнѣ неоднократно приходилось, въ другихъ выраженіяхъ, говорить то же, что и г. Кюи... Рецензентъ шипитъ на оперу г. Мусоргскаго наравнѣ съ противниками... Кюи становится теперь менѣе одинокъ и болѣе похожъ на многихъ другихъ „(Голосъ, 1874, № 44). Такое единогласіе Кюи съ г. Ларошемъ, и такое разномысліе съ прежними товарищами по искусству было фактомъ глубоко печальнымъ, тѣмъ болѣе, что это разномысліе высказалось, около этого же самаго времени, или скоро потомъ, и въ другихъ печатныхъ заявленіяхъ Кюи. Въ „Энциклопедическомъ лексиконѣ" Березина было у него сказано, что „лучшіе романсы Балакирева отличаются страстностью, оркестровыя сочиненія—разработкой русскихъ тэмъ, превосходной инструментовкой (NB: и только?); слабыя стороны послѣднихъ: излишняя выспренность и слишкомъ кропотливая отдѣлка всѣхъ мельчайшихъ подробностей"; что „музыкальныя произведенія Бородина отличаются легкостью сочиненія и оригинальной гармонизаціей „(NB: и только?); что „Римскій-Корсаковъ не отличается тэматической изобрѣтательностью, самобытностью и богат-

ствомъ, но онъ гармонистъ тонкій и инструментуетъ превосходно", и т. д. Такія поверхностныя и тощія опредѣленія, словно продиктованныя понятіями и вкусами консерваторіи, являлись, въ устахъ Кюи, истинно изумительными, что могло быть болѣе консерваторскимъ, какъ не проявившіяся вдругъ у Кюй заботы о „тэматичности", о „разработкѣ" вездѣ и повсюду, о „закругленіи", и т. д? Что могло болѣе доказывать казенность и условность новыхъ его понятій? Но, можетъ быть, еще изумительнѣе было то, что объявивъ, скоро послѣ смерти Даргомыжскаго, что опера его „Каменный гость" есть послѣднее слово оперная драматическо-музыкальнаго творчества, Кюи въ 1875 году высказалъ въ новыхъ „Спб. Вѣдомостяхъ", что эта опера — только явленіе очень замѣчательное, и очень полезное для учащихся въ консерваторскихъ классахъ музыкантовъ". Скачокъ внизъ и назадъ былъ громадный.

XVII.

Наши музыкальные критики послѣднихъ 10—15 лѣтъ, явившіеся на смѣну Сѣрова и Ларош, а частью дѣйствовавшіе съ этимъ послѣднимъ одновременно, представляются совершенно чахлыми и захудалыми наслѣдниками своихъ предшественниковъ. Тѣ двое были консерваторы, ретрограды, но по крайней мѣрѣ обладали извѣстной даровитостью, блескомъ, силой, наконецъ и знаніемъ. Они преслѣдовали извѣстныя идеи, служили выраженіемъ извѣстныхъ цѣлей и стремленій—и добивались своего съ энергіей, мастерствомъ, умѣлостью иногда въ немъ. Наслѣдники ихъ—люди совершенно другого свойства. Они служатъ самымъ яркимъ выраженіемъ бездарности, во-первыхъ, бездарности композиторской (такъ какъ почти они всѣ имѣютъ претензію сочинять), во-вторыхъ, бездарности критической и литературной. Ни ихъ сочиненія музыкальныя, ни ихъ статьи не производятъ ни малѣйшаго впечатлѣнія на публику и не имѣютъ никакого вѣса. Про всѣхъ ихъ можно сказать только одно—что они много пишутъ. Разбирать ихъ мнѣнія и приговоры, конечно, почти всегда враждебные новой русской музыкальной школѣ и новымъ русскимъ музыкантамъ, не представляетъ никакого интереса, потому-что, явно эти люди совершенно невмѣняемы, и вовсе неспособны понимать объекта, подлежащаго ихъ „критикѣ". Нѣтъ никакого интереса узнать, почему г. Соловьеву сочиненія гг. Направника, Иванова, Зике и Бахметьева кажутся удовлетворительными, но не кажутся

таковыми сочиненія Кюи, Бородина или Мусоргскаго; почему г. Иванову точно также нравятся сочиненія гг. Гунке, Соловьева, Рубинштейна, Шеля, и вовсе не нравятся или очень мало нравятся сочиненія Балакирева или Римскаго-Корсакова; почему Оффенбахъ представляется инымъ изъ этихъ господъ „несомнѣнно крупнымъ дарованіемъ", а новые русскіе музыканты—„дилетантами", у которыхъ „отличительную черту составляетъ отсутствіе вдохновенія"; почему такія плохія оперы, какъ „Евгеній Онѣгинъ", и разныя другія, или такіе плохіе писатели, какъ Ростиславъ, имѣютъ честь имъ нравиться и казаться имъ талантливыми, и т. д. Но кстати будетъ, можетъ быть, указать на незнаніе или извращеніе этими писателями фактовъ довольно извѣстныхъ. Г. Соловьевъ, въ качествѣ „ученика" Сѣрова, и, конечно по личному вкусу, ставитъ Сѣрова, какъ композитора, необыкновенно высоко, и его „Вражью силу"—наилучшимъ образцомъ новѣйшей русской школы; какъ симфониста, онъ признаетъ Сѣрова вполнѣ самобытнымъ и самостоятельнымъ (Спб. Вѣдом., 1879, № 323). Это—какъ ему угодно, если онъ лучше не понимаетъ. Но зачѣмъ же ему было печатно увѣрять, что Сѣровъ, обративъ вниманіе на новую нашу музыкальную школу, „давалъ ей много дѣльныхъ совѣтовъ, и эта его критическая дѣятельность могла принести этой школѣ только пользу. Позднѣйшая критика (?) заботилась о томъ же, и ея вліяніе прошло небезслѣдно на новую школу: это мы видимъ и изъ позднѣйшихъ сочиненій русской школы—„Майская ночь" Римскаго-Корсакова (Спб. Вѣдом. 1882, 21 февр.). Сѣровъ, повліявшій на новыхъ русскихъ сочинителей! Г. Соловьевъ съ товарищами, подававшій имъ совѣты, и тоже имѣвшій на нихъ вліяніе—какая карикатура!

У Безплатной музыкальной школы,—говоритъ тотъ же г. Соловьевъ,—преобладаютъ знакомства, дружбы, пропаганда во что бы то ни стало произведеній такъ называемой „молодой школы" (тамъ же, 1879, № 330): какое грязное и пошлое обвиненіе въ кумовствѣ, съ исключеніемъ всякихъ другихъ, болѣе благородныхъ, чистыхъ и возвышенныхъ мотивовъ!

Когда Балакиреву, въ 1883 году, при его возвращеніи къ публичной музыкальной дѣятельности, послѣ долгаго перерыва, былъ поднесенъ торжественный адресъ, г. Ивановъ нападалъ на выраженіе этого адреса о невзгодахъ, постигавшихъ новыхъ русскихъ музыкантовъ, и увѣрялъ, что „никто и никогда не оспаривалъ композиторскаго значенія Балакирева", что „Сѣровъ отдавалъ должное таланту его", что „не знаю, кто и когда въ музыкальномъ мірѣ или въ печати относился бы враждебно къ

Балакиреву"; наконецъ, что если въ концертахъ Безплатной школы Балакиревъ не исполнялъ „нѣкоторыя талантливыя произведенія Сѣрова и Рубинштейна, то вѣроятнѣе всего объяснить это просто недостаткомъ времени" (Новое время, 1882, № 2150). Здѣсь на лицо такое злостное и нелѣпое извращеніе фактовъ общеизвѣстныхъ, что отвѣчать ничего не стоитъ. Тотъ же г. Ивановъ увѣряетъ, что русскіе оперные композиторы измѣнили свое направленіе и „стали искать новыхъ, болѣе правдивыхъ формъ выраженія, съ тѣхъ поръ, какъ около 60-хъ годовъ Вагнеровское движеніе дошло до насъ" (Новь, 1884, № 2). Но это можетъ касаться развѣ одного Сѣрова, дѣйствительно подчинившагося Вагнеру, и пошедшаго по его стопамъ. Прочіе новые оперные наши композиторы, какъ извѣстно, не имѣютъ ничего общаго съ Вагнеромъ, и Даргомыжскій, стоящій во главѣ ихъ, пошелъ по новому направленію совершенно самостоятельно, вслѣдствіе давнихъ своихъ стремленій и попытокъ, восходящихъ до тѣхъ годовъ, когда въ Россіи даже и самое имя Вагнера было еще вовсе незнакомо. Все это извѣстно у насъ въ печати вполнѣ документально.

Этихъ немногихъ примѣровъ будетъ достаточно.

XVIII.

Въ Москвѣ, музыкальные вкусы очень мало еще выразились. Правда, тамъ есть постоянная опера, какъ въ Петербургѣ, большой оркестръ и хоръ, въ продолженіе года бываетъ множество концертовъ, такъ что, при такихъ богатыхъ условіяхъ, давнымъ-давно могли бы сложиться и прочно укрѣпиться самостоятельный взглядъ и вкусъ, но этого не случилось еще до сихъ поръ. У Москвы нѣтъ еще своей, сколько нибудь замѣчательной, музыкальной физіономіи. Москва слишкомъ еще равнодушна къ музыкѣ, музыка еще не вошла въ ея плоть и кровь, не составляетъ еще крупнаго интереса въ ея жизни, и это много разъ высказывали сами московскіе музыкальные критики и обозрѣватели. Москвѣ все равно, что бы передъ нею ни пѣли, ни играли. Она ко всему относится довольно равнодушно—кромѣ, разумѣется, однихъ итальянцевъ, которые въ такой степени соотвѣтствуютъ самымъ низменнымъ потребностямъ и вкусамъ массы, что не могли не приходиться и по всѣмъ потребностямъ Москвы. Впрочемъ, если что выдѣляется здѣсь изъ общаго равнодушія, такъ это развѣ особенная благосклонность къ операмъ Верстовскаго и ко всѣмъ,

безъ разбора, сочиненіямъ Чайковскаго: обоихъ авторовъ Москва считаетъ „своими“ и очень гордится ими, но, можно сказать, уже окончательно безъ всякаго разбора въ степеняхъ, и самыя высокія, самыя сильныя и талантливыя, самыя поэтическія созданія, Чайковскаго, каковы „Ромео и Джульетта“, „Буря“, „Франческа да Римини“ пользуются одинакими симпатіями со слабыми, безцвѣтными и ординарными произведеніями его, увертюрами и концертами, романсами и операми. Для Москвы, у Чайковскаго все хорошо. Надо еще замѣтить, что подъ вліяніемъ классичнѣйшей изъ классичнѣйшихъ консерваторій, московской, въ Москвѣ потребляется въ концертахъ такая масса классическаго стариннаго матеріала, какой нынѣшняя петербургская публика навѣрное не вынесла бы: равнодушная и ничѣмъ художественнымъ невыводимая изъ сна и апатіи московская публика преспокойно все перевариваетъ и ни на что не претендуетъ. Что касается московскихъ музыкальныхъ „критиковъ“, то, за исключеніемъ г. Ларош, одно время много писавшаго въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Русскомъ Вѣстникѣ“, тамъ всѣ „критики“ стояли всегда на очень невысокой ступени, не только на одной съ петербургскими гг. Соловьевыми, Ивановыми, Галлерами, Зиновьевыми, Макаровыми и проч., но, въ большинствѣ случаевъ, еще ниже. Мнѣнія ихъ всегда бывали столько же ничтожны, какъ и бездарны, и никогда ничего не прибавили къ понятіямъ публики, ни въ положительную, ни въ отрицательную сторону. Единственное исключеніе составлялъ, въ послѣдніе 3—4 года, музыкальный „критикъ“ „Современныхъ Извѣстій“, котораго мнѣнія во многомъ принадлежали къ одной категоріи съ мнѣніями музыкантовъ новой русской музыкальной школы въ Петербургѣ.

Въ провинціи, музыкальные симпатіи и вкусы имѣли до сихъ поръ еще менѣе возможности сложиться [1]). Въ нѣкоторыхъ большихъ городахъ существуетъ опера, но ея антрепренеры по необходимости находятся въ полной зависимости отъ вкусовъ массы и еще болѣе отъ своихъ матеріальныхъ средствъ, и потому даютъ на сценѣ лишь то, что производитъ вѣрные сборы. Поэтому, вездѣ царствуютъ съ неограниченною властью лишь „Травіаты“, „Трубадуры“, „Аиды“, „Фаусты“, и тому подобныя произведенія; дѣйствительно, замѣчательныя музыкальныя созданія, какъ напр., „Гугеноты“, встрѣчаются уже рѣже. Изъ русскихъ оперъ поль-

[1]) Фактическими данными въ этой части настоящаго параграфа я обязанъ П. П. Овсянникову, взявшему на себя трудъ, по моей просьбѣ, просмотрѣть главнѣйшіе органы нашей провинціальной печати за послѣдніе годы.

зуются наибольшимъ успѣхомъ: „Аскольдова могила“, „Рогнѣда“, „Демонъ“, а заразъ также „Жизнь за царя“ и „Русалка“; изрѣдка даютъ кое-гдѣ даже „Руслана“ (Кіевъ). Въ послѣднее время (1883) въ Тифлисѣ была даже поставлена „Майская ночь“, какъ опера, изъ числа новѣйшихъ, сравнительно болѣе слабая и доступная для необразованныхъ въ музыкальномъ отношеніи людей. Всѣ болѣе сильныя и совершенныя новыя оперы новой русской школы, конечно, не могли быть и попробованы на провинціальныхъ сценахъ, коль скоро не въ состояніи были утвердиться даже и на петербургской. По той же причинѣ, а, главное, по причинѣ слабости провинціальныхъ оркестровъ, новыя большія оркестровыя сочиненія лишь въ малыхъ дозахъ проникаютъ въ провинцію. Тамъ въ программахъ симфоническихъ концертовъ (даваемыхъ отдѣленіями Русскаго Музыкальнаго Общества въ Харьковѣ, Кіевѣ, Тифлисѣ, Казани, Саратовѣ, Пензѣ) чаще другихъ исполняются оркестровыя сочиненія еще только Моцарта и Гайдна. Изъ русскихъ чаще другихъ исполняются увертюры изъ „Руслана“ и „Камаринская“, несравненно рѣже — „Ночь въ Мадридѣ“ и „Хота“; изрѣдка попадаются въ программахъ концертовъ „Казачокъ“ Даргомыжскаго. Бывали въ послѣдніе годы попытки исполнять и произведенія современныхъ композиторовъ. „Садко“ Римскаго-Корсакова, „Средняя Азія“ „Бородина, „Ромео и Джульетта“ Чайковскаго, „Баба-яга“ Даргомыжскаго, „Миніатюры“ Кюй—въ Казани. Наконецъ, даже симфонія Рубинштейна „Океанъ“ исполнялась въ Кіевѣ. Хоры и аріи изъ новыхъ русскихъ оперъ очень часто встрѣчаются на программахъ концертовъ въ провинціи: здѣсь любители часто рѣшаются на исполненіе хоровъ, напримѣръ, изъ „Бориса Годунова“ (Саратовъ), „Татарской пѣсни“ Кюй (Тифлисъ), и т. д. Изъ числа арій очень нерѣдко исполнялись, въ эти годы, аріи изъ „Орлеанской дѣвы“ и „Евгенія Онѣгина“ Чайковскаго, „Хованщины“ Мусоргскаго, „Князя Игоря“ Бородина, и т. д. Что же касается до новыхъ русскихъ романсовъ, то ихъ всегда поется очень много въ провинціальныхъ нашихъ концертахъ, и здѣсь можно встрѣтить не только множество романсовъ плохихъ, но даже нѣкоторые и дѣйствительно талантливые и музыкальные: „Приди ко мнѣ“, „Пѣсня золотой рыбки“, „Колыбельная пѣсня“—Балакирева; „Спящая княжна“ и „Фальшивая нота“ Бородина; „Саулъ“ Мусоргскаго, „Юноша горько рыдая“ и „Вечерняя заря“ Кюй, и многіе другіе.

Всѣ вообще новыя русскія сочиненія, какъ оркестровыя, такъ и голосовыя, принимаются въ высшей степени радушно.

Итакъ, провинція вполнѣ готова знакомиться съ новой му-

зыкой, но у ней нѣтъ только достаточно возможности къ тому. Она въ этомъ отношеніи поставлена въ совершенно другія условія, чѣмъ въ отношеніи къ произведеніямъ новой русской живописи, которыя такъ доброжелательно, такъ великодушно показываетъ цѣлой Россіи „Товарищество передвижныхъ выставокъ“. Узнай точно также наше отечество всѣ произведенія новой музыкальной нашей школы, навѣрное у нея прибавилось бы много горячихъ сторонниковъ, и въ разныхъ краяхъ нашей страны возвысилось бы за нихъ столько же голосовъ, какъ и за созданія новыхъ нашихъ живописцевъ.

XIX.

„Въ либерализмѣ новыхъ русскихъ музыкантовъ (Балакирева и его товарищей) въ Россіи не было ни малѣйшей надобности“, восклицалъ однажды съ досадой г. Ларошъ (Голосъ, 1874, № 9), понимая подъ „либерализмомъ“—движеніе искусства впередъ, самостоятельное и національное его развитіе, помимо прежнихъ привычекъ и образцовъ. Конечно, эти самыя слова съ удовольствіемъ повторило бы множество другихъ консерваторовъ. Но исторія даетъ имъ громовые отвѣты. Она немилосердно рубитъ ихъ отчаянные заборы и сбрасываетъ вонъ ихъ шлагбаумы. Дѣло развитія подвигается все впередъ, да впередъ, хотя бы иной разъ и досадно тихимъ шагомъ. Никакіе тормазы воспитанія, дрессировки, систематическаго затемненія вкусовъ и понятій, никакія усилія „учителей“ и „критиковъ“, не въ состояніи задушить здороваго, свѣжаго чувства и, хотя черезъ тысячу преградъ и задержекъ, но художники наши идутъ твердой стопой къ своей далекой, но лучезарной цѣли.

Торжество ихъ несомнѣнно.

Пускай у насъ въ Россіи еще тысячи есть Потугиныхъ, изъ которыхъ одинъ такъ глубоко-вѣрно нарисованъ Тургеневымъ въ „Дымѣ“, Потугиныхъ, которые вопіютъ: „Не то, что у Мейербера, а у послѣдняго нѣмецкаго флейтщика, скромно высвистывающаго свою партію въ послѣднемъ нѣмецкомъ оркестрѣ, въ двадцать разъ болѣе идей, чѣмъ у всѣхъ нашихъ самородковъ; только флейтщикъ хранитъ про себя эти идеи и не суется съ ними впередъ; а нашъ братъ-самородокъ „трень-брень“ вальсикъ или романсикъ, и смотришь—уже руки въ панталоны и ротъ презрительно скривленъ: я, молъ, геній. И въ живописи тоже самое, и вездѣ... Русское художество, русское искусство! Русское пруженье я знаю, и русское безсиліе знаю тоже, а съ русскимъ художе-

ствомъ, виноватъ, не встрѣчался. Двадцать лѣтъ сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову, и вообразили, что и у насъ, молъ, завелась школа, и что она даже почище будетъ всѣхъ другихъ... Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!.. Сказать бы, напримѣръ, что Глинка былъ, дѣйствительно, замѣчательный музыкантъ, которому обстоятельства, внѣшнія и внутреннія, помѣшали сдѣлаться основателемъ русской оперы, никто бы спорить не сталъ; но нѣтъ, какъ можно! Сейчасъ надо его произвести въ генералъ-аншефы, въ оберъ-гофмаршалы по части музыки, да другіе народы кстати оборвать: ничего-молъ подобнаго у нихъ нѣтъ, и тутъ же указываетъ вамъ на какого-нибудь „мощнаго“ доморощеннаго генія, произведенія котораго ничто иное, какъ жалкое подражаніе второстепеннымъ чужестраннымъ дѣятелямъ. Ничего подобнаго? О убогіе дурачки-варвары!..“ Да, такихъ Потугиныхъ еще у насъ много, но число ихъ становится все меньше и меньше. Нельзя спорить противъ очевидности русской, новой, художественной школы, русскихъ новыхъ художниковъ, въ самомъ дѣлѣ „мощныхъ“, и злорадный хохотъ Потугиныхъ становится все глуше и глуше, задыхается и замолкаетъ.

Побѣждаемые косность и консерватизмъ не разъ надѣвали на себя маску кротости и доброжелательства. Не разъ они пробовали предлагать миръ и согласіе, прекращеніе „раздоровъ, мѣшающихъ преуспѣнію искусства“. На эту тему проповѣдывали многіе: Ледаковы, Ростиславы, Соловьевы и Ивановы, и множество-множество другихъ ихъ товарищей: „Забудемъ прошлое, уставимъ новый ладъ“, какъ говоритъ притиснутый къ стѣнѣ Волкъ въ баснѣ Крылова. Но нѣтъ, наврядъ ли послушается ихъ медовыхъ рѣчей новый художникъ. Онъ одного мнѣнія съ Шуманомъ. Тотъ писалъ: „Ты не долженъ не только играть дурныхъ сочиненій, но даже слушать ихъ; ты долженъ помогать всѣми силами—задавить ихъ“. Новый художникъ думаетъ: „Я не долженъ слушать дурныхъ, нелѣпыхъ, предательскихъ рѣчей. Я долженъ—задавить ихъ“. Нѣтъ мира съ фальшью и мракомъ.

В. Стасовъ.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ

ОЧЕРКЪ.

I.

Лѣсъ, лѣсъ и лѣсъ... Настоящій дремучій сибирскій лѣсъ, сохранившійся въ этой мѣстности какимъ-то чудомъ, потому что кругомъ, на сотни верстъ всѣ настоящіе лѣса давнымъ давно сведены и выжжены заводчиками. Этотъ лѣсъ извѣстенъ подъ именемъ „середовины“, потому что лежитъ на границѣ казенной дачи и дачи Пластунскихъ заводовъ; по мнѣнію главнаго пластунскаго лѣсничаго онъ принадлежитъ Пластунскимъ заводамъ, а по мнѣнію казенныхъ лѣсничихъ — казнѣ. Это спорное положеніе спасло „середовину“ отъ конечнаго истребленія, но въ недалекомъ будущемъ ее постигнетъ общая участь всѣхъ уральскихъ лѣсовъ — она будетъ, конечно, истреблена до послѣдняго дерева, какъ умѣютъ истреблять лѣса только на Уралѣ.

Однимъ краемъ „середовина“ упирается въ широкое торфяное болото, а другимъ прилегаетъ къ каменистой грядкѣ невысокихъ увaловъ; болото уходитъ далеко на сѣверъ, гдѣ въ синеватой мглѣ встаютъ уже настоящія горы. Если смотрѣть на окрестности съ вершины одной изъ этихъ горъ, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утромъ, когда болото покрыто еще туманомъ; болото разлеглось неправильнымъ разливомъ на десятки верстъ, на немъ отдѣльныя горки и увалы выдаются, какъ острова или гигантскія бородавки, а „середовина“ кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть замѣтно всхолмленной поверхности. Въ среднемъ Уралѣ

такихъ картинъ слишкомъ много, и съ каждымъ шагомъ на сѣверъ эти болотины разростаются все шире и шире.

Лѣсъ въ „середовинѣ“ сосновый, дерево къ дереву, какъ восковыя свѣчи, и только по опушкѣ образовался смѣшанный подсѣдъ изъ березняковъ, рябины и черемухи, который на болотѣ переходитъ въ настоящій болотный „карандашникъ“, т.-е. въ чахлыя и корявыя березки, въ кривыя тонкія сосенки-карлицы, тальникъ, ивнякъ и кусты смородины. Этотъ карандашникъ точно зараженъ золотухой или англійской болѣзнью, но сосны-карлицы имѣютъ по сту лѣтъ и болѣе. Тяжело смотрѣть на такое деревоуродъ: стволъ непропорціонально тонокъ, узловатъ, во многихъ мѣстахъ согнутъ и покрытъ совсѣмъ особенной мертвой корой, есть даже гнилыя язвы, изъ которыхъ сочится мокрота; рядомъ съ этимъ золотушнымъ чахлымъ лѣсомъ середовинскій боръ является какой-то лѣсной гвардіей, гдѣ каждое дерево—богатырь...

Здѣсь необходимо замѣтить, что „середовина“ служила гранью между сѣвернымъ дремучимъ лѣсомъ и лѣсными породами средней полосы: тамъ, гдѣ высились синія горы, залегли безпросвѣтные ельники, пихтарники и кедровники, тамъ тянутся къ небу своими распростертыми коряжистыми вѣтвями, едва опушенныя блѣдной зеленью, листвени, а къ югу пошли веселые свѣтлые бора, березняки, липовые острова. На сѣверѣ сосна является исключеніемъ, какъ ель на югѣ, да и сѣверная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно съ коренастыми гвардейцами той же „середовины“. Въ настоящемъ сѣверномъ лѣсу — таежникѣ чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась въ темнозеленый трауръ; не то въ „середовинѣ“, гдѣ было такъ свѣтло и просторно, какъ подъ высокими стрѣльчатыми сводами какого-то гигантскаго храма. Всякая дичь любила держаться около этой „середовины“: по опушкѣ кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, въ глубинѣ—глухарь, въ болотѣ дупеля и т. д. Однимъ краемъ черезъ „середовину“ протекала рѣка Пластунья, очень болотистая и иловатая въ верхотинахъ, но дѣлавшаяся чище въ низовьяхъ, точно она проходила черезъ какой-то невидимый фильтръ, въ которомъ оставляла илъ, тину и крутившуюся въ ея струяхъ желтоватую муть.

Около этой „середовины“ была отличная охота: весной по опушкамъ тянули вальдшнепы, на лѣсныхъ прогалинкахъ токовали косачи, въ перелетъ Пластунья покрывалась утками и гусями,— лѣтомъ здѣсь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой порошѣ, били косачей съ подъѣзда и на чучело. Прибавьте къ этому зайцевъ и волковъ, которые перебивались около

„середовины“, а по весеннему „насту“ здѣсь была отличная охота на дикихъ козъ и даже оленей, хотя олень рѣдко заходилъ въ середовину, потому что кругомъ было уже слишкомъ голо. Въ виду такого разнообразія дичи, охотниковъ всегда тянуло въ „середовину“, которая во всемъ своемъ составѣ на двадцативерстномъ разстояніи находилась подъ наблюденіемъ всего одного сторожа, извѣстнаго у охотниковъ подъ названіемъ Прохорыча или по просту—„Секрета“. Кто далъ Прохорычу это названіе: Секретъ—неизвѣстно, но оно какъ нельзя лучше шло къ нему: „Секретъ“ такъ секретъ и есть. Самая физіономія Прохорыча изобличала его „секретное“ происхожденіе: широкое русское лицо, узенькіе голубые глазки, глядѣвшіе какъ-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутыя заботливо брови, особенно, когда Прохорычъ начиналъ закручивать длинный тараканій усъ. Говорилъ онъ отрывисто, какими-то обрывками фразъ и любилъ выражаться иносказательно и даже своимъ особеннымъ высокимъ слогомъ, потому что сильно понаметался около господъ. Костюмъ Секрета составлялся очень замысловатымъ образомъ изъ разнаго тряпья, хотя онъ и держался въ немъ съ большимъ гономъ, потому что чувствовалъ себя записнымъ охотникомъ, а записные охотники всегда щеголяютъ въ сборныхъ костюмахъ—это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась къ самому бору и была заслонена со стороны болота рѣдкимъ березнякомъ, такъ что незнакомый человѣкъ по самымъ точнымъ указаніямъ, когда приходится поворачивать десять разъ направо и столько же налѣво, едва ли отыскалъ бы замысловатое жилище Секрета, особенно лѣтомъ, когда оно совсѣмъ пряталось въ зелени.

— Какъ-то я самъ плуталъ-плуталъ по лѣсу-то, а своей избушки не нашелъ,—объяснялъ Прохорычъ знакомымъ охотникамъ, молодцовато закручивая усы.—Конешно, маненько въ разу былъ... отъ знакомаго барина ѣхалъ... славный такой баринъ въ городу у меня есть. Ну, поднесъ мнѣ стаканчикъ, да три стаканчика на свои выпилъ, въ глазахъ-то и задвоило... Почитай цѣльную ночь по середовинѣ ѣздилъ да въ лѣсу и заснулъ, а избушки не добхалъ будетъ-не-будетъ саженъ двѣсти.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая въ землю лачуга, сильно покосившаяся на одинъ бокъ; вмѣсто крыши была насыпана толстымъ слоемъ земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца изъ сухарника была пригорожена „стая“ для скотины и небольшой пригонъ. Внутренность сторожки заключалась всего въ одной комнатѣ—

направо небольшая русская печь, налѣво въ углу столъ, сейчасъ отъ двери около стѣны деревянная кровать, двѣ скамьи, колченогій стулъ и — только. На стѣнѣ надъ кроватью висѣло два ружья, около печки полочка съ посудой, подъ кроватью разбитый сундукъ съ движимымъ, на покосившемся окнѣ вѣчный горшокъ съ краснымъ перцемъ — дальше этого желанія Прохорыча не шли, потому что Прохорычъ въ душѣ былъ немножко философъ и, какъ всѣ философы, жилъ по преимуществу духомъ. Въ этой избушкѣ Прохорычъ проживалъ съ своей женой Власьевной и съ двумя бѣлоголовыми ребятишками и, кромѣ того, ухитрялся держать еще квартирантовъ — то какихъ-то каменотесовъ, то пріисковыхъ старателей, то гуртовщиковъ; кромѣ того, у него останавливались всегда охотники, особенно лѣтомъ, когда кругомъ „середовины“ было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лѣтъ тридцати-пяти, была какъ разъ ему подъ пару и постоянно ходила съ какимъ-то испуганнымъ лицомъ.

— А вы вотъ-что мнѣ скажите, баринъ,—приставалъ Секретъ къ каждому новому знакомому:—чѣмъ я теперь живу въ лѣсу?..

— Какъ чѣмъ: вѣдь ты жалованье получаешь, какъ лѣсникъ...

— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вотъ какое: приду къ казенному лѣсничему за мѣсячнымъ, а онъ мнѣ:—„ты проси у пластунскаго управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя“, ну, я въ Пластунскій заводъ, тамъ нѣмецъ Бацъ управителемъ, ну, онъ гонитъ за жалованьемъ къ казенному лѣсничему, потому, говоритъ, середовина казенная... Ужь ходишь-ходишь, кланяешься—кланяешься. А бываетъ и такъ, что два жалованья получишь... Ей Богу!..

Въ качествѣ записного охотника Секретъ вралъ любую половину, но его средства дѣйствительно были сомнительны, и онъ больше кормился отъ пріѣзжавшихъ охотниковъ.

— Кабы не господа—пропадай!..—заявлялъ Секретъ самъ.—Отъ господъ только и питаешься, особливо къ Ильину дню, когда изъ Пластунскаго завода, изъ Боровковъ и изъ прочихъ мѣстовъ народъ страдовать зачинаетъ. Бабъ тогда по покосамъ множество, а господамъ это даже весьма любопытно бываетъ... Боровскія-то кержанки вонъ какія, Христосъ съ ними: точно ямистая рѣпа, ну и гулеванки тоже, когда мужиковъ близко нѣтъ. Что этого вина въ тѣ поры съ господамъ выпьешь—страсть!.. Ну, зимой, обнакновенно, тишина, а къ лѣту опять и оттаешь... Съ ранней весны кружить-то начинаемъ, только тутъ смотри: однихъ господъ не успѣлъ проводить—другіе катятъ, да такъ кругомъ и идетъ. Народъ все прахтикованный, сейчасъ къ

каждому примѣняешься: кому и что — одинъ на счетъ водки, другой за бабамъ, третій куликовъ стрѣляетъ, а есть и такіе, что ѣдутъ просто сами себя удивлять... Ей Богу, такіе фокусы строятъ—кто что придумаетъ!..

Господа, пріѣзжавшіе на охоту въ середовину изъ города и съ заводовъ, для Секрета служили неистощимымъ источникомъ для самыхъ пикантныхъ разсказовъ, причемъ однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ являлась всегда водка.

— Лутчіе самые господа пріѣзжаютъ, — объяснялъ Секретъ при каждомъ удобномъ случаѣ.—Пьешь, пьешь, даже совѣстно въ другой разъ сдѣлается... а нельзя, потому я долженъ уважить.

Однимъ словомъ, въ качествѣ „прахтикованнаго“ мужика, Секретъ умѣлъ „утрафить“ всѣмъ, и благодаря такой изворотливости, ухитрялся существовать почти безбѣдно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: онъ горой стоялъ за свою „середовину“ и постоянно сражался съ лѣсоворами, которые дѣлали набѣги на его участокъ. Лѣсоворный промыселъ на Уралѣ распространенъ какъ нигдѣ и обратился въ настоящую профессію, потому что отвода лѣсныхъ надѣловъ населенію еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то „занимается по лѣсоворной части“, какъ другіе занимаются по части пріисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно замѣтить, что эта „лѣсоворная часть“ организована отлично, на разбойничій манеръ, такъ что съ лѣсоворами происходятъ у лѣсной стражи настоящія сраженія. Секретъ лѣзъ на стѣну при одномъ имени лѣсоворовъ.

— Варнаки и душегубы всѣ до единаго,—кричалъ Секретъ, начиная показывать полученные въ разное время рубцы и членовредительства.—Во-какъ по поясницѣ изуважили въ позапрошломъ году—пять денъ вылежалъ... А то по-глазу хлобыснули въ томъ тамъ году, такъ думалъ: смерть моя, а ужъ что было по затылку кладено—и счетъ потерялъ.

— Да вѣдь и ты имъ не пирогами откладываешь?

— Обнакновенно, разговоръ короткій: я ихъ варнаковъ, вашескородіе, сухимъ горохомъ стрѣляю... На, носи—не потеряй, голубчикъ!.. И только разшельма и народецъ: одинъ безпалый ѣздитъ, а другой—съ одной лѣвой рукой. Такіе кряжи заворачиваютъ—страсть, вершковъ двѣнадцати. Что же, долженъ я на нихъ смотрѣть, вашескородіе, сложа руки?.. Сколь мога и я ихъ веселю... Больно ужъ зимой одолѣваютъ: цѣльную ночь сторожишься въ другой разъ. Не однова меня спалить на чисто хотѣли, да пока Богъ хранитъ; что дальше. Боятся они меня, по-

тому какъ я вполнѣ отчаянный человѣкъ на счетъ лѣсу... Божже сохрани!..

Иногда на Секрета отъ этихъ воспоминаній нападало тяжелое раздумье, и онъ съ неподдѣльной грустью прибавлялъ:

— А не сдобровать, баринъ, середовинѣ-то... охъ, не сдобровать!..

— Почему такъ?

— Да ужъ такъ: сердце чуетъ... Пятнадцать годовъ я здѣсь выжилъ, а теперь сумлѣваюсь. Какъ-то Бацъ говорилъ мнѣ: „Ну, Секретъ, пиши духовную своей середовинѣ, скоро мы ее за себя переведемъ и сейчасъ только одни угольки останутся“. Точно онъ меня ножомъ полыхнулъ... И переведутъ, безпремѣнно переведутъ, потому кругомъ голо—одинъ карандашникъ, ну, на середовину теперь зубы и точатъ. Нонѣ вѣдь въ Пластунскомъ заводѣ сплошной нѣмецъ пошелъ... Уйму лѣса извели проклятущіе, точно они его жрутъ, потому, извѣстно—чужое, развѣ жаль его: повертится нѣмецъ-то годъ-два, сведетъ лѣсъ да и хвостъ убралъ. Нѣтъ, видно, шабашъ середовинѣ...

Однажды въ концѣ іюля я сильно опоздалъ на охотѣ, до города было далеко, и я отправился переночевать къ Секрету. Въ лѣсу уже было совсѣмъ темно, когда я подходилъ къ сторожкѣ со стороны середовины. Секрета не оказалось на лицо, а Власьевна даже не повернула головы въ мою сторону и только сердито ткнула рукой по направленію горѣвшаго огонька, разложеннаго подъ березками, саженяхъ въ двадцати отъ сторожки.

— Мнѣ бы самоваръ, — попросилъ я, но Власьевна и на этотъ разъ точно такъ-же не удостоила отвѣтомъ, а только махнула рукой въ прежнемъ направленіи.

Эта нѣмая сцена въ переводѣ обозначала то, что самоваръ подъ березками и что Секретъ прохлаждается тамъ съ какими-то хорошими господами. Оставалось идти подъ березки—очень веселое и тѣнистое мѣсто днемъ,—господа весьма „уважали“ эти березки. Ночевать лѣтомъ въ избушкѣ Секрета нечего было и думать, потому что тамъ вѣчно стояла какая-то отчаянная кислая духота и охотники обыкновенно располагались подъ открытымъ небомъ у огонька.

— Въ самый разъ, вашескородіе... прреотлично!—встрѣтилъ меня Секретъ, торопливо вскакивая съ земли.—А мы тутъ съ Евстратомъ Семенычемъ чаишко швыркаемъ и на счетъ мухи...

Прямо на травѣ стоялъ кипѣвшій самоваръ, тутъ же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снѣдь въ измятой газетной бумагѣ; огонекъ едва дымилъ, отгоняя зудившихъ

въ воздухѣ комаровъ, а около него, растянувшись на травѣ, лежалъ громаднаго роста „мужчина", какъ говорятъ горничныя. По длиннополому сюртуку, красной рубахѣ на выпускъ и подстриженнымъ въ скобку волосамъ, лежавшаго „мужчину" нельзя было отнести въ разрядъ настоящихъ господъ, а скорѣе это былъ какой-нибудь гуртовщикъ или прасолъ. Прислоненное къ дереву дешевенькое тульское ружье и развѣшанныя на сучьяхъ какія-то лядунки доказывали несомнѣнную принадлежность „мужчины" къ лику охотниковъ.

— Они по торговой части, изъ Пластунскаго завода,—лебезилъ Секретъ, закручивая усы.—Можетъ, слыхали: Важенинъ, Евстратъ Семенычъ?.. Бакалейное и колоніальное заведеніе и галантереи;..

— Не ври ты, ради Христа,—отозвался лѣниво Важенинъ, не поворачивая головы въ мою сторону.—Полфунта чаю да голова сахару—вотъ и вся наша колоніальная торговля...

Важенинъ тихо засмѣялся пьянымъ самодовольнымъ смѣхомъ и сѣлъ. Это былъ видный черноволосый мужчина подъ сорокъ; свѣжее румяное лицо, окладистая черная, какъ смоль, бородка, бѣлые зубы и пѣвучій грудной теноринъ дѣлали его моложе своихъ лѣтъ и онъ смотрѣлъ настоящимъ молодцомъ. Сѣрые глаза, опушенные длинными загнутыми рѣсницами, замѣтно слипались, потому что Важенинъ былъ „въ разу" и сильно раскачивался на мѣстѣ. Это лицо и особенно лѣнивая улыбка показались мнѣ знакомы, но я не могъ припомнить въ числѣ моихъ знакомыхъ фамилію Важенинъ.

— Побаловаться чайкомъ,—приглашалъ Важенинъ, улыбаясь блаженной улыбкой захмѣлѣвшаго человѣка. — А мы тутъ того маненько... разгрызли полштофчикъ.

Пока Секретъ разсказывалъ, какъ они „дрызнули" послѣ чая, я успѣлъ освободиться отъ разной охотничьей сбруи и съ удовольствіемъ растянулся на травѣ; около меня улегся мой Бекасъ, коричневый понтеръ, уставшій, кажется, больше меня. Положивъ свою лобастую умную голову мнѣ на сапогъ, собака, прищуривъ желтые глаза, внимательно смотрѣла на суетившагося около самовара Секрета и съ видимымъ удовольствіемъ нюхала воздухъ.

— Это ваша собачка?—спрашивалъ Важенинъ, когда я уже допивалъ второй стаканъ.—Ничего, форменный песикъ... А вотъ я, грѣшный человѣкъ, не люблю собакъ. Вы чему это смѣетесь?

— Да такъ... Извините нескромный вопросъ: вы изъ старообрядцевъ?

— Около того... по родителямъ-то совсѣмъ кержакъ, а самъ-то

по себѣ пожалуй и православный. А вы почему подумали обо мнѣ, что я изъ старообрядцевъ?

— Потому что всѣ старообрядцы не любятъ собакъ...

— Вѣрно, есть такой грѣхъ. А знаете, почему не любятъ-то?

— Нѣтъ.

— А потому не любятъ, что бѣсъ являлся многимъ угодникамъ въ образѣ пса... Это и въ книгахъ написано.

Мы разговорились, и я окончательно убѣдился, что гдѣ-то встрѣчалъ этого Важенина, но гдѣ—не могъ припомнить никакъ.

— Вы меня не узнаете?—спросилъ я, наконецъ.—Я гдѣ-то васъ встрѣчалъ, а не помню, гдѣ...

Я назвалъ свою фамилію. Важенинъ внимательно посмотрѣлъ на меня и съ улыбкой проговорилъ:

— Даже, можно сказать, весьма васъ помню... Этому ужъ лѣтъ съ шесть будетъ, какъ вы у меня даже въ гостяхъ были въ Пластунскомъ заводѣ. Запамятовали? Да и то сказать, что вамъ и помнить-то трудно этотъ самый случай, потому какъ васъ ко мнѣ привезли въ лежку...

— А, теперь вспомнилъ,—обрадовался я и тоже засмѣялся.

Моя встрѣча съ Важенинымъ была дѣйствительно довольно оригинальна. Поздней осенью я былъ на охотѣ въ горахъ около Пластунскаго завода и схватилъ сильнѣйшую простуду, кончившуюся плевритомъ; больного меня отправили на мѣсто жительства, и я въ первый разъ пришелъ въ себя въ какомъ-то совершенно незнакомомъ домѣ. Какъ теперь вижу маленькую комнату съ крашеными лавками, я лежалъ на кровати, а противъ меня у русской печки сидѣлъ вотъ этотъ самый Важенинъ и внимательно смотрѣлъ на меня. Помню, что мнѣ ужасно было тяжело—томила жажда, кружилась голова и предъ глазами ходили какіе-то круги, но одна фраза, сказанная Важенинымъ съ какой-то дѣтской наивностью, заставила меня разсмѣяться. Смотрѣлъ, смотрѣлъ онъ на меня, встряхнулъ намасленными волосами и какимъ-то необыкновенно добродушнымъ тономъ проговорилъ:

— А вѣдь вы, господинъ, помрете... ей-Богу помрете!..

Я напомнилъ этотъ эпизодъ Важенину, и мы посмѣялись вмѣстѣ.

— А плохо ваше мѣсто было тогда,—говорилъ онъ, наливая себѣ и мнѣ по стаканчику.—Конечно, въ животѣ и смерти одинъ Господь воленъ, а вотъ и встрѣтились... Можетъ, еще и меня переживете, — прибавилъ Важенинъ и грузно вздохнулъ своей могучей мужицкой грудью.—Мы такъ думаемъ по своему разуму, а Господь строитъ другое... Пожалуйте!..

Въ концѣ іюля лѣтнія ночи на Уралѣ бываютъ особенно хороши; сверху смотритъ на васъ бездонная синяя глубина, мерцающая напряженнымъ фосфорическимъ свѣтомъ, такъ что отдѣльныя звѣзды и созвѣздія какъ-то теряются въ общемъ свѣтовомъ тонѣ; воздухъ тихъ и чутко ловитъ малѣйшій звукъ; спитъ въ туманѣ лѣсъ; не шелохнувшись стоитъ вода; даже ночныя птицы, и тѣ появляются и исчезаютъ въ застывшемъ воздухѣ совершенно беззвучно, какъ тѣни на экранѣ волшебнаго фонаря. Что-то такое торжественное и великое чувствуется въ такой ночи, которая проходитъ надъ спящей землей неслышными шагами, какъ таинственная сказочная красавица, чарующая все кругомъ уже однимъ своимъ присутствіемъ. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча подъ березками. Не смотря на усталость послѣ охоты, спать совсѣмъ не хотѣлось, да и нужно было потерять всякую совѣсть, чтобы проспать такую ночь, какъ спалъ, напримѣръ, Бекасъ, свернувшись кренделемъ около огонька. „Середовина“ превратилась въ темную сплошную глыбу, затаившую въ себѣ всѣ звуки; по болоту ползалъ волокнистый туманъ, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шопотъ, заставлявшій собаку вздрагивать.

Секретъ подбрасывалъ въ огонь щепочекъ, закручивалъ усы и облизывался, поглядывая на бутылку съ водкой.

— Такъ ты, Евстратъ Семенычъ, значитъ, приходишь [1]) на свово-то родителя?—спрашивалъ Секретъ, очевидно, продолжая разговоръ, который они вели до меня.

— Приходить не прихожу, а къ слову сказалъ,—уклончиво отвѣтилъ Важенинъ, перевертываясь на другой бокъ.—Разсуди, голова съ мозгомъ: кабы ежели тогда покойный родитель опредѣлилъ меня къ Михряшеву, да вѣдь я бы теперь деньгамъ счету не зналъ, а тутъ изволь по копѣечкѣ да по грошику сколачивать... Михряшевъ-то тогда по заводамъ страсть гремѣлъ—первый человѣкъ былъ, потому деньжищъ уйма и вездѣ кабаки и лавки съ панскимъ товаромъ. Прикащиковъ однихъ у него двадцать человѣкъ было, а онъ меня еще у Ивана Антоныча видалъ... Я тогда въ казачкахъ при Иванѣ Антонычѣ состоялъ, и все, бывало, въ передней торчишь, ну, Михряшевъ бывалъ у насъ и замѣтилъ. Денегъ даже давалъ, когда подъ пьяную руку пріѣдетъ. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежніе заводскіе прикащики жили не по нонѣшнему: вонъ наши пластунскіе управителя не живутъ, а жмутся. Тогда и жалованьишка

[1]) „Приходишь“ въ переносномъ смыслѣ по мѣстному говору значитъ „жалуешься“.

малюстенныя были, а ничего, жили. Ну Михряшевъ свой человѣкъ былъ и примѣтилъ меня, потому какъ былъ я парень-чистякъ: кровь съ молокомъ. Какъ-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшевъ и выпросилъ меня у Ивана Антоныча, чтобы въ лавку посадить. Совсѣмъ дѣло на мазѣ было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшевъ хоша и изъ нашихъ старообрядцевъ, а совсѣмъ обмирщился и все кампанится съ бритоусами и табашниками...

— Да вѣдь и Иванъ-то Антонычъ мирщилъ тоже?

— Вотъ поди ты... „Ты,—говоритъ родитель,—у прикащика служишь въ казачкахъ не по своей волѣ,—потому крѣпостной человѣкъ—и грѣха на тебѣ нѣтъ, а какъ перейдешь къ Михряшеву—и грѣхъ примешь на душу,—потому своя воля“...

— А, вѣдь, оно пожалуй и тово, вѣрно сказано-то...

— Ужъ начто вѣрнѣе!.. Покойный родитель постоянный былъ человѣкъ и какъ слово сказалъ, какъ ножемъ обрѣзалъ. Онъ въ тѣ поры въ заключеніи находился...

— А все-таки жаль: изъ-подъ носу ушло богачество-то,—жалѣлъ Секретъ, мотая своей безпутной головой.—Всѣ михряшевскіе прикащики вонъ какъ нонѣ живутъ: всѣ до единаго въ купцы вышли и ты бы вылѣзъ, кабы не родитель.

— Безперемѣнно бы вылѣзъ, потому Михряшевъ на послѣдки сильно ослабѣлъ, а прикащикамъ это и на руку: все растащили... Даже жаль было со стороны глядѣть: Михряшевъ гуляетъ, а прикащики волокутъ изъ лавокъ товаръ сколь-могá.

— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положилъ бы, Евстратъ Семенычъ; пожалуй, еще больше бы другихъ уволокъ...

— Уволокъ бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать,—настоящимъ бы купцомъ сдѣлался.

— Ишь, вѣдь... а-ахъ, жаль, право жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, такъ я бы не одну лавку уволокъ у Михряшева-то...—соболѣзновалъ Секретъ, рвзая по травѣ.

— Баринъ-то спитъ?—шопотомъ освѣдомился Важенинъ про меня, протягивая руку къ бутылкѣ.

— Спитъ... Такъ, совсѣмъ пустой человѣкъ: набѣгается по болоту, ну, и сейчасъ спать,—рекомендовалъ меня коварный Секретъ.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенинъ былъ совсѣмъ пьянъ и начиналъ дремать, но Секрету еще хотѣлось „дрызнуть“, и онъ, какъ практикованный человѣкъ, „изъ-подъ политики“ старался поддержать разговоръ:

— А гдѣ Харитина-то, Евстратъ Семенычъ?

— Померла нонѣшнимъ годомъ...

— Вмѣстѣ, значитъ, съ Михряшевымъ?

— На одномъ мѣсяцу.

— Добрая была душенька, дай ей, Господи, царство небесное!..—вздохнулъ Секретъ и даже перекрестился.—Заступалась она за нашего брата, когда Иванъ Антонычъ зачиналъ лютовать. До смерти бы меня закаталъ, ежели бы не Харитина... И то замертво въ лазаретъ унесли... Охъ, лютъ былъ драть, покойникъ!.. Я тогда у кричныхъ молотовъ ходилъ, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грѣхъ въ кричную. Поглядѣлъ, поглядѣлъ на мою полосу, а она съ жабриной, ну, извѣстный разговоръ: „ты, миленькій, зайди ко мнѣ, какъ обѣдъ ударятъ...“ Троихъ такъ-то насъ позвалъ. Пришли. Онъ на крылечкѣ этакъ лѣтнимъ дѣломъ сидитъ, въ одномъ халатѣ, и посмѣивается: „ну, миленькіе, обижаете вы меня“... Тутъ же передъ крыльцомъ меня перваго и разложили, два здоровенные конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли—изъ кожи изъ своей радъ вылѣзти, а Иванъ Антонычъ посмѣивается да приговариваетъ: „не я тебя, миленькій, наказываю, а самъ себя бьешь... Попомни, ангелъ мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченькихъ да харрошихъ... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..“ Ну, слышу я, что ужъ изъ ума меня вышибаетъ и базлать пересталъ, а только молитву сотворилъ про себя, а Иванъ Антонычъ все приговариваетъ да посмѣивается—чистая смерть приходила... Спасибо тогда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запоролъ бы на смерть. На рогожкѣ безъ памяти тогда меня въ лазаретъ сволокли, три недѣли вылежалъ... Вѣдь онъ тогда въ скоромъ времени до смерти запоролъ Никешку Зобнина, такъ подъ розгами и душу отдалъ.

— Ничего ему не было за Никешку?

— Ничего... все дѣло замяли, потому какой на Ивана Антоныча въ тѣ поры судъ—темнота одна была.

— Сказываютъ, Харитина-то въ большой бѣдности проживала на послѣдяхъ... И куда, подумаешь, все дѣвалось: у Ивана-то Антоныча вона сколь добра было накоплено—не въ проворотъ!

— Что ужъ говорить... Только дѣтей послѣ Ивана Антоныча не осталось, умеръ онъ на-скорѣ, духовной не оставилъ, ну, Харитину племянницки и пустили въ чемъ мать родила. Ей-Богу... Вмѣстѣ съ Михряшевымъ бѣдовала въ городу: и тотъ безъ гроша, и она тоже. Жаль глядѣть было... Да что еще было: у Михряшева-то кой-за-кѣмъ были должишки въ Пластунскомъ,

вотъ онъ какъ-то по зимѣ и соберись—съ обратными ямщиками къ намъ на Пластунскій и прикатилъ. Шубенка-то на немъ плохенькая, самъ сѣдой весь, отощалъ... И что бы думалъ, братецъ мой, походилъ-походилъ по заводу—ни одна шельма ни гроша не отдала, а надъ нимъ же, надъ старикомъ, потѣшаются, потому какъ есть совсѣмъ безсильный человѣкъ. А тѣ ироды-то, прикащики-то его, даже чаю напиться не позвали старика... Ну, увидалъ я его и позвалъ къ себѣ, такъ онъ даже заплакалъ. Ей-Богу... „Вотъ, говоритъ, Евстратушка, наша судьба человѣческая: весь тутъ- -и старъ, и хладенъ, и гладенъ!“ Переночевалъ у меня, покалякали... „А я, говоритъ, на нихъ-то, на иродовъ-то, не прихожу—въ ослѣпленіи, говоритъ, поступаютъ, а одного жаль, что вотъ ты тогда ко мнѣ въ прикащики не угодилъ—можетъ, тебѣ бы тоже польза была, по крайности въ люди вышелъ бы“. Ну, и Харитина страсть какъ бѣдовала въ городу... на господъ платье стирала и этимъ кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю—ужъ какъ рада была... Худая стала, да все кашляла,—такъ на работѣ и изошла вся.

Важенинъ вздохнулъ и налилъ стаканчикъ; Секретъ замѣтно нагружался и начиналъ коснѣть языкомъ, но онъ пилъ до послѣдняго издыханія.

— Хочу я тебя, Евстратъ Семенычъ, давно спросить...—говорилъ Секретъ послѣ выпивки:—то-есть на счетъ этой самой Харитины... разное болтаютъ... хе-хе!..

— Ну, чего болтаютъ?—грубо спросилъ Важенинъ, приподнимаясь на локоть.

— Да на счетъ тебя, что будто имѣла она большое прилежаніе къ тебѣ... хе-хе!.. Ей-Богу, вотъ сейчасъ провалиться...

— Дуракъ!!.. Я вотъ тебѣ такое прилежаніе покажу...

— Да, вѣдь, я такъ, Евстратъ Семенычъ... не серчайте... съ простоты.

— То-то, съ простоты... знаемъ мы твою простоту, чортъ!..

Пауза. Важенинъ тяжело ворочается; вопросъ Секрета, очевидно, задѣлъ его за живое, но онъ крѣпится. Опять стаканчикъ и глухое кряканье.

— Дуракъ!.. чортъ!.. Развѣ ты можешь это понимать, образина?—ругается Важенинъ, сжимая кулаки.—Я тебѣ такую проволочку пропишу. „Прилежаніе“!? Подлецы вы, вотъ что...

— Да, вѣдь, я...

— Поговори еще... ну, поговори?.. А ты знаешь, на сколькомъ году Харитина вышла замужъ-то?.. То-то вотъ и есть... „Прилежаніе!“ Дьявола... Ивану-то Антонычу было подъ шесть-

десять, когда онъ Харитину взялъ, а ей шестнадцатый годокъ шелъ... Изъ бѣдныхъ была, ну старикъ на ея красоту польстился. На моихъ глазахъ все было... Иванъ-то Антонычъ на фабрику уйдетъ, а она ребячьимъ дѣломъ въ куклы играть, али ребятишекъ назоветъ, да съ ними давай кувыркаться... Право, черти!.. „Прилежаніе“... Какой у ней разумъ въ тѣ поры еще былъ: такъ, дѣвчонка-дѣвчонкой... А Иванъ Антонычъ не разбираетъ — свое взыскиваетъ, потому мужъ. Сильно они вздорили по ночамъ, потому у ней еще ребячье на умѣ, а ему подай свое...

— Билъ онъ ее, сказываютъ?..

— Бивалъ... Какъ-то разъ приходитъ изъ фабрики, а Харитина заигралась въ куклы, да пирогомъ съ осетриной и опоздала — не дошелъ маненько пирожокъ-то. А Иванъ Антонычъ ужъ за столомъ сидитъ и свою рюмочку передобѣденную налилъ, ну, она со страховъ-то недопеченый пирогъ и велѣла подавать... Тронулъ его Иванъ Антонычъ да сейчасъ же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горницѣ,— та реветъ не своимъ голосомъ, а онъ приговариваетъ таково-ласково: „Вотъ тебѣ, Христинушка, пирожокъ съ осетринкой!.. Вотъ тебѣ, ангелъ мой, еще пирожокъ съ осетринкой!.. Вотъ тебѣ, душенька, и еще.... не я тебя, голубчикъ, наказываю, а сама себя бьешь!“ Ужъ онъ ее таскалъ-таскалъ, калышматилъ-калышматилъ, пока не натѣшился, ну, пирогъ-то въ это время и допекся, а Иванъ Антонычъ обѣдать... Не красно ей жилось, ужъ что говорить. Плачетъ, бывало, какъ одна останется, рѣкой льется. Ну, сначала меня стѣснялась будто, а потомъ при мнѣ плакала. Убираешь, бывало, со стола или тамъ что, а она сядетъ въ уголокъ и примется причитать,—тоску такую наведетъ, хоть самому плакать такъ въ ту же пору. Конешно, дѣло наше маленькое: видишь—не видишь, слышишь—не слышишь... А потомъ ужъ сталъ я примѣчать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а какъ встрѣтится глазами, вся всполыхнетъ. Ну, стала какъ будто избѣгать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошелъ не такъ... Мое дѣло тоже молодое, такъ и захолодитъ на сердцѣ, когда мимо идетъ, а ты стоишь въ передней дуракъ-дуракомъ, какъ статуй. А надо тебѣ сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взялъ да женилъ меня... Жена-то дома сидитъ, а Харитина на глазахъ постоянно, да и куда же женѣ до нея, потому барыня, одѣта всегда форменно и обращеніе свободное и всякое прочее. Глядѣли, глядѣли мы такъ-то другъ на дружку, а тутъ Иванъ Антонычъ куда-то уѣхалъ, оставилъ жену одну, ну, а Харитина

меня тогда и заполучила по всей формѣ: и милый, и ненаглядный, и красавецъ, и сухой не пареный... Извѣстно, женская слабость.

— Ужъ что говорить... обнакновенно... ужъ тутъ музыка... А поди страшно было Ивана-то Антоныча?

— Такъ страшно, такъ страшно, что колѣнки сами подгибаются, какъ онъ взглянетъ... а Харитина какъ есть хоша-бы бровью повела: веселая такая стала и все ей надо помудренѣе что-нибудь надъ старикомъ посмѣяться. Подъ носомъ у него такія штуки укалывала... Вотъ, поди ты съ этими бабами—чистое помраченье!.. Ночью даже отъ мужа приходила ко мнѣ въ переднюю-то... и смѣется, и плачетъ.

— И поди подарки дарила... а?..

— Ужъ это по всей формѣ: всячины надаритъ, а я все беру...

— И деньгами поди?

— И деньгами... Своими руками шелковую рубаху вышила да подарила. Только эта рубаха чуть меня не завела въ гору, въ мѣдный рудникъ... Да... Обнакновенно, въ домѣ-то ужъ начали за нами примѣчать, кто-то позавидовалъ мнѣ, ну, и въ полной формѣ Ивану Антонычу репортъ: такъ и такъ, миленькая-то женушка, Харитинушка, вотъ какія художества устроила съ Евстратушкомъ... Ха-ха!.. Ну, тогда-то и полсмѣху не было. Идетъ разъ Иванъ Антонычъ и такой веселый, я вытянулся передъ нимъ въ передней, а онъ меня прямо за воротъ: „славная у тебя, ангелъ мой, рубашка... Жена тебѣ вышивала, миленькій?“ —„Точно такъ-съ“...—„Славная у тебя жена, ангелъ мой“. Ну, и пошелъ мудрить, пошелъ наговаривать, а у меня душа въ пятки: учуялъ старый песъ... Только что бы ты думалъ, братецъ ты мой, пошелъ Иванъ-то Антонычъ отъ меня, пошатнулся и конецъ—кондрашка его хватилъ... На третій день представился. Передъ смертью-то пришелъ я прощаться къ нему... узналъ и едва такъ внятно проговорилъ: „Въ гору тебя, миленькій... въ гору“... Это онъ меня хотѣлъ сгноить въ мѣдной шахтѣ и сгноилъ-бы, кабы Господь вѣку далъ.

— Ну, а потомъ-то какъ ты съ Харитиной?..

— Чего какъ?.. Чистый ты дуракъ, Секретъ... Она уѣхала въ городъ жить, а я въ Пластунскомъ остался. Когда бывалъ въ городу, захаживалъ къ ней... Только ужъ тутъ совсѣмъ неспособное дѣло было.

— Обнакновенно, никакого интересу, потому забѣднѣла Харитина-то... Чего съ нея было взять-то!..

— Дуракъ, совсѣмъ не то... Неподходящее дѣло эта Хари-

тина нашему брату мужику: жидка ужъ очень собой, въ руки взять нечего.

— Ну, а раньше-то имѣлъ все-таки прилежаніе къ ней?

— Опять дуракъ... „Прилежаніе“?! Тьфу!.. Мы какъ двѣ цѣпныхъ собаки у Ивана-то Антоныча сидѣли, вотъ и вышло прилежаніе, а какъ попали на волю, даже совѣстно стало обоимъ, потому какая же это музыка, чтобы барыня вязалась съ мужикомъ.

Конца этого разговора я уже не слыхалъ, потому что подъ шумокъ заснулъ и все время видѣлъ какой-то безобразный сонъ: видѣлъ Ивана Антоныча, Харитинушку, разорившагося купца Михряшева и т. д.

II.

Передъ самымъ утромъ палъ маленькій дождичекъ, и утренняя охота пропала. Я проснулся уже довольно поздно, когда Секретъ орудовалъ для гостей самоваръ: Только-что откупоренная бутылка водки свидѣтельствовала о томъ, что и Важенинъ, и Секретъ успѣли уже опохмѣлиться; около бутылки стояла деревянная тарелка съ дымившимися блинами.

— Долгонько вы таки поспали, вашескородіе... — говорилъ Секретъ, обращаясь ко мнѣ.—А мы тутъ грѣшнымъ дѣломъ ужъ разгрызли по стаканчику.

Важенинъ молчалъ, придавленный еще вчерашнимъ хмѣлемъ; глаза у него были совсѣмъ мутные, лицо красное. Онъ не чувствовалъ жарившаго его голову солнечнаго луча, который пробивался межъ березокъ. Это мѣсто подъ березками было замѣчательно хорошо: назади шапкой стояла „середовина“, впереди разстилалось болото, окаймленное по бокамъ синевато-сѣрыми увалами. Умытая росой и дождемъ зелень смотрѣла особенно весело, въ „середовинѣ“ заливались даровые лѣсные пѣвцы, въ болотѣ слышался подозрительный шорохъ, заставлявшій Бекаса вздрагивать и чутко нюхать воздухъ. Легкій вѣтерокъ проносился надъ осокой, шептался въ березовой листвѣ и пропадалъ сейчасъ же; по голубому небу плыла кучка бѣлоснѣжныхъ облаковъ, кругливщихся и надувавшихся, какъ парусъ. Трава успѣла просохнуть, и воздухъ курился ароматными испареніями, пахло лѣсной душицей, шалфеемъ, свѣжей сосновой смолой. Дневной зной усиливался съ каждой минутой, и хотѣлось лежать неподвижно безъ конца. Налитые стаканы чаю стыли, и Секретъ очень обижался этимъ обстоятельствомъ.

— Вы давно охотитесь?—спросилъ я молчавшаго Важенина.

— Мы-то... да такъ, пустымъ дѣломъ иногда побалуешься, —уклончиво отвѣтилъ онъ.—Ружьишко вотъ попалось въ третьемъ годѣ, почитай, даромъ, ну, такъ вотъ и шатаешься съ нимъ. Въ закладъ принесъ его одинъ мастерко, да въ полуторыхъ рубляхъ и оставилъ. Съ даровщинкой-то оно и любопытно...

— Ужъ это ты вѣрно, Евстратъ Семенычъ, — почтительно вторилъ Секретъ:—на что лучше... Вотъ, еще воровское, сказываютъ, хорошо тоже, особливо на счетъ собаки или птицы — первое дѣло.

— А ты пробовалъ?—презрительно спрашивалъ Важенинъ.

— Бывало дѣло... Собачка была у меня, цетерокъ. Не то чтобы настоящій цетерокъ, а такъ смятокъ. Ну, такъ я его уперъ еще щенкомъ и денегъ мнѣ онъ много нажилъ. Умный такой издался, напрахтиковалъ я его—любо глядѣть, какъ почнетъ орудовать по лѣсу, али въ болотѣ. Господа наѣдутъ, я его и пущу — всѣхъ ублаготворитъ и сейчасъ его у меня покупать. Ну, я его и продалъ цалковыхъ за десять, а онъ, цетерокъ-то, непремѣнно убѣжитъ отъ новаго хозяина и опять во мнѣ. Разъ пять съ веревкой прибѣгалъ... Разъ восемь я его экъ-ту, пожалуй, продалъ.

— Вотъ это молодецъ! — похвалилъ Важенинъ.

— А то какъ же, Евстратъ Семенычъ? Надо же и мнѣ жить, а господамъ, что значитъ десять-то цалковыхъ: тьфу — и только.

Этотъ разсказъ очень понравился Важенину, и онъ повторялъ про себя: „Ловко... отлично!.. Вотъ такъ цетерокъ... Восемь разъ, говоришь?“ Съ одной стороны его радовала непроходимая господская глупость, а съ другой ловкость Секрета пріятно щекотала его собственные хватательные инстинкты: это былъ, очевидно, настоящій кулакъ, любившій всякую „дешевинку“ даже въ чужихъ рукахъ, если особенно дѣло обдѣлано „мастеровато“, какъ въ данномъ случаѣ. Типъ собственно заводскаго кулака только еще нарождается, и Важенинъ меня заинтересовалъ въ этомъ отношеніи тѣмъ болѣе, что въ немъ къ спеціально кулацкимъ чертамъ примѣшивалась еще лакейская крѣпостная закваска.

— Вы собственно чѣмъ же торгуете?—спрашивалъ я.

— А чѣмъ придется... больше по заводской части, что простому мастеровому надобно—харчъ, обуй, одежа, бакалеи.

— Выгодно?

— Да ничего... слава Богу, жить можно помаленьку. Прежде-то на Пластунскомъ народъ зажиточнѣе былъ, такъ торговля хуже

шла, потому богатый мужикъ все норовитъ въ городу купить, въ свое время, а у насъ такъ брали — самые пустяки. А какъ теперь захудали всѣ къ намъ...

— Да, вѣдь, много торговыхъ у васъ въ Пластунскомъ?

— Ничего, на всѣхъ прохватитъ... Съ богатаго не много возьмешь, а бѣдный у тебя весь въ рукахъ, потому онъ и муку аржаную фунтиками покупаетъ. Примѣрно, пудъ муки стоитъ восемь гривенъ, а фунтиками продаешь по три копѣечки... И чай тоже, и сахаръ. Вообще, который темный товаръ — большая отъ него прибыль.

— Какой темный товаръ?

— А на который цѣны не знаетъ мужикъ... даже лучше не надо. Возьмите теперь сапоги или полушубки — на нихъ не много наживешь,—потому цѣна имъ вся извѣстная, а бакалея— темный товаръ, бумага и всякое прочее.

— Какъ же вы на охоту ходите отъ торговли?

— Да лѣтомъ какая наша торговля: самое тихое время. Жена въ лавкѣ управится... А я больно вотъ мѣста люблю, собственно за этимъ и хожу.

— Какія мѣста?

— Ну, всѣ мѣста... весьма даже любопытно, потому какъ здѣсь совсѣмъ особенныя мѣста—угодныя... Въ допрежнія времена по этимъ мѣстамъ сколько разнаго народу хоронилось, хоть взять изъ нашихъ старообрядцевъ... Да вотъ хоть это самое болото: сколько скитовъ было поналаджено по островамъ, доступу къ нимъ нѣту, особливо лѣтомъ. Ну, старцы и хоронились отъ начальства: гдѣ ихъ въ болотѣ-то найдешь...

— И нынче живутъ?

— Какъ не жить — и нынче живутъ, только далеко, а по близости всѣхъ разорили.

— Да вонъ на моихъ глазахъ скитокъ сожгли,—заявилъ Секретъ. — Отседова его видать было... вонъ тамъ налѣво къ уваламъ островокъ, такъ на немъ и проживали старцы-то. Ну, зимой ихъ и выслѣдили лѣсообъѣзчики, да и выжгли... Попользовались, говорятъ, всѣмъ: и мукой, и медомъ, и воскомъ, и деньгами. А лучше нѣтъ мѣста, какъ ваши Боровки, Евстратъ Семенычъ: ужъ такое мѣсто, такое мѣсто—на цѣлую округу.

— Древнее мѣсто...—задумчиво отвѣтилъ Важенинъ. — Еще этихъ заводовъ и званья не было, какъ отцы-то наши прибѣжали сюда съ Выгу-рѣки. Много такихъ-то мѣстовъ здѣсь... Можетъ, однихъ угодниковъ сколько спасалось, не говоря о другихъ-

протчіихъ людяхъ. Только нынѣче ослабѣлъ народъ супротивъ стариковъ-то: куда!.. Измотались... малодушіе вездѣ...

— А мнѣ ваши боровковскіе вотъ гдѣ сидятъ, Евстратъ Семенычъ, — проговорилъ Секретъ, указывая на затылокъ: — такіе охальники — страсть... Каждую зиму съ емя смертно бьюсь за середовину. Больно ужъ меня донимаютъ...

— Станешь донимать, когда ѣсть нечего... Тоже не отъ добра лѣсоворничаютъ. Взять хоть тѣхъ же Мяконькихъ... Вонъ какихъ четыре братана [1]), чистякъ народъ.

— Ужъ это что говорить: осетры... Большакъ-отъ, Мишка, вонъ какой лобъ, и проворенъ, окаянный, ну, и другіе ничего— чистые ребята.

Кончивъ чай, Важенинъ и Секретъ переглянулись между собой.

— Теперь самая пора...—проговорилъ Секретъ, поднимаясь съ земли.—Залобуемъ дичины, Евстратъ Семенычъ, ужъ я тебѣ говорю. Она тоже время знаетъ...

— Да какая въ полдень дичь?—удивился я.

— А мы найдемъ, вашескородіе...—ухмылялся Секретъ.—Вы въ городъ къ вечеру, али здѣсь заночуете?

— Нѣтъ, въ городъ... Вотъ только жаръ спадетъ и отправлюсь.

Обвѣсивъ себя лядунками и взявъ ружья, Важенинъ и Секретъ отправились на охоту, а я изъ-подъ березокъ, гдѣ начало сильно припекать солнце, перешелъ къ самой избушкѣ и улегся въ тѣни. Власьевна обѣщала приготовить обѣдъ и накормить Бекаса. Около избушки на завалинкѣ играли ребятишки Секрета, но въ моемъ присутствіи замѣтно стѣснялись и все больше смотрѣли на собаку. Зной все увеличивался, такъ что становилось тяжело дышать, и я невольно пожалѣлъ Власьевну, которая должна была жариться у жарко натопленной печи. Это была бойкая городская мѣщанка, худая, какъ щепка, обладавшая способностью вѣчно быть не въ духѣ; она походя тузила ребятишекъ и жаловалась встрѣчному и поперечному на свою горе-горькую участь, т.-е. на своего мужа, который только и зналъ, что жрать водку и т. д. Громыхая теперь ухватами, Власьевна нѣсколько разъ принималась причитать самымъ отчаяннымъ образомъ, какъ причитаютъ по покойникѣ. До меня безъ всякой логической связи доносились слова: „погубитель“, „наплодилъ ребятишекъ, а самъ только водку жретъ“, „ужо вотъ я тебѣ покажу, безстыжіе твои шары“, „пропасти нѣтъ на васъ, окаянныхъ“, „утямились, прорвы этакіе“, „безперемѣнно я утѣшу“ и т. д.

---

[1]) Братанъ—братъ.

— Кого это ты, Власьевна, бранишь? — спросилъ я, когда обѣдъ былъ готовъ и поданъ прямо на траву.

— Извѣстно, кого... одна у меня винная-то капля!..—какимъ-то пришибленнымъ голосомъ заговорила она, отмахиваясь рукой. — Жисти я своей не рада, баринъ, вотъ тѣ Христосъ, потому для кого я маюсь здѣсь въ лѣсу-то... Вонъ онъ, Секретъ-отъ, какой у меня: склался только его и видѣлъ... И вездѣ-то у него дружки да пріятели, и вездѣ онъ свою водку найдетъ. Теперь дни на три закатились съ Важенинымъ...

— А Важенинъ часто бываетъ у васъ?

— Заходитъ по-времю, когда водкой зашибетъ... Запой у него, вотъ онъ и бредетъ въ лѣсъ. Пилъ бы у себя дома, а то нѣтъ, въ середовину надо, моего Секрета спаиваетъ только... Я вѣдь ихъ обоихъ наскрозь вижу, баринъ, даромъ что хитры. Вотъ что... „Мы-ста на охоту“... Тьфу!.. Знаемъ мы ихнюю-то охоту!.. Ужо вотъ, Мяконькіе-то наломятъ имъ бока-то, костей не соберутъ... Ты думаешь, куда они пошли, охаверники?

— Не знаю...

— Да въ Боровки... все туда шляются. Тамъ у братановъ Мяконькихъ сестра есть, Ульяной звать, такъ вотъ Евстратъ-то Семенычъ и увязался за ей... И дѣвка только: высокая, бѣлая, ядреная, на рѣчахъ бойкая. Евстратъ-то Семенычъ вонъ какой быкъ — ему и любопытно такую дѣвку омануть... Вотъ и шатаются съ Секретомъ, чтобы Секретъ помогалъ. Тьфу... разсказывать-то про нихъ тошнехонько! Мяконькіе-то ужъ пообѣщали Евстрату Семенычу шею сломать, такъ онъ и подсылаетъ Секрета: придутъ къ Боровкамъ, Евстратъ Семенычъ въ лѣсу спрячется, а Секретъ и подсылаетъ Ульяну за грибами или за ягодами идти. Только не та дѣвка... Она и то одинова такъ отдубасила моего-то Секрета — взяла палку, да палкой и давай его обихаживать, только стружки летятъ. Однимъ словомъ—могутная дѣвка, гдѣ же она имъ живая-то въ руки отдастся... ни въ жисть!..

— Откуда ты это все узнала-то..., сомнѣвался я.

— Да самъ-то Секретъ все пьяный и разсказываетъ, а какъ прочухается—въ отпоръ... Охъ, и жисть только моя, не приведи никому истинный Христосъ!.. Подумаешь съ подушечкой объ этакомъ угарѣ, какъ мой-отъ, а ребятишки-то вотъ-они... Секретъ-отъ мой хоша и ослабѣлъ на счетъ водки, а вѣдь онъ простъ, вотъ я и боюсь, кабы ему гдѣ башку не отвернули.

Мѣстность между „середовиной“, деревушкой Боровками и Пластунскимъ заводомъ, дѣйствительно, въ прежнія времена представляла самую удобную почву для людей „древляго благочестія“,

хоронившихся здѣсь отъ никоніанскихъ властодержцевъ и „духоборнаго суда“. Но уральскіе заводы быстро выжгли всѣ лѣса кругомъ и загнали раскольничьихъ старцевъ въ непроходимыя болотныя мѣста, дебри и раменье, но и отсюда ихъ выкурили, какъ выкуриваютъ изъ норъ и „язвинъ“ разное звѣрье. Все это, безъ сомнѣнія, было очень печально и еще болѣе несправедливо, но печальнѣе были такіе галантерейные фрукты, какъ Важенинъ... Воспоминанія о несчастной Харитинѣ, искреннее сожалѣніе, что не удалось попасть въ число разорителей Михряшева, торговля темнымъ товаромъ и этотъ удивительный разсчетъ высасыванія послѣднихъ грошей изъ заводской голытьбы—все это отлично говорило за себя и совершенно логически заканчивалось этимъ запоемъ и дикой травлей „могутной“ Ульяны Мякинькой.

Съ охоты я вернулся уже поздно вечеромъ. Надъ городомъ N висѣло цѣлое облако пыли, окрашенное розовымъ огнемъ заката. На встрѣчу попадались пьяные чиновники, гдѣ-то пиликали гармоники, въ каждой улицѣ была непремѣнно портерная—этотъ единственный отпрыскъ европейской цивилизаціи, пробившійся къ намъ за Уралъ. Такія портерныя, обязательно снабженныя сомнительными дѣвицами въ качествѣ женской прислуги, служили самыми грязными притонами, развращавшими преимущественно городскую молодежь. По сравненію съ этими логовищами, старые кабаки представляютъ собой чуть не отрадное явленіе. Послѣ картины лѣса глухой уѣздный городъ съ его пылью, пьянствомъ и чѣмъ-то такимъ усталымъ и щемящимъ душу, всегда кажется какой-то помойной ямой, въ которой несчастные обыватели копошатся какъ черви!

III.

Года черезъ два мнѣ случилось ѣхать черезъ Пластунскій заводъ. Стояла глубокая зима, дорога была адская—безконечные ухабы, снѣжные переметы,—однимъ словомъ, всѣ прелести зимняго путешествія по совершенно открытой мѣстности, предоставленной въ жертву всѣмъ четыремъ вѣтрамъ. Округъ пластунскихъ заводовъ въ среднемъ Уралѣ, кажется, единственный по варварскому истребленію лѣсовъ на громаднѣйшей площади въ семьсотъ тысячъ десятинъ—вездѣ на Уралѣ лѣса истребляются на пропалую, но пластунская дача стоитъ, безъ сомнѣнія, на первомъ мѣстѣ.

Подъѣзжая къ Пластунскому заводу поздно вечеромъ, когда вездѣ уже въ окнахъ горѣли огни, я вспомнилъ про Важенина

и велѣлъ ямщику ѣхать къ нему, потому что, съ одной стороны, не хотѣлось провести ночь гдѣ-нибудь на постояломъ дворѣ, а съ другой—меня заинтересовалъ этотъ типичный заводскій кулакъ. Пластунскій заводъ—одинъ изъ самыхъ старинныхъ заводовъ и залегъ своими кривыми улицами въ глубокой горной лощинѣ, точно спасаясь отъ разгуливавшаго по окружающимъ пустынямъ сѣверо-восточнаго вѣтра. Найти домъ Важенина намъ было легко, потому что его лавочку намъ сейчасъ же указали. Мы подъѣхали къ двухъэтажному деревянному домику въ три окна—лавка помѣщалась въ нижнемъ этажѣ, а вверху было хозяйское жилье. Я послалъ ямщика спросить, не пустятъ-ли переночевать, и получилъ утвердительный отвѣтъ, хотя предварительно былъ произведенъ самый подробный допросъ: кто, куда и зачѣмъ, какъ обыкновенно дѣлается въ такихъ случаяхъ.

Только тотъ, кому случалось по цѣлымъ днямъ ѣхать въ тридцатиградусный морозъ, когда весь точно оледенѣешь и когда отъ холода больно пошевелиться—только тотъ пойметъ то удовольствіе, съ какимъ входишь въ жарко натопленную избу. Самого Важенина не было дома, а меня встрѣтила старуха, его мать, повязанная широкимъ темнымъ платкомъ по-раскольничьи, т.-е. съ распущенными по спинѣ двумя углами платка.

— Гдѣ Евстратъ-то Семенычъ?—спрашивалъ я, съ трудомъ вылѣзая изъ двухъ стоявшихъ коробомъ шубъ.

— Да въ волость ушелъ, родимый, въ волость...—отвѣтила высокая, еще крѣпкая старуха, пытливо разглядывая меня большими сѣрыми глазами.—Ужо, поди скоро воротится, давно ужъ ушелъ.

Я извинился, что потревожилъ ихъ своимъ визитомъ, и объяснилъ причины, почему это сдѣлалъ. Старуха выслушала меня какъ-то недовѣрчиво и, вѣроятно, изъ вѣжливости прибавила:

— Какъ быть-то, родимой, потѣснимся какъ ни-на-есть, а то кому охота по постоялымъ трепаться... Городской будешь?

Получивъ утвердительный отвѣтъ, старуха вышла похлопотать на счетъ самовара.

Домъ Важенина хотя и былъ въ два этажа, но внутри былъ устроенъ какъ крестьянская изба: передняя половина, широкія сѣни и задняя изба. Передняя деревянной крашеной перегородкой дѣлилась на двѣ комнаты—прямо изъ дверей пріемная, гостиная и все, что угодно, а за перегородкой крошечная кухня. Прямо у дверей стояла широкая двуспальная кровать, завѣшанная ситцевымъ пестрымъ пологомъ; деревянныя нештукатуренныя стѣны были обиты дешевенькими обоями, около стѣнъ шли широкія крашеныя синей краской лавки, въ углу большой зеленый

кіотъ съ врѣзанными въ дерево старинными мѣдными складнями и осмиконечнымъ раскольничьимъ крестомъ. У перегородки деревянный шкафъ съ чайной посудой, подъ образами крашеный желтой краской столъ, на полу тряпичные половики домашняго тканья, на стѣнкѣ знакомое уже мнѣ ружье дешевка съ лядунками, рядомъ съ кіотомъ небольшая укладка съ книгами, ладономъ и восковыми свѣчами, какъ это бываетъ во всѣхъ раскольничьихъ домахъ. Меня удивило только то, что въ этой укладкѣ, вмѣстѣ съ псалтыремъ и часовникомъ, были поставлены съ пестро раскрашеннымъ обрѣзомъ судебные уставы и еще другіе какіе-то „законы", судя по формату, всѣхъ анисимовскихъ изданій.

— Это кто же у васъ по части законовъ?—спросилъ я, когда въ комнату вошла съ чайной посудой жена Важенина, немолодая какая-то опухшая женщина съ засыпаннымъ веснушками лицомъ.

— Да это Евстратъ Семенычъ въ городу набушилъ...—нехотя отвѣтила она, разставляя посуду на желѣзномъ чайномъ подносѣ.— Да вотъ онъ и самъ идетъ.

Изъ сѣней въ облакѣ хлынувшаго пара дѣйствительно показался самъ Важенинъ въ дубленомъ полушубкѣ и мерлушчатой шапкѣ; раздѣвшись, онъ положилъ три поклона на кіотъ и грузно подсѣлъ къ столу. Завязался обыкновенный въ такихъ случаяхъ разговоръ: давно ли изъ города, какова дорога, нѣтъ ли какихъ новостей въ газетахъ и т. д. Такимъ образомъ, мы сидѣли за кипѣвшимъ самоваромъ до седьмого пота, калякая о разныхъ житейскихъ разностяхъ. Со мной была бутылка коньяку, и я предложилъ дорожный стаканчикъ Важенину, но онъ какъ-то конфузливо махнулъ рукой и проговорилъ:

— Трекнулся [1]).

— Давно-ли?

— Да вотъ второй годъ пошелъ на святкахъ... Ну, ее, эту водку!.. Когда это я васъ у Секрета-то видѣлъ? Никакъ года два съ залишкомъ будетъ... Такъ. Какъ разъ послѣ Ильина дни я тогда въ середовинѣ былъ... Послѣ того еще съ полгода занимался этой слабостью, а потомъ—шабашъ!..

— Что такъ: немножко-то можно, особенно съ устатку или съ мороза?

— Нѣтъ, ужъ кончено... Хворалъ я, такъ зарокъ далъ. Да и то сказать—не подходящее совсѣмъ дѣло.

Мой вопросъ, очевидно, задѣлъ „трекнувшагося" человѣка за живое, и онъ принужденно замолчалъ. Самоваръ потухъ и только

[1]) Трекнулся—по заводски: отрекся.

изрѣдка выпускалъ одну длинную ноту, обрывавшуюся, какъ туго натянутая нитка; морозъ замѣтно крѣпчалъ, заставляя трещать даже старыя бревна. По улицамъ мела жестокая мятель, и вѣтеръ нѣсколько разъ принимался съ какимъ-то стономъ завывать въ трубѣ, точно онъ жаловался, что никакъ не могъ ворваться въ этотъ теплый домъ, гдѣ все было поставлено такъ крѣпко, какъ умѣютъ ставить только кулаки и спины, когда заберутъ въ себя силу. Важенинъ сидѣлъ у стола и задумчиво барабанилъ пальцами; онъ замѣтно похудѣлъ и какъ-то осунулся, въ темныхъ волосахъ серебрилась сѣдина, вообще выглядѣлъ обстоятельнымъ настоящимъ торгашемъ. Чтобы поддержать оборвавшійся разговоръ, я спросилъ, какъ идетъ торговля.

— А что нашей торговлѣ сдѣлается,—неохотно отвѣтилъ Важенинъ, встряхивая волосами.—Народъ кругомъ бѣдуетъ, а намъ это на руку... На заводѣ-то сокращаютъ работу, все машины ставятъ, ну, народу большое отъ этого утѣсненіе, а дѣваться некуда. Тоже вотъ и по деревнямъ: прежде дрова рубили, уголье жгли, металъ возили, а нынѣче тоже сократили и ихъ...

— Чѣмъ же теперь занимаются рабочіе, которые остались безъ дѣла?

— Разнымъ: кто на пріискахъ старается, кто по лѣсоворной части, кто такъ по домашности шиплится... Тѣсное житьишко подходитъ, что говорить: всѣмъ одна петля-то. Ежели-бы еще землей надѣлили мужичковъ, такъ оно бы другой разговоръ совсѣмъ, а то не у чего биться совсѣмъ. Обижаютъ землей народъ по заводамъ; потомъ всѣмъ крестьянамъ надѣлы даны, а только однихъ мастеровыхъ не могутъ надѣлить... Двадцать лѣтъ, какъ уставныя грамоты подписали, а надѣла все нѣтъ—это ужъ не порядокъ: ни пашни, ни лѣсу, ни покосу—все отъ завода, ежели робишь на фабрикѣ. За каждую жердь попенныя взыскиваютъ, пашни отбираютъ. Ну, заводскіе еще худо ли, хорошо ли около фабрики околачиваются, а взять къ примѣру Боровки—и работы нѣтъ, и угодья никакого не даютъ.

— Что же, хлопочутъ ваши общественники или нѣтъ?

— Какъ не, хлопотатъ—теперь лѣтъ ужъ пятнадцать стараются, да все толку нѣтъ. Да и то сказать: глупъ народъ-то, прямо сказать—отъ пня, ну, а тамъ господа всѣмъ ворочаютъ. Вонъ къ намъ ноньче нѣмцевъ нагнали—вездѣ нѣмецъ... А все таки по маленьку хлопочемъ. Теперь обчество меня ходакомъ выбрало по этимъ дѣламъ... такъ ужъ я хочу, чтобы все по закону утрафить. Законъ одинъ для всѣхъ, ну, и намъ давай по закону, какъ въ прочіехъ мѣстахъ. Это прежде темнота была, а

нонѣ законъ... Я теперь третій годъ законы-то почитываю, такъ тамъ все обсказано, а дѣло наше совсѣмъ правое.

Важенинъ досталъ изъ сундука цѣлую кипу разныхъ дѣловыхъ бумагъ и принялся объяснять обстоятельства своего дѣла, которое являлось въ такихъ сбивчивыхъ и запутанныхъ подробностяхъ, что на первый разъ просто голова шла кругомъ: какія-то памятныя записи, копіи съ грамотъ и указовъ, окладные листы, приговоры сельскихъ обществъ, сенатскія рѣшенія, постановленія и отзывы по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, словомъ—непроходимый дремучій лѣсъ всевозможной канцелярщины, и нужно было имѣть такую слѣпую вѣру въ законъ, какъ у Важенина, чтобы надѣяться выдти цѣлу и невредиму изъ этой отчаянной путаницы. Я долго перебиралъ всѣ эти документы и бумаги, всевозможнаго формата, цвѣта и почерковъ, точно это была куча осенняго листа, сбитаго съ всевозможныхъ породъ деревьевъ, но чтобы разобраться въ этой кучѣ, нужно было, во-первыхъ, спеціальное знаніе, а во-вторыхъ—массу свободнаго времени, и въ третьихъ—беззавѣтное желаніе „послужить міру".

— Вы, конечно, обращались къ члену уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія?—спросилъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Было и это-съ... Членъ-то говоритъ, чтобы обождать, — потому будетъ межевать, такъ тогда ужъ все обозначится, а мы до этого межеванья перемремъ, какъ мухи. Шибко меня уговаривалъ членъ-то, ну, какъ я его приперъ закономъ—онъ только рукой махнулъ... Даже весьма не совѣтовалъ, ежели безпокоить высшее начальство, а я ему законъ представлялъ. Это, видите ли, о заводскихъ мастеровыхъ одно дѣло, а о деревнѣ Боровкахъ другое... Я ужъ за одно хлопочу объ нихъ. Боровки совсѣмъ на особицу пошли,—потому какъ онѣ были основаны раньше Пластунскаго завода,—значитъ, и земля у нихъ своя, а не заводская. Я вѣдь самъ изъ Боровковъ и знаю это дѣло... Первые-то насельники пришли въ Боровки въ 1683 г., когда Пластунскаго завода и званья не было, ну, и заняли всю землю, значитъ, земля ихняя. Всѣ съ Выгу-рѣки пришли въ Боровки, ну, и пашни пахали, и росчисти дѣлали, и покосы, и всякое прочее крестьянское обзаведенье. И послѣ настоящими крѣпостными они не были, а только приписаны къ Пластунскому заводу въ работу, да и земля-то у Пластунскаго завода поссессіонная... Вотъ, оно какая штука получается!..

Напавъ на тему, мы разговорились — предо мной былъ совсѣмъ другой человѣкъ, точно недавній кулакъ вышелъ куда-нибудь въ другую комнату. Собственно выражался Важенинъ до-

вольно темно и постоянно путался въ мудреной юридической терминологіи, но по всему было замѣтно, что это былъ глубоко убѣжденный человѣкъ, проникнутый сознаніемъ своей идеи. За разговоромъ время пробѣжало совершенно незамѣтно, и старушка-мать подала ужинъ; она видимо прислушивалась къ нашему разговору и все вздыхала.

— Вотъ и мамыньку спросите про Боровки, она отлично знаетъ это дѣло,—замѣтилъ Важенинъ.

— Какъ не знать: извѣстно, наша земля... — отвѣтила спокойно „мамынька“, степенно оправляя ситцевый длинный передникъ; она была въ косоклиномъ раскольничьемъ сарафанѣ съ глухими проймами и въ бѣлой холщевой рубашкѣ съ длинными рукавами. — Всѣ это знаютъ, родимый, только оно сумнительно очень... насчетъ т.-е. начальства...

— Ну, это пустяки, мамынька. Мало ли что въ прежнія времена было — тогда темнота одна была, а нынѣче — другое, нынѣче вездѣ законъ, мамынька.

— Законъ-то законъ, милушка, да вотъ и покойный родитель... такъ въ заточеніи и померъ, сердешной. Все правды искалъ тоже... Двѣнадцать лѣтъ въ острогѣ высидѣлъ.

Старушка вытерла передникомъ показавшіяся на глазахъ мелкія старческія слезинки и тяжело вздохнула.

— Ахъ, какая ты, мамынька!..—недовольнымъ тономъ замѣтилъ Важенинъ и нахмурился. — Покойный родитель не глупѣе былъ насъ съ тобой...

— Да я, милушка, ничего не говорю...—торопливо оправдывалась старушка, стараясь принять спокойный видъ. — Только будто къ слову пришлось...

Точно распухшая жена Важенина, державшая себя на городской манеръ, очевидно, была недовольна затѣями мужа и не принимала въ разговорѣ никакого участія.

— Я ужъ наладила тамъ въ задней избѣ гостеньку-то все... — проговорила старушка, когда мы кончили ужинъ. — Здѣсь-то негдѣ, такъ я ужъ въ задней избѣ.

Задняя изба, только-что отдѣланная въ качествѣ парадной половины, была совсѣмъ по-городски: на полу тюменскіе ковры, триповый диванъ съ дессертнымъ столомъ, вѣнскіе стулья, два зеркала въ простѣнкахъ, плохія олеографіи въ золоченыхъ рамахъ, кисейныя занавѣски на окнахъ—словомъ, все было устроено форменно. Постель была мнѣ устроена на полу, около „голланской“ печки съ герметической заслонкой.

— Ужъ не обезсудь на нашей простотѣ, — извинялась старушка, провожая меня въ заднюю избу.—Чѣмъ богаты...

— Да не безпокойтесь, бабушка... Все отлично. Благодарю...

— Какъ не безпокоиться-то... Охъ-хо-хо!.. — вздыхала старушка, еще разъ взбивая подушки и очевидно желая что-то высказать. — Вотъ что, родимый ты мой, скажи ты мнѣ, ради истиннаго Христа, засадятъ Евстратушку-то въ острогъ... а?

— Зачѣмъ засадятъ, бабушка?

— Да вотъ за законъ-то за его... Отецъ-то вѣдь тоже о землѣ хлопоталъ, да такъ и кончился въ острогѣ, ну, и Евстратушка какъ бы туда же не угодилъ. Вонъ, какъ онъ разговариваетъ... Все жилъ ничего, все ничего, торговлишку справилъ, обзавелся, а тутъ нако-ся—всему попустился. И въ кого это онъ уродился такой-то?

— Вѣроятно въ отца, бабушка?

— Такъ, вѣрно, родимый, въ отца и есть... Охъ, чажало это родительскому сердцу! Уговаривали—пытались, такъ куды—приступу нѣтъ. Жена-то въ ногахъ валялась... Отецъ-то, Семенъ-то Евстратычъ, такой же вотъ былъ неуговоръ: наладитъ, что хошъ расколись для него тутъ. Все за Боровки тогда хлопоталъ, объ землѣ объ этой, ну его въ острогъ—такъ и сидѣлъ по смерть по самую, а не покорился. Строго прежде-то было, при Иванѣ еще Антонычѣ: ужъ онъ дралъ-дралъ Семена-то Евстратыча, голубчика, а ничего выбить не могъ. Евстратушка-то, видно, въ родителя изгадалъ... Не взыщи ты на мнѣ, на старухѣ, за глупый мой разговоръ: все вѣдь сердечушко издрожалось.

Я постарался успокоить горевавшую старуху, какъ умѣлъ, и она ушла, охая и причитая объ ухватившемся за законъ Евстратушкѣ. Заснуть я долго не могъ: въ комнатѣ было жарко даже на полу, за обоями шуршали тараканы, слышно было, какъ самъ хозяинъ нѣсколько разъ входилъ и выходилъ изъ избы, вѣроятно, задавать корму скотинѣ, мятель не унималась и продолжала завывать въ трубѣ, нагоняя тоску.

Это неожиданное превращеніе Важенина изъ кулака въ человѣка, рѣшившагося „послужить міру“—являлось однимъ изъ тѣхъ диссонансовъ, которые въ общемъ житейскомъ омутѣ какъ-то идутъ въ разрѣзъ рѣшительно со всѣмъ и служатъ почти неразрѣшимой загадкой. Откуда? какъ? почему? Съ одной стороны подарки Харитинушки, разсчеты на темный товаръ и общую бѣдность, чистосердечныя сожалѣнія о пропущенномъ случаѣ принять участіе въ разореніи купца Михряшева, а съ другой—желаніе постоять за міръ и принесеніе въ жертву этому желанію

туго сколоченнаго, копѣйка за копѣйкой, благосостоянія. Все это было непримиримымъ противорѣчіемъ, и негдѣ было искать того переходнаго критическаго момента, который долженъ былъ существовать. Даже прецедентъ въ видѣ сгнившаго въ острогѣ родителя, Семена Евстратыча, по обще-человѣческой логикѣ не могъ служить особенно побудительной причиной повторить ту же исторію вторымъ изданіемъ, хотя, конечно, знаменитаго Ивана Антоныча давно уже не было на свѣтѣ, и прежняя крѣпостная темнота смѣнилась новыми порядками. Вся эта исторія казалась такой невѣроятной, что я даже усумнился въ искренности намѣреній Важенина и съ этой мыслью уснулъ въ его кулацкомъ гнѣздѣ, уснащенномъ и вѣнской „небелью“, и „зеркаламъ“, и разной другой благодатью, навѣрно купленной по случаю въ полцѣны.

Пластунскіе заводы представляютъ интересную страничку въ исторіи Урала. Первый, такъ называемый, Старый заводъ основанъ былъ на р. Пластуньѣ въ половинѣ восемнадцатаго вѣка, когда на Уралѣ заводы росли какъ грибы, десятками. Мѣсто подъ заводы было выбрано чрезвычайно удачно: богатыя руды, дремучіе лѣса, нѣсколько горныхъ рѣкъ, удобныхъ для запруды— всѣ условія точно нарочно сгруппировались въ интересахъ вящшаго развитія заводскаго дѣла. И дѣйствительно, новые заводы пошли бойко въ ходъ и стали приносить своему основателю милліонные дивиденды. Этотъ первый заводчикъ, по фамиліи Кученковъ, выбился въ большіе люди изъ полной неизвѣстности и цѣлую жизнь работалъ за четверыхъ. Впрочемъ, приблизительно такова исторія возникновенія почти всѣхъ уральскихъ горныхъ заводовъ, за исключеніемъ казенныхъ, гдѣ были свои порядки. Какъ всѣ первые уральскіе заводчики, Кученковъ обладалъ самой завидной энергіей, хорошо понималъ свои интересы и спеціально заводскую часть и, какъ всѣ первые уральскіе заводчики, не церемонился съ рабочими, а въ случаѣ ослушанія, расправлялся съ ними звѣрски.

Кученковъ, въ смыслѣ типичности, былъ замѣчательный человѣкъ: ходилъ въ полушубкѣ и въ валенкахъ, съ завода на заводъ переѣзжалъ часто съ „обратними“ ямщиками, вообще жилъ крайне просто и только любилъ щегольнуть передъ начальствомъ. Наслѣдники Кученкова начали съ того, что раздѣлились: одинъ взялъ заводы, другому выдѣлили часть деньгами, третій получалъ извѣстный дивидендъ и не вступался ни въ какія дѣла. Всѣ трое жили или въ Петербургѣ, или за границей, безобразничая на пропалую. Внукъ Кученкова, къ которому перешли заводы, получилъ воспитаніе въ Парижѣ, подъ вліяніемъ какого-то іезуита, и до

конца своей жизни не могъ научиться говорить правильно по-русски, хотя жилъ набобомъ и уронилъ заводы окончательно, опутавъ ихъ неоплатными долгами. Никакое крѣпостное право и никакіе Иваны Антонычи не могли спасти падавшихъ заводовъ, и они сейчасъ послѣ воли за казенные долги перешли въ опекунское управленіе, гдѣ всѣмъ дѣломъ верховодила силоченная кучка горныхъ инженеровъ. Эти опекуны повели дѣла чрезвычайно ловко и, въ видахъ „усиленія заводскаго дѣйствія“ разными „хозяйственными способами“, увеличили казенный долгъ вдвое, такъ что въ концѣ концовъ Пластунскіе заводы пошли съ молотка и достались какой-то сильной иностранной компаніи.

Владычество новой компаніи началось съ того, что на смѣну старыхъ доморощенныхъ управителей и служащихъ была выслана настоящая армія „нѣмцевъ“ и заведенъ былъ въ дѣлахъ чисто нѣмецкій безконечный порядокъ. На одномъ Пластунскомъ заводѣ было восемьдесятъ человѣкъ служащихъ, изъ которыхъ шестьдесятъ-пять были „нѣмцы“, а пятнадцать изъ старыхъ заводскихъ служащихъ. Конечно, эти нѣмцы разобрали самыя лучшія мѣста: главный управляющій Фридрихъ Базъ (Секретъ называлъ его „Бацъ“) получалъ двадцать-пять тысячъ годового жалованья, за нимъ слѣдовалъ помощникъ главнаго управляющаго—Кошачинскій, заводскій управитель Бадеръ, завѣдывающій канцеляріей Берхъ, главный бухгалтеръ — Баль, начальникъ контроля—Бангъ, завѣдывающій хозяйственнымъ отдѣленіемъ — Барчъ, главный лѣсничій — Бартельсъ, инженеръ по разнымъ порученіямъ Адельсонъ, главный врачъ—Абрагамсонъ, главный кассиръ — Аншельзонъ и т. д., и т. д. Русскія фамиліи жались на самыхъ послѣднихъ ступенькахъ этой канцелярской лѣстницы—писцами, дозорными, запащиками и тому подобной мелкой сошкой, даже не имѣвшей подчасъ названія своей должности — такъ она была мелка и ничтожна. Заведеніе такого образцоваго порядка являлось только одной стороной дѣла, за которой непосредственно выступала вторая, правда, логически связанная съ первой—это цѣлая система хозяйственныхъ сокращеній и урѣзокъ въ мелочахъ, въ маленькихъ должностяхъ и особенно на рабочихъ. Была введена артистически выработанная система вычетовъ и штрафовъ, подробныя правила, какъ ходить и дышать, и этотъ аптекарскій способъ экономіи на первыхъ же порахъ далъ самый блестящій результатъ.

Рабочіе, прижатые всевозможными правилами къ стѣнѣ, скоро поняли, въ какую попали западню, и протестомъ съ ихъ стороны послужилъ, такъ называемый, „книжечный бунтъ“. Новая адми-

нистрація завела разсчетныя книжки, и вотъ эти книжки послужили яблокомъ раздора, потому что какія-то темныя личности заказали на-крѣпко не брать этихъ книжекъ ни подъ какимъ видомъ: кто возьметъ такую книжку—превратится опять въ заводскаго крѣпостного. Свои начетчики и грамотѣи указывали на заводскую печать на книжкахъ, какъ на „антихристовъ знакъ“ — однимъ словомъ, разыгралась самая печальная исторія, потребовавшая даже пріостановки на нѣкоторое время заводскаго дѣйствія. Все это происходило въ такихъ смѣшныхъ формахъ, что призванная къ содѣйствію власть не нашла никакой возможности прибѣгнуть къ энергичнымъ мѣрамъ, практикуемымъ въ такихъ случаяхъ. Когда улеглось первое волненіе, дѣло уладилось само собой, и книжки пошли въ ходъ, хотя старухи раскольницы пророчили малодушествовавшимъ рабочимъ по меньшей мѣрѣ геенну огненную. Конечно, со стороны этотъ „книжечный бунтъ“ кажется только смѣшнымъ, но онъ имѣлъ за себя очень вѣскія основанія: кабала явилась, хотя и не со стороны „антихристова знака“. Меня особенно удивляла та единодушная ненависть, съ какой пластунскіе обыватели относились къ новой нѣмецкой администраціи; это было тѣмъ болѣе удивительно, что эти же самые обыватели относились почти безъ ненависти къ звѣрствамъ какого-нибудь Ивана Антоныча, поровшаго рабочихъ прямо на смерть. Даже такой независимый человѣкъ, какъ Важенинъ, и тотъ чуть не оправдывалъ звѣрства вѣчно улыбавшагося крѣпостного управителя.

— Помилуйте, тогда кругомъ темнота была,—объяснялъ Важенинъ, встряхивая волосами.—Развѣ бы Иванъ Антонычъ сталъ звѣрствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На другихъ-то заводахъ не лучше нашего было. А все потому, что съ управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и дралъ Иванъ Антонычъ... тоже ему не свою спину было подставлять за нашего брата. А нынче совсѣмъ другое дѣло: господамъ законъ, и намъ законъ... да. Имъ ихнее, а намъ наше... Конечно, нѣмцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили такъ: „клопъ клопа ѣстъ, послѣдній самъ себя съѣстъ“.

Въ этой запутанной и перепутанной исторіи было замѣчательно особенно то, какимъ способомъ, при разстроенныхъ заводскихъ дѣлахъ, получались сравнительно высокіе доходы. Секретъ, какъ всѣ великія открытія, былъ очень простъ; заводская администрація не дѣлала никакихъ нововведеній, не заводила ничего, что пахло большими издержками, и даже на ремонтъ

списывала самыя незначительныя суммы и, благодаря такому хозяйству, возвышала доходъ. Кромѣ печей Сименса и горячаго дутья, не было капитальныхъ усовершенствованій, да и эти новинки были устроены только въ виду самой настоятельной и вопіющей нужды въ древесномъ топливѣ, на которомъ исключительно работаютъ всѣ уральскіе заводы. Собственно эта система практикуется и на другихъ заводахъ и было уже нѣсколько примѣровъ полнаго краха цѣлыхъ заводскихъ округовъ, но разорившіе такимъ образомъ заводы главные управляющіе получили свои десятки тысячъ—„что и требовалось доказать", какъ говорится въ учебникахъ математики. Роковымъ вопросомъ, conditio sine qua non для всѣхъ уральскихъ заводовъ является переходъ съ древеснаго топлива на каменный уголь, но всѣ заводы тянутся изъ послѣдняго, чтобы хотя на недѣлю отсрочить неизбѣжное рѣшеніе этого вопроса, потому что такой переходъ потребуетъ сразу громадныхъ затратъ на приспособленіе всѣхъ огнедѣйствующихъ заведеній къ употребленію каменнаго угля, а это неизбѣжно отразится на количествѣ получаемаго дохода съ заводовъ,—какой же управляющій рѣшится не только взять на свою отвѣтственность подобный рискъ, но даже просто посовѣтовать владѣльцу. Это было бы двойнымъ самоубійствомъ: лишить заводовладѣльцевъ ихъ доходовъ и, главное, лишить самихъ себя министерскихъ окладовъ. Остается только идти впередъ, до послѣдняго полѣна дровъ, что и практикуется всѣми заводчиками въ одинаковой мѣрѣ.

Такимъ образомъ, вопросъ о лѣсѣ является въ уральскомъ горнозаводскомъ хозяйствѣ самымъ больнымъ мѣстомъ: заводы увеличиваютъ свою производительность, параллельно идетъ уменьшеніе лѣсныхъ дачъ, и впереди полный крахъ. Но упорное нежеланіе переходить на минеральное топливо имѣетъ еще и другую сторону: всѣ заводчики вопіютъ о недостаткѣ лѣсовъ и поэтому замедляется надѣлъ заводскаго населенія землей, потому что такой надѣлъ долженъ ipso facto уменьшить лѣсныя дачи. Этимъ путемъ аграрный вопросъ на Уралѣ получилъ совершенно особенныя усложненія и въ недалекомъ будущемъ долженъ повести къ очень печальнымъ недоразумѣніямъ. Трудность размежеванія увеличивается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что кромѣ частныхъ и казенныхъ земель, сотни квадратныхъ верстъ принадлежатъ своимъ владѣльцамъ на поссессіонномъ правѣ, которое само по себѣ является почти неразрѣшимой юридической загадкой. Пластунскіе заводы въ этомъ случаѣ были не лучше и не хуже другихъ поссессіонныхъ заводовъ, хотя и съ нѣкоторымъ

спеціальнымъ „букетомъ“ въ видѣ „сплошного нѣмца“, какъ выражался Секретъ.

IV.

На другой день утромъ, когда я пилъ чай въ задней избѣ, туда вошелъ Важенинъ, оглядѣлся, прикрылъ дверь поплотнѣе и присѣлъ къ моему столу съ видомъ человѣка, который желаетъ что-то сказать, но не рѣшается.

— Погодка-то какъ будто успокоилась...—тянулъ онъ, заглядывая въ окошко.—Вотъ все я собираюсь какъ-нибудь нутренныя ставешки наладить, жалѣзныя... Очень даже это способно по нашему дѣлу, а то не ровенъ часъ—пошаливаютъ у насъ на Пластунскомъ: недавно четверыхъ зарѣзали. Вотъ этакъ же во второмъ этажѣ: намазали медомъ листъ бумаги, прилѣпили къ стеклу, выдавили и въ лучшемъ видѣ залѣзли...

Поговоривъ о разныхъ пустякахъ и еще разъ оглянувшись кругомъ, Важенинъ досталъ изъ кармана своего длиннополаго сюртука вчетверо сложенный листъ и, развернувъ его, подалъ мнѣ. Бумага начиналась стереотипной фразой: „Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти, я при живности своей“ и т. д. Это было форменное духовное завѣщаніе, составленное Важенинымъ на имя жены Платониды Васильевны, причемъ онъ отказывалъ ей все движимое и недвижимое, съ условіемъ, чтобы она по смерть „воспитывала“ старушку свекровь и оказывала ей „всякую покорность и почтеніе“. Завѣщаніе было подписано тремя душеприкащиками.

— Все форменно?—шопотомъ спрашивалъ Важенинъ, оглядываясь на дверь. — Ежели въ случаѣ, напримѣръ, меня сцапали бы, какъ родителя... Не отберутъ отъ жены-то домъ-то и лавку?

— Да зачѣмъ васъ сцапаютъ?

— Ну, такъ, я это къ примѣру только... Форменно все?

— Нѣтъ, не совсѣмъ форменно... Это духовное завѣщаніе составлено домашнимъ образомъ и можетъ всегда возбудить споръ со стороны родственниковъ, племянниковъ, напримѣръ, а чтобы окончательно обезпечить себя—вы засвидѣтельствуйте это же завѣщаніе у городского нотаріуса.

— И тогда ужъ форменно будетъ? Т.-е. ни подъ какимъ видомъ, чтобы племянники... какъ вонъ Харитину пустили по міру?

— Да вы напрасно безпокоитесь, Евстратъ Семенычъ: никакой опасности нѣтъ.

— Ужъ вы пожалуйста, не говорите такія слова,—шопотомъ отвѣчалъ Важенинъ, придвигаясь ко мнѣ ближе.—Были ужъ такіе случаи-то... Ей-Богу! На —скихъ заводахъ этакъ же мужичекъ одинъ вздумалъ хлопотать на счетъ земли, ну, его сцапали да и выслали административнымъ порядкомъ тысячи за двѣ верстъ. Это какъ? Всѣ подъ Богомъ ходимъ... Меня-то высылай, да только жену да вотъ мамыньку не тронь. Про себя-то я ужъ порѣшилъ... Будетъ ужъ мнѣ... да.

— Чаю не хотите ли?

— Благодарствуйте, я ужъ напился... По-деревенски рано встаемъ, да и сну у меня нынче настоящаго не стало! вертишься-вертишься ночь-то.

— Вѣроятно, нездоровы?

— Нѣтъ, ничего, слава Богу, не могу пожаловаться, а такъ... отъ мыслей. Раздумаешься да раздумаешься...

— Послушайте, Евстратъ Семенычъ, меня удивляетъ, какъ это вы такъ вдругъ... перемѣнились?

Важенинъ внимательно посмотрѣлъ на меня и улыбнулся.

— Да и самъ я дивлюсь...—отвѣтилъ онъ послѣ короткой паузы.—Такъ ужъ видно, кому что на роду написано. Видите-ли, случай тутъ былъ... Долго, пожалуй, будетъ разсказывать-то.

Для безопасности Важенинъ приперъ дверь на крюкъ, подсѣлъ опять къ столу и заговорилъ:

— Помните, тогда встрѣтились въ середовинѣ-то у Секрета? Пировалъ я тогда до неистовства... страсть, пировалъ. Ну, извѣстно —мужикъ могутный изъ себя, недѣли двѣ безъ просыпу закачиваешь. А охота это ужъ другое... Оно одно къ одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то чай слыхали? Мы съ Секретомъ будто на охоту уйдемъ, а сами въ Боровки и закатимся. Есть тамъ четыре братана Мякинькихъ, а у нихъ есть сестра Ульяна... Только и семейка: здоровенные всѣ, могутные, красавцы, а всѣхъ лучше эта самая Ульяна. Мы вѣдь тоже изъ Боровковъ, и я эту самую Ульяну махонькой еще зналъ, а какъ выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, однимъ словомъ богатырь-дѣвка. И на рѣчахъ при этомъ очень бойка, да и веселая-развеселая—только слушай... Ну, и запади эта самая Ульяна мнѣ въ башку: думаю объ ней день и ночь, и шабашъ. По душѣ пришлась... Ну, ужъ я около Ульяны и такъ, и этакъ—ничего не беретъ. На заводахъ-то у насъ балованный народъ и на счетъ женскаго полу даже весьма свободно, а тутъ не дается дѣвка въ руки, и меня ужъ озарки взяли, себя не помню, какъ другой быкъ, напримѣръ. Здоровъ я былъ, ну, кровь-то какъ захо-

дила—смерть... Ужъ я гонялъ-гонялъ Секрета съ гостинцами и съ подарками—толку все мало: возьметъ, поблагодаритъ, а настоящаго дѣла нѣтъ. Все мнѣ хотѣлось Ульяну въ лѣсу гдѣ-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдетъ—такъ нѣтъ, дошлая, шельма, не идетъ въ лѣсъ. Кружили мы такимъ манеромъ, кружили съ Секретомъ, дѣло хоть брось. Зима наступила, слышу—сватаютъ Ульяну... Послѣ Рожества свадьба. Меня это изъ ума вышибло: будетъ моя Ульяна... Подослалъ къ ней Секрета выспросить, а Ульяна и говоритъ ему: „кланяйся Евстрату Семенычу... любъ онъ мнѣ, да не умѣлъ взять дѣвку, а теперь братаны за мужъ отдаютъ". Запировалъ я пуще прежняго, а тутъ и святки на носу... Ну и ухололи мы съ Секретомъ штуку!.. Тоже придумали: напоимъ, молъ, всѣхъ четырехъ братановъ и Ульяну выкрадемъ. Ей-Богу... чистое звѣрье какое-нибудь, такое разсужденіе имѣли. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая—невеличка изъ себя, а такъ бѣгала, такъ бѣгала—стрѣла, а не лошадь. Ну, этого бѣгунчика заложили въ кошовку, поставили ведро водки и сейчасъ въ Боровки, къ Мяконькимъ... Они по лѣсоворной части, и я прикинулся, что срубъ мнѣ надо поставить. Давай мы пировать въ избѣ у Мяконькихъ—праздничное дѣло... А Ульяна тутъ же въ избѣ вертится и будто сномъ—дѣла не знаетъ. Ну, удовлетворили мы братановъ, такъ, что ухомъ по землѣ... Выхожу я въ сѣни, свистнулъ Секрета, а онъ мнѣ и говоритъ: „Ульяшка-то убѣжала"... —„Куда?"—„Да куда, говоритъ, ей убѣжать, здѣсь гдѣ-нибудь въ деревнѣ же, не велико мѣсто". Отправились мы искать ее и точно на вечоркѣ нашли въ одной избѣ и какъ была въ одномъ сарафанѣ, такъ мы ее и заполучили, завязали ротъ платкомъ да въ кошовку: трогай въ середовину... Секретъ на козлахъ, а я снялъ съ себя шубу и въ шубу завернулъ Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потомъ присмирѣла и сидитъ въ родѣ, какъ деревянная. Ну, а тамъ въ Боровкахъ-то всѣ на ноги, сказали братанамъ, тѣ кое-какъ прочухались и сейчасъ на лошадей: два брата по дорогѣ въ Пластунскій заводъ погнали, а двое въ середовину къ Секрету. Мѣсто тоже не близкое, ѣдемъ мы и слышимъ, что за нами погоня, а у Мяконькихъ кони первые по деревнѣ,—потому по лѣсоворной части это первое дѣло. Тутъ ужъ и моя Ульяна всполыхнулась: „Охъ, убьютъ тебя братаны... дай, я лучше убѣгу въ лѣсъ, тогда имъ нечего съ васъ взять".—„Куда ты, говорю, дура, въ лѣсъ пойдешь, когда вездѣ снѣгъ по поясъ... Оборонимся, говорю, да и середовина не далеко"... Совѣстно тоже загородиться дѣвкой-то: наша вина—нашъ

и отвѣтъ. А погоня все ближе... Видимъ, наша лошадка изъ силъ выступаетъ, тоже трое насъ, чертей—добрый возъ. Не доѣхали мы до середовины будетъ-не-будетъ съ версту, какъ братаны Мяконькіе налетѣли на насъ... Ну, повернули мы лошадь поперегъ дороги, у меня съ собой оборонка была маленькая: леварвертъ-кулачокъ, шестицволый значитъ—и пошла свалка. Нагнали насъ двое братановъ: большакъ Мишка и середнякъ Прошка и приняли насъ въ стяги... Выпалилъ я разика два, а потомъ какъ царапнули меня стягомъ по плечу—и кулачокъ вылетѣлъ... Ну, и били они насъ—страсть!.. Сначала все стягами, а потомъ по дорогѣ за волосы да топтать... Здоровенный народъ, чисто какъ два медвѣдя изъ берлоги вырвались. Помню только, какъ первo меня полыхнули стягомъ по правому плечу, а потомъ по крыльцамъ. Такъ замертво насъ бросили въ кошовку, понужнули лошадь, ну, она насъ и предоставила прямо къ Секретовой сторожкѣ,—потому дѣло знакомое. Ну, очнулся я у Секрета въ избушкѣ и не думалъ, что живъ останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа какъ чугунный котелъ. И Секретъ тоже въ лучшемъ видѣ... Однимъ словомъ сказать, братаны Мяконькіе чистенько свое дѣло сдѣлали...

Важенинъ перевелъ духъ, встряхнулъ волосами и даже засмѣялся, вѣроятно, отъ удовольствія, что братаны Мяконькіе очень ужъ „чистенько“ поучили его съ Секретомъ.

— Ну, привезла меня Власьевна прямо къ женѣ: „на, получай любезнаго супруга“, и натурально все дѣло ей на чистоту выложила... Мамынька реветъ, жена реветъ, а я лежу и пальцемъ пошевелить не могу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядѣлъ-поглядѣлъ онъ на меня и только головой покачалъ: „Ловко, говоритъ, устряпали... это, говоритъ, не человѣкъ, а котлетка“. Ей-Богу такъ и сказалъ... Не сталъ и лечить, все равно, говоритъ, помретъ, ну такъ мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня... Ужъ и принялъ я только муки отъ этой старухи: въ баню да въ баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облѣпила, да поитъ какой-то такой дрянью, что съ души воротитъ. Ну, извѣстно, дѣло смиреное мое было: что хотятъ, то и дѣлаютъ—ихняя воля вполнѣ, потому какъ я ни рукой, ни ногой, все равно. И вѣдь, отлежался... три мѣсяца вылежалъ, а все-таки сталъ на ноги. Ну, шея съ годъ не ворочалась, а потомъ ничего, отлежался, только вотъ къ ненастью каждая косточка ломитъ да ноетъ. Нарошно послѣ сходилъ къ этому самому Абрагамсону и отрекомендовался въ полной формѣ, такъ онъ только ахнулъ:

„Ну, говоритъ, вы, подлецы, изъ котельнаго желѣза, надо полагать, сдѣланы... Поглядѣлъ бы, говоритъ, ты на себя-то, въ какомъ ты, напримѣръ, образѣ былъ: весь подъ одинъ пузырь и и при этомъ чернѣе опойка... Кто это тебя такъ уважилъ?“ — „Есть, говорю, ваше благородіе, добрыхъ-то людей“...

Важенинъ опять засмѣялся и прибавилъ:

— Секретъ скорѣе мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался, и внутрь принималъ... Ему все-таки меньше моего досталось, потому онъ только такъ, подъ руку подвернулся. Потомъ меня провѣдывать приходилъ, песъ, да моя жена его въ три шеи... извѣстно, женская часть, тоже обидно.

— Ну-съ, такъ вотъ, напримѣръ, когда я лежалъ, все мнѣ проволоки представлялись,—продолжалъ Важенинъ послѣ небольшой передышки.—И не то, чтобы настоящія проволоки, а въ родѣ какъ мысли у меня въ головѣ проволоками тянулись... Ей-Богу! Лежу я въ собственномъ домѣ, на своей кроватѣ, ходитъ за мной моя собственная жена, и я слышу, какъ она вздыхаетъ... Долженъ былъ я возчувствовать себя подлецомъ али нѣтъ? Даже очень возчувствовалъ: не только подлецъ, но и душегубъ... Еще Господь сохранилъ, а то-бы прощай, Ульяна. Вотъ до чего дошло!.. И сталъ я думать, сталъ думать... Какъ-то этакъ забылся немножко, открылъ глаза, а она стоитъ предо мной...

— Ульяна?

— Нѣтъ, Харитина Петровна... значитъ, жена Ивана-то Антоныча, у нихъ, у нихъ я въ казачкахъ состоялъ. И съ чего приснилась, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семенъ Евстратычъ, стоитъ... Вотъ какъ сейчасъ я ихъ вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замужъ вышла, смотритъ это на меня таково жалостливо и головкой качаетъ, а родитель глядитъ куда-то въ бокъ, потому совѣстно ему за меня, такъ надо полагать. Постояли и ушли—только и всего... Ну, тутъ-то я и понялъ, зачѣмъ ко мнѣ родитель-то приходилъ. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую-то кровь... Все мнѣ такъ ясно сдѣлалось вдругъ... Какъ я жилъ-то до этого случая? Какія у меня мысли были въ головѣ? Обмануть да пировать, да за дѣвками гоняться, да изъ-за этихъ же дѣвокъ чуть смертнаго часа не получилъ. Вѣдь это что же такое, ежели разобрать: родитель-то животъ свой положилъ за правду, а я душегубствомъ занялся. Наколотилъ всякимъ обманомъ копѣйку, ѣлъ сладко, пилъ, спалъ въ волю, ну накопилъ дикаго-то мяса, и давай дурить... Еще какъ выжималъ, бывало, каждый грошъ изъ тѣхъ, кто побѣднѣе, потому придетъ такой бѣдный человѣкъ въ лавку—онъ

весь твой. То удивительно, что мнѣ пріятно было содрать съ него этотъ вотъ самый распослѣдній грошъ, чтобы онъ, напримѣръ, чувствовалъ, каковъ я человѣкъ есть. Тепло, свѣтло, сытно—сидишь себѣ въ горницѣ да радуешься, на дворѣ стужа, клящій морозъ, а тебѣ еще пріятнѣе,—потому, какъ въ это время бѣднота колѣетъ да зябнетъ. Жену постоянно обманывалъ, да еще Ульяну чуть не загубилъ изъ-за своего дикаго-то мяса... И все-то было мнѣ мало, все завидовалъ, какъ другіе богатые купцы живутъ. Ей-Богу, совѣстно даже разсказывать... Отъ этой самой подлости и пировалъ. Ну, а какъ пришелъ я въ себя, сейчасъ же себѣ зарокъ крѣпко-на-крѣпко далъ, первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели Господь подыметъ на ноги—безпремѣнно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкамъ землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую вѣру. Прибѣжали сюда, мѣсто было совсѣмъ дикое, звѣровое—опять ихними же трудами все устроилось. А мы какъ живемъ? То-то вотъ и есть... Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вотъ все это бросать... жена реветъ, ну, да какъ-нибудь. Вотъ меня только эта самая духовная весьма безпокоила, а теперь къ нотаріусу, и шабашъ.

Мы разстались друзьями. Важенинъ вышелъ проводить меня на улицу и долго стоялъ за воротами безъ шапки, заслонивъ глаза рукой. Мнѣ сдѣлалось очень грустно, когда я припомнилъ слова Важенина: „Одно плохо: грамота-то наша больно дубовая, надо, значитъ, къ адвокату обратиться, напримѣръ, а ужъ эти адвокаты... Ахъ, кабы не темнота-то наша, кажется... ну да что объ этомъ толковать!“ Моя почтовая пара тащилась по узкимъ кривымъ улицамъ, уставленнымъ старинными дворами, какихъ ужъ нынче не строятъ: высокіе коньки, свѣсы подъ окнами и на воротахъ съ узорчатой прорѣзью, шатровыя крыльца—все это было поставлено крѣпко и плотно, какъ нынче не ставятъ избъ. Въ центрѣ завода разлегся довольно большой прудъ; на одномъ берегу стояла каменная церковь, у плотины въ березовой рощѣ потонулъ старинный господскій домъ. Онъ былъ выстроенъ въ одинъ этажъ, какъ строились старинные помѣщичьи дома; маленькія окна вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ, какъ добродушнѣйшимъ образомъ смотрятъ кругомъ, какъ умѣютъ смотрѣть очень хорошіе старички, а между тѣмъ, сколько драмъ разыгралось за этими окнами, когда царилъ Иванъ Антонычъ... Сколько народа было перепорото на смерть, а Иванъ Антонычъ любовался изъ окошечка на экзекуцію и приговаривалъ: „ангелъ мой“, „миленькій“, „голубчикъ“. Тутъ же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча „душенька“

Харитинушка, вѣроятно, скоро выучившаяся печь „пирожки съ осетринкой“, и тутъ же стоялъ казачекъ Евстратушка въ дареной шелковой рубахѣ.

Теперь въ старомъ господскомъ домѣ, полномъ еще крѣпостными слезами и напастями, поселился „сплошной нѣмецъ“, сразу напустившій сухоту на тридцатитысячное населеніе всѣхъ пластунскихъ заводовъ и „была послѣдняя горша первыхъ“. Вонъ, на горкѣ строятъ новые дома—это тоже для представителей высшей заводской администраціи, которая быстро доведетъ заводы до полнаго краха и пуститъ населеніе по-міру, но прежде, чѣмъ доведетъ до этого—будетъ вытягивать правительственныя субсидіи, будетъ хлопотать о повышеніи пошлинъ на привозимые изъ-за границы дешевые металлы, будетъ донимать рабочихъ штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.

— А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то?—говорилъ Важенинъ, уже стоя за воротами. — Двѣнадцать тысячъ цѣлковенькихъ... Давно бы нечѣмъ было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручали: ими, можно сказать, только и держимся.

V.

Важенинъ дѣйствительно началъ дѣло о неправильномъ завладѣніи Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревнѣ Боровки, постоянно пріѣзжалъ въ городъ, ходилъ по адвокатамъ, собиралъ какія-то справки, ѣздилъ въ губернскій городъ Моховъ за какими-то таинственными документами, писалъ какія-то „копіи, съ копіи копіи“ и опять исчезалъ. Заходилъ онъ ко мнѣ раза два „перевести духъ“, какъ говорилъ, садился въ уголокъ и, оглядываясь, подавленнымъ шопотомъ разсказывалъ свое хожденіе по мукамъ и мытарствамъ.

— Адвоката, слава Богу, приспособилъ...—говорилъ онъ съ счастливой улыбкой.—Ваше, говоритъ, дѣло правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человѣкъ и при томъ: пасть... по фамиліи: Человѣколюбцевъ.

— Кто вамъ его рекомендовалъ?

— Да ужъ я объ нихъ обо всѣхъ стороной наводилъ справки и выналъ вполнѣ...

Къ особенностямъ Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недовѣріе къ господамъ, даже совсѣмъ не

заинтересованнымъ въ дѣлѣ, какъ я, напримѣръ. Онъ вездѣ сталъ видѣть подвохъ и обходилъ всѣ рекомендаціи и совѣты, какъ очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непремѣнно самому, притомъ черезъ какихъ-то темныхъ „своихъ“ людей, которымъ онъ довѣрялъ.

Пластунская заводская администрація, съ своей стороны, тоже зашевелилась: и Базъ, и Берхъ, и Барчъ, и Адельсонъ,—всѣ приняли участіе въ завязавшейся борьбѣ, какъ гудитъ шмелиное гнѣздо, когда въ него ткнуть палкой. Прежде всего, конечно, „сплошной нѣмецъ“ тоже поѣхалъ наводить справки, писать копіи, собирать документы и, пользуясь удобнымъ случаемъ, увеличилъ свою канцелярскую лѣстницу еще одной ступенькой, заграфленной подъ названіемъ „юрись-консультъ Пластунскихъ заводовъ“, и на эту лѣсенку сейчасъ же влѣзъ присяжный повѣренный N-скаго окружного суда Бартельсонъ, который сдѣлался такимъ образомъ естественнымъ противникомъ Человѣколюбцева, тоже состоявшаго при N-своемъ окружномъ судѣ въ качествѣ присяжнаго повѣреннаго. Словомъ, каша заварилась.

— А мы все-таки покажемъ имъ, какъ лягушки скачутъ...— говорилъ Человѣколюбцевъ, человѣкъ очень строптиваго и неуживчиваго характера.

Человѣколюбцевъ дѣйствительно повелъ дѣло самымъ энергичнымъ образомъ; для перваго раза совсѣмъ растворился во всѣхъ этихъ указахъ, данныхъ, купчихъ, крѣпостяхъ, справкахъ, протоколахъ, сенатскихъ рѣшеніяхъ, окладныхъ листахъ, спеціальныхъ планахъ и т. п., такъ что поддерживалъ свои слабѣвшія силы только тѣмъ, что въ теченіе сутокъ выкуривалъ полфунта табаку. Онъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ Боровки и производилъ осмотръ самаго мѣста, изъ-за котораго вышло все дѣло, а такъ же вызвалъ оффиціальный осмотръ его отъ лица гражданскаго отдѣленія N-скаго суда. Но пластунская администрація тоже не дремала и даже хотѣла предупредить Человѣколюбцева по части науки о скачущихъ лягушкахъ—она послала черезъ урядника въ надлежащее мѣсто довольно безграмотный доносъ на Человѣколюбцева, который, въ качествѣ „странствующаго неблагонамѣреннаго адвоката“, обвинялся въ томъ, что онъ, Человѣколюбцевъ, изъ-за корыстныхъ видовъ, возбуждаетъ тлетворное волненіе довѣрчивыхъ умовъ, за что и заслуживаетъ немедленнаго удаленія въ соотвѣтствующія прохладныя палестины. „Надлежащее мѣсто“ навело справки, но Человѣколюбцевъ оказался не только сыномъ отечества, а даже великимъ патріотомъ: въ N-скѣ не было лавки и магазина, гдѣ онъ не былъ бы долженъ, затѣмъ

выяснилось, что рѣшительно все, даже гораздо больше, чѣмъ все, что онъ получалъ отъ своихъ кліентовъ—онъ немедленно провинчивалъ, и, наконецъ, что у него въ разныхъ судахъ накопилось двѣнадцать дѣлъ о незаконномъ присвоеніи чужого имущества и подлогѣ въ разныхъ формахъ. Одинъ остроумный чиновникъ особыхъ порученій гдѣ-то сострилъ, что даже душа у Человѣколюбцева взята гдѣ-то въ долгъ и давно просрочена. Невинность Человѣколюбцева была очевидна, и дѣло пошло своимъ порядкомъ.

— Вотъ возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, —торжествовалъ Важенинъ, оказавшійся очень проницательнымъ человѣкомъ. — Ужъ это такой человѣкъ, такой человѣкъ, что его ни съ какого боку не уколупнешь: весь въ щетинѣ...

Бартельсонъ былъ нѣсколько иного мнѣнія о Человѣколюбцевѣ и терпѣливо ждалъ судьбища. N-ское общество приняло самое живое участіе въ этомъ дѣлѣ, сейчасъ же раздѣлилось на партіи и въ день суда наполнило собой почти всю залу гражданскаго отдѣленія N-скаго окружного суда, которая въ обыкновенное время стоитъ совсѣмъ пустая или „черная“ публика заходитъ въ нее только погрѣться.

Мы не будемъ утомлять читателя подробностями всего происходившаго въ судѣ. Скажемъ только, что лѣвую половину скамеекъ для публики занимали Базъ, Берхъ, Барчъ, Адельсонъ, и ихъ сторонники, а правую—Важенинъ, четыре братана Мяконькихъ, знакомый уже вамъ Секретъ и еще нѣсколько любопытныхъ, явившихся сюда изъ того любопытства, которое нѣкоторыхъ людей неудержимо тянетъ на пожары и вообще къ каждому мѣсту, гдѣ собралась какая-нибудь публика. Бартельсонъ и Человѣколюбцевъ стояли предъ судомъ и усиленно строчили на своихъ пюпитрахъ съ задумчивымъ видомъ людей, рѣшившихся пожертвовать собой для общаго блага. Пока шло чтеніе доклада, продолжавшееся битыхъ часовъ шесть, я разсматривалъ Важенина и братановъ Мяконькихъ, которые представляли собой въ высшей степени типичную группу.

Глядя на братановъ Мяконькихъ, я долго старался припомнить, гдѣ я раньше видалъ этихъ богатырей, настоящихъ людей „отъ пня“, какъ выражался Важенинъ—но память „захлестнуло“, и конецъ. А между тѣмъ, эти страшныя руки, крѣпкіе, какъ столбы, затылки, эти совершенно невѣроятныя спины и могучія груди такъ были знакомы, точно вотъ я ихъ видѣлъ гдѣ-то на дняхъ. Каково было мое удивленіе, когда я, наконецъ, припомнилъ все: да вѣдь эти братаны точь-въ-точь какъ тѣ библейскіе братья, которые нарисованы во всѣхъ священныхъ исторіяхъ для

дѣтей—убійство Каиномъ Авеля, сцена, какъ продаетъ Исавъ за чечевичную похлебку свое первородство Іакову, продажа Іосифа братьями измаильтянамъ... Положительно это они: такія же библейскія руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли въ ушахъ слова благословенія, которое далъ престарѣлый Іаковъ библейскимъ сыновьямъ. „Ты, Рувимъ, первенецъ мой—ты крѣпость моя и начатокъ силы моей... Іуда, рука твоя на хребтѣ враговъ твоихъ“... Нужно было видѣть, какъ теперь эти „рослые теревинѳы“ напрягали всѣ свои силы, чтобы понять все происходившее у нихъ предъ глазами—они дѣлались жалки въ своей физической силѣ, которая была придавлена ихъ темнотой, какъ тяжелымъ камнемъ. Вотъ большакъ Михалко въ сотый разъ вытираетъ капающій съ лица потъ, точно на немъ цѣлый возъ привезли, середнякъ Мяконькой сдвинулъ брови, наморщилъ лобъ, уперся глазами въ „судъ“, да такъ и застылъ въ одной позѣ; меньшаки потѣли, вздыхали и все смотрѣли на спину Человѣколюбцева, который во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и въ золотомъ пенснэ былъ положительно великолѣпенъ. Важенинъ сидѣлъ впереди у самаго барьера и ужасно походилъ на тѣхъ великопостныхъ причастниковъ, которые съ благочестивымъ спокойствіемъ ждутъ своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кромѣ того, что было предъ барьеромъ. Меня поразило именно это спокойствіе, которымъ дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина—не было больше ни прежняго недовѣрія, ни скрытнаго искательства, ни страха, потому что онъ одинъ зналъ здѣсь, зачѣмъ онъ пришелъ сюда и что онъ правъ. Именно: правъ, и это сознаніе дѣлало его неизмѣримо выше торжествовавшихъ заранѣе противниковъ: онъ переживалъ великій психическій моментъ, когда человѣкъ дѣлается рабомъ извѣстной идеи и больше не знаетъ сомнѣній.

Сидѣвшій рядомъ съ Важенинымъ Секретъ былъ подъ хмѣлькомъ и больше зѣвалъ по сторонамъ, время отъ времени закручивая свои тараканьи усы чрезвычайно молодцоватымъ жестомъ. Онъ часто оглядывался къ братанамъ Мяконькимъ, глупо подмигивалъ и дѣлалъ какія-то необыкновенно таинственные знаки посредствомъ пальцевъ. Въ судѣ Секретъ былъ какъ у себя дома, потому что чувствовалъ непреодолимое тяготѣніе ко всякимъ господамъ—это былъ пропащій человѣкъ, счастливый собственнымъ ничтожествомъ. Глядя на братановъ Мяконькихъ, на Важенина и Секрета, я никакъ не могъ представить себѣ ту дикую сцену, которая разыгралась около середовины, когда Мяконькіе „произвели“ Важенина и Секрета „подъ одинъ пузырь“; дальше выступали еще болѣе дикія несообразности: „прилежаніе“ Харити-

нушки, темный товаръ, вылущиваніе грошей и копѣекъ изъ пластунскихъ мастерковъ, облава на могутную дѣвку Ульяну... Дѣйствительно нужно всю силу „родительской крови“, чтобы довести Важенина до того, чѣмъ онъ былъ въ настоящій моментъ.

Послѣ докладчика говорили сначала Человѣколюбцевъ, потомъ Бартельсонъ, затѣмъ опять Человѣколюбцевъ и опять Бартельсонъ. Новаго они ничего не сказали и, кажется, больше всего заботились о томъ, чтобы показать противнику, „какъ лягушки скачутъ“. Человѣколюбцевъ въ интересахъ своихъ довѣрителей ссылался на jus primae occupationis и земскую давность; Бартельсонъ доказывалъ, что заводское дѣло имѣетъ величайшее государственное значеніе въ нашъ „желѣзный вѣкъ“, перечислялъ безконечныя права заводовладѣльцевъ, выяснялъ юридическое значеніе права на „нѣдра земли“, значеніе поссессіоннаго права, и въ концѣ концовъ сказалъ, что если судъ признаетъ требованія боровковскаго общества правильными, то тѣмъ самымъ подастъ сигналъ къ безконечнымъ аграрнымъ безпорядкамъ. Все это судоговореніе закончилось тѣмъ, что судъ признялъ требованія боровковскаго общества правильными, хотя и съ нѣкоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсонъ и остальные „нѣмцы“ еще ранѣе предвидѣли такое рѣшеніе суда, но за то надѣются на большую справедливость слѣдующей судебной инстанціи; Важенинъ ничего не сказалъ, а только положилъ на свою широкую грудь широкій мужицкій крестъ.

— Теперь надо будетъ пластунскіе народы вызволять... — говорилъ онъ задумчиво, выходя изъ залы суда.

На другой день рано утромъ забѣжалъ ко мнѣ Секретъ; онъ иногда заходилъ поздравить съ праздникомъ или попросить на похмѣлье, но на этотъ разъ лицо у него просто сіяло.

— Ты ужъ здоровъ ли?—спросилъ я.

— Слава Богу, какъ слѣдоваетъ быть: въ полномъ составѣ, — отвѣтилъ онъ молодцовато. — А, вѣдь, я, вашескородіе, того, середовину-то того, сфукалъ.

— Какъ такъ?

— А ужъ такъ... На, не доставайся же она Бацу—и шабашъ. Въ лучшемъ видѣ... Желѣзная дорога пройдетъ черезъ середовину-то, а я буду сторожемъ. Вѣрно... Наѣхало теперь господъ страсть: землю мѣряютъ, столбы ставятъ; планты дѣлаютъ, орудуютъ вполнѣ... Все-таки выходитъ, что я отстоялъ ее, середовину-то: никому не доставайся! И только господа наѣхали... ахъ, какіе господа!!.. Набольшій-то у нихъ и говоритъ мнѣ: „Ты прикармливай волковъ“... Ну, натурально, на счетъ охоты. Какъ приду, онъ сейчасъ двугривенный: на двугривенный, купи бараньихъ

головъ волкамъ... Куплю я бараньихъ головъ, брошу ихъ въ лѣсу, а потомъ опять къ барину: „съѣли, баринъ!“ — „Ну, еще купи... вотъ тебѣ двугривенный“. Ну такъ-ту мы бились съ нимъ цѣльный мѣсяцъ: онъ мнѣ деньги, я — бараньи головы волоку, а волки ѣдятъ... Ужъ такіе господа, такіе господа практикованные! И жалованье обѣщаютъ... Буду себѣ съ зеленымъ флачкомъ на рельсахъ постаивать — вотъ оно какое дѣло-то подошло, ваше-скородіе!..

— Что же, стрѣляли волковъ-то?

— Какое стрѣляли: мы имъ бараньи головы валимъ, а они ихъ лопаютъ — только и всего...

Д. Маминъ.

КРЫМСКІЕ ПЕЙЗАЖИ.

I.

МОРЕ.

Роскошной природы роскошна картина.
По берегу моря рукой исполина
Разбросаны горы высокой грядой, —
Лазурное море жемчужной волной
Подножья скалистыхъ вершинъ омываетъ —
Играя, волна за волной набѣгаетъ
И, съ шумомъ ударясь о берегъ крутой,
Катится назадъ, серебристой каймой
Вдоль берега слѣдъ оставляя; и полны
И ласки, и нѣги шумящія волны.

Несутся по вѣтру онѣ издалека, —
Волшебныя сказки о чарахъ востока,
О царствахъ, сокрытыхъ въ морской глубинѣ,
Утесамъ гигантамъ лепечутъ онѣ;
И къ морю склонились утесы, внимая
Легендамъ далекаго, чуднаго края.

II.

ГОРЫ.

Роскошной природы роскошна картина.
По берегу моря рукой исполина
Разбросаны горы высокой грядой,—
Свинцовыя тучи нестройной толпой,
Какъ тѣни, въ скалистыхъ ущельяхъ тѣснятся
И выхода ищутъ... чернѣютъ... клубятся...
Скрываются горы въ туманѣ и мглѣ,
Морщины легли на скалистомъ челѣ,
Нахмурили брови свои великаны,
И къ морю съ вершинъ ужъ сползаютъ туманы.

Но небо надъ моремъ прозрачно и ясно,
Грозятъ облака ему бурей напрасно:
Полдневнаго солнца живительный лучъ,
Разсѣявъ ряды непріязненныхъ тучъ,
Опять по холмамъ и ущельямъ играетъ
И горные кедры, и сосны ласкаетъ.

Вдали отъ докучныхъ волненій и бѣдъ,
На лонѣ природы душой отдыхаю...
Мой другъ! я тебѣ мой горячій привѣтъ
Отсюда на крыльяхъ орла посылаю!—

А. Луговой.

О ЗАДАЧАХЪ
РУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ

Окончаніе.

II *).

Современная наука стремится къ чрезвычайному осложненію и вмѣстѣ спеціализаціи. Наука историческая давно перестала быть тѣмъ, чѣмъ была нѣкогда—исторіей военной и политической, и захватываетъ все бо́льшій кругъ явленій, особливо общественныхъ и народно-психологическихъ, и каждая изъ ея отраслей занимаетъ все болѣе независимое положеніе особой спеціальности — съ своими требованіями, своимъ кругомъ источниковъ и литературы, своими пріемами анализа,—какъ исторія учрежденій, религіи, движенія умственнаго, нравовъ и т. д. Въ этомъ смыслѣ, этнографія также перестала быть тѣмъ, чѣмъ была нѣкогда. По буквальному смыслу своего названія, это была „наука“ —чисто описательная; она должна была давать описаніе народовъ съ ихъ племенными особенностями,—внѣшнимъ бытомъ, нравами и обычаями: такой матеріалъ собираемъ былъ на глазомѣръ, и считался достаточнымъ для выводовъ общаго философскаго свойства, какими довольствовался прошлый вѣкъ и начало нынѣшняго. Но теперь это изученіе такъ разрослось, что отдѣльныя части науки давно вышли изъ прежнихъ предѣловъ этнографіи, стали особыми спеціальностями, цѣлыми уже богато развитыми науками.—Изученіе

*) См. выше: апрѣль, 780 стр.

племени стало антропологіей и этнологіей,—распространилось на подробное изученіе самого анатомическаго строя племени, всѣхъ отличій, какія представляются разными племенами въ этомъ отношеніи, особливо въ размѣрахъ и формахъ черепа и скелета, физіологическихъ особенностяхъ и пр.—Изученіе преданій составило науку миѳологіи: нѣкогда, относительно классическаго міра, это была номенклатура божествъ съ ихъ аттрибутами и похожденіями, объясняемыми или символикой, или древнимъ эвгемеризмомъ и т. п.; теперь она становилась цѣлой исторіей народнаго вѣрованья, начинающейся съ первыхъ проблесковъ народной мысли и фантазіи въ языкѣ до современнаго повѣрья и суевѣрья, и проходящей черезъ всю историческую судьбу народа.—Изученіе обычая, тѣсно связанное съ миѳологіей, съ другой стороны стало предметомъ исторіи культуры, которая, собравши едва обозримый матеріалъ въ историческихъ свидѣтельствахъ о далекой древности и въ разсказахъ путешественниковъ о бытѣ современныхъ дикихъ и полудикихъ племенъ, восходитъ къ первымъ начаткамъ общественной жизни человѣка, къ первымъ зародышамъ искусствъ, промысловъ, учрежденій и т. д. и слѣдитъ за ними на всемъ пространствѣ историческаго развитія народовъ.—Изслѣдованіе народной поэзіи сливается, съ одной стороны, съ исторіей миѳа, потому что поэтическая дѣятельность первобытныхъ временъ несомнѣнно совершалась на почвѣ миѳа, господствовавшаго надъ міровоззрѣніемъ древняго человѣка; и цѣлая школа ученыхъ настаиваетъ на изысканіи этой миѳологической основы даже въ современной формѣ пѣсни (у насъ, послѣ прежнихъ изслѣдованій Буслаева и Аѳанасьева, эта точка зрѣнія развивается въ замѣчательныхъ трудахъ г. Потебни); съ другой стороны, настойчивыя указанія Бенфея на литературныя связи востока и запада въ области народныхъ сказаній все больше и больше подтверждаются множествомъ явныхъ и любопытнѣйшихъ параллелей, которыя открыты были особливо нѣмецкими учеными въ средневѣковой поэтической литературѣ востока и запада, и къ которымъ въ послѣднее время присоединено много очень важныхъ указаній изъ памятниковъ русской письменности (особливо въ трудахъ А. Веселовскаго)... Наконецъ, является потребность обобщенія многоразличныхъ данныхъ, собираемыхъ всѣми этими изученіями, въ одно цѣльное знаніе, и возникаетъ „психологія народовъ“, „этнографическая соціологія“ и т. д.—науки, которымъ современные ученые еще подъискиваютъ центръ и имя. Прежняя тѣсная наука этнографіи, какъ описательнаго изображенія народовъ въ ихъ нравахъ и обычаяхъ, смѣняется чрезвычайно сложнымъ рядомъ изученій, которыя

стремятся слить свои частныя пріобрѣтенія въ одинъ результатъ—въ одно всеобъемлющее изученіе физической, психологической, культурной и нравственной жизни народовъ...

Такимъ образомъ этнографія, поставленная въ широкомъ смыслѣ ея нынѣшняго теоретическаго объема, должна воспользоваться содѣйствіемъ цѣлаго ряда спеціальныхъ наукъ, области которыхъ до сихъ поръ остаются въ черезполосномъ, неразмежеванномъ владѣніи. Онѣ и останутся неразмежеванными, какъ самыя явленія изучаются съ ихъ различныхъ сторонъ, требующихъ спеціальнаго изслѣдованія, и объединеніе найдется тогда, когда отдѣльныя отрасли этого знанія выработаютъ свои, по крайней мѣрѣ, главнѣйшіе результаты.

Этой спеціальной работы предвидятся массы, и прежде всего въ той области фактовъ, которые составляютъ предметъ антропологіи. Это опять новая наука, которая въ немногіе десятки лѣтъ своего существованія успѣла добыть замѣчательные результаты въ вопросахъ о племенныхъ дѣленіяхъ, объ особенностяхъ расъ, о древнемъ человѣкѣ, о племенной устойчивости и преемствѣ и т. д. Глубокій интересъ этихъ вопросовъ вызвалъ труды многихъ первостепенныхъ умовъ современной науки и обширныя собранія фактовъ; у насъ уже двадцать лѣтъ назадъ образовалось ученое общество (московское—естествознанія и антропологіи), поставивши себѣ цѣлью — распространеніе антропологическихъ изслѣдованій на факты русской территоріи и русскаго племени; антропологическая выставка 1879 г., устроенная этимъ обществомъ, была прекраснымъ опытомъ его трудовъ и его усилій возбудить въ обществѣ интересъ къ предмету. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы эти усилія нашли до сихъ поръ достаточный отзывъ въ обществѣ и помогли установить правильный ходъ антропологическихъ работъ въ нашемъ отечествѣ.

Въ нашей литературѣ ревностнымъ поборникомъ этихъ изученій является въ особенности московскій профессоръ г. Ан. Богдановъ. Въ университетской рѣчи, посвященной этому предмету, онъ разъяснялъ значеніе антропологіи научное и общественное и настаивалъ на необходимости дать ей мѣсто въ ряду предметовъ университетскаго преподаванія, которое одно, по его мнѣнію, могло дать этимъ изученіямъ прочную опору въ нашей научной дѣятельности. Приводимъ двѣ-три выдержки изъ его объясненій.

Указывая предметы антропологическихъ изслѣдованій, между прочимъ — до-историческаго человѣка, г. Богдановъ замѣчаетъ: „До-историческій человѣкъ составляетъ нынѣ одинъ изъ самыхъ животрепещущихъ вопросовъ въ наукѣ. Онъ былъ тѣмъ звеномъ,

которое связало антропологію съ палеонтологіею, зоологіею, археологіею и исторіею, и придало этой наукѣ особенное значеніе, сдѣлавъ рядъ непрерывнымъ отъ естественно-историческихъ наукъ до историческихъ. Антропологическіе вопросы о нынѣ живущихъ племенахъ связали тѣ же естественно-историческія науки съ этнографіею и лингвистикою, и дали новую связь съ анатоміею человѣка и съ медициною... Вопросы организаціи человѣка, по связи ихъ съ психическими явленіями, получаютъ и общественное значеніе, и такъ или иначе касаются наиболѣе важныхъ вопросовъ общественной мысли"... Научное значеніе антропологическихъ изслѣдованій такъ важно, что, по мнѣнію автора, университетамъ слѣдовало стать впереди движенія и не оставлять его только частной иниціативѣ ихъ членовъ (и также частныхъ лицъ); университетамъ слѣдовало сдѣлать такія дополненія въ своемъ преподаваніи, чтобы антропологія развивалась съ дѣятельной помощью университетовъ, а не внѣ ихъ.

Антропологія имѣетъ существенную важность для этнографіи по опредѣленію основныхъ свойствъ племенъ и ихъ взаимныхъ отношеній. Говоря объ антропологической морфологіи, біологіи и систематикѣ, г. Богдановъ замѣчаетъ: „Слабою стороною этого отдѣла антропологіи является то, что въ немъ господствуютъ въ качествѣ исходной точки классификаціи не факты естественно-историческіе, а лингвистическіе и этнографическіе. Такое господство началъ другой области принесло ту выгоду, что привело ко многимъ сближеніямъ и частнымъ классификаціямъ, нашедшимъ и съ естественно-исторической стороны подтвержденіе и объясненіе. Но оно является все-таки ненормальнымъ, ведетъ къ односторонности и имѣетъ еще ту невыгоду, что давая болѣе или менѣе удовлетворительное рѣшеніе вопросовъ съ своей точки зрѣнія, отодвигаетъ на второй планъ значеніе естественно-историческихъ признаковъ, и обращая вниманіе на языкъ и нравы, сближаетъ такія явленія или, лучше сказать, такія группы племенъ, которыя рѣзко должны быть разграничены съ естественно-исторической точки зрѣнія. Введеніе антропологіи въ преподаваніе естественно-историческаго круга наукъ неизбѣжно отзовется въ антропологіи болѣе рѣзкою реформою и классификаціи племенъ, въ томъ отношеніи, что первенствующею и господствующею исходною точкою антропологіи, какъ науки естественно-исторической, можетъ быть только связь кровнаго родства между племенами, изысканіе ихъ генетической связи и распредѣленія по времени и пространству. Естественно-историческая классификація будетъ имѣть необходимымъ результатомъ то, что племена

во многихъ отношеніяхъ сгруппируются иначе, чѣмъ съ лингвистической или съ этнографической точекъ зрѣнія, такъ какъ родство по языку и родство по крови—не одно и то же. Нѣтъ спора о томъ, что къ такой классификаціи, въ болѣе или менѣе законченной формѣ, наука придетъ только послѣ многихъ попытокъ и многихъ даже неудачныхъ сближеній. Но существенное значеніе преподаванія и систематическаго изложенія науки окажется опять-таки въ томъ, что всѣ промежутки рѣзче и нагляднѣе выкажутся и тѣмъ самымъ вызовутъ особенное вниманіе изслѣдователей“ [1]).

Если желательно, чтобы антропологія была должнымъ образомъ поставлена въ университетскомъ преподаваніи, то желательно, чтобы она и вообще привлекла больше вниманія со стороны наличныхъ дѣятелей по естествознанію и этнографіи. Только съ ея участіемъ могутъ быть выяснены главные вопросы о племенномъ составѣ русскаго народа, его антропологическихъ свойствахъ, многочисленныхъ между-племенныхъ связяхъ и отношеніяхъ и т. д. Какъ много дѣла для антропологіи на пространствѣ русской территоріи и русскаго племени, нечего говорить: работы ея едва начаты или едва намѣчены; немногіе спеціальные труды, напр., антропологическія измѣренія, остаются одиночными и отрывочными, и данныя науки, въ примѣненіи къ русскому матеріалу, не были собраны даже въ главнѣйшихъ чертахъ, въ самую общую картину,—которая могла бы послужить исходной точкой дальнѣйшихъ изслѣдованій, дополненій и исправленій, а вмѣстѣ съ тѣмъ могла бы пробуждать въ образованномъ обществѣ интересъ къ начатымъ изысканіямъ. Въ своемъ нынѣшнемъ положеніи, наша антропологическая наука состоитъ изъ вопросовъ...

Прочное установленіе антропологическаго знанія придетъ, конечно, съ общимъ ходомъ нашей науки; но вмѣстѣ надо желать, чтобы шире и серьезнѣе сознана была и важность собственно этнографическихъ изученій, и во-первыхъ, важность правильной постановки этнографическаго собиранія. Ясно, что оно не должно остаться въ томъ неустроенномъ видѣ, въ какомъ оно находилось (за немногими исключеніями) до сихъ поръ, и что нужно принять какія-нибудь заботы о томъ, чтобы оно могло стать точнымъ и, по возможности, полнымъ посредствомъ между данными жизни и научнымъ изслѣдованіемъ.

---

[1]) Антропологія и университетъ, Ан. Богданова. Рѣчь въ собраніи моск. универс. 12-го января 1876. М. 1876, стр. 19—20, 38—39.

Намъ кажется, что вопросъ о сколько-нибудь правильномъ устройствѣ собиранія долженъ быть близокъ всѣмъ, кому только близки интересы этнографіи, и при доброй волѣ нѣчто могло бы быть сдѣлано, каковы бы ни были, впрочемъ, внѣшнія, независящія отъ ученыхъ, трудности дѣла. Сдѣлаемъ нѣсколько предположеній.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ устроенъ былъ извѣстный археографическій институтъ, и открыты курсы для изученія архивнаго дѣла и палеографіи. Менѣе ли важно и поучительно читать живую лѣтопись народнаго быта, обычая и поэзіи, чѣмъ архивные свитки?—Мы не мечтаемъ объ „этнографическомъ институтѣ“; но было бы очень возможно дать въ университетскомъ преподаваніи мѣсто (большее или меньшее) вопросу о способахъ наблюденія народнаго быта. Не нужно было бы для этого никакого особаго курса; на первый разъ довольно было бы нѣсколькихъ лекцій: онѣ были бы весьма естественны и умѣстны въ пропедевтикѣ,—которая вообще такъ важна для перваго ознакомленія новыхъ адептовъ съ областью науки и которой, если не ошибаемся, дается слишкомъ мало вниманія въ университетскихъ курсахъ. Цѣлый предметъ естественно распадался бы по нѣсколькимъ каѳедрамъ. Преподавателю исторіи и теоріи литературы или сравнительной исторіи литературъ европейскихъ было бы естественно остановиться на собираніи произведеній народной поэзіи и, отмѣтивъ недостатки существующихъ собраній, указать, какіе должны бы быть правильные пріемы собиранія, удовлетворяющіе требованіямъ научнаго анализа. Преподаватель-филологъ,—которому приходится говорить объ исторической жизни языка, о живучести многихъ древнихъ формъ, хотя утраченныхъ въ обычномъ книжномъ и разговорномъ языкѣ верхняго класса, но сберегающихся въ народной рѣчи и говорахъ областныхъ,—можетъ подробнѣе остановиться на этихъ послѣднихъ и объяснить, чего ищетъ въ нихъ филологическое изслѣдованіе, какъ точнѣе слѣдуетъ отмѣчать формы, звуки и синтаксическія особенности, какъ важенъ для науки словарь мѣстныхъ нарѣчій или отдѣльныхъ группъ населенія (промышленники разнаго рода, раскольники, козаки, офени, мастеровые и т. д.), какъ слѣдуетъ собирать слова, опредѣлять ихъ значеніе и проч. Преподаватель-историкъ и археологъ при изображеніи древняго быта одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ находитъ въ народномъ преданьѣ, повѣрьѣ и суевѣрьѣ, и можетъ научать правильному наблюденію ихъ въ быту современномъ. Преподаватель-юристъ въ изложеніи исторіи права не можетъ обойти народнаго юридическаго обычая и, объясняя его

значеніе, можетъ указать, что́ собрано было до сихъ поръ въ этомъ отношеніи, чего еще недостаетъ, какъ должны быть изучаемы юридическіе обычаи народа по разнымъ сторонамъ жизни, по разнымъ мѣстностямъ и племенамъ, по историческимъ и бытовымъ условіямъ, и т. д.

Во всѣхъ названныхъ случаяхъ университетское преподаваніе, безъ сомнѣнія, и теперь касается этой чисто этнографической стороны предмета; дѣло только въ томъ, что оно касается ея слишкомъ мимоходомъ и при этомъ не обращается вниманія на интересы собственно этнографическаго собиранія; очевидно, однако, что эти интересы не могутъ быть чужды самимъ изслѣдователямъ, и напротивъ, такъ тѣсно связаны съ ихъ дѣломъ, что именно имъ всего ближе должны быть знакомы требованія отъ самаго собиранія фактовъ. Нужно только собрать свой опытъ въ этомъ отношеніи и дать слушателямъ надежный vademecum. Не было бы большого труда упомянутымъ преподавателямъ систематически распредѣлить между собою этотъ трудъ и въ концѣ концовъ обобщить свои результаты въ одномъ цѣльномъ изданіи своихъ чтеній по этому предмету. Научный опытъ, идущій отъ людей компетентныхъ, принесъ бы пользу не для однихъ только университетскихъ слушателей, но и для всѣхъ любителей этнографіи.

Нѣкогда изданіе этнографическихъ программъ Географическаго Общества послужило благотворнымъ стимуломъ для распространенія этнографическаго дѣла; можно ожидать, что трудъ спеціалистовъ, который былъ бы новой, гораздо болѣе обширной, многосторонней и глубже основанной редакціей подобной программы, имѣлъ бы не менѣе дѣйствительное вліяніе.

Далѣе, въ кругу университетской дѣятельности могли бы быть предприняты и другія работы. Въ послѣдніе годы при филологическомъ факультетѣ петербургскаго университета существуетъ филологическое общество, одно отдѣленіе котораго посвящено вопросамъ славянской и русской исторіи и археологіи; недавно открылось другое отдѣленіе, посвященное романо-германской филологіи. Занятія обоихъ отдѣленій находятся въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ нашимъ этнографическимъ вопросомъ, и ихъ руководители могли бы внести въ программу своихъ трудовъ и выясненіе тѣхъ пріемовъ этнографическаго собиранія, для которыхъ руководство должно быть дано именно компетентными спеціалистами въ области народно-поэтической и бытовой старины.

Такимъ образомъ въ средѣ университетскихъ слушателей могли бы наконецъ образоваться научно подготовленные собиратели, и

распространеніе здравыхъ понятій и пріемовъ собиранія—путемъ литературы—могло бы принести великую пользу и тѣмъ любителямъ, которые продолжаютъ появляться и теперь, при всемъ упадкѣ этнографическаго интереса въ послѣдніе годы, и безъ сомнѣнія будутъ появляться и впредь—общество, конечно, будетъ выставлять преданныхъ любителей, какъ не мало выставляло ихъ и до послѣдняго времени.

Далѣе, какъ въ томъ случаѣ, еслибы изъ людей, прошедшихъ филологическую школу, нашлись подготовленные собиратели, а также и для руководства любителей необходимо было бы спеціальное изданіе, которое служило бы представителемъ этнографическаго дѣла. Это могло бы быть на первый разъ изданіе небольшое, въ родѣ нѣмецкихъ и французскихъ спеціальныхъ журналовъ по филологіи и археологіи,—изданіе, которое не могло бы давать мѣста обширнымъ трактатамъ, или этнографическимъ сборникамъ (для этого нужны были бы всегда другіе способы изданія), но служило бы именно для объединенія самаго дѣла, ставило бы общіе вопросы, развивало и объясняло программы собиранія, давало свѣденія о ходѣ работъ, запросы по какимъ-либо подробностямъ народной поэзіи, обычая, преданья, которые требовали бы объясненія и т. д., словомъ, представляло бы пунктъ объединенія для работниковъ, разсѣянныхъ въ разныхъ краяхъ нашего обширнаго отечества. Подобное изданіе, при извѣстной выдержкѣ, могло бы стать чрезвычайно полезнымъ двигателемъ этнографическаго дѣла: трудъ собирателей могъ бы быть освѣщаемъ и направляемъ указаніями спеціалистовъ; изслѣдователи могли бы ставить здѣсь вопросы, на которые желали бы отвѣта отъ собирателей, работающихъ на мѣстѣ; для послѣднихъ извѣстность ихъ труда въ разныхъ отношеніяхъ могла бы облегчать самую работу, вызывая сообщенія, давая возможность получить свѣденія объ однородныхъ работахъ въ другомъ мѣстѣ и съ ними сообразоваться, и т. д. Мы не сомнѣваемся, что дѣло, поставленное такъ широко съ помощью спеціальнаго изданія—а также и другихъ мѣръ, о которыхъ скажемъ дальше,—нашло бы глубокія сочувствія въ лучшихъ людяхъ общества, и само пріобрѣло бы новыя силы.

Однимъ изъ важныхъ средствъ какъ для собиранія научнаго матеріала, такъ и для возбужденія любознательности и интереса къ дѣлу въ обществѣ, служатъ музеи. У насъ давно обратили на это вниманіе, и въ настоящее время мы имѣемъ болѣе или менѣе богатыя этнографическія и антропологическія коллекціи въ Москвѣ (въ Румянцовскомъ и Политехническомъ музеѣ), въ Петербургѣ (въ академіи наукъ, въ географическомъ обществѣ), въ нѣко-

торыхъ университетскихъ городахъ, даже въ небольшихъ провинціальныхъ городахъ (какъ музей въ Ростовѣ, ярославской губерніи). Но какъ ни любопытны многія изъ этихъ собраній, какъ ни роскошна, напримѣръ, извѣстная коллекція Румянцовскаго музея, очевидно, что они далеко не отвѣчаютъ тому громадному этнографическому матеріалу, какой представляется бытомъ русскаго и инородческаго населенія Россіи. Множество этого матеріала остается до сихъ поръ незатронутымъ, нигдѣ не собраннымъ. Чтобы этотъ отдѣлъ этнографическаго собиранія получилъ извѣстную полноту, надо въ особенности желать умноженія музеевъ мѣстныхъ. Еслибы разъ возбужденъ былъ общественный интересъ въ пользу этнографическихъ предпріятій, то мѣстнымъ спеціалистамъ и любителямъ не трудно было бы, заручившись содѣйствіемъ мѣстныхъ властей и земствъ, составить весьма полныя этнографическія коллекціи бытовыхъ предметовъ, чисто мѣстныхъ (одеждъ и всякихъ предметовъ домашняго быта, промысла, фотографій мѣстныхъ типовъ и т. д.),—и обмѣномъ дублетовъ съ другими мѣстными музеями пріобрѣсти разнообразный этнографическій матеріалъ... Извѣстное дѣло, что наше общество, особенно теперь, довольно „беззаботно на счетъ литературы“ и весьма равнодушно къ интересамъ науки; но можно быть увѣреннымъ, что разумная постановка дѣла въ центрахъ, распространеніе общихъ этнографическихъ понятій—тѣми путями, о какихъ мы говорили, пробудитъ въ мѣстныхъ обществахъ сочувствіе къ дѣлу, поддержавши тѣхъ любителей, которые и теперь уже работаютъ по разнымъ предметамъ этнографіи. Провинціальные музеи были бы интересомъ мѣстнаго патріотизма, а этотъ патріотизмъ несомнѣнно существуетъ въ образованнѣйшихъ и простыхъ хорошихъ людяхъ провинціи: нужно только, чтобы онъ нашелъ себѣ возможность дѣятельнаго примѣненія. Любовь къ своему краю, гдѣ проходитъ вся жизнь, такъ естественна, что ее можно предположить даже въ обществѣ мало развитомъ; но при содѣйствіи научныхъ центровъ мѣстнымъ образованнымъ людямъ вѣроятно удастся пробить кору равнодушія или непониманія. Что такое оживленіе мѣстнаго интереса возможно, объ этомъ можно судить по нашей провинціальной печати, очень развившейся въ послѣднія десятилѣтія и лучшіе органы которой привлекаютъ къ себѣ заслуженное вниманіе и въ печати столичной (напр., газеты и мѣстныя изданія кіевскія, харьковскія, казанскія, пермскія, вятскія и т. д.). Разъ интересъ будетъ пробужденъ, пополненіе мѣстныхъ музеевъ не потребуетъ большихъ хлопотъ и затратъ: этнографическая коллекція будетъ требовать самыхъ обыкновенныхъ предметовъ народнаго

быта, и частныя лица, безъ сомнѣнія, не откажутъ музеямъ въ пожертвованіяхъ...

Музеи столичные, при всемъ ихъ богатствѣ, не могутъ похвалиться какой-нибудь полнотой. Въ составленіи подобныхъ музеевъ все еще проглядываетъ старое понятіе о музеѣ, какъ собраніи „рѣдкостей“ и „достопримѣчательностей“ (по старинному „раритетовъ“ и „куріозовъ“),—отчего въ нихъ находятъ мѣсто и особливо считаются нужными предметы изъ далекихъ странъ, отъ малоизвѣстныхъ племенъ и населеній. Но какъ этнографическое изученіе не дѣлаетъ исключеній и интересуется равно всѣми русскими инородческими племенами, и въ средѣ одной народности стремится обнять всѣ ея бытовыя формы, такъ и коллекціи не должны дѣлать различія между близкимъ и дальнимъ, рѣдкимъ и частымъ— въ обыкновенномъ практическомъ смыслѣ: большее или меньшее мѣсто въ коллекціяхъ для извѣстнаго племени, или мѣстности въ территоріи одной народности, должно опредѣляться не этими внѣшними соображеніями, а свойствомъ самыхъ явленій—большей или меньшей однородностью или разнообразіемъ бытовыхъ типовъ и особенностей. Меньше мѣста потребуетъ небольшое племя или извѣстная часть русскаго населенія, съ однороднымъ складомъ быта; и больше мѣста займетъ та народная жизнь, которая представитъ большее разнообразіе въ физическомъ типѣ, племенныхъ смѣшеніяхъ, промыслѣ и обычаяхъ и т. д.

Именно эта случайность этнографическихъ предметовъ бросается въ глаза въ нашихъ музейныхъ коллекціяхъ; есть предметы изъ быта, напр., остяковъ, тунгузовъ, якутовъ, но нѣтъ ничего о мордвѣ, зырянахъ, вотякахъ и т. п.; есть большая коллекція костюмовъ тверской, ярославской, владимірской губерніи, но нѣтъ ничего изъ новгородской, тульской, рязанской и т. п. Такимъ образомъ собранные предметы остаются, въ сущности, „куріозами“ и „раритетами“, и не представляютъ собой полнаго матеріала по какой-либо отрасли быта: эти предметы пригодны для популярныхъ цѣлей, для поощренія любознательности бѣгло ихъ осматривающей публики,—но не для научныхъ цѣлей: именно для сравненій, которыя могутъ дѣлаться только по нѣсколько полному матеріалу. Дѣйствительно, рѣдко кто пользовался съ подобной цѣлью, напр., коллекціями Географическаго Общества, Румянцовскаго музея или академіи наукъ.

Итакъ, правильная организація этнографическаго собиранія и музейныхъ коллекцій составляетъ постоянную потребность науки, и вмѣстѣ естественную цѣль ученыхъ учрежденій, посвящающихъ свои труды развитію этнографіи. Въ области народнаго обычая и

словесности особенно желательно, чтобы собирателями были не случайные любители, у которыхъ слишкомъ часто давалъ и даетъ себя знать недостатокъ научной школы, а люди, знакомые съ точными данными и требованіями науки; но такъ какъ на это, вѣроятно, еще долго нельзя будетъ разсчитывать, то желательно, чтобы по крайней мѣрѣ любителямъ дана была возможность оріентироваться въ предметѣ, чтобы указанія спеціалистовъ выяснили имъ способы собиранія этнографическаго матеріала — мѣстнаго говора, пѣсенъ, обрядовъ, суевѣрій, мѣстныхъ преданій, и чтобы, для этого, программы, издаваемыя учеными обществами, представляли не сухое оглавленіе искомыхъ отвѣтовъ, а мотивированное научными объясненіями и примѣрами. Желательно, далѣе, чтобы труды собирателей, разсѣянныхъ по пространству имперіи, имѣли литературное средоточіе въ спеціальномъ изданіи, которое вело бы лѣтопись трудовъ, ставило вопросы, сообщало практическія замѣчанія, мелкіе матеріалы и т. д. Желательно, чтобы предприняты были работы для соединенія въ одно цѣлое, хотя бы путемъ подробнаго библіографическаго описанія, тѣхъ многочисленныхъ матеріаловъ, нерѣдко очень цѣнныхъ, которые разсѣяны въ періодическихъ изданіяхъ, напр., провинціальныхъ, и большею частью остаются недоступными для изслѣдователей,—въ томъ родѣ, какъ подобная работа начата недавно мѣстнымъ статистическимъ комитетомъ для пермскаго края [1]). Наконецъ желательно, чтобы этнографическія коллекціи были поставлены болѣе нормальнымъ образомъ, чтобы собираніе ихъ стало общимъ интересомъ, распространилось на мѣстахъ, и по крайней мѣрѣ въ центральныхъ музеяхъ доставило полный и многосторонній этнографическій матеріалъ, который могъ бы дѣйствительно служить пособіемъ для научныхъ изысканій.

Эти широкія задачи, необходимыя для прочной постановки этнографической науки, конечно, могутъ быть только дѣломъ ученаго учрежденія, которое имѣетъ бо́льшій или меньшій общественный авторитетъ, установившіяся оффиціальныя сношенія и личныя связи, и владѣетъ какими-нибудь матеріальными средствами. У насъ только три учрежденія могли бы (разсуждая вообще) взять на себя подобный трудъ или какую-либо часть его: Второе (русское) отдѣленіе академіи наукъ, московское Общество естество-

[1]) Сборникъ статей, касающихся пермской губерніи и помѣщенныхъ въ неоффиціальной части губернскихъ вѣдомостей въ періодъ 1842—1881. Вып. I. Пермь. 1882.

знанія и антропологіи и Географическое Общество.—Что касается академическаго отдѣленія, оно, какъ мы упоминали, едва ли возьметъ на себя подобную иниціативу, хотя въ свое время Срезневскій умѣлъ и внушить своимъ сочленамъ, помнившимъ Шишкова, и возбуждать внѣ академіи этнографическій интересъ и пріобрѣсти корреспондентовъ, которые доставили отдѣленію не мало любопытныхъ произведеній народной поэзіи, напр., почти первые, послѣ изданія Кирши Данилова и задолго до Рыбникова, образчики живого богатырскаго эпоса [1]). По крайней мѣрѣ можно было бы ожидать, что академическое отдѣленіе не останется равнодушно къ вопросу объ историческомъ словарѣ русскаго языка, о мѣстныхъ нарѣчіяхъ и словарѣ областномъ. Заботы объ этомъ дѣлѣ относятся также ко временамъ Срезневскаго, тридцать лѣтъ тому назадъ; съ тѣхъ поръ онѣ къ сожалѣнію не возобновлялись, но эти работы лежатъ на совѣсти высшаго ученаго учрежденія имперіи. —Не знаемъ, далѣе, какъ отнеслось бы къ излагаемому нами вопросу московское Общество естествознанія и антропологіи; но думаемъ, что у него могли бы быть свои выгодныя условія для организаціи этнографическаго собиранія и его начатыя работы по антропологіи могли бы служить введеніемъ къ болѣе широкимъ предпріятіямъ. — Наконецъ, въ особенности, этотъ интересъ долженъ быть близокъ этнографическому отдѣленію Географическаго Общества. Здѣсь должны бы сосредоточиваться и отсюда получать иниціативу тѣ этнографическія работы, какія составляютъ все болѣе чувствуемую потребность нашей науки.

На это указываютъ и старыя традиціи Общества и его разнообразныя установившіяся отношенія.

Географическое Общество основалось въ эпоху, очень мало благопріятную для научныхъ предпріятій. Въ немногихъ кружкахъ шла дѣятельная умственная жизнь, мало проникавшая въ массу общества; но широкія задачи, поставленныя новымъ учрежденіемъ, несомнѣнная ревность къ дѣлу, отличавшая первыхъ начинателей, успѣли произвести сильное впечатлѣніе даже въ той (однако, весьма вліятельной) средѣ, которая обыкновенно оставалась глуха и безучастна къ лучшимъ движеніямъ умственной жизни и къ самымъ живымъ стремленіямъ образованнѣйшихъ людей. Новое учрежденіе одно время стало модным даже въ аристократическихъ и чиновныхъ кругахъ. Причина успѣха заключалась въ томъ, что мысль объ изученіи народа, лежавшая въ основѣ плана Географическаго

[1]) „Памятники великорусскаго нарѣчія“ (собранные изъ „Извѣстій“), Спб. 1855, и друг.

Общества, была глубоко сочувственна образованнѣйшимъ людямъ, особенно въ тогдашней бѣдности общественныхъ интересовъ, и своей идеальной народолюбивой стороной затронула даже тѣхъ, ые существованіе обходилось обыкновенно безъ всякихъ идеалистическихъ затѣй...

Въ области этнографіи первымъ дѣломъ Географическаго Общества было изданіе программы для собиранія этнографическаго атеріала, и программѣ дано было большое распространеніе въ ровинціи. Слѣдствіемъ было доставленіе множества мелкихъ и рупныхъ работъ и матеріаловъ, которые послужили какъ для ервыхъ изданій самого Общества, такъ и для работъ посторонихъ ученыхъ, какъ напр., изданіе сказокъ, Аѳанасьева, главнымъ бразомъ по текстамъ Географическаго Общества. Этимъ собираніемъ вѣденій, многочисленными сношеніями по другимъ отдѣленіямъ бщества (физической географіи и статистики), новое учрежденіе іобрѣло уже вскорѣ много новыхъ членовъ и обширныя связи; него стала собираться значительная спеціальная библіотека; ложено было начало коллекціямъ; общество стало центромъ еографическихъ и этнографическихъ работъ. Оно стало предринимать экспедиціи, и къ нему стали направляться значительія пожертвованія частныхъ лицъ, которыя давали возможность сширять его предпріятія. Въ концѣ концовъ, стали открываться ніальные отдѣлы Общества въ разныхъ краяхъ имперіи—югоападный (лѣтъ десять назадъ закрытый), кавказскій, сибирскіе дѣлы и пр., которые предпринимали свои самостоятельныя боты. Изданія и экспедиціи Общества сослужили большія службы щему географическому знанію и этнографическому изученію шего отечества.

Но время идетъ; въ самой наукѣ произошло, какъ мы упомили, могущественное новое развитіе, она движется теперь стрѣе, требованія становятся все шире, старыя рѣшенія не овлетворяютъ,—и самыя ученыя учрежденія должны расширить ю дѣятельность, чтобы отвѣчать возрастающимъ требованіямъ. ежнее этнографическое собираніе — всего чаще случайное, етантское, частичное, иногда просто крохоборное — должно ниться организованнымъ изслѣдованіемъ, простирающимся на основные типы и мѣстности населенія и производимымъ людьми, учно приготовленными. Мы любимъ говорить о могуществѣ шего отечества, о милліонахъ русскаго народа, захватывающихъ необозримую территорію, готовыхъ къ великой роли въ дущемъ,—но всему этому слишкомъ мало отвѣчаютъ научныя боты, посвящаемыя изученію этого народа. Убѣжденіе въ вели-

чіи народа, если оно серьезно, именно должно бы умѣрить хвастливыя фразы и увеличить заботу о расширеніи тѣхъ научныхъ трудовъ, которые въ особенности направляются на его многостороннее и правильное изученіе: это изученіе необходимо не только для цѣлей чистой науки, но и для внутренняго и практическаго самосознанія; успѣхи этого изученія считаются теперь требованіемъ и условіемъ самаго національнаго достоинства... Повторимъ, что время не ждетъ. Настоящій періодъ народной жизни есть видимый періодъ перелома, когда старый бытъ особенно быстро мѣняется, преобразуется, и старина на нашихъ глазахъ отходитъ въ исторію. Схватить эти уходящіе отголоски старины и укрѣпить ихъ вѣрной передачей для науки должно бы стать обязанностью нынѣшняго ученаго поколѣнія, чтобы избѣжать укора отъ слѣдующихъ поколѣній, для которыхъ многое уже погибнетъ безвозвратно. Правда, долго еще продержатся иныя первобытныя захолустья и медвѣжьи углы, куда не проникнетъ новизна, — но, какъ замѣчали изслѣдователи олонецкаго края, и сюда доходятъ отголоски новой жизни, дѣйствующей на старину быстро разлагающимъ образомъ; въ лучшемъ случаѣ, и здѣсь, однако, сохранится только свое мѣстное преданье, а другая мѣстная старина, еще не пропавшая теперь въ центрахъ и бойкихъ мѣстахъ народной жизни, уйдетъ вмѣстѣ съ нынѣшними стариками: молодыя поколѣнія уже равнодушны къ ней и не знаютъ ея—не исполняютъ стараго обычая, не поютъ, и не хотятъ пѣть старыхъ пѣсенъ и т. д. Нѣкогда думали, что народное преданіе едино, что все равно гдѣ ни сбережется оно, и что дѣло сдѣлано, гдѣ бы преданье или пѣсня ни были записаны: мы знаемъ теперь, что этого единства нѣтъ, что напротивъ при общихъ мотивахъ преданье чрезвычайно разнообразно, представляетъ множество варіацій; каждая мѣстность, каждый отдѣлъ племени несетъ свой оттѣнокъ старины, свой мѣстный складъ обычая и поэтическаго творчества, — и именно изученіе этого разнообразія бытовыхъ и поэтическихъ явленій можетъ принести наукѣ любопытнѣйшіе результаты, какъ слѣдъ старой народной исторіи...

При мысли о необходимости новой организаціи этнографическаго собиранія, мы останавливаемся, конечно, на этнографическомъ отдѣленіи Географическаго Общества. Предполагаемъ, что ученые преподаватели филологіи, исторіи русской литературы и литературъ романо-германскихъ, исторіи русскаго права дадутъ своимъ слушателямъ теоретическія наставленія о правильномъ собираніи народной старины; эти слушатели, которымъ суждено разсѣяться по разнымъ краямъ нашего отечества, могутъ при-

нять на дѣлѣ внушенную имъ любовь къ этому преданью. Предполагаемъ дальше, что оснуется спеціальное изданіе, посвященное этому дѣлу. Останется еще вопросъ практическаго выполненія задачи, установленія оффиціальныхъ сношеній, библіотечныхъ работъ, сосредоточенія и изданія крупнаго матеріала, устройства экспедицій (о послѣднихъ сейчасъ скажемъ), основанія и расширенія музеевъ—во всемъ этомъ необходимо было бы дѣятельное участіе и иниціатива этнографическаго отдѣленія. Всѣ эти труды и учрежденія должны имѣть свой центръ, который объединялъ бы ихъ дѣятельность, доставлялъ необходимыя указанія, давалъ наконецъ нравственную опору...

Географическое Общество уже имѣетъ готовые кадры для подобной дѣятельности — его филіальные отдѣлы, его библіотеку, изданія, сношенія. Съ ихъ помощью работы Общества могутъ удобно быть расширены. Отдѣлы могутъ быть поставлены въ болѣе тѣсную, чѣмъ теперь, связь съ центральнымъ Обществомъ, могутъ принять участіе въ опредѣленіи будущаго плана дѣйствій и въ его исполненіи.

Напримѣръ. Должны бы быть прежде всего опредѣлены тѣ мѣстности, тѣ группы русскаго и инородческаго населенія, которыя требовали бы особеннаго вниманія,—какъ по общему ихъ характеру, такъ и потому, что до сихъ поръ были менѣе другихъ изучаемы. Такіе пункты могли бы быть безъ особеннаго труда указаны теперь же, по наличнымъ свѣденіямъ, какія имѣются въ литературѣ, и по частнымъ указаніямъ спеціалистовъ. Теперь же, могли бы быть намѣчены тѣ стороны, какія требовали бы особеннаго изученія въ той или другой мѣстности—народный типъ, обычаи, народно-поэтическія произведенія, языкъ. Эти первыя соображенія могли бы, на первый разъ, быть опредѣлены хотя бы только въ общихъ чертахъ, чтобы самый приступъ къ дѣлу не откладывался въ дальній ящикъ,—какъ это у насъ слишкомъ часто бываетъ.

Въ то же время, должны быть предприняты работы по составленію новыхъ руководствъ для этнографическаго собиранія, о чемъ говорено выше, и новой программы вопросовъ, болѣе отвѣчающей положенію науки, чѣмъ старая программа Географическаго Общества. Частныя работы спеціалистовъ по этому предмету могли бы быть сведены въ одно цѣлое, и окончательное установленіе программы могло бы быть сдѣлано въ средѣ этнографическаго отдѣленія,—какъ здѣсь установлена была, совмѣстно съ Вольно-экономическимъ Обществомъ, программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ.

Далѣе, Иниціативой Географическаго Общества могло бы быть положено начало этнографическихъ съѣздовъ, которые могли бы получить для этнографической науки такое же благотворное значеніе, какое несомнѣнно имѣли въ своей области съѣзды археологическіе. По связи самыхъ наукъ, этнографы приняли нѣкоторое участіе какъ въ археологическихъ съѣздахъ, такъ и въ работахъ московскаго общества естествознанія и антропологіи въ 1879 году; но участіе было случайное, и этнографія вообще не могла быть здѣсь представлена сколько-нибудь полнымъ образомъ. Очевидна важность съѣзда собственно этнографическаго, при посредствѣ котораго были бы сосчитаны (хотя приблизительно) этнографическія силы, и приняты соглашенія о единообразной этнографической работѣ по вновь выработаннымъ программамъ, и пр. Необходимость новой научной организаціи этнографическаго собиранія такъ ясна, что не могла бы возбудить никакихъ споровъ или сомнѣній, но личная встрѣча ученыхъ и любителей могла бы много помочь установленію общихъ началъ, утвердила бы практическое примѣненіе новыхъ пріемовъ и, вѣроятно, усилила бы самый интересъ къ широко поставленному дѣлу, которое такъ нуждается въ содѣйствіи общественнаго мнѣнія и силъ. Еслибы за первымъ съѣздомъ въ Петербургѣ послѣдовалъ второй въ Москвѣ, и затѣмъ въ провинціальныхъ университетскихъ и иныхъ городахъ (какъ было съ археологическими съѣздами), мы убѣждены, что каждая новая встрѣча ученыхъ была бы новымъ успѣхомъ этнографической науки и размножала бы филіальные отдѣлы общества. Самая наука, конечно гораздо больше археологіи, близка къ пониманію и участію общества, и общественный интересъ къ дѣлу этнографіи, который здѣсь едва ли не въ первый разъ былъ бы возбужденъ въ широкомъ размѣрѣ,—отразился бы большимъ нравственнымъ и, быть можетъ, матеріальнымъ подкрѣпленіемъ стремленій науки.

Въ связи съ этнографическими съѣздами или даже помимо ихъ (еслибы не нашлось средствъ и энергіи для ихъ осуществленія), этнографическое отдѣленіе могло бы установить болѣе дѣятельныя сношенія съ отдѣлами, которые теперь въ сущности работаютъ въ этнографіи почти безъ всякой связи съ своей метрополіей, далѣе — размножить филіаціи общества, или по крайней мѣрѣ пріобрѣсти корреспондентовъ на мѣстахъ, особливо въ университетскихъ и другихъ значительнѣйшихъ мѣстныхъ центрахъ. Мы упоминали, что и въ данную минуту въ этихъ пунктахъ найдется, вѣроятно, не мало людей, заинтересованныхъ этнографическими предметами: въ провинціальной печати—оффи-

ціальной, земской и частной—и теперь являются нерѣдко цѣнныя этнографическія работы, матеріалы и замѣтки; въ „статистическихъ сборникахъ", посвященныхъ своимъ спеціальнымъ цѣлямъ, печатаются иногда маленькіе сборники пѣсенъ, описанія обычаевъ и т. п.; въ „памятныхъ книжкахъ", существующихъ во множествѣ, разсѣяны бытовые матеріалы, и т. д. Словомъ, этнографическій интересъ сказывается самъ собой, въ силу давно пробужденныхъ стремленій къ изученію народнаго быта: этотъ интересъ усилится и обнаружится болѣе живою и систематическою дѣятельностью, когда будетъ что-нибудь сдѣлано для объединенія этихъ мѣстныхъ, разбросанныхъ и разъединенныхъ работъ,—и такое объединеніе составило бы великую заслугу этнографическаго отдѣленія.

Нѣкогда, лѣтъ двадцать-пять тому назадъ, мнѣ случилось бесѣдовать съ извѣстнымъ нѣмецкимъ миѳологомъ и этнографомъ, Маннгардтомъ. Весь погруженный тогда въ необозримый міръ народныхъ миѳовъ и преданій,—между которыми, въ разныхъ концахъ земного шара, открывались замѣчательныя, нерѣдко совсѣмъ неожиданныя тождества и параллели, тѣмъ больше частыя у народовъ, близкихъ по племени, культурѣ и исторіи,—онъ находилъ (совершенно справедливо), что настоящіе прочные выводы о судьбѣ народныхъ миѳовъ, или вообще о древнемъ міровоззрѣніи, могутъ быть сдѣланы только тогда, когда изслѣдователь будетъ имѣть въ рукахъ всѣ главныя данныя, разсѣянныя въ миѳологіи народовъ; и онъ мечталъ объ основаніи—по всѣмъ главнымъ странамъ—наблюдательныхъ пунктовъ, которые, на подобіе физическихъ или астрономическихъ обсерваторій, могли бы собирать и сообщать мѣстныя этнографическія данныя по вопросамъ, возникающимъ у изслѣдователей. Въ самомъ дѣлѣ, такіе наблюдательные пункты уже устроиваются для цѣлей естествознанія; и если существуютъ метеорологическія обсерваторіи, „зоологическія" и „біологическія станціи", то почему не были бы возможны станціи антропологическія и этнографическія?.. Русскія научныя силы очень умѣренны, и нельзя ждать, чтобы могло образоваться много такихъ наблюдательныхъ пунктовъ, но надо желать, чтобы по крайней мѣрѣ въ главныхъ мѣстностяхъ нашлись люди, способные къ правильному этнографическому наблюденію. Такими наблюдательными пунктами могли бы стать тѣ филіаціи этнографическаго отдѣленія, о которыхъ мы говорили, и которыя или могли бы примкнуть къ мѣстнымъ статистическимъ комитетамъ (коронному и земскимъ) или рядомъ съ ними могли бы, съ одной стороны, вести свою общую работу по описанію края, съ

другой, сообщать мѣстныя данныя по вопросамъ, возникающимъ въ наукѣ. На дѣлѣ, во многихъ мѣстахъ уже есть на лицо готовые работники, которые съ охотой примкнули бы къ ученому центру, черезъ посредство филіальныхъ обществъ.

Наконецъ, остается родъ научныхъ предпріятій, который въ особенности могъ бы быть исполненъ именно этнографическимъ отдѣленіемъ, и представляется совершенно необходимымъ. Это—этнографическія экспедиціи. Этнографическое отдѣленіе уже сознало эту необходимость, когда пятнадцать лѣтъ тому назадъ задумало экспедиціи въ сѣверо-западный и юго-западный край. Одна изъ экспедицій — не удалась; за то другая, энергическимъ исполнителемъ которой былъ покойный Чубинскій, принесла богатые результаты — въ огромномъ собраніи матеріала и въ любопытныхъ изслѣдованіяхъ. Въ этихъ экспедиціяхъ предполагались, однако, нѣсколько исключительныя цѣли. По усмиреніи польскаго возстанія, въ западномъ краѣ открыто было нѣчто въ родѣ Америки—новая русская народность; принимались мѣры къ реставраціи ея прошедшаго, къ „обрусенію“ не-русскихъ элементовъ края; вслѣдъ за мнимо-учеными ревнителями обрусенія, возникалъ и серьезный интересъ къ этнографическому изслѣдованію сѣверо-запада, а также и юго-запада, гдѣ частью существовали подобныя условія. Та и другая область были „окраины“, которымъ посвящалось тогда особенное вниманіе. Но, оставляя въ сторонѣ политическія соображенія, можно ли сказать, чтобы сама коренная великорусская народность, народный бытъ центральныхъ губерній, сѣвера и востока европейской Россіи и всей Сибири, были изслѣдованы достаточно? Не слѣдуетъ ли, напротивъ, признать, что эти края и эта народность требовали бы не меньше вниманія? Болѣе широкія политическія соображенія, именно потребности нашего народнаго и общественнаго сознанія, укажутъ не меньшую необходимость изученія самыхъ центровъ, основной территоріи русской народности, и этнографическая экспедиція нужна для виленской, витебской или волынской и подольской губерніи никакъ не болѣе, чѣмъ для московской, новгородской, тульской, воронежской, костромской, архангельской и т. д. Эти мѣстности дали, правда, много разбросаннаго матеріала въ наши сборники народной поэзіи, описанія обычаевъ и т. п.; но никогда онѣ не были предметомъ правильнаго этнографическаго изслѣдованія—ни въ цѣломъ, ни въ какой-либо отдѣльной его отрасли, какъ, однако, многія изъ нихъ были внимательно изслѣдуемы въ отношеніи экономическомъ—сельско-хозяйственномъ,

фабричномъ, по кустарнымъ промысламъ и т. п. Работа чисто этнографическая, конечно, не привлекаетъ статистиковъ, и считается часто какъ будто ненужной или уже сдѣланной,—но спеціалистамъ извѣстно, что она вовсе не сдѣлана...

Намъ кажется, что этнографическое отдѣленіе исполнило бы самую существенную свою задачу, еслибы оцѣнило необходимость такихъ правильныхъ этнографическихъ описаній. Когда больше ста лѣтъ тому назадъ, первые русскіе академическіе путешественники предприняли свои экспедиціи и возъимѣли, какъ знаменитый Лепехинъ, счастливую и разумную мысль записывать изо дня въ день свои странствія со всѣми бытовыми подробностями, какія они встрѣчали въ народной жизни, — сколько любопытнаго собрали они въ своихъ запискахъ, которыя до сихъ поръ доставляютъ цѣнный матеріалъ для этнографа, хотя они вовсе не были спеціалистами этнографіи. Сколько любопытнаго могутъ доставить и теперь подобныя наблюденія въ рукахъ подготовленнаго изслѣдователя, который уже имѣетъ передъ собой поставленные наукою вопросы и предлагаемыя рѣшенія, и который, не мудрствуя лукаво и только внимательно изучая факты, можетъ дать наукѣ драгоцѣннѣйшія указанія... Географическое Общество въ послѣднія десятилѣтія употребило много заботъ на устройство ученыхъ экспедицій въ разныя отдаленныя окраины; но въ научномъ смыслѣ изслѣдованіе внутреннихъ губерній, Волги, сѣвера, Урала, при-Кавказья и т. д. съ этнографической стороны составило бы не менѣе важный трудъ, чѣмъ изслѣдованіе Новой Земли, Камчатки или Алтая, и пора бы этнографическому отдѣленію получить свою долю въ ученыхъ предпріятіяхъ и экспедиціяхъ Географическаго Общества.—Мы говорили выше, въ какомъ отрывочномъ, неорганизованномъ видѣ находится антропологическое и этнографическое изслѣдованіе самого русскаго народа. Пора бы, и для достоинства науки, и для достоинства русскаго общества, сдѣлать что-нибудь цѣльное, научно-полное и правильное для изученія самой господствующей народности...

Очень обыкновеннымъ возраженіемъ является въ подобныхъ случаяхъ ссылка на недостатокъ денежныхъ средствъ. Возраженіе существенное; но находятся же средства на всякія другія экспедиціи; правда, доля ихъ издержекъ оплачивалась иногда оффиціальными вѣдомствами или частными пожертвованіями, но послѣднія, вѣроятно, нашлись бы и въ этомъ случаѣ, еслибы поставлена была широкая, научно организованная задача: она, безъ сомнѣнія, привлекла бы сочувствіе въ общественномъ мнѣніи, и достоинство

предпріятія вызвало бы охоту жертвовать для него матеріальныя пособія. Извѣстно, къ сожалѣнію, что просвѣщенный интересъ подобнаго рода, на который приходится разсчитывать по нищенству ученыхъ учрежденій, не есть частое явленіе въ нашемъ обществѣ, но нельзя сказать, чтобы онъ совсѣмъ отсутствовалъ и, вѣроятно, не отсутствовалъ бы и въ этомъ случаѣ.

Мы не говоримъ здѣсь о степени участія, какое могло бы принять въ этомъ вопросѣ московское Общество естествознанія и антропологіи,—потому только, что не знаемъ его плановъ въ настоящее время и его практическаго положенія; но разумѣется само собою, что его участіе было бы въ высшей степени важно, и еслибы оно раздѣлило съ Географическимъ Обществомъ инціативу этнографическаго изслѣдованія, о которомъ мы говоримъ, это было бы такой же заслугой для науки.

Мы желали предложить эти мысли на обсужденіе спеціалистовъ дѣла. Думаемъ, что оно не иначе представится и имъ; они согласятся, что наше этнографическое собираніе требуетъ иной, болѣе правильной и систематической постановки, отвѣчающей выросшимъ требованіямъ науки. Движеніе „фольклоризма“ (какъ по англійскому folk-lore уже называютъ теперь въ европейской литературѣ стремленіе къ изученію произведеній народно-поэтическаго творчества) сильно распространяется на западѣ, и какъ ни богаты, вообще говоря, наши наличныя собранія, наше этнографическое изученіе далеко не отвѣчаетъ всей обширной массѣ преданія, существующаго въ народѣ и остающагося несобраннымъ, и нашъ научный интересъ къ этому предмету не можетъ уже сравняться съ западнымъ фольклоризмомъ, представляющимъ уже массу отдѣльныхъ сборниковъ, мѣстныхъ коллекцій, множество историко-литературныхъ и этнографическихъ изслѣдованій и нѣсколько спеціальныхъ журналовъ.—Необходимость расширенія нашихъ работъ на этомъ поприщѣ тѣмъ больше, что гораздо обширнѣе и первобытнѣе наши народные запасы преданія; что въ настоящее время для этого преданія несомнѣнно наступаетъ процессъ вымиранія и упадка; и, наконецъ, что въ нашемъ общественно-политическомъ развитіи изученіе народной жизни есть давно сознанная потребность, для которой, однако, мы дѣлаемъ слишкомъ мало,—потребность научная, также какъ практическая и нравственная.

Прибавимъ еще одно замѣчаніе. Мы упоминали выше, что

въ нашей литературѣ, популярной и учебной, въ послѣднее время обнаруживается особенное стремленіе воспользоваться народно-поэтическимъ матеріаломъ, реставрировать его для народнаго чтенія. Въ прошломъ 1884 году въ отдѣленіи этнографіи явилось предположеніе о снаряженіи экспедиціи для собиранія народныхъ пѣсенныхъ мотивовъ—также вымирающихъ,— и дальнѣйшимъ предположеніемъ было изданіе пѣсенъ съ нотами, для разсылки въ народныя школы и для новаго привитія въ народной жизни старой пѣсенной музыки.—Въ прежнее время народная поэзія жила въ народѣ сама собой, и самимъ любителямъ не приходило въ мысль, что надо ее собрать и обратить опять къ народу путемъ школьной или популярной книжки; теперь къ этому прилагаются особыя попеченія. Намъ кажется, что въ этомъ стремленіи, весьма, впрочемъ, естественномъ, скрывается безсознательное предчувствіе упадка народно-поэтической старины, какъ сознательно чувствуетъ этотъ упадокъ этнографическая наука. Съ такимъ же предчувствіемъ связано, безъ сомнѣнія, и распространеніе фольклоризма въ литературахъ романо-германскихъ: его адепты и посторонніе наблюдатели отмѣчаютъ, какъ наши любители, упадокъ народной старины [1]).

Эта реставрація, какъ мы раньше говорили, не возстановитъ въ народѣ его отходящей старины: древнее преданіе, приходя въ книгѣ къ людямъ другихъ мѣстностей,—во многомъ другого прошедшаго, другихъ обычаевъ,—придетъ къ нимъ не какъ органическая черта ихъ міровоззрѣнія, а какъ нѣчто чужое, что̀ для нихъ нуждается въ толкованіи; народная поэзія есть такое глубокое и интимное созданіе народа, что она не можетъ быть ни искусственно привита, ни искусственно поддержана тамъ, гдѣ изсякаютъ его живые творческіе источники. Тѣмъ не менѣе, эта реставрація можетъ получить чрезвычайно благотворное значеніе и для народа, и для общества. Какъ бы ни жаловались у насъ на удаленіе верхняго слоя отъ народа, національный, народный элементъ проникаетъ въ нашу жизнь — съ дѣтской пѣсни и сказки, до важнѣйшихъ вопросовъ нашей общественности, нашей литературы и искусства; въ представленіяхъ людей всѣхъ направленій и партій постоянно слышится стремленіе примкнуть къ народу, въ немъ искать своей опоры, заботиться объ его благѣ, въ его подъемѣ видѣть единственное ручательство за будущее, единственную цѣль

[1]) Ср., напр., Die spanische Folk-Lore Gesellschaft, — въ Magazin für die Lit des In- und Auslandes, 1885, № 5.

государства, единственный честный трудъ общественнаго дѣятеля. Какъ новѣйшее государство проникается, по всему ходу событій, даже противъ воли правителей, демократическимъ интересомъ, необходимостью дѣйствовать къ пользамъ народной массы, такъ литература и искусство въ подобномъ демократическомъ направленіи находятъ новыя могущественныя средства развитія. Въ этихъ стремленіяхъ государства, общества, просвѣщенія лежитъ источникъ тѣхъ горячихъ заботъ объ изученіи народа, которыми въ наше время наполняются всѣ литературы Европы [1]). И дѣйствительно, если идея народа пріобрѣтаетъ такое господствующее, практическое и нравственное положеніе, то долженъ быть изученъ самый народъ во всѣхъ проявленіяхъ его жизни, не только матеріальныхъ, но нравственныхъ и психологическихъ, — и для послѣднихъ народная поэзія и бытъ доставляютъ въ высшей степени важныя и любопытныя данныя, открывая нерѣдко глубоко привлекательныя черты народной природы. Реставрація народной старины, — хотя и не возродитъ въ народѣ отживающей пѣсни, обряда, обычая,—принесетъ свою пользу другимъ путемъ: грамотному народу она дастъ сродное и высоко поэтическое содержаніе, общество введетъ въ пониманіе народно-поэтическаго склада и міровоззрѣнія, съ которымъ народъ провелъ вѣка своей жизни. Но для того, чтобы народная старина была достойнымъ образомъ вводима снова въ жизнь и предлагаема въ дополненіе нравственнаго содержанія народа и общества, нужно, чтобы реставрація имѣла для этой цѣли не случайный матеріалъ плохихъ и скудныхъ сборниковъ, а имѣла въ распоряженіи по возможности весь широкій циклъ народнаго творчества,—чтобы всѣ края послужили своей долей въ этомъ общенародномъ воспоминаніи старины, чтобы они дали свое лучшее, характерное и жизненное... Представимъ себѣ, что выборъ чтенія или художественнаго воспроизведенія дѣлается сорокъ, пятьдесятъ лѣтъ назадъ: съ одной стороны, тогда вовсе не были извѣстны многія замѣчательнѣйшія произведенія народнаго эпоса и, мало того, онъ полагался уже вымершимъ; съ другой, считались доподлинно народными подправки Сахарова и другихъ тогдашнихъ авторитетовъ. Воспроизведеніе вышло бы вопіющее—бѣдное и фальшивое. До сихъ поръ пускаются въ обращеніе, въ популярныхъ и школьныхъ книгахъ, напримѣръ, бы-

[1]) Ср., напр., разсужденія объ европейскомъ фольклоризмѣ у Густава Мейера, Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde. Berlin, 1885, стр. 145 и слѣд.

лины съ миѳологическими и мистическими истолкованіями, которыя наука совершенно отвергаетъ, и слѣдовательно опять народная старина пускается въ оборотъ съ натянутыми, фальшивыми прибавками,—благо, мало вразумительными для народнаго читателя... Однимъ словомъ, и здѣсь, въ вопросѣ о литературномъ воспроизведеніи народно-поэтическаго содержанія, объ его реставраціи въ народномъ обращеніи, мы опять возвращаемся къ вопросу о томъ же преобразованіи этнографическаго собиранія. Въ этомъ равно заинтересованы наука и литература, общественное сознаніе и народная школа и ученье.

А. Пыпинъ.

ЭТЮДЫ

по

ПСИХОЛОГІИ ТВОРЧЕСТВА

I.

Много лѣтъ возвращался я, какъ беллетристъ и критикъ, все къ одной и той же тэмѣ: она для всякаго, кто самъ предается литературному творчеству или пишетъ о немъ, представляетъ собою первенствующій интересъ. Это—вопросъ о томъ: въ чемъ же заключается самый процессъ художественнаго созданія, что такое творческое изобрѣтеніе, беря его въ обширномъ смыслѣ или ограничиваясь одними произведеніями литературы?

Нельзя сказать, чтобы въ нашей критикѣ, въ многочисленныхъ статьяхъ и рецензіяхъ, этотъ коренной, основной вопросъ въ послѣдніе годы самостоятельно разрабатывался. Бесѣдующій съ вами, въ эту минуту, пробовалъ, въ нѣсколько пріемовъ, поставить критику изящнаго творчества на болѣе прочную почву, на почву психологическую. Были и другія попытки; но то, чѣмъ довольствовались и довольствуются до сихъ поръ у насъ, что̀ составляетъ размѣнную монету эстетическихъ воззрѣній, такъ шатко, противорѣчиво, а главное, такъ ненаучно и несамостоятельно, что нельзя не удивляться невысокому уровню критической литературы, занимающейся творческими произведеніями, что̀ я и старался показать года два тому назадъ въ этюдѣ, посвященномъ русской литературной критикѣ.

Но въ настоящую минуту я буду говорить не о критикѣ, не

о рецензіяхъ, не о недостаточности методовъ и общихъ воззрѣній, а о томъ явленіи природы въ лицѣ человѣка, которое называется творчествомъ, о способности къ изобрѣтенію, къ „выдумкѣ", какъ выразился Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, сожалѣя о бѣдности воображенія, творческой фантазіи у молодыхъ русскихъ беллетристовъ.

Какъ же творятъ всѣ тѣ, кто способенъ на творчество, будетъ ли это ученый, беллетристъ, музыкантъ или живописецъ?

Европа, въ лицѣ своихъ мыслителей и двигателей науки, давно занимается этимъ вопросомъ: но только въ послѣднее время она начала дѣйствовать съ болѣе вѣрнымъ методомъ, перенесла центръ тяжести вопроса туда, гдѣ ему давно слѣдовало быть. Философы, занимавшіеся эстетикой, любители искусства, спеціальные критики его — долго не могли освободиться отъ поисковъ какого-то особеннаго элемента или придатка къ внѣшнимъ вещамъ, въ которомъ будто бы сидѣла красота. Весь восемнадцатый вѣкъ и начало нынѣшняго держались этого воззрѣнія, и только нѣкоторые, болѣе проницательные, изслѣдователи эстетическаго чувства, еще съ прошлаго вѣка, стали доказывать, что нѣтъ въ природѣ такихъ вѣчныхъ, незыблемыхъ элементовъ или сочетаній, такой исконной формы, что бы составляло безусловную красоту, находящуюся внѣ насъ, въ предметахъ искусства, будь то: статуя, храмъ или какой бы то ни было предметъ природы или человѣческаго творчества. Только благодаря трудамъ опытныхъ психологовъ, всего болѣе англійской школы, сталъ вырабатываться взглядъ, по которому красоту сводятъ къ извѣстной сторонѣ нашей душевной жизни — къ потребности и способности ощущать прекрасное. Но изслѣдованія въ этомъ направленіи, изысканія того, что составляетъ эстетическое чувство, на что оно обращается и чѣмъ вызывается, въ свою очередь, отклонили мыслителей-психологовъ отъ коренного вопроса: въ чемъ заключается самый процессъ творчества, безъ котораго немыслимы образы, идеи, изобрѣтенія, способные вызывать въ душѣ художественное чувство, „эстетическую эмоцію",—какъ выражаются психологи.

Этимъ стали заниматься въ самое новое время преимущественно англичане и французы; но и тутъ явилось неизбѣжное колебаніе; не сразу была найдена психо-физіологическая основа. Ученіе о способностяхъ души (у тѣхъ нѣмецкихъ и французскихъ мыслителей, которые не освободили себя еще отъ привычки вдаваться въ произвольную классификацію) настроило слишкомъ много клѣточекъ въ человѣческой душѣ, надѣлало раз-

ныхъ подраздѣленій, не позаботившись первоначально о томъ, чтобы наука, изслѣдующая человѣческій мозгъ, подкрѣпила, какъ слѣдуетъ, его дѣленія и клѣточки. Явилось нѣсколько монографій, гдѣ тому или другому свойству человѣческой души придается слишкомъ большое значеніе. Такъ, напр., даже въ одномъ изъ недавнихъ французскихъ сочиненій—воображеніе поставлено первенствующей и основной способностью, безъ которой никакая работа ума немыслима. Но такое выдѣленіе одной способности—произвольно: новая опытная психологія доказала достаточно основательно, что работа нашего ума, нашей души держится за основную способность къ такъ-называемой ассоціаціи идей; совершенно также какъ и въ нервной дѣятельности—источникомъ, прототипомъ, основнымъ рычагомъ служитъ такъ-называемый рефлексъ, отраженное нервное движеніе. Выдѣлять извѣстную способность, придавать ей первенствующее значеніе и силу еще не значитъ добраться до того, что такое творчество, по какимъ законамъ оно происходитъ въ головѣ человѣка, чѣмъ оно отличается отъ остальныхъ видовъ умственной дѣятельности, отъ способности къ логическимъ выводамъ, отъ всего того, что обозначается словомъ: „разсудочность".

Возьмемъ примѣръ. Человѣкъ, учившійся математикѣ, можетъ производить самыя сложныя вычисленія и при этомъ не обладать ни малѣйшей способностью къ какимъ-нибудь новымъ комбинаціямъ; онъ будетъ отличный учитель или профессоръ, но не оставитъ послѣ себя имени человѣка, двигавшаго свою науку. Точно также, въ каждой спеціальности — и въ знаніи, и въ художественномъ мастерствѣ—есть десятки, сотни, тысячи людей, способныхъ ежедневно производить извѣстныя мозговыя операціи: писать статьи и даже стихотворенія, рисовать, чертить, играть на фортепіано—и все-таки во всѣхъ этихъ формахъ мозговой дѣятельности (хотя двѣ трети ихъ принадлежитъ къ области искусства) нѣтъ того, что мы называемъ творчествомъ.

Если быть формально-послѣдовательнымъ, то, принявъ разъ тотъ фактъ, что наша мозговая дѣятельность сводится, въ концѣ концовъ, къ ассоціаціи идей, можно не допускать никакого особеннаго процесса въ мозгу и доказывать, что величайшія произведенія искусства, самыя геніальныя изобрѣтенія ни что иное, какъ продукты той же самой обыкновенной (присущей всѣмъ, и людямъ, и высшимъ животнымъ) ассоціаціи идей. Источникъ, конечно, ассоціація; но вся исторія человѣчества, все то, что человѣкъ прибавилъ къ внѣшней природѣ, чѣмъ онъ поднялся на теперешнюю ступень, прямо говоритъ о чемъ-то иномъ, кромѣ

обыкновенной ассоціаціи идей, о несомнѣнной созидающей способности. И новая опытная психологія допускаетъ, кромѣ простой ассоціаціи идей, еще другую, которую она такъ и называетъ творческой. Самые крупные представители англійской опытной школы, Гербертъ Спенсеръ, Льюисъ, а главное, Бэнъ (занимавшійся этимъ вопросомъ болѣе подробно, чѣмъ другіе), признаютъ эту „творческую ассоціацію“ и подкладываютъ ее подо все то, что можно сказать научнаго о созидающей способности человѣка. Разверните книгу Бэна „Ощущенія и интеллектъ“, и вы найдете въ ней слѣдующую, напр., формулу: „Въ силу ассоціаціи, духъ имѣетъ способность образовывать комбинаціи или агтрегаты, отличные отъ всѣхъ представляющихся ему въ теченіе опыта“. Я беру эту цитату (для того, чтобы русскій читатель могъ скорѣе провѣрить меня) изъ сочиненія профессора Троицкаго „Нѣмецкая психологія въ текущемъ столѣтіи“ (изданіе второе. Москва. 1883 г. Томъ I, стр. 292 и слѣдующія).

Этихъ нѣсколькихъ строкъ достаточно, чтобы обосновать вопросъ не на пескѣ, не на какомъ-нибудь метафизическомъ обобщеніи, а на почвѣ опытнаго научнаго изслѣдованія. Наука, въ этомъ случаѣ, только разъясняетъ то, что каждый сколько-нибудь развитой человѣкъ, даже человѣкъ простой, изъ народа, знаетъ и по своему опыту, и по опыту всѣхъ своихъ предковъ; только крестьянинъ, когда онъ поетъ пѣсню или былину, или разсказываетъ сказку, относится къ нимъ наивно, не знаетъ, что это—продукты той же самой способности, какая произвела на свѣтъ такую драму, какъ „Отелло“, или такое изваяніе, какъ Венера Милосская. Спросите вы его: чѣмъ его пѣсня или миѳическое преданіе отличается отъ статуи или картины, или музыкальной симфоніи, онъ, конечно, вамъ не отвѣтитъ. Развитой человѣкъ скажетъ, даже и безъ научно-психическаго образованія, что и то, и другое, и третье, сводится въ сущности къ одному и тому же, съ тою только разницей, что такіе продукты творчества, какъ, напр., Венера Милосская или Преображеніе Рафаэля, или девятая симфонія Бетховена задуманы, созданы, воспроизведены, додѣланы одной личностью, а миѳъ, сказаніе, легенда, пѣсня или сказка и даже египетская пирамида и средневѣковой готическій соборъ—произведенія коллективнаго творчества, безличнаго или, лучше сказать, общенароднаго, вѣкового.

линскаго тѣ мѣста, гдѣ онъ (обыкновенно въ началѣ годовыхъ обозрѣній или отдѣльныхъ разборовъ) говоритъ о творчествѣ, о геніи и талантѣ. Къ чему сводятся эстетическіе принципы, за которые онъ ратовалъ почти всю свою жизнь, принципы, выработанные не имъ самимъ, а взятые имъ отъ нѣмцевъ, чрезъ посредство своихъ литературныхъ пріятелей, знавшихъ по-нѣмецки лучше его? Въ основѣ этой теоріи лежитъ признаніе, тогда еще сдѣланное a priori, какъ бы на авось, въ силу талантливаго предвидѣнія, что творчество (въ данномъ случаѣ художественное, литературное или по другимъ искусствамъ) непроизвольно, противоположно обыкновенной разсудочной работѣ, будетъ ли то извлеченіе кубическаго корня или составленіе учебника. Только Бѣлинскій и его нѣмецкіе учители не затруднялись перестраивать весь міръ на основаніи своихъ мыслительныхъ категорій. Они говорили, напр. (это—подлинныя слова Бѣлинскаго): „Искусство есть непосредственное созерцаніе мысли или мышленіе въ образахъ“. Такая формула и теперь еще можетъ сойдти за довольно вѣрную; но она находилась у нихъ въ связи съ цѣлой системой мышленія, которая разлеталась уже отъ натиска научной провѣрки, принадлежитъ теперь исторіи философіи, но не имѣетъ для нашего поколѣнія никакой руководящей силы. Возьмите вы двѣнадцатый томъ Бѣлинскаго, статью, оставшуюся послѣ него не напечатанной, подъ заглавіемъ: „Идея искусства“, все то, что онъ говоритъ на страницѣ 388-й и слѣд., вы найдете полнѣйшее подтвержденіе моихъ словъ, т.-е. гегеліанскія разсужденія о бытіи, произвольныя отождествленія идей человѣческихъ со внѣшней природой, и въ томъ числѣ, въ общемъ вѣрные взгляды (хотя и не подтвержденные научно) на то, что составляетъ характерную психическую особенность человѣческаго творчества.

Еслибы гегеліанскіе эстетики (и въ числѣ ихъ Бѣлинскій), вмѣсто того, чтобы разсуждать о „вѣчной“ красотѣ и уноситься на метафизическія выси, хотѣли, даже съ помощью своей діалектики, болѣе самостоятельно развивать теорію непосредственности, непроизвольности творчества, они, конечно, бы продержались съ своими взглядами гораздо дольше и не вызвали бы той сухой, разсудочной реакціи, которая явилась, и на западѣ, и у насъ, противъ такъ называемыхъ „эстетиковъ“ во имя требованій практической жизни, морали и общественныхъ идеаловъ. Но, обозрѣвая пятидесятилѣтній періодъ нашего русскаго самосознанія по вопросу, который насъ теперь занимаетъ, мы должны съ особенной симпатіей отнестись къ той пропагандѣ, какую Бѣлинскій и его единомышленники производили, въ свое время, во имя такъ

называемаго „чистаго“ искусства. Сами того не зная, они были предтечи тѣхъ, кто явился уже съ научными пріемами, кто дошелъ до относительной истины долгимъ путемъ опыта и наблюденія. Гегеліанскіе эстетики выставляли гипотезу, которую, худо ли, хорошо ли, связывали со всѣмъ цѣлымъ своего міровоззрѣнія; но эта гипотеза сама по себѣ представляла собою цѣнный творческій продуктъ. Она вытекла изъ опыта людей, занимавшихся искусствомъ, и тѣхъ, которые изслѣдовали, наблюдали и разбирали его созданія со стороны.

Также точно, и въ опредѣленіяхъ Бѣлинскаго, когда онъ разбиралъ: что такое геній и что такое просто талантъ, мы находимъ взгляды, очень близкіе къ истинѣ, согласные съ тѣмъ, что новые научные изслѣдователи человѣческаго творчества устанавливаютъ на нашихъ глазахъ. И это заслуга не малая. Насколько старые эстетики могли, они старались выйдти изъ общихъ разсужденій, опредѣлять качество работы, распознаться въ томъ, что составляетъ только мастерство, выучку, ловкость и что является органическимъ даромъ, на чемъ лежитъ клеймо высокаго дарованія, печать геніальности.

Послѣ Бѣлинскаго у насъ, въ лагерѣ эстетиковъ, самостоятельная работа (за исключеніемъ отчасти А. Григорьева) изсякла; общія разсужденія вертѣлись около тѣхъ словъ и формулъ, которыя онъ пустилъ въ ходъ, и своей произвольностью, туманностью, безсодержательностью вызывали все большіе и большіе протесты въ умахъ людей, которымъ хотѣлось чего-нибудь поточнѣе, кто явился въ литературу и въ жизнь съ другими требованіями, навѣянными направленіемъ, враждебнымъ культу „чистаго искусства.

III.

Къ началу шестидесятыхъ годовъ авторъ извѣстной диссертаціи объ „Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“ выставилъ знамя крайняго реализма во имя превосходства жизни надъ ея воспроизведеніемъ, какъ бы оно ни было талантливо и преисполнено мастерства. Эта реакція была вполнѣ понятна; она находилась въ прямой связи съ цѣлой совокупностью новыхъ взглядовъ, съ тѣмъ, что тогда тотъ же авторъ назвалъ „антропологическимъ принципомъ“ въ философіи, морали, политикѣ, экономическихъ воззрѣніяхъ. Требованіе правды, полнаго соотвѣтствія тому, что есть, въ произведеніяхъ искусства, было само по себѣ трезвое и здоровое требованіе; но авторъ диссер-

таціи и его послѣдователи, въ русской критикѣ, выступая противъ нѣмецкихъ эстетиковъ, гегеліанцевъ и эклектиковъ, и сами того не замѣчая, выставили въ свою очередь не менѣе метафизическую точку зрѣнія: они поставили вопросъ, лишенный научной почвы,—вопросъ, который всегда будетъ сбивать съ толку художниковъ и цѣнителей искусства. Для нихъ важнѣе всего было доказать что выше—жизнь или ея воспроизведеніе, но они смѣшали двѣ области, два отправленія человѣческаго организма, увлекаясь ученіемъ о пользѣ, своимъ утилитарнымъ взглядомъ, который тогда былъ новъ, и въ значительной степени освѣжалъ застоявшіеся взгляды на общественную жизнь и мораль.

Чтобы понять: до какой степени такая постановка вопроса была далека отъ истины, надо только вспомнить, что искусство, немыслимое безъ человѣческой способности къ творчеству, есть совершенно самобытное отправленіе нашего мозгового организма и что вся исторія исскуства показываетъ, какъ человѣкъ, даже тогда, когда онъ достигалъ изящнаго творчества, изобрѣтая полезныя вещи, все-таки же удовлетворялъ совершенно особенной, самобытной потребности, удовлетворялъ чувству прекраснаго. Настоящее яблоко, конечно вкуснѣе, и питательнѣе нарисованнаго; но въ произведеніяхъ искусства пищевареніе и органъ вкуса, какъ его орудіе, не играютъ и не играли никогда самобытной роли. Научные психологи давно уже опредѣляютъ красоту, художественное обаяніе картинъ природы или творческаго произведенія тѣмъ, что они обращаются только къ двумъ самымъ духовнымъ, самымъ возвышеннымъ, интеллигентнымъ чувствамъ человѣка: зрѣнію и слуху, и вдобавокъ не должны служить достояніемъ одного какого-нибудь человѣка, удовлетворять его чисто чувственнымъ позывамъ и нуждамъ. Такъ смотритъ на этотъ вопросъ и психологъ Бэнъ, до сихъ поръ самый высшій авторитетъ въ вопросахъ, занимающихъ насъ въ настоящую минуту. Авторъ диссертаціи, упомянутой мною, и его послѣдователи потому и не выработали себѣ цѣльнаго психически-вѣрнаго взгляда на человѣческое творчество, что для нихъ на первомъ планѣ стояла борьба со старыми взглядами. Имъ нужно было, во что бы то ни стало, подкопаться подъ отвлеченности и произвольныя толкованія застарѣлыхъ эстетиковъ, въ чемъ они въ значительной степени и успѣли. Но тѣ теоретики, противъ кого они выступали, все-таки же по своему были ближе къ правдѣ въ двухъ коренныхъ пунктахъ своей теоріи: а) въ признаніи полной самобытности искусства, при всей его связи съ внѣшней природой и со всѣмъ цѣлымъ человѣческихъ впечатлѣній; и в) во взглядѣ на творчество, какъ на особую душевную способность,

какъ на процессъ, происходящій въ нашей душѣ самобытно, непроизвольно, не подчиняющійся однимъ усиліямъ воли или сухой, логической работѣ ума. Рѣзкая критика нѣмецкихъ эстетическихъ теорій пришлась по вкусу нашимъ рецензентамъ и публикѣ и сдѣлала то, что въ теченіе болѣе десяти лѣтъ художественная критика совсѣмъ почти исчезла, была лишена кредита, осмѣяна, объявлена безплоднымъ старьемъ. Поэтому и самый существенный вопросъ въ дѣлѣ искусства, вопросъ о томъ: какимъ законамъ подчиняется творческая способность—былъ совершенно заброшенъ, и только уже во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ стали къ нему, полегоньку, возвращаться. Къ этому же времени произошла новая реакція и въ настроеніи читающей публики, отразившаяся и на критической литературѣ. Въ свою очередь, сдѣлалось смѣшно, отзывалось уже мальчишествомъ отрицать искусство, смѣяться надъ эстетической красотой, ставить высочайшія созданія генія ниже самыхъ обыденныхъ предметовъ. Всего характернѣе въ этомъ обратномъ процессѣ было возстановленіе симпатій къ нашему великому національному поэту — къ Пушкину. Кто не помнитъ, въ разгарѣ художественнаго иконоборчества (у Писарева), въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ, выходокъ, направленныхъ на Пушкина, систематическаго желанія принизить все то, что онъ представляетъ собою въ исторіи русскаго творчества. Поворотъ произошелъ самъ собою, безъ всякой даже новой пропаганды со стороны какихъ-нибудь теоретиковъ искусства или пламенныхъ защитниковъ поэта.

Почти въ то же время, во Франціи критика, защищая все больше и больше права здороваго реализма, требуя въ произведеніяхъ искусства, въ особенности въ литературномъ творчествѣ, соотвѣтствія съ природой, воздерживалась отъ крайности утилитарной проповѣди въ лицѣ двухъ критиковъ: Сентъ-Бёва и Тэна. Изъ нихъ Тэнъ болѣе отвѣчалъ на требованія новыхъ формулъ. Въ его лекціяхъ, статьяхъ и книгахъ, романисты и живописцы, скульпторы и стихотворцы, художники всякихъ спеціальностей находили уже новую научную подкладку. Тэнъ долгіе годы самъ посвятилъ изученію психологіи. Онъ—авторъ извѣстнаго сочиненія „De l'intelligence“, гдѣ всѣ отправленія человѣческаго мозга изслѣдованы уже съ полной преданностью точному знанію, безъ прежнихъ спиритуалистическихъ замашекъ, въ которыхъ пребывала и до сихъ поръ еще пребываетъ оффиціальная французская, университетская философія. Тэнъ, изучивъ, какъ художественный критикъ, литературу своей страны, сдѣлавшись спеціалистомъ по знакомству съ англійской литературой, подвергнувъ анализу всѣ

эпохи пластическаго искусства въ Греціи и Римѣ, въ средніе вѣка, въ эпоху Возрожденія и въ новое время, во всѣхъ школахъ и направленіяхъ изящнаго творчества, пришелъ къ тому выводу, что искусство тогда только и достойно своего имени, когда оно разовьется въ форму жизни, независимую отъ другихъ ея проявленій. Иными словами, онъ признаетъ полную самобытность творчества и не считаетъ вовсе идеаломъ рабскаго подчиненія искусства дѣйствительности. Жизнь съ ея практическими потребностями не есть искусство, и наоборотъ. Но тотъ же Тэнъ выставилъ формулу для опредѣленія достоинствъ художественныхъ созданій, гдѣ соотвѣтствіе между живой дѣйствительностью и творчествомъ поставлено въ неразрывную связь. Произведеніе искусства, по формулѣ Тэна, должно непремѣнно вбирать въ себя и проявлять, въ самой яркой формѣ, характерные, типическіе признаки извѣстной эпохи и данной народности; и чѣмъ этихъ признаковъ больше, чѣмъ они крупнѣе, тѣмъ произведеніе выше. Этой формулѣ соотвѣтствуетъ вся исторія искусства. Иначе и быть не можетъ: человѣческая душа, способная къ творческой работѣ, должна получать толчки, импульсы отъ окружающей среды; и въ этой средѣ на нее дѣйствуютъ самыя яркія и типическія проявленія жизни, а она, въ свою очередь, перерабатываетъ ихъ въ нѣчто самобытное, удовлетворяющее уже не требованіямъ практической пользы, а особому состоянію нашей души, особому волненію, какое мы называемъ чувствомъ прекраснаго.

IV.

Эстетика Тэна до сихъ поръ не потеряла своего вліянія во Франціи и она даетъ даже среднюю ноту, объединяющую собою разные оттѣнки эстетическихъ взглядовъ. Но и во Франціи явилось направленіе, совершенно параллельное съ нашимъ утилитарнымъ, съ тою только разницею, что во Франціи теоретики утилитарнаго искусства все-таки же смотрѣли на творчество человѣка, какъ на высокую и самобытную способность.

Самымъ яркимъ выраженіемъ французскаго утилитаризма въ искусствѣ является посмертная книга Прудона, переведенная по-русски, какъ и большинство книгъ Тэна: „Du principe de l'art et de sa destination sociale“. Она вызвана была шумомъ по поводу реалистическихъ картинъ живописца Курбэ, его пріятеля. Курбэ явился главою школы, которая въ литературѣ называется теперь „натурализмомъ“, а въ живописи „импрессіо-

низмомъ". Прудонъ сдѣлался защитникомъ картинъ Курбэ, его пониманія задачъ современной живописи. Курбэ проповѣдывалъ то, что мы находимъ и у иныхъ изъ нашихъ художественныхъ критиковъ—полнѣйшее отрицаніе всякихъ академическихъ правилъ, идеаловъ, всякаго классицизма, преклоненія предъ школьнымъ авторитетомъ; требованіе изображать природу и людей такъ, какъ они есть и, кромѣ того, вкладывать въ свои жанровыя картины критическій взглядъ на современность. Поэтому Прудонъ и называетъ это новое ультра-реальное искусство искусствомъ „критическимъ". Но онъ былъ не такъ нетерпимъ, какъ самъ Курбэ, въ своихъ взглядахъ на исторію искусства; онъ не затрудняется заявлять, что каждое произведеніе искусства должно быть идеально въ томъ смыслѣ, что оно создаетъ въ силу извѣстной идеи и только ею и держится. Прудонъ вовсе не отрицалъ никакихъ великихъ произведеній прежнихъ эпохъ, а нападалъ только на подражательность и лживость моднаго искусства, которое работаетъ во всѣхъ вкусахъ и продолжаетъ безсмысленно повторять такіе сюжеты, которые для современниковъ не имѣютъ уже никакого характернаго значенія. И Прудонъ могъ бы подписаться подъ формулой Тэна, что каждое истинно-творческое произведеніе должно непремѣнно быть проникнуто духомъ своего времени и своей національности. Но Прудонъ, по свойству своего ума, не могъ иначе смотрѣть на искусство, какъ съ точки зрѣнія высшей нравственной и общественной пользы; другими словами, онъ ставилъ его въ подчиненное положеніе предъ нравственностью и справедливостью. Онъ слишкомъ наклоненъ былъ къ опредѣленію принциповъ и цѣлей, и въ этомъ отдавалъ дань своему метафизическому образованію. Вотъ его формула: „Искусство есть идеалистическое воспроизведеніе природы и насъ самихъ, въ виду нравственнаго и физическаго усовершенствованія нашей породы". Еслибы наши утилитаристы конца пятидесятыхъ годовъ съ ихъ учителемъ пошли дальше въ разработкѣ своей теоріи, они, конечно, остановились бы на такой же формулѣ, какъ и Прудонъ, почему его книга и пришлась (появившись въ русскомъ переводѣ) такъ по вкусу всѣмъ тѣмъ, кто держался утилитарныхъ взглядовъ. Книга Прудона (мы рекомендуемъ перелистовать ее лишній разъ) чрезвычайно характерна тѣмъ, что въ ней мы видимъ, какъ могучій умъ, способный на очень сильный анализъ и на яркую синтетическую работу, можетъ довольствоваться только тѣмъ, что гнетъ все подъ свое общественно-нравственное исповѣданіе вѣры. Во многихъ мѣстахъ книги, Прудонъ призываетъ науку, прямо говоритъ, что искусство должно стремиться къ пол-

ному соотвѣтствію съ точнымъ знаніемъ; на то же упираетъ и Тэнъ. Возвѣщая все это, Прудонъ ни разу, однакожъ, въ цѣлой монографіи, имѣющей не менѣе пятнадцати печатныхъ листовъ, не останавливается подробнѣе на томъ: что же такое въ сущности творческая способность души человѣческой, хотя у него и есть глава, гдѣ говорится объ этой способности. Онъ ее опредѣляетъ чисто-литературно; онъ ее смѣшиваетъ съ принципомъ искусства, потому что для него важнѣе всего, во всемъ и всегда, былъ принципъ, находящійся въ соотвѣтствіи съ идеей справедливости и долга. Цѣль онъ никогда не можетъ ни въ чемъ забыть; отъ нея онъ идетъ и къ ней возвращается, слѣдовательно, страдаетъ неисправимымъ утилитаризмомъ. А такой методъ, такая отправная точка поражаютъ въ корнѣ всякое истинно-научное изслѣдованіе. Ученый наблюдатель, въ данномъ случаѣ психологъ, стремится къ одному: узнать по возможности точно, что́ такое творческій образъ, чѣмъ онъ отличается отъ продукта простой ассоціаціи идей, когда и при какихъ условіяхъ онъ можетъ зародиться; въ состояніи ли мы его вызвать по нашему произволу или нѣтъ—вотъ что для него важно. А затѣмъ: чему можетъ служить произведеніе искусства, какъ результатъ такого рода процесса—это дѣло совсѣмъ другой области; тутъ на сцену явятся иные вопросы: морали, наслажденія, чувственнаго сладострастія или религіознаго мистицизма. Въ Прудонѣ такого чисто-научнаго интереса не было или, если онъ и былъ, то заслонялся постоянно его заботой о томъ, чтобы подвести всѣ потребности человѣка, всѣ его способности и свойства къ идеѣ справедливости, общественной и личной правды. Это весьма знаменательно для Прудона. Не будь такой складки въ его умѣ, онъ въ состояніи былъ бы подвергнуть самому точному анализу суть творческаго процесса; и мы встрѣчаемъ даже въ той же самой главѣ объ эстетической способности человѣка слѣдующее мѣсто, прямо показывающее, что авторъ былъ близокъ къ психологической правдѣ, насколько она разоблачается теперь въ опытной школѣ психологіи.

„Я нахожу,—говоритъ онъ,—въ этой способности къ искусству, въ этой постоянной заботѣ человѣка поднять свою личность и все, что́ къ ней относится, съ помощью украшеній, то заимствованныхъ у природы, то сдѣланныхъ собственными руками,—три вещи: первая есть нѣкоторое чувство, вибрація или отзвукъ души при созерцаніи извѣстныхъ вещей или, лучше сказать, извѣстныхъ видимостей, считаемыхъ прекрасными или ужасающими, возвышенными или отвратительными. Вотъ это-то и обозначаютъ словомъ эстетика, отъ греческаго эстезисъ, что́ значитъ чувстви-

тельность или чувство, способность чувствовать (красоту или безобразіе, возвышенное или низкое, удачу или несчастіе). Схватывать мысль, чувство въ извѣстной формѣ, быть радостнымъ или печальнымъ безъ дѣйствительной причины, при одномъ видѣ образа—вотъ что составляетъ въ насъ принципъ или первоначальную причину искусства. Въ этомъ заключается то, что я назову силой изобрѣтенія въ художникѣ. Его воспроизведеніе, талантъ будетъ заключаться въ томъ, чтобы передать душѣ другихъ чувства, испытываемыя имъ самимъ".

Какъ видимъ, все это довольно точно выражено и весьма близко къ правдѣ, но чтобы это доказать, надо было автору совершенно иначе построить свою книгу. Онъ бы это и сдѣлалъ, будь онъ по характеру своего ума строго-научный изслѣдователь, а не публицистъ, не поборникъ извѣстныхъ общественныхъ и нравственныхъ принциповъ.

Къ семидесятымъ годамъ одна форма изящнаго творчества—романъ—сдѣлалась выразительницею во Франціи новыхъ пріемовъ мастерства и тѣхъ взглядовъ на искусство, какіе мы видѣли уже у Курбэ въ области живописи, гдѣ это направленіе развивалось и приняло позднѣе кличку „импрессіонизма". Произведенія Флобера, братьевъ Гонкуръ, а изъ прежнихъ романистовъ Стэндаля и Бальзака, дали опору главному бойцу за новое искусство, Эмилю Зола, который одновременно продолжалъ завоевывать себѣ видное мѣсто среди романистовъ и дѣйствовалъ, вплоть до восьмидесятыхъ годовъ, въ качествѣ критика. Его статьи знакомы русской публикѣ едва ли не больше, чѣмъ французской. Почти все, что имъ написано самаго рѣшительнаго, какъ защитникомъ такъ называемаго натурализма, появилось первоначально на русскомъ языкѣ. Взгляды Зола достаточно извѣстны, и мнѣ нѣтъ надобности повторять ихъ здѣсь. Онъ стоялъ и стоитъ за то, съ чѣмъ русская литература выступила еще въ сороковыхъ годахъ: за реальное, т.-е. правдивое, точное воспроизведеніе жизни. Ему лично принадлежитъ несовсѣмъ удачное сравненіе работы романиста съ производствомъ опытовъ ученаго въ лабораторіи или физіологическомъ кабинетѣ. Я не буду распространяться и объ этомъ. Мнѣ хотѣлось бы только показать и на примѣрѣ Зола (какъ мы это видѣли сейчасъ, говоря о книгѣ Прудона), до какой степени, въ вопросахъ о человѣческомъ творчествѣ, самые сильные умы уходятъ въ сторону, способны смѣшивать то, что должно быть различено и, увлекаясь борьбой съ авторитетами, со старыми идеями и старыми пріемами, упускать изъ виду коренные вопросы. Къ чему сводится въ сущности критическій

походъ Зола, который онъ съ такимъ талантомъ, энергіей и находчивостью велъ въ теченіе болѣе десяти лѣтъ? Онъ сводится къ тому, чтобы установить трезвое отношеніе писателя къ дѣйствительной жизни. Во Франціи нужно было для этого потратить много полемическаго пороха, и въ этомъ смыслѣ, Зола былъ правъ въ подробностяхъ своей кампаніи. Но, ратуя за реализмъ или натурализмъ (назовите, какъ хотите), за правду изображенія, за необходимость для писателя—глубоко изучать быть, пользоваться человѣческими документами, собирать матеріалъ такъ, какъ составляются самые обстоятельные протоколы, онъ нигдѣ не останавливается на томъ: что такое творческій процессъ, къ какимъ психическимъ законамъ онъ сводится. Для Зола какъ будто все дѣло состоитъ лишь въ томъ: какъ писатель долженъ готовиться къ своей работѣ, что онъ долженъ выполнять и отъ чего воздерживаться. Но возьмемъ, въ извѣстной книжкѣ его ученика и пріятеля Поля Алекси, всѣ тѣ мѣста, гдѣ разсказывается, какъ Зола работаетъ; приномню кстати и все то, что бесѣдующій съ вами сообщалъ публикѣ на ту же тему изъ личныхъ разговоровъ съ Зола или на основаніи его автобіографическихъ писемъ. Мы знаемъ, какъ онъ дѣйствуетъ, и во время собиранія матеріала, и во время самой работы. Его система въ общемъ весьма разумна. Нельзя ничего создать крупнаго, яркаго, характернаго для своей эпохи и національности, если предварительно не накопить матеріалъ. Нельзя писать безъ плана, безъ тонкаго знакомства съ своими лицами, ихъ внутренней жизнью, ихъ общественными отношеніями, если желаешь представить себѣ все во всѣхъ подробностяхъ; надо изучить и обстановку дѣйствія, куда входятъ внутренности домовъ, улицы, всякаго рода общественныя мѣста, и всевозможныя картины природы. Но каждый, интересующійся, съ научной точки зрѣнія, человѣческимъ творчествомъ, имѣетъ право сказать: да вѣдь вся эта предварительная работа точно также нужна и каждому спеціалисту, будь онъ кабинетный ученый или техникъ. А гдѣ же взглядъ Зола на самый процессъ творчества? Онъ его нигдѣ не формулировалъ, подкрѣпивъ его изложеніемъ научныхъ данныхъ, цѣлымъ рядомъ опытовъ, наблюденій, фактовъ, воспринятыхъ самимъ собою или вычитанныхъ. Правила, какихъ онъ держится самъ, совѣты, какіе онъ подаетъ, говорятъ скорѣе за то, что Зола и его единомышленники не желаютъ какъ бы признавать самаго существеннаго отличія творческой способности — ея непроизвольности. Почти все, что Зола говоритъ о томъ, какъ слѣдуетъ писать, (относится, въ тѣсномъ смыслѣ, къ мастерству, т.-е.

къ болѣе разсудочной сторонѣ творческой работы, къ ея второй половинѣ, гдѣ созидающій геній можетъ быть замѣненъ простымъ талантомъ или умѣньемъ, навыкомъ. Главная истинно-творческая работа, т.-е. замыселъ произведенія, распредѣленіе его частей, общій колоритъ, то, чѣмъ одинъ романъ отличается отъ другого— все это въ его педагогикѣ писательства какъ бы само собою разумѣется. Объ этой внутренней, сокровенной работѣ онъ очень мало говорилъ въ своихъ руководящихъ статьяхъ, да и не распространялся и въ бесѣдахъ съ тѣми, кто его допрашивалъ на эту тему. А между тѣмъ, творческая-то способность и сидитъ въ такой внутренней работѣ. Безъ нея весь матеріалъ, старательно собранный, знаніе жизни, ловкость и мастерство остаются безпомощными. Зола самъ не разъ говорилъ, въ томъ числѣ и мнѣ, что онъ не богатъ воображеніемъ. Въ статьѣ объ одномъ изъ его послѣднихъ романовъ я не соглашался съ этимъ опредѣленіемъ самого автора. Если подъ воображеніемъ понимать только способность къ фантастическимъ комбинаціямъ, то у Зола ея не видно. Да онъ и не можетъ предаваться полетамъ фантазіи такъ, какъ дѣлали это старые романисты; но воображенія творческаго, сказывающагося въ подробностяхъ развитія характеровъ, въ разныхъ житейскихъ сближеніяхъ и сопоставленіяхъ, въ колоритѣ сценъ и положеній—у него замѣчательно много. Во всемъ этомъ и чувствуется его творческая сила. Насколько она дѣйствуетъ у него быстро и самобытно, я знаю только изъ одного разговора съ Зола, когда онъ передавалъ, до какой степени, при обдумываніи сюжета, онъ иногда бьется. Нить вдругъ остановится и надо ждать день и другой, пока можно ее опять тянуть дальше.

Казалось бы, по собственному опыту, такой реалистъ-теоретикъ долженъ былъ почувствовать необходимость, въ своихъ руководящихъ статьяхъ, поставить на психическую почву вопросъ о творчествѣ. Но ни онъ, ни его послѣдователи, никто изъ молодыхъ критиковъ, группирующихся въ новомъ журнальцѣ „Revue indépendante“ [1]), не спускаются на эту почву, а продолжаютъ вести борьбу за форму и содержаніе романа, за пріемы чисто-литературнаго характера, за мастерство; они сами, какъ романисты, стихотворцы, критики, по моему мнѣнію, вдаются все больше и больше въ проповѣдь виртуозности, ратуютъ больше за разсудочную, чѣмъ за творческую работу.

Къ этому мы еще вернемся, а теперь довольно сдѣланнаго

---

[1]) См. статью г. Коропчевскаго въ „Изящной литературѣ“, декабрь, 1884 г. „Натурализмъ и его современное значеніе“.

нами обзора теоретическихъ воззрѣній на самую близкую для насъ форму искусства, на область изящной литературы, чтобы показать, до какой степени и сами художники, и теоретики искусства, и бойцы за новые принципы, не замѣчая того, ходили только вокругъ да около, отнимали у себя главное орудіе во всякомъ стремленіи къ истинѣ: изслѣдованіе законовъ природы, причемъ самые послѣдніе поборники новаго искусства дѣлали это, какъ бы предчувствуя все-таки, что идеалисты эстетики, хотя тоже далекіе отъ точной науки, въ самомъ основаніи дѣла держатся гипотезъ и воззрѣній, болѣе допустимыхъ, чѣмъ всякая другая теорія.

V.

Общія эстетическія теоріи, какъ читатель видитъ, только косвенно задѣваютъ вопросъ о психологіи творческаго процесса. Гораздо важнѣе тѣ труды, авторы которыхъ ставили себѣ цѣлью изслѣдованіе того, что́ называется талантомъ или геніемъ, разысканіе наслѣдственной передачи извѣстныхъ способностей, біографіи ученыхъ, поэтовъ, живописцевъ, музыкантовъ, даже государственныхъ людей и полководцевъ.

До второй половины нашего вѣка наслѣдственность, т.-е. передача разныхъ чисто физическихъ и душевныхъ свойствъ и особенностей отъ предковъ потомкамъ, не была еще подвергнута серьезнымъ научнымъ изысканіямъ; работы англійскихъ и французскихъ ученыхъ сдѣлали то, что теперь наслѣдственность признана настоящимъ психо-физіологическимъ закономъ. Книги французовъ Люка и Рибо всего болѣе помогли популяризаціи вопроса о наслѣдственности. Сочиненіе Рибо явилось самой новой переработкой всего матеріала, накопленнаго вѣками. Въ немъ авторъ приходитъ къ признанію наслѣдственности, какъ основного закона, такого же неизбѣжнаго и вездѣсущаго, какъ и другіе органическіе процессы. Законъ этотъ можетъ подлежать иногда исключеніямъ, но и они подтверждаютъ его. Передача физическаго склада, нравственныхъ и умственныхъ свойствъ, какъ теперь положительно дознано, происходитъ не только отъ отцовъ къ дѣтямъ, но и отъ дѣдовъ къ внукамъ, иногда отъ прадѣдовъ, и по прямой линіи, и по боковымъ. Эту передачу называютъ атавизмомъ. Слово „атавизмъ“ и соединенное съ нимъ понятіе вошли уже въ обыкновенный разговоръ образованныхъ людей; никто теперь не станетъ возставать противъ на-

слѣдственности, и прежнія дилеттантскія разсужденія о геніальности и талантахъ, объ ихъ безпричинномъ и случайномъ появленіи кажутся уже смѣшными съ тѣхъ поръ, какъ достаточно изучена наслѣдственная передача разнаго рода физическихъ и душевныхъ свойствъ.

Выводъ изъ закона наслѣдственности для нашего вопроса тотъ, что всякая талантливость, всякая способность на творчество, вплоть до самой высшей геніальности, предполагаетъ непремѣнно передачу мозговому организму извѣстныхъ предрасположеній, которыя, по всей вѣроятности, заключаются въ тѣхъ или иныхъ комбинаціяхъ мозгового вещества. Каждый душевный организмъ, способный на творчество, непремѣнно унаслѣдовалъ отъ своихъ предковъ цѣлый рядъ такихъ мозговыхъ состояній, которыя подготовили въ немъ творческую работу. Такъ, зря, само собою не родится нигдѣ и никогда человѣческое существо, способное на то, что мы называемъ творческимъ даромъ. Даже и для мастерства, т.-е. для выполненія идеи или образа, явившихся въ мозгу, нужно большее или меньшее предрасположеніе, въ которомъ наслѣдственность играетъ первенствующую роль. Признаніе наслѣдственности чрезвычайно важно для насъ, потому что,—разъ вы держитесь за этотъ законъ,—вы должны признать существованіе въ людяхъ даровитыхъ такого мозгового процесса, который вовсе не зависитъ отъ ихъ личной доброй воли, отъ ихъ усилій, отъ чисто логической головной работы. Геніальный ребенокъ, какой-нибудь музыкантъ, шести-семи лѣтъ отъ роду (мы это знаемъ изъ біографіи Моцарта) уже способенъ создавать цѣльныя художественныя произведенія: онъ наполненъ звуками и музыкальными идеями, онъ приходитъ безпрестанно въ такое настроеніе, при которомъ имъ владѣетъ сила, какъ бы посторонняя ему: она диктуетъ этому ребенку мелодіи, она отыскиваетъ гармоніи, она позволяетъ ему импровизировать цѣлыми часами. Тотъ же Моцартъ и другіе творцы-художники разсказывали про себя или записывали въ своихъ мемуарахъ, или сообщали въ письмахъ друзьямъ, что они совершенно невмѣняемы во время процесса ихъ творчества что они рѣшительно не могутъ сознательно объяснить, какъ это въ нихъ происходитъ, точно также они не могутъ предвидѣть, что имъ придетъ та или иная музыкальная фраза, тотъ или иной пластическій образъ.

Словомъ, это есть д а р ъ, т.-е. нѣчто не пріобрѣтенное однимъ личнымъ трудомъ, одними сознательными усиліями, а развившееся въ извѣстномъ рядѣ индивидовъ и достигшее въ какомъ-нибудь изъ нихъ полнаго разцвѣта.

Труды по наслѣдственности выдвинули всѣ тѣ матеріалы, какіе были собираемы въ новѣйшее время европейскими писателями, занимавшимися біографіями замѣчательныхъ людей не просто изъ общей любознательности, а съ извѣстной системой. До сихъ поръ однимъ изъ самыхъ почтенныхъ трудовъ считается сочиненіе Декандоля, занявшагося сводомъ жизнеописаній ученыхъ. Въ такого рода монографіяхъ, кромѣ подтвержденія закона наслѣдственности, мы находимъ и весьма цѣнныя подробности, показывающія, въ какихъ условіяхъ развивается та или иная творческая способность, что помогаетъ ей и что подавляетъ ее, въ какой обстановкѣ тотъ или иной творческій (въ данномъ случаѣ научный) умъ могъ работать съ самыми лучшими результатами, какія человѣкъ создавалъ себѣ привычки, подчиняясь инстинкту, заставляющему отыскивать и находить все то, что способствуетъ творческому труду.

Вѣроятно, не нынче—завтра, появятся такія же монографіи, занимающіяся исключительно людьми, посвятившими себя литературному, поэтическому творчеству. Но такого рода сборники біографій до тѣхъ поръ не будутъ давать болѣе серьезнаго научнаго матеріала, пока не выработается программа, въ которой бы установлены были всѣ подробности, касающіяся мозговой работы писателей крупныхъ дарованій.

Составленіе такой программы интересуетъ меня давно; нѣсколько разъ проектировалъ я ее и не разъ чувствовалъ всѣ трудности такой, повидимому, весьма исполнимой, задачи. Въ этомъ дѣлѣ надо, по необходимости, прибѣгать всего больше, если не исключительно, къ такъ называемому самонаблюденію, будете ли вы руководиться тѣмъ, что сами испытали и сознали, или же станете обращаться къ своимъ собратамъ по литературѣ. Кромѣ того, опытная психологія идетъ впередъ и безпрестанно добываетъ новые факты, знакомитъ насъ даже съ такими навыками и способностями психическаго организма, какія, не дальше какъ тридцать-сорокъ лѣтъ тому назадъ, а иногда и меньше, были совершенно неизвѣстны или, по крайней мѣрѣ, никѣмъ не заявляемы. Возьмемъ хоть одну изъ такихъ способностей, развитыхъ въ послѣднее десятилѣтіе. Два-три года тому назадъ въ „Новомъ Обозрѣніи“ появился переводъ статьи извѣстнаго англійскаго психолога Фрэнсиса Гальтона объ „Умственныхъ картинахъ“ (Mental imageries). Имя Фрэнсиса Гальтона у насъ извѣстно, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, кто интересуется научными трудами по психо-физіологіи. Этотъ англійскій ученый занялся, между прочимъ, свойствомъ, которое, конечно, давно уже прирожденно

человѣку, но стало развиваться систематически только въ новѣйшее время. Самые обширные опыты были производимы въ парижской рисовальной школѣ. Директоръ ея (лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ) собралъ матеріалы и написалъ объ этомъ цѣлую монографію. Онъ, имѣя дѣло со множествомъ молодыхъ людей, занимавшихся рисованіемъ, подмѣтилъ въ нѣкоторыхъ свойство, заключающееся въ томъ, что извѣстный образъ — фигура, рисунокъ, ландшафтъ — такъ сильно внѣдряется въ память, что можетъ быть вызываемо въ головѣ совершенно такъ, какъ у болѣзненныхъ людей выступаютъ, внѣ ихъ, настоящія видѣнія, т.-е. галлюцинаціи. Но у рисовальщиковъ это не галлюцинаціи; они ихъ не принимаютъ за дѣйствительные предметы, а могутъ только вызывать у себя въ мозгу (въ особенности съ закрытыми глазами) съ необыкновенною точностью очертаній, такъ что если положить на столъ листъ бумаги, то рисовальщикъ можетъ карандашемъ обвести фигуру такъ, какъ бы онъ это сдѣлалъ въ камеръ-обскурѣ, съ которой всего вѣрнѣе и можно сравнить такую операцію.

Обслѣдованіе этой способности — дѣло совершенно новое. Самая способность, если ею будутъ заниматься правильно, съ извѣстными педагогическими пріемами, сдѣлается, конечно, достояніемъ всѣхъ тѣхъ, кто имѣетъ художественную воспріимчивость. Не одни рисовальщики, но и скульпторы, художники, пишущіе масляными красками, а, главное, поэты, романисты, драматурги, въ состояніи будутъ со временемъ вызывать въ себѣ образы съ еще большей яркостью и точностью чѣмъ то, что они воспроизводятъ теперь въ своемъ мозгу. Но эта же способность на умственныя картины (засвидѣтельствованная множествомъ опытовъ и введенная въ науку такимъ авторитетнымъ изслѣдователемъ, какъ Гальтонъ) несомнѣнно была, и до сихъ поръ, достояніемъ всѣхъ истинно-артистическихъ натуръ. Она составляла принадлежность того свойства, какое мы называемъ воспроизводительнымъ. И въ обыкновенной жизни про человѣка, способнаго очень ярко и точно представить себѣ лицо, ландшафтъ, подробности обстановки, говорятъ: какое у него воображеніе! Про высоко даровитыхъ романистовъ, какъ, напр., Бальзакъ или Флоберъ, мы знаемъ, что они жили съ своими дѣйствующими лицами, какъ съ настоящими людьми, и не только представляли себѣ ихъ наружность, голосъ, манеры, ихъ комнаты, образъ жизни, но и переживали воображеніемъ страсти, волненія, нравственные удары, вплоть до физическихъ страданій. Извѣстна та подробность о Флоберѣ, какъ онъ, когда дописывалъ свой романъ „Г-жа Бовари“, чувствовалъ даже припадки тошноты, описывая отравленіе своей героини мышьякомъ.

Душевная способность, введенная въ науку Гальтономъ подъ именемъ умственныхъ картинъ, не является чѣмъ-нибудь безусловно новымъ, но она такъ теперь поставлена, такъ описана и настолько уже практиковалась даже съ педагогически-художественными цѣлями, что получаетъ болѣе крупный интересъ. Станете вы составлять программу вопросовъ, съ какими вы желали бы обратиться къ поэтамъ, романистамъ, драматургамъ самыхъ первыхъ дарованій—вы должны будете удѣлить этому пункту программы гораздо больше вниманія, чѣмъ прежде, иначе его обставить. Вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ такой вопросъ о способности вызывать въ себѣ умственныя картины является уже критеріемъ артистической натуры, хотя, съ другой стороны, подобная способность не составляетъ еще творческаго дарованія.

Читатель можетъ придти въ недоумѣніе и спросить: „какъ же не составляетъ?“ Чего же больше и требовать отъ художника, какъ не такой способности возстановлять въ своемъ воображеніи краски, рисунокъ, лицо, фигуру, колорить? Для выполненія—конечно, т.-е. для второй половины созидательной работы ума. Но вѣдь такая способность есть какъ бы живая камера-обскура или фотографія, но только съ красками. Представить себѣ сейчасъ же видѣнный вами рисунокъ или лицо человѣческое, не значитъ его создать; это значитъ только схватить его съ такою силою внутренняго воспроизведенія, какой не имѣетъ человѣкъ совсѣмъ бездарный или не искусившійся въ подобныхъ опытахъ. Практика парижской рисовальной школы, а потомъ англійскихъ школъ, показала, что почти всѣ ученики, занимающіеся черченіемъ и рисованіемъ, могутъ развивать въ себѣ эту способность въ большей или меньшей степени, между тѣмъ какъ изъ этихъ учениковъ врядъ ли выйдетъ хотя два человѣка на сто, способныхъ со временемъ создать что-нибудь истинно-творческое.

Въ томъ-то и дѣло, что воображеніе, фантазія, въ тѣсномъ смыслѣ, или яркость воспроизведеній не составляютъ еще дара изобрѣтенія, находки, выдумки, т.-е. истиннаго творчества. Не попусту эстетическіе критики различаютъ въ литературномъ произведеніи фотографическую вѣрность отъ созидающей способности автора. Живописецъ можетъ обладать необыкновеннымъ мастерствомъ схватыванія колорита, рисунка, экспрессіи живого лица или перспективы въ пейзажѣ, и все-таки же быть лишеннымъ чего-то, что заставляетъ мозгъ работать надъ отыскиваніемъ своихъ собственныхъ идей и образовъ, отличныхъ отъ матеріала, даннаго внѣшнимъ міромъ художнику, хотя и составленныхъ изъ его впечатлѣній и жизненныхъ испытаній. И выходитъ, стало-быть, что

въ программѣ, которая бы отвѣчала научнымъ требованіямъ опытной психологіи по нашему вопросу, надо установить то, что составляетъ коренную творческую способность, и не смѣшивать второстепенныхъ пунктовъ съ главными, обратить вниманіе на все способствующее процессу изобрѣтенія, созданія, находки. При этомъ могутъ получиться самые разнообразные и неожиданные отвѣты. Человѣкъ, даже самый геніальный, непремѣнно—въ тискахъ своей наслѣдственности и разныхъ расположеній и привычекъ, пріобрѣтенныхъ вслѣдствіе тысячи жизненныхъ обстоятельствъ. Мы уже знаемъ изъ біографій, изъ дневниковъ писателей и артистовъ, какъ разнохарактерны и странны тѣ впечатлѣнія, какія нужны, чтобы вызвать творческое настроеніе, ту своеобразную и рѣшительную эмоцію, безъ которой не начнется созидающій процессъ. Одному необходимо писать ночью, въ блистательно освѣщенной комнатѣ, другой нуждается въ извѣстномъ запахѣ, третій не иначе творитъ, какъ на свѣжемъ воздухѣ, на берегу моря, четвертому помогаетъ музыка. Все это кажется случайными, почти вздорными странностями и причудами; а между тѣмъ, въ каждомъ изъ такихъ условій есть непремѣнно соотвѣтствіе съ душевнымъ организмомъ художника-творца, или отдаленный отголосокъ наслѣдственныхъ расположеній, или привычка, сложившаяся опять-таки въ силу цѣлаго ряда безсознательныхъ поисковъ и опытовъ.

Программа, о какой я до сихъ поръ размышляю, должна быть предложена всѣмъ выдающимся писателямъ-художникамъ, и свѣденія, какія они могутъ доставить, важны будутъ не столько для того, чтобы поставить вопросъ заново, а для того, чтобы подтвердить еще разъ, и въ бо́льшихъ подробностяхъ, все то, что опытная психологія устанавливаетъ теперь; еслибы даже и случилось такъ, что нѣкоторые писатели не дадутъ никакого яснаго отвѣта на вопросъ: созданіе образовъ, творческія идеи, оригинальные замыслы, являются ли имъ помимо ихъ разсудочной работы, сами собою и неожиданно? Можно предположить, что нѣкоторые, какъ, напр., крайніе поборники натуралистическаго романа, будутъ систематически отрицать это и распространяться только о пріемахъ мастерства, о томъ, какъ они работаютъ надъ выполненіемъ своихъ творческихъ идей. Но все, что они разскажутъ, подтвердитъ только огромную разницу между мастерствомъ, куда входитъ и талантъ, и творчествомъ. Вопросы, съ какими слѣдуетъ обращаться къ писателямъ-художникамъ, должны быть поставлены такъ, чтобы каждый авторъ отвѣчалъ на нихъ характернымъ фактомъ, а не своими воззрѣ-

ніями. И вотъ въ этомъ-то и заключается главная трудность обработки подобной программы. Не нужно ничего предрѣшать, но надо собрать какъ можно больше разныхъ подробностей, помогающихъ тому, кого вы спрашиваете, припомнить разныя свои душевныя настроенія, предшествующія творческому замыслу, все то, что происходитъ въ самый моментъ его, и въ какихъ условіяхъ замыселъ осуществляется, находитъ себѣ внѣшнее выраженіе.

Было бы весьма пріятно возбудить интересъ къ этому вопросу во всѣхъ, кто занимался опытной психологіей и размышлялъ о творчествѣ и эстетическомъ чувствѣ. Выработка программы вопросовъ, проэктируемой мною, должна быть дѣломъ коллективнымъ, совокупнымъ трудомъ людей, согласившихся въ главныхъ основныхъ положеніяхъ; почему я и нашелъ нужнымъ привести во второй половинѣ моего этюда все то, что кажется мнѣ болѣе удачнымъ въ литературѣ нашего вопроса за послѣдніе годы, вплоть до гипотезъ, которыя нуждаются въ болѣе положительной обработкѣ.

Надо, кромѣ того, взять въ соображеніе опыты по душевной жизни, пріемы и новыя попытки, открывающіе такія перспективы знакомства съ психологіей, о какихъ еще недавно никто и не мечталъ. Тотъ же Гальтонъ, цитированный мною, въ послѣднее время предпринялъ рядъ изслѣдованій на тэму изученія человѣческаго характера, и не литературнымъ и описательнымъ методомъ, а съ помощью гораздо болѣе точныхъ пріемовъ. Вѣроятно, въ скоромъ времени работы Гальтона и тѣхъ, кто пойдетъ по его слѣдамъ, помогутъ каждому развитому человѣку, а тѣмъ болѣе писателю-художнику—изучать свой собственный характеръ неизмѣримо точнѣе, чѣмъ это возможно было до сихъ поръ. Такія болѣе научныя и строгія опредѣленія окажутъ несомнѣнную и огромную пользу въ нашемъ вопросѣ; а въ настоящее время можетъ весьма и весьма легко случиться, что даже самый, повидимому, развитой человѣкъ или очень большой талантъ не въ состояніи будетъ отвѣтить на самые существенные вопросы проэктируемой нами программы именно потому, что они не занимались самоизученіемъ, потому что они знаютъ себя только поверхностно, въ общихъ чертахъ, не могутъ объяснить ни себѣ, ни другимъ, въ чемъ заключаются самыя существенныя черты ихъ душевной природы. Со временемъ, и можетъ быть весьма скоро, труды опытныхъ психологовъ, въ родѣ Фрэнсиса Гальтона, установятъ пріемы и сдѣлаютъ ихъ настолько доступными для каждаго, что въ человѣкѣ взросломъ, съ выяснившейся душевной физіономіей, не будетъ уже, по крайней мѣрѣ, для него самого, никакихъ

темныхъ, необслѣдованныхъ уголковъ умственной и нравственной жизни.

Нельзя умолчать и о цѣломъ рядѣ также новѣйшихъ опытовъ о способности чтенія чужихъ мыслей. Можетъ быть, на первый взглядъ иному читателю и покажется, что эти модные опыты (еще служащіе приманкой публикѣ въ родѣ фокусовъ) вовсе не относятся къ нашей тэмѣ; но это только на болѣе поверхностный взглядъ. Опыты чтенія чужихъ мыслей настолько заинтересовали людей серьезныхъ, научно-образованныхъ, спеціалистовъ по физіологіи, и въ частности по неврологіи, что они уже сдѣлались теперь достояніемъ точной науки. Эти явленія находятся въ прямой связи съ обширной областью гипноза, которая до сихъ поръ еще далеко не обслѣдована и съ каждымъ днемъ показываетъ все новыя и новыя „чудеса“. Гипнотическія явленія тѣмъ драгоцѣнны для нашего вопроса, что они расширяютъ значеніе и область безсознательной церебраціи: цѣлаго міра безсознательныхъ психическихъ явленій. Мы увидимъ, въ концѣ нашего этюда, что нѣтъ никакой научной, разумной причины отдѣлять область безсознательнаго въ психологіи отъ того, что освѣщено нашимъ пониманіемъ, что докладывается непосредственно нашему я. Если творческій процессъ совершается безъ участія нашей чисто-разсудочной логической способности, то его необходимо распространить и на всю область безсознательной церебраціи; а въ ней гипнозъ, въ его самыхъ разнообразныхъ формахъ, начинаетъ играть все большую и большую роль. По мѣрѣ того, какъ изслѣдователи, путемъ всевозможныхъ опытовъ, вызываютъ доселѣ невиданныя способности нервнаго человѣческаго организма подъ разными внѣшними возбужденіями, складывается уже цѣлая теорія такихъ возбужденій (suggestions). Теперь уже дознано, что человѣкъ въ состояніи гипноза продѣлываетъ съ большой быстротой и послушностью цѣлый рядъ дѣйствій, показывающихъ, что въ его мозгу возникаетъ такой же рядъ яркихъ образовъ, представленій, чувствованій, волненій. Проснувшись, онъ объ нихъ не помнитъ; но несомнѣнно, что вся эта мозговая игра въ состояніи гипноза также наполняетъ его и также опредѣленна и ярка, какъ и настоящія душевныя эмоціи въ состояніи бдѣнія. Въ творческой жизни ученаго, художника, поэта найдется точно также цѣлый рядъ возбудителей, вызывающихъ въ мозгу особую игру, ту творческую ассоціацію, которая разрѣшается находкой, изобрѣтеніемъ, созданіемъ образа, творческой идеей.

Въ связи съ опытами надъ гипнозомъ будутъ стоять и обслѣдованія передачи мыслей отъ одного лица другому путемъ неза-

мѣтныхъ нервно-мышечныхъ движеній. То, что до сихъ поръ еще въ глазахъ публики—достояніе ловкихъ эмпириковъ, промышляющихъ этимъ, какъ фокусничествомъ, то въ скоромъ времени войдетъ уже и въ учебники нервной физіологіи. Мы знаемъ, что во Франціи, въ Англіи и въ Германіи изученіемъ этого интереснѣйшаго психическаго процесса заняты не дилетанты, наклонные къ спиритизму, а трезвые изслѣдователи. Въ послѣднее время появились статьи Ришѐ, обратившія на себя общее вниманіе; въ нихъ приводятся уже отчеты объ очень большомъ количествѣ опытовъ, которые производились съ строгимъ научнымъ контролемъ. Во всемъ этомъ нельзя не видѣть общихъ успѣховъ опытной психологіи, такихъ именно успѣховъ, отъ которыхъ зависитъ и полное уясненіе мозговой дѣятельности, называемой творческимъ процессомъ.

VI.

Теперь, мы изложимъ то, что́ кажется намъ всего болѣе состоятельнымъ въ тѣхъ трудахъ, которые ставили себѣ задачею изслѣдованіе процесса творческаго изобрѣтенія. Скажемъ здѣсь сразу, что вопросъ этотъ тогда только будетъ освобожденъ отъ всякой недомолвки, поставленъ на болѣе прочную почву, когда способность изобрѣтенія мы одинаково распространимъ и на научную область. До сихъ поръ, когда трактуютъ о геніи, талантѣ, творчествѣ, то разумѣютъ исключительно художественную сферу. Но такое обособленіе—чрезвычайно невыгодно, въ смыслѣ теоріи. Во-первыхъ, если говорить исключительно о художественномъ творчествѣ, то надо будетъ создавать двѣ теоріи: одну для творцовъ-художниковъ, другую для творцовъ-ученыхъ. Во-вторыхъ, придется съузить поле изслѣдованія; между тѣмъ, какъ вводя и научное, и художественное творчество въ одинъ общій кругъ опытовъ, наблюденій и выводовъ, мы этимъ подкрѣпимъ только аргументацію, относящуюся уже къ чисто художественному творчеству.

Чтобы не было никакого недоразумѣнія, мы поставимъ сначала вопросъ о томъ: что́ такое въ области науки, ея успѣховъ, ея движенія впередъ, всякая удачная гипотеза? Отличается ли она чѣмъ-нибудь существеннымъ отъ творческой идеи въ области искусства? Она отличается только конечнымъ результатомъ, а никакъ не психическимъ процессомъ, связаннымъ съ ея рожденіемъ. Разница, о какой сейчасъ же начнутъ говорить люди, дилетантски думающіе объ этомъ, есть ничто иное, какъ проявъ-

леніе ложнаго взгляда на ученаго и художника. Въ нашемъ случаѣ, я беру не обыкновеннаго ремесленника науки—учителя, профессора, какого бы то ни было спеціалиста, способнаго только на то, чтобы передавать накопленныя имъ знанія или примѣнять къ подробностямъ законы природы, открытые другими. Но тѣ, что открывали эти законы, въ своей творческой дѣятельности, ничѣмъ существенно не отличаются отъ творцовъ въ поэзіи, музыкѣ и всѣхъ остальныхъ видахъ искусства. Прежде, чѣмъ они дошли до полнаго открытія закона, имъ нужно было непремѣнно пройти чрезъ созданіе гипотезы, т.-е. чрезъ „выдумку“ (беря это слово въ положительномъ смыслѣ), чрезъ изобрѣтеніе, всегда почти предшествующее прямому открытію. Правда, это изобрѣтеніе непремѣнно вызвано предъидущей логической работой ума, добивающагося какой-нибудь общей причины наблюдаемыхъ явленій. Но предварительная разсудочная работа не заключаетъ въ себѣ вовсе самого творческаго процесса. Изъ того, что вы стремитесь къ извѣстной цѣли, не вытекаетъ, чтобы вы знали, въ чемъ будетъ заключаться достиженіе ея. Ординарный ученый, преподаватель или спеціалистъ можетъ биться всю свою жизнь, отыскивая нѣчто въ извѣстномъ направленіи, и все-таки же ничего не отыщетъ. Почему? Потому что лишенъ способности на творческую ассоціацію идей.

Вотъ эта общая почва для научнаго и художественнаго изобрѣтенія и была уже избираема, въ самое послѣднее время, иностранными писателями, занимающимися нашимъ вопросомъ. Мы ее находимъ предметомъ особаго изслѣдованія въ одной докторской диссертаціи, представленной, четыре года тому назадъ, въ парижскій словесный факультетъ Полемъ Суріо [1]). Тутъ, едва ли не въ первый разъ (насколько намъ извѣстно) сдѣлано систематическое изложеніе началъ, изъ которыхъ вытекаетъ признаніе такой же природы творческаго изобрѣтенія, какую намѣтили и авторитеты англійской опытной психологіи, съ Александромъ Бэномъ во главѣ. Поэтому и можно воспользоваться монографіей Суріо въ интересахъ нашей тэмы, беря изъ этой книги самое существенное.

Мысль о необходимости освободить вопросъ о творчествѣ отъ его исключительной, до сихъ поръ, зависимости отъ эстетики, выражена авторомъ въ предисловіи.

„Гораздо лучше,—говоритъ онъ,—изучать творческое одушевле-

[1]) Théorie de l'invention. Thèse pour le doctorat ès lettres, presentée á la faculté des lettres de Paris, par Paul Souriau, professeur de philosophie au lycée d'Angers. Paris, Librairie Hachette. 1881.

ніе такъ, какъ сдѣлалъ бы это добросовѣстный психологъ. Эстетика тогда только можетъ научно обосноваться, когда она совершенно освободится отъ литературныхъ пріемовъ. Критика должна поставить себя совершенно внѣ искусства, которое она обязана оцѣнивать. Анализъ самаго прелестнаго произведенія не долженъ быть плѣнительнымъ, а только точнымъ. Философы, старающіеся выразить прекраснымъ языкомъ теорію красоты, поступаютъ такъ, какъ поступилъ бы физикъ, который счелъ бы себя обязанным горячо высказывать законы теплоты."

Поэтому-то авторъ монографіи и поставилъ себѣ задачею изучить механизмъ изобрѣтенія какъ бы съ технической точки зрѣнія и въ возможныхъ подробностяхъ, предоставляя психологамъ болѣе обширную задачу построенія цѣлой системы.

Мы согласны съ нимъ въ томъ первомъ его положеніи, что фантазія, воображеніе не заключаютъ въ себѣ еще ничего самобытно-творческаго. Даже и высшее творчество художника состоитъ, въ сущности, въ томъ, что художникъ маскируетъ свои заимствованія, наилучшимъ образомъ сливаетъ въ своемъ твореніи созданія природы. Но все-таки же эта способность остается сама по себѣ весьма цѣнною, высшею способностью человѣка; безъ нея онъ не могъ бы никогда найти, открыть, изобрѣсть. Тотъ порядокъ, въ которомъ распредѣлены части творческаго цѣлаго—такой порядокъ, самъ по себѣ, есть уже положительный фактъ психической жизни и нуждается въ особомъ объясненіи, такъ какъ не можетъ быть объясненъ обыкновенной, простой ассоціаціей идей, присущей каждому, сколько-нибудь развитому, человѣческому существу. Этотъ творческій порядокъ есть такъ-называемая форма, образъ, проще выражаясь, фасонъ—слово, употребляемое нашимъ авторомъ.

Но если изобрѣтеніе, творческая находка не могутъ быть объяснимы общей способностью къ ассоціаціи идей, то, стало-быть, въ нихъ нельзя видѣть и продукта простого размышленія, рефлексіи. Мы въ этомъ убѣждены безусловно; но найдется не мало читателей, наклонныхъ, быть можетъ, къ признанію изобрѣтенія дѣломъ все того же ума, т.-е. разсудка, логическихъ навыковъ человѣческаго мозга. И въ обыкновенной рѣчи мы безпрестанно употребляемъ слова: „умъ", „разумъ", „духъ", обособляя эти понятія, дѣлая изъ нихъ—сущности. Но если и возможно употреблять, въ данномъ случаѣ, терминъ „умъ", то надо столковаться. Разумѣемъ мы подъ нимъ совокупность нашей умственной дѣятельности, самыя идеи во время ихъ взаимнодѣйствія, ихъ комбинацій, ихъ многоразличной игры, то нѣтъ не-

удобства приписывать и творческую способность — уму. Не слѣдуетъ только, ни въ какомъ случаѣ (если не впадать въ дилетантскую неточность и въ смѣшеніе понятій) придавать уму творчество идей; мы, такимъ образомъ, признали бы косвенно, что изобрѣтеніе есть дѣло разсудочное, преднамѣренное, съ заранѣе обозначенной цѣлью, чего въ природѣ души человѣческой нѣтъ и быть не можетъ. Такъ утверждаютъ всѣ тѣ, кто стоитъ за непроизвольность творческаго процесса. Въ мастерствѣ, въ выполненіи какого-нибудь образа или научнаго изобрѣтенія, въ техникѣ, въ достиженіи совершенства, цѣль, намѣреніе, разсудочная работа, вмѣстѣ съ опытомъ и личнымъ вкусомъ, вполнѣ господствуютъ. Когда вы пишете картину или романъ, или строите художественное зданіе—у васъ передъ собою долгій и сложный трудъ. Этотъ трудъ предполагаетъ огромное количество различныхъ умственныхъ операцій, идущихъ къ одной цѣли, по одному строго обдуманному плану. Но эта цѣль, этотъ планъ уже готовы, и они-то и составляютъ принадлежность, слѣдствіе, продуктъ творческаго замысла. То, что вѣрно для выполненія, то совсѣмъ не вѣрно, когда дѣло идетъ объ образахъ, являющихся художнику, о гипотезѣ, охватившей мозгъ геніальнаго ученаго. Опытъ всего творящаго человѣчества показалъ, что образы художника, изобрѣтенія ученаго появляются, въ данный моментъ, съ быстротой, при которой не можетъ быть и рѣчи ни о чемъ предумышленномъ. Эта быстрота и неожиданность бываютъ такъ велики, что самъ творецъ изумленъ, пораженъ; очень часто онъ даже и не имѣлъ никакого предчувствія, что ему придетъ именно такая, а не иная идея. Всего рѣже случается такъ, чтобы мы находили какъ разъ то, что ищемъ: это подтвердитъ каждый человѣкъ, не лишенный творческой способности и преданный отыскиванію научнаго ли закона или поэтическаго замысла. Даже простая ассоціація идей, необходимая для вспоминанія, показываетъ намъ, что усилія воли, формальная, логическая работа не дѣйствуютъ на нее. Вы хотите назвать имя вашего знакомаго, и оно вамъ не приходитъ; чѣмъ больше вы стараетесь припоминать, тѣмъ усилія ваши болѣе тщетны. Переждите нѣсколько минутъ, начните думать о чемъ-нибудь другомъ, или о такомъ, что могло бы васъ естественно привести къ вспоминанію — и слово выскочитъ какъ бы само собою; иногда это дѣлается гораздо позднѣе, когда вы и забыли даже объ усиліи припомнить имя или слово.

На вопросъ о самобытности творчества авторъ монографіи отвѣчаетъ такъ: „Одно изъ двухъ: или идея, по которой созданъ образъ, совершенно достаточна для полнаго его выясненія или

же эта идея оставляетъ еще извѣстную неопредѣленность его. Первую гипотезу, очевидно, нельзя допустить, ибо если образъ есть копія идеи, я спрашиваю: чего же — идея, сама по себѣ, является копіей? Отъ копіи къ копіи, надо дойти наконецъ до вполнѣ своеобразной идеи, которая могла бы служить образцомъ всѣмъ другимъ и не была бы подражаніемъ чему бы то ни было. Но какъ бы мы ни отдаляли трудность рѣшенія вопроса, мы все-таки же наткнемся на нее, и объяснять нарожденіе образа предшествующей идеей—это все равно какъ еслибы мы сказали, что для замысла извѣстной вещи нужно ее задумать первоначально; а это равносильно было бы отрицанію возможности всякаго изобрѣтенія. Вторая гипотеза болѣе допустима, но только по своей формѣ. Нѣкоторые утверждаютъ, что прежде чѣмъ образовать совершенно ясные и точные образы, надо представить ихъ себѣ, хотя бы смутно. Эта новая формула хороша только тѣмъ, что не перепутываетъ порядка нашихъ понятій. Несомнѣнно, что умъ нашъ идетъ обыкновенно отъ менѣе совершеннаго къ болѣе совершенному, отъ неопредѣленнаго образа къ образу опредѣленному. Но въ этомъ случаѣ ясно, что образъ, предварительно задуманный, есть абрисъ, но не образецъ окончательнаго образа; такъ какъ въ созданіи образовъ существуетъ прогрессъ, развитіе, то все, что составляетъ оригинальность самыхъ послѣдующихъ образовъ, не имѣетъ ничего предшествующаго въ первыхъ; другими словами, ни одно изъ этихъ послѣдующихъ усовершенствованій не могло быть предумышленно".

Вотъ этого-то постепеннаго совершенствованія и развитія творческихъ продуктовъ и нельзя объяснить разсудочной, такъ сказать, предумышленной работой; потому-то и слѣдуетъ принимать съ весьма точными и строгими оговорками теорію, приписывающую уму образованіе идей. Конечно, образы, сознаваемые нами каждую минуту, не выходятъ изъ тьмы, изъ хаоса, изъ небытія, а изъ какой-нибудь предъидущей мысли; но въ новой-то идеѣ найдутся непремѣнно элементы, которые мы не въ состояніи объяснить только тѣмъ, что нами было предварительно пріобрѣтено. Вотъ это-то, заключаетъ авторъ монографіи, и есть изобрѣтеніе. Умъ человѣческій, несомнѣнно, изобрѣтаетъ; но онъ изобрѣтаетъ не мыслительной способностью по извѣстнымъ правиламъ, не той разсудочной работой, которая достаточна во всемъ остальномъ: изобрѣтеніе не есть, другими словами, сознательная и обдуманная операція.

Посмотримъ теперь, есть ли оно даже методическая операція? Всякая метода предполагаетъ и чисто логическую работу,

и тѣ, кто стоитъ за нее, даже и въ дѣлѣ изобрѣтенія, берутъ для доказательства научныя открытія. Оно и понятно: ученый впередъ видитъ, что ему нужно; то, что онъ желаетъ отыскать, должно непремѣнно быть навѣяннымъ цѣлымъ рядомъ фактовъ; между тѣмъ, какъ художникъ не знаетъ по какому пути онъ пойдетъ; его открытіе не будетъ только объясненіемъ всего предъидущаго, а нѣчто новое, еще ни малѣйшимъ образомъ не опредѣлившееся въ его головѣ. Разница тутъ есть и очевидная; только она не существенна. Отыскиваете ли вы какой-нибудь законъ, изобрѣтаете ли вы, выдумываете ли объясненіе цѣлаго ряда фактовъ въ области научнаго изслѣдованія — все-таки же то, что ученый изобрѣтаетъ, къ чему онъ стремится, что онъ желаетъ открыть, ему неизвѣстно. Чтобы открыть нѣчто, надо непремѣнно начать съ гипотезы, съ предположенія, съ догадки, т.-е. нѣчто изобрѣсть, выдумать; а это опять-таки предполагаетъ не чисто логическую работу, а что-то другое, независимо отъ методы. Есть цѣлый рядъ такого рода открытій, гдѣ дѣйствительно не нужно ничего, кромѣ методической работы, но такого рода открытія представляютъ только выводы, послѣднія слова цѣлой серіи операцій, съ помощью уже извѣстныхъ пріемовъ, установленныхъ аксіомъ и общихъ фактовъ. Таково разрѣшеніе многаго множества задачъ, представляющее собою извѣстнаго рода логическую операцію. Несомнѣнно, что въ рѣшеніи такихъ задачъ (а прикладная наука вся состоитъ изъ нихъ) извѣстнаго рода методъ необходимъ; онъ есть ничто иное какъ накопленный опытъ и помогаетъ скорѣйшему нахожденію искомаго икса. Но не нужно забывать, что во всѣхъ этихъ случаяхъ научнаго изслѣдованія цѣль намѣчена. Мы не можемъ еще сказать: что представляетъ собою искомый иксъ, какую въ частности цифру, какую величину, но мы очень хорошо знаемъ впередъ, что онъ долженъ найтись и что онъ будетъ въ прямой зависимости отъ остальныхъ величинъ, вошедшихъ въ нашъ разсчетъ или отъ установленныхъ уже аксіомъ и добытыхъ общихъ фактовъ.

Совсѣмъ другое въ настоящемъ изобрѣтеніи, т.-е. въ истинно-творческой гипотезѣ, которая ведетъ къ открытію. Метода всесильна только тамъ, гдѣ надо примѣнять предъидущія открытія; а исканіе новой задачи, постановка новаго вопроса, ни въ какомъ случаѣ, не можетъ быть дѣломъ методы; этотъ вопросъ надо изобрѣсти самостоятельно. Такъ созданы были всѣ геніальныя гипотезы. Тутъ уже роль логики отступаетъ вся на задній планъ, а на первый выдвигается удача, т.-е. счастливое совпаденіе внутреннихъ и внѣшнихъ возможностей. Она позволяетъ ставить во-

просъ, создавать задачу, оформливать гипотезу, находить подходящій методъ, посредствомъ котораго будетъ сдѣланъ окончательный выводъ. Все это и приводитъ насъ къ заключенію, что умъ человѣческій, для того, чтобы что-нибудь творить, не можетъ повторяться, не можетъ идти дальше, пользуясь только однимъ накопленнымъ матеріаломъ. Новыя его идеи не могутъ имѣть прототипа; ихъ появленіе слѣдуетъ поэтому приписать не логической работѣ, не методу, а чему-то другому, т.-е. процессу самозарожденія, иначе выражаясь, счастливой случайности.

Разберемъ еще, въ какой степени помогаетъ творчеству размышленіе, болѣе живое и разнообразное, чѣмъ сухой методическій пріемъ,—размышленіе, въ которомъ личное усиліе заставляетъ умъ перебирать гораздо большее количество идей? Конечно, такая работа, такое усиліе необходимы. Они ускорятъ открытіе. Болѣе энергическое мышленіе въ извѣстномъ направленіи не можетъ вызвать творческую идею, если нашъ мозговой организмъ на нее неспособенъ; но она явится скорѣе, сочетаніе мыслей будетъ разнообразнѣе и ярче. Посредствомъ усилія воли мы можемъ направить наше мышленіе на извѣстный, опредѣленный пунктъ, ограничить его, не позволять ему расплываться въ то, что́ обыкновенно называется мечтаніями. Вотъ тутъ-то и будутъ умѣстны всѣ тѣ побочныя условія, въ которыхъ человѣкъ, способный на творчество, научное и художественное, чувствуетъ себя всего лучше расположеннымъ къ этому. Другими словами, мышленіе въ опредѣленномъ направленіи создаетъ и обстановку, найдетъ привычки, благопріятныя для творческаго случая, будетъ держаться извѣстнаго рода пріемовъ и навыковъ. Такъ, напр., уже дознано давно, что самое лучшее средство сосредоточить умъ свой на извѣстной идеѣ—это смотрѣть пристально на какой-нибудь матеріальный предметъ. Такое фиксированіе извѣстнаго пункта, находящагося внѣ насъ, позволяетъ намъ сосредоточиться на идеѣ, что́ опять доказываетъ, до какой степени велико соотвѣтствіе между нервно-мышечными движеніями и всей областью нашей мыслительной дѣятельности. Но все-таки же мы не можемъ родить въ умѣ нашемъ ни одной новой мысли, другими словами, ничего выдумать, изобрѣсти и создать, однимъ только усиліемъ воли; мы въ состояніи лишь помогать цѣлымъ рядомъ такого рода пріемовъ (смотря по особенностямъ нашей натуры) подобному зарожденію идей. И когда начнется болѣе усиленная работа мозга, внутреннее чувство человѣка, способнаго на творчество, не оставляетъ его, и все болѣе и болѣе убѣждаетъ въ томъ, что такъ называемое „вдохновеніе“, т.-е., точнѣе выражаясь, эмоція,

овладѣвающая человѣкомъ, способнымъ на творчество, представляетъ собою какъ бы внѣшнюю силу, совершенно независимую отъ его воли. Но не нужно преувеличивать размѣровъ этого факта; не только поэты, художники, но и ученые могутъ, сами того не замѣчая, приписывать чему-то внѣшнему то, что, въ значительной степени, было подготовлено предварительной работой ума, чему способствовала также обстановка, употребленіе тѣхъ или иныхъ пріемовъ, разные навыки и привычки, играющіе такую несомнѣнную и яркую роль въ обиходѣ каждаго одареннаго человѣка.

VII.

Но если образованіе, появленіе идеи творческаго, самобытнаго характера не можетъ быть намѣреннымъ, то все-таки же не подчиняется ли оно какому-нибудь закону? Можетъ быть, способность изобрѣтенія объяснима дѣйствіемъ какихъ-нибудь раціональныхъ началъ, присущихъ нашему разуму, помимо сознанія; такая способность не есть ли естественный продуктъ ума, подчиненный все-таки законамъ логики?

Въ логикѣ, какъ извѣстно, два главныхъ рода размышленія: выводъ—дедукція и наведеніе—индукція.

Что такое дедукція? Это есть ничто иное, какъ выведеніе всѣхъ возможныхъ частныхъ случаевъ изъ одного общаго положенія. Дедуктивное размышленіе убѣдительно только въ силу тѣхъ уравненій, какія оно заключаетъ въ себѣ. Когда идутъ отъ общаго къ частному, то этимъ показываютъ, что несовершенно увѣрены въ несомнѣнности общаго положенія и хотятъ подтвердить его всѣми составными частями. Такой видъ логическаго разсужденія не можетъ вести къ творчеству, потому что его выводы не заключаютъ въ себѣ ничего, что не находилось бы въ основномъ положеніи. Также точно и индукція отвѣчаетъ на неудержимое стремленіе нашего ума: обобщать свои наблюденія, выводить законы изъ частныхъ фактовъ; но наведеніе, полезное на практикѣ, все-таки не заключаетъ въ себѣ особенной логической силы, которая бы замѣняла собою творчество или прямо вела къ нему. Въ каждой индукціи все, что выходитъ за предѣлы фактовъ, на которые мы опираемся, есть чистая гипотеза и принимать ее можно только послѣ провѣрки. И чѣмъ дальше вы пойдете по пути обобщенія, тѣмъ больше шансовъ—надѣлать ошибокъ. То, что мы отмѣтили въ одномъ фактѣ, можетъ быть примѣнено только къ совершенно

тождественнымъ фактамъ. А какъ мы позволимъ себѣ распространить это и на факты, только сходные логически, нашъ выводъ будетъ лишь вѣроятнымъ и сдѣлается все менѣе и менѣе вѣроятнымъ, съ расширеніемъ сходства. Случиться можетъ, что болѣе или менѣе отдаленныя сходства позволятъ, все-таки придти къ вѣрному выводу; но въ какомъ случаѣ? Въ томъ, если эти сходства заключали въ себѣ элементы тождественности, равенства, почему индукція и сводится, въ сущности, съ одной стороны, къ вычисленію вѣроятности, съ другой—все къ тому же установленію тождества, равенства; а при этомъ не можетъ создаваться, логическимъ путемъ, никакихъ новыхъ идей, не имѣющихъ своего прототипа. Точно также, и нахожденіе логической тождественности не можетъ привести насъ къ созданію новыхъ истинъ. Логика помогаетъ намъ уже тогда, когда нужно подтвердить нашу гипотезу съ помощью всего того, что человѣческій умъ выработалъ точнаго и несомнѣннаго въ выводахъ и пріемахъ. Самыя же находки, гипотезы не даются намъ логикой, т.-е. демонстраціей чего-нибудь, представляющаго собою разновидности простого равенства: А = А. Самое тождество не заключаетъ въ себѣ нарожденія какой-нибудь новой истины. Извѣстная вещь не можетъ быть абсолютно тождественна; она должна быть приравнена къ какой-нибудь другой вещи, а эта вторая вещь можетъ и не быть логически необходима; и въ то же время она существуетъ, и человѣческій умъ, одаренный способностью къ открытіямъ, въ состояніи ее отыскать. Изъ этого вытекаетъ прямо, что одна только логика не позволяетъ намъ утверждать что-либо положительно, что-либо создавать. И то, что сказано здѣсь объ логическихъ операціяхъ, можетъ быть вполнѣ примѣнимо и къ самой точной наукѣ, какова математика.

Итакъ, логика не можетъ создавать истинъ. Къ этому выводу авторъ монографіи, занимающей насъ, прибавляетъ еще и другой: она не можетъ имѣть даже никакого вліянія на нашъ умъ и мѣшаться въ образованіе нашихъ идей. На это возразятъ, пожалуй, что всѣ мыслительныя представленія, находящіяся въ нашей головѣ, связаны между собою довольно простыми логическими отношеніями: стало быть, эти отношенія представляютъ собою непремѣнное условіе ассоціаціи идей. Авторъ несогласенъ на такую гипотезу. Отношенія сложились въ силу нашей природы, но вовсе не вызвали самую ассоціацію. Разница или сходство двухъ образовъ не составляетъ непремѣнной причины ихъ одновременнаго появленія въ нашемъ умѣ. Это ихъ отношеніе не имѣетъ самостоятельной, такъ сказать, творческой

силы; а самыя отношенія дѣйствуютъ на нашъ умъ только въ томъ случаѣ, если появятся образы, а не сами по себѣ; почему и нужно искать причинъ ассоціаціи идей внѣ логики. Только когда мы начинаемъ разсуждать, т.-е. уже дѣйствовать отвлеченно съ продуктами нашей психической дѣятельности, являются на сцену выработанные человѣческимъ умомъ логическіе пріемы; и если логика позволяетъ намъ понимать разсужденіе, то она его не создаетъ и не она располагаетъ матеріалы въ извѣстномъ порядкѣ.

Но какъ же объяснить намъ то, что наши идеи находятся въ соотвѣтствіи съ законами логики? Какимъ образомъ, такая механическая, слѣпая, неразумная сила, какъ ассоціація, располагаетъ наши мысли въ такомъ раціональномъ, разумномъ порядкѣ?

Наше воображеніе и разумъ могутъ быть иногда въ разладѣ, это правда, но они слишкомъ часто бываютъ въ полной гармоніи. Мы всегда увѣрены въ истинности того, что мы думаемъ, безъ этого нельзя представить себѣ нормальной человѣческой головы; и вотъ эта увѣренность—не объясняетъ ли она, въ извѣстной степени, соотвѣтствіе между нашимъ воображеніемъ и нашимъ разумомъ? И такъ какъ мы вѣримъ въ истинность того, о чемъ думаемъ въ данную минуту, что воспринимаемъ, то не наклонны ли мы признавать болѣе прочными, несомнѣнными истинами тѣ идеи, которыя всего болѣе привычны намъ? Законъ ассоціаціи доставляетъ намъ множество представленій; и тѣ, которыя всего чаще доставляются имъ, мы считаемъ самыми вѣрными, самыми основными; они образуютъ наши убѣжденія, они составляютъ такъ-называемый „здравый смыслъ“. И такимъ образомъ, мы убѣждаемся въ ихъ логичности и можемъ придти къ ложному выводу, что не они создаютъ то, что мы называемъ здравымъ смысломъ или логикой, а наоборотъ. Кромѣ того, мы можемъ, посредствомъ извѣстнаго искусственнаго подбора, усовершенствовать нашу мысль и дѣлать ее все болѣе и болѣе логической. Мы выбираемъ тѣ идеи, которыя всего удобнѣе и выгоднѣе употреблять въ нашихъ разсужденіяхъ, въ нашихъ выводахъ. Но сообразите: сколько на одну вѣрную идею приходится вздорныхъ, странныхъ, нелѣпыхъ представленій и понятій, которыя безпрестанно толпятся въ нашемъ умѣ. И вся эта разнохарактерная, неосмысленная, мало связанная между собою игра, вызываемая закономъ ассоціаціи, всегда мѣшала и будетъ мѣшать прогрессу мышленія и быстротѣ творческихъ открытій. Вотъ почему самые даровитые изобрѣтатели должны думать годами въ извѣстномъ направленіи, чтобы, наконецъ, умъ ихъ озарился свѣтомъ новой

истины. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это показываетъ, что логика, взятая въ отвлеченномъ смыслѣ, отдѣльно отъ нашего психическаго организма, не въ состояніи увеличить суммы творческихъ истинъ.

И то, что вѣрно въ научныхъ открытіяхъ, то можетъ быть примѣнено и въ области искусства. Роль логики играетъ въ искусствѣ—критика; а развѣ критика, сама по себѣ, не безплодна? Но ея плодотворное участіе состоитъ въ указаніи на недостатки того, что́ является результатомъ творческаго таланта? Прежде, чѣмъ художникъ создастъ что-нибудь истинно-даровитое и великое, критика, т.-е. логика искусства, устраняетъ идеи, лишенныя артистическаго вкуса, и оставляетъ только то, что́ заключаетъ въ себѣ истинное достоинство. Руководимое критикой, воображеніе артиста-художника дѣлается чище и плодовитѣе. Критика имѣетъ, стало быть, положительную цѣнность, но эта цѣнность, также какъ у логики, ограничена, и она все-таки же не можетъ догматически, абсолютно указать ту цѣль, къ которой долженъ стремиться художникъ; ея роль сводится скорѣе къ отрицательнымъ, чѣмъ къ положительнымъ указаніямъ. И еслибы оно было иначе, тогда каждый поэтъ, живописецъ, музыкантъ зналъ бы впередъ, что́ ему придетъ въ голову; а слѣдовательно и не нуждался бы въ способности къ выдумкѣ, къ открытію, къ созданію новыхъ, невиданныхъ еще образовъ.

Послѣ всѣхъ этихъ доводовъ, авторъ монографіи приходитъ еще разъ къ тому выводу, что въ искусствѣ, совершенно также какъ и въ наукѣ, истинное начало изобрѣтенія есть всегда—случай.

Но если признать, что изобрѣтеніе, находка — всегда дѣло случая, то какъ же согласить идею случая съ строгой обусловленностью всѣхъ явленій природы, въ томъ числѣ и психической, съ такъ-называемымъ детерминизмомъ? Нашъ авторъ старается доказать, что онѣ согласимы, такъ какъ между этими двумя идеями разница заключается только въ точкѣ зрѣнія.

Сначала онъ развиваетъ ту истину, что внѣ насъ, во всей области внѣшнихъ явленій, а также и въ насъ самихъ, случая быть не можетъ. Детерминизмъ представляется намъ въ двухъ формахъ: детерминизмъ причинности (внѣшній) и детерминизмъ цѣлесообразности (внутренній), и изъ столкновенія того и другого выходитъ то, что́ мы называемъ „случаемъ“.

Во внѣшнемъ физическомъ мірѣ всѣ явленія непремѣнно чѣмъ-нибудь обусловлены, всѣ имѣютъ причину. Какъ бы случайнымъ ни казался намъ тотъ или иной фактъ въ природѣ, онъ непре-

мѣнно вызванъ и опредѣленъ незамѣтными для насъ, но неизбѣжными законами, будетъ ли это рябь на зеркалѣ рѣчки или озера, вызванная паденіемъ камня, или какой-нибудь оторвавшійся, засохшій листокъ, который попалъ въ ручей и увлеченъ его теченіемъ. Только на поверхностный взглядъ какія бы то ни было явленія могутъ казаться случайными. И все то, что происходитъ въ природѣ, въ данную минуту и въ данномъ мѣстѣ, обусловливаетъ цѣлый рядъ дальнѣйшихъ фактовъ. Когда эти факты появятся, то они будутъ имѣть видъ чего-то самобытнаго, неожиданнаго, *случайнаго*. Если же въ нашихъ рукахъ находятся всѣ средства прослѣдить филіацію явленій, зависимость мельчайшихъ фактовъ, то мы убѣдимся въ томъ, что существуютъ непрерывныя серіи явленій, сквозь которыя проходитъ все тотъ же самый законъ причинности, все тотъ же детерминизмъ внѣшняго міра.

То же самое найдемъ мы, при тонкомъ и болѣе глубокомъ анализѣ, и въ насъ самихъ, въ нашемъ внутреннемъ мірѣ, съ тою только разницею, что дѣйствія разумныхъ существъ обусловливаются конечными цѣлями. Самый строй этого внутренняго детерминизма—довольно сложное дѣло, такъ какъ въ каждомъ намѣренномъ поступкѣ, дѣйствіи, движеніи слѣдуетъ различать два періода: одинъ — подготовительный и другой — періодъ выполненія. И каждый изъ этихъ періодовъ, въ свою очередь, распадается на нѣсколько моментовъ. Спрашивается: такой внутренній детерминизмъ такъ ли строго неизбѣженъ, какъ и детерминизмъ внѣшней природы? На это слѣдуетъ отвѣтить, что если я могу достигнуть своей цѣли только извѣстнымъ средствомъ, которое считаю въ данную минуту самымъ лучшимъ, то ясно, что достиженіе этой цѣли пойдетъ по пути, строго опредѣленному. Случается, конечно, что мы колеблемся въ выборѣ средства и выбираемъ иногда подъ вліяніемъ постороннихъ обстоятельствъ, а не по побужденію своего внутренняго чувства, и въ такихъ случаяхъ, казалось бы, предположенная цѣль не опредѣляетъ строго средствъ выполненія. Но это кажется только потому, что недостаточно разъясненъ механизмъ нашего душевнаго процесса въ каждомъ изъ такихъ случаевъ, оттого что онъ сложенъ; въ концѣ же концовъ (проанализировавъ такіе сложные моменты, соединенные съ колебаніемъ и съ вліяніемъ постороннихъ обстоятельствъ), мы все-таки придемъ къ заключенію, что детерминизмъ и тутъ—въ полной силѣ. Какъ бы мы ни колебались, но коль скоро мы остановимся на какомъ-нибудь рѣшеніи, значитъ, этотъ мотивъ, по законамъ психической необходимости, долженъ

былъ первенствовать надъ всѣми остальными; а въ ближайшемъ побужденіи нашей дѣятельности будетъ всегда находиться какая-нибудь высшая цѣль, состоящая въ результатѣ того, что мы дѣлаемъ, результатѣ настолько для насъ необходимомъ или привлекательномъ, соблазнительномъ, что мы направляемъ свою дѣятельность по тому, а не по другому пути.

Съ этимъ, какъ извѣстно, связанъ старый и щекотливый вопросъ о свободѣ воли; но опытная психологія достаточно прочно разъяснила роль, которую играетъ воля, въ тѣсномъ смыслѣ слова, какъ духовный аппаратъ, способный выполнять то, что приказываетъ главный мотивъ; самое же это приказаніе все-таки будетъ подчиняться закону детерминизма. И какъ бы кто ни ослаблялъ значенія мотивовъ дѣйствій, говоря, что эти мотивы въ сущности—наши, что мы можемъ ими располагать, какъ намъ удобнѣе, доказывать, что въ нихъ нѣтъ собственной силы, что они только склоняютъ насъ въ ту или другую сторону, а не представляютъ собою необходимости; но все-таки болѣе точный анализъ, руководимый научнымъ смысломъ въ человѣкѣ, освободившемъ себя отъ всякихъ метафизическихъ предразсудковъ, приведетъ каждаго къ тому заключенію, что въ нашей душѣ, въ нашей внутренней жизни, выражающейся въ поступкахъ, детерминизмъ также обязателенъ, какъ и во внѣшней природѣ. При этомъ то, что считается свободой воли, нисколько не является какимъ-нибудь нарушителемъ нашего душевнаго строя; напротивъ, она помогаетъ только болѣе точному выполненію всего, заключающагося въ конечной цѣли нашихъ поступковъ.

Установивши все это, не трудно уже показать какъ то, что мы называемъ *случаемъ*, есть слѣпое или, иначе выражаясь, результатъ столкновенія между внѣшней причинностью и внутренней цѣлесообразностью. Для каждаго, кто признаетъ детерминизмъ, случайность и будетъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, ничто иное, какъ встрѣча этихъ двухъ порядковъ явленій. Какой бы мы случай ни взяли, даже всего сильнѣе говорящій, на первый взглядъ, о неожиданности, о безпричинности, все-таки же онъ окажется средней пропорціональной, неизбѣжнымъ, роковымъ выводомъ двухъ серій детерминизма—внѣшняго и внутренняго, или двухъ видовъ детерминизма одного и того же рода. Будь это крушеніе поѣзда или гибель корабля, или удача въ игрѣ—если прослѣдить сцѣпленіе обстоятельствъ, непремѣнно придешь къ тому выводу, что случай былъ опредѣленъ какимъ-нибудь частнымъ фактомъ или совпаденіемъ нѣсколькихъ фактовъ. Разъ мы согласимся признать вѣрность такого положенія, мы должны окончательно

рѣшить: что заключается въ понятіи случайности, каковы ея значеніе и достоинство въ томъ вопросѣ, который насъ занимаетъ, т.-е. въ вопросѣ о творческомъ изобрѣтеніи, такъ какъ мы склонны, слѣдуя въ этомъ случаѣ выводамъ опытной психологіи, признать въ творческомъ изобрѣтеніи элементъ случайности. Иначе мы не выберемся изъ противорѣчій, иначе намъ надо будетъ отказаться отъ признанія детерминизма внѣшнихъ и внутреннихъ явленій.

Ясное дѣло, что случай не можетъ быть ни въ природѣ, ни въ насъ инымъ—какъ только кажущимся. Но, хотя понятіе случая ошибочно, оно все-таки имѣетъ извѣстную цѣну и будетъ держаться въ нашемъ языкѣ и въ нашихъ представленіяхъ. Та иллюзія, на которой основано понятіе о случайности, вытекаетъ прямо изъ природы нашего духа. Мы не въ состояніи обнять всѣхъ причинъ явленій, а будь у насъ эта способность, конечно мы не видали бы нигдѣ никакого отступленія отъ закона детерминизма. А такъ какъ мы можемъ знать только самую малую долю фактовъ, совершающихся во вселенной, и даже въ томъ, что насъ окружаетъ, то мы не только склонны безпрестанно прибѣгать къ объясненію посредствомъ случайности; но мы не въ состояніи, и никогда не будемъ способны въ точности предвидѣть нашихъ собственныхъ будущихъ дѣйствій и поступковъ. Всѣ наши знанія, по необходимости, будутъ всегда слишкомъ отвлеченны. Безчисленные оттѣнки и подробности ускользаютъ отъ насъ, и мы обречены на одну приблизительно понятую дѣйствительность. И такъ какъ природа нашего ума, нашей души именно такая, то мы и не можемъ сразу составить себѣ вполнѣ ясное представленіе о томъ, что будемъ сами дѣлать. Вотъ почему идея случайности, хотя и несовмѣстна съ детерминизмомъ, все-таки не лишена смысла и эмпирической вѣрности. То, что является для насъ неожиданно—а творческое изобрѣтеніе всегда неожиданно—то мы, по необходимости, называемъ случайнымъ, хотя пришедшая намъ идея, образъ будутъ непремѣнно результатомъ предъидущей работы нашей души, плодомъ столкновенія внѣшняго и внутренняго детерминизма.

Но, держась научныхъ пріемовъ, мы должны подчинить и самую способность творческаго изобрѣтенія все тому же общему закону внѣшней причинности и внутренней цѣлесообразности. Такъ поступаетъ и нашъ авторъ, и цѣлымъ рядомъ примѣровъ старается выяснить и установить детерминизмъ творческой способности.

Н. Боборыкинъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Душѣ моей дали два мощныхъ крыла:
Одно—серафимъ, а другое—духъ зла.
И первое—горнаго снѣга бѣлѣе,
Другое—могильнаго мрака чернѣе.

Увы! Чуть я къ небу направлю полетъ,
Крыло суеты меня къ праху гнететъ.
Когда же душа суетой одержима, —
Влечетъ меня къ небу крыло серафима.

Всю жизнь я межъ свѣтомъ и тьмою парю,
И зло ли свершаю, добро ли творю,
Равно мой разсудокъ сомнѣнье тревожитъ,
Равно мою душу раскаянье гложетъ.

Молитвенный гимнъ и проклятія громъ
Слилися въ бушующемъ сердцѣ моемъ.
Такъ море въ часъ ночи насыщено тьмою,
И въ немъ отражаются звѣзды съ луною...

II.

СОНЕТЪ.

Онъ блѣдною рукой повелъ смычекъ послушный,
И струны дрогнули, и замеръ людный залъ.
Толпѣ, чужой толпѣ, чужой и равнодушной
Онъ въ звукахъ пламенныхъ и чистыхъ разсказалъ
Души довѣрчивой всѣ тайны, всѣ печали:
Какъ много онъ любилъ, какъ сильно онъ страдалъ,
О чемъ онъ на груди возлюбленной рыдалъ,
О чемъ въ тиши ночей мольбы его звучали...

Онъ кончилъ—и похвалъ раздался плескъ и гулъ.
Художникъ! Тотъ же Богъ, что въ грудь твою вдохнулъ
Мелодій сладостныхъ священную тревогу,
Теперь толпѣ велитъ бѣситься и кричать...
Иди: она зоветъ! Толпа, и внемля Богу,
Лишь воплями, какъ звѣрь, умѣетъ отвѣчать.

Н. Минскій.

ПЕЙЗАЖЪ

въ

СОВРЕМЕННОМЪ РУССКОМЪ РОМАНѢ

Въ современной беллетристикѣ, западно-европейской и русской, описанія природы играютъ болѣе важную роль, чѣмъ когда бы то ни было. Каждая литературная школа понимаетъ и примѣняетъ ихъ по своему; каждый выдающійся романистъ—за исключеніемъ немногихъ, сосредоточивающихъ всю свою силу на изображеніи внутренняго міра, психической жизни (Достоевскій, Крестовскій-псевдонимъ) — вноситъ въ нихъ особенности своего направленія и своей натуры. Отсюда интересъ, возбуждаемый вопросомъ о значеніи пейзажа въ изящной литературѣ, о его задачахъ и размѣрахъ, о техническихъ пріемахъ, которыми онъ располагаетъ. Данныхъ, относящихся къ этому вопросу, исторія нашей беллетристики представляетъ уже весьма много—такъ много, что ихъ стоитъ сдѣлать предметомъ особаго этюда. Въ общей характеристикѣ того или другого писателя невольно выдвигаются на первый планъ иныя, болѣе важныя стороны его дѣятельности; даже въ самыхъ обширныхъ монографіяхъ, посвященныхъ, напримѣръ, Тургеневу, его пейзажамъ отведено очень мало мѣста. Остановиться исключительно на описаніяхъ природы, значитъ пріобрѣсти, кромѣ того, возможность сравненія ихъ у различныхъ мастеровъ описательнаго жанра. Чтобы не разбрасываться слишкомъ широко и не выходить изъ той рамки, въ которую заключены наши очерки современнаго русскаго романа, мы ограничимся изученіемъ пейзажа у Гончарова, графа Л. Н. Толстого

и Тургенева. Прежде, чѣмъ приступить къ этому изученію, необходимо, однако, бросить взглядъ на образцы, найденные писателями сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ у своихъ великихъ предшественниковъ, представителей классическаго вѣка нашей литературы.

I.

О какой бы отрасли поэзіи, о какой бы сторонѣ поэтическаго творчества ни шла рѣчь у насъ въ Россіи, всегда приходится вспомнить о Пушкинѣ; къ нему или отъ него идутъ, въ этой области, всѣ дороги, какъ бы многочисленны и разнообразны ни были ихъ позднѣйшія развѣтвленія. Ему принадлежатъ и первыя у насъ истинно-художественныя описанія природы. Въ его прозаическихъ произведеніяхъ они встрѣчаются рѣдко и отличаются большою сжатостью; онъ словно избѣгаетъ ихъ, даже тогда, когда они сами собою просятся подъ перо — напр., въ „Путешествіи въ Арзрумъ“, обнимающемъ собою переѣздъ по самымъ красивымъ мѣстамъ Кавказа. Скалы, ущелья, горные потоки внушили Пушкину нѣсколько прекрасныхъ стихотвореній („Кавказъ“, „Монастырь на Казбекѣ“, „Обвалъ“)—но въ путевыхъ запискахъ впечатлѣніе, ими произведенное, отмѣчается немногими словами, ни разу не составляющими цѣльнаго рисунка („дорога наша сдѣлалась живописна... я поминутно останавливался, пораженный мрачной прелестью природы“, и т. п.). Въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“ пейзажъ отсутствуетъ почти вовсе; въ „Дубровскомъ“, въ „Капитанской дочкѣ“ онъ играетъ роль весьма небольшую. „День былъ ясный и холодный; осенніе листья падали съ деревъ... Онъ (Дубровскій) достигнулъ маленькой лощины, со всѣхъ сторонъ окруженной лѣсомъ; ручеекъ извивался молча около деревьевъ, полуобнаженныхъ осенью... Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ... Солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени“. Сдержанность, скромность такихъ эскизовъ соотвѣтствуетъ общему тону пушкинской прозы, точно протестующей, своею величавою простотою, противъ изысканности и манерности тогдашнихъ модныхъ беллетристовъ. Совершенно иными являются описанія природы въ поэзіи Пушкина; здѣсь онъ даетъ волю своей кисти, воспроизводя, въ яркихъ или нѣжныхъ, но всегда вѣрныхъ краскахъ, существенныя черты поразившей или плѣнившей его картины. Въ этой картинѣ можетъ и не быть ничего необыкновен-

наго, чудеснаго; наравнѣ съ красотами Крыма и Кавказа, наравнѣ съ моремъ и снѣжными горами—или, можетъ быть, еще сильнѣе—дѣйствуетъ на поэта бѣдный сѣверный ландшафтъ, заурядный уголокъ псковскаго или нижегородскаго края. Уже въ „Русланѣ и Людмилѣ“ изображеніе волшебныхъ Черноморовыхъ садовъ стоитъ рядомъ съ унылымъ зимнимъ пейзажемъ. Деревенскій видъ, воспѣтый Пушкинымъ въ ранней молодости („Уединеніе“, 1819 г.), сохраняетъ всю свою прелесть въ глазахъ созрѣвшаго художника („Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли“, 1835 г.). Быть можетъ, раннее знакомство съ южной природой увеличило врожденную воспріимчивость поэта—но оно во всякомъ случаѣ не уменьшило его тяготѣнія къ родной, привычной обстановкѣ. Высшаго совершенства его описательный стихъ достигаетъ не тогда, когда онъ касается „веселыхъ береговъ Салгира“ („Бахчисарайскій фонтанъ“, „Желаніе“) или „двуглаваго колосса—Эльбруса“ („Кавказскій плѣнникъ“), а тогда, когда онъ рисуетъ онѣгинскую деревню, раннюю осень или позднюю весну холодной великорусской равнины. „Миръ вамъ, тревоги прежнихъ лѣтъ“, читаемъ мы въ послѣдней главѣ „Евгенія Онѣгина“:

„Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ...
Другіе дни, другіе сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья...
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи —
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ“...

И дѣйствительно, изъ небогатаго, повидимому, матеріала, искусство поэта извлекаетъ образы неувядаемой прелести, удивительной силы. Припомнимъ, напримѣръ, первые стихи „19-го октября“ (1825 г.): „Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ; сребритъ морозъ увянувшее поле; проглянетъ день какъ будто по неволѣ, и скроется за край окружныхъ горъ“,—или начало седьмой главы „Евгенія Онѣгина“: „Гонимы вешними лучами, съ окрестныхъ горъ уже снѣга сбѣжали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года; синѣя, блещутъ небеса. Еще прозрачные, лѣса какъ будто пухомъ

зеленѣютъ. Долины сохнутъ и пестрѣютъ; стада шумятъ, и соловей ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей". Мы увидимъ ниже, что даже въ этихъ немногихъ отрывкахъ можно найти первообразъ пріемовъ, составляющихъ главную силу Тургенева, какъ пейзажиста; теперь замѣтимъ только, что въ пушкинскихъ описаніяхъ часто просвѣчиваетъ минутное настроеніе поэта, что имъ далеко не чуждъ элементъ субъективный.

„Дни поздней осени бранятъ обыкновенно;
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ...
...Мнѣ нравится она
Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва
Порою нравится. На смертъ осуждена,
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва,
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна...
Унылая пора, очей очарованье,
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса,
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы".

(„Осень", 1830 г.).

Еще тѣснѣе связь между описаніемъ природы и чувствомъ поэта въ обоихъ стихотвореніяхъ, упомянутыхъ выше—въ „Уединеніи" 1819 г. и составляющемъ какъ бы продолженіе къ нему отрывка 1835 г. Страстному юношѣ, полному мечтаній о свободѣ, мирный сельскій видъ напоминаетъ „губительный позоръ" рабства, тяготѣющаго надъ деревней; въ много испытавшемъ и выстрадавшемъ человѣкѣ онъ возбуждаетъ мысль о смерти—ту мысль, которая давно уже преслѣдовала Пушкина и среди „шумныхъ улицъ", и во „многолюдномъ храмѣ". Здѣсь, на склонѣ знакомаго холма, надъ любимымъ озеромъ, эта мысль ему не страшна, она вызываетъ въ немъ спокойныя, свѣтлыя представленія. „Здравствуй, племя младое, незнакомое!"—такъ привѣтствуетъ поэтъ „зеленую семью кустовъ", тѣснящихся подъ сѣнью стариковъ-деревьевъ.

...„Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ

Услышитъ вашъ привѣтный шумъ, когда,
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи
И обо мнѣ вспомянетъ"...

Чѣмъ были пушкинскія описанія для поэзіи, тѣмъ сдѣлались гоголевскія—для прозы. Картина южно-русскихъ степей въ „Тарасѣ Бульбѣ" внесла точно новое откровеніе въ нашу литературу; она показала, чего можно достигнуть безъ ритма и риѳмы, однимъ подборомъ и сочетаніемъ словъ, неотразимо вызывающихъ цѣлый рядъ сильныхъ, глубокихъ впечатлѣній. Попадаются здѣсь, правда, сравненія не совсѣмъ удачныя („вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвѣтовъ",—брызги появляются и исчезаютъ моментально, цвѣты остаются); попадаются выраженія слишкомъ вычурныя или не гармонирующія съ общимъ тономъ картины („каждая травка испускала амбру—вѣтерокъ, обольстительный какъ морскія волны—по небу наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота"); чувствуется, однимъ словомъ, что описательное искусство еще ищетъ, по временамъ, своей настоящей дороги—но чувствуется и то, что оно ее найдетъ и останется ей вѣрнымъ. Описаніе плюшкинскаго сада не оставляетъ уже желать ничего лучшаго. „Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревьевъ. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, островонечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался къ верху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмѣль, глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ наконецъ вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревьевъ, или же висѣлъ на воздухѣ, завязывая кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ". Есть у Гоголя описанія и другого рода, въ которыхъ онъ меньше останавливается на деталяхъ, меньше заботится о художественной ихъ отдѣлкѣ; все изображеніе исчерпывается немногими штрихами — но эти штрихи выбраны такъ мѣтко, проведены съ такимъ искусствомъ, что воображеніе чита-

телей безъ труда соединяетъ ихъ въ одно цѣлое и пополняетъ ихъ пробѣлы. Таково, напримѣръ, вступленіе къ „Старосвѣтскимъ помѣщикамъ“, таковъ абрисъ маниловской усадьбы. Иногда автору довольно нѣсколькихъ словъ, чтобы предъ нами обрисовалась знакомая картина. „Едва только ушелъ назадъ городъ, какъ уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обѣимъ сторонамъ дороги; кочки, ельникъ, низенькіе жиденькіе кусты молодыхъ сосенъ, обгорѣлые стволы старыхъ, дикій вересъ и тому подобный вздоръ“. Характеристика обычнаго великорусскаго пейзажа отзывается здѣсь слегка юмористическимъ оттѣнкомъ; но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы уроженцу Малороссіи была недоступна своеобразная прелесть этого пейзажа. Ея не затмило въ памяти Гоголя даже итальянское небо; знаменитое обращеніе его къ Руси идетъ изъ „чуднаго, прекраснаго далека“. „Бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія ея дива, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства... Открыто, пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ?“... Не чуждой этому влеченію была, можетъ быть, уже и въ то время мистическая жилка, немного лѣтъ спустя овладѣвшая всѣмъ существомъ Гоголя; но въ основаніи его лежало, безъ сомнѣнія, живое чувство любви къ скудной, однообразной русской природѣ.

Тѣмъ же чувствомъ былъ проникнутъ Лермонтовъ – и мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что оно развивалось и крѣпло въ немъ рука объ руку съ его дарованіемъ. Кавказъ произвелъ на Лермонтова впечатлѣніе еще болѣе сильное, чѣмъ на Пушкина; могучее обаяніе то дикой, то роскошной природы слышится и въ „Дарахъ Терека“, и въ „Мцыри“, и въ „Героѣ нашего времени“. „Я люблю скакать на горячей лошади, — говоритъ Печоринъ,—по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горесть ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство ни томило мысль, все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубого неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ“. Чтобы отдаться всецѣло во власть природы, поэту нужны еще, такимъ образомъ, очарованія южнаго солнца, голубого неба. Скоро,

однако, наступаетъ перемѣна, аналогичная съ той, которая произошла въ Пушкинѣ; воспоминаніе о далекой родинѣ беретъ верхъ надъ блескомъ окружающей обстановки, и въ одномъ изъ предсмертныхъ стихотвореній Лермонтова громко звучитъ та же нота, которую мы слышали въ послѣдней главѣ „Евгенія Онѣгина“. „Я люблю,— восклицаетъ поэтъ, обращаясь къ отчизнѣ, —за что, не знаю самъ, ея степей холодное молчанье, ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье, разливы рѣкъ ея, подобные морямъ; люблю дымокъ спаленной жнивы, въ степи кочующій обозъ и на холмѣ, средь желтой нивы, чету бѣлѣющихъ березъ“ („Родина“, 1841). Ничего чрезвычайнаго, ничего эффектнаго нѣтъ въ тѣхъ картинахъ, которыми внушены „Когда волнуется желтѣющая нива“, „Первое января“, „Выхожу одинъ я на дорогу“ —но мы обязаны имъ превосходными страницами лермонтовской поэзіи.

„И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сѣтью травъ подернутъ спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится—и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами“.

На одномъ уровнѣ съ такими поэтическими картинами прозаическія описанія Лермонтова стоятъ рѣдко—но въ нашихъ глазахъ они особенно важны, какъ матеріалъ для сравненій. „Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшенныя зеленымъ плющемъ и увѣнчанныя купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ, а внизу Арагва, обнявшись съ другой безъименной рѣкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полнаго мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаетъ, какъ змѣя, своею чешуею... Хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли по мѣрѣ того, какъ блѣдноватый отблескъ востока разливается по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутыя отлогости горъ, покрытыя дѣвственными снѣгами. На-право и на-лѣво чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ сосѣднихъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дня... Голова Машука дымилась, какъ загашенный факелъ; кругомъ его вились и ползали, какъ змѣи, сѣрые клочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремленіи и будто

зацѣпившіеся за колючій его кустарникъ". Вотъ еще одно описаніе, болѣе другихъ запечатлѣнное субъективнымъ элементомъ. „Я не помню утра болѣе голубого и свѣжаго, — говоритъ Печоринъ, отмѣчая впечатлѣнія свои передъ дуэлью.—Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодого дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ дыханіи вѣтра осыпали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню— въ этотъ разъ, больше, чѣмъ когда-нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широкомъ листкѣ виноградномъ и отражавшую милліоны радужныхъ лучей! Какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился ýже, утесы синѣе и страннѣе, и наконецъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной..."

Приведенные нами примѣры напоминаютъ съ достаточною наглядностью о богатомъ наслѣдствѣ, найденномъ, на занимающей насъ дорогѣ—какъ и на всѣхъ почти другихъ, — тѣмъ поколѣніемъ русскихъ беллетристовъ, которое выступило на сцену послѣ 1840 г. Чтобы пользоваться такимъ наслѣдствомъ, не нужно быть подражателемъ; оно входитъ, большею частью незамѣтно для самого писателя, въ составъ силъ, съ которыми онъ начинаетъ свою работу, оно служитъ исходной точкой дальнѣйшаго движенія, залогомъ новыхъ пріобрѣтеній. Какъ ни различенъ пейзажъ у Гончарова, графа Л. Толстого и Тургенева, общей его чертой является близость къ почвѣ, разработанной Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Гоголемъ.

II.

Рѣже всего описанія природы встрѣчаются у Гончарова. Разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ „Обыкновенной исторіи", они сосредоточиваются во второмъ большомъ романѣ автора, почти всецѣло въ „Снѣ Обломова", и окончательно отступаютъ на задній планъ въ „Обрывѣ". Психическая жизнь, не только въ кульминаціонныхъ ея пунктахъ, но и въ постепенномъ, медленномъ ея теченіи—вотъ любимая область Гончарова. Отсюда преобладаніе длинныхъ бесѣдъ, развертывающихъ передъ нами всѣ из-

гибы чувства или мысли; отсюда обиліе ретроспективныхъ взглядовъ, воспроизводящихъ, иногда съ величайшею подробностью, прошедшее героя. Внимательно слѣдя за актерами, отмѣчая каждый ихъ шагъ, каждое движеніе, Гончаровъ именно потому не всегда обращаетъ вниманіе на декораціи; внѣшняя обстановка дѣйствія изучается и изображается имъ, въ большинствѣ случаевъ, настолько, насколько она налагаетъ свою печать на дѣйствующее лицо или, наоборотъ, носитъ на себѣ его отпечатокъ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ обстановка, созданная или по крайней мѣрѣ измѣненная человѣкомъ, важнѣе обстановки, существующей помимо его воли; неудивительно, что описаніямъ дома, квартиры, комнаты, образа жизни Гончаровъ отводитъ гораздо больше мѣста, чѣмъ описаніямъ природы. Какъ случайный фонъ картины, какъ приставка къ разсказу, не соединенная съ нимъ необходимою связью, пейзажъ отсутствуетъ въ романахъ Гончарова почти совершенно. Не лишено значенія и то обстоятельство, что въ „Обыкновенной исторіи", въ „Обломовѣ" главнымъ мѣстомъ дѣйствія является городъ, да еще такой городъ какъ Петербургъ, очень мало дающій пейзажисту. Въ „Обрывѣ" дѣйствіе скоро переносится изъ столицы въ деревню—но она не выступаетъ передъ нами ни въ общемъ очеркѣ, ни въ совокупности небольшихъ описаній. Объясняется ли это тѣмъ, что продолжительное житье въ городѣ заслонило, въ глазахъ автора, воспоминанія о деревнѣ, или тѣмъ, что онъ больше чѣмъ когда-нибудь погрузился въ личную жизнь своихъ созданій—мы рѣшить не беремся; несомнѣнно только то, что мы не видимъ ни усадьбы Райскаго, ни даже обрыва, давшаго названіе роману. „Подлѣ огромнаго развѣсистаго вяза, съ сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; тамъ рябина; тамъ шла кучка липъ, хотѣла-было образовать аллею, да вдругъ ушла въ лѣсъ и братски перепуталась съ ельникомъ, березнякомъ. И вдругъ все кончилось обрывомъ, поросшимъ кустами, идущими почти на полверсты берегомъ до Волги... Ту часть сада, которая шла съ обрыва по горѣ, давно забросили... Деревья изъ сада смѣшались съ ельникомъ и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое мѣсто, въ которомъ пряталась заброшенная, полуразвалившаяся бесѣдка... Волга задумчиво текла въ берегахъ, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтѣли песчаные бока горъ, а на нихъ синѣлъ лѣсъ"... Если прибавить къ этому нѣсколько небольшихъ, кое-гдѣ брошенныхъ картинокъ („На горизонтѣ скопились удалявшіяся облака и только высоко надъ головой слабо мерцали

кое-гдѣ звѣзды"... „Аллеи представлялись темными корридорами, но открытыя мѣста, поблекшій цвѣтникъ, огородъ, все пространство сада, лежащее передъ домомъ, освѣщалось косвенными лучами выплывшей на горизонтъ луны"), то мы исчерпаемъ весь запасъ описаній, представляемыхъ „Обрывомъ". Авторъ, очевидно, не придаетъ имъ значенія, не ищетъ ихъ, иногда даже обходитъ, когда поводъ къ нимъ вытекаетъ изъ самаго разсказа. Райскій говоритъ бабушкѣ, что идетъ на Волгу „посмотрѣть грозу" —но за этимъ слѣдуетъ не художественная картина грозы, а юмористическій перечень ощущеній, заставляющихъ Райскаго раскаяться въ своемъ „артистическомъ намѣреніи".

Чтобы найти у Гончарова настоящее описаніе грозы, нужно возвратиться къ „Обыкновенной исторіи". Оно принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ картинъ природы, которыя нарисованы нашимъ авторомъ, если можно такъ выразиться, изъ-за нихъ самихъ, а не въ видѣ дополненія къ характеристикѣ того или другого лица, того или другого типа. Замѣчательно, что въ описаніе переносятся здѣсь, насколько это возможно, тѣ пріемы, которые свойственны Гончарову, какъ психологу и портретисту. Онъ изображаетъ грозу не какъ живописецъ, воспроизводящій одинъ ея моментъ, во всей его полнотѣ, со всѣми отличительными его чертами; онъ скорѣе разсказываетъ ее, слѣдя за ней отъ начала до конца, постоянно иллюстрируя ее указаніемъ ея дѣйствія на людей и животныхъ. Это точно представленіе въ нѣсколькихъ актахъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другого промежутками безмолвія и тишины. „Вотъ отъ лѣсу, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣтерокъ, повѣялъ прохладой въ лицо путнику, пошумѣлъ по листьямъ, захлопнулъ мимоходомъ ворота въ избѣ и, вскрутя пыль на улицѣ, затихъ въ кустахъ. Слѣдомъ за нимъ мчится бурный вихрь, медленно двигая по дорогѣ столпъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, сбросилъ нѣсколько гнилыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную кровлю, взвилъ юбку у несущей воду крестьянки и погналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая имъ хвосты". Изъ такого же ряда смѣняющихся образовъ слагается, въ „Обломовѣ", превосходное описаніе тихой лѣтней ночи. Мы словно присутствуемъ при угасаніи свѣта, при умолканіи птицъ и насѣкомыхъ, при сліяніи отдѣльныхъ предметовъ въ одну темную массу, при всеобщемъ, торжественномъ замираніи природы. „Пѣніе птицъ постепенно ослабѣвало; вскорѣ онѣ совсѣмъ замолкли, кромѣ одной какой-то упорной, которая, будто наперекоръ всѣмъ, среди общей тишины, одна монотонно чирикала съ промежутками, но все рѣже и рѣже; и та, наконецъ,

свиснула слабо, незвучно, въ послѣдній разъ, встрепенулась, слегка пошевеливъ листья вокругъ себя... и заснула". Гармоничность рѣчи доведена здѣсь до высокой степени; невольно вспоминается какое-то красивое музыкальное decrescendo, оканчивающееся едва слышнымъ аккордомъ. Впечатлѣніе довершается легкой примѣсью фантастическаго элемента. „Становилось все темнѣе и темнѣе. Деревья сгруппировались въ какихъ-то чудовищъ; въ лѣсу стало страшно: тамъ кто-то вдругъ заскрипитъ, точно одно изъ чудовищъ переходитъ съ мѣста на мѣсто, и сухой сучокъ, кажется, хруститъ подъ его ногой"...

Отдѣлите страницы, только что указанныя нами, отъ разсказа, въ составъ котораго онѣ входятъ — онѣ сохранятъ все свое значеніе, всю свою силу. Нельзя сказать того же самаго о другихъ описаніяхъ природы, неразрывно связанныхъ съ дѣйствіемъ или дѣйствующимъ лицомъ. Возьмемъ, напримѣръ, рядъ картинъ, которыми начинается „Сонъ Обломова"; сами по себѣ онѣ не вызываютъ въ насъ яркихъ, опредѣленныхъ представленій — но какъ декораціи „обломовщины", какъ изображеніе среды, подъ вліяніемъ которой выросъ Илья Ильичъ и выростали тысячи другихъ Обломовыхъ, онѣ ничѣмъ незамѣнимы. Все дышетъ здѣсь невозмутимымъ спокойствіемъ, все облито ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ, все располагаетъ къ безмятежности и нѣгѣ. Не останавливаясь на частностяхъ, больше намекая, заставляя угадывать, чѣмъ показывая или рисуя, авторъ переноситъ и погружаетъ насъ въ тотъ міръ, изъ-подъ власти котораго никогда не могъ освободиться Обломовъ. „Небо тамъ распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ родительская кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ. Солнце тамъ ярко и жарко свѣтитъ около полугода и потомъ удаляется отуда не вдругъ, точно нехотя, какъ будто оборачивается назадъ взглянуть еще разъ или два на любимое мѣсто и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день. Горы тамъ какъ будто только модели тѣхъ страшныхъ гдѣ-то воздвигнутыхъ горъ, которыя устрашаютъ воображеніе. Это рядъ отлогихъ холмовъ, съ которыхъ пріятно кататься, рѣзвясь, на спинѣ, или, сидя на нихъ, смотрѣть въ раздумьѣ на заходящее солнце. Рѣка бѣжитъ весело, шаля и играя; она то разольется въ широкій прудъ, то стремится быстрой нитью, или присмиритъ, будто задумавшись, и чуть-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рѣзвые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлется"... Похожа на Обломовку и адуевская усадьба — только она намъ какъ будто не такъ близка и знакома, можетъ быть потому, что

она изображена болѣе точными, но менѣе характерными чертами. „Отъ дома на далекое пространство раскидывался садъ изъ старыхъ липъ, густого шиповника, черемухи и кустовъ сирени. Между деревьями пестрѣли цвѣты, бѣжали въ разныя стороны дорожки, далѣе тихо плескалось въ берега озеро, облитое къ одной сторонѣ золотыми лучами утренняго солнца и гладкое, какъ зеркало; съ другой—темно-синее, какъ небо, которое отражалось въ немъ, и едва подернутое зыбью. А тамъ нивы съ волнующимися, разноцвѣтными хлѣбами шли амфитеатромъ и примыкали къ темному лѣсу". Съ помощью этихъ данныхъ легче, пожалуй, нарисовать планъ адуевской усадьбы, чѣмъ вызвать въ воображеніи устойчивый, опредѣленный ея образъ, ясно выдѣляющійся изъ массы русскихъ деревенскихъ видовъ.

Особенно воспріимчивый и чуткій къ мирнымъ пейзажамъ, къ спокойствію и сну природы, авторъ „Обыкновенной Исторіи" не могъ не испытать на себѣ своеобразнаго обаянія петербургскихъ бѣлыхъ ночей, воспѣтыхъ и Гнѣдичемъ въ „Рыбакахъ", и Пушкинымъ въ „Онѣгинѣ". Описаніе такой ночи переплетено чрезвычайно удачно съ первыми проблесками любви Адуева и Надиньки. „Нева точно спала; изрѣдка, будто въ просонкахъ, она плеснетъ легонькой волной въ берегъ и замолчитъ. А тамъ откуда ни возьмется поздній вѣтерокъ, пронесется надъ сонными водами, но не сможетъ разбудить ихъ, а только зарябитъ поверхность и повѣетъ прохладой на Надиньку и Александра, или принесетъ имъ звукъ дальней пѣсни—и снова все смолкнетъ, и опять Нева неподвижна, какъ спящій человѣкъ, который при легкомъ шумѣ откроетъ на минуту глаза и тотчасъ снова закроетъ; и сонъ пуще сомкнетъ его отяжелѣвшія вѣки. Потомъ со стороны моста послышится какъ будто отдаленный громъ, а вслѣдъ затѣмъ лай сторожевой собаки съ ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный сводъ и чуть-чуть, безъ шума, качали вѣтвями". Нисколько не уменьшаютъ прелесть картины и тѣ мечты, которыя она навѣваетъ на автора. „Что особеннаго тогда носится въ этомъ тепломъ воздухѣ? Какая тайна пробѣгаетъ по цвѣтамъ, по деревьямъ, по травѣ, и вѣетъ неизъяснимой нѣгой на душу? Зачѣмъ въ ней тогда рождаются иныя мысли, иныя чувства, нежели въ шумѣ среди людей?"... Дальше идетъ, къ сожалѣнію, подчеркиванье, формулированіе того, что вытекаетъ само собою изъ поэтическихъ образовъ, вызванныхъ художникомъ: „а какая обстановка для любви въ этомъ сумракѣ, въ безмолвныхъ деревьяхъ, благоухающихъ цвѣтахъ и уединеніи!" Лучше было бы, еслибы это пришло на мысль самому читателю. Еще

меньше гармонируютъ съ предъидущимъ заключительныя слова автора: „какъ могущественно все настроивало умъ къ мечтамъ, сердце къ тѣмъ рѣдкимъ ощущеніямъ, которыя во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими безполезными, неумѣстными и смѣшными отступленіями... да! безполезными, а между тѣмъ, въ тѣ минуты душа только и постигаетъ смутно возможность счастья, котораго такъ усердно ищутъ въ другое время и не находятъ". Совершенно правильное и мѣткое само по себѣ, это размышленіе слишкомъ далеко отъ настроенія, только-что возбужденнаго чарующею картиной.

III.

У графа Л. Толстого, какъ и у Гончарова, описаній природы чѣмъ дальше, тѣмъ меньше—но здѣсь эта перемѣна рѣзче бросается въ глаза, потому что въ раннихъ произведеніяхъ Толстого пейзажъ играетъ гораздо большую роль, чѣмъ въ „Обыкновенной Исторіи" и „Обломовѣ". Въ „Дѣтствѣ", „Отрочествѣ" и „Юности" близость автора къ природѣ чувствуется на каждомъ шагу; онъ живетъ вмѣстѣ съ нею и она живетъ съ нимъ, точно раздѣляя его радость и его горе. Впечатлѣнія прошлыхъ лѣтъ воскресаютъ въ памяти автора именно съ той окраской, которую они тогда имѣли; онъ видитъ природу то какъ ребенокъ, безпечно наслаждающійся настоящей минутой или смутно чувствующій ея тяжесть, то какъ юноша, открывающій въ себѣ самомъ— а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всемъ окружающемъ — новыя стороны, прежде небывалыя или несуществовавшія для сознанія. Прочтите въ „Дѣтствѣ" начало главы, озаглавленной: „Охота" — и васъ охватитъ давно, можетъ быть, забытое ощущеніе безотчетнаго, наивнаго веселья, точно вливающагося во всѣ поры вашего организма. „Говоръ народа, топотъ лошадей и телѣгъ, веселый свистъ перепеловъ, жужжанье насѣкомыхъ, которыя неподвижными стаями вились въ воздухѣ, запахъ полыни, соломы и лошадинаго пота, тысячи различныхъ цвѣтовъ и тѣней, которыя разливало палящее солнце по свѣтло-желтому жнивью, синей дали лѣса и бѣло-лиловымъ облакамъ, бѣлыя паутины, которыя носились въ воздухѣ или ложились по жнивью — все это я видѣлъ, слышалъ и чувствовалъ". Цвѣта, звуки, запахи сливаются здѣсь въ одно цѣлое, соединительнымъ звеномъ котораго служитъ „радость жизни", полнота бытія, точно сосредоточившагося въ одномъ безсознательно-счастливомъ моментѣ. Тѣмъ же характеромъ отли-

чаются дорожныя картины въ первой главѣ „Отрочества“ — картины, эффектно смѣняемыя описаніемъ грозы, ея приближенія, разгара, ея послѣднихъ раскатовъ. Иногда автору достаточно немногихъ словъ, чтобы вставить разсказъ въ подходящую къ нему рамку. Николинька сидитъ у окна, въ ожиданіи отъѣзда изъ деревни — того отъѣзда, который долженъ былъ навсегда разлучить его съ матерью. „Во всемъ воздухѣ была какая-то пыльная мгла; горизонтъ былъ сѣроливоваго цвѣта; но ни одной тучки не было на небѣ. Сильный западный вѣтеръ поднималъ столбами пыль съ полей и дорогъ, шумъ высокихъ липъ и березъ сада и далеко относилъ падавшіе, желтые листья“. Кто изъ насъ не знаетъ, по собственному опыту, какъ глубоко врѣзывается въ память печальная обстановка печальной минуты, какъ крѣпка и неразрывна внутренняя связь, соединяющая ту и другую? Пейзажъ, въ такихъ случаяхъ — болѣе чѣмъ фонъ картины; онъ составляетъ необходимую ея принадлежность.

Въ „Юности“ не даромъ преобладаютъ описанія весны и ранняго лѣта; они знаменуютъ собою этапы того пути, которымъ идетъ сердце, пробуждающееся къ новой жизни. „Былъ тотъ особенный періодъ весны“, читаемъ мы во второй главѣ, „который сильнѣе всего дѣйствуетъ на душу человѣка: яркое, на всемъ блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свѣжесть въ воздухѣ и нѣжно-голубое небо съ длинными, прозрачными тучками. Не знаю почему, но мнѣ кажется, что въ большомъ городѣ еще ощутительнѣе и сильнѣе на душу вліяніе этого перваго періода весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь... Мокрая земля, по которой кой-гдѣ выбивали яркозеленыя иглы травы, съ желтыми стебельками, блестящіе на солнцѣ ручьи, по которымъ вились кусочки земли и щепки, закраснѣвшіеся прутья сирени съ вспухлыми почками, качавшимися подъ самымъ окошкомъ, хлопотливое чиликанье птичекъ, копошившихся въ этомъ кустѣ, мокрый отъ таявшаго на немъ снѣга черноватый заборъ, а главное — этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце — говорили мнѣ внятно, ясно о чемъ-то новомъ и прекрасномъ“... Это общеніе съ природой дорисовано въ цѣломъ рядѣ прелестныхъ картинъ, заканчивающихся наступленіемъ осени. Настроеніе юноши, глазами котораго мы на нихъ смотримъ, чувствуется вездѣ, но не мѣшаетъ намъ видѣть и самый пейзажъ, его волновавшій. „Въ воздухѣ было совершенно тихо и пахло свѣжестью; зелень деревьевъ, листьевъ и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждая травка, каждый листъ жили своею отдѣльною, полною и счастливою жизнью“...

„Я смотрѣлъ въ садъ, слушалъ звуки ночи и мечталъ о любви и счастіи. Тогда все получало для меня другой смыслъ: и видъ старыхъ березъ, блестѣвшихъ, съ одной стороны, на лунномъ небѣ своими кудрявыми вѣтвями, съ другой — мрачно застилавшихъ кусты и дорогу своими черными тѣнями, и спокойный, пышный, равномѣрно какъ звукъ возраставшій блескъ пруда, и лунный блескъ капель росы на цвѣтахъ, и звукъ перепела за прудомъ, и тихій, чуть слышный скрипъ двухъ старыхъ березъ другъ о друга, и паденіе зацѣпившагося за вѣтку яблока на сухіе листья —все это получало для меня странный смыслъ—смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья“... Много общаго съ этими картинами представляютъ описанія природы въ „Двухъ гусарахъ“, въ „Семейномъ счастьѣ“. Тихая лѣтняя ночь вызываетъ и въ Лизѣ, и въ Марьѣ Александровнѣ сладкія грезы о любви, о счастьѣ. Превосходно изображены Толстымъ тѣ рѣдкія, блаженныя минуты, когда все, въ самомъ человѣкѣ и кругомъ него, дышитъ нѣгою и покоемъ, когда теряется сознаніе границы между дѣйствительностью и мечтою, когда давно знакомое производитъ впечатлѣніе чего-то чудеснаго и новаго. „Въ аллеяхъ свѣтъ и тѣнь сливались такъ, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами... Когда я смотрѣла впередъ по аллеѣ, по которой мы шли, мнѣ все казалось, что туда дальше нельзя было идти, что тамъ кончился міръ возможнаго, что все это навсегда должно быть заковано въ своей красотѣ. Но мы подвигались и волшебная стѣна красоты раздвигалась, впускала насъ... снова замыкалась, и я переставала вѣрить въ то, что можно идти еще дальше, переставала вѣрить во все, что было“. Въ томъ же родѣ—и такъ же художественно закончена—картина, предпосланная послѣдней сценѣ „Семейнаго счастья“. Природа „ждетъ тихаго весенняго дождика“, и вмѣстѣ съ нею чего-то ждетъ, о чемъ-то жалѣя, героиня романа.

Рядомъ съ описаніями, насквозь проникнутыми субъективнымъ элементомъ, въ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого встрѣчаются страницы другого рода, не столь тѣсно соединенныя съ дѣйствіемъ. Сюда относится, напримѣръ, изображеніе любимаго вида княгини Нехлюдовой („Юность“) или озера четырехъ кантоновъ, какимъ оно представляется изъ Люцерна („Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова“). До чего могло дойти, на этой дорогѣ, дарованіе писателя —объ этомъ всего лучше можно судить по картинѣ паденія срубленнаго дерева въ разсказѣ: „Три смерти“. „На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще падавшей, неосвѣщенной соли-

цемъ росы. Ни одна травка внизу, ни одинъ листъ на верхней вѣтви дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ дерева, или шелеста по землѣ, нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ разнесся, и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ и равномѣрно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза, и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево. Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше... Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь, на своемъ корнѣ. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свиснула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями. Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя побѣлѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по синѣвшему своду. Птицы гомозились въ чащѣ и, какъ потерянныя, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ". Нигдѣ гр. Толстой не подходитъ такъ близко къ тургеневской манерѣ, оставаясь, безъ сомнѣнія, вполнѣ самимъ собою; ни одна изъ написанныхъ имъ картинъ природы не приближается настолько къ типу чистохудожественнаго описанія. Правда, смерть дерева не даромъ сопоставлена съ смертью людей — но прелесть образа не зависитъ здѣсь отъ скрывающейся въ немъ идеи.

Въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ гр. Толстого мы встрѣчаемся въ первый разъ съ тѣмъ родомъ описаній, который почти одинъ находитъ себѣ мѣсто въ позднѣйшихъ произведеніяхъ автора: это, если можно такъ выразиться, описанія мимоходомъ, не останавливающія дѣйствія, вставленныя въ его промежутки, иногда просто идущія съ нимъ рядомъ, иногда бросающія на него отраженный свѣтъ, но всегда сжатыя, безъискусственныя, отличающіяся крайней простотой пріемовъ. Вотъ, напримѣръ, легкіе эскизы трехъ моментовъ туманнаго дня, въ который проис-

ходитъ „рубка лѣса“. „Свѣтлый кругъ солнца, просвѣчивающій сквозь молочно-бѣлый туманъ, уже поднялся довольно высоко; сѣро-лиловый горизонтъ постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также рѣзко ограничивался обманчивою бѣлою стѣною тумана... Туманъ уже совершенно поднялся и, принимая формы облаковъ, постепенно исчезалъ въ темно-голубой синевѣ неба. Въ воздухѣ слышалась свѣжесть утренняго мороза, вмѣстѣ съ тепломъ весенняго солнца; тысячи различныхъ тѣней и цвѣтовъ мѣшались въ сухихъ листьяхъ лѣса, и на торной глянцевитой дорогѣ отчетливо виднѣлись слѣды шинъ и подковныхъ шиповъ... Начинало смеркаться. По небу ползли сине-бѣловатыя тучи. Туманъ, превратившійся въ мелкую сырую мглу, мочилъ землю и солдатскія шинели; горизонтъ съуживался и вся окрестность принимала мрачныя тѣни“. Въ севастопольскихъ разсказахъ очень мало даже такихъ описаній; страшная серьезность предмета поглощаетъ писателя и не оставляетъ мѣста для отступленій. Въ „Казакахъ“ описанія природы встрѣчаются нерѣдко и достигаютъ иногда довольно обширныхъ размѣровъ, но характеръ ихъ, большею частью, тотъ же, какъ и въ кавказскихъ военныхъ разсказахъ. Иногда они имѣютъ цѣлью дать понятіе о мѣстности, какою она является въ тотъ или другой моментъ дня, въ то или другое время года (см., напримѣръ, изображеніе станицы подъ палящимъ августовскимъ солнцемъ, въ гл. 29-ой, или выступленіе казаковъ утромъ пасмурнаго осенняго дня, въ гл. 40-ой)—и средствомъ къ достиженію цѣли служитъ простой перечень главныхъ особенностей картины. Авторъ, очевидно, не заботится о художественности описаній, допускаетъ въ нихъ по временамъ даже явную небрежность („въ прудѣ оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда“). Съ настроеніемъ дѣйствующаго лица описанія связываются рѣдко—но когда эта связь существуетъ, она всегда способствуетъ оживленію картины (ночное „сидѣнье“ Луки надъ Терекомъ, страхъ, овладѣвающій Олениным въ чащѣ лѣса).

Въ „Войнѣ и мирѣ“ пейзажъ играетъ еще болѣе скромную роль, чѣмъ въ „Казакахъ“; преобладаютъ, опять таки, описанія „мимоходомъ“, но и ихъ сравнительно немного. „Солнце совсѣмъ вышло изъ-за тучъ; красивый звукъ одинокаго выстрѣла и блескъ яркаго солнца слились въ одно бодрое и веселое впечатлѣніе... Разорванныя сине-лиловыя тучи, краснѣя на восходѣ, быстро гнались вѣтромъ. Становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе. Ясно виднѣлась та курчавая травка, которая засѣдаетъ всегда по проселочнымъ дорогамъ, еще мокрая отъ вчерашняго дождя; висячія вѣтви березъ, тоже мокрыя, качались отъ вѣтра и роняли въ

бокъ отъ себя свѣтлыя капли". Иногда описаніе до такой степени сливается съ разсказомъ, что отдѣлить одно отъ другого едва ли возможно; туманъ, напримѣръ, является точно участникомъ сраженія при Аустерлицѣ, панорама бородинскаго поля развертывается передъ нами вмѣстѣ съ ощущеніями Пьера въ различные моменты битвы. Въ „Аннѣ Карениной" описанія природы—весьма немногочисленныя—связаны почти всѣ съ ходомъ дѣйствія. Картины весны и лѣта въ деревнѣ служатъ какъ бы рамкой для сельскихъ работъ и предпріятій Левина. „Левинъ оглянулся вокругъ себя и не узналъ мѣста, такъ все перемѣнилось. Огромное пространство луга было скошено и блестѣло особеннымъ, новымъ блескомъ, со своими уже пахнущими рядами, на вечернихъ косыхъ лучахъ солнца. И окошенные кусты у рѣки, и сама рѣка, прежде не видная, а теперь блестящая сталью въ своихъ извивахъ, и движущійся и поднимающійся народъ, и крутая стѣна травы недокошеннаго мѣста луга, и ястреба, вившіеся надъ оголеннымъ лугомъ, все это было совершенно ново". Господствующее здѣсь впечатлѣніе—впечатлѣніе неожиданности, новизны — обусловливается и вызывается всѣмъ предъидущимъ. Сначала занятому, потомъ утомленному косьбою Левину некогда было раньше любоваться окружающимъ его видомъ; картина скошеннаго луга поражаетъ его именно въ ту минуту, когда онъ просыпается отдохнувшій, освѣженный, весь проникнутый радостнымъ ощущеніемъ исполненнаго и еще предстоящаго труда. Съ удивительной силой таинственное общеніе природы и человѣка выступаетъ на видъ въ описаніи той лѣтней ночи, которая рѣшила участь Левина. „Какъ красиво!—подумалъ Левинъ, глядя на странную, точно перламутровую раковину изъ бѣлыхъ барашковъ-облачковъ, остановившуюся надъ самою головой его на серединѣ неба. — Какъ все прелестно въ эту прелестную ночь! И когда успѣла образоваться эта раковина? Недавно я смотрѣлъ на небо, и на немъ ничего не было—только двѣ бѣлыя полосы". Неожиданная встрѣча съ Кити даетъ другое направленіе мыслямъ и чувствамъ Левина. „Онъ взглянулъ на небо, надѣясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался... На небѣ не было и слѣда раковины, а былъ ровный, растилавшійся по цѣлой половинѣ неба коверъ все умельчающихся и умельчающихся барашковъ. Небо поголубѣло и просіяло; и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосягаемостью отвѣчало на его вопрошающій взглядъ". Одинъ и тотъ же свѣжій осенній день дѣйствуетъ различно на Анну и на Вронскаго. „Остановившись и взглянувъ на колебавшіяся отъ вѣтра вершины осины съ обмытыми, ярко

блистающими на холодномъ солнцѣ листьями, она поняла, что они не простятъ, что все и всѣ къ ней теперь будутъ безжалостны, какъ это небо, какъ эта зелень... Все, что онъ (Вронскій) видѣлъ въ окно кареты, все, въ этомъ холодномъ чистомъ воздухѣ, на этомъ блѣдномъ свѣтѣ заката, было такъ же свѣжо, весело и сильно, какъ и онъ самъ: и крыши домовъ, блестящія въ лугахъ спускавшагося солнца, и неподвижная зелень деревъ и травъ, и поля съ правильно прорѣзанными бороздами картофеля, и косыя тѣни, падавшія отъ домовъ и отъ деревъ, и отъ кустовъ, и отъ самыхъ бороздъ картофеля. Все было красиво, какъ хорошенькій пейзажъ, только что оконченный и покрытый лакомъ". Вотъ еще одно прелестное мѣсто въ томъ же родѣ: „развѣ не молодость было то чувство, которое онъ (Сергѣй Иванычъ) испытывалъ теперь, когда, выйдя на край лѣса, онъ увидѣлъ граціозную фигуру Вареньки, шедшей легкимъ шагомъ мимо ствола старой березы, и когда это впечатлѣніе вида Вареньки слилось въ одно съ поразившимъ его своей красотой видомъ облитаго косыми лучами желтѣющаго овсянаго поля, и за полемъ далекаго стараго лѣса, испещреннаго желтизною, тающаго въ синей дали?..".

Почему описанія природы, оторванныя отъ дѣйствія, цѣнныя и значительныя сами по себѣ, въ силу своей художественной отдѣлки, исчезаютъ, съ начала шестидесятыхъ годовъ, изъ произведеній гр. Л. Толстого—объ этомъ можно догадаться, если сличить между собою слѣдующіе отрывки изъ „Юности" и изъ „Анны Карениной." „Я сказалъ, указывая на заходящее солнце,—говоритъ Николай Иртеньевъ въ „Юности",—Дмитрій, посмотри какая прелесть!.. Дмитрій вообще былъ хладнокровенъ къ природѣ. Природа дѣйствовала на него совсѣмъ иначе, чѣмъ на меня, она дѣйствовала на него не столько красотой, сколько занимательностью, онъ любилъ ее болѣе умомъ, чѣмъ чувствомъ"... „Сергѣй Ивановичъ,—читаемъ мы въ „Аннѣ Карениной",—любовался все время красотой заглохшаго отъ листвы лѣса, указывая брату (Левину) то на темную съ тѣнистой стороны, пестрѣющую желтыми прилистниками, готовящуюся къ цвѣту, старую липу, то на изумрудомъ блестящіе молодые побѣги деревъ нынѣшняго года. Константинъ Левинъ не любилъ говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту съ того, что онъ видѣлъ". Мы едва ли ошибемся, если предположимъ, что въ лицѣ Николая Иртеньева и Константина Левина здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, слѣдуетъ видѣть самого автора. Прежде графъ Толстой

допускалъ возможность изобразить словами красоты природы; онъ указывалъ на нихъ читателямъ, подобно тому, какъ Иртеньевъ указывалъ Нехлюдову на прелесть заходящаго солнца [1]). Впослѣдствіи времени указанія этого рода стали представляться ему недостигающими цѣли или производящими впечатлѣніе противоположное тому, къ возбужденію котораго они направлены. Сообразно съ этимъ, описанія природы становились у него все рѣже, проще и короче, облекаясь въ поэтическія краски лишь тогда, когда служили оправой, рамкой для личнаго чувства. Это было, можетъ быть, первымъ признакомъ, первымъ выраженіемъ другой, болѣе глубокой перемѣны въ міросозерцаніи великаго писателя. Прежде, чѣмъ извѣриться въ искусство вообще, графъ Толстой извѣрился въ одну отрасль, въ одну сторону его.

IV.

Пейзажистомъ по преимуществу, между нашими романистами, безъ сомнѣнія долженъ быть названъ Тургеневъ. Ни у кого описанія природы не играютъ такой выдающейся роли, ни у кого не отличаются они такимъ разнообразіемъ, такою жизненностью, такою безукоризненностью формы. Все соединилось для того, чтобы сдѣлать Тургенева мастеромъ описательнаго жанра. Сроднившись еще въ дѣтствѣ съ великорусской деревней, горячо полюбивъ великорусскій пейзажъ, онъ рано познакомился съ другой природой, болѣе изящной, болѣе величественной и могучей; первое путешествіе его по Германіи, Швейцаріи и Италіи было для него тѣмъ, чѣмъ житье на югѣ Россіи—для Пушкина, пребываніе на Кавказѣ—для Лермонтова. Подобно тому, какъ погруженіе съ головою въ „Нѣмецкое море“ (см. предисловіе Тургенева къ полному собранію его сочиненій) сдѣлало его западникомъ, оставивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ истинно-русскимъ, красоты Рейна и Альповъ, расширивъ его художественный кругозоръ, не затмили въ его глазахъ скромную прелесть тульскихъ полей или орловскаго полѣсья.

---

[1]) Какъ много гр. Толстой наблюдалъ и думалъ, въ молодости, надъ впечатлѣніями, вызываемыми совершаемъ природы, объ этомъ можно судить по слѣдующему замѣчанію Николая Иртеньева („Юность“): „мы такъ привыкли смѣшивать искусство съ природой, что очень часто тѣ явленія природы, которыя никогда не встрѣчали въ живописи, намъ кажутся неестественными, какъ будто природа не натуральна, и наоборотъ, тѣ явленія, которыя слишкомъ часто повторялись въ живописи, кажутся намъ избитыми, нѣкоторые же виды, слишкомъ проникнутые одною мыслью и чувствомъ, встрѣчающіеся намъ въ дѣйствительности, кажутся вычурными“.

Не забылъ онъ о ней и тогда, когда почти совсѣмъ разстался съ Россіей; „старческія“ (senilia, какъ назвалъ ихъ самъ Тургеневъ) „стихотворенія въ прозѣ“ (напр. „Деревня“) проникнуты такимъ же пониманіемъ русской природы, такимъ же сочувствіемъ къ ней, какъ и первыя страницы юношеской поэмы: „Параша“. „Я шелъ домой, ни о чемъ ни размышляя,—говоритъ герой „Аси“,—какъ вдругъ меня поразилъ сильный, знакомый, но въ Германіи рѣдкій запахъ. Я остановился и увидалъ возлѣ дороги небольшую грядку конопли. Ея степной запахъ мгновенно напомнилъ мнѣ родину и возбудилъ въ душѣ страстную тоску по ней. Мнѣ захотѣлось дышать русскимъ воздухомъ, ходить по русской землѣ“. Устами разсказчика говоритъ здѣсь, очевидно, самъ Тургеневъ; самимъ Тургеневымъ пережиты, очевидно, и тѣ ощущенія, которыя испытываетъ Лаврецкій при возвращеніи въ родную деревню. „Лаврецкій глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы—вся эта, давно имъ не виданная, русская картина навѣвала на его душу сладкія и въ то же время почти скорбныя чувства, давила грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ... Какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель, богородицыны слёзки еще выше выкидываютъ свои розовые кудри; а тамъ дальше въ поляхъ лоснится рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ... Жизнь текла здѣсь неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни—и никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“. Нигдѣ, можетъ быть, любовь Тургенева, къ родной природѣ не чувствуется такъ живо, какъ въ „Дневникѣ лишняго человѣка“. Это именно „любовь, вѣрная до смерти“. „Я бы хотѣлъ еще разъ надышаться горькой свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тяканье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви; еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага; еще разъ проводить глазами подвижный слѣдъ вѣтра, темной струею бѣгущаго по золотистой травѣ нашего луга“. Прощаясь съ жизнью, „лишній человѣкъ“ прощается, въ то же время, съ своимъ садомъ, съ своими липами; ему утѣшительно думать, что наслаж-

денье, миновавшее для него, будетъ испытываемо другими. „Пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущій говоръ вашихъ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ“. Чтобы вложить такой завѣтъ въ уста умирающаго, нужно было глубоко сжиться съ природой, извѣдать всю полноту наслажденій, источникомъ которыхъ она служитъ.

„Природа,—читаемъ мы въ „Асѣ“, — дѣйствовала на меня чрезвычайно, но я не любилъ такъ называемыхъ ея красотъ, необыкновенныхъ горъ, утесовъ, водопадовъ; я не любилъ, чтобы она навязывалась мнѣ, чтобы она мнѣ мѣшала“. Буквально примѣнять эти слова къ автору „Аси“, разумѣется, нельзя; говоря о Сорренто или Неаполѣ, о Римѣ или Лаго-Маджоре, Тургеневъ достаточно доказалъ свою способность наслаждаться „такъ называемыми красотами природы“ — но въ приведенной нами „бутадѣ“ ясно слышится насмѣшка надъ тѣми, для которыхъ внѣ экстраординарныхъ, всѣмъ міромъ признанныхъ красотъ природа какъ бы не существуетъ... Изучить и оцѣнить русскую природу, привязаться всѣмъ сердцемъ къ роднымъ, часто „невеселымъ“, но часто и мирнымъ, успокоительнымъ картинамъ много помогла Тургеневу „благородная страсть“ къ охотѣ. „Охота,—говоритъ онъ въ драгоцѣнной для насъ критической статьѣ о „Замѣткахъ ружейнаго охотника оренбургской губерніи“ С. А—ва (С. Т. Аксакова),—сближаетъ насъ съ природой; одинъ охотникъ видитъ ее во всякое время дня и ночи, во всѣхъ ея красотахъ, во всѣхъ ея ужасахъ“. Способный отдаться всецѣло обаянію природы, наслаждаться ею наивно и безотчетно, Тургеневъ могъ смотрѣть на нее и глазами художника, анализирующаго впечатлѣнія, подмѣчающаго отдѣльныя черты пейзажа, останавливающагося на томъ, чего вовсе не видитъ масса. „Гагинъ, — читаемъ мы въ „Асѣ“, — обратилъ мое вниманіе на нѣкоторыя счастливо освѣщенныя мѣста; въ словахъ его слышался если не живописецъ, то ужъ навѣрное художникъ“. То же самое часто можно сказать о словахъ Тургенева; прочувствовать ихъ въ состояніи всякій, но далеко не всякому они пришли бы въ голову. Тонкое пониманіе пейзажа въ живописи, такъ ясно выразившееся, напримѣръ, въ напечатанныхъ недавно письмахъ Тургенева къ Я. П. Полонскому [1]), непремѣнно должно было идти рука объ руку съ такимъ же пониманіемъ пейзажа въ литературѣ. Въ довершеніе всего Тургеневъ не даромъ началъ свою творческую

[1]) См. Первое собраніе писемъ Тургенева (Спб. 1885), стр. 483, 489, 495.

дѣятельность съ стихотвореній; постигнувъ „тайную гармонію стиха“ (собственное выраженіе Тургенева, въ одной изъ ранних критическихъ его статей — о переводѣ „Фауста“, Вронченко), онъ перенесъ ее, насколько это возможно, въ прозу, музыкальность которой особенно замѣтна—и особенно эффектна—именно въ описаніяхъ природы. Первообразъ поэтическихъ описаній, которыми такъ богата тургеневская проза, можно найти въ самой ранней поэмѣ Тургенева—въ „Парашѣ“.

„Лишь изрѣдка промчится легкій трепетъ
Въ березахъ; тамъ за рѣчкой соловей
Поетъ себѣ—и слышенъ долгій лепетъ,
Немолчный шопотъ дремлющихъ степей.
И въ комнату, какъ вздохъ земли безсонной,
Влетаетъ робко вѣтеръ благовонный...
. . . Ночь прекрасная была,
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая;
Не свѣтила луна, хоть и взошла;
Рѣка во тьмѣ таинственно сверкая
Текла вдали. Дорожка къ ней вела;
А листья въ вышинѣ толпой незримой
Лепечутъ. Вотъ—они [1]) сошли въ оврагъ,
И словно ихъ движеніемъ гонимый
Предъ ними разступался мягкій мракъ“...

И здѣсь, и въ другихъ поэмахъ, и въ небольшихъ лирическихъ стихотвореніяхъ источникомъ вдохновенія служитъ для поэта заурядный великорусскій пейзажъ; близкія, знакомыя картины воспроизводятся имъ то шутя, то серьезно, но всегда съ одинаковой любовью.

„О Русь! люблю твои поля,
Когда подъ яркимъ солнцемъ лѣта
Свѣтла, роскошна, вся согрѣта
Блеститъ и нѣжится земля.
Люблю бродить въ лугу росистомъ
Весной, когда веселымъ свистомъ
И влажнымъ запахомъ полна
Степей живая тишина“...
(„Помѣщикъ“).

„Прекрасенъ русскій, теплый майскій день...
Все къ жизни возвращается тревожно;
Еще жидка трепещущая тѣнь
Березъ кудрявыхъ; вѣтеръ осторожно
Колышетъ ихъ верхушки, думать—лѣнь,
А съ губъ согнать улыбку невозможно...

[1]) Герой и героиня поэмы.

И свѣжій, бѣлый лапдышъ подъ кустомъ
Стыдливо заслоняется листомъ.
Поѣдешь зелеными на конѣ;
Вздыхаетъ конь и тихо машетъ гривой
И какъ листокъ, отдавшійся волнѣ,
То медленной, то вдругъ нетерпѣливой,
Несутся мысли... Въ ясной вышинѣ
Проходятъ тучки чередой лѣнивой"...
(„Андрей").

„А сосны гнутся какъ живыя
И такъ задумчиво шумятъ...
И словно стадо птицъ огромныхъ
Внезапно вѣтеръ налетитъ,
И въ сучьяхъ спутанныхъ и темныхъ
Нетерпѣливо прошумитъ".
(„Осень").

Въ повѣстяхъ Тургенева, относящихся къ половинѣ сороковыхъ годовъ („Андрей Колосовъ", „Бреттеръ", „Три портрета"), описанія природы встрѣчаются рѣдко; на первый планъ они выступаютъ въ его прозѣ только тогда, когда онъ перестаетъ писать стихи и весь отдается новому дѣлу — „Запискамъ охотника". Здѣсь ничто не связывало его свободу; описанія могли соединяться съ разсказомъ въ какихъ угодно сочетаніяхъ, могли преобладать надъ нимъ, могли даже совершенно замѣнять его („Лѣсъ и степь"). Для той крайней сдержанности, образцы которой были завѣщаны пушкинской прозой, не было здѣсь никакого повода: работа, предпринятая художникомъ, допускала безконечное разнообразіе пріемовъ. И дѣйствительно, картины природы разливаются по „Запискамъ охотника" широкою волной, то поднимающеюся, то опускающеюся—то несущею на себѣ дѣйствіе, то отступающею передъ нимъ, то поглощающею его. Иногда передъ нами точно лежитъ рисунокъ, лишь кое-гдѣ, слегка тронутый красками (старинный садъ въ разсказѣ: Мой сосѣдъ Радиловъ"); иногда художникъ даетъ намъ небольшую акварель, не блещущую яркостью цвѣтовъ, но проникнутую задумчивою красотой скромнаго пейзажа (начало разсказа: „Татьяна Борисовна и ея племянникъ"); иногда описаніе разростается въ цѣлую картину, писанную могучею кистью, поражающую чудесами колорита (лѣсъ въ „Касьянѣ съ Красивой Мечи"). Останавливается ли Тургеневъ на маленькомъ уголкѣ природы (ключъ въ „Малиновой водѣ") или на безпредѣльномъ ея просторѣ („Лѣсъ и степь"), подмѣчаетъ ли онъ одинъ короткій моментъ (закатъ солнца въ концѣ „Льгова") или рисуетъ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ явленій (ясный іюльскій день въ началѣ

„Бѣжина луга"), смотритъ ли онъ на пейзажъ сквозь призму минутнаго личнаго настроенія („Касьянъ съ Красивой Мечи", стр. 120—121 стереотипнаго изданія) или глазами человѣка, забывшаго о самомъ себѣ и всецѣло погрузившагося въ созерцаніе (первыя строки „Ермолая и мельничихи")—вездѣ и всегда онъ увлекаетъ насъ за собою и дѣлаетъ насъ участниками своихъ впечатлѣній. Необыкновенное богатство матеріала затрудняетъ выборъ цитатъ, да онѣ и почти излишни; немного найдется у насъ читателей, для которыхъ „Записки Охотника" не были бы настольной книгой. Ограничимся двумя небольшими выписками, которыя понадобятся намъ для заключительныхъ выводовъ. „Съ самаго ранняго утра небо ясно; утренняя заря не пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ. Солнце—не огнистое, не раскаленное какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное—мирно всплываетъ надъ узкой и длинной тучкой, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый ея туманъ. Верхній тонкій край растянутаго облачка засверкаетъ змѣйками, блескъ ихъ подобенъ блеску кованнаго серебра. Но вотъ опять хлынули играющіе лучи—и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглыхъ высокихъ облаковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями. Подобно островамъ, разбросаннымъ по безконечно-разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются съ мѣста; далѣе къ небосклону они сдвигаются, тѣснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они такъ же лазурны, какъ небо; они всѣ насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотой... Къ вечеру облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленныя, какъ дымъ, ложатся розовыми клубами напротивъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ же спокойно, какъ спокойно взошло на небо, алое сіяньс стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшей землей, и, тихо мигая какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда" („Бѣжинъ лугъ"). „Листья чуть шумѣли надъ моей головой; по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющійся трепетъ весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня... Внутренность рощи то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ

березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ; то вдругъ опять все кругомъ слегка синѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, бѣлыя какъ только-что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца—и украдкой, лукаво начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь" („Свиданіе").

Дальше и выше той ступени, на которой стоятъ въ „Запискахъ охотника" описанія природы, Тургеневу некуда было идти; во многомъ другомъ позднѣйшія его произведенія знаменуютъ собою громадный шагъ впередъ—съ занимающей насъ точки зрѣнія они остаются на томъ же уровнѣ, и лучшей для нихъ похвалы нельзя и придумать. Всего больше мѣста отводится описаніямъ въ тѣхъ очеркахъ или разсказахъ, которые, по своему характеру, всего ближе подходятъ къ „Запискамъ Охотника"; сюда принадлежатъ въ особенности „Три встрѣчи" и „Поѣздка въ Полѣсье". Описаніе сада въ „Трехъ встрѣчахъ"—одна изъ лучшихъ картинъ, написанныхъ Тургеневымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ одна изъ самыхъ характеристичныхъ для его описательной манеры. „Неподвижно лежалъ передо мной небольшой садъ, весь озаренный и какъ бы успокоенный серебряными лучами луны, весь благовонный и влажный... Молодыя яблони кое-гдѣ возвышались надъ поляной; сквозь ихъ жидкія вѣтки кротко синѣло ночное небо, лился дремотный свѣтъ луны... Съ одной стороны сада липы смутно зеленѣли, облитыя неподвижнымъ, блѣдноярким свѣтомъ; съ другой—онѣ стояли всѣ черныя и непрозрачныя; странный, сдержанный шорохъ возникалъ по временамъ въ ихъ сплошной листвѣ; онѣ какъ будто звали на пропадавшія подъ ними дорожки, какъ будто манили подъ свою глухую сѣнь. Все небо было испещрено звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ тихимъ вниманіемъ глядѣли на далекую землю... Все дремало, все нѣжилось вокругъ; все какъ будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина—но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмоканье мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ встрепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ, до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ ли то

прокричалъ, или звѣрь, или птица, короткій, быстрый топотъ по дорогѣ: всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину"... Понятно впечатлѣніе, производимое, при такой обстановкѣ, внезапно раздавшимся звукомъ знакомой пѣсни. „Поѣздка въ Полѣсье" заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ лѣсныхъ пейзажей, то удручающихъ своимъ суровымъ мракомъ, то убаюкивающихъ своею мирной тишиной. Природа здѣсь точно говоритъ съ человѣкомъ; ея жизнь, столь различная отъ нашей и вмѣстѣ съ тѣмъ столь близкая къ ней, наводитъ на мысль о смерти—но самый образъ смерти является то грознымъ, то спокойнымъ. „Поѣздка въ Полѣсье" не даромъ стоитъ на рубежѣ между двумя періодами въ жизни и творчествѣ Тургенева; къ наслажденію природой здѣсь присоединяется въ первый разъ мучительное сознаніе ея безучастія, ея равнодушія, съ наибольшей ясностью и силой выразившееся четверть вѣка спустя въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ".

Въ романахъ и повѣстяхъ Тургенева описанія природы встрѣчаются сравнительно рѣдко—и еще рѣже достигаютъ большихъ размѣровъ, выдвигаются изъ рамки разсказа. Иногда къ нимъ примѣнимо выраженіе, употребленное нами по отношенію къ описаніямъ графа Толстого—они точно брошены „мимоходомъ", слегка, немногими штрихами намѣчая обстановку дѣйствія; иногда они проникнуты субъективнымъ элементомъ, неразрывно связаны съ настроеніемъ дѣйствующаго лица. Описанія перваго рода всегда коротки и предпосылаются далеко не каждой сценѣ, не каждому моменту дѣйствія; въ большинствѣ случаевъ они необходимы для полноты впечатлѣнія, незамѣтно сливаясь въ одно цѣлое съ разсказомъ. „Владиміръ Сергѣичъ подошелъ къ окну и приложился лбомъ къ холодному стеклу. Словно въ черную завѣсу уперлись его глаза, и только спустя немного времени могъ онъ различить на беззвѣздномъ небѣ вѣтки деревьевъ, порывисто крутившіяся среди мрака" („Затишье"). Этими немногими словами заранѣе обрисована передъ нами та темная, бурная ночь, которую Марья Павловна избрала для самоубійства... Берсеневъ („Наканунѣ") выходитъ изъ дома Стаховыхъ послѣ первой продолжительной бесѣды съ Еленой. „Уже совсѣмъ стемнѣло, неполный мѣсяцъ стоялъ высоко на небѣ, млечный путь забѣлѣлъ и звѣзды запестрѣли... Ночь была тепла и какъ-то особенно безмолвна, точно все кругомъ прислушивалось и караулило". Поѣздка въ Царицыно (тамъ же) точно окаймлена двумя небольшими картинками, отражающими въ себѣ первое и послѣднее впечатлѣнія ея участниковъ. „Мурава, покрывавшая весь скатъ холма до самаго пруда, придавала самой водѣ необыкновенно-яркій,

изумрудный цвѣтъ. Нигдѣ, даже у берега, не вспухала волна, не бѣлѣла пѣна; даже ряби не пробѣгало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и свѣтло улеглась въ огромной купели, и небо ушло къ ней на дно, и кудрявыя деревья неподвижно глядѣлись въ ея прозрачное лоно... Вездѣ горѣли яркія, передвечернія краски; небо рдѣло, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся вѣтеркомъ; растопленнымъ золотомъ струились отдаленныя воды"... Неждановъ ѣдетъ съ Маркеловымъ изъ города въ деревню („Новь"); у обоихъ тяжело на душѣ, Маркеловъ только-что узналъ о любви Маріанны къ Нежданову. „Небо заволокло низкими тучами; очертанія отдѣльныхъ предметовъ сливались въ смутныя, большія пятна. Была тусклая, невѣрная ночь; вѣтеръ набѣгалъ порывистыми сырыми струйками, принося съ собою запахъ дождя и широкихъ хлѣбныхъ полей". Такихъ примѣровъ можно было бы привести еще много; укажемъ на вступленіе къ „Рудину", къ „Дворянскому гнѣзду" и къ „Бригадиру", на картину утра передъ дуэлью въ „Отцахъ и дѣтяхъ", на описаніе сипягинскаго сада въ „Нови", на обстановку, среди которой убиваетъ себя Неждановъ.

Съ большей еще силой дарованіе Тургенева выражается въ тѣхъ описаніяхъ, которыя мы соединяемъ подъ общимъ именемъ субъективныхъ. Неопредѣленное ожиданіе, первое предчувствіе первой любви, пробужденіе долго спавшаго сердца, стремленіе на встрѣчу жизни, успокоеніе тревожныхъ думъ, воспоминаніе о погибшемъ счастьѣ—всѣ чувства, дремлющія, торжествующія или замирающія, всѣ душевныя состоянія, начиная съ смутнаго волненья до страстнаго аффекта, находятъ отголосокъ въ природѣ, становятся, если можно такъ выразиться, между природой и человѣкомъ. Ни одна сторона этого взаимнодѣйствія не осталась тайной для Тургенева. Кто не помнитъ той сцены въ „Дневникѣ лишняго человѣка", когда великолѣпный солнечный закатъ вызываетъ или довершаетъ переломъ въ сердцѣ Лизы, или той страницы въ „Перепискѣ", когда Алексѣй Петровичъ вспоминаетъ о „безмолвныхъ вечернихъ прогулкахъ вчетверомъ, послѣ какого-нибудь долгаго, теплаго, живого разговора"? Кто не помнитъ Лемма, точно воскресающаго подъ дыханіемъ тихой, теплой ночи, или Николая Петровича („Отцы и дѣти"), погружаемаго лѣтнимъ вечеромъ въ „горестную и отрадную игру одинокихъ думъ"? Герой „Аси" переѣзжаетъ черезъ рѣку, весь охваченный новымъ, едва сознаваемымъ еще чувствомъ. „Я поднялъ глаза къ небу—но и въ небѣ не было покоя; испещренное звѣздами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился къ рѣкѣ... но

и тамъ, и въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопотъ вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свѣжее дыханье волны не охлаждало меня... Слезы закипали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья". Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. „Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, мѣрно раскачиваясь направо и налѣво; было что-то таинственно-пріятное въ топотѣ ея копытъ, что-то веселое и чудное въ гремящемъ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестѣлъ твердымъ блескомъ; свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала всѣ члены, лилась вольною струею въ грудь". Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ „Аси", зависитъ, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя „Аси" въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берега Рейна—впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ перемѣны, потому что не будетъ тронутъ главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ—приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до тѣхъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже однажды обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой „Аси", наоборотъ, жаждетъ страсти—страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что́ онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ „Призракахъ"), какъ они обращаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ „Свиданіи"), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли

(„Довольно“, гл. XIII), какъ они дышатъ наивностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ „Собакѣ“, описывающій лунную ночь, Клюберъ—въ „Вешнихъ водахъ“,—снисходительно одобряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться—но мы боимся утомить читателей и спѣшимъ подвести общіе итоги.

V.

Въ той критической статьѣ Тургенева, о которой мы уже упомянули—въ разборѣ „Замѣтокъ ружейнаго охотника“—мы находимъ нѣсколько замѣчаній о томъ, какъ слѣдуетъ описывать природу. Эти замѣчанія для насъ тѣмъ болѣе интересны, что они высказаны въ 1852 г., послѣ „Записокъ Охотника“, послѣ „Трехъ встрѣчъ“, послѣ „Дневника лишняго человѣка“, т.-е. послѣ созданія Тургеневымъ длиннаго ряда художественныхъ описаній. „Всѣ мы любимъ природу,—говоритъ Тургеневъ,- но въ этой любви часто бываетъ много эгоизма. А именно: мы любимъ природу по отношенію къ намъ; мы глядимъ на нее, какъ на пьедесталъ нашъ. Оттого, между прочимъ, въ такъ называемыхъ описаніяхъ природы то-и-дѣло либо попадаются сравненія съ человѣческими душевными движеніями, либо простая и ясная передача внѣшнихъ явленій замѣняется разсужденіями по ихъ поводу. Если только черезъ любовь можно приблизиться къ природѣ, то эта любовь должна быть безкорыстна, какъ всякое истинное чувство: любите природу не въ силу того, что̀ она значитъ въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что она вамъ сама по себѣ мила и дорога,—и вы ее поймете... Г. А—въ смотритъ на природу, какъ на нее смотрѣть должно: ясно, просто и съ полнымъ участіемъ; онъ не мудритъ, не хитритъ, не подкладываетъ ей постороннихъ намѣреній и цѣлей: онъ наблюдаетъ умно, добросовѣстно и тонко; онъ только хочетъ узнать, увидѣть. А передъ такимъ взоромъ природа раскрывается и даетъ ему заглянуть въ себя... Блестящія риторическія описанія, краснорѣчивыя разрисовки представляютъ гораздо меньше затрудненій, чѣмъ настоящія, теплыя и живыя описанія; несравненно легче сказать утесу—что онъ хохочетъ, молніи, что она фосфорическая змѣя, чѣмъ поэтически ясно передать намъ величавость утеса надъ моремъ или рѣзкую вспышку молніи. И оно понятно; ничего не можетъ быть труднѣе человѣку, какъ отдѣлиться отъ

самого себя и вдуматься въ явленія природы... Бываютъ тонко развитыя, нервическія, раздражительно-поэтическія личности, которыя обладаютъ какимъ-то особеннымъ воззрѣніемъ на природу, особеннымъ чутьемъ ея красотъ; онѣ подмѣчаютъ многіе оттѣнки, многія часто почти неуловимыя частности, и имъ удается выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, мѣтко и граціозно; правда, большія линіи картины отъ нихъ ускользаютъ, либо онѣ не имѣютъ довольно силы, чтобы схватить и удержать ихъ. Про нихъ можно сказать, что имъ болѣе всего доступенъ запахъ красоты, и слова ихъ душисты. Частности у нихъ выигрываютъ на счетъ общаго впечатлѣнія. Къ подобнымъ личностямъ не принадлежитъ г. А—въ, и я очень этому радъ. Онъ не подмѣчаетъ ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего добираются немногіе; но то, что̀ онъ видитъ, видитъ онъ ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишетъ стройную и широкую картину. Мнѣ кажется, что такого рода описанія ближе къ дѣлу и вѣрнѣе". Приведя цѣликомъ стихотвореніе Пушкина: „Туча", какъ образецъ простоты и „здоровья" въ описаніяхъ, Тургеневъ заканчиваетъ свое разсужденіе слѣдующей формулой: „словомъ, описывая явленія природы, дѣло не въ томъ, чтобы сказать все, что̀ можетъ придти вамъ въ голову: говорите то, что̀ должно придти каждому въ голову,—но такъ, чтобы ваше изображеніе было равносильно тому, что̀ вы изображаете, — и ни вамъ, ни намъ, слушателямъ, не остается больше ничего желать".

Прочитавъ приведенныя нами строки, нельзя не замѣтить, что теорія Тургенева сильно расходится съ его практикой— и разногласіе это во многомъ отнюдь не безсознательное. Къ числу „нервическихъ, раздражительно-поэтическихъ личностей", которымъ особенно доступенъ „запахъ красоты", Тургеневъ относитъ, несомнѣнно, и самого себя; отдавая преимущество „твердой рукѣ, сильной кисти" г. А—ва, онъ какъ бы развѣнчиваетъ свое дарованіе. низводитъ на второй планъ свою собственную описательную манеру. Въ этомъ смиреніи, въ этомъ самоуничиженіи нѣтъ ничего искусственнаго, неискренняго; намъ слышится въ немъ то чувство неудовлетворенности самимъ собою, та неутомимая жажда чего-то высшаго и лучшаго, которыя свойственны великому художнику, великому поэту. Избытокъ безпристрастія, однако, столь же легко можетъ ввести въ ошибку, какъ и противоположная крайность. Систематически пренебрегая указаніями собственнаго творчества, Тургеневъ впадаетъ, прежде всего, въ противорѣчіе съ самимъ собою. Онъ утверждаетъ, что въ описаніяхъ природы не должно быть мѣста для

сравненій, почерпнутыхъ изъ „человѣческихъ душевныхъ движеній“—и вслѣдъ затѣмъ любуется (совершенно основательно) „Тучей“ Пушкина, прелесть которой зависитъ, отчасти, именно отъ подобныхъ сравненій. „Одна ты печалишь ликующій день... ты алчную землю поила дождемъ... И вѣтеръ, лаская листочки древесъ, тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ“... Что это такое, какъ не олицетвореніе природы, какъ не примѣненіе къ ней образовъ, взятыхъ изъ человѣческой жизни? И это, безъ сомнѣнія, не случайность. Стоитъ только бросить взглядъ на описанія, приведенныя нами въ первыхъ отдѣлахъ настоящей статьи, чтобы встрѣтить сравненія въ родѣ тѣхъ, противъ которыхъ вооружается Тургеневъ—и они почти всегда усиливаютъ впечатлѣніе, увеличиваютъ наглядность картины. У Пушкина лѣсъ роняетъ свой багряный уборъ, день проглядываетъ по-неволѣ, природа улыбается утру года, ручей извивается молча, волны грустно чернѣютъ. У Лермонтова ландышъ привѣтливо киваетъ головой, Арагва обнимается съ другой рѣкой, туманы пугаются приближенія дня, звѣзды образуютъ хороводы. У Гончарова солнце оборачивается назадъ, чтобы взглянуть на любимое мѣсто, рѣка задумывается, липы братски перепутываются съ ельникомъ. У гр. Толстого деревья радостно красуются на новомъ просторѣ, тучки разбѣгаются спѣша, листья спокойно шепчутся, небо съ нѣжностью отвѣчаетъ на вопрошающій взглядъ. У самого Тургенева такихъ уподобленій больше, чѣмъ у кого бы то ни было; мы подчеркнули ихъ въ двухъ цитатахъ—изъ „Свиданія“ и изъ „Трехъ Встрѣчъ“,—къ которымъ, во избѣжаніе повтореній, и отсылаемъ теперь нашихъ читателей. Что же все это значитъ? Гдѣ искать ошибки — въ техническихъ ли пріемахъ лучшихъ мастеровъ описательнаго жанра или въ эстетической доктринѣ одного изъ нихъ? Прежде, чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо разобрать общую формулу описанія, предлагаемую Тургеневымъ. Она состоитъ изъ двухъ положеній: говорить то, что должно придти каждому въ голову, и стремиться къ тому, чтобы изображеніе было равносильно изображаемому. Начнемъ съ послѣдняго положенія.

Всякій изъ насъ, вѣроятно, испыталъ на себѣ невозможность составить себѣ понятіе о незнакомой мѣстности на основаніи разсказовъ или словесныхъ описаній, какъ бы они ни были правдивы, точны, обстоятельны и даже искусны. Представленіе они, конечно, въ насъ возбуждаютъ — но при сличеніи съ дѣйствительностью оно оказывается весьма мало съ нею схожимъ. Это зависитъ отъ того, что никакими словами нельзя передать доступное исключи-

тельно для зрѣнія. Подобно тому, какъ слѣпорожденный не можетъ постигнуть разницу между цвѣтами, сколько бы ему о ней ни толковали, мы не можемъ почерпнуть изъ словъ образъ невиданнаго нами предмета. Въ поэзіи, въ литературѣ невозможна, поэтому, даже такая условная близость изображенія къ изображаемому, какая существуетъ въ живописи или скульптурѣ. Живопись передаетъ, приблизительно, краски и линіи, встрѣчающіяся въ природѣ, скульптура приблизительно воспроизводитъ реальныя формы; для поэзіи все это немыслимо, средствами, находящимися въ ея распоряженіи, нельзя достигнуть дѣйствія тождественнаго или хотя бы аналогичнаго съ зрительными ощущеніями. Равносильность изображенія изображаемому возможна здѣсь не въ смыслѣ матеріальнаго, если можно такъ выразиться, сходства между тѣмъ и другимъ, а лишь въ смыслѣ однородности впечатлѣній, одинаковой ихъ интенсивности и глубины. Описаніе достигло своей цѣли, когда оно заставило насъ пережить еще разъ нѣчто испытанное прежде или вызвало изъ разныхъ уголковъ нашей памяти, нашего воображенія такія представленія, сочетаніе которыхъ образуетъ цѣлую картину, — картину, по возможности близкую къ изображаемой. Другими словами, задача романиста или поэта, рисующаго картину природы, заключается не въ томъ, чтобы показать намъ природу такъ, какъ она есть; для этого безсильно самое искусное слово. Онъ долженъ только возбудить въ насъ настроеніе, родственное съ тѣмъ, къ какому, при данныхъ условіяхъ, могло бы привести созерцаніе природы. Если это такъ, то законность сравненій, заимствованныхъ изъ психической жизни человѣка, не требуетъ дальнѣйшихъ доказательствъ; они для насъ такъ близки, такъ понятны, что именно ими легко произвести желанное дѣйствіе, легко коснуться тѣхъ струнъ, на которыя разсчитано описаніе. Неумѣренное и неумѣлое пользованіе этимъ оружіемъ, какъ и всякимъ другимъ, безъ сомнѣнія, возможно — но столь же возможно и чувство мѣры, рѣдко измѣняющее истинному художнику. Тургенева могла напугать и оттолкнуть вычурность бенедиктовскихъ образовъ—но злоупотребленіе пріемомъ не доказываетъ еще непригодности самаго пріема... На одинъ уровень съ сравненіями, о которыхъ мы только-что говорили, могутъ быть поставлены и другія, матеріалъ для которыхъ берется не изъ человѣческихъ душевныхъ движеній; удачно выбранныя и проведенныя, они способствуютъ силѣ и прелести описанія, часто выносятъ на себѣ всю его тяжесть. „Фосфорической змѣѣ“ Бенедиктова можно противопоставить и здѣсь множество чудесныхъ образцовъ, заимствованныхъ какъ у самого Тур-

генева, такъ и у сподвижниковъ и предшественниковъ его; припомнимъ пушкинскіе лѣса, одѣтые въ багрецъ и въ золото, гоголевскую березу, высившуюся какъ мраморная колонна, съ изломомъ, темнѣвшимъ какъ шапка или черная птица, лермонтовскую голову Машука, дымившуюся какъ загашенный факелъ, гончаровскія деревья, образующія темный сводъ, перламутровую раковину изъ бѣлыхъ барашковъ-облачковъ, которою любуется Левинъ у гр. Толстого, тургеневскіе листья, загорающіеся червоннымъ золотомъ. Особенно много такихъ сравненій представляетъ первая страница „Бѣжина луга", выписанная нами выше; для большей наглядности они подчеркнуты нами.

Если второе положеніе Тургенева, вѣрное, въ извѣстномъ смыслѣ, само по себѣ, не гармонируетъ съ войною, которую онъ ведетъ противъ описанія путемъ сравненій, то первое его положеніе кажется намъ ошибочнымъ въ самой своей основѣ. Говорить въ описаніи все то и только то, что́ „должно каждому придти въ голову", значило бы сдѣлать его тяжеловѣснымъ, скучнымъ и, въ концѣ концовъ, безцѣльнымъ. Что сказали бы мы о романистѣ, который принялъ бы за правило изображать душевную жизнь своихъ героевъ исключительно чертами, неизбѣжно и для всякаго очевидно вытекающими изъ даннаго положенія? Неизбѣжное и очевидное, въ этомъ случаѣ—синонимъ безцвѣтнаго и банальнаго. Каждый, напримѣръ, чувствуетъ и понимаетъ, что за тяжелой потерей должно слѣдовать горе; но насколько разнообразна, у разныхъ лицъ и при разныхъ условіяхъ, сила и продолжительность такого горя, настолько же разнообразны и представленія о немъ. Тамъ, гдѣ человѣкъ воспріимчивый и чуткій живо вообразитъ себѣ всѣ степени, всѣ фазисы отчаянія, печали, легкой грусти, утѣшенія, — человѣкъ съ слабо развитой фантазіей создастъ только блѣдную, смутную схему постепенно ослабѣвающаго чувства. Неужели эта схема—произведеніе минимальной творческой силы—должна служить мѣриломъ для психолога-художника, неужели онъ не въ правѣ идти дальше и глубже, чѣмъ могъ бы пойти каждый? Конечно—въ правѣ; но между изображеніемъ психическихъ процессовъ и описаніемъ природы нѣтъ, съ занимающей насъ точки зрѣнія, никакой существенной разницы. Подобно тому, какъ не всякій въ состояніи проникнуть въ самую глубину душевной жизни—не всякій въ состояніи понять, воспроизвести, даже увидѣть все, что́ разстилается передъ нимъ въ природѣ. Тысячи оттѣнковъ ускользаютъ отъ непривычнаго или поверхностнаго взора, тысячи красотъ открываются

только вкусу, врожденному или развитому изученіемъ, навыкомъ и мыслью. Что должно придти въ голову каждому, то не составляетъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, цѣльной картины, не вызываетъ опредѣленныхъ впечатлѣній. Перечень признаковъ общихъ, внѣшнихъ, всякому бросающихся въ глаза можетъ быть названъ протоколомъ, но не поэтической картиной природы. Не станемъ утверждать, чтобы созданіе такой картины было доступно только для „нервическихъ, раздражительно-поэтическихъ личностей", о которыхъ говоритъ Тургеневъ; но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что оно для нихъ особенно доступно, что усиленная воспріимчивость, способность сознавать или чувствовать неуловимое для массы—черта, всегда свойственная автору художественныхъ описаній. Художественное описаніе—это волшебный ключъ, отворяющій замкнутую дверь, это аріаднина нить, съ помощью которой въ лабиринтъ можетъ проникнуть и не посвященный. Читая описанія Тургенева, мы переживаемъ его ощущенія, они становятся нашимъ достояніемъ — но развѣ можно заключить отсюда, что поставленные лицомъ къ лицу съ поразившимъ его уголкомъ природы, мы увидѣли бы въ немъ именно то и все то, что увидѣлъ художникъ? Развѣ каждому изъ насъ дано такое пониманіе природы, дана такая любовь къ ней, какими обладали наши великіе писатели? Развѣ простой великорусскій пейзажъ всѣмъ и каждому раскрываетъ ту прелесть, какую умѣли находить въ немъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, графъ Толстой? Въ замѣнъ тургеневской формулы: „говорить то, что̀ каждому должно придти въ голову", мы предложили бы другую: говорить то, что̀ подмѣчаетъ глазъ и схватываетъ мысль художника или поэта, но говорить такъ, чтобы сказанное могло быть каждымъ понято и прочувствовано. Само собою разумѣется, что слово: каждый, здѣсь, какъ и у Тургенева, не можетъ быть понимаемо буквально; оно обнимаетъ собою только тѣхъ, для кого вообще доступны художественныя произведенія.

„Любите природу,—говоритъ Тургеневъ, — не въ силу того, что̀ она значитъ въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что она вамъ сама по себѣ мила и дорога; любовь къ природѣ должна быть безкорыстна, какъ всякое истинное чувство". Какъ ни глубока, какъ ни справедлива мысль, выраженная въ этихъ словахъ, она требуетъ дополненія или оговорки. Наша жизнь, съ тѣхъ поръ какъ она становится сознательною, такъ тѣсно связана съ жизнью природы, что постоянно и безусловно объективное отношеніе къ послѣдней для насъ едва ли возможно. Природа мила и дорога намъ не только сама по себѣ, но и въ

силу воспоминаній, которыя она въ насъ возбуждаетъ, въ силу наслажденій, которыя мы въ ней находимъ. Любовь къ природѣ не отличается, съ этой точки зрѣнія, отъ любви другого рода, даже самой безкорыстной. Развѣ въ составъ любви матери къ дѣтямъ не входитъ память о томъ, чѣмъ они для нея были съ перваго момента ихъ существованія, благодарность за доставленныя ими радости, солидарность вмѣстѣ перенесеннаго горя, ожиданіе утѣшенія и поддержки въ будущемъ? Любовь—это, между прочимъ, стремленіе къ счастью, а въ стремленіи къ счастью всегда есть доля эгоизма; совершенно свободнымъ отъ эгоизма не можетъ быть, поэтому, и наше отношеніе къ природѣ. Отсюда громадное значеніе описаній, заимствующихъ свою окраску изъ личнаго настроенія, изъ условій переживаемой минуты—описаній, въ которыхъ природа служитъ именно „пьедесталомъ“ для человѣка. Практика Тургенева и здѣсь не сходится съ его теоріей; мы видѣли, какую роль играютъ у него „субъективныя“ описанія природы. Вполнѣ правъ критикъ только тогда, когда онъ протестуетъ противъ замѣны описаній разсужденіями, когда онъ утверждаетъ, что не слѣдуетъ „мудрить“ и „хитрить“ надъ природой. Разсужденіе очень хорошо на своемъ мѣстѣ, но это мѣсто —не въ картинѣ, которая должна быть воспринята воображеніемъ и чувствомъ.

Критическая замѣтка Тургенева помогла намъ, отчасти, установить нашу точку зрѣнія на значеніе пейзажа въ изящной литературѣ; чтобы покончить съ нашей задачей, возвратимся къ образцамъ русскаго описательнаго жанра. Съ одной отличительной ихъ чертой мы уже знакомы: это обиліе сравненій, почерпнутыхъ какъ изъ сферы психической жизни, такъ и изъ другихъ источниковъ. Вторая характеристическая черта, общая, въ большей или меньшей степени, описаніямъ всѣхъ авторовъ, составляющихъ предметъ нашего этюда — это преобладающая роль эпитетовъ, т.-е. выраженій, опредѣляющихъ свойство или особенность предмета. Они встрѣчаются даже въ прозаическихъ описаніяхъ Пушкина, столь сдержанныхъ и сжатыхъ (свинцовыя волны, свѣжее дыханіе осени, пожелтѣвшія липы). Еще важнѣе, конечно, ихъ мѣсто въ пушкинской поэзіи (багряный уборъ лѣса, мутные ручьи, ясная улыбка природы, волнистая мгла), въ описаніяхъ Гоголя и Лермонтова (трепетолистные куполы, тонкіе, цѣпкіе крючья, косой, остроконечный изломъ—скалы, обвѣшенныя плющемъ, обрывы, исчерченные промоинами, мрачныя, таинственныя пропасти); у Лермонтова легко уже встрѣтить

цѣлыя фразы, въ которыхъ къ названію каждаго или почти каждаго предмета прибавленъ полнѣе освѣщающій его признакъ (см. напр. фразу, начинающуюся словами: хороводы звѣздъ). Гончаровъ нѣсколько менѣе щедръ на эпитеты, но и у него безъ нихъ не обходится ни одинъ пейзажъ; у Толстого они выдвигаются на первый планъ, сосредоточивая въ себѣ иногда всю окраску картины (см. напр. ту страницу „Юности", которая изображаетъ обстановку ночныхъ мечтаній Николая Иртеньева). Богатствомъ эпитетовъ блещутъ и тургеневскія описанія; припомнимъ хотя бы то мѣсто въ „Бѣжиномъ лугѣ", гдѣ именно этимъ путемъ изображается солнце яснаго іюльскаго дня („солнце—не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное"). Такое значеніе эпитетовъ совершенно понятно. Главный подводный камень для словеснаго описанія—это общность, неопредѣленность, туманность. Эпитеты—это мостъ, по которому совершается переходъ отъ общаго къ частному, отъ абстрактнаго къ конкретному,—это свѣтъ, вносимый въ царство блѣдныхъ тѣней и едва замѣтныхъ очертаній. Дѣло, конечно, не въ томъ, чтобы набрать и нагромоздить ихъ побольше, а въ томъ, чтобы выбрать изъ нихъ самые подходящіе, самые мѣткіе. Есть эпитеты, ничего не говорящіе воображенію,—и есть эпитеты, для правильной оцѣнки которыхъ требуются чуть не спеціальныя знанія; есть эпитеты избитые, обратившіеся въ общее мѣсто—и есть эпитеты до вычурности изысканные, притянутые за волосы, вымученные долгими потугами мысли. Избѣжать и тѣхъ, и другихъ, пройти между этой Сциллой и этой Харибдой — такова трудная задача беллетриста-художника, и мы едва-ли погрѣшимъ излишнимъ патріотизмомъ, если скажемъ, что особенно удачно ее разрѣшаютъ наши великіе писатели. Они не гоняются за тѣмъ, что̀ Э. Гонкуръ называетъ рѣдкимъ эпитетомъ (l'epithète rare); они широко пользуются сокровищами рѣчи, не стараясь, во что бы то ни стало, отыскать никому невѣдомый кладъ, блеснуть мало употребительнымъ или эксцентричнымъ словомъ. Способствуетъ этому, безъ сомнѣнія, и самое свойство русскаго языка, допускающаго такія сочетанія и сопоставленія словъ, какъ напримѣръ трепетолистный (Гоголь), тускло-багровый, неожиданно-странный, привѣтно-лучезарный (Тургеневъ). Эпитетъ можетъ заключать въ себѣ и сравненіе; когда Лермонтовъ говоритъ, напримѣръ, о скалахъ, обвѣшенныхъ плющемъ, объ обрывахъ, исчерченныхъ промоинами, онъ точно приписываетъ природѣ дѣйствія, совершаемыя человѣкомъ—и усиливаетъ, такимъ обра-

зомъ, впечатлѣніе эпитета впечатлѣніемъ параллели, поражающей воображеніе. Иногда чрезвычайно эффектно простое повтореніе эпитета. „Все молчало, отягченное сномъ, — читаемъ мы въ „Призракахъ“ Тургенева: — самые купола и кресты, казалось, блестѣли безмолвнымъ блескомъ; безмолвно торчали высокіе шесты колодцевъ возлѣ круглыхъ шапокъ ракитъ; бѣлесоватое шоссе узкой стрѣлой безмолвно впивалось въ одинъ конецъ города — и безмолвно выбѣгало изъ противуположнаго конца на сумрачный просторъ однообразныхъ полей“. Въ этомъ пріемѣ есть что-то музыкальное, онъ напоминаетъ повтореніе аккорда или возвращеніе одной и той же мелодіи. Звучность, гармоничность рѣчи — обычное украшеніе тургеневскихъ описаній; они сплошь и рядомъ могли бы быть названы „стихотвореніями въ прозѣ“. Доказать это нельзя — это можно только чувствовать... Описаніямъ Гончарова, графа Толстого часто свойственна та-же своеобразная прелесть; припомнимъ, напримѣръ, картину лѣтней ночи въ „Обломовѣ“ или паденія дерева въ разсказѣ „Три смерти“ („сочные листья радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ“).

Мастерство въ описательномъ жанрѣ обусловливается не одними только внутренними достоинствами каждаго отдѣльнаго описанія; много значитъ мѣсто, принадлежащее описаніямъ въ общей конструкціи, въ общемъ складѣ произведенія. Они не должны разрастаться чрезъ мѣру, заглушая и заслоняя все остальное — развѣ если ими исчерпывается главная задача автора (какъ, напримѣръ, въ „Лѣсѣ и степи“ Тургенева); они не должны встрѣчаться на каждомъ шагу, не должны смѣнять другъ друга, какъ неизбѣжныя декораціи дѣйствія; они не должны возвращаться черезъ опредѣленные промежутки времени, какъ верстовые столбы или желѣзнодорожныя станціи. Пресыщеніе описаніями, какъ и всякое другое пресыщеніе, исключаетъ возможность наслажденія; если даже количество не идетъ въ ущербъ качеству, избытокъ перваго мѣшаетъ оцѣнить послѣднее. Нашихъ великихъ писателей и съ этой точки зрѣнія можно назвать образцовыми. Никто изъ нихъ не злоупотребляетъ описаніями, не расточаетъ ихъ съ излишнею щедростью, не навязываетъ имъ несвойственной имъ въ романѣ роли. Описанія „мимоходомъ“ не обращаются у нихъ въ обязательный аккомпаниментъ, безъ котораго не можетъ обойтись ни одна мелодія; описанія художественныя почти всегда коротки и не тѣснятся толпою, дѣйствуя тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше

успѣваетъ присмотрѣться къ нимъ глазъ и прислушаться ухо; субъективныя описанія не сбрасываются со счетовъ, какъ устарѣвшій остатокъ романтизма, но и не вытѣсняютъ описаній другого типа, свободныхъ отъ личнаго настроенія. У Тургенева есть цѣлые романы—напримѣръ „Дымъ“,—въ которыхъ роль описаній доведена до минимума, безъ всякаго вреда для цѣлаго. Малочисленность описаній не вредитъ ни „Обрыву“, ни „Войнѣ и миру“. Предѣлы нашей статьи не позволяютъ намъ провести параллель между описаніями Гончарова, гр. Л. Толстого и Тургенева съ одной стороны, описаніями Флобера, Зола, Эдм. Гонкура—съ другой; но мы не можемъ не замѣтить, что на молодыхъ—а отчасти и на немолодыхъ—русскихъ беллетристахъ вліяніе послѣднихъ отражается сильнѣе, чѣмъ вліяніе первыхъ. Объ этомъ, какъ намъ кажется, нельзя не пожалѣть. Мы не отрицаемъ сильныхъ сторонъ новѣйшаго французскаго романа—но къ ихъ числу едва ли принадлежатъ описанія природы. У Флобера (особенно въ „Madame Bovary“ и „Salammbo“) есть превосходныя картины природы; но въ позднѣйшихъ произведеніяхъ его на первый планъ выдвигаются описанія „мимоходомъ“, бо́льшею частью сухія, безцвѣтныя, ни къ чему не ведущія—и эти именно описанія оказываются особенно сочувственными нѣкоторымъ изъ нашихъ романистовъ. Зола часто грѣшитъ длиною описаній, періодическимъ ихъ возвращеніемъ, натянутостью сравненій—и эти недостатки также пересаживаются на нашу почву; менѣе властенъ у насъ надъ умами Эдм. Гонкуръ, съ его изысканными и манерными эпитетами—но совершенно безслѣдно и онъ у насъ не проходитъ. Мы далеки отъ мысли, чтобы между нашими беллетристами было сильно распространено сознательное, намѣренное подражаніе французскимъ образцамъ; еще дальше мы отъ желанія рекомендовать кому бы то ни было подражаніе образцамъ русскимъ, даже самымъ классическимъ, самымъ безукоризненно-прекраснымъ. Подражаніе никогда ни къ чему не приводитъ; чтобы быть сильнымъ, нужно прежде всего быть самимъ собою—а въ новыхъ путяхъ, въ новыхъ способахъ дѣйствія, въ новыхъ источникахъ вдохновенія никогда не можетъ быть недостатка. Никакихъ неподвижныхъ, неизмѣнныхъ законовъ—въ смыслѣ правилъ, соблюденіе которыхъ было бы обязательно для каждаго художника—въ мірѣ искусства нѣтъ; нельзя, слѣдовательно, выводить ихъ и изъ произведеній великихъ писателей. И все-таки изученіе послѣднихъ въ высшей степени важно, въ высшей степени плодотворно; оно можетъ приблизить къ пониманію

задачъ и пріемовъ искусства, показать различіе между золотомъ и мишурою, предостеречь противъ увлеченія модными теоріями и господствующими теченіями. „Нужно возвратиться къ Канту“ — таковъ былъ недавно девизъ нѣмецкой философіи, провозглашавшій, конечно, не механическое повтореніе кантовской доктрины, а принятіе ея за исходную точку новаго движенія. Въ этомъ же смыслѣ не мѣшаетъ и намъ возвращаться, отъ времени до времени, къ эпохѣ высшаго процвѣтанія русской поэзіи и русскаго романа.

К. Арсеньевъ.

МИЛЫЙ ДРУГЪ

Повѣсть Гюи-де-Мопассана.

VII *).

Съ отъѣздомъ Шарля, Дюруа получилъ больше значенія въ редакціи Vie Française. Онъ написалъ нѣсколько передовыхъ статей, не переставая подписываться и подъ хроникой слуховъ, такъ какъ редакторъ желалъ, чтобы каждый сотрудникъ несъ отвѣтственность за свои статьи. У него не разъ завязывалась полемика съ другими журналами и онъ остроумно справлялся съ нею. А постоянныя сношенія съ государственными людьми мало-по-малу подготовляли въ немъ смѣтливаго и проницательнаго политическаго сотрудника.

На всемъ своемъ горизонтѣ онъ видѣлъ только одно темное пятнышко: оно шло отъ одного ворчливаго листка, постоянно нападавшаго на него или, вѣрнѣе сказать, въ его лицѣ нападавшаго на редактора отдѣла слуховъ Vie-Française, редактора ящика съ сюрпризами дяди Вальтера, какъ называлъ этотъ отдѣлъ анонимный зоилъ листка, называвшагося „Перо“.

Каждый день приносилъ новыя коварныя нападки, ѣдкіе намеки, всякаго рода инсинуаціи.

Жакъ Риваль сказалъ однажды Дюруа:

— Вы, однако, терпѣливы.

Тотъ пробормоталъ:

— Что вы хотите? Прямо вѣдь меня не задѣваютъ.

*) См. выше: апрѣль, стр. 686.

Но вотъ въ одинъ прекрасный день, когда онъ вошелъ въ редакцію, Буаренаръ протянулъ ему нумеръ „Пера“, говоря:

— Прочтите, сегодня опять непріятная для васъ замѣтка.

— А! по поводу чего же?

— Безъ всякаго повода. По случаю заарестованія г-жи Оберъ агентомъ наблюденія за общественной нравственностью.

Онъ взялъ газету и прочиталъ статью подъ заглавіемъ: „Дюруа забавляется“.

„Знаменитый репортеръ Vie-Française извѣщаетъ насъ сегодня, что г-жа Оберъ, объ арестованіи которой агентомъ бригады наблюденія за общественной нравственностью мы сообщали, существуетъ только въ нашемъ воображеніи. Между тѣмъ, означенная особа живетъ въ домѣ подъ № 18 въ Бѣличьей улицѣ, въ Монмартрѣ. Мы, впрочемъ, понимаемъ, какой интересъ или какіе интересы заставляютъ банкъ Вальтера поддерживать префекта полиціи, который смотритъ сквозь пальцы на его дѣлишки. Что касается репортера, о которомъ идетъ рѣчь, то онъ лучше бы сдѣлалъ, еслибы сообщилъ намъ одно изъ тѣхъ сенсаціонныхъ извѣстій, секретъ которыхъ ему такъ хорошо извѣстенъ: извѣстій о смертяхъ, опровергаемыхъ на слѣдующій же день, извѣстій о сраженіяхъ, никогда не происходившихъ, о важныхъ словахъ, сказанныхъ государями, которые ничего не говорили — словомъ подѣлился новостями, приносящими барыши Вальтеру, или же сообщилъ скромный отчетъ о вечерахъ, даваемыхъ модными львицами, о превосходствѣ нѣкоторыхъ произведеній, которыя являются источникомъ большихъ выгодъ для иныхъ изъ нашихъ собратій“.

Молодой человѣкъ не столько разсердился, сколько растерялся, понимая, что тутъ скрывается нѣчто очень для него непріятное.

Буаренаръ спросилъ:

— Кто вамъ сообщилъ этотъ слухъ?

Дюруа сначала не могъ вспомнить, но потомъ вдругъ припомнилъ:

— Ахъ, да, Сенъ-Потенъ.

Затѣмъ онъ перечиталъ замѣтку „Пера“ и вдругъ покраснѣлъ, возмутившись обвиненіемъ въ продажности. Онъ вскричалъ:

— Какъ! они утверждаютъ, что мнѣ платятъ деньги за...

Буаренаръ перебилъ его:

— Что дѣлать! — это очень непріятно для васъ. Хозяинъ очень щекотливъ на этотъ счетъ. Это можетъ такъ легко случиться въ отдѣлѣ слуховъ...

Сенъ-Потенъ какъ разъ вошелъ въ эту минуту. Дюруа подбѣжалъ къ нему:

— Вы читали замѣтку „Пера"?

— Да, и былъ сейчасъ у г-жи Оберъ. Она существуетъ, но никогда не была арестована. Слухъ этотъ не имѣетъ никакого основанія.

Тогда Дюруа побѣжалъ къ хозяину, который довольно холодно обошелся съ нимъ и глядѣлъ подозрительно. Выслушавъ, онъ сказалъ:

— Ступайте сами въ этой дамѣ и опровергните эту замѣтку такъ, чтобы отбить охоту писать подобныя вещи про васъ. Я говорю о заключительныхъ словахъ. Это очень непріятно для газеты, для меня и для васъ. Журналистъ, такъ же какъ и жена Цезаря, не долженъ быть подозрѣваемъ.

Дюруа сѣлъ въ фіакръ вмѣстѣ съ Сенъ-Потеномъ, и велѣлъ кучеру везти его въ Бѣличью улицу въ Монмартръ. Ихъ привезли къ громадному дому и имъ пришлось карабкаться въ шестой этажъ. Старая женщина въ шерстяной кофтѣ отперла имъ дверь.

— Что вамъ отъ меня нужно?—спросила она, завидя Сенъ-Потена.

Тотъ отвѣчалъ:

— Я привезъ къ вамъ полицейскаго инспектора, которому очень желательно узнать вашу исторію.

Тогда она попросила ихъ войти и стала разсказывать:

— Послѣ васъ еще было двое, ужъ не знаю, изъ какой газеты.

Потомъ, повернувшись къ Дюруа, спросила:

— Значитъ, вы желаете узнать, въ чемъ дѣло?

Онъ отвѣчалъ:

— Да. Скажите: вы были арестованы агентомъ наблюденія за общественной нравственностью?

Она подняла руки.

— Никогда въ жизни! — никогда въ жизни! — что вы, помилуйте! Вотъ какъ было дѣло: у меня есть знакомый мясникъ, который продаетъ хорошій товаръ, но любитъ обвѣшивать. Я уже часто замѣчала это, но не говорила ни слова; только намедни спросила я у него два фунта котлетъ, потому что у меня обѣдали дочь съ зятемъ, и вдругъ вижу, онъ мнѣ положилъ ребра второго сорта, правда, ребра изъ котлетъ, но только второго сорта. Я бы могла, конечно, приготовить изъ нихъ рагу, но когда я прошу отпустить мнѣ котлетъ, къ чему я буду брать

ребра, да еще не отъ моихъ котлетъ, а отъ чужихъ. Ну вотъ, значитъ, я и не взяла, а онъ за это обозвалъ меня старой крысой, а я ему сказала на это: а ты старый плутъ. Слово за слово, мы такъ поругались, что собрался народъ, больше ста человѣкъ, передъ лавкой, и хохочутъ себѣ. А тамъ и полицейскій агентъ набѣжалъ и пригласилъ насъ къ комиссару объясниться. Мы пошли туда и насъ обоихъ отослали съ Богомъ. Я съ тѣхъ поръ покупаю мясо въ другомъ мѣстѣ и даже мимо дверей того мясника не прохожу, во избѣжаніе скандала.

Она умолкла. Дюруа спросилъ:

— И это все?

Она отвѣчала:

— Вся истинная правда, какъ передъ Богомъ.

И предложивъ ему выпить рюмочку вишневой наливки, отъ которой онъ отказался, она просила его написать въ газетахъ про обвѣшиваніе мясника.

По возвращеніи въ редакцію, Дюруа приготовилъ такой отвѣтъ:

„Какой-то анонимный писака „Пера“, вырвавъ таковое изъ своего крыла, облаялъ меня изъ-за старухи, которая, по его словамъ, была арестована агентомъ наблюденія за общественной нравственностью, что́ я отрицаю. Я самъ видѣлъ г-жу Оберъ, женщину, по меньшей мѣрѣ, лѣтъ шестидесяти и она мнѣ разсказала подробно свою ссору съ мясникомъ, возникшую изъ-за того, что ее обвѣсили на котлетахъ, а это въ свою очередь повело къ объясненію съ полицейскимъ коммисаромъ. Вотъ и вся правда.

„Что касается другихъ инсинуацій сотрудника „Пера“, то я ихъ презираю.

„Нельзя отвѣчать на такія вещи, когда ихъ пишутъ подъ маской.

„Жоржъ Дюруа“.

Вальтеръ и Жакъ Риваль, явившійся въ редакцію, нашли эту замѣтку удовлетворительной, и было рѣшено, что ее напечатаютъ въ тотъ же день, вслѣдъ за отдѣломъ слуховъ.

Дюруа рано вернулся къ себѣ, нѣсколько взволнованный, нѣсколько встревоженный: что-то отвѣтитъ его врагъ? Кто онъ? и что значитъ это грубое нападеніе? При задорныхъ нравахъ, существующихъ въ журналистикѣ, эта глупость можетъ далеко зайти, очень далеко.

Онъ плохо спалъ ночью.

Когда онъ перечелъ утромъ слѣдующаго дня свою замѣтку въ газетѣ, то нашелъ ее болѣе рѣзкой, чѣмъ думалъ наканунѣ. Ему казалось, что можно было бы смягчить нѣкоторыя выраженія.

Онъ былъ весь день въ лихорадочномъ состояніи и опять плохо спалъ ночью.

Онъ всталъ на зарѣ, чтобы идти купить нумеръ „Пера", въ которомъ долженъ былъ находиться отвѣтъ на его замѣтку.

Погода опять стояла холодная. Былъ сильный морозъ. Замерзшія лужи тянулись вдоль троттуаровъ двумя ледяными лентами.

Газеты еще не были получены торговцами, и Дюруа припомнилъ день, когда была напечатана его первая статья: „Воспоминанія африканскаго егеря". Руки и ноги его застывали и кончики пальцевъ ныли. Онъ сталъ бѣгать вокругъ стекляннаго кіоска, гдѣ торговка сидѣла надъ грѣлкой; и въ оконце кіоска были видны только кончикъ ея носа и красныхъ щекъ, закутанныхъ въ красномъ шерстяномъ капюшонѣ.

Наконецъ, разнощикъ газетъ просунулъ въ отверстіе ожидаемую пачку и торговка подала въ окно Дюруа „Перо", еще и не сложенное.

Онъ сталъ искать свое имя въ газетѣ и сначала не нашелъ. Онъ уже вздохнулъ съ облегченіемъ, какъ вдругъ увидѣлъ отвѣтъ себѣ.

„Г. Дюруа изъ „Vie-Francaise" говоритъ, что мы лжемъ, и говоря это, самъ лжетъ. Онъ сознается, однако, что существуетъ женщина Оберъ и что агентъ отвелъ ее въ полицію. Остается только прибавить два слова „общественной нравственности" послѣ слова „агентъ" и дѣло въ шляпѣ. Но совѣсть нѣкоторыхъ журналистовъ достойна ихъ таланта. Г. Дюруа просто-на-просто негодяй. Подъ чѣмъ и росписываюсь —

„Луи Ланремонъ".

Тутъ сердце его сильно забилось и онъ вернулся къ себѣ, чтобы переодѣться, самъ хорошенько не зная, зачѣмъ.

Итакъ его оскорбили и притомъ, такимъ образомъ, что никакія колебанія болѣе невозможны. За что? Ни за что ровно. По поводу старухи, которая поссорилась съ мясникомъ.

Онъ поспѣшно одѣлся и отправился къ Вальтеру, хотя было всего еще только восемь часовъ утра. Вальтеръ уже всталъ и читалъ „Перо".

— Ну,—сказалъ онъ съ серьезнымъ лицомъ, завидя Дюруа:— вы теперь не можете отступить.

Молодой человѣкъ ничего не отвѣтилъ, и редакторъ продолжалъ:

— Ступайте сейчасъ къ Ривалю; онъ займется вашимъ дѣломъ.

Дюруа пробормоталъ что-то неясное и вышелъ, чтобы ѣхать къ хроникеру, который еще спалъ.

Онъ вскочилъ съ постели, заслышавъ звонокъ, потомъ прочитавъ замѣтку, сказалъ:

— Чортъ возьми, надо туда ѣхать. Кого вы выберете другимъ секундантомъ?

— Право самъ не знаю.

— Буаренара? какъ вы думаете?

— Да, Буаренара.

— Вы сильны на шпагахъ?

— Нисколько.

— Чортъ побери! А на пистолетахъ?

— Стрѣлять умѣю.

— Ладно. Ступайте упражняться, пока я займусь вашимъ дѣломъ. Подождите меня одну минуту.

Онъ прошелъ въ свою уборную и вскорѣ вышелъ оттуда вымытый, выбритый, въ черномъ сюртукѣ и съ моноклемъ въ глазу.

— Идите за мной,—сказалъ онъ.

Онъ жилъ въ нижнемъ этажѣ маленькаго дома и провелъ Дюруа по лѣстницѣ въ подвалъ, громадный подвалъ, превращенный въ манежъ для стрѣльбы и фехтовальный залъ. Всѣ отверстія на улицу были забиты. Зажегши цѣлый рядъ газовыхъ рожковъ, доходившій до второго подвала, гдѣ стоялъ желѣзный манекенъ въ красномъ съ синемъ одѣяніи, онъ положилъ на столъ двѣ пары пистолетовъ новой системы, заряжавшихся съ казенной части, и сталъ командовать отрывистымъ голосомъ, точно они уже были на мѣстѣ поединка.

— Заряжай! Пли! Разъ, два, три.

Дюруа, уничтоженный, повиновался, поднимая руку, прицѣливался, стрѣлялъ. И такъ какъ онъ часто попадалъ манекену въ животъ, потому что въ ранней молодости много стрѣлялъ въ птицъ изъ стараго отцовскаго пистолета, то Жакъ Риваль, довольный, объявилъ:

— Хорошо... очень хорошо... у васъ дѣло пойдетъ на ладъ.

Потомъ простился съ нимъ, говоря:

— Стрѣляйте такимъ образомъ до двѣнадцати часовъ. Вотъ

вамъ боевые снаряды, истребляйте ихъ безъ стѣсненія. Я приду за вами, чтобы идти вмѣстѣ завтракать и сообщить вамъ новости.

Онъ ушелъ. Оставшись одинъ, Дюруа сдѣлалъ еще нѣсколько выстрѣловъ, затѣмъ сѣлъ и сталъ думать.

Какъ все это было, однако, глупо! И что это доказывало? Плутъ развѣ станетъ не плутомъ отъ того, что дрался на дуэли? Какая польза для честнаго человѣка рисковать своей жизнью изъ-за негодяя? И въ его умѣ, мрачно настроенномъ, откликнулось все, сказанное Норберомъ де-Варенномъ о глупости людей, ничтожествѣ ихъ мыслей и соображеній, безтолковости ихъ морали!

И онъ громко проговорилъ:

— Какую онъ, однако, правду сказалъ, чортъ побери!

Тутъ онъ почувствовалъ, что хочетъ пить, и слыша за собой шумъ падающихъ капель воды, оглянулся и увидѣлъ аппаратъ для душей и напился изъ пригоршни.

Потомъ опять принялся думать. Въ этомъ погребѣ было грустно, какъ въ могилѣ. Отдаленный и глухой стукъ экипажей представлялся грохотомъ удаляющейся грозы. Который могъ быть часъ? Время должно было проходить здѣсь незамѣтно, какъ въ тюрьмѣ; ничто его не отмѣчаетъ, кромѣ появленія тюремщика, приносящаго кушанье. Онъ ждалъ долго, долго; потомъ, наконецъ, услышалъ голоса, и Жакъ Риваль появился въ сопровожденіи Буаренара.

Онъ закричалъ, какъ только завидѣлъ Дюруа:

— Все улажено.

Тотъ подумалъ, что дѣло окончилось какимъ-нибудь извинительнымъ письмомъ, и сердце его забилось:—Ахъ, благодарю!

Хроникеръ продолжалъ:

— Этотъ Лангремонъ молодецъ; онъ принялъ всѣ наши условія. Двадцать-пять шаговъ и стрѣлять по командѣ, съ приподнятой рукой. Такъ гораздо вѣрнѣе прицѣлъ, чѣмъ когда рука опущена. Вотъ глядите, Буаренаръ, что я вамъ говорилъ.

И взявъ пистолетъ, сталъ показывать какъ, поднявъ руку, удобнѣе цѣлиться. Потомъ сказалъ:

— Теперь пойдемте завтракать. Уже первый часъ.

И они пошли въ сосѣдній ресторанъ. Дюруа ничего не говорилъ. Онъ ѣлъ, чтобы не подумали, что онъ труситъ. Потомъ пошелъ съ Буаренаромъ въ редакцію и тамъ разсѣянно и машинально дѣлалъ свое дѣло. Всѣ нашли, что онъ молодецъ.

Жакъ Риваль прибѣжалъ пожать ему руку среди дня. Условились, что секунданты пріѣдутъ за нимъ въ ландо на другой

день въ семь часовъ утра, чтобы ѣхать въ лѣсъ Везине, гдѣ будетъ происходить поединокъ.

Все это сдѣлалось такъ неожиданно, такъ быстро, безъ всякаго участія съ его стороны; никто не спрашивалъ ни его совѣта, ни его согласія, и онъ былъ совсѣмъ оглушенъ и не понималъ хорошенько, что это такое происходитъ.

Около девяти часовъ вечера онъ очутился у себя дома, пообѣдавъ передъ тѣмъ съ Буаренаромъ, не разставшимся съ нимъ весь день изъ преданности. Оставшись одинъ, онъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ ходилъ по комнатѣ крупными шагами. Онъ былъ слишкомъ смущенъ, чтобы думать о чемъ-нибудь. Одна только мысль наполняла его умъ. Завтра у него дуэль. И эта мысль пробуждала въ немъ какое-то смутное, но сильное ощущеніе. Онъ былъ солдатомъ. Онъ стрѣлялъ въ арабовъ безъ большой, впрочемъ, опасности для самого себя, немного въ родѣ того, какъ стрѣляютъ въ кабана на охотѣ.

Въ сущности онъ поступилъ, какъ слѣдуетъ. Онъ показалъ себя такимъ, какъ должно. Объ этомъ заговорятъ, его будутъ хвалить, поздравлять. Затѣмъ онъ вслухъ произнесъ, какъ это дѣлается въ минуты сильнаго нравственнаго потрясенія: — какая скотина этотъ Ланжремонъ!

Потомъ онъ сѣлъ и сталъ размышлять. Онъ бросилъ на столикъ карточку своего противника, переданную ему Ривалемъ, чтобы у него былъ его адресъ, и перечелъ ее, въ двадцатый, по крайней мѣрѣ, разъ: „Луи Ланжремонъ, 176, улица Монмартръ“.

И больше ничего.

Онъ разглядывалъ буквы, казавшіяся ему таинственными, полными тревожнаго смысла. „Луи Ланжремонъ“! Что это за человѣкъ? Сколько ему лѣтъ? Какая у него наружность? Ну развѣ не возмутительно, что какой-то неизвѣстный, чужой человѣкъ можетъ вдругъ, безъ всякой причины, по капризу, изъ-за какой-то старухи, поссорившейся съ мясникомъ, перевернуть всю вашу жизнь?

И онъ еще разъ вслухъ повторилъ:

— Какая скотина!

И остался неподвиженъ, съ глазами, устремленными на карточку.

Его начинала разбирать злость противъ этого клочка бумаги,— злость, пополамъ съ ненавистью и еще какимъ-то страннымъ, непріятнымъ чувствомъ. Онъ взялъ ножницы для ногтей, валявшіяся на столѣ, и проткнулъ имя на карточкѣ, точно пырнулъ кого-нибудь кинжаломъ. Итакъ, онъ будетъ драться, драться на

пистолетахъ! Зачѣмъ не выбралъ онъ шпагу? Онъ отдѣлался-бы простой царапиной, тогда какъ съ пистолетами никогда нельзя ручаться за послѣдствія.

Онъ произнесъ:—Ну, надо вести себя молодцомъ!

Звукъ собственнаго голоса заставилъ его вздрогнуть и онъ оглядѣлся кругомъ. Онъ начиналъ чувствовать себя очень нервнымъ; выпилъ стаканъ воды и легъ спать.

Улегшись въ постель, онъ немедленно задулъ свѣчу и закрылъ глаза. Ему было очень тепло подъ одѣяломъ, хотя въ комнатѣ было очень холодно, но онъ никакъ не могъ заснуть.

Онъ вертѣлся во всѣ стороны, укладывался сначала на спинѣ, потомъ поворачивался на лѣвый бокъ, потомъ на правый. Ему все хотѣлось пить. Онъ всталъ и напился, потомъ вдругъ встревожился:—Ужъ не трушу ли я?

Отчего сердце его безумно билось при малѣйшемъ шорохѣ въ комнатѣ? Когда кукушка на часахъ собиралась прокуковать, то скрипъ пружины заставлялъ его вздрагивать, и ему приходилось открывать ротъ, чтобы вздохнуть свободнѣе, до того у него было тяжело на груди.

Онъ принялся философствовать на тэму: — Неужели же я трушу? Нѣтъ, конечно, онъ не струситъ, если рѣшился довести дѣло до конца, если твердо намѣренъ драться и не поддаваться страху; но онъ чувствовалъ себя столь сильно взволнованнымъ, что задалъ себѣ вопросъ:

— Неужели можно трусить невольно?—И сомнѣніе, тревога, ужасъ овладѣли имъ! Ну вдругъ сила, болѣе могущественная, нежели его воля, всепобѣждающая, неотразимая завладѣетъ имъ, что тогда будетъ?

Конечно, онъ отправится на поединокъ, потому что этого хочетъ. Но вдругъ онъ будетъ дрожать? Ну вдругъ онъ упадетъ въ обморокъ? И ему думалось, что станется тогда съ его положеніемъ, репутаціей, всей его будущностью?

И странное желаніе встать, чтобы поглядѣться въ зеркало, овладѣло имъ. Онъ зажегъ свѣчу, и когда онъ увидѣлъ въ зеркалѣ свое лицо, то едва узналъ себя, и ему показалось, что онъ никогда такого лица не видывалъ. Глаза представились ему громадными и онъ былъ блѣденъ, какъ смерть.

Онъ стоялъ передъ зеркаломъ и высунулъ языкъ, чтобы видѣть, здоровъ ли онъ, и вдругъ мысль, какъ стрѣла, пронизала его:—Завтра въ это время я буду, можетъ быть, мертвъ!

И сердце у него снова забилось.—Завтра, быть можетъ, въ это время я буду уже мертвъ. Этотъ человѣкъ, котораго я вижу

передъ собой, это мое я, которое отражается въ зеркалѣ, перестанетъ существовать. Какъ? Вотъ я тутъ вижу самого себя, чувствую себя живымъ и черезъ какихъ-нибудь двѣнадцать часовъ я буду лежать въ этой постелѣ, мертвый, съ закрытыми глазами, холодный, безжизненный, исчезнувшій навсегда изъ міра.

Онъ повернулся къ постели и ясно увидѣлъ себя лежащимъ на томъ самомъ мѣстѣ, съ котораго только-что всталъ. У него было осунувшееся лицо, какъ бываетъ у мертвецовъ, и восковыя руки, которымъ уже не суждено шевелиться. Онъ испугался своей постели и, чтобы не видѣть ее, открылъ окно и выглянулъ изъ него.

Ледяной вѣтеръ охватилъ его съ головы до ногъ и онъ отскочилъ отъ окна. Ему пришло въ голову затопить каминъ, онъ долго провозился съ нимъ, стараясь не оглядываться на постель. Руки его дрожали, голова кружилась, мысли путались, безсвязныя, отрывочныя, и умъ мѣшался, точно онъ былъ пьянъ. И безпрестанно онъ спрашивалъ себя:—что мнѣ дѣлать? Какъ мнѣ быть?

Онъ сталъ ходить, повторяя машинально:—Надо быть энергичнымъ, очень энергичнымъ.

Потомъ онъ сказалъ себѣ: — Напишу-ка родителямъ на случай бѣды.—Онъ сѣлъ, взялъ тетрадь почтовой бумаги и написалъ: „Милый папаша, милая мамаша“... Потомъ ему показались эти выраженія слишкомъ фамиліарными для такого трагическаго случая. Онъ разорвалъ первый листъ и началъ снова:

— Милый папенька, милая маменька, я буду драться на дуэли на разсвѣтѣ и, такъ какъ можетъ случиться, что...

Дальше онъ не рѣшился написать и вскочилъ съ мѣста, какъ ужаленный. Теперь эта мысль его подавляла. Онъ будетъ драться на дуэли. Ему уже нельзя избѣжать этого. Что такое въ немъ происходитъ? Онъ хочетъ драться; онъ твердо рѣшилъ это и навѣрно выполнить свое рѣшеніе. Но ему казалось, что, при всемъ его желаніи, у него не хватитъ силы доѣхать до мѣста поединка. Время отъ времени зубы его стучали и онъ спрашивалъ себя:

— А что мой противникъ ужъ дрался раньше на дуэли? Посѣщалъ ли онъ манежъ для стрѣльбы? Извѣстенъ ли онъ? Онъ никогда не слыхалъ его имени. И между тѣмъ, еслибы этотъ человѣкъ не стрѣлялъ мастерски, онъ бы не принялъ сразу, безъ колебанія, безъ спора, это опасное оружіе. Тутъ Дюруа представилъ себѣ ихъ встрѣчу, свою позу и позу своего противника. Онъ утомлялъ свой умъ, рисуя себѣ всѣ подробности дуэли, и

вдругъ ему представилось темное и глубокое отверстіе въ пистолетномъ дулѣ, откуда должна вылетѣть пуля.

И страшное отчаяніе внезапно овладѣло имъ. Все его тѣло болѣзненно содрогалось, точно въ судорогахъ. Онъ стискивалъ зубы, чтобы не кричать. Ему хотѣлось кататься по землѣ, что-нибудь разорвать, кусаться.

Но тутъ онъ увидѣлъ рюмку на каминѣ и вспомнилъ, что у него въ шкапу бутылка водки, почти полная; у него сохранилась отъ военной жизни привычка „заморить червячка“ по утру.

Онъ схватилъ бутылку и сталъ пить прямо изъ горлышка, большими глотками, съ жадностью, и поставилъ бутылку на мѣсто только тогда, когда у него духъ занялся. Она была на треть пуста.

Теплота, подобная пламени, вскорѣ стала жечь ему желудокъ, разлилась по его членамъ, укрѣпила его душу, отуманивъ ее.

Онъ сказалъ себѣ:—Я нашелъ средство.—И, чувствуя, что все тѣло у него горитъ, онъ опять открылъ окно.

День наступалъ спокойный и холодный. На просвѣтлѣвшемъ небѣ звѣзды какъ будто погасали и въ глубокой траншеѣ желѣзной дороги красные, зеленые и бѣлые сигналы побѣднѣли.

Первые локомотивы появлялись на рельсахъ и отправлялись за первыми поѣздами на дебаркадеръ. Другіе, вдали, давали пронзительные и непрерывные свистки, точно пѣтухи, просыпающіеся въ деревняхъ.

Дюруа сказалъ себѣ:—Быть можетъ, ничего этого я больше не увижу.—Но, сознавая, что готовъ опять разчувствоваться надъ собой, онъ сдѣлалъ энергическое усиліе и произнесъ:—Рѣшительно, не слѣдуетъ ни о чемъ думать до самаго поединка; это единственное средство быть храбрымъ.

Онъ сталъ одѣваться. Когда онъ брился, на него снова напала минута слабости, при мысли, что, быть можетъ, онъ въ послѣдній разъ видитъ свое лицо.

Но онъ выпилъ еще водки и окончилъ свой туалетъ. Затѣмъ пришлось пережить еще одинъ тяжелый часъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ, стараясь ни о чемъ ни думать. Когда онъ услышалъ, что постучали въ его дверь, онъ чуть не упалъ навзничь отъ сильнаго потрясенія.

То были его секунданты. Уже! Они были въ мѣховыхъ пальто. Риваль объявилъ, пожавъ руку своего кліента:

— Сегодня сибирскій холодъ.

Потомъ спросилъ:—какъ поживаете?

— Очень хорошо.

— Спокойны?

— Очень спокоенъ.

— Ну, значитъ, все благополучно. Пили вы и ѣли что-нибудь?

— Да; я ничего больше не хочу.

Буаренаръ надѣлъ по этому случаю иностранный орденъ, зеленый съ желтымъ, котораго Дюруа никогда еще у него не видывалъ.

Они сошли съ лѣстницы. Въ ландо ихъ ожидалъ какой-то господинъ. Риваль сказалъ:—Докторъ Лебрюманъ.

Дюруа пожалъ ему руку, пробормотавъ:

— Благодарю васъ.

Потомъ хотѣлъ сѣсть на передней скамейкѣ, но, почувствовавъ подъ собой что-то жесткое, вскочилъ, какъ ужаленный.

То былъ ящикъ съ пистолетами.

Риваль твердилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, дуэлянтъ и докторъ должны сидѣть на задней скамейкѣ.

Дюруа понялъ наконецъ, чего отъ него хотятъ, и опустился рядомъ съ докторомъ.

Оба секунданта сѣли въ свою очередь и кучеръ пустилъ лошадей. Онъ зналъ, куда ѣхать.

Но ящикъ съ пистолетами всѣхъ стѣснялъ, въ особенности Дюруа, которому пріятнѣе было бы его не видѣть. Хотѣли поставить ихъ за спиной, но онъ толкалъ въ бокъ; тогда его поставили стоймя между Ривалемъ и Буаренаромъ; онъ постоянно падалъ. Наконецъ его поставили подъ ноги.

Разговоръ не клеился, хотя докторъ и разсказывалъ анекдоты. Одинъ только Риваль возражалъ ему. Дюруа желалъ бы доказать свое присутствіе духа, но боялся потерять нить своихъ мыслей и выказать смущеніе, испытываемое имъ въ душѣ. Его разбиралъ мучительный страхъ, что вдругъ онъ начнетъ дрожать.

Скоро экипажъ выѣхалъ за-городъ. Было около девяти часовъ, и одинъ изъ тѣхъ суровыхъ, зимнихъ дней, когда вся природа сверкаетъ, и кажется жесткой, какъ кристаллъ. Деревья, одѣтыя инеемъ, представляются ледяными сосульками, земля звенитъ подъ ногами, сухой воздухъ далеко разноситъ малѣйшій шумъ, голубое небо сверкаетъ, какъ зеркало, и солнце проходитъ въ пространствѣ, ослѣпительное, но тоже холодное, бросая на все оледенѣвшее мірозданіе лучи, которые вовсе не грѣютъ.

Риваль говорилъ Дюруа:

— Я взялъ пистолеты у Ренета, онъ самъ ихъ зарядилъ.

Ящикъ запечатанъ. Впрочемъ, вѣдь пистолеты наши и нашего противника будутъ выбраны по жребію.

Дюруа машинально отвѣчалъ:

— Благодарю васъ.

Тогда Риваль принялся давать самыя обстоятельныя инструкціи, такъ какъ желалъ, чтобы его кліентъ не сдѣлалъ ни одной ошибки. Каждый пунктъ онъ повторялъ по нѣсколько разъ:—Когда спросятъ: готовы ли вы, господа? вы отвѣтите громкимъ голосомъ:—Да. Когда скомандуютъ:—Пли! вы быстро приподнимите руку и выстрѣлите прежде, нежели скажутъ: три.

И Дюруа въ умѣ повторялъ себѣ:—Когда скомандуютъ: пли! я подниму руку... когда скомандуютъ: пли! я подниму руку... когда скомандуютъ: пли! я подниму руку.

Онъ училъ это, какъ дѣти учатъ уроки, повторяя сто разъ одно и тоже, чтобы хорошенько запечатлѣть въ своей памяти:—Когда скомандуютъ: пли! я подниму руку.

Ландо въѣхало въ лѣсъ, повернуло въ аллею направо, затѣмъ еще правѣе. Вдругъ Риваль открылъ дверцу и прокричалъ кучеру:—сюда, по этой тропинкѣ.

И карета поѣхала по ухабистой дорогѣ, между двухъ стѣнъ деревьевъ, на которыхъ трепетали мертвые листья, окаймленные бордюромъ изъ льда. Дюруа все еще бормоталъ:—Когда скомандуютъ: пли! я подниму руку. И вдругъ ему пришло въ голову, что еслибы карета опрокинулась, то это было бы очень кстати. О! если бы она опрокинулась, если бы онъ сломалъ себѣ руку!

Но на прогалинѣ, онъ увидѣлъ другую стоявшую карету и четырехъ господъ, топтавшихся на мѣстѣ, чтобы согрѣть ноги. Онъ долженъ былъ раскрыть ротъ, до такой степени ему стало трудно дышать.

Сначала вышли секунданты, затѣмъ докторъ и онъ самъ. Риваль взялъ ящикъ съ пистолетами и пошелъ съ Буаренаромъ къ двумъ незнакомцамъ, которые пошли къ нимъ навстрѣчу. Дюруа видѣлъ, какъ они церемонно раскланялись другъ съ другомъ, потомъ пошли по прогалинѣ, глядя то вверхъ, то себѣ подъ ноги, точно уронили что-то или упустили на воздухъ.

Потомъ они отсчитали шаги и съ трудомъ воткнули въ замерзшую землю тросточки. Потомъ сошлись всѣ вмѣстѣ и принялись, точно дѣти, играть въ орелъ или рѣшетка. Докторъ Лебрюманъ спросилъ Дюруа:

— Вы хорошо себя чувствуете? вамъ ничего не нужно?

— Нѣтъ, ничего, благодарю васъ.

Ему казалось, что онъ сошелъ съ ума, что онъ спитъ и видитъ сонъ, что нѣчто сверхъестественное произошло и охватило его.

Трусилъ ли онъ? можетъ быть. Но онъ этого самъ не зналъ. Все перемѣнилось вокругъ него.

Жакъ Риваль подошелъ къ нему и съ довольнымъ видомъ тихо возвѣстилъ:

— Все готово. Жребій палъ на наши пистолеты.

Вотъ ужъ это-то было рѣшительно все равно для Дюруа.

Съ него сняли пальто. Онъ предоставилъ снять его. Ощупали карманы его сюртука, чтобы убѣдиться, что въ нихъ нѣтъ бумагъ или портфеля, который могъ бы служить для него щитомъ.

Онъ повторялъ самому себѣ, точно молитву:—когда скомандуютъ: пли!.. я подниму руку...

Потомъ его подвели къ одной ихъ тросточекъ, воткнутыхъ въ землю, и дали ему въ руки пистолетъ. Тутъ онъ увидѣлъ человѣка, стоявшаго напротивъ него, очень близко, небольшого роста, пузатенькаго, лысаго и въ очкахъ. То былъ его противникъ. Онъ хорошо его видѣлъ, но думалъ только одно:—когда скомандуютъ: пли! я подниму руку и выстрѣлю.

Въ безмолвномъ пространствѣ послышался голосъ, доносившійся какъ бы издалека и вопрошавшій:

— Готовы ли вы, господа?—Онъ закричалъ:—Да.

Тогда тотъ же голосъ:—Пли!

Больше онъ ничего не слышалъ, ничего не видѣлъ, ни въ чемъ не отдавалъ себѣ отчета и почувствовалъ только, что поднимаетъ руку, надавивъ изо всей мочи на курокъ.

И ничего не услышалъ.

Но увидѣлъ немного дыма на концѣ пистолетнаго дула и, такъ какъ человѣкъ напротивъ него все еще стоялъ въ той же позѣ, онъ увидѣлъ другое легкое бѣлое облачко, поднявшееся надъ головой его противника.

Они оба стрѣляли. Дуэль была окончена.

Секунданты и докторъ ощупывали его, разстегнули ему платье, спрашивая съ тревогой:—Вы не ранены?

Онъ отвѣчалъ на удачу:

— Нѣтъ, кажется, не раненъ.

Впрочемъ, Лангремонъ былъ такъ же цѣлъ и невредимъ, какъ и его врагъ, и Жакъ Риваль пробормоталъ недовольнымъ тономъ:

— Съ этимъ проклятымъ пистолетомъ вѣчно такая исторія, или ничего, или убить. Что за мерзкое оружіе!

Дюруа не шевелился, парализированный удивленіемъ и радостью:—Дуэль окончена!

Пришлось вынуть у него изъ руки пистолетъ, который онъ сжималъ изо всей мочи. Ему казалось теперь, что онъ готовъ былъ бы драться со всей вселенной. Кончено! Какое счастье! Онъ вдругъ почувствовалъ себя храбрецомъ, готовымъ вызвать на бой кого угодно.

Четверо секундантовъ поговорили нѣсколько минутъ другъ съ другомъ, уговариваясь свидѣться днемъ въ редакціи, для составленія протокола, потомъ сѣли въ экипажъ и кучеръ, смѣявшійся на козлахъ, погналъ лошадей, хлопнувъ бичомъ.

Они всѣ вмѣстѣ позавтракали на бульварѣ, разговаривая объ этомъ событіи. Дюруа сообщалъ свои впечатлѣнія:

— Мнѣ было рѣшительно все-равно. Вы должны были, впрочемъ, это видѣть.

Ривалъ отвѣчалъ:

— Да; вы хорошо себя держали.

Когда протоколъ былъ составленъ, его передали Дюруа, который долженъ былъ помѣстить его въ отдѣлѣ слуховъ. Онъ удивился, увидя, что обмѣнялся двумя пулями съ Луи Лангремономъ, и нѣсколько встревоженный, спросилъ Ривала:

— Да вѣдь мы стрѣляли только одинъ разъ?

Тотъ улыбнулся:

— Ну да, по одной пулѣ каждый, это составитъ двѣ пули.

И Дюруа, найдя объясненіе удовлетворительнымъ, не сталъ больше настаивать.

Вальтеръ поцѣловалъ его:

— Браво, браво! вы сражались за знамя „Vie Française“, браво!

Жоржъ показался вечеромъ въ редакціяхъ главныхъ газетъ и въ главныхъ кафе бульвара.

Онъ два раза встрѣтилъ своего противника, который тоже вездѣ показывался. Они не кланялись другъ другу. Еслибы кто-нибудь изъ нихъ былъ раненъ, они бы пожали другъ другу руку. Каждый съ убѣжденіемъ утверждалъ, что слышалъ, какъ просвистѣла пуля противника.

На другой день, около одиннадцати часовъ утра, Дюруа получилъ телеграмму: „Боже мой, какъ я боялась. Пріѣзжай въ Константинопольскую улицу, чтобы я могла тебя обнять, мое сокровище. Какой ты храбрый... обожаю тебя... Кло“.

Онъ отправился на свиданіе, и она бросилась ему въ объятія и покрыла его поцѣлуями:

— О! мой милый, еслибы ты зналъ, какъ я взволновалась, прочитавъ сегодня утромъ газеты. О! Разскажи мнѣ все, какъ было, я хочу все знать.

Онъ долженъ былъ разсказать все до мельчайшихъ подробностей. Она спрашивала:

— Какую ты, должно быть, провелъ тяжелую ночь передъ дуэлью?

— Нѣтъ; я хорошо спалъ.

— Я бы глазъ не могла сомкнуть. А на мѣстѣ поединка какъ все было, разскажи мнѣ.

Онъ драматично разсказалъ:—Когда мы очутились другъ противъ друга въ двадцати шагахъ, т.-е. на разстояніи четыре раза длиннѣе этой комнаты, Жакъ Риваль, спросивъ предварительно, готовы ли мы, скомандовалъ: пли! Я тотчасъ поднялъ руку, но ошибся въ томъ отношеніи, что прицѣлился въ голову. У меня былъ очень тугой пистолетъ, а я привыкъ къ очень мягкимъ, такъ что сопротивленіе курка приподняло прицѣлъ. Но все же пуля, должно быть, близко пропла около него. Да и онъ тоже хорошо стрѣляетъ, мерзавецъ! Пуля прошла у меня около виска, я чувствовалъ движеніе воздуха...

Она лепетала:—О! мой бѣдный, дорогой голубчикъ.

Потомъ, когда онъ кончилъ разсказывать, она сказала ему:

— Знаешь, я не могу больше безъ тебя жить. Я должна видѣться съ тобой, а теперь, когда мой мужъ въ Парижѣ, это не такъ-то удобно. Иногда по утрамъ у меня бываетъ свободный часокъ-другой, пока ты еще лежишь въ постели, но я не хочу показываться въ твоемъ ужасномъ домѣ; какъ быть?

Его вдругъ осѣнила мысль.

Онъ спросилъ:—Сколько ты платишь за эту квартиру?

— Сто франковъ въ мѣсяцъ.

— Прекрасно; я займу эту квартиру за свой счетъ и совсѣмъ переселюсь въ нее, моя теперешняя мнѣ больше не годится при измѣнившихся обстоятельствахъ.

Она подумала нѣсколько секундъ, потомъ отвѣчала:

— Нѣтъ, не хочу.

Онъ удивился:—Но почему же?

— Потому что...

— Это не причина. Квартира мнѣ годится вполнѣ. J'y suis, j'y reste.—И онъ засмѣялся. — Къ тому же вѣдь она взята на мое имя.

Но она продолжала не соглашаться.

— Нѣтъ, нѣтъ, не хочу.

И, наконецъ, шопотомъ и нѣжнымъ голосомъ она объявила:

— Потому что ты будешь приводить сюда женщинъ, а я этого не хочу.

Онъ пришелъ въ негодованіе.

— Никогда въ жизни. Вотъ еще выдумала. Обѣщаю тебѣ, что этого не будетъ.

— Нѣтъ, ты обманешь.

— Клянусь тебѣ.

— Честное слово?

— Честное слово. Это нашъ съ тобой домъ и больше ни чей.

Она крѣпко и любовно обняла его.

— Ну такъ я согласна, мой голубчикъ. Но знаешь, если ты хоть разъ меня обманешь, между нами все будетъ кончено навѣки.

Онъ еще разъ поклялся ей въ вѣрности и было условлено, что онъ переѣдетъ въ тотъ же день.

— Во всякомъ случаѣ, приходи къ намъ въ воскресенье обѣдать, ты очень понравился моему мужу.

Онъ казался польщеннымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да, очаровалъ его. Но, послушай-ка, ты вѣдь говорилъ мнѣ, что выросъ въ деревнѣ, въ замкѣ?

— Да; но почему ты это спрашиваешь?

— Ты долженъ, значитъ, немного знать сельское хозяйство?

— Да.

— Ну, такъ поговори съ нимъ о садоводствѣ и полеводствѣ; онъ это очень любитъ.

— Хорошо; не забуду.

Она разсталась съ нимъ послѣ нескончаемыхъ поцѣлуевъ: дуэль подогрѣла ея любовь.

И Дюруа думалъ, идя въ редакцію:

— Какое странное существо! Какая вѣтреная голова! Кто можетъ сказать, чего она хочетъ и что она любитъ! И что за странная семья! Какой фантазеръ задумалъ соединить этого стараго бонзу съ этой вертушкой? Какія разсужденія могли убѣдить этого инспектора жениться на этой студенткѣ? Великая тайна. А кто знаетъ, можетъ быть, и любовь?

Потомъ заключилъ:

— Какъ бы ни было, а любовница она прелестная. Я былъ бы дуракъ, еслибы выпустилъ ее изъ рукъ.

VIII.

Благодаря дуэли, Дюруа сталъ во главѣ хроникеровъ „Vie-Française“. Но такъ какъ ему было ужасно трудно находить идеи для своихъ статей, то онъ избралъ спеціальностью декламаціи о разложеніи нравовъ, о паденіи характеровъ, ослабленіи патріотизма и анеміи чувства чести у французовъ (онъ придумалъ слово „анемія чести“ и очень этимъ гордился).

И когда m-me де-Марель, вся проникнутая скептическимъ и насмѣшливымъ духомъ, который считается парижскимъ умомъ, подсмѣивалась надъ его тирадами и убивала ихъ однимъ словомъ, онъ отвѣчалъ, улыбаясь:

— Ба! это хорошо меня рекомендуетъ и пригодится впослѣдствіи.

Онъ жилъ теперь въ Константинопольской улицѣ, куда перевезъ свой чемоданъ, щетку для платья, бритву и мыло. Въ этомъ и заключался весь его скарбъ, и молодая женщина два или три раза въ недѣлю приходила къ нему.

Дюруа же по четвергамъ обѣдалъ у нея и ухаживалъ за ея мужемъ, разговаривалъ съ нимъ о земледѣліи, и такъ какъ самъ любилъ все, что касалось земли, то порою они оба такъ увлекались болтовней, что забывали свою жену, дремавшую на диванѣ!

Лорина тоже засыпала порой на колѣняхъ отца, порою на колѣняхъ „милаго друга“.

И когда журналистъ уходилъ, де-Марель непремѣнно замѣчалъ тѣмъ доктринерскимъ тономъ, какимъ онъ произносилъ самыя пустыя слова:—Вотъ, право, очень пріятный малый. У него развитый умъ.

Февраль былъ на исходѣ. На улицахъ уже слышался запахъ фіалки, когда поутру случалось проходить мимо ручныхъ тележекъ, которыя везли цвѣточныя торговки.

Дюруа жилъ, не видя ни малѣйшаго облачка на своемъ небосклонѣ.

Разъ, однако, вернувшись къ себѣ вечеромъ, онъ нашелъ письмо, которое ему подсунули подъ дверь. Онъ поглядѣлъ на почтовый штемпель, какъ это всегда дѣлалъ, и увидѣлъ: „Каннъ“. Распечатавъ письмо, онъ прочиталъ:

„Каннъ, вилла Жоли.

„Милостивый государь и другъ!

„Вы говорили мнѣ, не правда ли, что я могу во всемъ на васъ разсчитывать? Ну, вотъ я обращаюсь къ вамъ за горькой

услугой. Пріѣзжайте и помогите мнѣ, не оставляйте меня одну при послѣднихъ минутахъ Шарля, который умираетъ... Быть можетъ, онъ не проживетъ и недѣли. Хотя онъ еще встаетъ съ постели, но докторъ меня предупредилъ, что конецъ близокъ.

„У меня не хватаетъ больше ни силъ, ни мужества день и ночь смотрѣть на его агонію. И я съ ужасомъ думаю о послѣднихъ минутахъ, которыя наступаютъ. Я только васъ могу попросить о такой услугѣ, потому что у моего мужа нѣтъ больше никого близкихъ. Вы были его товарищемъ; онъ открылъ вамъ двери въ редакцію. Пріѣзжайте, умоляю васъ. Мнѣ не къ кому обратиться.

„Остаюсь искренно преданнымъ вамъ собратомъ,

„Мадлена Форестье".

Странное ощущеніе, точно порывъ воздуха, проникло въ сердце Жоржа, ощущеніе свободы, простора, открывающагося передъ нимъ. И онъ пробормоталъ:—Само собою разумѣется, что я поѣду! Бѣдный Шарль! Вотъ, однако, судьба-то наша!

Хозяинъ, которому онъ показалъ письмо молодой женщины, далъ свое согласіе, но не безъ ворчанья. Онъ повторялъ:—Возвращайтесь скорѣе. Вы намъ необходимы.

Жоржъ Дюруа уѣхалъ въ Каннъ на другой день съ курьерскимъ семичасовымъ поѣздомъ, извѣстивъ телеграммой семью Марель о своемъ отъѣздѣ.

Онъ пріѣхалъ въ Каннъ на слѣдующій день около четырехъ часовъ пополудни. Коммиссіонеръ провелъ его на виллу Жоли, построенную на скатѣ холма въ сосновомъ лѣсу, застроенномъ бѣлыми домиками, который тянулся отъ Канна до залива Жуанъ.

Домъ былъ малъ, низокъ, въ итальянскомъ стилѣ, и стоялъ на краю дороги, идущей зигзагомъ вверхъ между деревьями и съ которой при каждомъ поворотѣ открываются чудные виды.

Слуга отперъ дверь и воскликнулъ:

— Ахъ, сударь! барыня дожидается васъ съ большимъ нетерпѣніемъ.

Дюруа спросилъ:

— Какъ здоровье барина?

— Охъ, не очень хорошо, сударь! Ему не долго осталось жить.

Гостиная, куда вошелъ молодой человѣкъ, была обтянута розовымъ ситцемъ съ голубыми разводами. Окно, широкое и высокое, выходило на городъ и на море.

Дюруа пробормоталъ:—Чортъ возьми, какой шикъ для простой дачи! Гдѣ это они берутъ столько денегъ, хотѣлъ бы я знать!

Шорохъ платья заставилъ его оглянуться. M-me Форестье протягивала ему обѣ руки.

— Какъ вы добры... какъ вы добры, что пріѣхали.

И вдругъ поцѣловала его.

Послѣ того они оглядѣли другъ друга. Она немножко побѣлѣла, немножко похудѣла, но все еще была свѣжа и даже какъ бы похорошѣла, стала еще изящнѣе. Она прошептала:

— Онъ въ ужасномъ состояніи. Онъ знаетъ, что умираетъ, и страшно меня тиранитъ. Я предупредила его о вашемъ пріѣздѣ. Но гдѣ же вашъ чемоданъ?

Дюруа отвѣчалъ:

— Я оставилъ его на желѣзной дорогѣ, такъ какъ не зналъ, въ какомъ отелѣ вы посовѣтуете мнѣ остановиться, чтобы быть поближе отъ васъ.

Она колебалась съ минуту, затѣмъ сказала:

— Вы остановитесь здѣсь, на виллѣ. Ваша комната уже готова. Онъ можетъ умереть съ минуты на минуту и, если это случится ночью, то я буду совсѣмъ одна. Я пошлю за вашимъ багажемъ.

Онъ поклонился:—Какъ вамъ будетъ угодно!

— Теперь пойдемте на верхъ.

Онъ послѣдовалъ за ней. Она отворила одну дверь въ первомъ этажѣ и Дюруа увидѣлъ у окна въ креслахъ, завернутаго въ одѣяло, съ посинѣлымъ, при красныхъ лучахъ заходящаго солнца, лицомъ, какой-то трупъ, который на него глядѣлъ. Онъ едва узналъ Шарля и больше догадался, что то былъ его пріятель.

Въ этой комнатѣ чувствовалось присутствіе болѣзни, запахъ лекарствъ, эѳира, дегтя, словомъ, тотъ невыразимый и тяжелый воздухъ, какой царствуетъ въ комнатѣ чахоточнаго.

Форестье приподнялъ руку медленно и съ трудомъ:

— Вотъ и ты,—сказалъ онъ,—ты пріѣхалъ поглядѣть, какъ я умираю. Благодарю тебя.

Дюруа притворно засмѣялся:—Поглядѣть, какъ ты умираешь? это было бы невеселое зрѣлище и я бы не выбралъ такой случай, чтобы посмотрѣть на Канны. Я пріѣхалъ повидаться съ тобой и отдохнуть.

Тотъ пробормоталъ:—Садись, — и опустилъ голову, какъ бы погрузился въ унылыя размышленія.

Онъ дышалъ прерывисто и порою у него вырывался какъ бы стонъ, точно онъ хотѣлъ напомнить другимъ, какъ онъ боленъ.

Видя, что онъ не хочетъ разговаривать, жена подошла къ окну и сказала, указывая на горизонтъ:

— Взгляните сюда! Не правда ли, какая красота!

Передъ ними скатъ холма, покрытый виллами, спускался до самаго города, расположеннаго вдоль берега полукругомъ. Головой онъ упирался направо въ плотину, надъ которою господствовалъ старый городъ, увѣнчанный старинной каланчей съ набатнымъ колоколомъ, а ногами упирался налѣво въ Круазетъ, напротивъ островковъ Леринъ. Эти островки походили на два зеленыхъ пятна на голубой водѣ. Казалось, что они плавали, какъ два громадныхъ листа, такими плоскими казались они сверху.

А вдали, горизонтъ замыкался по ту сторону залива, надъ плотиной и каланчей, длинной цѣпью синеватыхъ горъ, вырѣзавшихся на яркомъ небѣ, то закругленными вершинами, то острыми пиками и оканчивавшимися большой горой въ формѣ пирамиды, подошва которой омывалась моремъ.

М-me Форестье сказала:

— Это Лестерель.

Пространство за темными вершинами было багрово-золотистое и до такой степени яркое, что глазамъ было больно глядѣть.

Дюруа, помимо воли, поддался обаянію этого величественнаго заката и не нашелъ болѣе картиннаго выраженія для своего восторга, какъ:

— Да! это чертовски хорошо!

Форестье поднялъ голову и, обращаясь къ женѣ, сказалъ:— Дай мнѣ подышать чистымъ воздухомъ.

Она отвѣчала:—Берегись; уже поздно; солнце сѣло, ты опять можешь простудиться, а вѣдь это очень вредно для твоего здоровья.

Онъ сдѣлалъ правою рукою лихорадочный и слабый жестъ, который долженъ былъ изображать ударъ кулакомъ, и пробормоталъ съ гримасой умирающаго, отъ которой обозначились его тонкія губы, худыя щеки и всѣ кости на лицѣ:

— Говорю тебѣ, что я задыхаюсь. Не все ли тебѣ равно, если я умру днемъ раньше или днемъ позже, все равно, вѣдь ужъ я не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ.

Она раскрыла окно. Воздухъ, вошедшій въ окно, ихъ всѣхъ удивилъ, такъ онъ былъ мягокъ. Теплый, тихій, весенній вѣтерокъ, уже пропитанный ароматами деревьевъ и цвѣтовъ, дулъ въ окно. Форестье короткими и лихорадочными вздохами пилъ его. Но скоро провелъ ногтями по ручкѣ креселъ и тихимъ, свистящимъ, разъяреннымъ голосомъ сказалъ:

— Закрой окно. Мнѣ больно, я бы хотѣлъ лучше подохнуть въ погребѣ!

Жена медленно закрыла окно и стала глядѣть вдаль, прислонившись лбомъ къ стеклу.

Дюруа чувствовалъ себя неловко: ему хотѣлось бы поболтать съ больнымъ, успокоить его, но онъ не находилъ для этого словъ.

Онъ пробормоталъ: — Значитъ, тебѣ не помогло пребываніе здѣсь?

Тотъ пожалъ плечами съ раздражительнымъ нетерпѣніемъ:— Самъ видишь,—и снова опустилъ голову.

Дюруа продолжалъ:

— А какъ тутъ хорошо сравнительно съ Парижемъ. Тамъ еще зима. Снѣгъ идетъ, градъ, дождь и такъ темно, что приходится зажигать лампы съ трехъ часовъ пополудни.

Форестье спросилъ:—Ничего новаго въ журналѣ?

— Ничего новаго. Вмѣсто тебя взяли Лакруа, который оставилъ „Вольтеръ“. Но онъ еще не созрѣлъ. Пора тебѣ возвращаться.

Больной пролепеталъ:

— Я отправлюсь писать статьи въ гробу, подъ землею.

Idée fixe возвращалась безпрестанно, по поводу всего, въ каждой мысли, въ каждой фразѣ.

Наступило продолжительное молчаніе, глубокое и мучительное. Пожаръ заката мало-по-малу утихалъ и горы окрашивались въ черную краску на красномъ небѣ, которое тоже темнѣло. Окрашенный сумракъ, ночь, еще озаренная лучами потухающаго костра, входила въ комнату, и покрывала всѣ предметы въ ней: мебель, стѣны, обои чернилами пополамъ съ пурпуромъ. Зеркало камина, отражавшее горизонтъ, походило на лужу крови.

М-me Форестье не шевелилась, продолжая стоять спиной къ комнатѣ, уткнувшись лицомъ въ стекло.

А самъ Форестье заговорилъ прерывистымъ, запыхавшимся, теряющимъ слухъ голосомъ:

— Сколько еще закатовъ солнца увижу я?... восемь... десять... пятнадцать или двадцать... можетъ быть, тридцать... никакъ не болѣе... у васъ еще много времени впереди... а для меня все кончено... И послѣ меня все останется, какъ было...

Онъ помолчалъ нѣсколько секундъ, потомъ продолжалъ:

— Все, что я вижу, напоминаетъ мнѣ, что всего этого я черезъ нѣсколько дней не увижу... это ужасно... я ничего не увижу... ничего... изъ того, что существуетъ... ни тарелокъ... ни стакановъ, ни кроватей, на которыхъ спятъ... ни экипажей... а

вѣдь такъ пріятно кататься въ экипажѣ вечеромъ... какъ я все это любилъ!

Онъ нервно барабанилъ пальцами по ручкамъ креселъ, точно игралъ на фортепіано. И молчаніе его было еще тяжелѣе его словъ, потому что чувствовалось, что онъ долженъ думать о такихъ мучительныхъ вещахъ.

И Дюруа вдругъ вспомнилъ то, что́ ему говорилъ Норберъ де-Варенъ нѣсколько недѣль назадъ: — Я вижу теперь смерть такъ близко около себя, что часто мнѣ хочется протянуть руку, чтобы ее оттолкнуть... я всюду натыкаюсь на нее: насѣкомыя, раздавленныя на дорогѣ, листья, падающіе съ дерева, сѣдина, которую я вижу въ бородѣ пріятеля, терзаютъ мнѣ сердце и кричатъ: вотъ она!

Въ тотъ день онъ его не понималъ, но теперь понялъ, глядя на Форестье. И невѣдомый, мучительный страхъ охватилъ его душу, точно онъ почувствовалъ у кресла этого задыхающагося человѣка безобразную смерть, которую могъ схватить рукою. Ему хотѣлось встать, уйти, убѣжать, вернуться въ Парижъ, сейчасъ, сейчасъ! О! еслибы онъ зналъ, онъ бы не пріѣзжалъ.

Ночь совсѣмъ окутала теперь комнату, точно преждевременнымъ трауромъ по умирающемъ. Одно только окно еще свѣтлѣлось и на немъ темный силуэтъ молодой женщины.

Форестье спросилъ раздражительно:

— Что-жъ это? сегодня такъ-таки и не принесутъ лампы. Вотъ это называется ухаживать за больнымъ!

Тѣнь у окна исчезла и послышался электрическій звонокъ.

Вскорѣ вошелъ слуга и поставилъ лампу на каминъ.

М-me Форестье сказала своему мужу:

— Хочешь лечь спать? или же сойдешь къ обѣду?

Онъ пробормоталъ: — Сойду къ обѣду.

И въ ожиданіи обѣда, они просидѣли втроемъ еще около часу, неподвижно, время отъ времени перекидываясь какимъ-нибудь безполезнымъ, банальнымъ словомъ, точно какая-то опасность, таинственная и непонятная, грозила всякій разъ какъ длилось черезъ-чуръ долго безмолвіе, точно нельзя было давать застывать воздуху въ этой комнатѣ, гдѣ бродила смерть.

Наконецъ, пришли сказать, что кушать подано. Обѣдъ показался Дюруа долгимъ, нескончаемымъ. Они почти все время молчали, ѣли безъ шума, а въ промежуткахъ кушаньевъ растирали крошки хлѣба въ пальцахъ. И слуга, прислуживая, уходилъ, приходилъ, такъ что не было слышно его шаговъ. Всякій шумъ раздражалъ Шарля, а потому слуга былъ въ веревочныхъ туфляхъ.

Одинъ только рѣзкій стукъ большихъ стѣнныхъ часовъ нарушалъ тишину ночи своимъ механическимъ и правильнымъ движеніемъ.

Какъ только обѣдъ былъ конченъ, Дюруа подъ предлогомъ усталости, удалился въ свою комнату и, опершись на окно, глядѣлъ на полную луну, красовавшуюся посреди темнаго неба, подобно громадной лампѣ, озарявшую тусклымъ и сухимъ свѣтомъ бѣлыя стѣны дачныхъ домиковъ и покрывавшую море подвижными блестками. Онъ искалъ предлога поскорѣй уѣхать, придумывая разныя хитрости, призывныя телеграммы, будто бы полученныя имъ отъ Вальтера.

Но намѣреніе спастись бѣгствомъ показалось гораздо невыполнимѣе, когда онъ проснулся на другой день по утру. М-ше Форестье не повѣритъ его предлогу и онъ потеряетъ черезъ свою трусость всѣ плоды своего самопожертвованія. Онъ сказалъ себѣ: —Ну! потерплю, что-жъ дѣлать, бываютъ непріятныя минуты въ жизни. Можетъ быть, ждать недолго.

Небо было голубое, того цвѣта, какое бываетъ только на югѣ и наполняетъ сердце радостью. Дюруа прошелъ къ морю, находя, что день дологъ, и онъ еще успѣетъ повидаться съ Форестье.

Когда онъ вернулся къ завтраку, слуга сказалъ ему: — Баринъ ужъ два или три раза васъ спрашивали. Угодно вамъ пройти къ барину?

Онъ пошелъ, Форестье какъ будто спалъ въ креслѣ. Жена его читала, протянувшись на диванѣ.

Больной поднялъ голову. Дюруа сказалъ ему:—Ну, какъ поживаешь? ты, кажется, совсѣмъ молодцомъ сегодня поутру.

Тотъ пробормоталъ: — Да, сегодня мнѣ лучше. Я чувствую себя покрѣпче. Поскорѣй позавтракай съ Мадленой, потому что мы поѣдемъ кататься въ каретѣ.

Когда молодая женщина осталась вдвоемъ съ Дюруа, то сказала ему:

— Вотъ, сегодня онъ считаетъ, что спасенъ, строитъ разные планы. Сейчасъ мы поѣдемъ къ Жуанскому заливу покупать фаянсовыя бездѣлки для нашей парижской квартиры. Онъ хочетъ ѣхать, во что бы то ни стало, а я ужасно боюсь, что это не кончится добромъ. Онъ не вынесетъ дорожныхъ толчковъ.

Когда подали ландо, Форестье сошелъ съ лѣстницы шагъ за шагомъ, поддерживаемый слугой. Но, увидя экипажъ, приказалъ его раскрыть.

Жена спорила:—Ты простудишься; это неблагоразумно.

Онъ настаивалъ:—Нѣтъ, мнѣ гораздо лучше; я это чувствую.

Сначала ландо покатилось по тѣнистой дорогѣ, шедшей между садовъ, превращающихъ Каннъ въ родъ англійскаго парка, потомъ поѣхали вдоль моря.

Форестье знакомилъ своихъ спутниковъ съ мѣстностью. Онъ показалъ имъ виллу графа Парижскаго и другія. Онъ былъ весель искусственной, поддѣльной веселостью осужденнаго на смерть. Онъ поднималъ палецъ, не имѣя силы протянуть руку.

— Смотри, вотъ островъ св. Маргариты и крѣпость, изъ которой убѣжалъ Базенъ. Сколько шуму-то тогда это надѣлало.

Потомъ сталъ припоминать разныя полковыя исторіи, перебиралъ офицеровъ-сослуживцевъ. Но вдругъ на поворотѣ дороги передъ нимъ открылся весь Жуанскій заливъ съ Антибскимъ мысомъ на концѣ.

И Форестье, охваченный дѣтской радостью, пролепеталъ: — Ахъ! эскадра, ты сейчасъ увидишь эскадру!

Дѣйствительно, посреди обширной бухты видиѣлось до десяти большихъ кораблей, походившихъ на утесы. Они были странны, безобразны и громадны, съ башнями, съ какими-то придатками, шпорами, уходившими въ воду, точно затѣмъ, чтобы прицѣпиться ко дну. Не вѣрилось, чтобы эти махины могли двигаться, плавать, до того они были тяжелы и неподвижны на видъ. Плавучая батарея круглая, высокая, въ формѣ обсерваторіи, походила на одинъ изъ тѣхъ маяковъ, которые строятся на подводныхъ скалахъ.

И большой трехмачтовый корабль проходилъ мимо ихъ, собираясь выйти въ открытое море, съ распущенными бѣлыми и веселыми парусами. Онъ былъ граціозенъ и красивъ возлѣ этихъ военныхъ чудищъ, окованныхъ желѣзомъ и спавшихъ на водѣ.

Форестье старался узнать корабли. Онъ называлъ: „Ришелье“, „La Foudroyante“, „L'Implacable“, „La Devastation“. Потомъ поправлялся.—Нѣтъ, я ошибаюсь, вотъ этотъ „La Devastation“.

Они доѣхали до большого павильона, на которомъ стояла надпись: „Художественный фаянсъ Жуанскаго залива“. И карета, объѣхавъ вокругъ газона, остановилась у дверей.

Форестье хотѣлъ купить двѣ вазы, чтобы поставить ихъ на свой книжный шкапъ. Такъ какъ онъ не въ силахъ былъ выйти изъ экипажа, то ему подносили образчики одинъ за другимъ. Онъ долго выбиралъ, совѣтуясь съ женой и съ Дюруа.

— Ты знаешь, это для шкапа, въ моемъ кабинетѣ. Изъ моего кресла я его вижу постоянно. Мнѣ хочется вазу старинной формы, греческой.

Онъ разсматривалъ образцы, приказывалъ принести новые, опять бралъ прежніе. Наконецъ, рѣшился и, уплативъ деньги,

потребовалъ, чтобы вазы тотчасъ же отослали въ Парижъ. — Я вернусь въ Парижъ черезъ нѣсколько дней,—говорилъ онъ.

Они поѣхали домой, но вдоль залива ихъ схватилъ холодный вѣтеръ, внезапно ворвавшійся въ узкую долину, и больной раскашлялся. Сначала припадокъ былъ не очень силенъ, но затѣмъ перешелъ въ настоящее хрипѣніе.

Форестье задыхался и каждый разъ, какъ онъ хотѣлъ перевести духъ, кашель раздиралъ ему горло. Ничто не могло его успокоить, прервать. Пришлось на рукахъ перенести его изъ ландо въ комнату и Дюруа, державшій его за ноги, чувствовалъ, какъ онѣ содрогались отъ кашля.

Теплота постели не остановила припадка, длившагося до полуночи. Послѣ того наркотическія средства пріостановили смертельные спазмы кашля. И больной до свѣта просидѣлъ въ постели съ открытыми глазами.

Первыми словами его было, чтобы позвали цирюльника, такъ какъ онъ требовалъ, чтобы его брили каждое утро. Онъ всталъ для этой операціи, но пришлось тотчасъ же опять уложить его и онъ сталъ дышать такъ прерывисто, такъ тяжело, что m-me Форестье, испуганная, велѣла разбудить Дюруа, который только-что улегся спать, и попросить его сходить за докторомъ.

Тотъ привелъ доктора. Онъ прописалъ микстуру и далъ нѣсколько совѣтовъ. Но когда журналистъ, провожая его, спросилъ его мнѣніе, онъ отвѣчалъ:

— Это начинается агонія. Завтра утромъ онъ будетъ уже мертвъ. Предупредите эту бѣдную молодую женщину и пошлите за священникомъ. Мнѣ здѣсь больше нечего дѣлать. Но, впрочемъ, я вполнѣ готовъ къ вашимъ услугамъ.

Дюруа позвалъ m-me Форестье.

— Онъ умираетъ. Докторъ совѣтуетъ послать за священникомъ. Какъ быть?

Она долго соображала, потомъ медленнымъ голосомъ, взвѣсивъ всѣ обстоятельства, проговорила:

— Да, такъ будетъ лучше... во многихъ отношеніяхъ... я приготовлю его, скажу ему, что священникъ самъ желаетъ его видѣть... ужъ что-нибудь придумаю. Вы были бы очень любезны, еслибы сходили за священникомъ. Выберите такого, который бы поменьше ломался. Убѣдите его удовольствоваться одной только исповѣдью.

Молодой человѣкъ привелъ стараго, снисходительнаго патера, который готовъ былъ согласоваться съ обстоятельствами. Какъ

скоро онъ вошелъ къ умирающему, m-me Форестье вышла и сѣла въ сосѣдней комнатѣ съ Дюруа.

— Все это его страшно разстроило,—сказала она.—Когда я заговорила о священникѣ, лицо его приняло ужасное выраженіе, точно... точно онъ почувствовалъ какое-то дуновеніе... знаете... Онъ понялъ, что конецъ близокъ, что ему осталось всего какихъ-нибудь нѣсколько часовъ жить...

Она была очень блѣдна, и продолжала:

— Я никогда не забуду выраженіе его лица, никогда. Онъ навѣрное видѣлъ въ эту минуту смерть въ лицо. Да, онъ ее видѣлъ...

Они слышали слова священника, говорившаго нѣсколько громко, потому что былъ глухъ:

— Нѣтъ же, нѣтъ, вы не такъ опасны. Вы больны, конечно, но совсѣмъ не опасны. И доказательство, что я пришелъ васъ провѣдать просто какъ другъ, какъ сосѣдъ.

Они не услышали, что отвѣчалъ Форестье. Старикъ продолжалъ:

— Нѣтъ, я васъ не буду причащать, мы поговоримъ объ этомъ, когда вы поправитесь. Если хотите воспользоваться моимъ посѣщеніемъ, чтобы исповѣдаться, то, пожалуй, я на это согласенъ. Я вѣдь пастырь и пользуюсь всякимъ случаемъ, чтобы обратить заблудшихъ овецъ на путь истинный.

Наступила продолжительная тишина, Форестье, должно быть, говорилъ своимъ задыхающимся и беззвучнымъ голосомъ.

Затѣмъ вдругъ священникъ произнесъ уже совсѣмъ инымъ тономъ, тономъ священнослужителя у алтаря.

— Милосердіе Божіе безгранично; читайте Confiteor, дитя мое. Вы, быть можетъ, позабыли его. Повторяйте за мной:

Confiteor Deo omnipotenti...
Beatae Mariae semper virgini...

Онъ время отъ времени останавливался, чтобы умирающій могъ поспѣвать за нимъ. Затѣмъ сказалъ:

— Теперь исповѣдайте грѣхи свои.

Молодая женщина и Дюруа не шевелились, охваченные страннымъ смущеніемъ, взволнованные тревожнымъ ожиданіемъ.

Больной пробормоталъ что-то.

Священникъ повторилъ:—вы позволяли себѣ грѣховныя увлеченія? какого рода, дитя мое?

Молодая женщина встала, говоря:

— Пойдемте въ садъ. Не годится подслушивать его секреты.

Они пошли и сѣли на скамьѣ у дверей подъ розовымъ ку-

стомъ, осыпаннымъ цвѣтами, и позади корзинки съ гвоздикой, распространявшей сильный и пріятный ароматъ.

Дюруа, помолчавъ немного, спросилъ:

— Вы не скоро вернетесь въ Парижъ?

Она отвѣчала:

— О, нѣтъ, какъ только все будетъ кончено, я вернусь.

— Дней черезъ десять?

— Да, не позже.

Онъ продолжалъ:

— У него нѣтъ, значитъ, никого родныхъ?

— Никого, кромѣ двоюродныхъ братьевъ. Отецъ и мать его умерли, когда онъ былъ еще очень молодъ.

Они смотрѣли на бабочку, перелетавшую съ цвѣтка на цвѣтокъ, и долго молчали.

Слуга пришелъ доложить, что священникъ кончилъ свое дѣло.

Они вмѣстѣ вернулись въ домъ. Форестье какъ будто еще похудѣлъ со вчерашняго дня. Священникъ держалъ его за руки:

— До свиданія, дитя мое. Я завтра утромъ опять приду.

И ушелъ.

Какъ только онъ вышелъ, умирающій, который задыхался, попытался протянуть обѣ руки къ женѣ и пролепеталъ:

— Спаси меня... спаси меня... моя милочка... я не хочу умирать... я не хочу умирать... о! спасите меня... скажите, что́ надо сдѣлать... я все приму, что́ скажутъ... я не хочу... не хочу...

Онъ плакалъ. Крупныя слезы текли у него изъ глазъ по исхудалымъ щекамъ и углы провалившагося рта складывались какъ у маленькихъ дѣтей, когда они огорчены.

Послѣ того руки его, упавшія на кровать, медленно, но правильно задвигались по одѣялу, ни на минуту не переставая, точно искали что-то.

Жена тоже, начавшая плакать, бормотала:—Да нѣтъ же, это ничего. Это простой припадокъ, завтра тебѣ будетъ лучше; ты утомилъ себя вчерашней прогулкой.

Дыханіе его было прерывистое дыханія собаки, которая только-что бѣжала; оно было такъ прерывисто и такъ слабо, что едва слышно.

Онъ повторялъ:—Я не хочу умирать... О! Боже мой... Боже мой... Боже мой... что со мной будетъ... я ничего больше не увижу... ничего... никогда... о! Боже мой...

Онъ смотрѣлъ передъ собой на что-то, невидимое для другихъ и ужасное, и въ застывшемъ взорѣ его отражался весь

ужасъ этого видѣнія. Объ руки по прежнему томительно и безостановочно двигались по одѣялу.

Вдругъ онъ весь содрогнулся съ головы до пятокъ и пролепеталъ:

— Кладбище... я... Боже мой!...

И больше ни слова. Онъ оставался неподвижный, испуганный, задыхавшійся.

Время проходило. Пробилъ полдень на часахъ сосѣдняго монастыря. Дюруа вышелъ изъ комнаты, чтобы пойти немного поѣсть. Черезъ часъ онъ вернулся. М-me Форестье отказалась отъ ѣды. Больной не шевелился. Онъ все двигалъ худыми руками по одѣялу, точно хотѣлъ притянуть его къ лицу.

Молодая женщина сидѣла въ креслѣ возлѣ кровати. Дюруа взялъ другое и сѣлъ рядомъ съ ней и они молча ждали.

Пришла сидѣлка, присланная докторомъ, и дремала у окна. Дюруа тоже начиналъ дремать, какъ вдругъ онъ почувствовалъ, что-то случилось. Онъ раскрылъ глаза какъ-разъ во-время, чтобы видѣть, какъ Форестье закрылъ свои, подобно двумъ потухшимъ свѣчамъ. Слабая икота потрясла горло умирающаго и двѣ струйки крови показались у угловъ рта и потекли на рубашку. Руки прекратили свое мучительное ерзанье.

Его не стало.

Женщина поняла, съ крикомъ упала на колѣни, и рыдала, уткнувъ лицо въ одѣяло. Дюруа, удивленный и испуганный, машинально перекрестился, сидѣлка проснулась и подошла къ кровати.— Скончался, — сказала она.

И Дюруа, приходя въ себя, пробормоталъ:—Я думалъ, что конецъ еще такъ близокъ.

Когда улеглось первое удивленіе, послѣ первыхъ пролитыхъ слезъ, приступили къ тѣмъ хлопотамъ, которыя всегда причиняетъ покойникъ. Дюруа убѣгалъ до самой ночи.

Они были голодны, возвратившись домой. М-me Форестье тоже немного поѣла. И послѣ того они оба помѣстились возлѣ покойника, чтобы провести надъ нимъ ночь. Дюруа зажегъ двѣ свѣчи и поставилъ на ночномъ столикѣ возлѣ тарелки, съ вѣткой мимозы, опущенной въ воду, такъ какъ не нашли обязательной святой...

Они были одни, молодой человѣкъ и молодая женщина возлѣ того, кого больше не было. Они молчали и думали. Но Дюруа, который никогда не видалъ смерти, пристально глядѣлъ на покойника. Глаза его неудержимо привлечены были его исхудалымъ

лицомъ, на которомъ тѣни обозначались еще рѣзче, отъ трепещущаго свѣта, бросаемаго свѣчами.

Неужели то былъ его пріятель, Шарль Форестье, который вчера еще съ нимъ разговаривалъ! Какая странная и ужасная вещь—такое полное разрушеніе живого существа! О! онъ припоминалъ теперь слова Норбера де-Вареннъ, преслѣдуемаго мыслью о смерти:

— Никогда ни одно существо не возвращается назадъ. Родятся милліоны и милліарды приблизительно такихъ же, съ глазами, носомъ, ртомъ, черепомъ, мыслящіе и чувствующіе, но никогда, никогда не вернется тотъ, кто лежитъ въ этой кровати. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ будетъ жить, пить, ѣсть, смѣяться, любить, надѣяться, какъ всѣ. И затѣмъ конецъ, конецъ навѣки. Что такое жизнь? Какихъ-нибудь нѣсколько дней! И затѣмъ, прощай навѣки! Родился, выросъ, чувствовалъ себя счастливымъ, чего-то ждалъ, и затѣмъ умеръ. Прости, человѣкъ, мужчина или женщина, ты больше не вернешься на землю! А между тѣмъ, каждый изъ насъ носитъ въ себѣ лихорадочное и неосуществимое желаніе вѣчности, каждый изъ насъ въ мірѣ—міръ, и каждый изъ насъ быстро гибнетъ, обращается въ навозъ, въ навозъ, въ которомъ зарождается новая жизнь. Растенія, животныя, люди, звѣзды, міры, все живетъ, потомъ умираетъ, чтобы превратиться во что-то иное. И никогда ни одно существо не возвращается; ни насѣкомое, ни человѣкъ, ни планета! Страхъ смутный, необъятный, подавляющій тяготѣлъ надъ душой Дюруа, страхъ передъ этимъ неограниченнымъ, неизбѣжнымъ фатумомъ, нескончаемо истребляющимъ всѣ преходящія и жалкія существованія. Онъ уже склонялъ голову подъ его угрозой и думалъ о мошкахъ, живущихъ нѣсколько дней, о людяхъ, живущихъ нѣсколько лѣтъ, о планетахъ, живущихъ нѣсколько столѣтій. Какая разница между тѣми и другими! Нѣсколько лишнихъ солнечныхъ восходовъ—вотъ и все.

Онъ отвернулъ глаза, чтобы не видѣть больше покойника.

М-me Форестье, опустивъ голову, тоже, повидимому, думала о печальныхъ вещахъ.

Ея бѣлокурые волосы такъ мило падали на ея печальное личико, что сладкое чувство, точно мимолетная надежда, зародилось въ сердцѣ молодого человѣка. Къ чему огорчаться, когда у него еще столько лѣтъ впереди?

И онъ сталъ глядѣть на нее. Она не смотрѣла на него, погруженная въ свою думу. Онъ говорилъ себѣ:—Вотъ, однако, единственное счастіе въ жизни: любовь! Держать въ своихъ объя-

тіяхъ любимую женщину—вотъ предѣлъ человѣческаго счастія! Какъ счастливъ былъ покойникъ, что нашелъ такую умную и прелестную подругу! Какъ они познакомились? Какъ согласилась она выйти замужъ за такого ограниченнаго и бѣднаго человѣка? Какъ ей удалось вывести его въ люди?

Тутъ онъ подумалъ обо всѣхъ тайнахъ, которыя скрываются въ жизни людей. Онъ вспомнилъ, что говорили, будто бы графъ де-Водрекъ далъ ей приданое и выдалъ ее замужъ. Что она теперь будетъ дѣлать? За кого выйдетъ замужъ? За депутата, какъ думала m-me де-Марель, или за какого-нибудь карьериста, какого-нибудь Форестье, но болѣе даровитаго? Есть ли у нея проэкты, планы, опредѣленныя мысли въ головѣ? какъ бы онъ желалъ знать, что́ она сдѣлаетъ? Но почему ему такъ хочется это знать? онъ спросилъ себя объ этомъ и сообразилъ, что это желаніе происходитъ отъ смутной, тайной мысли, одной изъ тѣхъ, въ которыхъ человѣкъ не признается самому себѣ и которыя открываешь только, вывернувъ свое сердце наизнанку. Да! почему бы ему самому не попытаться завладѣть ею? Какъ онъ будетъ силенъ и могучъ вмѣстѣ съ нею! Какъ быстро, скоро и неуклонно пойдетъ онъ впередъ! И почему бы этому не быть? Онъ чувствовалъ, что онъ ей нравился, что она относится къ нему не только съ симпатіей, но и чувствуетъ ту привязанность, какая возникаетъ между родственными натурами. Она знала, что онъ уменъ, рѣшителенъ, настойчивъ, что на него можно положиться.

Развѣ она не призвала его въ такомъ важномъ случаѣ? Почему она призвала его? Развѣ онъ не можетъ видѣть въ этомъ какъ бы выборъ, признаніе, намекъ. Если она вспомнила о немъ какъ-разъ въ ту минуту, когда ожидала, что овдовѣетъ, значитъ, она уже подумывала и о томъ, кто будетъ ея новымъ товарищемъ, ея новымъ союзникомъ? И страстное нетерпѣніе охватило его поскорѣе узнать, разспросить объ ея намѣреніяхъ. Онъ долженъ былъ уѣхать черезъ день, такъ какъ не могъ оставаться одинъ въ домѣ вмѣстѣ съ молодой женщиной. Слѣдовательно, необходимо было торопиться, необходимо было до возвращенія въ Парижъ искусно и деликатно разузнать объ ея намѣреніяхъ, опередить другихъ претендентовъ и не дать ей времени связать себя неразрывно съ другимъ.

Тишина въ комнатѣ была такъ велика, что слышался только стукъ маятника часовъ на каминѣ, металлическій и правильный.

Онъ прошепталъ:

— Вы, должно быть, очень устали?

Она отвѣчала:

— Да; но я въ особенности огорчена.

Звукъ ихъ голосовъ показался имъ страннымъ въ этой мрачной комнатѣ. И они оба взглянули въ лицо мертвецу, точно ожидали, что онъ пошевелится, заслышавъ ихъ разговоръ, какъ это бывало нѣсколько часовъ тому назадъ.

Дюруа продолжалъ:

— О! это большой для васъ ударъ и такая большая перемѣна въ жизни, что все ваше существованіе теперь разбито такъ же, какъ и сердце.

Она протяжно вздохнула, не говоря ни слова.

Онъ продолжалъ:

— Для молодой женщины такъ печально остаться одной, какъ вы теперь.

Онъ умолкъ. Она ни слова не говорила. Онъ пролепеталъ:

— Во всякомъ случаѣ, вы помните о нашемъ договорѣ. Вы можете располагать мною, какъ вамъ угодно. Я весь вашъ.

Она протянула ему руку, бросивъ на него одинъ изъ тѣхъ грустныхъ и кроткихъ взоровъ, которые трогаютъ насъ до глубины души.

— Благодарю. Вы добры, очень добры. Если бы я смѣла, еслибы я могла что-нибудь для васъ сдѣлать, то сказала бы тоже:—Разсчитывайте на меня.

Онъ взялъ протянутую руку и удержалъ ее въ своихъ, крѣпко пожимая ее. Ему страстно хотѣлось ее поцѣловать. Онъ, наконецъ, рѣшился, тихо поднесъ къ губамъ и долго цѣловалъ горячую и лихорадочную ручку, отъ которой пахло духами. Потомъ, когда почувствовалъ, что эта дружеская ласка слишкомъ долго длится, онъ выпустилъ изъ рукъ маленькую ручку. Она мягко упала на колѣни молодой женщины, которая проговорила серьезно:

— Да, я буду очень одинока, но постараюсь быть мужественной.

Онъ не зналъ, какъ намекнуть ей, что онъ былъ бы счастливъ, очень счастливъ назвать ее женой въ свою очередь. Конечно, онъ не могъ сказать ей этого теперь, въ этой комнатѣ, въ присутствіи мертваго тѣла, но могъ, какъ ему казалось, дать ей это понять приличными обиняками и краснорѣчивыми недомолвками, выражающими все, что хочешь и не рѣшаешься высказать.

Но мертвецъ стѣснялъ его, холодный мертвецъ, лежавшій передъ ними и разлучавшій ихъ. Къ тому же съ нѣкоторыхъ поръ ему казалось, что въ комнатѣ распространяется какой-то

подозрительный запахъ, тлетворное дыханіе, выдѣляющееся изъ этой разлагающейся груди.

Дюруа спросилъ:

— Нельзя ли открыть немного окно? Мнѣ кажется, что воздухъ испорченъ.

Она отвѣчала:

— Да, конечно; я сама это сейчасъ замѣтила.

Онъ пошелъ къ окну и отворилъ его. Ароматная свѣжесть ночи вошла въ комнату и пламя свѣчей, горѣвшихъ около трупа, заколыхалось. Луна такъ же, какъ и наканунѣ, бросала яркій и спокойный свѣтъ на бѣлыя стѣны загородныхъ домовъ и на обширную, блестящую скатерть моря. Дюруа, вдыхавшій воздухъ полной грудью, вдругъ ощутилъ въ душѣ приливъ надежды, словно радостное предчувствіе счастія.

Онъ повернулся къ молодой женщинѣ:

— Подите подышать свѣжимъ воздухомъ,—сказалъ онъ,—погода чудная.

Она спокойно подошла и облокотилась на окно.

Тогда онъ вполголоса проговорилъ:

— Выслушайте меня и поймите то, что́ я хочу вамъ сказать. А главное, не сердитесь, что я говорю вамъ это въ такую минуту, но я послѣ завтра оставлю васъ, а когда вы вернетесь въ Парижъ, то будетъ, пожалуй, поздно говорить вамъ это. Вотъ что: я теперь бѣднякъ безъ всякаго состоянія и положенія въ свѣтѣ, какъ вамъ извѣстно. Но у меня есть характеръ и нѣкоторый, какъ мнѣ кажется, умъ, и я на дорогѣ, я на хорошей дорогѣ. Когда человѣкъ уже составилъ карьеру, то, выходя за него замужъ, женщина знаетъ, что́ ее ожидаетъ, когда же онъ только начинаетъ карьеру, то неизвѣстно, что ждетъ ее впереди. Можетъ быть, лучше, можетъ быть, хуже. Словомъ, я вамъ какъ-то разъ сказалъ, когда былъ у васъ съ визитомъ, что самой дорогой моей мечтой было бы жениться на такой женщинѣ, какъ вы. Сегодня я вамъ это повторяю. Не отвѣчайте мнѣ, дайте мнѣ кончить. Я не дѣлаю вамъ предложенія... ни мѣсто, ни часъ для этого неподходящіе... Я только желаю, чтобы вы знали, что можете однимъ словомъ осчастливить меня, что можете разсчитывать на меня и какъ на брата, и какъ на мужа, какъ вамъ угодно. Мое сердце и моя особа принадлежатъ вамъ. Я не хочу, чтобы вы мнѣ теперь же отвѣчали, не хочу больше говорить объ этомъ здѣсь. Когда мы свидимся въ Парижѣ, вы дадите мнѣ понять, что́ вы рѣшили. До тѣхъ поръ ни слова больше, неправда ли?

Онъ произнесъ все это, не глядя на нее, точно говорилъ все

это въ пространство, открывалъ свою тайну не ей, а ночи. Она тоже какъ-будто не слышала его, до такой степени была неподвижной, и глядѣла прямо въ окно, пристальнымъ и неопредѣленнымъ взглядомъ на блѣдный пейзажъ, освѣщенный луной.

Они долго оставались другъ возлѣ друга, молчаливые и задумчивые.

Затѣмъ она прошептала:

— Холодновато, однако.

И вернулась къ кровати. Онъ послѣдовалъ за ней.

Когда онъ подошелъ къ кровати, то убѣдился, что Форестье уже началъ разлагаться, и отодвинулъ свое кресло.

Онъ сказалъ:—Надо завтра съ утра положить его въ гробъ. —Она отвѣчала: — Да, да, непремѣнно, плотникъ придетъ въ восемь часовъ.

Дюруа вздохнулъ:

— Бѣдный малый!

И она тоже протяжно вздохнула съ видомъ огорченной покорности судьбѣ.

Теперь они рѣже глядѣли на покойника, начиная уже свыкаться съ мыслью о его смерти и мысленно примиряться съ прекращеніемъ существованія, которое еще за минуту возмущало, оскорбляло ихъ, такихъ же смертныхъ, какъ и онъ.

Они больше не разговаривали между собою и самымъ приличнымъ образомъ сидѣли надъ покойникомъ. Но около полуночи Дюруа первый задремалъ. Проснувшись, онъ увидѣлъ, что m-me Форестье тоже дремала.

Внезапный шумъ заставилъ его вздрогнуть. Уже совсѣмъ разсвѣло, и молодая женщина, сидѣвшая на креслахъ напротивъ него, тоже казалась удивленной. Она была немного блѣдна, но все же очень хорошенькая, свѣженькая, миловидная, не смотря на ночь, проведенную на креслѣ.

Взглянувъ на покойника, Дюруа вдругъ вздрогнулъ и вскричалъ:—Взгляните на его бороду!

Дѣйствительно, борода выросла въ нѣсколько часовъ на этомъ разлагающемся тѣлѣ, какъ она выростала въ нѣсколько дней на живомъ человѣкѣ.

Они глядѣли растерянные и смущенные этой жизнью, проявившейся на мертвецѣ точно какимъ-то страшнымъ чудомъ, какой-то сверхъестественной угрозой воскресенія, ненормальнымъ ужаснымъ явленіемъ, поражающимъ умъ.

Послѣ того они пошли отдохнуть до одиннадцати часовъ. Потомъ положили покойника въ гробъ и тотчасъ же почувствовали

себя облегченными и успокоенными. Они сѣли завтракать другъ противъ друга и имъ хотѣлось разговаривать о болѣе утѣшительныхъ, болѣе радостныхъ вещахъ, вернуться снова къ жизни, такъ какъ они покончили съ мертвымъ

Въ открытое настежъ окно доносился теплый весенній воздухъ, принося съ собой ароматъ гвоздики, расцвѣтавшей въ корзинкѣ передъ дверью.

М-me Форестье предложила Дюруа пойти въ садъ и они стали тихо прохаживаться вокругъ газона, съ наслажденіемъ вдыхая теплый, душистый воздухъ.

Вдругъ она заговорила, не оборачиваясь и не глядя на него, какъ и онъ ночью, наверху, въ присутствіи покойника. Она медленно произносила слова тихимъ и серьезнымъ голосомъ:

— Послушайте, мой милый другъ, я уже хорошо обдумала то, что вы мнѣ сказали... и не хочу отпустить васъ безъ всякаго отвѣта. Впрочемъ, я не скажу вамъ ни да, ни нѣтъ. Подождемъ, увидимъ, поближе узнаемъ другъ друга. Съ своей стороны, тоже хорошенько обдумайте это дѣло. Не поддавайтесь легкому увлеченію. Но если я говорю съ вами прежде, нежели даже мой бѣдный Шарль опущенъ въ землю, то это потому, что считаю, что, выслушавъ васъ, я должна хорошенько объяснить вамъ себя, чтобы вы знали, съ кѣмъ имѣете дѣло, и отложили бы всякое попеченіе о томъ, что вы мнѣ сказали, если... если вы... если у васъ не такой характеръ, чтобы понять меня и примириться со мной. Поймите меня хорошенько. Бракъ для меня—не цѣпи... но ассоціація. Я хочу быть свободной, вполнѣ свободной въ своихъ дѣйствіяхъ, въ своихъ поступкахъ. Я не въ силахъ буду переносить контроля, ревности, упрековъ за мое поведеніе. Само собой разумѣется, что я даю слово никогда не скомпрометировать имени человѣка, за котораго я выйду. Но надобно, чтобы этотъ человѣкъ далъ слово видѣть во мнѣ равную себѣ, союзницу, но не подчиненную или покорную жену. Мои идеи, я знаю, отличаются отъ общепринятыхъ, но я ихъ не перемѣню. Прибавлю еще: не отвѣчайте мнѣ, это будетъ безполезно и неприлично. Мы увидимся и снова, быть можетъ, поговоримъ объ этомъ. Теперь ступайте гулять. Я же вернусь къ нему. До свиданія вечеромъ.

Онъ поцѣловалъ у ней руку продолжительнымъ поцѣлуемъ и ушелъ, не сказавъ ни слова.

Вечеромъ они свидѣлись только за обѣдомъ. Послѣ того разошлись по своимъ комнатамъ, такъ какъ едва могли стоять на ногахъ отъ усталости.

Шарля Форестье похоронили на слѣдующій день, безъ всякой

пышности на кладбищѣ въ Каннѣ. А Жоржъ Дюруа рѣшилъ уѣхать съ курьерскимъ поѣздомъ, который отходилъ въ половинѣ второго.

М-me Форестье проводила его на дебаркадеръ. Они спокойно прохаживались въ ожиданіи часа отъѣзда и разговаривали о постороннихъ вещахъ.

Показался поѣздъ, остановка была самая мимолетная, какъ у настоящаго курьерскаго поѣзда, гдѣ было всего пять вагоновъ.

Журналистъ выбралъ себѣ мѣсто, потомъ вышелъ изъ вагона, чтобы поговорить съ m-me Форестье еще нѣсколько секундъ. Его вдругъ охватила такая тоска, такая печаль, точно онъ разставался съ нею навсегда.

Кондукторъ прокричалъ:

Марсель-Ліонъ-Парижъ, по мѣстамъ!

Дюруа сѣлъ въ вагонъ, но высунулся изъ окна, чтобы сказать ей еще нѣсколько словъ. Локомотивъ засвисталъ и поѣздъ тихо тронулся въ путь. Молодой человѣкъ, высунувшись изъ вагона, глядѣлъ на молодую женщину, неподвижно стоявшую на платформѣ и взглядъ которой провожалъ его. И вдругъ въ ту минуту, какъ онъ готовился потерять ее изъ виду, онъ приложилъ обѣ руки къ губамъ и послалъ ей воздушный поцѣлуй.

Она отвѣчала ему тѣмъ же, но только скромнѣе и нерѣшительнѣе.

А. Э.

ГРЕКИ

ВЪ

МОСКОВСКОМЪ ЦАРСТВѢ

— Характеръ отношеній Россіи къ православному Востоку въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Н. Каптерева. Москва, 1885.

Въ нашей исторической литературѣ не часто появляются книги, гдѣ обиліе новыхъ фактовъ соединялось бы съ умѣньемъ освѣщать многозначительныя историческія явленія. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ несомнѣнно книга г. Каптерева. Поставивъ себѣ задачу, объясняемую заглавіемъ книги, авторъ для выполненія ея обратился къ матеріалу, до сихъ поръ мало разработанному, именно—архивному: этимъ матеріаломъ послужили для него такъ называемыя греческія дѣла, греческіе статейные списки, турецкіе статейные списки, греческія грамоты на славянскомъ языкѣ и под., хранящіеся въ главномъ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, частію и другіе рукописные источники. Съ этими документами отчасти были уже знакомы наши историки, но г. Каптеревъ въ первый разъ воспользовался ими систематически съ опредѣленной цѣлью, и его изслѣдованіе любопытно именно какъ цѣльный обзоръ греко-русскихъ отношеній въ московскую эпоху нашей исторіи, причемъ историческое объясненіе необходимо коснулось и эпохи предшествующей, такъ что передъ нами проходитъ почти вся исторія греко-русскихъ отношеній въ до-петровскую эпоху.

Эти отношенія были весьма многосложны. Греки играли важ-

ную, господствующую роль въ томъ глубокомъ и обширномъ переворотѣ, который произошелъ въ древней жизни съ введеніемъ христіанства, и стали съ тѣхъ поръ великимъ авторитетомъ для русскихъ. Отъ грековъ шло церковное ученіе, обычаи, управленіе, законодательство, и съ обще-христіанскимъ у насъ возобладало и спеціально греческое; законъ церковный возъимѣлъ вліяніе на законъ гражданскій; духовенство и монастыри стали вліятельной силой въ важнѣйшихъ отправленіяхъ всей политической жизни, и съ утвержденіемъ христіанства въ народной массѣ, церковное содержаніе возобладало въ жизни и міровоззрѣніи народа,—словомъ, съ этихъ событій началась первая культурная формація русской національности. Греки являлись главными истолкователями церковнаго ученія; высшій авторитетъ принадлежалъ вселенскимъ патріархамъ-грекамъ, и особенно константинопольскому, у котораго Россія была одной изъ епархій; вмѣстѣ съ греками, русскіе считали себя представителями единаго истиннаго христіанства; послѣ паденія Константинополя, русскіе увѣрились, что Москва осталась послѣ него третьимъ Римомъ, преемницей его вселенскаго православнаго первенства.

Церковныя отношенія грековъ къ православному славянству и въ особенности отношенія къ Россіи дали поводъ къ извѣстной теоріи о двухъ различныхъ, даже противоположныхъ мірахъ, на которые распадается европейское человѣчество,—романо-германскомъ и греко-славянскомъ. Имъ приписывается, по теоріи, вмѣстѣ съ церковнымъ различіемъ и, исходящее въ особенности изъ него, различіе въ путяхъ и характерѣ цивилизаціи. Замѣчено было уже давно, что это распредѣленіе двухъ міровъ трудно связывается съ фактами: въ міръ греко-славянскій, какъ собственно православный, привлекаются, во-первыхъ, народы не-греческіе и не-славянскіе, какъ румыны, албанцы, по сосѣдству даже венгры и т. п.; во-вторыхъ—тѣ славяне, которые цѣлое тысячелѣтіе были и остаются католиками; самые греки, одна изъ основныхъ частей греко-славянскаго міра, искони были врагами славянскаго элемента и остаются его злѣйшими врагами тамъ, гдѣ живутъ съ нимъ рядомъ, какъ напр. въ Болгаріи. Въ отношеніи культурномъ, этотъ отвлеченный греко-славянскій міръ опять не оправдываетъ теоріи: теперь, послѣ своей старой исторіи, онъ несомнѣнно стремится усвоивать цивилизацію западную, т.-е. романо-германскую, какъ сама Россія, такъ и Греція, Румынія и даже южное православное славянство. Какъ въ эпоху Возрожденія, греки понесли свое старое классическое достояніе на западъ, такъ и теперь ихъ научное движеніе вдохновляется западной

наукой и въ ней находитъ больше вниманія, чѣмъ, напр., у насъ.

Историческія отношенія, послужившія предметомъ сочиненія г. Каптерева, составляютъ опять эпизодъ изъ внутренней жизни „греко-славянскаго міра", эпизодъ, тѣмъ болѣе важный, что въ этихъ отношеніяхъ именно является передъ нами прямая встрѣча и взаимодѣйствіе двухъ главныхъ народовъ, въ которыхъ сосредоточивалась сила этого міра: греки были носителями православнаго преданія, и русскіе—единственной державой, которая послѣ паденія Византіи стала политической представительницей восточнаго православія. По упомянутой теоріи надо ожидать, что во взглядахъ народовъ, ихъ культурныхъ стремленіяхъ, въ практическомъ бытѣ скажется то тѣсное единеніе и то особое направленіе цивилизаціи, которое приписывается міру греко-славянскому. Грековъ и русскихъ соединяло одно общее—это главнѣйшіе догматы восточной церкви; но столько вѣковъ церковнаго общенія тѣмъ не менѣе не создали нравственнаго греко-славянскаго единства, не связали народовъ въ общей цивилизаціи и просвѣщеніи,—напротивъ, исторія ихъ отношеній представляетъ очень странную и часто печальную картину взаимнаго непониманія, даже внутренняго отчужденія, выгадыванія своихъ чисто матеріальныхъ интересовъ, гдѣ церковные элементы играли не рѣдко прискорбную роль. Послѣдователи упомянутой теоріи могутъ съ пренебреженіемъ отнестись къ этимъ неприглядным подробностямъ, видѣть въ нихъ мелочи, всегда свойственныя личной человѣческой слабости, или недостатки грубой эпохи, не измѣняющіе высокаго достоинства самихъ господствующихъ началъ. Это и бываетъ дѣйствительно; но когда извѣстное явленіе повторяется постоянно и держится въ жизни цѣлыми вѣками, даетъ окраску понятіямъ и быту, оно уже не можетъ быть причислено къ случайнымъ мелочамъ, и отражаетъ въ себѣ самую природу отношеній. Жизнь состоитъ изъ подробностей, которыя въ концѣ концовъ сами складываются въ привычку, въ обычное пониманіе вещей...

Предметъ, выбранный г. Каптеревымъ для своего изслѣдованія, отношенія грековъ и русскихъ въ области церковной, есть слишкомъ извѣстная тэма общей и церковной нашей исторіи; но интересъ изслѣдованія заключается именно въ томъ, что авторъ, внесши массу новыхъ фактовъ, старался раскрыть внутренній смыслъ событій, тѣ понятія, какія вкладывались обѣими сторонами въ ихъ связи, выяснить то церковное и національное міровоззрѣніе, которое воспитывалось этими связями и дѣйствительно надолго осталось чертой нашего народнаго взгляда и на-

конецъ приведено было въ теорію. Въ исполненіи этой задачи авторъ показалъ много исторической наблюдательности и не однажды даетъ извѣстнымъ фактамъ своеобразныя объясненія, или ярче выставляетъ мало замѣченныя до сихъ поръ черты событій.

Съ введеніемъ христіанства, въ древней Руси началось не только сильное вліяніе грековъ культурно-религіозное, но и прямое административное подчиненіе русской церкви константинопольскому патріарху. Это подчиненіе могло продолжаться очень долго вслѣдствіе политической, религіозной и культурной незрѣлости русскихъ; но какъ скоро у русскихъ стало развиваться сознаніе своей политической силы, не допускающее чужого господства или опеки, это сознаніе выразилось стремленіемъ къ независимости церковной,—и затѣмъ вліяніе культурное должно было точно также умалиться и исчезнуть, когда народъ или разовьетъ свое собственное просвѣщеніе, или найдетъ иные—кромѣ греческаго—и болѣе богатые и плодотворные пути для пріобрѣтенія образованности. Это чувство и потребность церковной независимости обнаружились прежде всего въ стремленіи имѣть митрополитомъ своего русскаго и княжескаго избранника, а не грека, ставленника константинопольскаго патріарха; въ концѣ концовъ выборъ митрополита сталъ домашнимъ русскимъ дѣломъ, и патріарху оставалось только исполнять церковный обрядъ его посвященія. Новый рѣзкій поворотъ въ этомъ отношеніи наступилъ въ XV-мъ столѣтіи. Онъ вызванъ былъ въ особенности двумя событіями: флорентинской уніей и паденіемъ самого Константинополя. Нѣкогда, съ первыхъ шаговъ нашего христіанства, греки остерегали русскихъ отъ всякаго общенія съ латиною, какъ злѣйшею язвой, — теперь самъ патріархъ и другіе изъ іерарховъ вступили въ унію съ католицизмомъ. Русскіе, помня старыя поученія и привыкши вѣками ненавидѣть латину, съ негодованіемъ отвергли предложенія объ уніи и съ тѣхъ поръ заподозрили чистоту православія грековъ и не хотѣли имѣть ихъ своими учителями. Послѣ они увидѣли, что за исключеніемъ тѣхъ лицъ, которыя приняли флорентинскую унію, греческая церковь отвергла ее, но неблагопріятное впечатлѣніе осталось, и рядомъ выростало убѣжденіе, что истинными хранителями православнаго преданія были именно русскіе, у которыхъ относительно флорентинской уніи не было никакого колебанія. Въ превосходствѣ ихъ благочестія окончательно увѣрило русскихъ паденіе Константинополя: народныя бѣдствія, паденіе царствъ, вообще объяснялись гнѣвомъ божіимъ, наказаніемъ за грѣхи, и такое страшное и великое событіе, какъ

разрушеніе могущественнаго нѣкогда и знаменитаго православнаго царства, не имѣло иной причины — греки наказывались за „аполлинаріеву ересь", за слабость вѣры, за измѣну православію. Кто же теперь замѣнитъ это православное царство? Нѣкогда оно было главой восточнаго христіанства, къ нему обращались восточные православные народы какъ къ высшему авторитету; куда обратятся они теперь? Выводъ былъ очевиденъ. Преемство авторитета должно принадлежать московскому царству, которое всегда твердо хранило преданія, что̀ признавали сами византійскіе цари и патріа̀рхи. Само московское царство именно въ это время вступало въ періодъ своего окончательнаго установленія, и бракъ московскаго великаго князя съ греческой царевной давалъ еще наглядный поводъ къ мысли о преемствѣ. Русскіе увѣрились, что Москва есть третій Римъ, что она одна осталась представительницей православнаго міра. Эта мысль, возникшая въ XV-мъ столѣтіи, становилась глубокимъ убѣжденіемъ по мѣрѣ того, какъ возрастало политическое могущество Москвы—отъ Ивана III до Грознаго, и потомъ до Алексѣя Михайловича. Это убѣжденіе создавало и программу дѣйствій, обязательныхъ для первенствующаго царства: если Византія пала, утративъ крѣпость вѣры, то естественнымъ долгомъ становилось твердое храненіе чистоты преданія, недопущеніе въ немъ никакихъ, даже малѣйшихъ нарушеній и перемѣнъ.

Вслѣдствіе этого, какъ замѣчаетъ г. Каптеревъ, „источникъ боязни русскихъ предъ всякими перемѣнами и исправленіями въ ихъ богослужебныхъ книгахъ заключался не въ невѣжествѣ ихъ, какъ нѣкоторые думаютъ, а въ сложившемся у нихъ, послѣ паденія Константинополя, убѣжденіи, что они сдѣлались единственными хранителями православія и что историческая задача русскаго народа состоитъ въ томъ, чтобы неизмѣнно и во всей полнотѣ сохранить у себя правую вѣру, которая или вполнѣ, или отчасти уже утрачена всѣми другими народами. Этимъ объясняется и то обстоятельство, почему указанное направленіе проявилось не ранѣе конца XV вѣка, а развилось вполнѣ только въ XVI и въ началѣ XVII вѣка" (стр. 17 – 18).

Но тотчасъ же авторъ прибавляетъ, что именно невѣжество повліяло на самый характеръ проявленія этого убѣжденія; этотъ характеръ былъ узко-обрядовый и формальный. И здѣсь между русскими и греками сказалось сильное разнорѣчіе, которое различнымъ образомъ отозвалось въ ихъ послѣдующихъ сношеніяхъ и доходило иногда до полнаго взаимнаго непониманія и вражды. „Русскіе, которымъ были недоступны наука и образованіе, а

мѣстѣ съ этимъ и возможность теоретическаго усвоенія системы христіанскаго вѣроученія внѣ обряда, по необходимости сосредоточили свое вниманіе на внѣшней, обрядовой сторонѣ христіанства, которая, какъ наглядное выраженіе отвлеченныхъ истинъ, была ближе и понятнѣе для простого, необразованнаго народа, мало способнаго къ отвлеченному мышленію. Обрядъ, такимъ образомъ, естественно выступалъ на первый планъ"... Между тѣмъ, у грековъ были другія воззрѣнія: „Греческая церковь, какъ создавшая православный обрядъ, знала хорошо его происхожденіе, его отношеніе къ вѣроученію, его истинное значеніе въ христіанской жизни. Къ русскимъ обрядъ перешелъ уже готовый, въ существенныхъ чертахъ вполнѣ сформировавшійся и законченный; процессъ его историческаго происхожденія и постепенной выработки остался для нихъ совершенно неизвѣстнымъ, почему они приписали ему одинаковое происхожденіе и значеніе съ самымъ вѣроученіемъ". Отсюда происходили потомъ большія недоразумѣнія: русскіе, не видя часто у грековъ той же приверженности къ обряду, заподозривали ихъ православіе; греки, льстя русскимъ изъ-за матеріальныхъ интересовъ и восхваляя ихъ благочестіе, про себя считали ихъ варварами, даже еретиками. Въ то же время они были тѣсно связаны: высшій церковный авторитетъ все-таки оставался за вселенскими патріархами, и на дѣлѣ послѣдніе были наиболѣе компетентными знатоками и судьями въ вопросахъ богословскихъ и каноническихъ, и всякое стремленіе русской церкви къ самостоятельности и автокефальности, по сознанію самихъ русскихъ, могло получить законность только съ утвержденія патріарховъ. Съ другой стороны, для грековъ и вообще для восточнаго христіанства Москва была источникомъ богатой матеріальной помощи въ видѣ милостыни и пожертвованій для восточныхъ церквей и обителей, и здѣсь мечтали найти нѣкогда избавленіе отъ самаго ига турокъ, которые были и русскимъ ненавистны, какъ нечестивые агаряне, а вскорѣ какъ политическіе враги.

Когда у русскихъ сложилось мнѣніе объ ихъ преемствѣ послѣ Византіи, у нихъ естественно возникло стремленіе прочно установить свое православіе. Этимъ авторъ объясняетъ явившіяся въ XVI вѣкѣ заботы собрать свои преданія, утвердить обряды и обычаи, пересмотрѣть настоящую жизнь и опредѣлить для нея правила (это сдѣлано было на Стоглавомъ соборѣ). Прибавимъ, что здѣсь было и другое побужденіе: довершивъ политическое объединеніе Россіи, Москва хотѣла объединить народно-религіозныя преданія и святыни, и мѣры, предпринятыя для этихъ объе-

единительныхъ цѣлей, вмѣстѣ съ тѣмъ получали и упомянутое національно-церковное значеніе... Результаты пересмотра церковнаго преданія оказались для русскихъ не только благопріятные, но блестящіе: у нихъ оказалась неизмѣнная православная традиція, запечатлѣнная множествомъ святыхъ подвижниковъ, и если греческое царство пало отъ слабости вѣры, то тѣмъ паче слѣдовало строго беречь все, доставшееся чистымъ и неповрежденнымъ отъ старины, и истинному православному благочестію надо было теперь учиться не у грековъ, а у русскихъ. „У русскихъ,—говоритъ авторъ,—сложился взглядъ на себя, какъ на особый, избранный Богомъ народъ. Это былъ своего рода новый Израиль, въ средѣ котораго только сохранилась правая вѣра и истинное благочестіе, утерянныя или искаженныя всѣми другими народами“... Съ этой точки зрѣнія они опредѣлили и свои отношенія съ другими народами. Древній Израиль впадалъ въ бѣды и соблазны, когда сближался съ невѣрными народами, и напротивъ процвѣталъ, когда удалялся отъ нихъ и строго держался своихъ обычаевъ; такъ и русскіе не должны были сближаться съ иноземцами, ничего отъ нихъ не перенимать, ничему не учиться, и, напротивъ, во всемъ остерегаться ихъ какъ поганыхъ.

Авторъ замѣчаетъ, что выработка этихъ понятій всецѣло принадлежала русскимъ книжникамъ, которые, проникшись національнымъ самомнѣніемъ, желали предоставить Москвѣ самую блестящую роль въ ряду другихъ царствъ и народовъ, хотя понимали эту роль съ точки зрѣнія узкаго, односторонняго тогдашняго благочестія. Надо прибавить, что это были книжники по преимуществу московскіе, потому что, напр., въ Новгородѣ бывало меньше этой національной исключительности и религіозной нетерпимости, какъ позднѣе не было ея въ такой степени у малороссовъ; это была черта по преимуществу московскаго патріотизма. Но отъ книжниковъ эти представленія распространились по всей народной массѣ, которая, при отсутствіи школы, при тѣсной замкнутости государства отъ иноземныхъ связей, тѣмъ легче поддавалась суевѣрной нетерпимости къ чужому и неизвѣстному, и увлекалась національнымъ самомнѣніемъ.

Въ такихъ условіяхъ совершались тѣ сношенія Россіи XVI и XVII вѣка съ православнымъ востокомъ, которыя составляютъ предметъ книги г. Каптерева. Авторъ послѣдовательно разбираетъ различныя стороны этихъ отношеній и собираетъ рядъ любопытнѣйшихъ фактовъ и замѣчаній изъ того матеріала, какой доставили ему „греческія дѣла“ и „статейные списки“ московскаго архива. До сихъ поръ наши историки останавливались по пре-

имуществу только на отдѣльныхъ фактахъ этихъ отношеній, и притомъ съ ихъ оффиціальной показной стороны; но понятно, что для правильнаго объясненія необходимо знать эти факты во всей полнотѣ, съ тѣми внутренними побужденіями, какими вызывались эти отношенія, и практическими способами, съ какими они были выполняемы...

Книга г. Каптерева заключаетъ три отдѣла. Первый озаглавленъ „Москва—третій Римъ", и представляетъ разсказы, во-первыхъ, о соборномъ утвержденіи царскаго вѣнчанія Ивана Грознаго константинопольскимъ патріархомъ, — санкція патріарха нужна была царю именно какъ подтвержденіе самимъ востокомъ значенія московскаго государя какъ единственнаго царственнаго представителя восточнаго христіанскаго міра; во-вторыхъ, объ учрежденіи въ Россіи патріаршества, что́ было необходимо для полноты достоинства самаго царства, такъ какъ по давнимъ византійскимъ взглядамъ, повторявшимся и въ старыхъ южныхъ славянскихъ царствахъ, рядомъ съ царемъ долженъ быть патріархъ; въ-третьихъ, о перенесеніи съ востока разной православной святыни.—Утвержденіе царскаго вѣнчанія Ивана Грознаго было признаніемъ византійскаго преемства московскаго царства и установило его авторитетъ въ восточномъ православномъ мірѣ. Къ учрежденію московскаго патріаршества церковныя власти востока отнеслись, собственно говоря, не очень доброжелательно; имъ не хотѣлось новаго патріарха, назначеніе котораго грозило ихъ собственному вліянію, но приниженное политическое положеніе восточныхъ церквей и щедрая „милостыня" помогли московскому царству достигнуть исполненія своего главнаго желанія; при всемъ томъ московскому патріарху, котораго въ Москвѣ хотѣли бы видѣть первенствующимъ, дано было только пятое мѣсто въ ряду восточныхъ патріарховъ.

Относительно перенесенія въ Москву православныхъ святынь востока греки не имѣли особенныхъ возраженій, потому что оно сопровождалось богатыми денежными вознагражденіями или, проще, эти святыни (въ особенности мощи святыхъ, и много предметовъ, сохранившихся отъ земной жизни І. Христа) были выгодной статьею торговли, гдѣ московское правительство обыкновенно не стояло за цѣной. Кромѣ общихъ благочестивыхъ побужденій, московское правительство руководилось здѣсь тѣмъ особеннымъ соображеніемъ, что пріобрѣтеніе восточныхъ святынь послужитъ еще къ бо́льшему возвеличенію московскаго царства. „Русскіе,— говоритъ авторъ,—охотно, не жалѣя денегъ, пріобрѣтали отъ грековъ всякую святыню, въ полной увѣренности, что востокъ, ли-

шаясь своей святыни, лишался вмѣстѣ съ этимъ и прочныхъ, необходимыхъ основъ истиннаго благочестія, терялъ, вмѣстѣ съ святынею, и право на руководящую роль въ религіозной жизни православнаго міра. Наоборотъ, сосредоточеніе христіанской святыни въ Москвѣ давало русскимъ право съ увѣренностью смотрѣть на Москву, какъ на дѣйствительный третій Римъ, во всѣхъ отношеніяхъ замѣнившій собою новый Римъ—Константинополь, а на себя, какъ на людей, обладающихъ высшимъ благочестіемъ сравнительно съ греками, всегда готовыми за шкурку соболя продать самую драгоцѣнную для всякаго истиннаго христіанина святыню" (стр. 101). Русскіе откровенно высказывали свой взглядъ на торговлю грековъ своею святынею. Напримѣръ въ XVII-мъ вѣкѣ, Арсеній Сухановъ, въ своемъ преніи съ греками о вѣрѣ, говорилъ имъ прямо: „мощей святыхъ у васъ было много, и вы ихъ разносили по землямъ и нынѣ у васъ нѣту, а у насъ стало много". Словомъ, русскіе запасались капиталомъ душевнаго спасенія и церковно-политическаго авторитета, и пріобрѣтеніе святыни было молчаливой торговлей, причемъ она цѣнилась наконецъ не очень высоко; а иногда, когда извѣстные предметы доставлялись только на время—для поклоненія, правительство удерживало ихъ совсѣмъ, отговариваясь, будто не было сдѣлано условія объ отдачѣ. Такъ не были возвращены на Аѳонъ крестъ царя Константина и глава св. Іоанна Златоуста,—послѣ чего аѳонскіе монахи стали утверждать (и даже печатали въ своихъ святцахъ), что настоящая глава Златоуста имѣется все-таки у нихъ, а что въ Москву была послана глава Андрея Критскаго... Въ Москву стекалось такимъ образомъ множество предметовъ христіанской святыни, дѣйствительно весьма замѣчательныхъ. Такъ, напр., константинопольскій патріархъ Іеремія поднесъ государю золотую панагію, въ которой находились: кровь Христова, часть ризы Христовой, часть отъ копья, часть отъ трости, часть отъ губы, часть отъ терноваго вѣнца, и сверхъ того онъ поднесъ царицѣ три пуговицы отъ ризы Богородицы. Части животворящаго древа были очень обыкновенны. При продажѣ представлялись обыкновенно свѣденія о прежнемъ нахожденіи святынь или свидѣтельства отъ іерарховъ объ ихъ подлинности.

Предметъ второго отдѣла книги г. Каптерева составляетъ покровительство русскаго царя вселенскому православію (главы IV—VIII). Это покровительство оказывалось въ особенности въ видѣ царской милостыни православному востоку. Послѣ паденія Константинополя и когда московское царство установилось окончательно, въ Россію устремились цѣлыя толпы просителей мило-

стыни, отъ самихъ вселенскихъ патріарховъ до простыхъ игуменовъ и монаховъ, которые искали пособія, ссылаясь на притѣсненія ихъ родины и особливо монастырей нечестивыми агарянами. Притѣсненія не подлежали сомнѣнію, но часто, даже слишкомъ часто, московская милостыня и пособія попадали въ руки авантюристовъ, которые являлись въ Москву съ подложными церковными званіями, поддѣльными документами, и въ числѣ которыхъ встрѣчались православные ренегаты, бывавшіе не только католиками, но даже магометанами... Бывали случаи, что восточные іерархи, приходившіе въ Москву, и совсѣмъ оставались на житье въ Россіи, получая вспомоществованія отъ правительства; но этихъ случаевъ бывало вообще немного. Съ одной стороны, правительство, вѣроятно, оберегаясь отъ попрошайства, не всѣмъ разрѣшало поселяться въ Россіи; съ другой — самимъ пришельцамъ, — какъ они ни восхваляли русское гостепріимство, — не совсѣмъ нравились русскіе порядки. Заѣзжіе іерархи были на виду, русскіе слѣдили за каждымъ ихъ шагомъ; какъ высокіе церковные сановники, они должны были строго выполнять всѣ требованія русскаго благочестія, держать посты, выстаивать долгія церковныя службы, и это многимъ приходилось не въ моготу. По свидѣтельству православнаго восточнаго путешественника, архидіакона Павла Алепскаго, просители милостыни, являясь въ Москву, должны были употреблять нѣсколько дней на то, чтобы выучиться держать себя такъ, какъ слѣдовало по-московски; и самъ архидіаконъ Павелъ (проживший въ Москвѣ около двухъ лѣтъ) не оспариваетъ предупрежденія тѣхъ друзей, которые, уже зная Москву, еще до поѣздки его въ Россію говорили, что „кому хочется сократить свою жизнь, напримѣръ, лѣтъ на 5 или на 10, тотъ пусть ѣдетъ въ страну московскую“. Съ какимъ чувствомъ восточные люди оставляли Москву, видно изъ словъ того же Павла Алепскаго, что они отдохнули только, когда прибыли въ Кіевъ (гдѣ не было уже московскихъ обычаевъ): тамъ они „чувствовали себя какъ дома, потому что обитатели этой страны также любезны и радушны, какъ земляки, между тѣмъ какъ въ продолженіе нашего двухлѣтняго пребыванія въ Москвѣ какъ бы замокъ висѣлъ на нашихъ сердцахъ, и мысль наша была стѣснена до крайности, ибо въ московской землѣ никто не можетъ чувствовать себя спокойно и весело, кромѣ развѣ туземцевъ“... (стр. 156).

Злоупотребленія русскою милостынею были таковы, что сами восточные патріархи и другія лица предупреждали московское правительство, что въ Москву нерѣдко приходили за милосты-

ней обманщики и самозванцы. Эти послѣдніе иногда сами выдавали другъ друга—перессорившись при дѣлежѣ добычи. „Замѣчательно, —говоритъ авторъ,—что наше правительство и послѣ полученнаго доноса (о подобныхъ обманахъ) вело разслѣдованіе какъ-то не особенно охотно и настойчиво, не предпринимало до самаго XVIII столѣтія какихъ-либо особыхъ, спеціальныхъ и усиленныхъ мѣръ для предупрежденія обмановъ на будущее время. Оно какъ будто не хотѣло высокое дѣло благотворительности Востоку уяснить разслѣдованіемъ и раскрытіемъ тѣхъ плутней и обмановъ, которые вносили въ это святое, христіанское дѣло нѣкоторые изъ просителей". Дѣло въ томъ, что обманщики—которыхъ было вѣроятно меньше, чѣмъ просителей, засвидѣтельствованныхъ церковными властями Востока—все-таки разносили славу московскаго покровительства восточной вселенской церкви.

Далѣе, обстоятельныя свѣденія собраны авторомъ относительно пропуска въ Москву восточныхъ просителей. Въ XVI вѣкѣ, когда Москва еще только выступала въ роли покровительницы вселенскаго православія, въ ея интересѣ была широкая раздача милостыни и не видно еще никакихъ мѣръ для стѣсненія наплыва просителей и для предупрежденія злоупотребленій: чѣмъ больше приходило просителей, тѣмъ было лучше. Въ концѣ XVI вѣка въ Москву являются уже два восточные патріарха, и одинъ изъ нихъ былъ самъ вселенскій патріархъ Іеремія, который думалъ даже остаться, въ качествѣ московскаго патріарха, въ Россіи. Смутное время остановило притокъ собирателей милостыни, но съ воцареніемъ Михаила Ѳедоровича движеніе возобновляется и идетъ все шире. Страна была разорена, царская казна обѣднѣла, но не смотря на то, отказа въ милостынѣ не было: тогдашній патріархъ, Филаретъ Никитичъ, желалъ продолжать неизмѣнно традицію московскаго царства въ покровительствѣ Востоку. Просители прибывали, казна отягощалась выдачами пособій, умножались злоупотребленія, и наконецъ нужно было внести въ это дѣло какой-нибудь порядокъ. Этого хотѣли достигнуть, во-первыхъ, выдачей такъ-называемыхъ жалованныхъ грамотъ; старцы тѣхъ восточныхъ монастырей, которые имѣли подобныя грамоты, получали свободный пропускъ въ Москву, подводы и содержаніе, и вообще пропускались безъ всякой „зацѣпки". Позднѣе, въ жалованныхъ грамотахъ стали назначать сроки, по которымъ просители получали позволеніе пріѣзжать за милостыней, и если являлись до срока, ихъ стали ворочать назадъ; сроки полагались въ нѣсколько лѣтъ, въ три года и больше, и даже до десяти. Еще позднѣе, безъ жалованныхъ грамотъ и совсѣмъ не

пускали въ Москву, и восточныя обители хлопотали, чтобы обзавестись грамотами или измѣнить длинный срокъ на болѣе короткій. Затѣмъ начали требовать отъ просителей рекомендательныхъ грамотъ какого-либо восточнаго патріарха; не имѣвшихъ такой грамоты возвращали домой изъ Путивля, который былъ тогда пограничнымъ городомъ. Поэтому, путивльскому воеводѣ было обыкновенно много хлопотъ съ пріѣзжавшими просителями; иногда они не имѣли съ собой никакихъ грамотъ, или показывали поддѣльныя, или ссылались на какія-нибудь тайныя дѣла,— обманы открывались въ Москвѣ, но просители все-таки нѣчто получали. Съ другой стороны, воеводѣ приказано было пропускать просителей изъ такихъ обителей, которыя до тѣхъ поръ еще ни разу не обращались за милостыней. Замѣчательно, что, по словамъ г. Каптерева, „существовало и еще одно правило, котораго правительство придерживалось въ теченіе первой половины XVII вѣка относительно пропуска просителей въ Москву: обращалось вниманіе на національность просителя,—греки были по преимуществу покровительствуемы, просители же славяне возвращались назадъ изъ Путивля“, гдѣ, впрочемъ, выдавали имъ царское жалованье (стр. 254).

Новый, непріятный для просителей милостыни оборотъ получило это дѣло съ воцареніемъ Ѳедора Алексѣевича. Воспитанный людьми не-греческаго направленія, этотъ царь окончательно запретилъ впускать въ Россію пріѣзжихъ грековъ; указъ объ этомъ ссылался на то обстоятельство, что въ прежнее время въ Москву „пріѣзжали греческіе власти изъ Палестинъ, а съ собою привозили многоцѣлебные мощи и чудотворные иконы, а ихъ братья торговые гречане самые знатные люди и привозили съ собою золото, серебро и узорочные каменья, а локотные дорогіе товары самые добрые“, а теперь, многіе начали „воровать“, провозили товары тайно, для кражи пошлинъ, занимались продажей вина и табаку, и гречане „учали пріѣзжать самые молодчіе люди“ (стр. 267). Но такой рѣзкій поворотъ слишкомъ противорѣчилъ давнему обычаю, и притомъ русскія дѣла опять требовали обращенія къ восточнымъ патріархамъ: въ русской церковной жизни продолжались смуты, гдѣ желателенъ былъ ихъ авторитетный голосъ; шелъ вопросъ о присоединеніи кіевской митрополіи къ Москвѣ; какъ говорятъ, самъ патріархъ московскій думалъ тогда о подчиненіи московской церковной власти всѣхъ православныхъ славянъ. Поэтому патріархъ Іоакимъ обратился къ царю съ просьбой объ отмѣнѣ запретительнаго указа, и по этой просьбѣ царь „пожаловалъ, для единые православные христіанскіе вѣры

и для свобожденія изъ бусурманскихъ рукъ православныхъ христіанъ, которые побраны на разныхъ бояхъ, указалъ: греческіе Палестины пестрымъ и чернымъ властемъ по жалованнымъ грамотамъ, въ указной годъ, съ причетники ихъ пріѣзжать, а гречанъ съ окупными полоняники и съ товары пропускать противъ прежняго"... (стр. 269).

При Петрѣ Великомъ принимается рядъ мѣръ, чтобы ограничить пріѣздъ просителей только тѣми, у которыхъ были жалованныя грамоты, и устранить самозванцевъ и всякихъ подозрительныхъ людей; вмѣстѣ съ тѣмъ завѣдываніе раздачею милостыни, принадлежавшее теперь коллегіи иностранныхъ дѣлъ, рѣшено было поручить синоду, который долженъ былъ установить для этого извѣстныя правила и опредѣлить штаты, т.-е. размѣръ употребляемыхъ на это суммъ. Указъ Петра объ этомъ изданъ былъ уже при Екатеринѣ I, и „палестинскіе штаты" составлены при Аннѣ Ивановнѣ.

Когда сношенія Москвы съ восточными патріархами и другими церковными властями, „пестрыми и черными", установились нѣсколько прочно, они уже вскорѣ получили особое примѣненіе. Когда въ Москву стали въ большомъ числѣ являться восточные пришельцы, у правительства естественно родилась мысль собирать отъ нихъ свѣденія о положеніи тѣхъ странъ, гдѣ эти просители жили или гдѣ проѣзжали. При тогдашнемъ порядкѣ вещей, въ Москвѣ мало знали, что́ дѣлается въ иноземныхъ государствахъ, между тѣмъ, знать было нужно, и просители милостыни являлись для этого очень кстати. Ихъ призывали обыкновенно въ посольскій приказъ (тогдашнее министерство иностранныхъ дѣлъ), отбирали и записывали извѣстія о войнахъ, союзахъ, новыхъ планахъ Турціи, о положеніи Молдавіи, Сербіи, Польши и т. д., и эти извѣстія служили матеріаломъ для политическихъ соображеній приказа. Особенно полезны были при этомъ греки, люди живые, подвижные, порядочные интриганы, которые имѣли обширныя связи и могли многое знать. Когда примѣтили, что правительство ищетъ политическихъ свѣденій, и въ Москву стали пропускать только тѣхъ, кто могъ сообщить что-нибудь въ посольскомъ приказѣ,—вѣстей начало стекаться очень много, и среди мелочныхъ и неважныхъ бывали и весьма важныя. Наконецъ, восточные іерархи стали настоящими политическими агентами московскаго правительства,—особенно съ конца XVI-го столѣтія, съ пріѣзда въ Москву патріарха Іереміи. Они сообщали въ Москву извѣстія о положеніи вещей въ Турціи, и въ концѣ концовъ московское правительство приказывало русскимъ посламъ въ Константинополѣ

спрашиваться патріарха, руководствоваться его совѣтами, указаніями; патріархи, хорошо знавшіе дѣла на мѣстѣ, дѣйствительно бывали очень полезны посламъ, указывая, гдѣ и какъ надо было дѣйствовать, кого и сколько подарить, и т. п. Дѣлалось это, конечно, подъ „великимъ страхомъ", потому что это не могло нравиться туркамъ, еслибъ они о томъ провѣдали;—одинъ патріархъ былъ казненъ турками за сношенія съ Москвой;—но это не останавливало другихъ, и патріархи стали вообще ревностнѣйшими дипломатическими агентами въ Турціи и состояли, по выраженію одного изъ нихъ, „въ чинѣ доносителя". Ими руководило, въ этомъ случаѣ, какъ то, что, служа Россіи, они думали служить православію, такъ и то, что служба неизмѣнно сопровождалась милостыней и соболями. Эти отношенія продлились до временъ Петра Великаго: въ его время русскіе дипломаты еще пользовались услугами іерусалимскаго патріарха Досиѳея и оказывали ему большое почтеніе, но затѣмъ эта служба восточныхъ іерарховъ прекратилась. Она была и ненужна съ установленіемъ постоянныхъ дипломатическихъ отношеній. Любопытно, что этотъ Досиѳей, доставлявшій вообще весьма важныя указанія, въ первые годы правленія Петра даетъ совѣтъ усиленно стараться о скорѣйшемъ устройствѣ хорошаго, правильно-обученнаго войска (стр. 301).

Эти отношенія, разростаясь и усложняясь съ теченіемъ времени, привели къ тому, что простая благотворительность православному Востоку превратилась, наконецъ, въ покровительство политическое—въ задачу возвратить свободу всѣмъ православнымъ народамъ, покореннымъ турками. Съ одной стороны, Востокъ, видя постоянное возвышеніе Россіи, въ особенности послѣ присоединенія Малороссіи, которой также грозила Турція, сталъ надѣяться отъ Россіи не только милостыни, но и освобожденія, и радовался всякимъ новымъ ея успѣхамъ; съ другой, русскіе, видя эти постоянныя обращенія къ Россіи восточныхъ христіанъ, привыкали видѣть въ Востокѣ близкую страну, съ которой связаны ихъ самые возвышенные интересы. Когда, въ то же время на наслѣдіе византійской имперіи обнаруживали притязанія латинскія государства, которыя вездѣ, гдѣ православные попадали подъ ихъ власть, угнетали ихъ, принуждая обращаться въ католичество, то явилось и еще новое побужденіе думать о Востокѣ; надо было не только освободить восточныхъ христіанъ, но и предупредить захватъ со стороны католическихъ державъ.

„Словомъ,—замѣчаетъ авторъ,—существующее убѣжденіе, что Россія призвана порѣшить такъ-называемый восточный вопросъ, что ея историческое призваніе заключается и въ томъ, чтобы сдѣ-

лать свободными и самостоятельными всѣ православные народы, не есть что-нибудь случайное, искусственное, кѣмъ-либо придуманное, а естественное, логическое слѣдствіе историческаго хода событій, простой результатъ, выводъ изъ вѣковыхъ отношеній Россіи къ православному Востоку. Если мы въ недавнее время принуждены были бороться съ турками, то мы, въ этомъ случаѣ, продолжали, въ измѣненномъ видѣ, то же дѣло, начало котораго положено было еще сотни лѣтъ тому назадъ царями московскими, выступившими въ качествѣ покровителей и охранителей всего вселенскаго православія. Задача современной мудрости должна состоять не въ отрицаніи этого историческаго призванія Россіи,— которое, не смотря на всѣ препятствія, всегда съумѣетъ заявить себя съ достаточною силою, — а въ указаніи лучшихъ путей и средствъ для его своевременнаго и окончательнаго выполненія" (стр. 280—281).

Къ этому надо замѣтить, что у насъ и не отрицали ни давнихъ церковныхъ связей съ Востокомъ, ни того, что онѣ чувствовались и народомъ, оказывали свое вліяніе въ дѣлахъ съ Турціей, могутъ и впослѣдствіи быть важнымъ факторомъ въ отношеніяхъ Россіи къ Востоку; спорили только противъ черезчуръ произвольнаго мистическаго толкованія „призванія", которое налагало на Россію какія-то абсолютныя требованія и изъ-за нихъ забывало ближайшія нужды самого русскаго народа, его собственное освобожденіе и просвѣщеніе. Странны были, напр., „освободительныя" войны временъ имп. Николая, когда внутри государства господствовало крѣпостное право и гоненіе противъ раскола; даже въ послѣднюю войну многихъ ея свидѣтелей поражало различіе внутренняго быта освободителей и освобождаемыхъ. И въ самомъ дѣлѣ, крымская война наглядно указывала, что дѣйствительные размѣры силъ и внутреннее положеніе государства не совсѣмъ отвѣчали „призванію"; послѣдняя освободительная война кончилась передачей Босніи и Герцеговины изъ турецкаго ига подъ австрійское, и перспективой распространенія австрійскаго господства и дальше...

Третій отдѣлъ своей книги г. Каптеревъ посвящаетъ тому представленію старой Россіи, что „русское благочестіе есть высшее и совершеннѣйшее въ цѣломъ мірѣ". Авторъ разсказываетъ, и подтверждаетъ рядомъ фактовъ, какъ послѣ флорентинской уніи и паденія Константинополя между русскими все больше распространялось убѣжденіе, что греки потеряли истинное благочестіе и что единственными его представителями остаются русскіе. Хотя послѣ оказалось, что флорентинская унія вовсе не была дѣломъ

всей греческой церкви, и завоеваніе не измѣнило греческаго православія, тѣмъ не менѣе потеря независимости отразилась на греческой церкви многими неблагопріятными условіями, которыя русскіе и поставили ей на счетъ. Греческое просвѣщеніе упало; греки, искавшіе высшаго знанія, не находили его дома и должны были обращаться къ школамъ западнымъ, католическимъ или протестантскимъ, особливо первымъ; римская пропаганда не упускала случая, и въ среду грековъ проникали латинскія вліянія; въ Римѣ печатались греческія книги, прошедшія черезъ руки іезуитовъ... Русскіе могли бы мало знать объ этомъ, но сами православные греки жаловались на трудное положеніе своей церкви и просвѣщенія, и русскіе—хотя не имѣвшіе совсѣмъ никакихъ школъ —тѣмъ больше укрѣплялись въ мнѣніи объ упадкѣ греческаго православія и въ превосходствѣ собственнаго. По объясненію г. Каптерева, это послѣднее представленіе получило свою соборную санкцію на Стоглавомъ соборѣ. Извѣстное путешествіе Арсенія Суханова было вызвано тѣмъ же соображеніемъ, и пренія Суханова съ греками о вѣрѣ даютъ самое обстоятельное изложеніе русскихъ мнѣній о сравнительномъ достоинствѣ русскаго и греческаго благочестія.

Очень любопытна слѣдующая глава (X), гдѣ авторъ излагаетъ перемѣну въ этихъ понятіяхъ, произведенную церковной реформой Никона. Это событіе, оставившее такой глубокій слѣдъ въ народной жизни, много разъ было объясняемо нашими историками, свѣтскими и церковными, но обыкновенно (и у церковныхъ историковъ исключительно) только на почвѣ исправленія книгъ, такъ что главнымъ мотивомъ событій являлись, съ одной стороны, необходимость и законность исправленія дѣйствительно испорченныхъ церковныхъ книгъ, съ другой—невѣжество народной массы и упорство ея руководителей. Новые историки замѣтили къ этому, что невѣжественная масса была, однако, по своему права, потому что, каковы бы ни были „старыя книги“, онѣ дѣйствительно утверждались самой церковной властью до Никона, и суровое отверженіе ихъ не могло не произвести смущенія; и что затѣмъ дѣло шло не объ одномъ исправленіи книгъ, но о цѣломъ освященномъ стариною обычаѣ. Г. Каптеревъ бросаетъ новый свѣтъ на дѣло реформы, ставя его въ связь съ цѣлымъ представленіемъ русскихъ людей о высокомъ достоинствѣ стараго и недвижнаго русскаго благочестія, съ общераспространеннымъ народнымъ убѣжденіемъ, противъ котораго и возсталъ Никонъ.

Выше мы упоминали, какъ у русскихъ упало мнѣніе о греческомъ благочестіи и какъ греки, наѣзжавшіе въ Москву, тяго-

тились московскими обычаями, гдѣ благодаря развивавшейся вѣрѣ въ обрядность, эта послѣдняя разрослась въ строгое религіозное требованіе. Но греки не только этимъ тяготились, но у себя дома, и между собой, бранили московскіе обычаи, „грубовидные и варваровидные“; въ томъ числѣ московскіе церковные обычаи они считали неправильными и даже еретическими. Разладъ, скрываемый въ оффиціальныхъ сношеніяхъ, выступалъ наружу въ частныхъ встрѣчахъ и наблюденіяхъ: русскихъ странниковъ, которые видѣли грековъ въ греческой землѣ, поражали недостатки обрядности, далеко не наблюдавшейся съ такою строгостью, какъ у русскихъ,—греки не крестятся, а только машутъ руками; греки, заѣзжая въ Москву, находили, что въ русскомъ благочестіи только и есть, что много звонятъ въ колокола. Около половины XVII вѣка эта скрытная враждебность вызвала настоящій церковный скандалъ — сожженіе на Аѳонѣ русскихъ церковныхъ книгъ, какъ еретическихъ. Дѣло было такъ. Русскіе, давая милостыню восточнымъ монастырямъ, между прочимъ, въ обители славянскія посылали также церковныя книги московской печати. Нѣкоторые славянскіе монастыри на Аѳонѣ, получивъ эти книги, стали по нимъ служить; по совершаемымъ молитвамъ и обрядамъ сосѣдніе монастыри увидѣли, что въ московскихъ служебникахъ есть большія разницы съ греческими, и такъ какъ Аѳонъ считался особеннымъ хранителемъ церковности, то на это было обращено вниманіе, поднялись споры, и Аѳонъ раздѣлился на партіи. На одной сторонѣ стали греки, которыхъ было большинство; на другой — немногочисленные славяне (сербы), которыхъ притомъ раздѣляла съ греками старая племенная вражда. Споры дошли до крайняго раздраженія, и кончилось тѣмъ, что греческая партія сожгла московскія книги. Одинъ старецъ, бывшій очевидцемъ этого событія, такъ разсказывалъ о немъ іерусалимскому патріарху Паисію и Арсенію Суханову: „Сошлись-де старцы святогорскіе (аѳонскіе) всѣ, и надѣли на себя патрахѣли и привели старца (т.-е. сербскаго монаха) съ московскими книгами, и облекли его въ ризы, и поставили его среди церкви, и называли его еретикомъ, и книги-де держитъ еретическія и крестится не по-гречески, и хотѣли-де его сожечь и съ книгами, тутожде и турки стояли призваны. И по многомъ-де безчестіи тому старцу велѣли московскія книги на огнь положить самому, и онъ-де многое время не хотѣлъ на огнь класть и за великую нужду, заплакавъ, положилъ, убоясь и самъ того огня. А сожгли-де московскихъ книгъ: двѣ въ десть, а третья въ полдесть, а иныхъ не помню, каковы.

А старца-де того закляли, чтобъ ему впредь такъ не креститься и никого не учить, и отдали его турку, а турокъ-де держалъ его у себя въ желѣзахъ многое время и, взявъ съ него (взятку), отпустилъ. А другого-де такого старца у нихъ во всей горѣ аѳонской нѣту: борода-де у него до самой земли, якоже у Макарія Великаго, а носитъ-де ее въ мѣшечки склавъ и тотъ мѣшечикъ съ бородою привязываетъ къ поясу, а имя ему Дамаскинъ—мужъ духовенъ и грамотѣ ученъ. И то-де греки сдѣлали отъ ненависти, что тотъ старецъ отъ многихъ почитаемъ, сербинъ онъ, а не грекъ, греки-де хотятъ, чтобы всѣми они владѣли". — Для московскихъ читателей въ этомъ событіи видимо должна была имѣть немалое значеніе и самая борода старца, складенная въ мѣшечкѣ.

Такимъ образомъ между русскими и греками стоялъ (хотя не высказанный прямо самими властями) вопросъ о томъ, кому же принадлежитъ настоящее первенство и господство. Русскіе владѣли несомнѣннымъ первенствомъ въ одномъ отношеніи—во внѣшнемъ могуществѣ, которое давало имъ возможность матеріально помогать бѣдствовавшему православному Востоку. Но для полнаго первенства, очевидно, этого было мало — нужно было имѣть запасъ просвѣщенія и культурныхъ силъ, какими нѣкогда греки господствовали надъ всѣмъ православнымъ міромъ. Но, — замѣчаетъ г. Каптеревъ, — „ничего похожаго на старую Византію не представляла въ этомъ отношеніи Москва. Она не знала, что̀ такое наука и научное образованіе, она даже совсѣмъ не имѣла у себя школы и лицъ, получившихъ правильное научное образованіе; весь ея образовательный капиталъ заключался въ томъ, съ научной точки зрѣнія, не особенно богатомъ и разнообразномъ наслѣдствѣ, которое въ разное время русскіе посредственно или непосредственно получали отъ грековъ, не прибавивъ къ нему, съ своей стороны, почти ровно ничего. Естественно поэтому, что первенство и главенство Москвы въ православномъ мірѣ могло быть только чисто внѣшнее и очень условное; естественно было, что греки, какъ народъ сравнительно образованный и развитой, по прежнему были распорядителями и рѣшителями всѣхъ тѣхъ дѣлъ и вопросовъ, гдѣ требовалось знаніе, опытность, образованіе, наука; что русскіе во всѣхъ подобныхъ случаяхъ волею или неволею должны были отступать на задній планъ, уступать руководящую роль образованнымъ гречанамъ"... (стр. 340). Мало того, что въ этомъ отношеніи угнетенные и бѣдствующіе греки заслоняли сильныхъ и богатыхъ русскихъ на православномъ Во-

стокѣ, русскіе не могли обойтись безъ помощи грековъ даже у себя дома, въ тѣхъ вопросахъ, какіе возникали въ ихъ собственной церковной жизни и которыхъ они, даже имѣя собственнаго патріарха, не могли рѣшить безъ содѣйствія грековъ. Такъ патріархъ Филаретъ обращался въ восточнымъ патріархамъ, по вопросу о прибавленіи слова „и огнемъ“ въ молитвѣ на освященіе богоявленской воды; такъ обращался въ Константинополь патріархъ Іосифъ, и пр. Наконецъ, греческая сторона нашла себѣ, въ средѣ самихъ русскихъ, могущественнаго партизана, который рѣшилъ споръ рѣзко и безповоротно. Это былъ патріархъ Никонъ. Еще до своего патріаршества, онъ сошелся съ греками, былъ ихъ большимъ любителемъ; и когда достигъ власти, рѣшился произвести въ русской церкви реформу по тѣмъ взглядамъ, какіе внушались льстившими ему грекамй. Онъ сталъ „зазирать“ русскими церковными порядками и вводить греческіе; исправленіе книгъ переполнило чашу, и русскіе люди—„раскололись“. Дѣло въ томъ, что реформа нарушила вдругъ всѣ тѣ понятія, какія имѣли старые русскіе люди о греческомъ и русскомъ благочестіи (ср. стр. 423), и заставила принять порядки тѣхъ грековъ, которые въ глазахъ массы были заподозрѣны, какъ ослабѣвшіе въ вѣрѣ,—тѣмъ больше, что въ числѣ совѣтниковъ и исполнителей дѣла были и такіе греки, за которыми извѣстно было настоящее ренегатство. Съ другой стороны, реформа имѣла за себя свои жизненныя основанія. „Церковная реформа Никона,—говоритъ авторъ (стр. 477), — стала возможна именно потому, что прежніе устои русской жизни, какъ они были намѣчены книжниками XV и начала XVI вѣка, уже значительно пошатнулись, прежніе идеалы и цѣли уже многихъ не удовлетворяли,—жить только старымъ становилось все болѣе невозможнымъ, жизнь все болѣе настойчиво требовала обновленія и переустройства, причемъ все сильнѣе и сильнѣе чувствовалась потребность въ знаніи, нужда въ наукѣ и образованіи, безъ которыхъ и русскимъ уже трудно было теперь обходиться“. Такой смыслъ имѣла и реформа Никона. Церковь приняла и утвердила произведенное Никономъ исправленіе церковныхъ книгъ и обычаевъ, и осужденіе старины; но реформа сопровождалась послѣдствіями, которыхъ не предвидѣла совершавшая ихъ власть. Во-первыхъ, громадная масса народа не поняла преобразованія: реформа осуждала ту церковную старину, дорожить которой народъ привыкалъ въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, въ которой вмѣстѣ съ самими прежними властями видѣлъ залогъ истиннаго благочестія и національнаго превосходства,—и теперь

не было сдѣлано ничего, чтобы поднять разумѣніе народа или даже разумѣніе самого духовенства. Рѣзкія мѣры были настоящимъ насиліемъ надъ этой стариной, и расколъ, руководителями котораго были видные люди самого духовенства, не безъ основанія считалъ себя представителемъ „древляго благочестія“,—таково оно и было въ дѣйствительности. Во-вторыхъ, оказались несостоятельными надежды на грековъ въ дѣлѣ просвѣщенія. „Тогдашніе греки были мало способны явиться на Руси просвѣтительной и зиждительной силой, вѣстниками для русскихъ иной, высшей и совершеннѣйшей жизни, такъ какъ они сами были задавлены тяжелымъ, деморализующимъ народную жизнь рабствомъ, сами нуждались въ обновленіи, въ посторонней помощи и поддержкѣ. Если у грековъ и была тогда своя наука, то не своя, а чужая, заимствованная съ Запада, гдѣ они получали свое высшее научное образованіе. Но главное, греки не имѣли особенной охоты дѣлиться съ русскими тѣми научными знаніями, которыя они получали на Западѣ, вовсе не думали дѣятельно насаждать на Руси просвѣщеніе... Правда, греки торжественно и краснорѣчиво заявляли въ Москвѣ о необходимости для русскихъ науки и образованія, совѣтовали имъ открыть у себя школы, но дальше краснорѣчивыхъ заявленій и совѣтовъ не пошли и въ этомъ дѣлѣ, такъ что и послѣ 1667 года русскіе по прежнему оставались безъ школы и науки“ (стр. 478—479).

Такимъ образомъ, Никоновское исправленіе, отразившееся бѣдственнымъ для большой части народа церковнымъ расколомъ, было фатальной расплатой за XV—XVI вѣкъ, и вмѣстѣ, въ средѣ самой московской Россіи, началомъ поворота, измѣнившаго характеръ русскаго просвѣщенія и національнаго міровоззрѣнія. Съ расколомъ наша жизнь не сосчиталась и по настоящую минуту, и едва теперь начинается терпимость къ нему, съ которой только и можетъ прійти историческое примиреніе — въ какой формѣ, еще невозможно сказать. Вопросъ просвѣщенія разрѣшился Петровской реформой: если греки, на которыхъ въ этомъ отношеніи возлагались надежды, ни мало не оправдали ожиданія, русскому народу оставалось одно — искать самому этого просвѣщенія на томъ западѣ, откуда и греки почерпали въ послѣдніе вѣка свое высшее образованіе. Сначала, какъ извѣстно, это западное просвѣщеніе заимствовалось у насъ посредственно, черезъ южно-русскую, кіевскую школу, а, наконецъ, прямо въ самихъ западныхъ школахъ за границей, а потомъ и въ русскихъ, основанныхъ по иноземному образцу и съ помощью вызываемыхъ

иноземцевъ: первые начатки этого западнаго иноземнаго образованія, какъ извѣстно, являются также еще до Петра, въ послѣдніе годы московскаго царства.

Неудивительно поэтому, что роль, которую греки играли въ московскомъ царствѣ, совсѣмъ измѣнилась еще на переходѣ къ новой Россіи. Не прекратилось благотвореніе православному Востоку, но прежнее вліяніе грековъ кончилось. Въ Россіи не стало самаго патріаршества, но русская церковь не нуждалась уже въ наставленіяхъ и руководствѣ Востока; не нужны стали тайныя политическія услуги восточныхъ патріарховъ; не требовались греки какъ ученые или дипломатическіе чиновники; очень сократился или совсѣмъ кончился вывозъ съ Востока церковныхъ святынь. Но затѣмъ, если въ московскомъ періодѣ образовалось „призваніе“ Россіи освобождать православный Востокъ, то новый періодъ не только ему не измѣнилъ, но исполнялъ гораздо болѣе рѣшительно, чѣмъ Москва...

Въ примѣръ того, какъ съ XVIII-го вѣка перемѣнилось отношеніе русской власти къ греческому Востоку, приводимъ двѣ-три подробности изъ фактовъ, указываемыхъ въ книгѣ г. Каптерева. Съ 1721 года, постановленіемъ только-что учрежденнаго синода отмѣнено было возношеніе имени константинопольскаго патріарха при богослуженіи, что до тѣхъ поръ всегда дѣлалось въ русской церкви (стр. 473). Иногда, именно въ случаяхъ щекотливыхъ или гдѣ голоса одной русской церковной власти было бы недостаточно, русскіе еще прибѣгаютъ къ содѣйствію восточныхъ патріарховъ, но обыкновенно этимъ послѣднимъ приходится только подтверждать то, что было уже заранѣе порѣшено русскимъ правительствомъ; о какихъ-нибудь правахъ греческой церкви надъ русскою нѣтъ уже никакой рѣчи.—Далѣе, къ вывозимымъ съ Востока святынямъ стали теперь относиться критически. Въ приложеніяхъ къ книгѣ г. Каптерева помѣщенъ синодальный указъ 1723 года въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, весьма характерный въ этомъ отношеніи; указъ былъ данъ по поводу мощей святого мученика Христофора, привезенныхъ изъ Греціи и „по нѣкоторому доношенію“ взятыхъ въ синодъ для разсмотрѣнія. Въ этомъ указѣ поручается коллегіи (которая вѣдала теперь всѣ дѣла о милостыняхъ и жертвованіяхъ на востокъ) разыскать, по старымъ документамъ, „гдѣ оная кость подъ именемъ святого мученика Христофора главы въ которомъ году и отъ кого и съ какимъ свидѣтельствомъ прислана и кѣмъ привезена и гдѣ до которыхъ лѣтъ была и за какую вещь содержалась“. Причина ра-

зысканія была та, что по разсмотрѣнію синода, эта привозная святыня представляла собой „ковчегъ серебряной, на которомъ изображенъ образъ святаго мученика Христофора, а въ томъ ковчегѣ явилась подъ именемъ того мученика главы слоновая кость“, и по именному указу его величества повелѣно было этотъ ковчегъ перелить въ какой пристойно церковный сосудъ, а „содержавшуюся въ ономъ подъ именемъ мощей слоновую кость положить въ синодальную кунштъ-комору“ и затѣмъ, „написать на оную (кость) трактатъ съ такимъ объявленіемъ: какъ напредь сего, когда отъ духовныхъ инквизиціи (т.-е. разсмотрѣнія властями привозимыхъ святынь) не было, употреблялися сицевыя и симъ подобныя суперстиціи, которыя и отъ приходящихъ въ Россію грековъ производимы и привозимы были, что нынѣ уже синодальнымъ тщаніемъ истребляется“ (прил., стр. 50—51). Для сочиненія этого „трактата“ и требовались отъ коллегіи упомянутыя свѣденія. Позднѣе, когда болѣе или менѣе установилось церковное образованіе по образцамъ кіевской академіи, у русскихъ нѣтъ уже мысли чему-нибудь учиться у грековъ и спрашивать ихъ совѣтовъ, а напротивъ, принимаются мѣры противъ какого-либо вторженія грековъ въ русскую іерархію. Г. Каптеревъ цитируетъ слова архіепископа Амвросія къ Арсенію Мацѣевичу, что слѣдуетъ „исходатайствовать на вдовствующія епархіи настоящихъ пастырей, а не азіатскихъ выходцевъ и аѳонскихъ прелазатаевъ (!), за какое упущеніе намъ ожидать неминуемаго гнѣва божія, на страшномъ судѣ отвѣта“(!).

Таково содержаніе любопытной книги г. Каптерева, посвященной важному вопросу нашей старины, который дѣйствительно требовалъ выясненія. Введеніе новаго матеріала прибавляетъ къ значенію книги.

И въ томъ видѣ, какъ есть, сочиненіе г. Каптерева составляетъ прекрасный вкладъ въ нашу историческую литературу; но его достоинство увеличилось бы, еслибы авторъ нѣсколько болѣе закончилъ свою тэму. Напримѣръ, ограничиваясь почти исключительно архивнымъ матеріаломъ, авторъ очень мало касается литературы своего предмета, въ которой нашлись бы и подтвержденія, и противорѣчія его взглядамъ; и затѣмъ, не лишнимъ было бы дать нѣсколько болѣе обстоятельныя указанія о положеніи собственно греческаго образованія въ вѣка московскаго царства и о

томъ, почему оно осталось до такой степени чуждымъ въ Москвѣ и не могло бросить тамъ корней. Въ нашей литературѣ этотъ предметъ нельзя назвать достаточно извѣстнымъ, и тэма, поставленная г. Каптеревымъ, давала хорошій поводъ къ его выясненію для русскихъ читателей.

Говоря о реформѣ Никона и ея противникахъ, авторъ заявляетъ, что готовитъ объ этомъ предметѣ особое изслѣдованіе; настоящая книга заставляетъ ждать съ большимъ интересомъ новаго труда г. Каптерева.

А. В—нъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Пускай нѣмѣетъ скорбь, пускай гнетутъ мученья,
Пускай туманный сводъ безвѣрьемъ полонёнъ!
Я знаю, что мы всѣ дождемся пробужденья,
И въ ласковыхъ лучахъ святого обновленья
Живительно сверкнетъ лазурный небосклонъ.

Такъ много грезъ встаетъ, такъ много вѣры жгучей,
Что все—лишь только сонъ томительно-пустой;
Откроется очамъ просторъ борьбы могучей,
Окончится разладъ восторгами созвучій,
И вновь пахнетъ съ небесъ цѣлящею весной.

Проходитъ молодость и годы гасятъ время,
Укоры прошлаго смѣются горько, зло,
А впереди обманъ для страсти держитъ стремя;
Надежда гордая поднять не въ силахъ бремя,
Что тусклою тоской на сердце налегло.

II.

Передъ нею обрывъ... Подъ ногами скала
Съ обнаженной, угрюмой вершиной...
Постепенно рѣдѣетъ полночная мгла
Надъ глубокой рѣчною стремниной.

То заплачетъ, чуть слышно, немолчный прибой,
То сердито и грозно завоетъ —
Сердце сжато въ груди безпросвѣтной тоской,
Сиротливо трепещетъ и ноетъ.

Наростаетъ кругомъ сѣдовласый туманъ,
Передъ утромъ изъ водъ выплывая,
И тихонько идетъ облаковъ караванъ,
Понадземную ширь застилая.

Утомленныя очи вперяются въ даль,
Заломились въ отчаяньи руки...
Вдругъ зардѣлось лицо, оттѣснилась печаль:
Плещутъ весла и ластятся звуки.

Звуки пѣсни лихой долетаютъ, звеня,
Изъ-за плотной туманной ограды,
Возвѣщая приходъ свѣтлоликаго дня,
Они полны любви и отрады.

Та, что внемлетъ ихъ строю, съ восторгомъ нѣмымъ
Наклонилась съ утеса крутого
И застыла, отдавшись мечтамъ молодымъ,
Позабывши про муки былого.

Пѣсня гордо плыветъ надъ безсонной рѣкой,
Весла дружно касаются влаги —
Волей дышетъ напѣвъ сладкострунно-живой,
Закаленный въ горнилѣ отваги.

Заалѣлъ пробужденный зарею востокъ
И на зло ненавистнымъ туманамъ
Солнце пышно зажгло поднебесья чертогъ,
Гдѣ просторъ былъ кочующимъ станамъ.

Утро ясно глядитъ съ голубой вышины,
Пѣнье смолкло, настало свиданье...
Полусвязныя рѣчи... Воздушные сны...
И въ глазахъ неземное сіянье.

III.

Темносинія очи пугливо во мракѣ горятъ,
Благовонными снами полуночный воздухъ объятъ,
И слетаютъ, и рѣютъ видѣнья —
Я забылся и снова повѣрилъ блаженству на мигъ,
Мнѣ опять улыбнулся безмолвный, таинственный ликъ,
И на сердцѣ звучатъ пѣснопѣнья.

Въ накипающихъ звукахъ зажглася погасшая страсть,
Въ пламенѣющей рѣчи дрожитъ всепобѣдная власть
И тоскливо простерлися руки —
Темносинія очи пугливо изъ бездны глядятъ,
Легкокрылыя тѣни предъ алчущимъ взоромъ скользятъ,
И рыдаютъ солгавшіе звуки.

IV.

Волны слѣпо и дико вздымаются,
Все прибрежье закидано пѣною,
Лишь утесъ величаво стоитъ:
Онъ нагнулся надъ бездной стенящею,
Отбиваетъ напоры мятежные—
И бездушнѣе бури гранитъ.

Непогода туманомъ разсѣялась,
И утесъ съ крутизны отдыхающей
Въ свѣтлорунное море глядитъ,
Опьяненный врачующимъ воздухомъ,
Убаюканный робкими волнами,
Подъ лучемъ, раскалившимъ гранитъ.

Кн. Э. Ухтомскій.

ТЕКУЩАЯ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА,

ВЪ ТРУДАХЪ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И СЕЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Текущая сельско-хозяйственная статистика повсюду находится въ мало удовлетворительномъ состояніи. Объясняется это отчасти свойствами явленій, подлежащихъ регистраціи, а частью—методами собиранія статистико-экономическихъ данныхъ. Сельско-хозяйственныя явленія измѣняются ежегодно, и притомъ ближайшимъ образомъ они зависятъ отъ такихъ, повидимому, неуловимыхъ вліяній, какъ добрая воля хозяевъ, ихъ пониманіе настроенія рынка, стремленіе къ улучшеніямъ и т. п. Поэтому, дабы точно опредѣлить измѣненія, происшедшія въ данномъ году сравнительно съ предъидущимъ, нужно произвести учетъ наблюдаемыхъ явленій въ каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ: количество рабочаго скота въ одномъ изъ нихъ увеличилось, въ другомъ—уменьшилось; площадь подъ той или другой культурой здѣсь измѣнилась—въ одномъ направленіи, тамъ—въ другомъ. Даже такія, независимыя отъ человѣческой воли, явленія, какъ дождь, вѣтеръ, которыя могутъ совершенно измѣнить надежды на урожай въ той или другой мѣстности, отражаются, однако, на хозяйствахъ, даже сосѣднихъ, очень неодинаково. Какая масса чиновниковъ, съ какими огромными полномочіями, и какая затрата средствъ нужны для того, чтобы измѣрить, взвѣсить, сосчитать всѣ элементы, образующіе сельско-хозяйственную физіономію текущаго момента и произвести эту операцію одновременно надъ сотнями тысячъ и милліонами отдѣльныхъ хозяйственныхъ единицъ. Затѣмъ, какую канцелярію нужно имѣть, чтобы собранный такимъ образомъ матерьялъ сгруппировать по извѣстной системѣ, сдѣлать выводы и своевременно

опубликовать ихъ во всеобщее свѣдѣніе! Очевидно, что такая задача не подъ силу никакому правительству, и что она можетъ быть болѣе или менѣе солидно выполнена только при дѣятельномъ участіи самихъ хозяевъ. Но и послѣдніе не всегда могутъ дать требуемыя свѣдѣнія съ желательной степенью точности. Рѣдкій хозяинъ ведетъ записи и производитъ точныя измѣренія; каждый вамъ скажетъ, въ томъ или въ другомъ направленіи совершилось измѣненіе, но выразить его цифрой далеко не всякій. Въ особенности это относится къ мелкому хозяйству, гдѣ зачастую остается неизвѣстнымъ даже общій размѣръ запашки, не говоря уже о площади подъ отдѣльными культурами. Затѣмъ, остается еще открытымъ вопросъ — понимаетъ ли хозяинъ важность статистическихъ наблюденій, и пожелаетъ ли дать вѣрный отвѣтъ. Но во всякомъ случаѣ, наиболѣе точныя свѣдѣнія можетъ дать все-таки лишь самъ хозяинъ, поэтому и съ вопросами по текущей сельско-хозяйственной статистикѣ слѣдуетъ обратиться къ нему же.

Если теперь мы перейдемъ къ вопросу о томъ, какъ организована сельско-хозяйственная статистика въ различныхъ образованныхъ государствахъ, то увидимъ, что способъ непосредственнаго обращенія центральнаго учрежденія къ отдѣльнымъ хозяевамъ практикуется лишь въ Англіи и Шотландіи; но и здѣсь имъ задаются только вопросы о пространствѣ воздѣлываемой земли и количествѣ содержимаго скота. Въ другихъ государствахъ Европы (и главнымъ образомъ во Франціи) программа собираемыхъ свѣдѣній гораздо шире: здѣсь есть и вопросы о площади земли подъ разными культурами, объ урожаѣ даннаго года, качествѣ зерна, бѣдствіяхъ, постигшихъ сельское хозяйство, ходѣ торговли и т. п.; но нигдѣ не практикуется этотъ англійскій способъ обращенія центральнаго статистическаго учрежденія ко всѣмъ хозяевамъ, и собираніе требуемаго матерьяла возлагается на полицію, общины, сельско-хозяйственныя общества, которыя уже и дѣйствуютъ, какъ найдутъ нужнымъ и возможнымъ.

Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ дѣло организовано нѣсколько иначе: департаментъ земледѣлія имѣетъ своихъ корреспондентовъ, размѣщенныхъ по территоріи страны такимъ образомъ, чтобы они могли удобно собирать требуемыя отъ нихъ свѣдѣнія. Число ихъ доходитъ до 4,000, и принадлежатъ они къ классу мѣстныхъ хозяевъ. Свѣдѣнія, ими доставляемыя, разрабатываются въ департаментѣ и выходятъ въ видѣ ежемѣсячныхъ обзоровъ и пространнаго годового отчета (о всей дѣятельности департамента), печатаемаго въ огромномъ количествѣ экземпляровъ. Такъ, находящійся у насъ подъ руками отчетъ за 1880 годъ, составляющій томъ въ 670 страницъ убористой печати и заключающій въ себѣ массу поясняющихъ текстъ политипажей (ботаническихъ, энтомологическихъ, зоо-

лого-анатомическихъ, діаграммъ и т. п.) изданъ въ 300 тысячахъ экземплярахъ, изъ числа которыхъ 214,000 отдано въ распоряженіе членовъ палаты представителей, 56,000 — членамъ сената, и 30,000 — для употребленія департамента земледѣлія. Правительство не считаетъ потерянными деньги, затраченныя на изданія; оно желаетъ одного—чтобы его книга получила возможно обширное распространеніе, и потому, не стѣсняясь дороговизной изданія, предлагаетъ его всѣмъ, интересующимся вопросомъ. Какъ рѣзко въ этомъ отношеніи оно отличается отъ нашихъ оффиціальныхъ учрежденій, дѣлающихъ изъ своихъ статистико-экономическихъ изданій чуть не государственную тайну, не всегда высылающихъ ихъ даже въ редакціи журналовъ. Врядъ ли мы ошибемся, если скажемъ, что провинціальному изслѣдователю нашей экономической жизни, не имѣющему связей съ оффиціальнымъ міромъ, большая часть казенныхъ изданій совершенно недоступна. Правда, ихъ можно пріобрѣсти за деньги, но къ сожалѣнію въ большинствѣ случаевъ бываетъ такъ, что денежныя лица не интересуются вопросомъ, а тѣ, кому нужны книги, не имѣютъ средствъ тратить на нихъ по нѣсколько сотъ рублей въ годъ. Желательно, поэтому, чтобы государственный контроль не слишкомъ строго относился къ учрежденіямъ, раздающимъ безденежно свои изданія, и чтобы послѣднія могъ пріобрѣтать, по крайней мѣрѣ, тотъ, кто уже заявилъ о себѣ, какъ о лицѣ, интересующемся вопросомъ.

Въ Россіи до самаго послѣдняго времени текущей сельско-хозяйственной статистики почти не существовало; кое-какія данныя, правда, можно было найти въ отчетахъ земскихъ управъ, но общаго и мало-мальски подробнаго обзора сельско-хозяйственнаго положенія страны за каждый текущій годъ не существовало. Центральныя учрежденія ежегодно получали отъ губернаторовъ весьма сомнительнаго достоинства свѣденія о количествѣ скота, высѣваемаго и собираемаго хлѣба; но эти свѣденія правильно не опубликовывались, а предлагались вниманію общества сразу за нѣсколько лѣтъ, причемъ они разрабатывались то центральнымъ статистическимъ комитетомъ министерства внутреннихъ дѣлъ, то департаментомъ земледѣлія и сельско-хозяйственной промышленности министерства государственныхъ имуществъ.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ въ этомъ дѣлѣ замѣчается нѣкоторое оживленіе и предвѣстники лучшаго будущаго. Департаментъ земледѣлія, повидимому, серьезно задался цѣлью создать текущую сельско-хозяйственную статистику, и такъ какъ способъ собиранія свѣденій черезъ мѣстныя оффиціальныя учрежденія давно уже доказалъ свою несостоятельность, а въ провинціи не существуетъ другихъ учрежденій, которыя можно было бы привлечь къ плодотвор-

ному сотрудничеству, то департаменту не пришлось выбирать между различными системами, а оставалось испытать американский способъ непосредственнаго обращенія къ хозяевамъ, въ надеждѣ, что среди нихъ найдется достаточное число лицъ сочувствующихъ начинанію департамента, и послѣдній не обманулся въ своихъ ожиданіяхъ: уже въ первый годъ онъ имѣлъ 1,125 корреспондентовъ, въ слѣдующій число это возросло до 2,718-ти, на третій до 2,833, и наконецъ до 3,100 человѣкъ. Корреспонденты присылаютъ въ департаментъ свои отвѣты три раза въ годъ: за весенній періодъ, лѣтній и осенній. Здѣсь они болѣе или менѣе быстро разрабатываются и издаются въ видѣ сельско-хозяйственнаго обзора страны за указанные три періода: весенній, лѣтній и осенній [1]). Обзоры департамента заключаютъ въ себѣ сгруппированныя по губерніямъ свѣденія о видахъ на урожай (обзоръ за весенній періодъ), общую оцѣнку сбора хлѣбовъ, травъ и фруктовъ текущаго года (обзоръ лѣтняго періода) и болѣе подробныя свѣденія о томъ же предметѣ (осенній періодъ); состояніе скотоводства, цѣны на рабочія руки въ періодъ весенняго посѣва, сѣнокоса и уборки хлѣбовъ; измѣненія полевой культуры — случайныя и постоянныя; мнѣніе корреспондентовъ о вѣроятномъ вліяніи урожая текущаго года на положеніе населенія и хозяйства, и, наконецъ, свѣденія объ урожаѣ за-границей, получаемыя департаментомъ уже, разумѣется, не отъ нашихъ хозяевъ. Кромѣ перечисленныхъ свѣденій, получаемыхъ департаментомъ ежегодно, отъ времени до времени онъ предлагаетъ хозяевамъ вопросы, относящіеся уже собственно не къ текущему моменту, но все-таки весьма важные для характеристики сельско-хозяйственной физіономіи страны и почти вовсе у насъ неразработанные. Таковы, напримѣръ, вопросы о среднемъ времени посѣва и сбора различныхъ хлѣбовъ, о количествѣ сѣмянъ, высѣваемомъ на десятину, объ арендной платѣ и измѣненіи цѣнности земли за послѣднее десятилѣтіе, о числѣ праздниковъ въ теченіе лѣтняго періода, платѣ сроковымъ и годовымъ рабочимъ, передвиженіи земледѣльческихъ рабочихъ изъ одной мѣстности въ другую, удобреніе полей и т. д. Свѣденія по этимъ вопросамъ постепенно разрабатываются и издаются отдѣльно отъ періодическихъ обзоровъ подъ общимъ заглавіемъ: „сельско-хозяйственныя и статистическія свѣденія по матерьяламъ, полученнымъ отъ хозяевъ“, изъ которыхъ вышелъ пока одинъ первый выпускъ.

---

[1]) Общаго названія обзоры департамента не имѣютъ, отчего чувствуется нѣкоторое неудобство, когда приходится говорить о нихъ вообще; три книжки періодическихъ обзоровъ, издаваемыя ежегодно, носятъ такое названіе: „N годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ“; періодъ I-й — весенній; II-й—лѣтній; III-й—осенній.

Нужно еще прибавить, что въ вопросныхъ листкахъ, посылаемыхъ корреспондентамъ, оставляется мѣсто для замѣчаній, какія найдутъ нужнымъ сдѣлать сами хозяева, независимо отъ вопросовъ, предложенныхъ департаментамъ, такъ что обзоры послѣдняго, кромѣ вышеперечисленныхъ предметовъ, заключаютъ еще болѣе или менѣе интересныя свѣденія и мнѣнія хозяевъ по различнымъ сельско-хозяйственнымъ и экономическимъ вопросамъ.

Несмотря на весь интересъ изданія департамента земледѣлія, нужно однако сознаться, что цѣль текущей сельско-хозяйственной статистики выполняется имъ лишь на половину: во 1-хъ, они не заключаютъ цыфровыхъ данныхъ, относящихся къ хозяйству страны въ цѣломъ (количество посѣва и сбора разныхъ хлѣбовъ, производство масла и т. п.); корреспонденты департамента лишь указываютъ или описываютъ явленія сельско-хозяйственной жизни и если опредѣляютъ количественную сторону ихъ, то обыкновенно самыми поверхностными штрихами; во 2-хъ, распредѣленіе корреспондентовъ по территоріи страны крайне неравномѣрно. Эта неравномѣрность относится какъ къ цѣлымъ губерніямъ, гдѣ число корреспондентовъ колеблется отъ нѣсколькихъ человѣкъ до сотни слишкомъ, такъ и къ различнымъ уѣздамъ той же губерніи. Но и въ самомъ уѣздѣ корреспонденты департамента распредѣлены неправильно, вслѣдствіе чего даже 15—20 отвѣтовъ изъ одного уѣзда еще не гарантируютъ общности сообщаемыхъ ими свѣденій. И хотя число всѣхъ корреспондентовъ нашего департамента мало чѣмъ отличается отъ такового же американскаго, тѣмъ не менѣе послѣдній получаетъ свѣденія, относящіяся къ малѣйшимъ уголкамъ страны, а первый часто не знаетъ, что дѣлается въ цѣломъ уѣздѣ, тогда какъ изъ какой нибудь волости ему сообщаютъ нѣсколько хозяевъ.

Причина этого заключается въ томъ, что, вслѣдствіе низкаго уровня образованія и развитія общества, нашъ департаментъ не можетъ, подобно американскому, выбирать себѣ сотрудниковъ въ провинціи, а долженъ пользоваться тѣми корреспондентами, какіе и гдѣ найдутся. Поэтому, размѣщеніе послѣднихъ по территоріи страны находится почти внѣ всякаго вліянія департамента, а зависитъ отъ стеченія разныхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ на первомъ планѣ нужно поставить: степень образованія хозяевъ, распространеніе грамотности и нѣкоторое развитіе населенія, и наконецъ развитіе помѣщичьяго хозяйства, такъ какъ крупные владѣльцы составляютъ главный контингентъ корреспондентовъ.

Эта неравномѣрность въ распредѣленіи корреспондентовъ по уѣзду и вытекающее отсюда отсутствіе представительства предъ департаментомъ многихъ мѣстностей могли бы быть въ значительной степени

исправлены привлеченіемъ къ дѣлу мѣстныхъ учрежденій, работающихъ по тому же плану, что и центральныя. Попытка въ этомъ направленіи сдѣлана московскимъ земскимъ статистическимъ бюро, которое съ 1884 г. стало собирать свѣденія по той же почти программѣ и тѣмъ же способомъ, что и департаментъ; но располагая 324 корреспондентами въ губерніи, вмѣсто 63—департамента, и имѣя возможность распредѣлить ихъ равномѣрно по площади и губерніи, земское статистическое бюро, разумѣется, можетъ представить болѣе полную, подробную и вѣрную картину сельско-хозяйственной жизни области. Еслибы всѣ земства послѣдовали примѣру московскаго, департаменту оставалось бы только объединять мѣстныя работы и дѣлать общій обзоръ ихъ погубернскихъ. Но это еще далеко впереди, а пока главнымъ основаніемъ работъ департамента будутъ все-таки отвѣты его собственныхъ корреспондентовъ.

Второй недостатокъ свѣденій, собираемыхъ департаментомъ,—отсутствіе цифровыхъ данныхъ о посѣвѣ и сборѣ разныхъ хлѣбовъ—исправляется министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, которое приняло новую систему для опредѣленія годичнаго урожая. Оно отвергло прежній способъ, по которому всѣ необходимыя вычисленія производились волостными правленіями, а на центральныхъ учрежденіяхъ лежала лишь сводка получаемаго такимъ образомъ матеріала. По новой системѣ, волостное правленіе служитъ лишь передаточной инстанціей, а данныя, необходимыя для вычисленія собираемаго хлѣба, получаются отъ самихъ хозяевъ. Данныя объ урожаѣ текущаго года добываются такимъ путемъ: въ каждую волость посылается 12 вопросныхъ листковъ, которые должны быть розданы шести крестьянамъ и столькимъ же владѣльцамъ. Тѣ и другіе приглашаются отвѣтить, сколько они высѣваютъ сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ на одну десятину, или другую опредѣленную площадь земли, и сколько собрали съ этого пространства хлѣба въ текущемъ году. Всѣ бланки съ отвѣтами хозяевъ отсылаются обратно въ центральное учрежденіе, которое такимъ образомъ пріобрѣтаетъ другой элементъ для вычисленія количества собраннаго въ данномъ году хлѣба.

Но возвратимся къ главному предмету—изданіямъ департамента земледѣлія. Весь интересъ періодическихъ обзоровъ послѣдняго заключается не въ цифровыхъ свѣденіяхъ. Таковыя систематически собираются лишь о заработной поденной платѣ и объ урожаѣ десятины помѣщичьихъ крестьянскихъ земель. Свѣденія эти даются крупными хозяевами, которые, вѣроятно, крестьянскихъ урожаевъ точно не знаютъ, почему цифры послѣднихъ выражаютъ скорѣе мнѣніе корреспондентовъ о предметѣ, чѣмъ реальныя отношенія. Что касается цифровыхъ свѣденій о заработной платѣ, они представляютъ

огромный интересъ, такъ какъ данныя этого рода почти никогда являются передъ читателемъ въ такомъ систематическомъ видѣ; до сихъ поръ мы имѣли лишь цифры так.-наз. Валуевской комиссіи (относящіяся къ началу семидесятыхъ годовъ), основанныя на гораздо меньшемъ числѣ показаній, сравнительно съ цифрами департамента.

Главный, однако, интересъ изданій департамента, повторяемъ, не спеціально-статистическій, а описательно-экономическій. Здѣсь мы бесѣдуемъ съ 2—3 тысячами лицъ спеціально интересующимися хозяйствомъ и изъ года въ годъ наблюдающими измѣненія, совершающіяся въ этой сферѣ подъ вліяніемъ различныхъ частныхъ и общихъ экономическихъ и культурныхъ вліяній. Вы здѣсь имѣете передъ собой не сухой оффиціальный отчетъ, а живую рѣчь человѣка о предметѣ, съ которымъ связаны его главные, матеріальные, нерѣдко и умственные интересы. Вы узнаете, что волнуетъ нашихъ хозяевъ, какія цѣли преслѣдуютъ они въ своей дѣятельности, какими средствами думаютъ выйти изъ того или другого затруднительнаго положенія. Вы присутствуете при ликующихъ кликахъ одной группы хозяевъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и можете слѣдить шагъ за шагомъ, какъ они постепенно понижаютъ тонъ и заканчиваютъ воплями отчаянія. Изъ всей массы хозяевъ вы можете выдѣлить группу новаторовъ, пытающихся избѣжать кризиса агрикультурными преобразованіями; наблюдать, какъ они сегодня прославляютъ такое средство, завтра другое, послѣ завтра—третье, и до очевидности убѣдиться, сколь тщетны эти надежды, построенныя на грошевомъ запросѣ рынка, поддерживаемаго грошевыми потребностями населенія. Если васъ интересуетъ крестьянскій бытъ, вы увидите, какъ сегодня сжимается, завтра расправляется его хозяйственная дѣятельность въ зависимости отъ предъидущаго урожая и отъ настроенія помѣщичьяго хозяйства; узнаете, гдѣ и когда онъ начинаетъ прокармливать себя лебедой, а свою лошадь гнилой соломой съ разобранной крыши; ближе познакомитесь съ печальной и извѣстной вамъ только по наслышкѣ исторіей крестьянской скотины, каждую зиму чуть не умирающей съ голоду и, однако, добросовѣстнѣйшимъ образомъ выполняющей свои весеннія обязанности и т. д. и т. д. Все это, однако, изложено въ описательной формѣ, при полномъ почти отсутствіи цифръ. О степени распространенія явленія вы могли бы судить по числу корреспондентовъ, указывающихъ на него; но къ сожалѣнію, обзоръ департамента не имѣетъ обыкновенія приводить это число. Вслѣдствіе этого вы не всегда можете сказать, составляетъ ли явленіе, на которое указываютъ корреспонденты, случайность, можетъ быть, нерѣдкую, или уже превращается въ нѣчто обычное. Въ представленіи, которое вы составляете о предметѣ, поэтому, будетъ много субъективнаго, да и въ самомъ обзорѣ, вѣроятно, его не мало: за отсутствіемъ

цифры, степень распространенія явленій обзоръ выражаетъ такими терминами какъ: „мѣстами", „иногда", „нерѣдко" и т. п., а примѣненіе того или другого выраженія къ данному случаю въ значительной степени зависитъ отъ произвола обозрѣвателя. Поэтому, мы считаемъ полезнымъ, чтобы при указаніи на важныя по характеру факты сельскохозяйственной жизни, если только они не составляютъ общераспространеннаго явленія, было приводимо число корреспондентовъ, заявившихъ о его существованіи, или, по крайней мѣрѣ, чтобы терминологія обзора пріобрѣла большую опредѣленность.

При пользованіи изданіями департамента, какъ матеріаломъ для рѣшенія различныхъ хозяйственно-экономическихъ вопросовъ, никогда не нужно упускать изъ виду одного обстоятельства. Корреспондентами департамента состоятъ главнымъ образомъ помѣщики, и это въ значительной степени отражается на характерѣ отвѣтовъ, въ особенности что касается сельско-хозяйственныхъ нуждъ и потребностей. Если это обстоятельство мы упустимъ изъ виду, то рискуемъ иной разъ составить совершенно неправильное понятіе о предметѣ. Такъ, слыша постоянныя жалобы корреспондентовъ на неисполнительность рабочихъ и пожеланія, чтобы правительство вмѣшалось въ дѣло урегулированія отношенія между хозяевами и нанимающимися, мы не должны забывать, что предъ нами не объективное изслѣдованіе вопроса, не показаніе безпристрастнаго наблюдателя, а жалоба заинтересованной и при томъ одной стороны, при полномъ молчаніи другой. Еслибы выслушать и послѣднюю, то весь вопросъ о нарушеніи рабочими договоровъ, заключенныхъ съ нанимателями, получилъ бы новое освѣщеніе при помощи такихъ фактовъ, какъ зимняя наемка на лѣтнія работы за половинную плату, плохое содержаніе рабочихъ вопреки условій, грубое обхожденіе съ ними и т. п. Упустивъ изъ виду указанное обстоятельство и зная только, что жалобы на рабочихъ раздаются изъ оффиціальнаго, и слѣдовательно безпристрастнаго, источника,—можно вообразить, что въ самомъ дѣлѣ рабочіе у насъ благоденствуютъ, забираютъ у хозяевъ когда и сколько пожелаютъ денегъ, уплачивая трудомъ, лишь если сами того захотятъ; а владѣльцы представляютъ изъ себя только агнцевъ, обреченныхъ на жертву распущенности первыхъ. Точно также нельзя придавать особаго значенія и жалобамъ хозяевъ западнаго края на черезполосность ихъ угодій съ крестьянскими. Послѣдняя дѣйствительно для нихъ очень тяжела, и весьма вѣроятно, что нѣкоторые встрѣчаютъ въ ней препятствіе своему стремленію къ агрономическимъ улучшеніямъ. Но общественное значеніе какого либо явленія должно быть оцѣниваемо не съ точки зрѣнія личнаго интереса немногихъ, а его отношеніемъ къ массѣ—будь то владѣльцы или крестьяне. И если взглянуть на

вопросъ такимъ образомъ, то насъ не можетъ не поразить обстоятельство, что сельско-хозяйственная культура вовсе не стоитъ выше въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ поля владѣльцевъ давно отмежеваны отъ крестьянскихъ. Это доказываетъ, во 1-хъ, что и черезполосность, какъ она существуетъ въ Россіи, не служитъ непреодолимымъ препятствіемъ къ улучшеніямъ; во 2-хъ, что размежеваніе угодій не возвышаетъ интенсивности помѣщичьяго хозяйства вообще, а лишь развязываетъ руки нѣкоторымъ новаторамъ, поля которыхъ случайно расположени особенно неудобно. Итакъ, польза отъ размежеванія съ общественной точки зрѣнія весьма проблематична, вредное же его вліяніе несомнѣнно, и усиѣло уже обнаружиться въ тѣхъ малороссійскихъ губерніяхъ, гдѣ размежеваніе только-что совершилось: крестьяне лишились пастбищъ, которыми они пользовались испоконъ вѣку и сократили свое скотоводство; урожайность полей понизилась, благодаря уничтоженію общественныхъ толокъ, а помѣщичьи хозяйства (по крайней мѣрѣ, это замѣчено въ черниговской губерніи), въ интересахъ которыхъ и совершено размежеваніе, спустились еще ступенью ниже, но за то владѣльцы пріобрѣли новую доходную статью въ видѣ выгоновъ, которыми крестьяне прежде пользовались безплатно, а теперь арендуютъ у нихъ за высокую цѣну.

Если сравнить періодическія изданія русскаго департамента земледѣлія съ американскимъ, то между ними окажется такая же разница, какая существуетъ между сельско-хозяйственною жизнью Россіи и Америки. Годовой отчетъ американскаго департамента есть сборникъ ученыхъ работъ по вопросамъ, волнующимъ въ данную минуту сельское хозяйство. Тамъ вы найдете химическое изслѣдованіе растеній, культивируемыхъ или подлежащихъ разведенію въ странѣ, изученіе болѣзней, поражающихъ въ данное время животныя и растенія; опыты относительно новыхъ пріемовъ сельско-хозяйственныхъ техническихъ производствъ, произведенные частью въ лабораторіи департамента, частью на фермахъ правительственныхъ или частныхъ, но предпринятые по иниціативѣ департамента же. Словомъ, въ сборникѣ вы имѣете отраженіе сельско-хозяйственной жизни, какъ она есть—жизни випучей, основанной на стремленіи человѣка къ лучшему и опирающейся въ своемъ движеніи впередъ на науку,—жизни, начавшей подражаніемъ Россіи, а черезъ 20 лѣтъ выработавшей такія формы, которымъ мы можемъ только завидовать, но не подражать! И дѣйствительно, судя по періодическимъ изданіямъ нашего департамента, русская сельско-хозяйственная жизнь представляетъ почти полное разобщеніе съ наукой, и если въ ней обнаруживается какое либо болѣе или менѣе замѣтное движеніе, то чисто стихійнаго характера: обособленіе, напримѣръ, льноводческаго района

совершается безъ всякаго совѣта съ наукой, при помощи пріемовъ, находящихся въ полномъ противорѣчіи съ агрономіей, и преслѣдуетъ цѣли, не имѣющія ничего общаго съ успѣхами земледѣлія. Оно явилось совершенно стихійно, и такъ же стихійно, безъ сознательнаго участія или человѣка, культура льна передвигается изъ одного уѣзда въ другой, отъ истощенныхъ почвъ на относительно нетронутыя. Возьмите другое растеніе—вы увидите нѣчто подобное же: сегодня имъ увлекаются чуть ли не на всемъ пространствѣ Россіи, завтра относятся къ нему равнодушно, послѣ завтра забиваютъ: такъ было нѣсколько лѣтъ назадъ съ рапсомъ, то же совершается нынѣ съ картофелемъ (для винокуренія). Нѣсколько владѣльцевъ разумно воспользуются движеніемъ, перестроятъ пожалуй и свое хозяйство по новому образу; но явленіе не пріобрѣтаетъ отъ этого общественнаго характера, и русское хозяйство не становится раціональнѣе. Настаивая на этой мысли, мы не имѣемъ намѣренія утверждать, что агрономія совершенно намъ неизвѣстна и неинтересна. Мы говоримъ только, что ею пользуются единицы, тогда какъ общественно-прогрессивное значеніе она получитъ лишь, подчинивъ своему вліянію массы. Этому, однако, препятствуютъ причины, глубоко коренящіяся въ нашемъ общественно-экономическомъ строѣ, и потому мы постоянно наблюдаемъ такое явленіе, что обширныя движенія въ нашемъ сельско-хозяйствѣ стихійны, а сознательно-разумныя единичны. А такъ какъ правительство отражаетъ жизнь массы, то и съ его стороны мы не встрѣчаемъ серьезныхъ попытокъ обратить науку на службу сельскому хозяйству; поэтому и департаментъ земледѣлія извѣстенъ намъ больше по названію, чѣмъ по своей практической дѣятельности. Впрочемъ, какова бы ни была послѣдняя, хозяевамъ все-таки небезъинтересно познакомиться съ нею ближе, а потому нельзя не пожелать, чтобы въ будущемъ періодическіе обзоры сельско-хозяйственной жизни страны заключали бы и отчетъ о годичной дѣятельности департамента. Теперь же эти обзоры, по нашему мнѣнію, нестолько важны своимъ практическимъ значеніемъ для сельскихъ хозяевъ, сколько интересны для экономиста, получающаго здѣсь возможность наблюдать изо дня въ день будничную жизнь нашего мелкаго и крупнаго хозяина. Чтобы показать читателю насколько интересны факты, сообщаемые корреспондентами департамента, мы, пользуясь ихъ указаніемъ, кратко очертимъ здѣсь одно явленіе нашей, преимущественно крестьянской, хозяйственной жизни—недостатокъ сѣмянъ для обсѣмененія полей.

Читая статьи и отчеты о нашей хлѣбной торговлѣ, слыша споры объ этомъ предметѣ въ ученыхъ обществахъ, жалобы и пожеланія хозяевъ, мы убѣждаемся, что въ основѣ всѣхъ разсужденій лежитъ забота о томъ, куда дѣвать массу нашего хлѣба, которому, повиди-

мому, нѣтъ болѣе мѣста ни на всемірномъ рынкѣ, ни въ тѣхъ внутреннихъ складахъ, гдѣ онъ лежитъ въ ожиданіи своей очереди быть отправленнымъ за границу. Дѣйствительно, обращаясь къ нашимъ портамъ — центрамъ отпускной торговли — мы только и слышимъ жалобы на недостатокъ спроса на хлѣбъ, видимъ растущую массу зерна, не смотря на то, что новые и новые корабли постоянно увозятъ его за границу. Подавленные этимъ изобиліемъ, мы готовы вообразить, что Россія производитъ слишкомъ много хлѣба! Подъ впечатлѣніемъ этой мысли обращаемся внутрь страны, разсчитывая вездѣ найти достатокъ, если не изобиліе его. И какое разочарованіе! Чѣмъ ближе мы вглядываемся въ дѣло, тѣмъ больше убѣждаемся, что не изобиліе, а недостатокъ составляетъ обычное явленіе на Руси. Не правда ли, какъ странно узнать, что изъ 50—60 губерній европейской Россіи въ теченіе послѣднихъ 4 лѣтъ, въ 42 чувствовался недостатокъ сѣмянъ для обсѣмененія полей. Въ самомъ дѣлѣ, въ 1881 году эта причина вызвала сокращеніе площади посѣва (иногда замѣну одного хлѣба другимъ) въ 20 губерніяхъ; въ 1882 г. — въ 14; въ 1883 —въ 25, и въ 1884 г.—въ 37 [1]).

Узнавъ объ этомъ явленіи, читатель, вѣроятно, предположитъ, что оно встрѣчается главнымъ образомъ въ нечерноземной полосѣ, производящей меньше хлѣба, чѣмъ это нужно для потребленія мѣстнаго населенія, и что черноземныя губерніи участвуютъ здѣсь лишь постольку, поскольку онѣ страдаютъ отъ неурожая; однако, это предположеніе не оправдывается фактами: нечерноземныя губерніи въ интересующемъ насъ явленіи играютъ второстепенную роль, т.-е. и въ нихъ бываетъ недостатокъ сѣмянъ, но рѣже и въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ нашей черноземной полосѣ. Такъ, въ числѣ выше приведенныхъ 20 губерній, нуждавшихся въ сѣменахъ въ 1881 году, черноземныхъ было 13; изъ 14 нуждавшихся губерній 1882 года черноземныхъ—8; изъ 25 губерній 1883 года—18, изъ 38—1884 года—20. Причемъ нужно замѣтить что всего рѣже отмѣчался недостатокъ сѣмянъ (ни разу, одинъ разъ, можетъ быть два) въ губерніяхъ: вологодской, петербургской, ковенской, каменецъ-подольской, въ прибалтійскомъ краѣ, царствѣ польскомъ, въ новгородской, тверской, псковской, витебской, виленской, гродненской, варшавской, тульской и бессарабской.

Послѣ всего вышеизложеннаго, читатель остановится на другой мысли: фактъ преобладанія недостатка сѣмянъ въ черноземныхъ

[1]) Это сокращеніе нужно понимать условно: рядомъ съ уменьшеніемъ запашки, идетъ ея расширеніе, такъ что въ общемъ производство хлѣба, можетъ быть, увеличивается; но это увеличеніе было бы значительно сильнѣе, еслибы часть крестьянъ не сокращала посѣва по недостатку сѣмянъ.

губерніяхъ онъ объяснитъ предположеніемъ неурожаевъ, изъ году въ годъ посѣщающихъ указанныя мѣстности. Но и это объясненіе читателя можетъ быть принято не иначе, какъ съ довольно сильными ограниченіями. Неурожай, дѣйствительно, бываетъ у насъ почти ежегодно, но каждый разъ онъ захватываетъ далеко не однѣ и тѣ же мѣстности. Такъ, въ 1881 году урожай былъ повсюду хорошъ, исключая сѣверо-восточнаго угла Россіи и полосы у Балтійскаго моря; въ 1882 году, плохой сборъ озимыхъ хлѣбовъ оказался въ средней черноземной полосѣ (по направленію съ сѣвера на югъ), въ 1883 г. въ приволжскихъ и западныхъ губерніяхъ (но за то яровые дали здѣсь сборъ выше средняго). Отсюда читатель можетъ убѣдиться, что неурожай ежегодно посѣщаетъ различныя мѣстности Россіи, недостатокъ же хлѣба нетолько слѣдуетъ за нимъ, но идетъ и своимъ самостоятельнымъ путемъ. Такъ, въ саратовской губерніи, несмотря на хорошіе урожаи 1881 и 1882 годовъ, многіе крестьяне все-таки должны были сократить свои яровые посѣвы; въ 1883 году, озимь здѣсь уродилась плохо (яровые—хорошо), что сейчасъ же отразилось сокращеніемъ площади ихъ посѣва. Такъ какъ это сокращеніе явилось еще результатомъ неблагопріятной осени, а зимой пропала и часть посѣяннаго зерна, то площадь крестьянскихъ яровыхъ хлѣбовъ въ 1884 году должна была значительно расшириться,—иначе крестьяне остались бы безъ хлѣба. Въ томъ же направленіи важенъ и фактъ сокращенія владѣльческихъ запашекъ, благодаря которому помѣщики предлагали свои земли подъ яровое по цѣнамъ, уменьшеннымъ на половину. Не смотря на всѣ эти благопріятныя расширенію крестьянской запашки обстоятельства, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, крестьяне все-таки должны были сократить яровые (1884 года), по недостатку сѣмянъ, проданныхъ для уплаты повинностей и пріобрѣтенія ржи на пропитаніе. Въ общемъ же, отношеніе, существующее между неурожаями и нуждою въ сѣменахъ, видно изъ слѣдующаго сопоставленія: въ 1881 году урожай хлѣба всюду былъ хорошъ, кромѣ 2 сѣверо-восточныхъ и нѣкоторыхъ губерній западной окраины Россіи; а между тѣмъ, не вполнѣ засѣянными по недостатку сѣмянъ остались яровыя поля 3 черноземныхъ и 3 не черноземныхъ губерній (оставляя въ сторонѣ мѣстности, пораженныя неурожаемъ). Въ 1882 году неурожай озимыхъ хлѣбовъ занималъ около четверти черноземной полосы, а площадь незасѣянныхъ черноземныхъ полей, кромѣ неурожайныхъ мѣстностей, простиралась на донскую область, саратовскую и самарскую губерніи, не смотря на то, что сборъ хлѣбовъ здѣсь былъ выше средняго. Въ 1883 году неурожай озимыхъ хлѣбовъ занялъ восточную треть Россіи, а между тѣмъ, недостатокъ сѣмянъ служилъ причиною сокращенія озимыхъ или яровыхъ (1884

годъ) посѣвовъ почти во всей черноземной полосѣ. Отсюда ясно, что недостатокъ сѣмянъ имѣетъ свое самостоятельное развитіе, зависящее отъ условій общихъ, дѣйствующихъ постоянно, а не такихъ исключительныхъ, какъ неурожай, который лишь обостряетъ уже развившійся хроническій недугъ.

Разумѣется, еслибы Россія вовсе не подвергалась неурожаямъ, то, вѣроятно, недостатокъ сѣмянъ въ черноземныхъ губерніяхъ былъ бы явленіемъ исключительнымъ; въ этомъ смыслѣ вы можете считать причиною недостатка неурожаи. Но эти послѣдніе бываютъ и въ другихъ странахъ, и тѣмъ не менѣе не ведутъ къ такимъ послѣдствіямъ, какъ сокращеніе посѣвовъ, да и у насъ, въ Польшѣ или прибалтійскомъ краѣ, вредное вліяніе неурожая ограничивается узкой сферой явленій и быстро изглаживается. Въ остальной же Россіи простой недородъ уже ведетъ къ сокращенію посѣвовъ, а послѣ неурожая населеніе не можетъ поправиться въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Это, безъ сомнѣнія, происходитъ отъ общаго экономическаго положенія нашего крестьянства, и въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать наши слова о самостоятельномъ развитіи недостатка сѣмянъ.

Описанное явленіе — уменьшеніе площади посѣва, совершается, главнымъ образомъ въ хозяйствѣ бѣднѣйшей части населенія, неспособной выйти изъ затруднительнаго положенія иначе, какъ путемъ сокращенія запашки (или сдачи надѣла въ аренду). За ней стоитъ другая, еще настолько зажиточная группа крестьянъ, что она можетъ удержать прежніе размѣры полеводства, но подъ условіемъ замѣны обычно-сѣющагося хлѣба другимъ—болѣе дешевымъ. Чаще всего въ качествѣ замѣняющаго хлѣба фигурируетъ просо, затѣмъ гречиха, картофель, подсолнечникъ. И дѣйствительно, стоимость засѣва поля этими растеніями значительно меньше, чѣмъ, напримѣръ, рожью, пшеницей и т. п.; такъ, по вычисленію одного изъ корреспондентовъ департамента, стоимость обсѣмененія десятины пшеницей равняется 15 р., рожью 8 р., просомъ $2^1/_2$ р., подсолнухомъ 80 к. Но просо и другіе дешевые хлѣба замѣняютъ нетолько такой дорогой, какъ пшеница, но также и овесъ, ячмень, по преимуществу и воздѣлываемые въ большей части черноземной полосы. Такъ, въ 1881 году просо мѣстами замѣняло въ харьковской губерніи всѣ другіе яровые хлѣба, въ саратовской—рожь, въ симбирской—овесъ и пшеницу; въ 1882 г. въ орловской и волынской губерніяхъ роль эта выпала на долю гречихи, въ саратовской и донской области—подсолнечника; въ московской—подсолнечника, картофеля, чечевицы; а въ тамбовской на выручку опять явилось просо. Это послѣднее вмѣстѣ съ другими дешевыми хлѣбами — гречихой, подсолнечникомъ и т. п., замѣняло

въ 1883 году яровую пшеницу, овесъ и ячмень, мѣстами, въ губерніяхъ: воронежской, орловской, курской, екатеринославской, тульской, тамбовской и орловской; въ 1884 году—въ воронежской, кіевской, симбирской, уфимской и тамбовской губерніяхъ, просомъ, гречихой и картофелемъ замѣненъ овесъ. Въ екатеринославской губерніи мѣстами „крестьяне до того обѣднѣли, что не разбираются въ выборѣ сѣмянъ, а сѣютъ, какія удастся достать" и т. д. Вникнувъ въ смыслъ вышеприведенныхъ фактовъ, сообразивъ, что замѣна одного высѣваемаго растенія другимъ совершается по преимуществу въ мѣстности, гдѣ земледѣліе составляетъ главное, если не единственное занятіе населенія,—мы поймемъ, какъ сильно должна отражаться въ крестьянскомъ быту эта неустойчивость его хозяйства, не говоря уже о томъ, что, благодаря описаннымъ хозяйственнымъ оборотамъ, крестьянинъ выноситъ на рынокъ продуктъ болѣе дешевый или менѣе спрашивающійся, чѣмъ значительно сокращаются его доходы,—это отражается и на питаніи населенія: ему приходится употреблять въ пищу вещества менѣе удобоваримыя и не такъ питательныя: хлѣбъ замѣнять, напримѣръ, картофелемъ, просомъ, гречихой.

До сихъ поръ мы говорили объ одной сторонѣ дѣла, о тѣхъ непостоянно, впрочемъ, повторяющихся измѣненіяхъ въ хозяйствѣ, которыя отражаются на будущихъ доходахъ крестьянина. Но тѣ же хозяева, дошедшіе до необходимости замѣнять посѣвъ дорогого хлѣба дешевымъ, или оставить полосу вовсе незасѣянной, и часть другихъ земледѣльцевъ, сохранившихъ обычный посѣвъ хлѣбовъ, нерѣдко вынуждены бываютъ нарушить и свой обыкновенный хозяйственный инвентарь—продавать наиболѣе цѣнную часть послѣдняго—скотъ, ради прокормленія семьи, уплаты повинностей и т. п., и такимъ образомъ спуститься на низшую ступень хозяйственной самостоятельности. Такое явленіе обыкновенно имѣетъ мѣсто въ неурожайные или полуурожайные годы, но нерѣдко случается и при обычномъ теченіи вещей. Такъ, въ 1882 году, когда неурожай охватилъ половину южной степной и центральной черноземной полосы, къ продажѣ скота, какъ средству добычи денегъ и хлѣба, прибѣгали въ херсонской, воронежской, харьковской, полтавской, курской, орловской, тамбовской, рязанской губерніяхъ, и кромѣ того въ урожайныхъ или неурожайныхъ: самарской, казанской, пензенской, новгородской, могилевской губерніяхъ, гдѣ продажа скота вызвана также плохимъ сборомъ травъ. Отчужденіе скота продолжалось и въ 1883 году въ нѣкоторыхъ изъ мѣстностей, которыхъ неурожай посѣтилъ въ предшествующемъ году (харьковской), а также въ другихъ, подвергшихся ему нынѣ (казанской, саратовской, пензенской, кирсановскомъ уѣздѣ тамбовской губерніи). Въ сердобскомъ уѣздѣ саратовской гу-

берніи, напримѣръ, осенью „крестьяне сбываютъ скотъ для покупки хлѣба, уплаты повинностей, аренды, а къ концу зимы дойдутъ до продажи кулакамъ засѣянныхъ полей"; въ казанской продажа скота совершалась ради пріобрѣтенія ржи съ цѣлью засѣва озимыхъ полей и т. д. Не слѣдуетъ забывать, что при сбытѣ скота по нуждѣ, онъ идетъ обыкновенно за полцѣны, отчего потери крестьянъ становятся еще больше.

Обезсиленные, какъ естественными бѣдствіями, такъ и общественными неустройствами, крестьяне, наконецъ, доходятъ до такого положенія, что бываютъ вынуждены на время вовсе отказаться отъ земли и сдать ее въ аренду, преимущественно кулакамъ. Такъ, въ старобѣльскомъ уѣздѣ харьковской губерніи „нерѣдки случаи, что крестьяне, по недостатку живого инвентаря, сдаютъ цѣлыми обществами свои земли въ нѣсколько тысячъ десятинъ разнымъ промышленникамъ за ничтожную плату"; въ воронежской губерніи, весной „рабочія руки были особенно дешевы, потому что многіе крестьяне, нуждаясь въ продовольствіи, сдали свои земли кулакамъ, а у себя на поляхъ имъ нечего было дѣлать". То же самое явленіе повторилось въ 1883 году въ уфимской и въ 1884 г. въ екатеринославской губ. и т. д. Вообще, площадь крестьянскихъ посѣвовъ въ извѣстной опредѣленной мѣстности подвержена изъ года въ годъ значительнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ урожая предшествующаго года; и это колебаніе, главнымъ образомъ, происходитъ путемъ расширенія или сокращенія снимаемыхъ у владѣльцевъ земель. Мы, однако, не станемъ приводить примѣровъ, въ изобиліи встрѣчающихся въ изданіяхъ департамента земледѣлія, а остановимся на фактахъ, указанныхъ нами на предъидущихъ страницахъ.

Читатель видитъ, что среда нашихъ земледѣльцевъ ежегодно выдѣляетъ болѣе или менѣе значительную часть хозяевъ, спустившихся до такого финансоваго положенія, что они или вовсе не засѣваютъ части своего поля, или если обсѣменяютъ его, то не тѣмъ хлѣбомъ, который всего нужнѣе въ крестьянскомъ быту или всего больше спрашивается на рынкѣ, а такимъ, сѣмена котораго дешевле или котораго меньше идетъ на обсѣмененіе, наконецъ, просто—какой попадется подъ руку. И это происходитъ при обычномъ теченіи жизни въ мѣстности, гдѣ земледѣліе составляетъ главный промыселъ населенія, гдѣ побочное занятіе въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ вознаградить крестьянина за невольныя упущенія въ хозяйствѣ. Обратимъ еще вниманіе читателя на то обстоятельство, что поле крестьянина зачастую остается необсѣмененнымъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ арендная плата достигаетъ 15—20 р. за десятину, и земледѣлецъ тщетно ищетъ клочка земли даже по указанной высокой цѣнѣ.

Здѣсь всякій крестьянинъ, лишенный возможности засѣять свою полосу, всегда можетъ сдать ее на выгодныхъ условіяхъ сосѣду; если же онъ этого не дѣлаетъ—значитъ все время посѣва онъ надѣется, что ему удастся выйти изъ затруднительнаго положенія: рыскаетъ, ищетъ, бьется, какъ рыба объ ледъ, оттягивая до послѣдней минуты сдачу своего надѣла, оттягивая потому, что не здѣсь, такъ тамъ, не сегодня, такъ завтра, а онъ таки достанетъ требуемую четверть зерна, и на сей годъ сохранитъ свою позицію самостоятельнаго хозяина. Когда же онъ, наконецъ, окончательно разочаруется, и убѣдившись, что всѣ его усилія пропадаютъ даромъ, рѣшится сдать незасѣянную полосу въ аренду,—кругомъ не находится лица, достаточно богатаго для того, чтобы тотчасъ же, не медля приступить къ работамъ и успѣть обсѣменить поле въ теченіе остающихся 2—3 дней посѣвнаго періода.

Все это доказываетъ, во 1-хъ, что сокращеніе запашки отъ недостатка сѣмянъ имѣетъ мѣсто не у того крестьянина, который отлыниваетъ отъ земледѣлія ради другого, болѣе легкаго труда или привольной жизни гулящаго человѣка (тотъ при первой неудачѣ сдаетъ свой надѣлъ въ аренду который, поэтому, не остается не засѣяннымъ), а у настоящаго хозяина, крѣпко держащагося за землю, невыпускающаго ее изъ рукъ до послѣдней возможности; во 2-хъ, что такой хозяинъ лишенъ всякаго кредита или истощилъ его еще до начала работъ, занимая тамъ и здѣсь для пропитанія семьи, уплаты податей и т. п. Но и въ этомъ послѣднемъ случаѣ, очевидно, что его кредитная способность крайне невелика: ему нужно всего только нѣсколько рублей и нужно для такого важнаго оборота, какъ производство. Эти нѣсколько рублей черезъ полгода дадутъ въ 5—6 разъ больше, т.-е. въ рукахъ земледѣльца они навѣрное не погибнутъ, и всякій — къ кому онъ обращается за ссудой — знаетъ это, и, однако крестьянинъ остается безъ денегъ, не смотря на то, что за ссуду онъ предлагаетъ 100, можетъ быть, 200% годовыхъ (почти такова обычная цѣна народнаго кредита). Это доказываетъ одно изъ двухъ: или заемщикъ настолько уже обремененъ долгами, что уплата по нимъ становится дѣломъ весьма мудренымъ, почему всякій опасается повѣрить ему нѣсколько рублей; или, что около него нѣтъ лицъ съ свободными деньгами, что и зажиточные уже роздали свои сбереженія и теперь не въ состояніи удовлетворить новому требованію денегъ. Но вѣдь требованіе это повторяется изъ года въ годъ: не одинъ, такъ другой, не въ этой, такъ въ сосѣдней деревнѣ, оказывается въ положеніи, при которомъ онъ готовъ уплатить огромные проценты за ссуду; почему же это не привлекаетъ капиталовъ къ дѣлу удовлетворенія народной потребности въ кредитѣ, почему

не находится охотниковъ наживать процентъ, далеко превосходящій доходы отъ самыхъ выгодныхъ промышленныхъ предпріятій и финансовыхъ операцій? Повторяемъ, если дѣло не объясняется полнѣйшей бѣдностью народа—остается допустить такой быстрый ростъ нужды въ кредитѣ, что за нимъ не успѣваетъ услѣдить даже легкоподвижный капиталъ. Послѣдній навѣрное не остался бы глухъ къ воплямъ мужика о ссудѣ; кабатчики, скупщики хлѣба, лавочники и т. п., вѣроятно, увеличиваются въ числѣ и ежегодно разширяютъ свои ростовщическія операціи; но, должно быть, еще быстрѣе растетъ поле, на которомъ предстоитъ дѣйствовать, и поспѣть тамъ и здѣсь они не въ состояніи.

Не слѣдуетъ при этомъ забывать, что за группой хозяевъ, не засѣявшихъ всей своей полосы, и за другой—доставшихъ рубль вмѣсто трехъ и посѣявшихъ просо вмѣсто овса, есть еще гораздо болѣе обширная часть земледѣльцевъ, которымъ удалось свести концы съ концами, хотя и подъ условіемъ огромныхъ финансовыхъ или хозяйственныхъ жертвъ. И они бѣгали за какимъ-нибудь десяткомъ рублей, четвертью овса и т. д., и они колебались между надеждой и страхомъ остаться и на сей разъ безъ полнаго обсѣмененія поля; но благодаря тому, что положеніе ихъ ступенью выше, а можетъ быть по причинѣ какихъ-нибудь случайно-благопріятныхъ обстоятельствъ, они вывернулись изъ бѣды и могутъ быть до поры до времени спокойны. Кто занялъ десятокъ рублей за 50—100%; кто продалъ и не безусловно-необходимую скотину съ такимъ же примѣрно барышемъ; кто взялъ подъ работу или даже нанялся въ батраки—лишь бы воспользоваться задаткомъ. Въ томъ или другомъ видѣ, но во всякомъ случаѣ тяжелая кредитная сдѣлка выручила на сей разъ многихъ хозяевъ, но выручила, обременяя такою тяжестью, которая грозитъ имъ еще большими затрудненіями въ будущемъ. Очень можетъ быть, что всѣ свободные мѣстные капиталы ушли на удовлетвореніе потребности въ кредитѣ этой группы земледѣльцевъ, а другимъ уже взять негдѣ.

Все вышеизложенное позволяетъ сдѣлать два заключенія: во-1-хъ, что существуетъ болѣе или менѣе значительная часть мелкихъ хозяевъ, живущихъ съ постояннымъ дефицитомъ въ бюджетѣ; во-2-хъ, что нашъ общественно-экономическій строй характеризуется полнѣйшимъ отсутствіемъ крестьянскаго мелкаго кредита, построеннаго на обыкновенномъ коммерческомъ принципѣ; что даже ростовщическій кредитъ, несмотря на широкое его распространеніе въ крестьянской средѣ, все-таки не удовлетворяетъ вполнѣ существующему требованію, и поэтому-то, кромѣ прямого займа, народомъ и практикуются разнообразнѣйшія формы замаскированнаго кредита: продажа за полцѣны хлѣба осенью и зимой, несмотря на то, что онъ понадобится

продавцу весною и лѣтомъ; зимній заподрядъ на лѣтнія работы за уменьшенную плату, но съ полученіемъ впередъ всѣхъ, или части денегъ; сдача въ аренду надѣла въ то время, какъ самъ сдатчикъ нанимаетъ землю на сторонѣ гораздо дороже, и т. п. Всѣ эти виды кредита страшно дороги: врядъ ли мы ошибемся, если средній годовой процентъ, платимый крестьянином по займамъ этого рода, опредѣлимъ въ 100. Прибѣгая въ теченіе многихъ лѣтъ то къ одной, то къ другой изъ указанныхъ традицій, систематически растрачивая свои скудныя средства на поддержаніе лихоимства въ его разнообразнѣйшихъ формахъ, крестьянинъ, наконецъ, приходитъ въ такое положеніе, когда съ него нечего взять даже ростовщику. Тогда онъ лишается прямого кредита, теряетъ возможность взять деньги подъ работу, продаетъ все, что не было положительной необходимостью въ хозяйствѣ, и въ своемъ дальнѣйшемъ существованіи въ качествѣ хозяина всецѣло зависитъ отъ различныхъ внѣшнихъ случайностей. При благопріятномъ теченіи обстоятельствъ—нѣсколькихъ хорошихъ урожаяхъ подъ рядъ, существованіе выгоднаго заработка и т. п.—онъ опять поднимается и вновь пріобрѣтаетъ печальное право кредитоваться изъ 50—100%. При другой комбинаціи внѣшнихъ условій —другъ за другомъ являются зловѣщіе признаки разстройства и затѣмъ упадка хозяйства, къ числу которыхъ, и, можетъ быть, самыхъ раннихъ, принадлежитъ, между прочимъ, невозможность полнаго обсѣмененія своего поля. Впрочемъ, этого послѣдняго недостатка не чуждо, вѣроятно, и хозяйство крестьянъ, еще не вполнѣ лишенныхъ кредита. Спѣша продать рожь, только-что снятую съ поля, въ тѣхъ видахъ, чтобы добыть деньги для расплаты за арендованную землю, крестьянинъ иначе не можетъ воспользоваться ея урожаемъ; продавъ ее дешево и потому больше, чѣмъ нужно, повторивъ черезъ мѣсяцъ-другой ту же операцію съ яровымъ хлѣбомъ, спѣшно и потому дешево сбытымъ для уплаты податей, расплаты съ кредиторами и т. п.—такой крестьянинъ въ половинѣ зимы убѣждается, что ему нельзя больше тронуть ни ржи, которой и то не хватитъ до нови, ни овса, коего осталось лишь на сѣмена, а тутъ подходитъ семейный или престольный праздникъ—торжество, бывающее только разъ въ годъ, а за нимъ слѣдуетъ опять сборъ податей. Хорошо, если прямой заемъ и задатокъ, который онъ получитъ, нанявшись въ батраки, дастъ ему средства удовлетворить всѣ возникшія потребности! Въ такомъ случаѣ яровой посѣвъ и полуголодное существованіе до нови ему обезпечено. Но если его репутація исправнаго плательщика въ глазахъ ростовщика-кабатчика и нанимателя-помѣщика не безупречна, если въ тому же — благодаря плохимъ ли стороннимъ заработкамъ, или не совсѣмъ хорошему урожаю прошлаго лѣта—масса крестьянъ,

ищущихъ денегъ, велика, и тѣмъ паче, если съ нимъ случилось бѣдствіе, требующее экстраординарнаго расхода—въ такомъ случаѣ всей нужной суммы онъ не найдетъ и пуститъ въ продажу продовольствіе, сѣмена или скотину. Къ веснѣ онъ оказывается перепробовавшимъ всевозможныя финансовыя махинаціи, истощившимъ весь свой кредитъ, и все-таки у него нѣтъ сѣмянъ для большей или меньшей части ярового поля. Онъ, однако, не унываетъ, пашетъ всю полосу, надѣясь на случай, засѣваетъ клочекъ поля овсомъ, другой — просомъ, третій — „чѣмъ попало"; но въ концѣ концовъ признаетъ себя побѣжденнымъ, предлагаетъ незасѣянное поле сосѣду, но и у того нечѣмъ взяться, время упущено, и земля остается пустующей тамъ, гдѣ ея очень мало и гдѣ она крайне дорога.

Хотя разстройство крестьянскаго хозяйства зависитъ отъ общихъ условій нашей жизни — нельзя, однако, не видѣть, что отсутствіе дешеваго кредита, необходимость прибѣгать къ ростовщикамъ и практиковать различныя разорительныя формы замаскированнаго займа (продажа хлѣба осенью и покупка его весной, зимній заподрядъ на лѣтнія работы, закладъ надѣловъ и т. п.) составляетъ важный факторъ народнаго разоренія. Поэтому, организація мелкаго кредита въ формѣ, доступной всѣмъ нуждающимся, если это только возможно, значительно бы облегчила мелкому хозяину его борьбу съ неблагопріятными внѣшними условіями и замедлила бы процессъ упадка крестьянскаго хозяйства. Въ практическомъ отношеніи особенную важность имѣетъ дешевый кредитъ для обсѣмененія полей, по своей удобопримѣнимости и потому, что онъ уже давно у насъ практикуется. Для этого у насъ существуютъ запасные магазины (вездѣ, впрочемъ, пустые) и помощь земства, которое, впрочемъ, является съ ссудами преимущественно въ неурожайные годы. Но дѣятельность тѣхъ и другихъ крайне недостаточна какъ при обычномъ теченіи жизни, такъ и при неурожаѣ, иначе „недостатокъ сѣмянъ", оставленіе незасѣянными полей, не составляло бы такого обычнаго явленія, какимъ оно представляется въ настоящее время. Какое значеніе имѣетъ заботливое отношеніе къ предмету со стороны земства, можно видѣть изъ данныхъ, приводимыхъ въ сельско-хозяйственномъ обозрѣніи московской губерніи за 1884 годъ: „Крестьяне многихъ селеній мытищинской волости, московскаго уѣзда, въ яровыхъ поляхъ которыхъ въ прежнее время можно было видѣть массу пустырей, въ послѣдніе четыре года почти всѣ эти пустыри подняли и засѣваютъ овсомъ. Причина та, что уѣздная земская управа выдаетъ ссуду на покупку сѣмянъ овса: своего овса у большинства крестьянъ къ веснѣ не остается—онъ обыкновенно продается еще съ осени, а весною купить бываетъ не на что. До какой степени важна земская ссуда, видно

изъ того, что крестьяне двухъ селеній—Волкова и Ядреева—вслѣдствіе неисправной заплаты ссуды, въ текущемъ году лишились возможности получить ее, и благодаря этому, значительная часть ихъ яровыхъ полей осталась незасѣянною".

Московская земская управа хоть всего четыре года назадъ, а явилась-таки на помощь крестьянству, не ожидая, пока разразится такое бѣдствіе, какъ полный неурожай. А сколько есть управъ, крестящихся только при громовомъ ударѣ и считающихъ своею обязанностью вмѣшаться въ текущую жизнь лишь въ случаѣ общественныхъ бѣдствій!

В. В.

МОРСКОЙ ПОРТЪ

ВЪ

ПЕТЕРБУРГѢ.

Сооруженіе Морского канала и петербургскихъ портовыхъ учрежденій едва ли не единственное изъ крупныхъ предпріятій послѣдняго времени, которое чѣмъ болѣе близится къ осуществленію, тѣмъ болѣе вызываетъ сомнѣній, вопросовъ и всякаго рода недоумѣній.

Начать съ того, что несмотря на истекшія 12 лѣтъ со времени окончательнаго рѣшенія вопроса о Морскомъ каналѣ, до сихъ поръ не только не окрѣпло убѣжденіе въ цѣлесообразности этого предпріятія, въ его важности съ точки зрѣнія интересовъ русской торговли на Балтійскомъ морѣ, или хотя бы только съ точки зрѣнія выгодъ Петербурга, какъ приморскаго города, а даже какъ будто крѣпнетъ совершенно противоположное убѣжденіе, и притомъ по преимуществу въ торговой средѣ,—въ той средѣ, самые жизненные интересы которой связаны съ петербургской привозной и вывозной торговлей.

Первоначально сооруженіе Морского канала и портовыхъ учрежденій Петербурга исполнило тревоги торговцевъ и промышленниковъ, такъ или иначе прикосновенныхъ къ петербургской внѣшней торговлѣ. Боялся и недоумѣвалъ весь многочисленный торговый классъ Кронштадта, ожидая ломки, если не гибели своихъ обычныхъ торговыхъ оборотовъ. Боялись судопромышленники и рабочіе, живущіе перевозкою товаровъ между Петербургомъ и Кронштадтомъ на лихтерахъ. Боялось торговое населеніе Васильевскаго Острова за обороты старыхъ портовыхъ учрежденій, устроенныхъ здѣсь по берегу Невы

(отъ Масляного буяна до 10-й линіи). Боялись, наконецъ, владѣльцы весьма цѣнныхъ имуществъ на Калашниковской пристани.

И всѣ эти опасенія были не безъосновательны. Морской каналъ начали строить съ тою мыслью, чтобы замѣнить имъ торговыя гавани Кронштадта, которыя, по первоначальному плану, предназначались къ закрытію, и сосредоточить въ новомъ портѣ всю отпускную и привозную торговлю С.-Петербурга.

Нельзя сказать, чтобы рѣдки были примѣры недовольства нововведеніями, ломающими установившійся порядокъ, съ которымъ связаны крупные интересы множества людей. До извѣстной степени такое недовольство составляетъ прискорбную, но неизбѣжную принадлежность каждаго новаго предпріятія. Въ недовольствѣ, которое оказалось среди торговаго населенія Петербурга и Кронштадта по поводу сооруженія Морского канала и петербургскаго порта, есть, однако, своя особенность, которая при другихъ подобныхъ случаяхъ наблюдается не всегда. Дѣло въ томъ, что въ этомъ предпріятіи—насколько ясны были его отрицательныя стороны въ смыслѣ угрозы наличнымъ интересамъ опредѣленнаго класса людей, настолько же не ясно оставалось положительное значеніе его въ смыслѣ выгодъ мѣстныхъ петербургскихъ, или общегосударственныхъ. Всѣ отвлеченныя разсужденія и мотивы, которыми оправдывались крупныя затраты на это предпріятіе, не казались убѣдительными практическимъ людямъ. Эти люди упорно стояли на своихъ сомнѣніяхъ. И вотъ теперь, когда новое предпріятіе почти готово, сомнѣнія практиковъ не только не улеглись, а даже какъ будто начинаютъ оправдываться.

Еще въ 1882 г. открыто было движеніе по Морскому каналу въ Путиловской пристани, гдѣ корабли могутъ перегружаться прямо въ вагоны желѣзной дороги. Однако, корабли, приходящіе моремъ, не устремились сюда, минуя Кронштадтъ. Правда, Путиловская пристань очень мала размѣромъ (13.000 кв. саж.); здѣсь одновременно можетъ умѣститься не болѣе 10 морскихъ судовъ. Но и этого скромнаго числа судовъ не оказалось для Путиловской пристани. За три года своей дѣятельности она не только ни разу не видала тѣсноты, а даже и на половину не была занята одновременно. Да и тѣ немногія суда, которыя приходили въ пристань, были, такъ-сказать, заманиваемы. Правленіе путиловской дороги черезъ своихъ торговыхъ агентовъ старалось войти въ соглашеніе съ заграничными пароходными обществами, но успѣхъ достигнуть былъ маловажный,—главнымъ образомъ, потому, что выгоды новой пристани оказались призрачными.

Въ прошломъ 1884 г., когда должно было послѣдовать открытіе

петербургскаго морского порта, не задолго до этого (не состоявшагося) торжества,—кронштадская городская Дума, вмѣсто того, чтобы соображать о ликвидаціи своихъ коммерческихъ гаваней, была занята, наоборотъ, вопросомъ объ улучшеніи и увеличеніи этихъ гаваней въ тѣхъ видахъ, чтобы устранить для приходящихъ судовъ неудобства долгаго ожиданія на фарватерѣ. И замѣчательно, что особая коммиссія кронштадтской Думы, разработывавшая этотъ вопросъ, признала необходимымъ установить новые сборы съ судовъ въ пользу города, не опасаясь, что тѣмъ отгонитъ ихъ отъ Кронштадта въ петербургскій портъ.

Впрочемъ, еще раньше, именно въ 1883 г., правительство само признало, что петербургскій портъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ долженъ быть устроенъ, согласно позднѣйшимъ предположеніямъ, не можетъ сдѣлать ненужными кронштадтскія коммерческія гавани, какъ не можетъ замѣнить существующихъ въ Петербургѣ учрежденій для экспорта и импорта, а долженъ лишь служить дополненіемъ тѣхъ и другихъ, и долженъ быть поставленъ въ правильную связь съ ними.

Такимъ образомъ, за время сооруженія Морского канала и портовыхъ учрежденій Петербурга первоначальная цѣль этого предпріятія, столь тревожившая кронштадтскій и петербургскій торговый людъ, существенно измѣнилась, и притомъ измѣнилась какъ бы сама собою, въ силу вещей, вопреки намѣреніямъ строителей.

Послѣднее обстоятельство подтверждается тѣмъ, что не далѣе, какъ въ 1883 г., когда на это предпріятіе, согласно первоначальнымъ планамъ, въ совокупности издержано было (вмѣстѣ съ путиловской дорогой) 17½ милліоновъ рублей, временное управленіе по постройкѣ канала и порта исчислило новыхъ расходовъ на сумму до 20 милліоновъ, руководствуясь именно первоначальнымъ планомъ и въ видахъ полнаго его осуществленія. Только тогда, нѣсколько озадаченные слишкомъ крупными цифрами своихъ смѣтныхъ исчисленій на достройку, сами строители какъ будто усомнились въ необходимости осуществить сполна первоначальный планъ. Они сократили исчисленную сумму расходовъ до 7¼ милліоновъ, а особое совѣщаніе, учрежденное при министерствѣ финансовъ, съ участіемъ представителей отъ Думы и биржевого купечества, нашло достаточнымъ прибавить на окончаніе предпріятія только 2½ милліона, признавши, что наличныя потребности петербургской торговли вовсе не требуютъ осуществленія первоначальныхъ предположеній, т.-е., чтобы Морской каналъ и петербургскій портъ освободили кронштадтскій портъ „отъ всякаго коммерческаго элемента“ и сосредоточили въ себѣ весь экспортъ и импортъ Петербурга. Соображеніе это опиралось, глав-

нимъ образомъ, на голосъ тѣхъ самыхъ практиковъ, которые всегда относились недовѣрчиво къ первоначальному плану предпріятія.

Во всякомъ случаѣ, въ настоящее время положительно можно сказать, что петербургскій портъ и Морской каналъ не убьютъ ни Кронштадта, ни Васильевскаго Острова, ни Калашниковской пристани, ни лихтеровъ. Въ данномъ случаѣ повторилось то, что нерѣдко бываетъ съ предпріятіями кабинетнаго происхожденія: по мѣрѣ кажущагося приближенія къ цѣли, эта цѣль удаляется и удаляется...

Съ выполненіемъ послѣднихъ проектированныхъ сооруженій по устройству отпускного порта, предпріятіе это будетъ стоить казнѣ до 20 милліоновъ рублей, и дастъ въ совокупности площадь водныхъ бассейновъ, которыми могутъ пользоваться морскія суда, до 120,000 кв. саж. (въ томъ числѣ 24,000 кв. саж., глубиною лишь до 16 футовъ) т.-е. на 100,000 кв. саж., или безъ малаго, вдвое меньше, чѣмъ сколько даютъ кронштадтскія коммерческія гавани.

Такимъ образомъ, можно сказать, что ни одна изъ предположенныхъ цѣлей не достигнута сооруженіемъ Морского канала и портовыхъ учрежденій въ Петербургѣ — ни освобожденіе кронштадтскаго порта отъ коммерческаго элемента, ни сосредоточеніе петербургскаго импорта и экспорта, ни прямое безперегрузочное сообщеніе Маріинской системы съ морскимъ путемъ. По крайней мѣрѣ, ни одна изъ этихъ цѣлей не достигнута сполна. Всѣ прежнія учрежденія, какъ въ Кронштадтѣ, такъ и въ Петербургѣ, по оборотамъ экспорта и импорта въ большей или меньшей степени сохраняютъ свое значеніе; прибавилось только одно лишнее учрежденіе того же рода.

Насколько это новое учрежденіе обезпечено со стороны успѣха? Вопросъ теперь не лишенный интереса. Для выясненія его необходимо ближе ознакомиться съ характеромъ петербургской привозной и отпускной торговли.

Въ привозной торговлѣ Петербурга за послѣднее время главную роль играетъ уголь и желѣзо, которые идутъ для потребностей мѣстныхъ фабрикъ и заводовъ. Напримѣръ, въ 1882 г. изъ общаго количества привозныхъ грузовъ въ 51 милліонъ пудовъ — 49 милліоновъ пудовъ было угля и желѣза и только 6 милліоновъ пудовъ другихъ товаровъ. Желѣзо и уголь (послѣдній въ видѣ балласта) доставляются преимущественно большими морскими судами. До сихъ поръ, такія суда разгружаются въ Кронштадтѣ прямо на лихтера, которые и развозятъ названные грузы по назначенію, пользуясь существующими петербургскими каналами. Идти въ Петербургъ этимъ большимъ морскимъ судамъ нѣтъ никакого побужденія какъ по сравнительной

тѣснотѣ петербургскаго привознаго порта, такъ и по отсутствію оказаемыхъ выгодъ. Все равно и въ петербургскомъ портѣ имъ придется пользоваться тѣми же лихтерами для сдачи своего груза по назначенію. Но большимъ глубоко сидящимъ судамъ проходъ по каналу на протяженіи 19 верстъ и маневры въ портѣ — дѣло не легкое, а иногда и не безопасное, если припомнить случай съ „Африкой“ при выходѣ изъ порта прошлымъ лѣтомъ.

Дѣло въ томъ, что стѣнки канала при входѣ и выходѣ изъ порта такъ неудачно поставлены относительно теченія въ этомъ узкомъ пространствѣ, что большія суда рискуютъ здѣсь, вслѣдствіе относа теченіемъ, всякій разъ или сѣсть на мель, или потерпѣть аварію. Акробатическія движенія въ родѣ тѣхъ, которыми тогда же прославился „Олафъ“, дѣловыхъ людей едвали могутъ прельщать.

Да и на парадномъ опытѣ прохожденія въ портъ и изъ порта въ Неву большихъ морскихъ судовъ военнаго флота, въ сентябрѣ прошлаго года, командиръ „Державы“ отказался на-отрѣзъ выйти изъ порта безъ буксира. Если такой опытный морякъ и при томъ въ особыхъ совершенно условіяхъ, считалъ невозможнымъ рисковать, то шкипера большихъ коммерческихъ судовъ и подавно не захотятъ идти на явную опасность, имѣя полную возможность не подвергаться ей, если останутся въ Кронштадтѣ. Весьма вѣроятно поэтому, что большія морскія суда предпочтутъ держаться по прежнему Кронштадта. Между тѣмъ, по условіямъ современной морской торговли, большія суда все болѣе и болѣе вытѣсняютъ среднія и мелкія суда, такъ какъ первыя гораздо выгоднѣе. Доказательствомъ можетъ служить такое сопоставленіе: въ 1869 г. по петербургскимъ портовымъ учрежденіямъ было въ приходѣ 2,912 судовъ, вмѣстимостью въ $37^1/_4$ милліоновъ пудовъ. Въ 1874 г. судовъ было меньше, именно 2,857, а вмѣстимость ихъ составляла свыше 50 милліоновъ пудовъ. Такимъ образомъ, отъ привоза на долю петербургскаго порта едва ли достанется много, тѣмъ болѣе, что и въ самомъ Петербургѣ у него соперникъ—васильевостровскія портовыя учрежденія, гдѣ, недавно увеличилась выгрузка сельдей, составляющихъ нецаловальный грузъ петербургскаго импорта. Для поясненія дѣла весьма интересно просмотрѣть только-что опубликованныя оффиціальныя свѣдѣнія о движеніи коммерческаго судоходства по с.-петербурго-кронштадтскому порту за прошлый (1884) годъ.

Вообще въ приходѣ было 1,930 судовъ, вмѣщавшихъ свыше 50,600 тысячъ пуд. Изъ того числа въ Петербургъ прошло 694 судна, вмѣщавшихъ до 7,679 тысячъ пуд. Въ Морской же каналъ прослѣдовало только 77 судовъ, вмѣстимостью 2,122 тысячи пудовъ. Такимъ образомъ, въ старыя портовыя учрежденія Петербурга про-

слѣдовало около $^1/_3$ всѣхъ судовъ, бывшихъ въ приходѣ, а въ новыя портовыя учрежденія только $^1/_{25}$ всего количества ихъ. Сопоставляя количество судовъ съ ихъ вмѣстимостью, легко видѣть, что въ старыя портовыя учрежденія Петербурга идутъ преимущественно мелкія суда, какъ и прежде было. Суда же большой вмѣстимости остаются въ Кронштадтѣ.

Еще опредѣленнѣе показанія получаются при сравненіи данныхъ о распредѣленіи привезенныхъ грузовъ. Эти данныя сведены въ слѣдующей таблицѣ:

Пришло съ полнымъ грузомъ товаровъ:

Въ Кронштадтъ	972 суд.	35.371,400	пуд.
„ С.-Петербургъ.	556 „	5.540,000	„
„ Морской каналъ	52 „	1.434,800	„

Немногія суда часть товаровъ выгружали въ Кронштадтѣ, а съ остальною частью проходили въ С.-Петербургъ и Морской каналъ (34 въ Петербургъ, 5 въ Морской каналъ). Затѣмъ, часть судовъ, еще меньшая, разгрузившись въ Кронштадтѣ, шла за обратнымъ грузомъ въ Петербургъ (15 суд.) и въ Морской каналъ (1 суд.).

Очевидно отсюда, что импортъ остается по прежнему въ Кронштадтѣ. Новыя портовыя учрежденія отвоевали у Кронштадта до сихъ поръ такъ мало, что о ихъ оборотахъ серьезно и говорить не стоитъ.

Суда, приходящія съ балластомъ для полученія груза, также оставались въ Кронштадтѣ. Общее число такихъ судовъ по с.-петербургско-кронштадтскому порту было 350, вмѣстимостью 8.295,800 пуд. Изъ нихъ пришло:

Въ Кронштадтъ	242 суд.	6.762,200	пуд.
„ С.-Петербургъ	89 „	999,900	„
„ Морской каналъ	19 „	533,700	„

Отпускная торговля Петербурга несомнѣнно, однако, могла бы дать хорошую работу новому порту, если бы осуществилась мысль о прямой связи этого порта съ системой водяныхъ сообщеній волжскаго бассейна. Главная статья петербургскаго экспорта—зерновой хлѣбъ, приходящій съ Волги по Маріинской системѣ, а частью по желѣзнымъ дорогамъ. До настоящаго времени отпускъ хлѣбныхъ грузовъ идетъ черезъ Кронштадтъ, куда они доставляются съ Калашниковской пристани на лихтерахъ, и только сравнительно малая часть хлѣба отправляется за границу прямо изъ Петербурга. Порядокъ этотъ мало измѣнился и въ три послѣдніе года, когда открылось движеніе по Морскому каналу. Такъ, было отпущено хлѣба:

Годы.	Черезъ Кронштадтъ, пуд.	Черезъ С.-Петербургъ, пуд.
1882	4,272	312
1883	6,681	437
1884	6,000	751

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при условіи непосредственной доставки хлѣба тѣми же барками, въ которыхъ онъ идетъ съ Волги, прямо въ Морской портъ для нагрузки на морскія суда, — Кронштадтъ не могъ бы конкуррировать съ петербургскимъ портомъ. Если, какъ говорятъ, установился обычай, что хлѣбъ перегружается на Калашниковской пристани, причемъ кстати перевѣшивается и сортируется, то обычай этотъ возникъ въ силу необходимости, и съ устраненіемъ такой необходимости несомнѣнно измѣнится и обычай, согласно новымъ условіямъ.

Но какъ замѣчено выше, теперь Калашниковская пристань перестала бояться за свое существованіе, и, пожалуй, она права. Если окажется, что барки съ хлѣбомъ могутъ безпрепятственно проходить въ Морской портъ прямо по Невѣ, не заходя въ Калашниковскую пристань, то все-таки имъ не зачѣмъ будетъ идти въ портъ. Тѣ суда, которыя должны принять хлѣбный грузъ, т.-е. большія морскія суда, имѣютъ серьезныя причины предпочитать старую стоянку въ Кронштадтѣ новому порту, а въ Кронштадтъ волжскія барки, еслибы и безпрепятственно прошли по Невѣ подъ плашкоутными мостами, переустроенными съ этою цѣлью, все-таки не могутъ идти. Морской путь не для нихъ даже въ такой сравнительно благопріятной части Финскаго залива, какъ между устьемъ Невы и Кронштадтомъ. Эти соображенія подтверждаются и упомянутыми выше оффиціальными свѣденіями о коммерческомъ судоходствѣ по с.-петербурго-кронштадтскимъ портовымъ учрежденіямъ за 1884 г.

Изъ 1773 сосудовъ, получившихъ грузовъ 44.760,000 пуд. для вывоза за границу, въ Кронштадтѣ грузилось 1,010 судовъ, вмѣстимостью 35.107,300 пуд.; въ Петербургѣ, т.-е. въ старыхъ портовыхъ учрежденіяхъ его, 680 судовъ вмѣстимостью 7.520,600 пуд, и въ Морскомъ каналѣ 54 суд. вмѣститостью 1,346,900 пуд. Остальныя суда получили грузъ по частямъ въ Петербургѣ, Кронштадтѣ и Морскомъ каналѣ. Такихъ судовъ было не болѣе 29, вмѣстимостью до 785,200 пуд.

Слѣдовательно, въ отпускной торговлѣ Петербурга новыя портовыя учрежденія его принимали еще меньшее участіе, чѣмъ въ привозной.

Положеніе дѣлъ далеко не блестящее. Оно, однако, имѣетъ много шансовъ оставаться и впредь безъ большихъ измѣненій къ лучшему.

Вотъ здѣсь и подтверждается съ полною очевидностью, что въ такомъ сложномъ и серьезномъ предпріятіи каждый невѣрный шагъ сбиваетъ ходъ цѣлаго. Теперь петербургскому порту предстоитъ „у моря ждать погоды“ и уповать больше всего на развитіе торговыхъ оборотовъ Петербурга. Если эти обороты расширятся настолько, что будутъ въ состояніи насытить, какъ старыя, такъ и новыя портовыя учрежденія, имѣющіяся для петербургскаго импорта и экспорта,— тогда и петербургскій портъ будетъ дѣлать дѣла, насколько позволитъ его вмѣстимость, и даже можетъ расширяться, такъ сказать, на счетъ собственнаго заработка, не отягощая казну новыми крупными затратами. Однако, и на этотъ счетъ существуютъ весьма серьезныя сомнѣнія.

Мысль о Морскомъ каналѣ и петербургскомъ портѣ возникла не безъ связи съ быстрымъ развитіемъ морскихъ сношеній Петербурга въ шестидесятыхъ годахъ. Развитіе это продолжалось и въ семидесятыхъ годахъ, но уже слабѣе, какъ можно судить изъ слѣдующихъ данныхъ о числѣ приходящихъ въ Петербургъ и Кронштадтъ судовъ съ грузами и балластомъ, за послѣднее двадцатилѣтіе:

Въ	1865 г.	было	въ	приходѣ	1,936 судовъ
„	1866 г.	„	„	„	2,702 „
„	1867 г.	„	„	„	2,841 „
„	1868 г.	„	„	„	2,747 „
„	1869 г.	„	„	„	2,912 „
За пятилѣтіе въ совокупности.					13,138, или
въ среднемъ ежегодно . . .					2,627 судовъ
„	1870 г.				2,661 „
„	1871 г.				2,618 „
„	1872 г.				2,276 „
„	1873 г.				2,667 „
„	1874 г.				2,857 „
За пятилѣтіе въ совокупности.					13,079, или
въ среднемъ ежегодно . . .					2,616.

Въ слѣдующее пятилѣтіе 1875—1879 гг., въ количествѣ приходящихъ судовъ начинается сильное колебаніе. Такъ, въ 1875 г., ихъ было 2,394, а въ 1877 г.—3,158,—maximum, котораго ни прежде, ни послѣ не достигало количество приходящихъ судовъ. Напротивъ, съ 1877 г. упадокъ становится постояннымъ явленіемъ, и въ ближайшіе къ намъ года количество приходящихъ судовъ уже понизилось до 2,000 (приблизительно); какъ выше замѣчено, это пониженіе числа приходящихъ судовъ отчасти зависѣло отъ увеличенія вмѣстимости морскихъ судовъ. Но значительное уменьшеніе числа приходящихъ судовъ въ послѣдніе года внушаетъ мысль, что и самый торговый оборотъ Петербурга едвали идетъ на увеличеніе.

По этому предмету обстоятельное разъясненіе даютъ вышедшія въ 1883 и 1884 гг. двѣ брошюры г. Гоха. Г. Гохъ категорически утверждаетъ, что петербургскій торговый оборотъ сильно упалъ за послѣдніе года, и съ каждымъ годомъ падаетъ больше. Вотъ, весьма убѣдительныя цыфры:

Въ 1861 г., общій русскій экспортъ составлялъ стоимость въ 159 милліоновъ рублей; въ томъ числѣ черезъ Петербургъ вывезено товаровъ на 42 милліона руб., или 26% всего экспорта. Въ томъ же году ввозъ въ Россію простирался на сумму 142 милліона руб.; изъ того числа Петербургъ получилъ на 85 милліоновъ, или 60%. Черезъ 20 лѣтъ—въ 1880 году, общій вывозъ Россіи былъ на сумму 476 милліоновъ рублей, изъ коихъ на Петербургъ приходилось только 23 милліона рублей, или 5%. Общій ввозъ въ томъ же году былъ на сумму 578 милліоновъ рублей, въ томъ числѣ ввозъ Петербурга на 85 милліоновъ руб., т.-е. составлялъ только 15%. Иначе сказать: за 20 лѣтъ петербургскій экспортъ относительно уменьшился въ пять разъ, а импортъ въ четыре раза.

Необходимо прибавить, что за тотъ же 20-лѣтній періодъ Петербургъ выросъ, населеніе его увеличилось болѣе, чѣмъ въ полтора раза, стало быть увеличилось и собственное потребленіе его. Между тѣмъ петербургскій импортъ все-таки упалъ сравнительно съ общимъ импортомъ. Статистика таможенная показываетъ, что изъ балтійскихъ портовъ въ этотъ періодъ времени сильно развились всѣ остальные, за исключеніемъ Петербурга, и явно развились на счетъ упадка петербургскаго торговаго оборота, особенно Рига, Ревель и Либава. Упало, стало быть, самое значеніе Петербурга, какъ портоваго города, въ глазахъ торговаго міра. Г. Гохъ вывелъ даже такую формулу для петербургскаго торговаго оборота: когда общій импортъ Россіи по той или другой статьѣ увеличивается, то для Петербурга онъ уменьшается, или если увеличивается, то въ самой незначительной степени. Когда же общій импортъ по какой-либо статьѣ уменьшается, то на Петербургъ это уменьшеніе ложится огромною долею.

Какія же тому причины? Г. Гохъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: Петербургъ находится въ полной зависимости отъ желѣзной дороги (Николаевской), которая съ необыкновенною напыщенностью и холоднымъ эгоизмомъ отклоняетъ всѣ справедливыя желанія петербургскаго купечества, думая только о возможномъ повышеніи тарифа и о предоставленіи своимъ акціонерамъ высокаго дивиденда; дорога эта на всѣ предложенія, какъ бы они ни были законны и справедливы, всегда отвѣчаетъ одно: „тарифъ—это я“.

Дѣло въ томъ, что по своему географическому положенію Петербургъ прямой и естественный портъ Москвы, какъ самый

близкій къ ней изъ всѣхъ портовъ Балтійскаго моря, а на Москву, по приблизительному, но весьма правдоподобному разсчету, направляется до половины всего русскаго импорта. Притомъ на Москву идутъ преимущественно цѣнные товары, представляющіе небольшой вѣсъ сравнительно съ ихъ стоимостью. Если бы эти товары шли своимъ естественнымъ ближайшимъ путемъ, т.-е. черезъ Петербургъ, то въ виду общаго возрастанія русскаго ввоза, Петербургъ не только не падалъ бы, а, напротивъ, возросталъ бы весьма быстро. Такъ и было въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, пока петербургскій портъ оставался единственнымъ портомъ Москвы на Балтійскомъ морѣ. Но въ 1870 году открылась для эксплуатаціи балтійская желѣзная дорога, соединяющая Москву черезъ николаевскую дорогу (отъ ст. Тосно) съ Ревелемъ и Балтійскимъ портомъ. Къ тому же времени (1870—1871 г.) послѣдовало открытіе движенія по московско-брестской ж. д., которая черезъ рыго-динабургскую и динабурго-витебскую дороги связала Москву съ Ригою. Съ открытіемъ перваго участка либавской дороги (1871 г.) тѣмъ же путемъ Москва вошла въ связь съ либавскимъ портомъ. Такимъ образомъ, всѣ главные порты Балтійскаго моря оказались конкуррентами Петербурга по транзитной торговлѣ съ Москвою. Однако, сама по себѣ такая конкурренція не могла представлять большей опасности для С.-Петербурга, по очень простой причинѣ: разстояніе отъ Москвы до Петербурга—604 версты, отъ Ревеля—900 верстъ, отъ Риги—970 верстъ и Либавы 1,170 верстъ. Совершенно ясно, что при равныхъ условіяхъ желѣзнодорожныхъ перевозокъ, николаевская жел. дор. представляетъ наивыгоднѣйшій путь для товаровъ, идущихъ въ Москву, а слѣдовательно и петербургскій портъ выгоднѣе остальныхъ портовъ Балтійскаго моря. Но при нашихъ желѣзно-дорожныхъ порядкахъ никакая несообразность не можетъ считаться невозможной. И вотъ, оказывается, на перекоръ элементарнымъ правиламъ математики, что прямая линія отъ Москвы къ Балтійскому морю не есть кратчайшее разстояніе. По крайней мѣрѣ, желѣзнодорожная перевозка по этому пути обходится много дороже, чѣмъ по ломанымъ, въ полтора, въ два раза длиннѣйшимъ линіямъ. Сколь удивительная несообразность на самомъ дѣлѣ представляетъ весьма обыкновенное, можно сказать, заурядное явленіе на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Она называется тарифной игрой.

Въ конкурренціи Петербурга съ другими болѣе далекими отъ Москвы портами Балтійскаго моря, несообразность эта тѣмъ поразительнѣе, что, между прочимъ, и сама николаевская жел. дор., казалось бы, солидарная съ интересами Петербурга, на самомъ дѣлѣ въ заговорѣ противъ него. Такъ, напримѣръ, одна изъ важнѣйшихъ статей балтійскаго импорта для Москвы—хлопчатая бумага. Если

отправлять хлопчато-бумажный грузъ по николаевской дорогѣ изъ Петербурга, то за разстояніе 600 верстъ надо платить по 25 коп. съ пуда; но тотъ же грузъ, отправляемый николаевской жел. дор., только при участіи балтійской, которая доставляетъ его изъ Ревеля до Тосно, при разстояніи въ полтора раза большемъ, обходится съ пуда лишь 19 коп.

Точно также изъ Риги и Либавы доставка хлопка въ Москву обходится 19 коп., при разстояніяхъ около 1,000—1,200 верстъ.

Очевидно, для Петербурга конкурренція съ этими портами невозможна, и привозъ хлопка въ Петербургъ для транзита на Москву падаетъ, а въ то же время привозъ хлопка въ другіе порты Балтійскаго моря, особенно въ Ревель, возросъ въ большихъ размѣрахъ. Такъ, напримѣръ, въ 1882 г. весь привозъ хлопка составлялъ 6.710,200 пуд., изъ того числа черезъ порты Балтійскаго моря доставлено 4.138,130 пуд. На долю Петербурга отсюда досталось только 620 тысячъ пуд., что приблизительно соотвѣтствуетъ мѣстному потребленію, а черезъ Ревель перевезено 3,136 тысячъ пуд., т.-е. около половины всего импорта, и болѣе $^3/_4$ импорта, идущаго въ Россію Балтійскимъ моремъ. Въ 1883 г. привозъ хлопка въ Ревель еще увеличился на 700 тысячъ пуд., т.-е. на большее количество, чѣмъ весь импортъ Петербурга по этой, когда-то важнѣйшей, статьѣ петербургскаго привоза.

Въ большей или меньшей степени тоже самое наблюдается по всѣмъ другимъ статьямъ петербургскаго импорта. Вотъ на выдержку нѣсколько примѣровъ:

Чай перевозится въ Москву изъ Петербурга по $^1/_{15}$ коп. съ пудоверсты, или по 40 к. съ пуда за все разстояніе; а изъ остальныхъ балтійскихъ портовъ по $^1/_{25}$—$^1/_{48}$ коп. съ п.-в., или по 21—25 коп. съ пуда за все разстояніе. Въ настоящее время чай привозится въ Петербургъ только въ количествѣ 3 тысячъ пудовъ изъ 905 тыс. пуд. всего чайнаго привоза въ Россію, т.-е. тоже приблизительно только для мѣстнаго потребленія столицы.

Кофе—изъ Петербурга по тому же тарифу, какъ и чай; изъ прочихъ портовъ Балтійскаго моря по $^1/_{30}$—$^1/_{40}$ коп. съ п.-в., или по 24—30 коп. съ пуда за все разстояніе. За одинъ 1883 г. петербургскій импортъ по этой статьѣ уменьшился на 80 тысячъ пудовъ.

Земледѣльческія машины—изъ Петербурга по $^1/_{30}$—$^1/_{20}$ коп. съ п.-в., или 20—30 коп. съ пуда за все разстояніе. Изъ Либавы и Ревеля по $^1/_{40}$—$^1/_{60}$ коп. съ п.-в., или 21 коп. за все разстояніе. Результатъ: изъ 958 тыс. пуд. этого груза Петербургъ получилъ въ 1883 г. только 12,700 пуд.; а прочіе порты Балтійскаго моря — 284 тыс. пуд.

Металлы: хотя по всѣмъ статьямъ этой категоріи (мѣдь, жесть, цинкъ и проч.) импортъ увеличивается вслѣдствіе того, что потребленіе металловъ въ Москвѣ и за Москвой возрастаетъ, тѣмъ не менѣе петербургскій импортъ по этимъ статьямъ падаетъ. Напримѣръ, привозъ свинца въ 1883 г. съ милліона пуд. упалъ до 490 тысячъ пуд., т.-е. болѣе, чѣмъ вдвое. А въ 1884 г. Петербургъ уже совсѣмъ не получилъ свинца, который весь пошелъ въ Москву мимо Петербурга по конкуррирующимъ путямъ. Тарифъ: изъ Петербурга $^1/_{20}$ к. съ п.-в. или 20 коп. съ пуда за все разстояніе; изъ Ревеля $^1/_{45}$ коп. съ пудо-версты, а по московско-брестской ж. д., прямымъ сообщеніемъ съ германскими дорогами, по $^1/_{50}$—$^1/_{54}$ коп. съ п.-в.

Такое же отношеніе тарифовъ по всѣмъ прочимъ статьямъ импорта. Оставаясь безучастна въ нуждамъ Петербурга, николаевская дорога первая повела конкурренцію съ нимъ, вступивши въ соглашеніе съ балтійской желѣзной дорогой о прямомъ сообщеніи на Москву черезъ Тосно. За этой комбинаціей послѣдовали другія въ пользу Риги и Либавы. Наконецъ, московско-брестская ж. д., участвовавшая въ конкурренціи съ Петербургомъ въ пользу Риги и Либавы, въ 1883 г. вошла въ соглашеніе съ среднегерманскими желѣзными дорогами, и чтобы отнять для этихъ дорогъ грузы, направлявшіеся моремъ къ Ригѣ, Либавѣ и Петербургу, понизила тарифъ на нѣкоторыя статьи до $^1/_{80}$—$^1/_{100}$ коп. съ п.-в. Тогда Главное общество, чтобы отнять у московско-брестской ж. д. часть добычи въ пользу своей варшавской линіи, установило еще болѣе низкіе тарифы для грузовъ, идущихъ изъ Вержболова въ Москву черезъ Петербургъ, и такимъ образомъ увеличила прибыль малодоходной варшавской линіи за счетъ богатой николаевской ж. д., по которой грузы изъ Вержболова идутъ чуть не даромъ.

Явная тарифная игра, въ тѣхъ же видахъ конкурренціи, дополняется пониженнымъ тарифомъ по особому соглашенію съ отдѣльными отправителями, чтобы привлечь ихъ грузы. Существованіе того на либаво-роменской и московско-брестской ж. д. въ брошюрахъ г. Гоха доказывается наглядными примѣрами.

Отъ тѣхъ же причинъ пострадала и экспортная торговля Петербурга. Крѣпче другихъ статей отпуска держится еще зерновой хлѣбъ, потому что $^3/_5$ его доставляется въ Петербургъ барками съ маріинской системы и только $^2/_5$—по желѣзнымъ дорогамъ, стало быть зависитъ не исключительно отъ послѣднихъ.

Но и въ хлѣбномъ экспортѣ конкурренція Ревеля, Риги, Либавы и даже Кенигсберга и южныхъ русскихъ портовъ (черноморскихъ) уже началась при содѣйствіи желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ этимъ портамъ, и съ помощью тѣхъ же самыхъ фокусовъ, которые назы-

ваются тарифной игрой. Противъ Петербурга пошла аттака не только со стороны дорогъ, убившихъ его привозную торговлю, каковы соединительныя линіи между Москвой и портами ревельскимъ, рижскимъ и либавскимъ, но и такихъ дорогъ, какъ тамбово-саратовская, юго-западныя и южныя. Игра эта теперь еще въ началѣ, и здѣсь точно также балтійская дорога подала сигналъ къ наступленію, опираясь на николаевскую дорогу. На съѣздѣ, происходившемъ лѣтомъ 1884 г., балтійская дорога объявила, что понижаетъ тарифъ на 2 коп. съ пуда для всѣхъ хлѣбныхъ грузовъ, идущихъ съ Тосно. За балтійской дорогой то же самое немедленно сдѣлала либаво-роменская дорога, скинувъ 12 руб. съ вагона для хлѣба, идущаго изъ Грязей. Для рижскаго порта то же самое сдѣлала тамбово-саратовская дорога по соглашенію съ другими линіями, идущими къ этому порту. А затѣмъ то же самое сдѣлали и южныя дороги, для привлеченія хлѣбныхъ грузовъ въ южные порты.

Что̀ изъ этого выйдетъ, вѣроятно, выяснится въ недолгомъ времени. Возрастутъ, безъ сомнѣнія, дефициты, которыми и безъ того на крупныя суммы щеголяютъ именно дороги, конкуррирующія въ пользу Ревеля, Риги и Либавы. Но возрастутъ и потери петербургской отпускной торговли. Это еще болѣе несомнѣнно. Стало быть, петербургскимъ торговымъ учрежденіямъ грозитъ новое сокращеніе оборотовъ, предѣлы котораго и намѣтить невозможно, если въ тарифной политикѣ желѣзныхъ дорогъ все останется такъ, какъ есть.

Выше указано взаимное отношеніе старыхъ портовыхъ учрежденій Петербурга къ новому Гутуевскому порту и прочимъ сооруженіямъ, поставленнымъ въ связь съ Морскимъ каналомъ. Шансы конкурренціи между ними безусловно не въ пользу новыхъ портовыхъ учрежденій. Если же и въ старыхъ портовыхъ учрежденіяхъ Петербурга обороты сокращаются и впредь грозятъ сокращаться, благодаря только что обрисованной тарифной игрѣ желѣзныхъ дорогъ, отнимающихъ грузы у Петербурга, то что же останется на долю новаго порта и окружающихъ его драгоцѣнныхъ сооруженій?

Очевидно, если причины, убивающія петербургскую торговлю, останутся въ полной силѣ, то новый портъ будетъ изображать собою нѣмой памятникъ былыхъ надеждъ и несбывшихся ожиданій, воздвигнутый щедротами казны въ самое трудное для нея время.

Работы же этому порту предвидится немного.

Если,—говоритъ г. Гохъ въ своей послѣдней брошюрѣ,—тарифная система (желѣзныхъ дорогъ) не будетъ измѣнена, то всѣ 20 милліоновъ, издержанные на петербургскій портъ и Морской каналъ,—на

вѣтеръ брошенныя деньги, и этотъ грустный выводъ невозможно оспаривать.

Послѣ сказаннаго о значеніи новыхъ портовыхъ сооруженій Петербурга, произведенныхъ и производимыхъ на счетъ казны, нельзя не отдать справедливость той осторожности, съ которою особое совѣщаніе при министерствѣ финансовъ отнеслось къ предложенію строителей о новыхъ крупныхъ расходахъ на сооруженіе отпускного порта. Сокративъ требуемую проектомъ строителей сумму втрое, совѣщаніе настояло, чтобы осуществленіе этого проекта производилось послѣдовательно, „по мѣрѣ выясненія нуждъ торговли". Этой осторожности казна обязана сбереженіемъ 5 милліоновъ, которые, безъ сомнѣнія, не представляется повода тревожить при нынѣшнемъ состояніи петербургской торговли. Но къ сожалѣнію, осторожность эта явилась слишкомъ поздно. Спрашивается: неужели же слѣдуетъ помириться съ тѣмъ, что Морской каналъ и петербургскій портъ въ томъ видѣ, какъ онъ будетъ оконченъ въ настоящемъ году, на счетъ отпущенныхъ уже суммъ, обречены и впредь опустошать казну на ихъ администрацію и содержаніе въ порядкѣ, не принося существенной пользы ни странѣ, ни нашей столицѣ!

Центръ тяжести этого вопроса теперь не въ самомъ портѣ, — не въ томъ, хорошо или дурно соображены подробности всего предпріятія. Это было важно въ началѣ, а теперь необходимо признать совершившійся фактъ, каковъ онъ есть, ибо передѣлывать почти равносильно тому, что вновь дѣлать, и во всякомъ случаѣ передѣлки потребовали бы слишкомъ большихъ новыхъ затратъ. Весь вопросъ теперь въ томъ, чтобы утилизировать то, что уже сдѣлано, въ предѣлахъ возможнаго. А утилизировать новыя портовыя сооруженія можно только однимъ путемъ—возстановленіемъ упавшаго торговаго значенія Петербурга. Средства къ тому—въ правильной постановкѣ желѣзнодорожнаго дѣла, въ томъ, чтобы не только подчинить желѣзныя дороги контролю правительства, но и заставить ихъ дѣйствовать, согласно интересамъ государства, въ соотвѣтствіи съ дѣйствительными нуждами и потребностями страны. Необходимо измѣнить въ корнѣ это странное положеніе желѣзныхъ дорогъ, при которомъ онѣ являются какъ государство въ государствѣ. Имъ должна быть отведена чисто служебная роль въ естественномъ ходѣ развитія нашей экономической жизни, такъ чтобы онѣ не имѣли даже возможности ради частныхъ интересовъ вторгаться въ экономическую жизнь и по своимъ усмотрѣніямъ направлять ее въ ту или другую сторону. Такая руководящая роль можетъ принадлежать только правительству, и никому другому не должна принадлежать, а тѣмъ болѣе желѣзнодорожнымъ компаніямъ, прославившимся у насъ пренебреженіемъ къ

нуждамъ страны и не всегда правильнымъ пониманіемъ даже собственныхъ интересовъ.

Тѣсная связь съ желѣзнодорожной политикой такого предпріятія, какъ петербургскій портъ и Морской каналъ,—предпріятія, повидимому, совершенно чуждаго желѣзнодорожному дѣлу, лишній разъ доказываетъ всю неосновательность мысли, многихъ увлекавшей въ недавнее время, будто можно удачно улучшать и развивать водяные пути сообщенія, пренебрегая вопросами желѣзнодорожными и даже не имѣя элементарнаго знакомства съ ними. Примѣръ сооруженія Морского канала и петербургскаго порта въ этомъ отношеніи—примѣръ яркій, и поучительная сторона его выступаетъ съ полною наглядностью.

Нелѣпо оспаривать важность водяныхъ путей сравнительно съ желѣзнодорожными, или наоборотъ. И тѣ, и другіе являются могучими дѣятелями въ экономической жизни. Но опытъ съ несомнѣнностью убѣждаетъ, что при извѣстныхъ условіяхъ эти дѣятели приносятъ мало пользы, или даже служатъ во вредъ странѣ, извращая и сбивая съ пути естественный ходъ экономическаго развитія ея. Мало по этому признавать важность рельсовыхъ и водяныхъ сообщеній. Необходимо еще, чтобы тѣ и другія по условіямъ своей дѣятельности шли не врозь, а къ общей цѣли, восполняя другъ друга. Америка потому больше всего и можетъ конкуррировать съ нами на европейскихъ рынкахъ, что цѣлесообразное сочетаніе рельсовыхъ и водяныхъ путей внутри страны до возможной степени облегчаютъ сообщенія съ приморскими портами.

Пояснимъ нашу мысль на частномъ примѣрѣ. Какъ указано выше, въ настоящее время хлопокъ идетъ въ Москву черезъ Ревель по 19 к. съ пуда за разстояніе 900 верстъ. Балтійская дорога, несмотря на большое количество отнятаго у Петербурга груза, нисколько, однако, не обогатилась. Она не выходитъ изъ крупныхъ дефицитовъ. Положимъ теперь, что николаевская дорога возила бы хлопокъ въ Москву изъ Петербурга не по 25 коп. съ пуда, а только по 15 коп., или по $^1/_{40}$ к. съ п.-в. Для нея, очевидно, былъ бы выгоднѣе этотъ грузъ, такъ какъ по конвенціи съ балтійской дорогой она теперь перевозитъ хлопокъ по $^1/_{48}$ к. съ п.-в. Для получателей груза такое направленіе его тоже было бы выгоднѣе, потому что обходилось бы дешевле. Балтійская дорога едва ли осталась бы въ большомъ убыткѣ, потому что теперь она возитъ этотъ грузъ почти въ убытокъ себѣ, принимая въ разсчетъ его невыгодное соотношеніе между объемомъ и вѣсомъ. Петербургъ имѣлъ бы большую выгоду отъ возвращенія къ нему столь важнаго груза. Одинъ Ревель нѣсколько проигралъ бы.

Но теперь одинъ Ревель выигрываетъ за счетъ всѣхъ замѣшанныхъ въ импортѣ хлопка интересовъ.

Когда такія несообразности составляютъ не исключеніе, а правило, можно ли удивляться, что дорого стоющія предпріятія по устройству сообщеній ложатся лишь тяжелой ношей на государственный бюджетъ, а пользы государству приносятъ или очень мало, или ничего.

Надобно, однако, сознаться, такой результатъ нашихъ крупныхъ предпріятій зависитъ не отъ простой случайности, а отъ случайности, возведенной въ систему, если можно такъ выразиться. Система случайностей — это и есть наша система какъ въ устройствѣ, такъ и въ работѣ рельсовыхъ и водяныхъ сообщеній.

Z.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е мая, 1885.

Закрытіе Кахановской коммиссіи.—Администрація и судъ. — Законопроектъ о налогѣ на процентныя бумаги.—Отношеніе его къ подоходному налогу.— Инструкція чинамъ фабричной инспекціи. — Успѣхи и притязанія протекціонизма.—Высочайшій рескриптъ дворянству.

Первому дню наступившаго мая мѣсяца суждено стать послѣднимъ днемъ существованія Кахановской коммиссіи. Со времени ея открытія прошло ровно три съ половиною года, изъ которыхъ два первые были почти вовсе потеряны для дѣла. Проектъ, обсужденіе котораго началось минувшей осенью и окончилось въ торопяхъ, въ виду приближенія послѣдняго срока, былъ составленъ въ продолженіе предшествовавшаго зимняго сезона (1883—84); работы, производившіяся до тѣхъ поръ (т.-е. до лѣта 1883 г.), прошли совершенно безслѣдно. Отсутствіе основныхъ положеній, заранѣе выработанныхъ и утвержденныхъ, привело къ созданію такъ-называемыхъ намѣтокъ, т.-е. чего-то средняго между общимъ абрисомъ реформы и окончательнымъ ея проектомъ, не имѣвшаго ни опредѣленности и сжатости перваго, ни точности и подробности послѣдняго. Упущено было и время, удобное для преобразованія. Обстоятельства, при которыхъ была учреждена коммиссія, существенно измѣнились; сенаторскія ревизіи, послужившія главнымъ поводомъ къ ея учрежденію, отошли въ то прошедшее, которое теперь принято называть—смотря по бо̀льшей или меньшей деликатности говорящаго—либо эпохой „диктатуры сердца“, либо эпохой „всероссійскаго канкана“. Въ работу коммиссіи „новые“ элементы ворвались съ достаточною силой, чтобы не оставить камня на камнѣ въ предположеніяхъ „совѣщанія“, но все же не съ такимъ полновластіемъ, чтобы поставить на ихъ мѣсто другое, сколько-нибудь стройное цѣлое. Нѣсколько различныхъ теченій, спутавшись и перемѣшавшись, образовали пеструю смѣсь,

въ которой не легко разобраться. Весьма можетъ быть, что попытка такого разбора и не будетъ сдѣлана вовсе, что труды Кахановской коммиссіи всецѣло перейдутъ въ архивъ или обратятся въ матеріалъ для справокъ. Заглохнетъ ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самый вопросъ, вызвавшій образованіе коммиссіи? Едва ли. Всего вѣроятнѣе разрѣшеніе его не вполнѣ, а въ нѣкоторыхъ лишь частяхъ—разрѣшеніе въ духѣ одного изъ тѣхъ началъ, борьба которыхъ обозначилась уже довольно ясно и въ печати, и въ Кахановской коммиссіи, въ періодъ крушенія ея „намѣтокъ". Эти два начала—чисто-бюрократическое и сословно-дворянское. Кое въ чемъ они сходятся, кое въ чемъ идутъ въ разрѣзъ одно съ другимъ. Сходятся они въ отрицаніи безсословности на низшихъ степеняхъ управленія, въ недовѣріи къ земству, въ стремленіи къ сосредоточенію и объединенію мѣстной, ближайшей къ населенію власти; расходятся они въ способѣ организаціи этой власти. Можно сказать почти навѣрное, что не только сельское общество, но и крестьянская волость останутся безъ измѣненія, что надъ крестьянскимъ самоуправленіемъ будетъ поставлена „властная рука", вооруженная какъ административною, такъ и судебною властью; не даромъ же принципъ раздѣленія властей подвергался единодушнымъ нападеніямъ всѣхъ органовъ консервативной прессы, не даромъ же „Русь" не отставала по этому вопросу отъ „Московскихъ Вѣдомостей" и „Гражданина". Разногласіе между союзниками начнется тогда, когда нужно будетъ опредѣлить способъ замѣщенія новыхъ должностей. Назначеніе правительствомъ или избраніе дворянствомъ—вотъ вопросъ, которому предстоитъ, повидимому, сдѣлаться яблокомъ раздора. Онъ возникнетъ не только по отношенію къ мировому посреднику (alias—волостель, alias—участковый начальникъ, но подъ всѣми своими именами—судья-администраторъ), но и по отношенію къ предсѣдателю проектируемаго уѣзднаго управленія. Здѣсь споръ можетъ сдѣлаться особенно ожесточеннымъ, потому что рѣчь будетъ идти, собственно говоря, о сохраненіи или несохраненіи за уѣзднымъ предводителемъ дворянства перваго мѣста въ уѣздѣ —перваго уже не только по почету, но и по власти. Противникамъ „властной руки" во всѣхъ ея видахъ и формахъ придется быть почти нейтральными свидѣтелями спора, исходъ котораго, въ чемъ бы онъ ни заключался, ни въ какомъ случаѣ не будетъ перемѣной къ лучшему. Хорошо, еслибы силы противниковъ оказались болѣе или менѣе равными, и рѣшеніе дѣла было отложено до другой, болѣе благопріятной минуты. Сохраненіе status quo, даже весьма неудовлетворительнаго, лучше неудачной реформы—лучше уже потому, что оно меньше предрѣшаетъ будущее, меньше затрудняетъ поворотъ на настоящую дорогу. Болѣе сноснымъ изъ двухъ предположеній—если

уже одному изъ нихъ суждено осуществиться—было бы, повторяемъ еще разъ, замѣщеніе „властныхъ“ уѣздныхъ должностей по назначенію отъ правительства. Выборные одного сословія, управляющіе всѣми другими—это, по крайней мѣрѣ, у насъ въ Россіи, худшая изъ всѣхъ политическихъ комбинацій. Во что обратились бы мировые посредники перваго призыва, еслибы они были выбраны дворянствомъ—это не трудно себѣ представить, припомнивъ хотя бы составъ выборнаго большинства почти во всѣхъ губернскихъ комитетахъ 1858—60 г.

Предположенія наши о дальнѣйшемъ ходѣ административной реформы основываются, между прочимъ, на петербургскихъ письмахъ, появляющихся, отъ времени до времени, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Авторъ этихъ писемъ говоритъ, съ нѣкоторыхъ поръ, тономъ человѣка, стоящаго за кулисами или по крайней мѣрѣ иногда заглядывающаго на сцену, недоступную для обыкновенной публики. Прочтите, напримѣръ, хоть слѣдующую фразу: „Задачу переустройства мѣстнаго управленія можно и должно значительно стѣснить. Не требуется все измѣнять, какъ это проектировало совѣщаніе; но за то тѣмъ настоятельнѣе представляется выдѣлить нѣкоторые отдѣльные вопросы и разрѣшить ихъ быстро, твердо и рѣшительно, дабы возстановить наконецъ въ нашей деревнѣ права здраваго смысла и прекратить ту неурядицу, которая дѣйствуетъ на нашу жизнь разлагающимъ образомъ“. Не слышится ли въ этихъ словахъ, вмѣстѣ съ слогомъ плохо, но претенціозно написанной дѣловой бумаги, самоувѣренность оракула, убѣжденнаго въ безошибочности своихъ изреченій? Правильно ли это убѣжденіе—не знаемъ; но фактическая точность данныхъ, сообщаемыхъ корреспондентомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, во всякомъ случаѣ весьма возможна, и съ этой точки зрѣнія онѣ заслуживаютъ нѣкотораго вниманія. Жаль только, что онѣ не всегда отличаются достаточною ясностью. Какъ понимать, напримѣръ, слѣдующее сообщеніе: „Отнынѣ не будетъ дѣйствовать прежняя инструкція войскамъ, въ силу которой при усмиреніи безпорядковъ послѣ троекратнаго барабаннаго боя войска должны были стрѣлять. Опытъ указалъ, что наша толпа мало похожа на тѣ западно-европейскія скопища, гдѣ можетъ быть и необходима стрѣльба. Правильное дѣйствіе полицейскими мѣрами оказывалось у насъ всегда гораздо успѣшнѣе и во всякомъ случаѣ имѣетъ то преимущество, что при этомъ гораздо менѣе жертвъ. Опытные администраторы, какъ напримѣръ, Скарятинъ, дѣйствовали такъ и прежде, но преданіе его суду внесло смуту и въ эту область административныхъ распоряженій. Теперь, какъ намъ передавали, дѣло окончательно выяснено, и административной власти, на точномъ основаніи су-

ществующаго закона, предоставленъ надлежащій просторъ дѣйствовать тѣми мѣрами, какія по обстоятельствамъ дѣла окажутся цѣлесообразными". Насъ смущаетъ здѣсь въ особенности ссылка на примѣръ такого „опытнаго администратора", какъ бывшій казанскій губернаторъ, удаленный отъ должности вслѣдствіе ревизіи сенатора Ковалевскаго. Не будь этой ссылки, можно было бы только порадоваться ограниченію стрѣльбы и замѣнѣ ея, въ большинствѣ случаевъ, другими, болѣе мягкими и менѣе опасными мѣрами усмиренія безпорядковъ; но теперь мы невольно припоминаемъ, что г. Скарятина предполагалось предать суду вовсе не за „мѣры усмиренія, а за мѣры чисто карательнаго свойства, употребленныя противъ людей, которые въ данную минуту, очевидно, уже не бунтовали. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли какая-нибудь возможность относить сѣченіе къ числу средствъ прекращенія безпорядковъ, къ области „правильнаго дѣйствія полицейскими мѣрами"? Не ясно ли, что оно можетъ быть производимо только по водвореніи порядка, только надъ людьми, находящимися уже во власти полиціи, т.-е. уже успокоенными и укрощенными, или, по крайней мѣрѣ, безвредными, безсильными продолжать смуту? Смѣшеніе мѣръ усмиренія съ мѣрами возмездія — это явное извращеніе понятій, тѣмъ болѣе опасное, что первая категорія мѣръ относится всецѣло къ сферѣ полицейской, послѣдняя—столь же всецѣло къ сферѣ судебной. Успокоительны, конечно, заключительныя слова корреспондента: „административной власти предоставленъ надлежащій просторъ, на точномъ основаніи существующаго закона"; но въ такомъ случаѣ къ чему же было говорить о г. Скарятинѣ, дѣйствовавшемъ прямо вопреки закону... Извѣстіе, сообщенное корреспондентомъ, настоятельно требуетъ дальнѣйшихъ разъясненій—требуетъ ихъ тѣмъ болѣе, что между обнародованными, въ послѣднее время, правительственными мѣрами нѣтъ ни одной, которая относилась бы къ данному вопросу. Нельзя же допустить, чтобы столь серьезная перемѣна въ правахъ и обязанностяхъ администраціи могла быть произведена негласнымъ административнымъ распоряженіемъ; трудно предположить, также, чтобы инструкція, косвенно оправдывающая образъ дѣйствій г. Скарятина, могла быть дана именно въ то время, когда распубликовано Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта объ исключеніи изъ службы бывшаго минскаго губернатора Токарева, вслѣдствіе прикосновенности его къ такъ-называемому логишинскому дѣлу. Извѣстно, что поводомъ къ возбужденію этого дѣла послужило именно „прекращеніе противодѣйствія" путемъ тѣлесныхъ наказаній.

Опредѣлить, a priori, вѣроятность или невѣроятность какого либо извѣстія въ наше время до крайности трудно, въ виду противорѣчій,

на каждомъ шагу встрѣчающихся въ дѣйствительности. Мы только-что указали на одинъ фактъ, говорящій, повидимому, противъ узаконенія полицейскихъ или административныхъ вторженій въ область суда—а теперь должны перейти къ факту прямо противоположнаго свойства. Въ Калугѣ производилось недавно, съ участіемъ присяжныхъ, дѣло объ оскорбленіи дѣйствіемъ помощника частнаго пристава. Защитникъ обвиняемыхъ, если вѣрить газетнымъ извѣстіямъ, сильно и несправедливо нападалъ въ своей рѣчи на потерпѣвшаго чиновника; присяжные вынесли оправдательный приговоръ. Калужскій губернаторъ разослалъ по этому поводу полицейскимъ чинамъ губерніи особый приказъ, мотивируя его желаніемъ разъяснить, что приговоры присяжныхъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ стѣснять чиновъ полиціи при исполненіи ими своихъ прямыхъ обязанностей, и что полицейскій чиновникъ, кѣмъ-либо оскорбленный и сообщившій судебной власти доказательства нанесеннаго ему оскорбленія, не долженъ заботиться о томъ, какой исходъ получитъ на судѣ возбужденное имъ дѣло, памятуя, что непосредственная оцѣнка дѣятельности чиновъ полиціи принадлежитъ ихъ начальству. Еслибы приказъ ограничивался этимъ разъясненіемъ, то противъ него нельзя было бы сказать ни слова; но онъ идетъ дальше и оспариваетъ правильность судебнаго рѣшенія. „Что касается настоящаго дѣла,—читаемъ мы въ приказѣ,—то въ смыслѣ служебно-полицейскомъ оно было всесторонне разсмотрѣно мною лично. О немъ произведено дознаніе подъ моимъ личнымъ наблюденіемъ, причемъ дѣйствія помощника пристава признаны правильными, а лица обвинявшіяся привлекались къ отвѣтственности по моему указанію, на основаніи данныхъ, установленныхъ протоколомъ о происшествіи и дознаніемъ". Личное убѣжденіе губернатора противопоставляется здѣсь приговору присяжныхъ, съ одной стороны, безъ всякой надобности, потому что для ободренія чиновъ полиціи и для руководства ихъ на будущее время вполнѣ достаточно было вышеприведенныхъ разъясненій; съ другой стороны, безъ всякаго основанія, потому что дознаніе, кѣмъ бы оно ни было произведено, никогда не представляетъ тѣхъ гарантій всесторонняго раскрытія истины, какія свойственны судебному слѣдствію. Утверждать, что администрація не ошиблась, значитъ обвинять въ ошибкѣ судъ, бездоказательно вознося единичное мнѣніе надъ рѣшеніемъ коллегіи, мнѣніе стороны—надъ окончательнымъ выводомъ третьихъ лицъ. Какъ частный случай, приказъ калужскаго губернатора не имѣетъ конечно, большого значенія; но не слѣдуетъ ли отнести его къ числу „признаковъ времени"? Для правильнаго отвѣта на этотъ вопросъ необходимо было бы знать, былъ ли губернаторскій приказъ напечатанъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, или получилъ гласность, только

благодаря усердію корреспондента консервативной газеты? Большая разница—вступить въ открытую полемику съ судебнымъ рѣшеніемъ или высказаться противъ него въ конфиденціальной бумагѣ, предназначенной исключительно для прочтенія немногими должностными лицами.

Проектъ закона о оборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, упомянутый нами вскользь въ предъидущей общественной хроникѣ, въ настоящее время, по всей вѣроятности, уже утвержденъ или близокъ къ утвержденію. Газетные слухи о противодѣйствіи, встрѣченномъ имъ въ соединенныхъ департаментахъ Государственнаго Совѣта, къ счастію не оправдались; существенныхъ перемѣнъ въ текстѣ проекта—такихъ перемѣнъ, которыя ограничили бы его дѣйствіе, исказили бы его смыслъ—ожидать, повидимому, нѣтъ причины. Съ нашей точки зрѣнія, обложеніе дохода съ денежныхъ капиталовъ представляется особенно важнымъ, особенно желательнымъ какъ новый шагъ къ коренной реформѣ податной системы, къ устраненію или уменьшенію льготъ, которыми пользовались и пользуются до сихъ поръ наиболѣе достаточные классы нашего общества. Никого не разоряя и не отягощая, проектируемый налогъ ускоритъ дальнѣйшее пониженіе подушной подати, привлечетъ къ участію въ податномъ бремени массу лицъ, освобожденныхъ отъ него безъ всякаго справедливаго и разумнаго основанія, расчиститъ, вмѣстѣ съ другими мѣрами того же рода, путь къ установленію общаго подоходнаго налога. Большимъ достоинствомъ проекта слѣдуетъ признать распространеніе дѣйствія его не только на частныя и общественныя, но и на государственныя процентныя бумаги (за однимъ исключеніемъ, о которомъ мы скажемъ ниже). Въ нѣкоторыхъ государствахъ—напримѣръ, во Франціи—государственные займы не подлежатъ взимаемому съ другихъ процентныхъ бумагъ налогу. Главный юридическій доводъ въ пользу такого изъятія заключается въ томъ, что государство въ качествѣ должника должно быть разсматриваемо по отношенію къ своимъ кредиторамъ не какъ власть, а какъ договаривающаяся сторона, и не можетъ, слѣдовательно, измѣнять въ свою пользу, безъ ихъ согласія принятыхъ передъ ними обязательствъ—а обложеніе процентовъ является, de facto, именно такимъ измѣненіемъ, потому что уменьшаетъ цыфру получаемыхъ кредиторами платежей. Съ аргументами этого рода мы уже неоднократно встрѣчались по другому поводу—при обсужденіи вопроса о правѣ законодательной власти измѣнять по своему усмотрѣнію желѣзно-дорожные и банковые уставы [1]).

---

[1]) См. Внутр. Обозр. въ №№ 5, 8 и 10 „Вѣстника Европы“ за 1883 г.

Мы старались доказать, что законодатель не перестаетъ быть законодателемъ, хотя бы издаваемый имъ законъ и представлялся отчасти договоромъ, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ тщательно различать элементы частнаго соглашенія отъ постановленій чисто-законодательнаго свойства, и что только первые могутъ быть подводимы подъ дѣйствіе общихъ началъ договорнаго права. Всѣ эти положенія вполнѣ примѣнимы къ государственнымъ займамъ. Размѣръ платимыхъ по этимъ займамъ процентовъ принадлежитъ къ числу условій, опредѣляющихъ договорное отношеніе государства, какъ должника, къ пріобрѣтателямъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, какъ къ кредиторамъ; прямое пониженіе его, не сопровождаемое конверсіею, несомнѣнно могло бы быть разсматриваемо какъ нарушеніе договора. Иное дѣло—косвенное уменьшеніе процентовъ, обусловливаемое введеніемъ новаго налога; здѣсь не можетъ быть и рѣчи о нарушеніи договора, потому что государственная власть, вступая въ договорное соглашеніе, становясь договаривающею стороною, не отказывается этимъ самымъ отъ правъ, принадлежащихъ ей какъ власти, какъ законодателю. Усложняется вопросъ только по отношенію къ тѣмъ государственнымъ процентнымъ бумагамъ, при выпускѣ которыхъ было заявлено, что уплачиваемые по нимъ проценты никакими налогами облагаемы не будутъ. Намъ кажется, что безусловно обязательнымъ для государства такое заявленіе признавать нельзя. Подобно тому, какъ недѣйствительна договорная уступка частнымъ лицомъ неотъемлемо принадлежащаго ему права—права личной свободы, права судебной защиты,—недѣйствительна, строго говоря, и договорная уступка государствомъ неотъемлемо принадлежащаго ему права измѣнять и отмѣнять дѣйствующіе законы, установлять новые налоги. Разбираемый нами проектъ освобождаетъ отъ обложенія государственные займы, „изъятые, по условіямъ ихъ заключенія, отъ платежа налоговъ“. Мы не возражаемъ противъ этого изъятія—но не возражаемъ только потому, что польза отъ обложенія вышеупомянутыхъ займовъ не уравновѣшивала бы вреда, который оно могло бы причинить государственному кредиту. Въ государственной жизни, какъ и въ частной, обѣщаніе сплошь и рядомъ равносильно обязательству: и неисполненіе его можетъ быть оправдано только особенно серьезными причинами, какихъ въ данномъ случаѣ нѣтъ на лицо. Положеніе нашихъ финансовъ затруднительно, но не въ такой степени, чтобы для поправленія ихъ можно и нужно было прибѣгать къ крайнимъ средствамъ. Слѣдовало бы только принять за правило не допускать отнынѣ впредь, при заключеніи займовъ, заявленій, которыми затруднялось бы установленіе новыхъ налоговъ. Опытъ послѣднихъ лѣтъ удостовѣряетъ, что для успѣха займа, заявленія этого рода вовсе не не-

обходимы; займы, отдѣленные другъ отъ друга весьма небольшимъ промежуткомъ времени—напримѣръ, золотая рента 1883 г. и пятипроцентная рента 1884 г.—заключались то съ оговоркой относительно налоговъ, то безъ оговорки. Налогъ на процентныя бумаги слишкомъ справедливъ и слишкомъ удобенъ, чтобы ограничивать сферу дѣйствія его обѣщаніями, не вызываемыми необходимостью. Весьма желательной представляется, безъ сомнѣнія, постепенная замѣна процентныхъ бумагъ, выпущенныхъ съ оговоркой, другими, отъ нея свободными—но такая замѣна потребуетъ очень много времени, потому что она должна обнять собою, если мы не ошибаемся, почти половину всего государственнаго долга.

Нѣкоторые экономисты—напр., Леруа Болье, въ его „Traité de la science des finances"—признаютъ за государствомъ право на обложеніе налогомъ процентовъ по государственнымъ займамъ, но совѣтуютъ ему не пользоваться этимъ правомъ, на томъ основаніи, что много лѣтъ продолжавшееся изъятіе отъ налога установило какъ бы безмолвное соглашеніе (contrat tacite) между государствомъ и владѣльцами государственныхъ кредитныхъ бумагъ, внушивъ послѣднимъ абсолютное довѣріе къ неизмѣнности такого порядка. Весьма можетъ быть, что нѣчто подобное, хотя и не въ столь опредѣленной формѣ, приходитъ на мысль многимъ владѣльцамъ русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ. На самомъ дѣлѣ ни объ „абсолютномъ довѣріи", вызванномъ дѣйствіями или бездѣйствіемъ правительства, ни о „безмолвномъ соглашеніи" между государствомъ и его кредиторами здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Давность не имѣетъ примѣненія къ публичному праву; сколько бы времени ни существовала привилегія или льгота, болѣе почтенной или неприкосновенной она отъ этого не становится—скорѣе, напротивъ. Между американскими рабовладѣльцами и русскими помѣщиками многіе „абсолютно вѣрили" въ незыблемую прочность рабства или крѣпостничества—но источникомъ какихъ-либо правъ эта вѣра не сдѣлалась бы и во вѣки вѣковъ. Правительство, допускающее или узаконяющее выгодную для кого-либо несправедливость, не принимаетъ на себя этимъ самымъ „безмолвнаго обязательства" охранять ее и на будущее время, впредь до добровольнаго отъ нея отказа самихъ заинтересованныхъ въ ней лицъ... У насъ убѣжденіе въ необлагаемости государственныхъ процентныхъ бумагъ (за исключеніемъ тѣхъ, которыя при самомъ ихъ выпускѣ обѣщано было не облагать налогами) имѣло бы еще меньше основаній, чѣмъ во Франціи, потому что свободой отъ налога онѣ пользовались до сихъ поръ наравнѣ со всѣми другими процентными бумагами; для спеціальной презумпціи въ ихъ пользу не было и нѣтъ рѣшительно никакого повода.

Законопроектъ, о которомъ мы говоримъ, не установляетъ никакого различія между русскими и иностранными владѣльцами государственныхъ процентныхъ бумагъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что бумаги, подлежащія обложенію, будутъ привлечены къ платежу налога, все равно, въ чьихъ бы рукахъ онѣ ни находились. Справедливость и цѣлесообразность такой мѣры не подлежитъ, въ нашихъ глазахъ, никакому сомнѣнію. Сила договора не зависитъ отъ личности, происхожденія или мѣста жительства одной изъ договаривающихся сторонъ; съ кѣмъ бы договоръ заключенъ ни былъ—съ туземцемъ или съ иностранцемъ,—значеніе его остается одно и то же, и послѣдній, при тождествѣ всѣхъ другихъ условій, не можетъ имѣть ни больше, ни меньше правъ, чѣмъ первый. Если государству, какъ мы старались доказать, вообще принадлежитъ право облагать налогомъ государственныя процентныя бумаги, то оно принадлежитъ ему и по отношенію къ иностраннымъ держателямъ бумагъ. Ничто (при отсутствіи оговорки, о которой мы говорили выше) не уполномочивало ихъ ожидать, что они будутъ освобождены отъ налога, когда правительство сочтетъ нужнымъ къ нему прибѣгнуть. Представимъ себѣ, что въ моментъ покупки иностранцемъ дома или имѣнія они не были обложены тѣмъ или другимъ сборомъ, впослѣдствіи установленнымъ для данной категоріи имуществъ; никто, конечно, не сталъ бы утверждать, что этотъ сборъ не обязателенъ для иностранца—а никакой существенной разницы между домомъ или имѣніемъ и процентными бумагами съ этой точки зрѣнія не существуетъ. Ничѣмъ не вызываемое и не оправдываемое исключеніе въ пользу иностранныхъ держателей уменьшило бы весьма значительно цифру налога, не только прямо, ограничивъ сферу примѣненія его, но и косвенно, породивъ массу злоупотребленій, направленныхъ къ обходу закона (пересылка купоновъ для оплаты за-границу и т. п). Что намѣреніе русскаго правительства распространить дѣйствіе налога на иностранныхъ держателей государственныхъ процентныхъ бумагъ не понравилось за-границей — это понятно, хотя въ виду примѣра другихъ государствъ (Австріи, Италіи), ничего непредвидѣннаго и поразительнаго въ такомъ разрѣшеніи вопроса быть не могло. Гораздо менѣе понятно раздраженіе, съ которымъ, почти мѣсяцъ спустя послѣ обнародованія законопроекта, заговорили о немъ „Московскія Вѣдомости“ (№ 101). Раздраженіе это такъ сильно, что помѣшало даже газетѣ высказать свою мысль съ надлежащею точностью и опредѣленностью. Возражать противъ распространенія налога на иностранныхъ держателей государственныхъ процентныхъ бумагъ можно съ двухъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія права и съ точки зрѣнія благоразумной финансовой политики. Заграничныя газеты, громящія законопроектъ,

держится одновременно обѣихъ точекъ зрѣнія, всего сильнѣе, однако, подчеркивая первую. „Русское финансовое управленіе — говоритъ „Frankfurter Zeitung“—всегда считалось столько честнымъ и прежде всего столько практичнымъ, что не допускалось и мысли о томъ, чтобъ оно могло прибѣгнуть къ задержкамъ платежей или тѣмъ болѣе къ нарушенію правъ своихъ кредиторовъ. Иностранные кредиторы были убѣждены, что они имѣютъ дѣло съ правительствомъ, намѣренія котораго честны“. Итакъ, установленіе налога есть нечестное нарушеніе правъ иностранныхъ кредиторовъ. Это мнѣніе нелѣпо, но въ ясности ему отказать нельзя. Раздѣляютъ ли его „Московскія Вѣдомости“? Сначала можетъ показаться, что не раздѣляютъ. Указавъ на существованіе проектируемаго у насъ налога въ другихъ государствахъ, безъ всякаго изъятія въ пользу иностранцевъ, московская газета выставляетъ на видъ особенности нашего финансоваго положенія, требующія величайшей осторожности относительно иностранныхъ кредиторовъ; другими словами, обложеніе послѣднихъ какъ будто бы признается ею юридически возможнымъ, но несвоевременнымъ и не практичнымъ. На этой, сравнительно твердой почвѣ, редакція московской газеты остается недолго и совершаетъ внезапный переходъ, avec armes et bagages, въ лагерь заграничныхъ противниковъ законопроекта. „Иностранные капиталисты —читаемъ мы въ концѣ статьи—пріобрѣтали наши фонды, надѣясь получать опредѣленный доходъ, и вдругъ появляется законопроектъ, дающій поводъ дѣлать предположенія, что доходъ этотъ урѣзывается. Это, понятно, возбуждаетъ сильное неудовольствіе среди иностранныхъ капиталистовъ, предполагающихъ, что вновь вводимый налогъ коснется и иностранныхъ владѣльцевъ русскихъ процентныхъ бумагъ. Но такія предположенія едва ли имѣютъ основаніе, ибо Россія всегда аккуратно исполняла свои обязательства и, конечно, не нарушитъ ихъ и теперь, оставивъ иностраннымъ владѣльцамъ русскихъ фондовъ ихъ прежній доходъ и освободивъ ихъ отъ всякаго налога, что, вѣроятно, имѣлось въ виду. Но такъ какъ этотъ пунктъ не былъ оговоренъ въ законопроектѣ, то это и послужило поводомъ къ распространенію ложныхъ слуховъ на биржахъ, способствовавшихъ пониженію нашихъ цѣнностей“. Въ послѣднихъ словахъ статьи нельзя видѣть ничего другого, кромѣ полемическаго пріема, кромѣ реторической фигуры „игнорированія“ того, что въ сущности очень хорошо извѣстно. „Московскія Вѣдомости“, мы въ этомъ не сомнѣваемся, отлично знали и знаютъ, что свѣденія, распространившіяся на иностранныхъ биржахъ, не были „ложными слухами“, что умолчаніе въ законопроектѣ объ изъятіи въ пользу иностранныхъ кредиторовъ было намѣреннымъ,

а не случайнымъ. Мнимое незнаніе — только маска, подъ которою удобнѣе требовать искаженія основной мысли законопроекта. Итакъ, обложеніе налогомъ иностранныхъ держателей государственныхъ процентныхъ бумагъ представляется, въ глазахъ „Московскихъ Вѣдомостей", нарушеніемъ обязательствъ, принятыхъ на себя Россіей. Изъ чего же это слѣдуетъ, чѣмъ это доказывается? Въ цѣлой статьѣ московской газеты нѣтъ ничего похожаго на мотивированіе заключительной ея темы; отъ аргументовъ, относящихся къ практической сторонѣ вопроса, редакція прямо переходитъ къ теоретическому положенію, висящему на воздухѣ, рѣшительно ничѣмъ не подтвержденному—потому что нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, искать для него подтвержденій въ рѣзкихъ, но совершенно голословныхъ выходкахъ иностранной печати. Пока противники задуманной мѣры не выходятъ изъ сферы жалкихъ или „страшныхъ" словъ: нарушеніе довѣрія, нарушеніе обязательства и т. п., основное начало законопроекта можетъ считаться безспорнымъ, и всякое отступленіе отъ него было бы какъ нельзя болѣе прискорбно.

„Московскимъ Вѣдомостямъ" нужно доказать, что обложеніе государственныхъ бумагъ, находящихся въ рукахъ иностранныхъ держателей, будетъ имѣть самыя гибельныя послѣдствія для нашего государственнаго кредита; чтобы достигнуть этой цѣли, онѣ указываютъ, прежде всего, на громадную массу русскихъ процентныхъ бумагъ, находящуюся во владѣніи иностранцевъ. Допустимъ, что эта масса дѣйствительно до крайности велика, что она обнимаетъ собою три четверти русскаго государственнаго долга; но вѣдь и итальянская рента, въ моментъ обложенія ея налогомъ, находилась, большею частью (до двухъ третей), въ рукахъ иностранцевъ—и все-таки итальянское правительство, также, особенно въ то время (въ 1868 г.), далеко несвободное отъ вліянія иностранныхъ денежныхъ рынковъ, не остановилось передъ введеніемъ купоннаго налога, безъ всякихъ изъятій въ пользу иностранцевъ. Въ протестахъ противъ этой мѣры не было недостатка—но итальянская рента, упавъ съ 58 до 55, уже къ концу того же года поднялась до 60, два года спустя — до 75, а къ концу семидесятыхъ годовъ, несмотря на состоявшееся между тѣмъ повышеніе налога, дошла до 82. Въ Австріи вліяніе налога, несмотря на его вышину и на принадлежность иностранцамъ по меньшей мѣрѣ половины обложенныхъ бумагъ, также оказалось весьма мало чувствительнымъ, и нѣкоторые займы новѣйшаго времени были заключены на условіяхъ болѣе выгодныхъ, чѣмъ займы, предшествовавшіе введенію налога. Все это приводитъ къ убѣжденію, что сравнительно съ другими условіями, опредѣляющими цѣнность государственныхъ процентныхъ бумагъ, умѣренный налогъ на эти

бумаги отнюдь не можетъ быть признанъ существенно важнымъ. Въ особенности это примѣнимо къ русскимъ бумагамъ, такъ какъ приносимый ими процентъ останется, и за вычетомъ налога, весьма высокимъ въ сравненіи съ тѣмъ, который уплачивается по займамъ другихъ европейскихъ государствъ. Паденіе курса бумагъ и цѣнности кредитнаго рубля, вызванное обнародованіемъ законопроекта, не можетъ и не должно служить аргументомъ противъ утвержденія его законодательною властью: это явленіе временное, преходящее, не внушающее, само по себѣ, никакихъ опасеній относительно будущаго. Такъ ли, притомъ, было сильно это паденіе, какъ утверждаютъ „Московскія Вѣдомости"? „16-го марта", говоритъ газета, „вексельный курсъ въ Берлинѣ на Петербургъ былъ 204,10, а 18-го марта, тотчасъ за опубликованіемъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" законопроекта, только 203,50. Когда же законопроектъ подвергся обсужденію иностранныхъ газетъ, то нашъ вексельный курсъ упалъ до 201,25, что было 27-го марта, а 28-го марта — до 193,25". Всѣ эти цифры доказываютъ прямо противоположное тому, что хотятъ доказать ими „Московскія Вѣдомости". Неужели иностраннымъ капиталистамъ нужны были газетные комментаріи, чтобы понять значеніе законопроекта? Неужели пониманіе его распространялось сначала такъ медленно, что для паденія курса на три марки понадобилось цѣлыхъ девять дней, а потомъ такъ быстро, что въ одинъ день курсъ упалъ еще на цѣлыхъ восемь марокъ? Не ясно ли для всякаго непредубѣжденнаго глаза, что такое паденіе зависѣло отъ чего-то иного и болѣе важнаго — а именно, отъ извѣстій съ афганской границы и въ особенности съ береговъ Кушка? 28-го марта телеграмма генерала Комарова была напечатана въ „Правительственномъ Вѣстникѣ"; болѣе чѣмъ вѣроятно, что содержаніе ея было извѣстно въ Берлинѣ уже наканунѣ—а ко времени открытія берлинской биржи 28-го числа легко могло придти изъ Петербурга, по телеграфу, и сообщеніе, основанное на оффиціальныхъ данныхъ. Московская газета забываетъ упомянуть о дальнѣйшихъ, между 29-мъ марта и 13-мъ апрѣля (днемъ написанія статьи), колебаніяхъ курса, то повышавшагося до 200, то опять падавшаго до 194; что же, и эти колебанія зависѣли отъ газетныхъ толковъ о новомъ налогѣ?.. Прочитавъ статью „Московскихъ Вѣдомостей", не знаешь, чему болѣе удивляться—произвольности теоретическихъ выводовъ, или безцеремонности обращенія съ фактами. Желательно, очень желательно, чтобы о ней не забылъ будущій историкъ газеты.

Возвращаемся къ оцѣнкѣ законопроекта. Само собою разумѣется, что наравнѣ съ государственными должны быть облагаемы и другія, однородныя съ ними процентныя бумаги, въ противномъ случаѣ

обложеніе государственныхъ бумагъ дѣйствительно могло бы имѣть характеръ пониженія платимыхъ по нимъ процентовъ. Этому условію законопроектъ удовлетворяетъ вполнѣ; распространяясь на процентныя бумаги государственныя, общественныя и частныя всѣхъ наименованій, онъ привлекаетъ, сверхъ того, къ обложенію доходы, доставляемые вкладами на текущій счетъ и другими процентными вкладами, внесенными въ банки государственные, общественные и частные, а равно въ частныя банкирскія конторы. Размѣръ сбора для всѣхъ этихъ случаевъ одинъ и тотъ же—пять процентовъ. Доходовъ по акціямъ и паямъ промышленныхъ и торговыхъ обществъ проектъ не касается, на томъ, вѣроятно, основаніи, что они уже привлечены къ обложенію недавнимъ закономъ о процентномъ и раскладочномъ сборѣ. Освобожденіе отъ налога процентовъ по вкладамъ, внесеннымъ въ сберегательныя кассы, ссудо-сберегательныя товарищества и сельскіе банки, вполнѣ понятно и справедливо, въ виду незначительности вкладовъ и принадлежности ихъ, большею частью, лицамъ изъ среды недостаточныхъ классовъ общества. По способу взиманія новый налогъ принадлежитъ къ числу самыхъ удобныхъ; въ огромномъ большинствѣ случаевъ налогъ просто удерживается изъ суммъ, слѣдующихъ къ уплатѣ владѣльцамъ бумагъ или предъявителямъ купоновъ. Недоимки, а также пререканія о цифрѣ налога, возможны лишь относительно процентовъ по вкладамъ и текущимъ счетамъ, выплачиваемыхъ частными банками и частными банкирскими конторами; но эти проценты составляютъ наименьшую часть тѣхъ суммъ, которыя будутъ подлежать обложенію на основаніи новаго закона. По дошедшимъ до насъ слухамъ, проектируемый налогъ можетъ доставить казнѣ около одиннадцати милліоновъ рублей, изъ которыхъ на долю процентовъ по вкладамъ и текущимъ счетамъ едва ли придется болѣе двухъ милліоновъ.

Разобранный нами законопроектъ привлекаетъ къ обложенію тѣ капиталы, которые помѣщены въ процентныхъ бумагахъ или положены въ банки и банкирскія конторы; законъ о процентномъ и раскладочномъ сборѣ привлекъ къ обложенію капиталы, помѣщенные въ акціонерныхъ обществахъ или обращенные на торговыя и промышленныя предпріятія. Свободными отъ обложенія остаются, затѣмъ, капиталы, отдаваемые частными лицами въ ссуду подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ или по векселямъ и другимъ заемнымъ обязательствамъ. Нѣтъ надобности доказывать, что для такой льготы не существуетъ никакого разумнаго основанія—но устранить ее, при настоящихъ условіяхъ, до крайности трудно. Можно было бы, конечно, установить, чтобы уплата процентовъ по частному займу совершалась каждый разъ съ вѣдома того или другого присутственнаго мѣста или

должностного лица, которому должникъ и вносилъ бы при этомъ опредѣленную закономъ сумму, зачитая ее въ счетъ процентовъ; но какъ обезпечить исполненіе такого правила? Санкціей его могла бы служить, повидимому, недѣйствительность уплаты, сдѣланной безъ его соблюденія, т.-е. признаніе такой уплаты какъ бы несостоявшеюся, и предоставленіе кредитору возможности вторично требовать процентовъ; но это значило бы поощрять безнравственность и наказывать одну изъ сторонъ за обходъ закона, допущенный обѣими. Можно было бы, съ другой стороны, взимать налогъ съ процентовъ, взыскиваемыхъ по суду—но при такомъ порядкѣ уплата или неуплата налога зависѣла бы отъ случайнаго обстоятельства, т.-е. отъ неисправности должника, и необложенными оставались бы, притомъ, тѣ проценты, которые вычитаются изъ капитальной суммы при самой ссудѣ ея должнику. Положить конецъ привилегіи, явно анормальной, и вмѣстѣ съ тѣмъ привлечь къ обложенію всѣ другіе доходы, остающіеся пока свободными отъ налога (напр., доходъ профессіональный—литературный, адвокатскій, докторскій и т. п.), можно только однимъ путемъ: установленіемъ подоходнаго налога. Чѣмъ ближе къ нему подходитъ законодатель, тѣмъ живѣе чувствуется и сознается его необходимость. Частными мѣрами можно ограничиться на время, но на нихъ, очевидно, нельзя остановиться. Вполнѣ справедливымъ подоходный налогъ можетъ быть только подъ условіемъ прогрессивности—а это начало не можетъ быть осуществлено, пока предметомъ обложенія служатъ только нѣкоторые отдѣльные виды доходовъ. Возьмемъ, для примѣра, вновь проектированный сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Взимаемый съ процентныхъ бумагъ независимо отъ того, кому онѣ принадлежатъ [1]), онъ не можетъ быть согласованъ съ степенью состоятельности владѣльцевъ; сторублевый билетъ, составляющій все достояніе бѣднякa, облагается тѣми же пятью процентами, какъ и масса различныхъ бумагъ, образующая только часть одного милліоннаго богатства. Мы не утверждаемъ, впрочемъ, чтобы введеніе прогрессивнаго подоходнаго налога сдѣлало излишнимъ установляемый теперь сборъ съ процентныхъ бумагъ; онъ долженъ остаться въ силѣ уже потому, что только съ его помощью можно привлечь къ обложенію иностранцевъ, владѣющихъ нашими процентными бумагами. По отношенію къ русскимъ подданнымъ сборъ съ процентныхъ бумагъ долженъ сдѣлаться, при существованіи подоходнаго налога, составною его частью, принимаемою въ разсчетъ

[1]) Проценты съ капиталовъ, составляющихъ собственность ученыхъ, учебныхъ, богоугодныхъ и благотворительныхъ учрежденій, а также эмеритальныхъ кассъ, подлежатъ сбору на общемъ основаніи, но всѣмъ этимъ учрежденіямъ предоставлено получать обратно взысканный сборъ.

при опредѣленіи цифры платежа, упадающаго на каждаго плательщика [1]).

Около мѣсяца тому назадъ обнародована во всеобщее свѣденіе инструкція чинамъ инспекціи по надзору за исполненіемъ постановленій о малолѣтнихъ, работающихъ на заводахъ, фабрикахъ и мануфактурахъ. Само собою разумѣется, что она не могла ни въ чемъ измѣнить или существенно дополнить законы 1 іюня 1882 и 12 іюня 1884 г.; нѣкоторыя ея статьи не лишены, однако, общаго интереса. Для того, чтобы уменьшить неудобства, сопряженныя съ малочисленностью чиновъ инспекціи (на пятьдесятъ-восемь губерній—одинъ главный инспекторъ, девять окружныхъ инспекторовъ и десять ихъ помощниковъ), инструкція назначаетъ мѣстомъ пребыванія инспектора и его помощника два различные города одного и того же округа; такъ, напримѣръ, инспекторъ московскаго округа долженъ жить въ Москвѣ, его помощникъ — въ Калугѣ, инспекторъ казанскаго округа — въ Казани, его помощникъ — въ Перми. Это распоряженіе совершенно основательно, но работа чиновъ инспекціи все-таки остается слишкомъ громадной и въ полномъ своемъ размѣрѣ неисполнимой—особенно работа инспекторовъ, обязанныхъ, по инструкціи, наблюдать за фабриками и въ районѣ, спеціально ввѣренномъ помощнику инспектора. Статья инструкціи, предписывающая чинамъ инспекціи посѣщать фабрики какъ можно чаще, не можетъ быть названа иначе, какъ мертвой буквой. Когда чинами инспекціи обнаружено нарушеніе закона, подлежащее уголовному преслѣдованію, они сами должны являться обвинителями передъ судомъ; поручить обвиненіе мѣстной полиціи инструкція разрѣшаетъ имъ только въ „крайнихъ случаяхъ“, при занятіи „другими, не терпящими отлагательства дѣлами“. На долю каждаго представителя инспекціи приходится теперь, среднимъ числомъ, по три губерніи; какимъ же образомъ онъ будетъ совмѣщать разъѣзды для осмотра фабрикъ съ разъѣздами для поддержки предъявленныхъ имъ уголовныхъ обвиненій? Припомнимъ, что дѣла этого рода подсудны, большею частью, мировымъ судьямъ, которыхъ въ трехъ губерніяхъ можетъ быть до полутораста и болѣе, и до которыхъ не всегда легко и добраться—и мы увидимъ, что инструкція требуетъ невозможнаго, вопреки французской поговоркѣ: à l'impossible nul n'est tenu. На практикѣ чинамъ инспекціи будетъ предстоять, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, слѣдующая дилемма: или вовсе не воз-

[1]) Возможность и цѣлесообразность прогрессивнаго подоходнаго налога, слагающагося изъ цѣлой системы частныхъ подоходныхъ налоговъ, вполнѣ выяснены въ статьѣ г. Исаева: „Пропорціональные или прогрессивные налоги?“ („Юридическій Вѣстникъ“ 1885 г. № 4), рекомендуемой нами вниманію читателей.

буждать уголовныхъ дѣлъ, или поручать веденіе ихъ, съ самаго начала, мѣстной полиціи. Послѣднее сплошь и рядомъ будетъ равносильно первому, потому что отъ полиціи, безъ того обремененной разнороднѣйшими обязанностями, нельзя ни ожидать, ни требовать энергичнаго преслѣдованія фабричныхъ правонарушеній. Единственный исходъ изъ этого положенія, уже много разъ указанный нами, это—усиленіе состава инспекціи мѣстными агентами, въ особенности изъ среды земскаго и городского самоуправленія; издержекъ это потребуетъ весьма немного, а между тѣмъ, дастъ инспекціи возможность дѣйствительно и повсемѣстно исполнять свое призваніе. Необходимо имѣть въ виду и то обстоятельство, что не всегда же кругъ дѣйствій инспекціи будетъ ограниченъ попеченіемъ о малолѣтнихъ рабочихъ. Уже теперь инструкція уполномочиваетъ и обязываетъ чиновъ инспекціи обращать вниманіе и на такія нарушенія закона, которыя не имѣютъ прямого отношенія къ работѣ малолѣтнихъ (напримѣръ, нарушенія уставовъ строительнаго, пожарнаго и т. п.). Правда, они могутъ только сообщать свои замѣчанія по этому предмету подлежащей полицейской власти, не дѣлая отъ себя никакихъ распоряженій—но такое положеніе дѣлъ слишкомъ ненормально, чтобы быть продолжительнымъ; рано или поздно надзоръ за фабриками долженъ перейти всецѣло въ вѣденіе инспекціи. Увеличить ея составъ настолько, чтобы она могла одна справиться съ подобной задачей, значило бы назначить по инспектору чуть не на каждый уѣздъ, т.-е. прибавить новый батальонъ къ слишкомъ многочисленной уже и безъ того арміи чиновниковъ. Не лучше ли теперь же призвать на помощь инспекціи представителей общества, стоящихъ близко къ дѣлу и готовыхъ посвятить ему часть своего досуга? Наблюдая за фабриками, расположенными въ ихъ сосѣдствѣ, и сообщая инспекціи результатъ своихъ наблюденій, они могли бы, вмѣстѣ съ тѣмъ, поддерживать передъ мировыми судьями обвиненія, возбужденныя инспекторомъ или его помощникомъ.

Безъ значительнаго усиленія личныхъ средствъ, которыми располагаетъ фабричная инспекція, невозможенъ успѣхъ фабричной реформы, какъ бы широка и радикальна она ни была на бумагѣ. Самые опасные враги реформы — это тѣ, которые признаютъ, повидимому, ея неотложность, но стараются доказать, что для осуществленія ея достаточно одной полиціи и вовсе не нужно „особаго начальства“, т.-е. инспекціи. Такова основная мысль „бывшаго фабриканта“, статья котораго: „по фабричному вопросу“ напечатана въ № 100 „Московскихъ Вѣдомостей“. Автору не нравятся отчеты инспекторовъ московскаго и владимірскаго, гг. Янжула и Пескова; его поражаетъ „односторонность“ высказанныхъ ими воззрѣній. „На каждой строкѣ от-

четовъ,—говоритъ онъ, — чувствуется, что составителямъ ихъ несравненно понятнѣе иностранныя законодательства и условія жизни рабочихъ, чѣмъ быть рабочимъ у насъ". Изъ враждебнаго пріема, встрѣченнаго инспекторами со стороны нѣкоторыхъ (далеко не всѣхъ) фабрикантовъ, выводится неожиданное заключеніе, что „новая власть не съумѣла себя поставить въ правильныя отношенія къ фабрикантамъ, и что отъ расширенія круга обязанностей едва ли можно ожидать пользы". Пользы для кого? Если для фабрикантовъ, руководившихся до сихъ поръ правиломъ: „ндраву моему не препятствуй",— то авторъ совершенно правъ; но для рабочихъ польза отъ новой власти тѣмъ больше вѣроятна, чѣмъ менѣе дружелюбно отнеслось къ этой власти большинство фабрикантовъ. Все сочувствіе господина „бывшаго фабриканта" принадлежитъ полиціи, лишь бы только ее какъ слѣдуетъ держалъ въ рукахъ губернаторъ. Допустимъ, что пристрастіе полиціи къ фабрикантамъ не составляетъ неизбѣжнаго зла, что оно можетъ быть устранено тщательнымъ выборомъ лицъ и бдительнымъ за ними надзоромъ; но этого еще мало—нужно умѣнье, нужны спеціальныя знанія, нужна возможность сосредоточиться на одномъ предметѣ и отдаться ему всецѣло. Мы желали бы видѣть того полицейскаго чиновника, который былъ бы въ состояніи написать что-нибудь въ родѣ отчета г. Янжула или г. Пескова. Обладай онъ даже всѣми нужными для того личными качествами, ему не хватило бы, во всякомъ случаѣ, двухъ существенно важныхъ условій—времени и пространства: онъ не могъ бы заняться изученіемъ фабрикъ, оставляя въ сторонѣ все остальное, и не имѣлъ бы достаточно матеріаловъ для сравненій и обобщеній, вслѣдствіе тѣсноты отведеннаго ему района. Фабричная инспекція необходима, между прочимъ, именно потому, что ея представителями могутъ быть люди широко образованные и исключительно преданные своему дѣлу. „Односторонни" ли воззрѣнія гг. Янжула и Пескова, знакомы ли имъ условія русскаго фабричнаго быта—объ этомъ мы говорить не станемъ; нашимъ читателямъ давно уже извѣстно содержаніе обоихъ отчетовъ, непріятныхъ г. „бывшему фабриканту". Замѣтимъ только, что мы не встрѣчали до сихъ поръ въ печати ни одного указанія, которымъ бы опровергалась или заподозривалась точность фактическихъ данныхъ, приведенныхъ гг. Янжуломъ и Песковымъ.

Главная цѣль инструкціи—возможно большая охрана интересовъ малолѣтнихъ рабочихъ. Такъ, напримѣръ, она устанавливаетъ, что всякій малолѣтній свыше шести лѣтъ, находящійся въ рабочемъ помѣщеніи фабрики во время ея дѣйствія, признается работающимъ на этой фабрикѣ — устраняя, такимъ образомъ, цѣлый рядъ отговорокъ и неосновательныхъ оправданій; она возлагаетъ на запѣдывающаго

фабрикой отвѣтственность за допущеніе къ работѣ дѣтей неузаконеннаго возраста, хотя бы они были привлечены къ работѣ не отъ имени хозяина фабрики, а взрослыми рабочими, въ качествѣ помощниковъ; она предписываетъ удалять съ фабрики такихъ малолѣтнихъ рабочихъ, которые хотя и достигли узаконеннаго возраста, но оказываются больными, болѣзненными или, по недостаточному физическому развитію, неспособными къ исполненію порученной имъ работы. Чѣмъ лучше намѣренія инструкціи, тѣмъ больше бросаются въ глаза препятствія, встрѣчаемыя ею въ неполнотѣ и нерѣшительности дѣйствующаго закона. Особый отдѣлъ инструкціи посвященъ исполненію постановленій о школьномъ обученіи малолѣтнихъ рабочихъ—и все-таки оно остается, въ сущности, ничѣмъ не обезпеченнымъ, за отсутствіемъ надлежащей санкціи, создать которую инструкція безсильна. Чинамъ инспекціи вмѣняется въ обязанность „прилагать возможное стараніе“ къ устройству школъ при фабрикахъ, пользующихся работою значительнаго числа малолѣтнихъ. Если это стараніе останется безуспѣшнымъ—а средствъ къ достиженію успѣха чинамъ инспекціи не дано никакихъ,—усилія инспекціи должны быть направлены къ тому, чтобы приспособить для обученія малолѣтнихъ рабочихъ существующія уже въ окрестностяхъ фабрики (на разстояніи не болѣе двухъ верстъ) начальныя училища; если и это окажется невозможнымъ, инспекція ходатайствуетъ передъ мѣстнымъ учебнымъ начальствомъ объ устройствѣ для малолѣтнихъ особыхъ училищъ. Ну, а если инспекцію и здѣсь постигнетъ неудача? Что дѣлать дальше? На это инструкція не даетъ—и не можетъ дать—никакого отвѣта. На практикѣ результатъ многолѣтнихъ стараній, усилій и ходатайствъ сплошь и рядомъ будетъ отрицательный, пока фабрикантамъ не будетъ предложена слѣдующая альтернатива: или безотлагательное предоставленіе малолѣтнимъ рабочимъ возможности посѣщать школу, или запрещеніе пользоваться ихъ работой. Законъ, исполненіе котораго зависитъ отъ доброй воли частныхъ лицъ, перестаетъ быть закономъ; онъ необходимо требуетъ дополненія, которое сдѣлало бы его обязательнымъ не только по имени, но и на самомъ дѣлѣ. Удобный моментъ для такого дополненія наступилъ именно теперь, въ виду разработки особою коммиссіею вопроса объ отношеніяхъ между фабрикантами и рабочими. Судя по слухамъ, занятія этой коммиссіи приближаются къ концу; законопроектъ, ею составляемый или составленный, обнимаетъ собою, между прочимъ, регулированіе штрафовъ, упорядоченіе разсчетовъ, обузданіе злоупотребленій съ харчами, отмѣну ночныхъ работъ для женщинъ и дѣтей. Крайне страннымъ и мало правдоподобнымъ кажется намъ газетное извѣстіе о томъ, будто бы та же коммиссія проектируетъ учрежденіе

смѣшанныхъ губернскихъ комитетовъ, подъ предсѣдательствомъ губернатора, для разбора дѣлъ по нарушеніямъ фабричныхъ законовъ, съ правомъ подвергать какъ рабочихъ, такъ и фабрикантовъ, тюремному заключенію. Мы понимаемъ, что чинамъ инспекціи можетъ быть дано право подвергать фабрикантовъ и рабочихъ небольшимъ денежнымъ штрафамъ, на томъ же основаніи и въ томъ же порядкѣ, какъ это дѣлаютъ, въ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ, нѣкоторые другіе органы казеннаго управленія; но устройство какого-то административнаго суда, облеченнаго обширною карательною властью, было бы явнымъ и совершенно ненужнымъ нарушеніемъ судебныхъ уставовъ. Достигнуть быстроты рѣшенія, когда она особенно необходима, вполнѣ возможно и безъ отступленія отъ общихъ законовъ о подсудности; достаточно постановить, что дѣла о проступкахъ противъ фабричнаго законодательства слушаются внѣ очереди, какъ въ мировыхъ учрежденіяхъ, такъ и въ окружныхъ судахъ и судебныхъ палатахъ.

Твердо, хотя и медленно—слишкомъ медленно—подвигаясь впередъ въ вопросахъ податномъ и фабричномъ, министерство финансовъ отступаетъ въ вопросѣ тарифномъ, все болѣе и болѣе склоняясь на сторону протекціонизма. Въ мартѣ мѣсяцѣ состоялось обложеніе пошлиной — въ 50 коп. золот. съ пуда—сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій (безъ паровыхъ двигателей), изъ-за которыхъ такъ долго шла борьба между обоими противоположными лагерями; въ томъ же мѣсяцѣ, если вѣрить „Московскимъ Вѣдомостямъ“ (№ 98), внесенъ въ Государственный Совѣтъ проектъ измѣненія таможенныхъ пошлинъ на желѣзо, повышающій пошлину на сортовое желѣзо съ 40 до 46, на листовое желѣзо — съ 55 до 75 копѣекъ. Правда, въ томъ же проектѣ предположено понизить пошлину на мелкосортное желѣзо съ 1 р. 10 коп. до 60 коп.; но это пониженіе было признано необходимымъ, въ принципѣ, самими производителями желѣза. Разногласіе между ними и министерствомъ финансовъ касается только размѣра пониженія, которое они полагали ограничить 35 коп., а министерство доводитъ до 50. Весьма любопытны разсужденія по этому предмету главнаго органа протекціонистовъ — „Московскихъ Вѣдомостей“. „Чего предполагаетъ достигнуть проектъ,—восклицаетъ газета,—предлагая понизить пошлину на мелкосортное желѣзо на 15 коп. съ пуда противъ размѣровъ, признаваемыхъ необходимыми для огражденія внутренняго производства этого сорта желѣза отъ иностранной конкурренціи?.. Если нѣтъ желанія убивать быстро развивающееся въ Россіи производство мелкосортнаго желѣза, то зачѣмъ же назначать на этотъ сортъ желѣза пошлину въ размѣрахъ, вредныхъ для

производства? Быть можетъ въ непродолжительное время, при новыхъ успѣхахъ, достигнутыхъ этимъ производствомъ въ Россіи, сами производители найдутъ возможнымъ безъ убытка для производства понизить пошлину до размѣровъ, предлагаемыхъ теперь проектомъ". Мнѣніе производителей возводится здѣсь на степень того „учительскаго слова" (verba magistri), которымъ клянутся вѣрнопреданные ученики; что сказано фабрикантами, то принимается и поддерживается безъ всякой дальнѣйшей повѣрки—и такое же послушаніе вмѣняется въ обязанность министерству финансовъ. Министерство, въ глазахъ черезъчуръ усердныхъ слугъ протекціонизма, является не чѣмъ инымъ, какъ исполнителемъ чужихъ рѣшеній; оно должно приступать къ пониженію пошлины лишь тогда и лишь настолько, когда и насколько это будетъ разрѣшено гг. производителями, играющими роль судей въ собственномъ дѣлѣ. До осуществленія этихъ pia desideria протекціонистовъ, къ счастію, еще далеко—но весьма характеристично уже самое выраженіе ихъ въ столь откровенной и беззастѣнчивой формѣ.

21-го апрѣля, опубликованъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" Высочайшій рескриптъ дворянству по поводу столѣтней годовщины Екатерининской дворянской грамоты. Окончательно рѣшенъ настоящимъ рескриптомъ одинъ вопросъ—объ учрежденіи спеціально-дворянскаго земельнаго банка, которымъ, вѣроятно, будетъ замѣненъ проектированный министерствомъ финансовъ государственный земельный банкъ. Реформа же земско-административная, въ смыслѣ извѣстныхъ намъ дворянскихъ ходатайствъ и пожеланій, повидимому, не предрѣшена, потому что въ рескриптѣ идетъ рѣчь только о *сохраненіи* за дворянствомъ, а не о *дарованіи* ему или обезпеченіи за нимъ первенствующаго мѣста въ дѣлахъ мѣстнаго управленія и суда. Въ способахъ пріобрѣтенія дворянскаго достоинства также не сдѣлано никакой перемѣны.

ПИСЬМА ИЗЪ МОСКВЫ.

14-го апрѣля 1885.

Въ то время какъ одинъ изъ нашихъ маститыхъ писателей направился къ художественному воспроизведенію бѣдствій жизни, которыя гнѣздятся въ нашихъ московскихъ трущобахъ, эти самыя трущобы вдругъ стали предметомъ величайшаго вниманія со стороны городского самоуправленія, но не по чувству христіанскаго милосердія, а изъ эгоистическаго страха, связаннаго съ ожиданіемъ холеры. Этотъ страхъ впервые далъ себя знать еще прошлымъ лѣтомъ, и тогда уже закипѣла дѣятельность санитарныхъ попечителей, избранныхъ Думою изъ числа гласныхъ, и двадцати санитарныхъ врачей, приглашенныхъ за вознагражденіе. Трудно сказать, что выйдетъ изъ дѣятельности собственно санитарныхъ попечителей. Не подлежитъ пока сомнѣнію одна ихъ необычная ревность, но не видно въ ихъ дѣйствіяхъ какого либо обдуманнаго плана. Тутъ и тамъ стараніями попечителей закрываются зловредные стоки, устроенные изъ частныхъ владѣній въ рѣку; однако, задержанныя такимъ образомъ нечистоты начинаютъ безнаказанно догнивать на открытомъ воздухѣ, и лежатъ разбросанныя по дворамъ внутри города. Ночлежные дома переписываются и описываются со всею тщательностью, и строятся грандіозные проекты объ устройствѣ образцовыхъ ночлежныхъ пріютовъ; но во владѣніи самихъ санитарныхъ попечителей оказываются зданія съ двухъ-ярусными подвалами, съ полнымъ отсутствіемъ свѣта въ нижнихъ ярусахъ, недоступныя ни для кого изъ санитаровъ. Спускъ нечистотъ въ рѣку, путемъ потайныхъ трубъ, возбуждаетъ преслѣдованія, а между тѣмъ, на виду у всѣхъ процвѣтаетъ систематическое отравленіе Москвы-рѣки многочисленными фабриками и учрежденіями, и въ этой сферѣ всякіе протесты оказываются или неуспѣшными, или даже вовсе неумѣстными. Да къ чему говорить только о спускахъ? Въ дѣлѣ отравленія рѣки у насъ существуетъ фактъ, несравненно болѣе выдающійся. Въ теченіе каждой зимы въ Москву-рѣку подъ видомъ чистаго снѣга сваливаются съ дворовъ и улицъ сотни тысячъ, если не милліоны, пудовъ несомнѣнно навоза—и продѣлывается все это подъ ближайшимъ и „строжайшимъ“ наблюденіемъ кого слѣдуетъ. Съ наступленіемъ весны, когда ледъ и снѣгъ нѣсколько подтаятъ, уже не въ первый разъ глазамъ москвичей открывается отвратительнѣйшее зрѣлище. Вдоль всей набережной рѣки, по обоимъ берегамъ ея, въ самомъ центрѣ города лежатъ горы грязи и навоза, толстою пеленою

покрывающія каменную настилку набережныхъ; а потомъ весенній разливъ подхватываетъ ихъ на свое могучія плечи и несетъ внизъ по теченію, оставляя на днѣ рѣки не мало органическихъ осадковъ, благопріятствующихъ развитію различныхъ эпидемій. Какъ видно, мы все еще расположены чистить свои авгіевы конюшни по способу, указанному Геркулесомъ, да можетъ быть такой классическій способъ наиболѣе къ лицу Бѣлокаменной, пріютившей въ своихъ стѣнахъ наиболѣе крѣпкихъ столповъ классицизма. Усовершенствованные способы намъ не удаются. Такъ, недавно мы потерпѣли новое фіаско по вопросу о водоснабженіи. Сколько времени было потрачено на обсужденіе этого предмета, сколько энергіи ушло на то, чтобы разрушить предположеніе думской коммиссіи о постройкѣ водопровода на собственныя средства города! Не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ Думѣ пришлось выслушать категорическій отказъ частныхъ предпринимателей, мотивированный неудобоисполнимостью условій, поставленныхъ имъ городомъ. И теперь придется вновь: или измѣнять условія, или самимъ взяться за дѣло, которое съ такою предупредительностью мы хотѣли сдѣлать предметомъ частной аферы.

Но пока мы толкуемъ лишь о ночлежныхъ домахъ, опасаясь, что именно тамъ-то и зародится столь страшная для насъ холера. Эти толки, впрочемъ, не совсѣмъ новые: по справкѣ оказывается, что отъ роду имъ ровно двадцать-одинъ годъ. Въ 1864 году, по почину полиціи, возникъ вопросъ о состояніи ночлежныхъ пріютовъ, а въ 1885 году онъ, можетъ быть, будетъ приведенъ къ достодолжному разрѣшенію. Въ теченіе этого времени частная благотворительность въ лицѣ братьевъ Ляпиныхъ успѣла воздвигнуть безплатный ночлежный пріютъ, который вмѣщаетъ въ себѣ болѣе тысячи ночлежниковъ и является единственнымъ, сколько-нибудь удовлетворительнымъ учрежденіемъ этого рода. Близъ знаменитаго Хитрова рынка возвышается новый четырехъэтажный кирпичный корпусъ, нижній этажъ котораго отданъ подъ контору и женское отдѣленіе, а въ трехъ верхнихъ расположено мужское отдѣленіе. Сухой домъ, большія окна, бетонный полъ, центральное отопленіе, искусственныя вентиляціи, стѣны и нары, окрашенныя газовою смолою, нѣкоторые признаки дезинфекціи, безъ всякаго, однако, контроля надъ здоровьемъ приходящихъ посѣтителей, безъ какихъ либо предосторожностей противъ распространенія заразительныхъ болѣзней, такова—внѣшняя сторона этого учрежденія. При переполненіи дома ночлежниками приходится воздуха не болѣе одной кубической сажени на четырехъ ночлежниковъ. Въ низкой и сырой мѣстности, заливаемой иногда разливомъ рѣки Москвы, расположенъ другой ночлежный пріютъ, устроенный самимъ городомъ. Онъ занимаетъ три старыя кирпичныя постройки, съ сырымъ подвальнымъ

помѣщеніемъ, деревянными полами, и съ самаго возникновенія своего служитъ разсадникомъ тифа и возвратной горячки. Однако, внутренняя дисциплина, водворенная въ этомъ домѣ, создала ему благопріятную репутацію среди пришлаго сельскаго населенія, такъ что, по засвидѣтельствованію думской коммиссіи, крестьяне, пріѣзжающіе въ Москву съ разными продуктами для продажи, оставляютъ свои воза сторожамъ на постоялыхъ дворахъ и появляются въ числѣ ночлежниковъ городского пріюта, удаляясь отъ разгула, царствующаго на постоялыхъ дворахъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи городской пріютъ составляетъ счастливое исключеніе въ своей области; въ остальныхъ, частныхъ ночлежныхъ домахъ, гдѣ ночлежники имѣютъ дѣло съ съемщиками отдѣльныхъ квартиръ, царятъ нравы, наиболѣе обычные въ помѣщеніяхъ этого рода. Укрывательство завѣдомо краденаго и руководительство воровствомъ, корчемство и содержаніе тайныхъ притоновъ разврата, торговля паспортами, ростовщичество и всякаго рода барышничество, находятъ себѣ главныхъ представителей въ лицѣ сказанныхъ съемщиковъ. Санитарныя условія частныхъ ночлежныхъ пріютовъ — самыя плачевныя. Изъ осмотра 167 квартиръ, вмѣщающихъ слишкомъ шесть тысячъ платныхъ посѣтителей (по 5 и по 3 коп. за ночлегъ), оказалось, что большинство изъ нихъ занимаютъ одну комнату, меньшинство двѣ, три и болѣе. Нары расположены безъ всякаго порядка, будучи устроены вездѣ, гдѣ представляется къ тому возможность, нигдѣ не окрашены и не раздѣлены перегородками на отдѣльныя мѣста. Ночлежники вынуждены ложиться очень тѣсно другъ къ другу, безъ различія возрастовъ и половъ; ложатся также сплошь на полу, не оставляя на немъ пустого мѣста. Подстилками имъ служатъ грязныя рогожи и дерюги; вентиляціи не существуетъ никакой, если не считать форточекъ, почти никогда не раскрываемыхъ въ интересахъ сохраненія тепла; грязь покрываетъ все сплошною массою; всѣ необходимыя принадлежности содержатся крайне неопрятно,. на дезинфекцію не существуетъ и намека. Количество воздуха, которое здѣсь приходится на каждаго ночлежника, рѣдко подымается выше половины кубической сажени и напротивъ часто спускается до одной пятой. Между тѣмъ, годовая плата, вносимая квартирохозяевами домовладѣльцамъ, равняется двадцати-пяти рублямъ за кубическую сажень, тогда какъ та же плата въ хорошихъ барскихъ квартирахъ и въ лучшихъ частяхъ города колеблется между десятью и пятнадцатью рублями. Отвратительное помѣщеніе ночлежнаго дома цѣнится домовладѣльцами вдвое дороже, чѣмъ равная ему по величинѣ удобная хорошо отдѣланная квартира для состоятельнаго семейства!

Въ такой-то грязи жило и живетъ московское бродячее населеніе

Гг. санитарнымъ врачамъ Дума обязана своимъ ознакомленіемъ съ этою грязью и въ особенности санитарному врачу г. Дувакину. Докладъ врачей, повидимому, смутилъ управу, такъ что она не медля внесла въ Думу предложеніе о немедленномъ устройствѣ временныхъ лѣтнихъ бараковъ на 4,500 человѣкъ, стоимостью 40,000 рублей, объ установленіи обязательныхъ постановленій для всѣхъ вообще ночлежныхъ квартиръ и объ устройствѣ четырехъ ночлежныхъ домовъ стоимостью въ триста тысячъ рублей. Коммиссія о пользахъ и нуждахъ общественныхъ, вся состоящая изъ представителей „черной сотни", отвѣтила на это еще болѣе широкими предположеніями; но потомъ въ самой Думѣ дѣло какъ-то замялось, и пока ограничились ассигнованіемъ всего 15,000 рублей на лѣтніе бараки. Оптимисты вообще надѣются, что вступленіе въ должность новаго городского головы оживитъ думскую и управскую дѣятельность и подвинетъ впередъ городское хозяйство. Такая надежда можетъ раздѣляться лишь тѣми, кто не обращаетъ вниманія на общія условія думской дѣятельности.

Образованное общество занято въ настоящую минуту передвижною выставкою, представленіями мейнингенцевъ, публичными лекціями и нѣсколькими выдающимися, одинъ за другимъ слѣдующими уголовными процессами. Съ передвижной выставки, по распоряженію властей, снята извѣстная картина Рѣпина, впрочемъ, уже послѣ того, какъ многія тысячи посѣтителей успѣли съ нею ознакомиться. На публичныхъ лекціяхъ особое вниманіе привлекъ въ послѣднее время И. И. Ивановъ, профессоръ петровской земледѣльческой академіи, прочитавшій свою лекцію дважды. Предметомъ своего чтенія онъ избралъ пессимизмъ современнаго общества. По мнѣнію лектора, современное образованное общество не удовлетворено экономическимъ положеніемъ народныхъ массъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сознаетъ, что измѣненія къ лучшему не могутъ слѣдовать быстро и въ недалекомъ будущемъ; отсюда—пессимизмъ, усиливающійся еще болѣе въ виду кажущихся успѣховъ реакціи. Неудовлетворенное состояніе общества существовало въ первыя времена христіанства, также—во время французской революціи; однако, тогда сторонники новыхъ идеаловъ не впадали въ пессимизмъ, потому что слѣпо вѣрили въ быстрое торжество новаго порядка вещей. У насъ нѣтъ такой вѣры; но лекторъ предостерегаетъ слушателя отъ преувеличенной оцѣнки значенія реакціи и въ ожиданіи лучшихъ временъ приглашаетъ къ нравственной работѣ надъ самимъ собою, опираясь въ этомъ случаѣ на авторитетъ К. Д. Кавелина. Имя этого послѣдняго мыслителя слышится здѣсь часто. Его „Задачи этики" задѣли, какъ видно, мыслящую часть публики за живое, и здѣсь, въ Москвѣ, были въ различныхъ кружкахъ предметомъ многихъ рефератовъ и оживленныхъ преній. Одни за

другою вскрываются темныя стороны нашей общественной жизни и по-неволѣ обращаютъ къ вопросамъ нравственности. Уголовные процессы, о которыхъ я замѣтилъ выше, не лишены такого значенія. Предъ лицомъ суда мы видѣли маститаго предводителя дворянства, который въ увлеченіи борьбы съ купеческою партіею своего уѣзда допустилъ явныя неправильности на избирательномъ съѣздѣ землевладѣльцевъ; мы видѣли тамъ же представителей купеческаго элемента, которые въ увеличеніи борьбы съ дворянствомъ не разбирали средствъ, низвергая невыборомъ своихъ противниковъ. Предводитель дворянства обвинялся въ томъ, что открывалъ избирательные съѣзды втихомолку отъ избирателей-купцовъ; купеческіе „молодцы“ привлекались къ суду за попытку купить избирателей уѣзда за счетъ хозяйскаго кармана. На скамьѣ подсудимыхъ мы наблюдали также ловкую интриганку, которая, занявъ въ аристократической семьѣ мѣсто воспитательницы, обворовала свою воспитанницу. Поджогъ—также видная тэма современнаго разговора. Ужасный пожаръ дома Хоткевича, въ которомъ погибло болѣе двадцати человѣкъ, слѣдуетъ, какъ говорятъ, тоже приписать поджогу, и, если такъ, то хроника нашего уголовнаго суда обогатится еще однимъ знаменитымъ дѣломъ. Прошло предъ судомъ вновь и знаменитое дѣло дѣтей—Мельницкихъ, въ которомъ присяжные второго состава повторили вердиктъ своихъ предшественниковъ. Такая, нужно думать, не случайная послѣдовательность нашего жюри не умѣритъ, конечно, злобы, которою проникнуты къ нему „охранительные“ органы. Столпъ московской охранительной печати уже дважды аргументировалъ противъ суда присяжныхъ математическими выкладками, оказавшимися при ближайшемъ разборѣ ихъ произведеніемъ замѣчательнаго невѣжества. Теперь та же аргументація опирается на циркуляръ одного губернатора, рекомендовавшаго своимъ подчиненнымъ открытое неуваженіе къ судебнымъ приговорамъ. Итакъ, близкая къ намъ провинція опередила Москву. Здѣсь лишь негласнымъ путемъ давали чувствовать, что и на судъ бываетъ управа; тамъ же не задумались предъ открытымъ походомъ администраціи противъ суда.

Въ короткое время въ московскомъ округѣ сошли въ могилу одинъ за другимъ выдающіеся дѣятели крестьянской реформы. Въ рязанской губерніи скончались князь Волконскій и Офросимовъ, во Владимірѣ—Смирновъ. Послѣ каждаго изъ нихъ остались интересные матеріалы, судьба которыхъ пребываетъ въ неопредѣленности. Какъ-разъ въ здѣшнемъ юридическомъ обществѣ, по иниціативѣ г. Скалона, возбужденъ вопросъ о собираніи и изданіи матеріаловъ для исторіи крестьянской реформы; этою работою думаютъ ознаменовать близящееся двадцатипятилѣтіе величайшаго акта прошлаго царствованія. Остается

пожелать только, чтобы юридическому обществу удалось привлечь матеріальныя средства для выполненія широко задуманнаго предпріятія. По этому поводу невольно припоминается случай, который показываетъ, какъ самое простое дѣло глохнетъ при прочихъ благопріятныхъ условіяхъ, если оно не попадаетъ въ энергичныя руки. Лѣтъ шесть тому назадъ въ обществѣ сельскаго хозяйства возникла мысль основать въ Москвѣ центральную земскую библіотеку, въ которой были бы сосредоточены изданія всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ земствъ; тогда же покойный Кошелевъ, обѣщавъ на это предпріятіе десять тысячъ рублей, предложилъ здѣшней публичной библіотекѣ при Румянцовскомъ музеѣ принять на себя осуществленіе задуманнаго учрежденія. Но директоръ музея отнесся къ предложенію самымъ холоднымъ образомъ, такъ что все дѣло заглохло при самомъ его началѣ, хотя въ рукахъ его начинателей уже находилась значительная коллекція земскихъ изданій. Потомъ эта коллекція вновь разошлась по отдѣльнымъ рукамъ, и никто больше не думалъ объ учрежденіи, во всякомъ случаѣ не безполезномъ.

W z.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е мая, 1885.

Перспектива войны съ Англіею.—Особенности настоящаго кризиса.—Рѣчь Гладстона въ палатѣ общинъ, при требованіи кредита на военныя надобности.—Русскій отвѣтъ на депешу генерала Лемсдена.—Какой смыслъ для Россіи имѣла бы война съ Англіею, при современномъ положеніи дѣлъ въ Европѣ?—Увлеченія печати.—Паденіе Жюля Ферри во Франціи, и новое министерство Бриссона.

Многое измѣнилось въ международныхъ дѣлахъ Европы въ теченіе послѣдняго мѣсяца. Дипломатическіе и газетные споры, о которыхъ мы говорили въ прошломъ обозрѣніи, разрѣшились неожиданнымъ столкновеніемъ между русскими и афганскими войсками,—столкновеніемъ, поставившимъ насъ лицомъ къ лицу съ кровавымъ призракомъ войны. Изъ мелкихъ случайностей выростаютъ нерѣдко крупныя событія, независимо отъ сознательной воли руководящихъ лицъ; самая возможность разрыва съ Англіею, въ виду несомнѣннаго миролюбія обоихъ правительствъ, служитъ нагляднымъ доказательствомъ шаткости европейскаго мира при современныхъ политическихъ условіяхъ. Еслибъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ мы задали себѣ вопросъ: съ кѣмъ предстоитъ намъ борьба въ ближайшемъ будущемъ?—то едва ли кто указалъ бы серьезно на Англію, управляемую Гладстономъ. Точно также и для англичанъ казалось бы весьма неправдоподобнымъ вооруженное столкновеніе съ Россіею послѣ неудачъ въ Египтѣ, колоніальныхъ пререканій съ Германіею и глухихъ несогласій съ Франціею. А теперь англійскій парламентъ рукоплещетъ намекамъ на военную развязку англо-русскаго спора и назначаетъ единогласно, безъ преній, одиннадцать милліоновъ фунтовъ стерлинговъ (болѣе 110 милл. рублей) на чрезвычайныя военныя надобности. Министерство, считавшееся обреченнымъ на отставку послѣ паденія Хартума, пользуется уже безусловною поддержкою парламентскаго большинства и твердо опирается на общественное мнѣніе страны, безъ различія партій, въ виду угрожающихъ международныхъ обстоятельствъ.

Чѣмъ объяснить эту внезапную перемѣну въ положеніи дѣлъ? Существовалъ ли серьезный поводъ для такого рѣшительнаго поворота въ политикѣ двухъ великихъ державъ, занятыхъ разграниченіемъ своихъ интересовъ въ средней Азіи? Со стороны Россіи во всякомъ случаѣ не было и не могло быть желанія вызвать европей-

скую войну изъ-за туркменскихъ степей, расположенныхъ на границѣ Афганистана; нельзя предположить желаніе войны и со стороны Англіи.

Совершенно случайное обстоятельство разстроило миролюбивые планы дипломатовъ и придало неподходящій воинственный характеръ ничтожному въ сущности спору о пограничной чертѣ между русскими и афганскими владѣніями. Въ началѣ марта, правительства Англіи и Россіи условились не допускать дальнѣйшихъ наступательныхъ движеній въ предѣлахъ спорной территоріи, въ ожиданіи предположенной дѣятельности спеціальной международной комиссіи, назначенной въ іюлѣ прошлаго года. Въ силу соглашенія 5 (17) марта, русскіе и афганскіе форпосты должны были оставаться въ тѣхъ пунктахъ, которые были заняты ими ранѣе; со стороны Россіи была сдѣлана, однако, оговорка, что свобода дѣйствій сохраняется въ случаѣ какихъ-либо непріязненныхъ мѣръ противниковъ. Спокойное разрѣшеніе вопроса о границѣ было, повидимому, вполнѣ обезпечено, какъ вдругъ пришла телеграмма отъ начальника закаспійской области о битвѣ съ афганцами на берегахъ рѣки Кушкъ, близъ Ташъ-Кепри, 18 (30) марта. Оказалось, что афганцы, занимавшіе Акъ-Тепе, къ сѣверу отъ Пендэ, выдвинули передовой отрядъ на лѣвый берегъ Кушка и отказались очистить его, несмотря на категорическое двукратное требованіе генерала Комарова. Въ видахъ безопасности своего малочисленнаго отряда, который могъ быть окруженъ афганцами, генералъ Комаровъ перешелъ въ наступленіе и одержалъ полную побѣду надъ нестройными полчищами непріятеля. Афганцы бросили Пендэ, потерявъ болѣе пятисотъ человѣкъ убитыми и ранеными. Русскіе вернулись въ Ташъ-Кепри и не заняли покинутыхъ афганцами мѣстностей, согласно инструкціямъ, основаннымъ на англо-русской сдѣлкѣ 5 марта.

Извѣстіе объ этомъ событіи произвело сильнѣйшее впечатлѣніе въ Англіи. Нанесенный афганцамъ ударъ былъ принятъ англичанами на свой счетъ,—и не безъ основанія. Дѣло въ томъ, что одновременно съ столкновеніемъ при Кушкѣ происходили торжественныя празднества по поводу свиданія эмира Абдурахмана съ индійскимъ вице-королемъ, лордомъ Дёфферином, причемъ оффиціально выражалась рѣшимость Англіи защищать Афганистанъ отъ всякихъ внѣшнихъ нападеній. Отъ эмира зависѣло потребовать обѣщанной помощи противъ русскихъ войскъ, и война возгорѣлась бы сама собою. Но эмиръ благоразумно предпочелъ обойтись безъ англійской защиты, которая могла бы сдѣлаться для него опаснѣе русскихъ побѣдъ, при извѣстномъ недовѣріи народа къ англичанамъ. Должна ли Англія вступиться за своего союзника и вассала,—это предоставлено

было рѣшить самому англійскому правительству. Уклониться отъ принятой на себя обязанности и оставить безъ отвѣта „незаконную“ побѣду русскаго генерала,—значило бы утратить нѣкоторую долю авторитета въ Азіи и особенно въ Индіи, позволить укорениться мысли о военномъ превосходствѣ Россіи и подорвать вѣру въ могущество Англіи. Эти соображенія невольно овладѣваютъ умами британскихъ государственныхъ людей, каковы бы ни были ихъ личныя чувства, понятія и принципы. Англія чувствуетъ себя задѣтою вдвойнѣ: не только какъ покровительница и союзница Афганистана, но и самостоятельно, какъ держава, вступившая съ Россіею въ соглашеніе 5 марта. Съ этой точки зрѣнія долженъ былъ возникнуть вопросъ: вызвано ли нападеніе генерала Комарова враждебными дѣйствіями или передвиженіями афганцевъ, какъ это указывалось въ русской оффиціальной депешѣ, или это нападеніе произведено было намѣренно, съ цѣлью изгнать афганцевъ изъ спорной области Пенде, занятой ими уже послѣ назначенія пограничной международной коммиссіи? Понятно, что сообщенія русскаго генерала вполнѣ объясняютъ дѣло для Россіи и для русскаго общества; никто у насъ не усомнится въ точности свѣденій, переданныхъ оффиціально и публично по такому важному поводу. Но въ международной дипломатіи не принято еще принимать на вѣру заявленія противника, и англичане считали своимъ долгомъ изслѣдовать дѣло по другимъ источникамъ, болѣе для нихъ близкимъ и убѣдительнымъ. На первыхъ порахъ подтвердилось, что афганцы перешли черезъ рѣку Кушкъ и выставили свои пикеты въ тылу русскаго отряда, съ цѣлью выбрать „болѣе выгодную позицію“; это отчасти успокоило англичанъ и устранило неминуемую опасность войны, ибо никому не пришло бы въ голову отрицать право русскаго генерала противодѣйствовать враждебнымъ приготовленіямъ афганцевъ. Но черезъ нѣкоторое время получена была подробная депеша генерала Лемсдена, вновь повернувшая дѣло въ сторону неблагопріятную для сохраненія мира. Англійскій коммиссаръ по пунктамъ опровергаетъ депешу ген. Комарова и утверждаетъ положительно, что русскіе старались обойти афганскій лагерь, что кавалерія ихъ была остановлена только соотвѣтственнымъ движеніемъ афганцевъ, и что послѣдніе вынуждены были принять необходимыя мѣры предосторожности, которыми, однако, нисколько не оправдывалось русское нападеніе. На основаніи этихъ новыхъ свѣденій, лондонскій кабинетъ обратился, какъ говорятъ, къ русскому правительству съ требованіемъ выразить порицаніе генералу Комарову и отозвать его отъ занимаемаго имъ поста. Подобное требованіе, по общему признанію европейской печати, означало бы рѣшимость довести кризисъ до прямого разрыва, и по всей вѣроят-

ности оно не было заявлено въ той категорической формѣ, въ какой обсуждалось въ газетахъ. Для всякаго ясно, что заявленія генерала Лемсдена столь же мало обязательны для Россіи, какъ сообщенія генерала Комарова—для Англіи; каждое государство можетъ вѣрить только своимъ собственнымъ агентамъ, и ни одна держава не въ правѣ навязывать свои заключенія постороннему самостоятельному правительству. Немыслимо также, чтобы правители могущественной имперіи публично осуждали своихъ генераловъ и солдатъ въ угоду иностранному кабинету, если за ними нѣтъ другой вины, кромѣ некстати одержанной побѣды. Отрицательный отвѣтъ Россіи на представленія Англіи былъ неизбѣженъ, и Гладстону оставалось только потребовать у парламента средствъ на случай войны.

Въ засѣданіи палаты общинъ, 16 (28 апрѣля), престарѣлый премьеръ произнесъ весьма замѣчательную по формѣ и въ то же время весьма воинственную по содержанію рѣчь. Говоря объ исключительныхъ и „почти безпримѣрныхъ“ обстоятельствахъ, которыми вызвано требованіе кредита въ 11 милл. фунтовъ ст., Гладстонъ объяснилъ, что „Суданъ не долженъ служить препятствіемъ къ исполненію государствомъ всѣхъ лежащихъ на немъ обязанностей“; что „существенно необходимо располагать значительными силами для дѣйствій въ другихъ мѣстахъ“; что „цѣль кредита представить государству полную возможность располагать своими силами тамъ, гдѣ представится надобность, для защиты имперскихъ и національныхъ интересовъ“. Относительно дальнѣйшихъ предположеній правительства, Гладстонъ высказался не совсѣмъ ясно. „Нельзя сказать приблизительно,—говорилъ онъ,—будетъ ли война. Трудно опредѣлить степень угрожающей намъ опасности. Мы стремились и продолжаемъ стремиться къ почетному разрѣшенію вопроса мирными средствами; мы желаемъ предупредить войну или даже разрывъ дипломатическихъ сношеній между двумя столь великими государствами, какъ Россія и Англія; мы съ большою силою убѣжденія и большою серьезностью постараемся довести до конца этотъ дипломатическій диспутъ, для того, чтобы въ случаѣ, если дѣло кончится борьбою или разрывомъ, мы могли бы обратиться къ суду культурнаго человѣчества и спросить его, не исчерпали ли мы справедливыя и достойныя средства, способныя предохранить два такихъ государства отъ войны. Всѣ принимаемыя нами мѣры—не болѣе какъ приготовленія, но принимать такія мѣры—нашъ священнѣйшій долгъ“. По отношенію къ защитѣ Афганистана, Англія, по словамъ премьера, безусловно исполнитъ свою обязанность.

Фактическая часть рѣчи Гладстона заключаетъ въ себѣ не мало колкостей по адресу Россіи. Русское сосѣдство съ Афганистаномъ

установилось, благодаря тому, что пограничныя области, „очень недавно принадлежавшія туркменамъ, сдѣлались теперь посредствомъ упрощеннаго пріема русскою территоріею“. Объясненія Гладстона могли иногда казаться неточными или нелогичными. „Желая предотвратить опасность, — заявляетъ онъ, — мы заключили съ Россіею, 17 марта, соглашеніе, состоявшее въ обязательствѣ и оговоркѣ со стороны Россіи. Съ нашей стороны, мы могли бы тоже сдѣлать оговорку, но мы приняли обязательство безусловно, полагая, что оговорка сдѣлана была съ честнымъ намѣреніемъ и безъ задней мысли. Я и теперь не сожалѣю, что смотрѣлъ на эту оговорку съ такой точки зрѣнія и вовсе не хочу думать, чтобы этотъ мой взглядъ уже теперь оказался ошибочнымъ, и что ни случилось бы въ будущемъ, не буду о томъ сожалѣть“. Англія могла бы также сдѣлать оговорку, подобную русской, только въ одномъ случаѣ, еслибъ ея войска стояли, вмѣсто афганскихъ, на спорной территоріи; но тогда Россія не ставила бы этихъ условій и ограниченій по той простой причинѣ, что, имѣя предъ собою дисциплинированные отряды европейскихъ войскъ, она знала бы, что заключенная обоими правительствами сдѣлка будетъ исполнена въ точности, и что не произойдетъ никакихъ случайныхъ стычекъ, столь часто неизбѣжныхъ по отношенію къ безпорядочнымъ толпамъ азіатскихъ наѣздниковъ. Англичане ошибочно подставляютъ себя вмѣсто афганцевъ; русскія войска не могли смотрѣть на послѣднихъ, какъ на равноправныхъ противниковъ; они относились къ нимъ какъ къ текинцамъ или бухарцамъ, съ которыми переговоры ведутся скорѣе въ формѣ требованій и приказаній, чѣмъ въ видѣ обоюдныхъ дипломатическихъ соглашеній. Ошибка афганцевъ, занимавшихъ Пендэ, состояла именно въ томъ, что они захотѣли считаться съ русскими на равныхъ правахъ и не обращали надлежащаго вниманія на предупрежденія русскаго генерала, представлявшаго въ данномъ случаѣ военную силу одной изъ сильнѣйшихъ въ мірѣ державъ. Тѣ предосторожности, которыя были естественны со стороны русскаго отряда, могли быть приняты за дерзость, когда къ нимъ прибѣгали афганцы; такъ, повидимому, и смотрѣлъ на дѣло генералъ Комаровъ, судя по его сообщеніямъ о битвѣ при Кушкѣ. И дѣйствительно, афганцы поступили бы благоразумнѣе, еслибы не искали „болѣе выгодной позиціи“ и не сомнѣвались въ миролюбіи регулярной русской арміи, поставленной лишь для наблюденія; русскій отрядъ не сталъ бы дѣйствовать враждебно безъ достаточнаго къ тому повода, вопреки уговору отъ 5 марта, и афганцы до сихъ поръ сидѣли бы спокойно въ Пендѣ. Въ отдаленныхъ краяхъ, въ сношеніяхъ съ туземными племенами, представители могущественныхъ европейскихъ государствъ привыкли говорить совсѣмъ другимъ

тономъ, чѣмъ въ средѣ равноправныхъ народовъ Европы; въ гораздо большей мѣрѣ имѣетъ силу это общее правило въ примѣненіи къ представителямъ военной силы, озабоченнымъ прежде всего поддержаніемъ авторитета и престижа метрополіи. Относительно мелкихъ и крупныхъ азіатскихъ народностей не употребляются даже обычные термины международнаго права; съ ними не ведутъ войны, а ихъ „усмиряютъ", наказываютъ или подвергаютъ экзекуціи въ той или другой формѣ. Быть можетъ, такое отношеніе къ извѣстнымъ племенамъ несправедливо и жестоко; но оно несомнѣнно господствуетъ въ колоніальной дипломатіи европейскихъ державъ. Даже на Китай до сихъ поръ не хотятъ смотрѣть какъ на независимую имперію, съ которою обязательно было бы держаться обычныхъ пріемовъ внѣшней политики; эта имперія не разъ подвергалась простымъ экзекуціямъ, безъ объявленія войны, и недавно еще Франція собиралась „наказать" китайцевъ, вмѣсто того, чтобы воевать съ ними. Эти спеціальныя условія, въ какихъ находятся европейскія войска въ далекихъ краяхъ, не должны быть упускаемы изъ виду при оцѣнкѣ дѣйствій русскаго отряда при Ташъ-Кепри.

Гладстонъ не принялъ во вниманіе этихъ особенностей и сдѣлалъ выводъ слишкомъ односторонній. „Обязательство 17 (5) марта,—объяснялъ онъ парламенту,— было торжественное, и мы надѣялись, что его будутъ соблюдать самымъ серьезнымъ образомъ, какъ одно изъ наиболѣе священныхъ обязательствъ, какія когда-либо заключались между двумя государствами, и еслибы случилось какое-нибудь отступленіе, то какъ та, такъ и другая сторона, будутъ соперничать между собою въ разъясненіи причины уклоненія и представленія ея на судъ свѣта, чтобы рѣшить вопросъ о виновности. Кровавое дѣло 30 (18) марта послѣдовало за миролюбивымъ соглашеніемъ 17 (5) марта. Это несчастное столкновеніе показало, что одна изъ двухъ сторонъ или по злому умыслу, или вслѣдствіе несчастной случайности, не выполнила условій обязательства. Мы считали и считаемъ долгомъ чести обоихъ государствъ разслѣдовать, при какихъ обстоятельствахъ и по чьей винѣ несчастіе это произошло. Быть можетъ, намъ неизвѣстны еще всѣ факты, но тѣ свѣденія, которыми мы располагаемъ, возбуждаютъ въ насъ неблагопріятное впечатлѣніе относительно поведенія нѣкоторыхъ лицъ, принадлежащихъ къ другой сторонѣ". Этими указаніями и намеками Гладстонъ мотивировалъ требованіе военнаго кредита, и палата общинъ осталась вполнѣ довольна его „патріотическимъ" образомъ дѣйствій. Нечего и говорить, что фразы о „зломъ умыслѣ" и о неблаговидномъ поведеніи „нѣкоторыхъ лицъ, принадлежащихъ къ другой сторонѣ", мало соотвѣтствуютъ выраженному министромъ желанію окончить дѣло мирными средствами, при

помощи „безпристрастнаго слѣдствія“ и „строгаго правосудія“. Такого рода отзывы были тѣмъ болѣе неумѣстны, что не выяснилась еще роль англійскихъ офицеровъ, командированныхъ въ Пендэ генераломъ Лемсденомъ и бывшихъ свидѣтелями дѣла 18 марта при Кушкѣ; очень возможно, что эти лица болѣе виновны въ происшедшемъ, чѣмъ начальники русскаго отряда. Со стороны русскаго правительства не имѣло бы никакого смысла умышленное нарушеніе сдѣлки, которую оно предъ тѣмъ добровольно заключило; нельзя также предположить, что русскіе офицеры станутъ дѣйствовать произвольно, вопреки указаніямъ высшаго начальства. Очевидно, въ данномъ случаѣ имѣлись на лицо тѣ обстоятельства, при которыхъ получала силу оговорка о необходимыхъ оборонительныхъ мѣрахъ; еслибы даже этотъ фактъ почему-либо вызывалъ сомнѣнія, то безполезно обнаруживать прямое недовѣріе къ государству, признающему себя солидарнымъ съ дѣйствіями своихъ агентовъ. Русское правительство заявило, что генералъ Комаровъ исполнилъ свой долгъ, вытѣснивъ афганцевъ съ лѣваго берега Кушка; а послѣ такого заявленія настаивать на дальнѣйшемъ разслѣдованіи дѣла—значитъ уже сознательно стремиться къ разрыву, несмотря на миролюбивыя увѣренія, обращенныя къ „культурному человѣчеству“. Притомъ, столкновеніе 18 марта осталось безъ всякаго результата для вопроса объ афганской границѣ: русскіе не воспользовались побѣдою для какихъ-либо политическихъ цѣлей, и полномочія пограничной коммиссіи нисколько не стѣснены даже въ опредѣленіи судьбы Пендэ. Такимъ образомъ, требованія и обвиненія, заявленныя министрами Англіи, свидѣтельствуютъ лишь о сильномъ чувствѣ вражды и недовѣрія къ Россіи, въ виду поступательныхъ движеній ея въ Средней Азіи.

Оффиціальное сообщеніе, обнародованное въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“, отъ 18 апрѣля, въ отвѣтъ на послѣднюю депешу генерала Лемсдена, разъясняетъ также одинъ важный пунктъ, касающійся русско-афганскаго пограничнаго спора. Русское правительство согласилось предоставить опредѣленіе границы коммиссарамъ; „но,— говорится въ сообщеніи, — неожиданное вступленіе афганцевъ въ Пендэ и наступательное движеніе ихъ отрядовъ внизъ по Мургабу и Герирруду вынудили насъ позаботиться также о мѣрахъ къ фактическому огражденію правъ нашихъ отъ произвольныхъ захватовъ афганцевъ“. Въ этихъ видахъ генералу Комарову, въ первыхъ числахъ января текущаго года, предписано было занять постами линію отъ Зульфагарскаго прохода на Герирудѣ и вдоль рѣки Кушкъ до Ташъ-Кепри (Пуль-и-Хишти), близъ впаденія этой рѣки въ Мургабъ. Занятіе всѣхъ намѣченныхъ пунктовъ состоялось къ 8-му февраля, и только 20-го того же мѣсяца англійское правительство

предложило ту сдѣлку, въ нарушеніи которой обвиняется теперь отрядъ генерала Комарова. Другими словами, всѣ желательныя для Россіи передвиженія нашихъ форпостовъ совершились задолго до событія, заставившаго Англію готовиться къ войнѣ, — такъ что не было уже никакой надобности въ какомъ-то коварномъ планѣ, приведшемъ будто бы къ столкновенію 18 марта. Не мѣшаетъ также замѣтить, что распоряженіе о занятіи извѣстныхъ пунктовъ въ спорной территоріи послѣдовало ранѣе паденія Хартума, когда англичане были еще твердо увѣрены въ успѣхѣ суданской экспедиціи генерала Уольслея. Поэтому нѣтъ основанія утверждать, что Россія въ этомъ случаѣ желала воспользоваться критическимъ положеніемъ Англіи послѣ гибели Гордона.

Воинственное возбужденіе, охватившее Англію въ настоящее время, вызывается не только страхомъ за безопасность Индіи и за неприкосновенность ведущихъ къ ней съ сѣвера проходовъ, но и сознаніемъ сравнительной недоступности англійскаго могущества для русскихъ ударовъ и возможностью успѣшной борьбы путемъ финансоваго разоренія Россіи. Англичане полагаютъ, что необходимо, во что бы то ни стало, остановить приближеніе Россіи къ индійскимъ владѣніямъ и что рано или поздно придется вести болѣе тяжелую войну для этой цѣли; нынѣшнія же обстоятельства кажутся самыми благопріятными для Англіи, въ виду предполагаемой скрытой вражды главнѣйшихъ европейскихъ народовъ къ русскому государству. Русскій походъ въ Индію, о которомъ такъ много разсуждали въ прежнее время, все болѣе удаляется въ область фантазіи, благодаря лучшему изученію этой богатой страны и населяющихъ ее народовъ. Многомилліонное населеніе Индіи не любитъ англичанъ, но боится и уважаетъ ихъ; оно готово было бы освободиться отъ англійскаго господства, еслибы это было осуществимо безъ особеннаго риска, при помощи посторонней державы, но оно едва ли приняло бы русскихъ, какъ освободителей, и никогда не повѣрило бы ихъ безкорыстной политической роли. Туземныя государства и народности смотрѣли бы на русское нашествіе, какъ на одно изъ тѣхъ завоевательныхъ движеній, которыя столько разъ уже проносились надъ Индіею и которыя всегда кончались порабощеніемъ и гнетомъ. Замѣнить старое, извѣстное уже зло новымъ, еще не испытаннымъ, — допустить новыхъ господъ на мѣсто прежнихъ, къ которымъ люди успѣли привыкнуть и приноровиться,—эта перспектива нисколько не улыбается индусамъ; а ожидать отъ насъ простого освобожденія, безъ дальнѣйшихъ для нихъ послѣдствій, они считаютъ совершенно нелѣпымъ. Крайне наивно было бы воображать, что достаточно нѣсколькихъ военныхъ прокламацій и торжественныхъ обѣщаній для возбужденія довѣрія въ ру-

ководящихъ классахъ индусскаго населенія, въ полунезависимыхъ вассальныхъ государствахъ, въ ихъ правителяхъ и арміяхъ. Напротивъ, весьма вѣроятно, что опасность русскаго нашествія тѣснѣе сплотила бы туземныя силы около англичанъ и заставила бы даже заклятыхъ враговъ Англіи подчиняться ея руководству во время войны. Англичане могли бы потерять Индію, еслибы подверглись окончательному пораженію въ борьбѣ съ Россіею въ Средней Азіи; но они не будутъ настолько простодушны, чтобы ставить на карту владычество свое въ Индіи, отдѣляя себя отъ туземныхъ населеній, — они прежде всего выдвинутъ мѣстныя войска различныхъ владѣтелей, оставляя за собою роль вождей и защитниковъ. Положеніе дѣлъ въ Индіи значительно измѣнилось за послѣднія десять лѣтъ; туземная журналистика считаетъ свои органы сотнями, отражая различные оттѣнки народныхъ мнѣній, симпатій и интересовъ; идеи самоуправленія и равноправности постепенно пускаютъ корни, подъ вліяніемъ англійскаго же законодательства и англійской политической жизни; культурныя связи, потребности и привычки все болѣе упрочиваются; тяжелая рука британской администраціи становится все мягче и осторожнѣе, прежній гнетъ и произволъ дѣлается достояніемъ прошедшаго. Образованные индусы незамѣтно проникаются воззрѣніями и обычаями Англіи, и это особенно бросается въ глаза въ ихъ сильно развившейся печати. Между прочимъ, свои свѣденія о Россіи они почерпаютъ изъ англійскихъ источниковъ. При подобныхъ условіяхъ, мысль о русскомъ походѣ въ Индію представляется довольно отдаленною, даже если признать ее выполнимою съ военной и технической точекъ зрѣнія. А между тѣмъ, Индія составляетъ единственную уязвимую и доступную намъ область, гдѣ мы можемъ бороться съ Англіею съ нѣкоторыми шансами на удачи.

Въ этомъ и заключается крайнее неудобство нашего положенія въ настоящее время: мы вынуждены были бы дѣйствовать въ Азіи, гдѣ искать намъ нечего, гдѣ самые споры съ Англіею служатъ только прикрытіемъ для болѣе существенныхъ разногласій въ Европѣ. Нигдѣ въ Европѣ мы не въ состояніи коснуться владѣній и интересовъ англичанъ; а они могутъ свободно пробраться къ намъ и въ Черное море, и въ Балтійское, пренебрегая возможнымъ формальнымъ сопротивленіемъ при проходѣ черезъ проливы. Для насъ война съ Англіею не имѣла бы ни смысла, ни цѣли; ничего выиграть мы не могли бы даже при самыхъ блестящихъ военныхъ успѣхахъ, ибо о завоеваніи новыхъ азіатскихъ пространствъ едвали кто думаетъ у насъ серьезно. Присоединеніе Индіи, о которомъ, можетъ быть, мечтаютъ нѣкоторые изъ нашихъ патріотовъ, перенесло бы центръ тяжести Россіи въ Азію и надолго лишило бы насъ законной доли вліянія въ Европѣ;

Балканскій полуостровъ окончательно поступилъ бы во владѣніе Австріи. Не нужно забывать, что жизненные интересы наши—не въ Азіи, а въ Европѣ; наша политическая будущность связана съ судьбами Дарданелъ и Босфора—этихъ естественныхъ ключей отъ нашего дома, имѣющихъ для насъ неизмѣримо большее значеніе, чѣмъ всякіе ключи въ Индіи.

Въ то время, какъ англичане вовлекли бы насъ въ рискованнѣйшую изъ войнъ, двѣ дружественныя намъ центральныя имперіи оставались бы полными хозяевами положенія на европейскомъ юго-востокѣ; австрійскія войска могли бы безпрепятственно занять любую часть балканскихъ земель, въ видахъ охраны культурныхъ правъ Габсбургской монархіи. Нѣмецкая мечта о мирномъ завоеваніи Востока приблизилась бы къ счастливому и легкому осуществленію, при дѣятельномъ содѣйствіи нашихъ близорукихъ или невѣжественныхъ главнокомандующихъ индійскаго похода. Вспомнимъ, что передовые германскіе мыслители давно считали европейскую Турцію законною добычею объединеннаго, могущественнаго, трудолюбиваго нѣмецкаго народа. „Надѣюсь дожить до того времени,—писалъ Родбертусъ,—когда турецкое наслѣдство достанется Германіи, и нѣмецкіе солдаты или рабочіе полки будутъ стоять на Босфорѣ“. По поводу этого смѣлаго пророчества, Лассаль высказывался въ самомъ торжественномъ тонѣ. „Меня чрезвычайно тронули эти слова,—говоритъ онъ въ письмѣ къ Родбертусу:—ибо этотъ именно взглядъ я много разъ защищалъ напрасно предъ моими лучшими друзьями, и за это они называли меня мечтателемъ. Всѣ проволочки въ восточномъ вопросѣ, поднимавшемся такъ часто съ 1839 года, имѣли для меня всегда только тотъ разумный смыслъ и связь, что вопросъ долженъ быть откладываемъ до тѣхъ поръ, пока его не рѣшитъ нѣмецкая нація“ (см. „Вѣстникъ Европы“ за 1884 годъ, іюль, стр. 302). Не объ этомъ ли хлопочутъ и наши проповѣдники среднеазіатской войны съ Англіею?

Нѣтъ сомнѣнія, что мы могли бы причинить много вреда англичанамъ, подорвать ихъ морскую торговлю крейсерами и т. д.; но какой былъ бы особый смыслъ въ этихъ нашихъ усиліяхъ и жертвахъ? Какія политическія задачи руководили бы нами въ этой борьбѣ, и что мы могли бы извлечь изъ нея для пользы государства? Ничего, кромѣ безцѣльнаго разоренія, не вышло бы въ результатѣ,—если предположить даже самую благопріятную обстановку въ Европѣ, при добросовѣстномъ нейтралитетѣ Австро-Венгріи и другихъ державъ. Война, навязанная намъ Англіею изъ-за афганскихъ границъ, была бы самымъ безплоднымъ и опаснымъ кровопролитіемъ, какое когда-либо совершалось народами; она далеко отодвинула бы насъ отъ настоящихъ нашихъ „призваній“ и стремленій, о которыхъ въ другое время

такъ любятъ распространяться патріоты извѣстнаго оттѣнка. Вотъ почему слѣдуетъ признать чрезвычайно печальнымъ то непостижимое легкомысліе, съ какимъ нѣкоторыя изъ самыхъ распространенныхъ у насъ газетъ отнеслись къ вопросу объ англо-русской войнѣ,—легкомысліе, которымъ заразились и серьезные органы, принимающіе безтолковую и ошибочно направленную воинственность за обязательный признакъ патріотизма. Предпріимчивая газета, безпощадно громившая Англію въ теченіе нѣсколькихъ недѣль и горячо нападавшая на миролюбцевъ, остановилась надъ вопросомъ о цѣляхъ войны только въ заключительный моментъ дипломатической кампаніи, почти наканунѣ ожидавшагося разрыва; газета вдругъ сообразила, что въ сущности намъ нѣтъ никакой надобности воевать съ англичанами,—послѣ того, какъ потраченный ею порохъ послужилъ матеріаломъ для сужденій англійской прессы о воинственныхъ чувствахъ и завоевательныхъ планахъ, одушевляющихъ будто-бы русское общество. Подобное отношеніе къ печатному слову тѣмъ болѣе непростительно, что въ области внѣшней политики наша печать несетъ на себѣ извѣстныя обязанности, соединенныя съ значительною отвѣтственностью, ибо она является главнѣйшею формою выраженія политическихъ идеаловъ, стремленій и понятій русскаго народа въ глазахъ западной Европы. Не можемъ не замѣтить, что московская печать обнаружила гораздо больше пониманія и такта во время настоящаго кризиса, чѣмъ петербургскія газеты; наиболѣе патріотическіе московскіе органы оказались въ данномъ случаѣ такими же миролюбцами, какъ и мы въ прошломъ нашемъ обозрѣніи.

Одновременно съ событіемъ при Кушкѣ и съ появленіемъ угрожающихъ симптомовъ войны, во Франціи совершилась важная перемѣна, которая не останется безъ вліянія на международное положеніе республики. Министерство Ферри, управлявшее страною болѣе двухъ лѣтъ, свергнуто палатою депутатовъ въ засѣданіи 30 марта, подъ вліяніемъ извѣстія о новой серьезной неудачѣ французскихъ войскъ въ Тонкинѣ. Повидимому, нѣтъ ничего нелогичнѣе этихъ внезапныхъ толчковъ общественнаго мнѣнія, вызываемыхъ какимъ-либо случайнымъ фактомъ и разрушающихъ сегодня то, что создавалось вчера. Почему ошибка генерала Негріе или Бріеръ де-Лиля должна вести къ паденію кабинета, нисколько не повиннаго въ военныхъ промахахъ того или другого командира? Если общая политика Жюля Ферри одобрялась парламентомъ, то это одобреніе не могло зависѣть отъ отдѣльныхъ частностей и колебаній въ ходѣ предпринятой правительствомъ тонкинской экспедиціи; новый успѣхъ китай-

цевъ и вынужденное очищеніе Лангсона французами—съ такимъ же правомъ могли быть поставлены на счетъ кабинету Ферри, какъ и самой палатѣ, заявлявшей не разъ рѣшимость дѣйствовать энергически относительно Китая. Министерство пало въ тотъ день, когда оно потребовало кредита въ 200 милліоновъ франковъ для надлежащаго поправленія и окончанія дѣлъ въ Тонкинѣ. Прежнее послушное большинство потеряло равновѣсіе; бонапартисты и консерваторы присоединились къ радикаламъ, и Жюль Ферри изъ необходимаго человѣка внезапно превратился въ ненужнаго оратора, котораго не стоитъ даже выслушивать. Эти рѣзкіе скачки отъ полнаго преклоненія до грубаго невниманія составляютъ одну изъ характерныхъ особенностей въ отношеніяхъ французовъ къ выдающимся политическимъ дѣятелямъ. Судьба популярныхъ личностей во Франціи зависитъ часто отъ случая; еслибы генералъ Негріе не забрался неосторожно въ предѣлы китайской территоріи, онъ не потерпѣлъ бы пораженія, и Ферри правилъ бы понынѣ.

На слѣдующій же день послѣ выхода Ферри въ отставку, ему предстояло подписать предварительныя мирныя условія съ Китаемъ, какъ результатъ переговоровъ, начатыхъ въ концѣ февраля при посредствѣ начальника китайскихъ таможенъ, англичанина сера Роберта Гарта и его повѣреннаго въ Парижѣ, Дункана Кемпбелля. Китайское правительство не измѣнило своего рѣшенія заключить миръ и послѣ удачнаго дѣла при Лангсонѣ; оно благоразумно воспользовалось этимъ успѣхомъ для скорѣйшаго подтвержденія тянъ-тзинской конвенціи 11 мая 1884 года, безъ уплаты вознагражденія за убытки, потребованнаго Франціею первоначально. Ферри назначилъ спеціальнаго уполномоченнаго для подписанія договора, чтобы не произошло задержки въ виду возникшаго министерскаго кризиса. Въ китайской оффиціальной газетѣ обнародованъ былъ декретъ объ очищеніи Тонкина китайцами; французы, съ своей стороны, должны снять блокаду Формозы и очистить занятые тамъ пункты. Свергнутый глава кабинета могъ уже 3-го апрѣля сообщить президенту Греви объ окончательномъ заключеніи мира съ Китаемъ; еслибы онъ окончилъ дѣло нѣсколькими днями раньше, онъ, вѣроятно, не лишился бы своего поста. Большая заслуга въ успѣшномъ веденіи переговоровъ принадлежитъ двумъ непричастнымъ къ дипломатіи лицамъ, исполнившимъ принятую на себя роль съ свойственною англичанамъ энергіею и выдержкою. Это далеко не первый примѣръ, когда дѣятели, чуждые дипломатической профессіи, легко разрѣшаютъ задачу, надъ которою тщетно трудились дипломаты-спеціалисты, въ родѣ маркиза Цзенга. Мирный договоръ съ Китаемъ былъ неожиданнымъ пріятнымъ подаркомъ для новаго министерства, образовавшагося только 6-го апрѣля.

Въ способѣ образованія министерствъ, равно какъ и въ организаціи французскихъ политическихъ партій, замѣчается существенная перемѣна. Въ былое время всякій выдающійся депутатъ былъ кандидатомъ въ министры, а всякій кандидатъ въ министры могъ попасть сразу въ премьеры. Имена, ничего не говорящія, выставлялись и вычеркивались въ смѣнявшихся министерскихъ спискахъ, и заурядные политическіе дѣятели фигурировали часто во главѣ, по соображеніямъ чисто партійнымъ, въ ущербъ авторитету правительства. Чего могла ждать страна отъ калейдоскопа именъ, выдвигаемыхъ въ ненужномъ изобиліи во время частыхъ кабинетныхъ кризисовъ? Какъ должна была смотрѣть европейская дипломатія на всѣ эти мимолетныя министерства, руководимыя поочередно Гуляромъ, Дюклеркомъ, Фальеромъ, Констаномъ и тому подобными безцвѣтными личностями? Разочарованіе и недовольство въ средѣ самихъ республиканцевъ сдерживались еще сознаніемъ, что у нихъ есть въ запасѣ Гамбетта; и дѣйствительно Гамбетта былъ фактическимъ правителемъ Франціи, хотя и оставался за кулисами и уклонялся отъ званія министра. Со смертью Гамбетты прекратилась двойственность въ руководствѣ дѣлами республики; прекратился закулисный режимъ, съ его подставными государственными людьми, лишенными всякой самостоятельности и привыкшими искать вдохновенія у всемогущаго президента палаты. Когда не стало вдохновителя, нельзя уже было поручать управленіе второстепеннымъ лицамъ; почувствовалась потребность въ настоящихъ министрахъ, обладающихъ нужнымъ авторитетомъ для проведенія опредѣленной политической программы. Послѣ нѣкоторыхъ опытовъ и колебаній, образовался въ февралѣ 1883 г. кабинетъ Жюля Ферри, оказавшійся наиболѣе прочнымъ и долговѣчнымъ изъ всѣхъ существовавшихъ понынѣ республиканскихъ министерствъ. Жюль Ферри обнаружилъ многія драгоцѣнныя качества государственнаго человѣка — твердость и независимость характера, упорство и послѣдовательность въ достиженіи предположенныхъ цѣлей, искусство и ловкость въ дипломатіи, ясность и убѣдительность краснорѣчія въ парламентѣ. Жюль Ферри сдѣлалъ очень много для возвышенія политическаго кредита Франціи; онъ первый пустилъ въ ходъ смѣлую колоніальную политику, не стѣснялся протестами Англіи, и нашелъ на этомъ пути союзника въ лицѣ князя Бисмарка, который также направилъ свое вниманіе на пріобрѣтеніе колоній въ далекихъ краяхъ. Завоеваніе Туниса и Тонкина не только удовлетворило національное самолюбіе страны, но и доставило ей несомнѣнныя политическія и матеріальныя выгоды, которыя должны сильно возрасти въ будущемъ. Ферри съумѣлъ поддерживать равноправныя дружескія отношенія съ Германіею, и при немъ Франція имѣла значительный голосъ въ общихъ

дѣлахъ Европы. Что касается внутреннихъ реформъ, то изъ нихъ нельзя не вспомнить широкихъ мѣръ по народному образованію, по очищенію школъ отъ іезуитскихъ вліяній и по практической постановкѣ вопроса о свободѣ обученія; проведенъ былъ также законъ о разводѣ, и принята система выборовъ по спискамъ, которую не удалось провести Гамбеттѣ; наконецъ, зданіе республиканскаго устройства завершено пересмотромъ конституціи, причемъ республика признана окончательною формою правленія, не допускающею уже никакихъ дальнѣйшихъ легальныхъ перемѣнъ. Министерство Ферри пріучило французскую публику къ прочности политическаго порядка и къ постоянству высшаго административнаго персонала; оно утвердило довѣріе къ авторитету и силѣ власти, какъ во внутреннихъ, такъ и во внѣшнихъ отношеніяхъ.

Когда министерство было снесено волною общественнаго раздраженія, сдѣлана была попытка составить такъ называемый дѣловой кабинетъ изъ представителей разныхъ группъ парламентскаго большинства; эта попытка напомнила всѣмъ эфемерныя министерскія комбинаціи прежнихъ временъ, когда партіи болѣе озабочены были равномѣрнымъ распредѣленіемъ портфелей, чѣмъ созданіемъ устойчиваго правительства, способнаго внушить къ себѣ общее довѣріе. Теперь сами тѣ лица, къ которымъ обратился президентъ Греви для составленія кабинета, указали на настоящаго главу республиканцевъ въ палатѣ—на президента ея, Бриссона, одного изъ наиболѣе уважаемыхъ и достойныхъ дѣятелей республики. Бриссонъ считался соперникомъ Гамбетты по вліянію и значенію въ рядахъ господствующей нынѣ партіи; онъ унаслѣдовалъ ему въ званіи президента палаты депутатовъ и принялъ теперь власть при единодушной поддержкѣ различныхъ элементовъ парламентскаго большинства и при общемъ одобреніи печати. Анри Бриссонъ—изъ тѣхъ людей, которые берегутъ себя для будущаго и весьма осторожно располагаютъ своими силами въ настоящемъ; онъ такъ же старательно избѣгалъ министерскаго поста, какъ и Гамбетта, и рѣдко выступалъ на сцену въ парламентѣ. За нимъ утвердилась репутація чрезвычайно умнаго, энергическаго и безукоризненно-честнаго человѣка, призваннаго быть политическимъ вождемъ въ свободной странѣ. Имя его упоминается всякій разъ, когда заходитъ рѣчь о будущемъ преемникѣ Греви. Тотъ фактъ, что второстепенные люди партіи совѣтовали обратиться къ Бриссону, указываетъ на хорошій поворотъ въ нравахъ и воззрѣніяхъ французскихъ парламентскихъ дѣятелей. Констанъ, Девесъ и подобные имъ кандидаты не берутся уже играть роль временныхъ, номинальныхъ предводителей; они не хотятъ подчинять страну случайностямъ и колебаніямъ переходнаго положенія, могущаго возбудить

угасшія было надежды въ средѣ враговъ республики. Очевидно, во Франціи вырабатывается политическая практика, напоминающая англійскую систему, при которой постъ премьера можетъ быть предлагаемъ только дѣйствительному и всѣми признанному предводителю большинства въ парламентѣ. Въ Англіи немыслима передача власти въ руки кого-либо изъ популярныхъ или заслуженныхъ лицъ, помимо Гладстона или лорда Салисбюри, смотря по тому, какая партія одержала побѣду на выборахъ; Гошенъ, Форстеръ, лордъ Черчиль—могутъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ попасть въ министры, но никакъ не въ премьеры. Для того, чтобы сдѣлаться оффиціальнымъ главою одной изъ двухъ великихъ политическихъ партій, необходимо быть въ состояніи сгруппировать около себя всѣ силы и элементы данной партіи, при помощи исключительныхъ качествъ ума и характера, при обладаніи краснорѣчіемъ, энергіею, находчивостью и практическимъ искусствомъ управленія людьми и событіями. Многолѣтняя парламентская школа постепенно превращаетъ талантливыхъ юношей въ такихъ виртуозовъ политической дѣятельности, какъ Питтъ, Пальмерстонъ, Биконсфильдъ, Гладстонъ; только пройдя подобный же долгій искусъ, могутъ младшіе члены партій, въ родѣ лорда Черчилля, разсчитывать на достиженіе поста, составляющаго высшую цѣль честолюбія для даровитыхъ бойцовъ парламента.

Переходъ власти отъ Ферри къ Бриссону имѣетъ еще другое значеніе, не менѣе поучительное для французскихъ государственныхъ людей новаго типа. Ферри имѣлъ одинъ важный недостатокъ, который значительно ослаблялъ его разнообразныя достоинства: онъ не былъ достаточно прямодушенъ относительно палаты и общественнаго мнѣнія; онъ прибѣгалъ къ пріемамъ традиціонной политической мудрости, предписывающей скрашивать испытываемыя неудачи, скрывать неудобную истину или облекать ее въ обманчивыя формы, дѣйствовать окольнымъ путемъ, когда неразсчетливо поступать открыто, и обнаруживать вообще хитроуміе, которое не соотвѣтствуетъ ходу демократіи. Ферри начиналъ военныя экспедиціи безъ положительнаго разрѣшенія палатъ, на томъ основаніи, что эти экспедиціи не имѣютъ будто бы характера настоящихъ войнъ; онъ готовился къ войнѣ съ Китаемъ подъ видомъ простой экзекуціи или репрессаліи, и его натянутыя объясненія каждый разъ встрѣчались недружелюбно въ странѣ, хотя и принимались палатою поневолѣ, пока дѣла шли успѣшно. Ферри не хотѣлъ произносить крайне непопулярное въ народѣ слово „война“ и придумывалъ искусственные термины для прикрытія дѣйствительнаго значенія своихъ внѣшнихъ предпріятій. Французы мирились съ этимъ страннымъ лицемѣріемъ и не отказывали въ средствахъ на окончаніе экспедицій; но первая серьезная

неудача, указывавшая на неизбѣжность настоящей войны, должна была естественно пасть всецѣло на отвѣтственность министра, вздумавшаго играть словами въ столь важныхъ политическихъ вопросахъ для обхода одного изъ безспорныхъ предписаній конституціи. Поэтому-то кажущаяся несправедливость, о которой мы упоминали выше, имѣла свое разумное основаніе въ примѣненіи къ Жюлю Ферри. Эта непріятная черта бывшаго перваго министра была истинною причиною его паденія, и она же побудила общественное мнѣніе выставить личность Бриссона, извѣстнаго своею безусловною правдивостью и прямодушіемъ. Присутствіе въ новомъ кабинетѣ такого министра иностранныхъ дѣлъ, какъ Фрейсинэ, вполнѣ обезпечиваетъ Францію отъ всякихъ рискованныхъ международныхъ усложненій въ ближайшемъ будущемъ.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1-е мая 1885.

— Исторія Санкт-Петербурга съ основанія города до введенія въ дѣйствіе выборнаго городского управленія по учрежденіямъ о губерніяхъ, 1703—1782. Сочиненіе П. Н. Петрова, дѣйствительнаго члена Имп. Археологическаго общества и Почетнаго Вольнаго Общника И. А. Х. Изданіе Глазунова. Спб. 1885.

Петербургъ есть такая близкая и любопытная тэма для историковъ, живущихъ въ столицѣ, что надобно только удивляться тому, какъ рѣдко эта тэма имъ представлялась, какъ мало до сихъ поръ сдѣлано для исторіи Петровской столицы. До сихъ поръ исторіи Петербурга, собственно говоря, не было: съ прошлаго вѣка, даже съ первыхъ годовъ существованія города, являлись его описанія, отчасти вызванныя самимъ правительствомъ, потомъ являлись историческіе очерки, разсказы о петербургской старинѣ, описанія города у иностранныхъ путешественниковъ, справочныя книги и путеводители,— но не было сочиненія, которое могло бы съ нѣкоторымъ правомъ назваться исторіей Петербурга. Надо замѣтить, что въ прежнее время и не легко было бы написать такую книгу: печатнаго матеріала было не такъ много, а надъ старыми архивами долго тяготѣла канцелярская тайна, открывавшаяся лишь для немногихъ избранниковъ, по особымъ случаямъ. Поэтому мы съ большимъ удовольствіемъ встрѣтили книгу г. Петрова — огромный томъ, въ 848 страницъ текста и больше 200 страницъ примѣчаній, указателя и пр. Авторъ воспользовался многочисленными источниками, не только старыми и новыми печатными матеріалами, но и оффиціальными документами изъ архивовъ сената и разныхъ другихъ вѣдомствъ, очень старательно провѣрилъ прежнихъ историковъ и разсказчиковъ оффиціальными данными и т. д. Такимъ образомъ, авторъ собралъ множество свѣденій, изъ которыхъ очень многія въ первый разъ извлечены изъ архивовъ и представляютъ много любопытнаго. Но и книга г. Петрова, при всѣхъ

ея вышеуказанныхъ достоинствахъ и заслугахъ, едва ли можетъ называться исторіей, въ строгомъ смыслѣ этого слова: это скорѣе огромный и богатый матеріалъ, по которому еще должна быть написана исторія. Послѣдняя предполагаетъ болѣе или менѣе связное изложеніе предмета, указаніе главныхъ историческихъ моментовъ, отдѣляющихъ одну эпоху отъ другой, разныхъ сторонъ быта и т. п. Такіе моменты были несомнѣнно и въ исторіи Петербурга; жизнь города слагается изъ множества предметовъ—его внѣшняго роста, характера застроекъ, нравовъ и обычаевъ, управленія и т. д., и т. д. Авторъ не сдѣлалъ въ своемъ трудѣ никакого раздѣленія на періоды, и разсказъ свой не распредѣлилъ по разнымъ сторонамъ жизни города; онъ предпочелъ такъ-сказать лѣтописную форму изложенія: подъ одинъ годъ и мѣсяцъ у него сведены самыя разнородныя извѣстія — жизнь двора, полицейскія распоряженія, постройки, воровства, увеселенія, пожарная часть, каналы и т. д.; все это стоитъ рядомъ, безъ всякой группировки, такъ что читатель, если желаетъ знать что нибудь въ какомъ-либо порядкѣ и связи, долженъ самъ доискиваться по указателю; авторъ даетъ ему только сырой матеріалъ погодной записи. Было бы гораздо проще распредѣлить исторію по тѣмъ царствованіямъ, которыя несомнѣнно давали жизни города особый тонъ, и въ каждомъ періодѣ собрать однородныя свѣденія подъ рубрики: тогда читатель въ состояніи былъ бы составить себѣ цѣльное понятіе, напр. о застройкѣ города, о проведеніи каналовъ, о пожарномъ дѣлѣ, о жизни двора, о нравахъ и увеселеніяхъ и т. д.

Внимательное изслѣдованіе старыхъ документовъ дало г. Петрову возможность исправить много ошибокъ у прежнихъ историковъ Петербурга и объяснить нѣкоторыя мѣры по старинному устройству города, казавшіяся странными. Напр., онъ положительно отвергаетъ весьма распространенный разсказъ иностранныхъ писателей о гибели множества рабочихъ при постройкѣ Петербурга отъ болѣзней и недостатка пріюта; авторъ нашелъ списки этихъ рабочихъ, гдѣ изъ году въ годъ повторяется множество однихъ и тѣхъ же людей; изъ нихъ многіе шли опять на работу по своей волѣ, уже отбывши свои сроки и получая плату отъ другихъ очередныхъ; для рабочихъ строились теплыя помѣщенія. Авторъ объясняетъ также, почему рылись каналы на мѣстѣ нынѣшнихъ улицъ Сергіевской, Фурштатской и т. д.: каналы нужны были для осушенія мѣстности; впослѣдствіи, они были покрыты досками, потомъ засыпаны; вслѣдствіе существованія каналовъ эти улицы остались широкими. Авторъ опровергаетъ также извѣстія о десяткахъ тысячъ домовъ въ старомъ Петербургѣ, — чего вовсе не было и т. д. Далѣе, кромѣ свѣденій о внѣшней исторіи города, авторъ собралъ множество любопытнаго о бытѣ и нравахъ ста-

риннаго Петербурга, полицейскихъ распорядкахъ, обычаяхъ и увеселеніяхъ и т. п. Еслибы все это было нѣсколько обработано, то получилась бы чрезвычайно интересная картина перваго введенія европейскихъ обычаевъ, которые потомъ распространялись по Россіи изъ Петербурга, какъ перваго города, основаннаго внѣ старыхъ русскихъ преданій.

Къ своимъ предшественникамъ въ историческомъ описаніи Петербурга авторъ, по нашему мнѣнію, очень строгъ, иногда черезъ мѣру. Онъ именно упустилъ изъ виду, что старые писатели не имѣли возможности пользоваться оффиціальными матеріалами и были очень часто ограничены случайнымъ матеріаломъ свѣденій. Упомянувъ о старинномъ историкѣ Богдановѣ, г. Петровъ съ величайшимъ пренебреженіемъ говоритъ о „писакахъ-компиляторахъ", которые пользовались его трудомъ. Къ нашему удивленію, въ ряду этихъ „писакъ" (стр. 9), мы встрѣчаемъ имена Полунина и знаменитаго Миллера, издателей перваго русскаго „Географическаго лексикона", хотя самъ г. Петровъ одобрилъ ихъ статью о Петербургѣ. Къ именамъ, за которыми давно признана историческая заслуга, слѣдовало бы относиться осторожнѣе. Можно бы также съ меньшею рѣзкостью осуждать Георги, Шторха и пр.; послѣдній вызываетъ укоръ г. Петрова тѣмъ, что своимъ трудомъ будто бы „думалъ выслужиться какъ чиновникъ—нѣмецкій стилистъ; (,) состоя въ чинѣ 8 кл. при канцеляріи графа Безбородка". Причемъ тутъ въ самомъ дѣлѣ 8-й классъ Шторха; откуда автору извѣстно, что онъ думалъ выслужиться; что дурного быть хорошимъ стилистомъ,—мы рѣшительно не понимаемъ. Самый трудъ г. Петрова много бы выигралъ, еслибы авторъ не ограничился однимъ собираніемъ матеріаловъ, но также позаботился бы и объ изложеніи ихъ на болѣе общедоступномъ языкѣ. Первыя строки его предисловія таковы: „Предлагаемая любознательности русскихъ читателей, „Исторія С.-Петербурга"...—плодъ долгихъ работъ автора, задумавшаго по возможности очертить и выставить на видъ всѣ стороны столичнаго быта. Не обходя условій (,) вытекающихъ изъ обихода столицы, авторъ не оставлялъ и чисто техническихъ вопросовъ застройки на этой мѣстности обширнѣйшаго города, съ устраненіемъ или ослабленіемъ всего, что могло невыгодно вліять на ходъ дѣла". (Что значатъ условія, вытекающія изъ обихода столицы; что значитъ „съ устраненіемъ" и т. д.,—совершенно непонятно). „Въ послѣдовательномъ, погодномъ очеркѣ, отъ того (отъ чего?) здѣсь представлены разнообразныя указанія обстоятельствъ и явленій мѣстной бытовой обстановки, независимо историческихъ происшествій; (,) въ свою очередь, конечно, не забытыхъ" и т. д. Вообще, гдѣ авторъ приходится излагать хотя нѣсколько сложную мысль, его фраза

тяжела до невразумительности. Напр., желая сказать, что когда стали играть на дворцовомъ театрѣ русскіе актеры изъ кадетъ, выѣхалъ за границу лучшій придворный французскій актеръ,—г. Петровъ пишетъ: „Занятіе двора (!) русскими актерами изъ кадетъ, отличавшимися въ трагедіяхъ, покровительствуемаго партіею Разумовскихъ, Сумарокова, оказалось теперь причиною выѣзда за границу лучшаго изъ придворныхъ французскихъ актеровъ, Карла Дерона“ (стр. 536). Сказавши, что архитекторъ Трезини, почуявъ себѣ несокрушимаго соперника въ знаменитомъ Растрелли, самъ поспѣшилъ уѣхать заграницу, г. Петровъ продолжаетъ: „Конечно (,) удаленіе его совершилось, сперва, какъ бы временное; (,) въ видѣ командировки на казенный счетъ въ Италію, за матеріаломъ и наймомъ мастеровъ. Сдѣлано это, чтобы оттуда прислать въ видѣ ультиматума условія, возстановляющія вполнѣ упроченными гарантіею преимущества отъ вторженій въ нихъ и на будущее время. Но присылка этихъ предложеній не произвела желаемаго дѣйствія“ и т. д. (стр. 537). Что значатъ: „условія, возстановляющія упроченными гарантіею преимущества“ и пр.,—непостижимо. Или: „Дѣлавшаяся въ теченіе лѣта, къ осени окончена и 6-го октября открыта для публики, шлиссельбургская дорога, съ проѣзда по указу 2-го октября: по 2 коп. съ возовой лошади съ проводникомъ во весь путь“ и пр. (стр. 277). Такихъ примѣровъ совершенно необыкновеннаго устройства фразы въ книгѣ г. Петрова слишкомъ много. Обыкновенныхъ словъ русскаго языка автору мало: вмѣсто „враги“, онъ говоритъ: „враждебники“ (стр. 30); вмѣсто: „время изданія указа“, онъ пишетъ: „время состоянія указа“ (т.-е. когда указъ состоялся!) Заключительныя слова книги написаны такъ: „Мы показали только начальный ростъ и развитіе, основаннаго Петромъ I, города на Невѣ, со сдѣланіемъ его столицею, служившаго образцомъ для всей имперіи, по вводу всевозможныхъ улучшеній, измѣнившихъ бытъ народный и сообщившихъ прочное развитіе умственной дѣятельности русскаго народа (стр. 848).

Но независимо отъ такого очевиднаго отвращенія къ „стилю“, за соблюденіе котораго авторъ, какъ мы видѣли, даже упрекаетъ другихъ, книга его—повторяемъ—представляетъ въ себѣ богатѣйшій сборникъ весьма интересныхъ документовъ — и трудъ будущаго историка города Петербурга не мало будетъ облегченъ разнообразными указаніями, какія онъ найдетъ въ вышедшей нынѣ „Исторіи Санктъ-Петербурга“, хотя въ настоящемъ своемъ видѣ этотъ трудъ еще никакъ не можетъ быть названъ „исторіею“.

— О популяризаціи свѣденій по классической древности. Д. И. Нагуевскаго, орд. профессора римской словесности въ Имп. Казанскомъ университетѣ. Воронежъ, 1884.

Эта брошюра можетъ потребовать вниманія, потому что вопросъ, выставленный въ заглавіи, разбирается спеціалистомъ, отъ котораго можно ожидать компетентныхъ замѣчаній. Авторъ указываетъ сначала на обширное распространеніе классическихъ знаній въ западной Европѣ, гдѣ уже давно обращено вниманіе на ихъ популяризацію. Для этой цѣли служили и служатъ въ западной Европѣ разныя средства: во-первыхъ, образцовые, художественные переводы; во-вторыхъ, изданія, посвященныя разъясненію умственной, общественной и частной жизни греко-римскаго міра,—изданія, составленныя большей частью извѣстными знатоками классицизма; въ третьихъ, колоссальная производительность книжнаго издательнаго дѣла, дающая возможность являться въ свѣтъ множеству ученыхъ трудовъ по этому предмету и, своей замѣчательной организаціей, чрезвычайно облегчающая распространеніе изданій въ книжной торговлѣ. Обращаясь затѣмъ къ положенію этого дѣла у насъ, авторъ приходитъ, конечно, къ мало благопріятному наблюденію: у насъ очень мало переводовъ, сколько-нибудь заслуживающихъ одобренія; нѣтъ изданій, посвященныхъ изученію греко-римскаго міра, кромѣ нѣсколькихъ переводныхъ сочиненій; наконецъ, нѣтъ издательской предпріимчивости, вслѣдствіе чего не могутъ быть изданы даже приготовленные труды (авторъ называетъ трудъ покойнаго харьковскаго профессора Деллена о римскихъ древностяхъ—трудъ, который остался не напечатаннымъ за неимѣніемъ издателя). Авторъ скорбитъ, что „несмотря на установившееся (?) у насъ классическое образованіе“ (стр. 11), у насъ нѣтъ ни одной книжной фирмы“ въ родѣ нѣмецкихъ Тейбнера или Вейдманна и парижскихъ Дидье и Гарнье, спеціально занимающихся изданіями филологическихъ трудовъ“. (Не многаго авторъ захотѣлъ!) Помочь дѣлу, какъ г. Нагуевскій надѣется, могло бы у насъ распространеніе филологическихъ обществъ, которыя взяли бы на себя подобныя изданія.

Мы съ своей стороны были бы очень рады, если бы у насъ дѣйствительно распространилось настоящее классическое образованіе. Къ сожалѣнію, мы этого не видимъ; авторъ выражается не точно, когда говоритъ объ „установившемся“ у насъ классическомъ образованіи; у насъ установилась только выучка въ классическихъ гимназіяхъ греческой и латинской грамматики, не болѣе, и образовательное дѣйствіе этой выучки такъ ограниченно, что въ теченіе двадцати лѣтъ

трудно замѣтить какое-нибудь отраженіе ея въ литературныхъ интересахъ общества. Нѣсколько молодыхъ классическихъ филологовъ, воспитавшихся за послѣднее время, представляютъ, конечно пріятное явленіе, но это явленіе все-таки рѣдкое, и такъ какъ ихъ работы (напр., гг. Латышева, Цвѣтаева и нѣк. др.) направлены именно на спеціальные вопросы науки и недоступны массѣ общества, то они и останутся до сихъ поръ оазисомъ въ пустынѣ русскаго классицизма.

Но насъ удивляетъ самая постановка вопроса. По мнѣнію автора, выходитъ, что слабое распространеніе нашихъ изученій и недостатокъ популяризаціи свѣденій о классическомъ мірѣ сводятся къ отсутствію издателей, какъ главной причинѣ. Но предположимъ, что у насъ явился бы Вейдманнъ или Дидье и предпринялъ бы широкое издательство по классической филологіи; нѣтъ, кажется, никакого сомнѣнія, что даже при значительномъ капиталѣ, въ большій или меньшій срокъ, ихъ постигнетъ банкротство: едва ли можно спорить, что русская публика не въ состояніи купить такое количество изданій классиковъ, переводовъ и сочиненій о классической древности. Вейдманнъ или Дидье у себя дома, конечно, просвѣщенные издатели, но вовсе не неистощимые филантропы или платоническіе любители классической древности: ихъ широкія предпріятія возможны только потому, что они окупаются публикой, т.-е. образованнымъ обществомъ. Словомъ, обширная издательская дѣятельность имѣетъ основаніе въ общемъ распространеніи образованія; въ частности, интересъ къ классическому міру, съ одной стороны, исходитъ изъ общаго образованія, съ другой, имѣетъ свои историческія причины. У насъ далеко нѣтъ ни той степени образованности, ни тѣхъ историческихъ условій, и трудно ожидать, чтобы интересъ къ классическому міру когда-нибудь могъ вырости въ русскомъ обществѣ въ ту мѣру, какъ въ западной Европѣ. Западное образованіе связано съ греко-римскимъ міромъ тѣснѣйшими историческими узами. Для народовъ романскихъ римляне были, въ извѣстной степени, прямые предки по крови; римскія учрежденія вошли въ западно-европейскій міръ съ первыми начатками его государственной жизни; латинскій языкъ былъ искони языкомъ западной церкви; западное образованіе еще съ среднихъ вѣковъ, и особливо съ эпохи возрожденія, сознало, свою преемственную связь съ античнымъ міромъ,—изученіе котораго давно произвело тамъ умственный переворотъ, положившій начало новѣйшей европейской свободѣ мысли и просвѣщенію. Въ теченіе долгихъ вѣковъ обращеніе къ классикамъ стало крѣпкой умственной привычкой европейскаго образованія; со временъ Возрожденія классическій міръ овладѣваетъ

европейской литературой и искусствомъ, создаетъ псевдо-классицизмъ, вызываетъ основаніе филологической науки и т. д., и т. д. Мы никогда не переживали этой исторіи, не имѣли ни корней въ римскомъ племени, ни римскихъ учрежденій, ни латинскаго церковнаго языка, ни эпохи Возрожденія, ни самостоятельнаго псевдо-классицизма, ни филологической науки. Довольно вспомнить эти факты, чтобы не удивляться, что классицизмъ, несмотря на усиленныя школьныя заботы, прививается у насъ очень туго, оставляетъ общество равнодушнымъ или заставляетъ его смотрѣть на школьную классическую выучку, какъ на неизбѣжную тягость... Русское образованіе не осталось чуждо тому драгоцѣнному наслѣдію, какое получено было западной Европой отъ классическаго міра, но оно приняло его изъ вторыхъ рукъ, готовымъ и уже обогащеннымъ тѣми результатами, какіе были выработаны европейскимъ просвѣщеніемъ, какъ на этой почвѣ, такъ и на многихъ другихъ путяхъ знанія и жизненнаго опыта. Такимъ образомъ, для насъ изученіе классическаго міра непосредственно не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ оно было для западной Европы, и не можетъ идти тѣмъ путемъ, какъ шло тамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что несмотря на то для полноты нашей образованности необходимо прямое знаніе классическаго міра (какъ, кромѣ того, для цѣлей нашей исторіографіи необходимо изученіе позднѣйшаго отпрыска греческаго міра—въ Византіи, и необходимо изученіе латыни, какъ языка старой науки и средневѣковой литературы), но привить его можно, конечно, не той школьной рутиной, на которую у насъ употребляется столько усилій, а именно живымъ изученіемъ, открывающимъ все глубокое содержаніе древней мысли и искусства.

Разыскивать книгопродавцевъ-издателей и возлагать на нихъ надежды для распространенія свѣденій о классическомъ мірѣ — по меньшей мѣрѣ безполезно.

—Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго (Сборникъ критикъ). Съ портретомъ Ѳ. М. Достоевскаго. Часть первая. Составилъ В. Зелинскій. Москва, 1885.

По смерти Тургенева, когда шли оживленные толки въ литературѣ о значеніи этого писателя, г. Зелинскій возъимѣлъ мысль составить сборникъ изъ статей и различныхъ отзывовъ о Тургеневѣ. Вышла книжка: „Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“,—которая, какъ мы узнаёмъ теперь отъ ея составителя, имѣла хорошій успѣхъ, и это поощрило г. Зелин-

скаго къ новому въ томъ же родѣ. Такъ произошелъ „Историко-критическій комментарій", цѣль котораго, по словамъ составителя,— „разъяснить главный смыслъ произведеній Ѳ. М. Достоевскаго путемъ объективнаго сопоставленія различныхъ критическихъ о нихъ отзывовъ". Въ вышедшей теперь 1-й части собраны отзывы десятковъ двухъ писателей, отъ г. Анненкова и Бѣлинскаго до доктора Чижа; отзывы распредѣлены по тремъ рубрикамъ: біографическія свѣденія; „оцѣнка идей, таланта, направленій и вообще характеристика литературной дѣятельности Достоевскаго съ точки зрѣнія разныхъ критикъ"; наконецъ—отзывы объ отдѣльныхъ сочиненіяхъ Достоевскаго.

Подобные сборники могутъ быть, конечно, весьма интересны и полезны, какъ готовый сводъ мнѣній о большомъ писателѣ; но мы думаемъ, что лучшая форма подобныхъ сборниковъ есть простой рядъ выписокъ, развѣ со сноской внизу страницы, когда нужно указать содержаніе цѣлой статьи, изъ которой взята цитата, и затѣмъ—не мудрствуя лукаво, предоставить самому читателю дѣлать сравненія и выводы. Еслибы, однако, составитель такого сборника желалъ высказать и свое собственное мнѣніе, онъ могъ бы сдѣлать это въ отдѣльномъ предисловіи. Г. Зелинскій поступаетъ иначе: онъ беретъ на себя роль руководителя, ставитъ свои замѣчанія въ самый текстъ и желаетъ направить взглядъ читателя. Это совершенно напрасно: когда приводятся мнѣнія Добролюбова и г. Аксакова, г. Михайловскаго и г. Миллера, и т. д., эти писатели достаточно скажутъ за себя сами. Притомъ и г. Зелинскій, хотя и желаетъ идти „путемъ объективнаго сопоставленія", но объективнымъ не остается: онъ самъ принадлежитъ къ числу небезпристрастныхъ поклонниковъ Достоевскаго. Всего страннѣе „біографическія свѣденія", собранныя также изъ выписокъ, которыя взяты у писателей, не имѣющихъ между собою ничего общаго: способъ собиранія разнорѣчащихъ мнѣній, годный, когда дѣло идетъ о сочиненіяхъ писателя, становится весьма непригоденъ въ біографіи,—она составляется, повидимому, связно, изъ разношерстнаго матеріала, который, вѣроятно, будетъ приводить читателя въ недоумѣніе.

Относительно отзывовъ „Вѣстника Европы" и „Отеч. Записокъ", г. Зелинскій пишетъ, не совсѣмъ вразумительно, такъ (стр. 37): „Прежде другихъ, приведемъ выдержки изъ двухъ критическихъ обозрѣній, представляющихъ отголоски двухъ значительныхъ литературныхъ партій, характеризующихъ себя (?) направленіемъ выражающихъ ихъ тенденціи и міровоззрѣніе распространенныхъ журналовъ: „Вѣстника Европы" и прекратившихся „Отеч. Записокъ". Будучи

далеки отъ мысли предполагать пристрастіе въ оцѣнкѣ ими литературныхъ заслугъ Достоевскаго, мы тѣмъ не менѣе сознаемъ, что люди этихъ двухъ партій, по своимъ воззрѣніямъ, въ очень многомъ расходились въ сферѣ идей и стремленій съ Достоевскимъ, въ особенности въ послѣдніе годы его жизни, а потому и не могли вполнѣ симпатизировать его литературной дѣятельности". Вторая фраза очень тяжела, а первая своимъ стилемъ напоминаетъ упомянутаго выше историка Петербурга.— А. В—нъ.

НЕКРОЛОГЪ.

Николай Ивановичъ Костомаровъ.

1817—1885.

Русская литература и наука понесли великую потерю. Н. И. Костомаровъ умеръ, послѣ тяжкой болѣзни, раннимъ утромъ 7-го апрѣля, едва кончились кирилло-меѳодіевскія торжества, гдѣ въ собраніяхъ друзей славянства и чтителей славянскихъ апостоловъ его имя было такъ странно забито... Въ Костомаровѣ русская литература потеряла многое: прежде всего — талантливаго историка, съ такой особенностью дарованія, которая до него не была никѣмъ представлена въ нашей литературѣ и теперь не представлена никѣмъ другимъ; потеряла дѣятеля, который былъ живой связью нашей литературы съ мѣстной украинской и былъ убѣжденнымъ и компетентнымъ защитникомъ послѣдней отъ окружавшей ее вражды и нетерпимости; потеряла писателя съ большимъ этнографическимъ личнымъ опытомъ, который, къ сожалѣнію, такъ рѣдокъ у кабинетныхъ ученыхъ; далѣе —оригинальнаго поэта на малорусскомъ языкѣ и историческаго беллетриста; наконецъ, многимъ еще памятенъ замѣчательный профессоръ—съ дарованіемъ, которое до сихъ поръ осталось единственнымъ въ своемъ родѣ. Давно пріобрѣтена имъ популярность, какая у насъ очень рѣдко достается ученому; сколько сочувствій вызывала его литературная дѣятельность, можно было видѣть на его похоронахъ, описаніе которыхъ дано было газетами.

Вѣроятно, мы будемъ имѣть отъ близкихъ ему людей его біографію, которая разскажетъ подробности этой своеобразной жизни, наполненной по истинѣ неутомимымъ трудомъ и надъ которой однажды разразилась буря, оставившая глубокій печальный слѣдъ въ его личной судьбѣ, но не сломившая его таланта и крѣпко утвердившагося стремленія къ историческому труду.

Мы не будемъ передавать теперь этой біографіи; главные факты ея читатель можетъ найти въ вышедшемъ прошлаго года „Біографическомъ Словарѣ“ профессоровъ кіевскаго университета (Кіевъ, 1884), гдѣ свѣденія взяты изъ автобіографической записки самого Костомарова. Отмѣтимъ лишь нѣкоторыя черты, связанныя съ исторіей его литературной дѣятельности. Костомаровъ родился въ помѣщичьей

семьѣ воронежской губерніи; мать его была простая крестьянская дѣвушка, малороссіянка, которую отецъ его, до брака, отдалъ учиться въ московскій пансіонъ; родина Костомарова, по своему населенію, представляетъ промежуточный этнографическій пунктъ между Великороссіей и Малороссіей. Впослѣдствіи, литературные противники — съ обыкновенно имъ свойственной правдивостью и любезностью—называли Костомарова великоруссомъ: по этому названію, имѣвшему въ виду колкость, выходило, что великоруссу неприлично быть участникомъ въ малорусской литературѣ и ея защитникомъ; самъ Костомаровъ, въ упомянутой запискѣ, объясняя, почему привлекала его малорусская литература, говорилъ, что „такъ какъ народъ, посреди котораго онъ жилъ, были малороссіяне, то онъ полюбилъ и малороссійскую народность и ея языкъ, такъ что сталъ писать на этомъ языкѣ". Здѣсь дано сухое, какъ бы оффиціальное объясненіе (въ послѣдніе годы у Костомарова можно было замѣтить эту манеру говорить—для противниковъ, которымъ иной языкъ былъ бы непонятенъ); но, на дѣлѣ, любовь къ малорусской народности исходила не изъ одного только случайнаго обстоятельства, что подлѣ него жили люди малоруссы, а оттого, что эта народность была въ самой его крови, что онъ выросталъ въ ея средѣ, подъ ея вліяніемъ,—дѣйствительно, во всемъ его характерѣ малорусскаго было именно гораздо больше, чѣмъ великорусскаго. Его любовь къ малорусской народности, языку, поэзіи объясняется органически — это было для него родное, наслѣдственное. Малорусская исторія и этнографія до конца остались его ближайшимъ и глубокимъ интересомъ.

Болѣе или менѣе извѣстно, какъ Костомаровъ, послѣ воронежской гимназіи, поступилъ въ харьковскій университетъ и по окончаніи курса (тогда трехлѣтняго), въ 1836 году, однажды вообразилъ себѣ, что его настоящая дорога есть военная, и вступилъ юнкеромъ въ драгунскій полкъ; какъ потомъ, на первыхъ же недѣляхъ своего милитаризма, онъ убѣдился, что для него гораздо интереснѣе кинбурнскаго полка острогожскій архивъ, бумаги котораго онъ получилъ возможность разбирать. Вскорѣ его историческіе вкусы опредѣлились и уже навсегда. Въ 1840, онъ держалъ въ харьковскомъ университетѣ магистерскій экзаменъ по русской исторіи, а въ началѣ 1843 года представилъ свою диссертацію „О значеніи уніи въ западной Россіи",—которой, однако, не пришлось увидѣть свѣта: противъ нея возбудилъ протестъ извѣстный іерархъ и духовный писатель, Иннокентій Борисовъ; книга была остановлена и послана на судъ въ министерство просвѣщенія. Вслѣдствіе отзыва Устрялова, книгу велѣно было остановить и предать сожженію всѣ экземпляры, а Костомарову

„предоставлено“ было написать другую диссертацію [1]). Онъ поступилъ тогда на службу субъ-инспекторомъ въ харьковскомъ университетѣ и занимался частнымъ преподаваніемъ. Его новая ученая работа посвящена была народной поэзіи. Передъ тѣмъ онъ началъ писать по-малорусски, и его драмы и стихотворенія, подъ псевдонимомъ Іереміи Галки, переводы „Еврейскихъ мелодій“ Байрона доставили ему извѣстность между любителями малорусской литературы. Въ 1844 онъ защищалъ, на этотъ разъ благополучно, свою вторую диссертацію — „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“, которая была замѣчательнымъ явленіемъ въ тогдашней этнографической литературѣ. Онъ пріобрѣлъ ученую степень, но диссертація все-таки помѣшала Костомарову получить каѳедру; по его разсказу, „въ видахъ ближайшаго изученія народа, онъ бродилъ по слободамъ и шинкамъ, а въ то время это казалось до того необычнымъ и страннымъ, что нѣкоторые ученые и степенные люди считали его какимъ-то блаженненькимъ“. Костомаровъ переселился поэтому въ Кіевъ, пробылъ годъ учителемъ гимназіи въ городѣ Ровно, волынской губерніи, собралъ здѣсь большой сборникъ народныхъ пѣсенъ, въ 1845 получилъ мѣсто въ кіевской гимназіи, а въ 1846 выбранъ былъ на каѳедру русской исторіи въ кіевскомъ университетѣ. Въ этомъ послѣднемъ году онъ издалъ „Славянскую Миѳологію“. Его мысли сложились уже въ опредѣленный взглядъ; онъ сошелся здѣсь съ кружкомъ молодыхъ энтузіастовъ, мечталъ и думалъ—на тэму народности и славянства, и составилъ то „Кирилло-Меѳодіевское“ общество, которое было первымъ примѣромъ одушевленія за идею славянскаго союза, народнаго освобожденія и просвѣщенія, и которое навлекло на него и его сотоварищей тяжелую бѣду. На него сдѣланъ былъ доносъ; онъ былъ арестованъ, вмѣстѣ съ Шевченкомъ и другими

[1]) Отмѣтимъ одно противорѣчіе. Эта исторія была нѣкогда разсказана г. Сухомлиновымъ („Уничтоженіе диссертаціи Н. И. Костомарова въ 1842 г.“, въ Др. и Новой Россіи, 1877, № 1), который, „со словъ Костомарова“, утверждалъ, что Иннокентій не имѣлъ никакого участія въ дѣлѣ уничтоженія книги, что напротивъ это былъ человѣкъ просвѣщенный и т. д., и всю инициативу г. Сухомлиновъ приписывалъ помощнику попечителя харьковскаго округа, кн. Цертелеву. Между тѣмъ, въ автобіографической запискѣ самого Костомарова (Біограф. Словарь проф. Кіевскаго университета, Кіевъ, 1884, стр. 284) именно сказано, что „диссертація предъ самою защитою возбудила протестъ со стороны преосвященнаго Иннокентія (Борисова), была пріостановлена и отправлена на разсмотрѣніе къ министру народнаго просвѣщенія“ и т. д.

Судя по выпискамъ изъ диссертаціи въ статьѣ г. Сухомлинова, книгу Костомарова можно было обвинить развѣ только въ неточныхъ выраженіяхъ: къ нимъ присоединялись еще нѣкоторыя сужденія о роли духовенства, по тогдашнему, неосторожныя; изъ того и другого сдѣлано было преступленіе. Но книга, повидимому, была любопытная и оригинальная.

членами кружка, долженъ былъ объяснять свои идеальныя мечты извѣстному Л. В. Дуббельту. Вѣдомство, котораго послѣдній былъ представителемъ, не склонно было къ подобному идеализму, и Костомаровъ былъ заключенъ (1847) на годъ въ Петропавловскую крѣпость, послѣ чего „переведенъ на службу“ въ Саратовъ, съ запрещеніемъ „преподавать и печатать собственнаго сочиненія книги“. Здѣсь онъ былъ зачисленъ въ губернское правленіе, позднѣе былъ дѣлопроизводителемъ статистическаго комитета и принималъ участіе въ мѣстныхъ приготовительныхъ работахъ по крестьянскому дѣлу.

Въ Саратовѣ на первое время онъ долженъ былъ почувствовать неудобства полицейскаго надзора, испытать грубое отношеніе надзирателей; но уже вскорѣ его положеніе измѣнилось къ лучшему. Губернаторомъ былъ человѣкъ достаточно образованный, честный и хорошій; внимательность губернатора устранила полицейскія стѣсненія, положеніе Костомарова измѣнилось, и онъ наконецъ пріобрѣлъ въ городѣ настоящую популярность—сосланный профессоръ былъ рѣдкостью для провинціальнаго общества; всѣ знали ученаго чудака, высокій талантъ котораго угадывали. Живя въ Саратовѣ, Костомаровъ опять возвратился къ этнографіи и старинѣ, собиралъ пѣсни, рылся въ архивахъ, продолжалъ задуманныя раньше работы. Еще до переѣзда изъ Харькова въ Кіевъ онъ началъ заниматься исторіей Богдана Хмельницкаго; книга была написана въ Саратовѣ. У него сохранился, къ счастію, собранный раньше матеріалъ; нѣкоторыя средства, какія онъ имѣлъ, его обезпечивали и дали возможность собрать необходимую библіотеку, съ которой онъ могъ вести свои работы. Близкимъ пріятелямъ,—въ ихъ числѣ было два-три человѣка, которые могли судить о дѣлѣ,—знакомы были отрывки изъ этой работы,—и мнѣ (я познакомился съ Костомаровымъ въ Саратовѣ, въ половинѣ 50-хъ годовъ) тогда уже случилось слышать о великихъ надеждахъ отъ будущихъ историческихъ работъ Костомарова. Здѣсь же въ Саратовѣ, начатъ былъ имъ извѣстный „Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII столѣтіяхъ“; здѣсь написанъ „Стенька Разинъ“—одно изъ лучшихъ произведеній Костомарова, „Кремуцій Кордъ“, трагедія изъ римской жизни временъ императоровъ по разсказу Тацита, и, наконецъ, рядъ полу-оффиціальныхъ работъ по мѣстнымъ вопросамъ.

Съ новымъ царствованіемъ Костомаровъ, въ числѣ многихъ другихъ „возвращенныхъ“, получилъ амнистію; съ начала 1856 съ него снято было запрещеніе печатать свои сочиненія, снятъ и полицейскій надзоръ, но все еще съ ограниченіемъ, „чтобы распоряженіе о Бозѣ почившаго императора, о недозволеніи ему служить по ученой части, оставалось во всей силѣ“.

Съ 1856 года начинается второй періодъ печатной литературной дѣятельности Костомарова, дѣятельности чрезвычайно плодовитой, непрерывавшейся до конца его дней. Явился на свѣтъ „Богданъ Хмельницкій", сразу поставившій Костомарова въ рядъ нашихъ первостепенныхъ историковъ; затѣмъ множество другихъ историческихъ работъ,—перечислять которыя мы не имѣемъ здѣсь возможности и, кажется, не имѣемъ надобности. Главнѣйшія изъ нихъ: „Богданъ Хмельницкій" (1857), „Бунтъ Стеньки Разина" (1858), „Очеркъ жизни и нравовъ великорусскаго народа" (1860), „Сѣверно-русскія народоправства" (1863), „Смутное время московскаго государства въ началѣ XVII вѣка" (1866), „Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой" (1869—70), „Руина" (1879), „Мазепа" (1882), „Русская исторія въ жизнеописаніяхъ" (1873—76), изъ которыхъ многія имѣли не одно изданіе („Богданъ Хмельницкій"—четыре), памятны читателямъ. Къ трудамъ, собственно историческимъ, присоединяется масса работъ археографическихъ, изданій памятниковъ старой литературы и архивныхъ грамотъ и актовъ, редакція пѣсенныхъ сборниковъ (какъ въ „Трудахъ" экспедиціи въ юго-западный край и пр.); изслѣдованія этнографическія, какъ обширный трудъ—„Историческое значеніе южно-русскаго народнаго пѣсеннаго творчества", составляющій новую переработку предмета его старой диссертаціи (въ „Бесѣдѣ", 1872, и „Русской Мысли", 1880—1883); наконецъ, масса меньшаго размѣра историческихъ монографій, замѣтокъ, критическихъ и полемическихъ статей и т. д., и т. д. Въ статьѣ „Южная Русь въ концѣ XVI вѣка" (въ 3-мъ томѣ „Историческихъ монографій") Костомаровъ переработалъ и дополнилъ старое сочиненіе объ уніи, сожженное въ 1842 г.

Послѣ амнистіи, Костомаровъ пріѣзжалъ для своихъ работъ въ Петербургъ, провелъ восемь мѣсяцевъ за границей, но затѣмъ оставался еще нѣсколько времени въ Саратовѣ, гдѣ успѣлъ обжиться; наконецъ, въ 1859 г. получилъ каѳедру русской исторіи въ петербургскомъ университетѣ, по смерти Устрялова. Въ университетѣ Костомаровъ оставался недолго; онъ долженъ былъ выйти въ отставку въ 1862 г. Лекціи, читанныя имъ въ эти годы, были новымъ проявленіемъ его историческаго таланта. Мы едва ли преувеличимъ, сказавши, что каѳедра русской исторіи еще никогда передъ тѣмъ не имѣла такого своеобразнаго, увлекательнаго лектора, какимъ былъ Костомаровъ. Университетъ тогда, какъ и теперь, не былъ открытъ для постороннихъ посѣтителей; но молва о блестящемъ профессорѣ изъ университетскаго круга перешла въ общество,—за первымъ любобытнымъ, который проникъ въ университетскую аудиторію, послѣдовали другіе, и лекціи Костомарова (а за нимъ и нѣкоторыхъ другихъ профессоровъ) стали сами собой какъ бы публичными чтеніями...

Будущій біографъ, вѣроятно, разскажетъ подробности о томъ, какъ шло первое, молодое развитіе Костомарова, какъ сложились его историческіе взгляды, манера изслѣдованія и изложенія, въ какое отношеніе онъ становится къ предъидущему ходу нашей исторіографіи и къ тѣмъ ея представителямъ, которые были его современниками. Мы ограничимся нѣсколькими замѣчаніями. Вопросъ очень интересенъ, такъ какъ онъ касается опредѣленія всей ученo-литературной физіономіи Костомарова. Гдѣ его мѣсто въ нашей исторіографіи? въ какой мѣрѣ или въ какомъ смыслѣ онъ можетъ называться художникомъ? какую цѣнность имѣютъ его труды и его историко-общественные взгляды?—на эти вопросы и при жизни его слышались различные отвѣты, и повторились теперь, по его смерти. Были не только люди, относившіеся къ нему недовѣрчиво, но были у него настоящіе враги, какъ у писателя—враги не только его идей, но и его историческаго пріема...

Костомаровъ не оставилъ сочиненія, въ которомъ были бы изложены его взгляды на исторіографію, объяснены источники его собственныхъ идей и пріемовъ,—но изъ самаго характера его трудовъ видно, что мы имѣемъ передъ собой писателя иной школы, чѣмъ былъ кругъ Погодина и Устрялова, или, позднѣе, кругъ Соловьева. Въ исторіи русской этнографіи мы имѣли случай говорить о томъ особомъ народно-романтическомъ направленіи, которое складывалось у насъ наканунѣ славянофильства и школы Кавелина-Соловьева, и къ которому примыкалъ, между прочимъ, Вадимъ Пассекъ. Изъ этого народнаго романтизма происходитъ—конечно, лишь своими первыми начатками—и дѣятельность Костомарова. Если-бы хотѣли опредѣлить въ немногихъ словахъ отличительную черту историческихъ трудовъ Костомарова, должно было бы сказать, что его по преимуществу влекло къ изображенію народнаго элемента въ исторіи, къ объясненію народнаго историческаго права. Онъ не былъ чуждъ вліяніямъ нѣмецкой исторической школы, какъ вообще знакомъ былъ съ ходомъ западной исторіографіи,—но въ его историческомъ пріемѣ явились и такія черты, которыхъ не было у другихъ нашихъ историковъ, ему современныхъ,—черты, имѣвшія, какъ увидимъ, свой особый источникъ. Ни у кого изъ этихъ современниковъ не были такимъ живымъ интересомъ, какъ у Костомарова, племенные факторы исторіи, значеніе народа, какъ основы движенія, стремленіе проникнуть въ думы и характеръ народныхъ массъ, о которыхъ прежніе историки и совсѣмъ забывали. Костомаровъ не былъ историкомъ учрежденій, какъ Соловьевъ и Кавелинъ; но не былъ также мистическимъ теоретикомъ народности, какъ К. Аксаковъ—онъ искалъ живого народа, съ его стародавними нравами; работы чисто этнографическія по-

стоянно сопровождали его работу историческую. Меньше чѣмъ кто-нибудь изъ нашихъ историковъ, онъ былъ ученымъ кабинетнымъ; съ самаго начала его дѣятельности и до конца, его тянуло съ одной стороны въ архивы, къ документальнымъ свидѣтельствамъ старины, и въ нихъ немногіе имѣли такую обширную начитанность; съ другой—въ исторію быта, нравовъ, обычаевъ и, наконецъ, въ народную среду, гдѣ онъ подслушивалъ пѣсню и историческое преданіе.

Рано затронула его другая полоса нашего общественно-литературнаго развитія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, которая опять больше, чѣмъ у кого-нибудь изъ его современниковъ, переходила въ жизненное убѣжденіе и совпадала съ развившимся ранѣе народолюбіемъ—это былъ интересъ панславянскій, сложившійся своеобразно, въ параллель съ его историческими идеями и этнографическими влеченіями. Костомаровъ не остался холоденъ къ панславизму, какъ писатели такъ называемаго западническаго направленія; но вмѣстѣ съ тѣмъ и не принималъ панславизма въ извѣстной исключительной московской формѣ: для него панславизмъ не означалъ абсолютную гегемонію одного сильнаго племени надъ всѣми остальными, гегемонію, которая, пожалуй, не остановится предъ насиліемъ и принужденіемъ; это былъ, напротивъ, союзъ братства, народной свободы и равноправности, внушаемой и освящаемой равноправностью христіанской.

Идеи кирилло-меѳодіевскаго кружка, образовавшагося въ Кіевѣ въ 1846, и гдѣ руководящимъ лицомъ былъ Костомаровъ, а однимъ изъ его ближайшихъ друзей былъ Шевченко, состояли, по его собственнымъ указаніямъ и по другимъ свидѣтельствамъ, въ слѣдующемъ: 1) освобожденіе славянскихъ народностей изъ-подъ власти иноплеменниковъ; 2) организованіе ихъ въ самобытныя политическія общества съ удержаніемъ федеративной ихъ связи между собою; 3) уничтоженіе всякаго рабства въ славянскихъ обществахъ, подъ какимъ бы видомъ оно ни скрывалось; 4) упраздненіе сословныхъ привилегій и преимуществъ, всегда наносящихъ ущербъ тѣмъ, которые ими не пользуются; 5) религіозная свобода и вѣротерпимость; 6) при полной свободѣ всякаго вѣроученія употребленіе единаго славянскаго языка въ публичныхъ богослуженіяхъ всѣхъ существующихъ церквей; 7) полная свобода мысли, научнаго воспитанія и печатнаго слова, и 8) преподаваніе всѣхъ славянскихъ нарѣчій и ихъ литературъ въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ славянскихъ народностей.

За кіевскимъ кружкомъ осталось названіе кирилло-меѳодіевскаго, и это было первое возвеличеніе славянскихъ апостоловъ въ идеаль-

ное знамя для современныхъ народныхъ стремленій. Истина требовала бы, чтобы дѣятели тысячелѣтняго празднества вспомнили это первое проявленіе обще-славянскихъ стремленій въ нашемъ обществѣ; газеты успѣли указать это, но должно, кажется, замѣтить, что, собственно говоря, дѣятели новѣйшаго славянскаго благотворительнаго общества имѣли причины забыть о кирилло-меѳодіевскомъ кружкѣ и не считать себя съ нимъ солидарнымъ. Дѣйствительно, между ними нѣтъ ничего общаго кромѣ именъ Кирилла и Меѳодія: на одной сторонѣ племенная автономія, вѣротерпимость, свобода мысли, упраздненіе привилегій; на другой—исключительная гегемонія, крайняя религіозная нетерпимость, можетъ быть, свобода мысли и свобода общественная, но окружаемыя такими условіями, которыя равняются ихъ отрицанію. Развивая исходные пункты обоихъ взглядовъ, должно было необходимо прійти къ противорѣчію. Въ самомъ дѣлѣ, Костомаровъ или Шевченко никогда не примыкали къ славянофиламъ, и не могли къ нимъ примкнуть, потому что славянофилы изъ своихъ общихъ положеній приходили къ племенной исключительности, гдѣ крупная племенная масса должна была поглощать всѣ остальные элементы, а Костомаровъ защищалъ именно культурную равноправность племенъ, и въ частности сталъ представителемъ и защитникомъ того, что̀ послѣ назвали украинофильствомъ. Предоставляемъ судить, кто оставался вѣрнѣе и народной, и панславянской идеѣ. Трудно загадывать, конечно, что̀ могло бы произойти въ будущемъ; тѣсный союзъ славянства, хотя бы въ федеративной формѣ, очень могъ бы окончиться полнымъ преобладаніемъ главной массы и поглощеніемъ слабыхъ племенъ; это было бы естественно и возможно,—но въ идеальномъ построеніи отношеній остается справедливой только одна постановка вопроса: сліяніе должно произойти путемъ естественнаго дѣйствія племенныхъ элементовъ и культуры, но вовсе не путемъ одного кулачнаго права; болѣе слабыя племена, которыя, однако, владѣютъ высокой культурой, ищутъ въ союзѣ спасенія своей племенной особности, а не вѣрной погибели... Костомаровъ, относительно панславянской идеи, шелъ параллельно съ тѣмъ романтическимъ панславизмомъ, которымъ отличались первые основатели нашей научной славистики съ конца тридцатыхъ годовъ; наравнѣ съ ними онъ одушевлялся тѣми идеалами, какіе развивались въ средѣ передовыхъ дѣятелей западнаго славянства и которыхъ знаменитѣйшимъ выраженіемъ была „Дочь Славы“ Коллара, — но Костомаровъ принялъ живѣе къ сердцу эти идеалы и мечталъ уже о необходимости работы и пропаганды для практическаго проведенія ихъ въ жизни. Онъ опять упредилъ славянскіе благотворите-

ные комитеты въ возвеличеніи имени Гуса, и опять—если мы не очень ошибаемся—гораздо искреннѣе и правдивѣе, чѣмъ было въ демонстраціяхъ комитетовъ.

Съ другой стороны, Костомаровъ не вполнѣ сходился съ кружкомъ прогрессивнымъ,—хотя послѣдній, особенно въ первое время, бывалъ ему ближе славянофильскаго, какъ свободный отъ исключительности племенной и столько же признававшій свободное народное развитіе. Но были вмѣстѣ съ тѣмъ крупныя разницы. Въ сороковыхъ годахъ, критика Бѣлинскаго очень мало сочувствовала малорусскому литературному движенію, и по связи съ нимъ недружелюбно отнеслась и къ первому этнографическому труду Костомарова,—въ тѣ годы въ прогрессивномъ кружкѣ слишкомъ исключительно господствовали интересы общаго гуманистическаго и соціальнаго характера, и литературный сепаратизмъ казался недостаточно мотивированнымъ, неглубокимъ по содержанію и отвлекающимъ силы отъ общихъ вопросовъ. Позднѣйшій прогрессивный кружокъ, напротивъ, призналъ это малорусское движеніе, именно какъ одно изъ проявленій общественности; но въ немъ была другая сторона, которой не раздѣлялъ Костомаровъ —это направленіе казалось ему слишкомъ сухо-экономическимъ, слишкомъ занятымъ матеріалистическими интересами, гдѣ онъ не находилъ мѣста для своего стараго романтизма, которому и послѣ, можетъ быть, нѣсколько въ иныхъ формахъ, онъ оставался вѣренъ... Въ подобномъ смыслѣ онъ высказывался еще во времена „Основы“; позднѣе, онъ относился къ внутреннимъ вопросамъ и дѣламъ русской литературы съ полнымъ индифферентизмомъ...

Возвращаемся къ первымъ временамъ его дѣятельности.

Эти рано воспринятыя идеи о племенной равноправности, о народной и церковной свободѣ, соединенныя съ этнографическимъ интересомъ къ народу и любовью къ произведеніямъ народно-поэтическаго творчества, легли въ основаніе трудовъ Костомарова. Если мы будемъ искать, что отличало Костомарова отъ его сподвижниковъ въ русской исторіографіи, мы должны, кажется, найти отличіе именно въ этомъ чувствѣ народной жизни. Оно освѣщало писателю народную судьбу, міровоззрѣніе массы, ярче рисовало картину стародавняго быта и нравовъ. Оно же сдѣлало его болѣе впечатлительнымъ къ племеннымъ дѣленіямъ русскаго народа. Погодинъ, Соловьевъ, К. Аксаковъ были не только великоруссы, но частью именно москвичи—одинъ, проникнутый оффиціальной народностикою Нлаевскихъ временъ; другой, строго и частью сухо слѣдившій идею государственности; третій, возводившій въ идеалъ русскія народныя начала, но видѣвшій высшее ихъ осуществленіе теперь въ старой Москвѣ;—Костомаровъ, прежде

теорій и оффиціальныхъ требованій, видѣлъ самыя племенныя массы, съ ихъ прирожденными и накопившимися въ исторіи особенностями, и признавалъ ихъ нравственное право на свою особность. Сколько бы ни называли его великороссомъ по рожденію, онъ съ молокомъ матери всосалъ любовь къ малорусскому народу, среди этого народа провелъ воспріимчивые годы юности, которые наполнены были изученіемъ народнаго быта, старины и поэтическихъ созданій. Въ то время, какъ для другихъ историковъ малорусскій народъ былъ извѣстенъ только по книгамъ, по архивнымъ бумагамъ, и напр. малорусскій XVII-й вѣкъ—по приказнымъ отпискамъ московскихъ воеводъ, для Костомарова это былъ родной народъ, котораго старину онъ слышалъ еще живую въ народной пѣснѣ, котораго сохранившіеся памятники онъ пересмотрѣлъ на мѣстахъ, котораго психологическія и бытовыя особенности онъ чувствовалъ и сознавалъ въ самомъ себѣ. Какъ бы ни были обширны познанія ученаго, какъ ни велика его критическая проницательность, они не замѣнятъ этого непосредственнаго чувства, когда идетъ рѣчь о внутреннихъ движеніяхъ народной природы; или, книжному ученому надо воспитать въ себѣ безпристрастіе и умѣнье понимать чужой народный характеръ. Не только критики (какъ г. Кояловичъ, напримѣръ), совершенно лишенные этого безпристрастія и умѣнья, поднимали вопли противъ Костомарова; но и серьезные ученые,—какъ намъ случалось слышать,—дѣлали Костомарову упрекъ, что въ его историческихъ трудахъ слышится малорусская нота. Можетъ быть; но не было ли это заслугой, когда его устами говорила altera pars, безъ которой невозможно правильное рѣшеніе?

Къ этому врожденному и развитому изученіемъ чувству старины и народности, присоединялся у Костомарова своеобразный талантъ, свойственный „историку-художнику". Этотъ терминъ и давно, и въ эти послѣдніе дни, вызывалъ разнорѣчивыя мнѣнія. Не будемъ вдаваться въ теоретическія объясненія этого названія и въ измѣреніе того, въ какой степени оно приложимо къ Костомарову; напомнимъ здѣсь только нѣкоторыя черты его исторической манеры. „Историку-художнику", какъ художнику вообще, кромѣ знанія, необходима фантазія, и Костомаровъ несомнѣнно владѣлъ богатой фантазіей. Въ первые годы своей литературной дѣятельности онъ пробовалъ свои силы на поэтическомъ поприщѣ, и не безъ успѣха; его старыя драмы на малорусскомъ языкѣ не лишены большихъ достоинствъ; впослѣдствіи (какъ это начиналось уже и въ этихъ драмахъ—съ историческими сюжетами) историческія тэмы исключительно овладѣли его воображеніемъ, и среди научныхъ архивныхъ работъ его влекло то

въ древній Римъ („Кремуцій Кордъ"), то въ русскій XVII вѣкъ („Сынъ"), то въ эпоху Грознаго („Кудеяръ"), то въ эпоху присоединенія Малороссіи къ Москвѣ („Черниговка"), то, наконецъ, въ древность греко-варварскихъ отношеній въ Тавридѣ (его послѣдняя драма: „Эллины Тавриды", изъ временъ Константина Багрянороднаго). Эта постоянная, доходящая до конца его дней, потребность въ живыхъ образахъ указываетъ на работу фантазіи, которая не довольствовалась сухимъ историческимъ матеріаломъ, и вносила въ него живыя лица съ ихъ понятіями, страстями, бытовой обстановкой, наконецъ, не довольствовалась самой русской стариной и уходила въ далекіе вѣка древности. Быть можетъ, этой фантазіи не было достаточно для чисто-поэтическаго творчества, но ея было довольно для одушевленія лѣтописи, архивнаго документа, памятника, преданья. Будущій біографъ, люди, близко знавшіе Костомарова, разскажутъ, безъ сомнѣнія, не мало подробностей, которыя будутъ рисовать эту сторону его характера, и какія намъ приводилось видѣть. Дѣйствительно, онъ не могъ довольствоваться сухимъ книжнымъ фактомъ; онъ всегда чувствовалъ потребность наглядно изобразить себѣ этотъ фактъ, представить его себѣ въ живой обстановкѣ; историческія событія, лица, легендарныя чудеса, наконецъ, мелкія подробности стараго быта овладѣвали его воображеніемъ, и если въ молодости, какъ ревностный этнографъ, онъ пріобрѣталъ репутацію „блаженненькаго", то и въ болѣе позднее время онъ могъ часто вызывать улыбку своими историческими фантазіями и затѣями, въ которыхъ иной разъ проглядывали и черты тонкаго юмора. Когда онъ занимался славянской миѳологіей, ему требовалось самому совершать древніе языческіе обряды, и онъ совершалъ ихъ еще во время пребыванія своего въ Саратовѣ, уѣзжая для этого съ близкими пріятелями за Волгу или въ окрестные сады; свою „Славянскую Миѳологію", какъ вещь, трактующую о древности, онъ считалъ необходимымъ издать соотвѣтственно—и напечаталъ ее въ старинномъ книжномъ форматѣ и церковно-славянскимъ шрифтомъ, какъ печатали Иннокентій Гизель и Димитрій Ростовскій. Разсказываютъ, что когда онъ ѣхалъ изъ Петропавловской крѣпости въ Саратовъ, въ сопровожденіи жандарма, то въ Новгородѣ (черезъ который шла тогда дорога) Костомаровъ, увидѣвши почтенные остатки древности, пришелъ въ восторгъ отъ воспоминаній новгородской свободы и выражалъ его такими громкими восклицаніями, что провожатый счелъ нужнымъ воздержать его, благодушно остерегая—какъ бы, пожалуй, не пришлось имъ ѣхать опять назадъ... Изучая великорусскій бытъ XVI — XVII вѣка, онъ прилежно читалъ Олеарія, и вычиталъ у него описаніе русскаго спо-

соба приготовлять знаменитый старинный „ставленый“ медъ; ему непремѣнно надо было попробовать этотъ медъ, „превосходный и превкусный“ по словамъ нѣмецкаго путешественника,—онъ переводитъ рецептъ Олеарія (книга III, гл. VII) своей матери, отличной малорусской хозяйкѣ, и я въ 50-хъ годахъ пилъ у него этотъ медъ, дѣйствительно превосходный. Съ чутьемъ историческимъ и вмѣстѣ художественнымъ, Костомаровъ извлекалъ изъ старыхъ памятниковъ характерныя черты, выраженія, рисующія время и положеніе. Видавшіе его въ тѣ годы знаютъ, какъ онъ былъ впечатлителенъ къ этимъ яркимъ отголоскамъ старины, какъ они видимо рисовали передъ нимъ цѣлую картину. Въ 1856 году, занимаясь рукописями въ Публичной библіотекѣ, я нашелъ въ одномъ старомъ сборникѣ столь извѣстную потомъ „Повѣсть о горѣ-злосчастіи, какъ горе-злосчастіе довело молодца во иноческій чинъ“; прочитавши и списавши „повѣсть“, я подѣлился своей находкой съ Костомаровымъ, который также занимался тогда въ библіотекѣ. Я уже зналъ, какимъ наслажденіемъ будетъ для него эта повѣсть—рѣдкій образчикъ старой русской поэзіи. Дѣйствительно, онъ пришелъ въ восторгъ отъ древней поэмы и, забывая о мѣстѣ и времени, сталъ декламировать ее по рукописи во всеуслышаніе, такъ что дежурный чиновникъ пришелъ остановить ученаго чудака. Костомаровъ едва согласился умѣрить свою декламацію. Я не могъ отказать ему въ удовольствіи напечатать „повѣсть“ немедля, съ его комментаріемъ, который былъ уже готовъ на другой день (въ „Современникѣ“, 1856, апрѣль).

Эта впечатлительность, это стремленіе возсоздавать прошедшее въ его живыхъ чертахъ, соединились у Костомарова съ другимъ драгоцѣннымъ для историка даромъ—необыкновенною памятью. Съ этимъ громаднымъ запасомъ фактовъ въ головѣ, способностью воспроизведенія, Костомаровъ давалъ историческіе разсказы, пріобрѣтавшіе именно художественный характеръ. Тамъ, гдѣ другой писатель былъ связанъ скудостью и сухостью историческихъ данныхъ и не рѣшался выходить за предѣлы ихъ тѣснаго смысла, передъ Костомаровымъ возставало живое прошедшее. Его университетскія лекціи производили увлекающее дѣйствіе: какъ будто говорилъ самъ старый лѣтописецъ, знавшій о событіяхъ отъ самыхъ близкихъ свидѣтелей. Намъ случилось быть на двухъ-трехъ чтеніяхъ его о древнемъ Новгородѣ—его церковной жизни, преданіяхъ (его долго занимали черти разныхъ наименованій, съ которыми вели борьбу святые подвижники): эти лекціи были замѣчательны по искусной реставраціи древняго быта и міровоззрѣнія. Приводимъ нѣсколько словъ его тогдашняго слушателя, которыя очень вѣрно передаютъ впечатлѣніе лекцій Костомарова.

...„Только тѣ, кто слушалъ его,—разсказываетъ г. Скабичевскій въ своихъ воспоминаніяхъ,—могутъ вполнѣ оцѣнить его художественный талантъ, ту тайну обаятельнаго и могучаго очарованія, которое онъ производилъ на слушателей—тайну, унесенную имъ съ собою въ могилу. Какъ назвать этотъ талантъ и въ чемъ онъ заключался, я положительно не могу дать себѣ отчета. Ораторъ увлекаетъ слушателей тѣмъ жаромъ, которымъ онъ самъ увлекается, и красотою построенія рѣчей, свободно и неудержимо льющихся изъ его устъ; декламаторъ увлекаетъ разнообразіемъ и гибкостью своей дикціи, актеръ —своею мимикой,—тутъ ничего этого не было. Передъ вами стоялъ на каѳедрѣ человѣкъ съ неподвижными, словно застывшими, чертами лица и смотрѣлъ своими задумчивыми глазами не на васъ, а куда-то въ невѣдомую даль, словно въ глубь древнихъ вѣковъ; тихимъ, монотоннымъ голосомъ, отчеканивая каждое слово, но безъ малѣйшихъ повышеній и пониженій голоса, невозмутимо-спокойнымъ тономъ, онъ читалъ свою лекцію, какъ будто нехотя, а между тѣмъ, заставлялъ забывать васъ все, что васъ окружало, и всецѣло переноситься въ ту эпоху, среду, о которыхъ шла рѣчь съ каѳедры. Порою вся лекція его заключалась въ однихъ выдержкахъ изъ различныхъ лѣтописей, но это-то чтеніе лѣтописей и было главнымъ конькомъ его таланта. Тяжелая, неудоборазбираемая, повидимому, такая наивно-нескладная рѣчь лѣтописи вдругъ получала въ его устахъ характеръ чисто-народнаго говора, понятнаго для каждой институтки, никогда въ глаза не видѣвшей лѣтописныхъ текстовъ; сухое, сжатое изложеніе дѣлалось полно сочныхъ и яркихъ красокъ, и стародавняя старина оживала передъ вами во всей своей архаической прелести“.

Вообще, Костомаровъ не былъ историкъ-аналитикъ, тонко разбирающій формы политическаго и общественнаго развитія, но это не былъ только искусный разсказчикъ. Споры о томъ, былъ ли онъ художникъ или нѣтъ, разрѣшаются сравненіемъ: есть ли въ нашей исторіографіи послѣдняго полустолѣтія другой писатель, который могъ бы равняться съ нимъ достоинствомъ живого, наглядnаго разсказа? Другого писателя мы назвать не можемъ. При первомъ появленіи, „Богданъ Хмельницкій“ произвелъ впечатлѣніе, заставившее сравнивать автора съ Августиномъ Тьерри. Въ самомъ дѣлѣ, это едва ли не тотъ типъ историка, къ которому Костомаровъ можетъ быть отнесенъ всего ближе. Сравненіе съ Карамзинымъ, которому давали превосходство надъ Костомаровымъ, совершенно неумѣстно: псевдо-классическая манера Карамзина такъ уже далека отъ нашихъ литературныхъ понятій и такъ мало отвѣчаетъ самой описываемой древности, что сравненіе невозможно; это—вещи несоизмѣримыя.—Но здѣсь, быть можетъ, надо предупредить недоразумѣніе: въ глазахъ однихъ, названіе

„историка-художника“ есть высшая степень историографическаго дарованія; въ глазахъ другихъ, это — только талантъ повѣствователя, до извѣстной степени внѣшній, не идущій въ глубину. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ многіе понимаютъ и Костомарова. Какъ мы замѣтили, онъ не былъ аналитикомъ; но крайне несправедливо было бы сказать, что для Костомарова закрыта была внутренняя сторона исторіи, развивающаяся жизнь историческаго организма. Напротивъ, съ этой стороны за нимъ остается великая заслуга указанія такихъ факторовъ исторіи, которые до тѣхъ поръ или не привлекали вниманія, или не находили достаточнаго объясненія. Такова его общая мысль о присутствіи народа въ исторіи (входившая тогда вообще въ историческое сознаніе, но имъ воспринятая самостоятельно и прилагаемая по своему), о начаткахъ федеративнаго устройства въ древней Руси (соотвѣтствіе княженій „землямъ“ и т. д.), о „двухъ русскихъ народностяхъ“; таковъ замѣчательный трактатъ о началѣ единодержавія въ древней Россіи; таковъ усиленный интересъ, который онъ отдавалъ малорусской исторіи, съ первыхъ шаговъ своихъ на ученой дорогѣ и до самаго ея конца (диссертація объ уніи и „Мазепа“); таковы наконецъ его монографіи объ отдѣльныхъ историческихъ лицахъ, какъ Дмитрій Донской, Сусанинъ, Петръ Великій, гдѣ онъ шелъ иногда противъ господствующихъ историческихъ понятій. Эти монографіи, особливо двѣ первыя, вызвали много нареканій противъ Костомарова и даже полу-оффиціальныя порицанія; но за писателемъ было все право свободной исторической критики, —котораго у насъ все еще не умѣютъ понять: его монографіи не были голословнымъ отрицаніемъ популярныхъ легендъ; онъ указывалъ факты, приводилъ соображенія, которыя должны были потребовать вниманія серьезнаго историка. Онъ могъ ошибаться въ своихъ взглядахъ, но ошибку надо было доказать—на него бросались съ бранью, когда ошибка еще не была доказана. Онъ могъ быть односторонень относительно Петра Великаго; но факты, имъ указываемые, опять не могутъ быть пропущены серьезнымъ историкомъ.—Наиболѣе суровыя, и наименѣе справедливыя нападки вызывало „украинофильство“ Костомарова. Это „украинофильство“, особливо въ послѣднее время, было такъ умѣренно, что спорить противъ него могло или только круглое непониманіе, или злобная вражда и къ лицу, и къ племени.

Мы хотѣли здѣсь отмѣтить нѣкоторыя главныя черты въ литературномъ характерѣ Костомарова. Подробный разборъ его историческихъ взглядовъ, безъ сомнѣнія, будетъ сдѣланъ историками-спеціалистами. Будущій біографъ разскажетъ о воспитаніи и развитіи этого дарованія, о внѣшнихъ фактахъ этой біографіи, носящей ту тяжелую печать, которая, къ сожалѣнію, такъ часто ложится на существо-

ваніе лучшихъ людей нашей литературы и просвѣщенія; разскажетъ о томъ, какъ на писателѣ отражались событія общественной жизни и т. д.

Біографія, какъ и литературная дѣятельность Костомарова, имѣла нѣсколько весьма несходныхъ періодовъ или настроеній. Первая пора отмѣчена юношескимъ энтузіазмомъ; это былъ романтизмъ на тэму народности и позднѣе славянства, мечтавшій объ имѣющемъ наступить нѣкогда братскомъ союзѣ славянскихъ народовъ, соединенныхъ залогами одноплеменности, общаго древняго преданія и надеждами на будущее, свободное и высокое. Крѣпостное заточеніе разбило личныя надежды, отняло почву у прежняго панславянскаго идеализма, но не уменьшило ни мало ни его украинофильства, ни исторіографической ревности. Костомаровъ въ Саратовѣ докончилъ работу, начатую раньше—„Богдана Хмельницкаго“, и задумывалъ рядъ новыхъ; „Кремуцій Кордъ“ имѣлъ подкладку въ его личномъ настроеніи. Въ это время его живо интересовали европейскія событія, и вызывали у него характерные поэтическіе отзывы... Переѣздъ въ Петербургъ далъ новый толчекъ его дѣятельности—въ профессурѣ, въ новыхъ историческихъ предпріятіяхъ. Въ Петербургѣ онъ встрѣтился со многими амнистированными тогда украинцами, старыми друзьями, Кулишомъ и особливо Шевченкомъ... Для стараго кружка нашелся пунктъ соединенія и новой работы въ предпріятіяхъ для народной малорусской литературы и въ начавшемся тогда украинофильскомъ журналѣ „Основа“... Университетскіе безпорядки, отразившіеся для Костомарова разными непріятными положеніями, прекращеніе „Основы“ и другія событія того времени, оставили вообще въ немъ тяжелыя впечатлѣнія: съ одной стороны, онъ все больше устранялся отъ общественныхъ интересовъ; съ другой, обострялись его отношенія къ вопросамъ и мнѣніямъ, которыхъ онъ прежде хотя и не дѣлилъ, но умѣлъ понимать болѣе безпристрастно и т. д. Онъ жилъ въ тѣсномъ кружкѣ ближайшихъ пріятелей и почитателей и—въ архивахъ. Тяжелая болѣзнь, вынесенная имъ въ половинѣ 70-хъ годовъ, оставила свой слѣдъ въ утомленіи, которое отразилось на его послѣднихъ трудахъ; онъ начиналъ думать, что историкъ не имѣетъ права выходить за точные предѣлы своего матеріала и давать волю той силѣ историко-поэтическаго воспроизведенія, которая именно сообщала такую привлекательность его прежнимъ трудамъ. Его послѣднія работы нерѣдко бывали сухимъ историческимъ рефератомъ, хотя „Исторія въ жизнеописаніяхъ“ опять даетъ много яркихъ страницъ, написанныхъ съ прежней живописной манерой...

Словомъ, Костомаровъ былъ однимъ изъ оригинальнѣйшихъ представителей нашей исторіографіи, единственный изъ писателей новѣй-

ныхъ, котораго можно было назвать историкомъ-художникомъ, имѣвшій громадную заслугу въ популяризаціи историческаго знанія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ самое пониманіе нашего прошлаго внесшій много новыхъ и плодотворныхъ идей. Пожелаемъ, чтобы его историографическая дѣятельность была разобрана и оцѣнена компетентнымъ судьей [1]).

А. Пыпинъ.

[1]) Въ заключеніе приведемъ полный списокъ трудовъ Н. И. Костомарова, какъ подписанныхъ, такъ и неподписанныхъ имъ, въ „Вѣстникѣ Европы", 1866—1885 гг.:

1866 г.: „Историческая наука въ „Вѣстникѣ Европы" до 1830 г." (мартъ).
„Смутное время московскаго государства" (мартъ, іюнь, сент., дек.).
„Обзоръ книгъ и статей по русской исторіи въ 1865 г." (мартъ, іюнь).
„Обзоръ книгъ и статей по русской исторіи въ 1866 г." (сент., дек.).

1867 г.: „Смутное время московскаго государства" (мартъ, іюнь, сент.).
„Новѣйшая литература русской исторіи" (мартъ, іюнь. дек.).

1868 г.: „Патріархъ Фотій и первое раздѣленіе церквей" (янв., февр.).
„Гетманство Юрія Хмельницкаго" (апр., май).

1869 г.: „Послѣдніе годы Рѣчи-Посполитой" (февр., дек.).

1870 г.: „Костюшко и революція 1794 г." (янв., февр., мартъ).
„Церковно-историческая критика въ XVII в." (апр.).
„Начало единодержавія въ древней Руси" (нояб., дек.).

1871 г.: „Исторія раскола у раскольниковъ" (апр.).
„Личности смутнаго времени" (іюнь).
„Личность царя Ивана Васильевича Грознаго" (окт.).

1872 г.: „Отвѣтъ на бранное посланіе г. Погодина" (февр.).
„Великорусская народная пѣсенная поэзія" (май).
„Кто виноватъ въ смутномъ времени" (сент.).

1873 г.: „Преданія первоначальной русской лѣтописи" (янв., февр., мар.).
„О слѣдственномъ дѣлѣ по поводу убіенія царевича Дмитрія" (сент.).

1874 г.: „Отвѣтъ на новыя „бранныя посланія" г. Погодина" (янв.).
„Петръ Могила передъ судомъ изслѣдователей нашего времени" (май).
„Историческая поэзія и новыя ея матеріалы" (дек.).

1875 г.: „Кудеяръ" (апр., май, іюнь).

1876 г.: „Моя русская исторія предъ судомъ критика въ „Русскомъ Вѣстникѣ" (сент.).

1878 г.: „Богданъ Хмельницкій, данникъ Оттоманской порты" (дек.).

1879 г.: „Руина" (апр., май, іюнь, авг., сент.).

1880 г.: „Руина" (іюль, авг., сент.).

1881 г.: „Малорусское слово" (янв.).
„По вопросу о малорусскомъ словѣ „Современнымъ Извѣстіямъ" (мартъ).
„Еще по поводу малорусскаго слова „Московскимъ Вѣдомостямъ" (апр.).
„Объясненіе по поводу археологическаго съѣзда въ Тифлисѣ" (дек.).

1882 г.: „По поводу статьи г. де-Пуле въ „Русскомъ Вѣстникѣ" (май).
„Крашанка г. Кулиша" (авг.).

1884 г.: „Фельдмаршалъ Минихъ, и его значеніе въ русской исторіи" (авг., сент.).

1885 г.: „По поводу книги М. О. Кояловича: „Исторія русскаго самосознанія, по историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ" (апр.).

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-е мая, 1885.

Настроеніе общества и печати въ виду возможной войны.—Походъ противъ дипломатіи и дипломатовъ.—Духовная связь между воинственнымъ азартомъ и домашнимъ реакціонерствомъ.—Празднество 6-го апрѣля; внѣшнія къ нему приставки.—Столѣтіе петербургскаго городского общества.

Минувшій мѣсяцъ былъ мѣсяцемъ ожиданія, неопредѣленности и тревоги. Съ 28 марта, т.-е. со дня обнародованія телеграммы о битвѣ на берегахъ Кушка, вопросъ о русско-афганской границѣ вступилъ въ свой острый фазисъ, и возможность войны сдѣлалась очевидной. Замѣчательно, что именно съ этого времени нѣсколько успокоивается—за весьма немногими исключеніями—воинственный азартъ, овладѣвшій было многими органами нашей печати. Исключенія, о которыхъ мы только что упомянули, свидѣтельствуютъ о томъ, что измѣненіе тона не было результатомъ внѣшняго давленія, что оно произошло не par ordre. Серьезность обстоятельствъ произвела, сама по себѣ, отрезвляющее дѣйствіе; сравненіе поводовъ къ войнѣ съ жертвами, которыхъ она будетъ стоить, съ компликаціями, которыя она можетъ вызвать, привело къ убѣжденію, что подливаніе масла въ огонь было бы въ данномъ случаѣ чѣмъ-то худшимъ, нежели простая ошибка. Повліяло на воинствующую печать, по всей вѣроятности, и смутное сознаніе разногласія съ громаднымъ большинствомъ читателей. Непосредственно и прямо выражать свои желанія и взгляды наше общество не можетъ; настроеніе его доступно только для догадокъ, а не для точныхъ опредѣленій. Отсюда возможность разногласія, возможность доказывать, съ равнымъ, повидимому, основаніемъ, или съ одинаковымъ отсутствіемъ основаній—и миролюбіе общества, и его воинственность. Въ концѣ концевъ, однако, слишкомъ сильная, слишкомъ явная фальшь чувствуется всѣми, кромѣ людей съ непроницаемо-толстой кожей—и въ области печати происходитъ поворотъ, приближающій къ дѣйствительному общественному мнѣнію или къ господствующему его оттѣнку. Большого практическаго значенія этотъ поворотъ, конечно, имѣть не можетъ—но хорошо уже и то, что меньше лживыхъ и хвастливыхъ фразъ звучитъ въ воздухѣ, меньше искажается истина, меньше остается простора для легкомыслія и для искусственной страстности. На фонѣ успокоившейся печати рѣзче

выдаются немногіе голоса, продолжающіе твердить старую, вытащенную изъ архива пѣсню. Для того, кто помнитъ 1853 и 1854 г., именно чѣмъ-то архивнымъ, затхлымъ, мертвеннымъ отзываются псевдо-патріотическія выходки въ стихахъ и прозѣ, все еще наводняющія собою страницы извѣстныхъ изданій и достигающія своего кульминаціоннаго пункта въ удивительномъ двустишіи: „Инымъ друзьямъ—чѣмъ заговаривать имъ зубы, полезнѣй по зубамъ бы дать". Въ сравненіи съ такими перлами, настоящимъ произведеніемъ искусства является даже знаменитое стихотвореніе о воеводѣ Пальмерстонѣ. Тиртеи пятидесятыхъ годовъ не испытали и не вѣдали всего того, что испытали или по меньшей мѣрѣ знаютъ нынѣшніе ихъ подражатели; они имѣли на своей сторонѣ преимущество неизвѣданія, которымъ теперь никто оправдываться не можетъ, преимущество наивности, о которомъ теперь не можетъ быть и рѣчи. Они пѣли среди глубокой темноты, которая во всякомъ случаѣ еще не наступила.

Съ самаго берлинскаго трактата, а можетъ быть и раньше, у насъ вошли въ моду нападенія на дипломатію и дипломатовъ. Въ критическій моментъ, нами переживаемый, они повторяются особенно часто и особенно громко. Къ напоминаніямъ о старыхъ грѣхахъ дипломатіи присоединяются обвиненія, прямо относящіяся къ настоящему. Одни говорятъ о малодушной, не всегда достойной податливости" нашей дипломатіи, „пріучившей всѣхъ обращаться къ намъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, запугивать насъ какъ дѣтей";—другіе идутъ дальше и утверждаютъ, что теперешніе русскіе дипломаты готовятъ для Россіи „унизительный прецедентъ, еще небывалый въ лѣтописяхъ европейскихъ государствъ". Самые умѣренные изъ противниковъ дипломатіи ограничиваются общими разсужденіями такого рода: „былъ ли когда нибудь въ исторіи случай, несомнѣнно доказанный, что дипломатія предотвратила войну—не знаемъ; но были несомнѣнно доказанные случаи, что дипломатія извращала результаты войны и даже была виновницей войны". Защищать дипломатію вообще и нашихъ дипломатовъ въ особенности мы не чувствуемъ себя ни призванными, ни расположенными; мы хотимъ только указать на крупное недоразумѣніе, лежащее въ основѣ газетной анти-дипломатической компаніи. Читая нашихъ „дипломатофобовъ", можно подумать, что дипломатія—какая-то сила, существующая an und für sich, а дипломаты—органы или представители этой силы. Ничего подобнаго на самомъ дѣлѣ никогда не было и въ особенности нѣтъ теперь, въ эпоху желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ и телефоновъ. Полу-серьезно, полу-шутя, уже неоднократно

высказывалась мысль объ упраздненіи пословъ, посланниковъ и посольствъ, какъ инстанціи излишней въ виду новыхъ средствъ веденія переговоровъ. Оттѣнокъ парадоксальности, нечуждый этой мысли, не мѣшаетъ ей быть гораздо ближе къ истинѣ, чѣмъ противоположная крайность, преувеличивающая значеніе дипломатіи. Рѣшеніе вопроса о войнѣ и мирѣ меньше всего зависитъ въ наше время именно отъ дипломатовъ. Гораздо важнѣе, въ этомъ отношеніи, голосъ финансистовъ и военныхъ людей, свидѣтельствующихъ о готовности или неготовности государства къ открытію военныхъ дѣйствій. Если санъ-стефанскому мирному договору не было суждено стать послѣднимъ словомъ восточной войны, если могъ состояться берлинскій конгрессъ, а затѣмъ и берлинскій трактатъ съ его условіями, неблагопріятными для Россіи, то послѣднюю разгадку этихъ печальныхъ фактовъ слѣдуетъ искать не въ „податливости“ нашей дипломатіи, не въ слабости нашихъ дипломатовъ. Допустивъ податливость, нужно еще опредѣлить ея источникъ; допустивъ слабость, нужно еще объяснить, почему созданное ею дѣло не было разрушено другою, болѣе сильною волею. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что весь ходъ событій съ февраля по іюль 1878 г. сводится къ одной рѣшающей причинѣ: къ несоразмѣрности между задачей, предстоявшей русскому правительству въ случаѣ неудачи мирныхъ переговоровъ—и тогдашними средствами Россіи. Существовала ли такая несоразмѣрность на самомъ дѣлѣ, или только предполагалась, какъ говорятъ нѣмцы, an massgebender Stelle—это, въ сущности, все равно; результатъ въ обоихъ случаяхъ долженъ былъ быть одинъ и тотъ же. Не дѣло дипломатовъ—рѣшать, въ состояніи ли государство вынести борьбу съ данными врагами, при данныхъ условіяхъ; ихъ дѣло—сообразоваться съ рѣшеніемъ по этому предмету, не ими постановленнымъ. Есть, правда, одинъ шансъ успѣха или неуспѣха, оцѣнка котораго входитъ въ профессіональный кругъ дѣйствій дипломатіи: мы говоримъ о всемъ касающемся союзовъ, о прямой или косвенной поддержкѣ, прямомъ или косвенномъ противодѣйствіи, нейтральныхъ до поры до времени, державъ. И здѣсь, однако, многое зависитъ отъ военной и финансовой стороны вопроса, отъ количества и качества силъ, которыми располагаетъ государство, отъ степени важности возникшаго спора, отъ рѣшимости или нерѣшимости рисковать изъ-за него войною, отстаивать тотъ или другой его исходъ съ оружіемъ въ рукахъ. И здѣсь, слѣдовательно, въ область дипломатіи вторгаются—и часто берутъ перевѣсъ—чуждые ей элементы.

Отъ дипломатіи, въ смыслѣ спеціальнаго искусства, слѣдуетъ отличать совокупность междугосударственныхъ и международныхъ

отношеній, нити которыхъ, сходясь въ рукахъ верховной власти, создаются, поддерживаются, а иногда и перепутываются далеко не одними только дипломатами. Въ государствахъ конституціонныхъ это виднѣе—достаточно вспомнить ту роль, которая принадлежитъ тамъ палатамъ, кабинету, общественному мнѣнію, прессѣ—но въ сущности то же самое происходитъ, mutatis mutandis, и во всѣхъ другихъ. Возьмемъ, напримѣръ, хотя бы тотъ же англо-афганскій вопросъ. Съ русской точки зрѣнія, значеніе его обусловливается движеніемъ промышленности и торговли, умиротвореніемъ недавно покоренныхъ племенъ, безопасностью границъ, стратегическими соображеніями, историческими традиціями и т. п. Очевидно, что судить о всемъ этомъ или, по крайней мѣрѣ, о многомъ компетентны вовсе не дипломаты, что они являются только проводниками взглядовъ, постепенно выработанныхъ или потоянно измѣняемыхъ взаимодѣйствіемъ разныхъ силъ, теченій и интересовъ. Получитъ господство мысль о необходимости достигнуть извѣстной цѣли, о невозможности уступокъ, идущихъ дальше извѣстной черты—и требованія дипломатовъ станутъ болѣе энергичными, болѣе настойчивыми; склонятся вѣсы на другую сторону, ослабѣетъ вѣра въ важность вопроса, и дипломатамъ легче будетъ придти къ миролюбивому соглашенію. Дипломаты, во все время переговоровъ о войнѣ или мирѣ, напоминаютъ намъ, отчасти, секундантовъ передъ поединкомъ. Отъ чего зависитъ, въ огромномъ, большинствѣ случаевъ, успѣхъ или неуспѣхъ примирительной дѣятельности секундантовъ? Отъ двухъ причинъ: отъ серьезности повода къ дуэли и отъ боевой готовности противниковъ. Если оскорбленіе слишкомъ тяжело или одинъ изъ участниковъ распри слишкомъ твердо рѣшился довести ее до кровопролитнаго конца, всѣ усилія секундантовъ предупредить дуэль останутся безплодными; если ссора произошла изъ-за неважныхъ обстоятельствъ, и ни одна изъ сторонъ не желаетъ поддерживать ее во что бы то ни стало, секунданты не встрѣтятъ препятствій къ благополучному разрѣшенію своей задачи. Конечно, секунданты, раздражительные, неумѣлые, самолюбивые, могутъ усложнить дѣло, затруднить примиреніе—и наоборотъ; но вліяніе посредниковъ и свидѣтелей дуэли все-таки остается, говоря вообще, сравнительно рѣдкимъ и неважнымъ. То же самое можно сказать и о дипломатахъ. Дополнимъ параллель еще одной чертою: если секундантъ согласится, вопреки данному ему полномочію, на что-либо унизительное для его довѣрителя, то послѣдній всегда можетъ признать это согласіе для себя не обязательнымъ и послать къ своему противнику другого секунданта.

За нападеніями на дипломатію и дипломатовъ часто скрывается

впрочемъ, нѣчто совершенно иное: непониманіе примирительной политики, вѣра въ одни крайнія средства, обожаніе грубой силы. Какъ бы ограничена ни была задача, разрѣшаемая собственно дипломатами, она имѣетъ характеръ по преимуществу миролюбивый—и этого достаточно, чтобы сдѣлать ее ненавистной въ глазахъ хвастливыхъ, близорукихъ „патріотовъ своего отечества". Бреттёръ не можетъ сочувствовать секундантамъ, добросовѣстно старающимся предупредить поединокъ; для людей въ родѣ Э. Олливье, съ легкимъ сердцемъ идущихъ на встрѣчу войнѣ, симпатичными могутъ быть только дипломаты въ родѣ герцога Граммона. Настоящій дипломатъ, въ ихъ воображеніи—это человѣкъ, постоянно бряцающій мечемъ, требующій, грозящій, торопящій, назначающій самые короткіе сроки для самыхъ невозможныхъ отвѣтовъ; это, однимъ словомъ, предшественникъ войны, несущій ее въ своемъ карманѣ и въ каждую данную минуту готовый вынуть ее оттуда. Въ нашей исторіи такіе дипломаты иногда встрѣчались—но воспоминанія о нихъ едва ли принадлежатъ къ числу утѣшительныхъ и свѣтлыхъ... Шовинисты всѣхъ странъ и всѣхъ временъ упускаютъ изъ виду, что первая обязанность правительства—охраненіе мира, что война становится законной только тогда, когда исчерпаны всѣ средства къ ея предотвращенію. Чѣмъ продолжительнѣе переговоры, чѣмъ терпѣливѣе переговаривающіеся, тѣмъ больше шансовъ для мирнаго окончанія распри. Говорятъ, что дипломатія не предупредила ни одной войны. Если понимать это положеніе въ томъ смыслѣ, что поддержаніе мира никогда не зависѣло отъ одного лишь „дипломатическаго искусства", отъ ловкости, даровитости или мудрости однихъ дипломатовъ, то съ этимъ мы готовы согласиться, по основаніямъ нами уже указаннымъ; но если рѣчь идетъ вообще о невозможности предотвратить войну путемъ переговоровъ и соглашеній, то выводъ нашъ будетъ совершенно иной. Ограничимся двумя примѣрами, заимствованными изъ современной исторіи. Когда въ 1867 г. возгорѣлся между Франціей и Пруссіей споръ изъ-за Луксембурга, война представлялась въ высшей степени вѣроятной; Франція хотѣла „реванша" за Кениггрецъ, Пруссія, только что побѣдившая Австрію и половину Германіи, не могла, безъ потери всего вновь пріобрѣтеннаго престижа, согласиться на уступку хотя бы одной пяди нѣмецкой земли. Миръ, тѣмъ не менѣе, не былъ нарушенъ; найденъ былъ, путемъ переговоровъ, средній терминъ, удовлетворительный для обѣихъ сторонъ. Само собою разумѣется, что такому исходу много способствовало неокончаніе Франціею военной реформы, недостаточное скрѣпленіе новой связи между Пруссіей и южно-германскими государствами; но мы и не утверждаемъ, чтобы

международное соглашеніе было возможно внѣ данныхъ условій или вопреки имъ—мы говоримъ только, что необходимо самое тщательное, спокойное и всестороннее обсужденіе этихъ условій, необходимы настойчивыя, искреннія попытки найти такую комбинацію ихъ, которая могла бы стать основаніемъ полюбовной сдѣлки. Сохраненіе мира въ 1867 г. составляетъ заслугу Бисмарка, не какъ дипломата, а какъ государственнаго человѣка; государственнымъ человѣкомъ показалъ себя въ эту минуту — къ несчастію для него, въ послѣдній разъ — и Наполеонъ III-й. Другой примѣръ не менѣе знаменательный — это разрѣшеніе международнымъ третейскимъ судомъ такъ-называемаго алабамскаго вопроса. Столкновеніе между Англіей и Соединенными-штатами казалось почти неизбѣжнымъ; страсти были сильно возбуждены съ обѣихъ сторонъ, національное самолюбіе — самымъ чувствительнымъ образомъ затронуто. Сознаніе громадныхъ золъ, неразрывно сопряженныхъ съ войною, одержало верхъ—и въ практику международнаго права съ полнѣйшимъ успѣхомъ введено было новое учрежденіе, имѣющее передъ собою блестящую будущность. Миролюбивое окончаніе дѣла и здѣсь оказалось возможнымъ только потому, что переговоры не были прерваны и брошены при первомъ рѣзкомъ разногласіи между сторонами. Болѣе чѣмъ когда-либо политика соглашенія, медленная, выжидательная и сдержанная, умѣстна и разумна въ тѣхъ спорахъ, которые не касаются жизненныхъ насущныхъ интересовъ государства —и къ числу такихъ споровъ настоящая распря между Россіей и Англіей относится несомнѣнно, по крайней мѣрѣ съ русской точки зрѣнія. Самыми плохими совѣтниками являются здѣсь тѣ, которые кричатъ „не довольно ли переговоровъ"? или рекомендуютъ „требовательность", возрастающую пропорціонально „назойливости" нашихъ противниковъ. Мы понимаемъ, что назойливости можетъ и должна быть противопоставлена твердость—но твердость заключается не въ томъ, чтобы постоянно возвышать требованія, а въ томъ, чтобы неуклонно держаться однажды установленной, минимальной ихъ нормы. Гостинодворскіе пріемы запрашиванія, съ одной стороны, и слишкомъ дешеваго предложенія—съ другой, устарѣли даже въ торговлѣ; по отношенію къ политикѣ о нихъ не слѣдовало бы и вспоминать. Еще менѣе позволительны экскурсіи изъ области политики въ другую, неизмѣримо высшую, кощунственно-мистическія фразы въ родѣ слѣдующей: „въ людскомъ ослѣпленіи (т.-е. въ ослѣпленіи англичанъ) приходится чтить велѣніе Промысла!" Такое чисто-земное дѣло, какъ споръ о русско-афганской границѣ, должно быть и рѣшено на основаніи чисто-земныхъ соображеній. Ссылка на небесную помощь—еще

не гарантія успѣха; наше прошедшее доказываетъ это съ достаточною ясностью.

Не случайно, конечно, самыми ожесточенными избивателями дипломатіи и самыми ярыми сторонниками войны оказываются у насъ тѣ самые органы печати, которые стоятъ за реакцію или регрессъ во внутренней жизни государства. Поклонники насилія, какъ единственнаго или лучшаго средства управленія, логически должны признавать его единственнымъ или лучшимъ средствомъ разрѣшенія международныхъ вопросовъ. Отличительная черта реакціонеровъ—это пренебреженіе къ человѣческому достоинству, невысокая оцѣнка человѣческой жизни, игнорированіе интересовъ массы, народнаго блага. Въ примѣненіи къ внѣшней политикѣ эта черта естественно влечетъ за собою проповѣдь войны за что бы то ни было и во что бы то ни стало. Только фанатикъ реакціи могъ написать слѣдующія слова, въ высшей степени характеристичныя для цѣлаго направленія: „Страхъ войны! Да, Господи Боже мой, чѣмъ же хуже будетъ намъ въ войнѣ съ Англіею, чѣмъ теперь? Курсъ нашъ упалъ, угрозы блокады стоятъ передъ нами, застой сильнѣе теперь, чѣмъ былъ бы въ случаѣ войны"... Итакъ, ужасы войны ограничиваются паденіемъ курса, застоемъ въ дѣлахъ и закрытіемъ торговыхъ портовъ?! Ничего не значатъ и не заслуживаютъ даже упоминанія тѣ потоки крови, которые польются съ обѣихъ сторонъ, тѣ тысячи семействъ, которыя будутъ лишены своей матеріальной и нравственной поддержки?!.. Недомысліе споритъ здѣсь съ безсердечіемъ, какъ и во всемъ томъ, что исходитъ отъ враговъ свѣта и свободы.

Отъ вопроса о войнѣ вниманіе русскаго общества было отвлечено празднествомъ 6-го апрѣля только на самое короткое время. Празднество это, какъ и слѣдовало ожидать, имѣло преимущественно церковный характеръ. Посвященное памяти святыхъ, чтимыхъ православною церковью, возвѣщенное синодскимъ посланіемъ, повсемѣстно ознаменованное молитвою и богослуженіемъ, оно должно было занять мѣсто въ ряду тѣхъ торжествъ, истолкованіе которыхъ выходитъ изъ круга дѣйствій свѣтской печати. Такъ смотрѣли мы на него до его наступленія, и именно потому не считали необходимымъ заранѣе говорить о немъ, конечно не подозрѣвая, что въ нашемъ молчаніи ревнители не по разуму усмотрятъ „демонстрацію"—противъ кого и противъ чего?.. Теперь, когда давно умолкли послѣдніе отголоски празднества, необходимо отмѣтить нѣкоторыя стороны его, имѣющія очень мало общаго съ внутреннимъ его смысломъ. Пріѣздъ гг. Ри-

стича, Наумовича, Площанскаго, присутствіе ихъ на литературномъ вечерѣ, устроенномъ славянскимъ благотворительнымъ обществомъ, рѣчи, произнесенныя ими и въ ихъ честь на нѣсколькихъ торжественныхъ обѣдахъ—все это пробудило память о славянскомъ съѣздѣ 1867 г., разогрѣло мысль о славянскомъ единеніи и братствѣ. Въ исторіи, однако, ничего не повторяется; воспоминаніе о происходившемъ восемнадцать лѣтъ тому назадъ именно и оттѣняетъ всего ярче разницу между тогдашней минутой и настоящей. Тогда блистали отсутствіемъ только поляки—теперь не насчитывалось многихъ другихъ племенъ славянскихъ, изъ которыхъ достаточно назвать хотя бы чеховъ. Тогда между нашими гостями выдавались имена Палацкаго и Ригера, которыхъ не уравновѣшиваетъ теперь одно имя Ристича. Тогда австрійскіе славяне всѣ были „прижаты къ стѣнѣ" политикою Бейста—теперь страдаютъ отъ гнета только одни русины, да и между ними далеко не всѣ идутъ по стопамъ о. Наумовича и г. Площанскаго. Тогда Австрія не становилась еще твердой ногой на Балканскомъ полуостровѣ; болгары ждали еще освобожденія изъ-подъ турецкаго ига, и ждали его отъ одной Россіи—на нее одну возлагали всѣ свои надежды и не вполнѣ освободившіеся сербы. Тогда задунайскіе славяне были обязаны еще не столь великою благодарностью передъ Россіей—но вѣдь къ благодарности всегда примѣшиваются другія, мало схожія съ нею чувства, а въ данномъ случаѣ ихъ примѣшалось къ ней особенно много. Тогда, наконецъ, только-что заключился періодъ великихъ реформъ въ самой Россіи, и впереди виднѣлось продолженіе ихъ, отложенное, повидимому, только на время. Несходству положеній соотвѣтствуетъ и несходство поводовъ, вызвавшихъ пріѣздъ славянскихъ гостей. Въ этнографической выставкѣ 1867 г. не было ничего, что могло бы сдѣлаться камнемъ преткновенія между различными отраслями славянства; въ празднованіи же св. Кирилла и Меѳодія неизбѣжно долженъ былъ преобладать элементъ не національный, а вѣроисповѣдный, не только потому, что средоточіемъ торжества была церковь, но и потому, что православному чествованію славянскихъ первоучителей заранѣе было противопоставлено католическое чествованіе ихъ въ Велеградѣ. Свѣтскими ораторами — въ стихахъ и прозѣ — вѣроисповѣдная рознь была подчеркнута съ особенною настойчивостью. Въ одномъ изъ стихотвореній, написанныхъ ad hoc, рядомъ съ „силой мусульманъ" поставлены „злыя чары папства"; о католическихъ славянахъ говорится тамъ же, что „между ними сгибла какъ Меѳодія могила, такъ и завѣты всѣ апостоловъ святыхъ" (даже и тѣ завѣты, которые имѣли общехристіанское значеніе?). Заканчивается стихотвореніе, правда, увѣреніемъ,

что „мы нетерпимости не знаемъ исповѣдной“, и призываемъ на „духовный пиръ“ всѣхъ славянъ, съ „любовью беззавѣтной“; но послѣ указанія на „злыя чары“, на гибель „всѣхъ завѣтовъ“, это увѣреніе, этотъ призывъ звучитъ по меньшей мѣрѣ странно. Не зачѣмъ обманывать самихъ себя: торжество, по необходимости вѣроисповѣдное, не было и не могло быть „всеславянскимъ праздникомъ“, не было ни „могучимъ толчкомъ“ къ взаимному сближенію славянъ, какъ полагаютъ одни, ни началомъ „истиннаго примиренія, разрѣшенія стараго спора славянъ между собою“, какъ надѣятся другіе. Всякое примиреніе должно исходить изъ того, что̀ есть общаго между сторонами, а не изъ того, въ чемъ коренится одно изъ главныхъ ихъ различій.

Несравненно больше основаній имѣло стремленіе выдвинуть впередъ, въ празднествѣ 6-го апрѣля, память о созданіи той „славянской грамоты“, которой столь многимъ обязанъ русскій народъ. Къ сожалѣнію, это стремленіе съ самаго начала получило узкій, односторонній оттѣнокъ; оно было придвинуто къ злобѣ дня, перемѣшано съ кружковыми тенденціями. „Церковно-славянскій языкъ“, по справедливому замѣчанію профессора Ламанскаго (въ рѣчи, произнесенной имъ вечеромъ 6-го апрѣля), „остается наилучшимъ органомъ церковнаго богослуженія, какъ языкъ не живой, не употребляемый никѣмъ въ разговорной рѣчи. Языкъ старый, отвлеченный отъ текущихъ интересовъ, онъ наилучше способенъ для народныхъ моленій въ храмахъ, съ отложеніемъ всякихъ житейскихъ попеченій“. Такое значеніе церковно-славянскаго языка не оспаривается никѣмъ, какъ не оспаривается и вытекающая отсюда необходимость школьнаго его изученія; но столь же очевидно и то, что языкъ „не живой“, т. е. мертвый, не можетъ и не долженъ быть господствующимъ языкомъ въ народной школѣ. Ему хотятъ, однако, навязать это господство—и чрезмѣрноревностные приверженцы его поспѣшили воспользоваться, какъ орудіемъ, торжествомъ 6-го апрѣля. Одни изъ нихъ восхваляютъ „азбуку Ѳедора Бурцова 1632 г.“ и провозглашаютъ ее образцемъ, достойнымъ подражанія въ настоящее время; другіе жалѣютъ о переводѣ священныхъ книгъ на русскій языкъ, восклицая, что „славянскій языкъ есть также русскій, только въ его древнѣйшемъ состояніи“; третьи сокрушаются о томъ, что приходится „справлять праздникъ тысячелѣтія славянскихъ первоучителей въ безнародной (?) школѣ, болѣе проникнутой принципами французской революціи (!!), чѣмъ завѣтами учителей церковной правды и духомъ нашего народа“; четвертые предлагаютъ поручить проектируемымъ ими „центральнымъ братствамъ“ повѣрку всѣхъ книгъ, издаваемыхъ для распростране-

нія въ народѣ. И все это пріурочивается къ празднеству 6-го апрѣля! Порицателямъ нашей безнародной школы не мѣшало бы припомнить хоть одно — что если въ настоящую минуту тысячи, десятки тысячъ дѣтей и взрослыхъ читаютъ сами и читаютъ другимъ житіе св. Кирилла и Меѳодія, если изданія, посвященныя великимъ славянскимъ апостоламъ, съ жадностью расхватываются и поглощаются народомъ, то это именно заслуга свѣтской, преимущественно земской школы, результатъ двадцатилѣтней дѣятельности ея. Два десятилѣтія — ничтожный періодъ времени въ исторіи народа, прошедшее котораго исчисляется вѣками; но въ этотъ короткій срокъ для народной грамотности сдѣлано больше, чѣмъ въ теченіе всѣхъ предшествовавшихъ столѣтій. Если завѣтомъ славянскихъ первоучителей было, между прочимъ, просвѣщеніе народа, то этотъ завѣтъ долго оставался неисполненнымъ. Конечно, лучше поздно, чѣмъ никогда; церковно-приходская школа, хорошо организованная и управляемая, можетъ принести огромную пользу дѣлу народнаго образованія — но изъ-за ея будущихъ услугъ несправедливо было бы забывать услуги, уже оказанныя и оказываемыя теперь свѣтской народной школой.

21-го апрѣля, одновременно съ годовщиной дворянской грамоты исполнилось сто лѣтъ дарованію „Жалованной грамоты городамъ россійской имперіи“. Петербургское городское общественное управленіе ознаменовало этотъ день изданіемъ обширной книги подъ заглавіемъ: „Столѣтіе с.-петербургскаго городского общества“. Авторъ книги — профессоръ И. И. Дитятинъ, извѣстный именно своими трудами по исторіи русскихъ городовъ — извлекъ много любопытнаго изъ матеріаловъ, предоставленныхъ въ его распоряженіе петербургскою городскою Думой; весьма интересно также освѣщеніе, данное имъ нѣкоторымъ крупнымъ историческимъ фактамъ. Новое положеніе, созданное для городовъ грамотою 1785 г., въ дѣйствительности оказалось совсѣмъ инымъ, чѣмъ въ предначертаніяхъ императрицы. Основы городского устройства, по мысли Екатерины, не должны были отличаться узко-сословнымъ характеромъ. Городское общество слагалось изъ всѣхъ городскихъ обывателей, т.-е. изъ всѣхъ тѣхъ, „кои въ городѣ или старожилы, или родились, или поселились, или домы или иное строеніе, или мѣсто, или землю имѣютъ, или въ гильдіи, или въ цехъ записаны, или службу городскую отправляли, или въ окладъ записаны, и по тому городу носятъ службу или тягость“. Городскіе обыватели раздѣлялись на шесть категорій, но и въ этомъ дѣленіи сословное начало не играло преобладающей роли. Первую категорію

составляли „настоящіе городскіе обыватели", т.-е. тѣ домо- или землевладѣльцы, которые не занимались ни ремеслами, ни торговлей. Сюда принадлежали, слѣдовательно, какъ дворяне, такъ и чиновники и священно- и церковнослужители, соединенные законодателемъ въ одну сплошную группу. Этого мало, императрицѣ не было чуждо понятіе объ образовательномъ цензѣ, до сихъ поръ наводящее на многихъ нѣкій суевѣрный ужасъ. Въ пятую категорію городскихъ обывателей—категорію „именитыхъ гражданъ"—входили, между прочимъ „ученые, кои академическіе или университетскіе аттестаты или письменныя свидѣтельства о своемъ знаніи или искусствѣ предъявить могутъ, и таковыми по испытаніи россійскихъ главныхъ училищъ признаны", а также „художники трехъ художествъ, именно: архитекторы живописцы, скульпторы и музыко-сочинители, кои суть члены академическіе или удостоенія академическія о своемъ знаніи или искусствѣ имѣютъ". Такъ какъ выборы въ Думу должны были происходить отдѣльно по категоріямъ или по группамъ, на которыя иныя категоріи распадались (подъ условіемъ извѣстной численности группы), - то за „учеными" и „художниками" обезпечено было, повидимому, не только избирательное право, но и мѣсто въ городской Думѣ. На самомъ же дѣлѣ участіе ихъ въ столичномъ управленіи является столь же незамѣтнымъ, какъ и участіе въ немъ настоящихъ городскихъ обывателей. По справедливому замѣчанію пр. Дитятина, основная мысль городового положенія 1785 г. опередила свое время почти на цѣлое столѣтіе; безсословнаго общества не знала еще тогдашняя жизнь—не могло оно сдѣлаться и носителемъ городского самоуправленія. Самое самоуправленіе долго, очень долго оставалось пустымъ словомъ. Когда Александръ I вновь призываетъ къ жизни петербургскую городскую Думу, уничтоженную распоряженіемъ императора Павла, рядомъ съ нею почти тотчасъ же являются правительственные комитеты, облекаемые тѣми или другими функціями городского хозяйства. Общая Дума, т.-е. именно представительный органъ столицы, уже при Екатеринѣ не собирается почти вовсе; то же самое слѣдуетъ сказать и о времени царствованія Александра I и Николая I. Авторъ „Столѣтія" предполагаетъ, что до 1846 г. даже избраніе членовъ шестигласной Думы (т.-е. исполнительнаго органа городского самоуправленія, соотвѣтствующаго нынѣшней городской управѣ) зависѣло не отъ общей Думы, а отъ отдѣльныхъ сословныхъ группъ. Ничтожество общей Думы отражается и въ сводѣ законовъ, почти вовсе игнорирующемъ ея существованіе. Со времени изданія свода, дворяне и чиновники перестаютъ считаться городскими обывателями и устраняются отъ участія въ Думѣ не только de facto, но и de jure. Съ 1824 г. купцы

первыхъ двухъ гильдій получаютъ, именно въ силу своего „достоинства", право отказываться отъ избранія въ Думу. Дѣло доходитъ до того, что не шестигласная Дума служитъ исполнителемъ постановленій общей Думы, а гласные послѣдней становятся исполнителями велѣній шестигласной Думы. Ревизія 1844 г. обнаруживаетъ, что „въ распоряженіи петербургской шестигласной Думы состоитъ тридцать-восемь гласныхъ, избираемыхъ изъ купцовъ, мѣщанъ и ремесленниковъ на три года для составленія общей городской Думы". Все городское устройство является такимъ образомъ какъ бы поставленнымъ вверхъ ногами. Служба въ шестигласной Думѣ цѣнится такъ низко, что до 1842 г. не освобождаетъ даже отъ тѣлеснаго наказанія; нѣкоторое значеніе въ глазахъ администраціи имѣетъ только городской голова, постоянно избираемый, въ силу установившейся практики, изъ высшихъ слоевъ торговаго сословія. Дума лишена даже права избирать своего секретаря; онъ назначается, вмѣстѣ со всѣми чиновниками его канцеляріи, губернскимъ правленіемъ—а между тѣмъ въ канцеляріи Думы именно и сосредоточивается та работа, которую администрація „предоставляетъ" городу. Это послѣднее выраженіе должно быть понимаемо буквально: кругъ дѣйствій Думы совершенно зависитъ отъ усмотрѣнія администраціи. По отношенію къ доходамъ она является только сборщикомъ, по отношенію къ расходамъ—только казначеемъ. Городская смѣта устанавливается не Думой, а особыми комитетами; произвести расходъ, смѣтой не предусмотрѣнный—какъ бы онъ ни былъ незначителенъ—Дума можетъ только съ дозволенія начальника губерніи. Военный генералъ-губернаторъ, за то, нерѣдко предписываетъ Думѣ произвести сверхсмѣтные расходы—и она ихъ производитъ. Удостовѣренія посторонихъ вѣдомствъ, что городскія деньги израсходованы ими по назначенію, вовсе не присылаются въ Думу, или присылаются ей крайне поздно. Отъ города требуютъ денегъ то на заготовленіе ремней для ружей, то на заготовленіе посуды для полковъ, то на передѣлку, въ казарменномъ зданіи, мелочной лавочки въ жилые покои—и всѣ эти требованія исполняются безпрекословно. Несмотря на запрещеніе займовъ изъ городскихъ суммъ, дирекція театровъ беретъ у Думы заимообразно 43 тысячи рублей. На счетъ Петербурга содержится, въ продолженіе многихъ лѣтъ, вся кронштадтская полиція. Неудивительно, что при такихъ порядкахъ столичная казна—по выраженію оффиціальной статьи въ „Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ"—доходитъ, къ концу сороковыхъ годовъ, „до совершеннаго истощенія".

Жалкое, во всѣхъ отношеніяхъ, положеніе столичнаго управленія и хозяйства давно уже заставляло думать о томъ, какъ пособить

горю. Необходимость „устроить или преобразовать“ столичную Думу, была признана государственнымъ совѣтомъ еще въ 1821 г.—но реформа состоялась только четверть вѣка спустя, въ 1846 г. Замѣчательно, что возражали противъ нея, между прочимъ, петербургскій городской голова и нѣкоторые представители купечества, вѣроятно, находившіе, что для нихъ существующій порядокъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Игнорируя основную мысль Екатерининской жалованной грамоты, они возмущались предполагавшимся введеніемъ—т.-е. возвращеніемъ въ городское общество элементовъ, не принадлежащихъ къ купечеству и мѣщанству; въ законопроектѣ, составленномъ правительственною властью, они усматривали „небывалое совокупленіе разнородныхъ и противоположныхъ сословій“, скопированное съ французской палаты депутатовъ (!) и „крайне опасное у насъ по степени образованности низшихъ классовъ людей“. Городовое положеніе 1846 г. не вняло этимъ воплямъ, столь близкимъ къ нынѣшнимъ сословнымъ воздыханіямъ и вожделѣніямъ. Они повторились еще разъ, уже послѣ утвержденія новаго закона, въ видѣ ходатайства объ оставленіи его безъ дѣйствія—но и тогда не достигли своей цѣли. Дворяне и чиновники опять стали членами городского общества, но съ отдѣленіемъ дворянъ потомственныхъ, образовавшихъ первую категорію избирателей, отъ личныхъ дворянъ и разночинцевъ, составившихъ, вмѣстѣ съ почетными гражданами, вторую избирательную группу (объ образовательномъ цензѣ не было, конечно, и рѣчи). Для производства выборовъ избиратели нѣкоторыхъ категорій собирались по участкамъ города; въ этомъ отношеніи, слѣдовательно, избирательный порядокъ 1846 г. былъ лучше дѣйствующаго въ настоящее время. Исполнительнымъ органомъ городского управленія сдѣлалась распорядительная Дума, въ которой три высшія сословія (кромѣ двухъ только-что названныхъ—еще купеческое) были представлены гораздо сильнѣе, чѣмъ два низшія (мѣщанское и ремесленное); къ выборнымъ членамъ (числомъ двѣнадцать) былъ присоединенъ одинъ членъ отъ короны, упраздненный лѣтъ двадцать спустя, за совершенною безполезностью этой должности. Господствующая роль въ общей Думѣ принадлежала первому сословію, такъ какъ дѣла обсуждались каждымъ сословіемъ отдѣльно, начиная съ перваго, мнѣніе котораго сообщалось остальнымъ и большею частью ими принималось. На самомъ дѣлѣ, однако, распорядительная Дума—или лучше сказать ея канцелярія—долго еще продолжала имѣть перевѣсъ надъ общей Думой, которая въ первыя четырнадцать лѣтъ послѣ ея преобразованія собиралась всего только семнадцать разъ (въ нѣкоторые годы—ни разу). Оживляется общая Дума только съ начала

шестидесятыхъ годовъ, благодаря, очевидно, не сословному своему устройству, а обстоятельствамъ времени. Съ этихъ поръ мы видимъ въ Думѣ и разумное стремленіе къ увеличенію городскихъ доходовъ, и усиленную заботливость о городскомъ благоустройствѣ. Правительство, по многимъ пунктамъ, идетъ на встрѣчу городу, передавая, напримѣръ, въ его вѣденіе строительную часть. Городовое положеніе 1870 г., введенное въ Петербургѣ въ февралѣ 1873 г., застаетъ петербургское городское общество пробудившимся и готовымъ принять активную роль въ завѣдываніи своими дѣлами. Что сдѣлано съ тѣхъ поръ петербургской Думой, несмотря на существенно-важные недостатки новаго ея устройства—объ этомъ мы уже много разъ говорили—и это именно составляетъ содержаніе послѣдняго отдѣла въ упомянутомъ трудѣ пр. Дитятина, столь же интереснымъ, сколько и поучительнымъ для тѣхъ, кто думаетъ видѣть въ возвращеніи къ старымъ городскимъ порядкамъ панацею отъ всѣхъ бѣдъ и золъ.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Рѣчь, произнесенная гласнымъ В. И. Герье, 21 апрѣля, въ московской городской Думѣ. Москва, 1885. Стр. 34.

Дополнимъ сообщенное уже нами объ изданіи петербургской Думой исторіи перваго столѣтія городского общественнаго самоуправленія, указаніемъ на рѣчь, произнесенную проф. В. И. Герье по тому же поводу въ Москвѣ. Въ краткомъ, но весьма интересномъ и поучительномъ очеркѣ исторіи городскихъ учрежденій вообще, и городского управленія въ частности, въ г. Москвѣ, В. И. Герье вполнѣ объяснилъ великое значеніе Екатерининской грамоты городамъ—сближеніемъ ея съ „Наказомъ", а вмѣстѣ съ тѣмъ и причины того, почему результаты этой грамоты въ дѣйствительности не соотвѣтствовали гуманнымъ цѣлямъ законодательницы. И проф. И. И. Дитятинъ, въ вышеупомянутой исторіи „Столѣтія", изданной петербургской Думою, и пр. В. И. Герье — приходятъ почти къ одному общему и вполнѣ справедливому выводу, что для процвѣтанія городовъ недостаточно однихъ законовъ, — необходимо, „чтобы все городское общество высоко цѣнило свои учрежденія, чтобы всѣ городскіе жители считали личную службу городскому обществу своимъ гражданскимъ долгомъ". Но, съ другой стороны, проф. Герье не отрицаетъ важности вліянія законодателя на судьбу городского общества: „всякія человѣческія учрежденія — говоритъ онъ — могутъ поддерживаться и крѣпнуть лишь при помощи того духа, который ихъ создалъ; а по смерти Екатерины II городскія учрежденія были даже совершенно упразднены". При такомъ ходѣ самого законодательства, конечно, и величайшее рвеніе городского общества къ служенію городу осталось бы безплоднымъ.

Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. 45 и 47. Спб. 1885, стр. 623 и 525. Ц. по 3 руб.

Содержаніе 45 тома составляютъ: замѣчательный планъ финансовъ Сперанскаго, 1810 г., и общая серія росписей государственныхъ доходовъ и расходовъ, начиная съ 1796 г. по 1825, вмѣстѣ съ отчетами объ исполненіи ихъ за 1801—1825 гг. Этотъ томъ дополняетъ собою такіе же матеріалы для исторіи финансовъ прошлаго вѣка, изданные въ предшествующихъ томахъ „Сборника", и относится къ самой любопытной и назидательной эпохѣ финансовъ въ текущемъ столѣтіи. Особенное вниманіе обращаетъ на себя „планъ" Сперанскаго, являющійся впервые въ печати. Въ виду того, что Россія вступала въ 1811 г. „съ необъятною массою внутреннихъ и внѣшнихъ долговъ, около 900 мил. составляющею", Сперанскій основалъ свой планъ на необходимости возстановленія справедливости расходовъ съ приходами; соразмѣрность же возстановить полагалъ сокращеніемъ издержекъ и пріумноженіемъ доходовъ, а „сокращеніе издержекъ — говорилъ планъ — должно быть основано на томъ правилѣ, чтобы всѣ необходимыя издержки сохранить, полезныя отложить, а излишнія вовсе прекратить". Но въ то же время Сперанскій сознавалъ, что „всякая система финансовъ поддерживается множествомъ страстей, частныхъ видовъ и привычекъ, и слѣдовательно, всякое преобразованіе, всякій переходъ отъ смѣшенія къ порядку возбуждаетъ тучу страстей и своекорыстія. Сколько разъ сіи призраки, устрашая правительство ропотомъ, слухами или злословіемъ, отвращали вниманіе его отъ самыхъ спасительныхъ видовъ до благу ихъ отечества". По смѣтѣ, въ 1801 г. государственные доходы простирались до 81 мил., а расходы — 78 мил.; а въ 1825 г., доходы—393 мил., а расходы—380 мил. По исполненію, въ 1801 г. расходы—91 мил.; а въ 1825 г.—413 мил., изъ коихъ 24 мил. чрезвычайныхъ по особымъ указамъ.—Томъ 47-й посвященъ бумагамъ Булгакова, бывшаго при Екатеринѣ посланникомъ въ Константинополѣ, а потомъ въ Варшавѣ; особенно важны донесенія изъ Константинополя (1779—1785 г.).

Давидъ Рикардо и Карлъ Марксъ, въ ихъ общественно-экономическихъ изслѣдованіяхъ. Соч. Н. И. Зибера. Спб. 1887. Стр. 598. Ц. 3 р. 50 к.

Какъ видно изъ предисловія автора, настоящее изданіе есть значительная переработка и дополненіе перваго изданія, явившагося подъ заглавіемъ: „Теорія цѣнности и капитала Д. Рикардо". Авторъ, въ своемъ изслѣдованіи, избираетъ средній путь между сравнительной и абсолютной оцѣнкой теоріи цѣнности и капитала у Рикардо и его послѣдователей. Въ трудахъ Рикардо обращалось преимущественное вниманіе на самобытное рѣшеніе имъ такихъ вопросовъ, какъ — объ источникахъ происхожденія поземельнаго дохода, о денежномъ обращеніи и о налогахъ; но авторъ разсматриваетъ теперь экономическія изслѣдованія Рикардо въ ихъ синтетической связи, и во всей совокупности, а потому его книга носитъ, какъ-то признаетъ и онъ самъ, исключительно теоретическій характеръ, не касаясь частныхъ и сложныхъ хозяйственныхъ фактовъ и явленій.

Путеводитель и собесѣдникъ въ путешествіи по Кавказу. М. Владыкина. Въ 2-хъ частяхъ, съ прилож. карты Кавказа, съ желѣзн. дорогами. Изданіе 2-е. М. 1885. Стр. 366 и 282. Ц. 5 руб.

Въ 1874 г. явилось первое изданіе, которое и повторяется теперь съ значительными дополненіями, требуемыми временемъ, и въ новой обработкѣ. Въ первой части сосредоточено все, что составляетъ необходимую принадлежность такъ-называемыхъ „гидовъ" (хотя и теперь осталось многое, что могло бы быть переведено во вторую часть, какъ, напр., историческій очеркъ кавказской войны); а во вторую выдѣлены путевыя замѣтки автора, начала 70-хъ годовъ, гдѣ читатель можетъ познакомиться, между прочимъ, и съ бытовыми подробностями жизни туземцевъ на Кавказѣ. Было бы еще цѣлесообразнѣе вполнѣ отдѣлить эти двѣ части, и издать каждую отдѣльно, какъ самостоятельное цѣлое: ѣдущимъ на Кавказъ, главнымъ образомъ, необходима одна первая часть; вторую часть самъ авторъ предназначаетъ для одного „легкаго чтенія"; между тѣмъ, это сдѣлало бы болѣе доступною публикѣ ту часть, которая одна и необходима для путешественника. Воспоминанія же о кавказскихъ порядкахъ начала 70-хъ годовъ имѣютъ одно историческое значеніе, и могутъ даже иногда ввести въ заблужденіе путешественника нынѣшняго года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

НА 1885 Г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

	Годъ:	Полгода:	Четверть:		Годъ:	Полгода:	Четверть:
Безъ доставки . . .	15 р. 50 к.	8 р.	4 р.	Съ пересылкою . .	17 „ — „	10 „	6 „
Съ доставкою . . .	16 „ — „	9 „	5 „	За-границей	19 „ — „	11 „	7 „

Нумеръ журнала отдѣльно, съ доставкою и пересылкою, въ Россіи — 2 р. 50 к., за-границей — 3 руб.

Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7, и 2) в ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелье, на Невскомъ проспектѣ; — въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ Печковской, Петровскія линіи. — Иногородные обращаются по почтѣ въ редакцію журнала: Спб., Галерная, 20, а лично — въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскимъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, и тѣмъ изъ иногородныхъ и иностранныхъ, которые вносятъ подписную сумму *по почтѣ* въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (*допущена* выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адреса просятъ извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адреса изъ городскихъ въ иногородные доплачивается 1 р. 50 к., изъ иногородныхъ въ городскіе — 40 коп.; и изъ городскихъ или иногородныхъ въ иностранные недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ по государствамъ.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера журнала.

Билеты на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногородныхъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА: Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА: Вас. Остр., Академ. пер., 7.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ

ЛИТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 6-я.

ІЮНЬ, 1885.

ПЕТЕРБУРГЪ.

КНИГА 6-я. — ІЮНЬ, 1885.

Стр.

I.—ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ.—Разсказъ.—Часть вторая и послѣдняя.—**П. А. Таль** . . 441

II.—РОССІЯ И ФРАНЦІЯ, въ концѣ протекшаго вѣка. — 1791 — 1799 гг. — **А. С. Трачевскаго** 506

III.—ПРОКАЖЕННЫЙ.—Стих. **Н. Минскаго** 563

IV.—ЭТЮДЫ ПО ПСИХОЛОГІИ ТВОРЧЕСТВА. — VIII-XV. — Окончаніе. — **П. Д. Боборыкина** 566

V.—ШУГНАНЪ.—Афганистанскіе очерки.—I-VIII.—**Д. Л. Иванова** 612

VI.—ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА.—VII.—**Н. Щедрина** 659

VII.—НАЦІОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ СТАРОМЪ И НОВОМЪ СВѢТѢ. — **М. М. Ковалевскаго** 677

VIII.—МИЛЫЙ ДРУГЪ.—Повѣсть Гюи де-Мопассана.—Часть вторая и послѣдняя.—I-III.—**А. З.** 732

IX.—ХРОНИКА. — Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ.—Некрологъ.—**М. С.** 787

X.—ПАМЯТИ К. Д. КАВЕЛИНА. — Рѣчь въ Юрид. Обществѣ.—**В. Д. Спасовича** 807

XI.—НАДЪ СВѢЖЕЙ МОГИЛОЙ.—Стих. **Н. Минскаго** 811

XII.—УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ К. Д. КАВЕЛИНА.—Библіографическій очеркъ.—**Д. Д. Языкова** 812

XIII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ, какъ возможная основа дворянскаго земельнаго банка.—Двѣ противоположныя точки зрѣнія на дѣятельность будущаго банка и обусловливаемые ими спорные пункты.—Необходимые предѣлы и условія удешевленія кредита.—Близкій конецъ подушной подати. 821

XIV.—НАШИ ТРЯПИЧНИКИ. — Изслѣдованіе одного изъ главныхъ источниковъ заразы.—**М. Зеленскаго** 838

XV.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Мирныя вѣянія въ международной политикѣ.—Англійскія парламентскія рѣчи.—Упреки въ парламентѣ русской дипломатіи.—Напрасные поводы къ недоразумѣніямъ.—Результаты англо-русскаго конфликта и отношеніе къ нимъ печати.—Кончина Виктора Гюго; труды и заслуги его, какъ писателя и человѣка. 843

XVI.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Великая княгиня Екатерина Алексѣевна, П. Дарпна.—Очеркъ изъ исторіи Тамбовскаго края, П. И. Дубасова.—Монографіи по исторіи западной и юго-западной Россіи, В. Б. Антоновича.—**А. К.** . . 863

XVII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — По поводу смерти К. Д. Кавелина. — Окончаніе городскихъ выборовъ.—Выборное начало по Городовому Положенію 1870 и 1846 г.—Отзывы современниковъ о выборахъ и характерѣ городского общественнаго управленія до 1870 года.—Недостатки нынѣ дѣйствующаго выборнаго начала.—Сравненіе нынѣшнихъ выборовъ съ предъидущими и составъ новой Думы (1885—1889 гг.). 875

XVIII.—ИЗВѢСТІЯ.—О подпискѣ на памятникъ Гоголю 883

XIX.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. — Рѣчь гласнаго В. И. Герье, 21 апрѣля 1885 г., въ московской Думѣ.—Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества, т. 45 и 47.—Давидъ Рикардо и Карлъ Марксъ, Н. И. Зибера.—Путеводитель и собесѣдникъ въ путешествіи по Кавказу, М. Владыкина.

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстника Европы“ въ 1885 г., см. ниже, на оберткѣ.

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ

РАЗСКАЗЪ.

ЧАСТЬ II *).

I.

Прошло семнадцать лѣтъ.

Въ открытое окно хорошенькой и уютной гостиной въ Римѣ глядѣли звѣзды. Теплый, весенній воздухъ пріятнымъ ароматомъ проникалъ въ комнату. Ночь была тихая,—одна изъ тѣхъ ночей, когда всякій человѣкъ чувствуетъ себя счастливѣе и хочется ему жить для жизни.

По гостиной, быстрыми шагами, взадъ и впередъ ходила Анна. Она то приближалась къ окну и, низко нагибаясь на подоконникъ, будто старалась разглядѣть что-то въ глубокомъ мракѣ; то внезапно останавливалась и прислушивалась къ отдаленному звуку шаговъ, то снова принималась за свое безпокойное движенье на пространствѣ нѣсколькихъ шаговъ.

Семнадцать лѣтъ не прошли надъ ея головою даромъ. Она уже совершенно посѣдѣла. Печать страданій легла глубокой складкой на угрюмомъ лбѣ. Лицомъ она еще похудѣла противъ прежняго, пожелтѣла. Верхнія вѣки ея полуприкрывали усталые глаза, къ будто отуманенные постоянной слезой, но эти глаза, однако, загорались и сверкали по прежнему въ минуты сильнаго душевнаго волненья.

---

*) Выше, май, 5 стр.

— Вы не должны такъ тревожиться,—сказала по-итальянски молодая, красивая женщина, качая своего спящаго ребенка. — Любовь вѣрно сейчасъ вернется.

— Эта дѣвочка хоть кого съ ума сведетъ,—отозвалась Анна, забросивъ назадъ голову и проводя рукой по своимъ сѣдымъ, растрепаннымъ волосамъ.

— Люба фантазерка и проказница,—въ свою очередь сказала красивая дѣвушка, очевидно, русская, съ необыкновенно яснымъ выраженьемъ сѣро-голубыхъ глазъ; — но, Анна, она умна и находчива. Она всегда съумѣетъ постоять за себя.

— Куда это Люба опять убѣжала?—спросилъ мужчина лѣтъ около тридцати, съ энергичнымъ и пріятнымъ лицомъ. — Альма, развѣ Бамбино не спитъ сегодня въ люлькѣ?

— Нѣтъ, Алекъ,—отвѣтила та съ поцѣлуемъ,—сегодня его няня въ театрѣ, а такъ какъ мнѣ скучно сидѣть одной въ дѣтской, то я и принесла его сюда. Смотри, какъ онъ крѣпко спитъ! Ему хорошо.

— Дѣло ваше,—отозвался названный Алекомъ (это былъ сынъ Петра Николаевича)—знаете ли вы новость?

Послѣдній вопросъ былъ обращенъ ко всѣмъ находившимся въ комнатѣ. Александръ Петровичъ самъ же и отвѣтилъ на него.

— Везувій приготовляется къ изверженію. Уже начались мѣстныя землетрясенья.

— О, Santa Maria!—воскликнула Альма, жена Александра Петровича, съ такимъ ужасомъ, что Бамбино проснулся, — ты вѣрно хочешь ѣхать!

— Вмѣстѣ съ профессоромъ Фрелони, мы будемъ наблюдать издали.

— И васъ зальетъ лавой, вы даже убѣжать не успѣете! — торопливо заговорила Альма, съ сильными жестами, свойственными ея націи,—Ольга, возьми Бамбино. Я видѣла изверженье Везувія, когда была еще дѣвочкой. Это страхъ! это адъ! Красный и синій дымъ; все дрожитъ, трясется точно отъ пушечной стрѣльбы. Ураганъ знойнаго вѣтра. Скотъ бросается одуренный, ничего не видя предъ собой, и летитъ прямо въ море. Птицы падаютъ на лету. Огонь льется какъ изъ адскаго жерла и растопляетъ цѣлыя рѣки лавы. Какъ вскипѣвшее молоко, бѣгутъ, бѣгутъ онѣ съ такою быстротой, что на-право и на-лѣво топятъ все живое въ своихъ огненныхъ струяхъ!—И ты хочешь ѣхать! бросить меня, Бамбино!

Альма сдѣлала отчаянный жестъ руками.

Александръ Петровичъ улыбнулся и наклонился къ женѣ.

— А ожерелье изъ розовыхъ кораловъ, которое я обѣщалъ

привести тебѣ въ первый разъ какъ поѣду въ Неаполь?—ласково сказалъ онъ.

Эти слова имѣли магическое дѣйствіе на итальянку. Сквозь слезы все лицо ея улыбалось, и Везувій уже не казался ей такимъ страшнымъ.

Раздался звонокъ. Анна поспѣшила къ двери.

— Не вернулась?—спросила едва постарѣвшая за эти годы Александра Ивановна.

— Нѣтъ,—лаконически отозвалась измученная Анна.

— А мы обошли всѣхъ знакомыхъ, спрашивая, нѣтъ ли тамъ Любы,—замѣтила молодая дѣвушка, живой портретъ Вѣры Андреевны, вторая дочь ея, Соня.

Пришедшія вошли въ гостиную.

— А Везувій-то, Саша, а?—спросила Соня брата.

— Да, да, я ѣду.

— Полно!

— Право, ѣду. Я оставляю на вашемъ попеченіи Альму и Бамбино, и буду строгъ, но справедливъ, по возвращеніи!

И Александръ Петровичъ обнялъ гибкій станъ сестры и поцѣловалъ ея волнистую головку.

Опять раздался звонокъ и опять оказалась фальшивая тревога. Пришелъ профессоръ Фрелони переговорить съ другомъ о часѣ отъѣзда. Поболтавъ съ дамами, мужчины удалились въ кабинетъ, и оттуда слышались ихъ довольные, веселые голоса, какъ будто имъ предстояла не вѣсть какая радость.

А Анна все такъ же безпокойно ходила, все такъ же прислушивалась, все такъ же засматривалась въ темноту тихой ночи.

Соня сѣла за рояль и запѣла такимъ же голосомъ, какимъ въ былое время пѣвала Вѣра Андреевна. Съ послѣдними звуками, торжественно уносившимися въ даль, подъ окномъ раздались рукоплесканья.

— Браво! браво!—кричалъ еще ребяческій голосокъ.

— Люба!—всѣ бросились въ переднюю.

— Ты что, съумасшедшая, по ночамъ пропадаешь?—воскликнула Александра Ивановна, нагибаясь въ окно,—мы всѣ тутъ съ ногъ сбились!

— Иду! иду, не сердись, бабуся! Какъ было весело!—и подъ окномъ раздался звонкій, серебристый смѣхъ.

Скоро въ комнату влетѣла стройная, тонкая дѣвушка. Несмотря на ея высокій ростъ и семнадцать лѣтъ, ее нельзя было бы назвать дѣвицей, хотя выраженіе большой смышленности и дерзкой отваги выражались на очень нѣжныхъ и еще ребяче-

скихъ чертахъ ея лица. Она влетѣла какъ ураганъ, бросилась ко всѣмъ съ поцѣлуями, но безъ извиненій, и не обратила никакого вниманія на многократное: „гдѣ ты была?“ —Анны.

Наконецъ, шутливо наморщивъ густыя брови, натурально не много сростившіяся на переносицѣ, она торжественно произнесла:

— Гдѣ я была?—this is the question.

Она захлопала въ ладоши и засмѣялась.

— Я ходила по улицамъ за бандой музыкантовъ, которые давали серенады въ разныхъ частяхъ города. Ахъ, какъ было весело!

— Ну вотъ вамъ и дѣвица!—воскликнула Александра Ивановна, и погрозивъ Любѣ пальцемъ, прибавила:—дрянь, дѣвчонка, на цѣпь тебя надо посадить.

Анна безмолвно облокотилась о косякъ окна.

— Нѣтъ, ты послушай, бабуся, какіе секреты я узнала!—съ восторгомъ тараторила Люба,—знаете жену русскаго скульптора Малышевскаго, такая бѣлобрысая кривляка, и за ней всегда ходитъ стая итальянцевъ?..

— Ну?—съ любопытствомъ подстрекала Альма.

Весь разговоръ происходилъ на итальянскомъ языкѣ.

— Въ нее влюбленъ графъ Санта-Кроче.

Альма только всплеснула руками и призвала Матерь Божію.

— Нѣтъ вы послушайте! Соня, вотъ ты все говоришь, что она такая благородная дама; а ты представь себѣ вотъ что: иду я за музыкантами по piazza Colonna, они направляются прямо къ дому, гдѣ живетъ скульпторъ Малышевскій, зажигаютъ факелы; раздаются звуки гитары. Я вижу тѣнь въ плащѣ, широкая шляпа по самые глаза. Я за тѣнью и стою позади. Вдругъ въ окнѣ появляется свѣтъ. Окно открывается, и я вижу прелестную спальню. Я хотѣла бы имѣть такую! Балдахинъ надъ кроватью весь изъ кружевъ и свѣтло-голубого атласа. Прелесть! Бѣлая тѣнь подходитъ къ окну съ корзинкой цвѣтовъ. Прелестная ручка бросаетъ ихъ музыкантамъ. „Io t'amo! io t'amo!“ задыхаясь шепчетъ плащъ, за которымъ я прячусь, и узнаю графа Санта-Кроче. Графъ посылаетъ поцѣлуи дамѣ своего сердца, а она высунулась изъ окна, и кажется у нея въ рукахъ мелькала записка. Вдругъ дверь въ глубинѣ комнаты распахнулась и въ нее ворвался кто-то разъяренный. Въ этомъ звѣрѣ я не съ разу узнала Малышевскаго. Въ нѣсколько прыжковъ очутился онъ рядомъ съ женой, грубо схватилъ ее за руку и, съ размаху захлопнувъ окно, задернулъ занавѣску. Среди шума убѣгающихъ музыкантовъ, среди

стономъ и вздохомъ графа, мнѣ кажется, что я слышала звукъ пощечины.

Люба залилась истерическимъ смѣхомъ.

— Завтра... завтра... когда графъ... увидитъ щеки Малышевской...—отрывисто хохотала она,—будетъ ли онъ шептать ей: „Io t'amo! Io t'amo!".

— Люба!—съ упрекомъ произнесла Анна.

— Оставьте, вѣдь это прелесть!—тоже катаясь со смѣху говорила Альма,—ну, ну!—поощряла она.

— Ну, мы пошли...

— Кто это мы, позволь спросить? — перебила Александра Ивановна.

— Музыканты, пѣвцы, графъ Санта-Кроче, я, и цѣлый хвостъ зѣвакъ...

— Вотъ это лестно для дѣвицы! таскаться по ночамъ за хвостомъ зѣвакъ!

— Весело! — отозвалась Люба — чего-то чего не узнаешь! Ну-съ, факелы мы скорѣй затушили и разбѣжались. Я бросилась по стопамъ графа. Факеловъ уже не зажигали, но остановились и снова всѣ сошлись передъ рѣшеткой сада синьора... я забыла имя. Опять раздались звуки гитары. Графъ уже увѣрялъ въ любви другую и заклиналъ ее явиться. Въ этотъ разъ все обошлось благополучно. Эльвира, — или какъ тамъ ее звали, — вышла на веранду. Цѣпляясь за рѣшетку, графъ добрался до нея и сѣлъ на край. Я слышала звуки много разъ повторявшихся поцѣлуевъ, но разобрать лица Эльвиры не могла, было слишкомъ темно... А музыканты все наигрывали и хоръ тихо подпѣвалъ. Я смотрѣла на звѣздное небо, я упивалась запахомъ померанцовыхъ цвѣтовъ съ веранды, и вдругъ мнѣ страшно захотѣлось, чтобы графъ и меня поцѣловалъ...

— Ну, и что же?

— Ахъ, это было упоительно! — съ восторгомъ воскликнула Люба,—сердце во мнѣ то билось, то замирало, и казалось мнѣ, что я кружусь и кружусь въ какомъ-то свѣтломъ облакѣ!..

— Однако, позволь, Люба, какъ же это такъ...—начала-было Соня.

— Какъ? а вотъ послушай, я сейчасъ разскажу. Долго обнимался графъ съ Эльвирой, наконецъ, я слышу завѣтное: adio! Какъ кошка спрыгнулъ онъ съ края веранды, но конецъ плаща его зацѣпился за рѣшотку. Я подскочила и быстро отцѣпила его зонтикомъ. Графъ покачнулся, я ухватилась одной рукою за рѣшотку и удержала его отъ паденья, подставя свое плечо. Я по-

чувствовала сильный толчекъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то тонкій запахъ духовъ обдалъ меня. „Gracia“ —сказалъ онъ и снялъ передо мной почти слетѣвшую шляпу.— „Un bacio per la poverina!“ — невольно вырвалось у меня. Двѣ сильныя руки обвили мой станъ и душистыя губы прижались къ моимъ губамъ.—Tu m'ami? — прошептала я тѣ же слова, которыя только что шептала его возлюбленная на верандѣ.

— „Io t'amo“ —отвѣтилъ онъ тѣмъ же задыхающимся шопотомъ.

Кто-то неожиданно зажегъ спичку; свѣтъ ярко освѣтилъ мое лицо.

— Vostro nome, bella ragazza!—воскликнулъ онъ.— „Amore“, —отвѣтила я, вырвалась, задула на ходу спичку и прижалась въ уголокъ ближайшихъ воротъ. Вся серенада, съ графомъ во главѣ, промчалась мимо меня, думая, что бѣжитъ за мною въ погоню. На часахъ пробила полночь. Я вспомнила, что вы здѣсь, можетъ быть, безпокоитесь, и пришла.

— Слава Богу, что пришла, а не убѣжала со своимъ графомъ!—замѣтила Александра Ивановна.

— Онъ не мой, онъ Сонинъ! — отозвалась Люба,—вотъ вы какія неблагодарныя! — Я вамъ людей узнаю, а вы меня же браните.

— Тебѣ до сихъ поръ еще никто слова не сказалъ, ты сама все тараторила. Благородное занятіе—нечего сказать, по ночамъ съ чужими мужчинами цѣловаться!

— Пріятное, за душу захватывающее!—хохотала Люба.

— Ну, Люба, берегись, нарвешься ты на какую-нибудь исторію!

— А умъ мой на что? — самодовольно отозвалась Люба, — оттого-то и говорятъ, что я умна, что я умѣю найтись и вывернуться!

— Ужъ не слишкомъ ли ты на себя надѣешься?

— Не думаю. Я, впрочемъ, привыкла поступать по рѣшенью своего ума.

— Одинъ умъ хорошо, а два лучше, говоритъ пословица.

— Но другая пословица говоритъ, что у семи нянекъ дитя безъ глазу. Я же хочу имѣть оба глаза, потому-то обхожусь совершенно безъ нянекъ.

— Смотри, какъ бы тебѣ не просчитать!

— Ну ужъ этого я не боюсь! Тетя Анна, что ты такая трагическая, будто собираешься декламировать монологъ лэди Макбетъ? Вѣдь все отлично! Мнѣ было весело, и все кончилось хорошо; а все хорошо, что кончается хорошо!

Александра Ивановна махнула рукой; Альма продолжала тихонько подсмѣиваться надъ похожденіями графа Санта-Кроче; Анна мрачно глядѣла въ черную ночь; Ольга разливала чай, — обычай пить чай свято сохранился въ семействѣ Вепринхъ и переѣзжалъ вмѣстѣ съ ними изъ страны въ страну. Соня незамѣтно вышла изъ комнаты и, закрывъ лицо руками, тихо плакала. Графъ Санта-Кроче нѣсколько дней тому назадъ сдѣлалъ ей формальное предложеніе и теперь ожидалъ ея окончательнаго отвѣта. Никто ничего не замѣтилъ Любѣ, никто не сдѣлалъ ей выговора, не объяснилъ, что она поступила и несообразно, и предосудительно въ ея положеніи дѣвушки изъ хорошей семьи. Впрочемъ, она и сама это хорошо понимала. Умъ говорилъ ей то, чего не произносили уста близкихъ, но она оправдывала себя тѣмъ, что ей было такъ весело, и такъ ново, и такъ пріятно!

— Анна, ты бы усовѣстила Любу, такъ нельзя, она съ пути собьется,—замѣтила Александра Ивановна.

— Никогда!—отвѣтила Анна,—она умна какъ всѣ мы вмѣстѣ.

— Ты заступила ей мать,—настаивала Александра Ивановна, —твоя обязанность объяснить ей, что она не все можетъ дѣлать, что ей хочется.

— Въ сущности все это только ребячество, юношескій задоръ.

— Смотри, чтобы задоръ не перешелъ границы. Худо будетъ.

— И святыя грѣшатъ!—зажала Анна ротъ Александрѣ Ивановнѣ, намекая на давно прошедшее.

Люба, тѣмъ временемъ, стала пить чай съ большимъ аппетитомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ перелистывать ново-полученный журналъ.

— Ага, вотъ папа и завралсяl — воскликнула она, — слушайте-ка, что онъ пишетъ,—и она прочла выдержку.—Бѣдный папа, начинаетъ старѣться, пора ему сойти съ общественной сцены.

— Ты молодая, умная, такъ ты и замѣнила бы его,—замѣтила Александра Ивановна,—ты напиши по новому, по неустарѣлому, онъ тебѣ за это въ ножки поклонится.

— Я всегда критикую его, и онъ мнѣ за это очень благодаренъ.

— Вотъ какъ; давно ли?

— Давно; съ двѣнадцати лѣтъ. Я иногда удивляюсь, какъ такой умный человѣкъ, какъ папа, можетъ говорить и писать такую чепуху!

— Это правда, ты имѣешь большое вліяніе на отца,—замѣтила Анна, — больше чѣмъ мы всѣ. Какъ наши французскіе друзья говорятъ: tu as du génie.

— Опять, опять!—воскликнула дѣвица, отмѣченная геніемъ, —нѣтъ положительно я должна писать папѣ. Прощайте!

Она собрала листы журнала и ушла въ свою комнату. Долго сидѣла она, наклонившись надъ письменнымъ столомъ, и рѣзкія фразы такъ и лились изъ-подъ быстро скользящаго пера ея. Остальная компанія тоже скоро разошлась по своимъ комнатамъ. Въ домѣ все умолкло. Огни потухли.

Анна легла, но не могла сомкнуть глазъ. Легкомысленно проведенный вечеръ Любы всталъ передъ нею угрожающимъ видѣньемъ. Поцѣлуи перваго встрѣчнаго незнакомца и при этомъ волненіе и пробуждающееся чувство. Что же будетъ, когда проснется любовь и отмѣтитъ избранника?

Анна тяжело вздохнула. Ей почудилось, что какая-то черная, безформенная туча надвигается на нее изъ необъятной дали...

Она перенеслась въ давно прошедшее и горечью облилось ея сердце.

Вѣры не стало, но съ Вѣрой погибла и та искра чувства, которая тлѣла въ сердцѣ Петра Николаевича. Аннѣ живо припомнился тотъ страшный день, когда Вѣра лежала въ мрачной залѣ, обтянутой чернымъ флёромъ, въ своемъ бѣломъ гробу. Ночь была глубокая, все кругомъ было тихо, никто, на чужбинѣ, не читалъ надъ усопшей. При свѣтѣ восковыхъ свѣчей, Петръ Николаевичъ стоялъ противъ покойницы и держалъ въ своихъ рукахъ ея похолодѣвшія руки. На легкій скрыпъ двери онъ вздрогнулъ и обернулся.

Анна остановилась у двери.

— Подойди сюда, Анна,—сказалъ онъ.

Анна сдѣлала нѣсколько шаговъ и остановилась.

— Подойди ближе,—торжественно произнесъ онъ;—видишь эти неподвижныя черты, эти синѣющія губы, эти на вѣки сомкнувшіеся глаза — еще году нѣтъ какъ все это дышало жизнью. Вѣра умоляла меня тогда, въ Трувилѣ, умоляла горячо и настойчиво прогнать васъ всѣхъ, губителей, и уѣхать изъ проклятаго мѣста, гдѣ вы подвернулись на нашемъ пути. Я не хотѣлъ; самъ не могу объяснить себѣ почему, но не хотѣлъ. Еслибы я тогда послушалъ ее, все вышло бы иначе. Я самъ бросилъ эту чистую душу на произволъ перваго встрѣчнаго, а ты, Анна, ты подстрекнула меня...

— Я?!

— Ты или не ты—но мое рѣшенье принято: я не знаю тебя!

Анна въ ту пору бросилась на колѣни. Петръ Николаевичъ тихо, но твердо произнесъ:

— Клянусь у гроба нашей жертвы, что отрекаюсь отъ тебя на вѣки вѣковъ!

Анна не могла подняться. Она рыдала у гроба сраженной, но все же торжествующей соперницы.

— Поди, оставь насъ. Что общаго между тобой и мною?

— Ребенокъ!

— Плодъ хитрости, предательства и эгоизма... Но здѣсь не мѣсто, поди...

Тогда Анна сочла болѣе разумнымъ удалиться, но сколько разъ она потомъ жалѣла, что не сдѣлала раздирающей сцены у гроба усопшей! Своею покорностью она упустила изъ рукъ туго-натянутыя возжи и конь вырвался на волю.

Петръ Николаевичъ сдержалъ слово: всей душой ринулся онъ въ общественную дѣятельность. Примкнулъ къ разнымъ ученымъ обществамъ. Лучшая интеллигенція Парижа встрѣчалась въ его домѣ. Періодическое изданіе его пріобрѣло европейскую извѣстность. Въ то же время онъ окружилъ себя дѣтьми и отдалъ весь надзоръ за ними и за хозяйствомъ Александрѣ Ивановнѣ.

А она, Анна, осталась „при семьѣ“ —одиночество своего рода!

Анна бросилась лицомъ въ подушку, чтобы заглушить рыданія. Ни слезы, ни мольбы, ни упреки, ни угрозы, ничто—не могло тронуть сердце Петра Николаевича.

— Я не люблю васъ и никогда не любилъ,—говорилъ онъ, —живите здѣсь ради дочери, но меня не касайтесь. Это повело бы къ ссорѣ...

Годы проходили, Анна жила съ Петромъ Николаевичемъ подъ однимъ кровомъ, была свидѣтельницей его славы, была свидѣтельницей его слабостей и не смѣла сдѣлать ему замѣчанья, подать совѣтъ, удержать отъ увлеченья.

Сколько, сколько горькихъ дней прошло въ ея воспоминаніи! Припомнился ей тотъ день, когда она, обезумѣвшая отъ ревности, ждала его до разсвѣта.

Онъ вернулся усталый съ поздней пирушки.

— Петръ Николаевичъ, — воскликнула она, — умоляю васъ, умоляю, бросьте всю эту распутную жизнь!

— И вернитесь ко мнѣ,—иронически добавилъ онъ;—опомнитесь, Анна Игнатьевна, и разсудите, что же въ васъ есть такого привлекательнаго?

— Но чтожъ есть привлекательнаго въ вашихъ подругахъ?— отозвалась она униженная своей некрасивостью.

— Веселье и смѣхъ!—воскликнулъ онъ, и пренебрежитель-

ный взглядъ остановился на ней,—а здѣсь слезы, и... и... уроки морали,—съ язвительнымъ удареніемъ вымолвилъ онъ.

Анна поняла, что любовь къ ней Петра Николаевича безвозвратно утрачена.

Любѣ минуло тогда шесть лѣтъ. Капризная и своевольная, она съ дѣтства никому не покорялась. Аннѣ припомнились ея дѣтскіе годы. Она была упряма, и, какъ Александра Ивановна увѣряла, безсердечна. Не вынося никакого противорѣчія, она доходила до ярости, когда ей чего-нибудь не позволяли. Она кусалась, царапалась, била объ полъ ногами. Только физическое изнеможеніе заставляло ее смириться, но тогда на долгіе часы она забивалась въ уголъ, и ни ласки, ни уговоры не могли побѣдить ея упрямаго гнѣва.

Тяжелый и несговорчивый ребенокъ была Люба, а когда началъ развиваться ея пытливый умъ, она стала еще тяжелѣе. Только одно утѣшенье было у Анны—Петръ Николаевичъ любилъ дочь. Его забавлялъ ея своенравный задоръ и ея увлеченье минутой, когда она пристращалась къ настоящему, и такъ поглощалась имъ, что забывала о прошломъ и не задумывалась о будущемъ. Умная и острая, она быстро схватывала все отвлеченное и изъ предложенныхъ гипотезъ выводила самыя дерзкія заключенія. Петръ Николаевичъ съ малыхъ лѣтъ назвалъ ее „мой учитель“, и часто задавалъ ей дилеммы, передъ которыми она никогда не останавливалась, какъ бы дилеммы ни были трудны. Чего она не могла рѣшить, то разсѣкала какъ гордіевъ узелъ. Въ спорѣ она никогда не уступала отцу, но за то никогда на него и не сердилась. Чувствуя себя побѣжденною, она прекращала споръ словами: „Ну, папа́, противъ твоихъ софизмовъ не устоитъ никакая логика!“—и обвивъ его шею, весело прибавляла: „Ты умный папа́, но я никакъ не хочу, чтобъ ты былъ умнѣе меня“.

Такимъ образомъ, Люба подростала и все окружающее кричало ей въ уши: „умная, умная, умная!“

Училась она отлично, и съ самыхъ юныхъ лѣтъ глотала книги десятками, составляя себѣ о нихъ самыя самобытныя и рѣзкія мнѣнія. Но съ годами росла и ея самоувѣренность; и теперь, въ семнадцать лѣтъ, которыя семейство собиралось отпраздновать черезъ нѣсколько дней, и ожидало пріѣзда Петра Николаевича, надъ Любой не было другого авторитета, кромѣ ея ума, другого господина, кромѣ ея желанья. Между тѣмъ, подходилъ критическій періодъ просыпающагося чувства.

Анна встала. Лежать она не могла, Что-то мучительно терзало ее; какое-то позднее раскаяніе не давало ей покоя. Она

не могла отдѣлаться отъ навязчивыхъ вопросовъ: зачѣмъ она оставила Вѣру умереть, не повидавшись съ матерью? зачѣмъ она выдумала эту мнимую злобу Александры Ивановны? зачѣмъ она доставила Вѣрѣ безцѣльныя, ненужныя мученья?

Анна машинально подошла къ столу и вынула изъ глубины ящика шкатулочку. Она отомкнула ее миньятюрнымъ ключикомъ, висѣвшимъ у нея на шеѣ вмѣстѣ съ крестомъ; вынула свертокъ, перевязанный полинявшей голубой лентой, развязала ее и стала перечитывать пожелтѣвшіе листы!

Дверь отворилась и въ одинъ мигъ у стола стояла Люба.

— Что ты перечитываешь?—спросила она и положила руки на лежавшіе на столѣ листы.

— Оставь, Люба. Ты видишь—это старыя письма.

— Твои любовныя тайны, тетя Анна,—шутя воскликнула Люба.

— Другъ мой, отдай письмо, которое у тебя подъ рукой!

— Меня очень интересуютъ эти старыя письма! Вотъ уже второй разъ, какъ я вижу въ твоихъ рукахъ пакетикъ съ голубой ленточкой.

— Въ самомъ дѣлѣ? — принужденно-спокойно отозвалась Анна.

— Да. Въ первый разъ это было очень давно. Я была тогда еще маленькая. Я помню, ты держала его въ рукахъ и плакала.

— Можетъ быть...

— Но что въ немъ такого, что́ могло бы заставить тебя плакать?

— Я не плачу.

— Тогда ты плакала.

— Можетъ быть, у меня былъ просто насморкъ. Я не изъ слезливыхъ.

— Но тогда ты положительно плакала,—настаивала Люба,—это врѣзалось мнѣ въ память, и я дала себѣ слово, что доберусь до таинственнаго пакета. Я держу его теперь! баста! не отдамъ!

Но Люба тотчасъ же отняла руки, и Анна конвульсивно схватила письма.

— Тетя Анна, ты взволнована? ты дрожишь?

— Я... я... это не мои секреты... я не могу показать... выдать...

— Ну Богъ съ тобой, сегодня я великодушна, потому что провинилась. Но въ другой разъ тебѣ не будетъ пощады!.. Ха, ха, ха!

II.

Жизнь Веприны́хъ пошла обычной чередой. Александръ Петровичъ уѣхалъ въ Неаполь. Альма цѣлыми днями нянчилась съ Бамбино. Ольга по обыкновенію вела хозяйство; съ лѣтами Александры Ивановны, хозяйство незамѣтно перешло въ ея руки. Она всѣмъ распоряжалась, всѣмъ завѣдывала, и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно стушевывалась. Изъ дѣвочки, полной мистицизма, она сдѣлалась одною изъ тѣхъ молчаливыхъ и робкихъ натуръ, которыхъ геройство заключается въ безмолвномъ терпѣніи и безропотной выносливости. Ольга была горячо и глубоко вѣрующая, и смотрѣла на земную жизнь, какъ на подготовленіе къ жизни лучшей. Чуя, что въ жизни матери, которую она боготворила, случилось что-то трагическое, она рѣшила не выходить замужъ, чтобы и въ ея жизни не случилось чего-либо подобнаго. „Замужество не привлекаетъ меня“,—говорила она, съ замираньемъ сердца вспоминая тѣ ужасные дни, когда мать уѣхала отъ нихъ, и еще болѣе ужасные, когда вѣсть о ея смерти дома дошла до нея. Сестра милосердія, ходившая за Вѣрой Андреевной, знала одну изъ сестеръ въ монастырѣ, гдѣ жила Ольга. Пріѣхавъ въ Лилль, она разсказала Ольгѣ всѣ подробности смерти ея матери, ставя ее идеаломъ кротости. Долго не могла Ольга простить Петру Николаевичу, что онъ не вызвалъ дѣтей къ ихъ умирающей матери, которая такъ желала благословить ихъ. Много молитвъ и слезъ стоило ей, прежде чѣмъ успокоилось ея возмущенное сердце. Но оно все же успокоилось, и Ольга, простивъ все и всѣхъ, стала жить для блага близкихъ. Она была сосредоточена въ самой себѣ и неразговорчива, характеръ имѣла ровный, любила читать, и на досугѣ писала разсказы для дѣтей и для вечернихъ чтеній. Хотя она и была красива, но красота ея не выдавалась, и она не украшала ее нарядами. Лишенная всякаго кокетства, она не производила на мужчинъ никакого впечатлѣнія. Въ семьѣ всѣ любили ее, всѣ, не исключая даже и Анны. Люба же была особенно привязана къ ней, и съ малыхъ лѣтъ окрестила ее прозвищемъ „праведница“.

Соня была совершенною противуположностью сестры. Въ семьѣ ее называли „эпикурейкой“ и постоянно подтрунивали надъ ея наклонностью себя побаловать и понѣжить. Александра Ивановна, конечно, была немного виновата въ этомъ, развивъ въ Сонѣ чрезмѣрную изнѣженность баловствомъ. Александра Ивановна дрожала надъ Соней, какъ надъ живымъ снимкомъ съ

дочери. Проектированное супружество Сони съ графомъ Санта-Кроче было тоже эпикурейское желаніе побаловать себя. Графъ славился красотой и богатствомъ. У него была одна изъ лучшихъ виллъ, съ цвѣтникомъ, садомъ и оранжереями. Лошади его производили фуроръ на прогулкахъ. Въ обществѣ онъ отличался изящной небрежностью обращенія и умѣлъ говорить съ дамами почтительно, хотя въ то же время умѣлъ вставить кстати страстное словцо, и вскользь бросить пламенный взглядъ. Очереднымъ вопросомъ въ семействѣ Вепринхъ было теперь: выходить ли Сонѣ или не выходить за графа? Послѣ долгихъ колебаній и перерѣшеній, благоразуміе, наконецъ, взяло верхъ, и Анна, отъ имени всего семейства, написала графу вѣжливый отказъ. Анна кончила письмо, а Соня горько плакала, какъ плачутъ, потерявъ пріятную вещь, когда Ольгѣ подали депешу.

— Что такое? отъ кого? вѣрно что-нибудь случилось?—закидали ее вопросами.

— Папа боленъ, у него былъ ударъ. Теперь онъ поправляется, но лучше ѣхать...

— Онъ умеръ!—воскликнула Анна, и на лицѣ ея отразилось отчаяніе.

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ живъ, но довольно медленно поправляется.

— Нужно ѣхать... Кто ѣдетъ? гдѣ росписаніе?..

— Всѣ ѣдутъ!

— Кромѣ меня,—отозвалась Альма,—я останусь съ Бамбино.

— Собирайтесь. Мы имѣемъ только нѣсколько часовъ.

Въ домѣ началась бѣготня. Всѣ наскоро собирались. Набивали сакъ-вояжи и перевязывали пледы. Суетились немножко безъ толку, какъ всегда передъ послѣднимъ отъѣздомъ; кто захватывалъ ненужное и забывалъ самое необходимое; кто боялся опоздать на поѣздъ, и ненужно торопилъ запоздавшихъ; кто наскоро прибиралъ въ шкапы остающіяся вещи. Люба вбѣжала въ комнату Анны, чтобы посмотрѣть, не забыла ли она чего въ торопяхъ:—на углу туалета, перевязанный, выцвѣтшей голубой ленточкой, лежалъ завѣтный пакетикъ. Съ улыбкой торжества схватила его Люба, и онъ исчезъ въ ея карманѣ. Сама судьба покровительствовала ей, сама судьба натолкнула ее на давно желанное сокровище! А Анна тѣмъ временемъ была увѣрена, что пакетикъ благополучно пріютился въ одномъ изъ уголковъ ея дорожнаго мѣшка, и хранила же она свой мѣшокъ, какъ зеницу ока, ни на секунду не выпуская его изъ рукъ, и не довѣряя никому постороннему.

Путешествіе показалось Любѣ безконечнымъ. Она безпокоилась за здоровье отца, да и пакетъ тревожилъ ея воображеніе. Она дѣлала всевозможныя предположенія, стараясь угадать, что въ немъ. Открыть его не было возможности, ѣхали не останавливаясь и были другъ у друга на глазахъ. Поневолѣ приходилось выждать до Парижа.

Здоровье Петра Николаевича оказалось плохо. Полнаго поправленья послѣ удара не было, докторъ опасался второго, и тогда, по всей вѣроятности, рокового. Все это, съ большой осторожностью сообщилъ ассистентъ доктора, молодой человѣкъ, неотлучно дежурившій около больного.

— Развѣ медицина не можетъ предупредить опасность?— спросила Люба ассистента, когда они случайно остались вдвоемъ, смѣло глядя ему прямо въ глаза.

— Къ несчастью медицина доходитъ только до извѣстныхъ границъ, дальше которыхъ она нейдетъ.

— Такъ есть изъ-за чего посвящать жизнь на ея изученье!

— Вы намекаете на насъ, на докторовъ?

— Совершенно вѣрно.

— Вы находите, что посвящать жизнь изученію медицины— глупо?

— Разумѣется, глупо.

— Благодарю васъ,—и ассистентъ поклонился.

— Не стоитъ благодарности,—и Люба тоже поклонилась и гордо поднявъ голову, стала удаляться.

— Mademoiselle!—окликнулъ ее ассистентъ, котораго звали Аристидъ Роланъ, чѣмъ онъ очень гордился, считая себя потомкомъ знаменитаго Ролана, одного изъ честнѣйшихъ дѣятелей большой французской революціи.

— Что прикажете?

— Вы очень абсолютны въ своихъ сужденіяхъ!

— Съ дѣтства я была такова.

— Но съ годами, говорятъ, люди измѣняются.

— Я не хочу измѣняться.

— Значитъ, вы собой довольны?

— Совершенно.

Роланъ улыбнулся.

— Contentement passe richesse,—замѣтилъ онъ.

Люба только повела плечами и повернулась къ двери.

— Mademoiselle!—снова окликнулъ ее Роланъ и сдѣлалъ къ ней нѣсколько шаговъ.

— Что вамъ еще нужно?

— Вы мнѣ нравитесь!—сказалъ онъ и заслужилъ негодующій взглядъ.

Она ничего не отвѣтила, только порывисто вышла и съ силой захлопнула за собою дверь.

— „Курьезный субъектъ“—подумалъ, ей во слѣдъ, Роланъ, и еще не успѣлъ тронуться съ мѣста, какъ дверь опять отворилась и Люба стала на порогѣ.

— Вы сказали мнѣ дерзость!—воскликнула она,—извинитесь.

— Такъ вы еще болѣе нравитесь мнѣ,—повторилъ онъ, смотря на нее въ упоръ.

— Я ничѣмъ не вызвала вашихъ насмѣшекъ, и не дала вамъ права...

— Я не изъ тѣхъ, которые ждутъ подачекъ,—сказалъ онъ храбро:—Роланы беруть все сами, съ боя!

Онъ поймалъ на лету ея гнѣвно-сжавшуюся руку, стиснулъ ее въ своей сильной рукѣ и поднесъ къ губамъ. Слезы ярости навернулись на глазахъ Любы.

— Vous êtes un lâche!—вырвался у нея возгласъ негодованія.

Роланъ выпустилъ ея руку и, заложивъ свои за спину, подставилъ ей щеку.

— Ударьте,—сказалъ онъ,—если вамъ непремѣнно хочется сорвать на мнѣ сердце!

Ея глаза упали на юное, мягко и деликатно выточенное лицо, съ темно-русой бородкой. Все было въ немъ пропорціонально, гармонично, привѣтливо. Люба бросила взглядъ на его фигуру—съ ногъ до головы она была изящна, нарядна, даже кокетлива.

Гнѣвъ Любы мгновенно утихъ, и она протянула ему руку.

— Значитъ, миръ,—сказалъ онъ, и еще разъ поднесъ къ губамъ ея руку.

— Или перемиріе, смотря по вашему поведенію,—отозвалась она, и вся зардѣвшаяся стремглавъ бросилась въ свою комнату.

— „Прекурьезный субъектъ“,—мысленно повторилъ Роланъ,—„и стоитъ имъ позаняться“.

Вся точно въ лихорадкѣ прибѣжала Люба къ себѣ. Она хотѣла призвать свой умъ на помощь, и спросить у него поясненья того страннаго чувства, которое охватило всѣмъ существомъ ея, но ей не дали опомниться.

— Папѣ опять хуже! — воскликнула вбѣжавшая Ольга,—пойдемъ къ нему, Люба, пойдемъ.

И Ольга увлекла ее въ комнату больного.

Ночь. Въ домѣ суетня—больному хуже. Ассистентъ выбивается изъ силъ, доктора уже второй часъ важно засѣдаютъ въ кабинетѣ, и время отъ времени пробираются къ больному. Казусъ интересный, да и вознагражденье будетъ отличное. Анна, какъ тѣнь, нѣмая, неподвижная, стоитъ у изголовья больного, вперивъ въ синѣющее лицо Веприна свои потерянные глаза. Александра Ивановна и Ольга занимаются практической стороной дѣла:—помогаютъ ассистенту дѣлать компрессы и прикладывать ледъ. Соня, на ходу и тихими шагами подходя къ двери, принимаетъ изъ рукъ прислуги разныя снадобья.

Люба стояла поодаль блѣднѣе смерти и вся тряслась какъ въ лихорадкѣ.

— Это пройдетъ, это отъ сильнаго волненья,—успокоивалъ ассистентъ.

Но волненіе было такъ сильно, что сестры испугались и уговорили ее уйти къ себѣ и принять что-нибудь успокоительное.

И вотъ, послѣ семнадцати лѣтъ, почти день въ день, дочь такъ же, какъ и мать, повернула ключъ своей комнаты и зажгла свѣчи. Поспѣшно сорвала она голубую ленту и стала читать тѣ же письма. Они были помѣчены числами, Люба начала съ перваго.

Она прочла его однимъ залпомъ, и сразу ничего не поняла. Отъ кого они? кто писалъ? какой мамѣ?.. Одно только было понятно: женщина, которая ихъ писала, называла себя „преступною", а Анну—„волчихой".

— „Волчиха—мѣтко!"—подумала Люба и вдругъ испугалась Анны.—„Въ ней есть что-то подозрительное"—подумала она и снова стала перечитывать письмо. Съ дикимъ крикомъ выронила она его изъ рукъ и сама бросилась на полъ—она поняла, кто былъ авторъ писемъ.—„Это мама писала бабушкѣ!.. святая—и вдругъ преступница!.. а эта—ехидная украла письма, украла и заперла подъ ключъ!.. проклятая!.. проклятая!.."

Долго и истерически рыдала Люба подъ бременемъ страшнаго удара. Картина мученій умирающей матери представлялась ей въ мрачныхъ краскахъ. Ненависть къ Аннѣ поднималась съ самой глубины души и давила ей горло. Но мало-по-малу пароксизмъ утихъ, и снова ее стало тянуть разоблачить сокровенныя тайны... Съ жадностью пробѣжала она второе письмо, а потомъ схватила и послѣднее...

Стѣны зашатались, потолокъ сталъ кружиться надъ ея головой, въ вискахъ стучали молоты, и Люба точно падала, падала въ безконечную бездну...

„Я, какъ Люциферъ“,—было ея послѣднею мыслью:—„меня сбросили съ неба...“

Мысли слились, сознаніе потерялось...

Люба долго пролежала неподвижно на полу своей комнаты, пока, наконецъ, слухъ ея не былъ пораженъ легкимъ стукомъ въ дверь. Она хотѣла встать, но силы не повиновались ей. Она хотѣла откликнуться—но изъ сжатой гортани не выходило ни одного звука. А между тѣмъ, она ясно слышала, что время отъ времени стукъ повторялся и дѣлался все сильнѣе и сильнѣе, пока не послышался, наконецъ, голосъ ассистента.

— Mademoiselle, проснитесь,—очень спѣшно говорилъ онъ, —васъ зовутъ, васъ требуютъ!

Шаги быстро удалились на смутно-долетѣвшій, отдаленный зовъ.

Люба сдѣлала невѣроятное усиліе и поднялась. Шатаясь, дошла она до умывальника и брызнула на себя холодной водой.

— „Дочь волчихи!“—неотвязно повторяла она,—„кровь отъ крови, плоть отъ плоти ея!.. Мести!.. мести!.. да, я хотѣла бы найти такую месть, которая бы вонзилась ей прямо въ сердце... Волчиха думала, что отъ нея родится ягненокъ!.. Вотъ въ чемъ страшная разгадка... Эти зубы—зубы хищниковъ“...

Люба приподняла верхнюю губу и со злобой посмотрѣлась въ зеркало. Она оправилась и стояла твердая, гордая. Слабости въ ней не осталось и слѣда. Она упивалась мыслью о мщеніи. Кому отмстить? за что?—она еще не сознавала ясно, она только чувствовала, что нужно и должно отомстить.

Взрывъ отчаянія смѣнился полнымъ хладнокровіемъ. Она подошла къ столу, еще разъ медленно и внимательно перечла всѣ письма; сложила ихъ по прежнему аккуратно, обвязавъ голубой ленточкой, и спрятала.

Въ дверь опять порывисто постучали. Въ этотъ разъ Люба тотчасъ же откликнулась и отворила дверь.

Роланъ стоялъ передъ нею въ большой тревогѣ.

— Мы стучались къ вамъ,—сказалъ онъ,—и не могли достучаться. Вы вѣрно спали?

— Спала,—спокойно отвѣтила Люба.

— Бѣдное дитя—вы осиротѣли!

Люба отступила шагъ назадъ, а потомъ безмолвно, безсознательно протянула къ нему руки, какъ погибающій, и упавъ къ нему на грудь—зарыдала.

III.

Вѣсть о внезапной смерти Веприна быстро разлетѣлась по всему Парижу, и въ день его похоронъ собралось нѣсколько сотъ друзей, провожавшихъ его погребальную колесницу. Смерть его произвела впечатлѣніе: ее сочли событіемъ въ мірѣ ученыхъ, литераторовъ и публицистовъ. Надъ его могилой были произнесены похвальныя и трогательныя рѣчи лучшими и самыми выдающимися умами изъ его современниковъ. Когда же его опустили въ фамильный склепъ, то вся часовенка и площадка въ оградѣ буквально были засыпаны цвѣтами. Вѣнки прекрасныхъ, живыхъ цвѣтовъ со всевозможными надписями отъ всевозможныхъ обществъ цѣлой душистой горой возвышались въ печальной оградѣ. И легъ онъ рядомъ, подъ этой благоухающей грудой, съ подругой своихъ лучшихъ годовъ, съ единственной женщиной, которую глубоко и страстно любилъ.

Нѣкоторыя изъ газетъ вышли съ чернымъ ободкомъ. Телеграфъ оповѣстилъ объ этой смерти всю Европу и долетѣлъ даже до Америки. Многіе какъ будто пожалѣли Веприна; многіе нашли, что онъ умеръ въ самую пору, когда геній его еще былъ въ силѣ; многіе, напротивъ, говорили, что онъ уже пережилъ себя. Нѣкоторые порадовались, что отдѣлались отъ яраго и задорнаго антагониста, большинство же приняло эту смерть, какъ совершившійся фактъ и сдало Веприна, со всею его дѣятельностью, жизнью, борьбой, ненавистью и любовью—въ архивъ исторической лѣтописи. Онъ умеръ, онъ не можетъ больше напоминать о себѣ—онъ забытъ. Живое—увлекается живымъ, создаетъ себѣ живыя симпатіи, поклоняется живымъ идеаламъ...

Первые дни послѣ смерти Веприна, семья его провела очень тихо. Такъ какъ никто рѣшительно не захотѣлъ остаться въ парижскомъ домѣ Петра Николаевича, то рѣшили продать домъ, поручивъ это дѣло агенту, а семейство намѣревалось, въ скоромъ времени, снова уѣхать обратно въ Римъ. Нѣсколько дней спустя послѣ похоронъ, начались visites de condoléances, и среди нѣкоторой суетни постоянно приходившихъ и уходившихъ никому не бросилось въ глаза, что Аристидъ Роланъ заходилъ каждый день и велъ съ Любой гдѣ-нибудь въ сторонкѣ долгіе разговоры.

Смерть отца, повидимому, повліяла на Любу болѣе, чѣмъ на кого-либо изъ семьи. Она сдѣлалась сосредоточена и серьезна. Не было въ ней больше ни дѣтскаго легкомыслія, ни беззабот-

наго веселья. Не было желанья подразнить, а не то и уязвить близкихъ. Не было дерзкаго слова, сказаннаго въ сердцахъ, но за то не было и заискивающей ласки. Въ ней совершенно утратилась ея ребяческая беззаботность, и на все существо ея легла та печать грустной серьезности, подъ которой часто скрывается мучительное горе.

Наканунѣ похоронъ и Аннѣ пришлось пережить страшную минуту. Вмѣстѣ со смертью Петра Николаевича, она хотѣла порвать и со всѣмъ своимъ печальнымъ прошлымъ. Она хотѣла похоронить вмѣстѣ съ нимъ и свой мучительный упрекъ за Вѣру— хотѣла сжечь завѣтный пакетикъ. Она пошла въ свой дорожный мѣшокъ, шарила во всѣхъ уголкахъ, во всѣхъ карманахъ и ничего не нашла. Обливаясь холоднымъ потомъ, опустилась она на стулъ. Первая мысль ея была о Любѣ: но мало-по-малу она стала припоминать, и ей какъ-то машинально пришло въ голову, что она, вынувъ пакетикъ изъ шкатулки, такъ и оставила его на углу туалета. Чѣмъ больше она припоминала сборы, тѣмъ больше убѣждалась, что дѣйствительно оставила его въ своей комнатѣ, въ Римѣ. Анна не знала, что Люба послѣдняя входила въ ея комнату, и теперь дышала свободнѣе, предполагая, что никто въ Римѣ не поинтересуется присвоить себѣ на видъ ничтожный пакетикъ. Она успокоилась, и только твердо рѣшила тотчасъ же по возвращеніи непремѣнно сжечь его.

— Аристидъ,—говорила тихонько Люба Ролану,—ваши частые визиты могутъ показаться моему семейству очень странными. Не приходите завтра сюда.

— Куда же прикажете прійти? Ваши слова: „не приходите сюда“—подразумѣваютъ другое мѣсто?

— Вы правы. Приходите въ Булонскій лѣсъ, къ пруду.

— Въ которомъ часу?

— Въ два. Вамъ это удобно?

— Вполнѣ. Такъ прощайте—до завтра.

— Прощайте, другъ мой!—и Люба крѣпко пожала протянутую ей руку.

На слѣдующій день, лишь только встали отъ завтрака, Люба постѣпенно удѣлась, и воспользовавшись приходомъ перваго гостя, вышла.

— Когда спросятъ, гдѣ я,—сказала она провожавшему ее

къ дверямъ лакею,—вы отвѣтите, что я ушла гулять въ Булонскій лѣсъ и не вернусь до обѣда.

— Барышня вѣрно не предупредила никого о своей отлучкѣ?

— Какое вамъ дѣло! Прошу строго исполнять мои приказы: когда васъ спросятъ, вы передадите то, что я вамъ сказала. Понимаете?

— Слушаю-съ,—и слуга захлопнулъ дверь.

— „Раненько“,—подумалъ онъ, многозначительно ухмыльнувшись,—„раненько и по годамъ, и по потерѣ такого прекраснаго отца... Впрочемъ“...

Онъ пожалъ плечами и принялся за свое обычное дѣло.

Люба взяла извощика, и труся на парижской, заѣзженой клячонкѣ, нашла дорогу безконечною. За то, когда она, наконецъ, дотащилась до назначеннаго мѣста, ей на встрѣчу, отъ пруда къ воротамъ, шелъ Аристидъ.

— Вы уже здѣсь!—воскликнула она.

— Давно!—отозвался онъ:—и горю отъ нетерпѣнія услышать вашъ голосъ, увидѣть васъ.

— Скажите,—вкрадчиво спросила Люба, опираясь на руку Ролана,—что во мнѣ заинтересовало васъ: моя непослѣдовательность, какъ вы говорите, или мое несходство со всѣми?

— И то, и другое.

— Вы сказали мнѣ, что находите во мнѣ привлекательность?

— Большую!

— Скажите, въ чемъ?

— Во всемъ: въ вашемъ взглядѣ, въ улыбкѣ, въ манерѣ держать голову назадъ и немножко на бокъ...

— Какіе пустяки! И вы человѣкъ науки!

— Вся наша жизнь—одни пустяки! но эти-то пустяки и привязываютъ насъ къ жизни.

— А безъ пустяковъ нельзя?

— Никакъ нельзя!—и онъ крѣпко прижалъ къ себѣ лежавшую на его рукѣ руку Любы.

Точно лучъ свѣта озарилъ на мгновеніе все лицо ея, но она тотчасъ же овладѣла собой.

— Однако, мы не пришли сюда, чтобъ говорить другъ другу нѣжности,—сказала Люба,—я просила васъ прійти, чтобы помочь мнѣ выяснить себѣ много печальныхъ и горькихъ сторонъ моей жизни. Повѣрьте—умъ мой гнется подъ тяжестью мрачныхъ и непосильныхъ думъ.

— Я помогу вамъ, если только съумѣю,—сказалъ онъ просто,—но прежде, посмотрите сами, какъ въ окружающей насъ при-

родѣ все гармонично и величественно! Какъ прелестенъ этотъ фантастическій прудъ съ его островкомъ и разнообразной густой зеленью! Какъ эти высокія сосны пріятно отдѣляются на синевѣ неба! Какъ легокъ и сладокъ воздухъ; какая всюду блаженная тишина—и только мы, люди, вѣчно создаемъ себѣ мірки и отравляющія жизнь тревоги.

Онъ смотрѣлъ на нее своими продолговатыми, выразительными глазами, которые, казалось, призывали на покой и забвеніе, и смугловатое лицо его озарялось привѣтливой улыбкой.

— Тишина эта не для меня,—едва слышно произнесла Люба, и пріостановилась, чувствуя, что ноги ея какъ-будто подкашиваются.

— Бѣдное дитя!—сказалъ Аристидъ съ участіемъ,—но въ жизни не однѣ горести, есть и счастье, и наслажденье...

— Гдѣ же они!—наивно воскликнула она.

— Здѣсь, среди этой роскоши весенняго убранства! среди тысячи ароматовъ любовно дышущей природы. Прислушайтесь и вы услышите, что все вокругъ насъ поетъ пѣснь возрожденья!.. Скажите, — внезапно перешелъ онъ на другое, — вы бывали влюблены?

— Нѣтъ! Въ кого же мнѣ влюбляться?—наивно замѣтила она.

— А теперь?

— Нѣтъ,—сказала она и вырвала у него свою руку. Ею вдругъ обуялъ какой-то невѣдомый страхъ; щеки ея зардѣлись румянцемъ стыда, и ей показалось совершенно неприличнымъ, что она бродитъ въ лѣсу рука объ руку съ малознакомымъ молодымъ человѣкомъ. Совсѣмъ не для этого желала она видѣть его наединѣ! Совсѣмъ не того ожидала она отъ Ролана, отъ человѣка, которому всѣ эти дни начала повѣрять свои сокровенныя тайны.

— Хорошо,—сказалъ онъ,—будемъ говорить серьезно. Итакъ, вы подозрѣваете, что вы дочь m-me Погорѣловой?

— Я не подозрѣваю, я знаю. У меня есть доказательства, что она моя настоящая мать, а та, бѣдная, пала жертвой ея ревности!.. Ну что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? говорите, говорите, что бы вы сдѣлали?

— Во-первыхъ, я бы не волновался...

— Хорошо, я спокойна. Во-вторыхъ...

— Во-вторыхъ, я бы выжидалъ...

— Чего?—порывисто спросила Люба.

— Случая,—отвѣтилъ онъ лаконично.

— А если случай не явится?

— Случай всегда является.

— Вы говорите точно оракулъ! Я прошу у васъ совѣта, помощи—а вы изрекаете азбучныя истины!

— Продолжайте!—сказалъ онъ, становясь противъ нея,—въ гнѣвѣ вы очаровательны!.. Какой огонь! какая страсть!.. О, вы будете опасная женщина.

— Сегодня съ вами нельзя говорить, вы сворачиваете все на шутку, и все превращаете въ смѣхъ!

— Это потому, что я счастливъ!

— Развѣ всѣ счастливые люди становятся глупы?

— Всѣ!

Роланъ и Люба дружно и звонко разсмѣялись.

— Мнѣ бы хотѣлось теперь бѣгать, бороться, возиться, вонъ какъ тотъ глупый щенокъ,—указалъ онъ въ даль,—мнѣ бы хотѣлось забыть весь міръ, и играть съ вами въ прятки, въ жмурки, во что хотите!..

— Такъ ловите меня!—смѣясь, воскликнула она, и легко, и проворно, какъ серна, побѣжала по одинокимъ извилистымъ дорожкамъ.

Люба скоро утомилась, и сѣвъ на скамейку, вынула изъ кармана платокъ. На дорожку упалъ конвертъ. Веселье въ мигъ исчезло, и точно густое облако легло на омрачившійся лобъ.

— Что это?—поднимая конвертъ, спросилъ Аристидъ.

— Это для васъ; переводъ съ писемъ той бѣдной женщины... матери моихъ добрыхъ и красивыхъ сестеръ...

— И вы—добрая, и красивая,—сказалъ онъ, ласково глядя ей въ глаза.

Двѣ крупныя слезы набѣжали на ея рѣсницы.

— Благодарю за доброе слово,—сказала она,—но прочтите и вы увидите, что я плодъ преступленья, зависти и злобы; что жизнь моя — ничтожная, жалкая, безполезная, — была куплена цѣною другой жизни—радостной, счастливой и полезной; что мое появленіе на свѣтъ лишило другихъ дѣтей матери и отравило послѣднія минуты праведницы... и мученица эта не проклята меня! Когда ей принесли дитя обмана—она прижала это дитя къ своей больной груди, лишенной послѣдняго материнскаго поцѣлуя, и ради этого ребенка простила злѣйшаго врага своего... Мести! мести! мести!—вдругъ закричала Люба, съ яростью топнувъ о землю ногою, и вся негодующая фигура ея, съ пылающими глазами и полуоткрытымъ ртомъ, живо напомнила Аристиду бронзовую группу архангела, попирающаго змѣя, на угловомъ фонтанѣ бульвара Сенъ-Мишель.

Аристидъ остановился передъ этой дѣвочкой въ восторжен-

номъ удивленіи. Только въ эту минуту онъ понялъ, что въ этой страстной душѣ чувство любви еще не проснулось. Кто будетъ избранникомъ ея просыпающейся страсти, и съ какой силой проснется эта страсть—вотъ вопросы, которые занимали Аристида и задѣвали его за живое.

— Всѣ человѣческія существа равны передъ природой,—сказалъ онъ спокойно,—только генеральные прокуроры обвиняютъ человѣка даже до его рожденья, и за проступки родителей предаютъ анаѳемѣ невинныя головы ихъ потомства.

— Вы великодушны,—сказала Люба.

— Я только справедливъ и иду съ вѣкомъ,—отозвался онъ.—Я не беру своей морали въ инквизиторскихъ догматахъ среднихъ вѣковъ. Какъ можетъ дитя нести кару за проступки произведшихъ его на свѣтъ? по какимъ это законамъ, естественнымъ или даже человѣческимъ? а человѣческіе законы всѣ погрѣшимы—прибавилъ онъ.

Люба сосредоточенно слушала его.

— Я прочту эти несчастныя письма, — продолжалъ онъ, — которыя доставили вамъ такъ много мученій. Но, чтобы въ нихъ ни говорилось, всякій человѣкъ отвѣчаетъ только за себя. По крайней мѣрѣ, такъ думаютъ у насъ, во Франціи. У насъ всякій человѣкъ воленъ думать что хочетъ, поступать какъ хочетъ, отвѣчая только за свои личные поступки. Однимъ словомъ: всякій человѣкъ свободенъ въ нашей свободной Франціи!

— Счастливцы! — воскликнула Люба и вздохнула легче, — значитъ и мое рожденье въ вашихъ глазахъ не кладетъ на меня пятна, и вы не бросите мнѣ въ лицо какое-нибудь обидное слово.

Аристидъ тихонько привлекъ ее ближе къ себѣ.

— Въ васъ столько юной прелести, сказалъ онъ,—такъ чистъ и правдивъ вашъ пытливый умъ; такъ много очарованья въ вашихъ граціозныхъ чертахъ—кому нужно докапываться до тайны вашего рожденья? Все говоритъ въ васъ само за себя—живите и наслаждайтесь даромъ жизни. Ловите минуты блаженства, чтобы въ старости было чѣмъ вспомянуть молодость, и сливайте вашъ юный голосъ съ мощными звуками торжествующей пѣсни нашей единой и общей матери—природы!

— Аристидъ! — воскликнула Люба: — вы спасаете меня отъ страшнаго отчаянія!

— Я уже и за это благодаренъ случаю,—отозвался онъ,—и стараюсь не завидовать тому счастливцу, чей образъ отпечатлѣется въ вашемъ сердцѣ, на чью руку трепетно ляжетъ ваша рука, чьи нѣжныя слова будутъ звучать въ ушахъ вашихъ див-

ной музыкой. Вы обѣщали мнѣ дружбу — смотрите же, сдержите слово, и покажите мнѣ этого счастливца, когда онъ явится!

Аристидъ внутренно наслаждался тѣмъ смутнымъ волненьемъ, которое его слова вызывали въ Любѣ. Она то загоралась, то застывала подъ ихъ соблазнительной властью. И онъ ожидалъ, что вотъ-вотъ—и блаженство перваго поцѣлуя достанется на его долю. Но онъ ошибся. Люба сдѣлалась тиха и робка. Неловко потупясь, стояла она прислоняясь къ стволу ближайшаго дерева, и нѣмыя губы ея принужденно улыбались.

Гдѣ-то на отдаленныхъ часахъ пробило пять.

— Пора идти,—сказала Люба,—прощайте.

— Я провожу васъ до выхода.

— Нѣтъ, благодарю, не нужно. Я тороплюсь домой и возьму ближайшую дорогу по большой аллеѣ, гдѣ много катающихся. А не то я пожалуй опоздаю къ обѣду, и мною будутъ недовольны.

— Но все же я могу хоть немножко проводить васъ.

— Благодарю; право не нужно, насъ могутъ увидѣть, это было бы непріятно...

— Мы провели вмѣстѣ почти три часа, и вы ни разу не подумали, что насъ могутъ увидѣть, а теперь вдругъ...

— Это правда,—перебила она,—но это дѣло другое, совсѣмъ другое...

— Я васъ не понимаю?

— И не нужно, все это вздоръ! Прощайте, благодарю васъ, прощайте.

Она нервно сжала его руку и быстро побѣжала по дорожкѣ.

— Когда же мы увидимся?—догнавъ ее, спросилъ онъ.

— Завтра, послѣ завтра, когда хотите...

— Гдѣ?

— Разумѣется, у насъ дома! Въ лѣсъ я больше не могу прійти, мнѣ нужно помогать укладывать разныя вещи.

— Вы думаете скоро ѣхать?

— Очень скоро, но еще неизвѣстно, въ какой именно день.

— До свиданья. Дайте же мнѣ руку!

— Я ужъ прощалась съ вами.

— Вы прощались со мною до завтра, а теперь я говорю до свиданья въ Римѣ.

— Какъ!

— Я зайду къ вашимъ послѣ завтра и прощусь съ вашимъ семействомъ. А затѣмъ:—до свиданья въ Римѣ.

— Въ Римѣ? — машинально повторила Люба, и долго про-

стояла, устремивъ на Аристида восхищенный взглядъ; потомъ вдругъ повернулась и быстро исчезла.

— „Субъектъ курьезнѣе даже, чѣмъ я воображалъ“,—подумалъ Аристидъ.

— „Il y a du tartare dans ce sang“—философски разсуждалъ онъ, анализируя всѣ выходки и порывы Любы, которые были совершенно несходны съ тѣмъ, что сдѣлала бы на ея мѣстѣ семнадцатилѣтняя парижанка. Люба задѣла Ролана за живое не красотой, не умомъ, а именно этой въ ней одной до сихъ поръ встрѣченной имъ своеобразностью, и никакъ не хотѣлось ему выпустить изъ рукъ этого оригинальнаго, психологическаго этюда.

Уже собирались обѣдать, когда Люба вернулась.

— Гдѣ ты была?—отрывисто спросила Анна.

— Гуляла,—коротко отвѣтила Люба.

— Ты знаешь, что въ Парижѣ мы не позволяемъ тебѣ гулять одной,—замѣтила Анна настойчиво.

— Я теперь сирота, — хладнокровно отозвалась Люба, — у меня нѣтъ ни отца, ни матери. Я буду дѣлать что хочу, ходить, куда хочу. Огорчить теперь мнѣ некого, и краснѣть за меня тоже некому.

— Но, Любочка, мы всѣ:—твой братъ, сестры, я старуха, — начала Александра Ивановна, гладя Любу по головкѣ, — мы всѣ не приказываемъ тебѣ, а просимъ не причинять намъ безпокойствъ и огорченій.

Люба судорожно схватила ласкавшую ее руку и поцѣловала ее.

— Не буду, бабуся, не буду,—сказала она,—не буду ради памяти мамы,—шепнула она Александрѣ Ивановнѣ въ самое ухо, —и ради тебя—обиженной!

И она быстро скользнула въ дверь.

— Что она сказала вамъ?—порывисто спросила Анна.

— А Богъ ее вѣдаетъ! Я хорошенько и не разслышала съ радости, что она такъ скоро сдалась!

IV.

Въ Римѣ Веприны оставались не долго. Наступили жаркіе дни, и знойный Римъ сталъ непріятенъ и нездоровъ. Для всего семейства потеря Петра Николаевича была большимъ огорченіемъ; сердце не лежало ни къ посѣщеньямъ друзей, ни къ развлеченьямъ какого бы то ни было рода, потому рѣшили провести лѣто въ какомъ-нибудь уединенномъ уголку Швейцаріи. Найти

такой уголокъ было не трудно. Онъ скоро отыскался въ концѣ Женевскаго озера, въ горахъ Валлійскаго кантона, почти на самой границѣ Савойи.

Отель, пріютившій Веприныхъ, былъ не роскошенъ, не отдѣланъ позолотой и штофомъ, какъ многіе отели модныхъ мѣстъ Швейцаріи, но онъ стоялъ среди величественной мѣстности, на плоскости высокаго пригорка. Изъ оконъ его фасада были видны и снѣговыя вершины дальнихъ высотъ, и бурнопадающій водопадъ, и первобытный, вѣковой лѣсъ. Между полнымъ дикой прелести лѣсомъ, тамъ и сямъ виднѣлись скалистые обрывы, точно будто когда-то, въ незапамятномъ прошломъ, высокая гора треснула, и изъ этихъ трещинъ образовались глубокія ущелья. На днѣ ихъ журчали извилистые потоки, а снѣга, тая подъ лучами знойнаго солнца, стремительно стекали съ ледяныхъ вершинъ и падали съ высокаго утеса, клубясь и разсыпаясь бѣлой пѣной роскошнаго водопада.

Противъ этого-то водопада и возвышался отель, въ видѣ швейцарскаго шалэ, весь въ кружевахъ затѣйливой рѣзьбы. Многоэтажный и помѣстительный, съ многочисленными балкончиками и пристройками, давалъ онъ теперь желанный пріютъ не только удрученному тяжелой потерей семейству Веприныхъ, но и многимъ другимъ семействамъ, ищущимъ тишины и уединенья.

Изъ окна комнаты Любы было видно еще и озеро. Долгіе часы могла она смотрѣть на это озеро и находить въ немъ чарующую привлекательность. Оно было небольшое, т.-е. небольшое для Швейцаріи, гдѣ озера разстилаются на протяженіи нѣсколькихъ верстъ. Смотря по ходу солнца, оно принимало различные виды и оттѣнки.

Озеро это стало другомъ Любы, ея утѣшителемъ. Какъ бы бурно ни разметался ея взволнованный духъ — она садилась къ любимому окну, упивалась созерцаньемъ этой бирюзовой влаги, этихъ затѣйливыхъ береговъ, этой игрой свѣта и тѣней на искрящейся поверхности—и духъ ея утихалъ, и какое-то примиреніе находило на нее, и только хотѣлось ей закрыть глаза, скрестить на груди руки и отдаться капризу лазурной струи, чтобы тихо колыхаясь плыла она подъ этимъ синимъ небомъ, чтобы ее согрѣвалъ лучъ золотого солнца, играя поцѣлуемъ на ея лицѣ, и вся согрѣтая, чтобы плыла она то въ рѣзкомъ свѣтѣ солнца, то въ тѣни высокихъ елей и сосенъ, въ той тѣни, гдѣ воды такъ прозрачны! То хотѣлось ей теряться въ прибрежныхъ камышахъ, хотѣлось, чтобы, склоняясь къ ней, они пѣли бы ей колыбельную пѣсню, и луна выплывала бы изъ-за горы, и къ этой пѣснѣ

тростниковъ примѣшивались бы далекіе звуки арфы неземные голоса. И слышалось бы ей что-нибудь волшебное, не такое какъ поется на землѣ, и носилась бы она подъ эти звуки вѣчно-вѣчно, не зная ни злобы, ни ненависти, ни борьбы, ни всей мелочной скуки ежедневной жизни.

А иногда, въ яркомъ пурпурѣ заката, въ такъ-называемомъ Alpenglühn, когда заходящее солнце придаетъ всей природѣ прозрачность и яркость до-красна накаленнаго желѣза, въ эти нѣсколько минутъ длящагося огненнаго зарева, ей бы хотѣлось, чтобы прилетала тѣнь ея милаго, чтобы глаза ея открывались подъ жгучей силой его взгляда, чтобы уста разверзались подъ его горячимъ поцѣлуемъ, и отлетала бы дорогая тѣнь съ надеждой на скорое свиданье... И въ сиренѣ темной ночи, закутанная дымкой прозрачнаго тумана, дремала бы она, объятая восторгомъ его любви...

Такъ мечтала Люба, сливая томящую горечь дѣйствительности со сказочнымъ міромъ своего недавняго дѣтства. Но мечты подобнаго рода находили на нее изрѣдка, и были успокоительнымъ рефлексомъ чрезмѣрно-напряженнаго состоянія ея духа.

Она не примирилась съ рѣзко и неожиданно разоблаченной тайной. Въ ней явилось возмущенье противъ того, что она называла обстоятельствами. Какъ могли слѣпыя, жестокія обстоятельства безвинно карать ту, которую съ дѣтства она привыкла считать своей матерью? Сколько разъ цѣловала она миньятюрный портретъ этого прелестнаго лица! Сколько разъ, съ самаго ранняго дѣтства, осторожно вынимала изъ медальона отца прядь золотистыхъ волосъ и, полюбовавшись ими, ощупавъ ихъ шелковистую мягкость, заставляла разсказывать себѣ про маму, про ея красоту, доброту, любовь... И это не ея мама! Настоящая мать ея та женщина, чья она плоть и кровь...

Плоть и кровь не говорили въ Любѣ, не заставляли отнестись къ настоящей матери съ прощеньемъ.

„Все, все мы отняли у той, — думала она, — для того, чтобы я, я, безсмысленная игрушка въ рукахъ жестокой судьбы, упала ей умирающей на колѣни, какъ насмѣшка надъ ея горемъ, надъ ея разверзнутой могилой!.. И кровъ нашъ не обрушился и не задавилъ насъ!.. и земля не потряслась и не засыпала насъ!.. Земля разверзлась только для гроба и приняла мученицу... А я, плодъ обмана, росла на радость палача!“...

Любѣ припоминалось, что въ дѣтствѣ она любила мучить собакъ, кошекъ, мышей; она щипала дѣтей, съ которыми ей случалось играть, и конвульсія страданья, гримаса боли вызывали въ ней

не жалость, а злобное торжество. Часто стыдили ее за безсердечіе отецъ, бабушка, братъ, сестры, гувернантки и прислуга, и только Анна бывало говорила: „Люба дитя, она не сознаетъ, что дѣлаетъ".

— Дитя вампира! — восклицала теперь Люба, — какъ же могла я не упиваться видомъ боли и мученій!.

Тайна, разоблаченная Любѣ нѣсколькими исписанными дрожащей рукой страницами, пробудила въ ея сердцѣ такія чувства. въ ея умѣ такія мысли, которыя, вѣроятно, никогда и не проснулись бы, еслибы случай не бросилъ ей въ руки нѣсколько пожелтѣвшихъ листковъ. Къ Аннѣ, вѣчно баловавшей ее, льстившей ей съ самаго дѣтства, всегда старавшейся выказывать ея превосходство надъ всѣми другими, она чувствовала прежде небрежное благоволенье какъ къ крестной матери и родственницѣ, положившей на нее много заботъ и попеченій и посвятившей ея безпокойному дѣтству много лѣтъ своей жизни. Теперь же она видѣла въ заботахъ и попеченьяхъ о ней Анны только инстинктивную защиту дѣтеныша, и въ Любѣ часто разгоралась досада, что глупый случай не отнялъ дѣтеныша у хищницы и не поразилъ ее въ самое сердце печальной утратой. Этимъ бы, въ глазахъ Любы, воздалось должное за должное. Льстивую любовь Анны, баловство и всякаго рода поблажки Люба объясняла теперь разсчетомъ; Анна хотѣла заручиться на всякій случай любовью ребенка. Еслибы неожиданныя обстоятельства разоблачили чудовищную истину, то ребенокъ все же прильнулъ бы къ ней, какъ къ доброй, любящей, родной матери.

— Все разсчетъ и разсчетъ—думала Люба.

Подъ наружной личиной сдержаннаго спокойствія, день ото дня, почти незамѣтно для самой Любы, въ ней все росла и развивалась непримиримая ненависть къ родной матери. Лишь бы не видѣть ее, лишь бы не встрѣчаться съ этимъ выжидающимъ ласки взглядомъ, лишь бы не слышать этого надломленнаго голоса!—И Люба убѣгала въ горы, въ лѣсъ, куда ни попало.

Жизнь въ уединенномъ мѣстечкѣ давала Любѣ большія льготы. Она пользовалась полнѣйшей свободой безотчетныхъ и долгихъ отлучекъ. Лишь бы она являлась къ обѣду въ часъ дня, и къ ужину въ восемь вечера—остальное время она могла проводить какъ хотѣла. И Люба вполнѣ пользовалась своей льготой. Она бродила до сумерокъ, по волѣ вдохновенья, и то въ ней поднималась накипающая горечь, то съ наслажденьемъ отдавалась она воспоминанью недавней, обворожительной встрѣчи съ Аристидомъ.

Въ одну изъ такихъ прогулокъ Любу застигъ проливной

дождь. Небо было обложено тучами. Дождь, сначала крупный, превратился въ тотъ частый, мелкій дождикъ, который затягивается на цѣлыя сутки. Люба должна была вернуться, не дойдя до своей цѣли, и подъ впечатлѣньемъ тяжелыхъ мыслей, все послѣ-обѣденное время просидѣла въ своей комнатѣ. Изъ окна она глядѣла на любимое озеро. Но и оно въ тотъ день было непривѣтно. Яркія краски смѣнились однообразнымъ, сѣрымъ колоритомъ дождя. Деревья колыхались подъ порывами вѣтра тѣмъ особымъ колыханьемъ, которое придаетъ такой жалкій видъ ихъ смоченной листвѣ. Воздухъ съ пронизывающей сыростью [illegible] врывался въ окно.

Внезапная мысль мелькнула у нея въ головѣ—она взяла перо и стала писать:

„Дорогой другъ,—писала она,—въ одинъ изъ самыхъ памятныхъ дней моей жизни вы сказали мнѣ: до свиданья въ Римѣ. — Въ Римѣ теперь пыльно и знойно, мы всѣ бѣжали изъ его раскаленныхъ стѣнъ въ прохладу альпійскихъ горъ. Здѣсь чудесно: дикая природа со своими тысячелѣтними снѣговыми вершинами говоритъ о чемъ-то вѣчно-живущемъ и безконечно-возрождающемся.

„Пріѣзжайте. Я буду ждать васъ. Рука объ руку будемъ мы скитаться въ уединеніи вѣковыхъ громадъ. Подъ сѣнью первобытныхъ лѣсовъ будемъ вмѣстѣ прислушиваться къ той дивной пѣснѣ, которую вы называете торжественнымъ гимномъ природы“...

Люба написала и отправила это письмо, но дни проходили, а отъ Ролана не было отвѣта. Встревоженная, мучилась она теперь сомнѣньемъ: дошло ли до него письмо? Она по прежнему была спокойна и ровна въ обращеніи, и не подавала повода къ неудовольствію. Но внутренно она волновалась и страдала. Какое-то томительное отвращеніе отъ жизни грызло ее.

— Не стоитъ, не стоитъ жить, — постоянно повторяла она мысленно.

За послѣднее время она пристрастилась къ рисованью и завела себѣ альбомъ, въ который очень искусно набрасывала свои любимыя мѣстечки, но и альбомъ свой она позабыла. Съ тоской въ душѣ, со слезой на длинной рѣсницѣ, бродила она, чтобы бродить, чтобъ уставать физически, безъ цѣли, безъ мысли, безъ интереса.

„Я точно Агасферъ, — думалось ей, — этотъ несчастный, вѣчный странникъ, который даже въ смерти не смѣлъ найти себѣ забвенья“.

— На всякія! клянусь моей любовью!

Безмолвный поцѣлуй сковалъ ея уста.

Солнце сѣло. Пурпуръ смѣнился синевой. Тѣнь сумерокъ легла на окрестность.

— Уже!—грустно промолвилъ Аристидъ, и они разстались.

Счастливая, легкая, точно невидимые крылья несли ее, бѣжала Люба домой. Весь мракъ гнетущей жизни смѣнился свѣтомъ счастья, и внезапно нахлынувшая радость затопила душевныя муки.

А Аристидъ шелъ медленно, съ поникшей головой.

— Она будетъ моей,—размышлялъ онъ,—я буду имѣть наслажденье обладать этимъ огненнымъ, юнымъ созданьемъ!.. Но прежде я долженъ сдѣлать ей признанье... Честь моя того требуетъ... Роланъ не можетъ быть ни пошлякомъ, ни негодяемъ!..

И видно было, что необходимость какого-то признанья отравляла нетерпѣливое волненье и охлаждала пылкія мечты.

V.

Очаровательная идиллія началась для Любы. Она переживала тотъ періодъ проснувшихся порывовъ, когда они еще не отравлены реализмомъ страсти. Каждый день она встрѣчалась съ Аристидомъ, и рука объ руку они бродили до самыхъ сумерокъ. Потухавшее зарево заката было для нихъ сигналомъ прощанья, и разставались они съ горячимъ поцѣлуемъ, въ чаду влюбленнаго томленья. Убаюканная словами, полными любви, утѣшенная, что есть въ мірѣ человѣкъ, для котораго она милѣе жизни—Люба смягчалась сердцемъ. Даже ея непріязнь къ Аннѣ стала утихать, и она почти простила ее.

Аристидъ тоже находился словно подъ чарами этой необыкновенной любви. Онъ видѣлъ передъ собою дѣвушку, готовую отдаться ему безъ всякихъ разсчетовъ, безъ какихъ бы то ни было практическихъ соображеній. Онъ очень хорошо зналъ, что для Любы не настала еще пора, когда дѣвушка старается любить „благоразумно“. Сомнѣнье въ томъ, что онъ можетъ воспользоваться ея дѣтской довѣрчивостью, что онъ можетъ толкнуть ее въ омутъ несчастья, или что онъ просто хочетъ позабавиться проказливостью плохо-охраняемой дѣвочки—подобное сомнѣніе никогда не приходило ей на умъ. Въ душѣ Аристидъ восхищался этой, никогда еще не виданной имъ любовью, и жаль ему было грубымъ ударомъ разбить наивную и ребяческую вѣру Любы въ его добродѣтель. Ему было

такъ ново держать въ своихъ объятіяхъ молодую дѣвушку, съ дерзкой увѣренностью разсуждающую о теоріяхъ любви, и въ то же время не вѣдающую ни ея зла, ни ея порочности. Люба съ восторгомъ отдавала ему его поцѣлуи, но когда на прощанье онъ спрашивалъ ее:

— Счастлива ли ты, моя дорогая?

— Совершенно, вполнѣ, чрезмѣрно!—отвѣчала она, глядя ему прямо въ глаза своимъ чистымъ, яснымъ взглядомъ.

— И ты не желала бы извѣдать еще иное, бурное счастье, которое налетаетъ на насъ, какъ вихрь, и уноситъ насъ въ самое поднебесье!

— Ахъ, очень бы желала!—наивно и восторженно воскликала Люба,—но боюсь,—прибавляла она серьезно,—что это не будетъ для меня новостью. Со дня нашей первой встрѣчи, я уже переиспытала всѣ чувства, о которыхъ ты говоришь!

— „Невинная, чистая душа“,—думалъ Аристидъ и отпускалъ Любу въ блаженномъ невѣденіи.

Но лишь только она исчезала, онъ говорилъ себѣ:

— „Сегодня послѣдній день идилліи“.

А когда часъ свиданья приближался, рѣшимость Аристида пропадала.

— „Нѣтъ, не сегодня“,—думалъ онъ:—„сегодня слишкомъ тихій, свѣтлый день, самый удобный для платоническаго созерцанья“.

Со времени пріѣзда въ Швейцарію, Анна сдѣлалась еще молчаливѣе и сумрачнѣе. Чтобы не дать другимъ замѣтить терзающей ее печали, она начала безконечную работу въ видѣ вязанья для Бомбино одѣяла изъ шерсти. Это одѣяло состояло изъ бѣлыхъ и свѣтло-голубыхъ полосъ, которыя безконечными лентами вытягивались изъ-подъ проворныхъ пальцевъ Анны. Одиночества она опасалась, и потому съ утра выходила въ общую комнату, и безмолвной тѣнью помѣщалась въ углу около окна.

Анна очень хорошо замѣчала и сознавала, что въ душѣ дочери совершалась цѣлая драма. Пакетикъ съ письмами она нигдѣ не могла найти; спросить же о немъ у домашнихъ она не рѣшалась, страшась какой-нибудь неожиданной выходки со стороны Любы. Отъ ея зоркаго глаза не могла ускользнуть и та перемѣна, которая вдругъ совершилась въ Любѣ. Со дня смерти отца, Люба упрямо, настойчиво избѣгала ее; отстранялась отъ всякой ласки; не терпѣла ни малѣйшаго противорѣчія или замѣчанія. Она обращала вниманіе на Анну лишь настолько, чтобы ея равнодушіе

не слишкомъ бросалось въ глаза всѣмъ остальнымъ. Но какіе ненавистные взгляды иногда ловила Анна въ глазахъ дочери! Ей дѣлалось страшно отъ этихъ взглядовъ, и морозъ невольно пробѣгалъ по кожѣ. И не смѣла она открыть рта, боясь услышать страшныя слова: „Я все узнала!“.

Анна терзалась позднимъ раскаяніемъ, что во-время не уничтожила несчастныхъ писемъ. Она помнила ихъ наизусть, помнила на нихъ даже каждое пятнышко, къ чему ей было хранить ихъ, какъ заповѣдное сокровище? Уничтожила бы она ихъ въ тотъ лютый день, когда Петръ Николаевичъ убилъ ея надежды жестокимъ униженіемъ, и дочь ея ласкала бы ее теперь, какъ воспріемницу, какъ мать. Чувство Любы къ той, къ мнимой, давно умершей матери, было бы только, какъ обожаніе чего-то отвлеченнаго, завѣщаннаго преданьями, но реальная любовь ея вся бы сосредоточилась на женщинѣ, замѣнившей ей умершую. Теперь же все кончено, все разрушено. На глазахъ Анны, очевидно, росла въ Любѣ привязанность къ мнимымъ сестрамъ, къ бабушкѣ, къ брату, которыхъ она съ дѣтства привыкла любить и считать своими, и рядомъ съ этой привязанностью росло и отвращеніе къ ней, къ матери. И все это надѣлали эти жалкіе листки, которые Богъ вѣсть какъ и для чего уцѣлѣли, которые пережили и людей, и давно минувшіе годы...

Анна мучилась безплоднымъ и позднимъ раскаяніемъ не своего когда-то злого поступка, а тѣмъ, что во-время не уничтожила предательскихъ слѣдовъ. Она, умная, хитрая, сообразительная Анна—просчитала.

Терзаясь, Анна молчала, и изъ-за безконечныхъ полосъ вязанья старалась читать въ самой глубинѣ души дочери. Долго читала она въ ней угрюмую враждебность, но вотъ, внезапно, неожиданно прояснилось это молодое лицо, черты потеряли тоскливую задумчивость, и на нихъ легла печать счастья. Анна встрепенулась:—значитъ въ жизни дочери мелькнуло что-то свѣтлое. Какъ-будто всепрощающая, всепримиряющая, смягчающая сердце любовь смирила этотъ возмущенный духъ. Но гдѣ же предметъ этой любви? Откуда онъ взялся? Гдѣ встрѣтила его Люба? Гдѣ видится съ нимъ?

Анна не имѣла больше ни минуты покоя. Каждый разъ, какъ она бросала бѣглый взглядъ на дочь, она спрашивала себя: „кто онъ? откуда? гдѣ“? Ей стало, наконецъ, такъ жутко, что она рѣшилась послѣдовать за дочерью. Издали, прячась за деревья, за кусты, страшась звука своихъ собственныхъ шаговъ, но все же

идя впередъ, шла она за Любой. Люба дошла до условленнаго мѣста, тамъ ее кто-то принялъ въ свои объятія...

Анна старалась разглядѣть этого кого-то изъ-за нависшаго утеса, за которымъ пряталась.

— Аристидъ!—въ остолбенѣніи прошептала она.

Счастливая пара скрылась подъ тѣнью ближайшей рощи. Анна обратно пошла къ дому. Дорогой она рѣшила, что ей слѣдуетъ дѣлать, и прійдя домой, прямо вошла въ общую комнату. Тамъ находился одинъ только Александръ Петровичъ; онъ торопился кончить какое-то письмо, чтобы отослать его съ отходящей почтой.

— Саша, прости, что безпокою тебя, — съ видимымъ волненьемъ сказала Анна.

— Сейчасъ, погоди, я кончаю.

— Отложи до завтра это письмо, а теперь напиши другое.

— Что съ тобою, Анна?

— Здѣсь Роланъ, помнишь, ассистентъ профессора Тиссо. Я видѣла его сейчасъ у водопада...

— Съ Любой?

— Да, съ Любой.

— Его здѣсь въ отелѣ нѣтъ. Гдѣ же онъ остановился?

— Все это мы послѣ узнаемъ, а вотъ, что сдѣлай сейчасъ же: напиши письмо профессору, скажи ему, что одно семейство очень интересуется его ассистентомъ и желало бы знать, какой отзывъ профессоръ можетъ дать о немъ. Это суть письма; но, конечно, устрой все это какъ-нибудь по-французски, съ комплиментами.

— Сейчасъ, сейчасъ; сколько осталось минутъ?

— Десять. Пиши; я пойду задержу почтальона.

Письмо было написано и отправлено.

— Политикъ и дипломатъ эта дѣвочка, — не безъ досады замѣтилъ Александръ Петровичъ,—и какъ это она умѣетъ всѣхъ провести! Въ ожиданіи отвѣта, я начну съ того, что тотчасъ же отыщу ихъ и потребую у Ролана объясненія.

— Ни въ какомъ случаѣ!—воскликнула Анна.

— Но не могу же я оставить дѣвочку на произволъ незнакомца.

— Люба еще очень огорчена и раздражена потерей отца, и я боюсь вызвать въ ней какой-нибудь сумасбродный поступокъ, если мы внезапно станемъ ей поперегъ дороги.

Въ комнату вошла Александра Ивановна, и къ большой досадѣ Анны, внукъ тотчасъ же разсказалъ ей о новой непріятности, прося совѣта.

— Вы знаете, бабушка, Люба дѣвочка мудреная, къ ней трудно приноровиться. Пожалуй изъ противорѣчія какъ-нибудь напроказитъ, чтобъ только на своемъ поставить.

— Непремѣнно, я уже это отсюда вижу,—замѣтила Александра Ивановна: — раскричится, разбушуется, начнетъ корить насъ, что мы де за нею шпіонимъ, что мы де заподозриваемъ ее въ обманѣ, что иго наше ей невыносимо, и пойдетъ, и пойдетъ...

— Лучше оставить ее на свободѣ до полученія отвѣта отъ Тиссо,—замѣтила Анна.

— А потомъ поймать вертопраха и заставить его жениться на Любѣ. Тѣмъ дѣло и кончится,—рѣшила Александра Ивановна.

— Я же тѣмъ временемъ узнаю, гдѣ Роланъ остановился, и давно ли пріѣхалъ.

— Должно быть онъ здѣсь дня три,—сказала Анна, что-то соображая.

— Ты, можетъ быть, уже и прежде знала, что онъ здѣсь?

— Нѣтъ. Я сужу по выраженію Любы.

— О, женщины! — воскликнулъ Александръ Петровичъ, — отчего же мы никогда ничего не видимъ! Я радовался, глядя на сестру; мнѣ казалось, что она стала степеннѣе и благоразумнѣе.

— А вотъ и оказывается, что въ тихомъ омутѣ черти водятся,—замѣтила Александра Ивановна!—Пока сама была чертенкомъ все, что на умѣ, то и на языкѣ; а теперь остепенилась, вотъ и по другому.

Александра Ивановна взглянула на убитое лицо Анны, которая взялась за свое вязанье, но обыкновенно быстрые пальцы едва двигались.

— Напрасно, Анна, такъ огорчаешься,—ободряла она Анну: —Люба легкомысленная, своевольная, но не дурная дѣвочка. А молодой человѣкъ все же изъ хорошаго рода, карьера передъ нимъ обширная. Если онъ дуритъ съ Любой, значитъ она ему нравится. Петръ Николаевичъ его всегда хвалилъ и уважалъ. Онъ, вѣроятно, скоро сдѣлаетъ предложеніе, и мы еще здѣсь свадьбу отпразднуемъ!

VI.

Дни проходили за днями, и уже наступила послѣдняя недѣля отпуска Аристида. Онъ началъ негодовать на себя и называть себя глупцомъ, школьникомъ, трусомъ. Кромѣ того, однообразная идиллія, все та же, въ той же обстановкѣ, съ той же наивной и восторженной дѣвочкой, начинала надоѣдать искателю реали-

стическихъ наслажденій, уроженцу Парижа. Парижанинъ гораздо болѣе склоненъ вкушать сладость утонченной порочности, нежели расплываться въ безплотныхъ, идеальныхъ восторгахъ. Аристидъ принялъ, наконецъ, твердое рѣшеніе или бросить эту дурацкую „игру въ любовь“ и при первомъ рѣзкомъ словѣ Любы откланяться и разстаться, или...

Онъ еще не вполнѣ рѣшилъ второе или: оно зависѣло отъ обстоятельствъ.

День былъ такой же ясный, какъ всѣ предъидущіе. Августъ стоялъ, какъ это почти всегда бываетъ въ Швейцаріи, сухой и теплый. У подножія водопада встрѣтились влюбленные. Аристидъ былъ молчаливъ и сдержанъ; видно было, что ему не по себѣ. Люба же была ясна и весела, какъ майское утро. Она щебетала безъ умолку и повторяла Аристиду мелочныя событія своей вседневной жизни. Но грусть его не могла ускользнуть отъ ея взгляда.

— Сядемъ,—сказала она,—вотъ нашъ диванъ.

Онъ сѣлъ на стволъ свалившейся сосны и сбросилъ съ головы шляпу. Люба подошла къ нему, откинула назадъ его волосы, и пристально посмотрѣвъ на его блѣдное лицо, ласково спросила:

— Что тебя тревожитъ, Аристидъ?

— Ахъ, милая,—отозвался онъ,—мы жили эти дни райскимъ счастіемъ—чистымъ и безгрѣшнымъ, какъ первые люди въ раю. Но мы не въ раю, моя дорогая, мы на землѣ. На той землѣ, которая была проклята, гдѣ царитъ грѣхъ, гдѣ всѣ мы носимъ на челѣ клеймо паденья!

— И нѣтъ по твоему,—спросила она,—на этой грѣшной землѣ ни одного чистаго, прекраснаго, великаго созданья?

Онъ покачалъ головой.

— Значитъ намъ по-неволѣ приходится примириться съ тѣмъ, что есть,—отозвалась она и засмѣялась.

— Примириться, вотъ въ томъ-то и вопросъ, насколько можно примириться?—замѣтилъ онъ.

— Это уже зависитъ отъ силы чувства,—увѣренно сказала Люба.

— Другъ мой,—съ живостью заговорилъ Аристидъ,—есть ли въ тебѣ такая сила чувства ко мнѣ, что ты могла бы все отъ меня выслушать, все мнѣ простить, и, какъ я уже разъ спросилъ тебя, принести для меня всякую жертву?

— Я въ тотъ же незабвенный вечеръ отвѣтила тебѣ: всякую!

Онъ прижалъ къ груди ея руки, и съ мольбой глядѣлъ на нее.

— На все, на все готова я идти ради тебя, съ тобой,—восторженно повторила она,—все готова я покинуть, все забыть,

ото всего отречься!.. Лишь бы только рука эта держала мою руку, и сердце это билось для моего сердца...

— И чтобы ты ни узнала изъ моей прошлой жизни, ты не проклянешь меня?

— Я прощаю тебѣ все впередъ!

— И выслушаешь отъ меня что бы то ни было безъ гнѣва?

— Аристидъ! милый!—и Люба хотѣла припасть головой къ его плечу.

Онъ слегка оттолкнулъ ее.

— Слушай меня серьезно,—сказалъ онъ и выпрямился:—теперь настала минута, когда я ставлю на карту все наше счастье.

И Люба тоже выпрямилась и, скрестивъ на груди руки, твердо сказала:

— Я готова!

По лѣсу пробѣжалъ замирающій шопотъ:

— Я женатъ!

Аристидъ самъ испугался своихъ словъ, и блѣдный какъ смерть, поникъ головою.

Люба стояла неподвижно, точно прикованная къ мѣсту, и только руки ея разомкнулись и повисли по обѣимъ сторонамъ. Взглядъ ея блуждалъ гдѣ-то вдали, и умъ будто не хотѣлъ схватить смысла неожиданныхъ словъ.

Аристидъ молчалъ, выжидая отвѣта Любы. Онъ сознавалъ, что ударъ былъ не легокъ.

Долго оставались они другъ противъ друга въ глубокомъ молчаніи.

— Ты любишь ее? наконецъ, спросила Люба.

— Я ее уважаю,— отвѣтилъ Аристидъ.

— Я спрашиваю, любишь ли ее такой любовью, какъ меня?

— О, нѣтъ, разумѣется, нѣтъ! Еслибы я любилъ ее, какъ тебя люблю, я бы не пріѣхалъ по твоему первому зову въ эти дикія ущелья. Я остался бы дома, у домашняго очага, въ счастливой семьѣ.

— Значитъ, дома ты несчастливъ?

— Жена моя—женщина добрая; я взялъ ее изъ хорошей семьи. Никакихъ интересовъ, кромѣ хозяйства и дѣтей, у нея нѣтъ...

— У тебя есть дѣти?

— Да, два сына.

— Счастливцы!—сорвалось у Любы.

— Вотъ мы съ женой такъ помаленьку и поживали, — съ презрительной усмѣшкой продолжалъ Аристидъ.—Я женился по

долгу врача. У насъ врачи должны быть женаты, чтобъ сдѣлать быструю карьеру. Я былъ молодъ, тщеславенъ, хотѣлъ сдѣлать карьеру блестящую.

— И для того женились!—съ упрекомъ воскликнула Люба.

— Да, для того. Я женился на дочери Тиссо, и онъ взялъ меня тотчасъ же въ ассистенты.

— Женитьба сослужила вамъ службу,—язвительно замѣтила Люба.

— И очень хорошую,—согласился Аристидъ.—Я не любилъ жены, — продолжалъ онъ съ удареньемъ: — и потому предался наукѣ. Дни и ночи изучалъ я, проводилъ большую часть времени въ госпиталяхъ. Много жизней я спасъ за это время, много слезъ осушилъ я, и имѣлъ счастье усладить послѣднія минуты многихъ забытыхъ и заброшенныхъ. Можетъ быть, вслѣдствіе ихъ благословеній, на мою долю и выпало счастье встрѣтиться съ тобою, полюбить тебя, какъ только мы бѣдные смертные можемъ любить свои идеалы,—и, богиня моя, у ногъ твоихъ сказать: я твой, не отвергни меня!

Онъ бросился предъ нею на колѣни, руки его простерлись къ ней. Какъ въ опьяненіи припала она къ его груди.

— Мы уѣдемъ въ Парижъ, — шепталъ ей на ухо соблазнительный голосъ, — я поселю тебя далеко-далеко отъ той... Я найму для тебя маленькую виллу около того мѣста Булонскаго лѣса, гдѣ мы въ первый разъ сознали, что любимъ другъ друга. Я роскошно уберу наше гнѣздышко и тамъ, потерянные для шума и свѣта, мы будемъ проводить лучшіе часы нашей молодости. Тамъ я сосредоточу и любовь свою, и работу...

— Разведись съ той... женись на мнѣ...

— Это невозможно! — покачалъ онъ головой, — развестись съ дочерью Тиссо значитъ вызвать громкій скандалъ. Всѣ связи порваны; вся карьера погибла. Мы живемъ въ реальномъ мірѣ, дитя мое, мы должны постоянно разсчитывать, соображать. Мы можемъ пользоваться только тѣмъ, что въ нашей власти, что общество—наше жестокое, педантичное общество—дозволяетъ намъ.

Люба горько усмѣхнулась.

— Тебѣ оно дозволяетъ имѣть двухъ женъ,—сказала она,—какъ же ты съ ними справишься?

— Женщина, которая носитъ мое имя,—отозвался Аристидъ,—будетъ моей женой передъ свѣтомъ. Она будетъ пользоваться жалкимъ правомъ ожидать меня къ обѣду, изрѣдка показываться со мною въ обществѣ, чтобы насъ видѣли вмѣстѣ; завѣдывать моимъ гардеробомъ и принимать отъ меня выговоры за лишнія

траты. На долю же твою достанется мое сердце всецѣло и нераздѣльно. Мысль моя будетъ ежеминутно съ тобой. Къ тебѣ будетъ стремиться все существо мое, и въ твоихъ объятіяхъ буду я находить счастье и отраду. Сознаніе, что я любимъ тобою будетъ вѣчно присуще мнѣ и при свиданіи и въ разлукѣ, но разлука еще больше будетъ разжигать жажду свиданья. О, теперь ты еще не можешь понять меня...

Ядъ его словъ и его ласки побѣдили.

— Увези меня, возьми меня, я твоя, я твоя! — твердила Люба въ увлеченіи.

— Ты такъ очаровательна, что я за себя боюсь... иди... иди!.. умоляю, иди!..

Торжествующая, она порывисто обняла его.

Много разъ оборачивалась Люба, удаляясь, и посылала ему поцѣлуи, на которые онъ отвѣчалъ, махая въ воздухѣ шляпой и прижимая къ губамъ концы пальцевъ. Наконецъ, она исчезла, а онъ тяжело опустился на камень.

„Вилла около Булонскаго лѣса, роскошно-убранная,—очаровательная мысль, но откуда же взять на это деньги?.. И что скажетъ бѣдная, кроткая Целестина, заботливая мать его двухъ сыновей, когда случайно узнаетъ, что онъ поселилъ на другомъ концѣ Парижа какого-то полу-ребенка, полу-дикарку..? Съ огнемъ играть опасно...“

И думалось Аристиду, что въ сущности Люба была для него интересна только какъ психологическій этюдъ. Ему собственно хотѣлось прослѣдить психологію развивающейся страсти въ юномъ сердцѣ интереснаго субъекта. Но онъ увлекся своей задачей, и попался какъ муха въ паутину. Чудные, истинно чудные дни пришлось ему пережить въ этихъ тонкихъ свѣтяхъ. Такіе дни не всякому выпадаютъ на долю! Но, странно, признанье, которое такъ долго мучило его, сразу охладило въ немъ страсть. Скорое примиреніе Любы съ двусмысленностью положенія, которое онъ ей предлагалъ и самъ расписывалъ такими соблазнительными красками, показалось ему залогомъ большого легкомыслія, и Аристиду стало совѣстно, что онъ могъ до такой степени увлечься легковѣрнымъ ребенкомъ.

— „Я долженъ благодарить судьбу, что все кончилось такъ, какъ кончилось“, — подумалъ онъ: — „она не изъ солидныхъ... Яблочко недалеко падаетъ отъ дерева“.

И Аристидъ углубился въ чисто отвлеченныя сравненія и соображенія, и сталъ обдумывать свой любимый вопросъ, о которомъ уже началъ писать ученое изслѣдованіе, собирая для него

всюду, гдѣ только могъ, матеріалы,—„О наслѣдственности нравственныхъ свойствъ и качествъ въ человѣкѣ".

И долго ходилъ онъ взадъ и впередъ въ пурпурномъ свѣтѣ заката, но даже не замѣчалъ его, а проводилъ параллель между душевными порывами Анны и Любы.

Въ швейцарскомъ шалэ, между тѣмъ, появился почтальонъ и разнесъ всѣмъ обывателямъ интересующія ихъ новости. На долю Веприныхъ досталось тоже нѣсколько писемъ. На одномъ изъ нихъ адресъ былъ надписанъ незнакомой рукой. Его-то прежде всѣхъ и распечаталъ Александръ Петровичъ. Онъ пробѣжалъ письмо и остолбенѣлъ. Нѣсколько мгновеній онъ не могъ собраться съ мыслями.

— Что это, отвѣтъ Тиссо?—воскликнула Анна.

— Да.

— Читай, читай!—нервно заговорила она.

— Постой, Анна...

— Что за приготовленія! читай какъ есть.

„Любезный Вепринъ,—сталъ читать Александръ Петровичъ,—меня въ свою очередь очень интригуетъ узнать, съ какой стороны знакомое вамъ семейство интересуется моимъ ассистентомъ? Вмѣстѣ съ тѣмъ, я радуюсь, что, зная его близко, могу дать о немъ самый лестный отзывъ. Онъ молодой человѣкъ, прекрасно одаренный, съ блестящими способностями, которыя поведутъ его далеко, надѣюсь дальше насъ, стариковъ, его настоящихъ наставниковъ. Съ большой образованностью онъ соединяетъ и рѣдкую выдержку, и никогда не задумается отказаться отъ удовольствія ради серьезнаго труда. Я цѣню его какъ добросовѣстнаго работника, люблю какъ ученика, дѣлающаго мнѣ честь, и покровительствую ему какъ сыну, раздѣляя вкусъ моей младшей дочери, которая выбрала его себѣ въ мужья, предпочтя его десятку другихъ соискателей ея руки. Точно такъ же какъ онъ оправдалъ надежды отца, такъ онъ оправдалъ и надежды дочери: онъ уже подарилъ ей двухъ прелестнѣйшихъ малютокъ, которые составляютъ восторгъ и гордость всей нашей семьи.

„Вы видите, любезный Вепринъ, что Аристидъ Роланъ вполнѣ достоинъ своихъ славныхъ предковъ, и какъ общественный дѣятель, и какъ гражданинъ, и какъ мужъ, и даже какъ какой-то древній полубогъ, на котораго, какъ увѣряетъ моя дочь, онъ замѣчательно похожъ. Но такъ какъ я ничего не смыслю въ богахъ древнихъ и новыхъ, то и ставлю здѣсь точку. Дружески

жму вашу руку и прошу засвидѣтельствовать мое почтеніе всему вашему семейству.—Тиссо".

— Ты что-нибудь тутъ понимаешь?—спросила Анна.

— Понимаю.

— Что?

— А то, что я завтра же разыщу Аристида и вызову его на дуэль.

— Ты съ ума сошелъ!

— О чемъ вы такъ горячитесь?—спросила, входя, Александра Ивановна.

— Бабушка, онъ женатъ!

— Ахъ, онъ разбойникъ!.. Саша, тащи его сюда, пусть онъ предъ нами отвѣтъ дастъ!

Въ комнату вошла разгорѣвшаяся Люба.

— Что ты такая сіяющая?—съ досадой воскликнула Александра Ивановна.

— Бабушка, Саша, я уѣзжаю!

— Куда же ты собралась?

— Въ Парижъ!

— Ахъ, мои батюшки, съ кѣмъ?

— Съ Аристидомъ.

— А-а, съ Аристидомъ! Не хочешь ли послушать хорошую сказочку, Саша; почитай-ка.

Люба задрожала.

— Я ѣду съ Аристидомъ,—быстро заговорила она,—потому что люблю его, и онъ меня любитъ, обожаетъ, боготворитъ!

— Да онъ женатъ!—крикнула ей въ лицо Александра Ивановна.

— Знаю,—спокойно возразила Люба.

— Ты понимаешь-ли? У него молодая жена, малолѣтнія дѣти.

— Онъ любитъ меня!

— Неправда! Онъ только хочетъ тебя съ толку сбить, одурачить. Негодяй онъ, хвастунъ, парижскій развратникъ! Да что это вы оба молчите?—обратилась она къ Александру Петровичу и къ Аннѣ, которая, ни жива ни мертва, сидѣла прикованная къ стулу.

— Имъ нечего говорить!—дерзко перебила Люба,—я ни у кого не спрашиваю совѣта или позволенія, за то ни къ кому и не приду потомъ съ жалобами. Я такъ рѣшила, и никто не заставитъ меня перемѣнить рѣшеніе. Со смертью отца прекратилось надо мной право приказаній.

Александръ Петровичъ, видя волненіе сестры, собирался по-

дѣйствовать на нее кротостью, но Анна поднялась со стула въ порывѣ гнѣва.

— Ты забываешься!—закричала она,—ты еще не такъ высоко переросла насъ, чтобы мы до тебя не добрались. Мы укротимъ твое своеволіе!

Люба съ холодной насмѣшкой посмотрѣла на Анну.

— Я иду въ свою комнату, тётя Анна,—сказала она съ удареніемъ:—когда я буду нужна тебѣ, пошли за мной.

И она неторопливо повернулась и медленно удалилась.

— Дайте ей успокоиться; говорить съ ней теперь все равно невозможно,—сказалъ Александръ Петровичъ:—но нужно взяться за Ролана. Я знаю, гдѣ онъ живетъ, и тотчасъ пошлю ему записку. Пусть Люба спокойно пойдетъ завтра на обычное свиданіе, а онъ въ это время будетъ здѣсь. Теперь же, бабушка, Анна,—прошу васъ, не волнуйтесь. Не придавайте этой маленькой непріятности значенія какого-то непоправимаго несчастья. Все объяснится. Если Роланъ не негодяй, то онъ добровольно уѣдетъ. Если же онъ окажется негодяемъ, то я выгоню его вонъ, и мы всѣ тотчасъ же уѣдемъ. Конецъ этого романтическаго приключенія во всякомъ случаѣ будетъ будничный. Люба сперва посердится, а потомъ признаетъ, что мы поступили благоразумно и вполнѣ согласно съ ея интересами.

— Однако, какой безпокойный характеръ,—замѣтила Александра Ивановна,—и жаль ее самое больше всѣхъ.

— Молодо-зелено,—снисходительно отозвался всегда спокойный Александръ Петровичъ,—перемелется мука будетъ.

— Дай-то Богъ, дай Богъ,—недовѣрчиво вздохнула Александра Ивановна.

Стѣны гостиной душили Анну, спертый воздухъ комнаты давилъ ей грудь. Она рвалась на волю, на просторъ, чтобы повѣдать далекому небу о своей безмѣрной скорби, чтобы прожечь своей огненной слезой скалу гранитнаго утеса, чтобы стономъ своимъ заглушить ревъ клубящагося водопада, чтобы прильнуть истерзанной грудью къ груди сырой земли.

И небо, и горы, и лѣсъ, и скалы, въ тотъ вечеръ, видѣли косящуюся тѣнь. Ломая руки, бросалась она на землю, и на колѣняхъ молила кого-то о пощадѣ...

Но все вокругъ сладко дремало въ тишинѣ лѣтней ночи, и только мѣсяцъ, нѣмой свидѣтель всего великаго и жалкаго въ томъ бѣдномъ мірѣ, который онъ долженъ охранять, бросалъ свой мягкій лучъ на блѣдныя черты увядшаго лица.

VII.

Отвѣтивъ поспѣшнымъ согласіемъ на любезное приглашеніе Александра Петровича, Аристидъ явился на слѣдующій день минута въ минуту въ назначенное время. Когда на откликъ хозяина: entrez! онъ отворилъ дверь, въ которую постучалъ, — на порогѣ стоялъ изящный, привѣтливый и совершенно спокойный молодой французъ, съ любезной самоувѣренностью стягивающій свѣтлыя перчатки, чтобы протянуть хозяевамъ свою нарядную руку. Волосы его à la Jésus окаймляли бѣлый, высокій лобъ и, зачесанные на вискахъ за ухо, спускались, красиво изгибаясь вьющимися кольцами, до отложного воротничка ослѣпительной бѣлизны. Его щегольской костюмъ англійскаго туриста, выполненный парижскимъ портнымъ, ловко и граціозно обрисовывалъ его невысокую и некрупную, но пропорціональную фигуру. Золотой pince-nez качался на микроскопическомъ шнурочкѣ и придавалъ особый штрихъ скромной, и какъ бы ступевывающейся наружности Аристида.

Снявъ перчатки и небрежно бросивъ ихъ въ шляпу, онъ съ привѣтливымъ: „здравствуйте, какъ поживаете,“ —поспѣшно пожалъ руку Александру Петровичу, и сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, почтительно отвѣсилъ Аннѣ глубокій поклонъ. Въ гостиной не было больше никого.

Сказавъ нѣсколько общихъ фразъ о здоровьѣ, о погодѣ и о красотѣ швейцарской природы, Аристидъ самъ вызвался на объясненіе.

— Я получилъ вашу записку, mon cher Вепринъ,—сказалъ онъ,—и прибѣжалъ узнать, чѣмъ могу служить вамъ?

— Вопросъ довольно щекотливый, — отозвался Александръ Петровичъ,—и можетъ быть, вы догадываетесь въ чемъ дѣло?

— Можетъ быть,—невозмутимо возразилъ Аристидъ и пріятно улыбнулся; — но такъ какъ я здѣсь, то будетъ гораздо удобнѣе разсуждать на основаніи положительныхъ данныхъ, нежели теряться въ догадкахъ.

— Съ удовольствіемъ,—отозвался Александръ Петровичъ:— дѣло въ томъ, что моя младшая сестра влюбилась въ васъ, какъ влюбляются въ ея годы, т.-е. необдуманно и неразумно. Вамъ это извѣстно, mon cher Rolan?

— Къ сожалѣнію, да,—возразилъ онъ задумчиво.

— Вы женаты, не правда ли?—вмѣшалась Анна.

— Совершенно вѣрно. Я женатъ на младшей дочери профессора Тиссо.

— Намъ это извѣстно.

— А-а,—тѣмъ лучше.

— Но намъ тоже извѣстно, что вы провели теперь въ Val St. Roche около трехъ недѣль, и каждый день встрѣчались съ моей сестрой.

— Я пріѣхалъ въ Val St. Roche чтобы подышать горнымъ воздухомъ,—отозвался Роланъ:—я очень много работалъ послѣднюю зиму, и мои близкіе боялись, чтобы усталость не отразилась неблагопріятно на моемъ организмѣ. Однажды, бродя по здѣшнимъ окрестностямъ, это было въ одинъ изъ первыхъ дней моего пріѣзда, — я имѣлъ удовольствіе встрѣтить m-lle Aimée, и я счастливъ, что судьба послала меня ей на выручку...

— Какъ? Что?—въ одинъ голосъ воскликнули Анна и Александръ Петровичъ.

— За поворотомъ вонъ той горы, — указалъ Роланъ въ окно, — есть обрывъ надъ глубокимъ ущельемъ. M-lle Aimée стояла надъ этимъ обрывомъ. Когда я увидѣлъ ее одну, въ этой дикой мѣстности, я былъ пораженъ невольнымъ предчувствіемъ чего-то недобраго, и дѣйствительно предчувствіе мое оправдалось... Извините, mon cher Вепринъ, но сестра ваша, при всемъ богатствѣ и привлекательности своей натуры, дѣвица довольно странная...

— Но что же, что же было?—торопила Анна.

— M-lle Aimée рванулась къ пропасти, и я самъ не могу отдать себѣ отчета, какъ я успѣлъ схватить ее! Да, ваша сестра была въ объятіяхъ, но это были объятія не любви, а спасенья, и она вышла изъ нихъ такъ же чиста, какъ упала въ нихъ!

Роланъ говорилъ съ гордостью человѣка сознающаго, что сдѣлалъ такой поступокъ, за который собесѣдники непремѣнно должны быть ему благодарны.

Александръ Петровичъ протянулъ ему руку. Анна, припоминая суровую печаль Любы до извѣстнаго вечера, когда она вернулась вся сіяющая, безъ труда повѣрила Аристиду. Собесѣдники съ жаромъ поблагодарили спасителя.

— Это маленькое событіе,—продолжалъ Аристидъ,—невольно способствовало тому, чтобы между нами установилась нѣкоторая короткость. Мы встрѣчались каждый день, или почти каждый день. Много разъ говорилъ я m-lle Aimée, что очень желалъ бы засвидѣтельствовать свое почтеніе ея семейству, которое такъ великодушно наградило меня за мои посильные труды во время

болѣзни этого необыкновеннаго, геніальнаго страдальца; но m-lle Aimée никакъ не пускала меня сюда, вѣроятно, боясь, что я выдамъ ее—что я, впрочемъ, тотчасъ и сдѣлалъ, считая ея поступокъ совершенно непохвальнымъ. Много разъ обѣщалъ я m-lle Aimée, что не выдамъ ея тайны, но она входила въ такое раздражительное состояніе, что, какъ докторъ, я счелъ болѣе благоразумнымъ не противорѣчить ей. Такъ и вышло, что въ вашихъ глазахъ, мы какъ будто видались тайкомъ. Но съ моей стороны не было желанья таить наши встрѣчи. И повѣрьте,—и Аристидъ приложилъ руку къ сердцу, — что ни въ большомъ городѣ, ни въ людномъ мѣстѣ, я не позволилъ бы себѣ такого маленькаго отступленья отъ установленныхъ приличій; но здѣсь, въ этой глуши, мы ни разу никого не встрѣтили. Репутація m-lle Aimée никакъ не могла пострадать. Теперь же время моего отпуска кончено—я долженъ ѣхать завтра или послѣ завтра.

— Вы уѣзжаете?

— Къ сожалѣнью, да. Мнѣ необходимо вернуться къ моимъ занятіямъ.

— Вы такъ любезно отнеслись къ нашему приглашенію и такъ дружески объяснили намъ при какихъ обстоятельствахъ вы встрѣтились съ Aimée...

— Это была моя обязанность,—и Роланъ поклонился.

— ...Что я хотѣлъ бы еще попросить васъ сказать намъ, въ какомъ душевномъ настроеніи нашли вы сестру?

Роланъ сосредоточенно подумалъ, прежде чѣмъ высказалъ свое сужденіе.

— Отвѣчу вамъ и какъ другъ, и какъ ученый, — наконецъ, отозвался онъ:—сестра ваша переживаетъ одинъ изъ тѣхъ душевныхъ кризисовъ, которые всегда неразлучны съ какимъ-нибудь сильнымъ потрясеніемъ. Нужно полагать, что потеря отца или можетъ быть какое-нибудь другое неожиданное душевное потрясеніе вызвало и пробудило въ m-lle Aimée такія мысли и чувства, которыя до сей поры вовсе не тревожили ее.

„Письма, письма!“—думала Анна, замирая отъ горя.

— Къ сожалѣнью, — продолжалъ Аристидъ, — m-lle Aimée не была со мною настолько откровенна, чтобы ввести меня во всѣ тайны своихъ размышленій. Рѣчи ея, всегда интересныя, въ то же время часто бывали противорѣчивы. Я очень заинтересовался ею, всѣмъ оригинальнымъ складомъ ея симпатичнаго существа и ея необычайной своеобразностью, за что и приношу теперь повинную голову.

И онъ наклонилъ свою благоухающую голову, какъ будто ожидая кары.

— Вы заинтересовались ею, какъ медикъ?—спросилъ Александръ Петровичъ.

— Какъ психологъ,—поправилъ Аристидъ:—психологическія наблюденья — моя слабость, или какъ увѣряетъ мой тесть свою дочь — моя сила. Но пока эта сила только en herbe, и они остаются моей слабостью. Встрѣчаясь съ людьми, я невольно разбираю ихъ душевные порывы, вникаю въ самый тайникъ ихъ побужденій и наблюдаю ихъ инстинктивныя влеченья. Потомъ я провожу параллель между словомъ и дѣломъ, и стараюсь докапываться до самыхъ сокровеннѣйшихъ думъ ихъ. Въ этомъ отношеніи сестра ваша давала мнѣ самый богатый и, скажу, даже неизсякаемый матеріалъ.

— Къ сожалѣнью, сестра, кажется, совершенно не поняла вашего отношенья къ ней, и къ несчастью поддалась иному чувству,—сказалъ Александръ Петровичъ.

— Будто это можно считать большимъ несчастьемъ? — съ улыбкой спросилъ Аристидъ,—въ годы m-lle Aimée натурально любить, и еслибы она ни въ кого не влюбилась, она была бы ненормальнымъ исключеньемъ изъ общаго правила. Въ ея годы, mon cher Вепринъ, мы любимъ для любви. Лицо имѣетъ тутъ очень мало значенья. Мы любимъ не лицо, а наше волненье, замиранье нашего сердца, сладость нашихъ ощущеній. Мы должны же начать съ кого-нибудь, когда сама природа насъ на это наталкиваетъ. Когда для m-lle Aimée настала пора полюбить — то случайно подвернулся я. Еслибы она въ то время встрѣтила не меня, а коронованную особу, или простого пастуха, то она все же полюбила бы каждаго изъ нихъ безразлично, по той простой причинѣ, что „психологическій моментъ“ для нея насталъ.

— Вы очень скромны, mon cher Rolan, — отозвался Александръ Петровичъ: — вы обладаете всѣми качествами, чтобы обворожить дѣвушку.

Роланъ поклонился.

— Благодарю за комплиментъ,—сказалъ онъ, видимо польщенный.

— Но я боюсь, что самая привлекательность избраннаго субъекта будетъ препятствіемъ для моей воспріимчивой и вмѣстѣ съ тѣмъ упрямой сестренки, примириться съ его неизбѣжной утратой. Чѣмъ дольше она будетъ видѣть васъ, тѣмъ больше увлеченье ея будетъ рости...

„Слава Богу, вывезло! — воскликнулъ онъ внутренно, усаживаясь въ удобный уголокъ вагона перваго класса: — что бы я теперь дѣлалъ съ этой дикаркой на плечахъ“!

VIII.

Аристидъ былъ уже на много десятковъ верстъ разстоянья отъ Любы, а она все еще ожидала его на мѣстѣ условленнаго свиданья. Сперва она недоумѣвала, почему онъ такъ долго не приходитъ, и соображала, какая причина могла бы задержать его? Потомъ она стала безпокоиться, не случилось ли съ нимъ какого нибудь несчастья. Самыя невѣроятныя предположенья приходили ей въ голову. То ей казалось, что онъ внезапно тяжело заболѣлъ, то, что онъ оступился по дорогѣ и упалъ въ пропасть. Страшно становилось ей, что онъ лежитъ теперь гдѣ-нибудь изувѣченный. Она обѣгала ближайшую окрестность, громко зовя Аристида, но только эхо отдавало ей ея же зовъ съ той насмѣшливой ноткой, съ какою обыкновенно звучитъ эхо Швейцаріи. Каждую минуту ея тревога все усиливалась и усиливалась, но все же проходили часы, и она не рѣшалась покинуть завѣтнаго мѣста, боясь, что Аристидъ придетъ именно тогда, когда она только-что удалится. Наконецъ, она не могла больше ждать и мучиться неизвѣстностью, и побѣжала въ мѣстечко, гдѣ онъ жилъ. Нетерпѣнье живо донесло ее до желанной цѣли.

— Г-нъ Роланъ здѣсь? — спросила она, входя въ сѣни чистенькаго домика.

— Онъ только-что уѣхалъ,—былъ отвѣтъ хозяйки.

— Уѣхалъ! куда?

— Должно быть домой, въ Парижъ.

— Какъ!

— Да, въ Парижъ, къ себѣ домой, въ Парижъ, — внушительно повторяла хозяйка.

— Можетъ быть, онъ получилъ какія-нибудь непріятныя извѣстья?

— Можетъ быть. Вчера ему было прислано письмо съ нарочнымъ изъ верхняго шалэ.

— И онъ ѣздилъ туда?

— Какъ же; ѣздилъ въ два часа и оставался тамъ до четырехъ. А потомъ вернулся и тотчасъ же собрался и уѣхалъ.

Ноги Любы подкосились, она присѣла на скамейку. Гнѣвъ какъ огонь, охватилъ ее, и въ глазахъ ея потемнѣло. Къ счасть

въ ней еще сохранилось настолько сознанья дѣйствительности, что она могла побороть себя.

— Онъ не оставилъ никакого письма? — спросила она едва слышно.

— Какъ же, письмо онъ передалъ мнѣ и велѣлъ тотчасъ же послать его съ Жакомъ.

— Гдѣ оно?

— Жакъ уже понесъ его въ верхнее шалэ.

— Но онъ былъ здоровъ, веселъ, вообще уѣзжалъ охотно?

— M-lle можетъ быть совершенно спокойна: молодой господинъ былъ здоровъ и веселъ. Передъ отъѣздомъ въ шалэ, — онъ ѣздилъ верхомъ на Гильомъ-Телѣ, — онъ позавтракалъ съ большимъ аппетитомъ, а когда вернулся, выпилъ двѣ чашки кофе съ сухарями. Уѣзжая, онъ еще подшутилъ надъ фасономъ нашего кабріолета и подарилъ Маріаннѣ золотой, сказавъ, что это ей, съ его легкой руки, на приданое.

— И больше ничего?

— Ничего. M-lle можетъ быть совершенно спокойна,—повторила хозяйка:—m-r былъ здоровъ и видимо доволенъ, однимъ словомъ, въ наилучшемъ расположеніи духа.

Люба поблагодарила хозяйку и ушла. Цѣлый часъ ходьбы раздѣлялъ ее отъ письма, которое должно было разъяснить ей непостижимую загадку. Она только сознавала, что произошло что-то такое, чему дала инициативу ея мать, та самая Анна, которая старалась увѣрить ее лаской и лестью въ своей безпредѣльной любви. Любить и желать нанести любимому существу горе! Оставить его три часа терзаться среди ужаснаго безпокойства и неизвѣстности — и это называется материнской любовью! Разгадать сокровенные помыслы дочери, дойти до правдоподобныхъ выводовъ и въ надеждѣ, что ударъ попадетъ въ прицѣленное мѣсто, ударить безъ смысла, безъ толку, для того только, чтобы почувствовалась боль—это называется материнскимъ охраненьемъ отъ зла.

„Его принудили уѣхать! Угрозами заставили покориться. Бѣдный, бѣдный Аристидъ! Онъ изнываетъ теперь отъ отчаянія“... —и слезы ручьемъ потекли по разгорѣвшимся щекамъ Любы: — переживетъ ли онъ этотъ ударъ? Онъ вѣрно заболѣетъ, можетъ быть, умретъ“...

И она спотыкалась, не видя дороги сквозь льющіяся слезы. И ей также хотѣлось умереть, пресѣчь эту ужасную жизнь, безъ радости, безъ цѣли, безъ счастья... И бурнымъ потокомъ подни-

малась опять со дна ея смягчившейся было души непримиримая вражда и слѣпая ненависть къ Аннѣ.

— Это все она, она,—твердила Люба, грозя пальцемъ,—это все ея штуки. Никому другому и въ голову не придетъ такое утонченное тиранство!.. Но и я ей не уступлю... нѣтъ!.. Теперь ужъ не ягненка будетъ она тихонько придушивать... Теперь она царапнула такую же волчицу!.. А-а, она дерзнула отнять у меня мою любовь, которую я сама свободно избрала себѣ! Она хотѣла сломать по своему всю мою жизнь, отнять у меня мое счастье, но я-то тоже могу имѣть свое чувство... Посчитаемся!

Усиліемъ воли Люба принудила себя быть по наружности спокойною. Она вошла въ гостиную суровая, но не бушующая.

— Гдѣ письмо?—спросила она Анну въ упоръ.

— Ты уже знаешь...

— О томъ, что Аристиду было приказано уѣхать?—знаю.

— Ему никто и не думалъ приказывать уѣхать,—начала Анна, но Люба не дала ей продолжать.

— Я увижу это изъ письма,—сказала она и сорвала конвертъ. Когда она прочла учтивую записку, она вся задрожала и зубы ея застучали.

— Отдаю Кесарево Кесарю, — сказала она, бросивъ письмо Аннѣ на колѣни, и нервно расхохоталась.

— Въ умѣ ли ты, Люба, послушай...

— Я слушать ничего не хочу! Ты продиктовала это письмо —оно твое! Возьми его, спрячь въ шкатулочку; — сорвавъ съ косы ленту, она бросила ее тоже на колѣни матери,—и перевяжи ленточкой, только жаль—черная!..

Анна истерически зарыдала. Нѣмые свидѣтели этой сцены ничего въ ней не поняли, и приписали ее капризнымъ и своевольнымъ порывамъ Любы.

— Какъ тебѣ не стыдно, — съ негодованьемъ воскликнула Ольга,—ты точно дикая, въ тебѣ нѣтъ ни сердца, ни разума!

— Да, вотъ подите же, какое я въ самомъ дѣлѣ чудовище! —иронически дразнила Люба:—кажется, все дѣлается для моего блага; даже человѣкъ, котораго я люблю, выгоняется для моего блага, а я, негодная, смѣю не приходить въ умиленіе и не проливать слезъ признательности!

Анна продолжала истерически рыдать. Люба подошла къ ней.

— Зачѣмъ ты это сдѣлала?—спросила она настойчиво.

— Иди въ свою комнату! — повелительно приказалъ Любѣ Александръ Петровичъ,—безумная и безсовѣстная дѣвочка! Всякому терпѣнью есть конецъ, и наше терпѣнье теперь лопнуло!

Онъ сильно стиснулъ ея руку и быстро увлекъ ее къ двери.

— Пусти меня,—тихо сказала Люба брату:—я уйду добровольно.

Слезы обильно полились изъ ея глазъ. Она нервно схватила только-что причинившую ей боль руку и горячо прижала ее къ губамъ.

— Васъ я люблю, — сказала она, окинувъ взглядомъ всѣхъ Веприныхъ:—и мнѣ жаль, что между вами попалась такая... такая...

Она не докончила. Слезы задушили ее, и она убѣжала въ свою комнату.

Было далеко за полночь. Въ домѣ все стихло. Обитатели многолюднаго шалэ, утомленные горнымъ воздухомъ и прогулками въ горы, предались спокойному сну.

Веприны долго просидѣли въ тотъ вечеръ, разсуждая, что имъ дѣлать съ непокорнымъ нравомъ Любы, и кто изъ нихъ или изъ ихъ друзей могъ бы имѣть на нее хорошее вліяніе. Но оказалось, что такого лица не было, и послѣ долгаго совѣщанья, все же не нашлось ничего другого какъ перемѣнить обстановку. Весь вечеръ дожидались ея появленья, но она оставалась въ своей комнатѣ.

Тысячи проектовъ одинъ другого невозможнѣе, непрактичнѣе и нелѣпѣе, долго не давали ей успокоиться. Въ сильномъ волненіи ходила она изъ угла въ уголъ, и не разъ съ угрозой смотрѣла на дверь въ комнату Анны. Наконецъ, она бросилась на постель и, сама того не замѣчая, крѣпко уснула. Сперва безпорядочныя видѣнья томили ее, но потомъ сонъ ея сталъ ровнѣе и ровнѣе, и видѣнья любви, счастья, стали то прилетать, то отлетать въ ея юношескомъ снѣ. Образъ Аристида, плѣнительный и порывистый, непрестанно мелькалъ въ ея чудесныхъ грезахъ. Безпечная и полная жизненныхъ силъ молодость сказалась въ сладкомъ снѣ Любы, а за дверью, на полу, приложась ухомъ къ скважинѣ, сидѣла Анна. Руки ея судорожно обвивали колѣни. Тишина непарушимая царила въ комнатѣ и наводила на Анну томящій, паническій страхъ. Эта глубокая тишина казалась ей предвѣстницей смерти; и только время отъ времени, она вдругъ содрогалась отъ внезапнаго треска половицы или отъ скрипа хлопнувшаго гдѣ-нибудь окна. Секунда ужаса проходила, и опять все погружалось въ мертвое безмолвіе.

Послѣ долгой пытки Анна вскочила и повернула ручку двери, ведущей къ Любѣ. Но дверь была замкнута. Анна слабо постучала — отвѣта не было.

— Люба, Люба, отвори!—закричала Анна, позабывъ все на

свѣтѣ, кромѣ своего всеобъемлющаго страха,—молю тебя, отвори! Люба! Люба!

Одинъ изъ такихъ молящихъ зововъ пробудилъ Любу. Она вскочила.

— Что случилось?—спросила она, быстро распахнувъ дверь: — Аристидъ пріѣхалъ?

Увы, Аристидъ въ то время уже давно переѣхалъ границу!

— Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ; мнѣ показалось, что ты зовешь меня,—заискивающимъ голосомъ сказала Анна.

— Я спала, — отвѣтила Люба равнодушно, — и еще хочу спать. Прощай.

И она снова бросилась на кровать.

— Ты не раздѣнешься?

— Нѣтъ.

— Я могла бы помочь тебѣ раздѣться, если ты очень устала?

— Мегсі, я не ребенокъ, и могла бы раздѣться сама. Да я и не устала:—воскликнула Люба, садясь на кровать,—ты пришла ко мнѣ, думая, что я звала тебя—останься; объяснимся.

Анна выпрямилась.

— Я не обязана давать тебѣ отчета ни въ чемъ, слышишь, ни въ чемъ, — сказала она съ гнѣвной дрожью въ голосѣ.

— Извини, я съ тобой несогласна,—отозвалась Люба рѣшительно: — разъ, что ты не съумѣла скрыть отъ меня тайны, которая клеймитъ насъ обѣихъ - тебя—какъ преступную мать,—меня — какъ незаконную дочь...

— Ты не смѣешь попрекать меня, я оградила тебя отъ людскихъ нареканій!

— Укравъ для меня у умирающей доброе имя! Ты бросила меня на колѣни той, которую ты отрѣзала и отчуждила отъ всѣхъ близкихъ...

— Люба, ты лжешь!

— Значитъ и письма умирающей лгутъ!

— Ты украла у меня эти письма!

Люба окинула Анну взглядомъ безконечнаго презрѣнья.

— Да, —сказала она,—украла. Ну и что-жъ?

— Это низко!—задыхаясь отъ волненья, произнесла Анна.

Люба ничего не возразила. Она зажгла двѣ свѣчи и поставила ихъ на туалетъ предъ зеркаломъ. Потомъ она взяла Анну за руку.

— Смотри, — сказала она, указывая на зеркало,—разгляди хорошенько эти два лица. Одно уже пережило бури жизни и увяло въ злой и жестокой борьбѣ. Другое еще пока свѣжо и

молодо. Морщины злобы еще не исказили его, но въ немъ всѣ черты отжившаго лица. Вглядись, вглядись!

И дѣйствительно оба лица были схожи; хотя юное лицо и было еще полно мягкости и свѣжести, но и въ немъ чуялись тѣ же складки, которыя уже обезобразили отжившее.

— Что ты на это скажешь?—продолжала Люба и улыбнулась, причемъ выставились ея впередъ стремящіеся зубы:—помнишь, когда я была маленькая, какъ ты мучила меня, чтобы сгладить это сходство?—и она указала на зубы:—помнишь, какъ долго я носила аппаратъ, стискивавшій мнѣ всю челюсть, и какъ я плакала, когда мнѣ хотѣли насильно вдавить во внутрь эту выдающуюся черту нашей тождественности!

— Рѣчь не о томъ,—раздраженно сказала Анна:—ты сдѣлала противъ меня поступокъ низкій, ничѣмъ неизвиняемый и неоправдываемый, ты украла у меня мою тайну...

— А ты не украла ее у мамы!—воскликнула Люба, по привычкѣ назвавъ Вѣру Андреевну „мамой“:—твоя тайна ея несчастье, ея мученья, ея смерть! Да, да, ты довела ее до смерти! ты... ты... моя мать!

— Молчи, безумная!..—и Анна крѣпко стиснула руку Любы, но Люба вырвалась.

— Да, я безумная,—и она схватилась за голову:—я обезумѣла отъ горя и отчаянія!.. Я не хочу, я не хочу быть твоей дочерью!

Анной овладѣла ярость. Ее уязвила родная дочь, и въ ней пробудилась прежняя Анна.

— Проклятая!—прошипѣла она, злобно сверкая глазами на Любу.

Но Люба стояла, скрестивъ руки и улыбаясь.

— Твое проклятіе для меня благословенье!—дерзко сказала она и повернулась къ матери спиной.

Анна схватила ее за плечи и снова повернула къ себѣ лицомъ.

— Послушай,—сказала она:—я даю тебѣ два дня на размышленье—ты или будешь вести себя по-человѣчески, или ступай вонъ...

— Я и уйду. Я уже рѣшила!

— Кто тебя пустить!

— Уйду, вотъ и все.

— Но я заставлю тебя вернуться. Ты можешь быть очень умна, но меня ты еще не раскусила! До сихъ поръ я все дѣлала добромъ, но теперь ты почувствуешь мою руку.

Люба пожала плечами.

— Пустяки,—сказала она:—ты ничего не сдѣлаешь мнѣ, я ограждy себя.

— Чѣмъ?

— Смертью.

Анна иронически улыбнулась.

— Какимъ оружіемъ желаешь ты поразить себя?—спросила она.

— Какое будетъ подъ рукой. Для меня всякое годится, лишь бы привело къ желанной цѣли...

— То-есть?

— Къ тому, чтобъ смерть легла между нами роковой чертой. Это было бы для меня избавленьемъ, а для тебя наказаньемъ—и правда хоть одинъ разъ восторжествовала бы на землѣ!

Люба замолчала; на лбу ея образовалась глубокая складка, и легла на него такая мрачная тѣнь, что сердце Анны оборвалось. Что-то подсказало ей, что въ твердыхъ словахъ ребенка звучитъ правдивая угроза. Анна жалобно застонала и бросилась къ ногамъ дочери. И стояло надъ ней ея собственное дитя, и неумолимый приговоръ читался въ ея юныхъ, напряженныхъ чертахъ.

— Дитя мое,—порывисто шептала Анна:—я можетъ быть виновна, можетъ быть, даже преступна, но я всегда была для тебя родной матерью!

— Ты отняла у меня счастье, прогнавъ Аристида!

— Вѣдь онъ женатъ!—и закрывъ лицо, Анна истерически рыдала.

— Такъ что жъ! папа тоже былъ женатъ? Это у насъ въ крови—мы хищницы! Наше счастье должно идти рядомъ съ чьимъ-нибудь горемъ!

— Ты не была бы счастлива, какъ я не была счастлива...

— Но я хочу любви!.. хочу быть съ тѣмъ, кого люблю, видѣть его, слышать, цѣловать! Я хочу, наконецъ, страсти, да, да, страсти...

— Ты сама не понимаешь, что говоришь!

— Нѣтъ, понимаю! Я знаю, что ты прогнала человѣка, котораго я люблю. А до свѣта мнѣ дѣла нѣтъ—пусть всѣ указываютъ на меня пальцемъ! Что мнѣ за дѣло до приличій и законовъ свѣта! Я внѣ закона, и ловлю счастье тамъ, гдѣ оно мнѣ дается! Моя любовь—вотъ мой законъ. Я буду жить какъ мнѣ хочется или совсѣмъ жить не буду!

— Пощади... пощади...—молила Анна.

Люба задумалась.

— Хорошо, я пощажу тебя,—наконецъ сказала она:—встань; къ чему валяться на полу! Встань и выслушай меня.

Анна встала, разбитая, сломленная. Она чувствовала, что это ея послѣдняя борьба, но самая жестокая, смертельная. Послѣ подобныхъ ударовъ, все въ человѣкѣ разбивается, и ему невозможно больше оправиться.

Люба стала противъ матери и опираясь руками о столъ спокойно сказала.

— Я пощажу тебя, если и ты пощадишь меня. Ты прогнала Аристида, злой духъ твой нашепталъ тебѣ, что счастья мнѣ давать не надо. Но я преклоняюсь передъ Аристидомъ, онъ мой кумиръ, мой богъ. Ничто въ жизни, кромѣ него, не дорого, и не мило мнѣ. Я хочу жить съ нимъ или умереть. Ты прогнала его; верни его.

— Но онъ тебя совсѣмъ не любитъ!—въ отчаяніи воскликнула Анна.

— Неправда, онъ обожаетъ меня! — запальчиво закричала Люба.

— Еслибы онъ любилъ, онъ бы не уѣхалъ!

— Развѣ онъ могъ остаться, когда вы съ ножемъ къ горлу пристали къ нему!

— Мы тутъ не причемъ, — тоже запальчиво воскликнула Анна:—знаешь ли ты какъ онъ относится къ тебѣ?

— Какъ, говори!

— Онъ дѣлаетъ надъ тобой наблюденья, какъ надъ съумасшедшей.

— Онъ это говорилъ!

— Говорилъ.

Люба сдѣлала порывистый жестъ, и обѣ замолчали. Люба первая нарушила молчаніе.

— Я должна узнать, правду ли ты говоришь,—сказала она:—но для этого мнѣ нужно лично увидѣть Аристида. Только услышавъ эти слова изъ его устъ, я повѣрю, что онъ сказалъ ихъ. Потому я остаюсь при своемъ: ты прогнала его—верни его. У насъ теперь среда—я буду ждать до воскресенья. Въ воскресенье къ вечеру я пойду на мѣсто нашихъ встрѣчъ...

— Или позоръ, или смерть,—глухо простонала Анна.

— Или любовь, или забвенье—поправила Люба и снова легла на кровать.

Анна долго сидѣла молча.

— Аристидъ вернется,—наконецъ, сказала она.

— Не нужно было прогонять его,—замѣтила Люба.

— Онъ вернется, но мать свою ты убьешь...

Люба привстала, опираясь на локоть.

— Въ жизни твоей было уже столько испытаній,—небрежно сказала она,—что эта непріятность не прибавитъ особеннаго горя...

— Каменная! — воскликнула Анна, — неужели въ сердцѣ твоемъ нѣтъ ни искры жалости!

— Верни Аристида,—настаивала Люба.

Странно повторялась въ дочери слѣпая любовь матери. Какъ нѣкогда Анна слѣпо любила Петра Николаевича, такъ точно Люба увлекалась теперь Аристидомъ. Но дочь превзошла мать. Взросшая по волѣ своего каприза, она не имѣла никакой нравственной опоры. Эгоистическая причудливость, минутная прихоть, наталкивающаяся на противорѣчіе, принимали въ ней чудовищные размѣры. Отказъ въ удовлетвореніи ея фантазіи подымалъ со дна ея души всѣ мелкіе, упрямые и жестокіе порывы.

Она глядѣла какъ ледяная на рыдающую мать.

— Любовь или смерть, — еще разъ холодно повторила она, повернулась, зѣвнула и закрыла глаза.

Нѣсколько минутъ медлила Анна уходомъ. Когда она наконецъ подошла къ Любѣ, чтобы проститься, Люба спала или притворялась спящей. Юное лицо ея разгорѣлось, покой отражался въ нѣжныхъ чертахъ; длинныя, темныя рѣсницы падали богатой опушкой на кожу прозрачной бѣлизны, и густыя русыя косы, какъ змѣйки, капризно обвивались около стана.

Анна схватила ее въ свои объятія, и покрывая поцѣлуями ея лицо и руки, въ изступленіи повторяла:

— Ты будешь жить! ты будешь жить!

IX.

Анна не могла дождаться утра, чтобы самой отвезти на ближайшую станцію умоляющую телеграмму Аристиду. Всю ночь она провела точно въ бреду, подъ страхомъ холодной угрозы дочери. Она была готова заранѣе все принять отъ нея, все извинить ей, лишь бы она осталась жива; лишь бы она сознавала, что дитя, стоившее ей столько слезъ, страданій, борьбы и угрызеній, наслаждается жизнью. Анна готова была простить ей все: легкомысліе, заблужденье, даже паденье. Еслибы Люба бросила на вѣтеръ свое доброе имя, и доброе имя своихъ нареченныхъ

сестеръ, то и тогда Анна приняла бы ее, падшую, въ свои объятія и согрѣла бы ее силой своей всепрощающей любви.

Но видѣть ее мертвую, видѣть это огненное созданіе оледенѣлымъ, эти юныя, подвижныя черты искаженными, эту пышащую свѣжестью наружность—подернутою синевой смерти; видѣть Любу заколоченную въ тѣсный гробъ...

„Лишь бы только онъ пріѣхалъ", — безпокойно твердила Анна, осаждаемая все одними и тѣми же грозными видѣньями.

Никто изъ Вепринхъ и не подозрѣвалъ о чудовищномъ поединкѣ, который разыгрывался между Анной и Любой. Мать была по обыкновенію задумчива и печальна, дочь вышла гулять немножко раньше и вернулась немножко позже обыкновеннаго—вотъ и все. Люба терпѣливо выжидала рѣшительнаго дня, того дня, который докажетъ Аннѣ, какъ искренно и пылко любитъ ее Аристидъ. Она ни минуты не сомнѣвалась въ его любви; напротивъ, она опиралась на нее какъ на каменную гору, и строила на ней все свое будущее.

Неумолимые дни, между тѣмъ, проходили, и канунъ рокового дня наступилъ свѣтлый и тихій. Вечеръ былъ замѣчательный, и Вепринымъ жаль было оставаться въ комнатѣ въ такую благодатную пору. Все семейство расположилось въ саду.

Люба долго смотрѣла на выходившія все ярче и ярче звѣзды.

— Посмотри, Оля, какая звѣзда, — сказала она:—вотъ та, около самой верхушки сосны... ахъ!...

Звѣзда упала, промелькнувъ на небѣ искрой.

Люба понурила голову. Остальные продолжали разговаривать и смѣяться, не обративъ на этотъ маленькій случай никакого вниманія. Когда разговоръ прервался и настала минута общаго молчанія, какъ это иногда бываетъ, Люба тихимъ голосомъ сказала:

— Я имѣю сообщить вамъ нѣчто для меня очень важное.

Она остановилась и подумала:

— Завтра будетъ рѣшительный день въ моей жизни,—наконецъ проговорила она.

— Любочка, что опять случилось! — тревожно воскликнула Александра Ивановна.

— Завтра, можетъ быть, я оставлю васъ навсегда...

— Люба, милая Люба!

— Я ожидаю Аристида, если онъ пріѣдетъ за мной, то я уѣду съ нимъ въ Парижъ. Онъ женатъ, но я все же уѣду съ нимъ... Тетя Анна, ты, которая пожертвовала для меня всею своею жизнью, пожертвуешь и своимъ именемъ—въ Парижѣ я буду на-

зывать себя m-lle Погорѣловой. Честь нашего имени будетъ ограждена.

— Ты окончательно рехнулась! — съ гнѣвомъ воскликнула Александра Ивановна.

— Оставьте, бабушка, дайте Любѣ высказаться, — съ волненьемъ прервалъ старуху Александръ Петровичъ.

— Ей и то слишкомъ много говорить позволяютъ, вотъ она и договорилась до чертиковъ!

— Все же, бабушка, пожалуйста оставьте.

— Если Аристидъ не пріѣдетъ—спокойно продолжала Люба,— то я все же исчезну.

— То есть какъ это „исчезну"?—переспросилъ ее Александръ Петровичъ,—убѣжишь, что ли!

— Увижу, какъ мнѣ будетъ удобнѣе, но здѣсь я не останусь.

Начались убѣжденья, просьбы, негодованье. Много горькихъ истинъ пришлось Любѣ выслушать, много упрековъ, вполнѣ заслуженныхъ, досталось на ея долю. Сестры ея плакали; братъ то просилъ, то сердился; Александра Ивановна, въ сильномъ негодованіи, говорила ей жестокую правду, и только Анна сидѣла молча, прикованная страхомъ, что дочь выдастъ ея тайну и въ порывѣ гнѣва броситъ въ лицо взволнованной и негодующей роднѣ роковыя письма. Но Люба молчала, покорно принимая и укоризны, и убѣжденія. Когда же запасъ и того, и другого, истощился, и потухающіе огни возвѣстили о поздней порѣ, то Люба всѣхъ перецѣловала и такою же непоколебимою удалилась къ себѣ.

— Ужъ не призвать ли въ самомъ дѣлѣ доктора по душевнымъ болѣзнямъ?—съ безпокойствомъ замѣтила Александра Ивановна.

— Конечно, можно было бы обратиться къ хорошему спеціалисту,—сказалъ Александръ Петровичъ больше для того, чтобы успокоить Александру Ивановну на сонъ грядущій: — мы рѣшимъ это окончательно завтра утромъ. Люба не помѣшаетъ намъ, она, вѣроятно, уйдетъ гулять.

— Но она можетъ быть уйдетъ и совсѣмъ больше не вернется!—съ испугомъ воскликнула Ольга.

— Не такъ скоро дѣло дѣлается, какъ сказка сказывается!— успокоительно замѣтилъ Александръ Петровичъ.

Такъ онъ говорилъ, но онъ далеко не былъ спокоенъ, какъ ему хотѣлось казаться. Онъ былъ озабоченъ, и всѣ остальные разошлись озабоченные.

— Что все это означаетъ? что подъ всѣмъ этимъ скрывается?—обратился онъ къ Аннѣ, когда они остались вдвоемъ.

— Люба поставила мнѣ ультиматумъ,—нерѣшительно начала Анна.

— Вѣдь это безобразно: дѣвчонка, почти ребенокъ, и ставитъ тебѣ ультиматумъ!—воскликнулъ Александръ Петровичъ. Ты въ концѣ избаловала намъ ее, и теперь, Анна, ты отвѣтишь за ея гибель! Вѣдь она идетъ къ гибели, подумай ты это! Сколько разъ мы всѣ убѣждали тебя не курить ей фиміама, не поддакивать ея капризамъ, не давать ей забываться. Вотъ теперь и ягодки изъ цвѣточковъ—полюбуйся!

Анна слушала молча.

— Въ Любѣ нѣтъ ничего, кромѣ самопоклоненія и самообожанія, и ничто другое ей не интересно и не привлекательно. Я и не говорю уже о чувствѣ какого-нибудь долга или обязанности относительно другихъ; такія „пошлости“ совсѣмъ и не признаетъ ея высокій умъ; но она деревянная, въ ней нѣтъ сердца, это какой-то автоматъ, трупъ ходячій...

Стонъ вырвался изъ груди Анны.

— Молчи, молчи!—закричала она какъ-то дико и бросилась къ Александру Петровичу:—завтра долженъ пріѣхать Роланъ,—быстро заговорила она,—дай договорить!.. Я, я сама послала ему депешу, прося отвѣта. Отвѣта нѣтъ, ни третьяго дня, ни вчера, ни сегодня—нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

— Ты телеграфировала Ролану, послѣ того какъ мы сами...

— Да, да, я должна была это сдѣлать... разсуждать и объяснять теперь не время...

— Развѣ онъ обольстилъ сестру? — гнѣвно воскликнулъ Александръ Петровичъ.

— Нѣтъ, Боже упаси, нѣтъ! Но онъ долженъ пріѣхать завтра въ три часа, съ экспрессомъ изъ Парижа. Умоляю тебя съѣзди на поѣздъ.

— Чтобъ встрѣтить его, а дальше?

— Встрѣть его и пріѣзжай сказать, что онъ пріѣхалъ.

Заложивъ руки въ карманы пиджака, Александръ Петровичъ въ недоумѣніи остановился противъ Анны.

— Мы дѣйствительно точно въ домѣ умалишенныхъ,—сказалъ онъ: — меня, родного брата дѣвушки, просятъ ѣхать на встрѣчу женатому человѣку и сказать ему: — моя малолѣтняя сестрица желаетъ ѣхать съ вами въ Парижъ въ качествѣ компаньонки, и я надѣюсь, что вы исполните ея желаніе и просьбу семьи. Это, что-ли, я долженъ сказать?

Анна растерянно молчала.

— Нѣтъ, Анна, я вижу, что твое баловство никуда не го-

дится, и я возьму Любу въ свои руки. Я помѣщу ее въ хорошій пансіонъ здѣсь, въ Швейцаріи, по крайней мѣрѣ на годъ, со строгой рекомендаціей держать ее въ хорошей дисциплинѣ. Чужіе люди съ нею лучше справятся, нежели мы. Раньше года мы не возьмемъ ее домой, и ты не должна часто навѣщать ее. Это для ея же пользы. А завтра я не выпущу ее изъ виду. Пусть она у меня на глазахъ. Нечего ей по горамъ бѣгать, она уже и то одичала какъ альпійская коза. Я скажу женѣ и сестрамъ, чтобы онѣ надъ нею наблюдали. И гулять ее одну ни за что не отпущу; пусть гуляетъ со всѣми или сидитъ дома. Я такъ съ утра ей и скажу, а теперь прощай, Анна.

На этомъ Александръ Петровичъ и Анна разошлись.

Люба очень спокойно приняла на слѣдующее утро всѣ замѣчанія брата, согласилась не идти одна гулять, и даже обрадовалась, когда онъ сказалъ ей, что она должна провести годъ въ пансіонѣ.

— Это отличный планъ,—сказала она:—я посмотрю, какъ живутъ другіе люди, и что они думаютъ, и какъ поступаютъ.

Вообще Люба была податлива и ласкова, и больше не заикалась о своей вечерней, ни съ чѣмъ несообразной фантазіи.

— И скажи, сдѣлай милость, Любочка, — замѣтила Александра Ивановна:—съ чего это ты вчера такую кашу заварила.

— Право не знаю, бабуся, какъ это мнѣ вдругъ въ голову пришло.

— Слава Богу, что хоть теперь опять изъ головы вышло! Ты насъ всѣхъ до смерти напугала.

— Ну, стоитъ ли изъ-за пустяковъ, — засмѣялась Люба.— Вѣдь если разсудить хорошенько, все это выѣденнаго яйца не стоитъ.

— Вотъ умница, за это похвалить можно. Только бы опять на тебя дурь не нашла.

— Ужъ теперь не найдетъ! — сказала Люба и стала собираться.

— Куда же ты?

— Погулять хочется. Кто со мной пойдетъ?

— Охотниковъ набралось довольно, къ нимъ присоединилось еще нѣсколько посторонникъ обитателей того же отеля, съ которыми, встрѣчаясь каждый день, поневолѣ пришлось познакомиться. Бродили цѣлое утро, отдыхая и болтая вплоть до самаго обѣда, и уже послѣ перваго звонка добрались до столовой. Люба

была беззаботно весела и, казалось, совершенно забыла о своихъ рѣчахъ наканунѣ, а между тѣмъ, одна мысль назойливо мучила ее: какимъ образомъ ей урваться и быть ровно въ четыре часа, т.-е. черезъ часъ послѣ прихода поѣзда изъ Франціи, на обычномъ мѣстѣ ея свиданій съ Роланомъ.

Анна была занята подобною же мыслью. Она рѣшила сама отправиться на станцію и изъ-за какого-нибудь угла подсмотрѣть, выйдетъ ли изъ вагона Аристидъ. Она скоро нашла предлогъ, чтобы удалиться въ свою комнату, а тамъ, пройдя черезъ огороды, исчезла въ молодой рощѣ.

Люба осталась въ саду играть въ крокетъ съ англичанами. Время отъ времени она видѣла, что за нею слѣдитъ братъ. Проигравъ довольно долго, она подбѣжала къ нему.

— Мы сейчасъ кончимъ,—сказала она: — и всѣ Вильямсы пойдутъ къ водопаду. Можно и мнѣ идти съ ними?

— Можно; только прошу тебя не отдѣляться отъ нихъ.

— Разумѣется!

Игра кончилась, всѣ стали собираться на прогулку.

— Идите впередъ, я догоню васъ — сказала Люба, — мнѣ нужно сходить за шляпой и за зонтикомъ.

И Люба убѣжала въ себѣ. Скоро она пришла одѣтая на прогулку, какъ будто во слѣдъ ушедшимъ, и счастливая крикнула брату: „Прощай!“

Анна вернулась со станціи мрачная:—въ пріѣхавшемъ поѣздѣ Ролана не было. Пріѣхалъ ли онъ какимъ-нибудь чудомъ раньше —она не знала. Любы дома не оказалось — значитъ надо крѣпиться и выжидать. Она выжидала на глазахъ у постороннихъ, чтобы не впасть въ преждевременное отчаяніе.

Вечерѣло, солнце уже спускалось къ закату, когда подъ окнами раздался звонкій смѣхъ Любы. Она вернулась вмѣстѣ съ Вильямсами.

Спокойная вошла она въ комнату и бросилась въ кресло.

— Какъ я устала!—воскликнула она:—просто ноги отнялись.

— Гдѣ же ты была?

— Гдѣ мы только не были!—отозвалась она:—кажется, всю окрестность обошли. За то и проголодались жестоко.

— Ужинъ готовъ, уже звонили, пойдемъ ужинать.

— А потомъ и спать, — сказалъ Александръ Петровичъ: — завтра мы уѣзжаемъ въ Женеву, ты это помнишь?

— Помню, но я еще ничего не укладывала. Тотчасъ послѣ ужина пойду уложусь.

Поужинали, посидѣли и разошлись. О вчерашнемъ разговорѣ все же помину не было. Казалось, Люба о немъ совершенно позабыла.

— Хочешь я помогу тебѣ уложиться?—спросила Анна.

— Пожалуй, пойдемъ, — отозвалась Люба, и онѣ вышли вмѣстѣ.

— Аристидъ не пріѣхалъ, — спокойно сказала она, только что онѣ вошли въ ея комнату:—но это ничего, я уже перемѣнила свои рѣшенія. Я принимаю предложеніе Саши и охотно ѣду на годъ въ пансіонъ. Не удивляйся моей перемѣнчивости—вѣдь у меня все дѣлается быстро—сегодня такъ, а завтра иначе.

— Я радуюсь... я счастлива!

— И я тоже. Значитъ, мы теперь можемъ проститься и отдохнуть. Я по крайней мѣрѣ смертельно устала.

— А укладка?

— У меня укладки немного; завтра въ какой-нибудь часъ я все уложу.

Люба уже расплетала кóсы.

— Ты раздѣваешься?

— Да, прощай.

— Прощай и—спасибо.

Анна обняла Любу. Мать и дочь поцѣловались.

Анна долго не могла заснуть. Она прислушивалась ко всякому стуку въ домѣ, къ скрыпу двери, къ шуму затворявшагося окна. Но звуки долетали до нея изъ дали, изъ разныхъ концовъ многолюднаго отеля. Рядомъ же съ ея комнатой все было спокойно. Окно Люба затворила еще при ней и опустила штору. Дверь въ корридоръ она отворила, чтобы выставить ботинки, и тотчасъ же захлопнула. Потомъ она еще немножко повозилась въ своей комнатѣ и все затихло. Долго, долго прислушивалась Анна, но мертвая тишина нагнала наконецъ и на нее глубокій сонъ...

Было уже десять часовъ и со столовъ убирали остатки утренняго завтрака, а Люба все еще не выходила изъ комнаты. Сапоги ея все еще стояли у двери, и сквозь скважину видно было, что штора спущена.

— Нужно войти и разбудить Любу — сказалъ Александръ Петровичъ.

Повернувъ ручку двери, выходящей въ корридоръ, ее нашли не замкнутою. Александръ Петровичъ поднялъ штору—въ комнатѣ Любы не было, но платье ея лежало на стулѣ, около кровати.

Всѣ переглянулись и начали суетливо искать по комнатѣ, сами не сознавая, что̀ именно думали найти. На ночномъ столикѣ оказался запечатанный конвертъ безъ всякой надписи. Александръ Петровичъ вскрылъ его—въ немъ былъ пепелъ отъ какой-то сожженной бумаги и выцвѣтшая голубая ленточка.

Страшная суматоха длилась нѣсколько дней. Никто не видѣлъ Любу, никто не отвозилъ ее на станцію, никто не встрѣчалъ ее нигдѣ. Она пропала безслѣдно, разсѣялась точно облако. Власти были предупреждены, полиція поставлена на ноги, и обѣщано вознагражденіе тому, кто наведетъ на слѣдъ пропавшей. Въ Парижъ былъ посланъ курьеръ, видавшій Любу, съ порученіемъ выслѣдить, не увезъ ли ее туда Роланъ. Суета была всеобщая и невообразимая. Всѣ жители шалэ приняли живѣйшее участіе въ горѣ Веприныхъ и помогали, чѣмъ могли. Молодые люди съ опасностью жизни предпринимали самыя смѣлыя экспедиціи въ горы, и искали всюду, гдѣ было возможно и даже невозможно, а въ результатѣ все ничего и ничего.

На Анну нашло оцѣпенѣніе. Она почти не сознавала ничего, что дѣлалось вокругъ. День и ночь сидѣла она въ комнатѣ пропавшей, глядя на то озеро, которымъ Люба всегда такъ восхищалась. Къ концу четвертыхъ сутокъ машинально устремивъ глаза въ даль, она замѣтила, что въ изгибѣ подъ скалой, въ густыхъ камышахъ, какъ будто колышется что-то бѣлое. Точно электрическая искра пробѣжала по всему тѣлу Анны. Она вскочила.

— Сюда! сюда! — громко звала она, — вонъ тамъ... тамъ... далеко...

Ея крикъ прозвучалъ какъ набатъ. Весь отель сбѣжался на зовъ. Начались торопливыя распоряженія. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ уже цѣлая экспедиція отправилась къ указанному мѣсту.

Въ яркихъ лучахъ заходящаго солнца, тихо колыхаясь въ прибрежныхъ камышахъ покоилась на вѣки уснувшая Люба. Они мѣрно склонялись надъ ней и напѣвали ей свои вѣчныя пѣсни... Правая рука ея такъ и застыла, крѣпко сжимая золотой медальонъ съ портретомъ Вѣры Андреевны. Надѣясь найти въ немъ хоть какое-нибудь разъясненіе этой самовольной кончины, Александръ Петровичъ высвободилъ его изъ раздувшейся ручки своей бѣдной сестры и нашелъ на медальонѣ почеркомъ Любы вырѣзанныя слова:—Жизнь за жизнь!...

Н. А. Таль.

РОССІЯ и ФРАНЦІЯ

ВЪ

КОНЦѢ ПРОШЕДШАГО ВѢКА

1794 — 1799 гг. [1]).

Революціонная Франція, и по принципу, и по обстоятельствамъ, должна была бороться со всею Европой, внося потрясенія повсюду. Въ теченіе семилѣтія (1791—1798) она имѣла успѣхъ, за исключеніемъ временныхъ неудачъ, объясняемыхъ отчасти ея внутреннею неурядицею. Она господствовала на Западѣ отъ Бельгіи до Неаполя и Мальты; а римско-нѣмецкая имперія представляла тогда хаосъ, вслѣдствіе вопроса о вознагражденіи свѣтскихъ князей Германіи, обезземеленныхъ французами. Потрясенія взволнованной Франціи отражались и вдали отъ Европы: Бонапартъ разрушалъ турецкое владычество въ Египтѣ и Сиріи.

Одною изъ причинъ успѣховъ Франціи, изнуряемой революціей

---

[1]) Настоящій очеркъ долженъ служить введеніемъ къ изслѣдованію о русско-французской дипломатіи временъ Наполеона I (1800—1815), основанному на данныхъ парижскаго и петербургскаго архивовъ иностранныхъ дѣлъ. Важнѣйшіе и наименѣе извѣстные документы будутъ напечатаны въ „Сборникѣ Русскаго Историческаго Общества“. Свѣденія, изъ московскаго архива, для сношеній Россіи съ Франціей за 1791—1799 гг., а также выписки изъ главныхъ документовъ находятся въ сочиненіи Михайловскаго-Данилевскаго и Милютина: Исторія войны Россіи съ Франціей въ царствова ніе имп. Павла I.

была шаткость внутренняго строя остальной Европы, откуда вытекала разладица въ ея международной системѣ. Между членами первой коалиціи противъ Франціи господствовала подозрительность: руководящія державы, Австрія и Пруссія, были старыми соперницами. На половинѣ дѣла, Пруссія внезапно покинула коалицію (1795). Одна Англія неотступно боролась съ Франціей революціонной и Наполеоновской. Но она могла давать отпоръ французамъ только на морѣ и на Востокѣ. Косвенно ея участіе даже приносило вредъ коалиціи: Англія отстраняла Россію, Скандинавію и Голландію, соперничавшія съ нею на Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ.

Сознаніе взаимности интересовъ сѣверо-восточными державами было плодомъ усиленія Россіи и развитія ея связей съ Западомъ. Оно проявилось, по иниціативѣ Россіи и въ моментъ ея высшаго могущества, въ вооруженномъ нейтралитетѣ (1780). Этотъ послѣдній былъ важенъ не потому только, что онъ долго служилъ дипломатическимъ преданіемъ Россіи. Здѣсь зарождалась современная постановка восточнаго вопроса, а также подготовлялись узы, связывающіе величайшую въ Европѣ имперію съ величайшею въ мірѣ республикой: создавши „лигу нейтральныхъ“ въ разгаръ борьбы Англіи съ ея колоніями, Россія способствовала появленію Соединенныхъ-Штатовъ.

Правда, лига вскорѣ распалась. Пруссія и здѣсь озадачила своихъ союзниковъ: она первая покинула ихъ, заключивъ союзъ съ Англіей (1788) и принявши потомъ участіе въ коалиціи противъ Франціи. Но Россія и Скандинавія сохраняли недовѣріе къ Великобританіи и чуждались ея даже въ пору крайняго развитія французской революціи.

I.

Великій переворотъ конца прошлаго вѣка поставилъ трудную задачу для русской императрицы, въ особенности послѣ гибели Людовика XVI. Екатеринѣ II предстоялъ большой соблазнъ увлечься чувствомъ въ ущербъ интересамъ своей страны и пойти, въ иностранной политикѣ, въ разрѣзъ съ своими основными воззрѣніями. Но она долго боролась съ нимъ.

Подъ вліяніемъ своихъ лѣтъ и всеобщей паники въ Европѣ, Екатерина преслѣдовала внутри государства призраки идей своего бывшаго друга, Вольтера,—идей, распространенію которыхъ она сама содѣйствовала въ молодости. По парижскому архиву можно прослѣдить возрастаніе ненависти французовъ къ русскимъ,

вслѣдствіе мѣръ, которыя принимала Екатерина въ концѣ своего царствованія.

Въ одномъ 1793 г. было не мало пререканій между конвентомъ и петербургскимъ правительствомъ. Поводомъ къ нимъ были притѣсненія французовъ въ Россіи съ денежной стороны, а также такіе указы, какъ протестъ противъ революціи (8 февраля) или запрещеніе въ Россіи французскихъ товаровъ, пока въ Парижѣ не будетъ возстановленъ королевскій престолъ (8 апр., 25 мая). Конвентъ особенно негодовалъ на Екатерину II за принужденіе французовъ, проживающихъ въ Россіи, къ присягѣ, въ томъ, что они отрекаются отъ революціи и республики. Онъ горячо вступался за нѣкоего Мадрю, avocat et procureur въ Петербургѣ, который былъ приговоренъ къ кнуту за разныя преступленія [1]). А Коновницынъ отвѣчалъ, чтобы и не просили: императрица не проститъ.

Въ конвентѣ скоплялись жалобы пострадавшихъ въ Россіи французовъ. Бильо, который 27 лѣтъ торговалъ въ Петербургѣ и 4 года былъ французскимъ вице-консуломъ въ Кронштадтѣ, доносилъ, что его преслѣдовали и, наконецъ, выслали за его „патріотизмъ и приверженность къ принципамъ революціи“. Особенно жаловался онъ на главу коллегіи торговли, Воронцова, который отличался „ненавистью къ имени француза“. А съ другой стороны, Симолинъ, десять лѣтъ состоявшій полномочнымъ министромъ Екатерины II въ Парижѣ, доносилъ, что тамъ схватили его слугу, посланнаго за его вещами. Каковъ долженъ былъ послѣдовать отвѣтъ на эту жалобу, можно судить по слѣдующему мѣсту изъ приказа министра иностранныхъ дѣлъ парижскому мэру: „Наведите справки объ этомъ случаѣ, чтобы я могъ отвѣчать Симолину, какъ прилично великому народу, справедливо негодующему на преслѣдованіе русскою императрицей французовъ, жившихъ въ ея землѣ въ послѣднее время“. Затѣмъ французы сами начинали уже покидать Россію, чтобы избѣжать присяги, потребованной отъ нихъ Екатериной [2]). Кромѣ того, Екатерина II настоятельно требовала отъ Швеціи хватать всякія суда въ Балтійскомъ морѣ подъ французскимъ флагомъ.

Но сначала Екатерина II не шла дальше этого въ своей ненависти къ революціи и съ хладнокровіемъ опытнаго дипломата обсуждала вопросы международной политики. Она лишь косвенно по-

[1]) Le gouvernement français desirait qu'un français en subit point à Pétersbourg la peine du cnout. Arch. des aff. étrang. въ Парижѣ, Russie, vol. 139.

[2]) Жалоба конвенту канцлера петербургскаго консульства, d'Orflans, 15 frimaire an 2. Тамъ же.

могала „правому дѣлу“ [1]). Она даже находила выгоднымъ для Россіи вовлекать Австрію и Пруссію въ борьбу съ революціей, но сама устранялась отъ нея и тѣмъ развязывала себѣ руки въ Польшѣ, Швеціи и Турціи. Въ 1791 году, Екатерина отклонила просьбу Австріи и Пруссіи участвовать въ пильницкомъ свиданіи въ пользу Бурбоновъ, хотя въ Кобленцѣ, гдѣ пріютилась тогда старая монархія, въ лицѣ братьевъ Людовика XVI, былъ аккредитованъ русскимъ министромъ графъ Румянцевъ [2]).

Роковой для Франціи и для ея монарха 1793-ій годъ произвелъ переворотъ въ политической системѣ Екатерины. Предвидя печальную судьбу Людовика XVI и опасаясь за свою Польшу, императрица заключила договоръ съ Пруссіей, два дня спустя послѣ казни французскаго короля. Значеніе этого документа, хранящагося въ русскомъ архивѣ, видно изъ слѣдующихъ выраженій вступленія: „Европа обуревается волненіями, этимъ послѣдствіемъ пагубной французской революціи, которое представляетъ, въ своемъ распространеніи, неминуемую и всеобщую опасность. Державы, заинтересованныя въ сохраненіи порядка (bon ordre), этой единственной прочной основы благоденствія и всеобщаго спокойствія, должны стараться предотвратить опасность самыми строгими и дѣйствительными мѣрами. Императрица всероссійская и король прусскій тѣмъ болѣе озабочены этимъ, что, судя по вѣрнымъ признакамъ, духъ неповиновенія и опасныхъ нововведеній, царствующій теперь во Франціи, готовъ проявиться въ польскомъ королевствѣ, сопредѣльномъ съ ихъ владѣніями. При такомъ порядкѣ вещей, они естественно почувствовали необходимость удвоить предосторожность и усилія, съ цѣлью оградить своихъ подданныхъ отъ послѣдствій позорнаго и нерѣдко заразительнаго примѣра (les effets d'un exemple scandaleux et souvent contagieux)“.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ, какъ Екатерина сдѣлала еще болѣе важный шагъ въ сторону отъ основной идеи своей политики. Она заключила союзъ съ Англіей, который не оправдывался одними соображеніями насчетъ опаснаго сосѣда; въ договорѣ прямо сказано, что союзъ устроился „по необходимости соединиться державамъ для обузданія революціи“

Но чувство страха еще боролось съ холоднымъ разсудкомъ дипломата. Это наглядно выразилось въ любопытномъ рескриптѣ

[1]) Bonne cause—такъ назывались тогда на языкѣ дипломатіи интересы французскихъ Бурбоновъ.

[2]) Flassan: Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française. 2-de édition. 1811. VII. 177—478.

нашему посланнику въ Мадридѣ, въ январѣ 1794 года. Здѣсь главное вниманіе обращено на Парижъ. Екатерина говорила: „предпочтительнѣе всему французскія дѣла, въ которыхъ пріемлемъ мы сильное участіе, по мѣрѣ вліянія ихъ въ общее спокойствіе всей Европы". Она совѣтовала мадридскому двору „войти въ связь съ другими дворами для принятія общихъ мѣръ" къ отвращенію общихъ несчастій. Но Екатерина прямо отказывалась выставлять войска противъ французовъ. Она объясняла, что „еслибъ удѣлила малую часть своихъ силъ въ пользу союзниковъ", то этимъ „только ослабила бы, къ общему вреду, тѣ мѣры обороны и предосторожности", которыхъ требовало отъ нея „настоящее положеніе вещей въ окружающихъ Россію краяхъ". Екатерина утверждала, что оказываетъ гораздо большую услугу дѣлу тѣмъ, что „по необходимости содержитъ всѣ свои силы въ полномъ ополченіи, дабы, съ одной стороны, воздерживать въ надлежащихъ предѣлахъ зло дальнѣйшаго распространенія заразы неистовствъ и развратовъ французскихъ, а съ другой—дабы не допустить ихъ сообщниковъ и единомышленниковъ, которыхъ число въ нѣкоторыхъ частяхъ сѣвера, а особливо на востокѣ, день ото дня умножается, до какого-либо предпріятія имъ полезнаго, а ихъ противоборникамъ вреднаго". Екатерина указывала еще на то, что, „несмотря на свою отдаленность", она „преподала денежную помощь принцамъ французскимъ и ихъ преданнымъ", да еще „вооружила сильный флотъ и вывела его въ море". Задача нашего посланника въ Мадридѣ сводилась къ весьма немногому: „пособіе агентамъ французскихъ принцевъ; подкрѣпленіе ихъ представленій у мадридскаго двора въ пользу общаго дѣла или иногда и частнаго, когда оное сообразно разсудку и умѣренности; ласковое и довѣрчивое съ ними обхожденіе" [1]).

Итакъ, въ 1794 году, Екатерина, при всей своей ненависти къ духу нововведеній, не хотѣла удѣлить союзникамъ даже „малую часть" своихъ силъ. Но съ каждымъ днемъ усиливался разладъ между представителями монархизма и революціи—и возрасталъ поводъ для Екатерины измѣнить коренное направленіе своей внѣшней политики. Она была особенно удивлена и раздражена внезапнымъ замиреніемъ Пруссіи съ Франціей. „Берлинскій дворъ—выразилась она—поступилъ вѣроломно, нарушивъ наисвященнѣйшія свои обязательства къ намъ и къ союзникамъ своимъ, устремившимся на укрощеніе Франціи, заключивъ особый

[1]) Этотъ рескриптъ хранится въ моск. архивѣ мин. иностранныхъ дѣлъ (Испанія, III, 20).

миръ съ извергами, ее разоряющими". Тогда же, въ началѣ 1795 года, русская эскадра отплыла въ Сѣверное море на помощь англійскому флоту. А въ августѣ 1796 года, канцлеръ Остерманъ извѣщалъ нашего посла въ Вѣнѣ, Разумовскаго, что Екатерина даетъ свои войска императору, „чтобы подготовить торжество дѣла, которое она всегда будетъ считать дѣломъ всѣхъ государей". При этомъ, она одна признала Людовика XVIII королемъ Франціи и предлагала Австріи и Пруссіи сдѣлать тоже и прямо идти на Парижъ. Теперь она уже рѣшалась ничего не щадить для „праваго дѣла". Суворову приказано было готовить армію къ походу. За два мѣсяца до своей смерти, Екатерина назначила рекрутскій наборъ по 3 человѣка съ 500 душъ.

Франція естественно платила тою же монетой. Директорія ненавидѣла Россію не меньше, чѣмъ конвентъ, что проявлялось даже въ характерныхъ мелочахъ. Такъ, въ парижскомъ архивѣ сохранилось много бумагъ о злополучномъ матросѣ Серебряковѣ. Попалъ онъ къ англичанамъ, которые выбросили его на западный берегъ Франціи. Сапожникъ по ремеслу, матросъ съ мѣсяцъ кормился своимъ мастерствомъ въ какомъ-то мѣстечкѣ; затѣмъ перебрался въ Парижъ, надѣясь найти тамъ русскихъ купцовъ и помощь у посланника. Здѣсь его засадили въ центральное бюро— и возникло цѣлое дѣло. Серебрякова долго и тщетно допрашивали на всякихъ языкахъ, пока не отыскался „гражданинъ" Аппіа—швейцарецъ, который родился въ Пьемонтѣ, долго жилъ въ Россіи и Англіи и былъ причисленъ къ вѣдомству переводчиковъ директоріи [1]). Аппіа хорошо говорилъ по-русски, и оказалось, что нашъ матросъ — „воплощенная простота (la plus grande simplicité d'ésprit)". Министръ иностранныхъ дѣлъ, Талейранъ, доложилъ директоріи, что было бы „достойно французской націи" отпустить его на родину. Но правители Франціи рѣшили: „сдать Серебрякова въ министерство внутреннихъ дѣлъ для помѣщенія въ мастерскую принудительныхъ работъ (atelier forcé de travail)".

Въ то же время директорія стала зорко слѣдить за Россіей, пользуясь нашими „канцелярскими цедулами": отдѣлъ „Russie" въ парижскомъ архивѣ, подъ 1796 годомъ, состоитъ, главнымъ образомъ, изъ депешъ нашего посланника въ Генуѣ, Лизакевича, перехваченныхъ французскими генералами [2]). При русскомъ

[1]) Rapport du ministre des rel. exter. au Directoire executive. 22 vendem. an 8.

[2]) Бертье—директоріи, изъ штабъ-квартиры въ Кастельоне. 3 therm. an 4.

текстѣ прилагался переводъ, или же обстоятельное изложеніе. Директорія очень интересовалась произведеніями пера человѣка, котораго она высоко цѣнила, какъ „историка и наблюдателя", блистательно исполнявшаго „миссію титулованнаго шпіона и государственнаго совѣтника" [1]). Такая выходка понятна. Лизакевичъ пристально слѣдилъ за хозяйничаньемъ французовъ въ Италіи, сообщалъ подробности объ ихъ военныхъ движеніяхъ и въ то же время сильно негодовалъ на извѣстные „принципы". Такъ, въ іюнѣ 1796 года, извѣщая о желаніи Франціи уничтожить процессы „генуезскихъ измѣнниковъ" [2]), онъ замѣтилъ: „правительство, съ раболѣпства и съ слабости, согласилось на требованіе французскаго агента. Чего ожидать должны итальянскіе государи и области отъ своихъ подданныхъ и гражданъ, напоенныхъ бунтовскими началами, кои, удостовѣрясь о столь отмѣнной защитѣ къ нимъ французскаго правленія, не преминутъ смѣло и дерзко работать къ потрясенію своихъ отечествъ". Въ то же время Лизакевичъ препровождалъ въ Петербургъ „повелѣніе генерала Бонапарте французскому въ Ливорнѣ консулу, въ коемъ предписано забирать имѣніе россійскихъ подданныхъ".

Въ портфеляхъ директоріи стали теперь скопляться вредные для Россіи проекты. Въ одномъ изъ нихъ предлагалось соединить Австрію, Пруссію, Швецію, Данію, Голландію, Испанію, Венецію Геную, Неаполь, чтобы предотвратить отъ Европы разрушительный потокъ, угрожающій поглотить ее". Въ особенности возлагались надежды на поляковъ, „души которыхъ,—говорятъ,—еще не умерли для надежды возстановить свое политическое существованіе", да на казаковъ—этихъ „рожденныхъ враговъ Россіи, готовыхъ, по слухамъ, возстать". Главною опорой этихъ мятежныхъ элементовъ представлялись турки, татары и персіяне. Сохранился докладъ директорамъ объ отправленіи дипломатическаго агента къ правителю Персіи, Мехмедъ-хану, котораго французскій посланникъ въ Константинополѣ сравнивалъ съ Нарзесомъ и считалъ „болѣе опаснымъ врагомъ Россіи, чѣмъ Пугачевъ" [3]).

[1]) При изложеніи одной депеши прибавлено: „Le correspondent russe parait fort instruit de tout ce qui se passe en Italie et ces lettres sont des rapports exacts et circonstanciés propres à instruire la Cour à qui ils sont adressés; il est historien et observateur, il n'est pas superficiel comme la plupart des Ministres de son pays; rien ne lui echappe et il remplit superieurement la mission d'espion titré et de conseiller d'Etat".

[2]) Здѣсь разумѣются мѣстные демократы, произведшіе переворотъ съ помощью французовъ.

[3]) Мемуары Баррэ (5—6 vendemiaire an 5) и Rapport au Directoire. Проектъ: Russie. Reunir toutes les puissances qui lui sont limitrophes pour l'attaquer par terre.

II.

Еслибы Екатерина прожила дольше—Россія при ней выступила бы противъ французской революціи прямо, дѣятельно. Но это случилось при ея преемникѣ.

Впрочемъ, Павелъ I сначала вовсе не думалъ вовлекаться въ европейскія распри. Его первымъ дѣломъ было сильное, искреннее заявленіе мирныхъ стремленій; только впослѣдствіи, какъ извѣстно, обнаружились колебанія, какъ во внѣшней, такъ и во внутренней политикѣ.

Мирное начало объясняется частью личными причинами, частью положеніемъ дѣлъ. Главнымъ побужденіемъ былъ духъ противорѣчія новаго государя относительно покойной императрицы. Въ одномъ рескриптѣ имп. Павелъ прямо заявилъ, что во внѣшней политикѣ онъ не послѣдовалъ правиламъ Родительницы Своей, „соображеннымъ на видахъ пріобрѣтеній“, и „совершенно отказался отъ всякаго желанія завоеванія“ [1]). Въ объясненіи иностраннымъ дворамъ Остерманъ, заявляя, что войска, назначенныя Екатериной противъ Франціи, не будутъ посланы, ссылался на „обстоятельства“, которыя повелѣваютъ „не отказать любезнымъ подданнымъ въ пренужномъ и желаемомъ ими отдохновеніи послѣ столь долго (съ 1756 г.) продолжавшихся изнуреній“.

„Обстоятельства“ прямо указаны нашимъ посломъ въ Лондонѣ, Воронцовымъ, который велъ тогда съ англійскимъ министромъ, Гренвилемъ, такую бесѣду „приватнымъ образомъ и въ сущей дружеской откровенности“: „Въ послѣдніе годы царства покойной государыни императрицы, по причинѣ слабости ея здоровья и по довѣренности, которую она по несчастію возложила на нѣкоторыхъ особъ, кои недостойны были оной и кои изъ властолюбія и надменнаго чванства присвоили себѣ управленіе всѣхъ дѣлъ во всѣхъ государственныхъ департаментахъ, не имѣя на тодъ обширную громаду ни достаточныхъ естественныхъ талантовъ, ни пріобрѣтенныхъ знаній, отчего вышли небережливыя казенныя издержки, неустройства въ арміи, которая развращена была такъ, что полкъ не походилъ на полкъ, а казался принадлежать другой землѣ и службѣ. То же было и во флотѣ, такъ что сіи двѣ части защиты государственной потеряли совсѣмъ по-

[1]) „Рескриптъ Колычеву“, отъ 1 февраля 1799 г.

рядокъ и дисциплину. Внутреннія дѣла Имперіи равномѣрно отдалились отъ предписаннаго благоустройства“ [1]).

Такъ, по крайней мѣрѣ, понималъ „обстоятельства“ и самъ императоръ, который объявилъ Воронцову за эту лондонскую бесѣду высочайшее благоволеніе.

Чрезвычайный рекрутскій наборъ былъ отмѣненъ. Русскую эскадру отозвали отъ береговъ Англіи. На просьбу германскаго императора, Франца I, выставить хотя одинъ корпусъ на нашу западную границу для охраненія Австріи отъ враждебныхъ покушеній Пруссіи, государь отвѣчалъ: „Не позволю предписывать мнѣ, что я долженъ дѣлать“.

Но судьбами народовъ руководятъ историческіе законы, въ формѣ интересовъ, потребностей страны, направленія умовъ. Выставивъ основаніемъ своей политики противорѣчіе родительницѣ, Павелъ I, однако, сходился съ нею въ главномъ, что вскорѣ привело его къ продолженію ея системы послѣднихъ лѣтъ.

Онъ самъ всегда ненавидѣлъ французскіе принципы. Когда онъ былъ наслѣдникомъ престола, иностранные дипломаты уже замѣчали въ немъ, на ряду съ „любовью къ домашнему миру“ — „непобѣдимое отвращеніе къ государственнымъ переворотамъ“ [2]). Это направленіе еще яснѣе проявлялось въ отношеніяхъ цесаревича къ эмигрантамъ и Лагарпу. Впрочемъ, это естественно и не требуетъ особыхъ поясненій. Но любопытнѣе другой вопросъ, въ которомъ новый государь слѣдовалъ взгляду своей родительницы, хотя впадалъ въ противорѣчіе съ своимъ прежнимъ принципомъ. Это—вопросъ прусскій. Какъ извѣстно, Павелъ I, будучи наслѣдникомъ престола, сильно сочувствовалъ Берлину. Лѣтъ за десять до кончины Екатерины II, когда Фридрихъ II устраивалъ союзъ князей (der Fürstenbund), эту основу прусскаго объединенія Германіи, въ Петербургѣ недружелюбно относились къ Берлину: Екатерина ясно сознавала значеніе союза и противодѣйствовала ему заодно съ Австріей. Тогда Фридриха утѣшалъ только „прошлогодній другъ“, какъ назывался Павелъ Петровичъ въ перепискѣ между королемъ и его агентомъ въ Петербургѣ, Герцомъ. Когда вступилъ на престолъ Фридрихъ-Вильгельмъ II, „прошлогодній другъ“ съ особенной ревностью старался высказать ему свою преданность. Павелъ Петровичъ находился въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ II, несмотря на то, что посредникъ,

---

[1]) „Донесеніе Воронцова Павлу I“, отъ 12 мая 1797.

[2]) Отзывъ генуезскаго агента въ Петербургѣ, у Макушева (Россія, по реляціямъ Ривароля).

Герцъ, тогда уже не былъ посланникомъ въ Петербургѣ. Эти сношенія шли черезъ стариннаго пріятеля Герца, Алопеуса. „Великій князь,—сказано въ запискахъ Герца,—прибѣгалъ къ ихъ перепискѣ, чтобы сообщить прусскому королю извѣстія и намеки (Nachrichten und Winke), и, въ свою очередь, получить тоже отъ него". Въ этой перепискѣ Павелъ Петровичъ назывался Мейстеромъ Греномъ, а въ депешахъ прусскаго посланника въ Петербургѣ—другомъ Аттикомъ. Характеръ сношеній видѣнъ изъ слѣдующаго заявленія Мейстера Грена: „Богъ знаетъ, какъ сложатся обстоятельства, когда пріобрѣту вліяніе на дѣла; покуда могу сказать только, что неизмѣнна моя приверженность къ системѣ, связывающей меня съ прусскимъ королемъ, и что я отъ всего сердца буду согласоваться съ его намѣреніями" [1]). Вскорѣ послѣ заключенія союза князей, когда Екатерина чуть не разорвала связей съ Берлиномъ, многіе русскіе дипломаты и иностранные кабинеты явно высказывали свою увѣренность въ пристрастіи „меньшаго двора" къ Пруссіи. Наконецъ, Екатерина, послѣ одного разговора съ великимъ княземъ, воскликнула: „Вижу, въ какія руки попадетъ Имперія послѣ моей смерти!.. Изъ насъ сдѣлаютъ провинцію, зависящую отъ воли Пруссіи" [2]).

Императоръ Павелъ иначе взглянулъ на нѣмецкій вопросъ, чѣмъ Павелъ Петровичъ—великій князь. Въ политикѣ каждой страны есть свои преданія, свои непреодолимыя силы. Павелъ I увидѣлъ опасность, грозившую русскому вліянію въ Германіи со стороны Пруссіи. Притомъ берлинскій дворъ самъ представлялъ революціонное начало въ нѣмецкой имперіи, стремясь разрушить старый порядокъ вещей въ лицѣ австрійскихъ Габсбурговъ. Ему естественно было соединиться съ революціонною Франціей, что и случилось незадолго до воцаренія Павла. Фридрихъ-Вильгельмъ II становился какъ бы соучастникомъ въ преступленіяхъ, вытекавшихъ изъ ненавистныхъ Петербургу идей французской націи. Къ тому же, положеніе лицъ измѣнилось. Прежде, въ пору глухой придворной борьбы, Павелъ Петровичъ нуждался въ покровительствѣ сильнаго сосѣда; теперь же сосѣдъ нуждался въ помощи или хотя нейтралитетѣ императора, чтобы свободно дѣйствовать противъ Австріи.

И вотъ, въ объясненіи Павла I иностраннымъ дворамъ мы чи-

---

[1]) Görtz: Denkwürdigkeiten, II, 204—06.

[2]) Гаррисъ Стормонту, 15 (26) февр. 1780. См. Herrmann: Geschichte des russischen Staates, 1860, VI, 451. Письмо Безбородко въ арх. кн. Воронцова, XIII. Изданныя въ свѣтъ свидѣтельства современниковъ о данномъ вопросѣ сгруппированы въ книгѣ Кобеко: „Цесаревичъ Павелъ Петровичъ", изд. 2-е, 187, 342—346.

таемъ: „Государь не менѣе, какъ покойная его родительница, чувствуетъ нужду противиться всевозможными мѣрами неистовой французской республикѣ, угрожающей всю Европу совершеннымъ истребленіемъ закона, правъ, имущества и благонравія". А въ началѣ 1797 года, Павелъ писалъ прусскому королю Фридриху-Вильгельму II, въ отвѣтъ на его поздравительное письмо, въ которомъ выражалось желаніе сблизиться: „Врагъ модной системы философскихъ потрясеній, я готовъ сговориться съ вами, чтобы воспрепятствовать всякому разрушенію и окончательному потрясенію (pour empecher toute subversion et bouleversement ulterieur), но не такъ, какъ можно было въ началѣ, а по нынѣшнему положенію дѣлъ, т.-е. стараясь водворить тишину". Тогда же Павелъ писалъ о преданномъ королѣ своему послу въ Берлинѣ, Колычеву: „Этотъ государь долженъ признать въ своей мудрости, насколько его послѣднія обязательства относительно Франціи несовмѣстны съ его желаніемъ войти во всѣ мои виды и поддерживать ихъ. Онъ лучше всего доказалъ бы искренность своего расположенія, еслибы отказался отъ всякихъ мѣръ, угрожающихъ цѣлости Германіи и способныхъ произвести расколъ между главой имперіи и ея различными членами, — расколъ, который привелъ бы всю Европу къ самому пагубному бѣдствію. Только этою цѣной король можетъ пріобрѣсти мое довѣріе и искренность, которыхъ онъ повидимому такъ добивается".

Въ сентябрѣ 1797 года, Фридриху-Вильгельму II пришлось выслушать прямо отъ государя замѣчательно строгое и искреннее внушеніе. Павелъ писалъ ему: „Съ нѣкотораго времени Европа оглашается слухами, обвиняющими кабинетъ в. в—ва въ пристрастіи, въ тайномъ стараніи воспрепятствовать миру римскаго императора съ Франціей. Говорятъ, что дозволяя французамъ распространять хищничества, вы предоставили себѣ долю при раздробленіи Германской имперіи и намѣрены вооруженною рукою принудить императора Франца согласиться на ваши желанія... Вы знаете, что по тешенскому миру я одинъ изъ поручителей за германскую конституцію; а потому не удивитесь, если скажу вамъ, что не буду равнодушно взирать на ея уничтоженіе и для ея поддержанія употреблю самое дѣятельное участіе и всѣ силы, врученныя мнѣ провидѣніемъ" [1]).

Исторія доказала, насколько Екатерина и Павелъ были правы въ своемъ недовѣріи къ гогенцоллернской Пруссіи. Оттого осо-

[1]) Павелъ I Фридриху-Вильгельму II, 30 сентября 1797 г.

бенно выдѣляется безпристрастіе Павла I, который такъ оканчиваетъ вышеприведенное письмо къ Фридриху-Вильгельму II: „Если ваше величество будете принуждены вести войну оборонительную, то равнымъ образомъ пойду на вашу помощь и на дѣлѣ докажу вамъ, сколь чуждъ я пристрастія. Вновь предлагаю вамъ соединиться со мною и условиться о средствахъ возстановить въ Европѣ спокойствіе".

Послѣднее выраженіе имѣло тогда большое значеніе. Вся Европа, истощенная долгими переворотами, жаждала успокоенія. Но идеи, изъ-за которыхъ шла борьба, были такъ несовмѣстимы, что трудно было устроить хотя бы сносное перемиріе. Отсюда всеобщія надежды на русскаго царя, который сохранялъ свѣжія войска и началъ съ заявленія, что душа его политики—миролюбіе. Прусскій король первый заговорилъ на эту тэму. Получивши отвѣтъ Павла I на свое поздравленіе, онъ ухватился за его фразу о „возстановленіи спокойствія" и написалъ ему: „Подобно вамъ, я признаю все зло, которое принесено и все еще приносится философіей дня. Я съумѣлъ привести въ должные предѣлы мою сдѣлку съ французскимъ правительствомъ; но я не могъ отвергнуть того, что, въ силу неотразимыхъ обстоятельствъ, казалось мнѣ необходимо въ интересахъ моего государства и моей фамиліи". Чтобы разсѣять недовѣрчивость Павла I, Фридрихъ-Вильгельмъ II поручилъ своему послу въ Петербургѣ, графу Брюлю, показать царю всѣ секретныя статьи своего договора съ Франціей. Увѣренный, что „это новое убѣдительное доказательство дружбы" подѣйствуетъ, прусскій король такъ окончилъ свое письмо: „Вступая на престолъ, ваше величество восхваляли систему мира и нейтралитета, принятую мною. Мнѣ очень пріятно помогать вамъ въ возстановленіи тишины: въ этомъ-то смыслѣ я готовъ дѣйствовать съ вами путемъ переговоровъ и посредничества (mediation). Но чтобы начать это спасительное дѣло, мнѣ необходимо знать ваши виды и мысли. Прошу объясниться со мной—и тогда я постараюсь сговориться и идти за одно съ вами, чтобы оказать услугу нашимъ союзникамъ и всему человѣчеству".

Мѣсяца два спустя, въ концѣ марта, Австрія обратилась къ Россіи за миромъ. Избитая Бонапартомъ, она прямо просила Павла заявить въ Парижѣ и Берлинѣ о своемъ посредничествѣ и даже заранѣе соглашалась на мирныя условія, которыя предложитъ Россія. Пришло и изъ Лондона предложеніе о посредничествѣ [1]). Какъ увидимъ ниже, сама Франція уже намекала

[1]) Инструкція Репнину, отъ 19 апрѣля 1797 г.

осторожно въ Петербургѣ на свою готовность примириться. Не могло быть лучшихъ условій для посредничества—и Павелъ рѣшился выступить въ этой роли. Онъ снарядилъ Репнина въ Вѣну и Берлинъ. Въ любопытной инструкціи ему сказано, что Павелъ I приметъ посредничество, но на двухъ условіяхъ: 1) Франція должна формально предложить его; 2) если она потребуетъ „присоединить къ медіаціи" и Пруссію—условіе, противъ котораго высказывались Австрія и Англія. Касательно Франціи Репнину повелѣвалось: „безъ всякаго исканія и какъ ненарочно, встрѣтившись съ французскимъ въ Берлинѣ министромъ, Кальяромъ, постарайтесь завесть рѣчь о мирѣ, о сдѣланномъ отъ насъ внушеніи воюющимъ и о нашемъ желаніи способствовать тому по всей нашей возможности". Но, прибавляла инструкція, „буде французское правленіе простретъ буйство свое на крайнее угнетеніе вѣнскаго двора и неистовыми требованіями преисполнитъ мѣру, тогда уже честь и безопасность наша востребуетъ дѣятельнаго нашего вопреки тому пособія".

Это-то предполагавшееся посольство Репнина прибавило гордости и упорства Кобенцелю, въ мирныхъ переговорахъ съ Бонапартомъ, на котораго онъ смотрѣлъ съ высоты своего дипломатическаго величія. Онъ рискнулъ пугать побѣдителя такими фразами: „Россія предлагаетъ императору свои арміи; онѣ готовы летѣть къ нему на помощь; и увидятъ, что такое русскія войска!" Кобенцель былъ наказанъ за эту выходку тѣмъ, что Бонапартъ, намекая на участь Австріи, разбилъ дорогой фарфоровый приборъ, подарокъ Екатерины II, которымъ любилъ хвастаться старый дипломатъ [1]).

Но посольство Репнина оказалось не нужнымъ: вскорѣ было заключено перемиріе между Франціей и Австріей, за которымъ послѣдовалъ миръ въ Кампо-Форміо (6 октября).

Посмотримъ, какъ относилась Франція, виновница „философскихъ потрясеній", къ новому царю въ первый годъ его царствованія.

III.

Судьба Франціи зависѣла отъ взгляда новаго императора на положеніе Европы; поэтому правившая ею директорія зорко слѣдила за каждымъ шагомъ могущественнаго государя, стараясь понять его. Парижскій архивъ даетъ намъ возможность сообщить

[1]) Barante: Histoire du directoire, II. 497.

новыя данныя объ этой сторонѣ дѣла, имѣющія и непосредственный интересъ для отечественной исторіи.

Тотчасъ по вступленіи на престолъ Павла I, изъ Петербурга писали въ Лиссабонъ нашему чрезвычайному послу и полномочному министру: „Императоръ много выигрываетъ въ глазахъ народа своею неустрашимой дѣятельностью: при дворѣ перемѣны каждый день, даже почти каждый часъ". Тоже лицо писало своей женѣ въ Лиссабонъ: „это (воцареніе Павла I)—эпоха для россійской имперіи. Въ теченіе недѣли мы видимъ при дворѣ поразительную дѣятельность (une activité etonnante), и льстимъ себя надеждой, что эта дѣятельность доставитъ счастье намъ, т.-е. вообще всей Россіи. Ничего не скажу о томъ, что происходитъ здѣсь при новомъ императорѣ, такъ какъ вамъ незнакомы условія этой страны (la manière d'être de ce pays-ci): совѣтую только отнынѣ читать газеты съ большимъ вниманіемъ... Теперь я встаю въ шесть часовъ, т.-е. за два часа до восхода солнца. Вы спросите меня, что я дѣлаю въ эти ранніе часы? Дѣлаю визиты, часто ненужные, моимъ начальникамъ, которые, въ свою очередь, обязаны вставать на зарѣ, въ подражаніе новому императору, у котораго пріемъ начинается раньше шести часовъ. Вскорѣ мы всѣ станемъ здѣсь хорошими солдатами; и это послужитъ намъ въ пользу". Авторъ письма надѣялся, что ему дадутъ мѣсто генеральнаго консула въ Португаліи и, вѣроятно, въ виду этого, купилъ себѣ въ долгъ хорошую шубу [1]).

Подобныя же свѣденія сообщались въ письмахъ другого лица. Извѣщая объ отмѣнѣ всеобщаго набора, о возвращеніи изъ Сибири множества государственныхъ преступниковъ (un grand nombre de prisonniers d'Etat), о строгомъ приказѣ полиціи поддерживать низкую цѣну съѣстныхъ припасовъ, о дозволеніи свободнаго вывоза хлѣба, о возстановленіи таможенной системы, бывшей до 1782 года, о призваніи въ частный совѣтъ государя князя Репнина, „о которомъ всѣ отзываются хорошо", корреспондентъ отмѣчаетъ слѣдующее: „императоръ назначилъ два дня въ недѣлю, когда всякій подданный можетъ приносить ему жалобы или подавать прошеніе... Здѣсь (въ Петербургѣ) сильно изумляются дѣятельности новаго императора и его заботамъ о дѣлахъ общественныхъ. Каждый день присутствуетъ онъ на упражненіяхъ своихъ войскъ; каждую недѣлю даетъ публичную ауді-енцію, гдѣ выслушивается всякій... Онъ улучшаетъ благотвори-

[1]) Dubatschewskoy à comte de Rechteren и à m-me Dubatschewskoy, 11—22 ноября 1796. Письма подлинныя; хранятся въ парижскомъ архивѣ.

тельныя заведенія. Повидимому, онъ желаетъ царствовать по законамъ справедливости и человѣколюбія“ [1]).

Изъ Берлина шли еще болѣе любопытныя для французовъ извѣстія. Въ письмѣ тамошняго министра директоріи, гражданина Кальяра (citoyen Caillard), отъ 27 декабря 1796 года, говорилось: „Императоръ немедленно приказалъ отслужить панихиду по покойномъ императорѣ Петрѣ III... Онъ тотчасъ уволилъ въ отставку Моркова и велѣлъ опечатать его бумаги... Фавориту Зубову онъ сказалъ: „вы были другомъ императрицы, вы останетесь и моимъ другомъ“... Онъ разорвалъ договоръ о субсидіяхъ, который собирались заключить съ Англіей: договоръ, должно быть, нашли на столѣ императрицы, которая упала, собираясь подписать его... Онъ сказалъ, что не желаетъ вмѣшиваться въ коалицію. Говорятъ, императрица, въ послѣдніе мѣсяцы, давала жалованье арміи Конде (французскимъ эмигрантамъ), но что это тотчасъ прекратится“.

Подъ вліяніемъ такихъ извѣстій, хотя и весьма смутныхъ [2]), въ Парижѣ стали задумываться надъ мыслью о возможности склонить Россію на свою сторону.

Весьма любопытны усилія директоріи на первыхъ порахъ составить себѣ вѣрное понятіе о новомъ государѣ и сообразовать съ нимъ свои дѣйствія. Въ парижскомъ архивѣ сохранились двѣ бумаги, въ родѣ доклада по этому вопросу—„Взглядъ на новый петербургскій кабинетъ, и Средство къ сближенію между Франціей и Россіей“ [3]). Бумаги, дополняющія другъ друга, осмотрительно составлены Флассаномъ, который впослѣдствіи пріобрѣлъ извѣстность своею исторіей французской дипломатіи. Авторъ естественно не рѣшается произнести окончательное сужденіе. „Первые шаги Павла I,—говоритъ онъ,—еще не имѣютъ опредѣленной физіономіи; они взаимно уравновѣшиваются и, повидимому, почти противорѣчатъ другъ другу“. Указавъ на факты, Флассанъ спрашиваетъ въ недоумѣніи: „что же выходитъ

---

[1]) Des frontières de Russie, le 29 novembre; De Pétersbourg, le 12 decembre 1796. Копіи парижскаго архива.

[2]) Вѣроятно, тоже впечатлѣніе получалось отъ русскихъ оффиціальныхъ бумагъ, которыя продолжали усердно перехватывать. 14-го декабря французскій комиссаръ въ Брюсселѣ прислалъ директоріи сразу 4 пакета депешъ, отправленныхъ изъ Петербурга нашимъ дипломатамъ въ Мадридѣ, Лиссабонѣ, Кадиксѣ и Порто.

[3]) Coup d'oeil sur le nouveau cabinet de Pétersbourg, le 23 nivose an 5—Moyen de rapprochement de la France et de la Russie, vers niv. an 5.

изъ этихъ различныхъ дѣйствій (opérations diverses)? Нельзя сказать, сохранитъ ли Павелъ I нейтралитетъ, или вмѣшается въ старую борьбу союзныхъ и побѣжденныхъ королей, вынужденныхъ призвать на помощь страшныхъ сѣверянъ? Пожалуй, вѣрнѣе предположить послѣднее: новый царь—„государь деспотичный, рѣзкій и крутой (il est souverain despotique, borné, farouche et dur); когда онъ путешествовалъ по Франціи, его очень хорошо принимали при дворѣ, и принцъ Конде задавалъ въ честь его блестящіе пиры въ Шантильи; а супруга его, которая способнѣе его—настоящая австріячка (toute autrichienne)". Флассанъ особенно сосредоточиваетъ свое вниманіе на Пруссіи, причемъ высказываетъ тонкія соображенія. Онъ не увлекается „старою связью новаго царя съ Берлиномъ, его пристрастіемъ къ прусской военной системѣ, отмѣннымъ пріемомъ, оказаннымъ берлинскому министру въ Петербургѣ". Онъ думаетъ, что царь „хочетъ только показать, что не раздѣляетъ ненависти своей матери къ Пруссіи". Но дружба между Петербургомъ и Берлиномъ приведетъ ли Россію къ союзу съ Франціею? напротивъ, не отвлечетъ ли она Пруссіи отъ Франціи? „Желая обезпечить свои владѣнія въ Польшѣ, Пруссія неизбѣжно сблизится съ Россіей; но этотъ союзъ, основанный на интересѣ равнодушномъ для Франціи, легко можетъ обратиться противъ нея, и Пруссія можетъ вполнѣ подчиниться руководству петербургскаго кабинета". Мало обѣщаютъ хорошаго „колебанія потсдамскаго кабинета, нерѣшительный и подозрительный (indécis et suspect) характеръ прусскаго монарха, іезуитизмъ Гаугвица и его рѣшительное неодобреніе мысли отправить французскаго посла въ Петербургъ, словно Пруссія боится сближенія между республикой и Россіей. „Во всякомъ случаѣ есть надежда сойтись съ Петербургомъ, и одною изъ самыхъ дѣятельныхъ мыслей директоріи должно быть стремленіе „сдѣлать Россію не дружественною державой (это слишкомъ много), но нейтральною". Флассанъ совѣтовалъ приказать Кальяру „сговориться съ Гаугвицемъ, чтобы, при посредствѣ прусскаго министра въ Россіи, получить отъ петербургскаго кабинета прямое или косвенное, но положительное объясненіе насчетъ истинныхъ видовъ Россіи относительно республики: считаетъ ли она себя въ войнѣ съ нею, и какое участіе намѣрена она принять въ мирныхъ переговорахъ?" Французскій дипломатъ-психологъ указывалъ и на другое средство. „Нужно стараться подѣйствовать на царицу лестью, уступками ея брату, принцу виртембергскому. Честолюбіе—вотъ чѣмъ можно возму-

щать, ссорить, нейтрализовать, плѣнять государей“ [1]). Съ этою цѣлью, директорія должна была „великодушно увеличить вознагражденіе, которое Республика обязана дать Виртембергу“; она должна была также „употребить свою власть для доставленія виртембергскому дому курфюрстскаго достоинства, котораго онъ давно добивается“.

Директорія „тотчасъ почувствовала, что не невозможно извлечь пользу изъ событія, которое, по всей вѣроятности, должно произвести болѣе или менѣе долгій и полный переворотъ въ системѣ петербургскаго кабинета“ [2]).

19-го декабря, министръ иностранныхъ дѣлъ написалъ гражданину Кальяру: „Директоріи угодно, чтобы прекратилось это положеніе—ни мирное, ни военное—посредствомъ котораго Екатерина II думала удовлетворить и своей ненависти къ принципамъ свободы, и своимъ обязательствамъ по отношенію къ союзникамъ. Судя по всему, новый императоръ не будетъ раздѣлять пристрастія своей матери. Отмѣна рекрутскаго набора и налога съ купцовъ свидѣтельствуетъ объ его мирныхъ стремленіяхъ. Директорія считаетъ долгомъ сдѣлать попытку воспользоваться этимъ для возстановленія и даже, если можно, расширенія связей, бывшихъ до войны. Онъ полагаетъ, что тутъ прусскій король охотно предложитъ свои услуги, пользуясь привязанностью къ нему новаго императора. Объяснитесь съ Гаугвицемъ, а при его посредствѣ—съ Колычевымъ. Такъ какъ у насъ, можно сказать, нѣтъ прямыхъ интересовъ съ Россіей, которые приходилось бы улаживать, то договоръ былъ бы очень простъ: его можно бы свести почти къ одной статьѣ—о возстановленіи старой дружбы и торговыхъ сношеній, причемъ мы желали бы установить эти сношенія на взаимности наиболѣе благопріятствуемыхъ націй“.

Директорія пробовала и другое средство, указанное въ министерскомъ докладѣ. 22-го декабря, министръ иностранныхъ дѣлъ провелъ вечеръ съ Норманномъ и его товарищемъ—подданными герцога виртембергскаго и депутатами Швабскаго округа нѣмецкой имперіи. Онъ допытывался, какъ бы „узнать расположеніе

---

[1]) «Il faut chercher à circonvenir l'esprit de la Czarin par des flatteries, par des concessions au p-ce de Wurt., son frère. C'est par l'ambition qu'on ément, qu'on divise, qu'on neutralise et qu'on entraine les souverains».

[2]) Министерскій докладъ о переговорахъ, начатыхъ въ Берлинѣ, для возстановленія дружественныхъ и торговыхъ связей между Франціей и Россіей. Это—хронологическое изложеніе переписки французскаго министра иностранныхъ дѣлъ съ Кальяромъ. Докладъ былъ поданъ директоріи въ августѣ 1797 г. (21 thermidor, an 5), и одобренъ ею черезъ 5 дней.

петербургскаго двора относительно республики и пригласить его взять на себя посредничество между воюющими державами?" На другой день виртембергцы прислали ему проектъ о возстановленіи старыхъ отношеній между Франціей и Россіей.

Авторы вполнѣ одобряли мысль министра. Они говорили: „Новый русскій императоръ, насколько мы знаемъ его лично и насколько онъ заявлялъ свой образъ мыслей, желаетъ только одного—счастья своего народа; его наслажденіе—способствовать счастью человѣчества. Больше другихъ государей онъ долженъ стремиться къ миру: онъ слишкомъ могущественъ, чтобы опасаться возвеличенія своихъ сосѣдей. Роль посредника въ Европѣ доставитъ ему славу и благословеніе народовъ, безъ пролитія крови его подданныхъ. Депутаты увѣряли, что ихъ герцогъ будетъ радъ помочь Франціи, которую онъ глубоко уважаетъ, и „именно при посредствѣ своего знаменитаго (illustre) зятя". Они прибавляли: „участіе герцога должно быть тѣмъ болѣе плодотворно, что намъ точно извѣстны, какъ безконечное уваженіе новаго императора къ достоинствамъ его тестя, такъ и его горячее желаніе сдѣлать все возможное въ угоду ему".

Норманнъ съ товарищемъ предлагали отвезти герцогу письмо отъ директоріи и, если онъ прикажетъ, отправиться въ Петербургъ. Они хотѣли также, съ согласія герцога, навѣдаться въ Мюнхенъ къ русскому министру, брату барона Бюлера; а въ Парижѣ остался бы, для поддержанія связей съ французскимъ министерствомъ, племянникъ этого Бюлера, баронъ Гохштеттеръ, attaché при миссіи Швабскаго округа, который состоялъ бы подъ покровительствомъ виртембергскаго министра, Абеля. Норманнъ съ товарищемъ намѣревались черезъ Гохштеттера вести переписку съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, причемъ требовали, чтобы она была непремѣнно шифрованной.

Какъ ни увлекательно было предложеніе вюртембергцевъ, директорія постановила: „такъ какъ у этихъ двухъ депутатовъ нѣтъ прямого порученія, то не давать хода ихъ предложенію; развѣ обратиться только къ министру герцога виртембергскаго, если понадобится" [1]).

Директорія отлично понимала, что все дѣло не въ Виртембергѣ, а въ Пруссіи, въ этой юной державѣ, которая отличалась крайне изворотливою политикой, названною „іезуитизмомъ Гауг-

[1]) Постановленіе директоріи написано на поляхъ письма Норманна къ министру иностр. дѣлъ (2 nivose an 5), къ которому приложенъ „Projet de négociation pour retablir les anciens rapports entre la France et la Russie et à effectuer la médiation de cette dernière Puissance pour la paix générale".

вица", и старалась, съ помощью Россіи, построить свое счастье на развалинахъ Австріи. Сверхъ того, французское правительство, такъ сказать, руководилось, въ данномъ случаѣ, голосомъ своего народа. Французы позже другихъ націй уразумѣли международное значеніе Пруссіи, и революція, во всемъ отмѣнявшая старый порядокъ вещей, руководилась его идеями во внѣшней политикѣ. Какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, тогда возникли, съ разныхъ сторонъ, любопытные дипломатическіе проекты, сохранившіеся для потомства въ портфеляхъ директоріи. Немногіе изъ нихъ построены на старой тэмѣ—на ненависти къ варварской Россіи; большинство стояло за союзъ съ Петербургомъ, чтобы заставить „варваровъ" остановить походъ Европы противъ Франціи. Но во всѣхъ рѣшительно основная идея пруссофильская.

Тато́ Дарфланъ, который двадцать лѣтъ былъ генеральнымъ консуломъ Франціи въ Петербургѣ и потерялъ мѣсто и состояніе, отказавшись отъ присяги, потребованной Екатериною отъ французовъ, желавшихъ остаться въ Россіи, писалъ директоріи: „Смерть русской императрицы неизбѣжно приведетъ къ перемѣнѣ въ политической системѣ имперіи... Пристрастіе Павла I къ прусской тактикѣ и его дружба съ прусскимъ королемъ могутъ отвратить его отъ коалиціи противъ насъ, въ которую вступила его мать".

Дарфланъ предлагалъ сообщить правительству всѣ свои многостороннія свѣденія о Россіи и просилъ возвратить ему мѣсто въ Петербургѣ, которое должно быть возстановлено при замиреніи съ Россіей [1]). Гражданинъ Дефебвъ, восемь лѣтъ проживши въ Польшѣ, отчасти на службѣ у короля Станислава, ненавидѣлъ Россію за раздѣлъ Польши и называлъ Екатерину II „коварною" (astucieuse), а ея политику „деспотическою, изворотливою, лукавою" (tortueuse, insidieuse). Онъ думалъ, что смерть царицы не измѣнитъ „лиги" ненавистныхъ ему державъ—Россіи, Австріи и Англіи. Чтобы возвратить эти державы въ ихъ прежніе предѣлы, нужно возстановить Польшу и поднять Порту. Дефебвъ надѣялся достигнуть этого посредствомъ контръ-лиги изъ Франціи, Польши, Пруссіи, Турціи, Швеціи и Даніи [2]).

---

[1]) „Tatot Darflans au Directoire", Paris, 8 nivose an 5. На полѣ помѣтка: Renvoyé au Min. des relat. exter. pour donner des renseignements sur le petitionnaire.

[2]) „Mémoire du cit. Defebvres", Paris, 14 nivose an 5. Черезъ полтора мѣсяца министръ иностранныхъ дѣлъ благодарилъ Дефебва за мемуаръ о Польшѣ: „съ тѣмъ же удовольствіемъ приму все, что вы еще сообщите мнѣ объ этомъ важномъ предметѣ нашихъ старыхъ политическихъ отношеній".

Прямо къ Пруссіи вело, въ концѣ 1796 года, донесеніе Сулави, бывшаго французскаго посла въ Женевѣ и извѣстнаго мемуариста. Авторъ извѣщалъ директорію о „весьма любопытномъ“ разговорѣ съ прусскимъ посломъ, Сандосомъ, по поводу „новой постановки союзовъ“, возможной вслѣдствіе смерти Екатерины II, въ случаѣ, если Австрія не примирится съ Франціей. Сандосъ собственно опасался этого примиренія и схватился за сочиненный гражданиномъ Сулави проектъ союза съ Россіей противъ Австріи. Онъ предложилъ отправить этотъ проектъ прусскому королю и выразилъ желаніе часто видѣться съ французскимъ ex-дипломатомъ. „Еслибы, — прибавлялъ Сулави, — исполнились планы дофина, отца послѣдняго Людовика, то Пруссія, Россія, Пьемонтъ, Турція, въ союзѣ съ Франціей, взяли бы эту Австрію, въ предстоящей кампаніи, съ боковъ, спереди, сзади; и на этотъ разъ вы окончательно расправились бы съ нею“ [1]).

IV.

При такихъ желаніяхъ французовъ сблизиться съ Россіей и и при робкихъ попыткахъ къ ихъ исполненію, насталъ 1797-й годъ. То былъ самый счастливый годъ для друзей мира. Директорія съ лихорадочнымъ вниманіемъ слѣдила за развитіемъ дѣятельности новаго императора [2]), и многое приводило ее въ восторгъ. Отовсюду приходили извѣстія, возбуждавшія такія розовыя мечты, что генеральный консулъ республики въ Петербургѣ, горячій Лессепсъ, поспѣшилъ заготовить для просвѣщенія Россіи и ея монарха переводъ знаменитой Declaration des droits de l'homme. Изъ Петербурга писали: „Павелъ возвратилъ Костюшкѣ шпагу съ польскимъ портупеемъ. Моркова сослали въ Сибирь. Тутолмина и Бергмана (креатуры Зубова) доставили въ Петербургъ, чтобы судить ихъ, какъ лихоимцевъ и преступниковъ по должности. Суворовъ въ опалѣ. Солдатамъ увеличено жалованье, и впредь офицеры не будутъ дурно обращаться съ ними. Браницкому и Потоцкому, однимъ изъ виновниковъ бѣдствій своего отечества, запрещено носить русскій мундиръ. Зубовъ лишился всѣхъ должностей. Павелъ отнялъ пенсію у многихъ французскихъ эмигрантовъ, получавшихъ ее при его матери. Словомъ, система и поведеніе Павла I совершенно противоположны системѣ и поведенію его матери.

[1]) „Sulavie aux membres du Directoire, Paris, 5 nivose an 5.

[2]) Въ парижскомъ архивѣ сохранились переводы многихъ указовъ Павла I.

Будьте увѣрены, что отъ французскаго правительства зависитъ возстановить добрыя отношенія между двумя государствами посредствомъ какого-нибудь шага впередъ: нынѣшній государь хвастается тѣмъ, что держится совсѣмъ другого пути, чѣмъ Екатерина" [1]).

Тогда же директорія получила отъ секретаря французскаго посольства въ Женевѣ, гражданина Дарнвиля, записку о томъ, какъ принудить Австрію принять какія угодно условія мира. Въ ней говорилось: „какъ видно, Павелъ I—единственный государь, который можетъ успѣшно вести дѣло о примиреніи между Франціей и Австріей... Онъ, говорятъ, приблизилъ къ себѣ князя Репнина, этого друга и единомышленника французовъ при монархіи. Было бы выгодно узнать его чувства". Указывались такія средства повліять на царя: „Нужно обнаружить низость русскихъ министровъ, подкупленныхъ вѣнскимъ и лондонскимъ дворами. Русскій дворъ всегда горячо желалъ вмѣшиваться въ дѣла нѣмецкой имперіи и всегда стремился стать порукой за вестфальскій миръ. Есть надежда, что царь легко приметъ планъ, ставящій его во главѣ дѣла, которое доставитъ ему поручительство за договоръ, столь же важный, по своимъ послѣдствіямъ, какъ вестфальскій". Затѣмъ совѣтуется „пообѣщать курфюрское достоинство виртембергскому дому и вознаградить его въ швабскомъ округѣ за графство Монбельяръ" [2]). Еще средство — склонить берлинскій дворъ къ принятію французскаго плана. Въ заключеніе автору представлялось возраженіе: ну, а какъ царь станетъ ссылаться на связывающіе его договоры съ Австріей и Англіей? Но онъ смѣло устранялъ его фразой: „при какомъ же дворѣ вѣрность договорамъ когда-либо мѣшала государю мѣнять системы?" Наконецъ, „чѣмъ бы ни кончилось вмѣшательство царя, этотъ шагъ не преминетъ бросить сѣмя раздора между двумя императорскими дворами" [3]).

Все склоняло директорію къ формальному открытію переговоровъ съ Петербургомъ. Въ февралѣ уже въ самомъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, возникла записка, подъ названіемъ:

---

[1]) Vanlennesse au Min. des rel. exter. Paris, 16 pluviose an 5.

[2]) Маленькое графство Монбельяръ, въ Эльзасѣ, было единственнымъ достояніемъ герцога Фридриха виртембергскаго, когда онъ былъ наслѣдникомъ престола. Предвидя утрату Монбельяра, заброшеннаго среди французскихъ земель, Фридрихъ еще при Екатеринѣ старался промѣнять, съ ея помощью, свое владѣніе императору Іосифу II на клочекъ земли въ Швабіи.— Румянцевъ Екатеринѣ II, отъ 25 марта 1785 (Моск. архивъ мин. иностр. дѣлъ).

[3]) Mémoire du cit. Darneville, Gèneve, 17 pluviose an 5.

„Общія соображенія по вопросу: не пора ли отправить агента въ Россію, и какъ?“ И само правительство согласилось, что, хотя министерство „не въ правѣ брать на себя починъ въ этомъ дѣлѣ“, однако, оно должно было считать это своимъ долгомъ, „въ виду различныхъ депешъ со всѣхъ сторонъ о Россіи и ея новомъ императорѣ“.

„Общія соображенія“ составлялись весьма обстоятельно, на основаніи старыхъ и вновь полученныхъ оффиціальныхъ донесеній. Въ сжатомъ, но отчетливомъ очеркѣ, они рисуютъ картину русской дипломатіи при Екатеринѣ II, и стараются проникнуть въ таинственный смыслъ новаго царствованія. Этотъ важный документъ, которымъ еще никто не пользовался, весьма интересенъ и для характеристики республиканизма того времени, даже его языка. Поучительно ближе познакомиться съ нимъ [1]).

„По свидѣтельству нашихъ агентовъ въ Россіи передъ революціей (сказано въ немъ), Екатерина II чувствовала, что Франція важнѣе всего для ея государства; быть можетъ, еще болѣе чувствовали это русскіе, особенно въ Петербургѣ и Москвѣ. Но руководящіе для петербургскаго двора планы Петра I насчетъ распространенія Россіи на югъ и на западъ Европы встрѣчали препятствіе въ связяхъ Франціи съ Турціей и Польшей. Вотъ что, главнымъ образомъ, мѣшало русскому двору дѣйствительно сблизиться съ Франціей; вотъ что дало преобладаніе англичанамъ въ этой имперіи, которые построили ей 50 линейныхъ кораблей, вопреки ихъ собственнымъ интересамъ. Но затѣмъ англичане соединились съ Пруссіей противъ Россіи, и приходилъ конецъ ихъ вліянію въ Петербургѣ: Екатерина даже громко говорила, что отомститъ имъ. Тутъ наша революція нанесла первые удары королевской власти во Франціи. Она не нравилась русскимъ, особенно петербуржцамъ и москвичамъ. По вызову мадридскаго двора, Екатерина даже готова была составить союзъ съ Франціей, Испаніей, Неаполемъ и двумя сѣверными дворами, съ цѣлью разрушить всѣ планы англичанъ. Обманутая Леопольдомъ, она стала видѣть въ этомъ императорѣ плута (un fourbe). Естественная ненависть русскихъ къ австрійцамъ стала проявляться открыто, особенно, когда Екатерина узнала, что Леопольдъ сговаривался съ англичанами и пруссаками, чтобы лишить Россію выгодъ, ожидавшихся отъ самой счастливой войны, отдававшей ей Константинополь. Таково было расположеніе къ намъ Екатерины II и

[1]) „Considérations générales sur cette question: Est-il temps de faire passer un agent en Russie, et comment?“ 22 pluviose an 5. Archives des aff. étrang., Russie, vol. 139, № 133.

русскихъ. И русскіе вообще не измѣнили своего образа мыслей. Напротивъ, они надѣются, что въ будущемъ вліяніе нашей системы усилится путемъ возникающаго у нихъ общественнаго мнѣнія: они, въ особенности же москвичи, надѣются, наконецъ, наслаждаться своею естественною свободой (leur liberté naturelle)". Но, вотъ погибаетъ Людовикъ XVI. „Екатерина II пришла въ ужасъ на своемъ узурпированномъ престолѣ. Въ каждомъ московскомъ дворянинѣ (знать давно удалилась отъ ея двора) она видѣла главу партіи, терзающей имперію и низвергающей ее съ престола". Слышались опасенія и со стороны великаго князя [1]). Хитрый Леопольдъ, „узнавъ объ этихъ тревогахъ и безпокойствѣ Екатерины, съумѣлъ быстро овладѣть ея умомъ, съ помощью своего министра въ Петербургѣ, Кобенцля—и сцена перемѣнилась. Пильницкое соглашеніе между прусскимъ королемъ и нѣмецкимъ императоромъ, имѣвшее цѣлью лишь взаимную защиту противъ ихъ собственныхъ подданныхъ, въ случаѣ, еслибы они послѣдовали примѣру французовъ, стало соединительнымъ звеномъ для всѣхъ дворовъ, которые поклялись погубить Францію, не заботясь въ сущности о судьбѣ Бурбоновъ.

„Екатерина заключила миръ съ турками и, воодушевивши коалицію великими обѣщаніями, которыя не могла исполнить, обрушилась на Польшу (fondit sur la Pologne), имѣвшую неосторожность, за нѣсколько времени передъ тѣмъ, просить у нея помощи противъ Пруссіи. Истощенная войной, стоившей по крайней мѣрѣ двухъ милліоновъ (?) солдатъ, а также мотовствомъ (dilapidations) своего друга, Потемкина, захватившаго болѣе 25 милліоновъ ливровъ, чтобы стать независимымъ, Екатерина воспользовалась досугомъ, даннымъ ей коалиціей, и въ нападеніи на Польшу нашла средство немного поправить свои правительственныя дѣла. Ни въ какомъ случаѣ она не дала бы коалиціи ни одного солдата; и теперь Павелъ I отлично понимаетъ, что это невозможно. Если Екатерина истратила 500 — 600 тысячъ ливровъ на эмигрантовъ, то лишь съ цѣлью разжигать ихъ вражду: она глубоко презирала ихъ. Вопреки враждебнымъ заявленіямъ Екатерины, народа и даже войска, желали успѣха нашимъ арміямъ: они одинаково ненавидятъ пруссаковъ и австрійцевъ. Несомнѣнно, что Россія была бы весьма довольна, еслибы ея монархъ соединился съ Франціей, или хоть соблюдалъ бы строгій нейтрали-

[1]) „Le Grand Duc, Son fils, lui avait fait sentir dans une conversation particulière que le trône de son père lui appartenait; et il n'avait quitté Catherine qu'en lui disant: je m'attends à être sacrifié; mais plusieurs personnes tomberont dans le tombeau avant moi".

тетъ. Въ Петербургѣ негодовали на англійскаго министра, Уайтворта, когда онъ говорилъ о необходимости стереть Францію съ дипломатической карты Европы, и увѣрялъ, будто со времени Учредительнаго Собранія (l'Assemblée Constituante) во Франціи все дѣлалось по желанію и вліянію англійскаго министерства. Итакъ, при Екатеринѣ II русскіе не были нашими врагами".

Затѣмъ „общія соображенія" переходятъ къ преемнику Екатерины.

„Корреспонденція даетъ намъ нѣкоторыя черты его частной жизни; не въ выгодномъ свѣтѣ рисуетъ она его. Это, говорятъ, характеръ мрачный, рѣзкій, подозрительный, крутой: не разъ онъ могъ бы вступить на престолъ, еслибы не пренебрегалъ, не удалялъ со своей службы даже людей самыхъ преданныхъ его интересамъ и наиболѣе способныхъ проложить ему дорогу къ высшей власти. Увѣряли даже, что какъ только онъ вступитъ на престолъ, Россія будетъ раздираема партіями и внутренними волненіями. Онъ никогда не оказывалъ уваженія къ своей супругѣ [1]). Такъ говорятъ наши оффиціальныя депеши. Съ другой стороны, въ послѣднихъ донесеніяхъ, полученныхъ министромъ, Павелъ рисуется въ болѣе благопріятномъ свѣтѣ. Онъ призвалъ много важныхъ лицъ, удаленныхъ отъ двора его матерью, по просьбѣ Орловыхъ, которымъ она была обязана и ихъ преступленіемъ, и престоломъ. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ любили Францію: таковы Репнинъ, Румянцовъ. Изъ креатуръ матери онъ оставилъ Остермана, который всегда благопріятствовалъ англичанамъ, но нерѣдко, казалось, искренно сближался съ нашими агентами. Онъ—канцлеръ имперіи, и не должно сомнѣваться, что на этомъ высокомъ посту онъ будетъ успѣшно отстаивать англичанъ. Но Безбородко былъ довольно расположенъ къ намъ и, кажется, менѣе наклоненъ поддаваться внушеніямъ англичанъ. Но каковы бы ни были личности, окружающія теперь императора, каковы бы ни были ихъ истинные взгляды, понятно, что они еще не могутъ отважиться на искреннія заявленія въ деспотическомъ государствѣ.

[1]) „C'etait, dit-on, un caractère sombre, farouche, soupçonneux, dur et qui a manqué plusieurs fois de monter sur le trône, en traitant sans égard, éloignant même de son service les gens les plus devoués à ses interêts et les plus capables de lui frayer le chemin à l'autorité suprême. On assure même que l'empire de Russie ne peut tarder à être déchiré par des factions et des troubles interieurs peu de temps après qu'il sera sur le trône. Il a toujours manqué d'égards à son épouse, en se livrant à une . . . . . nommée Nélidoff, et a même reduit son épouse à n'avoir pour compagne et servante que cette fille, très laide d'ailleurs et sans ésprit". Всѣ подробности о Нелидовой изъ печатныхъ свидѣтельствъ собраны у Кобеко, 356—360.

При перемѣнѣ господина, они заговорятъ лишь нѣсколько времени спустя, когда прислушаются къ новому автократу; они станутъ произносить свое простое „да“ только тогда, когда не столько изъ его словъ, сколько изъ поступковъ, окажется, что онъ пришелъ къ извѣстному рѣшенію. Повидимому, Павелъ I обнаруживаетъ много человѣколюбія: онъ облегчаетъ участь народа, устраиваетъ госпитали, освобождаетъ знаменитыхъ плѣнниковъ. Но онъ льститъ попамъ, считая это нужнымъ среди еще варварскаго народа, а Петръ I заставлялъ ихъ трепетать: по этой чертѣ легко понять, какъ далекъ Павелъ отъ высоты своего званія. Онъ занимается мелкими формами, что не означаетъ по-истинѣ большого ума [1]). Онъ отталкиваетъ отъ себя офицеровъ милиціи (les officiers de sa milice), которымъ Екатерина дозволяла жить въ крайней роскоши и даже расхищать казну въ поразительныхъ размѣрахъ, что много способствовало истощенію ея финансовъ. Въ деспотической имперіи нельзя предвидѣть, къ чему приведетъ, на первыхъ порахъ, это недовольство“.

Во всякомъ случаѣ, „общія соображенія“ считаютъ своевременнымъ сдѣлать попытку къ сближенію съ Россіей. Они предлагаютъ для этого разныя средства. По заявленію французскаго министра въ Гагѣ, гражданина Ноеля, слѣдовало бы возстановить торговыя связи между Россіей и Голландской республикой: дипломатическая коммиссія Голландіи даже думала употребить съ этою цѣлью своего послѣдняго резидента въ Варшавѣ, гражданина Грисгейма. „Но голландцамъ нѣтъ выгоды торговать съ Россіей, гдѣ денежное истощеніе достигло крайней степени. Въ 1788 году торговый балансъ Россіи вообще доходилъ до пяти милліоновъ ливровъ къ ея невыгодѣ. А съ тѣхъ поръ ея торговля все падала. Тамъ бумажныя деньги неисчислимы: онѣ ходятъ лишь съ потерею 30 — 40%, да и то только благодаря власти деспотизма. Что же касается нашей торговли съ Россіей, то она почти всегда была ничтожна. Самою выгодною статьей еще могла бы быть водка, еслибы королевское правительство было предусмотрительно“. Наконецъ, Россія не рѣшится торговать съ голландцами, опасаясь англичанъ, съ которыми она связана договоромъ. Другой и, быть можетъ, болѣе вѣрный путь — черезъ Швецію: гражданинъ Перрошель, къ которому хорошо относились въ Стокгольмѣ, могъ бы снова побывать тамъ, по поводу свадьбы короля, и сдѣ-

[1]) „Il flatte les prêtres, comme il croit devoir le faire chez un peuple encore barbare: mais Pierre I les faisait trembler. A ce trait il est facile d'apercevoir combien Paul est eloigné de la hauteur de son rang. Il s'occupe de petites formes qui marquent réellement un génie fort retreci“.

лать внушеніе въ пользу Франціи. Далѣе обращается вниманіе на новую императрицу: „слѣдуетъ мало-по-малу узнавать чувства царицы, съ которою царь, кажется, дѣйствительно примирился; есть даже основаніе надѣяться, что она будетъ имѣть главное вліяніе на политическія дѣла". А Кальяръ поддержитъ эти шаги, „пользуясь видимой дружбой царя къ Фридриху-Вильгельму". Наконецъ, немудрено, что „самый удобный путь—мадридскій дворъ, къ которому царь отправляетъ посланника. Петербургскій дворъ издавна благосклонно взираетъ на испанскій. Креатуры, которыми окружаетъ себя теперь царь, почти всѣ отличались сочувствіемъ къ мадридскому двору".

Мнѣніе французскаго министерства объ отношеніяхъ Россіи къ Испаніи въ эпоху революціи требуетъ поясненія, которое можетъ дать только нашъ архивъ [1]).

Во второй половинѣ прошлаго вѣка душой испанской политики было соперничество съ Англіей изъ-за вліянія на морѣ. Ради этого, передъ революціей Мадридъ даже подчинился Версалю до того, что испанцы начинали негодовать. Въ эпоху испанскаго „просвѣщенія" графъ Флоридабланка задумалъ освободить страну отъ французскаго ига. Но ему нужно было запастись новыми друзьями противъ Англіи. Приходилось дѣлать выборъ между Россіей и Пруссіей, которыя подымались тогда въ небываломъ величіи. Вѣрнымъ стражемъ юной Пруссіи стала Англія; а Россія, уже при Петрѣ I недовѣрявшая Берлину, боролась съ нимъ при Елизаветѣ Петровнѣ. Екатерина II заключила, въ 1781 году, союзъ съ Австріей и вредила Фридриху II въ образованіи Союза князей. Затѣмъ непріязнь Петербурга къ Берлину возрастала вслѣдствіе „іезуитизма" Гаугвица и выступленія короля изъ коалиціи монарховъ: мы видѣли, какъ она обнаружилась въ первыхъ шагахъ Павла I, чего никто не ожидалъ отъ „прошлогодняго друга". Понятно, что Флоридабланка, притомъ ненавидѣвшій революцію, какъ „французское бѣшенство", преслѣдовалъ прусскаго посланника и первый пришелъ къ мысли о сближеніи между Мадридомъ и Петербургомъ. Но онъ палъ — и дѣлами овладѣлъ другъ королевы, извѣстный своими нелѣпостями, Годой. Онъ презрительно относился къ Екатеринѣ, порицая ее за раздѣлъ Польши, а потомъ просилъ у нея помощи противъ

[1]) Съ осени 1795 до весны 1808 года исторія Испаніи темна: туземнымъ архивомъ не могъ воспользоваться даже такой спеціалистъ, какъ Baumgarten (Geschichte Spaniens vom Ausbruch der franz. Revolution). Московскій архивъ иностранныхъ дѣлъ служитъ тутъ главнымъ источникомъ, въ особенности для 1774—1794 годовъ, когда Зиновьевъ занималъ постъ нашего посланника въ Мадридѣ.

французовъ. Получивъ отказъ, въ формѣ выше приведеннаго рескрипта Зиновьеву, Годой бросился въ объятія Франціи, чтобы воевать съ англичанами. Но и испанцы готовы были возстать, измученные новымъ французскимъ игомъ и англійскими побѣдами. Тогда воцарился Павелъ I, и Годой сталъ разсыпаться передъ нимъ въ поздравленіяхъ. Не довольствуясь пребываніемъ въ Петербургѣ мелкаго агента, Ониса, онъ заявлялъ желаніе отправить туда посланника. Павелъ I, съ своей стороны, оказывалъ вниманіе такому столпу абсолютизма, какъ испанскій дворъ: онъ собирался отправить въ Мадридъ посланника, на мѣсто умершаго Зиновьева; при его дворѣ входило въ моду сочувствіе къ испанцамъ.

Возвращаясь къ общимъ соображеніямъ, приведемъ выводъ, къ которому они пришли. Авторъ совѣтуетъ послать агента въ Россію въ какомъ бы то ни было качествѣ, хотя бы и неявнаго. Но слѣдуетъ сдѣлать строгій выборъ. „Нуженъ агентъ, знающій языки, обычаи, привычки и притязанія Сѣвера, въ особенности же человѣкъ разсудительный, холодная голова". Это можетъ быть, пожалуй, ученый или негоціантъ, подъ видомъ путешественника. „Онъ несомнѣнно встрѣтитъ расположеніе русскихъ къ французамъ; и тогда можно будетъ начать какіе-нибудь переговоры при посредствѣ той или другой державы. Но будемъ спѣшить медленно".

Уже находился и агентъ. Изъ Нюи (Côte d'or) пришло письмо отъ гражданина Де-Бе, бывшаго секретаря посольства въ Берлинѣ и ex-консула въ Остенде. Владѣлецъ торговаго дома, Де-Бе, предлагалъ съѣздить въ Берлинъ, Варшаву или Оливу (близъ Данцига), гдѣ онъ надѣялся легко получить паспортъ въ Петербургъ, подъ предлогомъ помѣстить тамъ свои вина. „Съ помощью Дашковой, Фитингофа, Бакунина и многихъ знакомыхъ соотечественниковъ, я добился бы въ Петербургѣ—говоритъ Де-Бе—нейтралитета Россіи, этого важнаго обстоятельства для того, чтобы принудить нашего жесточайшаго врага, Англію, заключить съ нами желательный миръ". Авторъ приложилъ копіи трехъ писемъ къ нему княгини Дашковой (1784 и 1789 годовъ) и его собственнаго письма къ ея племяннику, Бакунину. Въ письмахъ Дашковой заключалось ея согласіе на посвященіе къ книгѣ г. La Serra и посылка ея портрета для этого изданія. Въ письмѣ къ Бакунину Де-Бе выражалъ желаніе продолжать дружескія литературныя сношенія и прибавлялъ: „мы горячо желаемъ, въ общемъ интересѣ нашихъ націй, чтобы вашъ новый государь принялъ мирныя и безкорыстныя стремленія нашего правительства и сталъ умиро-

творителемъ вселенной“ [1]). Предложеніе Де-Бе удостоилось отвѣта министра иностранныхъ дѣлъ, который увидѣлъ въ немъ, „съ самымъ живымъ удовольствіемъ, сердце истаго француза, полное ревности къ интересамъ отечества“ [2]).

V.

Пока въ Парижѣ дѣлались разнообразныя предложенія и соображенія, гражданинъ Кальяръ работалъ въ Берлинѣ. Онъ имѣлъ объясненіе съ Гаугвицомъ. Рѣшили, что берлинскій дворъ обиняками (par insinuation) извѣститъ Петербургъ о стремленіяхъ французскаго правительства и увѣдомитъ Парижъ о намѣреніяхъ русскаго императора. Это не совсѣмъ понравилось директоріи: ея министръ настаивалъ, чтобы Кальяръ прямо обратился къ русскому посланнику въ Берлинѣ, и даже послалъ ему проектъ ноты для Колычева. Кальяръ возражалъ, что это противно дипломатическимъ обычаямъ, и что Колычевъ не приметъ ноты безъ сношенія съ своимъ дворомъ. „Чтобы достигнуть той же цѣли болѣе обычнымъ и скорымъ путемъ“, онъ подалъ Гаугвицу ноту, которую тотъ долженъ былъ послать въ Петербургъ и поддержать ее всѣми мѣрами. Прусскій посланникъ въ Россіи, Брюль, передалъ Остерману этотъ документъ, въ которомъ было сказано: „Директорія нарочно (expressement) поручила мнѣ заявить вамъ желаніе республики возстановить миръ и дружбу съ Франціей. Она готова вступить въ переговоры съ тѣми, кого назначитъ императоръ. Прошу берлинскій кабинетъ обратить особенное вниманіе на этотъ важный предметъ, возможно скорѣе передать императору намѣренія директоріи и употребить всѣ средства, чтобы достигнуть у петербургскаго двора рѣшенія, сообразнаго съ желаніями директоріи, а стало быть и всего человѣчества“ [3]).

По словамъ французскаго министерства, „пришлось довольно долго ждать успѣха отъ этого шага“. Дѣйствительно, недѣли три спустя, 20 марта, Кальяръ писалъ: „Наши дѣла въ Петербургѣ все еще идутъ не такъ, какъ желательно, хотя они и не безнадежны. Нельзя сказать, чтобы берлинскій дворъ не служилъ намъ наилучшимъ образомъ у императора. Чтобы получить право

[1]) „De Bays, Nuits, 30 pluv. an 5“. На полѣ помѣтка: „Une courte notice de cette lettre pour être mise sous les yeux du Directoire“.

[2]) „Reponse du Ministre des relat. exter. au cit. De Bays, 12 ventose an 5“.

[3]) „Note du cit. Caillard au Ministère du Roi“, 7 ventose an 5 (25 февр. 1797) въ москов. архивѣ.

открыто ходатайствовать за насъ у него, Гаугвицъ призналъ самымъ приличнымъ оказать ему великій знакъ довѣрія, который въ то же время убѣдилъ бы его въ искренности прусскаго короля и раскрылъ бы ему побужденія, связывающія Пруссію съ республикой... Съ этой цѣлью, онъ посвятилъ императора въ тайну конвенціи о нейтралитетѣ Сѣверной Германіи и даже секретной конвенціи, заключенной тогда же. Ледъ растаялъ—и уже ничто не препятствуетъ берлинскому двору, такъ явно заявившему предъ императоромъ свои чувства къ намъ, поддерживать наше дѣло въ Петербургѣ"... Но Кальяръ все еще прибавлялъ: „Впрочемъ, кажется, мысль Павла I не на столько утвердилась, чтобы онъ сообразовался съ Пруссіей въ своихъ поступкахъ съ нами. Я знаю, что его осаждаютъ австрійскій и англійскій посланники, которые ничего не жалѣютъ, чтобы привлечь его къ себѣ и уже возъимѣли нѣкоторое вліяніе на него. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ получилъ онъ наше первое сообщеніе".

Вскорѣ петербургскій дворъ уѣхалъ въ Москву, по поводу коронаціи,—и три мѣсяца ничего не было слышно объ исходѣ прусской попытки, устроить сближеніе между Россіей и Франціей. Въ Парижѣ объясняли это нѣкоторымъ охлажденіемъ, происшедшимъ тогда между Берлиномъ и Петербургомъ, вѣроятно, вслѣдствіе жестокихъ навѣтовъ Австріи [1]). Но въ началѣ іюня Кальяръ извѣстилъ, что Павелъ I внезапно покинулъ Москву и, отказавшись отъ путешествія въ Казань и Астрахань, поѣхалъ въ Гродно, предполагая, что прусскій король прибудетъ въ Варшаву. Имѣлось въ виду свиданіе монарховъ: говорили даже, будто царь выразилъ сожалѣніе королю о томъ, что обманулся въ своихъ ожиданіяхъ, и послалъ къ нему изъ Гродно своего адъютанта, Нелидова, съ любезнымъ письмомъ, въ которомъ, впрочемъ, не было ни слова объ общихъ европейскихъ дѣлахъ.

Очевидно, что облака, возникшія-было въ сношеніяхъ между Петербургомъ и Берлиномъ, отчасти разсѣялись. Правда, Кальяръ еще не получалъ ничего оффиціальнаго насчетъ примиренія Россіи съ республикой; но онъ узналъ отъ датскаго министра, что нота, которую прусское правительство взялось передать императору, была принята имъ благосклонно. Въ Парижѣ придавали значеніе такому извѣстію: „датскій министръ, женатый на русской княгинѣ и долго жившій въ Россіи, сохранилъ тамъ связи".

Дѣйствительно, вскорѣ прусскій посланникъ въ Парижѣ, Сан-

[1]) Въ депешѣ Тугута Кобенцелю отъ 29 марта ст. ст. говорится, напримѣръ, о „cupidité" Пруссіи, объ ея „haine inveterée contre l'Autriche", о „vues sinistres" ея политики.

досъ, представилъ директоріи копію съ письма къ нему короля Фридриха-Вильгельма, который извѣщалъ, что вице-канцлеръ, князь Безбородко, словесно отвѣтилъ Брюлю на французскую ноту. Павелъ I выказывалъ полную готовность возстановить добрыя отношенія съ Франціей, въ особенности „если это принесетъ пользу его союзникамъ“. Ничего онъ такъ не желаетъ, какъ способствовать сближенію между воюющими державами; „онъ даже готовъ принять прямое участіе въ общемъ замиреніи, съ условіемъ раздѣлить его съ Пруссіей и выступить въ качествѣ посредника (en qualité de mediateur), если только заинтересованныя стороны желаютъ этого и пригласятъ его“. Фридрихъ-Вильгельмъ считалъ „наслажденіемъ“ передать директоріи о счастливомъ исходѣ „пріятнаго порученія“ [1]), спѣша имъ заявить полную готовность продолжать дѣло, и передавая въ Петербургъ объясненія французскаго правительства [2]).

Фридрихъ-Вильгельмъ усердствовалъ не на словахъ только. Онъ добивался въ Петербургѣ „болѣе пространнаго“ отвѣта,—и Брюль получилъ объяснительную ноту отъ Безбородка [3]). Въ ней сказано: „При нынѣшнемъ положеніи дѣлъ, Россію нельзя считать находящеюся въ войнѣ съ Франціей. Императоръ съ самаго восшествія на престолъ далъ неопровержимыя доказательства своей умѣренности и миролюбія. Онъ не только не обнаружилъ никакихъ враждебныхъ намѣреній противъ Франціи, но остановилъ походъ значительнаго корпуса, назначеннаго дѣйствовать противъ этой державы. Онъ употребилъ все свое вліяніе на своихъ союзниковъ, чтобы привести ихъ къ быстрому замиренію. Онъ объявилъ, что съ удовольствіемъ предложитъ свои услуги и свое формальное посредничество для достиженія этой цѣли, какъ только пригласятъ его заинтересованныя стороны. Наконецъ, всѣ шаги императора были запечатлѣны свойственною ему прямотой и твердостью взгляда. Въ силу этихъ самыхъ принциповъ и его искренняго стремленія ко всеобщему спокойствію, императоръ съ полнымъ удовольствіемъ склонится къ желаніямъ французскаго правительства, въ особенности, если такое сближеніе (какъ обѣщаетъ нота французскаго министра) дѣйствительно можетъ ускорить спа-

[1]) „Il m'est doux d'avoir à transmettre à la Republique des explications aussi analogues à l'ésprit de celles dont elle m'a confié la communication et d'avoir ainsi obtenu heureusément le but de la commission agréable dont je me suis chargé“.

[2]) „Frédéric-Guillaume à M-r de Sandoz-Rollin à Paris. A Pyrmont le 3 juillet 1797. Vol 139, № 142.

[3]) „ Note verbale“. Copie. Recue à la Directoire le 4 fructido an 5.

сительное дѣло всеобщаго замиренія, и если эти переговоры доставятъ императору средство быть полезнымъ своимъ союзникамъ".

Въ этой, искусно составленной, нотѣ опять проглядывало желаніе петербургскаго двора стать посредникомъ, принять прямое участіе въ дѣлахъ Европы,—и именно Германіи. Тутъ Павелъ I оказался вѣрнымъ преемникомъ своей матери или, вѣрнѣе, преданій русской дипломатіи, завѣщанныхъ Петромъ I: выражаясь языкомъ XVIII-го вѣка, онъ хотѣлъ воспользоваться Франціей, какъ орудіемъ, чтобы стать „арбитромъ Европы" и имѣть „дѣятельную инфлюенцію" въ нѣмецкихъ дѣлахъ. Оттого въ Петербургѣ такъ схватились за предложеніе директоріи, что въ одно время съ отвѣтомъ Брюлю былъ посланъ приказъ Колычеву не искать, но и не избѣгать встрѣчи съ Кальяромъ, и въ частномъ разговорѣ съ нимъ „дать ему разумѣть, что императоръ не почитаетъ себя въ войнѣ съ Франціей,—ничего не предпринималъ во вредъ ей, намѣренъ жить со всѣми мирно и совѣтуетъ союзникамъ своимъ скорѣе прекратить войну" [1]).

Колычевъ горячо взялся за свою роль. Въ концѣ іюня онъ выразилъ Кальяру желаніе побесѣдовать съ нимъ. Прусскій министръ, графъ Финкенштейнъ, пригласилъ ихъ обоихъ къ себѣ на обѣдъ, послѣ котораго они, каждый отдѣльно, прибыли въ паркъ, расположенный у заставы Берлина. Послѣ взаимныхъ привѣтствій и поздравленій, Колычевъ повторилъ все, сказанное вице-канцлеромъ Брюлю касательно склонности императора къ „полному сближенію" между двумя странами (rapprochement complet) и его желаніе или „быть посредникомъ (sa médiation)", или помочь миру „своими услугами (ses bons offices)". Затѣмъ онъ просилъ Кальяра сообщить ему свои мысли о способѣ соглашенія. Кальяръ отвѣчалъ, что способъ очень простъ, такъ какъ дѣло идетъ „только о дружескихъ и торговыхъ связяхъ". Для этого достаточно конвенціи изъ двухъ-трехъ статей: въ одной говорилось бы о возстановленіи политическихъ отношеній между двумя націями въ прежнемъ видѣ; другая установляла бы отношенія торговыя или на основаніи договора 1786 года или по новому трактату на условіи „наиболѣе благопріятствуемыхъ націй". По словамъ Колычева, Кальяръ „ни слова не сказалъ о медіаторствѣ".

Колычевъ обѣщалъ снестись съ своимъ дворомъ. Кальяръ испрашивалъ у директоріи инструкцій о полномочіи: онъ надѣялся

[1]) „Рескриптъ Колычеву", отъ 19 іюня 1797 г.

на скорое заключеніе договора, тѣмъ болѣе, что положеніе Берлина на половину сокращало время.

Вскорѣ и изъ Вѣны увѣдомили Павла, что Франція приметъ его посредничество, но лишь въ томъ случаѣ, если Россія заключитъ съ нею отдѣльный миръ и, какъ нейтральная держава, откажется помогать Австріи. Тогда Павелъ назначитъ, на мѣсто Колычева, чрезвычайнымъ посломъ Панина, которому поручилъ заключить договоръ съ Франціей и принять посредничество въ переговорахъ между Вѣной и Парижемъ. Но условія, выставленныя царемъ, свидѣтельствовали не объ особенно дружественныхъ чувствахъ. Въ торговлѣ не обѣщалось облегченій. Напротивъ, Павелъ объявлялъ поучительно: „мы не можемъ обойтиться безъ нѣкоторыхъ ограниченій: вещи не къ выгодѣ жизни, но къ одной суетной и оказательной только роскоши служащія, и какими наипаче французскія рукодѣлія славятся, пожирали бы съ избыткомъ все, что трудами и потомъ земледѣльца или ремесленника пріобрѣтается, какъ то видѣли опыты сему до 1794 г., т.-е. покуда учиненныя запрещенія возъимѣли дѣйствіе". Въ политическомъ отношеніи высказывались чувства брезгливости и подозрительности: „мы тутъ также не пользу, а болѣе затрудненія предусматриваемъ, по образу мыслей, въ семъ народѣ вкоренившемуся и для всякаго благомыслящаго отвратительному". Панину предписывалось устранить всякія притязанія директоріи насчетъ Польши и французскихъ эмигрантовъ. Онъ не долженъ былъ увлекаться и главнымъ дѣломъ—примиреніемъ воюющихъ: „не должно показывать большой и усильной жадности къ такому дѣлу, въ которомъ, конечно, много хлопотъ и трудовъ предстоитъ, и кои мы единственно по собственнымъ нашимъ миролюбивымъ расположеніямъ для блага рода человѣческаго поднять не отрекаемся, но буде французское правленіе окажетъ свое желаніе, тогда вы можете увѣрить оное въ нашей готовности споспѣшествовать прекращенію народныхъ бѣдствій" [1]).

Французскій министръ иностранныхъ сношеній, не знавшій повелѣній Панину, думалъ, что дѣло идетъ хорошо. 16-го августа, онъ заявилъ, въ своемъ докладѣ директоріи [2]), что дѣло, „начатое по ея приказу и согласно съ ея инструкціями", приходитъ къ желанному концу: остается только послать Кальяру инструкціи и полномочія для заключенія торговаго и дружествен-

[1]) „Рескриптъ Панину", 5 іюня 1797 г.

[2]) Этотъ докладъ, на основаніи котораго мы изложили ходъ переговоровъ, имѣетъ внизу помѣтку: Approuvé par le Directoire Exécutif, 26 thermidor an 5, и подпись четырехъ директоровъ.

наго договора. Но министръ обратилъ вниманіе на важное обстоятельство, которое могло разрушить все: „замѣчательно,—говоритъ онъ,—какъ императоръ намекнулъ на свое желаніе быть посредникомъ (médiateur) въ переговорахъ о всеобщемъ мирѣ, и заодно съ прусскимъ королемъ, причемъ нельзя опредѣлить, насколько послѣдній заинтересованъ въ этомъ постороннемъ предложеніи (proposition incidente).

Кальяръ первый оцѣнилъ значеніе „этого притязанія Россіи". Уже 10 іюля онъ писалъ въ Парижъ: „опасно допустить это, но и тяжело совсѣмъ отвергнуть. Предстоящій миръ съ нѣмецкою имперіей столь же важное политическое дѣло, какъ вестфальскій договоръ, и онъ станетъ, въ свою очередь, основнымъ закономъ Германіи. Стало быть, допустить Россію въ качествѣ посредницы или поруки за миръ значило бы доставить ей средство вмѣшиваться во всѣ дѣла Германіи и пріобрѣсти огромное вліяніе, тѣмъ болѣе опасное, что оно можетъ слиться съ вліяніемъ Австріи: два императорскихъ двора, дѣйствуя согласно, представляли бы силу болѣе могущественную, чѣмъ Пруссія и протестантская партія. Не сегодня только Россія старается вмѣшиваться въ дѣла германскаго корпуса: это отрасль политической системы Екатерины II. Задача республики и всѣхъ друзей мира—по возможности, отстранять тутъ усиленія этой безпокойной и мятежной (inquiète et turbulente) державы. Мое мнѣніе нужно уклониться отъ желанія Павла I вмѣшаться въ переговоры, всячески щадя самолюбіе государя, съ которымъ мы намѣрены примириться".

Здѣсь выразились вѣрный взглядъ на нѣмецкую политику Россіи и традиціонная ненависть французовъ къ Габсбургамъ. Министръ самъ думалъ также съ самаго начала. Предвидя опасное притязаніе Россіи, онъ писалъ Кальяру: „Россія можетъ вмѣшиваться въ дѣла Германіи лишь въ качествѣ поруки за тешенскій миръ; слѣдовательно, пока Баварія неприкосновенна, нѣтъ причинъ для ея вмѣшательства"

Но французскій министръ надѣялся уладить дѣло, такъ какъ Павелъ I „только выражалъ желаніе посредничать, а не требовалъ этого, какъ своего права". Притомъ самое желаніе высказано „далеко не прямо и положительно". Поэтому онъ предложилъ директоріи благодарить прусскаго короля за услуги, просить его продолжать ихъ, и увѣдомить его, что Кальяръ получитъ полномочіе для заключенія договора съ русскимъ дипломатомъ. Министръ совѣтовалъ даже прибавить: „директорія съ удовольствіемъ готова воспользоваться добрыми намѣреніями императора

по отношенію къ миру съ Германіей; но такъ какъ уже начаты переговоры объ этомъ мирѣ, то она опасается проволочекъ, и потому не смѣетъ требовать двойного посредничества Пруссіи и Россіи".

Директорія одобрила докладъ своего министра, и Кальяръ представилъ Панину проектъ договора о „мирѣ, спокойствіи и дружбѣ", о торговыхъ выгодахъ и о лицахъ одной націи, пребывающихъ во владѣніяхъ другой.

Такъ, несмотря на новое облачко на политическомъ небосклонѣ, въ видѣ „посредничества", всѣ надѣялись на успѣхъ переговоровъ. Миролюбивые слухи, конечно, распространялись въ народѣ, жаждавшемъ успокоенія. Къ концу 1797 года, французы уже не знали, что такое для нихъ русскіе—враги или друзья? Въ ноябрѣ министръ иностранныхъ дѣлъ получилъ любопытное письмо отъ одной торговой компаніи изъ приморской Булони, по поводу русскаго судна, приведеннаго корсаромъ. Не зная, что дѣлать съ этою добычей, купцы писали: „Въ этой общинѣ не увѣрены, дѣйствителенъ этотъ призъ или нѣтъ? Нѣкоторые утверждаютъ, что мы не въ войнѣ съ Россіей; большинство же держится противнаго мнѣнія". Министръ немедленно отвѣтилъ: „меня изумляетъ эта неувѣренность касательно нашихъ отношеній къ Россіи. Мы несомнѣнно находимся въ войнѣ съ этою державой: ясные доводы—ея полное приступленіе къ коалиціи, денежная помощь, отрядъ ея судовъ, присоединенныхъ къ англійскому флоту. Суда этой націи во всѣхъ отношеніяхъ добыча нашихъ корсаровъ. Можете руководиться этимъ моимъ мнѣніемъ, заявляемымъ формально". Несмотря на столь рѣшительный отвѣтъ, весной 1798 года, нантскіе негоціанты спрашивали министра, съ какихъ же поръ Франція въ войнѣ съ Россіей? Правительство отвѣчало: „считайте съ указа 8-го февраля 1793 года, которымъ французы изгонялись изъ предѣловъ Россіи [1]).

[1]) Это рѣшеніе директоріи мотивируется въ отношеніи министра иностранныхъ дѣлъ къ министру юстиціи (29 messidor an 7). Оказалось, что „даже до сей минуты не было формальнаго объявленія войны". Но указъ 8-го февр. 1793 г., „хотя это было внутреннее дѣло правительства", имѣлъ „внѣшнія и публичныя послѣдствія": французы „изгонялись изъ Россіи съ оскорбленіями, съ нарушеніемъ ихъ чести и имущественныхъ правъ", а оставшіеся должны были „отречься отъ своего отечества". А 25-го марта былъ подписанъ договоръ между Россіей и Англіей противъ Франціи. „Этотъ документъ напечатанъ у Мартенса: онъ положительно существуетъ и достаточно доказываетъ, что тогда Россія уже вступила въ войну съ нами". Министръ замѣтилъ, что „можно бы отнести начало войны и дальше: chargé d'affaires Genest былъ вынужденъ покинуть Петербургъ послѣ 10 апрѣля 1792; а это конечно было уже враждебное дѣйствіе".

Но въ концѣ того же 1797 года, политическая картина начала измѣняться. На театрѣ войны французы все болѣе и болѣе тѣснили австрійцевъ, которые, въ отчаяніи, усиливали свои просьбы въ Петербургѣ и запугивали Павла революціей да разжигали его недовѣріе къ подозрительному поведенію Пруссіи. Въ сентябрѣ царь уже приказывалъ Панину поставить на видъ Кальяру, что онъ не потерпитъ разгрома Австріи и Германіи. А Разумовскому въ Вѣну онъ писалъ, что „не обинуясь" защититъ Австрію въ случаѣ, если она выкажетъ умѣренность, а французы не перестанутъ воевать и Пруссія пристанетъ къ нимъ „по своимъ корыстнымъ видамъ". Вслѣдъ затѣмъ былъ отвергнутъ проектъ договора, поданный Кальяромъ, въ особенности за статьи объ иностранцахъ: Павелъ не хотѣлъ пускать въ Россію людей „отвратительнаго образа мыслей". Наконецъ, Панинъ получилъ приказъ прервать переговоры съ Кальяромъ при первомъ удобномъ случаѣ, что и было исполнено по поводу заарестованія французами одного русскаго консула. Лишь послѣ этого Кальяръ получилъ отъ директоріи новый проектъ договора, которому уже не могъ дать хода.

Въ ноябрѣ явился указъ о принятіи въ русскую службу корпуса эмигрантовъ, какъ „людей, жертвовавшихъ собою вѣрности къ законному государю". Затѣмъ Павелъ пріютилъ Людовика XVIII въ Митавѣ, пообѣщавши окружить его „почестями, подобающими его сану" и „стараться всѣми мѣрами предупреждать его желанія при каждомъ случаѣ, могущемъ споспѣшествовать его счастію и спокойствію" [1]). На содержаніе его, признаннаго одною Россіей, было назначено по 200.000 р. въ годъ, сверхъ суммы, необходимой на содержаніе сотни его гвардейцевъ. Вслѣдъ затѣмъ явились приказы не пускать въ Россію иностранцевъ, причемъ особенно имѣлись въ виду французы.

VI.

При такихъ мрачныхъ предзнаменованіяхъ начался 1798 годъ. Вражда между старымъ режимомъ и революціей быстро разгоралась. Въ іюнѣ были конфискованы всѣ французскіе товары и корабли въ Россіи; въ октябрѣ—та же участь постигла французскіе капиталы въ русскомъ государственномъ банкѣ.

Въ свою очередь, парижскій архивъ принимаетъ другой видъ. Въ его документахъ уже нѣтъ ничего миролюбиваго. Французы

[1]) „Павелъ Людовику XVIII" въ декабрѣ 1797 г.

усердно перехватываютъ русскія депеши, въ особенности донесенія знакомаго намъ Лизакевича, объяснявшія движенія французскихъ войскъ въ Италіи. Изъ петербургскихъ писемъ они узнаютъ о враждебномъ и подозрительномъ настроеніи царя, которое рѣзко обнаруживалось, кромѣ вышеуказанныхъ фактовъ, въ гоненіи, воздвигнутомъ въ Россіи на иностранные журналы и рукописи [1]). И уже не мирныя предложенія стекаются въ портфели министерства иностранныхъ сношеній. Изъ нихъ самое характеристичное и любопытное принадлежало нѣкоему Уольсею, проживавшему въ Страсбургѣ.

13-го октября, Уольсей писалъ директоріи, что онъ „въ состояніи доставить весьма пригодное средство сдѣлать много зла Россіи и добра—Франціи"; его планъ былъ „тѣмъ болѣе выгоденъ, что вовсе не требовалъ издержекъ". Прошло всего четыре дня—и Уольсей упрекалъ директорію въ медленности, такъ какъ его проектъ требовалъ быстраго исполненія; онъ просилъ немедленно вызвать его въ Парижъ. Отвѣта опять не было. Уольсей не выдержалъ—самъ пріѣхалъ въ Парижъ, и здѣсь, 27-го ноября, отправилъ третье письмо директоріи. Оно поясняетъ нетерпѣніе прожектера: ненависть, жажда мести кипѣли въ его груди. „Я отомщу,—говоритъ онъ,—державѣ, которая, безъ всякаго личнаго повода, мучила меня за то, что я обнаружилъ естественное во всякомъ мыслящемъ существѣ мнѣніе, отвергнувъ присягу, которая унизила бы меня въ моихъ собственныхъ глазахъ и лишила бы уваженія даже со стороны диктовавшихъ ее. Такимъ образомъ, я мщу деспотизму и вырву изъ его власти великій народъ, надъ которымъ это чудовище спокойно производитъ самыя низкія жестокости... Мой планъ задуманъ пять лѣтъ тому назадъ, когда меня, вмѣстѣ со многими, бросили въ тюрьму въ Польшѣ, благодаря смѣшному и злому паспорту, которымъ снабдили меня, когда я долженъ былъ покинуть Россію. Если я долго медлилъ, то потому, что петербургскій кабинетъ былъ руководимъ самою Екатериной, которая настолько же отличалась политическимъ тактомъ и ловкостью, насколько ея сынъ отличается ихъ отсутствіемъ: она всегда сохраняла видимый нейтралитетъ, доставлявшій то спокойствіе, котораго не умѣетъ достигнуть горячій (emporté) и мало-послѣдовательный Павелъ,—спокойствіе, о которомъ онъ пожалѣетъ, когда уже не будетъ въ состояніи пользоваться имъ... Прибавлю, что мое средство не только произведетъ революцію въ Россіи и Польшѣ, но и весьма легко стѣснитъ властителя (il serait

[1]) „Extrait d' une lettre de Pétersbourg", 6 juillet 1798.

très facile de reduire le Grand Seigneur), съ помощью множества враговъ, которыхъ поднимутъ противъ него и въ Азіи, и въ Европѣ, возвративъ независимость множеству націй, въ особенности же народамъ малой Татаріи и Крыма".

Директорія пересылала письма Уольсея министру полиціи, который отправлялъ копіи съ нихъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ. На послѣднемъ изъ нихъ директоръ Ревбель помѣтилъ: „передать министру иностранныхъ сношеній, который долженъ переговорить съ Уольсеемъ, донести о результатахъ и высказаться относительно того, насколько Уольсей можетъ быть полезенъ для привлеченія русскихъ войскъ (pour cultiver les dispositions des troupes russes). Пока министръ собирался исполнить порученіе, директорія получила новое письмо отъ Уольсея съ новыми упреками; авторъ спрашивалъ, получили ли его письма? Наконецъ, 3 февраля 1799 года, Уольсей обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ министру иностранныхъ сношеній. Онъ прибавлялъ, что хорошо знаетъ Россію во многихъ отношеніяхъ, а также владѣетъ многими языками, въ особенности русскимъ. „Только это дѣло удерживаетъ меня въ Парижѣ", писалъ онъ въ заключеніе. На другой день министръ извѣстилъ Уольсея, что ждетъ его къ себѣ [1]).

Въ парижскомъ архивѣ не сохранилось дальнѣйшихъ слѣдовъ этого любопытнаго дѣла.

Между тѣмъ, какъ во Франціи кипѣли мрачныя страсти по отношенію къ „деспотизму", отъ котораго страдаетъ „великій народъ", въ Россіи шли приготовленія къ уничтоженію очага „отвратительныхъ" идей, „философскихъ потрясеній".

Уже въ январѣ 1798 года, когда собрался раштатскій конгрессъ для рѣшенія судьбы Германіи, Павелъ I убѣждалъ союзниковъ оставить взаимныя пререканія, чтобы дружно „оградить себя отъ распространенія пагубныхъ замысловъ Франціи, клонившихся къ разрушенію порядка и законной власти". Безъ него и не могло быть согласія между сварливыми чинами нѣмецкой имперіи. Самъ императоръ Францъ II предложилъ прусскому королю просить царя о посредничествѣ между ними и написалъ о томъ же самому Павлу. Онъ получилъ отвѣтъ, полный живой радости. Царь надѣялся на „искренность и безкорыстіе юнаго прусскаго монарха": въ годовщину воцаренія Павла I, 6-го ноября 1797 г., вступилъ на прусскій престолъ Фридрихъ-Вильгельмъ III, которому было тогда 27 лѣтъ. Павелъ не только принималъ предложеніе Франца, но взялся самъ начать переговоры съ Фридри-

[1]) Все дѣло Уольсея въ v. 139, №№ 155—158, 163, 164.

хомъ-Вильгельмомъ III, не дожидаясь отъ него перваго шага. Онъ желалъ, чтобы соперники немедленно прислали ему свои ультиматумы, и надѣялся затѣмъ образовать непобѣдимый оплотъ противъ Франціи въ формѣ новой коалиціи [1]).

Мѣстомъ для переговоровъ Павелъ назначалъ Берлинъ, по удобству его географическаго положенія. Такъ какъ и Пруссія тогда же обратилась къ нему за посредничествомъ, то въ апрѣлѣ былъ посланъ въ столицу Пруссіи князь Репнинъ. Въ обширной инструкціи ему ясно выразился взглядъ царя на политику Европы того времени. Павелъ подозрительно смотрѣлъ не только на Пруссію, но и на Австрію, политика которой въ Кампо-Форміо казалось ему „самою мелкой, коварной, вовсе неприличной". Онъ считалъ обѣ державы „завистливыми" и приказывалъ Репнину „поставить ихъ желанія въ предѣлы крайней умѣренности", склоняя ихъ обѣихъ, чтобы „посредствомъ взаимной скромности въ притязаніяхъ сохранить германскую имперію колико можно ближе къ ея прежнему раздѣленію и составу". Затѣмъ царь не хотѣлъ вмѣшиваться въ дальнѣйшую жизнь Германіи; но не могъ удержаться отъ двухъ соблазновъ: онъ выразилъ желаніе доставить курфюршеское достоинство родственному виртембергскому дому и уничтожить вольные имперскіе города.

Послѣднее желаніе связано съ главною идеей, которою былъ одушевленъ Павелъ. О вольныхъ городахъ сказано въ инструкціи Репнину: „По опытамъ оказывается, что подобныя тѣла скорѣе другихъ заражаются пагубною болѣзнію мнимой вольности. Исключаются однакожъ города анзеатическіе, которые отъ давняго времени совершенно независимы, ограничивая себя въ полезной и для другихъ народовъ торговлѣ, сохраняя не незамѣняемый образъ управленія и ограждая себя отъ пагубныхъ противу нихъ замысловъ французскихъ, заслуживаютъ особое вниманіе". Главною задачей, „знаменитымъ подвигомъ" Репнина было соединить державы, чтобы „положить на будущее время преграду гибельнымъ замысламъ" республики, такъ какъ Павелъ „ощущалъ въ полной мѣрѣ, что намѣренія французовъ не ограничиваются однимъ только для себя собственно утвержденіемъ введеннаго ими общенароднаго правленія, но къ тому простираются, чтобъ, опровергая однѣ за другими державы заразою вредныхъ правилъ своихъ, поставить всѣ оныя подъ владычество свое или привесть въ сущую ничтожность". Царь думалъ, что „оставшіяся еще внѣ заразы государства ничѣмъ толь сильно не могутъ обуздать буй-

[1]) Павелъ I Францу II, отъ 5 (16) марта 1798 г.

ство сея націи", какъ оборонительнымъ союзомъ между Россіей, Австріей, Пруссіей и Англіей, къ которому должны примкнуть Данія, Швеція и нѣмецкіе князья. Предполагалось устроить обычный договоръ, но въ секретныхъ статьяхъ на первомъ планѣ установить „мѣры осторожности противъ подвиговъ правленія французскаго на распространеніе вредныхъ ихъ правилъ" [1]).

Новое направленіе Павла I быстро развивалось, подъ вліяніемъ обстоятельствъ. Панину удалось овладѣть важною тайной. Оказалось, что среди поляковъ господствовало возбужденіе. Они составляли легіоны въ Италіи и Молдавіи, и каждый солдатъ носилъ съ собой горсть польской земли. Представительныя лица среди нихъ подали адресъ въ Парижѣ на счетъ возстановленія рѣчи посполитой. Директорія отвѣчала: „будьте тихи и спокойны, какъ истинные республиканцы; мы никогда не забудемъ услугъ, оказанныхъ вами нашей революціи; на время затаите месть въ своихъ сердцахъ". Но для Павла I было обиднѣе всего покровительство, которое нашли поляки при берлинскомъ дворѣ, въ лицѣ принца Генриха.

Герой семилѣтней войны, одно время правая рука своего брата, Фридриха II, Генрихъ давно очаровалъ поляковъ своею храбростью и былъ бы ихъ послѣднимъ королемъ, еслибы не помѣшала Екатерина II. Въ послѣдніе годы стараго Фрица онъ игралъ знакомую историкамъ роль принца-радикала, вмѣстѣ съ наслѣдникомъ престола. Наканунѣ революціи онъ пріѣхалъ въ Парижъ, гдѣ друзья „свободы и философіи" окружали его оваціями. При устройствѣ союза князей, этотъ „молодой" дворъ, руководимый неугомоннымъ министромъ, Герцбергомъ, составлялъ средоточіе партіи дѣйствія. Онъ старался выхватить великое дѣло изъ рукъ дряхлаго короля и прикидывался „патріотомъ", т.-е. защитникомъ неприкосновенности нѣмецкой имперіи. Въ сущности же партія дѣйствія, одушевленная гогенцоллернскою отвагой, осмѣивала союзъ князей Фридриха, какъ „незаряженное ружье", которое только мѣшало ей „усилить Пруссію на счетъ нѣмецкихъ государствъ". Когда партія дѣйствія заняла престолъ, она стала энергично работать на погибель Германіи, съ ея главою—нѣмецкимъ императоромъ. А такъ какъ Россія поддерживала Австрію, то ея естественными союзниками стали французы и поляки.

Сношенія поляковъ съ принцемъ Генрихомъ были раскрыты Панинымъ. Съ помощью золота, онъ перехватилъ депешу Кальяра директоріи, въ которой описывался разговоръ съ принцемъ

[1]) „Рескриптъ Репнину", отъ 8 апрѣля 1798 г.

Генрихомъ. Генрихъ обѣщалъ уговорить Фридриха-Вильгельма III образовать новое государство изъ польскихъ земель, отошедшихъ къ Пруссіи, съ принцемъ гогенцоллернскаго дома во главѣ. Французы надѣялись присоединить потомъ къ этому государству остальную часть рѣчи-посполитой, раздѣленную между Россіей и Австріей [1]).

Раздраженный Павелъ послалъ Репнину новое, болѣе внушительное приказаніе. Русскій посолъ долженъ былъ настоятельно требовать приступленія Пруссіи къ оборонительному союзу. Побужденіемъ было выставлено стремленіе французовъ „достигать всемірнаго владычества посредствомъ заразы и утвержденія правилъ безбожныхъ и порядку гражданскому противныхъ". Павелъ I требовалъ немедленно принять мѣры противъ „общихъ непріятелей вѣры христіанской и власти законной". Но наступательныя дѣйствія противъ французовъ Павелъ имѣлъ въ виду лишь въ томъ случаѣ, „когда бы буйство ихъ простиралось на прямыя противу насъ дѣйствія оружіемъ или возмущеніемъ новыхъ нашихъ подданныхъ", а также еслибы французы напали на ганзейскіе города или на Германію.

Репнинъ надѣялся на полный и быстрый успѣхъ. Въ Берлинѣ распространялись такой же страхъ и такое же негодованіе относительно „заразы развратныхъ правилъ", какъ въ Петербургѣ. Высшее общество—дворъ и знать, а также военные, мечтали о союзѣ съ Россіей на погибель Франціи. Полиція была на-сторожѣ, разыскивая всюду тайныя симпатіи къ „цареубійцамъ". Вѣсти изъ Раштадта о неумѣренныхъ требованіяхъ директоріи разжигали нѣмецкій патріотизмъ пруссаковъ. Онѣ подѣйствовали даже на неподвижнаго короля, который склонился къ мнѣнію Гарденберга, что теперь лучшій случай выставить Пруссію защитницей „фатерланда", т.-е. мелкихъ князей нѣмецкой имперіи, какъ отъ алчности французовъ, такъ и отъ коварства Австріи. Прусскій министръ въ Раштадтѣ вручилъ французскимъ уполномоченнымъ ноту, въ которой совѣтовалось директоріи отказаться отъ своихъ „изумительныхъ" притязаній, если только она „искренно желаетъ сохранить дружбу и доброе расположеніе Пруссіи".

Репнинъ съ торжествомъ въѣхалъ въ Берлинъ, сопровождаемый многочисленною и блестящею свитой. Общество приняло его отлично; Панинъ тотчасъ представилъ его королю. Нѣсколько времени спустя, подобный же пріемъ встрѣтилъ австрійскій уполномоченный, Кобенцль. По словамъ французскаго агента, „какъ

[1]) „Депеши Панина", отъ 29 дек. 1797 и 13 января 1798 г.

только онъ вышелъ изъ экипажа, всѣ салоны заговорили о войнѣ съ республикой, всѣ снова стали австрійскими". Совсѣмъ не то произошло съ французскимъ дипломатомъ, котораго прислала директорія, видя, что Берлинъ становится средоточіемъ политики. А это былъ самъ Сіейсъ — громкое имя среди „цареубійцъ", важный „философъ" и спеціалистъ по изготовленію конституціонныхъ хартій. Желая облагодѣтельствовать и нѣмцевъ, онъ привезъ съ собою проектъ конституціи германской имперіи. Надменный Сіейсъ вполнѣ надѣялся сразу плѣнить всѣхъ блескомъ своего революціоннаго имени и глубиной своей учености, тѣмъ болѣе, что данное ему порученіе соотвѣтствовало его убѣжденіямъ. Вотъ его собственныя слова, которыя отлично подтверждаютъ нашу мысль о всеобщихъ симпатіяхъ во Франціи къ Пруссіи съ половины прошлаго до половины нынѣшняго вѣка: „я принялъ это порученіе, потому что всегда, на всѣхъ постахъ въ моемъ отечествѣ, я стоялъ за тѣсное сближеніе между Франціей и Пруссіей; это—система Фридриха II, великаго среди королей, безсмертнаго среди людей".

Впослѣдствіи Сіейсъ хвастался, что много сдѣлалъ въ теченіе своего годичнаго пребыванія въ Берлинѣ. Его друзья отчасти за это провели его въ директоры. Но на дѣлѣ было иначе. Сіейсъ ошибся въ своихъ ожиданіяхъ. Человѣкъ, который глубокомысленно придавалъ болѣе значеніе соціальному, чѣмъ политическому строю, такъ что вскорѣ склонился къ монархіи,—человѣкъ, который былъ искреннимъ демократомъ, горячо ненавидѣлъ знать,—онъ забылъ, что ѣдетъ въ страну грубаго феодализма, юнкерскихъ привилегій. „Наслѣдственники (héréditaires—презрительная кличка аристократовъ, изобрѣтенная Сіейсомъ) возмутились появленіемъ „цареубійцы". А генералы и офицеры говорили: „не хотимъ знакомиться съ нимъ, безъ всякихъ разговоровъ!" Сіейсъ писалъ въ Парижъ: „наслѣдственники болѣе горды, щекотливы, возбуждены, чѣмъ когда-либо, да еще способны на все. Говорятъ имъ, что я очень разсудителенъ; они вѣрятъ, но—революціонеръ, цареубійца!" Сіейсъ бросился было къ французской колоніи, пріютившейся въ Берлинѣ со времени отмѣны нантскаго эдикта. Но и она пряталась отъ него, опасаясь зоркихъ глазъ полиціи. Дворъ давалъ тонъ юнкерской знати. А молодого короля никто не могъ понять: холодный, молчаливый, замкнутый въ себѣ самомъ, Фридрихъ Вильгельмъ III имѣлъ видъ существа запуганнаго и недовѣрчиваго. Послѣ получасовой аудіенціи, Сіейсъ писалъ домой въ недоумѣніи: „разговоръ былъ затруднителенъ и незначителенъ". Одинъ принцъ Геприхъ утѣшилъ француза. Онъ принялъ его тепло и

льство. Генрихъ, устроившій базельскій миръ, сохранялъ старыя симпатіи къ Франціи и проповѣдывалъ союзъ съ нею: онъ не довѣрялъ австрійцамъ и ненавидѣлъ русскихъ. Онъ часто бесѣдовалъ съ Сіейсомъ, руководилъ имъ, раскрывалъ ему планы и силы Россіи.

Вскорѣ Сіейсъ понялъ, что ничего не добьется. Прусское правительство не могло прямо помогать Франціи, еслибы и хотѣло, въ виду сильныхъ союзниковъ и своихъ польскихъ владѣній, точно также, какъ оно не могло сойтись съ коалиціей, въ виду соперничества съ Австріей. Ему ничего не оставалось болѣе, какъ придерживаться спасительнаго нейтралитета, что оно и исполняло до іенской катастрофы, доказавшей значеніе этой системы для Берлина. Сама директорія поняла фантастичность своихъ надеждъ, когда Гаугвицъ сказалъ: „наши истинные интересы — интересы монархіи, противные республиканской системѣ; монархіи могутъ воевать между собой, но онѣ не захотятъ губить другъ друга". Видя, что раштадтскія дѣла способны даже вызвать вражду Пруссіи, директорія предписала Сіейсу ограничить свои требованія нейтралитетомъ; онъ только долженъ былъ ссорить Вѣну съ Берлиномъ, для чего могъ даже показать Гаугвицу тайныя статьи Кампо-формійскаго договора.

Но и союзники ничего не добились въ Берлинѣ. Репнинъ и Кобенцль прибыли съ блескомъ и были приняты торжественно, такъ что Сіейсъ писалъ директоріи съ досадой: „какая разница между прибытіемъ двухъ министровъ — австрійскаго и французскаго!" Но Репнинъ только разъ былъ допущенъ къ Фридриху-Вильгельму III, который такъ поразилъ его своими невразумительными рѣчами, что онъ написалъ въ Петербургъ: „я здѣсь такую новость и необычайное въ королѣ нашелъ, что изъяснить того не могу". Репнину пришлось вести дѣло съ изворотливымъ другомъ принца Генриха, Гаугвицомъ. Онъ вручилъ ему строгую ноту, гордо изъяснивъ при этомъ, что революція грозитъ всяческими бѣдствіями всему міру, и что „стоитъ Пруссіи пристать къ союзу, узелъ котораго составляютъ Россія съ Англіей, — и Австрія тотчасъ присоединяется, т.-е. Европа спасена". Гаугвицъ отвѣчалъ, что Пруссія не отстанетъ отъ системы нейтралитета, которой она обязана своимъ спокойствіемъ и благоденствіемъ. Затѣмъ дворъ отправился въ Кенигсбергъ и Варшаву. Репнинъ остался въ Берлинѣ, жилъ важнымъ бариномъ, громко говорилъ о своей миссіи, весьма рѣзко бранилъ французскіе принципы: онъ старался воскресить партію, увлекшую Фридриха-Вильгельма II въ первую коалицію. Юнкерская знать начала одушевляться, но

только на словахъ: смѣло болтали въ четырехъ стѣнахъ и въ богатыхъ салонахъ; но умолкали при появленіи бдительной полиціи.

Единственнымъ утѣшеніемъ Репнина оставались дружескія бесѣды съ англійскимъ министромъ и въ особенности съ Кобенцлемъ, который примкнулъ къ нему тотчасъ по пріѣздѣ. Но самъ Кобенцль имѣлъ не болѣе успѣха. Правда, король далъ ему три аудіенціи; но его послѣднимъ словомъ была слѣдующая гнѣвная фраза: „я нарушу нейтралитетъ, но только съ тѣмъ, чтобы выступить противъ того, кто слишкомъ будетъ тянуть меня на свою сторону". Затѣмъ Гаугвицъ отвѣчалъ на новыя настоянія Репнина: „мы не виноваты ни передъ нашими друзьями, ни передъ нашими союзниками; мы не разсоримся ни съ вами, ни съ республикой. Вѣрьте, мы не думали союзиться съ нею". — „И отлично сдѣлали, — возразилъ Репнинъ: — подписаніе такого договора мой императоръ принялъ бы за объявленіе войны; русскія арміи съумѣли бы драться съ своими врагами и даже съ своими ложными друзьями". Нѣсколько дней спустя, Репнинъ заключилъ союзный договоръ съ Кобенцлемъ и, отправляясь въ Вѣну, сказалъ пруссакамъ: „будемъ воевать съ Франціей заодно съ вами, безъ васъ, или и противъ васъ" [1]). Этотъ грозный поступокъ былъ слѣдствіемъ рескрипта, полученнаго тогда Репнинымъ. Павелъ I заявлялъ, что такъ какъ „коварный министръ короля прусскаго умѣлъ затмить своего государя", то онъ „не находитъ нужнымъ ходить за берлинскимъ дворомъ", по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока этотъ дворъ не „будетъ управляемъ людьми благонамѣреннѣйшими нынѣшняго министерства".

А въ іюлѣ Павелъ объявилъ, что снарядитъ корпусъ на помощь Австріи и эскадру — для Англіи, а на границу выставитъ значительныя силы, чтобы удерживать поляковъ въ спокойствіи, а Пруссію „въ совершенно пассивномъ положеніи, по случаю предстоящей войны". Впрочемъ, Пруссіи оставлялся выходъ въ случаѣ, еслибы ее обидѣли французы, царь обѣщалъ и ей помощь въ 50 т. человѣкъ.

Въ сущности тогда уже началась открытая вражда между представительницами двухъ противоположныхъ началъ въ Европѣ. Въ іюнѣ Бонапартъ, захвативши Мальту, сказалъ въ оффиціальномъ разговорѣ съ властями рыцарскаго ордена: „Всѣ ваши объясненія не мѣшаютъ мнѣ думать, что Россія издавна имѣла виды на Мальту; и мы рѣшились овладѣть ею, чтобы предупредить

[1]) Barante: Histoire du directoire, III, 238 – 243

осуществленіе этого плана“ [1]). Затѣмъ онъ объявилъ, что казнить всякаго грека Эгейскаго моря, который будетъ изобличенъ въ сношеніяхъ съ Россіей, и потопить всякій греческій корабль, плавающій подъ русскимъ флагомъ. Отвѣтомъ на этотъ дерзкій шагъ республиканскаго генерала было принятіе Павломъ званія великаго магистра мальтійскаго ордена, между прочимъ, потому, что законы и уставъ этого ордена внушаютъ любовь къ повиновенію (subordination) и представляютъ могущественное средство противъ зла, причиненнаго слѣпою жаждою нововведеній и необузданнымъ своеволіемъ мысли (une aveugle fureur d'innovation et la licence effrénée de la pensée).

Въ августѣ, изъ Севастополя вышла эскадра на помощь туркамъ и англичанамъ противъ французовъ, „яко буйнаго народа, истребившаго въ предѣлахъ своихъ вѣру и Богомъ установленные законы“,—противъ „правительства, руководимаго единымъ хищеніемъ и грабленіемъ чуждаго, разрушившаго всѣ правила честности и общежитія и у сосѣдственныхъ народовъ, которые, по несчастію, были имъ побѣждены или обмануты вѣроломными его внушеніями“ [2]). Въ концѣ года выступилъ и русскій корпусъ въ Австрію.

Тогда же Россія заключила союзы съ Портой, Англіей и Неаполемъ. Цѣлью ихъ было „противодѣйствовать французскому правительству, которое упорствуетъ въ своихъ умыслахъ на ниспроверженіе закона Божія, престоловъ государскихъ и всякаго порядка, и предуспѣло завоеваніями и заразою развратныхъ правилъ поработить многія области“ [3]). Павелъ I надѣялся даже на присоединеніе Пруссіи къ ополченію монарховъ противъ республики. Онъ приказалъ корпусу Нумсена готовиться въ походъ изъ Бреста, чтобы дѣйствовать противъ французовъ, именно въ виду „плана, выработаннаго государями Россіи, Пруссіи и Англіи“. Впрочемъ, Павелъ I прибавлялъ, что „въ случаѣ отказа Фридриха-Вильгельма III войти въ предположенную коалицію“, корпусъ соединится съ англичанами или австрійцами, чтобы „надзирать за образомъ дѣйствія прусскаго короля, охранять границы и держать въ страхѣ (tenir en respect) Польшу“ [4]).

[1]) Barante, III, 226“.

[2]) „Приказъ вице-адмиралу Ушакову“, отъ 25 іюля.

[3]) Изъ договора Россіи съ Портой, 23 декабря 1798 г.

[4]) Paul au gen. Numsin, 28 янв. 1799; копія въ парижскомъ архивѣ. Мих.-Зиц. не зналъ этого документа: онъ указалъ только (I, 474) на повелѣніе Нумсену принять команду отъ Голицына, отъ 27 января.

VII.

Послѣдній годъ прошлаго вѣка начинался совсѣмъ не хорошо. Въ Европѣ пахло порохомъ и кровью. Передвигались войска грозной коалиціи, которая могла задавить революцію; но юная республика, одушевленная героизмомъ и идейнымъ энтузіазмомъ, очень дорого продала бы свою свободу. Мрачныя предзнаменованія скоплялись въ Петербургѣ, въ этомъ центрѣ движенія противъ „заразы развратныхъ правилъ“. Характеристики въ петербургскихъ письмахъ, перехваченныхъ директоріей, были безнадежны. Испанскій дипломатъ, Онисъ, доносилъ въ Мадридъ: „нѣсколько лѣтъ тому назадъ, здѣсь ввели танецъ, именуемый въ Германіи вальсомъ... Онъ такъ полюбился, что бросили почти всѣ другіе танцы. Но императоръ счелъ за благо запретить его, какъ неприличный по исполненію и вредный для здоровья, вслѣдствіе пыла, съ которымъ предавались ему [1]).

Въ Парижѣ еще болѣе были поражены такимъ громкимъ и „неожиданнымъ“ поступкомъ (acte extraordinaire), какъ принятіе русскимъ царемъ званія главы мальтійскаго ордена. Горячіе французы, какъ только узнали объ этомъ, сочинили великую нелѣпость, которой повѣрили. Директорія извѣщала своихъ агентовъ въ Италіи, что можно всего ожидать послѣ „назначенія главы греческой религіи въ чисто-католическій санъ“: „увѣряютъ, что этотъ государь питаетъ замыслы относительно папства; — что въ Петербургъ уже собралось шесть кардиналовъ, и туда зовутъ еще многихъ другихъ;—что Павелъ I хочетъ собрать вокругъ себя большинство святой коллегіи и заставить ее провозгласить себя преемникомъ Пія VI и апостоловъ. Признаться, трудно повѣрить подобной странности; но, судя по прежнимъ примѣрамъ, можно всего ожидать [2]). Греческому государю, который пожелалъ стать великимъ мальтійскимъ магистромъ и служить обѣдню,—государю, который имѣетъ несомнѣнные виды на турецкую имперію, отчего же не пожелать сдѣлаться папой, чтобы разомъ стать главой трехъ великихъ религій, управляющихъ большою частью вселенной?“.

Неизвѣстно, что́ замышлялъ „греческій“ государь въ будущемъ

---

[1]) „Onis á Saavedra“, Pétersbourg, 12 mars 1799; trad. de l'espagnol „Arch des aff. étr., v. 139, № 164.

[2]) „J'avoue qu'on hesite à croire à de pareilles extravagances, mais celles dont il ne nous est plus permis de douter donnent de la probabilité à toutes celles qu'l'on raconte“. „Aux Citoyens Commissaires du commerce de la Rep. franç. à Ancône“, 3 pluviose an 7. V. 139, № 162.

но естественно, что въ ту минуту онъ былъ весь поглощенъ мыслью объ истребленіи очага заразительныхъ идей. Документы доказываютъ, что тогда Павелъ I уже увлекался этою задачей, какъ представитель идеи, готовый пожертвовать для нея не только Россіей, но и собой. Онъ видѣлъ здѣсь свое призваніе и честь. Всѣ его политическія отношенія, иногда противорѣчивыя или загадочныя, вполнѣ объясняются съ этой точки зрѣнія. Павелъ I былъ душой наступленія на революціонную Францію: силою непреклонной энергіи онъ двинулъ противъ нея неповоротливую, сварливую, завистливую коалицію, и директорія правильно называла нѣмецкаго императора „не болѣе, какъ помощникомъ Россіи“. Покидая развалившуюся коалицію, Павелъ I готовъ былъ одинъ, рыцарски и безкорыстно, безъ всякихъ другихъ соображеній, ринуться на довершеніе дѣла, которое казалось ему завиднымъ порученіемъ провидѣнія. По словамъ дипломата, изучавшаго царя и Суворова, желавшихъ „поставить все въ Европѣ на старую ногу, какъ было до 1789“, „все это въ сущности—пародія рыцарскаго романа, воспоминаніе изъ среднихъ вѣковъ, тэма для воображенія“ [1]). Можно сказать, трогательно было видѣть, какъ, ради „праваго дѣла“, онъ подавлялъ въ себѣ врожденные инстинкты автократа, справедливое недовѣріе къ Берлину, желчное раздраженіе противъ коварной Вѣны и своекорыстнаго Лондона. Все переносилъ Павелъ I ради своего призванія, ради поработившей его идеи. Онъ не былъ въ силахъ только перенести оскорбленіе своей арміи: въ немъ проснулось чувство заслуженнаго, Суворовскаго солдата, когда австрійское правительство, тщетно предававшее наше войска, стало приписывать себѣ русскія побѣды и называть побѣдителей „грабителями и притѣснителями“.

Страсть, овладѣвшая государемъ, рѣзко и эффектно проявлялась почти во всякой бумагѣ, писанной имъ самимъ или его министерствомъ. Цѣль похода нашихъ войскъ опредѣлялась такъ въ манифестѣ, проникнутомъ самымъ торжественнымъ тономъ: „Вооружаемся и идемъ мы на врага человѣчества, противоборника властей, преступника закона Божія, и возстаемъ на возставшаго на благоденствіе цѣлаго свѣта; нанесть повсемѣстно тяжкіе ему удары, прекратить успѣхи, пресѣчь способы къ распространенію власти и заразительныхъ правилъ пагубной вольности, лишить всѣхъ завладѣній, болѣе хитростію, чѣмъ силою оружія пріобрѣтенныхъ, и поразивъ страхомъ и ужасомъ тучи опустошающихъ сихъ злодѣевъ, заключить въ прежніе ихъ пре-

[1]) Barante, III, 365.

дѣлы, ожидая междоусобной брани и возстановленія древняго престола отъ Бога постановленныхъ во Франціи государей,—есть благое намѣреніе ополчающихся державъ“ [1]). Павелъ I писалъ Суворову, что имъ „единственно руководствуетъ желаніе возстановить вѣру и низверженныхъ государей“ (la cause commune des souverains—въ рескриптѣ Панину): „старайтесь достигнуть главной цѣли, безъ чего чудовище, во Франціи существующее, неистребимо пребудетъ—разогнать правителей сей земли изъ Парижа и сдѣлать изъ сего десятилѣтняго убѣжища всѣхъ преступленій единыя развалины“ [2]). А когда наши войска прибыли въ Швейцарію, государь припомнилъ, что тамъ живетъ Лафатеръ, высоко цѣнимый имъ не столько за сочиненія, сколько за „принципы“, сдѣлавшіе его „жертвой революціи“. Онъ приказалъ дать ему отрядъ тѣлохранителей и спросить, что ему угодно: „орденъ ли? чинъ? пенсіонъ? или другое какое-либо отличіе?“.

Павелъ I видѣлъ „единственное средство доставить спокойствіе Европѣ“—въ возстановленіи монархіи во Франціи, хотя бы съ „измѣненіями на первый разъ, чтобы пріучить умы къ ней“ [3]). Онъ хотѣлъ, чтобы Суворовъ тотчасъ же двинулся изъ покоренной Италіи во Францію сажать Бурбоновъ на престолъ. Царь разсчитывалъ, съ голоса эмигрантовъ и англичанъ, что измученные „чудовищемъ“ французы жаждутъ возвратиться къ старому порядку вещей. Его поддерживали въ этомъ заблужденіи переговоры, начатые, въ концѣ 1798 года, вліятельнымъ директоромъ Барра съ Людовикомъ XVIII: тогда претендентъ заявилъ, что „никогда не чувствовалъ себя до такой степени отцомъ французовъ“ [4]), и обѣщалъ Барра 12 милліоновъ ливровъ, которые были гарантированы Англіей и Павломъ [5]).

Въ Вѣнѣ были совсѣмъ другого мнѣнія, и то былъ голосъ долгаго, горькаго опыта. Тамъ „предостерегали отъ взглядовъ эмигрантовъ на внутреннее состояніе Франціи“: австрійцы „сильно ошиблись въ послѣднюю войну: и теперь одинъ недавно вымѣненный офицеръ говорилъ, что въ Бургундіи и Франшъ-Конте, гдѣ жилъ онъ, умы далеко не такъ настроены въ пользу монар-

---

[1]) „Рескриптъ Римскому-Корсакову“, 20 апрѣля 1799.

[2]) „Рескрипты Суворову“, отъ 7 іюня и 18 сент.

[3]) „Рескриптъ Разумовскому“, отъ 4 августа 1799.

[4]) Louis XVIII á Maisonfort, Mittau, 13 novembre 1798.—„Fauche-Borel“: Memoires, II, 238.

[5]) Мемуаръ объ этомъ дѣлѣ, поданный агентомъ Людовика, Мезонфоромъ, Павлу и одобренный царемъ въ іюнѣ 1799 года, помѣщенъ въ запискахъ Фошъ-Борели (II, 273). Granier de Cassagnac: Histoire du directoire, I, 309—310.

хіи, особенно Людовика XVIII, какъ думаютъ". Но совѣты осторожности не дѣйствовали на Павла I, подвластнаго одной идеѣ. Это тѣмъ сильнѣе бросается въ глаза, что самъ онъ понималъ Бурбоновъ, жившихъ на его глазахъ, и окружающую ихъ среду. На предложеніе Англіи немедленно послать во Францію графа д'Артуа, Павелъ отвѣчалъ, что лучше бы сначала союзнымъ арміямъ вторгнуться безъ Бурбоновъ, и во всякомъ случаѣ не съ графомъ д'Артуа. Онъ былъ не высокаго мнѣнія о доблестяхъ самого Людовика XVIII. Павелъ I писалъ Суворову, что, если нужно, онъ тотчасъ отправитъ къ нему претендента. „Но—прибавлялъ онъ—должно заранѣе васъ увѣдомить, что король французскій человѣкъ весьма ученый, скрытый, и хотя приготовленный на все, но великій охотникъ царствовать, не бывъ еще на престолѣ; а притомъ его сбиваетъ много другъ его и наперсникъ, гр. д'Аваре, имѣющій самую сумасбродную французскую голову. Остерегайтесь впускать скоро во Францію эмигрантовъ. Они войдутъ съ огнемъ и мечомъ и опровергнутъ всѣ мысли благорасположенныхъ людей" [1]).

Павелъ I негодовалъ на Пруссію, подозрѣвая, что она сама сочувствуетъ „развратнымъ правиламъ": онъ требовалъ, чтобы она „сняла свое забрало, или свою маску". Онъ разорвалъ связи съ Даніей, „по причинѣ установленныхъ и терпимыхъ правительствомъ датскихъ клубовъ, коихъ основанія одинаковы съ тѣми, которые произвели во Франціи всенародное возмущеніе и низвергли законную королевскую власть". Все та же идея руководила Павломъ и при разрывѣ съ Испаніей. Уже осенью 1797 года, онъ извѣстилъ Карла IV о своемъ рѣшеніи помочь „правому дѣлу" и вызывалъ его на объясненіе. Карлъ отвѣчалъ, что онъ „тайно" снабжаетъ Бурбоновъ суммами, но покуда не можетъ выступить открыто, такъ какъ „нужно всячески щадить" директорію. Весной 1799 года, Павелъ велѣлъ Онису въ два дня покинуть Петербургъ и въ 12 дней имперію. Затѣмъ послѣдовало объявленіе войны Испаніи. Въ возвѣщенномъ манифестѣ сказано: „Воспріявъ съ союзниками нашими намѣреніе искоренить беззаконное правленіе, во Франціи существующее, возстали на оное всѣми силами... Въ маломъ числѣ державъ европейскихъ наружно приверженныхъ, но въ самой истинѣ опасающихся послѣдствій мщенія сего издыхающаго нынѣ богомерзкаго правленія, Гишпанія обнаружила болѣе прочихъ страхъ и преданность ея ко Франціи, не содѣйствіемъ съ нею, но пріуготовленіями къ оному. Употре-

[1]) „Рескрипты Разумовскому" (25 іюля) и Суворову (18 сент.).

бя тщетно всѣ способы къ открытію и показанію сей державѣ истиннаго пути къ чести и ко славѣ совокупно съ нами, но видя ее упорно пребывающею въ пагубныхъ для ея самой правилахъ и заблужденіи, изъявили мы наконецъ ей негодованіе наше, и т.-д. [1]).

Павелъ I съ лихорадочной поспѣшностью стремился уничтожить республику: онъ боялся немедленнаго распространенія ея заразительныхъ принциповъ далеко къ востоку. Онъ приказалъ отдѣлить часть нашего швейцарскаго корпуса для герцога виртембергскаго „на предметъ усмиренія штатовъ его земли“ [2]). Павелъ даже не довѣрялъ курфюрсту баварскому. Онъ приказывалъ своему дипломату въ Мюнхенѣ: „въ особенности же надзирайте за окружающими этого государя и не давайте иллюминатамъ овладѣть его умомъ, который, быть можетъ, не совсѣмъ утвердился въ системѣ, принятой имъ, въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, по внушенію здраваго смысла и необходимости“. Но пуще всего царь опасался, какъ бы русскіе, идя на спасеніе Европы отъ заразы, сами не захватили ея. Онъ приказывалъ своимъ главнокомандующимъ: „Остерегайтесь, дабы войска наши черезъ сообщеніе съ жителями и ежедневное обращеніе съ оными не заразились духомъ сей пагубной вольности и по окончаніи войны не внесли съ собою искры сего пламени въ предѣлы имперіи нашей, и для сего всякое буйство, вольнодуміе и озорничество наказывайте, яко поводы къ вятщему и дальному развратy умовъ; а для лучшаго достиженія, до открытія начала или успѣховъ сего пагубнаго вольнодумія, употребите и находящагося при корпусѣ вашемъ полеваго почтъ-мейстера, препоруча ему надзираніе за приходящими и отходящими письмами; изъ чего можете иногда узнать весьма нужное къ свѣденію вашему... Если же окажется что-нибудь клонящееся къ развращенію умовъ въ имперіи нашей или въ войскахъ, внѣ оной находящихся, или же какое новое покушеніе на отправленіе въ Россію лазутчиковъ или избранныхъ каналій съ препорученіями отъ самозваннаго французскаго правленія, тогда доставляйте наискорѣйшимъ образомъ прямо къ свѣденію нашему“ [3]).

---

[1]) „Манифестъ 16 іюля 1799 г.“ Переводъ въ Парижскомъ архивѣ.

[2]) Штаты—земство (Landstände), съ которымъ герцоги виртембергскіе вели систематическую борьбу съ вестфальскаго мира. Подъ вліяніемъ французской революціи эта борьба естественно оживилась.

[3]) „Рескрипты Римскому-Корсакову“ (20 апрѣля) и гр. Толстому (28 февраля).

VIII.

Павелъ I не даромъ опасался французскихъ „каналій", съ ихъ „пагубною заразой". Съ осени 1799-го до весны 1800 года, въ парижскомъ архивѣ тянется обширная, весьма интересная переписка по дѣлу о распространеніи въ Россіи революціонныхъ идей [1]). Нѣкто гражданинъ Гюттéнъ (Guttin), 12 лѣтъ жившій въ Россіи, сдѣлалъ, въ октябрѣ, министру иностранныхъ дѣлъ заманчивое предложеніе. „Въ Россіи,—писалъ онъ,—царствуетъ теперь большое недовольство. Павелъ I изгналъ и удалилъ отъ себя всѣхъ, кто желалъ дѣлать ему замѣчаніе по поводу нынѣшней войны; его окружаютъ теперь все люди, продавшіеся Англіи, по большей части иностранцы. За нимъ есть другое великое преступленіе, составлявшее мечты его отца: онъ хочетъ ввести въ Россіи нѣмецкіе нравы и обычаи; подозрѣваютъ, что онъ желаетъ усвоить въ своемъ государствѣ латинскій церковный обрядъ. Во всякомъ случаѣ—фактъ, что всѣ подданные порицаютъ его поведеніе. Послѣднія неудачи его оружія глухо поднимаютъ противъ него всѣ умы. Нужно пользоваться этою минутой, чтобы разжигать недовольство сочиненіями или прокламаціями съ цѣлью низвергнуть его съ престола. Слѣдуетъ даже пригласить русскихъ помѣщиковъ преобразовать имперію на олигархическихъ началахъ, такъ какъ въ Россіи есть зародыши этой формы правленія".

„Предлагаю доставлять эти сочиненія въ Россію, и именно въ собственныя руки недовольныхъ помѣщиковъ, а также другимъ горячимъ и предпріимчивымъ головамъ, уже сильно предрасположеннымъ противъ Павла I. Для этого нужно знать единомышленниковъ и родныхъ главныхъ изъ изгнанниковъ и недовольныхъ (и я знаю ихъ). Берусь доставлять эти сочиненія въ двойныхъ, тройныхъ, четверныхъ конвертахъ, такъ что правительство ничего не подѣлаетъ. Ихъ нужно провозить въ Россію черезъ Швецію, Данію, Пруссію, Польшу и Малороссію со стороны Бессарабіи. Сочиненія должны быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ, которые распространены въ Россіи. Многіе изъ помѣщиковъ донесутъ монарху изъ страха; но чтобы обмануть его самого, я напишу Павлу I доносъ о разосланныхъ сочиненіяхъ. При этомъ я постараюсь сдѣлать доносъ на помѣщиковъ, къ которымъ они не были посланы: это поставитъ Павла I въ крайнее затрудненіе—и онъ начнетъ преслѣдовать какъ ни попало (persecutions à tort et à travers), что и ускоритъ его паденіе".

[1]) „Archives des aff. etr." Russie, V. 139, №№ 170—183, 193, 194 198, 206.

Въ тотъ же день Гюттенъ сдѣлалъ министру другое предложеніе, вѣроятно прослышавъ о намѣреніи директоріи произвести размѣнъ плѣнныхъ съ Россіей. „Было бы неполитично,—писалъ онъ,—теперь размѣнивать русскихъ плѣнныхъ: дороги отсюда въ Россію непроѣздны. Павлу I нужно по крайней мѣрѣ три мѣсяца, чтобы прислать къ намъ новыя войска; а намъ довольно декады (10 дней) для замѣны нашихъ солдатъ: тутъ $^{8}/_{9}$ выгоды на нашей сторонѣ; было бы самымъ жестокимъ ударомъ Павлу I, еслибы мы настроили его солдатъ, находящихся въ нашей власти. Прежде чѣмъ размѣнивать ихъ, нужно дать имъ доказательства нашей преданности и въ то же время привить къ нимъ (inculquer) идеи свободы, которыя они распространятъ у себя дома. Нужно довести ихъ до того, чтобы они сами обратили оружіе противъ солдатъ коалиціи, въ особенности же противъ англичанъ, которыхъ они ненавидятъ, считая ихъ виновниками всѣхъ своихъ бѣдствій. Эти попытки должны производить черезъ ихъ низшихъ офицеровъ—людей весьма предпріимчивыхъ и обладающихъ безграничнымъ честолюбіемъ, которое не удовлетворяется, такъ какъ въ Россіи повышенія зависятъ отъ придворныхъ милостей и интригъ. Предлагаю, съ этою цѣлью, привезти въ Парижъ, въ глубокой тайнѣ и возможно скорѣе, пять-шесть плѣнниковъ, начиная съ майорскаго чина и ниже, и не знающихъ по-французски. Я помѣщу ихъ въ моей семьѣ, гдѣ говорятъ только по-русски (моя семья воспиталась въ Россіи). Тутъ я буду деликатно сондировать тѣхъ изъ офицеровъ, у которыхъ можетъ родиться желаніе подучить (endoctriner) своихъ солдатъ и объявить себя за насъ. Когда увѣримся въ рѣшимости нѣкоторыхъ изъ этихъ офицеровъ обольстить своихъ солдатъ, я отправлюсь съ ними къ плѣннымъ, чтобы лично слѣдить за этимъ дѣломъ и привести его къ концу. Русскій солдатъ—машина въ рукахъ своихъ офицеровъ: онъ станетъ драться съ солдатами коалиціи съ такою же неустрашимостью, съ какою дерется теперь. Нѣтъ сомнѣнія, что ничто не можетъ такъ разстроить кабинеты с.-джемскій и петербургскій, какъ эта операція".

Предложенія пылкаго, поспѣшнаго гражданина, при всей ихъ сомнительности, были соблазнительны. Самоувѣренный тонъ автора, его дѣйствительное знакомство съ Россіей, вѣсти, приходившія изъ Петербурга о настроеніи царя, наконецъ дешевизна и безопасность попытки—все это заставляло французское правительство обратить вниманіе на политическаго прожектера. На другой же день министръ внѣшнихъ сношеній представилъ директоріи весьма любопытный докладъ (15 октября), изъ котораго ви-

дѣнъ взглядъ парижскаго правительства на петербургское въ октябрѣ 1799 года, а также идеализмъ, гордость и самонадѣянность республиканцевъ. Это одинъ изъ лучшихъ образчиковъ дѣлового слога революціонной Франціи, который любопытно сравнить со слогомъ канцелярій стараго порядка вещей. Замѣтимъ, что то былъ торжественный моментъ, когда Суворовъ явился въ долинѣ верхняго Рейна для спасенія разбитой арміи Корсакова, и Бонапартъ только-что возвратился изъ Египта въ Парижъ.

„Обаяніе имени Суворова разрушено“, говоритъ министръ. „Но гнѣвъ (fureur) Павла I, быть можетъ, еще увеличится отъ побѣдъ, раздавившихъ его варварскія орды. Эта-то низкая и безумная (lâche et insensée) ярость, какъ противоположность принципамъ республики и мудрости ея правительства, окончательно утвердитъ свободу Европы. Это не то освобожденіе, съ которымъ англійскій король осмѣлился обращаться къ своему парламенту. Дерзкое безстыдство (l'insolente impudeur) деспотовъ, которые называютъ угнетеніе свободой, искажая языкъ точно такъ же, какъ и права человѣчества, уже получило достойное возмездіе въ краснорѣчивыхъ словахъ, раздающихся съ національныхъ трибунъ Франціи. Но между тѣмъ какъ нечестивая (impie) коалиція пользуется самыми ужасными (atroces) средствами противъ республики, послѣдняя не пренебрегаетъ ли иногда мѣрами законной защиты, слишкомъ полагаясь на побѣдоносную силу своихъ принциповъ и своихъ армій? Грустно думать, что смерть одного француза—слишкомъ дорогая цѣна за уничтоженіе сотни казаковъ! Грустно думать, что въ упоеніи мимолетными успѣхами, страшные тираны, поклявшіеся погубить свободу, утратили даже тотъ тайный ужасъ, который возвѣщаетъ злодѣямъ кару за преступленіе противъ всего человѣчества [1])“.

По этимъ пылкимъ соображеніямъ, министръ счелъ нужнымъ представить директоріи записку гражданина Гѣттѣна. Онъ прибавлялъ отъ себя, что предлагаемыя мѣры „неизбѣжно произведутъ дѣйствіе“, такъ какъ „со смерти Петра I въ Россіи существуютъ элементы аристократіи, не искорененные деспотизмомъ“. Павелъ долженъ знать, что „страшныя (redoutables)“ сочиненія проникаютъ въ его имперію черезъ всѣ сосѣднія государства: „подозрѣніе сосѣднихъ державъ въ соучастіи удвоитъ его ужасъ; его

[1]) „Il est douloureux de penser que la destruction de cent cosaques est trop chèrement payée par la mort d'un seul Français; et que l'ivresse de quelques succès passagers a éloigné des tyrans farouches conjurés contre la liberté jusqu'à ces terreurs secrettes qui annoncent aux mechants la punition des crimes commis contre l'humanité entière“.

тревога и деспотизмъ дойдутъ до послѣдней крайности, и его погибель будетъ обезпечена". На „московскаго" солдата несомнѣнно можно возлагать надежды. „Его повиновеніе—простой инстинктъ, въ сущности привязывающій его только къ его непосредственному командиру... Для него это единственный источникъ приказаній; онъ не разсуждаетъ о предметѣ, который велятъ ему бить; онъ видитъ только одно—что дѣлаютъ его товарищи, и повинуется голосу своего командира-капрала". Русскій солдатъ никогда не бѣжитъ въ одиночку, но обращается въ бѣгство цѣлою ротой: въ глазахъ солдатъ бѣгство офицера—маневръ, съ которымъ они привыкли сообразоваться". Министръ находилъ возможнымъ распространить, черезъ обласканныхъ Гюттѣномъ низшихъ офицеровъ, 18,000 прокламацій на русскомъ языкѣ: эти произведенія были уже готовы, но лежали безъ движенія у Гюттена, такъ какъ „не хватало средствъ на окончаніе дѣла, начатаго безполезно и съ большими издержками".

Указавъ на средства Гюттѣна, министръ прибавлялъ, что слѣдовало бы обратить вниманіе на подобныя же предложенія знакомаго намъ гражданина Аппіа. Сверхъ того, „лучшимъ средствомъ противъ Россіи" было бы образованіе польскихъ легіоновъ. „Пусть знаетъ поработитель Польши, что легче убить тиранію, чѣмъ свободу, что со временемъ рабство прекратится въ Россіи, что не такъ-то легко истребить безвозвратно въ Польшѣ всѣ зародыши независимости". Тутъ является только опасеніе со стороны „щекотливости и боязливости" (susceptibilité craintive et ombrageuse) Пруссіи, замѣшанной въ судьбахъ Польши. Но министръ указывалъ на „цизальпійскій польскій легіонъ", который вызвалъ только маленькое безпокойство въ Берлинѣ. „Впрочемъ,—гордо прибавлялъ онъ,—если нужно, директорія найдетъ средство успокоить Пруссію".

Директорія одобрила мнѣніе министра иностранныхъ сношеній и поручила ему снестись съ военнымъ министромъ. Первый просилъ второго поговорить съ Гюттѣномъ и заранѣе присоединялся къ нимъ, если они сойдутся: „проектъ, по его мнѣнію, если взять его широко, можетъ быть весьма полезенъ для службы республики" [1]). Но дѣло не пошло дальше. Напрасно Гюттѣнъ повторялъ свои предложенія, доказывая, что нужно спѣшить, такъ какъ царемъ совсѣмъ овладѣваетъ „страсть отца—желаніе ввести въ Россію нѣмецкіе нравы и обычаи, что составляетъ преступленіе (un crime capital)". Правительство сдѣлало только одно: по тре-

[1]) „Le ministre des rel. exter. au ministre de la guerre", brumaire an 8.

бованію министра внѣшнихъ сношеній, военный министръ велѣлъ искать, нѣтъ ли у кого изъ русскихъ плѣнныхъ бумаги съ автографомъ Павла I [1])?

Не прошло двухъ недѣль, какъ неугомонный Гюттенъ, почувствовавъ поворотъ въ политикѣ коалиціи, выступилъ съ новымъ прожектомъ совсѣмъ иного свойства. Онъ прислалъ министру иностранныхъ сношеній записку, имѣющую историческій смыслъ. Такъ какъ она была составлена за 15 дней до 18-го брюмера, то историкъ въ правѣ сказать, что первая и весьма важная идея Бонапарта-консула—примиреніе съ Россіей, а отчасти и его дальнѣйшіе планы, какъ бы носились въ воздухѣ, были національнымъ сознаніемъ, а не его личнымъ изобрѣтеніемъ. Гюттенъ вдругъ заговорилъ о „быстромъ, прочномъ и выгодномъ мирѣ". Система, которой слѣдовала Франція, уже стала въ его глазахъ „неправильною (defectueux), такъ что „не стоило и доказывать это въ подробности": она „служила лишь къ смущенію державъ, которыя видѣли во французской республикѣ только врага всѣхъ старыхъ правительствъ". Гюттенъ понималъ, что не легко сойтись съ запуганными сосѣдями; онъ совѣтовалъ поискать союза „съ великою державой, которая, въ силу своего географическаго положенія, считаетъ себя (и справедливо) безопасною отъ армій и принциповъ Франціи". Соединившись, Франція съ Россіей „предписывали бы законы всей Европѣ". Не бѣда, что недавно подобныя попытки въ Петербургѣ не удались; это зависѣло отъ неспособности агентовъ. Гюттенъ былъ увѣренъ, что теперь Павелъ I пойдетъ на его заманчивый планъ—выслать турокъ въ Азію и возстановить Польшу цѣликомъ, на условіи освобожденія крестьянъ, введенія конституціи 1793 года и возведенія Константина Павловича на королевскій престолъ, но съ тѣмъ, чтобы Польша никогда не соединялась съ Россіей. Сами державы, подѣлившія Польшу, должны ясно сознавать, какъ выгодно возстановленіе такой старой преграды между ними. Россію должно вознаградить землями Порты „до лѣваго берега Дарданелъ и Босфора"; а Франція возьметъ на противоположномъ берегу клочекъ земли, достаточный для устройства заведенія, которое обезпечило бы за ней „исключительную" торговлю въ Черномъ морѣ. Русскимъ можно, пожалуй, уступить еще нѣкоторые острова въ Средиземномъ морѣ — „давнишній предметъ ихъ честолюбія"; Франція же возьметъ большіе острова этого моря и Архипелага. „Опираясь на свои азіатскія владѣнія и на Каспій, — Россія могла бы подать руку французской арміи въ Египтѣ, чтобы идти

[1]) „Le ministre de la guerre au ministre des rel. exterieures", 25 brumaire an 8.

на Бенгалъ: онѣ пройдутъ безпрепятственно черезъ Персію, издавна раздираемую жестокими революціями". Съ Габсбургами нечего чиниться: или ограничить ихъ наслѣдственными землями, возстановивъ венгерское королевство (съ присоединеніемъ къ нему части Турціи); либо оставить ихъ, какъ есть, вознаградивъ только турецкими провинціями за потери въ Польшѣ, Силезіи и Италіи. Пруссіи отдать (за Польшу) австрійскую Силезію, Мекленбургъ, Гамбургъ, Любекъ, Висмаръ, Ганноверъ, Бременъ и Мюнстеръ. Границами Франціи станутъ: Рейнъ, Альпы и Пиренеи. Освобожденная отъ австрійскаго ига, Италія разобьется на мелкія федеративныя республики. Въ Швейцаріи и Голландіи останется данное Франціей правленіе.

Гюттенъ называлъ свою обширную записку „простымъ обзоромъ" и обѣщалъ, если потребуютъ, представить подробный мемуаръ. Но было уже поздно. Выступила сила, которая лучше знала, какъ распорядиться съ принципами и пылкостью французовъ: совершилось 18-е брюмера! Гюттенъ, уже собиравшійся „указать другія средства, за которыя могъ бы взяться генералъ Бонапартъ, чтобы тревожить Россію небывалымъ образомъ со стороны Востока", замѣтилъ: „насколько намъ извѣстны петербургскій кабинетъ и характеръ Павла I, мы думаемъ, что послѣ 18 брюмера мирные переговоры пойдутъ гораздо легче" [1]).

Гражданинъ Гюттенъ не ошибся. Павелъ I сразу почувствовалъ симпатію къ новой формѣ правленія во Франціи и отчасти къ ея представителю. Да и обстоятельства вели къ измѣненію чувствъ царя относительно Парижа.

Уже въ маѣ, когда Суворовъ освободилъ отъ французовъ большую часть сѣверной Италіи, началась классическая ссора между Петербургомъ и Вѣной, такъ что вскорѣ Павелъ предложилъ устроить конгрессъ для примиренія между союзниками. Австрія требовала ни болѣе, ни менѣе, какъ значительной доли Италіи. Хуже всего было то, что она гордо и упорно выставляла свое крайне опасное требованіе, ссылаясь на договоръ между Австріей и Россіей о третьемъ раздѣлѣ Польши. Тугутъ доказывалъ, что тогда обошли вѣнскій дворъ, мало дали ему; но зато въ тайной статьѣ Екатерина II обезпечила ему „вознагражденіе" въ Италіи, „по поводу войны противъ французской революціи". Павелъ былъ глубоко возмущенъ вѣнскими „безконечными интригами, мѣшающими военнымъ дѣйствіямъ", „стремленіями вѣнскаго двора къ завоеваніямъ и приращеніямъ", „гнусною политикой

[1]) Въ 1800 году мы встрѣтимся съ Гюттеномъ, который не переставалъ осаждать правительство своими любопытными прожектами насчетъ Россіи.

его безчестныхъ министровъ". Онъ совѣтовалъ Разумовскому, большому пріятелю Тугута, „помнить, что онъ русскій и посланникъ императора". Вслѣдъ затѣмъ Колычевъ смѣнилъ Разумовскаго. Павелъ I думалъ даже о томъ, какъ Суворовъ „произведетъ во Франціи контръ-революцію въ пользу монархическаго правленія",—и тогда можно будетъ, „не теряя времени, приняться за австрійскій домъ и сбавить его ходу, пообрѣзавъ крыльевъ". Извѣстно, какъ къ ненависти Павла къ Австріи присоединилось его негодованіе на англичанъ, которые дурно поступали съ нашими войсками въ Голландіи, причемъ ихъ начальникъ, герцогъ Іоркскій, поощрялъ нашего генерала, Германа, къ безпечности. Ростопчинъ писалъ Суворову: „откровенно скажу, боюсь обѣдовъ. Герцогъ и нашъ Готлибъ Германъ такъ натянутся, что и свѣту Божьяго не взвидятъ" [1]).

Переворотъ въ европейской политикѣ подготовлялся серьезно: чтобы отомстить Австріи за ея коварство, Павелъ началъ переговоры съ Пруссіей объ устройствѣ *сѣвернаго* союза. Въ эту минуту Бонапартъ водворилъ консульство на развалинахъ директоріи (29-го октября ст. ст.), т.-е. закончилъ періодъ французской революціи. Два мѣсяца спустя, Павелъ I приказалъ Суворову привести войска въ Россію, „ибо (писалъ онъ ему) виды вѣнскіе тѣ же, а во Франціи перемѣна, которой оборота терпѣливо и не изнуряя себя мнѣ ожидать должно".

Въ Петербургѣ сразу поняли одну сторону великой „перемѣны", но только одну, которая болѣе бросалась въ глаза и подходила къ идеѣ, овладѣвшей имп. Павломъ. Уловить эту идею—значитъ осмыслить цѣлую важную эпоху въ исторіи Европы.

За полтора мѣсяца до переворота 18-го брюмера имп. Павелъ издалъ документъ, рѣдкій въ исторіи во многихъ отношеніяхъ. Это—воззваніе ко всѣмъ чинамъ Германской имперіи. „Императоръ всероссійскій—говорится въ воззваніи—непрестанно одушевленъ ревностью къ дѣлу монарховъ; онъ желаетъ положить конецъ опустошеніямъ и безпорядкамъ, вносимымъ въ самыя отдаленныя страны *нечестивымъ* (impie) правительствомъ, подъ игомъ котораго молчаливо стонетъ Франція... Провидѣніе благословило его оружіе: доселѣ русскія войска торжествовали надъ *врагомъ престоловъ, религіи и общественнаго порядка*... Пусть члены германской имперіи присоединятъ свои силы и императоръ всероссійскій не вложитъ своего меча въ ножны, покуда не рухнетъ, на его глазахъ, чудо-

[1]) „Рескрипты Разумовскому" (31 іюля) и Суворову (16 сент.); „Ростопчинъ Суворову" (25) сент.). Милют., III, 466, 489, 501, 502.

вище (le monstre), грозившее раздавить всѣ законныя власти".

И вдругъ, это ненавистное и страшное чудовище низвергается съ самозваннаго престола очень просто—штыками молодого генерала, повелительный нравъ котораго и военное обаяніе уже были извѣстны въ Европѣ! Какъ было не увлечься этою стороной дѣла? Нѣсколько дней спустя послѣ переворота, но еще не зная о немъ, Ростопчинъ писалъ Суворову: „Бонапарте опять въ столицѣ злодѣйствъ; но я думаю, что два раза добровольно жертвою онъ не будетъ начальниковъ сего правленія въ падучей болѣзни. Онъ захочетъ или быть римскимъ диктаторомъ, или возвести на престолъ бурбонскій—Богъ знаетъ кого". Послѣдняя фраза—дань, быть можетъ, историческимъ воспоминаніямъ, которыя иногда, и въ извѣстныхъ кругахъ, бываютъ долговѣчны: имя Монка легко поминается въ подобной обстановкѣ. Первая же фраза Ростопчина оказывается чутьемъ дѣйствительности, тогда уже ясной для многихъ: стоило только вмѣсто „диктатора" поставить названіе другого римскаго магистрата—консула.

Какъ только Ростопчинъ узналъ о 18-мъ брюмера, онъ написалъ Суворову: „Бонапарте, если оставятъ его въ живыхъ, изъ двухъ вѣрно изберетъ одно; быть Кромвелемъ, или возвесть на престолъ короля; потому что человѣкъ этого разбора, ознаменовавъ жизнь свою дѣлами военными и политическими, и бывъ завоевателемъ и царемъ Египта, не захочетъ быть орудіемъ какого-нибудь Сіейса или сему подобнаго скареда". Такая характеристика новаго консула не подходила къ роли Монка. Но тутъ ясно проявилось сознаніе, что революція кончилась.

Годъ спустя, генералъ Спренгтортенъ, посланный въ Парижъ для пріема русскихъ плѣнныхъ, заявилъ французскимъ генераламъ, выѣхавшимъ на встрѣчу ему, что императоръ радъ „смѣнѣ анархіи консульствомъ", и что онъ „проникнутъ уваженіемъ къ первому консулу и къ его военнымъ талантамъ" [1]).

А. Трачевскій.

---

[1]) „Girault à Clarke", и „Clarke au Premier Consul", 19 frimaire an 9. Arch. des aff. étrang., v. 140, №№ 17 и 18.

ПРОКАЖЕННЫЙ

Чуть прикрывъ наготу, съ головой обнаженной,
Въ сторонѣ отъ дороги онъ быстро шагалъ,
И, завидя людей, издалёка кричалъ:
„Берегитесь! Идетъ прокаженный!“
И съ невольнымъ проклятьемъ толпа за толпой
Обходили его каменистой тропой
И роптали: „зачѣмъ вслѣдъ за нами
Онъ къ Сіону на праздникъ бредетъ?
Преступить городскихъ онъ не можетъ воротъ,
И нѣтъ мѣста ему на холмахъ за стѣнами“...
А когда Элеонъ показался вдали,
Весь до верху шатрами усѣянъ,
Къ его рощамъ цвѣтущимъ толпы галилеянъ,
Распѣвая осанну, пошли,
А несчастный тропой обожженной
Вдоль по ложу Кедрона въ пустыню побрелъ,
Гдѣ гіена живетъ, гдѣ гнѣздится орелъ.
Пощадите! Идетъ прокаженный!
И его, беззащитнаго, звѣрь пощадилъ
И бездомному нору свою уступилъ.

Пышно праздникъ великій встрѣчаетъ Солимъ,
Полонъ храмъ, всѣ ступени народомъ покрыты,
Брызжетъ кровь, и возносится жертвенный дымъ,
И поютъ славословья левиты.
Всѣ пришли преклониться предъ грознымъ Отцемъ
И просить, кто богатства, кто жизни,
Кто побѣды надъ римскимъ надменнымъ орломъ
И свободы для плѣнной отчизны.

И левиты поютъ, и литавры гремятъ,
И далеко по вѣтру тѣ звуки летятъ,
До пещеры въ скалѣ, до звѣринаго лога,
Гдѣ теперь человѣкъ обиталъ.
Онъ увидѣть хоть издали храмъ пожелалъ,
Но просить ему не о чемъ даже у Бога.
Онъ привыкъ жить безъ крова отъ бурь и песковъ,
Онъ привыкъ свои струпья не кутать въ одежды,
У него нѣтъ отчизны, друзей и враговъ,
Нѣтъ желаній давно и давно нѣтъ надежды.
Что влекло его къ храму, не знаетъ онъ самъ,
И теперь, изъ пещеры, наполненной смрадомъ
Его собственныхъ язвъ, онъ блуждающимъ взглядомъ,
Смотритъ вдаль, гдѣ блеститъ своей кровлею храмъ,
И въ тоскѣ безпредѣльной, безъ мысли и слова,
Какъ тростникъ въ ураганъ, повергается въ прахъ,
И руками бьетъ въ грудь, и бросается снова,
И какъ будто весь хочетъ истаять въ слезахъ.
Еслибъ камень иль дерево чувствовать стали
И свое одиночество поняли вдругъ,
Ихъ бы тотъ же объялъ безсловесный испугъ,
Они-бъ такъ же, какъ онъ, зарыдали.
Онъ рыдалъ оттого, что такъ тягостно жить
На землѣ, средь пустыни—увы—не безлюдной,
Онъ рыдалъ оттого, что такъ хочется жить,
Что разстаться съ сіяніемъ солнца такъ трудно...
Цѣлый день онъ рыдалъ... но съ вечерней зарей
Стали слезы его все добрѣе и чище:
Такъ на старомъ, забытомъ кладбищѣ
Вдругъ повѣетъ прохладой весенней порой.
Изможденный, онъ молча лежалъ предъ пещерой
И глядѣлъ, какъ на храмѣ играетъ закатъ,
И какъ звѣзды одна за другою спѣшатъ
Лить потоки лучей надъ пустынею сѣрой.
И свѣтлѣе, чѣмъ звѣзды, на язвы его
Тихо падали слезы прощенья.
И простилъ онъ, не вѣдая самъ отчего,
Всѣхъ простилъ онъ, кто мучилъ его отъ рожденья:
Вѣтеръ, зной, непогоду и даже людей.
Онъ былъ счастливъ избыткомъ печали своей,
Величайшее счастье въ ту ночь онъ извѣдалъ.
Онъ, природою проклятый, людямъ чужой,

Кому Богъ ничего кромѣ, горестей, не далъ,
Самъ онъ далъ себѣ счастье, какъ Богъ...
А съ зарей,
Чуть прикрывъ наготу, съ головой обнаженной,
Въ сторонѣ отъ дороги онъ быстро шагалъ,
И, завидя людей, издалека кричалъ:
„Берегитесь! Идетъ прокаженный!“...

Н. Минскій.

ЭТЮДЫ

по

ПСИХОЛОГІИ ТВОРЧЕСТВА

Окончаніе.

VIII [1]).

Всякому извѣстенъ фактъ,—когда кто не можетъ вспомнить имени лица, или заглавія книги, то онъ начинаетъ думать о другомъ. Но почему, когда мы совсѣмъ забыли объ усиліи вспомнить слово или имя, вдругъ неожиданно, сами собою, они представляются нашему уму? Почему именно теперь, а не полчаса тому назадъ? Почему нужно такъ долго ждать, когда дѣло идетъ уже не о томъ, чтобы вспомнить формулу или цифру, а происходитъ творческая работа?—Математикъ ищетъ рѣшенія сложной задачи, музыкантъ—мотивовъ, художникъ—замысла, образа. Происходитъ это потому, что въ данную минуту, когда мы усиливаемся добиться своего, не было еще нужныхъ условій для созданія извѣстной идеи; полчаса или полгода тому назадъ это созданіе было невозможно, а теперь оно необходимо.

Я удивляюсь неожиданности появленія творческой идеи или образа, потому только, что я не въ состояніи былъ прослѣдить всѣ фазисы ея нарожденія, все то, что̀ ее подготовляло и вызывало; но сдѣлай я обратную операцію, прослѣди я всю мою

---

[1]) См. выше: май, стр. 182.

психическую работу снизу вверхъ, неожиданность и случайность получатъ въ моихъ глазахъ совсѣмъ другое освѣщеніе. И, для менѣе сложныхъ душевныхъ процессовъ, я въ состояніи буду, изучая себя внимательно, разсчитать впередъ, какія мнѣ могутъ придти мысли, разумѣется, не на очень долгій срокъ.

Надо, стало быть, разсмотрѣть сначала детерминизмъ внутренняго характера, взаимную зависимость и обусловленность всякихъ идей, нарождающихся въ моемъ умѣ. Для этого надо взять такое состояніе, когда умъ мой не испытываетъ дѣйствія внѣшней причины. Я останавливаюсь на идеѣ, найденной мною въ книгѣ, и начинаю размышлять. Эта идея вызоветъ непремѣнно другія; она должна исчезнуть вскорѣ, потому что умъ нашъ не можетъ пребывать на одномъ и томъ же, такъ же какъ и глазъ, и слухъ, и всѣ наши чувства, не испытывая утомленія. Но какая новая мысль придетъ мнѣ? Конечно такая, которой всего легче слѣдовать за первой; и вотъ уже сейчасъ образуется извѣстная привычка, навыкъ, и какъ-бы и о чемъ-бы я ни размышлялъ, непремѣнно умъ мой, предаваясь даже мечтамъ, т.-е. процессу ассоціаціи, не руководимой напряженіемъ воли, все-таки будетъ направляться въ ту сторону, гдѣ онъ встрѣтитъ менѣе сопротивленія, о чемъ ему легче будетъ мечтать или думать. И если я очень часто думаю на одну и ту же тэму,—о чемъ-бы я ни сталъ размышлять, я непремѣнно попаду на мысль, занимающую меня сильнѣе всего, потому что къ ней стремится самое большое число уже выработанныхъ, готовыхъ серій мышленія.

Чтобы провѣрить теорію внутренняго детерминизма, предположимъ, что я случайно вернулся опять къ исходной точкѣ—что же будетъ тогда? Необходимо, если теорія вѣрна, чтобы послѣдующая серія мыслей была въ томъ же порядкѣ, чтобы она повторялась цѣликомъ. Мы и знаемъ, что это случается, только трудно подтвердить это примѣрами изъ ежедневной жизни, потому что намъ нельзя, въ большинствѣ случаевъ, поставить себя въ одни и тѣ же условія два раза. Но попробуемъ выговаривать быстро цѣлый рядъ звуковъ, не имѣющихъ никакого смысла; продѣлайте этотъ опытъ—и вы увидите, что весьма трудно идти въ выдумываніи этихъ звуковъ, даже въ ихъ чередованіи, дальше извѣстнаго предѣла; по прошествіи нѣкотораго времени вы непремѣнно станете повторять тѣ же самые слоги. Тоже и съ цифрами: послѣ того какъ вы назовете десять, двадцать, тридцать цифръ, не замѣтно образуются уже нѣкоторыя группы и серіи. Если вы спохватитесь и будете дѣлать усилія разнообразить выборъ вашихъ цифръ, то, помимо вашей воли, всетаки-же про-

изойдетъ извѣстнаго рода упорядоченность; другими словами, нашъ умъ, по необходимости, долженъ будетъ проходить все по одному и тому-же пути, пока, наконецъ, не остановится отъ утомленія. Тоже самое можетъ случиться и въ разговорахъ, когда вдругъ замѣтятъ, что всѣ мимовольно впадаютъ уже въ то, что было говорено. Кто долженъ часто говорить объ однихъ и тѣхъ же предметахъ, кончаетъ тѣмъ, что даже не замѣчаетъ: какъ они повторяются въ словахъ, въ выраженіяхъ, въ примѣрахъ. Тоже видимъ мы и на старикахъ, въ ихъ особенной, старческой болтовнѣ. Наконецъ, со многими изъ насъ бываютъ такіе случаи, когда мы вдругъ въ разговорѣ, на прогулкѣ, въ работѣ, чувствуемъ, что когда-то мы находились точно въ такомъ же положеніи и не можемъ отвѣтить: было-ли это во снѣ или въ дѣтствѣ. Мы, по всей вѣроятности, ошибаемся и принимаемъ сходныя состоянія за тождественныя, забывая разницу подробностей, но все-таки это изумляетъ насъ, а въ людяхъ, мало развитыхъ, вызываетъ разныя суевѣрныя идеи. И какъ только мы попадемъ въ условія сколько-нибудь схожія, мы, навѣрное, испытаемъ ту же серію мыслей и волненій, что́ и доказываетъ еще разъ детерминизмъ нашей психической жизни.

Онъ въ зависимости и отъ тысячи внѣшнихъ причинъ. Мы не можемъ брать человѣка, какъ олицетвореніе чистаго разума, подчиняющагося только закону самостоятельной мозговой ассоціаціи. Спимъ-ли мы, или бодрствуемъ, ежесекундно ощущенія, идущія отъ внѣшняго міра, вторгаются въ наше мышленіе и даютъ ему новое направленіе. Грезы самый яркій примѣръ того, въ какой зависимости находимся мы отъ малѣйшей перемѣны въ окружающей средѣ. Даже когда мы и проснемся, развѣ мы можемъ быть увѣрены, что умъ нашъ будетъ всегда руководиться ходомъ идей, и что мы сохранимъ свое я? Напротивъ, пробужденіе отдаетъ меня во власть внѣшнему детерминизму. Я не могу не смотрѣть, не видѣть, не слышать, не осязать цѣлаго множества предметовъ; и эти воспріятія занимаютъ самое обширное мѣсто въ моей мыслительной дѣятельности. И куда бы я ни пошелъ, вездѣ я испытаю вторженіе внѣшняго детерминизма въ мою голову: иду я по улицѣ, думаю о своихъ дѣлахъ — и въ тоже время дома, прохожіе, экипажи, деревья, сейчасъ-же заставляютъ играть мое воображеніе, мою память: я представляю себѣ разныя сцены и вступаю въ разговоры съ воображаемыми лицами. Работаю я въ кабинетѣ, какъ-бы я ни былъ поглощенъ извѣстной идеей, все-таки же я не могу не смотрѣть на столъ, на перо, на бумагу, на полку, на картины—и всѣ эти случайныя, но не-

избѣжныя воспріятія перемѣшиваются съ моей внутренней работой, такъ что я долженъ употреблять усилія воли, чтобы не потерять нить моего мышленія. Было-бы это иначе, тогда мы могли-бы и помимо творческой работы, требующей таланта и генія, находить гораздо больше свѣжихъ, оригинальныхъ, удачныхъ мыслей, хотя бы даже и разсудочнаго свойства. Почему-же этого не бываетъ? Потому что появленіе идеи,—будь то творческая или нуждающаяся только въ сообразительности,—непремѣнно подчинено извѣстнымъ внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ. Надо обставить себя такъ и въ физіологическомъ, и въ психическомъ смыслѣ, чтобы идея эта явилась средней пропорціональной. А для этого нужно слишкомъ хорошо знать, какіе должны быть у данной идеи предвѣстники, чего мы, въ большинствѣ случаевъ, не знаемъ, почему и думаемъ на-авось, дожидаясь того момента, когда удачное совпаденіе обстоятельствъ сдѣлаетъ неизбѣжнымъ появленіе желанной мысли или образа.

Внѣшняя и внутренняя обусловленность нашихъ психическихъ процессовъ должна сказаться и въ полномъ, цѣлостномъ детерминизмѣ. Представимъ мы себѣ, что два человѣка поставлены въ тождественныя физіологическія и психическія условія — они непремѣнно будутъ и думать одинаковымъ образомъ, въ одномъ порядкѣ, съ одними и тѣми же результатами. Большая дружба, большая гармонія симпатій и убѣжденій между пріятелями, братьями, супругами, ведутъ обыкновенно къ взаимному угадыванію мыслей. Знаете вы хорошо человѣка — вы легко опредѣляете: какъ онъ долженъ думать и поступить въ извѣстномъ случаѣ. Въ разговорахъ людей очень близкихъ — мужа и жены, матери и дочери—перерывы, молчаливыя паузы не останавливаютъ вовсе хода мыслей, и одного взгляда, улыбки достаточно, чтобы бесѣдующіе понимали другъ друга, потому что они думаютъ объ одномъ и томъ же и одинаково. Такіе примѣры показываютъ, что полный детерминизмъ умственной дѣятельности встрѣчался бы гораздо чаще, если бы люди чаще сливались въ своей душевной жизни, въ силу привычки и взаимныхъ симпатій. Эти факты показываютъ намъ, что внутренній детерминизмъ, въ связи съ окружающей средой, долженъ противиться появленію совершенно новыхъ идей, что онъ какъ бы устраняетъ возможность того, что мы называемъ творчествомъ. Откуда-же появится какая-бы то ни было самобытность, оригинальность, если идеи — не что иное какъ среднія пропорціональныя нашего физическаго и душевнаго состоянія? Всего менѣе способенъ на перемѣну нашъ внутренній детерминизмъ; если предположить, что мы изобра-

жаемъ собою чистый разумъ, предоставлены всецѣло закону ассоціаціи, то мы неустанно-бы повторяли самихъ себя и наше мышленіе было-бы почти тоже, что старческая болтовня. Но мозгъ нашъ не перестаетъ обновляться и чуть какая нибудь, уже созданная нами, идея представится ему, она находитъ его частицы въ другомъ расположеніи; и вотъ это-то физическое измѣненіе непремѣнно мѣняетъ ту неизбѣжную серію, въ которую-бы мы впали, еслибы были предоставлены только одному закону ассоціаціи. Воспринятый или созданный нами образъ опредѣляется не однимъ только предъидущимъ образомъ или идеей; тутъ происходитъ также постоянное воздѣйствіе одной группы идей на другую. Онѣ располагаются не въ линію. Мы можемъ одновременно думать въ разныхъ направленіяхъ. И изъ этого столкновенія отдѣльныхъ серій выскакиваютъ неожиданные, новые элементы. Самая работа мышленія, въ особенности творческаго созиданія, сопровождается всегда извѣстнымъ внутреннимъ чувствомъ, эмоціей, которая въ свою очередь вліяетъ на направленіе нашихъ мыслей. Безъ этой эмоціи, безъ волненія, отличающаго плодотворную умственную работу отъ пустой мечтательности, мы не могли бы сосредоточиться, мы были-бы слишкомъ жертвы и рабы измѣнчивости мыслей. Но, съ другой стороны, наши мысли кажутся намъ часто такими несообразными потому только, что онѣ являются результатомъ слишкомъ многочисленныхъ причинъ, не равнаго значенія и достоинства. Кромѣ того, не надо забывать, что законъ ассоціаціи не мѣшаетъ вовсе качественной разницѣ мышленія различныхъ личностей. Безъ этого различія натуръ, а слѣдовательно и психическаго склада, мы были-бы осуждены на безусловное однообразіе умственной работы, между тѣмъ какъ въ жизни всякое обстоятельство, способное сколько-нибудь дѣйствовать на чувства и умъ людей, вызываетъ въ каждомъ изъ нихъ совершенно различныя представленія, образы, воспоминанія, соображенія всякаго рода. Да мы и видѣли, что внѣшній детерминизмъ всегда измѣняетъ порядокъ и характеръ нашихъ идей. Съ каждымъ движеніемъ нашего тѣла, то, что мы называемъ „я“, измѣняетъ свое внутреннее состояніе; всѣ наши отношенія къ окружающимъ предметамъ становятся иными, откуда и является возможность почти постояннаго нарожденія новыхъ идей. Образы, воспринимаемые нами извнѣ, входя въ наше сознаніе, сталкиваются съ тѣми образами, какіе мы уже создали въ себѣ и сливаются съ ними. Тутъ мы находимъ безконечное разнообразіе ассоціацій; то, что мы испытали когда-то въ извѣстномъ мѣстѣ, при видѣ знакомыхъ намъ картинъ, воскресаетъ зано-

и вызываетъ цѣлый рядъ воспоминаній, оживляетъ мертвые предметы, заставляетъ опять переживать и радости, и мечты, и горькія испытанія минувшихъ лѣтъ. А въ художникѣ, въ поэтѣ, въ человѣкѣ съ богатой фантазіей и съ пылкимъ внутреннимъ чувствомъ всякія ощущенія, исходящія изъ внѣшней природы, будутъ осложняться образами и мыслями, дремавшими въ его душѣ. Наконецъ, между умами развитыхъ людей каждый день увеличивается число отношеній, которыя, въ свою очередь, ведутъ къ неожиданнымъ совпаденіямъ, а стало быть и увеличиваютъ шансы находокъ, изобрѣтеній, творческихъ замысловъ. Всякая книга играетъ роль возбудителя идей и образовъ. Самое чтеніе, если оно толково, осмысленно, есть уже своего рода творческій процессъ. Читать съ толкомъ и притомъ быстро схватывать суть всего того, что читаешь — такой процессъ требуетъ большого умственнаго навыка, дѣятельнаго участія всѣхъ мыслительныхъ способностей. Попробуйте производить чтеніе такъ, чтобы понимать каждое слово и приводить въ непосредственную связь идеи, возбуждаемыя словами — что же изъ этого выйдетъ? А выйдетъ то, что общій смыслъ будетъ ускользать отъ васъ. Обыкновенно развитые люди, имѣющіе привычку къ чтенію, просматриваютъ быстро фразу, не останавливаясь на ненужныхъ, второстепенныхъ словахъ; они выбираютъ только тѣ, которыя сильнѣе на нихъ дѣйствуютъ и составляютъ изъ нихъ группы, что и помогаетъ имъ схватывать главный смыслъ даже весьма сложнаго разсужденія; иначе надо будетъ начинать предложеніе сызнова. Что это такъ — доказывается даже манерой чтенія вслухъ: толковый чтецъ непремѣнно будетъ поднимать интонацію тѣхъ словъ, которыя помогаютъ схватывать главный смыслъ фразы. Читать съ пользой, извлекать изъ сочиненія все, что въ немъ есть цѣннаго, яркаго, творческаго, наслаждаться произведеніями поэзіи, углубляться въ философскіе трактаты, могутъ только люди, способные на обширную и разнообразную ассоціацію идей. Поэтому талантъ писателя и заключается не столько въ томъ, чтобы самому все описать или разъяснить, сколько въ томъ, чтобы вызывать въ умѣ читателя яркіе образы, сдѣлать его нѣкоторымъ родомъ участникомъ въ своемъ творчествѣ. Такъ точно и разговоръ есть источникъ новыхъ мыслей, оригинальныхъ сближеній, и всегда люди, умѣющіе разговаривать, гораздо талантливѣе и своеобразнѣе въ бесѣдѣ, чѣмъ въ своей одинокой мыслительной работѣ. То же повторяется и въ сотрудничествѣ двухъ или нѣсколькихъ лицъ, когда тотъ родъ литературы, которымъ они занимаются, требуетъ именно разнообразія и живости,

неожиданныхъ эффектовъ и комбинацій, а не логическаго напряженія, не преслѣдованія одной главной идеи.

IX.

Затѣмъ авторъ нашей монографіи разсматриваетъ всѣ условія, благопріятствующія оригинальности. Въ томъ, что онъ приводитъ, нѣтъ ничего особенно новаго, но факты собраны и освѣщены съ должной полнотой, причемъ авторъ не распространяется о томъ, что не можетъ вызывать возраженій. Такое обозрѣніе не только теоретически правильно; оно и въ практическомъ смыслѣ полезно. Надо твердо знать, какое состояніе духа и тѣла всего болѣе благопріятны для изобрѣтателя, для творца, и какъ самымъ выгоднымъ образомъ употреблять природныя качества.

Физіологическія условія идутъ раньше всѣхъ остальныхъ. Здоровье—краеугольный камень всякой нормальной умственной дѣятельности. Хотя иногда мозгъ и не отвѣчаетъ какъ бы состоянію организма, но это доказываетъ только, что мозговая организація сохраняетъ, дольше другихъ, свою самобытность, можетъ не такъ скоро подчиняться разстройству, случившемуся въ другихъ частяхъ тѣла. Нечего и доказывать какъ всякаго рода боль въ особенности медленныя, глухія, хроническія страданія вліяютъ на складъ нашихъ мыслей. Съ хорошимъ здоровьемъ связано и расположеніе духа. Бодрость, веселость, безпечное и радостное настроеніе—самые лучшіе импульсы въ дѣлѣ творческаго изобрѣтенія. Можно было бы доказать статистически, что число новыхъ идей, удачныхъ образовъ, открытій и находокъ всякаго рода приходится на дни бодраго и веселаго расположенія духа. Есть, пожалуй, взглядъ противоположный этому: обыкновенно людей, творчески даровитыхъ, въ особенности поэтовъ, музыкантовъ, представляютъ себѣ меланколическими. Конечно, даровитый человѣкъ часто задумывается, но когда наступаетъ творческій моментъ, безпричинная меланхолія, расплывающаяся въ грусть, должна по необходимости исчезнуть, и люди, наклонные къ нимъ, весьма рѣдко бываютъ настоящими творцами, своеобразными личностями.

Вліяніе атмосферы, погоды, временъ года на творческую способность—несомнѣнно и очень важно. Оно связано не только с непосредственнымъ впечатлѣніемъ тепла, холода, солнца или ненастья, но и со всей игрой ассоціаціи идей. Не будь ея, мы не были бы до такой степени подчинены атмосферическимъ перемѣнамъ и временамъ года. И если многіе работаютъ лучше зимо

чѣмъ лѣтомъ, то это происходитъ отъ того, что зимой мы, сидя въ теплой, удобной комнатѣ, освобождаемъ себя отъ всѣхъ или подавляющихъ, или слишкомъ возбуждающихъ насъ ощущеній, пасмурнаго неба или черезъ-чуръ яркаго солнца. Лѣто было бы также благопріятно работѣ, еслибы въ комнатахъ мы могли всегда поддерживать ровный, прохладный воздухъ. Но большинство творческихъ идей должно приходить весной, когда пробуждается природа и вызываетъ въ насъ разнообразную и яркую работу психической ассоціаціи. Еслибы писатели и художники старательно записывали всѣ такія подробности, мы навѣрно бы нашли въ ихъ замѣткахъ подтвержденіе этихъ общихъ наблюденій.

Вопросъ физической силы, крѣпости нашего тѣла гораздо важнѣе, чѣмъ это обыкновенно думаютъ. И тутъ сложился въ обществѣ интересный предразсудокъ: будто бы поэтъ, писатель, художникъ, геніальный создатель научныхъ гипотезъ, долженъ быть непремѣнно человѣкомъ болѣзненно нервнымъ, скорѣе слабымъ, худымъ, съ эксцентричностью, которая вызвана его ненормальнымъ организмомъ. Есть даже ученые, какъ, напр., извѣстный итальянскій профессоръ Ломброзо и его послѣдователи, которые силятся доказать, что геній, высокій талантъ есть разновидность безумія или, по крайней мѣрѣ, психопатическаго состоянія. Нашъ авторъ не раздѣляетъ этого взгляда, и мы согласны съ нимъ. Еслибы и этотъ вопросъ подвергнуть болѣе точному обслѣдованію, описать бы подробнѣе расу, тѣлесный складъ, здоровье замѣчательныхъ людей въ разныхъ отрасляхъ науки и искусства, то, конечно бы, выводъ былъ противоположный. Человѣкъ, способный на творчество, не можетъ быть слабъ; у него недостало бы самаго тѣлеснаго субстрата для того, чтобы питать свою творческую дѣятельность. Конечно, можетъ случиться, что человѣкъ даровитый, человѣкъ даже геніальный, на видъ слабъ, подверженъ болѣзненнымъ припадкамъ, эксцентрикъ, считался даже при жизни полусумасшедшимъ, но дисгармонія между слабостью остальныхъ частей тѣла и исключительнымъ развитіемъ мозга никогда не проходитъ даромъ. Такой человѣкъ блеснетъ какъ метеоръ, напишетъ прекрасную поэму или оперу, или сдѣлаетъ два-три открытія, но навѣрно можно сказать, что его дѣятельность не будетъ собою представлять того правильнаго и плодотворнаго хода, той неустанной творческой работы, какіе мы видимъ въ дѣйствительно сильныхъ организмахъ, какой былъ у Галилея, у Ньютона, у Шекспира, у Корнеля, у Гёте, у Дарвина, у Виктора Гюго. Самая наслѣдственность, играющая такую роль въ вопросѣ о геніѣ и талантѣ, немыслима безъ сохраненія расы, т.-е. безъ передачи и

крупныхъ физическихъ свойствъ. Не надо забывать того, что творческая дѣятельность немыслима безъ соотвѣтственныхъ физическихъ движеній, хотя мы ихъ и не замѣчаемъ. Психофизика достаточно уже показала, сколько силы тратимъ мы во время мыслительнаго процесса, особенно, если мы приходимъ въ волненіе, испытываемъ творческую эмоцію. Всякій знаетъ, кто на своемъ вѣку работалъ головой, то особое физическое утомленіе, какое испытывается послѣ нѣсколькихъ часовъ напряженнаго мозгового труда. И такъ какъ всякій чисто физіологическій процессъ въ нашемъ тѣлѣ вліяетъ непремѣнно на умственную дѣятельность, то ясно, что только при полной нормальности, силѣ и энергіи растительныхъ процессовъ, можетъ и мозговая дѣятельность идти полнымъ ходомъ. Даже въ нашей безсознательной церебраціи, во время сна, мы испытываемъ то же вліяніе и ту же связь. Когда мы утомлены, ложась спать, мы въ первую половину ночи обыкновенно не видимъ никакихъ сновидѣній; къ разсвѣту же они дѣлаются все пестрѣе, послѣдовательнѣе и яснѣе; а иногда даже передъ тѣмъ какъ проснуться, мы начинаемъ думать во снѣ съ замѣчательной ясностью, оттого, что организмъ нашъ отдохнулъ. Но тотчасъ послѣ пробужденія наши мышцы еще не пришли въ должную гибкость и отзывчивость, мы не можемъ дѣйствовать ими съ полной энергіей, почему умственная работа не идетъ такъ быстро и ярко утромъ, какъ вечеромъ, чѣмъ многіе писатели и ученые злоупотребляютъ въ ущербъ своему здоровью, въ особенности (прибавимъ мы отъ себя) у насъ въ Россіи.

Изъ всего этого выходитъ, что должна быть отыскана и установлена особая гигіена для людей съ творческой способностью, чѣмъ медицинская наука уже и занялась. Ея совѣты и указанія совпадаютъ совершенно съ теоріей, по которой здоровье и физическая крѣпость — нераздѣльны съ творческой дѣятельностью мозга. Но является вопросъ: не было ли бы выгоднѣе сгущать творческую дѣятельность, сосредоточивать ее въ теченіе одного, двухъ часовъ, вмѣсто того, чтобы цѣлыми часами предаваться умственной работѣ обыкновеннаго, посредственнаго характера, или слишкомъ продолжительно подготовлять себя къ моменту, когда вамъ придетъ творческій образъ или научная идея? Практика показала, что всѣ искусственныя средства — опіумъ, гашишъ, алкоголь, сѣрный эфиръ или перекись азота — хотя и могутъ вызывать опьяненіе, соединенное съ большимъ приливомъ идей, съ ихъ быстротой и разнообразными комбинаціями, но это усиленіе энергіи безплодно, потому что умъ и не въ состояніи даже въ этихъ случаяхъ пользоваться идеями, приходящими къ нему, фик-

сировать ихъ, направлять ихъ по извѣстному пути. Намъ можетъ казаться, что образы, вызываемые искусственно, изумительны; если же мы ихъ запишемъ, то они выйдутъ только странными, не больше. Въ крайнемъ случаѣ искусственно возбужденная фантазія можетъ понадобиться только для сочиненія необычайныхъ исторій или причудливыхъ сновъ, но никогда еще никому не удавалось, путемъ искусственнаго возбужденія, найти ясную, простую и примѣнимую идею.

Нѣкоторыя вещества, какъ, напр., табакъ или спиртные напитки въ умѣренномъ количествѣ, возбуждаютъ нашъ умъ, но несомнѣнно уменьшаютъ силу размышленія, той способности къ ассоціаціи, которая можетъ рождать творческія идеи и образы. Мы знаемъ, что и послѣ сытнаго обѣда каждый неглупый человѣкъ дѣлается остроумнѣе, лучше говоритъ, веселѣе и находчивѣе; но это пищеварительное настроеніе врядъ ли кого-нибудь вело къ серьезному творчеству. И легкіе винные пары, и дымъ табаку могутъ располагать умъ къ мечтательности, пріятно настраивать воображеніе, но они въ соотвѣтственной степени ослабляютъ всю дѣятельную сторону нашего организма, уменьшаютъ желаніе выразить то, что представляется уму.

Обозрѣвъ всѣ эти условія, нашъ авторъ приходитъ къ тому выводу, что физіологическое состояніе, самое способное для изобрѣтенія, для творческихъ открытій—есть состояніе нормальное. Если даже человѣкъ, злоупотребляющій какими-нибудь возбудительными средствами, болѣе невиннаго качества, напр., кофеемъ, замѣчаетъ, что онъ дѣлается менѣе способнымъ къ умственной работѣ, какъ только захочетъ отстать отъ этого напитка, то это опять-таки доказываетъ, что постоянное легкое возбужденіе вошло уже въ норму для его организма. Его умственная работа уже нуждается въ тѣхъ физіологическихъ условіяхъ, въ которыхъ она была начата, а стало быть каждый, кто работаетъ головой, долженъ, прежде всего, удовлетворять всѣмъ своимъ привычкамъ, сдѣлавшимся для него обязательными. А это, въ свою очередь, показываетъ, что наши привычки должны быть—хорошія, ведущія къ поддержкѣ физической бодрости. Нарушимъ мы это правило, будемъ мы прибѣгать къ какимъ бы то ни было возбуждающимъ средствамъ, мы добьемся того, что наша нервная система притупится, и тогда начнется процессъ вырожденія нашего мозга и прогрессивное паденіе душевной жизни. Каждый возбудитель въ сущности есть подавитель, и геній никогда не можетъ быть неврозой; напротивъ, онъ представляетъ собою полнѣйшее здоровье мозга; почему великія творенія создавались не одной

какой-нибудь вспышкой, не въ бреду, а вытекали изъ цѣлой жизни, посвященной упорному труду.

X.

Физіологическія условія творческаго изобрѣтенія находятся, стало быть, внѣ нашего ума; но въ вопросѣ объ образованіи идей первенствующую роль играетъ извѣстное качество интеллигенціи. Умъ, склонный къ изобрѣтенію, долженъ отличаться непремѣнно **любознательностью и оригинальностью**. При равнодушіи къ открытію истины, онъ бы не дѣлалъ никакого усилія, кромѣ тѣхъ, какія нужны, чтобы удовлетворять органическимъ потребностямъ. Чтобы думать плодотворно, надо быть, попросту говоря, любопытнымъ, и для настоящаго творческаго изобрѣтательнаго ума самый процессъ исканія истины гораздо даже пріятнѣе, чѣмъ достиженіе своей цѣли. Еще Лессингъ въ одномъ мѣстѣ своей „Драматургіи“ говоритъ, что травить зайца несравненно занимательнѣе, чѣмъ затравить его. Истинно творческіе умы—научные изобрѣтатели, поэты—отличаются такой именно пылкостью въ отыскиваніи чего-то новаго; но очень скоро охладѣваютъ къ продукту своего творческаго генія. Такое чувство сидитъ, разумѣется, въ потребности живыхъ ощущеній, хотя и можетъ показаться очень возвышеннымъ, широкимъ. Его можно сравнить съ настоящей скупостью: скупецъ, въ началѣ развитія своей страсти, ставитъ себѣ разныя цѣли, которыхъ можно достичь только посредствомъ денегъ, но, впослѣдствіи, цѣли эти совершенно забываются, и всѣмъ существомъ скупца овладѣваетъ одно сладострастное чувство накопленія цѣнностей. Каждый даровитый человѣкъ работаетъ, представляя себѣ извѣстныя матеріальныя и нравственныя приманки; а когда достигнетъ ихъ, то все-таки же продолжаетъ предаваться творческому труду. Наравнѣ съ любознательностью нужна и оригинальность. Каждая умственная организація въ началѣ самобытна, выражаетъ какія-нибудь существенныя прирожденныя качества; но очень немногіе умы сохраняютъ свой оригинальный складъ: жизнь, ученье, сношенія съ людьми, господствующія идеи вѣка, мода, тысяча обстоятельствъ личной карьеры—все это стремится сгладить самобытность характера и ума. Вотъ почему люди, способные на оригинальную умственную дѣятельность, нуждаются гораздо больше въ уединеніи, въ обособленности, чѣмъ обыкновенные смертные. Но этого еще мало: кромѣ уединенія нуженъ и досугъ. Черезъчуръ большая производительность несогласима съ самобытнымъ

творчествомъ; и если разобрать жизнь любого даровитаго писателя, артиста или ученаго, то окажется, что періодъ отдыха—самый производительный. Тогда-то и можно вынашивать свои идеи, тогда-то и происходитъ настоящій творческій процессъ. Такъ какъ мы не въ состояніи усиліемъ воли ничего создавать, то мы и должны умѣть дожидаться. Насиловать свое воображеніе нельзя безнаказанно, даже и для второстепенной работы, гдѣ требуется больше мастерства, чѣмъ вдохновенія. Все, что вѣрно для изящнаго творчества, то вѣрно и для науки, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы ее двигать путемъ талантливыхъ гипотезъ, ведущихъ къ установленію новыхъ законовъ.

Спрашивается: въ какой степени знаніе можетъ служить творчеству, даже и научному? Практики, люди, любящіе щеголять своей опытностью и знаніемъ жизни, будутъ доказывать (и ссылаться даже на статистику), что эрудиція, книжное знаніе, то, что въ жаргонѣ школьниковъ и студентовъ называется „корпѣньемъ"—вовсе не полезно, даже и для научныхъ открытій. Каждый такой практикъ скажетъ вамъ, что для развитія воображенія гораздо лучше не набивать голову излишнимъ знаніемъ; чѣмъ она свѣжѣе, свободнѣе, тѣмъ полетъ фантазіи ярче и разнообразнѣе. Но и съ статистикой, въ этомъ случаѣ, надо обращаться осторожно. На сто изобрѣтеній большинство придется пожалуй на долю людей, не имѣющихъ систематическаго книжнаго и школьнаго образованія, но это происходитъ оттого, что ученыхъ, въ тѣсномъ смыслѣ, очень мало, почему въ статистикѣ изобрѣтеній они и не могутъ представлять первенствующей цифры. Но разберите вы этотъ вопросъ по существу—и вы убѣдитесь, что безъ запаса идей невозможенъ умственный процессъ, ведущій къ удачнымъ догадкамъ, гипотезамъ, находкамъ, открытіямъ; а идеи держатся за знаніе, какимъ бы путемъ оно ни пріобрѣталось—книжнымъ или непосредственными наблюденіями надъ природой и человѣческимъ обществомъ. У кого мало идей, у того мало и воображенія. Разумѣется, бѣдность идей вызываетъ, съ своей стороны, потребность выдумать что-нибудь новое, но невѣжественный человѣкъ непремѣнно ошибется, забудетъ какой-нибудь существенный элементъ въ рѣшеніи извѣстной задачи. Скорѣе всего онъ станетъ работать надъ такимъ открытіемъ, которое давно уже сдѣлано, не въ состояніи будетъ воспользоваться ошибками своихъ предшественниковъ или ихъ приближеніемъ къ истинѣ. Для серьезныхъ же научныхъ открытій знаніе безусловно необходимо. Оно и дѣлаетъ то, что когда произойдетъ какое-нибудь открытіе, очень часто нѣсколько человѣкъ приписываютъ

его себѣ. Отчего это такъ выходитъ? Оттого что идея уже висѣла въ воздухѣ и въ разныхъ мѣстахъ умственная работа шла по одному пути. Нечего и говорить, что открытія второго сорта, всякаго рода примѣненія техническаго характера, предполагаютъ, если не глубину знанія, то большія спеціальныя свѣденія по извѣстному предмету.

Но нѣтъ ли, въ самомъ дѣлѣ, чего-нибудь основательнаго въ боязни, какую люди съ творческимъ воображеніемъ имѣютъ ко всему, что отзывается книжнымъ знаніемъ, сухой работой ума? Есть, конечно: стоитъ только вспомнить, какъ, и въ области науки, открытія, которыми гордится новая эпоха цивилизаціи, встрѣчали отпоръ, вызывали ненависть и преслѣдованіе не въ комъ другомъ, какъ въ представителяхъ науки, въ данную минуту. Откуда же идетъ эта почти всегдашняя борьба оффиціальной науки съ истинными двигателями ея? Она происходитъ отъ духа рутины, отъ убѣжденія, являющагося у спеціалистовъ, въ томъ, что они только и могутъ знать, что̀ допустимо въ ихъ области. Эти спеціалисты, враждебно встрѣчающіе самыя геніальныя изобрѣтенія, вовсе не бездарности; но они положили слишкомъ много времени на усвоеніе себѣ того, что сдѣлано другими; у нихъ не было достаточно досуга, чтобы работать надъ своими идеями и доходить до открытія новыхъ законовъ. Стало быть, наука, знаніе какого бы то ни было рода, не мѣшаетъ намъ, само по себѣ—быть изобрѣтательными; но они отнимаютъ у насъ множество времени.

Прибавлю отъ себя къ тому, что говоритъ нашъ авторъ, что и въ области беллетристики мы видимъ какъ людей, одаренныхъ высокимъ талантомъ, способныхъ на крупнѣйшее самобытное творчество, когда они начинаютъ вдаваться въ слишкомъ большія книжныя изслѣдованія, перечитываютъ сотни томовъ для того, чтобы написать одну главу, теряютъ все больше и больше живость фантазіи, отстаютъ отъ привычки къ творческой работѣ. Интимная исторія Флобера, какъ писателя, достаточно доказываетъ это. То же можетъ повториться и съ каждымъ романистомъ или поэтомъ, который черезъ-чуръ углубляется въ изысканія эрудиціи, уходитъ отъ живой наблюдательности, утомляетъ себя надъ работой чисторазсудочнаго свойства, сокращаетъ тѣ досуги, какіе необходимы для свободной игры творческой ассоціаціи.

Остается еще память — одно изъ самыхъ существенныхъ психическихъ условій изобрѣтенія. Если вы не хотите страдать отъ изсушающаго дѣйствія книжныхъ занятій, вамъ необходимо схватывать быстро и отчетливо удерживать въ головѣ все, что вы читаете; а безъ хорошей памяти это немыслимо. Опять-таки, у

многихъ есть замашка противополагать память воображенію, какъ способности точно будто враждебныя одна другой. Но этотъ взглядъ также невѣренъ, какъ и проповѣдь невѣжественности для изобрѣтателя. Воображеніе можетъ черпать только изъ идей и образовъ, уже пріобрѣтенныхъ нами. Чѣмъ лучше память, тѣмъ того и другого будетъ больше. Когда она полна отчетливыхъ образовъ, ясныхъ идей, то весь этотъ матеріалъ приходитъ въ гораздо болѣе живую ассоціацію, образуетъ группы, создаетъ новыя точки зрѣнія. Выводы подсказываются сами собою, а это уже есть прямой переходъ къ тому, что мы называемъ творчествомъ. При слабой же памяти надо прибѣгать къ записямъ, и тогда работа дѣлается только чисто логической, приблизительной, абстрактной; образы улетучиваются, между ними не можетъ быть живыхъ, органическихъ сочетаній, они не могутъ складываться въ группы, а будутъ только перечисляемы или попадутъ въ искусственную классификацію; стало быть и продуктъ работы будетъ не настоящій органическій, а искусственный. Всего ярче это можно показать на творческой работѣ историка, которому и нельзя придти къ взглядамъ, двигающимъ науку, т.-е. все болѣе и болѣе приближающимся къ истинѣ, иначе какъ заставляя въ своей головѣ бродить цѣлую массу хорошо удержанныхъ имъ, ясныхъ, выпуклыхъ и яркихъ фактовъ и образовъ.

То же видимъ мы и въ изобразительныхъ художникахъ—живописцахъ, скульпторахъ. Хорошій рисовальщикъ тотъ, кто сразу схватываетъ формы предмета и навсегда запечатлѣваетъ въ своей памяти. Безъ особеннаго расположенія мнемоническихъ способностей, немыслима спеціальность артиста или ученаго; одинъ схватываетъ краски, другой цифры, третій имена, четвертый линіи, и его даровитость вытекаетъ именно изъ тѣхъ самобытныхъ сочетаній, какія возможны въ массѣ знаковъ, идей или очертаній, доставленныхъ ему спеціальнымъ видомъ памяти.

Съ другой стороны, слишкомъ хорошая память не повредитъ ли свободѣ воображенія, постоянно выставляя во всей свѣжести уже пріобрѣтенное умственное добро? Можно потерять всякую оригинальность, заставляя свою память пріобрѣтать все новый и новый, но уже готовый, матеріалъ. Есть люди до такой степени набившіе свою голову, что они не въ состояніи придти ни къ какому личному созданію. Спросите ихъ: какъ они находятъ то или иное произведеніе — они вамъ сейчасъ начнутъ цитировать чужіе отзывы, а то, что они сами скажутъ, будетъ непремѣнно напоминать уже установившіеся взгляды. Не происходитъ ли этотъ недостатокъ отъ силы памяти? Скорѣе отъ слабости. Это обыкно-

венно бываетъ съ тѣми людьми, кто долженъ, чтобы удерживать въ головѣ идеи, связывать ихъ въ цѣлыя категоріи; какъ только какой-нибудь вопросъ расшевелилъ ихъ мозгъ, въ немъ сейчасъ же появляются цѣлыя связныя группы идей. Если же наша память, при всей своей свѣжести, болѣе легкая, подвижная, если мы въ состояніи схватывать и удерживать въ головѣ множество раздѣльныхъ фактовъ, то мы способны будемъ и вызывать въ нашей головѣ самыя неожиданныя и своеобразныя сочетанія.

Память нужна не только затѣмъ, чтобы вспоминать чужія слова и мысли, но и затѣмъ, чтобы удерживать въ ней собственныя идеи, приходящія намъ неожиданно въ разное время. Мысль придетъ въ неудобный моментъ — во время разговора совсѣмъ о другомъ, на прогулкѣ, ночью, когда не спится—можно, конечно, записать сейчасъ; но записываніе вредитъ непосредственности, наивности творческаго процесса. Чтобы добиться настоящей оригинальности надо долгое время носить въ себѣ самомъ свободно приходящія въ голову идеи и поручать ихъ хранить своей памяти. Пускай все это бродитъ, не получая еще той сухой опредѣленности, которой всякая мысль облекается, какъ только она записана. И эта способность вызывать всегда то, что было нами сознано, увеличиваетъ силу изобрѣтенія, позволяетъ хранить цѣлый запасъ идей и образовъ, чтобы воспользоваться ими въ данную минуту. И умъ нашъ обогащается все больше и больше предъидущими усиліями, которыя не разлетаются на вѣтеръ, а поступаютъ на службу творческаго процесса. И все это возможно только при отличной памяти, умѣющей пользоваться этими отрывочными мыслями, не получившими еще часто никакой яркой формы, не находящимися между собою ни въ какой опредѣленной связи.

XI.

Въ послѣдней главѣ своей монографіи нашъ авторъ обозрѣваетъ разные пріемы для выраженія идей и обсуждаетъ насколько каждый изъ нихъ способствуетъ творческому изобрѣтенію. Работа выраженія, выполненія, въ разныхъ областяхъ искусства, сама по себѣ уже связана съ извѣстнаго рода изобрѣтеніемъ; она заставляетъ умъ безпрестанно мѣнять свои идеи, дополнять свои образы. Въ ряду пріемовъ выраженія, на первомъ планѣ стоитъ языкъ, устная рѣчь—самый употребительный, всего болѣе изслѣдованный и всего болѣе необходимый. Мы говоримъ, чтобы выражать свои мысли, но средство выраженія служитъ не одному

только этому: оно, въ свою очередь, преобразовываетъ и обогащаетъ мысль. Мы давнымъ давно уже думаемъ словами: это несомнѣнный психическій фактъ. Научаясь говорить, мы учимся и думать. Думая про себя, мы, въ сущности, безъ словъ говоримъ и дѣлаемъ незамѣтное для себя усиліе нѣмого произношенія фразъ; и всякій шумъ мѣшаетъ намъ думать — прямое доказательство нашего всегдашняго мышленія словами. Слова вызываютъ въ нашемъ умѣ опредѣленные образы; но у нихъ есть еще другое свойство: они, въ силу употребленія, пріобрѣтаютъ собственную цѣну и, помогая намъ думать, могутъ, въ то же самое время, и не вызывать въ умѣ опредѣленныхъ, образныхъ представленій. Когда мы читаемъ скоро серьезную книгу, требующую абстрактнаго мышленія, мы вовсе не останавливаемся надъ каждымъ словомъ и не вызываемъ въ умѣ своемъ конкретныхъ представленій. Образы дѣлаются все общѣе, туманнѣе, и слова въ книгѣ получаютъ все болѣе и болѣе способности быть больше знаками, чѣмъ опредѣленными понятіями, дѣлаются все растяжимѣе и растяжимѣе. Съ своей стороны, слова общаго, типическаго характера, выражающія понятія рода или вида, цѣлой категоріи предметовъ, вызываютъ въ насъ представленія конкретныхъ вещей, а общая идея, составляющая истинный смыслъ слова, слишкомъ отвлеченна, чтобы ее сейчасъ же сознать. Нѣкоторыхъ словъ и совсѣмъ нельзя представить себѣ надлежащимъ образомъ, какъ, напр., безконечность, вѣчное бытіе, вселенную; и значеніе такихъ словъ будетъ всегда условное, предполагающее всякія возможности. Изъ всего этого вытекаетъ, что мы въ состояніи понимать слово, не понимая настоящаго его смысла, и употреблять идеи, превышающія наше разумѣніе. И вотъ это-то свойство нашей мысли, связанное съ словами, и способствуетъ творческому изобрѣтенію. Каждое слово, обнимающее собою нѣчто болѣе—мелкаго и совершенно опредѣленнаго конкретнаго факта, способно вызывать цѣлый рядъ образовъ. Когда вы читаете отвлеченную книгу, попробуйте придавать каждому слову опредѣленный, законченный смыслъ — вы сейчасъ же убѣдитесь, что перестанете понимать общій смыслъ фразъ. Происходитъ это оттого, что наша логическая работа связана съ извѣстнаго рода иллюзіей. Когда мы отдаемся общему току идей, схватывая главный смыслъ фразъ и предложеній, мы убѣждены, что разсуждаемъ, сравниваемъ, соображаемъ, но какъ только мы захотимъ присмотрѣться къ самому процессу нашего мышленія, мы найдемъ на днѣ его образы, и приведеніе каждаго слова къ конкретному представленію сейчасъ же сбиваетъ насъ съ толку и уничтожаетъ нашу логическую иллюзію. Каждая

общая идея ясна намъ до тѣхъ поръ, пока насъ не заставятъ пояснить ее примѣромъ. Абстрактному слову должно соотвѣтствовать и вполнѣ абстрактное понятіе. Мы, читая или размышляя быстро, довольствуемся только частью мысли, не останавливаясь на каждомъ словѣ, не исчерпывая его содержанія. Также поступаютъ и въ алгебрѣ, гдѣ логически слѣдятъ за знаками, а вовсе не за идеями, не за конкретными величинами, которыя сидятъ подъ тѣми или иными буквами. И въ каждомъ размышленіи, хоть сколько-нибудь абстрактномъ, умъ нашъ очень скоро перестаетъ сознавать смыслъ отдѣльныхъ словъ и направляется только на логическую работу, работу окончательнаго вывода, который и долженъ быть согласованъ со всѣми конкретными фактами.

Коль скоро, стало быть, языкъ словъ можетъ замѣщать собою мысль, хотя бы и временно, его помощь очевидна въ дѣлѣ творческаго процесса. Слова помогаютъ намъ фиксировать уже пріобрѣтенныя идеи; онѣ дѣлаются какъ бы настоящими предметами; слово сейчасъ же связываетъ насъ съ цѣлымъ рядомъ идей, оно отдаетъ въ наше распоряженіе все, накопленное нами, умственное добро. Правда, работа отъ этого замедляется: слова занимаютъ сами по себѣ и время, и пространство, но самая медленность идетъ въ прокъ способности къ изобрѣтенію. Желая выразить, какъ можно лучше, извѣстную мысль, мы дополняемъ, совершенствуемъ самую эту мысль. Въ импровизаціяхъ вся творческая работа и происходитъ въ промежуткѣ между нарожденіемъ идей и изобрѣтеніемъ формы. Вездѣ, гдѣ нужно быстро найти способъ выраженія: въ полемикѣ, въ спорѣ, въ горячей бесѣдѣ—изобрѣтательныя способности получаютъ толчокъ: соперникъ, съ которымъ нужно посчитаться, вызываетъ желаніе найти вѣскіе доводы и выразить ихъ какъ можно лучше; и эти поиски оборотовъ, словъ, вліяютъ и на богатство мыслей, на идейное творчество. Есть даже люди, которымъ необходимо, когда они что-нибудь обдумываютъ, представить себѣ, что они находятся въ спорѣ съ противникомъ; иначе работа ихъ сейчасъ же потеряетъ должную яркость и оригинальность.

Языкъ, самъ по себѣ, заставляетъ насъ находить идеи. Попробуйте описать извѣстный образъ: вы должны непремѣнно перечислить всѣ его подробности, а, стало быть, отличить ихъ одну отъ другой въ своемъ воображеніи. Каждая фраза нуждается въ составленіи плана; одной психической ассоціаціи недостаточно, чтобы сдѣлать предложеніе яснымъ, закругленнымъ, полнымъ; нужна еще и руководящая работа, логическій порядокъ. Каждая метода, выработанная для постройки фразъ, вызываетъ непре-

мѣнно и усиленную дѣятельность мысли. Есть даже обороты, какъ, напр., антитеза - противоположеніе, толкающіе всегда на новые образы, почему поэты и писатели всѣхъ вѣковъ и народовъ (а въ особенности романтики, съ Викторомъ Гюго во главѣ), такъ злоупотребляли этимъ пріемомъ. Словомъ, на языкъ можно смотрѣть, какъ на настоящую мыслительную машину; какъ только вы ему доставите какую бы то ни было идею — онъ сейчасъ же ее схватываетъ, растягиваетъ или разрываетъ на куски, и изъ всего этого составляетъ фразы, заключающія въ себѣ размышленіе. И въ практикѣ ораторовъ, преподавателей, проповѣдниковъ, слово играетъ постоянно роль творческаго возбудителя. Вы хотите произнести рѣчь; ея идея уже пришла вамъ, смутно представляются и различныя части, но первыя фразы идутъ еще туго, а дальше все лучше и лучше. Почему? Потому что ораторъ еще не увлеченъ самымъ процессомъ говоренія, а какъ только онъ разойдется (предполагая, разумѣется, что у него есть талантъ импровизаціи), его самого потащитъ какая-то сила. Каждая новая фраза будетъ вызывать двѣ, три, десять слѣдующихъ, такъ что наступитъ такой моментъ, когда творческая работа мышленія будетъ дѣлать паузы, отдыхать, и ораторъ будетъ какъ бы самъ, со стороны, слушать всю импровизацію. Слово, во всѣхъ такихъ случаяхъ, достигаетъ высшаго предѣла своей возбуждающей силы, и нарожденіе идей почти цѣликомъ обязано тогда ему.

Письменное выраженіе слова, въ свою очередь, вліяетъ на изобрѣтательную способность. Съ перомъ въ рукахъ идеи нарождаются не такъ быстро, но за то гораздо вѣрнѣе, обработаннѣе и глубже. Безпрестанно встрѣчаемъ мы людей хорошо пишущихъ и дурно говорящихъ, и наоборотъ. Умы, обладающіе меньшей находчивостью, предназначены къ работѣ, при которой вступаетъ въ свои права критика. Ораторъ увлеченъ своей мыслью; писатель надзираетъ за нею и руководитъ ею. Въ его работѣ больше преднамѣренности, она подчинена усиліямъ воли, и въ ней мы видимъ ясно выраженный логическій элементъ. Вторженіе критики въ дѣло изобрѣтенія имѣетъ свои преимущества и опасности. Когда писатель работаетъ слишкомъ медленно, его творческая эмоція, его вдохновеніе могутъ испариться. Слишкомъ усиленная погоня за совершенствомъ можетъ кончиться скудостью воображенія, что́ мы и видимъ въ произведеніяхъ тѣхъ авторовъ, которые слишкомъ предаются культу формы, черезъ-чуръ много изучаютъ, незамѣтно впадая въ разсудочную работу, въ виртуозность, лишенную всякаго вдохновенія. Примѣромъ можетъ служить послѣдняя эпоха въ писательской дѣятельности Флобера,

когда онъ приступилъ къ своему роману „Бюваръ и Пекюше“— прибавимъ мы въ поясненіе того, что говоритъ нашъ авторъ.

Въ работѣ писателя можетъ быть двѣ методы: или быстрая, или медленная. Творческій геній или даже крупный талантъ мастерства будетъ всегда держаться первой методы. Сидѣть надъ чѣмъ-нибудь слишкомъ продолжительно, корпѣть, выражаясь болѣе безцеремоннымъ терминомъ, не есть достояніе истинныхъ дарованій. Но быстрота творческой работы предполагаетъ предварительную выработку мастерства, подготовку всѣхъ писательскихъ средствъ, которыя немыслимы, въ свою очередь, безъ продолжительной и медленной работы совершенствованія. Но если вы уже дошли до полнаго соотвѣтствія между замысломъ и выполненіемъ его, не слѣдуетъ злоупотреблять, преднамѣренно, чисто разсудочной работой. Прекрасно написанныя страницы произведенія, самые блестящіе эффекты — вовсе не результаты усилія; тамъ, гдѣ оно чувствуется, авторъ, даже при большомъ мастерствѣ, кажется намъ черезъ-чуръ искусственнымъ въ своей манерѣ. Его слогъ можетъ прельщать насъ только тогда, когда мы чувствуемъ, съ какой легкостью и непринужденностью находятъ идеи внѣшнее выраженіе, хотя, опять-таки, не надо забывать, что эта легкость есть результатъ предварительной работы, результатъ всего предъидущаго опыта. Языкъ, слишкомъ обращающій на себя вниманіе читателей, никогда не можетъ быть дѣломъ свободнаго творчества. И авторъ не рекомендуетъ: отыскивать разныя тонкости, красивые обороты, новыя слова и выраженія во время самаго выполненія писательскаго замысла. Надо воздерживаться отъ желанія увеличивать художественную цѣнность того, что должно бы служить только, какъ знакъ.

Эти замѣчанія—скажемъ мы отъ себя—идутъ въ разрѣзъ съ той виртуозностью, въ которую французскіе беллетристы новой эпохи, въ особенности романтики школы Шатобріана: Теофиль Готье, Поль де-Сенъ-Викторъ, Флоберъ, въ значительной степени, а потомъ братья де-Гонкуръ—впадали преднамѣренно. Въ предисловіи къ своему послѣднему роману: „Chérie“ — Эдмонъ де-Гонкуръ защищаетъ усиленную работу надъ фразой, изобрѣтеніе новыхъ словъ, и, не замѣчая того, наноситъ ударъ принципу натуралистическаго романа, которому думаетъ служить. Если въ работѣ писателя забота объ отдѣльныхъ словахъ и оборотахъ стоитъ на первомъ планѣ, и ему хочется прослыть новаторомъ въ языкѣ, виртуозомъ въ изысканныхъ выраженіяхъ, томительно выдавленныхъ изъ своего мозга, то правда жизни, творческій замы-

селъ, являющійся въ силу свободной ассоціаціи идей, питаемыхъ наблюдательностью, отойдутъ, конечно, на задній планъ.

Нашъ авторъ совершенно вѣрно говоритъ, что задача, какую писатель ставитъ предъ собою, сводится къ слѣдующему: какъ только пришла творческая идея, отыскать средства, вызвать такую же точно идею и въ умѣ читателей. Если выраженіе недостаточно, идея не будетъ понята. Но часто бываетъ, что мы, въ жару работы, удовлетворяемся такимъ выполненіемъ, которое позднѣе, когда пройдетъ наша творческая эмоція, кажется намъ блѣднымъ и тусклымъ. Мы убѣждаемся въ томъ, какъ богатство и яркость образовъ первыхъ минутъ вдохновенія обманывали насъ и позволяли намъ удовлетворяться тѣмъ, что впослѣдствіи мы находимъ такъ недостаточнымъ. Другая крайность—когда мы въ описаніяхъ, характеристикахъ, сценахъ вдаемся въ слишкомъ большую отчетливость. Не нужно никогда забывать, что такое излишество подробностей дѣлается для читателя утомительнымъ; онъ недостаточно самъ работаетъ своимъ воображеніемъ, къ которому авторъ всегда долженъ обращаться, предоставляя читателю удовольствіе понимать его съ полуслова.

Остается разсмотрѣть еще: въ какой степени способствуютъ творческому изобрѣтенію художественные пріемы въ искусствахъ. Они не такъ значительны и обширны, по своему примѣненію, какъ устное и письменное слово, но могутъ быть весьма плодотворны и даже интенсивнѣе, чѣмъ слова.

Вся вторая половина въ осуществленіи всякаго художественнаго замысла принадлежитъ мастерству. Слово „талантъ"—понятіе, какое мы связываемъ съ нимъ—должны, главнымъ образомъ, относиться къ этой второй половинѣ. Родятся люди, положительно геніальные въ наукѣ и въ искусствѣ, въ различныхъ его отрасляхъ: они способны на изобрѣтеніе, имъ приходятъ богатыя и совершенно новыя творческія идеи; но эти идеи остаются въ ихъ головѣ, умираютъ съ ними, не двигаютъ нисколько впередъ ни науки, ни искусства, потому что, въ данномъ случаѣ, геній лишенъ таланта. И, наоборотъ, много талантливыхъ людей обречены на одну виртуозную работу, не въ состояніи подняться до чего-нибудь истинно-творческаго принуждены всю свою жизнь довольствоваться работой по чужимъ мыслямъ или производить вещи посредственныя. Но талантъ, если подъ нимъ разумѣть чисто артистическую способность выполненія, не можетъ довольствоваться только одними пріемами, навыками мастерства, какіе пріобрѣтаются выучкой и долгой практикой. Въ послѣдніе годы, замѣчу я, художники, въ особенности въ Парижѣ, сотни

живописцевъ, скульпторовъ, рисовальщиковъ въ разныхъ родахъ, смотря на свое дѣло, какъ на выгодное ремесло, сводятъ его почти исключительно къ пріемамъ, къ тому, что французы называютъ „procédés“. Одинъ дѣлаетъ себѣ спеціальность яркаго и привлекательнаго колорита, другой пишетъ хорошо матеріи, третій — перспективу, четвертый—голое тѣло; о вдохновеніи, о творческихъ идеяхъ, объ оригинальности замысловъ и полетахъ воображенія почти и рѣчи быть не можетъ. „Всѣ эти художники учатся извѣстной спеціальности, вырабатываютъ себѣ манеру, какая всего больше привлекаетъ публику, и на этомъ забастовываютъ. Но пріемы, необходимые для полнаго соотвѣтствія между выполненіемъ и замысломъ въ истинныхъ художникахъ, предполагаютъ также особаго рода, и весьма значительный, талантъ, не лишенный творчества, хотя это творчество и будетъ относиться уже къ мастерству. Иначе и быть не можетъ; оригинальному, вполнѣ самобытному замыслу должна соотвѣтствовать всегда и своя новая, еще невиданная форма. Вотъ почему выраженіе идей и требуетъ такой же самобытности, какъ и изобрѣтеніе ихъ, такъ что надо придти къ такому выводу: геній и талантъ не представляютъ что-либо вполнѣ противоположное; они—степени и оттѣнки той же самой способности, въ первомъ случаѣ дающей творческія идеи, во второмъ—идеи, связанныя съ внѣшнимъ выраженіемъ.

Творческій талантъ мастерства и будетъ заключаться въ нахожденіи самаго большаго количества выразительныхъ признаковъ. Ни одно искусство не располагаетъ средствами, вполнѣ достаточными, для осуществленія замысловъ: ни живопись, не имѣющая всѣхъ измѣреній въ пространствѣ, ни скульптура, лишенная краски, ни музыка, принужденная довольствоваться существующими инструментами. Но отысканіе этихъ способовъ выраженія, въ свою очередь, дополняетъ творческій образъ, зиждительную идею. Каждый знаетъ, что писатель, живописецъ, скульпторъ, музыкантъ, принимаясь за работу съ готовой, вполнѣ ясной идеей, все-таки же не знаетъ, какое окончательное развитіе получитъ она; что̀ дѣлается путемъ самой работы. Никакого человѣческаго воображенія не хватитъ на то, чтобы представить себѣ, во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ, произведеніе такимъ, какимъ оно выйдетъ изъ-подъ пера, кисти или рѣзца. Матеріальное воспроизведеніе замысла и задается цѣлью: дать опору мысли, поддержать идейную работу, облегчить ее, фиксируя сейчасъ же все то, что̀ является въ головѣ съ помощью пріемовъ мастерства. Форма не только служитъ тому, чтобы сообщать читателю или зрителю то,

что сидѣло въ насъ, но и помогать намъ самимъ идти дальше въ своемъ творческомъ изобрѣтеніи. Безъ внѣшнихъ знаковъ мы сами не могли бы справиться съ нашей задачей, точно такъ же, какъ безъ знаковъ мы не могли бы сосчитать дальше пятнадцати или двадцати. Очень часто въ нѣкоторыхъ областяхъ искусства работа выполненія положительно тянетъ насъ дальше по пути творчества. Въ особенности видно это въ музыкѣ. Піанистъ-композиторъ обязанъ бываетъ часто выработкѣ своего механизма, способности импровизировать болѣе серьезными музыкальными идеями. Да и во всѣхъ остальныхъ искусствахъ выразительныя средства обладаютъ своей собственной оригинальностью, дополняютъ и развиваютъ первоначальный замыселъ артистовъ.

Съ большими подробностями указываетъ авторъ на эту роль художественныхъ пріемовъ въ двухъ искусствахъ: въ рисованіи и версификаціи.

Рисовальщикъ хочетъ представить толпу, переживающую какой-нибудь сильный моментъ. Выраженіе чувствъ и мыслей цѣлой сотни лицъ должно быть самое разнообразное, но въ первыя минуты фантазія его кажетъ ему нѣсколько не вполнѣ ясныхъ группъ. Выяснятся эти группы, а потомъ и отдѣльныя фигуры, лица, только путемъ самой работы. Иногда, какая-нибудь случайно проведенная линія доставитъ ему типъ или посадку тѣла; или же это будетъ пятно, вызванное непроизвольнымъ движеніемъ руки—и все это послужитъ на пользу всему произведенію, дастъ естественное расположеніе всей группировкѣ, характеръ реальной жизни. Вотъ почему и полезно, въ этихъ случаяхъ, работать на удачу, предоставлять самому процессу выполненія—развитіе творческаго замысла, разумѣется, тогда, когда художникъ вполнѣ овладѣлъ выразительными средствами. Движенія руки не должны быть ни рутинны, ни слишкомъ фантастичны; они должны подчиняться извѣстному художественному закону гармоніи, вслѣдствіе артистической выработки вкуса и пониманія жизненной правды. Талантъ выполненія и скажется въ этомъ инстинктѣ гармоніи, т.-е. соотвѣтствія частей. Онъ и позволяетъ художнику распознавать всегда: какому типу лицъ соотвѣтствуетъ та или иная фигура, и наоборотъ. Академическая рутина, когда она въѣлась въ человѣка, даже и съ дарованіемъ, мѣшаетъ ему предаваться свободно фантазіи и движеніямъ своей руки. Она ему подсказываетъ, постоянно, извѣстные стоячіе типы, строгія, жесткія линіи. Внутреннее чувство гармоніи и соотвѣтствія частей не дается ни логической работой, ни рутиной, выучкой; оно сидитъ гораздо менѣе въ головѣ, чѣмъ въ мастерски выработанной рукѣ артиста.

И тогда стоитъ только художнику набросать нѣсколько чертъ, чтобы рука его закончила сейчасъ-же образъ, повинуясь этому внутреннему закону соотвѣтствія частей.

Языкъ поэтической рѣчи, версификація, точно также способствуетъ воображенію поэта, дополняетъ и развиваетъ первоначальные творческіе образы. Ритмъ и созвучіе имѣютъ сами по себѣ художественное значеніе, музыкальную цѣнность и красоту. Въ стихахъ и то и другое настолько иногда выдвигается на первый планъ, что мысль, содержаніе, страдаютъ, дѣлаются бѣднѣе; многословіе и темнота встрѣчаются слишкомъ часто. Защитники болѣе естественной формы выраженія идей не перестаютъ доказывать, что стихотворная форма ниже прозы въ смыслѣ логики, а въ музыкальномъ отношеніи гораздо ниже чистой мелодіи. И то, и другое справедливо; но у этой формы есть свои достоинства, не говоря о томъ, что она не явилась-бы и не была бы выработана человѣчествомъ безъ извѣстныхъ коренныхъ художественныхъ потребностей, удовлетвореніе которыхъ находится въ ритмичности и музыкальности стиха. Стихи представляютъ собою гармонію между звуками и мыслями; и въ творческой работѣ, въ мастерствѣ выполненія, въ силу разныхъ стѣсненій, а также въ сочиненіи звуковыхъ антитезъ, контрастовъ, вызываютъ усиленную работу фантазіи и вкуса. Эта форма искусства, пріемы присущіе стихотворству—въ высшей степени двигательны, возбудительны. Ритмъ, опредѣляющій длину колебаній и расположеніе стиховъ, всего чаще выбирается случайно и самъ по себѣ вліяетъ на характеръ мысли, а колоритъ и тонъ вызываютъ ту или иную эмоцію въ самомъ поэтѣ. Этотъ ритмъ безпрестанно насилуетъ логическое теченіе мыслей, но самые тиски заставляютъ умъ покидать рутинную дорогу, искать новыхъ направленій и наталкиваться на неожиданные образы и комбинаціи; такъ что ритмическая рѣчь всего богаче случайными ассоціаціями идей, дающими поэзіи такую кажущуюся легкость и свободу.

Созвучіе риемы, выработанное для приданія языку еще большей гармоніи, въ свою очередь способствуетъ оригинальности мысли. Обыкновенно только одно слово въ риемѣ вызвано необходимостью, выражаетъ настоящій смыслъ, а другія приставлены для созвучія, такъ что тутъ всего яснѣе является взаимная зависимость идеи отъ знака, и знака отъ идеи. Этотъ видъ ассоціаціи произвольный и случайный, но отъ этого-то онъ и дѣлается въ высшей степени возбуждающимъ фантазію и творческое мастерство. Необходимость созвучія заставляетъ стихотворца ассоціировать идеи совершенно нераціональнымъ порядкомъ, но

этимъ самымъ освобождаетъ его отъ гораздо болѣе суровыхъ тисковъ строго логическаго мышленія, и риѳма стѣсняетъ поэта только тогда, когда онъ самъ хочетъ подчинять ее всегда и вездѣ разсудку. Если кто жалуется на тираннію стиха, то этимъ показываетъ свою неумѣлость. Въ такихъ случаяхъ стихотворецъ желаетъ сдѣлать изъ риѳмы только одинъ способъ выраженія, вмѣсто того, чтобы пользоваться ею для добыванія новыхъ идей. Разумѣется случайность, неожиданность, связанная съ нахожденіемъ созвучій, все болѣе и болѣе притупляется. Самое число риѳмъ, хотя онѣ далеко не исчерпаны, для каждаго отдѣльнаго стихотворца, укладывается въ серіи и въ группы, создаетъ привычки, вызываетъ повтореніе однихъ и тѣхъ-же созвучій. Очень можетъ быть, что со временемъ окончательно изсякнетъ возбудительная сила созвучій, и культурное человѣчество перейдетъ къ какой-нибудь другой формѣ поэтической рѣчи. Но, судя по новымъ и блистательнымъ успѣхамъ версификаціи, и въ западной Европѣ, и въ нашемъ отечествѣ—прибавимъ мы отъ себя—это еще случится не скоро.

Авторъ изложенной нами монографіи коснулся роли артистическихъ пріемовъ, насколько ему нужно было, не входя въ слишкомъ большія подробности. Кто интересуется этимъ вопросомъ, т.-е. выраженіемъ въ области искусствъ, пріемами, присущими каждому виду мастерства, тѣмъ я рекомендую талантливо написанный и очень обширный трактатъ извѣстнаго французскаго поэта Сюлли Прюдома, явившійся два года спустя послѣ диссертаціи г. Суріо [1]). Сюлли Прюдомъ, безъ серьезныхъ, по моему мнѣнію, основаній, исключилъ какъ-разъ словесное творчество—художественную прозу и стихотворную поэзію—изъ группы изящныхъ искусствъ, потому что слово, какъ символъ, не даетъ непосредственныхъ, чувственныхъ ощущеній музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и драматическаго искусства. Онъ не останавливается также на болѣе научномъ разсмотрѣніи нашего спеціальнаго вопроса, т.-е. на психологіи творческаго процесса, въ смыслѣ изобрѣтенія. У него изобрѣтательная способность трактуется вмѣстѣ съ мастерствомъ. Далекъ онъ также и отъ болѣе правильной установки общей почвы для творческой способности, которую одинаково нужно распространить и на научныя изобрѣтенія. Зато книга его богата наблюденіями, выводами,

[1]) Oeuvres de Sully Prudhomme. de l'academie française. Prose. (1883). L'expression dans des beaux arts. Application de la psychologie á l'etude de l'artiste et des beaux arts. Paris. Alphonse Lemerre, editeur. 27—31. Passage Choiseul, 27—31 1883.

замѣтками, остроумными находками, разнообразнымъ анализомъ по психологіи артистовъ разныхъ спеціальностей и по установленію коренныхъ признаковъ и пріемовъ мастерства въ каждой области пластическаго и звукового искусствъ.

Книгу свою, съ которой мы уже простимся теперь, г. Суріо кончаетъ слѣдующими заключительными словами:

„Всѣ факты, изученные нами, приводятъ къ идеѣ, которую вызвали въ насъ первоначально общія соображенія: истинный принципъ изобрѣтенія есть случай, т.-е. детерминизмъ естественныхъ причинъ, энергія, присущая физическимъ силамъ".

„На взглядъ поверхностнаго наблюдателя изобрѣтеніе можетъ показаться внезапнымъ продуктомъ столкновенія двухъ идей: изъ того, что мы не знали его предшественниковъ заключаютъ, что у него и не было ихъ. Но почему-же такія двѣ идеи столкнулись? Какъ сложились долгія серіи понятій, которыя и привели къ нимъ, какъ къ послѣднему своему термину? Подъ идеей стоитъ ощущеніе, давшее ей толчокъ, а подъ самимъ ощущеніемъ—живое существо, котораго оно является только измѣненнымъ состояніемъ. Искусство изобрѣтенія не есть поэтому то отвлеченное и логическое искусство, о которомъ говорятъ люди, желающіе свести человѣка къ абстрактной мысли, а мысль—къ пустому треску формулъ: это—глубокое, конкретное, органическое искусство, въ которое ввязаны одновременно всѣ наши способности и всѣ отправленія. Это—развитіе самой жизни.

„Объясненіе, какое мы старались дать явленіямъ изобрѣтательной способности, не наноситъ ни малѣйшаго ущерба славѣ великихъ изобрѣтателей: оно не должно уменьшить наше къ нимъ уваженіе. Конечно, приписывая чисто естественнымъ причинамъ появленіе самыхъ оригинальныхъ идей, мы этимъ отнимаемъ у генія характеръ чудеснаго, но мы сохраняемъ за нимъ его исключительную своеобразность. Мы не похищаемъ у изобрѣтателя и достоинства его изобрѣтенія: если онъ нашелъ что-либо случайно, то все-таки-же онъ напрягалъ свою волю на отыскиваніе. Его предъидущія открытія, пріобрѣтенныя имъ идеи слѣдуетъ записать въ число условій, которыя опредѣлили новую идею и сдѣлали ее необходимой въ данную минуту. Идеи не падаютъ намъ съ неба совсѣмъ готовыя; онѣ произрастаютъ, онѣ развиваются только въ умахъ уже воздѣланныхъ и приготовленныхъ къ ихъ воспріятію".

XII.

Излагая содержаніе монографіи г. Сурію, мы приводили изъ нея тѣ мѣста, съ которыми согласны въ принципѣ, и дополняли ихъ, гдѣ нужно было, собственными замѣчаніями. Какъ читатель видитъ, авторъ держится вездѣ опытнаго метода, не позволяетъ себѣ никакихъ экскурсій въ область чистой метафизики. Можно оспаривать нѣкоторыя его обобщенія, но не по существу, а только въ подробностяхъ, если держаться научно философскихъ взглядовъ и пріемовъ точнаго изслѣдованія. Такіе этюды, какъ книга г. Сурію, для Франціи весьма характерное знаменіе времени. Не забудемъ, что она—докторская диссертація, представленная въ парижскій словесный факультетъ, гдѣ до сихъ поръ профессора философіи—спиритуалисты, эклектики, въ родѣ г. Каро. И въ томъ, что появилось за послѣдніе годы, особенно на французскомъ языкѣ, монографія г. Сурію, по нашему мнѣнію, занимаетъ очень почетное мѣсто; въ ней, безъ излишняго нагроможденія фактовъ, безъ томительныхъ цитатъ, въ которыхъ авторы диссертацій любятъ щеголять своей начитанностью, поставлено и развито все существенное, относящееся къ вопросу о творческомъ изобрѣтеніи. Три года спустя, въ томъ же Парижѣ и на томъ же словесномъ факультетѣ, защищалъ свою докторскую диссертацію молодой преподаватель одного изъ парижскихъ лицеевъ (или, какъ тамъ они называются, профессоръ), г. Габріэль Сеайль. [1]) Онъ выбралъ тотъ же почти предметъ, только далъ своему изслѣдованію болѣе литературное заглавіе: „Опытъ о геніѣ въ искусствѣ“. Заглавіе показываетъ, что онъ не пожелалъ заняться, какъ его предшественникъ, вопросомъ о психологіи творческаго изобрѣтенія въ примѣненіи его ко всѣмъ областямъ умственной дѣятельности, къ наукѣ въ одинаковой степени съ искусствомъ, а главный свой интересъ обратилъ на сферу художественнаго творчества. Но въ его книгѣ вопросъ поставленъ почти такъ же, какъ и въ диссертаціи г. Сурію, т.-е. геній, подъ которымъ онъ разумѣетъ изобрѣтательную, создающую способность, по его взгляду, такъ же необходимъ и обязателенъ въ наукѣ, какъ и въ искусствѣ. Этому онъ посвящаетъ первую главу; и въ предисловіи высказывается прямо за то, что геній вовсе не какой-нибудь монструмъ; представляетъ собою одну лишь разницу въ степени, а

[1]) Bibliothèque de philosophie contemporaine. Essai sur le génie dans l'art, par Gabriel Seailles, ancien elève de l'Ecole normale, professeur de philosophie au lycée Charlemagne. Paris. 1883.

не по существу, о чемъ уже мы говорили раньше. Мысль, которую авторъ книги „Essai sur le gènie dans l'art" ставитъ краеугольнымъ камнемъ своего изслѣдованія, есть та, что каждая идея, каждый образъ—настоящее созданіе, „une crèation", какъ онъ выражается. Въ такого рода положеніи нѣтъ еще никакой оригинальности, но г. Сеайль, какъ мыслитель съ метафизическимъ направленіемъ, придаетъ уму, духу (l'ésprit, по его номенклатурѣ) такую самобытность, какой не будетъ ему приписывать позитивный мыслитель. Онъ утверждаетъ, что основной законъ духа есть стремленіе организовать все, что входитъ въ него, и эту формулу можно принять, если поставить ее въ предѣлы научнаго пониманія; но нашъ авторъ идетъ дальше: онъ позволяетъ себѣ многое въ своихъ выводахъ, на что болѣе точные психологи посмотрятъ скорѣе какъ на бойкія, не лишенныя таланта, литературныя, а не научныя обобщенія. Вообще—скажемъ мы сразу—книга г. Сеайля написана въ тонѣ и вкусѣ тѣхъ „discours", какіе писались въ восемнадцатомъ и въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Въ ней много чисто личнаго элемента, много если не декламаціи, то діалектики; манера изложенія совершенно отступаетъ отъ рамокъ строгаго изслѣдованія; литературному краснорѣчію предоставлено слишкомъ много мѣста.

Въ книгѣ семь большихъ главъ: въ первой авторъ ставитъ тотъ тезисъ, что духъ продолжаетъ жизнь, вбираемую имъ всѣми органами воспріятія, и продолжаетъ ее безсознательно, извѣстнаго рода жизненнымъ движеніемъ. Этимъ путемъ и организуются идеи, происходитъ самобытная (spontanée) работа въ интересахъ красоты; а борьба за жизнь въ нѣдрахъ нашего духа создаетъ красоту. Уже самая постановка этого положенія показываетъ, что авторъ, (хотя онъ нигдѣ не отрекается отъ науки, напротивъ, призываетъ ее на помощь)—болѣе метафизическій поэтъ, чѣмъ научный изслѣдователь. Но, держась своихъ діалектическихъ пріемовъ, онъ все-таки же предается, по своему, довольно подробному анализу творческой способности въ различныхъ сферахъ. Первая глава и посвящена имъ генію въ интеллигенціи, т.-е. въ умѣ, въ чисто умственной работѣ; въ собираніи чувственныхъ знаній, въ теоретической наукѣ, въ раціональныхъ гипотезахъ и наконецъ въ созданіи своего я, своего самочувствія. Авторъ обозрѣваетъ: какъ складываются наши ощущенія, какъ происходятъ воспріятія пространства и формы, показываетъ, какъ безъ самобытной работы духа (или ума, если слово духъ стѣсняетъ читателя) самыя наши чувства доставляли бы разрозненныя ощущенія и заставили бы насъ совершенно потеряться въ хаосѣ этихъ ощущеній; какъ

матеріалъ, доставляемый различными чувствами, комбинируется въ понятіе объекта и, наконецъ, какъ синтезъ чувственно воспринимаемаго міра складывается путемъ воспитанія, науки. И всѣ эти ощущенія нетолько ассоціированы между собою, но и организованы. Прошу читателя обратить вниманіе на идею организаціи: она есть основной мотивъ всей книги г. Сеайля. Точно также въ научномъ знаніи духъ организуется путемъ познанія вещей, которыя, по мнѣнію автора, вовсе не отличны отъ самыхъ идей, возникающихъ въ умѣ человѣка. Онъ называетъ работу интеллигенціи одной изъ формъ борьбы за жизнь. Такъ образуются общія идеи анализа и синтеза, классификаціи различныхъ родовъ существъ и предметовъ, выясненіе преобладающихъ признаковъ. Во всемъ этомъ происходитъ прогрессъ, выражающійся идеями порядка и организованной жизни. Духъ нашъ ищетъ законовъ, т.-е. порядка въ послѣдованіи фактовъ.

И вотъ тутъ-то авторъ, въ первый разъ въ своей книгѣ, высказываетъ положеніе, съ которымъ нельзя не согласиться: онъ прямо объявляетъ, что для открытій не можетъ существовать правилъ, что образованіе гипотезъ есть самопроизвольный (спонтанный) и притомъ жизненный актъ. Истина образуется въ насъ путемъ свободнаго взаимнодѣйствія идей, организованныхъ, въ свою очередь, нашей способностью къ синтезу. Тутъ же разсматриваетъ онъ роль размышленія и воли и приходитъ къ тому выводу, что они сами по себѣ неплодотворны. Духъ-же нашъ можетъ быть плодотворенъ только путемъ самой жизни, переходящей въ безсознательный геній, стремящійся къ гармоніи. И такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока не закончится знаніе, т.-е. пока наука не превратится вполнѣ въ дедуктивную; но и тогда работа духа будетъ подчиняться тѣмъ же законамъ, проявлять тѣ же самыя наклонности. Въ мірѣ данныхъ явленій духъ нашъ ищетъ простыхъ элементовъ и, стремясь къ гармоніи, отыскиваетъ единство. Для автора, наука — та же жизнь. Она нарождается и развивается тогда, когда организуется идея; она свидѣтельствуетъ, на всѣхъ степеняхъ своего развитія, о самобытномъ безсознательномъ дѣйствіи творческой способности генія, „восхищеннаго порядкомъ“ (ésprit d'ordre). Въ раціональныхъ гипотезахъ видитъ авторъ то же самое. Духъ тогда только можетъ истинно существовать, сознавать свою жизнь, когда онъ приводитъ законы внѣшнихъ вещей въ полное соотвѣтствіе съ своими собственными законами. Поэтому-то въ насъ и живетъ внутреннее убѣжденіе въ томъ, что все можетъ быть объяснимо. Прирожденное стремленіе духа нашего къ гармоніи дѣлаетъ пессимисти-

ческій взглядъ на жизнь неразумнымъ, хотя, съ другой стороны, и полный оптимизмъ находится внѣ дѣйствительности. И то, и другое—такія же гипотезы, какъ и всякое болѣе частное научное предположеніе. Такой же гипотезой является и идея прогресса, идея долга, на которую авторъ смотритъ какъ на форму тѣхъ коренныхъ принциповъ, безъ которыхъ духъ человѣческій немыслимъ. И все, что умъ нашъ постигаетъ, то не нуждается, какъ думаетъ авторъ, въ доказательствахъ; для этого достаточно простого утвержденія (affirmation).

Творческій геній, сказывающійся въ созданіи человѣческой личности, нашего я, сводится къ формулѣ: жить — значитъ утверждать что-либо. Увѣренность въ нашемъ я, въ нашемъ существованіи есть, по его мнѣнію, форма, усиліе существовать. Я не могу отрицать этой истины, не уничтожая самого себя. А постулатъ — жизнь. Все, что идетъ съ ней въ разрѣзъ, всѣ проявленія зла, физическаго и нравственнаго, которыхъ нельзя не признавать, представляются человѣческому духу, какъ уклоненія отъ идейнаго порядка, точно такъ же какъ заблужденіе, ложная идея, создаваемая нашимъ духомъ — не что иное, какъ душевный организмъ, уродливо созданный, неспособный къ жизни.

Во второй главѣ авторъ разсматриваетъ образъ, создаваемый нашей творческой способностью, и его отношеніе къ движенію, подъ которымъ онъ разумѣетъ всю выразительную сторону творческой дѣятельности человѣческой души. Признавая общимъ закономъ духовной жизни — усиліе къ организаціи идей, онъ показываетъ, что духъ нашъ не находитъ во внѣшнемъ мірѣ удовлетворенія всѣмъ своимъ субъективнымъ стремленіямъ. Внѣшній міръ противится ему, и жизнь наша состоитъ въ цѣломъ рядѣ побѣдъ надъ нимъ. Для того, чтобы зародилось искусство, человѣческое творчество, надо, чтобы накопилось достаточно духовной матеріи, доставленной, правда, внѣшними воспріятіями, но представляющей собою самое существо души и подчиняющейся ея законамъ. Этотъ полуметафизическій взглядъ автора проникаетъ всѣ его дальнѣйшіе выводы и обобщенія. Въ подробностяхъ же анализа созданія образовъ, онъ не уклоняется отъ данныхъ опытной психологіи. Онъ показываетъ какъ яркость и жизненность образовъ зависитъ отъ яркости и жизненности органовъ, въ особенности органовъ слуха и зрѣнія, говоритъ о силѣ и повторяемости ощущеній; а въ самомъ образѣ, когда онъ уже сложился, онъ видитъ настоящій, живой элементъ. Показывая его отношеніе къ ощущенію, онъ опредѣляетъ различіе его отъ иллюзіи, галлюцинаціи, видитъ въ немъ менѣе цѣльный и прочный

комплексъ, чѣмъ въ обыкновенномъ психическомъ воспріятіи. Но онъ упираетъ главнымъ образомъ на то, что образы, сохраняя связь съ природой, представляютъ собою преимущественно продукты духа. Обращаясь къ источнику жизни — движенію, нашъ авторъ показываетъ связь образа съ движеніемъ, его потребность проявить себя чѣмъ-нибудь наружу, что и дѣлаетъ возможнымъ осуществленіе продуктовъ человѣческаго творчества во всѣхъ сферахъ. Резюмируя, онъ утверждаетъ, что образъ есть духовный элементъ, связанный съ нашей внутренней жизнью, способный повиноваться всѣмъ ея законамъ и стремящійся выразить себя путемъ движенія. Въ этомъ онъ и видитъ ядро всякаго искусства.

Въ третьей главѣ находимъ мы діалектическіе выводы автора по вопросу объ организаціи образовъ. Нѣтъ такого внутренняго состоянія души человѣческой, которое-бы не стремилось вылиться въ извѣстную символическую форму. Это доказывается и грезами. То, что мы называемъ воображеніемъ, придаетъ всѣмъ предметамъ, воспринимаемымъ нами, особенный колоритъ. Мы чувствуемъ поэтическое удовольствіе и отъ новыхъ предметовъ, и отъ тѣхъ, съ которыми мы уже освоились. Но поэзія вещей лежитъ въ нашемъ духѣ, а не въ нихъ самихъ. Свойство опоэтизированія принадлежитъ и нашимъ воспоминаніямъ, и нашимъ ожиданіямъ. Каждый человѣкъ есть поэтъ собственныхъ желаній: онъ пренебрегаетъ тѣмъ, что противорѣчитъ его настроенію, его страстному возбужденію. Это свойство сказывается и во всѣхъ его фикціяхъ, въ творческихъ литературныхъ созданіяхъ, т.-е. свойство устранять то, что не говоритъ прямо его эмоціямъ, и сосредоточивать все, что имъ льститъ и пріятно возбуждаетъ ихъ. Авторъ обозрѣваетъ проявленія собирательнаго воображенія—народныя преданія, эпопеи, созданія коллективной нравственности, религіи—всѣ эти настроенія человѣчества ищутъ и находятъ себѣ живыя выраженія, цѣлый рядъ образовъ. Фантазія имѣетъ свойство заразительности; она объединяетъ души и заставляетъ ихъ работать въ одномъ направленіи, подчиняться одному настроенію. Коллективная фантазія слѣдуетъ тѣмъ же законамъ, какъ и фантазія индивидуальная. Такъ создаются религіи и легенды. Поэтому авторъ и смотритъ на творческое воображеніе, какъ на внутреннюю способность личнаго или собирательнаго духа: располагать, по своему, матеріаломъ душевной жизни, представлять его себѣ, видѣть его законы и во внѣшнемъ мірѣ, не отличать этого внѣшняго міра отъ себя. Творческое воображеніе показываетъ намъ непрестанное общеніе природы и

мысли. На вопросъ: достаточно ли одной ассоціаціи идей для объясненія творческихъ созданій—авторъ отвѣчаетъ отрицательно, въ чемъ онъ и правъ. По его взгляду, одна ассоціація идей, отрѣшенная отъ живой самобытности, въ которой сидитъ творческая способность, повела-бы къ безплоднымъ повтореніямъ, что утверждаетъ и авторъ диссертаціи объ изобрѣтеніи. Но г. Сеайль, вѣрный своей наклонности къ метафизической діалектикѣ, прибавляетъ тутъ-же, что душевная жизнь сводится въ этомъ случаѣ къ созданію духовныхъ формъ изъ себя самихъ. Эта формула слишкомъ обща и туманна, какъ и многое, что г. Сеайль говоритъ въ своей книгѣ, но его преданность извѣстнаго рода метафизикѣ не мѣшаетъ ему опять таки заявлять категорически, что „дѣйствіе фантазіи (творческой)—самобытно, безсознательно, гармонично, потому что оно есть жизненное дѣйствіе". Это вполнѣ согласимо съ положеніемъ предъидущаго автора, только у того оно выражено точнѣе и вытекаетъ изъ болѣе строгаго анализа. Фразы о самобытности (спонтанности), безсознательности, гармоничности сводятся къ тому, что г. Сурію признаетъ случайностью, удачей при созданіи творческихъ идей и образовъ, хотя этотъ видимый случай и не противорѣчитъ нисколько ни внутреннему, ни внѣшнему детерминизму. Но г. Сеайль дѣлаетъ выводъ, что дѣйствіе фантазіи идеализуетъ. Такое положеніе отзывается метафизикой, но, въ сущности, его можно признать даже самому строгому позитивному мыслителю, такъ какъ, дѣйствительно, творчество человѣческой души представляетъ собою вполнѣ самобытную переработку внѣшнихъ воспріятій, и продукты его — образы идей, находящихся не въ природѣ, а въ нашемъ мозгу. Въ этомъ смыслѣ каждое искусство, какъ бы оно ни было реально, все-таки же идейно или, иначе выражаясь, идеально.

Разобранъ авторомъ въ четвертой главѣ и вопросъ объ отношеніи, какое существуетъ между организаціей движеній (все, что относится къ внѣшнему воспроизведенію творческихъ замысловъ) и организаціей образовъ. Какъ бы образъ ни былъ сложенъ, къ какимъ бы творческимъ комбинаціямъ онъ ни повелъ, онъ постоянно находится въ прямомъ отношеніи къ тому движенію, которое должно проявить его во-внѣ. Стало быть, и движенія разлагаются и заново составляются путемъ самобытной работы, сходной съ тою, которая ведетъ къ созданію творческихъ идей. Другими словами, для движенія, т.-е. для воспроизведенія образа, идеи, — нужна особаго рода творческая фантазія, особаго рода подвижность памяти. Это положеніе автора опять-таки сходится

съ тѣмъ, что уже мы видѣли въ выводахъ его предшественника: для выполненія чего бы то ни было въ наукѣ, а въ особенности въ искусствѣ, необходимъ талантъ; одинъ навыкъ, одно разсудочное умѣнье—недостаточны. Тутъ г. Сеайль обозрѣваетъ источники творческаго мастерства или, выражаясь его терминомъ, воспроизводительныхъ движеній: инстинктъ, привычки, прирожденная и развитая ловкость, грація, всѣ упражненія утилитарнаго и художественнаго характера:—во всемъ этомъ онъ видитъ все ту же жизнь духа, проявляющуюся жизнью тѣла. Хотя въ большинствѣ случаевъ трудно установить прямую связь между образомъ и движеніемъ, но для него принципъ каждаго дѣйствія есть внутренняя душевная жизнь, игра воображенія; какъ только она ослабѣваетъ, падаетъ и энергія дѣйствій. Человѣкъ непремѣнно долженъ воображать, чтобы дѣйствовать и, превращая свою идею въ принципъ дѣйствія, онъ превращаетъ ее въ образъ, въ той или иной формѣ. Авторъ позволяетъ себѣ видѣть даже и въ нравственной жизни человѣчества то же самое начало. Въ древности, когда стремленіе къ чувственнымъ формамъ было такъ сильно, и практическая нравственность сводилась къ жизнеописаніямъ отдѣльныхъ людей—мыслителей. То же самое и въ религіяхъ. Движенія рождаются, какъ только извѣстная страсть, извѣстное стремленіе изолируетъ образъ, отдаетъ ему на служеніе нашъ духъ. Въ обоихъ этихъ моментахъ—замысла и выполненія, присутствуетъ все тотъ же творческій геній.

XIII.

Въ пятой главѣ разсматривается то, что авторъ называетъ „la conception dans l'art“ — творческое зачатіе. Сначала идетъ обозрѣніе всѣхъ способностей, необходимыхъ художнику—такъ какъ для автора главнымъ предметомъ его диссертаціи становится творчество въ изящномъ искусствѣ. Здѣсь мы находимъ признаніе необходимости всѣхъ тѣхъ свойствъ, какія давно уже считаются обязательными для художника. Прежде всего—необходимость самому жить какъ можно полнѣе и искреннѣе, имѣть утонченные, развитые органы чувствъ, обширную память, живое и цѣпкое воображеніе, тонкую чувствительность. Всѣ эти элементы, необходимые для собиранія художественнаго матеріала, предполагаютъ уже извѣстнаго рода оригинальность; во всѣ свои воспріятія художникъ влагаетъ уже значительную часть своей личности. Затѣмъ, когда элементы даны, пріобрѣтены, является для

автора вопросъ: въ силу какого же принципа группируются они, какъ возникаетъ идея произведенія? И здѣсь мы находимъ у г. Сеайля энергическій протестъ противъ всякаго участія тезиса, логическаго вывода, разсудочной задачи въ дѣлѣ художественнаго созданія. Онъ прямо говоритъ, что каждое произведеніе задуманное на тэму—должно быть осуждено заранѣе. Творчество, по его опредѣленію, не заключается ни въ подражаніи природѣ, ни въ служеніи абстрактной идеѣ, ни въ истинной формѣ. Оно не различаетъ формы отъ идеи; идея должна вызвать особое вліяніе въ художникѣ, превратиться въ чувство и возбудить тѣ образы, въ какихъ она находитъ свое выраженіе. Чтобы ни повело къ созданію творческаго произведенія—это безразлично; только бы не разсудочная тэма. Самое важное—эмоція, овладѣвающая художникомъ. Какъ только сюжетъ найденъ, духъ художника привязывается къ нему, любитъ себя самого въ этомъ сюжетѣ, дающемъ ему силу для творческихъ образовъ, которыми онъ и наслаждается. И заключительный выводъ автора состоитъ въ признаніи эмпирической истины, какую, какъ намъ извѣстно, раздѣляли и старые эстетики: что всякое творческое произведеніе родится самопроизвольно и въ минуты одушевленія. Но поднимается вопросъ: какимъ образомъ изъ неяснаго волненія, изъ неопредѣленной эмоціи выдѣляется мало-по-малу органическое и живое цѣлое? Во всякомъ случаѣ, отвѣчаетъ авторъ, не путемъ разсужденій. Произведеніе искусства растетъ и развивается какъ нѣчто живое, въ нѣдрахъ духа, питаясь содержимымъ души художника, такъ что идея произведенія представляется автору, какъ страстное желаніе, стремленіе, которое, слѣдуя законамъ организаціи образовъ, осуществляется въ живой формѣ. Объ участіи воли и рефлексіи онъ говоритъ почти то же, что мы видѣли и въ монографіи г. Сурію, прибавляя весьма категорически, что сознаніе, само по себѣ, не способно на творчество. Это положеніе весьма существенно, и въ немъ я вижу одинъ изъ самыхъ удачныхъ выводовъ автора. До сихъ поръ на роль безсознательной душевной жизни обращали слишкомъ мало вниманія, и критики изящной литературы, искусства, сводили, и до сихъ поръ сводятъ, все къ намѣреннымъ цѣлямъ авторовъ, придаютъ слишкомъ большое значеніе созданію, забывая, что оно есть не что иное, какъ извѣстнаго рода душевное состояніе человѣка, доставляющее ему возможность отдавать отчетъ въ томъ, что въ немъ происходитъ. Но это нѣчто, происходящее въ немъ: будетъ ли оно сновидѣніе, или творческій образъ, или ассоціація идей — растетъ и развивается само собою, вовсе не спрашиваясь сознанія. И авторъ, по на-

шему мнѣнію, правъ, повторяя еще разъ, что творческое произведеніе создается свободнымъ движеніемъ жизненнаго процесса въ душѣ человѣка. И такъ называемое вдохновеніе, на его взглядъ, есть не что иное, какъ полное соотвѣтствіе, гармонія, принимающая живые образы, между всѣми внутренними душевными силами. Для него произведеніе искусства—все равно, что живое существо; оно рождается одновременнымъ, совокупнымъ развитіемъ всѣхъ своихъ частей. Творческая идея доставляетъ и детали; и въ высокомъ произведеніи искусства будетъ такое же органическое соотвѣтствіе частей, какъ и въ живомъ организмѣ. Въ замыслѣ художественнаго произведенія, все равно какъ въ жизни, происходитъ группировка того, что можетъ быть уподобляемо и устраняемо изъ всего, противорѣчащаго развитію творческаго образа. А абстрагировать и сосредоточивать, значитъ идеализировать, заключаетъ авторъ; и такъ какъ, по его мнѣнію, замыселъ художника есть нѣчто живое, то этотъ жизненный продуктъ не есть какая нибудь вещь, а какъ бы цѣльная личность. Оттуда и огромное значеніе, въ дѣлѣ дарованія личнаго элемента, личной ноты (la note personnelle, какъ выражаются французы). Этотъ взглядъ г. Сеайля на произведеніе искусства, какъ на особаго рода духовную личность, защищается имъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ его диссертаціи весьма краснорѣчиво, хотя и недостаточно научно. Но во всякомъ случаѣ мысль эта своеобразна и достойна быть взятой во вниманіе.

Приведу изъ этой главы два-три мѣста, показывающія какой діалектики держится авторъ, и насколько ясно формулируетъ онъ свои идеи о самомъ существенномъ вопросѣ творчества:

„Произведеніе,—говоритъ онъ—(т.-е. творческій замыселъ) отыскивается какъ бы нѣкоторымъ счастливымъ случаемъ. Оно узнается (художникомъ) по той симпатіи, какую вызываетъ; оно нарождается самобытно (спонтанно) въ актѣ вдохновенія; оно представляетъ собою живое сѣмя, которое падаетъ только на почву, самую благопріятную для своего развитія“.

„Геній не что иное какъ долготерпѣніе, говорятъ обыкновенно; пожалуй и такъ, но терпѣніе художника есть выносливость сильной и глубокой любви, которая не утомляется сама собою, потому что она постоянно присутствуетъ и дѣйствуетъ“.

И въ подтвержденіе, авторъ приводитъ двѣ авторитетныхъ цитаты:

„Я никогда не думаю самъ; мои идеи думаютъ за меня, говорилъ Ламартинъ; а Гёте: я оставляю воспринятые предметы спокойно бродить во мнѣ самомъ, потомъ наблюдаю ихъ дѣй-

ствіе и спѣшу воспроизвести его повѣрнѣе; вотъ тотъ секретъ, который люди условились называть геніальнымъ даромъ".

„Вдохновеніе,—говоритъ авторъ дальше,—опредѣляется самой жизнью; оно вовсе не находится внѣ природы, а представляетъ собою возвращеніе къ природѣ—духа, развитаго усиліемъ и размышленіемъ. Художественное произведеніе—все равно какъ живое существо—обязано своимъ зачатіемъ акту любви и точно также развивается. Самобытное дѣйствіе, создающее его, идетъ не деталями, но массами; оно не производитъ, одни за другими, каждую часть, каждый элементъ для того, чтобы потомъ соединить ихъ разсудочной работой; оно приближаетъ, все больше и больше, произведеніе, создаваемое имъ, къ живой формѣ, путемъ совокупной и возрастающей работы. Оно не ищетъ сначала идею, а потомъ образы; оно не созидаетъ сначала духъ произведенія, чтобы потомъ уже смастерить ему выразительную оболочку, составленную изъ старательно выбранныхъ и приложенныхъ частей. Гёте говорилъ: никогда двѣ идеи не представляются моей душѣ абстрактно; онѣ сейчасъ же становятся какъ бы двумя личностями, которыя вступаютъ между собою въ споръ".

Выполненіе творческаго созданія есть для автора переходъ образа въ движеніе. Всѣ части этого движенія комбинируются между собою, какъ образы, но выполнить нельзя ихъ сразу такъ, какъ задумаешь. Въ искусствѣ желаютъ обладать образомъ для него самого, а чтобы обладать имъ, надо превратить его въ извѣстное ощущеніе. Это и составляетъ цѣль всякой воспроизводительной работы художника, направленіе, по какому она пойдетъ. Совокупности образовъ, связанныхъ въ извѣстномъ замыслѣ, будетъ отвѣчать и совокупность движеній, согласованныхъ между собою въ силу того же процесса и стремящихся создать нѣчто воспринимаемое чувствами, въ чемъ бы вполнѣ проявился образъ. Авторъ разсматриваетъ условія среды, наслѣдственности, благопріятныя для выполненія творческихъ замысловъ, не отрицаетъ необходимости труда, навыковъ, привычки, показываетъ, какъ самый процессъ труда помогаетъ художнику въ нахожденіи идей, что уже мы видѣли въ выводахъ его предшественника. Онъ также держится того взгляда, что при выполненіи художникъ не можетъ все предвидѣть; онъ говоритъ даже, что надо послѣ продолжительной подготовки, когда придетъ часъ воспроизведенія, какъ бы все забыть. Ремесло, механическая выучка, всѣ рессурсы мастерства должны перейти въ инстинктъ, измѣняющійся съ каждымъ поворотомъ творческаго воспроизведенія. Воля, какъ бы она ни была сильна, служитъ и тутъ только затѣмъ, чтобы подготовить

вдохновеніе. Онъ сильно возстаетъ противъ виртуозности, противъ дилетантства, которому придаетъ болѣе широкое значеніе, чѣмъ то, какое имѣетъ это слово у насъ. Мастерство, не проникнутое художественной эмоціей, дѣлается, какъ онъ говоритъ, франтовствомъ или пустой болтовней.

„Скажемъ въ заключеніе, кончаетъ онъ главу, что, признавая единство генія, надо признать еще разъ, что всѣ многоразличныя движенія, заключающіяся въ творческой работѣ, связаны между собою: чувство, зачатіе идей, выполненіе—и что принципъ всѣхъ этихъ видовъ творчества, сведенныхъ къ самому простому и первоначальному элементу, есть отношеніе чувства къ образу, и образа къ движенію".

Но этимъ еще не ограничивается анализъ автора. Онъ посвящаетъ цѣлую главу произведенію искусства, уже готовому, разсматриваетъ пріемы каждаго искусства, то знаніе, какое заключается въ нихъ, и доказываетъ, что ощущенія художника полны научной точности. То же самое указаніе, съ весьма большими подробностями, находимъ мы и въ книгахъ Сюлли Прюдома. Въ истинномъ художникѣ существуетъ всегда способность къ самому точному соотвѣтствію между знакомъ и идеей, и такая же способность схватывать въ мірѣ звуковъ или свѣтовыхъ явленій то, что опредѣляется самыми тонкими научными вычисленіями, а творческій геній, находящійся въ полнѣйшей гармоніи съ законами природы, вырабатываетъ свою логику и подчиняется ей. Вотъ почему въ каждомъ высокомъ произведеніи искусства заключена цѣлая наука. Это для нашего автора служитъ доказательствомъ тѣснѣйшаго сродства природы и духа человѣческаго, единства законовъ интеллигенціи и внѣшней органической жизни. Указывать на эту гармонію, находить въ творческихъ произведеніяхъ глубину познаній есть дѣло критики, которая относится также къ искусству, какъ наука къ природѣ, хотя, сама по себѣ, критика и безплодна, т.-е. не можетъ вести къ творческимъ замысламъ: она есть рефлектирующая мысль, а рефлексія не создаетъ творческихъ идей.

Въ заключительной главѣ, представляющей резюмѣ всей книги, г. Сеайль возвращается опять къ своему основному положенію: мысль продолжаетъ жизнь; ея усиліе есть стремленіе къ существованію, а стало-бы и гармоніи. Онъ ставитъ однимъ изъ своихъ главныхъ тезисовъ то положеніе, что образъ есть духовная матерія, которая уже не противится законамъ духа, какъ дѣлаетъ это, на каждомъ шагу, внѣшняя природа. Онъ ставитъ также тезисомъ единство безсознательной и сознательной душев-

ной жизни, чѣмъ, несмотря на свои метафизическія наклонности, становится солидарнымъ со взглядомъ такого позитивнаго психолога, какъ покойный Дж. Г. Льюисъ, который всю свою жизнь ратовалъ за расширеніе психическихъ правъ безсознательности. Далѣе авторъ считаетъ творческій геній продолжателемъ органической жизни (continuité des choses); онъ для него—сама жизнь, самобытное созвучіе всѣхъ внутреннихъ явленій: чувствъ, образовъ, идей, движеній. Геній у него не разсуждаетъ, но представляетъ собою самъ разумъ; онъ вполнѣ свободенъ и не передается вовсе въ оправданіи своего существованія. Только изучая натуру творческаго генія можно вполнѣ уразумѣть причину стремленія души человѣческой къ красотѣ, ея любовь къ прекрасному. Авторъ не затрудняется поставить такое положеніе: мы любимъ красоту, какъ мы любимъ жизнь. Искусство даетъ намъ то, въ чемъ отказываетъ намъ реальная дѣйствительность: цѣлый міръ, созданный духовно и подчиняющійся всѣмъ законамъ духа. Онъ называетъ даже искусство „мимолетнымъ раемъ". Эстетическое удовольствіе, въ свою очередь, предполагаетъ самобытную дѣятельность души, что, какъ мы видѣли, находится и въ выводахъ г. Суріо. Наслаждаться произведеніемъ значитъ заново создавать его. Эстетическое чувство объединяетъ чувствительность съ интеллигенціей и, по самому существу своему, лишено всякаго себялюбиваго характера.

Переходя къ эстетическимъ теоріямъ, авторъ, несмотря на свой мало-научный спиритуализмъ, не согласенъ опредѣлять прекрасное только идейно. Идеалитическая теорія искусства, по его мнѣнію, сталкивается, на каждомъ шагу, съ противорѣчивыми фактами. Но, какъ мы это видѣли и выше, онъ несогласенъ считать искусство подражаніемъ природы и выражается такъ: „реализмъ (крайній) вовсе не опасенъ, потому что онъ невозможенъ". И такъ какъ для него прекрасное не заключается ни въ идеяхъ, ни въ рабскомъ подражаніи, ни въ самой природѣ, ни внѣ природы—стало быть оно заключается въ душѣ: выводъ не новый, но подтверждающій еще разъ единство воззрѣній на эстетическое чувство у всѣхъ людей нашего вѣка, занимающихся этимъ предметомъ. Геній, говоритъ авторъ, создаетъ красоту даже изъ безобразія, почему она и не можетъ быть формальна. Онъ опредѣляетъ прекрасное, какъ единство эмоціи, которая заставляетъ говорить и думать самыя вещи. Оно имѣетъ такія-же ступени и градаціи, какъ и жизнь, и зависитъ отъ силы внутренняго чувства, отъ количества внутреннихъ элементовъ души, какіе эта сила способна организовать. На самой

высшей ступени стоитъ, по его мнѣнію, религіозное чувство, ощущеніе всецѣлой гармоніи. Но геній врядъ-ли можетъ сказать намъ что нибудь о красотѣ внѣ насъ самихъ; въ немъ, въ нѣдрахъ геніальнаго дарованія, мысль и природа примирены и слиты въ одно цѣлое, что и позволяетъ автору, въ согласіи со многими изъ своихъ метафизическихъ предпосылокъ, объявлять прямо: духъ — та же природа, созерцающая самое себя, а красота—единство чувствъ и разума, субъекта и объекта, идея добра, которую авторъ признаетъ прирожденной человѣческой душѣ, потому что духъ нашъ наклоненъ отрицать и отбрасывать все то, что не имѣетъ смысла, сообразнаго его законамъ.

„Только добро, заключаетъ авторъ, дающее смыслъ вещамъ, оправдываетъ и узаконяетъ существованіе. Превращаясь въ мысль, міръ подчиняется ея законамъ. Тогда онъ уже болѣе не дѣло случая, а гармонія идей. Чтобы мыслить этотъ міръ духъ человѣческій и превращаетъ его въ природу".

И далѣе:

„Если же природа есть геній, а геній есть живая красота, то нѣтъ ничего въ концѣ концевъ, что бы не имѣло своей причины въ красотѣ".

Таково содержаніе этой болѣе литературной, чѣмъ научной диссертаціи, проникнутой, какъ вы видите, смѣсью точныхъ пріемовъ мышленія съ болѣе произвольными положеніями, отзывающимися нѣмецкой, гегеліанской метафизикой. Мы и не предлагаемъ эту половину обобщеній г. Сеайля, какъ нѣчто двигающее впередъ изученіе нашего вопроса. Но диссертація молодого философа все-таки же пріятное знаменіе времени. Она показываетъ въ молодыхъ университетскихъ преподавателяхъ (зависящихъ отъ парижскаго факультета и министерства, въ людяхъ которые могли-бы удариться въ сухую эрудицію, выбирать темы книжниковъ, отрѣшенныя отъ жизни), интересъ къ новымъ темамъ по психологіи и эстетикѣ. Метафизическій налетъ, вынесенный ими изъ Нормальной школы (гдѣ учился и г. Сеайль), не мѣшаетъ имъ признавать всѣ положенія, выработанныя опытной психологіей по вопросу о творческой способности человѣка. Только нашъ авторъ идетъ дальше, заходитъ въ область философскихъ гипотезъ, которыя не позволилъ-бы себѣ изслѣдователь съ болѣе строгимъ, научнымъ пониманіемъ міра.

Такъ или иначе, существенные пункты нашего вопроса уже выяснились: ни позитивисты, ни психологи-метафизики не отри-

цаютъ органическаго происхожденія творческихъ идей и замысловъ, отдѣляютъ творчество отъ логической работы, ограничиваютъ значеніе воли и преднамѣренныхъ усилій; словомъ, выработано уже нѣсколько положеній, вполнѣ отвѣчающихъ требованіямъ опытной психологіи, подъ которыми всѣ подпишутся.

Есть только во всемъ томъ, о чемъ я бесѣдовалъ съ читателемъ, по поводу книгъ французскихъ авторовъ, еще одинъ пунктъ, который я желалъ бы разъяснить. Именно, по моему мнѣнію, слѣдовало бы условиться о значеніи самыхъ употребительныхъ словъ. Творческая способность установлена теперь отчетливо, ясно, безъ всякихъ недоразумѣній. Но мы видѣли, что англійскій психологъ Бэнъ—авторитетъ въ нашемъ вопросѣ—называетъ ее „творческой ассоціаціей идей"; это совершенно правильно и удобно, потому что такая формула указываетъ прямо на связь всякаго рода созидающей, изобрѣтательной работы ума съ основнымъ закономъ ассоціаціи. Но другіе авторы, если не г. Суріо, то въ извѣстной степени г. Сеайль, смѣшиваютъ то, что называется воображеніемъ, фантазіей, съ настоящей творческой способностью. Всего же рѣзче это смѣшеніе выступаетъ въ книгѣ Сюлли Прюдома, въ которой мы находимъ признаніе тѣхъ же основныхъ положеній по вопросу о творчествѣ. Вотъ что Сюлли Прюдомъ говоритъ въ началѣ своей книги.

„Слово: воображеніе, въ своемъ самомъ общеупотребительномъ смыслѣ, не значитъ только пассивная способность сохранять въ себѣ, въ видѣ воспоминаній, слѣды ощущеній; она обозначаетъ, главнымъ образомъ, дѣятельную способность сочетовать элементы, доставленные намъ воспоминаніями, и произвольно составлять изъ нихъ новые образы. Эта способность—высокой важности въ искусствахъ; съ помощью ея художникъ дѣйствительно бываетъ творцомъ. Трудно и вообразить себѣ геніальнаго артиста безъ воображенія".

Ясно, что авторъ смѣшиваетъ тутъ творческую способность съ воображеніемъ, не говоря о томъ, что онъ употребляетъ несовсѣмъ ловко слово „произвольно" въ дѣлѣ созданія новыхъ образовъ. То, что является какъ бы само собою, не можетъ быть продуктомъ нашего произвола; а у него стоитъ прямо слово: „arbitrairement". Главное же смѣшеніе заключается въ смыслѣ, какой онъ придаетъ воображенію. Для насъ, русскихъ, воображать—по самому этимологическому складу этого слова—значитъ: представлять себѣ то, что́ мы уже видѣли, что́ мы разъ сознали. Слово воображеніе употребляютъ часто, почти всегда, какъ синонимъ „фантазіи"; но между воображеніемъ и фантазіей, во фран-

цузскомъ языкѣ, есть нѣкоторая разница, впрочемъ, только въ оттѣнкахъ. Но ни воображеніе, ни фантазія, какъ бы они ни были пылки, блестящи, производительны, все-таки же не составляютъ творческой ассоціаціи идей, выражаясь терминомъ психолога Бэна. Комбинировать произвольно, какъ говоритъ Сюлли Прюдомъ, можно, съ помощью фантазіи, въ разныхъ артистическихъ работахъ: въ музыкальныхъ импровизаціяхъ, въ декоративныхъ деталяхъ живописи, въ литературныхъ произведеніяхъ стихами и прозой, во всемъ томъ, что нуждается въ разнообразіи красокъ, штриховъ, словъ, фразъ или звуковъ. Но всѣ эти работы, составляющія суть воображенія или фантазіи (для меня эти два слова представляютъ степени одной и той же способности), отличны отъ творческаго дара, хотя и составляютъ принадлежность натуръ, склонныхъ и способныхъ на изобрѣтенія, находки, открытія—научныхъ ли истинъ или художественныхъ образовъ. Онѣ какъ бы подготовительные, первичные процессы; смѣшивать ихъ съ тѣмъ, что́ называется геніемъ, даромъ творчества—не слѣдуетъ и невозможно, даже беря и тѣ случаи, когда, какъ, напр., въ разнаго рода импровизаціяхъ, звуки, краски, слова, стихи приходятъ намъ сами собою, безъ нашей натуги, безъ усилія логической разсудочной работы. Во всякомъ случаѣ, за этими обоими терминами надо оставить ихъ собственное спеціальное значеніе, а, главное, не смѣшивать этого вида психической ассоціаціи съ тѣмъ высшимъ, въ какомъ заключается настоящее творчество. Воображеніе и фантазія могутъ также участвовать и во второй половинѣ творческой работы, т.-е. въ выполненіи идеи и образа и, мнѣ кажется, ихъ участіе въ этой половинѣ еще значительнѣе; но все то, что́ приходитъ намъ въ силу воображенія или фантазіи, непремѣнно состоитъ и должно состоять изъ готоваго матеріала. Разница между воображеніемъ и творчествомъ именно та, что въ первомъ случаѣ получаются внѣшнія комбинаціи уже накопленныхъ идей и образовъ, а во второмъ вѣчно безусловно новое, неожиданное для насъ самихъ, т.-е. предполагающее органически безсознательный процессъ, въ которомъ мы только отмѣчаемъ результаты того, что дѣлается само собою.

Въ смыслѣ физіологическомъ теорія творческаго изобрѣтенія, по которой образъ, идея, являющіеся самобытнымъ (спонтаннымъ) путемъ, представляютъ собою органическій элементъ, какъ нельзя болѣе согласуется съ психо-физіологическими воззрѣніями тѣхъ, кто считаетъ каждое воспріятіе, мысль, слово—всѣ продукты умственной дѣятельности, — за особенные мозговые элементы, за микроскопическія ячейки. Такой взглядъ

былъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, выраженъ однимъ петербургскимъ врачемъ, докторомъ Зеленскимъ, въ его книгѣ по психофизіологическоѣ дидактикѣ и гигіенѣ дѣтскаго организма. Книга эта, сколько я припомню, въ основномъ ея положеніи встрѣтила тогда сильный отпоръ, вмѣстѣ съ сочувствіемъ въ отзывахъ нѣкоторыхъ рецензентовъ. Гипотеза русскаго автора — могла, конечно, многихъ задѣть своей слишкомъ физіологической основой; но въ этой гипотезѣ нѣтъ ничего немыслимаго для тѣхъ, кто держится научныхъ воззрѣній. Изъ того, что физіологія не можетъ дать, до сихъ поръ, полнаго объясненія процессовъ нашей души, не слѣдуетъ, чтобы каждый изъ этихъ процессовъ, каждое образованіе душевныхъ элементовъ, не связаны были съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ въ существѣ мозга. Никто этого и не отрицаетъ; даже крайніе спиритуалисты должны признать тѣсную связь между органическимъ составомъ нашего тѣла и проявленіями психической дѣятельности. Вся распря заключается только въ томъ: признавать ли продукты душевной дѣятельности — и морфологическими продуктами нервной мозговой матеріи? Нельзя еще доказать вполнѣ неопровержимо, что всякая мысль, каждое наше воспріятіе, образуютъ какъ бы микроскопическія мозговыя ячейки; но за это предположеніе говорятъ извѣстные доводы, которые цитированный мною русскій авторъ и приводилъ въ своей книгѣ. Я упомянулъ объ основномъ взглядѣ этого автора, чтобы указать на то, какъ даже pia desideria психологовъ съ крайне-физіологическими воззрѣніями могутъ быть согласимы съ теоріей творческой способности, за какую стоимъ мы въ нашемъ этюдѣ.

XIV.

Мнѣ остается разсмотрѣть: въ какой степени взгляды самой яркой теперешней школы писателей-художниковъ на творческій трудъ въ области изящной литературы подходятъ къ тому главному положенію, какое мы старались развить и поддержать здѣсь. Въ первой половинѣ этюда я напомнилъ про взгляды автора статей о натуралистическомъ романѣ, которые раздѣляетъ теперь болѣе или менѣе вся его школа, всѣ новые представители литературнаго натурализма во Франціи. Быть можетъ, читатели были нѣсколько удивлены тѣми замѣчаніями, какія я позволилъ себѣ на предъидущихъ страницахъ по поводу эстетическихъ теорій Зола и художественныхъ пріемовъ Флобера въ разные періоды его дѣятельности. Но если кто-нибудь удивился, то это удивленіе

могло быть вызвано только невѣрнымъ взглядомъ на мое отношеніе къ французскому натурализму. Я бы не позволилъ себѣ говорить это, еслибы не считалъ нужнымъ въ интересахъ дѣла. Слѣдуетъ всегда разсѣять въ читателѣ предубѣжденіе, невыгодное для постановки вопроса. Оцѣнка того или иного писателя, признаніе его таланта, мастерства, силы дарованія — не значитъ еще безусловное преклоненіе передъ всѣмъ тѣмъ, что онъ думалъ и говорилъ, какъ теоретикъ искусства. Флоберъ былъ большой талантъ, его романъ „Мадамъ Бовари“ составляетъ эпоху не только во французской, но и въ европейской литературѣ; но изъ этого не вытекаетъ, чтобы всѣ взгляды Флобера на дѣло художника изящнаго слова были правильны. Во всемъ томъ, что извѣстно про эстетику Флобера по его корреспонденціи, по нѣкоторымъ его предисловіямъ, по передачѣ его разговоровъ съ друзьями и послѣдователями—я не нашелъ никакого научно-философскаго взгляда на самую суть творчества, на вопросъ, занимающій насъ въ этомъ этюдѣ. Флоберъ, несмотря на свое крупнѣйшее значеніе въ области реальнаго романа, не переставалъ быть романтикомъ. Онъ обладалъ огромной творческой способностью, но его идеи, мотивы дѣятельности, правила, какихъ онъ держался — все это было окрашено въ большую субъективность. Неумѣренный культъ письменнаго слова, фразы, выраженія, другими словами, виртуозности, проникалъ въ особенности всю вторую половину его литературной каррьеры; а все это идетъ въ разрѣзъ съ теоріей творчества, за какой нельзя не признать самое большое литературно-научное достоинство, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ. Точно также, и Зола, только примѣромъ своимъ, какъ романистъ, т.-е. продуктами своего творчества, поддерживаетъ выводы опытной психологіи; замѣтьте—продуктами творчества, но не всѣмъ тѣмъ, что онъ считаетъ вѣрнымъ въ смыслѣ пріемовъ работы. Какъ натура сильная, упорная, склонная къ вѣрѣ въ то, что она разъ признала хорошимъ, Зола, вѣроятно, до конца дней своихъ, останется въ полномъ убѣжденіи, что его эстетика и философія литературнаго искусства — самыя вѣрныя. Если мнѣ приводилось нѣсколько разъ сообщать русскимъ читателямъ подробности о томъ, какъ онъ работаетъ и что считаетъ самымъ цѣлесообразнымъ и вѣрнымъ для художника-романиста—изъ этого опять-таки не вытекаетъ, чтобы я считалъ такого рода рецепты, такого рода взгляды вполнѣ отвѣчающими выводамъ новѣйшей психологіи. Кратче выражаясь, все то, что въ романахъ Зола и его послѣдователей есть истинно творческаго — то явилось имъ вовсе не тѣмъ путемъ, какой они

считаютъ самымъ плодотворнымъ. Протокольная литература (за которую Зола и его послѣдователямъ досталось уже слишкомъ много) заключаетъ въ себѣ дѣйствительно крайность и недоразумѣніе. Собираніе матеріаловъ, группировка ихъ, наполненіе своей памяти или своихъ записныхъ книгъ множествомъ фактовъ, необходимыхъ для реальнаго воспроизведенія извѣстной среды — все это дѣльно и полезно, но не въ этомъ заключается творчество. Безъ идеи, которая одушевитъ весь этотъ матеріалъ, придастъ ему художественное разнообразіе, сдѣлаетъ изъ него произведеніе искусства,—никакіе протоколы, никакія записи, никакія изученія жизни, на мѣстѣ, не дадутъ ничего, кромѣ чисто разсудочнаго изображенія извѣстнаго ряда фактовъ. Вотъ эту-то разсудочную работу Зола и его послѣдователи и выдвигаютъ слишкомъ на первый планъ, точно также какъ Флоберъ черезъчуръ предавался виртуозности въ отыскиваніи словъ и выраженій, хотя онъ, по своему, дѣйствовалъ вѣрнѣе, въ психологическомъ смыслѣ: онъ цѣлыми часами ждалъ извѣстнаго слова, другими словами, дожидался той эмоціи или того удачнаго совпаденія внутренняго детерминизма, какое необходимо для творческаго изобрѣтенія—будетъ ли то научное открытіе или вѣрное и художественное прилагательное; между тѣмъ какъ Зола въ выполненіи въ самомъ процессѣ писанія дѣйствуетъ почти какъ мастеровой: не дожидается эмоціи, пользуется тѣми средствами мастерства, какія онъ накопилъ.—Въ этомъ онъ отчасти правъ, потому что излишнія усилія должны непремѣнно повести къ вычурности, къ маньеризму, что мы и видимъ въ романахъ братьевъ де Гонкуръ, и въ особенности старшаго, оставшагося въ живыхъ. Но какъ доктрина, какъ извѣстнаго рода катехизисъ писательства, пропедевтика Зола скорѣе вредна, чѣмъ полезна, потому что не вѣрна — психически. Я позволяю себѣ такое опредѣленіе на основаніи всего того, что̀ наблюдалъ, думалъ, читалъ и соображалъ о писательскомъ творчествѣ и мастерствѣ. Въ каждомъ изъ его романовъ найдется не мало страницъ, и даже цѣлыя главы, представляющія собою только разсудочное развитіе извѣстной темы, съ помощью накопленныхъ (наблюденныхъ или записанныхъ) фактовъ. Та разсудочная сторона, которую Зола ошибочно считаетъ главной, не портитъ окончательно цѣльности произведенія потому только, что замыселъ у него всегда творческій. Я уже замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ, что авторъ „Ругоновъ-Маккаръ“ любитъ говорить о бѣдности въ немъ воображенія, и что въ этомъ случаѣ онъ ошибается, смѣшивая воображеніе, въ тѣсномъ смыслѣ слова, съ творчествомъ. Но даже, если и

самое творчество, т.-е. нахожденіе удачныхъ идей или комбинацій въ развитіи сюжета, идетъ у него медленно, оно тѣмъ не менѣе ему присуще, и въ этой-то части его писательскаго существа и сидятъ его сила и своеобразность.

Эстетики тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ злоупотребляли словомъ „вдохновеніе," какъ я уже замѣтилъ выше, но если выбирать между ихъ метафизической діалектикой и доктриной болѣе разсудочного свойства, то, безъ сомнѣнія, надо отойти на ихъ сторону, когда ставятъ основной вопросъ всякой художественной работы и дѣятельности. Во всемъ-же, что касается матеріала, изученія жизни, правды, составленія плана романа или пьесы, подчиненія фантазіи требованіямъ здороваго реализма—писатели натуралистической школы, конечно, правы. Еслибы допросить ихъ обстоятельно объ ихъ чисто творческой работѣ, т.-е. о томъ, какъ и въ какихъ условіяхъ приходятъ имъ извѣстнаго рода замыслы, то можно a priori утверждать, что ихъ отвѣты не будутъ ни сколько противорѣчить психологической теоріи творческой способности, и многое, что они готовы сами, въ угоду своей доктринѣ, отнести на долю разсудочной, логической работы, при болѣе глубокомъ анализѣ окажется результатомъ безсознательной и самобытной творческой ассоціаціи.

XV.

На протяженіи этого этюда мы не позволяли себѣ никакихъ безусловныхъ утвержденій; но высказывали только, въ какую сторону идутъ наши собственные взгляды, и въ чемъ мы, лично, убѣждены на основаніи соотвѣтствія извѣстныхъ фактовъ, добытыхъ психологіей, съ тѣми или иными воззрѣніями. Но намъ кажется не лишнимъ: изъ всего матеріала, какой мы обозрѣли, сдѣлать нѣсколько выводовъ, въ которыхъ обрисовывается вся область интересующихъ насъ явленій и дается нѣкоторая научно-философская подкладка эстетическимъ взглядамъ, не противорѣчащимъ главнымъ положеніямъ теоріи о творческой способности, какой мы сочувствуемъ.

Одна изъ самыхъ основныхъ способностей нашего душевнаго организма есть, безъ сомнѣнія, способность творческая, будетъ ли то въ области знанія или въ области искусства.

Какъ бы ни объяснять происхожденіе чувства красоты—его источники все-таки же въ насъ самихъ, въ особенностяхъ нашей душевной организаціи.

Продукты, создаваемые съ помощью творческой ассоціаціи идей и образовъ, нуждаются въ особаго рода чувствѣ (эмоціи) для того, чтобы сложиться и представиться нашему сознанію.

Актъ творческаго замысла (выдумки, находки, изобрѣтенія) есть актъ непроизвольный; но его случайность—только кажущаяся: онъ является результатомъ внутреннихъ и внѣшнихъ необходимостей, равноденствующей общаго детерминизма, который дѣйствуетъ въ насъ и внѣ насъ.

Подъ геніемъ слѣдуетъ разумѣть творческую способность совершенно нормальную, а если и не вполнѣ нормальную, то больше въ количественномъ, чѣмъ въ качественномъ смыслѣ. Геній и талантъ—ступени одной и той же способности; первая ступень необходима для истинно-творческихъ, научныхъ или художественныхъ открытій и замысловъ; вторая—для проявленія ихъ наружу, для выработки высшаго мастерства, для образованія изъ человѣка художника, артиста. Взглядъ на геній и талантъ, какъ на ступени умственнаго разстройства, до сихъ поръ не выдерживаетъ научной критики.

Наше сознаніе, въ дѣлѣ творчества, только докладываетъ намъ о томъ, что создано; но само не участвуетъ въ зарожденіи образовъ, въ удачномъ нахожденіи творческихъ идей.

Между творчествомъ и сновидѣніями разница лишь та, что первымъ можно руководить въ извѣстной мѣрѣ и превращать его замыслы въ конкретныя произведенія; въ сновидѣніяхъ же ни воля наша, ни логика, абсолютно не участвуютъ; но въ нихъ образы точно также являются подъ прямымъ воздѣйствіемъ тѣлесныхъ ощущеній или пережитыхъ нами раньше нравственныхъ эмоцій. Въ сознательномъ творчествѣ логика и воля наша играютъ нѣкоторую (иногда значительную) роль во второй половинѣ творческаго акта.

Замыселъ творческаго произведенія живетъ и развивается въ силу психическихъ законовъ; онъ представляетъ собою органическое существо или, по меньшей мѣрѣ, состояніе, требующее сейчасъ же своего обнаруженія въ движеніи, своего осуществленія во внѣ—въ видимыхъ осязательныхъ или слуховыхъ формахъ

Замыселъ и его выраженіе также неразрывны, какъ ощущеніе и двигательный импульсъ; и то, и другое, держатся за общій законъ рефлексовъ.

Выполненіе творческаго замысла предполагаетъ трудъ, критику, мастерство; но достоинство произведенія заключается, главнымъ образомъ, въ непроизвольной дѣятельности души, въ художественномъ одушевленіи, въ силѣ и яркости образовъ, пришед-

шихъ намъ, а не въ разсудочной работѣ, не въ томительной отдѣлкѣ, нуждающейся также, въ свою очередь, въ свободной игрѣ таланта.

Творчество не исчерпывается формулами: реализма, натурализма, идеализма или утилитаризма; оно не есть ни подражаніе природѣ, ни орудіе для доказательства практическихъ идей морали и справедливости. Оно самобытно, какъ продуктъ души человѣка. Наука и развитіе другихъ сторонъ души ведутъ его къ постоянному исканію гармоніи между правдой внѣшняго міра и самобытной жизнью мыслительнаго творческаго аппарата. Въ этомъ смыслѣ творчество всегда было, есть и будетъ органически-идейнымъ.

Эстетическое чувство является отголоскомъ творческой способности, а не наоборотъ. Оно находится въ насъ, а не вызывается исключительно какими-нибудь особенными фактами, въ которыхъ сидѣла-бы суть красоты, во внѣшнемъ мірѣ.

Если красота и изящное творчество проявляютъ собою высшую форму душевной жизни, то въ искусствѣ должны найти себѣ мѣсто и нравственные идеалы.

П. Боборыкинъ.

ШУГНАНЪ

Афганистанскіе очерки.

Самый жгучій вопросъ дня связанъ съ вопросомъ о нашей границѣ съ Афганистаномъ. Центръ пожара—Гератъ.

Упоминаю здѣсь о немъ однако не съ цѣлью такъ или иначе коснуться пресловутаго „ключа къ Индіи“, а лишь потому, что событія, происшедшія въ 1883 г. на сѣверовосточной окраинѣ Афганистана, имѣютъ близкую связь съ афганскимъ пограничнымъ вопросомъ. Событія эти — занятіе афганцами Шугнана и Рошана [1]).

Означенный восточный уголокъ—такой темный, такой заброшенный, что о немъ одиннадцать лѣтъ тому назадъ не было и рѣчи у дипломатовъ, обсуждавшихъ сѣверовосточную границу Афганистана; имя его и не упоминалось въ тогдашней дипломатической перепискѣ: ни Шугнана, ни Рошана не знали, и говорили только о сосѣднемъ Бадахшанѣ. Даже совсѣмъ недавно, почти „на дняхъ“, шли серьезныя несогласія между „знатоками“: одни утверждали, что владѣнія наши граничатъ съ шугнанскими, другіе настаивали, что они не могутъ даже соприкасаться. Дѣло, очевидно, было въ простомъ недоразумѣніи. Карты этихъ мѣстъ не было, да и не совсѣмъ отчетливое знакомство со всѣми разспросными данными вызывали крайне неясное пониманіе топографіи тѣхъ странъ.

Участвуя въ послѣдней Памирской экспедиціи 1883 г. въ

[1]) Чтобы легко и правильно произносить туземныя слова, нужно держаться одного правила: удареніе всегда ставить на концѣ, напр. Шугна́нъ, Ала́й, Кара-Була́къ, Аму́-Дарья́, Тукузъ, Бурама́нъ, Тура́ и т. д.

качествѣ завѣдующаго ея геологическимъ отдѣломъ, я имѣлъ случай быть въ восточныхъ частяхъ Шугнана и Рошана. О нихъ то я и намѣренъ разсказать въ настоящей статьѣ.

Предлагаемый очеркъ, который можно разсматривать какъ одну изъ главъ моего будущаго сочиненія о путешествіи на Памиръ, появляясь нынѣ отдѣльно, требуетъ хотя краткаго предисловія о самомъ Памирѣ, непосредственно примыкающемъ къ шугнанскимъ владѣніямъ. Сознаю, что быть краткимъ и яснымъ—самое трудное дѣло. Постараюсь, насколько для меня возможно, сдѣлать самое введеніе простымъ.

Памиръ лежитъ въ верховьяхъ Аму-дарьи [1]). До настоящаго времени многимъ еще представляется спорнымъ вопросъ о томъ, что̀ считать Памиромъ. Зависитъ это прежде всего отъ различія въ точкахъ зрѣнія.

Для меня этотъ вопросъ не представляется вовсе такимъ сложнымъ, и я отвожу Памиру очень опредѣленное мѣсто въ тѣхъ границахъ, которыя отмежеваны ему туземцами, живущими на самомъ Памирѣ и въ его окрестностяхъ, ибо ближайшее знакомство съ его физико-географическими особенностями дѣйствительно позволяетъ характеризовать Памиръ, какъ область вполнѣ обособленную, съ опредѣленными природными признаками, съ самостоятельной физіономіей. Это—высокое нагорье, долины котораго подняты на высоту отъ 11 до 14 слишкомъ тысячъ футовъ надъ ур. моря, а горы, вздымающіяся на немъ, имѣютъ среднюю абсолютную высоту въ 15—16 тыс. ф. Съ трехъ сторонъ оно ясно ограничено окраинными цѣпями высочайшихъ горъ; на сѣверѣ Заалайскими, на востокѣ Кашгарскими, на югѣ Гиндукушемъ, пики которыхъ вздымаются выше 20.000 ф. [2]). Съ этого нагорья сбѣгаютъ двѣ рѣки: на западъ, верховье Ок-

---

[1]) Слово Памиръ обыкновенно отождествляютъ съ „крышей міра“, дѣлая переводъ съ персидскаго Бами-дунія. Едва-ли однако легко отсюда произвести въ какихъ-бы то ни было сокращеніяхъ слово Памиръ. Что въ послѣднемъ словѣ участвуетъ *бам*-крыша, это весьма вѣроятно; но переходъ дунія въ *иръ* или *ръ*—очень мудренъ. Мнѣ кажется, можно проще объяснить происхожденіе этого слова. Памиръ по древне-китайск. источникамъ назывался Pomilo; мѣстные киргизы и теперь выговариваютъ Памилъ. Если корень его персидскій, то вѣроятнѣе, что первоначальное его значеніе было *Бами-баля*, т. е. *высокая крыша*, откуда уже легко допустить и сокращенія: Бами-ло или Памило, Памилъ... Тогда „крыша міра“ будетъ переводъ вольный, а не подстрочный.

[2]) Въ Іаалаѣ гора Кауфмана 23.000, на востокѣ гора Музтагъ-ата 25.800, въ Гиндукушѣ г. Лунхо 22.600 футовъ.

суса—р. Пянжъ; на востокъ, притоки р. Тарима—верховья рѣкъ Кашгарской и Яркентской.

Высота мѣста обусловила природныя свойства страны: климатъ суровый (7 мѣс. зима, 1 мѣс. лѣто); растительность преимущественно луговая высокой альпійской зоны; животный міръ состоитъ изъ видовъ горныхъ, степныхъ и полярныхъ. Культура здѣсь невозможна, и населеніе исключительно бѣдные кочевники киргизы, число которыхъ весьма не велико (3000 чел.). Въ восточной части мы встрѣчаемъ цѣлую систему открытыхъ рѣчныхъ и озерныхъ долинъ, образующихъ въ общей связи степное плоскогорье, величиною равное почти Бельгіи, или костромской губерніи. На западѣ оно переходитъ въ горную страну, быстро понижающуюся, входящую въ зону лѣса и земледѣльческой культуры, первые зачатки которой я и считаю западной пограничной линіей Памира. Такимъ образомъ, для всего Памира я отвожу всю пустынную и самую высокую площадь къ востоку отъ культурной зоны. Въ общемъ поверхность его равняется площади Португаліи. Размѣры этого четыреугольника примѣрно такіе: отъ сѣвера къ югу 270 верстъ, отъ востока къ западу 240.

На сѣверѣ, Памиръ примыкаетъ къ нашей Ферганской области, именно къ ея южной самостоятельной высокой долинѣ Алая. На востокѣ у него лежитъ Кашгаръ. На югѣ за Гиндукушемъ—рядъ мелкихъ владѣній: Канжутъ, Яссинъ, Читралъ, Кяфиристанъ; по сѣверную сторону Гиндукуша, у его подошвы, долина Вахана — небольшое таджикское владѣніе. Западную-же, чисто горную окраину Памира занимаютъ родственныя по населенію вахансвимъ горцамъ владѣнія — по порядку съ сѣвера къ югу: Дарвазъ (нынѣ бухарское бекство), Рошанъ, Шугнанъ и часть Бадахшана [1]).

Вотъ, въ нѣсколькихъ словахъ общая картина страны.

Пусть читатель, открывъ карту Азіи (хоть напр. новое изд. Главн. Шт. 1883 г. [2]) и прослѣдя Аму-дарью до ея верховья, обратитъ вниманіе на ту часть р. Пянжа, гдѣ она, передъ сліяніемъ съ другой р. Сурхабомъ (или Вахшемъ), дѣлаетъ двойное рѣзкое колѣно: сперва бѣжитъ на западъ вдоль Гиндукуша, подъ прямымъ угломъ поворачиваетъ на сѣверъ и снова на югозападъ. Меридіональная часть рѣки у города Калаи-Вамаръ принимаетъ въ себя справа другую значительную рѣку, бѣгущую съ востока

[1]) Въ градусахъ его положенія опредѣлятся: 37° и 39½° с. ш., и 72½° и 75° в. д. отъ Гринв.

[2]) Новая схематическая карточка Памира помѣщена въ „Извѣстіяхъ“ Имп. Рус. Геогр. Общ. за 1885 г., вып. 2 при моей статьѣ „Что считать Памиромъ?“.

Мургабъ. Если пространство между рѣками Пянджемъ и Мургабомъ мы отрѣжемъ на востокѣ меридіаномъ города Пянжа, то получимъ параллелограмъ, въ предѣлахъ котораго лежатъ сказанныя владѣнія Шугнана и Рошана. Они занимаютъ не весь этотъ четыреугольникъ, а бо́льшую (⁴/₅) сѣверную его часть; южная же узкая полоса (¹/₅) принадлежитъ къ Бадахшану.

Подробности выяснятся потомъ сами собой,—покуда ограничимся этой схемой.

I.

4-го августа 1883 г., на р. Памирѣ, близъ впаденія въ нее руч. Харгошъ, Памирская экспедиція раздѣлилась кореннымъ образомъ на двѣ части.

Одна изъ нихъ, бо́льшая, изъ напит. Путяты съ топогр. Бендерскимъ, семью казаками и тремя переводчиками джигитами—направлялась на югъ, намѣреваясь заняться изслѣдованіями преимущественно за Гиндукушемъ, въ областяхъ Читрала, Яссина и Кафиристана; другая, руководимая мною, должна была двинуться на западъ и, захвативъ Шугнанъ и Рошанъ, выйти на сѣверо-западную часть Памира, а оттуда на Нижній Каратегинъ Алай, въ Каратегинъ и Дарвазъ. Мой отрядъ состоялъ изъ пяти казаковъ и одного переводчика; кромѣ того, при обозѣ было два туземца, и одинъ мѣстный киргизъ проводникъ.

Мы разставались надолго. Даже приблизительно нельзя было сказать, когда, гдѣ, при какихъ обстоятельствахъ мы можемъ встрѣтиться: гдѣ-то, когда-то... а можетъ быть и никогда. Каждый изъ отдѣловъ экспедиціи съ этого дня предоставлялся исключительно самому себѣ. Всякая связь между ними кончалась.

Я направился внизъ по р. Памиру, чтобы пройти на верховья р. Шахдары переваломъ Масъ.

На другой день я былъ уже въ предѣлахъ Шугнана [1]).

Это маленькое „ханство“ занимаетъ бассейнъ р. Гунта [2]), бассейнъ, состоящій изъ двухъ долинъ: собственно Гунта и его лѣв. притока Шахдары. Обѣ онѣ начинаются отъ Памирской выси и сбѣгаютъ на западъ къ рѣкѣ Пянжу въ томъ пунктѣ, гдѣ стоитъ столица Шугнана—крѣп. Барпянжъ. Остальная тер-

[1]) Часто подъ именемъ Шугнана подразумѣваютъ и Рошанъ, такъ какъ и тѣмъ, и другимъ владѣлъ Шугнанскій ханъ. Я говорю о каждомъ отдѣльно, употребляя для обоихъ выраженіе „Шугнанскія владѣнія“.

[2]) На картѣ гл. Шт. названа Сучанъ.

риторія Шугнана лежитъ вдоль меридіональнаго волѣна рѣки Пянжа, на разстояніи верстъ 70, считая къ сѣверу отъ сел. Дармарахтъ. На лѣвомъ берегу Пянжа, несомнѣнно принадлежащемъ Шугнану, граница неясна, и ширина полосы проводится довольно гадательно. Рошанъ занимаетъ нижніе теченіе р. Мургаба (верстъ около 150).

Такимъ образомъ, площадь Шугнана выразится 176 кв. г. миль, Рошана 132, общая величина 308 кв. г. м., или половина московской губерніи (также кадниковскій уѣздъ вологодской губ.).

Но эта величина представитъ для насъ всю площадь, входящую въ бассейны названныхъ рѣкъ, до самыхъ недоступныхъ хребтовъ водораздѣльныхъ горъ. Если же мы попытаемся вычислить примѣрную площадь того пространства, которое такъ или иначе эксплуатируется населеніемъ, или вообще представляетъ доступную для человѣка область, то величина шугнанскихъ угодій вѣроятно уменьшится болѣе чѣмъ на половину, т.-е. шугнанское ханство (вмѣстѣ съ Рошаномъ) едва будетъ равняться уѣзду средней величины и во всякомъ случаѣ меньше нижнетагильскаго имѣнія Демидовыхъ на Уралѣ.

Эта то крошечная землица подлежала теперь моему изслѣдованію.

Годъ тому назадъ въ западной ея части нашъ соотечественникъ докторъ Регель разъѣзжалъ совершенно свободно, собирая свой гербарій. Тогда г. Регель считался почетнымъ гостемъ шугнанскаго правителя Юсуфъ-Али-хана. Теперь имя хана не смѣлъ никто произносить въ присутствіи афганцевъ. Ханъ сидѣлъ арестованнымъ въ Файзабадѣ, и главнымъ обвиненіемъ противъ него былъ этотъ самый докторъ Регель...

Верховья Шахдары на значительное протяженіе представляютъ пустырь, и поселенія по этой долинѣ начинаются гораздо ниже. Въ верхней части я могъ встрѣтить случайно пастуховъ или проѣзжихъ—только. Перевалъ (Масъ), которымъ я вступилъ въ долину Шахдары, и гдѣ находятся ея истоки, лежитъ на высотѣ 15.120 ф. Отсюда быстрымъ спускомъ въ нѣсколько очень красивыхъ каменныхъ ступеней, чередующихся съ террасами сочныхъ луговъ, выходишь изъ узкой части ущелья и сразу попадаешь въ открытую долину, гдѣ собираются со всѣхъ сторонъ верхніе ручьи, сбѣгающіе съ амфитеатра горъ въ одинъ циркъ, чтобы образовать солидную рѣчку. Тамъ, на перевалѣ, едва уже тлѣла растительная жизнь [1]) въ видѣ рѣдкихъ травянистыхъ пуч-

[1]) Нужно оговориться впрочемъ, что растительность на Памирѣ доходитъ до высоты около 17.000 футовъ.

ковъ; здѣсь—всего въ 6 верстахъ разстоянія—уже росли кусты ивняка (12.400) довольно рослые, чтобы разнообразить пейзажъ.

Внизъ по Шахдарѣ я не пошелъ, а напротивъ поспѣшилъ уйти изъ этой долины, чтобы случайной встрѣчей съ какими-нибудь проѣзжающими не испортить дѣла. Съ Путятой я условился, что въ Шугнанѣ не появлюсь раньше тѣхъ нѣсколькихъ дней, которые нужно было ему для того, чтобы дойти до поворота дороги съ Вахана къ перевалу Боръ-агылъ (т.-е. до с. Сараата).

Чтобы сдѣлать понятнымъ дальнѣйшій разсказъ, я долженъ нѣсколько вернуться назадъ.

Наша экспедиція вела все время работы двумя партіями, которыя раздѣлялись, назначая себѣ опредѣленные маршруты на 10—12—20 дней, и потомъ въ условленныхъ пунктахъ сходились, чтобы снова опять разойтись по разнымъ направленіямъ. Передъ послѣднимъ кореннымъ раздѣленіемъ, о которомъ я говорилъ, наши два отдѣла работали на давно значительномъ разстояніи. Въ то время какъ я съ Бендерскимъ изслѣдовалъ юго-восточную часть Памира, программа Путяты сосредоточивала его рекогносцировки на западѣ, близъ восточной окраины Рошана и Шугнана. Не попавъ на р. Гунтъ, онъ направился по его лѣв. притоку Тукузъ-булаку, по дорогѣ, ведущей въ первое шугнанское селеніе Сардымъ. Въ его задачу входило между прочимъ и то, нельзя ли добыть для отряда муки и крупы.

Недойдя до Сардыма, онъ послалъ туда двоихъ джигитовъ съ товарами (ситцы, бусы, халаты и т. п.). Чтобы не вызвать какихъ нибудь подозрѣній, они должны были назваться торговцами и, обмѣнявши товары на провіантъ, а также добывши точныя свѣденія о событіяхъ съ ханомъ, возвратиться. Вымышленные „купцы“ (савдагары) двинулись нагруженные товаромъ и съ очень хитрыми соображеніями о томъ, какъ ловко они проведутъ глупыхъ шугнанцевъ. Пріѣхали въ Сардымъ и началось вранье. Они – кашгарскіе купцы, идутъ въ Бадахманъ, оставили караванъ на Аличурѣ, сюда заѣхали купить хлѣба для людей... Выходила такая чепуха, которую могъ выдумать только ребенокъ: дорога съ Аличура шла черезъ Сардымъ, они оставили транспортъ за два-за три дня пути, поѣхали впередъ, чтобы съ хлѣбомъ воротиться назадъ и снова ѣхать сюда же съ караваномъ... Мало этого—„кашгарскіе купцы“ оказались незнающими даже того, что въ это время въ Сардымѣ еще только колосился хлѣбъ, и что сѣется его тутъ ровно столько, сколько нужно для себя...

Чѣмъ дольше ихъ разспрашивали, тѣмъ болѣе купцы завирались. Да и товары то у нихъ были не того разбора, который

обыкновенно привозится сюда изъ Кашгара; да и языкъ былъ не кашгарскій. Словомъ, пришлось, наконецъ, отвѣчать прямо.

— Вы должно быть русскіе? — задали имъ вопросъ очень осторожнымъ тономъ.

— Ну такъ что, что русскіе?—вдругъ сорвались купцы.— Мы развѣ боимся кого? Ну да, русскіе,—такъ у насъ вотъ сейчасъ здѣсь, на Аличурѣ, цѣлое войско стоитъ! Насъ никто не смѣетъ тронуть: мы русскіе джигиты. Мы и афганцевъ не боимся...

— Гдѣ же русскимъ бояться афганцевъ, афганцы сами русскихъ боятся. У нихъ съ Аспаляханомъ вся и ссора-то произошла изъ-за русскаго... Мы сами русскихъ любимъ и очень вамъ рады...

Начались мирные переговоры. Джигиты добыли свѣденія объ афганцахъ, объ ханѣ, узнали, что хлѣба теперь пожалуй во всемъ Шугнанѣ не найдешь ни за какія деньги, не только въ бѣдномъ Сардымѣ; купили пару барашковъ, нѣсколько чашекъ сушеной ягоды шелковицы, оставили сколько-то аршинъ ситца и вернулись назадъ. Здѣсь началось новое вранье о томъ, какъ ловко они вели себя, какія важныя свѣденія добыли. Но и тутъ имъ довелось нѣсколько спутаться и намекнуть на то, что, кажется, ихъ жители узнали, только виду не показали, но что конечно афганцамъ теперь отлично уже извѣстно о ихъ пріѣздѣ. Догадки эти для нихъ были тѣмъ легче, что вмѣстѣ съ ними въ Шугнанъ поѣхалъ одинъ старикъ изъ Ферганы, который конечно ихъ „выдалъ“...

Путаница эта произвела смущеніе и тамъ, и тутъ. Испуганные появленіемъ русскаго отряда, жители побоялись скрыть это отъ афганцевъ и послали донесеніе въ Барпянжъ. Даже была идея догнать джигитовъ и арестовать... Афганцы забили тревогу и потребовали подкрѣпленій изъ Бадахшана, ибо въ то время весь Шугнанскій „окупаціонный отрядъ“ ихъ состоялъ изъ 30 человѣкъ. Съ другой стороны, смущенъ этой путаницей былъ и Путята, инстинктивно понимая, что комедія съ купцами не удалась, что у афганцевъ можетъ явиться желаніе послать рекогносцировочный отрядъ на Памиръ, а такъ какъ афганцы не китайцы (и съ тѣми возня какая была!), то нельзя предвидѣть, какія могутъ выйти затрудненія для экспедиціи...

Всѣ истинныя подробности этого джигитскаго водевиля „съ переодѣваніемъ“ я постигъ уже гораздо позже, теперь же зналъ отъ Путяты только то, что ему наврали наши „купцы“.

Повернувъ съ Шахдары къ сѣверу, на Аличуръ, я уже къ полудню выбрался снова на Памирскую высь, пройдя весьма хо-

рошей вьючной дорогой по ущ. Кокбай къ водораздѣлу между водами Шахдары, Тукузъ-булака и Аличура.

II.

Такъ дошелъ я до южнаго берега Яшиль-куля, самаго главнаго алигурскаго озера и второго по величинѣ на всемъ Памирѣ: послѣ Б. Каракуля должно быть поставлено оно, а затѣмъ уже Памирское, или Большое озеро [1]).

Озеро Яшиль-куль интересно во многихъ отношеніяхъ.

Оно лежитъ въ воротахъ Шугнана со стороны Памира, на ближайшей лѣтней дорогѣ изъ Кашгара и съ Алая. Отъ него направляются единственныя пути отсюда въ рошанское селеніе Серцъ: одинъ отъ самаго озера черезъ перевалъ Б. Марзянай; другой въ 5 верстахъ по западную сторону воротъ, переваломъ Ленчеръ. Озеро принимаетъ въ себя всѣ воды Алигура и выпускаетъ изъ себя единственную рѣчку Гунтъ. Оно находится на границѣ травянистой степи и лѣса, лугового Памира и горнаго перехода его къ культурной полосѣ окраины. Только по отношенію къ нему сохранились точныя историческія указанія о переходѣ черезъ Памиръ большого китайскаго отряда въ 1758 г. подъ начальствомъ генерала Фу-дэ. Онъ преслѣдовалъ войска и переселенцевъ изъ Кашгара, бѣжавшихъ съ ходжами въ Бадахшанъ [2]). Фу-дэ настигъ ихъ близъ Яшиль-куля, и здѣсь была рѣшена участь ходжей: войска ихъ были разбиты, масса добычи (въ видѣ нѣсколькихъ тысячъ плѣнныхъ, скота и оружія) попала въ руки китайцевъ, которые подъ предводительствомъ своего гордаго генерала проникли затѣмъ въ Шугнанъ, въ Ваханъ и дошли

[1]) Поверхность Б. Каракуля равняется 5,4 к. г. м. (264 кв. вер.), Яшиль-куля—0,88 к. г. м. (43 к. в.), Больш. Озера—0,6 к. г. м. (29 к. в.).

[2]) Ходжи въ исторіи Восточнаго Туркестана играли видную роль въ длинной борьбѣ Кашгаріи съ китайцами и джунгарами за власть и независимость. Первый ходжа, явившійся изъ Бухары въ качествѣ ученаго пилигрима, проповѣдника ислама, заслужилъ огромную славу своей святостью. Потомки его, добившись свѣтской власти и выступивъ въ качествѣ хановъ, упрочили славу ходжей длиннымъ рядомъ войнъ, возмущеній, заговоровъ, страшныхъ казней и преступленій, отозвавшихся на населеніи В. Туркестана огромными потоками человѣческой крови. Въ началѣ 60-хъ годовъ нашего столѣтія ходжи (Бузурукъ-ханъ-ходжа) снова овладѣваютъ Кашгаріей, причемъ на сцену выдвигается знаменитый политическій дѣятель въ Средней Азіи Якубъ-бекъ, съумѣвшій изъ мальчика плясуна (бача) сдѣлаться неограниченнымъ властелиномъ обширныхъ владѣній и длиннымъ рядомъ войнъ и чисто азіатскихъ кровавыхъ расправъ связать свое имя съ длинной исторіей ходжей.

даже до столицы Бадахшана... Безъ всякаго сомнѣнія, въ честь именно этого торжества китайскаго оружія былъ воздвигнутъ у западнаго конца Яшиль-куля китайскій памятникъ, развалины котораго сохранились до сихъ поръ съ безразличнымъ именемъ „китайскаго мазара".

Какъ будто назначенное быть роковымъ мѣстомъ для дезертировъ ханскаго рода, то же озеро Яшиль-куль послужило на дняхъ пріютомъ другому бѣглецу, но не съ востока, а съ запада. Какъ разъ на той же самой злополучной горѣ, которая 125 лѣтъ назадъ задержала переходъ ходжей къ Шугнану, я видѣлъ еще ясные слѣды отъ копытъ лошадей бѣжавшаго сюда Куватъ-хана, сына Юсуфа-Али, послѣ того какъ послѣдняго задержали въ Файзабадѣ [1]). Отсюда злополучный ханскій наслѣдникъ затѣвалъ бѣжать на русскую границу. Отсюда онъ рѣшалъ свою судьбу, взглядывая на западъ, гдѣ оставалось „царство", и на востокъ, куда вела дорога къ далекимъ „урусамъ". Отсюда его вызвали назадъ обѣщанія... Но объ этомъ рѣчь впереди.

Нельзя отнять у Яшиль-куля и нѣкоторой живописности, извѣстнаго интереса къ нему, какъ къ большому и глубокому озеру. Когда передъ вечеромъ я остановился на немъ на стоянку, на озерѣ лежала полная тишина. Стальное зеркало отражало всѣ мельчайшія подробности его береговъ, опрокинувъ въ глубь озера и дальнія горы, и красноватые языки моренныхъ склоновъ южнаго берега, и желтые холмы на сѣверныхъ откосахъ, и даже едва замѣтную полоску зелени въ устьѣ длинной косы р. Б. Марзяная. Мелкими точками, какъ песчинки на зеркалѣ, раскидались по озерной глади стада гусей и атаекъ. Масса черныхъ гагаръ облѣпила каменную грядку, высунувшуюся изъ воды вдоль берега, и глупо, неумѣло машетъ крыльями, напоминая собою какую-то картину изъ фантастической сказки о безобразныхъ, тоскующихъ черныхъ вѣдьмахъ надъ пустыннымъ озеромъ. Далеко на горизонтѣ за передними горами торчатъ острые зубцы снѣговыхъ горъ. Лѣниво-граціозно разметались легкія группы облаковъ надо всей этой картиной.

Пронеслась первая струйка вѣтра. Озеро мелко вздрогнуло, смѣшало ясные контуры опрокинутыхъ горъ, заволоклось вдали свинцовымъ тономъ, заиграло мелкими искрами вблизи. Плавно въ перебой закачались гуси на водѣ. Заметалась на берегу тонкая травка съ мохнатыми колосьями. Вѣтеръ съ запада начался.

[1]) Теперешняя столица Бадахшана.

Всю ночь на песчаной отмели правильно бился сильный прибой, сперва съ непривычки безпокоя нервы, а потомъ убаюкивая.

Для меня лично, какъ изслѣдователя Памира, озеро Яшиль-куль было интересно еще потому, что его западный конецъ и истоки Гунта оставались до сихъ поръ никѣмъ не осмотрѣнными. Ни экспедиція Сѣверцова, производившая на Аличурѣ инструментальную съемку, ни Путята не проникли западнѣе ущелья Б. Марзянай, оставивъ озеро верстъ на 12 вовсе не осмотрѣннымъ. Свѣденія о дорогахъ вдоль озера были болѣе чѣмъ сбивчивы. Такъ, напр., о сѣверной дорогѣ ходили мнѣнія, какъ о недоступной для ѣзды на лошади. Мнѣ удалось фактически провѣрить эти слухи: сѣвернымъ берегомъ прошелъ мой вьючный обозъ, южнымъ проѣхалъ я самъ. Вьюки нигдѣ не встрѣтили ни малѣйшаго затрудненія. Весь сѣверный берегъ озера западнѣе Б. Марзянай представляетъ крутыя горы, спускающіяся къ самой водѣ. Побережье образуется каменною осыпью съ горъ, по которой и пробирается дорожка у самой воды. Наши привычные кони шли по этому пути какъ нельзя лучше.

Южный путь вдоль самаго озера имѣетъ двѣ преграды. Первая находится у западнаго конца озера (верстахъ въ 5); небольшая каменная горка, отдѣляющая котловину сосѣдняго Булюнъ-куля, надвигается къ самому озеру, спускаясь почти полнымъ отвѣсомъ въ его глубокія воды. По берегу, высоко надъ водой, лѣпится едва замѣтная козья тропочка, часто прерывающаяся промоинами, или же смытая настолько, что даже пѣшаго беретъ на нѣкоторыхъ мѣстахъ раздумье.

На эту тропочку я попалъ случайно, по незнанію проводника. Дорожка же для вьюковъ идетъ южнѣе, въ обходъ обрыва, поднимаясь черезъ гребень довольно тяжелой крутизной. Переваливъ эту горку, южная дорога до самаго западнаго конца озера очень сносная и тянется поперекъ многочисленныхъ овраговъ, сбѣгающихъ къ озеру. Нѣсколько овраговъ орошаются горными ручьями изъ ледниковъ въ южныхъ горахъ. Эти послѣднія характерны своей мрачностью, недоступностью.

Къ концу озера дорожка спускается на низкую отмель и вдоль самой воды доходитъ до истока изъ него рѣки Гунта. Вторая преграда была здѣсь!

Гунтъ выбѣгаетъ изъ Яшиль-куля двумя рукавами, образуя островъ. Южный рукавъ бѣжитъ открыто, бойкой кристаллически прозрачной рѣчкой, шириною саженей въ 25; глубина выбраннаго брода въ то время (10-е августа) была по брюхо лошади. Теченіе очень быстрое, но ровное, русло правильное съ средней галь-

кой. Это рукавъ мирный. Другая часть Гунта невидимая: она значительно шире первой и вся завалена огромнымъ каменнымъ обваломъ, подъ которымъ съ сильнымъ журчаньемъ пробирается вода. Весь островъ тоже лежитъ подъ тѣмъ же обваломъ и представляетъ дикое нагромождение камней съ поперечникомъ въ нѣсколько саженъ. Его обвалъ сливается незамѣтно съ обваломъ на сѣверномъ рукавѣ. Оба рукава рѣки соединяются у самой подошвы южныхъ дико обрывистыхъ гранитныхъ горъ. Отъ сѣверныхъ горъ выдается низенькій отрогъ въ 200 метр. (650) высоты надъ Яшиль-кулемъ, представляя какъ бы западный берегъ озера. Отрогъ этотъ—наз. Бураманъ-бель—быть можетъ когда-то замыкавшій долину озера, теперь прорванъ близъ южныхъ горъ истокомъ Гунта. Самый прорывъ тоже загроможденъ обваломъ. Рѣка совершенно скрывается подъ нимъ, давая о себѣ знать глухимъ журчаньемъ, да кое-гдѣ образуя среди камней небольшіе озерки съ сердитыми водоворотами. Появляется она на свѣтъ Божій уже гораздо ниже, открывая долину Гунта буйнымъ каскадомъ.

Южная дорога переходитъ въ бродъ открытый рукавъ, взбирается на обвалъ и по этой второй преградѣ, съ камня на камень неправильными ступенями и корридорами, спускается къ берегу отрога Бураманъ. Переходъ по обвалу крайне труденъ. Хотя здѣсь несомнѣнно дорога „разработана“, т.-е. кое-гдѣ забиты щели, положены плиты и т. п., но все это очень мало отличаетъ подобную „дорогу“ отъ простого движенія по моренамъ. Ѣхать верхомъ здѣсь было почти совсѣмъ немыслимо, и мы очень медленно подвигались, даже проводя нашихъ верховыхъ лошадей пустыми. Во многихъ мѣстахъ „дорогу“ приходилось угадывать чутьемъ и лишь изрѣдка различать ее по остаткамъ стараго навоза. Безъ сомнѣнія, она весьма рѣдко практикуется.

За обваломъ начинается подъемъ на перевалъ Бураманъ, по дорожкѣ сѣвернаго берега озера. Подъемъ косогоромъ очень крутъ и требуетъ не мало труда, хотя и невысокъ.

Взойдя на перевалъ, я оглянулся.

Передо мною прямо къ востоку тянулась узкая лента озера, шириною въ версту, полторы. Черезъ 7 верстъ она расширялась до трехъ верстъ. Еще черезъ 4 версты озеро сразу глубоко вдавалось къ югу, достигая здѣсь болѣе 5 верстъ поперечника; этимъ широкимъ водоемомъ оно тянулось, незамѣтно съуживаясь, верстъ на 9, до болотистыхъ разливовъ р. Аличура и протоковъ изъ Булюнъ-куля. Дальше за озеромъ видѣлась уже въ туманѣ широкая Аличурская долина чисто памирскаго степного типа.

Согласно съ фигурой озера измѣнялось и очертаніе крутой подошвы южныхъ горъ: у западнаго конца онѣ подходили близко къ озеру; съ половины быстро отступали къ югу; сѣверныя же горы тянулись однообразно вдоль однообразной линіи сѣвернаго берега.

На западъ съ перевала открывалась совершенно иная картина. Глубокое, чисто горнаго типа ущелье съ шумной рѣкой извивалось между скалистыми, тѣсно сжавшими его горами и затѣмъ быстро заворачивало налѣво. Вдоль рѣчки тянулась безпрерывная полоса кустовъ и деревьевъ.

Дорога отъ Бураманъ-бели [1]) шла по высокой (въ 200 метр. средней высоты надъ рѣчкой) ровной гранитной террасѣ праваго берега. Верстъ черезъ пять она подходитъ къ крутому краю ступени, какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ Гунтъ впадаетъ справа ущелье Ленгеръ [2]). Я упоминалъ уже, что по Ленгеру существуетъ дорога въ Рошанъ. Вмѣстѣ съ Б. Марзнаемъ эти два перевала суть единственные соединительные проходы между Шугнаномъ и Рошаномъ на протяженіи 120 верстъ всей долины Гунта. Въ остальныхъ мѣстахъ горы (Алигурскія) раздѣляющія Гунтъ отъ Мургата, совсѣмъ недоступны для пѣшаго горца. Слѣдующая соединительная линія на западѣ есть уже долина Пянжа.

Бураманъ-бель въ военномъ отношеніи имѣетъ серьезную цѣну. Какъ ворота со стороны Аличура, этотъ маленькій отрогъ отлично бережетъ дорогу, благодаря трудному подступу къ нему только по единой существующей дорожкѣ. Опираясь на просторную каменную террасу до Ленгера, онъ связывается съ дорогой чрезъ этотъ послѣдній въ Рошанъ. Сама терраса представляетъ цѣлую природную крѣпость.

Съ края спуска къ Ленгеру открывается веселый ландшафтъ, подробности котораго отчетливо видны сверху. Сейчасъ же внизу начинаются красивыя купы густого ивняка, убравшаго все устье Ленгера. Вверхъ по послѣднему довольно далеко тянутся луга, орошенные многими рукавами. Здѣсь мы выбрали нашъ ночлегъ.

Отвыкши въ теченіе долгаго времени отъ лѣсного пейзажа на Памирѣ, мы встрѣтили нѣкоторое его подобіе здѣсь съ неподдѣльной радостью. Среди густой заросли, нашлось достаточно мѣста, гдѣ на мягкой полянкѣ можно было разбить нашъ маленькій бивакъ. Рѣзкій вѣтеръ, дувшій вдоль ущелья, не прони-

[1]) Абсол. выс. перевала 13,400 ф.

[2]) Имя Ленгеръ или Лянгаръ всегда придается такому мѣсту, которое представляетъ хорошія условія для остановки: здѣсь много подножнаго корма, обиліе воды. Въ Кашгарѣ этимъ именемъ обозначается хуторъ.

калъ сюда вовсе. Какой-то давно желанной уютностью пахнуло на всѣхъ въ этомъ уголочкѣ. Впечатлѣнію сначала мѣшалъ нѣсколько дождь, начавшійся со второго часа дня. Но къ вечеру разъяснило. Веселый костеръ мягко освѣщалъ густыя стѣнки кустовъ, обступившихъ наши палатки. Среди кустовъ изрѣдка потрескивали вѣтки, слышалось фырканье коней, вкусный хрустъ травы. Таинственныя пятна глубокой тѣни лежали кругомъ и уносили куда-то далеко, пробуждая смутныя чувства—точно вспоминалось что-то дорогое, забытое въ родныхъ мѣстахъ Россіи... Нечаянная новость этой маленькой обстановки такъ подкупала одичавшаго памирца, что неохота было уходить въ палатку изъ подъ открытаго неба, темнаго, глубокаго, съ чудными яркими звѣздами, и я легъ далеко позднѣе обыкновеннаго.

III.

Утромъ все было въ туманѣ. Обдавало мелкой изморозью.

Къ узкой долинѣ Гунта скорѣе подходило бы названіе ущелья. Голыя крутыя горы близко надвигаются къ рѣкѣ съ обѣихъ сторонъ, давая у подошвы склоновъ короткія осыпи и обвалы, загромождающіе дорогу. Стѣсненная рѣка падаетъ шумнымъ, сердитымъ каскадомъ, обрамленнымъ узкой бахрамой тальника и облѣпихи, съ кустами розана, черной смородины и торчащими дудками „конскаго щавеля“. Къ ней подступа нѣтъ на разстояніи нѣсколькихъ верстъ. Все тѣсно, обрамлено высокими горами, завалено камнями, нѣтъ простора для глаза. Памирскія степи кончились, остались назади, здѣсь царство горъ.

Дорога все время до самаго Сардыма идетъ правымъ, болѣе просторнымъ берегомъ; сперва проходитъ по тяжелому крупному обвалу близъ самой рѣки, потомъ поднимается высоко надъ рѣкой на песчаную почву террасы, уводя сейчасъ же отъ древесной растительности въ область моихъ хорошихъ памирскихъ знакомцевъ—шаровыхъ кустиковъ „терскена“ [1]), лепешчатаго багрянника [2]), ковыла и др. Новый спускъ къ рѣкѣ опять вводитъ въ переходную полосу низкорослаго тугая [3]). Дорога здѣсь очень плоха, то по камню, то между кустами и трясиной. Но, пройдя верстъ 8, у крутого поворота рѣки влѣво (къ югу), все измѣняется: долина дѣлается шире, и все пространство между горами

[1]) Бѣлозникъ—Eurotia ceratoides C. Koch.

[2]) Cersis L.

[3]) Тугай или Токой отвѣчаетъ нашей дикой древесной заросли.

(болѣе полуверсты) выравнивается; рѣка изъ бурной становится мирной, дѣлится на рукава и ласково охватываетъ нѣсколько красивыхъ островковъ. Веселый Тугай убралъ оба берега и острова, густымъ паркомъ уперся въ крутыя скалы горъ и мило свѣшивается надъ свѣтлой рѣчкой. Слѣва вытянулся небольшой гнейсовый острый гребень и красивой стѣнкой, постепенно понижаясь, врѣзался носомъ въ кусты заросли. Это „Тура", давшая названіе всему описанному мѣсту. Прямо на югѣ, задній фонъ веселой картины замыкаетъ характерная гряда лѣвыхъ („Гунтскихъ") горъ. Здѣсь она наиболѣе типична: ровная, однообразная, съ небольшими пиками и мелкими зубьями на гребнѣ, съ короткими склонами, съ прямыми промоинами вмѣсто боковыхъ ущелій, которыя видны всѣ сразу сверху къ низу, и съ рядомъ небольшихъ ледяныхъ глетчеровъ въ ихъ вершинахъ.

Правыя горы Гунтской долины хотя въ общемъ и имѣютъ довольно близкое сходство съ лѣвыми—своей оголенностью, скалистостью и крутизною склоновъ, образующихъ самую долину, но отличаются существенно отъ первыхъ. Онѣ гораздо массивнѣе, выше, серьезнѣе. Тогда какъ Гунтская гряда вся на виду, какъ стѣнка, Аличурскія горы выставляютъ въ долину лишь свои передовые отроги и ихъ склоны. Хребетъ ихъ не видѣнъ, онъ лежитъ далеко, на значительной высотѣ, острый, изъѣденный ледниковыми цирками. Самыя горы надрѣзаны глубокими боковыми ущельями, обыкновенно тѣсными, мрачными, малодоступными даже въ низовьяхъ, заваленными моренами, а выше занятыми крутыми ледниками. По этимъ ущельямъ въ Гунтъ справа вливаются серьезные притоки. До Сардыма главныхъ два—Кумышъ-джилка и Айранъ-су. Оба могутъ служить типомъ правыхъ ущелій.

Кумышъ-джилка (серебряное ущелье) впадаетъ въ Гунтъ шестью верстами ниже Туры, и поражаетъ своей дикостью: отвѣсныя каменныя стѣны ущелья, словно ворота, ведутъ въ тѣснину, въ которой вскорѣ уже бѣлѣютъ снѣгами убранныя вершины. У самаго „рта", какъ выражаются киргизы, фантастическія скалы, пещера, какая-то мудреная трещина, каменный холмъ. Названіе свое ущелье получило отъ находящихся въ немъ копей серебряной руды. Среди жителей существуетъ довольно неопредѣленный разсказъ о томъ, что въ прежнее время здѣсь разрабатывалась жила „чистаго серебра" толщиною въ руку. Копи составляли собственность жителей и давали хорошіе заработки. Когда провѣдали ханы о „чистомъ серебрѣ", то стали тѣснить жителей и довели, наконецъ, дѣло до того, что послѣд-

ніе бросили рудникъ и разбѣжались. Копи обвалились, ихъ засыпало снѣгомъ, и теперь никто не знаетъ этого мѣста. Ходитъ слухъ, что есть какіе-то два человѣка, которые знаютъ мѣсто рудника и которыхъ теперь старательно, но напрасно разыскиваютъ афганцы, заинтересованные серебрянымъ богатствомъ.

Переѣхавъ быстрый потокъ Кумышъ-джилги, дорога тотчасъ же поднимается на высокую террасу изъ древнихъ моренныхъ и галечныхъ отложеній, вдающуюся мысомъ въ долину Гунта, пересѣкаетъ мысъ поперекъ и (черезъ 5 верстъ) приводитъ къ другому ущ. Айранъ-су, т.-е. „р. Сывороткѣ“.

Изъ темныхъ вертикальныхъ стѣнъ ущелья выносится съ огромнымъ шумомъ сильный широкій потокъ. Окрашенный свѣтлой ледниковой мукой и взбитый въ пѣну на сильномъ уклонѣ каменистаго русла, ручей-каскадъ дѣйствительно является густымъ, молочнымъ. Впечатлѣніе усиливается еще отъ бѣлаго тона широкаго галечнаго русла, по которому несутся воды Айрана. Разбѣгаясь капризными бѣлыми рукавами и перепутываясь ниже съ кустами ивняка, онъ незамѣтно сливается съ широкимъ тугаемъ Гунта, который здѣсь тоже дробится на нѣсколько протоковъ.

Устье Айрана замѣчательно своими первыми ясными слѣдами бывшихъ здѣсь земледѣльческихъ поселеній: какъ по лѣвому берегу Айрана, такъ и ниже по обоимъ берегамъ Гунта существуютъ несомнѣнные остатки полей, оросительныхъ канавъ и развалинъ домовъ. Вѣроятно, это была предѣльная высота здѣсь полевой культуры, достигавшая $11^1/_2$ тыс. ф. надъ ур. моря. Отсюда же начинается и болѣе обстоятельная дорожка. Хотя она и путается по прежнему между камнями и тугаемъ, но идетъ уже ясной тропкой, безъ особенныхъ трудностей. Вскорѣ за Айранъ-су мы расположились на ночлегъ, послѣдній передъ Сардышомъ. Гунтъ попрежнему бѣжалъ галечнымъ русломъ, среди тугая. Сзади насъ надъ ущельемъ висѣли тучи, производя двойной эффектъ въ тонахъ пейзажа: внизу царила густая темнота и сѣялъ мелкій дождикъ; выше висѣла сѣрая дымка, изъ-за которой сквозили контуры зубчатыхъ гребней; еще выше неслась вьюга, порошa бѣлымъ налетомъ верхи горъ; тутъ было полусвѣтло, полупрозрачно, все сливалось въ неясные образы, тонуло и уходило въ туманную даль, точно вмѣстѣ съ облаками плыли и горы, точно облака, зацѣпившись за скалу, становились горой, а горы, обнятыя облаками, дѣлались легкими, прозрачными, тая, и расползались и уносились, какъ быстрыя тучи.

А первый планъ съ нашей стоянкой весь горѣлъ на радо-

стномъ солнцѣ, каждымъ деревомъ, каждой вѣткой, каждой камышинкой и травочкой, рисуясь на темномъ фонѣ фантастическаго ущелья. Однообразная, блѣдная и прозрачная зелень ивы пестрѣла многочисленными пятнами густой, оригинально кучной облѣпихи. Послѣдняя здѣсь была уже въ видѣ деревьевъ саженей до двухъ ростомъ и издали, на сильномъ солнцѣ, являлась то какъ густой широкій кустовый можжевельникъ, то какъ вѣтвистая, кудрявая сосенка.

Сардымъ былъ отъ насъ всего въ десяти верстахъ.

На завтра, чѣмъ свѣтъ, мой переводчикъ Атабай—лихой джигитъ и преданный мнѣ человѣкъ—долженъ былъ выѣхать впередъ, чтобы подготовить жителей къ моему пріѣзду, назначенному въ 12 час. дня.

IV.

13-е августа—день вступленія въ населенный Шугнанъ; начало новыхъ сложныхъ отношеній, дипломатическихъ переговоровъ. Сегодня же конецъ сборовъ для моего походнаго гербарія, такъ какъ собираніе травъ и цвѣтовъ отождествляло бы мои занятія съ занятіями д-ра Регеля, сильно заподозрѣннаго афганцами и сильно неполюбившагося имъ.

Дорога сразу врѣзывается въ густой-густой тугай, разросшійся привольно на солонцеватой почвѣ. Попавъ въ эту сплошную заросль ивы, краснаго лозняка, облѣпихи, тополя, розы, жимолости, и волчьей ягоды, совершенно скрываешься въ ней. Глубокая, мягкая тропа, пробитая въ почвѣ, вьется мелкими изгибами между стѣнами непроглядныхъ и непролазныхъ кустовъ и деревьевъ. Ничего не видно, кромѣ множества скрещенныхъ вѣтокъ и листьевъ, образующихъ большую, большую, толстую стѣнку, внутри которой играютъ лучи солнца. Сперва ѣдешь и пробуешь бороться съ этой чащей, нагибаешься къ самой шеѣ лошади, отмахиваешься отъ вѣтокъ, загораживаешь лицо локтемъ. Но вскорѣ это надоѣдаетъ, слѣзаешь и ведешь лошадь въ поводу. И такъ хорошо, оригинально какъ-то среди этой чащи; любопытна эта растительная тѣснота, мягкая тропочка, густая трава, переплетъ вѣтокъ надъ головой. Идти легко, хотя и часто ныряешь подъ навѣсомъ тугая, то и дѣло ссоришься съ конемъ, останавливающимся, чтобы набрать полонъ ротъ сочной травы. По кустамъ слышится быстрый чокотъ дроздовъ, неожиданно срывающихся съ вѣтокъ. Изрѣдка мелькнетъ забавная головка зайченка, дрогнетъ

на моментъ, курьезно вглядываясь въ страшнаго человѣка, и пригнувъ уши, сгинетъ подъ густымъ кустомъ. Впереди идетъ трескъ и гомонъ. Это вьючки, движеніе съ которыми по чащѣ очень хлопотливо. Въ сторонѣ крикъ и ругательства: якъ (наша „пѣшая говядина“) сошелъ съ травы, затесался въ самую трущобу и его ничѣмъ оттуда не могутъ выжить.

Кончился тугай, пошло голое мѣсто, огромный выносъ камня—такъ-называемый „горумъ“, переходъ по которому, прямо безъ дороги, цѣлая мука.

Наконецъ, вступивъ на древнюю морену, попадаешь снова на сносную тропу. Рѣка повернула вправо. Среди камней покатился живой перебой безпокойнаго зова горнаго рябчика „кяглика“ [1]), и вдоль дороги быстро улепетываетъ выводокъ сѣренькихъ птичекъ, гладенькихъ, кургузенькихъ. Молодые уже въ пол-матки. Пробѣжали на хорошую дистанцію, забрались въ камни: мать вскочила на самый большой и, граціозно-заботливо вытянувши кверху полосатую шейку, пошла безостановочно причитать на всю округу: вотъ-какъ, вотъ-какъ, вотъ-какъ...

Впереди показалась человѣческая фигура. Это былъ посланный изъ Сардыма ко мнѣ на-встрѣчу.

„Почетную встрѣчу“ изображалъ русый горецъ, высокій, худощавый, мрачнаго вида оборванецъ, въ деревенскомъ суконномъ чапáнѣ [2]), въ истрепанныхъ до бахромы короткихъ штанахъ и босикомъ. Онъ нерѣшительно приблизился ко мнѣ, взглянулъ исподлобья, молча приложилъ ладони къ груди, поклонился по азіятски животомъ, и также нерѣшительно отошелъ къ камнямъ, гдѣ стояла его клячонка. Пропустивъ меня, онъ забрался на высокій камень, сѣлъ съ него на сѣдло и поѣхалъ сзади, перебрасываясь словами съ моимъ Ахуномъ, горцемъ „гальча“ съ верхняго Зеравшана, во многомъ сходнымъ съ здѣшними, но уже считавшимъ себя столично-образованнымъ (бывалъ даже въ Ташкентѣ и имѣлъ золотую медаль!) по сравненію „съ дикимъ шугнанцемъ“.

Съ пункта, гдѣ въ Гунтъ впадаетъ р. Тукузъ-булакъ, долина значительно расширяется и направляется на западъ. Сліяніе рѣчекъ происходитъ подъ южными горами около красивой, отдѣльно стоящей каменной скалы, образующей какъ бы оторванный носъ той горной гряды, которая отдѣляетъ Гунтъ отъ Тукула. Вокругъ этой сторожевой скалы лежитъ широкая галечная поляна, зарос-

[1]) Perdix Chukar.

[2]) Армякъ.

шая тугаемъ. Мѣсто это называется Саманъ-куль. Отсюда рѣка незамѣтно подается вправо и выходитъ на средину долины, куда съ обѣихъ сторонъ, и въ особенности съ правой, спускаются отъ предгорій склоны мощныхъ древнихъ моренныхъ отложеній. Верстахъ въ двухъ къ западу отъ сторожевой скалы стоитъ другая, въ видѣ вытянутаго очень правильнаго холма—тоже остатокъ отъ бывшей здѣсь работы двухъ сливавшихся когда-то ледниковъ. Линія двухъ этихъ скалъ указываетъ линію бывшаго здѣсь ледораздѣла.

Въ позднѣйшее время ледниковыя отложенія послужили, какъ и близъ Айранъ-су, мѣстомъ расположенія полей. Но теперь здѣшнія населенія представляютъ ничтожный остатокъ отъ прежняго. Когда-то здѣсь стоялъ цѣлый городъ съ значительнымъ числомъ домовъ—6,660, имѣвшій особаго управителя. Этотъ-то городъ и назывался „Гунтъ“ („г“ выговар. съ придыханіемъ, какъ малорусское). Тогда всѣ моренные склоны были обработаны, разбиты на правильныя террасы, орошены каналами. Тутъ кипѣла жизнь. Остатки ея чувствуются всюду и теперь. Можно замѣтить ясные горизонты основныхъ каналовъ, многочисленныя площадки полей, снесенные въ груды съ нихъ крупные камни, остатки крѣпостцы, оригинальную караулку, помѣщенную на огромнѣйшемъ ледниковомъ монолитѣ, съ котораго далеко видно во всѣ стороны, множество развалинъ домовъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ, курьезнѣйшимъ образомъ, болѣе приспособлены къ большимъ мореннымъ камнямъ, какъ къ основнымъ стѣнкамъ. Конечно, весь городъ былъ изъ камня. Гранитный холмъ въ то время стоялъ въ центрѣ селеній и, безъ сомнѣнія, изображалъ изъ себя тоже наблюдательный постъ.

Послѣдній правитель „Гунта“ отличался самостоятельнымъ характеромъ и разбойнической смѣлостью. Онъ постоянно предпринималъ набѣги, грабилъ караваны, ссорился съ сосѣдней Шахдарой, которая имѣла своего бека. Наконецъ, предѣлъ былъ пройденъ, и Шугнанскій ханъ объявилъ „Гунту“ рѣшеніе: или полная покорность, или война. Кончилось войной. „Гунтъ“ былъ побитъ, разоренъ. Большинство жителей искало спасенія въ Коканѣ и Кашгарѣ. „Гунтъ“ превратился въ небольшое селеніе, которое съ каждымъ годомъ все уменьшалось. Преслѣдованія со стороны побѣдителей вели къ постепенному выселенію. Борьба эта продолжалась до самаго послѣдняго времени, и всего $1^1/_2$ года назадъ, здѣсь еще было домовъ до 30, т.-е. жило душъ до 150—200. Въ настоящую же минуту весь поселокъ этихъ мѣстъ (уже называющійся Сардымъ) состоялъ изъ 6 домовъ, по три на

каждой сторонѣ долины, и въ нихъ врядъ ли было больше десятка мужиковъ. Послѣднее выселеніе отсюда жителей сдѣлано Юсуфъ-Али-ханомъ. За версту до праваго поселка меня встрѣтилъ Атабай съ хорошими вѣстями. Приняли его ласково. Главный заправило здѣшнихъ мѣстъ—Мирза, очень хорошій человѣкъ, и обѣщаетъ всякое содѣйствіе. Живетъ онъ на той сторонѣ.

Передъ поселкомъ стояло нѣсколько горцевъ во главѣ съ Мирзой.

— Какъ живете при новыхъ управителяхъ? — спросилъ я, отвѣчая на привѣтствія Мирзы.—Спокойно ли у васъ?

— Покуда еще спокойно,—отвѣтили мнѣ.

— Очень радъ за васъ: было бы спокойно да справедливо, — для мирныхъ жителей земледѣльцевъ это главное. Остальное пойдетъ само собою ладно.

— Надѣемся, что вашъ пріѣздъ принесетъ намъ счастье...

— Давай Богъ.

Угощеніе было выставлено. Оно было крайне бѣдно: квашеное молоко и мелкая брюква—вотъ все, что нашлось здѣсь для „достархана“, т.-е. обычнаго восточнаго угощенія. Впрочемъ, памирцы довольно искренне занялись брюквой...

День былъ прекрасный: тихій, солнечный, самый подходящій для веденія мирныхъ переговоровъ на открытомъ воздухѣ, въ виду походнаго самовара.

Въ основу своихъ сношеній съ Мирзой я поставилъ полную прямоту. Это имѣло за себя множество преимуществъ: во-первыхъ, подобныя сношенія несравненно легче всякихъ другихъ; во-вторыхъ, только при нихъ можно дѣйствовать твердо, не вызывая со стороны жителей никакихъ излишнихъ подозрѣній; въ-третьихъ, мнѣ не было ни малѣйшей надобности хитрить; наконецъ, своей прямотой я надѣялся сгладить неблагопріятное впечатлѣніе, внесенное сюда нашими первыми джигитами.

Мирза оказался дѣйствительно весьма симпатичнымъ и образованнымъ человѣкомъ. Съ первой же встрѣчи бросилось мнѣ въ глаза его выразительное, красивое лицо. Правильный падзикскій типъ сказывался и въ открытомъ лбѣ, и въ горбатомъ носѣ, и въ роскошной полусѣдой бородѣ. Но главная красота свѣтилась въ его большихъ черныхъ глазахъ. Словомъ, лицо меня не обмануло—Мирза былъ умница и очень добродушный человѣкъ. Вести съ нимъ дѣло было бы пріятно гдѣ угодно, а здѣсь, среди наивнѣйшаго горскаго населенія, онъ былъ просто находкой.

Лѣтъ 15—20 назадъ онъ жилъ въ Кокандѣ, познакомился съ тамошними обычаями и пріемами и даже имѣлъ оттуда жену

сартинку. Тамъ же онъ научился довольно недурно владѣть тюркскимъ нарѣчіемъ, что было особенно выгодно для меня въ предстоящей обстановкѣ.

Я объявилъ Мирзѣ, что раньше предполагалъ-было не останавливаться здѣсь, а ѣхать дальше до селенія, въ которомъ найдется аксакалъ (староста); теперь же, встрѣтивъ въ его лицѣ мѣстнаго старшину, я очень радъ погостить у него, пока Атабай съѣздитъ въ Барпянжъ съ письмомъ и подарками къ беку и привезетъ мнѣ отвѣтъ. Мирза остался доволенъ такимъ рѣшеніемъ, и мы двинулись на ту сторону.

Я остановился по близости поселка Мирзы, на ровной площадкѣ, среди нѣсколькихъ бѣдныхъ кустовъ ивняка.

V.

Мнѣ некогда было вглядываться въ мелочи: я торопился заготовить къ завтрашнему дню письмо къ беку.

Вотъ его содержаніе, изображенное Мирзой съ большимъ мастерствомъ по-тадяшкски:

„Почтенному правителю Шугнана.

„Я русскій горный инженеръ, занимающійся изслѣдованіемъ состава горъ, камней и различныхъ рудъ. Съ чисто ученой цѣлью въ нынѣшнемъ году я отправился изучать горы въ пустыняхъ Памира и въ странахъ, окружающихъ Памиръ. Послѣ долгаго путешествія по пустынямъ у меня не хватило хлѣба, и мои люди начали болѣть, почему я и рѣшилъ дойти поскорѣе до жилыхъ мѣстъ. Шугнанъ и Дарвазъ были ближе ко мнѣ, и я двинулся въ ихъ сторону, какъ къ добрымъ и дружественнымъ сосѣдямъ русскихъ. Дойдя до перваго шугнанскаго селенія, гдѣ нашелся аксакалъ, я остановился и посылаю къ вамъ съ этимъ письмомъ и подарками своего человѣка, который и объяснитъ вамъ всѣ мои просьбы.

„Прежде всего прошу васъ принять мое письмо и подарки съ дружественнымъ расположеніемъ. Затѣмъ прошу вашего согласія на то, чтобы мнѣ вступить въ ваши владѣнія. Я увѣренъ, что получу отъ васъ въ скоромъ времени благопріятный отвѣтъ. До тѣхъ поръ я не двинусь съ мѣста и не обращусь къ жителямъ ни зачѣмъ.

„Пишу коротко, не имѣя своего писаря. Все, что нужно, поручаю передать вамъ посланному. Онъ же отвѣтитъ вамъ и на всѣ ваши вопросы.

„Да получится вами это письмо въ счастливое время. Еще разъ завѣряю васъ, что мои намѣренія самыя мирныя и дружественныя, что вамъ и всей странѣ, управляемой вами, кромѣ хорошаго я ничего не желаю.—Мѣсяца августа 1883 г. Подписью своею и туземной печатью удостовѣряю мои слова".

Подарки я посылалъ обоимъ наличнымъ афганскимъ бекамъ, посылалъ по обычаю, для удостовѣренія моихъ дружескихъ намѣреній. Къ сожалѣнію, долженъ признаться, что подарки были очень бѣдные и импонировать ими можно было, лишь скрѣпя сердце и разсчитывая на ихъ „европейскій" видъ, за которымъ, быть можетъ, хотя отчасти скрадывалась бѣдность. Нужно сказать, что на нашу экспедицію отпущены были весьма скудныя средства, размѣръ которыхъ сильно безпокоилъ насъ даже въ смыслѣ обезпеченія продовольствія. Собственно на подарки мы не имѣли ничего, кромѣ очень скромныхъ личныхъ средствъ. Понятно, что какіенибудь 400-500 рублей, затраченныхъ нами въ Ташкентѣ на цѣлую груду подарковъ, были черезъ-чуръ ничтожны въ виду сношеній съ владѣтельными беками, несмотря даже на то, что къ концу экспедиціи мы остались безъ собственныхъ револьверовъ, безъ ружей и тому подобныхъ вещей.

Многіе серьезно возстаютъ противъ „подарковъ", возстаютъ главнымъ образомъ потому, что изъ этого дѣла практика создала цѣлую спекуляцію. Туземецъ „мужикъ" [1]) пріучился къ незаслуженнымъ подачкамъ, къ попрошайству, затруднилъ такъ называемыми „подарками" (силяу) разсчетъ съ нимъ за пріобрѣтаемое отъ него продовольствіе и проч. Мелкій туземный чиновникъ сдѣлался разореніемъ для путешественниковъ, ибо цѣна его ничтожнѣйшихъ услугъ (въ родѣ встрѣчи за версту до города и проч.) должна быть оплачена соотвѣтственно его чину. Традиціонное „восточное гостепріимство" обратилось въ концѣ-концевъ въ „гостиный налогъ" для жителей той страны, куда пожаловали гости. То же гостепріимство первобытно тычется вамъ въ носъ со стороны хозяина: „вотъ какъ тебя угостили, ты долженъ быть доволенъ"... Съ другой стороны, по всѣмъ слухамъ, командировка къ бухарскому эмиру считается равносильной самой богатой денежной наградѣ, такъ что подобнаго „порученія" дожидаются и добиваются какъ вѣрной „поправки"; это сдѣлалось такимъ привычнымъ, „естественнымъ" явленіемъ, что оно превратилось уже

[1]) Наши туркестанцы очень любятъ слово „мужикъ", означающее по-узбекски „бѣднаго", „оборванца", и употребляютъ его вообще въ смыслѣ „простого, сѣраго народа".

въ басню о дойной коровѣ, къ которой стоитъ только подвести теленка, чтобы она дозволила себя доить кому угодно...

Но ташкентское уличное „силяу“ (на чаекъ, милостыню) не тождественно съ „тартыхъ“ (поклонный даръ) коренного туземнаго населенія. Обрядность у жителей Туркестана занимаетъ слишкомъ твердое и видное мѣсто, чтобы игнорировать ее и переводить всюду на простую базарную расплату. Богатый киргизъ не возьметъ пятирублевой бумажки за зарѣзанныхъ для гостя традиціонныхъ барановъ, но съ великимъ удовольствіемъ напялитъ на себя пятирублевый шелковый халатъ. Пріѣздъ почетнаго гостя къ беку сосредоточиваетъ на себѣ все вниманіе жителей со стороны того, каковъ будетъ пріемъ, какими подарками обмѣняется гость съ хозяиномъ. И эти обряды ведутся всегда торжественно, у всѣхъ на виду и т. п. Отвергнуть такія коренныя народныя традиціи довольно мудрено, часто невозможно и во всякомъ случаѣ требуетъ времени. Полагаю, что вся суть въ подобныхъ дѣлахъ, какъ и во всѣхъ, всегда и всюду, заключается въ тактѣ, въ чувствѣ мѣры, въ условіяхъ мѣста и минуты.

Въ данномъ случаѣ на посылку „подарковъ“ афганскимъ бекамъ меня побуждало только соблюденіе внѣшности въ глазахъ народа. Я выставлялъ знамя мира, не имѣя возможности заботиться о томъ, было ли оно выткано изъ парчи или сшито изъ полотна съ кумачнымъ краснымъ крестомъ посрединѣ. Гражданскому правителю я подносилъ часы съ красивенькой эмалью; военноначальнику презентовалъ свой охотничій скорострѣльный карабинъ съ 30 патронами; ихъ правителю канцеляріи или, вѣрнѣе, „бурмистру“ предназначался атласный халатъ.

Мирза написалъ еще письмо отъ себя съ сообщеніемъ о числѣ людей, лошадей и багажа, пришедшихъ со мною. Его письмо пошло въ ночь. На завтра выѣзжалъ Атабай съ моимъ проводникомъ Ходжа-Мамбетомъ.

Инструкція для Атабая была выяснена подробно. Я прошу или пропуска въ Дарвазъ (хотя бы въ сопровожденіи конвоя изъ афганцевъ), или провіанта и подковъ. Во всемъ держаться деликатнаго и твердаго тона. Не врать ни въ чемъ и не болтать зря.

Атабай нарядился щегольски: въ новый суконный бешметъ, новые сапоги, топы (ермолка) и шляпу, да еще на всякій случай захватилъ съ собою шелковый казакинъ. На дорогу я далъ ему достаточно бухарскаго и русскаго банковаго серебра. Безъ всякаго оружія, съ одной нагайкой, выѣхалъ мой „посланникъ,“ на легкѣ съ удалымъ видомъ. Ходжа-Мамбетъ, съ закатанной въ

торока подарочной винтовкой, ѣхалъ съ нимъ въ качествѣ проводника и почетной прислуги.

Я остался безъ переводчика, съ одними собственными скудными знаніями тюркскаго языка для обыденнаго разговора. Остался на высидкѣ, ждать „погоды“ съ афганскаго берега... Это имѣло и свою хорошую сторону, такъ какъ давало возможность отдохнуть и лошадямъ, и людямъ, позволяло мнѣ привести въ надлежащій порядокъ массу накопившагося матеріала. Но въ смыслѣ новыхъ работъ и наблюденій я находился въ самомъ невыгодномъ положеніи. Собираніе этнографическихъ и историческихъ свѣденій находится въ прямой зависимости отъ медленности движенія путешественника и отъ его близости къ жизни населенія. Долгія остановки, тѣсныя сношенія съ жителями, постоянный обмѣнъ мыслей, разспросы въ простой бесѣдѣ и проч., даютъ и обширные матеріалы. Для меня же какъ-разъ все складывалось обратно. Сперва я быстро двигался по пустынѣ, занятый всецѣло географическимъ матеріаломъ. Теперь, имѣя сравнительный досугъ, я запутывался въ сложныя политическія обстоятельства, попадалъ какъ бы подъ арестъ, безъ языка и возможности приглядѣться къ мелочамъ народнаго быта.

Доступный для меня кругъ наблюденій былъ крайне малъ. Пагода, маленькое поле, святая могила, Мирза да толкучка горцевъ у моей палатки, то съ ненужнымъ мнѣ масломъ, то просто съ праздднымъ высматриваньемъ чужого человѣка. Вотъ и все.

Пагода все время (съ половины августа) стояла хорошая, теплая, тихая, какъ-разъ подходящая къ близкой уборкѣ хлѣба. Облачныхъ дней не было, и солнышко припекало во всю силу. Само собою, что это здѣшнее „тепло“ было на нашу, памирскую, мѣрку. Если же я скажу, что въ самое жаркое время года, во время поспѣванія хлѣбовъ, при полной ясности и тишинѣ, наибольшая температура дня (въ тѣни) равнялась только 21,°6R, что ночью она падала до 8°R и что средняя темпер. сутокъ была 14°R, то объясненіе Мирзы, что нынѣшнее лѣто милостивое, и что не всякій годъ вызрѣваетъ пшеница, покажется весьма правдоподобнымъ.

Замѣчательной казалась царствовавшая тишина: легкій вѣтерокъ былъ пріятнымъ исключеніемъ. А въ то же время на ближайшемъ Памирѣ—Наяшиль-кулѣ, напр.—навѣрное дулъ весьма рѣзкій S-й вѣтеръ. Значитъ, памирское теченіе было самостоятельное, верхнее, не связанное съ Гунтомъ, хотя отсюда и вели туда два глубокихъ ущелья. Это, впрочемъ, было понятно уже и

изъ того, что теперь ночью на Памирѣ были морозы въ нѣсколько градусовъ [1]).

Полевое хозяйство Мирзы врядъ-ли захватывало болѣе двухъ-трехъ десятинъ. Но онъ былъ богачъ, владѣлъ гладкими полями, сѣялъ много пшеницы; уродилась она ровная, сильная, густая. Пшеница еще наливалась, но ячмень пополамъ съ горохомъ (это здѣсь обычай) жали. Поля орошаются изъ маленькихъ каналовъ. На огородѣ растетъ только одна брюква. Говорятъ, что пробовали будто бы сажать другіе овощи—вышла неудача. Плодовыхъ деревьевъ здѣсь не знали. Ниже по Гунту появляется яблоня, а въ Барпянжѣ шелковица, и сѣютъ дыни.

Ѣздилъ я и къ святому.

Могила ничѣмъ не отличается отъ общаго типа таджикскихъ мазаровъ. Низенькая хатка съ плоской крышей смазана изъ камня. Деревянная дверь, нѣсколько жердей съ хвостами яковъ, множество роговъ дикаго козла, рядомъ небольшая глухая роща изъ горныхъ тополей, подъ тѣнью которыхъ выбивается родникъ. Роща насаждена самимъ сподвижникомъ въ незапамятныя времена, хотя, судя по толщинѣ стволовъ, она не должна быть особенно стара.

Изъ всѣхъ разнообразныхъ чудесъ, связанныхъ съ именемъ и могилой святого, наиболѣе интересно было неотразимое вліяніе мѣстныхъ условій на характеръ самыхъ легендъ. Горецъ, окруженный со всѣхъ сторонъ камнемъ, не могъ обойти его и въ своихъ вѣрованіяхъ. Великая сила святого человѣка заключалась, между прочимъ, и въ томъ, что онъ, поселившись здѣсь, среди однихъ камней, создалъ бахчи, на которыхъ сѣялъ камни, а родились разные овощи и фрукты. Въ доказательство чуда на могилѣ были собраны разные правильно окатанные валуны и гальки, соотвѣтствовавшіе величиной и формой арбузу, дынѣ, рѣпѣ. По цвѣту они подходили къ плодамъ и для большей наглядности были старательно вымазаны масломъ. Тутъ же находилась и верблюжья ступня, тоже каменная и тоже масленая. Великому чудотворцу камни служили во всѣхъ видахъ...

Сардымъ на лѣв. берегу Гунта состоялъ весь изъ хутора Мирзы въ 2—3 хаты. Я занялся Мирзой. Но наши сношенія были порядкомъ ограничены по части языка: дѣло въ томъ, что и Мирза говорилъ по-тюркски далеко не такъ чисто, чтобы между нами не было частыхъ недоразумѣній и самыхъ смѣшныхъ quiproquo. Поэтому я рѣшилъ составлять лексиконъ шугнанскаго

[1]) По показанію г. Путяты они доходили до 14°С.

нарѣчія [1]), причемъ для безошибочности долженъ былъ примѣнить бывшій у меня немудрый таджикскій словарь. Это было длинно, тяжело, скучно... Мирза быстро изнемогалъ; потребовалось разнообразіе: я поилъ его чаемъ разъ пять въ день, угощалъ шоколадомъ, показывалъ ему картинки, разныя европейскія вещи, разсказывалъ про желѣзную дорогу, телеграфъ и другія диковины.

Времени на это уходило множество, а тутъ еще горецъ одолѣлъ съ разной дрянью, которую ко мнѣ стащили отовсюду: кусокъ поскони, шерстяные чулки, чашку молока, масла, пригоршню шелковицы, лукошко ежевики, старую шкуру козла, рѣпу, полудохлаго барашка, чулки,—ну словомъ, открыли полный базаръ. Но денегъ они не понимаютъ и даже не интересуются ими: давай имъ „товаръ“ или соли, которую сюда привозятъ съ Памира (именно съ небольшого соленаго озера на Аличурѣ). Сами они за солью ѣздить боятся и дожидаются, когда ее привезетъ киргизъ, а киргизъ явится только тогда, когда поспѣетъ хлѣбъ. Какъ-то разъ мои казаки попробовали открыть мѣшокъ съ солью (у насъ тоже была не купленная, памирская) и дать пригоршню одному горцу. Тотчасъ же налетѣла цѣлая стая, начала просить соли, какъ дѣти сахару; наконецъ, десятокъ самовольныхъ рукъ забрался въ мѣшокъ, сталъ хватать, суетиться, нагребать въ полы—едва отбили и спасли половину мѣшка. Соль нужно было спрятать и беречь, какъ драгоцѣнность. Товару, т.-е. подарочныхъ вещей, у меня было очень немного, и я ихъ берегъ. А съ нимъ, какъ съ солью: далъ кому-то аршинъ ситцу, послѣ этого никто денегъ не беретъ совсѣмъ, тащутъ кучу вещей и клянчатъ „товару“, торчатъ по полудню въ дверяхъ моей палатки. Совсѣмъ превратили меня въ „савдагара“ (коробейника).

Во всемъ Шугнанѣ нѣтъ и никогда не было ни одного базара—ни постояннаго ни временнаго; ни лавки, ни лабаза, ни ярмарки. Мирза объяснялъ коротко: базаръ развращаетъ людей, они дѣлаются корыстолюбивы, обманщики. Торговля внутренняя въ Шугнанѣ ведется крайне просто: нужно чего—и спрашиваютъ одинъ у другого, потомъ обмѣняютъ на что нибудь, а то въ долгъ возьмутъ. Народу немного, всѣ другъ друга знаютъ, другъ другу вѣрятъ—дѣло чистое.

Какъ бы то ни было, но бѣдность страны собственными произведеніями и безбазарье ставитъ ее всецѣло въ экономическую зависимость отъ богатыхъ сосѣдей—прежде всего, конечно, отъ бли-

[1]) О немъ я скажу нѣсколько словъ ниже.

жайшаго Бадахшана, а затѣмъ уже отъ Кашгара и Кокана. Не говоря уже о мануфактурныхъ товарахъ, шугнанецъ не всегда бываетъ обезпеченъ даже и хлѣбомъ и въ неурожайные годы получаетъ его изъ Бадахшана. Торговля, конечно, самая убогая, ведущаяся исключительно караванами, проходящими Шугнаномъ по пути въ Бадахшанъ или обратно. Кромѣ того, мелкій офеня на одной, много на парѣ лошадей, завозитъ свой полугнилой товаръ въ селенія, торгуя съ огромнымъ барышемъ въ обмѣнъ на сырье или скотину.

VI.

Пока я безтолково коротали свое полунѣмое сидѣнье между лексикономъ и базарчикомъ, тѣмъ временемъ посолъ мой подвигался къ столицѣ Шугнана. Долина Гунта ниже Сардыма едва ли дѣлаетъ значительныя уклоненія отъ общаго своего направленія на западъ. Какъ долина горнаго типа, она имѣетъ многочисленные изгибы, но мелкіе, и представляетъ рядъ съуженій и расширеній, гдѣ при устьяхъ боковыхъ ущелій и ютятся поселки, пользующіеся ихъ ручьями для полевого орошенія. Скалы часто надвигаются къ рѣкѣ и заставляютъ дорогу обходить ихъ, подниматься на небольшіе скалистые перевалы или перебираться на другую сторону рѣки. Въ общемъ дорога мало отличается отъ той, которую мы видѣли на Гунтѣ ранѣе: она все время камениста, тянется тропой, часто переходитъ по осыпямъ и галечнымъ выносамъ.

Селенія раскиданы довольно рѣдко, бѣдно, но по мѣрѣ приближенія къ р. Пянжу, они группируются въ нѣсколько значительныхъ по-здѣшнему кишлаковъ. Много мѣстностей видимо разоренныхъ, заброшеныхъ, часто селеніе имѣетъ видъ простого хутора въ нѣсколько хатъ. Мелкія горныя мельницы встрѣчаются весьма часто. Мостовъ мало. Тамъ и тутъ растетъ нѣсколько яблонь. Попадаются тугаи.

Дорога сперва идетъ лѣв. берегомъ Гунта, верстъ 16 совсѣмъ пустыремъ до с. Чарпанъ (30 домовъ). Отсюда, вдоль небольшихъ поселковъ до группы кишлаковъ на правомъ бер. рѣки, носящихъ общее названіе „Гунтъ“ (60 д.), переѣздъ въ бродъ черезъ три рукава рѣки. Вскорѣ (в. черезъ 3—4) дорога снова перебирается на лѣв. сторону уже черезъ мостъ подъ с. Ривакъ (30 д.), чтобы верстъ черезъ 20 новымъ мостомъ перейти опять на правую къ укр. Сучанъ. На этомъ переходѣ, примѣрно на

половинѣ, есть мостъ черезъ значительное лѣвое ущелье Кара-дара, оберегаемый тремя „обстрѣливающими башнями“ (топъ-хана).

Отъ Сучана до Барпянжа верстъ 30 съ небольшимъ. На этомъ разстояніи двѣ группы селеній—Сучанская (40 д.) и Чинская (35 д.), послѣдняя въ углу между прав. берегами Гунта и Пянжа. На половинѣ пути есть еще „топханы“ (Бузыръ и Сазанъ-булакъ). Онѣ, какъ и первыя, суть остатокъ прежняго военнаго времени и теперь, только при исключительныхъ условіяхъ, служатъ сторожевыми вышками. Лѣвый берегъ между Сучанемъ и Шахдарой, повидимому, вовсе не населенъ и малодоступенъ.

Сосчитывая примѣрное число домовъ вдоль р. Гунта и полагая въ среднемъ довольно хорошую цыфру въ 7—8 душъ на одинъ домъ, населеніе долины въ 200 домовъ получается въ $1^1/_2$ тыс. душъ. Въ Барпянжѣ съ близлежащими поселками можно положить ровно столько-же. Если руководиться среднимъ разсчетомъ домовъ на одно селеніе, то для Шахдары будемъ имѣть менѣе тысячи душъ. Считая же съ излишкомъ, для всего Шугнана получимъ 13.000 челов. [1]); для Рошана 9000 челов. [2]). Значитъ, набрасывая еще на просчетъ отъ 3 до 8 тыс. душъ, въ Шугнано-рошанскихъ владѣніяхъ будетъ не болѣе 25—30.000 чел. Это число какъ разъ соотвѣтствуетъ населенію одного Нижнетагильскаго завода (29.000 чел.) въ Демидовской дачѣ, съ поверхностью которой мы сравнивали ранѣе пространство владѣній Шугнанскаго хана.

Въ этомъ состояло все „царство“ Юсуфъ-Али-хана, сверженнаго съ „престола“ одновременно съ вступленіемъ нашей экспедиціи на Памиръ.

По скольку можно было выяснить печальную исторію Юсуфа-Али, она заключалась въ слѣдующемъ.

Унаслѣдовавши послѣ отца Шугнанское ханство, Юсуфъ-Али сохранилъ и старинныя традиціи въ своихъ отношеніяхъ къ Бадахшану: соблюдая внѣшнее почтеніе и восточные комплименты, онъ старался держать себя самостоятельно; то кокетливо именовался „меньшимъ братомъ“ и посылалъ „подарки“, которыя въ Бадахшанѣ выдавались за „подать“, то совсѣмъ забывалъ о „старшемъ братѣ“, оттовариваясь пустыми фразами, бѣдностью и т. п.

Смотря по настроенію политической биржи, находившейся въ

[1]) Гунтъ съ Барпянжемъ 5000 душъ, Шахдара 4000, вдоль р. Пянжа до Рошанской границы въ 11 селеніяхъ 4000 душъ.

[2]) Полагая въ Рошанѣ на Мургабѣ 20 сел. по 200 чел.—4000 чел.; Калаи-Вамаръ (столица)—1000 чел.; до бухарской границы 4000 чел.

рукахъ такихъ „медвѣдей“, какъ Кундузъ, Бухара, Коканъ и Кашгаръ, горская мелочь—„зайцы“ (Каратегинъ, Дарвазъ, Шугнанъ и Ваханъ)—пользовались своимъ трудно-доступнымъ и промежуточнымъ положеніемъ и играли съ перемѣннымъ успѣхомъ на повышеніе и пониженіе тѣхъ или другихъ фондовъ. Это была та запутанная интрига чисто восточнаго мусульманскаго типа, въ которой разобраться было крайне мудрено. Даже при открытыхъ военныхъ дѣйствіяхъ нельзя было вполнѣ положиться на искренность обѣщаній. Коварство въ разныхъ видахъ—обманы, измѣны, заманиванія, засады и т. п. — изворачивались на всѣ манеры; то было недоразумѣніе, то непослушаніе жителей, слабость и проч. Словомъ, „зайцы играли“ въ мелкую, уловить ихъ было трудно, закупить еще труднѣе, ибо здѣсь дѣйствовала конкурренція, а въ то же время партизанское положеніе, занимаемое ими, имѣло весьма серьезную цѣну въ глазахъ крупныхъ бойцовъ, политика которыхъ держалась почти всегда той же почвы азіятской интриги: для нихъ пограничная мелочь являлась и „языкомъ“, и подмогой, и ширмой. Горскіе владѣтели понимали все это отлично, да и старинная практика не допускала сомнѣній.

Шугнанъ естественно тяготѣлъ болѣе всего къ ближайшему сосѣду, Бадахшану, какъ бѣдный къ богатому, какъ привратникъ у важныхъ воротъ Памира. Но эта же самая бѣдность и припамирское положеніе придавали Шугнану и самостоятельность. Привычный къ суровой замкнутой жизни, горскій народъ могъ подолгу при случаѣ обходиться своими средствами, а затворяя или открывая восточный проходъ, онъ уже являлся силой.

Самъ Бадахшанъ повторялъ лишь въ большемъ масштабѣ ту же исторію по отношенію къ Кундузу и Бухарѣ (и даже къ Кашгару), заигрывая то съ однимъ, то съ другою и подавая собою отличный примѣръ маленькимъ горнымъ провинціямъ [1]).

[1]) Такъ въ 1852 г. сынъ афганскаго эмира Дость-Магомета, Афзалъ-ханъ (отецъ теперешняго Абдурахмана) воюетъ съ Бадахшаномъ и принуждаетъ владѣтеля его Джандархана выплачивать контрибуцію деньгами и драгоцѣнными камнями. Но стоило въ Афганистанѣ произойти по смерти Дость-Магомета 1863 г. затрудненіямъ, и Бадахшанъ уже заигрываетъ съ Бухарой, а затѣмъ пользуется междуусобицей (Афзалъ-хана съ братомъ Ширъ-Али), чтобы не считать прежнія обязательства дѣйствительными. Возвративъ себѣ престолъ (1868 г.), Ширъ-Али посылаетъ посольство въ Бадахшанъ съ требованіемъ исполненія трактатовъ, но получаетъ отказъ Джандаръ-хана. Афганскій Эмиръ прибѣгаетъ къ интригѣ, входитъ въ сдѣлку съ племянникомъ Джандара Махмутомъ, который устраиваетъ дворцовую революцію и затѣмъ, при помощи афганскихъ войскъ, захватываетъ Файзабадъ, въ то же время какъ братъ его занимаетъ Чіабъ. Эта-то поддержка бунтовщиковъ и ставитъ ихъ въ зависимость отъ Афганистана.

И что послѣднія умѣли пользоваться своимъ положеніемъ, лучше всего доказываютъ недавнія событія. Припомнимъ, что Каратегинъ и Дарвазъ окончательно подчинились Бухарскому эмиру совсѣмъ недавно и исключительно благодаря вліянію Россіи. Припомнимъ, что уже въ началѣ 70-хъ годовъ свергнутый съ престола владѣтель Бадахшана, Джандаръ-ханъ, послѣ скитаній въ Бухарѣ, укрывается въ Шугнанѣ. Понятно, что новый бадахшанскій ханъ, захватившій правленіе (Махмутъ), не дозволилъ бы этого ни подъ какимъ видимъ, еслибы Шугнанъ считался простой провинціей Бадахшана.

Самостоятельность Шугнана признавалась въ то время и англичанами, какъ это ясно видно изъ дипломатическихъ переговоровъ графа Гренвиля съ княземъ Горчаковымъ въ 1872 г. и изъ объяснительной карты къ установленной въ январѣ 1873 г. границѣ Бадахшана и Вахана [1]).

По смерти Ширъ-Али, съ появленіемъ въ афганскомъ туркестанѣ новаго кандидата на кабульскій престолъ Абдурахманъ-хана, Бадахшанъ первый призналъ его верховныя права, тогда какъ маленькій Шугнанъ видимо игнорировалъ восходъ новой звѣзды на политическомъ небосклонѣ Средней Азіи. Абдурахманъ, близко знакомый со всѣми подробностями мѣстныхъ условій и событій, говорятъ, тогда же подчеркнулъ поведеніе Юсуфа-Али. Безъ сомнѣнія, инструкціи, выданныя имъ Кундузскому губернатору (Мулла-джану), довольно ясно указывали на непокорнаго Юсуфа и рекомендовали строгое за нимъ наблюденіе.

Понималъ ли Юсуфъ-Али новое положеніе вещей, наступившее съ воцареніемъ Абдурахмана, — трудно сказать. Человѣкъ онъ, видимо, былъ недюжинный, умный, искусившійся въ политикѣ. Но въ то же время въ характерѣ его было двѣ черты, губившія его: заносчивость и алчность. Первая ослѣпляла его въ дѣлахъ внѣшней политики, вторая подрывала его авторитетъ среди подданныхъ и лишала всякой внутренней опоры. Появленіе сперва въ пограничныхъ бухарскихъ бекствахъ, а затѣмъ и въ самомъ Шугнанѣ русскаго чиновника, какъ кажется, давало ему широкія надежды на поддержку Россіи и Бухары. Съ Регелемъ онъ обращался крайне любезно, истолковывая по своему невинныя ботаническія занятія доктора, казавшіяся ему лишь дипломатической прикрышкой тайныхъ политическихъ цѣлей. На его взглядъ гербаризированіе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ была вещь совершенно непонятная. Мѣстная наука была проще: дешевое „сѣно"

[1]) О Шугнанѣ тогда и не упоминалось даже.

заинтересовать ее не могло, она требовала болѣе осязательныхъ и „дорогихъ“ результатовъ.

Алчность Юсуфа-Али всюду изыскивала средства наживы. Собиралъ ли онъ ежегодный оброкъ въ пользу „казны“, разбиралъ ли судебное дѣло, взыскивалъ ли натуральную повинность,—всегда чашка вѣсовъ показывала чувствительный „походъ“ въ сторону хана; объявлялъ ли онъ внѣшній налогъ на уплату вассальной подати, подарковъ,—всякій разъ народъ узнавалъ, что добрая доля оставалась въ рукахъ хана и продавалась имъ въ свою пользу; взыскивалъ ли онъ экстренные расходы въ родѣ „русской подати“ (по случаю пріѣзда Регеля),—опять народъ легко видѣлъ, что это былъ только новый предлогъ для тяжелаго обложенія. Подозрительность горскаго населенія увеличивалась еще разностью религіозныхъ толковъ. Юсуфъ-Али, какъ магометанинъ, смотрѣлъ на шіитовъ не иначе какъ на еретиковъ, какъ на людей безправныхъ, заслуживающихъ наказанія за упорство. Это обостряло отношенія, преувеличивало многое, вызывало раздраженіе съ обѣихъ сторонъ. Съ давнихъ поръ среди сунитовъ шіитъ трактовался невѣрнымъ и обращался въ раба. Въ число контрибуціи, податей и подарковъ, посылавшихся младшими старшимъ, непремѣнно входили рабы и рабыни, сдѣлавшіеся даже единицей цѣны при назначеніи куша. Ихъ можно было замѣнить опредѣленной суммой денегъ, лошадей, скота и т. п. Наборъ рабовъ и рабынь обыкновенно совершался внутри страны изъ опальныхъ, навлекшихъ на себя гнѣвъ хана. Этими рабами онъ при случаѣ откупался отъ сильныхъ сосѣдей—преимущественно афганцевъ, иногда же продавалъ ихъ на базарахъ въ свою пользу. До чего доила алчность Юсуфа-Али, показываетъ слѣдующій разсказъ жителей: ханъ раздавалъ всю свою скотину по разнымъ рукамъ на прокормъ и чрезъ извѣстный промежутокъ времени требовалъ ея возврата не только въ цѣлости, но еще съ опредѣленнымъ приплодомъ; такимъ образомъ, скотъ хана являлся какъ бы безсмертнымъ и плодился чуть ли не по той ариѳметикѣ, которая предлагается иногда дѣтямъ въ видѣ курьеза для практики въ умноженіи, съ поразительнымъ результатомъ, получающимся отъ начальной единицы производительницы. Такая система въ особенности явилась разорительной при нѣсколькихъ падежахъ на скотъ...

И когда настали трудные дни для Юсуфа-Али, онъ остался одинъ. Народъ не дрогнулъ, отдавая своего хана, и отнесся къ его исторіи на половину безучастно, на половину даже съ злорадствомъ. Ханъ воистину пожиналъ то, что посѣялъ.

Самый фактъ разсказывался такимъ образомъ.

Бадахшанскій миръ [1]) получилъ приказаніе вызвать ваханскаго и шугнанскаго правителей въ Файзабадъ. Юсуфъ-Али понялъ свой конецъ и сталъ отказываться. Повторилась старая система чисто азіатскаго пошиба: дѣйствовать прямо афганцы боялись и прибѣгли къ интригѣ. Они окружили Юсуфа тайнымъ надзоромъ и повели длинные дипломатическіе переговоры. Ханъ затѣялъ-было бѣжать въ Россію и, говорятъ, даже отправилъ свою семью въ Рошанъ, но его отговорили подвергать себя такому риску. Главнымъ дѣятелемъ этой исторіи явился Парихватъ или Парихша—вліятельный въ Шугнанѣ ишанъ (протопопъ), съ которымъ афганцы вступили въ секретныя сношенія, воспользовавшись тѣмъ, что Ишанъ былъ когда-то обиженъ Юсуфомъ-Али. Ишанъ, получившій богатыя обѣщанія отъ афганцевъ, успѣлъ образовать вокругъ себя вліятельную партію и съ помощью ея убѣдить хана, что ему ничего не остается, какъ только ѣхать въ Бадахшанъ, и что вызывается онъ туда для простыхъ дѣловыхъ переговоровъ, послѣ которыхъ онъ снова возвратится въ Шугнанъ. Юсуфъ-Али поѣхалъ [2]).

На первомъ же пріемѣ политика дала себя знать. Сравнительно съ ваханскимъ правителемъ Али-Мурданомъ шугнанскій ханъ былъ наглядно униженъ. Гордый Юсуфъ-Али не растерялся, и варьянты о его представленіи составили наиболѣе интересную страницу въ извѣстныхъ разсказахъ объ этомъ событіи.

Ханъ подошелъ къ Бадахшанскому миру и, снявъ съ себя свою золотую шапку и пышную кисейную салля, положилъ ихъ передъ нимъ на коверъ.

— Я весь въ твоихъ рукахъ и готовъ на все, — произнесъ онъ, играя цвѣтами персидскаго краснорѣчія: если ты хочешь убить меня—вотъ моя сабля, убей меня ею. Вотъ моя салля—похорони меня въ ней какъ истиннаго мусульманина и природнаго хана.

Но для афганцевъ дѣло было не въ этой напыщенности. Главнаго результата они достигли—Юсуфъ-Али былъ въ ихъ рукахъ, остальное было дѣло времени и шпіонства. Юсуфа они задержали, предъявивъ ему рядъ вопросъ, требовавшихъ разъясненія: 1) когда-то въ его владѣніяхъ были убиты три или четыре афганца; 2) онъ не оказалъ должнаго почета Абдурахману; 3) уклонялся отъ уплаты вассальной подати; 4) обращался жестоко и несправедливо съ населеніемъ; 5) держалъ у себя русскаго доктора и явно пред-

[1]) Миръ—сокращенное Эмиръ.

[2]) По народнымъ свѣденіямъ отъѣздъ совпадаетъ съ 1-мъ іюня 1881 г.

почиталъ его афганскому агенту; 6) позволилъ доктору посѣтить бадахшанскія рубиновыя копи [1]).

Юсуфъ-Али съ испытанной азіатской ловкостью парировалъ всѣ эти въ сущности ничтожныя обвиненія. Но та же опытность подсказывала ему, что участь его рѣшена, и онъ не выдержалъ: послалъ тайное письмо къ сыну Кувать-хану, убѣждая его забрать всѣ ханскія сокровища, семейство и бѣжать къ русскимъ.

Письмо перехватили.

Положеніе дѣлъ въ Файзабадѣ не могло быть тайно для Кувать-хана и ранѣе. По первымъ же слухамъ изъ Бадахшана о пріемѣ отца онъ рѣшилъ бѣжать сперва въ Дарвазъ, а потомъ на Памиръ, и дошелъ до Аличурскаго Яшиль-куля. Афганцы, узнавъ объ этомъ, хитростью воротили его, обѣщая назначить его наслѣдникомъ отца, если онъ вернется. Кувать-ханъ поддался коварному соблазну и попалъ подъ арестъ.

Тогда Юсуфу-Али предъявили перехваченное письмо. Теперь уже обвиненія были не голословны, а основывались на неопровержимомъ документѣ. Онъ уговаривалъ сына передаться русскимъ, вывезти туда всѣ сокровища! Значитъ, не даромъ онъ велъ дружбу съ русскимъ докторомъ. Онъ замышлялъ измѣну...

Юсуфъ-Али-хана объявили формальнымъ арестантомъ и заковали въ цѣпи.

Временно управленіе дѣлами Шугнана осталось въ рукахъ правителя Шахдары (Миръ-хасана), назначеніе котораго ханомъ и ожидалось было жителями послѣ того, какъ взяли Кувать-хана. Но вскорѣ въ Барпянъ прибыли афганцы, и управленіе перешло въ ихъ руки.

VII.

Судьба здѣшняго города, его исторія—вещи для насъ совершенно темныя. Онѣ скорѣе угадываются, чувствуются, чѣмъ основываются на какихъ-нибудь опредѣленныхъ данныхъ, пріуроченныхъ къ историческимъ показаніямъ. Волны исторіи катились

[1]) Исторія этихъ копей заключается въ слѣдующемъ. Прежде онѣ всецѣло принадлежали Шугнану и славились своими камнями (кажется, рубиновая шпинель) на весь міръ. Естественно, что онѣ же представляли и соблазнъ для сосѣдей, старавшихся завладѣть ими въ свои руки... Лучшими подарками хана были его рубины. Они же сдѣлались впослѣдствіи предметомъ контрибуціи. Позднѣе давленіе Бадахшана выразилось въ сборѣ извѣстнаго процента съ добычи копей, такъ что шугнанскому хану предоставлялось лишь нарядать на копи своихъ рабочихъ. Наконецъ, копи отошли всецѣло къ Бадахшану, хотя кажется уже въ то время, когда были окончательно истощены хищническими пріемами разработки.

не здѣсь, на самой границѣ исполинской выси, а ниже — въ Балхѣ и Кундузѣ, въ Кашгарѣ и Хотанѣ, въ Самаркандѣ и Ферганѣ, по ту сторону Гиндукуша... Тамъ, среди богатства природы и населенія, разыгрывались шумныя событія, которыя такъ или иначе могли попасть въ лѣтописи китайскихъ, греческихъ или арабскихъ историковъ. Къ Памиру волна добѣгала позже, вскидывалась около непріютной выси, обдавала голый гранитъ своими брызгами, что-то смывала, что-то уносила,—но на это никто не обращалъ вниманія, какъ на тотъ бурунъ, который бьется объ отвѣсную скалу дикаго, никѣмъ не посѣщаемаго берега. Прибой этотъ знаетъ только та мелкая птица, та чайка, что гнѣздится по трещинамъ скалъ. Корабли далеко проходятъ мимо, спѣша къ богатымъ пристанямъ благодатныхъ береговъ и рѣдко взглядывая въ смутную даль, гдѣ стоятъ нехорошія скалы. Какое имъ дѣло до этой мелкой жизни, загнанной на выступы камня, въ разсѣлину горы? Они знаютъ, что и туда проберется охотникъ и промышленникъ, выберетъ изъ гнѣздъ что нужно, добудетъ пугливую птицу и принесетъ свою добычу къ нимъ же на шумные базары; они оцѣнятъ, узнаютъ, что это „издалека“, „со скалистыхъ береговъ“, купятъ задешево и пустятъ въ оборотъ заведеннымъ порядкомъ... Кому же придетъ въ голову изучать ту малую, бѣдную жизнь, которая складываетъ „исторію“ чайки? Кому интересенъ переполохъ, борьба, крики, драмы и новыя заботы, внесенныя въ это убогое царство щелей появленіемъ хищнаго человѣка? Такой разсказъ можетъ только заинтриговать кого-нибудь въ частной бесѣдѣ, въ минуту досуга курьезами охотничьихъ похожденій и богатыми результатами мелкой добычи.

Несмотря на то, малая жизнь идетъ, дышетъ, бьется и, какъ она ни мала, дѣлаетъ „исторію“. Она сгубила не одного смѣльчака промышленника, сбросивъ его со скалы, засыпавъ обваломъ, утопивши въ пучинѣ, обойдя лѣшимъ... Она не оставила и живыхъ: наложила на нихъ свою печать—увела отъ мирнаго очага, одичила, заставила многое забыть и усвоить новое, заставила, наконецъ, полюбить эту новую жизнь...

Какія бури и грозы, какіе потоки крови угнали сюда, въ тѣсныя ущелья припамирскихъ странъ, то населеніе, которое мы встрѣчаемъ здѣсь въ настоящее время? Ничего мы не знаемъ. Но вглядываясь въ этихъ людей, знакомясь съ ихъ міровоззрѣніемъ, характеромъ, бытомъ, съ ихъ культурой, мы встрѣчаемъ такъ много своеобразнаго, глубоко-любопытнаго, наконецъ, симпатичнаго,—что мелкая „чайка“ невольно пріобрѣтаетъ въ нашихъ глазахъ другую цѣну, совсѣмъ новое освѣщеніе.

Уже одно то, что припамирскій горецъ таджикъ, аріецъ, останавливаетъ на себѣ вниманіе. Въ Средней Азіи таджиковъ много, но такихъ, какъ шугнанецъ, очень мало. Знакомые намъ туркестанскіе таджики такъ давно ассимилировались съ другими народностями, приняли столько общихъ характерныхъ чертъ культурной мусульманской полосы, что мы не всегда можемъ выдѣлить ихъ изъ общей массы, изъ того общаго, хорошо намъ знакомаго типа, который я условно называю „туркестанскимъ". Туркестанецъ поглощаетъ въ себѣ одинаково и таджика, и узбека, и персіянина, и киргиза. Въ центрахъ культурныхъ оазисовъ Туркестана мы имѣемъ крайне однообразный, средній типъ населенія. Здѣсь все сливается, нивелируется, теряетъ свои индивидуальныя черты, затираетъ народности, языкъ и вырабатываетъ ту среднюю господствующую величину, которая называется „сартъ". Каково историческое происхожденіе этого слова, каково его филологическое значеніе—для насъ не важно. Бытовой современный смыслъ его очень опредѣленный: это именно тотъ средній типъ туркестанца—торговца, промышленника и земледѣльца, котораго мы видимъ въ Бухарѣ, въ Балхѣ, въ Ташкентѣ, въ Маргеланѣ, въ Кашгарѣ и т. д. и который даетъ всему свой тонъ, является заправилой мѣстной жизни. Безспорно, что на сторонѣ таджика вся сила славной исторіи Туркестана, который культивированъ и спасенъ, только благодаря ему, мирному земледѣльцу, садоводу и промышленнику. Безспорно, что и теперь въ Туркестанѣ мы встрѣтимъ такіе районы, въ которыхъ будетъ преобладать таджикъ или узбекъ; мы разглядимъ ихъ отличительныя свойства, подмѣтимъ ту или другую особенность. Но, отойдя отъ нихъ, мы все-таки унесемъ въ своемъ представленіи ихъ общій портретъ; такъ много уже встрѣтится въ нихъ нераздѣлимаго, сходнаго, такая тяжелая печать наложена на нихъ однообразіемъ мусульманства и другихъ жизненныхъ условій.

Не таковъ горецъ. Если мы, принявъ центромъ Памиръ, очертимъ нѣсколько концентрическихъ окружностей, то довольно легко представимъ себѣ приблизительную этнографическую схему Туркестана. Первый центральный кругъ прійдется на пустынное степное плато Памира [1]). Слѣдующее очень тѣсное кольцо займетъ наплывъ таджикъ горецъ [2]). Далѣе, широкое и самое богатое

[1]) Оно занято очень бѣднымъ кочевникомъ киргизомъ, котораго врядъ ли хватитъ по 2 человѣка на 1 кв. г. милю поверхности.

[2]) Едва ли нужно оговариваться, что приведенная схема во многихъ подробностяхъ не удовлетворитъ той простотѣ, въ которой я беру ее. Такъ кольцо горцевъ окажется во многихъ мѣстахъ прорваннымъ и т. п.

пространство будетъ занято „туркестанцемъ“ или сартомъ. Внутренняя часть этого пространства будетъ густо закрашена таджикской краской, но по мѣрѣ приближенія къ внѣшней окружности, сила ея будетъ постепенно ослабѣвать, пока не сольется съ другимъ широкимъ тономъ огромнаго внѣшняго кольца монгольскихъ народностей—киргизовъ, казаковъ, туркменовъ и т. п., создающихъ царство кочевья [1]).

Такимъ образомъ, таджикъ горецъ является какъ бы припертымъ къ Памирской выси, загнаннымъ до предѣла, ибо за его бѣднѣйшими поселеніями уже „нѣтъ ничего“—одна „крыша міра“. Понятно, что добровольно уйти туда едвали бы онъ рѣшился. Онъ уступилъ какой-то силѣ, какой-то злой судьбѣ, сладить съ которой силъ не хватало, покориться—душа не вытерпѣла. Соблюдая эту душу, завѣты отцовъ, все, что принесено имъ, быть можетъ, изъ далекой свободной страны, горецъ и забрался сюда, въ непривѣтныя, дикія горы, которыя своей труднодоступностью обезпечивали ему дорогую для него свободу совѣсти, сохраненіе его бытового строя. Сюда принесъ онъ свою религію (шіитскій толкъ), сюда привелъ незакутанную женщину, здѣсь сталъ пѣть свои душевныя пѣсни, продолжалъ говорить на своеобразномъ нарѣчіи.

Другіе его братья таджики, оставшіеся въ богатыхъ долинахъ, поступились прежде всего своей религіей и перешли въ лагерь правовѣрныхъ магометанъ (суни). Этотъ переходъ сейчасъ же потребовалъ отъ нихъ созданія гарема, затворничества женщины, измѣненія всего строя семейной жизни. Онъ же подчинилъ ихъ однообразной регламентаціи шаріата во многихъ другихъ отношеніяхъ. Мало-по-малу таджикъ сталъ вводить въ свой лексиконъ чуждыя ему слова, усвоивать чуждые обычаи, культуру... Если мы прослѣдимъ таджика отъ центра къ периферіи, отъ границы Памира чрезъ Дарвазъ, Каратегинъ до Бухары,—для насъ съ необыкновенной наглядностью представится постепенность этнографическаго перехода.

Въ Шугнанѣ мы встрѣтимъ наиболѣе сохранившагося представителя расы. Правда, онъ достаточно дикъ и наивенъ сравнительно съ жителемъ долины, но въ этомъ „дикарѣ“ живетъ очень много своего, стародавняго, чистаго. Онъ хранитъ съ неподдѣльной ревностью эту чистоту, эту самобытность и не хочетъ поступиться ничѣмъ. Проходя Дарвазомъ, мы почти не замѣтимъ пере-

[1]) Понятно, что схема эта не распространяется за Гиндукушъ, гдѣ этнографическія условія уже иного рода.

хода, хотя здѣсь горецъ таджикъ уже суни, о чемъ свидѣтельствуютъ его многочисленныя мечети. Но весь складъ жизни и міровоззрѣнія остаются тѣ же. Мусульманство, закрывающее женщину отъ посторонняго глаза, достигло въ этомъ отношеніи здѣсь только одного: женщина набрасываетъ себѣ на лицо бѣлый или шелковый вуаль, когда она ѣдетъ дорогой, слѣдуя чужими мѣстами. Но у себя дома, въ своемъ селеніи и городѣ она не знаетъ занавѣсокъ [1]). Въ Каратегинѣ мечети являются въ подавляющемъ числѣ. Но эти же мечети отводятся проѣзжающимъ гостямъ (напр., русскимъ) подъ постой, какъ лучшія и свободныя помѣщенія. Таджикъ здѣсь преобладаетъ и совершенно давитъ рѣдкаго киргиза, который исчезаетъ въ арійской расѣ. Многое еще напоминаетъ Дарвазъ, однако, уже чувствуется всюду вліяніе запада, вліяніе „туркестанскаго“ режима. Съ движеніемъ къ этому западу въ жизни таджика все болѣе и болѣе сказывается сартъ. Въ его пріемахъ, обычаяхъ, обстановкѣ и проч. мы уже не встрѣтимъ ничего для насъ, знакомыхъ съ Туркестаномъ, новаго особеннаго, оригинальнаго.

Портретъ коренного горца рѣзко измѣняется, смотря потому, возьмемъ ли мы молодого или вполнѣ возмужалаго человѣка. Молодое лицо, съ первыми зачатками бороды, смотритъ правильнымъ, кроткимъ, открытымъ, смѣлымъ и довѣрчивымъ. Этому въ особенности помогаетъ преобладающій темно-русый цвѣтъ волосъ. Лишь нѣсколько глубоко поставленныя глаза подъ сильной бровью да часто низковатый лобъ производятъ впечатлѣніе нѣкоторой дичливости. Когда же мужчина вполнѣ обростетъ бородой, волосатость совершенно измѣняетъ выраженіе лица. Густыя нависшія брови дѣлаютъ взглядъ изъ подлобья. Сильно опушенныя рѣсницами глаза, поставленныя въ глубокихъ орбитахъ, кажутся совсѣмъ черными, сурово сверкающими изъ-подъ навѣсовъ сердитыхъ бровей. Густая борода захватываетъ почти всѣ щеки, доходя до скулы, а на подбородкѣ, упираясь въ самую нижнюю губу. Что-то черезъ чуръ строгое, непривѣтливое, дикое, даже звѣрское или разбойничье кажется въ этомъ лицѣ съ перваго взгляда. Прибавимъ къ этому темный цвѣтъ загара, крупныя, глубокія морщины, рваное, заплатанное суконное платье, отсутствіе какихъ-либо искусственныхъ яркихъ красокъ въ одеждѣ, самодѣльныя чувяки, сильное сложеніе, увѣренную, нѣсколько тяжеловатую походку и грубую-

[1]) Извѣстно, что въ центральномъ, сартовскомъ Туркестанѣ женщина обязана появляться на улицѣ непремѣнно чучелой въ безобразномъ халатѣ, надѣтомъ на голову (паранджѣ) и въ черной сѣткѣ на лицѣ (чимматѣ).

грубую рабочую руку,—и передъ нами представится истинный припамирскій горецъ, вполнѣ отвѣчающій дикимъ, суровымъ и бѣднымъ горамъ, среди которыхъ онъ поселился.

Но не поддавайтесь первому впечатлѣнію, не избѣгайте близости съ этимъ дикаремъ и вглядитесь пристальнѣе, тоньше въ его непривѣтливые глаза, въ его пріемы, въ игру лица, прислушайтесь къ его голосу и рѣчи. Мирный пастухъ и земледѣлецъ, мирный хозяинъ хаты, добродушный житель, наивное дитя горъ, станетъ проясняться передъ вами. Крайне легко подмѣтить въ немъ всѣ его основныя черты характера, свойственныя смѣлому, выносливому и трудолюбивому горцу и преслѣдуемому, разоренному еретику.

Было бы излишне, конечно, распространяться о томъ значеніи, какое оказываютъ высокія горы на весь складъ человѣческой жизни, пріютившійся среди нихъ. Это слишкомъ общеизвѣстно, такъ же какъ и значеніе моря, значеніе степи, обширнаго плато съ мирными долинами. Могучія горы, и въ ихъ пейзажѣ, и во всѣхъ основныхъ свойствахъ ихъ „горной“ природы, представляя цѣльный типъ, наложили свою „горную“ печать и на ихъ коренного обитателя. И въ Альпахъ, и на Кавказѣ, и на склонахъ далекаго Памира мы встрѣтимся съ тѣмъ интереснымъ общимъ отпечаткомъ того оригинальнаго типа, который такъ характерно опредѣляется словомъ „горецъ“. Смѣлый, выносливый, незнающій роскоши, страстно привязанный къ своимъ горамъ охотникъ, суевѣрный обожатель грандіозной природы высокихъ горъ, искренній поэтъ,—горецъ прежде всего дышетъ независимостью, увѣренностью въ самомъ себѣ; онъ черезъ-чуръ ревнивъ ко всему своему, родному, нажитому въ уединенныхъ, дикихъ, но прелестныхъ и дорогихъ горахъ... Но не надо забывать, что мы говоримъ о горцѣ таджикѣ, принесшемъ къ Памиру прочную культуру земледѣльца, что́ кореннымъ образомъ отличаетъ его отъ горнаго киргиза кочевника. Основную черту натуры горскаго таджика составляетъ необыкновенная любовь къ осѣдлости, къ землѣ, къ хозяйству, къ семьѣ. Добрый семьянинъ, мирный пастухъ и земледѣлецъ, онъ въ своихъ мелкихъ горныхъ гнѣздахъ является невольнымъ хранителемъ патріархальныхъ традицій и обычаевъ. То и другое выработало въ немъ крайнюю простоту жизни, тѣ идиллическія черты, которыя не разъ увлекающіеся поэты силились облечь въ идеальныя краски полной непорочности сердца, чудной природной наивности „пастушковъ и пастушекъ“, противупоставлявшихся тонкимъ пикантностямъ извращенной цивилизаціи. Безспорно, что сантиментальные поэты пастушеской идил-

ли крѣпко зажмуривались передъ дѣйствительностью, рисуя нѣжныя ручки пастушковъ и чесаную волну ихъ овечекъ,—но простота, невычурность жизни были ими почувствованы во всей силѣ, точно такъ же какъ и истинно поэтическая черта въ характерѣ природнаго горца.

Къ сожалѣнію, жизнь нашихъ припамирскихъ „пастушковъ“ текла не въ тѣхъ счастливыхъ берегахъ, въ которыхъ она проносилась въ фантастическихъ поэмахъ чувствительныхъ поэтовъ. Таджикъ вынесъ громадную тяжесть всевозможныхъ притѣсненій, разоренья и несправедливостей. Чтобы среди бурнаго азіатскаго океана дикихъ народностей уберечь себя и свои горныя гнѣзда, онъ долженъ былъ выдержать страшную, кровавую вѣковую борьбу съ сильными врагами, пойти на множество компромиссовъ съ тысячами угнетателей. Въ немъ развилось непримиримое озлобленіе къ притѣснителямъ, онъ еще крѣпче сплотился съ своими одногорцами въ отстаиваніи своей свободы. Но война, кровь и злоба, какъ всегда, дали свои неизбѣжные результаты, въ видѣ той недоброй черты, которую для краткости можно назвать политической низостью. Горецъ замкнулся въ своихъ горахъ, какъ въ осажденной крѣпости, и весь остальной міръ для него превратился въ злого врага, борьба съ которымъ допускаетъ всѣ средства.

Благодаря этому новому отпечатку, у таджика явилось какъ бы два лица, подобно актеру — на сценѣ и дома. Но гримировка горца, къ несчастію, не смывается съ такой же простотой и легкостью, какъ актерскія краски. Это историческое клеймо, недобрыя капли, всосавшіяся уже въ кровь. Поэтому-то, набрасывая общій портретъ нашего горца, мы не можемъ не отмѣтить и тѣ черты, которыя составляютъ второе, нехорошее, хитрое его обличье. Оно всецѣло проявляется, когда поворочено къ „чужимъ“, къ „врагамъ“, которыхъ нужно провести, во чтобы то ни стало, какими угодно средствами. Другое лицо—типичное, мирное лицо коренного, добродушнаго горца, когда онъ ведетъ дѣло съ „своими“, съ „завѣдомыми друзьями“. Вотъ почему въ общемъ портретѣ насъ поразятъ такія, повидимому, непримиримыя вещи, какъ гордая смѣлость, любовь къ независимости, способность на честный открытый бой за свою горную свободу, — и въ то же время замѣчательную приниженность и рабскую лесть; восторженность природнаго поэта, уживающаяся рядомъ съ явной ложью и предательствомъ; пастушья незатѣйливость и простота рядомъ съ негоднымъ попрошайствомъ и бахвальствомъ; мирный взглядъ трудолюбивѣйшаго пахаря, способнаго однако и на самую заклятую ненависть.

Если и возможно сравнительно легко разобраться въ такомъ оригинальномъ смѣшеніи душевныхъ свойствъ горца, то лишь исключительно потому, что всѣ эти черты окрашены однимъ тономъ дичи и наивности. Передъ нами дѣти, съ глубокими задатками добрыхъ природныхъ инстинктовъ и здоровой культурной наслѣдственности, но въ то же время съ наложенной на нихъ печатью испорченности, свойственной невѣждѣ, рабу и сектанту вмѣстѣ.

Къ чести горца нужно добавить, что положительныя качества въ общемъ преобладаютъ въ значительной степени надъ отрицательными.

Мнѣ кажется несомнѣннымъ, что горецъ спасенъ прежде всего своей любовью къ землѣ, къ пашнѣ и семейственности. Образцовое трудолюбіе таджика-земледѣльца было отмѣчено давно; оно поразило и Миддендорфа во время его путешествія по Фергану, заставивъ почтеннаго ученаго посвятить немало страницъ („Очерки Ферг. Долины“ 1882) этому отличительному свойству „туркестанскаго горца“. Но едвали не высшій предѣлъ земледѣльческаго труда затрачивается таджикомъ-горцемъ.

Земли здѣсь такъ мало, что всякій клочекъ, пригодный для пашни, давно высмотрѣли и пріурочили къ дѣлу [1]).

Но далеко не вся эта отвоеванная у суровыхъ горъ земля составляетъ достояніе горцевъ. Лучшіе участки считались „казенными“ (пашалыкъ), т.-е. ханскими. Система управленія, царившая здѣсь до послѣдняго времени, отличалась крайней несложностью. Ханъ былъ деспотическій повелитель и владѣтель всей земли и народа. Онъ дѣлилъ все свое ханство на бекства и раздавалъ ихъ своей роднѣ. При миніатюрности этихъ „княжествъ“, они превращались въ простыя помѣстья, въ которыхъ все лучшее отбиралось „въ казну“. Бекъ строилъ себѣ курганъ (крѣпость) и обращалъ отрѣзанныхъ ему жителей въ крѣпостныхъ крестьянъ, сажая ихъ то на оброкъ, то на натуральную повинность. Оброкомъ облагался домъ, что, безъ сомнѣнія, и отозвалось на тѣснотѣ горскихъ хатъ и на нераздѣльности большихъ семей. Оброкъ взыскивался всѣми мѣстными произведеніями, кромѣ хлѣба: хата платила скотомъ, масломъ, сыромъ, сѣномъ, соломой, дровами; платила армяками, нитками, войлоками, арканами; платила деревянной посудой, лопатами, деревянными башмаками и т. п. Словомъ, все, чѣмъ обладало хозяйство горца, подлежало оброчной

[1]) Я не говорю въ данномъ случаѣ о тѣхъ брошенныхъ мѣстахъ, опустѣніе которыхъ зависитъ отъ историческихъ событій, разоренья и проч.

подати. Хлѣбомъ не брали просто потому, что было невыгодно — не съ чего было брать. Въ этомъ отношеніи удобнѣе была барщина: горцы выставляли нужное число рабочихъ рукъ для обработки казенныхъ земель, т.-е. для пахоты, посѣва, жнитва и уборки съ поля хлѣба. Это были регулярныя работы. Кромѣ нихъ народъ сгонялся на общественныя, какъ, напримѣръ, исправленіе дорогъ, мостовъ, казенныя постройки и т. п. Само собою разумѣется, что вся работа въ бековскихъ курганахъ отправлялась тоже народнымъ трудомъ.

Словомъ, страна жила по той простотѣ, при которой бекъ становился непосредственнымъ доходчикомъ съ народнаго труда и оставлялъ народу только тѣ избытки, которые нужны для того, чтобы не умереть съ голоду. Сельскія произведенія бѣдной страны безъ всякаго внутренняго базара, конечно, имѣли самую незначительную цѣнность на внѣшнихъ рынкахъ, и доходы хана съ беками при капитализаціи переводились бы на ничто, еслибы они всѣми средствами не выжимали изъ народа послѣднихъ соковъ. Мелкая изобрѣтательность мелкихъ владѣтелей переходила въ алчность, понятную только при той системѣ замкнутаго управленія, которая опиралась почти на рабскій трудъ. Немудрый и безграмотный бекъ оказывалъ необыкновенныя способности по части разнюхиванія народнаго достатка. Не обязанный никакими заботами, кромѣ стяжанія, онъ могъ посвящать все свое время на борьбу съ угнетеннымъ народомъ по части добыванія изъ него доходовъ. Это было, конечно, тѣмъ легче, что жизнь каждаго селянина текла на глазахъ его повелителя, и послѣдній зналъ чуть ли не каждую деревянную чашку, сдѣланную такимъ-то кустаремъ, да кстати и всѣ „проступки“ этого кустаря, подлежащія наказанію.

До какой виртуозности доходила изобрѣтательность правителей, уже было отчасти видно изъ разсказаннаго о системѣ отдачи скота на прокормъ народу Юсуфомъ-Али. Все, что могло раздражить завистливые глаза мелкихъ властителей, что могло понравиться имъ, такъ или иначе выматывалось отъ горца, который съ своей стороны пріучался прятать малѣйшіе свои достатки. Охотники, напримѣръ, обязывались непремѣнно всѣ дорогія звѣриныя шкуры (лисьи, рысьи и т. п.) доставлять къ беку или хану, гдѣ за нихъ выдавалась произвольная подачка [1]).

[1]) Поэтому горцы охотники не могли мнѣ опредѣлить стоимости на мѣстѣ той или другой шкуры: они ихъ никогда не продавали, а если даже и продавали, то воровски, за что придется.

Понятно, какъ должна была отозваться такая система управленія на томъ самомъ народѣ, который при всѣхъ своихъ плотскихъ грѣхахъ, строго наказуемыхъ ханами, считался еще и величайшимъ духовнымъ грѣшникомъ, „еретикомъ“ шіитскаго толка. Я указывалъ уже, что практика создала высшую степень кары такому грѣшнику, переводя его на положеніе раба, торговля которыми еще и нынѣ ведется въ Средней Азіи. Если для шугнанскихъ заправителей и приходилось мириться съ общимъ еретичествомъ всего ханства, то эта невольная терпимость не исключала однако возможности пользоваться при случаѣ и этимъ средствомъ, т.-е. доводить опалу надъ тѣмъ или другимъ шіитскимъ семействомъ до продажи его на базарѣ.

Много надо было имѣть народу упорства, требовалось весьма дорожить своей душевной самобытностью, крѣпко любить свои горы, чтобы не отречься отъ вѣры своихъ отцовъ, не сбѣжать окончательно изъ этого мелкаго грабительства и деспотизма, не испортить окончательно народную совѣсть. И я еще разъ позволю себѣ повторить высказанную выше мысль, что спасла горца его земледѣльческая культура, его страстная, органическая привязанность къ землѣ и хозяйству. Отдавши всего себя сельскимъ заботамъ, онъ прежде всего поглощался здоровымъ трудомъ, который такимъ образомъ оберегалъ его душу и отъ излишней злобы, и отъ праздной изобрѣтательности хитреца. Суровый трудъ заслонялъ отъ него соблазны легкихъ выгодъ, изолировалъ его отъ развратнаго міра, связывалъ въ крѣпкую общину съ односельцами. Принесенная имъ сюда культура, сохранившаяся только благодаря его способности къ тяжелой земледѣльческой работѣ, инстинктивно заставляла его хранить и весь тотъ строй бытовой и духовной жизни, который былъ нераздѣльно ранѣе связанъ съ его сельскими познаніями. Земля была для него главной основой, и на нее-то онъ отдавалъ свои силы.

VIII.

Убогіе клочки, способные въ обработкѣ, требовали затраты огромнаго труда на первое ихъ приспособленіе къ полевому хозяйству. Чтобы превратить въ поле дикое мѣсто, требовалось выбрать съ почвы массу камней, и большихъ, и малыхъ, стащить ихъ въ кучи, сложивъ такъ, чтобы они занимали возможно менѣе пространства. Часть камней уходитъ на обдѣлку склона терасы, часть на межу, остальное складывается въ видѣ стѣнъ или

кучъ. Большіе камни, своротить которые люди не въ силахъ, остаются на межахъ, а часто и среди поля. Рядъ такихъ камней опредѣляетъ фигуры полей, нерѣдко принимающихъ отъ того крайне замысловатыя, узорныя очертанія. Такъ какъ самая почва состоитъ изъ камня, перемѣшаннаго съ землей, то выбирать камень начисто было бы непосильной работой. Поэтому почва пашни всегда является каменистой. Землистыхъ частей въ ней весьма скудное содержаніе. Наиболѣе богатыми считаются древнія ледниковыя морены. Но зато не сортированность ихъ матеріала требуетъ значительнаго труда для первоначальнаго устройства полей и проведеніе къ нимъ оросительныхъ каналовъ по бугристой поверхности. Всѣ поля, видѣнныя мною въ Шугнанѣ, были поливныя [1]) и потому расположены горизонтально. Зато мѣстами террасы были необыкновенно мелки или шли крупными уступами.

Уже изъ того, что почва сильно камениста, можно легко заключить о небольшихъ сравнительно урожаяхъ. Но главная зависимость здѣшняго земледѣльца отъ климата: если весна ранняя, лѣто солнечное, осень сухая и продолжительная—горецъ можетъ навѣрное ожидать добрыхъ результатовъ; при обратныхъ условіяхъ хлѣбъ не успѣетъ вызрѣть, и большинство его придется бросить или перевести въ кормъ скоту.

Оросительная система вынудила горцевъ располагать свои поля преимущественно при устьяхъ боковыхъ ручьевъ долины, изъ которыхъ они съ значительными удобствами могутъ пользоваться водою для ирригаціи. Отдавая лучшіе участки подъ пашни, они скучиваютъ свои селенія обыкновенно на совершенно негодныхъ для обработки мѣстахъ: на кручахъ, на скалахъ, у края обрывовъ. Селенія располагаются всегда тѣсно. Хаты лѣпятся одна около другой или другъ надъ другомъ, представляя смѣсь низенькихъ домиковъ съ какими-то курятниками, на самомъ дѣлѣ хлѣвами.

Домъ горца вполнѣ отвѣчаетъ и его характеру, и климату страны. Прежде всего онъ приспособленъ къ тому, чтобы на маломъ пространствѣ помѣстить все хозяйство, помѣстить удобно и тепло. Въ его хатѣ, которая всегда состоитъ только изъ одного помѣщенія, должны умѣститься не только всѣ домочадцы, но и всѣ его запасы, да кромѣ того и вся скотская мелочь, главное—ягнята и козлята, рѣже—теленокъ.

Хата строится, конечно, изъ того единственнаго матеріала, которымъ такъ неограниченно богата страна, который всегда и

[1]) Полей водъ дождь нигдѣ кромѣ Каратегина, я не видѣлъ.

всюду подъ руками: изъ камня на глиняномъ цементѣ. Искусство пользоваться камнемъ какъ строительнымъ матеріаломъ, доведено здѣсь до большого совершенства при всей простотѣ пріемовъ. Горецъ беретъ ближайшій камень—большой, малый, остроребрый, окатаный, плоскій, кубическій—и весьма ловко комбинируетъ его, вяжетъ, подгоняетъ одинъ къ другому. Сложенная имъ насухо стѣнка отличается большой устойчивостью и извѣстной правильностью. При постройкѣ дома на цементѣ устойчивость достигается весьма значительная. Словомъ, по этой части онъ спеціалистъ. Набережная, дорога, береговые устои и настилка моста, караулка и лѣтній загонъ для скота одинаково легко и ловко мастеритъ онъ изъ камня.

Кроется домъ прямой почти совершенно плоской земляной крышей, покоящейся на горизонтальныхъ балкахъ и накатникѣ. Въ срединѣ потолка дѣлается окно, дающее свѣтъ и выходъ дыму. Окно это образуется двумя или тремя вѣнцами брусьевъ, положенныхъ одинъ надъ другимъ по индійской системѣ съ поворотомъ каждый разъ на 45°. Отъ этого получается нѣкоторая приподнятость крыши въ срединѣ и легкіе скаты ея къ краямъ. Изнутри балки подпираются нѣсколькими столбами, почему крыша можетъ быть сильно нагружена.

Крыша въ домашнемъ обиходѣ горца играетъ весьма серьезную роль, или вѣрнѣе роли, ибо приспособленія ея очень разнообразны. Прежде всего, она—самый главный и надежный складъ сѣна и хвороста, запасенныхъ на зиму (за сѣномъ туда не заберется ни одинъ ковелъ-разоритель). Затѣмъ, она служитъ токомъ для просушки и очистки зерна. Для этого на ней имѣется даже приспособленіе: на нѣкоторымъ разстояніи отъ окна-трубы дѣлается круговой валикъ, и эта центральная часть крыши тщательно штукатурится глиной. Осенью почти всѣ крыши застланы войлоками, на которыхъ ровнымъ слоемъ сушится зерно. Эти заботы исключительно лежатъ на женщинахъ, и онѣ проводятъ долгіе часы, ползая и сидя на крышахъ, отбирая изъ зерна камни и соръ, переворачивая его, или просѣвая и отвѣивая начисто на центральномъ кругѣ крыши. На крышѣ же сушится и брюква. Наконецъ, та же крыша нерѣдко служитъ и балкономъ, сборищемъ въ сумерки или въ другое досужее время... Вообще крыша является самымъ удобнымъ, просторнымъ и чистымъ мѣстомъ снаружи дома, замѣняя дворъ и надворныя службы.

Внутренность горской хаты имѣетъ много варьянтовъ, но въ общемъ главный ея характеръ выражается тѣмъ, что вокругъ стѣнъ сдѣланы высокія нары съ узкимъ проходомъ между ними

отъ двери. Нары пустыя внизу и забраны со стороны прохода глиняными стѣнками. Помѣщеніе подъ нарами раздѣлено перегородками и предназначено для мелкой соломы (самáнъ), для козлятъ и другой живности, почему изъ подъ нихъ въ проходъ выходятъ разныя дверки. Нары обыкновенно дѣлаются не одной высоты, а раздѣлены ступенями на участки, выполняющіе разныя назначенія: „чистаго“ или „гостинаго“ отдѣленія, кухни, бабьяго угла, дѣтской и проч.

Кухня всегда занимаетъ самое почетное и обширное мѣсто. Она состоитъ изъ очага, врѣзаннаго въ нарахъ такимъ образомъ, что топка выходитъ въ проходъ, а отверстіе для котла приходится на уровнѣ наръ; общее устройство ея напоминаетъ нѣсколько нашу плиту съ одной комфоркой, расположенной близъ устья топки. Остальная поверхность плиты представитъ полъ кухни и въ то же время и столъ: хозяйка забирается туда со всей утварью, причемъ ни она никому не мѣшаетъ, ни ей никто. Въ большинствѣ случаевъ на кухонныхъ нарахъ устраивается въ уголкѣ еще другой, подручный маленькій очагъ для котелка или кувшина.

Бабій уголъ, т.-е. особый участокъ наръ, всегда имѣетъ въ себѣ стойки ткацкаго станка—это его примѣта.

Другая характерная черта внутренняго устройства хаты заключается во множествѣ печурокъ и шкафчиковъ, надѣланныхъ всюду, гдѣ только можно: и внизу, въ стѣнкахъ прохода, и вверху въ стѣнахъ хаты. Печурки имѣютъ всевозможныя назначенія—для дровъ, углей, для кувшина, горшка, тряпки и т. п. Кромѣ того во всякой хатѣ найдется еще одно устройство—нѣчто вродѣ толстой стѣнки или большого ларя, иногда прислоненныхъ къ домовой стѣнкѣ, иногда же огораживающихъ участокъ наръ, преимущественно кухню. Эти стѣнки называются амбарами и отвѣчаютъ совершенно нашимъ сусѣкамъ и ларямъ, для ссыпки зерна. Здѣшніе амбары также раздѣлены на сусѣки внутренними перегородками. Въ круглыя окна сверху засыпаютъ зерно, закрываютъ крышкой и замазываютъ глиной. Достаютъ зерно по мѣрѣ надобности, открывая маленькія отверстія внизу сусѣковъ, тоже съ особыми крышками.

Сдѣланное детальное описаніе внутренности горской хаты должно быть дополнено нѣсколькими словами общаго характера. Прежде всего нужно сказать, что вся внутренность тщательно штукатурится плотной глиняной обмазкой. Такъ какъ штукатурка дѣлается домашнимъ образомъ и на глазъ, то въ ней, какъ и въ самомъ расположеніи разныхъ приспособленій нельзя искать

строгой правильности. Но за то все необыкновенно старательно и чисто обдѣлано, выглажено, ребра всѣ округлены. Во всемъ видна хозяйственность, удобство, свой глазъ, любовь къ каждымъ пустякамъ. Каждая ничтожная печурка импровизирована не зря, а со смысломъ, и какъ-разъ отвѣчаетъ своему назначенію. Вдоль наръ стѣны часто оттянуты цоколемъ, у шкафчиковъ подѣланы наличники, даже узоры и рельефныя украшенія. Мало того, въ болѣе состоятельныхъ домахъ стѣны и нары выкрашены въ одинъ цвѣтъ (обыкновенно свѣтло-палевый), а цоколь въ другой—чаще въ красный. Все это въ общемъ производитъ впечатлѣніе и крайне оригинальное по своеобразности такого устройства, и симпатичное по той обдуманности и заботливости, которыми проникнуто все это хозяйство горца.

Причина его заключается въ томъ, что въ основѣ хозяйства кроется серьезное участіе женщины.

Я уже указывалъ на иное положеніе горской женщины, чѣмъ долинной таджички мусульманскаго Туркестана. Уже одно то, что она не завѣшена, не закутана отъ постороннаго глаза, не спрятана въ гаремѣ, не изгнана изъ общества мужчинъ, ставитъ ее въ положеніе исключительное по отношенію къ остальному туркестанскому осѣдлому населенію. Но помимо этого, значеніе шугнанки въ народной жизни выражается еще вслѣдствіе того, что самое положеніе ея, какъ хозяйки дома, несравненно выше, чѣмъ гдѣ-либо. Уже одно участіе ея рукъ въ подробностяхъ устройства дома придаетъ совершенно иной колоритъ всей обстановкѣ. Достаточно бѣглаго взгляда при входѣ въ горскую хату, чтобы почувствовать вліяніе женщины на складъ домашняго быта, понять, что эта аккуратность и уютность, этотъ бѣдный порядокъ и чистота обязаны женщинѣ-хозяйкѣ, и что вліяніе ея не можетъ пройти безслѣдно въ домашней жизни, разъ присутствіе ея вкуса, ея женской заботливой души, наложило на все свою печать. Когда входишь въ магометанскій домъ, то въ его отдѣлкѣ и расположеніи рѣшительно не находишь никакой почти разницы со всякимъ другимъ. Все холодно, однообразно, все въ зависимости отъ искусства нанятаго присяжнаго мастера (я не говорю отъ богатства хозяина, ибо это вещь условная). Въ горской же хатѣ вы непремѣнно встрѣтите въ каждой свою особенность соотвѣтственно индивидуальности хозяйки, принимавшей самое ближайшее и дѣятельное участіе въ отдѣлкѣ внутренняго устройства. Потому-то въ шугнанской хатѣ, при общемъ горскомъ типѣ, такъ много рѣзкихъ варьянтовъ.

Простота сельской патріархальной жизни бѣднаго населенія, недопускающая многоженства, ставитъ шугнанку еще болѣе самостоятельно. Сколько я могъ приглядѣться, участіе женщины въ работахъ положительно одинаково съ мужчиной, а никакъ не угнетенное. Она имѣетъ свои отдѣлы во всякомъ трудѣ. Такъ, напримѣръ, мужчина жнетъ хлѣбъ, женщина возится со снопами на току; мужчина таскаетъ дрова, женщина накладываетъ ихъ въ вязанки. Горецъ ходитъ въ лѣсъ за дровами и тащитъ ихъ на спинѣ домой, его жена идетъ за водой и несетъ кувшинъ на головѣ. Кустарные промыслы тоже имѣютъ свое раздѣленіе: деревянныя подѣлки—дѣло мужчинъ; гончарныя—исключительно женское. Этимъ кстати объясняется, почему горскій домъ полонъ всякой глиняной посуды, почему всякому горшку имѣется своя крышка, у каждаго лаза своя заслонка. Отмѣчу, что все это исключительно ручная работа до послѣднихъ разводовъ на оригинальномъ стѣнномъ подсвѣчникѣ.

Одежда шугнанки такъ же проста, какъ и ея мужа: широкіе шаровары, схваченные на лодыжкѣ и довольно некрасиво свѣшивающіеся на ступню; длинная рубаха безъ обшивки у просторнаго ворота, съ прорѣхой посединѣ груди и безъ всякой опояски, да большой платокъ, наброшенный на голову,—вотъ и все. Обувь одинаковая съ мужчинами (въ томъ числѣ и деревянные башмаки). Въ холодъ она окручиваетъ бедра суконнымъ кускомъ на подобіе малорусской плахты.

Шугнанки большею частью высокаго роста, стройны, держатъ себя прямо, поступь у нихъ смѣлая, горская, гораздо болѣе красивая, чѣмъ у мужчинъ. Лицомъ онѣ отчасти напомнили мнѣ грузинокъ: тотъ же длинный овалъ, съ острымъ подбородкомъ, сильная бровь и густая рѣсница, строгія губы и выразительный острый носъ. Выраженіе лица и глазъ нѣсколько сосредоточенное, переходящее у пожилыхъ въ строгое, сдержанное, указывающее на твердость и опредѣленность характера. Она несетъ тяжелый крестъ бѣдной труженицы, но несетъ съ убѣжденіемъ, съ сознаніемъ долга. Даже крайняя бѣдность, рвань—„огнѣ присѣки“, болтающаяся на ней въ видѣ одежды, не производитъ своего отталкивающаго дѣйствія, благодаря серьезности, съ которой привычно держитъ себя шугнанка.

Объ общественной жизни горцевъ я знаю слишкомъ мало и отрывочно, и потому говорить о ней не буду. Скажу только, что и въ ней, видимо, участіе женщины довольно значительно, хотя, безъ всякаго сомнѣнія, далеко не такое, какъ мужчины.

Мнѣ осталось сказать нѣсколько словъ о языкѣ шугнанцевъ. Сколько извѣстно, изъ припамирскихъ горцевъ, говорящихъ на таджикскомъ языкѣ, имѣютъ свои мѣстныя нарѣчія ваханцы и шугнанцы (сарыкольцы представляютъ смѣсь этихъ двухъ нарѣчій). Нарѣчія тѣхъ и другихъ настолько отличны между собой, что они не понимаютъ другъ друга. Основа шугнанскаго нарѣчія (которымъ говорятъ и рошанцы) въ массѣ указываетъ персидскій корень словъ; но есть и самостоятельныя слова, совпадающія со многими изъ индоевропейскихъ языковъ, въ томъ числѣ и съ славянскими (дисть—десять, пиндзь—пять).

Д. Ивановъ.

ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА

VII *).

И что же на другой день оказалось!!

Что весь вчерашній вечеръ я провелъ среди членовъ тайнаго общества „Антиреформенныхъ Бунтарей“!

Покатиловъ—глава и основатель общества; Краснощековъ—человѣкъ судьбы, долженствующій, въ случаѣ надобности, выѣхать на бѣломъ конѣ; Пучеглазовъ — правая рука; Балаболкинъ—лѣвая; Набрюшниковъ—вѣстникъ; Гвоздиловъ—предатель. Словомъ сказать, вся обстановка, не исключая и дамъ, на которыхъ возложено щипаніе корпіи и приготовленіе бинтовъ.

Какъ, однакожъ, обманчива наружность! До сихъ поръ я представлялъ себѣ члена тайнаго общества не иначе, какъ въ видѣ взъерошеннаго человѣка, который питается сильно дѣйствующими веществами и по́ходя изрыгаетъ изъ себя подпольныя прокламаціи,—и вдругъ, что́ же увидѣлъ?—Самыхъ обыкновенныхъ плѣшивыхъ стариковъ, которые даже твердой пищи разжевать не въ силахъ, которые не то говорятъ, не то урчатъ, и вообще ведутъ себя до того флегматично, что безъ хорошаго вентилятора съ ними невозможно быть! А между тѣмъ въ нихъ-то именно и засѣло потрясеніе осно́въ! Поди, угадай!

Общество „Антиреформенныхъ Бунтарей“ имѣетъ обширныя развѣтвленія по всей Россіи, но существенныя распоряженія разрабатываются предварительно на Пескахъ, и отсюда уже расходятся, въ видѣ лозунговъ, по всѣмъ захолустьямъ. Въ провин-

*) См. „В. Евр.“, апрѣль 1885 г. Настоящее письмо не могло быть напечатано въ майской книжкѣ, по болѣзни автора.—*Ред.*

ціи, главный контингентъ общества составляютъ отставные исправники, при благосклонномъ содѣйствіи господъ предводителей дворянства. Въ столицѣ—отставные губернаторы, при благосклонномъ содѣйствіи любителей, не пожелавшихъ, чтобъ имена ихъ были извѣстны.

У общества имѣется свой уставъ и своя печать. Уставъ написанъ такъ, что можно читать и сверху, и снизу, и затѣмъ, вынувъ середку, опять читать. Печать изображаетъ птицу съ распростертыми крыльями, обращенную головою внизъ; подъ нею девизъ общества: „Поспѣшай обратно“.

Цѣль общества: возстановленіе Московскихъ департаментовъ сената. А сверхъ того,—и все остальное.

Махинаціи общества долго оставались не замѣченными; но въ послѣднее время за ними стали слѣдить, такъ какъ дошло до свѣденія, что для Краснощекова уже приторговываютъ бѣлаго коня. И ежели бы вчера вечеромъ, околоточный не позабылъ подать свистокъ, то очень можетъ быть, что теперь...

Мавра! Мавра! куда я попалъ!

Все это сообщилъ мнѣ Купидоновъ. Онъ тоже членъ общества, но притворный. Съ помощью икры, провѣсной бѣлорыбицы и другихъ не особенно цѣнныхъ подарковъ онъ успѣлъ овладѣть довѣріемъ женщинъ и черезъ нихъ узнать корни и нити. Въ послѣднее время, онъ пріобрѣлъ очень цѣнное свѣденіе: узналъ имя извощика, у котораго продается бѣлый конь. На всякій случай, Купидоновъ тоже вооруженъ свисткомъ, который онъ мнѣ и показывалъ. Видомъ своимъ этотъ свистокъ напоминаетъ трубу, которую мы въ свое время услышимъ на страшномъ судѣ.

Тѣмъ не менѣе, Купидоновъ разсказывалъ все это такъ непослѣдовательно и противорѣчиво, что я долгое время не зналъ, слѣдуетъ ли мнѣ испугаться, или не слѣдуетъ. Такъ напримѣръ, сначала онъ сказалъ, что свистокъ ему подарилъ „генералъ“, въ знакъ особливаго къ нему довѣрія. Но черезъ минуту хвалился, что онъ этотъ самый свистокъ пріобрѣлъ по случаю у отставного околоточнаго за шесть гривенъ. Тоже самое и на счетъ коня: никакъ нельзя было понять, слѣпой онъ, или зрячій... Однако, разсудивъ зрѣло, я пришелъ къ убѣжденію, что испугаться во всякомъ случаѣ безопаснѣе. Можетъ быть, Купидоновъ и пустяки нагородилъ, а все таки не даромъ пословица говоритъ, что береженаго Богъ бережетъ.

На этомъ основаніи, я сейчасъ же раскрылъ всѣ ящики моего письменнаго стола и къ ужасу своему нашелъ въ нихъ два

глубоко компрометирующихъ письма. Въ одномъ меня увѣдомляли, что въ конспиративной квартирѣ три заговорщика уже собрались и съ нетерпѣньемъ ожидаютъ четвертаго, дабы „приступить“. Въ другомъ, сообщали, что „рецептъ порошка возвращается съ благодарностью“... Поди, доказывай, что въ первомъ письмѣ говорится о „винтѣ“, а не о революціи, а во второмъ о зубномъ порошкѣ, а не о динамитѣ! Сейчасъ же, тайно отъ кухарки Мавры, я сжегъ оба документа и пепелъ развѣялъ по вѣтру. Затѣмъ, взялъ шапку и побѣжалъ къ Чернобровому, чтобы заявить ему о своемъ несочувствіи...

Но было уже поздно: вся наша лѣстница была запружена понятыми. А черезъ часъ, насъ всѣхъ направили „въ коммиссію“... Тайныхъ совѣтниковъ повезли въ извощичьихъ каретахъ, меня—повели пѣшкомъ.

Молчаніе.

Современники не должны знать о такого рода дѣлахъ, ибо они секретныя. Впослѣдствіи, когда тайности мрака временъ сами собой выступятъ на скрижали исторіи, потомки съ удивленіемъ узнаютъ, въ какихъ преступленіяхъ погрязали ихъ предки. А до тѣхъ поръ я могу открыть только слѣдующее: что лишь благодаря цѣлому ряду ловко обдуманныхъ alibi, я успѣлъ выйти изъ дѣла неповрежденнымъ...

. . . . . .

Черезъ два часа наше дѣло округлили, и уже собрались отпустить насъ на всѣ четыре стороны, какъ вдругъ при повѣркѣ арестантовъ оказалось, что одного нѣтъ на лицо: Гвоздиловъ бѣжалъ изъ подъ стражи. Сію минуту разослали во всѣ стороны хожалыхъ, а черезъ короткое время одинъ изъ нихъ принесъ вицъ-мундиръ Гвоздилова, найденный на берегу Невы за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старикъ предпочелъ добровольную смерть ожидавшему его позору разоблаченія...

Потужили, составили протоколъ, и, какъ водится, разсказали нѣсколько анекдотовъ изъ жизни покойнаго, не къ стыду его относящихся. И такъ какъ адмиральскій часъ уже наступилъ, то презусъ округлительной коммиссіи велѣлъ подать водку, и наполнивъ рюмку, помянулъ безвременно погибшую жертву охранительнаго недоразумѣнія. Причемъ, счелъ не лишнимъ выразить предположеніе, что съ самаго основанія Петербурга Гвоздиловъ явилъ собой едва ли не первый примѣръ тайнаго совѣтника, обрѣтшаго забвеніе своихъ винъ въ хладныхъ объятіяхъ Невы, но что, впрочемъ, нужно надѣяться, что сей первый примѣръ будетъ и послѣднимъ. Ибо даже въ самыя горькія минуты жизни

человѣкъ не имѣетъ права распоряжаться симъ драгоцѣннымъ даромъ Творца, но обязанъ съ покорностью выжидать начальственныхъ по сему предмету распоряженій.

Наконецъ, моментъ разставанія наступилъ. Объявляя намъ свободу, презусъ коммиссіи нашелъ полезнымъ произнести напутственное слово, допустивъ въ немъ нѣкоторые, не лишенные язвительности оттѣнки.

— Господинъ, тайный совѣтникъ Покатиловъ!—сказалъ онъ, обращаясь къ главѣ заговорщиковъ: — что преступленіе, въ которомъ обвиняетесь вы и ваши почтенные единомышленники, было, дѣйствительно, вами совершено, это не подлежитъ для меня никакому сомнѣнію. Вы собирались по ночамъ въ конспиративной квартирѣ, вы замышляли переворотъ въ пользу возстановленія Московскихъ департаментовъ сената, а затѣмъ и всего остального; у васъ найдены значительные запасы корпіи и бинтовъ, что свидѣтельствуетъ, что замыслу вашему не чуждо было и предположеніе о кровопролитіи... Все это доказано достовѣрными свидѣтельскими показаніями, такъ что ежели бы къ дѣйствіямъ вашимъ примѣнить общепринятыя понятія о возмездіи, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но коммиссія наша разсудила иначе. Она нашла, что намѣренія ваши столь благовременны и столь тайнымъ совѣтникамъ свойственны, что мнѣ ничего другого не остается, какъ сказать вамъ: идите съ миромъ и продолжайте вашу благонамѣренно-преступную дѣятельность! Объ одномъ прошу васъ: будьте осмотрительны въ выборѣ вашихъ соумышленниковъ! Не увлекайтесь мишурою популярности! недопускайте необдуманныхъ и опасныхъ сближеній! Помните, что коварство на каждомъ шагу подстерегаетъ васъ, и что, благодаря ему, благовременное можетъ сдѣлаться неблаговременнымъ, и благонамѣренное—не благонамѣреннымъ!

Затѣмъ, обратившись ко мнѣ, онъ продолжалъ:

— Вы свободны. Благодаря вашей ловкости, Немезида правосудія и на сей разъ остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее изслѣдованіе не дало вполнѣ непререкаемыхъ уликъ для опредѣленія характера и состава содѣяннаго вами преступленія, то намѣренія, которыя одушевляютъ вашу общую дѣятельность, ни для кого уже не составляютъ тайны. Довольно! безъ возраженій! Я не для того обращаю къ вамъ рѣчь, чтобы вступать съ вами въ пререканія, а для того, чтобъ вы прониклись моими благими пожеланіями и приняли ихъ къ руководству. Sapienti sat.

Высказавши это, презусъ щелкнулъ каблуками (хотя онъ

былъ штатскій, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что онъ безъ шпоръ не могъ себя мыслить) и вышелъ. На прощанье, онъ послалъ воздушный поцѣлуй въ сторону тайныхъ совѣтниковъ, а въ мою сторону погрозилъ очами.

Я возвращался изъ коммиссіи съ понурой головой и съ завистью смотрѣлъ на генерала Краснощекова, который шелъ впереди, горделиво выгнувъ шею и выдѣлывая ногами лансады. Къ тому же, я чувствовалъ, что у меня что-то ползетъ по спинѣ: очевидно, это былъ клопъ, которымъ, въ отместку за отсутствіе уликъ, меня снабдили въ коммиссіи. Нѣсколько разъ я порывался нанять извощика, чтобъ поскорѣе попасть домой, но извощики пристально осматривали меня съ головы до ногъ, и ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступленія, несмотря на короткое время, уже успѣла лечь неизгладимымъ клеймомъ на моемъ челѣ.

Тщетно изслѣдовалъ я свое житіе, чтобъ уяснить себѣ, что̀ именно могло внушить почтеннѣйшему презусу округлительной коммиссіи столь невыгодное мнѣніе объ общемъ характерѣ моей дѣятельности—я не припоминалъ въ прошломъ ни одного факта, который подтверждалъ бы это мнѣніе. Правда, что я либералъ—это такъ точно, ваше превосходительство!—но либералъ до такой степени скромный и смирный, что даже въ участкѣ, въ графѣ: „чѣмъ занимается“,—прописанъ: „всего опасается“. Живу я уединенно, бесѣдую съ кухаркой Маврой, и не только оружія, но даже простого тесака у себя въ квартирѣ не имѣю. Одинъ только и есть за мной грѣхъ: отъ времени до времени пописываю—ну, да вѣдь нельзя же совсѣмъ ужъ закоченѣть, потому только что кругомъ дымъ коромысломъ стоитъ...

Но и въ писаніяхъ своихъ я въ высшей степени скроменъ. Я не препятствую такъ-называемымъ консерваторамъ быть консерваторами, не обвиняю ихъ ни въ измѣнѣ, ни въ революціонныхъ замыслахъ, и не удивляюсь, что изъ ихъ лагеря сыплются насмѣшки и обличенія на либерализмъ. Все это въ порядкѣ вещей, все такъ и слѣдуетъ. Но когда эти люди, для защиты своихъ мнѣній, прибѣгаютъ къ предательскимъ полемическимъ пріемамъ—признаюсь, это меня возмущаетъ. По моему мнѣнію, это гнусность, въ которой нѣтъ надобности ни для оживленія столбцовъ, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убѣжденіе, какова бы ни была его окраска, можетъ и должно быть защищаемо безъ подвоховъ (а я, покуда, именно только этого и добиваюсь), то мнѣ положительно никогда не приходитъ

на мысль (или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не приходило), чтобы подобное заявленіе заключало въ себѣ попытку на потрясеніе основъ и непризнаніе авторитетовъ. Я просто-на-просто призываю къ честности и опрятности—и ничего больше...

Но, къ сожалѣнію, приходится убѣдиться, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ, и потрясенія, и посягательства—все блѣднѣетъ и стирается передъ вопросами о какихъ-то личныхъ привилегіяхъ самаго низменнаго свойства. Такъ что еслибъ я завелъ въ своей квартирѣ цѣлый складъ тесаковъ, то, въ глазахъ очень многихъ людей, это дѣйствіе представлялось бы менѣе вреднымъ, нежели напримѣръ, выраженіе удивленія по поводу какого-нибудь безшабашнаго публициста, который, засѣвши по-уши въ грязь, брызжетъ ею во всѣхъ, имѣющихъ дерзновеніе не признавать его мудрецомъ.

Такъ, мало-по-малу, мельчаетъ и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержаніе спора все больше и больше тускнѣетъ, а на мѣсто его выступаютъ микроскопическіе детали и подвохи, которымъ, ради декорума, присвоивается наименованіе ловкихъ пріемовъ. И очень возможно, что недалеко время, когда, по волѣ всемогущихъ судебъ, либерализмъ совсѣмъ очутится внѣ боя, а охранители, почувствовавъ себя окончательно свободными отъ всякой узды, будутъ на всей своей волѣ безъ пороху палить въ пустое пространство...

Я знаю, найдутся читатели, которые скажутъ, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-на-просто представляетъ сплошную небывальщину. Замѣчаніе это, впрочемъ, ни мало меня не смутитъ, потому что я и самъ вполнѣ съ нимъ согласенъ. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что въ натурѣ не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни женъ ихъ, ни наперсниковъ, ни конспиративной квартиры на Пескахъ, ни тайнаго общества антиреформенныхъ бунтарей. Никогда ничего подобнаго я не видалъ, о необходимости возстановленія московскихъ департаментовъ сената ни отъ кого ни слыхалъ, и за подобные разговоры ни въ какую коммиссію призываемъ не былъ. Но и за всѣмъ тѣмъ, я утверждаю по совѣсти, что все написанное мною объ этомъ предметѣ съ подлиннымъ вѣрно, и что ежели, напримѣръ, не существуетъ въ натурѣ общества антиреформенныхъ бунтарей, то существуетъ духъ времени, который нельзя назвать иначе, какъ антиреформенно-бунтарскимъ, и который съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все бо́льшую и бо́льшую авторитетность.

Я утверждаю, что этимъ духомъ пропитана вся вліятельно-интеллигентная Россія, и что конспиративныя сѣтованія, раздающіяся на Пескахъ (зри выше) во-сто-кратъ менѣе каррикатурны, нежели тѣ, которыя на каждомъ шагу приходится слышать и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и — по преимуществу — въ салонахъ и кабинетахъ. Вездѣ мы встрѣчаемся съ несомнѣнными сивыми меринами, которые пропагандируютъ несомнѣнно полоумные фантазіи и бреды, и, не обинуясь, присвоиваютъ имъ наименованіе политическихъ и административныхъ программъ.

Поэтому, ежели читатель справедливъ, и притомъ не ограничивается однимъ буквальнымъ пониманіемъ читаемаго, то онъ будетъ вынужденъ признать, что въ предъидущемъ моемъ письмѣ я не только ничего не преувеличилъ, но, во многихъ отношеніяхъ, стоялъ далеко ниже дѣйствительности. А сверхъ того, у меня имѣется въ запасѣ и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почемъ вы знаете, чѣмъ чревато будущее? Вѣдь перспективы бредовъ до такой степени растяжимы, что никакая каррикатура не въ силахъ намѣтить границу, гдѣ обязательно долженъ завершиться ихъ циклъ.

По моему мнѣнію, въ общемъ нестройномъ хорѣ антиреформенной разнузданности, умница Покатиловъ выдѣляется съ несомнѣнною для себя выгодою. Сопоставленія, на которыхъ онъ основываетъ свои тяготѣнія къ дореформенности, не лишены нѣкоторыхъ странностей, но въ то же время свидѣтельствуютъ о замѣчательномъ остроуміи и подлинной резонности. Логическій умъ стараго практика не допускаетъ ни разброда, ни скачковъ, ни игры въ прятки, ни даже рыцарскихъ порываній невѣдомо куда (въ чемъ достаточно изобличается, напримѣръ, благородный генералъ Краснощековъ), но прямо укрывается подъ сѣнь закона, и въ немъ отыскиваетъ все, что нужно для того, чтобъ утѣшить сенатъ. Покатиловъ отнюдь не притворяется, являясь горячимъ защитникомъ гарантій; нѣтъ, онъ во-истину понимаетъ, что безъ гарантій невозможно существовать ни правящимъ, ни управляемымъ. Конечно, обстановка, въ которой онъ представляетъ себѣ обезпеченность, нѣсколько устарѣла, и, въ сущности, сама не весьма обезпечена, но это ужъ вина не его, а его времени. Онъ воспитанъ въ идеалахъ самой простецкой обстановки, и другихъ, болѣе утонченныхъ формъ легальности не знаетъ. Но такъ какъ онъ относится къ своимъ „простымъ“ идеаламъ безъ малѣйшаго глумленія, и при томъ всякому недовольному его дѣйствіями охотно рекомендуетъ: идите, жалуйтесь! вонъ сколько гарантій начальствомъ для васъ наготовлено! — то, очевидно, въ немъ происхо-

дить въ это время процессъ, довольно близкій къ представленію объ отвѣтственности. Ибо, какъ ни простъ обыватель, но и ему, въ виду указанія гарантій, можетъ прійти въ голову: а что, въ самомъ дѣлѣ! пойду да и пожалуюсь!

На что собственно Покатиловъ негодуетъ?—онъ негодуетъ на то, что мундиръ остается въ прежней силѣ, а обстановка упразднена. По его мнѣнію, мундиръ, лишенный обстановки, прикрываетъ собой самочинную пустоту, которая можетъ извлечь изъ себя только одинъ звукъ: фюить!.. Но развѣ можно въ словѣ „фюить“ видѣть какую-нибудь гарантію?

Но что важнѣе всего: требуя гарантіи для жизни вообще, умница Покатиловъ понимаетъ, что гарантія эта прежде всего ограждаетъ его самого. Несмотря на свое властное положеніе, онъ никогда не причислялъ себя къ сонмищу боговъ, но положительно сознавалъ себя смертнымъ. Всѣ великія дѣла на землѣ были совершены „смертными“ — отчего же и ему, обсадившему березками московскій трактъ, не признать себя таковымъ? Ничего тутъ унизительнаго нѣтъ. А коль скоро онъ съ этимъ примирился, то и отношенія его къ прочимъ власть имѣющимъ лицамъ, и къ управляемымъ, и даже къ природѣ пріобрѣли болѣе человѣчный характеръ. Онъ не артачился, когда жандармскій штабъ-офицеръ предупреждалъ его, что пожарныя лошади существуютъ не для пикниковъ, и не фордабачилъ, когда прокуроръ являлся съ протестомъ противъ отдачи губерніи или части ея въ распоряженіе родственникамъ кумы. Напротивъ, и въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ преклонялъ ухо и, выслушавши протестъ, подвергалъ его всестороннему и зрѣлому обсужденію. Согласитесь, что это съ его стороны было и мило, и вполнѣ согласно съ законами.

Точно тоже и относительно управляемыхъ. Зная, что существуютъ особливо-аккредитованныя лица, которымъ достовѣрно извѣстно, что онъ, Покатиловъ, не для того присланъ, чтобы неистовствовать и сокрушать, а для того, чтобы преклонять ухо и, по мѣрѣ возможности, оказывать удовлетвореніе, онъ не бросался на управляемаго какъ озаренный, не огорошивалъ его, а съ терпѣніемъ выслушивалъ его рѣчи, хотя бы онѣ были и не вполнѣ внятны. На первыхъ порахъ, и онъ, по поводу этой невнятности, не мало сквернымъ словъ потратилъ; но когда, однажды, жандармскій штабъ-офицеръ ему доложилъ: ахъ, ваше превосходительство! вѣдь и вы не всегда внятно изволите говорить!—то онъ запомнилъ эти слова и разъ навсегда сказалъ себѣ, что задача умнаго администратора не въ томъ состоитъ, чтобы совмѣщать въ своемъ лицѣ глубокомысленныхъ Платоновъ и быстрыхъ раз-

умомъ Невтоновъ, а въ томъ, чтобы обладать снисходительностью и терпѣніемъ. Ибо нужды обывательскія такъ скромны, что не требуютъ ни быстроты разума, ни глубокомыслія, а только простой справки съ законами и бывшими примѣрами. На этомъ основаніи, онъ даже и ябедниковъ не особенно преслѣдовалъ. Говорятъ, будто бы онъ ихъ боялся; но я позволяю себѣ думать, что не одинъ страхъ заставлялъ его такъ поступать, но и убѣжденіе, что сословіе ябедниковъ представляетъ собою убѣжище, въ которомъ находитъ себѣ защиту поруганная общественная совѣсть.

Что же касается до отношеній къ природѣ, то смягченіе ихъ является, какъ естественное послѣдствіе общаго умиротворенія административныхъ нравовъ. Администраторъ, который не состоитъ въ постоянной борьбѣ съ закономъ и не ставитъ себѣ задачей повреждение управляемыхъ, встрѣчаетъ солнечный восходъ съ несравненно большимъ умиленіемъ, нежели администраторъ, который наканунѣ растопталъ законъ и самочинно огорчилъ цѣлую уйму обывателей. И не потому одному его умиляетъ солнышко, что онъ считаетъ его своимъ двоюроднымъ братцемъ, но и потому, что лучи его одинаково свѣтятъ и правящимъ, и управляемымъ, и вообще всю природу согрѣваютъ и оживляютъ. Пускай не онъ одинъ, а всѣ вообще радуются и согрѣваются — онъ не только этому не препятствуетъ, но готовъ даже содѣйствіе оказать.

Нынѣ все это измѣнилось. Увы! изъ нынѣшнихъ администраторовъ едва ли найдется такой, который можетъ свободно на солнце взглянуть... А почему? — потому что такое ужъ нынче вѣяніе: и въ звѣрѣ, и въ птицѣ, и въ землѣ, и въ водахъ, и даже въ свѣтилахъ небесныхъ — во всемъ видѣть посягательство и грубіянство, которое необходимо усмирить.

Повторяю: формы, въ которыя облекались идеалы Покатилова, были нѣсколько неуклюжи, но самое зерно этихъ идеаловъ нѣсомнѣнно заслуживало сочувствія и похвалы. Онъ, прежде всего, пламенѣлъ передъ закономъ и не только не позволялъ себѣ выражаться, что такой-то законъ изданъ въ-попыхахъ, а такой-то представляетъ собой плодъ бунтующей плоти, но даже къ извѣстному афоризму: „по нуждѣ и закону премѣна бываетъ“ — относился съ величайшею осмотрительностью. „Бываетъ премѣна,—говорилъ онъ,—но лишь тогда, когда таковая въ законодательномъ порядкѣ утверждена“. Равнымъ образомъ, онъ не мололъ суконнымъ языкомъ, что сенатъ есть учрежденіе крамольническое, но, пылая къ нему сыновнею любовью, всякое разъясненіе съ его стороны принималъ, яко даръ, а порицаніе или похвалу — яко мзду и воздаяніе. Однимъ словомъ, сознавая себя лишь спицей

въ колесницѣ, онъ, вмѣстѣ съ другими спицами, скромно вертѣлся въ подлежащемъ колесѣ, трепеща и ревнуя, такъ точно, какъ въ томъ передъ Богомъ на страшномъ его судѣ отвѣтъ дать надлежитъ.

Вотъ каковъ былъ умница Покатиловъ. Конечно, это былъ въ своемъ родѣ антикъ, которому, за его непреоборимое уваженіе къ закону, не напрасно было присвоено наименованіе „Утѣшеніе сената"; однако-жъ я очень хорошо помню цѣлую школу администраторовъ, которые воспитаны были въ страхѣ сенатскомъ и ни мало этимъ не тяготились. И хотя не всѣ послѣдователи этой школы были столь же непреоборимы, какъ Покатиловъ, однако, ни одинъ изъ нихъ человѣческою своею слабостью хвалиться во всеуслышаніе не дерзалъ.

Очень возможно, что таковыя качества тайнаго совѣтника Покатилова побудили и презуса округлительной коммиссіи отнестись къ злоумышленіямъ его съ благосклонною симпатіей. Но, по мнѣнію моему, это было съ его стороны недоразумѣніе. Презусъ, очевидно, не понялъ Покатиловскихъ идеаловъ, или, лучше сказать, понялъ только ту ихъ часть, которая выражала стремленіе къ возстановленью московскихъ департаментовъ сената. Мысль о гарантіяхъ (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула отъ него, и я убѣжденъ, что еслибъ онъ ее понялъ...

Но не будемъ увлекаться гаданіями, а лучше подивимся мудрости Покатилова, который и въ самомъ бунтарствѣ своемъ явилъ несомнѣнную проницательность.

Онъ понялъ, что съ гарантіями, по нынѣшнему времени, соваться не приходится, и потому преднамѣренно утопилъ свою мысль въ цѣломъ морѣ белиберды. Белиберда—это, такъ сказать, воздухъ, которымъ дышемъ, хлѣбъ, которымъ мы питаемся. Это не только существеннѣйшій признакъ времени, но и отличнѣйшая во всѣхъ смыслахъ рекомендація. Во всѣхъ видахъ она хороша: и какъ pièce de résistance, и въ видѣ гарнира. Безъ ея содѣйствія, всуе будетъ труждаться зиждущій, съ ея помощью—даже возстановленіе московскихъ департаментовъ сената представляется лишь вопросомъ времени...

Но и за всѣмъ тѣмъ, сравните белиберду Покатиловскую съ тою, которую источаетъ его дальній родственникъ, тайный совѣтникъ Крокодиловъ, и вы удивитесь, какое существуетъ разнообразіе белибердъ, и какъ громадно можетъ быть разстояніе между ними.

Небо—и земля; солнце—и сальная свѣча; слонъ—и моська;

мраморныя палаты — и скромный досчатый кіоскъ для проходящихъ...

Никогда антиреформенные бунтари не дѣйствовали такъ рѣшительно, никогда не распложались въ такомъ множествѣ, какъ въ наше время. Вся интеллигентствующая Россія охвачена свѣтью конспиративныхъ белибердъ, которыя не могутъ опредѣлить предмета своихъ вожделѣній, и протестуютъ единственно подъ вліяніемъ взбудораженнаго темперамента. Въ глазахъ знаменоносцевъ кутерьмы, весь существующій порядокъ, по скольку въ немъ слышится стремленіе къ установленію принципа законности, есть не что иное, какъ плодъ нечаяннаго недоразумѣнія. Это не порядокъ, а міръ призраковъ, на который стоитъ лишь дунуть, чтобъ птица съ письмомъ „поспѣшай назадъ“ —немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замѣчательнѣе, нигдѣ это противоестественное, во имя белиберды протестующее, движеніе не распространено такъ сильно, какъ въ той средѣ, которая, по самой своей профессіи, обязывается стоять на стражѣ установившихся порядковъ.

Нѣтъ той мелкой сошки, которая не угрожала бы или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности нашли неожиданно-свободный исходъ, а безтолочь, десятками лѣтъ накоплявшаяся въ умахъ, вышла изъ береговъ и, какъ въ половодье, гнѣвно разлилась во всѣ стороны. Это уже не протестъ, исходъ котораго болѣе или менѣе гадателенъ, а цѣлая побѣда, сразу доведенная до безчинства. Надъ чѣмъ безчинство? Надъ порядкомъ, который на каждой страницѣ кодекса носитъ наименованіе, „установленнаго“, надъ порядкомъ, благодаря которому сыты, обуты и одѣты тѣ самые, которые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрываютъ.

Прислушайтесь къ безпутному гóмону, перекатывающемуся изъ края въ край и окончательно находящему убѣжище въ торжествующей части нашей такъ называемой прессы—и вы убѣдитесь, что самъ баснословный нѣтухъ не отличитъ, что̀ въ этой неистовой околесицѣ жемчужное зерно, и что̀ навозъ. И не отличитъ по очень простой причинѣ: ничего, кромѣ навоза, тутъ нѣтъ. Одно вполнѣ ясно въ этой сутолокѣ: на каждомъ шагу продается отечество. Продается и при содѣйствіи элеваторовъ, и при содѣйствіи транзитовъ, и даже при содѣйствіи джутовыхъ мѣшковъ. Все это въ сущности ни мало белибердоносцевъ не интересуетъ, а представляетъ лишь одинъ изъ современныхъ

таинственныхъ лозунговъ (несмѣняемость, динамитъ, конституція и т. п.), дающихъ нѣкій поводъ для надругательства.

Живые притаились въ могилахъ, мертвые самочинно встали изъ гробовъ и ходятъ по стогнамъ, стуча костями. Кладбищенское волшебство замѣнило здоровую, реальную жизнь. Такія слова вновь вошли въ обиходъ, которыя считались давно упраздненными; такія мысли пріобрѣли авторитетъ, отъ которыхъ недавно даже оселъ отказывался: что вы! никогда ничего подобнаго я не мыслилъ! На-дняхъ, мнѣ случилось въ одной изъ газетъ вычитать „правду", въ четырехъ строчкахъ нѣкоторымъ обывателемъ нацарапанную,—клянусь, я и не подозрѣвалъ, чтобы человѣческій языкъ былъ способенъ выговорить тѣ звуковыя сочетанія, которыя въ этой „правдѣ" безъ малѣйшаго затрудненія въ обнаженномъ видѣ осуществлены!

Я не говорю, чтобы такое положеніе вещей могло считаться серьёзно-угрожающимъ, но не скрываю отъ себя, что многое въ этомъ случаѣ зависитъ отъ того, глубоко ли укоренилась белиберда, или же корни ея расползлись только по поверхности.

Въ первомъ случаѣ, умственное оскудѣніе можетъ современемъ всѣ функціи общественной жизни извратить и довести до негодности; во второмъ—это оскудѣніе настигнетъ лишь тѣ слои общества, которые, за свое дурное поведеніе, окажутся вполнѣ того заслуживающими.

Но даже въ этомъ послѣднемъ, смягченномъ видѣ умственная атрофія представляется далеко небезопасною. Ежели знаменоносцы белиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать безсмыслицей весь общественный организмъ, то все-таки у нихъ имѣется въ рукахъ цѣлая номенклатура мелкихъ уколовъ, съ помощью которыхъ представляется возможность сдѣлать массу частнаго зла. У насъ, это частное зло какъ-будто даже и въ счетъ не идетъ. Исчезъ человѣкъ, наложилъ на себя руки, дошелъ до послѣдней степени отчаянія—велика важность! Намъ надо цѣлую уйму погибшихъ людей, чтобы встревожиться и признать въ этомъ фактѣ достойное вниманія явленіе...

Ахъ, господа, господа! согласитесь, однако, что и единичный человѣкъ—все-таки человѣкъ! Въ мірѣ червей, конечно, не особенно существенно, если раздавленъ какой-то одинъ червякъ. На червяка наступаютъ нечаянно, да и ему самому быть раздавленнымъ не такъ больно, потому что онъ ничего не предвидитъ и, слѣдовательно, ни къ чему не готовится. Но человѣкъ сознаетъ и предусматриваетъ; онъ видитъ ногу, которая занесена надъ нимъ, онъ знаетъ, зачѣмъ она занесена, и зрѣлище это

несомнѣнно должно породить въ немъ соотвѣтствующія ощущенія. Какія?

Эта легкая возможность частнаго зла совершенно удовлетворительно объясняетъ тайну успѣховъ белиберды. Герои, которые въ состояніи дать отпоръ, составляютъ исключеніе, а средній человѣкъ, которымъ кишитъ вселенная, судорожно цѣпляется за свою неповрежденность. Онъ-то своими боками и демонстрируетъ властность белиберды. Онъ охотно сторонится передъ белибердой, поддакиваетъ, ей лишь бы она прошла, незамѣтивъ его. И нерѣдко, дѣйствительно, проскальзываетъ, хотя и не безъ мучительныхъ изворотовъ. Ибо и белибердоносцы враждуютъ и препираются между собою, и они образуютъ партіи, между которыми приходится выбирать. Такъ, въ данную минуту, человѣка зарекомендовываетъ вотъ эта белиберда, а не та; не покатиловская, напримѣръ, а крокодиловская... Слѣдовательно и поддакивать нужно вотъ этой белибердѣ, а не той. Какъ тутъ угадать?

Мало кликнуть кличъ: поспѣшай назадъ!—надобно съ точностью указать, въ какой именно кіоскъ надлежитъ поспѣшать. Мало сказать: намъ ничего ненужно, кромѣ помоевъ,—надобно съ достовѣрностью опредѣлить вкусъ, цвѣтъ и запахъ искомыхъ помоевъ. Какъ разобраться въ этомъ разнообразіи? какъ угадать, какая белиберда надежнѣе, какой предстоитъ болѣе прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на капитуляцію, но и доходящая въ этихъ требованіяхъ до прихотливости — кто скажетъ, что это реальность, а не постыднѣйшее сновидѣніе обезумѣвшаго отъ страха раба?

А еще говорятъ о преувеличеніяхъ, о каррикатурѣ, о клеветѣ... О, маловѣры!

Однако, какимъ же образомъ жить? Какимъ образомъ устроиться съ чувствомъ самосохраненія, которое все-таки нельзя не принимать въ разсчетъ? Герои, конечно, легко отыщутъ выходъ и изъ самыхъ мучительныхъ затрудненій, но повторяю: не о герояхъ идетъ здѣсь рѣчь, а о тѣхъ среднихъ людяхъ, которые совершаютъ средніе, закономъ невозбраняемые, дѣла, и прежде всего желаютъ осуществить свое право на существованіе.

Какимъ образомъ имъ спастись? то-есть, не одно брюхо спасти, но и хоть съ эстолько души?

Къ счастію, у меня есть старинный другъ и товарищъ, Глуповъ, у котораго всегда на всякіе вопросы отвѣтъ готовъ. Это несомнѣнный мудрецъ. Въ древности, онъ, навѣрное, выдумалъ

бы пиѳагоровы штаны, а въ наше время ограничивается тѣмъ, что знакомитъ друзей съ наилучшими приспособительными пріемами, при помощи которыхъ можно припѣвачивая жизнь провести. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ только и дѣлаетъ, что приспособляется, и наконецъ, до того вошелъ во вкусъ, что во всеуслышаніе заявляетъ, что еслибъ отнять у жизни необходимость приспособленій, то она сдѣлалась бы столь же безвкусною, какъ каша безъ масла.

— Непремѣнно нужно, чтобы насъ что-нибудь подергивало,— говоритъ онъ:—какое-нибудь чтобы мы мучительство впереди видѣли, которое заставило бы насъ приспособиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнемъ.

Только разъ въ жизни, блеснуло у него въ головѣ, что и безъ приспособленій прожить можно. Это было въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда всѣмъ вообще приспособленія до того надоѣли, что даже звѣри радостнымъ рычаніемъ привѣтствовали эру освобожденія отъ нихъ.

— Теперь,—говорилъ мнѣ въ то время Глумовъ, потирая руки:—только черезъ одно приспособленіе еще пройти надо, а именно: приспособиться, какъ на будущее время безъ приспособленій прожить...

Но не успѣлъ онъ закончить процедуру этого самоприспособляющагося приспособленія, какъ уже вновь, потирая руки, возвѣщалъ:

— А вотъ и опять приспособленія пошли! а я-то, профанъ, разлетѣлся! чуть было и совсѣмъ не отвыкъ, да къ счастію, остерегся! И вотъ, теперь сразу на старый манеръ всѣ детали наладилъ, и опять у меня житьишко какъ по маслу пойдетъ.

Съ тѣхъ поръ, какія бы перемѣны въ температурѣ ни происходили, онъ какъ сталъ на стражѣ, такъ и не сходитъ съ позиціи. Аккуратно каждый годъ подписывается на куранты, и слѣдитъ. Прочитаетъ объ элеваторахъ—къ элеваторамъ готовиться начнетъ; прочитаетъ объ транзитѣ—къ транзиту готовиться начнетъ; прочитаетъ о джутовомъ мѣшкѣ — не знаетъ, какъ быть. И всѣмъ объявляетъ: теперь меня хоть на куски рѣжь! А въ послѣднее время началъ въ такое забвеніе чувствъ, что прямо на себя въ благопріятномъ свѣтѣ клевещетъ: у меня говоритъ, ни чувства, ни ума—ничего не осталось! весь я, и съ головой, и съ потрохами, насквозь приспособился!

Само собою разумѣется, что усердіе это даромъ ему не прошло. Не успѣли мы оглянуться, какъ онъ ужъ и мѣстечко хорошенькое неварокомъ заполучилъ. Прежде, вотъ видите ли,

его поодаль держали, опасались, какъ бы „онъ не отмочилъ", а теперь убѣдились, что въ немъ даже мочи, кромѣ необходимаго для облегченія количества, не осталось, и, въ соотвѣтствіе сему, отвели гдѣ-то въ провинціи прехорошенькій кіоскъ. Сидитъ онъ тамъ да приспособляется, а временемъ и въ Петербургъ наѣдетъ. Справится, какіе новые фасоны приспособленій вышли, и опять домой, въ кіоскъ.

Въ одинъ изъ такихъ наѣздовъ, онъ и обо мнѣ вспомнилъ. У курьера, по сосѣдству, младенца отъ купели воспринималъ, да и надумался: „дай, думаетъ, зайду! я вѣдь теперь ужъ такъ приспособился, что и заподозрить меня нельзя!" Взялъ да и пришелъ. Разумѣется, у подъѣзда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуту-другую, но, наконецъ, съ шумомъ распахнулъ дверь, взлетѣлъ въ третій этажъ: съ нами крестная сила... урррра!

Радостнымъ изліяніямъ конца не было.—Какъ дѣла? все ли у тебя по кіоску благополучно.—Все, кажется, слава Богу, благополучно!—Ну, слава Богу лучше всего и т. д. Словомъ сказать, обычный дружески-свѣтскій разговоръ.

— Ну, а ты какъ?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да что... нехорошо, братъ, мнѣ!

— Что такъ?

Да вотъ, молъ, такъ и такъ. Началъ я ему излагать, и что больше, то хуже выходитъ. Тайный, молъ, совѣтникъ, Крокодиловъ, на новый судъ ударилъ; лѣвое крыло ужъ перебилъ пополамъ, а правымъ хоть судъ еще и помахиваетъ, однако, увѣренности на полное возстановленіе полета ужъ нѣтъ.

Не успѣлъ я докончить, какъ уже лицо Глумова потемнѣло.

— Ну?

А еще, молъ, прибылъ сюда „свѣдущій" корнетъ Отлетаевъ и говоритъ, ни мало не стѣсняясь: все, молъ, надобно уничтожить; и земство, и суды, а отыскать, вмѣсто всего, благонадежнаго отставного прапорщика и ему препоручить: пускай всѣмъ помыкаетъ. А Крокодиловъ ему въ отвѣтъ: ахъ, какъ это хорошо!

— Ну?

— Помилуй, любезный другъ! чего же еще нужно?

— А тебѣ что за дѣло?

Я такъ и ахнулъ: вотъ этого-то именно вопроса я и не ожидалъ. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, какъ этотъ вопросъ долбитъ тебѣ голову, а вотъ когда надобно, чтобъ онъ возымѣлъ практическое дѣйствіе—тутъ-то именно его и нѣтъ какъ нѣтъ. Существуютъ, должно быть, такіе вопросы,

относительно которыхъ и опытъ вѣковъ, и воспитательные афоризмы—все оказывается всуе и втунѣ. Никогда они не укладываются такъ плотно въ сознаніи, чтобы не было совѣстно сразу ихъ формулировать.

— Послушай, голубчикъ, да вѣдь необходимо же до извѣстной степени принимать въ разсчетъ, что существуютъ разговоры, которые изнурительнымъ образомъ вліяютъ на мозги...

— Мозги? какіе мозги? по какому случаю? на какой предметъ? Взять его подъ сумленіе!

Глумовъ всталъ въ позу Любима Торцова, и при послѣдней фразѣ вытянулъ правую руку съ устремленнымъ указательнымъ перстомъ, какъ дѣлывалъ актеръ Садовскій. Глумовъ, сколько я помню, и прежде любилъ копировать Садовскаго въ роли Торцова, но теперь онъ, повидимому, сдѣлалъ изъ этого копированія приспособительный пріемъ. Вотъ молъ, господа милостивцы, я каковъ! всякое колѣнце для вашего увеселенія отколоть готовъ! Хотите, сцену изъ народной жизни сейчасъ разскажу!

— Глумовъ! да выслушай же меня!—взмолился я:—вѣдь Крокодиловъ проходу не даетъ! поймаетъ, возьметъ за пуговицу и держитъ. И говоритъ... ахъ, что онъ говоритъ! А въ заключеніе: надѣюсь, что вы вполнѣ съ моимъ мнѣніемъ согласны?

— А ты что на это?

— Я???!

И этого вопроса я не ожидалъ. Я? что бишь я такое дѣлалъ, покуда Крокодиловъ разглагольствовалъ? Кажется, я... Но позвольте, однакожъ... я!! что такое я?

— Но что же такое—я?—пробормоталъ я въ отвѣтъ:—что я могу? Съ одной стороны Крокодиловъ, съ другой... я!!! согласись...

— Понимаю и соглашаюсь. Собесѣдованія съ Крокодиловымъ, особливо ежели онъ держитъ тебя за пуговицу, дѣйствительно нельзя назвать безопасными. Это—вѣрно. Но затѣмъ возникаетъ вопросъ: можешь ли ты избѣжать этихъ собесѣдованій, или не можешь?

— Какъ же ихъ избѣжишь? Вѣдь Крокодиловъ—имя собирательное: уйдешь отъ одного, попадешь къ другому...

— И это вѣрно. Дѣйствующая практика именно въ такомъ смыслѣ и разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Я, братецъ, и самъ какъ увидѣлъ себя въ плѣну у Крокодиловыхъ, то воскликнулъ: экъ ихъ изъ всѣхъ щелей наполало! ну, теперь ужь не выкарабкаешься! Но тутъ же, впрочемъ веселѣньно прибавилъ: ничего, наше дѣло привышное! жили въ плѣну у Покатиловыхъ, жили въ плѣну у Гвоздиловыхъ, поживемъ и у Крокодиловыхъ!

— Зачѣмъ же однако, ты это прибавилъ, да еще „веселенько“?

— Да такъ, любезный другъ, должно быть, само собой, по старой привычкѣ прибавилось. Чудно̀ словно! столько плѣновъ перетерпѣли, и все-таки никакъ отъ плѣновъ не отвертимся!

— И силу Крокодиловскую одолѣть не можемъ; но объясни же, по крайней мѣрѣ, откуда эта сила взялась?

— Вотъ—вотъ—вотъ. Именно этотъ самый вопросъ я себѣ въ ту пору и предложилъ. Откуда молъ? что за причина? И по нѣкоторомъ размышленіи рѣшилъ такъ. Прежде всего съ того Крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, „сладкую привычку жить“ никакъ въ себѣ ограничить не можемъ. Ругаемъ мы эту жизнь распостылую, а у самихъ только и есть одна мысль въ головѣ: ахъ, хоть бы чуточку намъ пожить позволили! Вотъ Крокодиловъ этимъ и пользуется. Возьметъ тебя за пуговицу, растабарываетъ, а ты передъ нимъ ослабляешься, подтанцовываешь. Это значитъ, что ты „живешь“. Или увидитъ тебя Крокодиловъ по другую сторону улицы, не успѣетъ пальцемъ поманить, а ты ужъ стремглавъ навстрѣчу его тайнымъ помышленіямъ летишь. И это значитъ, что ты „живешь“. Ты могъ бы пройти мимо, могъ бы притвориться невидящимъ, могъ бы, наконецъ, въ проходныя ворота шмыгнуть, а ты, вмѣсто того, останавливаешься, нарочно въ глаза лѣзешь: позвольте въ присутствіи вашемъ пожить! Неужто же онъ не видитъ этого?—Ахъ, голубчикъ, не только онъ это видитъ, но и тебя самого, со всѣми твоими потрохами насквозь видитъ! Эге, говоритъ онъ, такъ вотъ его на чемъ подловить можно! И напираетъ, и напираетъ, до тѣхъ поръ, покуда не уткнетъ носомъ въ самый оный кіоскъ: живи!

— Глумовъ! но развѣ можно ставить людямъ въ вину, что „сладкая привычка жить“—въ существѣ своемъ вполнѣ законная,—сопрягается для нихъ съ такими осложненіями?

— Я и не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодиловъ только до нѣкоторой степени силу свою самолично создаетъ, въ значительной же мѣрѣ онъ отъ насъ, простецовъ, ее получаетъ. Все въ насъ наиблагопріятнѣйшимъ образомъ для него сложилось. „Сладкая привычка жить“—это само по себѣ; но рядомъ съ нею, и какъ отличнѣйшее къ ней дополненіе, еще другая особенность: необыкновенная готовность къ приспособленіямъ. Вспомнилось мнѣ на-дняхъ случайно, какъ меня въ дѣтствѣ у папаши прощенья просить заставляли, такъ, повѣришь ли, такъ я и ахнулъ: вотъ они, съ которыхъ поръ, приспособленья то наши, начались! Огорчишь, бывало, папашу, а прощенья просить не хочется. Вотъ мамаша съ тетеньками и похаживаетъ около

тебя. „Развѣ тебя убудетъ отъ того, что ты скажешь папенькѣ: пардонъ, папа?“ уговариваетъ мамаша. „Развѣ у тебя языкъ отвалится?“ убѣждаетъ одна тетенька. „Развѣ у тебя заболитъ головка?“ подбадриваетъ другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предики, возьмешь да и выпалишь: пардонъ, папа! И чтожъ, дѣйствительно, какъ по писанному, такъ и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни языкъ не отваливался, ни голова не болѣла... Прошло дѣтство, настала настоящая жизнь, и что дальше, то больше. Стонъ кругомъ стоитъ: развѣ тебя убудетъ? развѣ языкъ у тебя отвалится? Тутъ и литература, и наука, и нравственный кодексъ—все тутъ. А вдали, въ перспективѣ, дилемма: съ одной стороны, храмъ славы съ надписью: „Не убудетъ“; съ другой—волчье существованіе среди наускиваній и шипѣній. Спрашивается: какъ съ этимъ быть? какъ безъ срама устроиться съ „сладкой привычкой жить“, которая, какъ ты самъ сейчасъ сказалъ, въ существѣ своемъ, вполнѣ законна? Тутъ-то вотъ Крокодиловы и подстерегаютъ тебя: цапъ, цапъ, цапъ...

На этомъ наша бесѣда и кончилась. Вызвана она была вопросомъ: какъ съ этимъ быть? и разрѣшилась... тѣмъ же вопросомъ.

Н. Щедринъ.

НАЦІОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ

въ

СТАРОМЪ И НОВОМЪ СВѢТѢ.

„Ничто не ново подъ луною“, гласитъ одна изъ тѣхъ поговорокъ, которую трудно было бы считать исключительно русской, такъ какъ въ измѣненной только формѣ она повторяется одинаково и французами, и нѣмцами... „Ничто не ново подъ луной“ — это значитъ, что все то, къ чему сводятся наши сокровенныя желанія, наши лучшія стремленія, изъ-за чего стоитъ жить въ настоящемъ и надѣяться на будущее, не болѣе, какъ продолженіе тысячелѣтія назадъ высказанныхъ желаній и обнаруженныхъ стремленій. И въ самомъ дѣлѣ: гдѣ тотъ современный вопросъ, который не являлся бы такимъ уже въ древней Греціи и Римѣ, въ средневѣковыхъ республикахъ Италіи, въ Англіи XVII вѣка? Народовластіе, равенство, свобода, всѣ эти идеи французской революціи, развѣ ихъ нѣтъ у Аристотеля? организація труда, общеніе имуществъ—развѣ обо всемъ этомъ не говорилъ уже Платонъ? Но, если поговорка—„ничто не ново подъ луною“, кажется на первый взглядъ аксіомой, то такой же аксіомой слѣдуетъ признать, какъ мы полагаемъ, и то, не менѣе общепризнанное изреченіе, которое гласитъ: „нѣтъ правила безъ исключенія“!

Если въ сферѣ политическихъ вопросовъ новое время выставило на очередь вопросъ по-истинѣ новый, то такимъ слѣдуетъ признать національный вопросъ. Никогда еще, ни въ древности, ни въ средніе вѣка, національность не являлась ни цементомъ,

соединяющимъ во-едино исторіей разрозненныя народности, ни реагентомъ, которымъ искусственно созданные политическіе конгломераты разлагались бы на ихъ составныя части. Идея универсальной республики, завѣщанная новому міру древнимъ, является сама по себѣ рѣшительнымъ отрицаніемъ національности въ сферѣ политики. Древнему міру извѣстна была борьба религій и обусловленныхъ ими цивилизацій; ему неизвѣстно было стремленіе единокровныхъ и общественныхъ группъ къ внѣшнему признанію ихъ индивидуальной самобытности, ихъ права устроить свою политическую жизнь отдѣльно и независимо отъ народовъ, разныхъ съ ними по крови и языку, хотя и родственныхъ имъ по религіи и культурѣ. Стремленія къ политической обособленности въ это время всегда имѣли своей основой не антропологическія или этнографическія различія, а религіозную нетерпимость, непониманіе и недоброжелательство къ чужой вѣрѣ и чужой гражданственности. Вавилонское плѣненіе потому не повело къ политическому объединенію евреевъ съ племенами Передней Азіи и Месопотаміи, что поклонники Іеговы не могли перейти въ поклонниковъ Ваала. Греческія республики съ ихъ широкимъ народовластіемъ, съ ихъ возведеннымъ на степень культа обожаніемъ человѣка, боготвореніемъ одинаково его добродѣтелей и пороковъ, въ своемъ отпорѣ персамъ явились не столько защитниками идеи національности, сколько противниками восточнаго деспотизма и того дуализма добра и зла, который составляетъ основу Зороастрова ученія. Лучшимъ доказательствомъ этому, надежнымъ ручательствомъ тому, что на поляхъ Мараѳона, какъ и въ колоніяхъ новой Греціи, вопросъ шелъ не объ огражденіи греческой національности, а о торжествѣ эллинской культуры, служитъ то обстоятельство, что невозможная для Ксеркса на почвѣ персидской культуры универсальная монархія оказалась возможной для Александра Македонскаго на почвѣ эллинской; точно такъ же, какъ много вѣковъ спустя, она была возможна для Цезарей и Августовъ опять на тѣхъ же условіяхъ всемірнаго признанія усвоенной римлянами эллинской культуры. Нашествіе варваровъ и основаніе ими на развалинахъ римской имперіи самостоятельныхъ политическихъ тѣлъ нерѣдко разсматривается какъ первое проявленіе въ исторіи идеи національности. Такое мнѣніе мнѣ кажется ошибочнымъ. Политическій переворотъ, которымъ открывается исторія новаго міра, несомнѣнно вызванъ былъ не стремленіемъ отдѣльныхъ поглощенныхъ Римомъ народностей къ самостоятельному политическому существованію, а желаніемъ ихъ устроить свою жизнь на началахъ, чуждыхъ эллино-римской культурѣ

Первымъ отрицаніемъ послѣднихъ явилось христіанство. Проведенная имъ впервые въ жизни идея равенства плохо мирилась съ классовой организаціей, на которой держался древній міръ, съ обращеніемъ въ полусвободу и рабство милліоновъ людей, въ интересахъ небольшого сравнительно числа римскихъ гражданъ. Идея равенства и идея самоуправленія лежатъ въ основѣ всѣхъ стремленій варваровъ къ отпаденію отъ Рима. Но имъ столь же чуждо сознаніе необходимости положить въ основу своего политическаго существованія антропологическое или этнографическое единство, какъ и мысль о замѣнѣ туземными языками всемірнаго латинскаго языка. Династическими и религіозными интересами опредѣляется также большинство тѣхъ многочисленныхъ измѣненій, которыя происходятъ въ политической картѣ Европы въ теченіе какъ второй половины среднихъ вѣковъ, такъ и въ тѣ столѣтія, которыя повели къ образованію большинства современныхъ государствъ Европы. Неаполь въ рукахъ арагонской или анжуйской династіи, Амстердамъ и Гага въ рукахъ испанцевъ—что это, какъ не рѣшительное отрицаніе идеи національности, отрицаніе столь же грубое, какъ и то, съ какимъ связана всякая попытка оживленія всемірной имперіи римлянъ, начиная съ Карла и оканчивая Наполеономъ I. Чтобы встрѣтиться съ идеей національности, какъ съ дѣятельнымъ факторомъ политическихъ переворотовъ, надо перейти къ новѣйшему времени, къ той эрѣ, которая открывается французской революціей и вызванной его попыткой новаго объединенія Европы на завѣщанныхъ ею же началахъ. Но прежде чѣмъ говорить о національности и о вліяніи, оказанномъ національнымъ самосознаніемъ на событія новѣйшей исторіи, не мѣшаетъ предварительно условиться въ томъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ ними.

Извѣстный венгерскій публицистъ и государственный дѣятель, Этвешъ, справедливо говоритъ, что сознаніе своей національности у народовъ тоже, что у отдѣльныхъ лицъ сознаніе ихъ личности. „Національностью,—говоритъ онъ,—мы должны признать всякую народную группу, въ которой развито сознаніе принадлежности каждаго отдѣльнаго члена къ общему цѣлому, а самое это сознаніе и есть то, что называютъ чувствомъ національности, иначе—національнымъ самосознаніемъ. Это сознаніе можетъ быть продуктомъ разныхъ причинъ: сходства языка, принадлежности къ одному племени, общаго историческаго прошлаго, наконецъ общности интересовъ въ настоящемъ“. Къ одной изъ этихъ четырехъ причинъ можно всегда свести происхожденіе чувства національности. Но если всѣ указанные факторы одинаково порождаютъ это чувство, то сила

ихъ дѣйствія далеко неодинакова. Мы нигдѣ не видимъ національностей, сложившихся исключительно подъ вліяніемъ сходства языка или племеннаго сродства. Сходство языка, какъ и принадлежность къ одному племени можетъ служить причиной глубокихъ симпатій между отдѣльными народами, но мотивомъ соединенія массы людей въ одно нераздѣльное цѣлое оно является только при одновременномъ дѣйствіи другихъ причинъ, какъ-то: общихъ историческихъ воспоминаній о прошедшемъ, или согласія интересовъ въ настоящемъ. Объединеніе Германіи и Италіи совершилось подъ вліяніемъ не одного племеннаго сродства, единства языка и литературы; здѣсь дѣйствовали еще другія, болѣе сильныя причины: въ Германіи—воспоминанія о славномъ прошломъ германской имперіи среднихъ вѣковъ, въ Италіи—сознаніе единства интересовъ въ настоящемъ. Различіе въ языкѣ и племени не мѣшаетъ населенію Бельгіи сохранять свое политическое единство, а населенію Эльзаса стремиться къ возсоединенію съ Франціей. Попытки къ объединенію славянскаго населенія Австріи, предложенныя на пражскомъ съѣздѣ славянъ, удались только въ смыслѣ духовнаго единенія славянъ, между тѣмъ какъ стремленіе всякой исторической національности въ Австріи отвоевать себѣ независимое, автономическое существованіе съ каждымъ годомъ получаетъ все бо́льшіе шансы на успѣхъ. Сказаннымъ опредѣляется—какія движенія заслуживаютъ названіе національныхъ. Требованія перемѣнъ въ территоріальномъ составѣ европейскихъ государствъ, въ смыслѣ ли дробленія ихъ на части, или соединенія съ другими исключительно по причинѣ единства племени и сходства языка, требованія, осуществленіе которыхъ немыслимо иначе, какъ съ нарушеніемъ историческаго права или съ ущербомъ для дѣйствительныхъ интересовъ гражданъ, такія требованія, хотя и прикрываются названіемъ національныхъ—на самомъ дѣлѣ не болѣе, какъ политическія измышленія ученыхъ лингвистовъ и этнографовъ, раздѣляемыя лишь бо́льшимъ или меньшимъ числомъ ихъ адептовъ.

Опредѣливши, что̀ такое принципъ національности, и указавши, какія движенія не имѣютъ права называть себя національными, обратимся къ разсмотрѣнію вопроса о значеніи, какое имѣлъ этотъ принципъ въ новѣйшей исторіи Европы. Первыя проявленія его въ сферѣ международныхъ сношеній относятся, какъ я уже сказалъ, къ эпохѣ, непосредственно слѣдовавшей за послѣдней попыткой объединенія Западной Европы въ формѣ демократической имперіи. Отправляясь отъ идеи народнаго верховенства не только неотчуждаемаго, но и недѣлимаго, фран-

цузская революція и вызванный ею къ жизни наполеоновскій режимъ съ одинаковой враждебностью относились, какъ ко всякимъ попыткамъ сохранить автономію и мѣстное самоуправленіе, такъ и къ стремленіямъ отдѣльныхъ частей имперіи удержать особенности ихъ національной культуры и въ частности ихъ историческое право. Все, что несогласно было съ государственнымъ единствомъ, все что ограничивало, хотя отчасти, всемогущество центральнаго правительства, все, что противорѣчило не только равенству, но и единообразію, не могло разсчитывать на пощаду со стороны доктринеровъ французской революціи. Этому нивелирующему направленію, съ полнымъ отрицаніемъ относившемуся къ національному принципу, не былъ положенъ конецъ и закончившимъ періодъ Наполеонидовъ вѣнскимъ конгрессомъ. Кладя по-прежнему въ основу международныхъ сношеній устарѣлое начало политическаго равновѣсія, смотря на государство, какъ на искусственное созданіе, вызываемое къ жизни не народными, а династическими интересами, вѣнскій конгрессъ счелъ возможнымъ не только закрѣпить раздѣлъ Польши между тремя сосѣдними съ нею государствами, но и оставить въ рукахъ нѣмцевъ цѣлыя провинціи, заселенныя чуждыми имъ итальянскими народностями, въ то же время датчанамъ и французамъ отдать куски нѣмецкой земли, наконецъ соединить въ единое политическое цѣлое (нидерландское королевство) валлоновъ, фламандцевъ и голландцевъ.

Но если вѣнскій конгрессъ только продолжилъ собою ту нивелирующую политику, то отрицаніе историческаго права, какими ознаменовала себя французская революція, то, съ другой стороны, въ провозглашенныхъ послѣдней началахъ народнаго суверенитета и равенства, заключались несомнѣнно тѣ элементы, изъ которыхъ въ ближайшемъ будущемъ неизбѣжно должно было развиться движеніе, непосредственно направленное противъ господствовавшаго дотолѣ политическаго теченія. Говоря это, я разумѣю, что производимый революціей принципъ суверенитета націи, въ связи съ началомъ равенства составляющихъ послѣднюю этнографическихъ единицъ (національностей), плохо мирится съ тѣмъ всепоглощающимъ вліяніемъ, какое неизбѣжно принадлежитъ во всякомъ смѣшанномъ по населенію государствѣ господствующей въ немъ народности, какъ представительницѣ численнаго большинства. Идея народнаго верховенства въ примѣненіи къ составляющимъ народъ національностямъ, необходимо влечетъ къ признанію за послѣдними свободы самоопредѣленія, какъ необходимаго аттрибута самодержавія, другими словами, права такъ или

иначе рѣшать свою политическую судьбу, оставаясь ли въ предѣлахъ обнимающаго ихъ государства, или расторгая связь съ нимъ и ища соединиться съ болѣе близкими къ нимъ по языку и прошлому народными группами. Съ особенною силою такое стремленіе должно было сказаться на протяженіи центральной Европы, и именно той ея половины, которая занята теченіемъ Дуная, и его притоковъ. Здѣсь со временъ великаго переселенія народовъ, осѣлись самыя разноплеменныя народности, не только славяне и германцы, но и народы тюркской расы,—венгры, къ которымъ съ XV вѣка присоединились еще турки. Если прибавить къ этому, что народы эти, по уровню образованія, мало чѣмъ отличаются другъ отъ друга, за исключеніемъ развѣ нѣмцевъ, слишкомъ малочисленныхъ, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ частяхъ названной области, чтобы ассимилировать себѣ остальные, — то легко будетъ понять причину, по которой эта именно часть Европы сдѣлалась ареной наиболѣе упорныхъ и доселѣ не прекращающихся національныхъ движеній. Тогда какъ въ Германіи національныя движенія съ самаго начала направились къ оживленію славнаго прошлаго германской націи, къ возстановленію того политическаго единства, какимъ пользовалась она во времена Гогенштауфеновъ,—тогда какъ на итальянскомъ полуостровѣ такое движеніе выразилось въ стремленіи низвергнуть иго иноземцевъ и соединиться въ единое политическое цѣлое въ интересахъ совмѣстной обороны и совмѣстнаго же развитія гражданскаго оборота,—въ области Дуная и его притоковъ національное движеніе съ самаго начала приняло разлагающій характеръ, свелось къ требованію отказаться отъ политическаго единства подъ условіемъ не только оживленія историческаго прошлаго, но и созданія новыхъ политическихъ организацій, въ основу которыхъ положено было бы единство языка и этнографическаго состава. Слабое на протяженіи всей романской половины Европы, сказывающееся въ ней скорѣе въ сферѣ литературной, нежели политической, вполнѣ восторжествовавшее съ другой стороны въ Германіи и Италіи, движеніе національностей въ наши дни является очереднымъ вопросомъ въ одной только Австріи, да Турціи. Въ послѣдней изъ названныхъ странъ оно повело уже къ созданію новыхъ политическихъ тѣлъ,—румынскаго государства, Сербіи и Черногоріи, Болгаріи и Греціи. Въ одной только Австріи то политическое единство, противъ котораго оно, повидимому, направлено, продолжаетъ держаться подъ условіемъ однако рѣшительнаго перерожденія и постепеннаго перехода къ федералистическому устройству. Говоря о значеніи

національнаго вопроса въ наше время, мы очевидно должны остановиться на характеристикѣ той роли, какую онъ играетъ въ Австріи, какъ той изъ западно-европейскихъ странъ, будущее которой наиболѣе зависитъ отъ того или иного порядка его рѣшенія.

Къ общимъ причинамъ, вызвавшимъ развитіе національной исключительности на протяженіи всей Европы, въ Австріи присоединились еще особенныя. Ни одно государство Европы не обязано въ такой мѣрѣ своимъ существованіемъ дѣйствію чисто случайныхъ причинъ, какъ австрійская имперія. Сравнительно ничтожная по своему территоріальному протяженію, едва обнимавшая центральныя нѣмецкія провинціи, политическимъ центромъ которыхъ является Вѣна, Восточная Марка, зерно нынѣшней австрійской имперіи быстро возрастаетъ въ своемъ территоріальномъ составѣ, благодаря брачнымъ и наслѣдственнымъ договорамъ. Въ XII в. присоединяется къ ней Штирія и Каринтія, въ XIII — Крайна, въ XIV—Тироль и Герцъ съ Форальбергомъ. Въ XV съ прекращеніемъ люксембургской династіи въ лицѣ Сигизмунда, Венгрія и Богемія вступаютъ въ личную унію съ Австріей, сохраняя въ то же время, въ полной неприкосновенности, свое историческое право, свои вѣками созданныя конституціи. Правъ былъ венгерскій патріотъ Гуніадъ, говоря въ своихъ латинскихъ виршахъ: „тогда какъ другія государства войнами увеличиваютъ свой территоріальный составъ, ты, счастливая Австрія, достигаешь того же результата браками; что другимъ даетъ Марсъ,—то доставляетъ тебѣ богиня любви—Венера“. До начала XVII в. союзъ Богеміи съ Австріей не ведетъ за собою иныхъ послѣдствій, кромѣ соединенія въ лицѣ одного правителя правъ австрійскаго эрцгерцога и богемскаго короля. Но пораженіе чешскихъ ополченій въ знаменитомъ Бѣлогорскомъ сраженіи 1620 года и послѣдовавшее затѣмъ на разстояніи семи лѣтъ упраздненіе Фердинандомъ II-мъ вольностей богемскаго сейма производитъ, болѣе двухъ вѣковъ продолжающійся перерывъ въ развитіи правъ и политическихъ вольностей чешскаго народа.

Иная судьба постигаетъ венгерскую конституцію. Попытки Іосифа II подвергнуть ее тѣмъ измѣненіямъ, какихъ требовало преслѣдуемое имъ политическое единство, падаютъ передъ систематической оппозиціей мадьяръ, которымъ такимъ образомъ удается удержать въ неприкосновенности свою средневѣковую сословную монархію съ ея широкимъ ограниченіемъ самодержавія, съ ея почти безпримѣрнымъ всемогуществомъ сейма, имѣвшаго даже право оставлять безъ обсужденія предлагаемые правительствомъ законо-

проекты, или, выражаясь языкомъ старинныхъ венгерскихъ актовъ, „ponere ad acta“ — прилагать ихъ къ прочимъ хранящимся въ архивѣ бумагамъ.

Такимъ образомъ, австрійская имперія, вызванная къ жизни въ 1804 г. самодержавною волею Франца II и косвенно наполеоновской политикой, по-истинѣ можетъ быть названа искусственно созданнымъ политическимъ конгломератомъ, поддерживаемымъ въ жизни соображеніями европейскаго равновѣсія, абсолютизмомъ монарховъ и преданной престолу и династіи австрійской арміей. Удивительно ли послѣ этого, если съ паденіемъ прежнихъ ея устоевъ, съ измѣненіемъ во взглядахъ европейскихъ правительствъ на необходимость искусственнаго поддержанія ея территоріальнаго состава въ интересахъ всеобщаго мира, съ паденіемъ абсолютизма и упадкомъ ея военнаго могущества, необходима должна была сказаться въ Австріи въ бо́льшей мѣрѣ, чѣмъ гдѣ-либо, та центробѣжная сила, то стремленіе къ отпаденію, корень которой лежитъ въ стремленіи составляющихъ ее народностей къ удержанію или возстановленію ихъ историческаго права. Съ другой стороны, и само австрійское правительство сдѣлало не мало въ пользу искусственнаго привитія этимъ послѣднимъ той обособленности и того взаимнаго непониманія интересовъ другъ друга, которыя въ недавнее время не разъ грозили дальнѣйшему существованію австрійскаго единства. Національная рознь—въ значительной мѣрѣ созданіе самого правительства, видѣвшаго въ ней оплотъ абсолютизму и охотно воскрешавшаго на практикѣ теорію римскихъ императоровъ: „divide et impera“. Слѣдующія слова императора Франца вѣрно характеризуютъ собою образъ дѣйствія австрійскаго правительства, направленный къ искусственному возбужденію національной ненависти и вражды. „Мои народы,—сказалъ онъ однажды французскому послу при его дворѣ,—чужды другъ другу, и это къ лучшему: они не заболѣваютъ одновременно одними болѣзнями. Во Франціи, когда появляется политическая лихорадка, она постигаетъ разомъ всѣхъ. Я же пошлю венгровъ въ Италію и итальянцевъ въ Венгрію. И тѣ, и другіе взаимно удерживаютъ другъ друга, непонимая, ненавидя и вредя одинъ другому. Благодаря обоюдному недоброжелательству, держится въ моемъ государствѣ порядокъ, и изъ взаимной ненависти возникаетъ общій миръ“.

Сдерживаемыя до 1848 года абсолютизмомъ Габсбурговъ, національныя страсти при первоначальномъ своемъ проявленіи въ имперіи, явились, по счастливому выраженію Пасси, по-истинѣ разлагающею силою (force dissolvante). Одно время можно было

сомнѣваться въ томъ, устоитъ ли австрійское единство среди возникшихъ одновременно въ разныхъ концахъ имперіи національныхъ столкновеній. Между тѣмъ, какъ австрійскіе нѣмцы, произведшіе революцію въ Вѣнѣ, болѣе заботились о сплоченіи германскаго единства, нежели о конституціонномъ устройствѣ Австріи; славянскія народности высказывали на пражскомъ съѣздѣ желаніе объединенія въ видахъ дружнаго отпора нѣмцамъ; Венгрія и ломбардо-венеціанское королевство обнаруживали стремленіе къ отпаденію; чехи были въ открытомъ мятежѣ, требовали не только полной провинціональной автономіи, но и соединенія Богеміи съ Моравіей и Силезіей; хорваты высказывались въ пользу образованія Тріединаго королевства (изъ Кроаціи, Славоніи и Далмаціи); и потрясенное до корней государственное единство имперіи едва находило защиту въ вѣрныхъ династіи тирольцахъ. Въ виду такихъ чрезвычайныхъ событій, императоръ поспѣшилъ даровать конституцію, думая тѣмъ самымъ положить конецъ революціонному броженію. Но апрѣльская конституція не дала признанія требованіямъ отдѣльныхъ національностей, и была встрѣчена ими поэтому не только равнодушно, но и враждебно. Думая удовлетворить народнымъ желаніямъ, правительство предоставило самому сейму трудную задачу устройства имперіи. Но сеймъ не выполнилъ возложенной на него задачи, въ виду того, что національныя пристрастія проявились на немъ съ такой необузданностью, что взаимное примиреніе ихъ оказалось дѣломъ практически невыполнимымъ. Никакія историческія права не казались священными фанатическимъ защитникамъ національнаго принципа. Въ интересахъ послѣдовательнаго его приведенія, Палацкій дробилъ Венгрію, Галицію, Тироль, возстановляя тѣмъ самымъ противъ себя и своего проекта весьма чуткій въ Австріи областной патріотизмъ. Плоды такой политики не заставили себя ждать. Хотя и издана была императоромъ новая конституція (4 марта 49 г.), но она, какъ враждебная федеративному началу, не повела за собою успокоенія революціоннаго движенія въ имперіи, и осталась не болѣе какъ неудавшимся опытомъ образовать изъ Австріи политически-единое цѣлое. Съ другой стороны, узкость и эгоистичность требованій, предъявленныхъ національностями на кремзирскомъ сеймѣ, не дала возможность устроить имперію на началахъ, которыя бы равно удовлетворяли требованіямъ всѣхъ національностей. Въ выигрышѣ отъ всего этого оказалась одна королевская власть. Австрійское правительство воспользовалось снова прежнимъ средствомъ, съ неменьшимъ успѣхомъ; оно возстановило одну народность противъ другой и, съ помощью подоспѣвшихъ во-время

русскихъ войскъ, силою оружія подавила возстаніе во всей имперіи. Для Австріи наступило снова старое доброе время отеческаго режима. 12 лѣтъ продолжался этотъ послѣдній, пока открытое банкротство и военныя неудачи въ Италіи не нанесли ему рѣшительнаго удара. Послѣ мира въ Виллафранкѣ для Австріи вновь открылась эпоха конституціонной жизни, а съ ней—возможность различнымъ національностямъ добиваться взаимнаго признанія ихъ правъ. Наученные опытомъ, предводители національныхъ движеній оказались на этотъ разъ болѣе благоразумными въ своихъ требованіяхъ. Идея національности, первоначально смутно сознаваемая самими защитниками ея, получила съ 60-хъ годовъ желательную ясность и опредѣленность. Интересы расы и языка отошли на второй планъ и уступили мѣсто историческому праву. Венгры начали требовать возстановленія своей старинной конституціи; чехи добиваться признанія правъ короны св. Венцеслава; поляки провинціальной автономіи для королевства Галиціи, Лодомиріи, Буковины и краковскаго округа; сербы—возстановленія стариннаго привилегированнаго положенія Хорватіи и Славоніи по отношенію къ Венгріи.

Но съ измѣненіемъ требованій, предъявляемыхъ различными національностями, не ослабла вражда къ нимъ нѣмецкой централистической партіи. Дѣйствующая конституція 61 года есть ея созданіе, и она употребляетъ все свое стараніе, чтобы защитить ее отъ многочисленныхъ нападковъ, дѣлаемыхъ на нее различными національностями Австріи (поэтому партія эта съ 70-хъ годовъ и получила названіе вѣрной конституціи—Verfassungstreue Partei).

Въ глазахъ защитниковъ историческаго права, Австрія не представляетъ такого политическаго единства, какъ напримѣръ Франція. Она составилась постепенно изъ нѣсколькихъ самостоятельныхъ государствъ, добровольно признавшихъ надъ собою господство одной династіи. Поэтому прочное устройство ея въ ихъ глазахъ—возможно только подъ условіемъ признанія полной самостоятельности этихъ государствъ и установленія между ними одной федеративной связи, необходимой въ интересахъ защиты каждаго изъ нихъ противъ общихъ враговъ. Итакъ, защитники историческаго права ищутъ не самоуправленія, а автономіи. Они враждебны не только административной, но и политической централизаціи, и вмѣсто единаго государства хотятъ федераціи. Равноправіе всѣхъ, не однихъ только историческихъ національностей, обезпечивается ими предоставленіемъ каждой народности, хотя бы и составляющей меньшинство населенія той или другой области,

права обращаться въ суды и къ правительственнымъ органамъ на родномъ языкѣ и требовать введенія послѣдняго въ народныя школы. Если таковы желанія защитниковъ централистовъ—то съ другой стороны программа историческаго права ихъ противниковъ въ немногихъ словахъ можетъ быть передана въ слѣдующемъ видѣ. Австрія, управляемая общимъ для всѣхъ частей ея министерствомъ, отвѣтственнымъ предъ единымъ для всей страны представительнымъ собраніемъ, избираемымъ путемъ прямыхъ выборовъ,—вотъ идеалъ устройства, къ которому стремятся всѣ предводители этой партіи, начиная отъ Искры и оканчивая Унгеромъ. Нельзя сказать, чтобы вѣрная конституціи партія оказывала противодѣйствіе всякой системѣ провинціональнаго самоуправленія; она враждебна только автономіи, не признавая за отдѣльными народностями имперіи права на самобытное существованіе, она въ то же время допускаетъ введеніе ихъ языковъ въ народныя школы и до нѣкоторой степени въ суды и правительственныя учрежденія. „Мы хотимъ,—говоритъ Унгеръ, одинъ изъ ея предводителей,—основать наше конституціонное устройство, на прочномъ фундаментѣ равноправія національностей. Мы искренно желаемъ, чтобы ни религія, ни національность не установляли никакого различія между гражданами нашего отечества. Требованія, предъявляемыя различными національностями, должны быть удовлетворены закономъ въ той мѣрѣ, въ какой они не посягаютъ на единство и цѣлость общаго отечества“.

Изложивши сущность требованій, предъявляемыхъ обѣими партіями, касательно устройства имперіи, постараемся свести къ нѣсколькимъ положеніямъ главнѣйшія изъ возраженій централистовъ, какъ вообще противъ обращенія Австріи въ федерацію, такъ и противъ отдѣльныхъ видовъ ея устройства на федеративныхъ началахъ.

Важнѣйшее изъ нихъ состоитъ въ утвержденіи, будто такое устройство необходимо должно имѣть своимъ послѣдствіемъ безсиліе австрійскаго государства. Австрія прежде всего нуждается въ единствѣ, говоритъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ централистовъ, баронъ Этвешъ. Слабыя узы федераціи недостаточны для государства, по своему географическому положенію, находящагося между двумя монархіями, изъ которыхъ одна, въ силу необходимости, стремится къ расширенію своихъ границъ, а другая съ каждымъ годомъ приближается къ паденію. Такое положеніе можетъ вызвать въ федералистахъ слѣдующее, совершенно справедливое, возраженіе: ничѣмъ не доказано, что безсиліе есть необходимое послѣдствіе федеративнаго устройства государства. Правда, что

исключительное положеніе Швейцаріи, какъ страны, объявленной вѣчно нейтральной, и Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, какъ государства, неимѣющаго себѣ соперника на американскомъ континентѣ, не могло дать увѣренности въ могуществѣ и силѣ этихъ федерацій, но оно не можетъ также служить основаніемъ къ утвержденію противнаго.

Съ другой стороны, единство политическое не есть непремѣнный залогъ силы и могущества, особенно когда оно должно быть поддерживаемо насильственно, вопреки желанію большинства населенія. Тотъ же Этвешъ, въ другомъ мѣстѣ, признаетъ, что „внутренняя сила извѣстнаго государства обусловливается степенью патріотизма его гражданъ, ихъ привязанностью къ общему отечеству". Насильственное поддержаніе государственнаго единства имперіи, вопреки желанію національностей, едва ли будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ усиленіе этого чувства. Оно поведетъ лишь къ столкновеніямъ, борьбѣ и неизбѣжному въ крайнемъ исходѣ ослабленію государства. Въ своемъ адресѣ императору отъ 9 октября 1871 года, богемскій ландтагъ совершенно вѣрно говоритъ, что дѣйствительный источникъ силы и залогъ прочности государства заключаются въ раздѣляемой всѣми народностями имперіи увѣренности въ томъ, что свободное развитіе ихъ національныхъ особенностей не встрѣтитъ никакихъ препятствій со стороны закона и власти. Только эта увѣренность можетъ возбудить въ нихъ привязанность къ общему отечеству.

Отъ критики тѣхъ возраженій, какія представляются централистами противъ всякаго вообще федеративнаго устройства Австріи, перейдемъ къ разсмотрѣнію тѣхъ началъ, на какихъ должна быть построена, по мнѣнію предводителей національныхъ движеній, федерація королевствъ и земель, входящихъ въ составъ имперіи Габсбурговъ.

Въ различное время были представляемы разные планы федеративнаго устройства имперіи. При всемъ ихъ разнообразіи, они могутъ быть сведены къ двумъ главнымъ схемамъ. Въ государствѣ, какъ Австрія, въ которомъ „федеративный принципъ имѣетъ отрицательное значеніе", какъ выразился о немъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ федералистовъ—графъ Лео Тунъ, другими словами, требуетъ дѣленія ея на автономныя части,—весь вопросъ сводится къ тому, по какой системѣ будетъ построено это дѣленіе. Одни кладутъ въ основаніе его принципъ равнаго признанія за каждой національностью, или правильнѣе—нарѣчіемъ права на автономное существованіе, въ качествѣ члена федераціи. Другіе сохраняютъ старинное дѣленіе имперіи на королевства, герцогства

и графства, дѣленіе построенное на почвѣ историческаго права, и признаютъ существованіе однихъ историческихъ національностей.

Разсмотримъ теперь, какія выгоды и невыгоды представляютъ объ указанныя системы, и насколько сильны возраженія, дѣлаемыя централистами противъ каждой изъ нихъ.

Обратимся прежде всего къ той системѣ федеративнаго устройства Австріи, которая построена на началѣ строгаго обособленія каждой народности или, правильнѣе, нарѣчія.

Если даже допустить возможность практическаго осуществленія этой системы, которая бы повела къ дробленію Австріи на множество мелкихъ государствъ, все же надо сказать, что она встрѣтила бы рѣшительную оппозицію въ весьма чуткомъ въ Австріи областномъ патріотизмѣ. Люди различныхъ партій и направленій, иностранцы и туземцы, сходятся между собою въ признаніи этой особенности за жителями имперіи Габсбурговъ. „Въ Австріи,—говоритъ Лавеле,—каждый имѣетъ привязанность къ своей провинціи и не чувствуетъ ея—къ имперіи. Вы найдете ревностныхъ венгровъ, тирольцевъ и чеховъ, но не найдете австрійца. Я былъ пораженъ не разъ,—продолжаетъ онъ,—открывая во многихъ офицерахъ австрійской арміи большую привязанность къ той или другой области, нежели къ имперіи". То же самое, только въ другихъ словахъ, говоритъ Этвешъ. „Не будемъ обманывать себя,—замѣчаетъ онъ,—австрійскаго патріотизма вовсе не существуетъ. Правда, народы Австріи часто и мужественно защищали имперію. Исторія наполеоновскихъ войнъ можетъ служить доказательствомъ внутренней силы Австріи, но нельзя отрицать того, что изъ тѣхъ многихъ тысячъ, которыя пролили кровь свою въ этихъ войнахъ, весьма немногіе были побуждаемы къ тому любовью къ общему отечеству. Богемецъ, мадьяръ и хорватъ отстаивали каждый своего короля и честь родной земли. Съ существованіемъ такого сильнаго областного патріотизма по-неволѣ приходится считаться. Всякое устройство имперіи, не принимающее его въ разсчетъ, необходимо вызоветъ противъ себя вражду, и вражда эта будетъ настолько рѣшительной, что дальнѣйшее существованіе разъ принятаго устройства окажется положительно невозможнымъ. При дробленіи Австріи на столько частей, сколько въ ней народностей, многія провинціи—Тироль, Богемія, Моравія, Силезія и другія, перешли бы частями въ составъ сосѣднихъ областей, другія распались бы на двѣ половины, какъ напр. Галиція съ ея поляками и русинами; въ третьихъ—дробленіе пошло бы еще дальше и повело бы къ образованію четырехъ, пяти и

болѣе автономныхъ единицъ, такъ напримѣръ въ Трансильваніи. Такое дробленіе непремѣнно вызвало бы сильнѣйшую оппозицію въ жителяхъ отдѣленныхъ отъ провинцій частей и сдѣлало бы немыслимымъ продолжительное существованіе основаннаго на немъ устройства. Итакъ, первое препятствіе къ дробленію Австріи по числу населяющихъ ее народностей, заключается въ силѣ мѣстнаго патріотизма, который заставляетъ національности имперіи крѣпко держаться за установившееся историческимъ путемъ областное ея дѣленіе".

Но не будь даже этого препятствія, дробленіе имперіи, произведенное на указанныхъ началахъ, едва ли оказалось бы осуществимымъ въ виду чрезполоснаго поселенія ея національностей. Такъ, напримѣръ, нѣмцы образовали въ Трансильваніи какъ бы острова (Sprachinseln) среди румынскаго, сербскаго и венгерскаго населенія. Точно также и въ Богеміи они поселились не только по окраинамъ, но разсѣяны и внутри страны небольшими группами, концентрированными главнымъ образомъ въ окрестностяхъ городовъ.

Кто имѣетъ передъ глазами этнографическую карту Австріи, тому нетрудно прійти къ заключенію, что послѣдовательное проведеніе правила—„языкъ составляетъ народъ"—правила, избраннаго въ девизъ однимъ фламандскимъ обществомъ въ Бельгіи, немыслимо въ имперіи Габсбурговъ, что какъ бы ни дѣлили по національностямъ или, правильнѣе, нарѣчіямъ, установленныя такимъ дѣленіемъ политическія единицы все же будутъ включать въ себѣ населеніе, смѣшанное изъ двухъ или болѣе національностей.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію системы федеративнаго устройства имперіи, въ основаніе которой положено признаніе историческаго права отдѣльныхъ провинцій. Выгоды такой системы бросаются на видъ съ перваго взгляда. Она находитъ себѣ сильнѣйшую опору въ мѣстномъ патріотизмѣ, въ привязанности къ той или другой провинціи, источникомъ которой являются воспоминанія объ общемъ прошломъ ея жителей, къ какой бы національности они ни принадлежали. Съ другой стороны, эта система удовлетворяетъ требованіямъ всѣхъ историческихъ національностей. Чехи, поляки, сербы достигаютъ признаніемъ историческаго права Богеміи, Галиціи и Хорватіи государственнаго существованія. Но поступая такимъ образомъ, не отдастъ ли она на произволъ ихъ національности, составляющія меньшинство населенія означенныхъ провинцій? Такой исходъ былъ бы неизбѣженъ, еслибы права меньшинства не были обезпечены провозглашеніемъ принципа равноправія всѣхъ населяющихъ имперію на-

ціональностей. Это равноправіе должно быть понимаемо въ трояkомъ смыслѣ. Въ томъ, во-первыхъ, что гражданское полноправіе жителей той или другой провинціи не должно подвергнуться ни малѣйшему ограниченію, вслѣдствіе принадлежности ихъ къ той, а не другой національности. Это равноправіе должно быть понимаемо, во-вторыхъ, въ смыслѣ предоставленія каждой изъ населяющихъ имперію національностей полной возможности заниматься развитіемъ ихъ національныхъ особенностей (языка и литературы). Отсюда постановленіе, обязывающее областныя правительства учреждать извѣстное количество школъ, въ которыхъ преподаваніе происходило бы на языкѣ меньшинства. Наконецъ, въ-третьихъ, равноправіе должно быть понимаемо въ томъ смыслѣ, что незнаніе языка господствующей національности не должно представлять для лицъ, принадлежащихъ къ національности, составляющей меньшинство, ни малѣйшаго затрудненія по отношенію къ ихъ участію въ общественной жизни. Отсюда постановленіе о томъ, что лица, принадлежащія къ ней, могутъ въ своихъ обращеніяхъ къ центральному правительству пользоваться роднымъ языкомъ. Законъ о равноправіи національностей такимъ образомъ—необходимое дополненіе закона объ автономномъ устройствѣ провинцій. Безъ перваго послѣдній не болѣе, какъ уступка властолюбивымъ требованіямъ, предъявляемымъ той или другой національностью на исключительное господство.

Если разсмотрѣнная нами система федеративнаго устройства Австріи имѣетъ то несомнѣнное достоинство, что не подвергаетъ провинціи, имперію новымъ передѣламъ, опирается на историческое право и даетъ защиту разноплеменному меньшинству противъ властолюбивыхъ замысловъ господствующей національности, то съ другой стороны она удовлетворяетъ притязаніямъ гораздо меньшаго числа національностей. Она признаетъ только національности историческія. Притязанія же румынъ, словенцевъ или словаковъ, и др. на самобытное политическое существованіе оставлены ею безъ удовлетворенія. Не значитъ ли это, что разсмотрѣнная нами система рѣшается принесть ихъ интересы въ жертву интересамъ другихъ, болѣе могущественныхъ, національностей? Отнюдь нѣтъ. Это значитъ только, что эти національности, какъ не составлявшія никогда самостоятельныхъ государствъ и вѣчно входившія въ составъ другихъ, не имѣютъ, вслѣдствіе того, никакого основанія представлять требованія, одинаковыя съ тѣми, какія могутъ быть заявлены историческими національностями; единственное, на что они въ правѣ разсчитывать,—это предоставленіе отдѣльнымъ членамъ ихъ гражданскаго полноправія, а всей сово-

купности—права свободнаго развитія національныхъ особенностей. И то, и другое вполнѣ обезпечено за ними распространеніемъ принципа равноправія на всѣ національности имперіи.

Нечего и говорить, что заявленныя федералистами требованія далеко не получили еще полнаго удовлетворенія. Изъ всѣхъ населяющихъ Австрію національностей однимъ венграмъ дарована пока широкая автономія извѣстнымъ соглашеніемъ ихъ съ Цислейтаніей, воспослѣдовавшимъ въ 1867 г.; этимъ соглашеніемъ создана въ Австріи такъ называемая система дуализма. Исходя изъ постановленій прагматической санкціи императора Карла IV, о вѣчномъ безповоротномъ соединеніи земель короны св. Стефана съ остальными землями и провинціями,—соединенія, изъ котораго прямо вытекаетъ для Венгріи необходимость имѣть общую съ этими землями внѣшнюю политику и общее войско для противодѣйствія общимъ врагамъ, текстъ соглашенія постановляетъ: отнынѣ признаны будутъ общими дѣлами земель короны св. Стефана и Цислейтаніи веденіе внѣшнихъ сношеній, военное и морское отправленіе. Финансовыя дѣла признаются общими обѣимъ странамъ въ той мѣрѣ, въ какой Венгрія и Цислейтанія несутъ совмѣстно издержки на веденіе общихъ дѣлъ. Для завѣдыванія послѣднимъ учреждается отвѣтственное министерство, состоящее изъ министровъ иностранныхъ дѣлъ, военнаго и финансоваго. Высшее же управленіе дѣлами исключительно Венгріи или Цислейтаніи, въ каждой изъ этихъ половинъ Австріи сосредоточивается въ особомъ министерствѣ, отвѣтственномъ—венгерское предъ сеймомъ, цислейтанское предъ рейхстагомъ. Общее министерство состоитъ при двухъ делегаціяхъ, венгерской и цислейтанской, являющихся каждая коммиссіей—одна венгерскаго сейма, другая цислейтанскаго рейхстага. Въ составъ ихъ входитъ одинаково по 30 человѣкъ, $^1/_5$ которыхъ выбирается верхними, $^4/_5$ нижними палатами. Делегаціямъ принадлежитъ законодательная власть по тѣмъ предметамъ, которые признаны общими для той и другой половины имперіи. Онѣ дѣйствуютъ независимо одна отъ другой, употребляя венгерская—мадьярскій, цислейтанская—нѣмецкій языки. Только въ случаѣ разногласія имѣютъ мѣсто соединенныя засѣданія обѣихъ делегацій. Все, что не составляетъ предмета вѣдомства общаго правительства, подлежитъ вѣденію въ Венгріи—сейма и венгерскаго министерства, въ Цислейтаніи—рейхстага и цислейтанскаго министерства. Изъ другихъ земель имперіи одна только Хорватія со Славоніей и Военной-Границей получила право на автономное существованіе, если не въ тѣхъ широкихъ предѣлахъ, въ какихъ пользуется имъ Венгрія, то во вся-

комъ случаѣ, въ области внутренняго управленія, культовъ, народнаго образованія и юстицій. Такое автономное положеніе было создано для бывшаго нѣкогда тріединаго королевства закономъ 1874 г., которымъ вышеназванные предметы вѣдомства подчинены законодательной дѣятельности хорвато-славонскаго ландтага, постановленія котораго приводятся въ исполненіе отвѣтственнымъ предъ нимъ министромъ, такъ называемымъ, баномъ.

Что касается до провинцій, входящихъ въ составъ Цислейтаніи, то ни одна изъ нихъ не вступила еще съ нею въ тѣ автономныя отношенія, въ какихъ къ Венгріи стоитъ Хорватія. Переустройство Цислейтаніи на федеративномъ началѣ не перестаетъ, однако, быть предметомъ дѣятельной агитаціи со стороны, преимущественно, чешской національной партіи, которая въ 1871 году, въ эпоху благопріятнаго федерализму министерства Гогенварта, представила даже особый проектъ, по которому полунезависимости должна была достигнуть не одна только Богемія, но и всѣ и каждая изъ областей, входящихъ въ составъ Цислейтаніи. Каждой изъ нихъ,—значится въ адресѣ богемскаго ландтага,—должна быть дарована полнѣйшая свобода принимать тѣ или другія касающіяся постановленія и управлять самостоятельно своими дѣлами. Для доставленія этой цѣли проектъ соглашенія выдѣлялъ въ особую группу предметы вѣдомства общаго для всѣхъ провинцій рейхстага, признавая вмѣстѣ съ тѣмъ остальныя подлежащими законодательному регулированію со стороны однихъ только областныхъ ландтаговъ. По примѣру венгерскаго соглашенія, проектъ предлагалъ оставить въ рукахъ общаго для Цислейтаніи и Венгріи правительства, иностранную политику, военное вѣдомство и финансовое управленіе, послѣднее въ той мѣрѣ, въ какой единство во внѣшней политикѣ и военномъ управленіи требуетъ общихъ финансовъ. Уступая въ то же время требованіямъ здравой экономической политики и неудержимому стремленію времени къ единству гражданскаго законодательства, чешскій проектъ признавалъ функціями общаго всей Цислейтаніи правительства торговую политику и связанное съ нею законодательство касательно косвенныхъ налоговъ, монополій и регалій, мѣстное управленіе, почтовое и телеграфное вѣдомство, законодательство касательно пріобрѣтенія и потери гражданскихъ правъ, мѣстожительства и временнаго пребыванія иностранцевъ. Чешскому проекту не удалось сдѣлаться закономъ министерства Гогенварта, онъ не успѣлъ переустроить Цислейтанію на началѣ федеративномъ; но неуспѣхомъ политики соглашенія не положенъ былъ конецъ національной агитаціи; послѣдняя продолжается,

несмотря на кончину многихъ популярнѣйшихъ вождей—Палацкаго, Браунера, Сладковскаго и др., несмотря также на недовѣріе и взаимный антагонизмъ, такъ сильно парализующій славянскія движенія въ Австріи и проявляющійся съ особенной силой въ отношеніяхъ поляковъ и чеховъ.

Если стремленія австрійскихъ народностей къ признанію ихъ историческаго права далеко не получили еще полнаго удовлетворенія, то, съ другой стороны, тѣмъ же народностямъ удалось во многомъ добиться уравненія ихъ языка съ языкомъ господствующей національности — съ нѣмецкимъ. Прежде другихъ посчастливилось въ этомъ отношеніи венграмъ, которые замѣнили окончательно своимъ языкомъ нѣмецкій языкъ, какъ въ засѣданіяхъ сейма и делегаціи, такъ и въ административныхъ и судебныхъ вѣдомствахъ. Протестъ, вызванный исключительнымъ господствомъ венгерскаго языка, въ славянскихъ провинціяхъ Венгріи, повелъ къ признанію сербскаго языка оффиціальнымъ на протяженіи всей Хорватіи и Славоніи. Языкъ этотъ употребителенъ одинаково, какъ на хорватскомъ сеймѣ, такъ и въ присутственныхъ мѣстахъ. Только въ своихъ сношеніяхъ съ венгерскимъ правительствомъ, сербы обязаны прибѣгать къ языку мадьяръ. Значеніе оффиціальнаго языка пріобрѣли также въ Цислейтаніи языкъ польскій на протяженіи всей Галиціи и языкъ чешскій наравнѣ съ нѣмецкимъ на протяженіи одной только Богеміи. Для нѣмецкихъ земель Австріи, не исключая и смѣшаннаго по этнографическому составу Тироля, оффиціальнымъ языкомъ продолжаетъ оставаться языкъ нѣмецкій. Если такимъ образомъ въ отдѣльныхъ провинціяхъ языкомъ оффиціальнымъ признается языкъ однихъ господствующихъ національностей, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы другія, менѣе численныя, народности лишены были совершенно права употребленія ихъ роднаго языка. Законъ 1868 г., регулирующій отношенія національностей въ Венгріи, прямо предписываетъ, что въ случаѣ, если въ предѣлахъ того или другого судебнаго округа, одна пятая жителей пожелаетъ имѣть судебные протоколы на другомъ языкѣ, помимо венгерскаго, эти протоколы должны быть ведены на обоихъ языкахъ. Общиннымъ собраніямъ предоставляется тѣмъ же закономъ рѣшеніе вопроса о томъ, на какомъ языкѣ должны быть ведены ихъ протоколы. Каждый разъ, однако, когда одна пятая жителей общины пожелаетъ веденія протоколовъ на ихъ родномъ языкѣ, протоколы составляются на обоихъ нарѣчіяхъ. Всѣмъ лицамъ, говорящимъ лишь на родномъ имъ языкѣ, предоставляется обращаться на немъ въ своихъ прошеніяхъ и рѣчахъ, какъ въ

административныхъ, такъ и въ судебныхъ установленіяхъ. Приговоры въ этихъ случаяхъ постановляются на обоихъ языкахъ. Въ Цислейтаніи мы не находили пока общаго закона, регулирующаго отношенія различныхъ языковъ и нарѣчій, закона, подобнаго тому, какой въ 1868 году изданъ былъ для Венгріи. Общее законодательство ограничивается однимъ лишь голымъ обѣщаніемъ даровать отдѣльнымъ національностямъ равноправіе и возможность самостоятельнаго развитія ихъ языка и литературы. Приведеніе въ исполненіе того общаго принципа предоставлено законодательству отдѣльныхъ провинцій. Не вдаваясь въ частности, мы замѣтимъ, что это послѣднее сдѣлало возможнымъ употребленіе, напримѣръ, въ Галиціи русинскаго, малорусскаго языка, не только въ начальныхъ школахъ тѣхъ округовъ, которые заселены русскими, но и въ лембергскомъ и черновицкомъ университетахъ, въ которыхъ извѣстное число профессоровъ читаетъ лекціи на этомъ языкѣ.

Вотъ въ самыхъ, конечно, общихъ чертахъ, важнѣйшіе результаты, достигнутые національными движеніями заселяющихъ Австрію народностей. Бѣглаго даже знакомства съ ними достаточно для убѣжденія въ томъ, какое всеопредѣляющее значеніе имѣетъ національный вопросъ для настоящаго и будущаго имперіи Габсбурговъ.

То же значеніе выпало ему, какъ мы видѣли, въ удѣлъ на протяженіи Турціи, а также всей центральной Европы, занятой различными вѣтвями германскаго племени. Никакіе династическіе интересы, никакія политическія комбинаціи не представляли надежной плотины противъ неудержимаго стремленія нѣмецкаго народа къ политическому единству, которое въ его глазахъ по справедливости было не болѣе, какъ возстановленіемъ историческаго права, возсозданіемъ, на демократической и болѣе или менѣе протестантской основѣ, средневѣковой римской имперіи.

Хотя не съ тою же настойчивостью и упорствомъ, съ какимъ они проявляются въ Австріи, Турціи или Германіи, національныя движенія не перестаютъ обнаруживаться съ возрастающей силой и значеніемъ, какъ въ предѣлахъ иберійскаго полуострова, въ которомъ каталонскому языку удалось уже на-половину добиться признанія своего равноправія съ кастильскимъ, такъ и въ Бельгіи, въ которой фламандскій языкъ проникъ уже, благодаря имъ, въ народную школу наравнѣ съ французскимъ. Я не говорю уже объ Ирландіи, въ которой національная агитація находитъ постоянную поддержку въ экономическомъ

антагонизмѣ кельтовъ и англичанъ,—антагонизмѣ, вызванномъ насильственнымъ обезземеленіемъ населенія завоевателемъ.

Послѣ сказаннаго понятно, — какое значеніе имѣетъ національный вопросъ на западѣ Европы. Въ немъ слѣдуетъ видѣть одинъ изъ факторовъ современныхъ и будущихъ перемѣнъ въ политической картѣ Европы, причину настоящихъ и будущихъ международныхъ несогласій, одновременно, начало, связующее воедино исторіей разрозненныя народности, и ту разлагающую силу, которой искусственно созданные политическіе конгломераты раздробятся на свои естественныя составныя части, послѣ чего каждая изъ нихъ пріобрѣтетъ снова, утраченную ею нѣкогда, свободу самоопредѣленія—залогъ своеобразнаго и полнаго развитія ея этнографическихъ и культурно-историческихъ особенностей.

Спрашивается теперь, въ какой мѣрѣ національный вопросъ можетъ считаться жизненнымъ вопросомъ и для Новаго Свѣта; въ какой мѣрѣ иммигрирующія въ Америку народности остаются вѣрными вынесеннымъ ими изъ Стараго Свѣта представленіямъ о необходимости положить въ основу ихъ политическаго существованія единство языка и крови; какія препятствія встрѣчаетъ осуществленіе этихъ, быть можетъ, завѣтныхъ идеаловъ въ самихъ условіяхъ американской дѣйствительности, въ той ежедневной борьбѣ съ природой, которая составляетъ удѣлъ американскаго піонера на отдаленномъ западѣ и въ той несокрушимой твердынѣ, сложившейся столѣтіями англоамериканской культуры, которую европейскій колонистъ находитъ въ при-атлантическихъ штатахъ? Безпристрастное изученіе фактовъ дастъ намъ матеріалъ для рѣшенія того, нелишеннаго значенія, вопроса—является ли американская жизнь не болѣе, какъ продолженіемъ европейской, съ ея національной ненавистью и враждой, съ ея непрестанными войнами и государственными переворотами, съ ея нарождающимися и падающими политическими созданіями, или же она по праву можетъ считаться осуществленіемъ завѣтныхъ идеаловъ европейскаго космополитизма,—залогомъ окончательной побѣды въ будущемъ индустріализма надъ милитаризмомъ, экономической солидарности надъ національной разобщенностью и враждою.

II.

Англичане, какъ извѣстно, далеко не являются первыми колонизаторами Америки. Задолго до нихъ по берегамъ св. Лаврентія, Великихъ Озеръ и по всему теченію Миссисипи и его притоковъ основаны были не столько мирныя поселенія, сколько форты французскихъ колонистовъ. Довольно любопытное зрѣлище представляли собою эти крѣпостцы въ періодъ времени, непосредственно предшедствовавшій англо-американской колонизаціи. Мы знакомимся съ ихъ своеобразнымъ характеромъ изъ любопытнаго описанія француза Вольней, который самъ посѣтилъ большую часть постовъ, расположенныхъ въ теперешнихъ штатахъ Огаіо и Иллиноть, и въ своемъ „путешествіи“ даетъ намъ не только картину внутренняго быта колонистовъ, но и разгадку тѣхъ причинъ, по которымъ французской колонизаціи не удалось пустить прочныхъ корней въ западныхъ штатахъ, и англо-американцамъ не представилось трудностей къ почти совершенному искорененію въ нихъ французскаго элемента.

Большинство тѣхъ военныхъ постовъ, которые Вольнею пришлось посѣтить во время его путешествія по американскому западу, были основаны частными компаніями, не столько въ интересахъ земледѣлія или промышленности, сколько въ интересахъ торговли.

Главнѣйшая цѣль, преслѣдуемая колонистами, было пріобрѣтеніе за дешевую цѣну у туземцевъ ихъ драгоцѣнныхъ мѣховъ, которые затѣмъ препровождаемы были на европейскіе рынки. Въ составъ населенія французскихъ колоній въ родѣ Галиполиса, Каскаски, Детруа, Форта-Шартръ, Сентъ-Луиса, С.-Карла, С.-Винсента и др., входили поэтому купцы и странствующіе приказчики, которые носили въ средѣ поселенцевъ названіе „coureurs des bois“, по той причинѣ, что обычнымъ ихъ занятіемъ было путешествіе по лѣснымъ чащамъ, среди которыхъ бродили ведшіе съ ними торговлю индѣйскія племена. Такъ какъ всему этому люду надо было чѣмъ кормиться, то правительство Людовика XIV и его преемниковъ сочло нужнымъ привлечь къ поселенію въ своихъ американскихъ колоніяхъ и французскихъ крестьянъ. Колонистами явились по преимуществу выходцы изъ сѣверной Франціи, изъ Нормандіи и Пикардіи, провинцій, въ которыхъ было въ полномъ дѣйствіи установленное уже давно правило: „nulle terre sans seigneur“,—правило, дѣлавшее немыслимымъ пріобрѣтеніе крестьянами земель въ частную собственность. Число колонистовъ

однако далеко не было значительнымъ, и причину этой малочисленности понять нетрудно, если мы вспомнимъ, что эмигрантовъ ждала на земляхъ частныхъ компаній не та неограниченная свобода земельной собственности, какая привлекала сотни и тысячи выходцевъ изъ Англіи на атлантическое побережье сѣверной Америки, а болѣе или менѣе зависимое владѣніе, связанное съ обязательствомъ ежегодной ренты мѣхами, и феодальныхъ платежей со всѣхъ покупокъ и продажъ (lods et ventes), согласно постановленіямъ парижскаго „кутюма“. Поселенные обыкновенно большими селами, колонисты надѣляемы были равными семейными надѣлами и удерживали въ общинномъ пользованіи прилегающія пустоши и лѣса. Ихъ земледѣльческій трудъ направленъ былъ всецѣло на удовлетвореніе мѣстныхъ потребностей. О какомъ либо вывозѣ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, при полной разобщенности поселеній и при отсутствіи сколько нибудь безопасныхъ торговыхъ путей, не могло быть и помину. Хотя въ средѣ населенія и можно было встрѣтить не малое число католическихъ миссіонеровъ, нерѣдко принадлежавшихъ къ ордену Іисуса, но о школахъ почти не было помину, такъ что, по показаніямъ первыхъ американскихъ поселенцевъ, число грамотныхъ французовъ было сравнительно невелико.

Когда, въ силу парижскаго трактата 1763, земли къ западу отъ илеганской цѣпи перешли въ руки англійскаго народа и сдѣлались ареной его колонизаціи, отпоръ, представленный французскимъ элементомъ завоевывающему вліянію англо-американской культуры, оказался весьма ничтожнымъ отчасти и потому, что часть старинныхъ поселенцевъ поспѣшила воспользоваться предоставленною ей свободою выселенія въ Луизіану. Въ эпоху посѣщенія Вольнеемъ прежнихъ французскихъ колоній, послѣднія уже болѣе чѣмъ на половину были заняты выходцами изъ пріатлантическихъ штатовъ. Ихъ экономическое положеніе и самый внѣшній видъ, по его словамъ, были крайне печальны. „Въ день, слѣдовавшій за моимъ прибытіемъ въ Винсеннъ,—пишетъ онъ,—созвана была народная сходка Когда я явился въ нее, я былъ пораженъ тѣмъ обстоятельствомъ, что собравшіеся какъ бы распадались на двѣ половины, рѣзко отличныя другъ отъ друга по своему внѣшнему виду:—одни крѣпкаго сложенія и повидимому достаточнаго состоянія, другіе—худосочные съ впалыми щеками, бѣдно и неопрятно одѣтые. Я узналъ, что первыми были американскіе колонисты, поселившіеся въ этой мѣстности не болѣе пяти шести лѣтъ тому назадъ; вторыми—французы болѣе 60 лѣтъ уже влачившіе свое нищенское существованіе. Въ 1792 г.,

—продолжаетъ онъ,—американское федеральное правительство надѣлило каждаго новаго колониста четырьмя стами акрами земли подъ условіемъ уплаты поголовнаго налога. Не довольствуясь этимъ участкомъ и добавочнымъ къ нему въ 100 акровъ, получаемымъ колонистомъ подъ условіемъ службы въ милиціи, американскіе піонеры пріобрѣли еще немало земли, покупкой отъ французовъ, платя имъ не болѣе 30 сентовъ за акръ. Послѣ такого отчужденія французскимъ поселенцамъ не осталось иного исхода, кромѣ исключительнаго занятія звѣроловствомъ и рыбнымъ промысломъ. Они,—продолжаетъ тотъ же путешественникъ,—жаловались мнѣ неоднократно на частое нарушеніе ихъ правъ судами, въ которыхъ, какъ общее правило, преобладаютъ американцы, не знающіе ихъ языка и примѣняющіе къ ихъ спорамъ чуждое имъ англійское право". Вольней ничего не находитъ удивительнаго въ этихъ жалобахъ. Французы, говоритъ онъ, необходимо должны были страдать отъ своего незнанья англійскаго языка, отъ отсутствія въ ихъ средѣ школъ и слабаго развитія грамотности. „Тогда какъ между американцами,—говоритъ онъ,—девять десятыхъ умѣютъ читать и писать, между французами едва найдешь половину этого числа грамотныхъ. Трудно требовать,—прибавляетъ онъ,—чтобы американцы учились французскому языку, которымъ въ каждомъ поселеніи говоритъ не болѣе 80, 90 человѣкъ. Легче было бы этимъ лицамъ обучиться англійскому, но изъ нихъ я рѣдко гдѣ встрѣчалъ болѣе трехъ-четырехъ человѣкъ, вполнѣ владѣющихъ этимъ языкомъ".

Если въ концѣ XVIII столѣтія французскій элементъ являлся уже вымирающимъ на протяженіи всего американскаго запада, то удивительно ли, если въ наши дни его представителями является лишь небольшое число семей, поселенныхъ по преимуществу въ большихъ городахъ, напр., Сентъ-Луисѣ, и если въ число этихъ семей нерѣдко попадаютъ лица, которыя при французской фамиліи не владѣютъ, однако, французскимъ языкомъ.

Несравненно болѣе компактную массу представляетъ собою французское населеніе по преимуществу южной части Луизіаны, проданное, какъ извѣстно, американцамъ Наполеономъ I въ 1801 г. Составившееся частью изъ древнѣйшихъ поселенцевъ долины Огаіо, верхняго и средняго Миссисипи, частью изъ непосредственныхъ выходцевъ изъ Франціи и переселенцевъ изъ Вестъ-Индіи, французское населеніе Луизіаны пріобрѣло характеризующія его психическія особенности отъ слѣдующихъ двухъ причинъ. Французская революція доставила Луизіанѣ значительный контингентъ эмигрантовъ-лоялистовъ, которые, съ преданностью къ престолу,

религіи и династіи, принесли съ собою въ новый свѣтъ и характеризующую ихъ аристократическую исключительность. Сдѣлавшись, если можно такъ выразиться, сливками луизіанскаго общества, они успѣли наложить свою печать на все вообще французское населеніе этой провинціи, воспитывая его въ своихъ идеяхъ, прививая ему присущую имъ религіозность и лояльность.

Въ свою очередь рабство негровъ, развивая въ ихъ собственникахъ привычку повелѣвать и то чувство солидарности, которое всегда связываетъ между собою меньшинство господъ, имѣющихъ ежечасно дѣло съ массою всегда готоваго къ возстанію рабскаго населенія, дополнили нѣкоторыми новыми чертами психическую физіономію луизіанскаго креола.

Виконтъ Даблакъ, долгое время проживший въ новомъ Орлеанѣ, на правахъ французскаго консула, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ нравственный обликъ креола. „Характерною чертою,—говоритъ онъ,—является въ немъ преобладаніе аристократическаго духа, привязанность къ семьѣ и товарищеская солидарность. Рабство, несомнѣнно, важнѣйшій факторъ, повліявшій на выработку означенныхъ особенностей, привычка повелѣвать вмѣстѣ съ необходимостью ежечасно поддерживать свое внѣшнее достоинство, какъ средство вынудить повиновеніе себѣ, сознаніе, что только путемъ взаимной помощи и поддержки возможно подавить въ самомъ корнѣ всякую попытку къ возстанію со стороны угнетаемой расы,—вотъ важнѣйшія, по крайней мѣрѣ, причины, которыя сдѣлали изъ креола то, чѣмъ онъ является въ настоящее время. Присоединеніе къ Америкѣ совершилось вопреки ихъ желанію. Очевидцы этого событія повѣствуютъ, что креолы не могли удержать своихъ слезъ при извѣстіи о немъ. Быстрый наплывъ американской колонизаціи, принесшей съ собою чуждыя креоламъ демократическія основы жизни, заставилъ ихъ еще болѣе замкнуться въ себѣ, избѣгать всякаго сближенія съ лицами, которыхъ они правильно или неправильно считаютъ не болѣе какъ узурпаторами". Съ этого времени и по настоящее, браки креоловъ съ американками являются крайнею рѣдкостью и тѣмъ самымъ устраняется надолго возможность ассимиляціи обѣихъ національностей наиболѣе естественнымъ путемъ—путемъ брака. Къ тому антагонизму, какой неизмѣнно вызываетъ въ населеніи произвольное распоряженіе его политическими судьбами, у креоловъ въ скоромъ времени присоединилось еще чувство сильнѣйшаго раздраженія противъ правительства, которое, запрещая дальнѣйшій торгъ неграми въ 1802 г., задѣло тѣмъ самымъ существеннѣйшіе его интересы. При такихъ условіяхъ не удивительно, если

креолы постепенно образовали среди прочаго населенія Луизіаны совершенно обособленную группу, отстаивающую всѣми силами неприкосновенность своихъ національныхъ особенностей и требующую ихъ безусловнаго признанья со стороны американцевъ. Пока послѣдніе были еще малочисленны, равенство обѣихъ національностей, проявлявшееся въ требованіи, чтобы оффиціальнымъ языкомъ страны признаваемъ былъ не одинъ англійскій, еще могло быть поддерживаемо креолами, хотя не безъ значительныхъ усилій съ ихъ стороны. Въ конституціяхъ 1845 и 1852 г. мы еще встрѣчаемъ правило о томъ, что законы штата должны быть обнародуемы одинаково на англійскомъ и французскомъ языкѣ; но въ слѣдующихъ затѣмъ по времени конституціяхъ 1864 г. и 1868 г. единственнымъ оффиціальнымъ языкомъ признается уже языкъ англійскій:—тотъ языкъ, значится въ нихъ, на которомъ написана федеральная конституція". Одновременно англійскій языкъ признается обязательнымъ и для чиновниковъ, что и выражается въ текстѣ названной конституціи словами, что „законодательное собраніе не въ правѣ издать постановленія, устраняющаго того или другого гражданина отъ права занятія государственныхъ должностей по причинѣ незнакомства его съ другимъ языкомъ, кромѣ того, на которомъ написана конституція соединенныхъ штатовъ". Англійскій языкъ признанъ также единственно обязательнымъ въ различныхъ административныхъ вѣдомствахъ, въ судахъ и школахъ. Административные отчеты и судебные протоколы, гласятъ упомянутыя нами конституціи, должны быть составляемы на англійскомъ языкѣ. Преподаваніе въ школахъ, значится въ нихъ, также должно быть производимо по-англійски, что, разумѣется, не исключаетъ возможности изученія въ нихъ и французскаго языка, но какъ добавочнаго предмета—не болѣе. Правительственныхъ школъ, предназначенныхъ для обученія исключительно дѣтей извѣстной расы или національности, конституція 68 г. вообще не знаетъ. При такихъ условіяхъ французскій языкъ въ Луизіанѣ допускается только въ частныхъ сдѣлкахъ. Законъ 1855 г. постановляетъ на этотъ счетъ слѣдующее: всякіе договоры и денежныя обязательства, написанныя на французскомъ языкѣ, считаются столь же законно состоявшимися и подлежащими исполненію, какъ и тѣ, которые составлены будутъ на языкѣ англійскомъ. Нечего и говорить, что названныя мѣры причина тому, что дѣти креоловъ получаютъ свое образованіе попреимуществу въ частныхъ католическихъ школахъ, въ которыхъ преподаваніе производится на французскомъ языкѣ и добавочнымъ предметомъ считается языкъ англійскій. Послѣднимъ

креолы начинаютъ владѣть однако не дурно, такъ какъ языкъ этотъ съ каждымъ поколѣніемъ становится все болѣе и болѣе языкомъ всякаго рода промышленныхъ и торговыхъ сдѣлокъ. Освобожденіе негровъ, имѣвшее своимъ послѣдствіемъ разореніе креоловъ, разумѣется, только усилило антагонизмъ ихъ къ американцамъ; но оно же имѣло то счастливое послѣдствіе для будущей ассимиляціи обѣихъ націй, что сблизило экономическое положеніе креоловъ съ тѣмъ, какое занимаетъ большинство англо-американцевъ въ Луизіанѣ, и заставило многихъ изъ нихъ искать матеріальнаго обезпеченья себѣ въ общей съ прочимъ населеніемъ промышленной и торговой дѣятельности. Молодое поколѣніе, выросшее внѣ крѣпостной традиціи, окажется по всей вѣроятности несравненно болѣе способнымъ къ сліянію съ американцами, нежели настоящее. Увеличившееся за послѣднее время число браковъ между представителями обѣихъ національностей служитъ до нѣкоторой степени залогомъ тому, что рано или поздно французскіе ручьи—парафразируемъ слова нашего поэта—сольются въ американскомъ морѣ.

Креолами Луизіаны, которыхъ въ настоящее время считаютъ не болѣе какъ десятками тысячъ, далеко не исчерпывается списокъ тѣхъ чуждыхъ національностей, которыхъ англичанамъ пришлось воспріять въ свою среду при образованіи современной намъ американской національности. Если американскіе статистики, съ Уокеромъ во главѣ, и рѣшаются утверждать, что приростъ населенія обусловленъ въ Соединенныхъ Штатахъ не столько европейской эмиграціей, сколько естественнымъ ростомъ, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы американцевъ можно было считать, по преимуществу, потомками англичанъ. Переселеніе въ Америку массами ирландцевъ и нѣмцевъ началось еще съ прошлаго столѣтія; поэтому, если не считать американцами происшедшія отъ этихъ эмигрантовъ два поколѣнія, трудно будетъ, по вычисленіямъ нѣмецкихъ статистиковъ, признать за чистокровными англичанами и ихъ потомствомъ значеніе важнѣйшаго фактора въ образованіи американской народности. Нѣкоторые писатели, Роте въ томъ числѣ, полагаютъ, что потомство чистокровныхъ англичанъ не представляетъ собой болѣе одной трети современнаго 50-милліоннаго населенія Соединенныхъ Штатовъ. Трудно указать на народецъ Европы, который не имѣлъ бы своихъ представителей между плантаторами отдаленнаго Запада—терминъ, которымъ американцы обозначаютъ все то пространство земли, которое лежитъ къ востоку отъ Миссисипи, другими словами, $^{4}/_{5}$ занимаемой федераціей площади.

Тогда какъ сѣверная полоса Соединенныхъ Штатовъ постепенно заселяется выходцами изъ Канады, по преимуществу, французскаго происхожденія, Новая Англія,—штатъ Нью-Іоркъ и Пенсильванія изобилуютъ ирландцами, $^2/_3$ которыхъ, по приблизительному вычисленію, поселены къ востоку отъ озера Эри. На всемъ протяженіи отъ западнаго склона Аллеганской цѣпи до Санъ-Франциско число нѣмецкихъ плантаторовъ съ каждымъ годомъ уравновѣшиваетъ число чистокровныхъ американцевъ. Въ Мичиганѣ, Іовѣ, Иллиноисѣ, Миссури, Индіанѣ, число ихъ колеблется уже между $^1/_6$ и $^1/_4$ частью всего населенія. Въ Минне-Іопѣ оно равняется $^1/_2$, въ Висконсинѣ оно перешло даже за это число. Массами считаетъ Небраска, Дакота и Канза своихъ нѣмецкихъ колонистовъ. Города Мильуоки и Цинцинати—на половину нѣмецкіе; самъ Нью-Іоркъ, съ его 150.000 германцевъ, нѣмцы считаютъ четвертымъ по населенности нѣмецкимъ городомъ, уступающимъ только Берлину, Вѣнѣ и Лондону. Наибольшее число нѣмцевъ, какъ видно изъ сказаннаго, занимаетъ собою пространство къ западу отъ озера Эри. По приблизительному вычисленію, $^2/_3$ всего ихъ числа поселены въ этой части Соединенныхъ Штатовъ. На сѣверо-западѣ федераціи не мало также выходцевъ изъ Скандинавіи, особенно къ западу отъ озера Миччигана. Четыре-пятыхъ всего ихъ числа поселены въ этой полосѣ. Изъ европейскихъ національностей славянская доставила Соединеннымъ Штатамъ наименьшее число ихъ населенія; тѣмъ не менѣе въ Чикаго и далѣе на западъ не трудно встрѣтить отдѣльныхъ ея представителей, въ особенности, поляковъ и другихъ австрійскихъ славянъ, обыкновенно заносимыхъ въ эмиграціонные списки подъ рубрикой нѣмцевъ.—Если не говорить о чистокровныхъ американцахъ, наибольшую численность представляютъ въ Америкѣ—ирландцы и нѣмцы, поэтому ихъ вліяніе и должно было сказаться съ особенною силою на самой выработкѣ національнаго характера. Тогда какъ скандинавскіе выходцы, по преимуществу, крестьяне, родомъ изъ Норвегіи, наравнѣ съ постоянно прибывающимъ числомъ канадцевъ, также изъ крестьянъ, слишкомъ малочисленны, разсѣяны и зависимы по своей экономической необезпеченности, чтобы образовать изъ себя сколько-нибудь сплоченные элементы національной агитаціи и, какъ общее правило, довольно быстро ассимилируются съ господствующею національностью; ирландцы и нѣмцы представляютъ собою, какъ націи, настолько крупныя и сплоченныя единицы, что вліяніе ихъ необходимо должно сказаться на характерѣ какъ внутренней, такъ и внѣшней политики страны. Вліяніе обѣихъ

національностей было однако весьма различно. Связанные съ англо-американцами общностью языка, ирландцы расходятся съ ними на почвѣ религіозныхъ вопросовъ. Судьбы католицизма въ Америкѣ тѣсно связаны съ судьбами ирландскаго элемента въ ней, и все противодѣйствіе, оказанное послѣднему въ 1840—50 г. партіей „Natives“ и такъ называемыхъ „Know-Nothings“, однообразно избирало своею мишенью ирландское населеніе. Совершенно иной характеръ представляетъ намъ исторія отношеній чистокровныхъ американцевъ къ нѣмцамъ. Причиной продолжительности ихъ раздоровъ была, какъ мы увидимъ, не религіозная рознь, а долго лелѣянная обѣими сторонами надежда сохранить свою національную обособленность, стремленіе нѣмцевъ образовать въ Америкѣ компактныя колоніи съ обязательнымъ въ школахъ, судахъ и управленіяхъ нѣмецкимъ языкомъ, и попытки чистокровныхъ американцевъ положить предѣлъ дальнѣйшему заселенію ихъ страны нѣмецкими выходцами.

Обращаясь прежде всего къ характеристикѣ той роли, какая выпала въ удѣлъ ирландскому элементу, мы должны сказать, что по своей численности (приблизительно 3 милліона), зажиточности и образованію, ирландцы въ значительной степени уступаютъ нѣмцамъ. Процентъ смертности и преступленій несравненно больше въ ихъ средѣ, нежели въ средѣ нѣмцевъ; съ другой стороны, число заключаемыхъ ими браковъ гораздо меньше; по приблизительному разсчету, 10 человѣкъ изъ тысячи заключаютъ бракъ въ средѣ ирландскаго населенія Нью-Іорка, тогда какъ между нѣмцами, поселенными въ томъ же городѣ, число браковъ представляетъ отношеніе 40 къ 1000. По самому характеру своихъ занятій, ирландцы рѣзко отличаются отъ нѣмцевъ. Большинство послѣднихъ—земледѣльцы; большинство первыхъ—наемные рабочіе. Въ 1870 году число земледѣльцевъ среди ирландскаго населенія Америки было всего 138 тысячъ, тогда какъ одновременно болѣе 220 тысячъ нѣмцевъ значились фермерами, т. е. земельными собственниками. Съ другой стороны, на 191 тысячу нѣмцевъ, занимающихся разнаго рода профессіями, кромѣ земледѣлія, приходилось 425 тысячъ ирландцевъ. Характеръ занятій обусловливаетъ и преимущественное поселеніе ирландцевъ въ городахъ, гдѣ мы встрѣчаемъ ихъ нерѣдко десятками и сотнями тысячъ. Въ Нью-Іоркѣ ихъ болѣе 200 тысячъ. Недостаточность же средствъ, характеризующая собою большинство прибывающихъ изъ Ирландіи колонистовъ, причина тому, что, какъ общее правило, они не идутъ, подобно болѣе ихъ зажиточнымъ нѣмцамъ, колонизовать собою слабо населенный западъ, а скучиваются въ

городахъ Новой Англіи, Нью-Іоркѣ и Пенсильваніи. Только въ послѣдніе годы удалось, частью представителямъ католическаго духовенства, епископу Ирланду въ томъ числѣ, частью основанному въ Дублинѣ обществу по устройству эмиграціи, привлечь ирландскихъ колонистовъ всякаго рода льготами по производству расплатъ въ штатѣ Іова и Миннезота, въ частности въ окрестности города Санъ-Поль. Обыкновенно же тѣ изъ нихъ, которые занимаются земледѣліемъ, довольствуются пріобрѣтеніемъ на выгодныхъ для себя условіяхъ тѣхъ фермъ, какія охотно оставляютъ американцы старыхъ штатовъ для болѣе доходныхъ земледѣльческихъ предпріятій на западѣ.

Я сказалъ уже о той агитаціи, которая устроена была въ 1840—50 годахъ чистокровными американцами противъ ирландцевъ. Агитація эта стремилась не къ чему иному, какъ къ закрытію имъ доступа къ публичнымъ должностямъ; на государственную и мѣстную службу — должны быть принимаемы одни американцы,—гласилъ лозунгъ этой партіи. Въ настоящее время, когда самая партія исчезла, послѣдствіемъ ея довольно продолжительной агитаціи осталось стремленіе ирландцевъ къ занятію публичныхъ должностей. Въ городскихъ совѣтахъ Нью-Іорка и Бостона ирландцы составляютъ нерѣдко значительное меньшинство, а въ послѣднее время подчасъ и большинство. Полицейскія команды также обыкновенно составляются изъ ирландцевъ (американцы предпочитаютъ болѣе прибыльную частную службу). Своимъ мѣстнымъ вліяніемъ ирландцы пользуются, по преимуществу, для упроченія интересовъ католической церкви, настаивая, напр. на устройствѣ на счетъ города Нью-Іорка особыхъ школъ, въ которыхъ не допускалось бы столь ненавистнаго католикамъ чтенія библіи; но главный предметъ ихъ заботъ все же составляетъ оставленная ими родина. Изъ Америки идутъ и средства, и люди, для осуществленія завѣтныхъ стремленій феніевъ. Агитація противъ Англіи открыто производится на ирландскихъ митингахъ, и послѣдніе напрягаютъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы придать американской политикѣ возможно враждебный къ Англіи характеръ. Нельзя сказать, чтобы эти попытки могли быть названы успѣшными. Анархическій характеръ, какой агитація ирландцевъ приняла за послѣднее время, только усиливаетъ въ чистокровныхъ американцахъ то нерасположеніе, какое внушаетъ имъ чуждая по вѣрѣ, малообразованная, отличающаяся пристрастіемъ къ пьянству и уличному разврату, ирландская толпа.

Отъ ирландцевъ перейду къ нѣмцамъ. Ни одна страна въ

Европѣ, за исключеніемъ развѣ самой Англіи, не дала Америкѣ такого значительнаго контингента колонистовъ, какъ Германія. Довольно трудно, конечно, выразить цифрами число гражданъ Соединенныхъ Штатовъ, представляющихъ собою потомство германскихъ піонеровъ. Десятая перепись даетъ намъ только число нѣмецкихъ колонистовъ въ первомъ поколѣніи. Мы узнаемъ изъ нея, что эмиграція изъ странъ, заселенныхъ нѣмцами, дала Соединеннымъ Штатамъ съ-лишнимъ два съ половиною милліона новыхъ гражданъ. Чтобы получить цифру для выраженія хотя бы приблизительно суммы всѣхъ вообще германскихъ уроженцевъ въ Америкѣ, нужно къ упомянутымъ двумъ съ половиною милліонамъ прибавить еще пять съ половиною милліоновъ лицъ, родившихся въ Америкѣ отъ нѣмецкихъ родителей, и приблизительно одинъ милліонъ первоначальныхъ нѣмецкихъ поселенцевъ Пенсильваніи и другихъ старыхъ штатовъ. Въ общемъ мы получаемъ девять съ половиною милліоновъ для выраженія числа всѣхъ нѣмецкихъ уроженцевъ. Принимая во вниманіе, что число гражданъ Соединенныхъ Штатовъ въ 1880 году было 50 милліоновъ, мы приходимъ къ заключенію, что нѣмцы доставили имъ не много менѣе одной пятой всего ихъ населенія.

Очевидно, что такой численный элементъ не могъ не оказать извѣстнаго вліянія на общій складъ національнаго характера и на самое направленіе политики, какъ отдѣльныхъ штатовъ, такъ и цѣлой федераціи. Не мудрено также, если, въ виду своей численности, американскіе нѣмцы оказались нечуждыми той мысли, что Америка можетъ сдѣлаться родиною новаго, вполнѣ свободнаго германскаго государства, оффиціальнымъ языкомъ котораго былъ бы ихъ языкъ. Если принять во вниманіе, что сколько-нибудь значительная эмиграція изъ Германіи въ XIX вѣкѣ приходится на періодъ времени отъ 1830 по 1848 годъ, т.-е. въ эпоху наибольшаго увлеченія національстическими стремленіями, то станетъ вполнѣ понятнымъ, — почему въ рѣшеніи національнаго вопроса въ Америкѣ, германскому элементу пришлось играть далеко не послѣднюю роль. Спрашивается,—какова же была эта роль, и напоминаетъ ли она собою сколько-нибудь ту, какую одновременно германскій элементъ сыгралъ въ организаціи государствъ средней Европы?

Мысль о возможности создать въ Америкѣ чисто-германское государство, повидимому, была совершенно чужда на первыхъ порахъ нѣмецкой эмиграціи, тѣмъ піонерамъ, которые доставляютъ селенію Пенсильваніи такой значительный приростъ съ конца XVII до второй половины прошлаго столѣтія. Причины тому

лежатъ налицо. Главный контингентъ колонистовъ составляли обездоленные крестьяне, переселявшіеся массами, по преимуществу, изъ протестантской половины Германіи. Обстоятельства измѣнились, когда въ XVIII в. опустошительныя войны съ Франціей, заставили многихъ изъ зажиточныхъ крестьянъ, торговцевъ рейнскаго пфальцъ-графства переселиться въ Новый Свѣтъ; они искали въ немъ не только надежныхъ заработковъ, но и возможности осуществить на дѣлѣ тѣ идеалы всенароднаго германо-протестантскаго государства, изъ-за которыхъ имъ пришлось предварительно вести безуспѣшную борьбу въ собственной родинѣ. Вскорѣ послѣ провозглашенія независимости Соединенныхъ Штатовъ, нѣмецкимъ піонерамъ, оказавшимся въ числѣ не менѣе 100 тысячъ человѣкъ въ одной Пенсильваніи, пришло на мысль потребовать въ законодательномъ собраніи признанія нѣмецкаго языка—языкомъ оффиціальнымъ, на которомъ одинаково должны бы были издаваться законы и постановляться судебныя рѣшенія. Если это предложеніе и не прошло въ собраніи, то благодаря весьма лишь незначительной въ численномъ отношеніи оппозиціи со стороны англо-американцевъ. Этотъ неуспѣхъ, повидимому, подкосилъ крылья германской національной агитаціи, которая воскресаетъ снова не ранѣе, какъ съ момента возобновленія въ 30-хъ годахъ германской иммиграціи, временно прерванной наполеоновскими войнами. Агитація на этотъ разъ ограничивается созданіемъ спеціальныхъ органовъ для выраженія на нѣмецкомъ языкѣ желаній и требованій американскихъ-нѣмцевъ, а также устройствомъ филантропическихъ обществъ съ цѣлью содѣйствія нѣмецкимъ выселенцамъ къ основанію, составленныхъ изъ нихъ однихъ, колоній, на началахъ нерѣдко коммунистическихъ. Для примѣра укажу на новую колонію, основанную Георгомъ Раппомъ, перешедшую затѣмъ, въ силу продажи, въ руки знаменитаго Роберта Овена, и потерявшую съ этого времени свой исключительно нѣмецкій характеръ. Нѣмцы Соединенныхъ Штатовъ возвращаются снова къ національной, въ узкомъ смыслѣ слова, политикѣ подъ вліяніемъ того взрыва негодованія и тѣхъ основательныхъ опасеній, какія вызываетъ въ нихъ агитація, такъ называемой, туземной партіи (Natives), задачей которой было положить предѣлъ дальнѣйшему заселенію американскаго материка выходцами изъ Европы и удержать тѣмъ самымъ Новый Свѣтъ въ рукахъ англо-американцевъ. Издававшаяся въ это время нѣмецкая газета подъ наименованіемъ „Старый и Новый Свѣтъ“ въ теченіе ряда лѣтъ, начиная съ 1836 г., не перестаетъ настаивать на необходимости основанія самостоятельныхъ германскихъ государствъ, на свободномъ еще

отъ колонизаціи Западѣ. Впервые эта мысль возникла среди нѣмецкаго населенія Нью-Іорка. Отсюда она перешла въ Филадельфію, въ которой, подъ предсѣдательствомъ Шмéле, назначена была особая коммиссія, для выработки проекта основанія на Западѣ чисто-германскихъ колоній, съ цѣлью, какъ значилось въ немъ, соединить во-едино нѣмцевъ Сѣверной Америки, и тѣмъ самымъ содѣйствовать возникновенію германскаго государства въ Новомъ Свѣтѣ. Единственнымъ практическимъ послѣдствіемъ этой агитаціи было устройство акціонернаго общества между нѣмцами, съ цѣлью пріобрѣтенія на общія средства свободныхъ земель на американскомъ Западѣ, и основанія на купленныхъ обществомъ 12 тысячахъ акровъ города „Hermann“. Дѣла компаніи приняли скоро дурной оборотъ, и сама она не замедлила распасться. Ближайшія по времени попытки основанія исключительно нѣмецкихъ колоній оказались почти столь же неудачными. Не задаваясь широкими цѣлями возсозданія германскаго отечества, они въ то же время были не вполнѣ чужды нѣкоторымъ коммунистическимъ стремленіямъ. Такъ, напримѣръ, въ основанной въ самой Пенсильваніи колоніи, подъ наименованіемъ Тевтонія, работа каждаго опредѣлялась согласно постановленію общаго собранія колонистовъ. Пища изготовляема была въ общей кухнѣ и распредѣлялась между отдѣльными семьями два раза въ день. При всемъ томъ, число лицъ, пожелавшихъ поступить въ ряды колонистовъ, оказалось столь незначительнымъ, что обществу, предпринявшему основаніе колоніи, скоро пришлось отказаться отъ своихъ затѣй. Городокъ Тевтонъ уцѣлѣлъ, но уже не какъ столица будущаго германскаго государства, а какъ болѣе или менѣе значительное Пенсильванское поселеніе, одинаково занятое нѣмцами и англо-американцами.

Въ интересахъ оппозиціи той же узкой исключительности, какая обнаружена была партіей Natives, Шмéле въ издаваемомъ имъ „Сусквезанскомъ Демократѣ“ еще въ 1834 году предложилъ общій съѣздъ всѣхъ лицъ, заинтересованныхъ въ упроченіи и развитіи нѣмецкаго вліянія въ Америкѣ, мысль, осуществленіе которой воспослѣдовало однако не ранѣе 1837 г. За нѣсколько мѣсяцевъ до открытія съѣзда въ Филадельфіи, издатели „Стараго и Новаго Свѣта“ слѣдующимъ образомъ опредѣлили его задачу. Высшею цѣлью съѣзда должно быть проведеніе законодательнымъ путемъ правила о замѣнѣ англійскаго языка нѣмецкимъ во всѣхъ тѣхъ штатахъ, въ которыхъ большинство гражданъ говоритъ этимъ языкомъ. Англійскій языкъ, не уступая мѣста своему сопернику, въ тоже время не долженъ вполнѣ исключать его изъ сферы

оффиціальныхъ сношеній во всѣхъ тѣхъ штатахъ, въ которыхъ число нѣмцевъ составляетъ не менѣе одной трети всего населенія; точно также во всѣхъ тѣхъ судебныхъ округахъ, въ которыхъ нѣмцы являются преобладающимъ элементомъ, языкомъ судебныхъ дебатовъ и протоколовъ долженъ быть языкъ нѣмецкій. Практическій смыслъ не дозволилъ однако собравшимся въ Филадельфіи политикамъ настаивать на всѣхъ этихъ требованіяхъ. Послѣ жаркихъ дебатовъ собраніемъ принято было слѣдующее постановленіе. Во всѣхъ штатахъ, графствахъ и общинахъ, съ значительнымъ числомъ нѣмецкихъ уроженцевъ, судебныя пренія, журналы засѣданій и законодательные проекты должны быть издаваемы на обоихъ языкахъ. Это требованіе было до нѣкоторой степени удовлетворено постановленіемъ законодательнаго собранія въ Пенсильваніи въ 1837 г., опредѣлившимъ, что на будущее время извѣстное число экземпляровъ издаваемыхъ имъ законовъ будетъ печататься на нѣмецкомъ языкѣ. Это постановленіе однако не нашло себѣ на практикѣ серьезнаго примѣненія, и безплодность затѣянной агитаціи, невозможность повторенія въ Америкѣ націоналистическихъ затѣй, сказались съ полною силою и наглядностью въ томъ фактѣ, что спроса на нѣмецкія эверсіи вновь изданныхъ законовъ, было такъ мало среди самихъ же нѣмцевъ, что законодательному собранію пришлось пріостановить ихъ печатаніе „за ихъ ненадобностью“. Спрашивается, какая причина заставила самихъ нѣмцевъ отнестись съ такимъ равнодушіемъ къ этому, такъ волнующему ихъ въ Старомъ Свѣтѣ, вопросу. Причина тому лежитъ въ самомъ характерѣ американскаго права, которое, какъ извѣстно, не болѣе какъ видоизмѣненное англійское право. Основанное частью на прецедентахъ, иначе говоря, судебныхъ приговорахъ не однихъ американскихъ, но и англійскихъ судовъ прошлыхъ столѣтій, частью на статутахъ, изданныхъ на англійскомъ языкѣ парламентомъ и конгрессомъ, американское право по необходимости ограничиваетъ задачу каждаго новаго закона видоизмѣненіемъ, или отмѣной старинныхъ постановленій, источникъ которыхъ долженъ быть раскрытъ справками, съ написанными на англійскомъ языкѣ законами, и судебными рѣшеніями. Безъ такихъ справокъ новый законъ нерѣдко непонятенъ, а если такъ, то очевидно, что изданіе постановленій законодательнаго собранія Пенсильваніи на нѣмецкомъ языкѣ не освобождало лицъ, призванныхъ къ знакомству съ ними, отъ пользованія составленными на англійскомъ языкѣ источниками, т.-е. весьма мало облегчало задачу тѣхъ изъ практиковъ, которые бы оказались вовсе незнакомыми съ англійскимъ языкомъ.

Германское національстическое движеніе въ Америкѣ сказалось не въ одной только попыткѣ обоснованія исключительно нѣмецкихъ колоній, или введенія въ употребленіе нѣмецкаго языка въ законодательномъ собраніи и въ судахъ; оно выразилось также въ стремленіи установить, отдѣльныя отъ англійскихъ, нѣмецкія школы и возложить издержки на ихъ содержаніе на общины и графства. Попытки эти увѣнчались лишь временнымъ успѣхомъ. Законодательное собраніе Пенсильваніи въ 1837 году одно признало за жителями населенныхъ нѣмцами приходовъ право требовать основанія самостоятельныхъ нѣмецкихъ школъ, содержимыхъ на тѣ же средства, на какія содержатся школы англійскія. Опытъ вскорѣ показалъ, впрочемъ, самимъ нѣмцамъ всю непрактичность системы обученія ихъ дѣтей отдѣльно отъ дѣтей англо-американцевъ и притомъ на мало употребительномъ въ дѣловыхъ сношеніяхъ языкѣ. Родители не могли не замѣтить тѣхъ неудобствъ, какія на практикѣ вело изолированіе ихъ дѣтей отъ подростающаго поколѣнія англо-американцевъ. Необходимость же обстоятельнаго знакомства съ англійскимъ языкомъ, безъ чего лучшій нѣмецкій врачъ и адвокатъ, какъ показалъ опытъ, не въ состояніи добиться значительной практики, заставила нѣмецкихъ родителей отдавать предпочтительно своихъ дѣтей въ англійскія школы, а это, въ свою очередь, сдѣлало совершенно безполезнымъ дальнѣйшее существованіе спеціальныхъ нѣмецкихъ школъ.

Ошибочно было бы думать, однако, что національная агитація нѣмцевъ въ Америкѣ не имѣла никакихъ практическихъ результатовъ; напротивъ того, эти результаты были весьма значительны, хотя и далеко не тѣ, какіе преслѣдовали вожаки національстической политики.

Національныя движенія въ средѣ американскихъ нѣмцевъ, сказали мы, были вызваны желаніемъ оказать дѣятельный отпоръ политикѣ, такъ-называемой, туземной партіи (Natives); эта послѣдняя, какъ мы видѣли, стремилась не къ чему иному, какъ къ тому, чтобы закрыть европейской эмиграціи доступъ въ Соединенные Штаты. Не имѣя возможности провести свою программу вполнѣ, туземная партія сосредоточила свою агитацію на томъ, чтобы срокъ пребыванія въ Америкѣ, требуемый для пріобрѣтенія гражданства, былъ бы, по возможности, удлиненъ и чтобы новые пришельцы не допускаемы были сразу къ пользованію тѣми широкими преимуществами, какія открывала имъ весьма либеральная въ этомъ отношеніи поземельная политика федераціи. Проведенное въ 20-хъ годахъ демократической арміею требованіе, чтобы національныя земли продаваемы были колонистамъ

небольшими участками, въ 40 акровъ, и за весьма ничтожную плату, легко покрываемую годовою рентою, по предложенію Генриха Клея, одного изъ предводителей этой партіи, должно было на будущее время распространять свое дѣйствіе только на тѣхъ лицъ, которыя пятилѣтнимъ пребываніемъ въ территоріи Соединенныхъ Штатовъ успѣли пріобрѣсти въ нихъ право гражданства. При такихъ условіяхъ понятно, если торжество Natives, въ глазахъ американскихъ нѣмцевъ, являлось чѣмъ-то равнозначительнымъ фактическому запрещенію дальнѣйшей эмиграціи ихъ соплеменниковъ въ Соединенные Штаты. Не удивительно, если въ Нью-Іоркѣ, Сенъ-Луисѣ, Цинциннатѣ, основаны были американскими нѣмцами спеціальныя общества, журналы и газеты, съ цѣлью дѣятельнаго сопротивленія такой политикѣ, если въ издаваемыхъ, по случаю новыхъ президентскихъ выборовъ, адрессахъ и обращеніяхъ къ нѣмецкимъ избирателямъ имъ ставилось на видъ, что они должны поддерживать своими голосами только тѣхъ кандидатовъ, которые открыто заявятъ себя противниками партіи „Natives“. Съ тѣхъ поръ, какъ новый наплывъ эмигрантовъ изъ Германіи, вызванный неудачнымъ исходомъ революціонныхъ движеній 1848 г., численно усилилъ собою нѣмецкій элементъ въ Соединенныхъ Штатахъ и заставилъ американскихъ политикановъ дорожить его поддержкой, нативистическое движеніе, особенно сильно разъигравшееся въ періоды времени отъ 1835 по 37 г. и отъ 1842 по 44 г., исчезаетъ само собою. Новѣйшіе по времени земельные законы, не только не принимаютъ никакихъ мѣръ противъ дальнѣйшей эмиграціи, но всячески содѣйствуютъ ей, облегчая пріобрѣтеніе земель колонистами, надѣляя ихъ даромъ извѣстными участками и гарантируя имъ возможность предпочтительной покупки въ той же мѣстности новыхъ земель отъ федеральнаго правительства.

Такимъ образомъ, германскому элементу удалось оказать рѣшительное вліяніе въ одномъ изъ тѣхъ вопросовъ, отъ которыхъ несомнѣнно зависитъ будущность Соединенныхъ Штатовъ. Ихъ агитаціи потомство обязано будетъ тѣмъ, что изъ англійской колоніи, какими они были на первыхъ порахъ, штаты Сѣверной Америки сдѣлаются фактическимъ осуществленіемъ идеала европейскаго космополитизма, ареной мирнаго развитія, если не общечеловѣческой, то европейской гражданственности.

Германской національной агитаціи удалось положить не только предѣлъ узко-національнымъ стремленіямъ англо-американцевъ; ей удалось также повліять, черезъ посредство такъ-называемой смѣшанной школы, на самую систему народнаго образованія, а въ конечномъ результатѣ—и на выработку національнаго

характера сѣверо-американцевъ. Пришедши сами, путемъ опыта, къ убѣжденію въ томъ, что отдѣльныя отъ англійскихъ нѣмецкія школы идутъ въ разрѣзъ съ практическими цѣлями, преслѣдуемыми ихъ соотечественниками въ Новомъ Свѣтѣ, американскіе нѣмцы не отказались ни мало отъ мысли, сдѣлать изъ школъ не только хранителей, но и разсадниковъ своей національной культуры, и съ этою цѣлью стали настаивать на принятіи тѣми штатами, въ которыхъ они были особенно численны, такой школьной системы, при которой нѣмецкій языкъ признавался бы обязательнымъ предметомъ, наравнѣ съ англійскимъ. Пользуясь принадлежащимъ имъ правомъ голосованія, нѣмецкіе поселенцы Огаіо первые провели въ своемъ штатѣ требованіе, касательно устройства такихъ смѣшанныхъ школъ. Законами 1838 и ближайшихъ годовъ было постановлено, что, по настоянію нѣмецкаго населенія отдѣльныхъ округовъ, лица, завѣдущія школьнымъ дѣломъ (trustees), обязаны вводить въ преподаваніе нѣмецкій языкъ. Примѣру Огаіо скоро послѣдовали и другіе штаты запада съ значительнымъ нѣмецкимъ населеніемъ, какъ напр., Висконсинъ, Миннезотта, Иллинойсъ, Мичиганъ, Канзисъ, Миссури, Индіана, а изъ старыхъ—Нью-Іоркъ и Пенсильванія. Въ настоящее время число такихъ школъ—877, а число обучающихся въ нихъ дѣтей—сто съ-лишнимъ тысячъ; число, конечно, незначительное, если принять во вниманіе, что подрастающее поколѣніе американскихъ нѣмцевъ представляетъ собою не менѣе двухъ милліоновъ (считая одного ребенка на пять человѣкъ), но которое, должнымъ образомъ, будетъ оцѣнено лишь въ томъ случаѣ, если мы примемъ во вниманіе, съ одной стороны, то обстоятельство, что большинство названныхъ штатовъ обратилось къ устройству такихъ смѣшанныхъ школъ лишь за послѣднее время, и что число нѣмецкихъ дѣтей, получающихъ образованіе въ церковныхъ и частныхъ училищахъ съ обязательнымъ нѣмецкимъ языкомъ, все еще болѣе 180 тысячъ. Знакомство съ нѣмецкимъ языкомъ, открывая американцамъ доступъ къ нѣмецкой наукѣ и словесности, не мало содѣйствуетъ привитію имъ такихъ идей и вкусовъ, которые совершенно чужды были ихъ прародителямъ—пуританамъ Новой Англіи. Мнѣ не разъ пришлось слышать отъ чистокровныхъ американцевъ жалобы на то, что, благодаря вліянію нѣмецкой школы и, черезъ ея посредство, нѣмецкаго элемента, въ Америкѣ за послѣдніе годы замѣчается рѣшительное усиленіе матеріалистической философіи. Знакомые съ нѣмецкимъ языкомъ, молодые англо-американцы часто считаютъ нужнымъ пополнить свое образованіе въ нѣмецкихъ университетахъ, въ которыхъ, какъ пока-

зываютъ примѣры лейпцигскаго, гейдельбергскаго, они нерѣдко встрѣчаются, не только десятками, но и сотнями человѣкъ. Возвращаясь на родину, молодые американцы, по словамъ ихъ родителей, приносятъ съ собой почерпнутыя ими въ Германіи атеистическія и матеріалистическія воззрѣнія, и въ свою очередь не мало содѣйствовали упадку той религіозности, какая доселѣ составляла характерную черту американскаго общества. Неуваженіе нѣмцевъ къ воскресенью, какъ дню, не только полной безработицы, но и совершеннаго воздержанія отъ всякаго увеселенія, также сильно оскорбляетъ фанатизмъ англо-американцевъ; послѣдніе не безъ скрытаго чувства негодованія слѣдятъ за нескончаемыми процессіями разнаго рода сообществъ и концертами на открытомъ воздухѣ, которымъ американскіе нѣмцы посвящаютъ свои воскресные досуги. Въ то же время они не рѣшаются предпринять противъ нѣмцевъ тѣхъ открыто-враждебныхъ дѣйствій, какія еще недавно—въ 1840—50 годахъ, позволяла себѣ партія „Natives", разгоняя силою нѣмецкія собранія и забрасывая камнями беззащитныхъ музыкантовъ, такъ какъ политическимъ ихъ вожакамъ хорошо извѣстно по опыту, какое значеніе имѣетъ голосъ нѣмцевъ на выборахъ, и какъ сильно зависитъ отъ него торжество той или другой партіи—демократической или республиканской.

Если старое поколѣніе недовольно разлагающимъ, какъ оно полагаетъ, вліяніемъ нѣмецкой культуры, то молодое обнаруживаетъ рѣшительное увлеченіе ею. Развившаяся у американцевъ за послѣднее время любовь къ музыкѣ, и въ частности къ нѣмецкой, увлеченіе, съ которымъ они слѣдятъ за игрою такихъ выдающихся театральныхъ артистовъ, какъ Газе или Людвигъ Барнай, зарабатывающихъ нерѣдко за одно представленіе по тысячѣ и болѣе долларовъ, и рядомъ съ этимъ возможность преподавать въ высшихъ школахъ и университетахъ философію Канта, Гегеля или Шопенгауера и собирать обширныя аудиторіи на чтенія о Гётевскомъ Фаустѣ,—все это, вмѣстѣ взятое, рѣшительно говоритъ намъ о томъ, что нѣмецкая цивилизація овладѣваетъ американскими умами, и что въ ближайшемъ будущемъ національный характеръ американцевъ необходимо подвергнется соотвѣтственно этому значительнымъ измѣненіямъ. Прислушиваясь къ голосу лучшихъ представителей нѣмецкаго элемента въ Америкѣ, мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ подтвержденіе той мысли, что германская партія рѣшительно отказалась за послѣдніе годы отъ дальнѣйшаго преслѣдованія фантастическаго плана—основать въ Америкѣ исключительно нѣмецкіе штаты, что она ни мало не

заботится болѣе объ оффиціальномъ признаніи своего языка въ законодательныхъ собраніяхъ или судахъ, не отказываясь въ то же время отъ настойчивой поддержки всѣхъ особенностей своей культуры, заботясь о введеніи съ этой цѣлью своего роднаго языка въ сферу преподаванія, охотно принимая на себя издержки по основанію спеціальныхъ нѣмецкихъ органовъ печати, которыхъ въ настоящее время насчитываютъ въ Соединенныхъ Штатахъ до 620, не жалѣя средствъ на заведеніе нѣмецкихъ театровъ и нѣмецкихъ музыкальныхъ обществъ, вліяя, наконецъ, непосредственно на иностранную политику федераціи въ смыслѣ благопріятномъ интересамъ своей старой родины. „Не въ попыткахъ обособить нѣмецкую школу отъ англо-американской и не въ бредняхъ создать въ новомъ свѣтѣ особое нѣмецкое государство, лежитъ будущее германской національности,—говоритъ Густавъ Кернеръ, одинъ изъ вожаковъ нѣмецкой партіи на Западѣ,—но въ стремленіи за-одно съ американскими гражданами къ достиженію высшихъ цѣлей общежитія. Особой національности въ средѣ американцевъ нѣмцы образовать не могутъ; но отъ нихъ зависитъ передать своимъ новымъ соотечественникамъ неоцѣненныя сокровища нѣмецкаго просвѣщенія“.

III.

По своему этнографическому составу населеніе Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ представляетъ такую смѣсь, не только различныхъ національностей, но и расъ, какую мы не находимъ ни въ одномъ изъ европейскихъ государствъ, не исключая и Россіи. Рядомъ съ народностями арійской семьи, мы встрѣчаемъ здѣсь негровъ и краснокожихъ, а также значительный контингентъ представителей монголо-манджурской расы. Десятая перепись населенія произведенная не далѣе, какъ въ 1880 г., даетъ намъ слѣдующія цифровыя данныя по отношенію къ числу заселяющихъ Америку народностей не-арійской крови. Негровъ насчитываетъ она до 6 мил. 580 тысячъ; китайцевъ—105 съ-лишнимъ тысячъ; индѣйцевъ 376 тысячъ. Всякій согласится съ тѣмъ, что будущее американской федераціи въ значительной степени зависитъ отъ того, въ какой мѣрѣ удастся бѣлой расѣ ассимилировать себѣ остальныя, въ какой мѣрѣ ей удастся распространить на разноцвѣтныя съ нею племена цивилизующее вліяніе христіанской религіи и перенесенной изъ Стараго Свѣта европейской гражданственности. Надо сознаться, что прошлое является плохой га-

рантіей тому, что эта задача будетъ выполнена американцами къ обоюдной пользѣ цивилизующихъ и цивилизуемыхъ расъ. Столкновеніе двухъ культуръ, столь отличныхъ другъ отъ друга, какъ европейская и туземная—индѣйская, приводило пока не столько къ перерожденію послѣдней, сколько къ ея вымиранію. Краткосрочный опытъ допущенія китайцевъ къ колонизаціи въ Новомъ Свѣтѣ, окончившійся недавно формальнымъ запрещеніемъ ихъ дальнѣйшаго ввоза, также мало говоритъ намъ о томъ, чтобы американцы были призваны къ внесенію свѣточа европейскаго просвѣщенія въ нѣдра остановившихся въ своемъ развитіи народностей. Значительный процентъ смертности, замѣчаемый среди негровъ съ момента прекращенія ихъ дальнѣйшаго подвоза въ Америку и въ особенности со времени ихъ освобожденія, также не служитъ ручательствомъ тому, чтобы на почвѣ даже общей религіи возможно было рано или поздно слiяніе этихъ двухъ, столь рѣзко противуположныхъ другъ другу, племенныхъ группъ. Знакомясь съ исторіей отношеній бѣлыхъ къ народностямъ разной съ ними крови, европейскій наблюдатель невольно спрашиваетъ себя—лежитъ ли причина такой неспособности къ ассимилированію въ самомъ характерѣ арійской гражданственности, а также въ условіяхъ быта подлежащихъ ассимиляціи народностей, или же ее слѣдуетъ искать въ спеціальныхъ и временныхъ причинахъ, въ ошибочной политикѣ, во взаимномъ непониманіи другъ друга. Я склоненъ думать, что и тѣ, и другія причины одинаково должны быть приняты въ разсчетъ; что наряду съ временными ошибками самый характеръ культуры, перенесенной европейцами въ ихъ новую родину, объясняетъ намъ причину, по которой красная, черная и желтая расы стоятъ въ наши дни такъ же обособленно отъ господствующей массы бѣлыхъ, какъ и двѣсти лѣтъ назадъ, въ эпоху начинающейся еще колонизаціи и первоначальнаго ввоза африканцевъ въ Новый Свѣтъ. Вопросъ, занимающій насъ въ настоящее время, тотъ самый, какой пятьдесятъ лѣтъ назадъ занималъ собою самаго зоркаго наблюдателя американской жизни, Токвиля; и онъ останавливался въ недоумѣніи передъ фактомъ совершенной обособленности въ Америкѣ отдѣльныхъ расъ. Ему, какъ и намъ, приходилось считаться съ мнѣніями о возможномъ слiяніи ихъ въ будущемъ, и все преимущество наше по отношенію къ нему, при рѣшеніи только поставленнаго имъ вопроса, лежитъ въ томъ, что событіе, которое онъ считалъ рѣшающимъ для судебъ наиболѣе многочисленной изъ не-арійскихъ расъ, въ Америкѣ для негритянской, совершилось на нашихъ глазахъ, и что протекшее съ эмансипаціи десятилѣтіе доставило намъ воз-

можность судить о томъ, въ какой мѣрѣ сліяніе обоихъ племенъ подвинулось со времени провозглашенія ихъ гражданскаго равноправія. Говоря, что европейская культура по самой своей природѣ плохо прививается къ быту отсталыхъ или варварскихъ народностей, я хочу сказать только то, что усвоеніе ея предполагаетъ не дальнѣйшее развитіе туземнаго быта, а совершенный переворотъ въ послѣднемъ. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ—какими чертами характеризуется, напр., бытъ краснокожихъ, и что̀ взамѣнъ ему можетъ дать европейская гражданственность. Въ эпоху первоначальнаго столкновенія европейской культуры съ туземной—американской, обычнымъ занятіемъ индѣйцевъ были звѣриный и рыбный промыслы. Эти занятія предполагаютъ кочевой образъ жизни, отсутствіе постоянной осѣдлости, постоянныхъ мѣстъ для поселеній. Другою чертою въ бытѣ индѣйцевъ является жизнь большими братствами, чтобы не сказать родами,—братствами, основу которыхъ составляетъ дѣйствительное или мнимое родство всѣхъ членовъ въ женской линіи, какъ потомковъ общей родоначальницы. Индивидуальный бракъ, индивидуальная собственность и все то, чѣмъ обусловливается въ своемъ существованіи европейскій индивидуализмъ, совершенно чужды индѣйцамъ. Не менѣе чужды имъ и тѣ чисто-раціоналистическія воззрѣнія на явленія обыденной жизни, какія допускаетъ всякая монотеистическая религія, и, въ частности, христіанская, доводящая до минимума сверхъестественное вмѣшательство божества. Законъ причинности, раскрытіе котораго составляетъ высшую задачу европейской науки, науки, развившейся на почвѣ христіанскаго вѣроученія, въ міросозерцаніи индѣйца замѣняется увѣренностью въ ежечасномъ воздѣйствіи на судьбы человѣка добрыхъ и злыхъ духовъ, безъ вѣдома которыхъ не происходитъ ничего ни въ настоящей, ни въ будущей жизни. Итакъ, начиная съ экономическихъ условій быта и оканчивая религіозными, европейская культура представляетъ рѣшительное отрицаніе основъ туземной. Удивительно ли послѣ этого, если всякіе проекты ассимиляціи туземцевъ всегда отправлялись отъ мысли о необходимости радикальнаго переворота въ ихъ образѣ жизни, въ ихъ религіозныхъ представленіяхъ, въ ихъ общественныхъ и нравственныхъ идеалахъ, если американскіе политики, благопріятно смотрѣвшіе на такую ассимиляцію, совѣтовали и доселѣ совѣтуютъ не только насильственное обращеніе индѣйцевъ въ христіанство, но столь же насильственное прекращеніе въ ихъ средѣ присущаго имъ аграрнаго коммунизма. Искусственное введеніе частной собственности постоянныхъ поселеній и столь же постоянныхъ браковъ, и все это, при бдительномъ

полицейскомъ надзорѣ со стороны, назначенныхъ бѣлыми, властей,—вотъ къ чему сводится на первыхъ же порахъ всякая дѣятельная попытка цивилизовать краснокожихъ, американизировать, или, вѣрнѣе говоря, европеизировать ихъ бытъ. Но замѣнить основы культуры другими, рѣзко противоположными имъ, замѣнить ихъ предписаніями свыше, не есть ли это нѣчто, стоящее внѣ сферы возможностей, нѣчто, неосуществимое по самой своей природѣ? Еслибы опытъ исторіи не убѣждалъ насъ въ этомъ, показывая намъ, напр., какъ цивилизуемые Римомъ варвары были вмѣстѣ съ тѣмъ и разрушителями римской культуры, примѣръ немногихъ индѣйскихъ племенъ, воспринявшихъ обычаи и образъ жизни бѣлыхъ, легко бы могъ убѣдить насъ въ томъ, что конечнымъ послѣдствіемъ такой радикальной перемѣны въ самыхъ основахъ жизни является не перерожденіе, а вымираніе. Дѣло въ томъ, что ничто не можетъ быть консервативнѣе привычекъ, ничто не измѣняется, поэтому, съ такою медленностью, какъ онѣ, а между тѣмъ перемѣна въ привычкахъ—необходимое условіе для перехода къ европейской культурѣ. То „dolce far niente“, та неспособность къ постоянному труду, которая такъ легко примиряется съ обычнымъ занятіемъ звѣроловствомъ,—грозитъ нищетою и голодною смертью при искусственномъ переходѣ къ земледѣльческому промыслу. Изъ всего, что мы слышимъ о жизни краснокожихъ въ предѣлахъ отведенной имъ территоріи, слѣдуетъ однако, что привычка къ труду далеко не прививается имъ рука объ руку съ искусственнымъ поселеніемъ ихъ селами и размежевкой ихъ полей. Передавая намъ тѣ впечатлѣнія, какія онъ вынесъ изъ своего путешествія на западъ американскаго материка, Грили, редакторъ Нью-Іоркской трибуны и еще недавній кандидатъ въ президенты, выставленный демократической партіей, говоритъ по этому поводу слѣдующее. Проѣзжая по плодороднымъ берегамъ Канзаса, составлявшимъ въ то время, т.-е. въ 1859 г., территорію Делаваровъ, по мѣстности, которая могла бы сдѣлаться житницей для міра, и видя въ тоже время собственниковъ этихъ земель спокойно сидящими въ страдную пору у входа въ свои жилища, я не могъ воздержаться отъ того, чтобы не сказать самому себѣ: „люди эти необходимо вымрутъ; для нихъ нѣтъ другого исхода; Богъ далъ землю тѣмъ, кто возьмется подчинить и обработать ее. Безполезно противиться болѣе его справедливому рѣшенію“. Я привелъ эти слова знаменитаго американскаго публициста, такъ какъ ими, какъ нельзя лучше, характеризуется и то положеніе, какое создаетъ для краснокожихъ искусственное обращеніе ихъ въ осѣдлыхъ земледѣльцевъ, и то впечатлѣніе, ко-

торое производитъ ихъ неспособность оставить сразу укоренившіяся столѣтіями привычки на бѣлое населеніе Америки. При невозможности измѣнить старинный образъ жизни, индѣйцамъ изъ европейской культуры удается усвоить только внѣшнюю ея сторону. Обрядовая сторона религіи, и пристрастіе къ религіознымъ церемоніямъ, скрупулезное выполненіе правила о воскресеніяхъ и праздникахъ, какъ о Божьихъ дняхъ, въ которые запрещается работа, готовность разоряться на поминки и свадьбы съ ихъ нескончаемыми угощеніями родни и сосѣдей, пристрастіе къ опьяняющимъ напиткамъ и къ нѣкоторой изысканности въ одеждѣ— вотъ въ чемъ обнаруживается въ средѣ индѣйцевъ цивилизующее вліяніе бѣлой расы. Не проходитъ и десятка лѣтъ и послѣдствія такого внѣшняго усвоенія европеизма сказываются увеличеніемъ бѣдности и соотвѣтственнымъ усиленіемъ смертности. Исторія вымершихъ племенъ краснокожихъ представляетъ намъ однообразное повтореніе только-что указанныхъ явленій. А статистика общественнаго призрѣнія, указывая на то, что изъ всѣхъ элементовъ населенія того или другого штата, краснокожіе доставляютъ наибольшій процентъ пауперовъ, является новымъ подтвержденіемъ той мысли, что искусственное привитіе краснокожимъ европейской культуры въ конечномъ результатѣ грозитъ имъ не чѣмъ инымъ, какъ вымираніемъ.

Американскіе публицисты не прочь объяснять, какъ я уже замѣтилъ, причины этого вымиранія ошибочной политикой правительствъ отдѣльныхъ штатовъ и всей федераціи по отношенію къ краснокожимъ. Изъ сказаннаго ясно, насколько преувеличено такое воззрѣніе. Нельзя однако не согласиться, что эта политика въ значительной степени объясняетъ намъ причину, если не вымиранія, то той обособленности, какую индѣйская раса представляетъ по отношенію къ бѣлой. Дѣло въ томъ, что попытка американцевъ повліять непосредственно на измѣненіе бытовыхъ условій туземной расы, началась сравнительно недавно, со временъ Пена и до 1871 г., когда конгрессъ запретилъ дальнѣйшее заключеніе съ индѣйцами соглашеній, однохарактерныхъ съ международнымъ. Американцы въ своихъ сношеніяхъ съ краснокожими придерживались системы относительнаго невмѣшательства. Путемъ договоровъ, однохарактерныхъ съ тѣми, въ какіе вступаютъ между собою вполнѣ самостоятельныя государства, колоніальныя правительства, а за ними правительства отдѣльныхъ штатовъ и всей федераціи, опредѣляли время отъ времени modus vivendi обѣихъ расъ, признавая каждый разъ за индѣйцами неограниченную племенную собственность на ихъ лѣса и пустоши

и право не впускать въ нихъ колонистовъ иначе, какъ на основаніи предварительной покупки самимъ правительствомъ занимаемыхъ ими земель. Общія начала этой политики съ большою опредѣлительностью были высказаны президентомъ Адамсомъ въ 1828 г. „Принципъ, проходящій черезъ всю исторію нашихъ сношеній съ краснокожими, — сказалъ онъ въ своемъ обращеніи къ конгрессу, — состоитъ въ признаніи ихъ иноземной державой, съ которой мы заключаемъ трактаты и соглашенія, и у которой, какъ у собственницы занятой ею территоріи, мы пріобрѣтаемъ земли покупкой. Постоянный притокъ европейской колонизаціи и непрерывный потокъ бѣлаго населенія изъ пріатлантическихъ штатовъ въ западные, обусловленный минеральнымъ богатствомъ послѣднихъ, вызывалъ однако неоднократно нарушеніе de facto этихъ соглашеній. Уже Джеферсонъ, отправляясь отъ мысли о необходимости полнаго разобщенія бѣлыхъ отъ индѣйцевъ, открыто высказывался въ пользу переселенія ихъ массами на правый берегъ Миссисипи. Эта мысль осуществлена была однако не ранѣе 1830 г., въ президентство Джаксона. Закономъ 28 мая этого года конгрессъ предписалъ принудительный обмѣнъ земель индѣйцевъ на лѣвомъ берегу Миссисипи на земли, расположенныя на правомъ его берегу, и вмѣстѣ съ тѣмъ призналъ за краснокожими право собственности на эти послѣднія. Присоединеніе Техаса, Новой Мексики и Калифорніи, какъ и нужно было ожидать, имѣло своимъ послѣдствіемъ быстрый приливъ эмиграціи къ Западу. Эмигранты по необходимости должны были проходить при своемъ переселеніи въ штаты на Тихомъ Океанѣ черезъ область, отведенную въ исключительную собственность индѣйцевъ, такъ называемый Западный Резервъ, расположенный по ту сторону рѣки Миссури. Индѣйцы съ самаго начала отнеслись враждебно ко всѣмъ попыткамъ бѣлыхъ переступить границы разъ отведенныхъ имъ владѣній. Находя въ высшей степени плодородную почву въ предѣлахъ индѣйскаго резерва, бѣлые, въ свою очередь, стали агитировать въ пользу выдѣленія части этого резерва для европейскихъ поселеній. Эта агитація не замедлила найти поддержку въ конгрессѣ, которому въ 1852 году предложенъ былъ билль касательно образованія новой территоріи (Небраски) въ значительной мѣрѣ изъ земель, входившихъ въ составъ индѣйскаго резерва. Этотъ билль, правда, не прошелъ въ конгрессѣ, но въ томъ же году послѣдній ассигновалъ 50,000 долларовъ на покупку у индѣйцевъ земель съ цѣлью образованія изъ нихъ новыхъ территорій. Согласно съ этимъ рѣшеніемъ президентъ въ 1854 г. подписалъ рядъ соглашеній съ индѣйцами, которыми у послѣднихъ

за ничтожную плату была пріобрѣтена большая часть ихъ земельной площади, изъ которой образованы были сперва территоріи, а затѣмъ штаты Канзасъ и Небраска. Новый наплывъ эмигрантовъ повелъ современемъ къ установленію новыхъ соглашеній съ индѣйцами и образованію новыхъ территорій—Орегона и Вашингтона, опять-таки на прежнихъ основаніяхъ выкупа, которому всякій разъ предшествовали факты индивидуальнаго присвоенія части индѣйской территоріи бѣлыми. Въ 1866 году новыя соглашенія съ индѣйцами изъ племени Делавара повели за собою ихъ выселеніе изъ штата Канзасъ и образованіе, такъ называемой, индѣйской территоріи. Такія соглашенія съ индѣйцами, въ результатѣ которыхъ является уступка ими земель бѣлымъ и ограниченіе прежней племенной территоріи все болѣе и болѣе тѣсными предѣлами, заключаются не только федеральнымъ правительствомъ, но и правительствами отдѣльныхъ штатовъ, въ томъ числѣ Калифорніи. Путемъ такихъ соглашеній, начиная съ 1852—1853 года у индѣйцевъ Калифорніи отобрана большая часть ихъ прежнихъ земель и за ними оставлено не болѣе какъ пять резерватовъ въ 25,000 акровъ каждый.—Общимъ результатомъ такой политики является ограниченіе въ наши дни всей занятой индѣйцами области не болѣе, какъ $154^1/_2$ милліонами акровъ, т.-е. пространствомъ земли не большее того, какое уступлено было Сѣверной дорогѣ къ Восточному океану. Эта область занята населеніемъ въ 256 тысячъ душъ, такъ что на каждаго индѣйца приходится среднимъ числомъ 603 акра земли. Быстрый наплывъ эмигрантовъ, при исчезновеніи, не менѣе быстромъ, публичныхъ доменовъ, потребуетъ, по всей вѣроятности, новаго сокращенія индѣйскихъ резерватовъ. Агитація давно началась уже въ этомъ смыслѣ и энергически ведется съ 1873 года; при этомъ высказывается необходимость еще слѣдующей реформы. Федеральному правительству ставится на видъ, что ему выгоднѣе вступать въ соглашеніе не съ племенами, а съ отдѣльными индѣйцами, и признавать за туземцами не право племенной нераздѣльной собственности, а личной. Такое предложеніе сдѣлано было впервые Кальгуномъ еще въ 30-хъ годахъ. Число его приверженцевъ растетъ съ каждымъ годомъ. Проведеніе его законодательствомъ, по всей вѣроятности, не болѣе какъ дѣло времени. Оно несомнѣнно вызвано прежде всего желаніемъ открыть европейцамъ доступъ къ пріобрѣтенію земли въ предѣлахъ индѣйскихъ резерватовъ. При племенномъ общинномъ землевладѣніи, индивидуальное отчужденіе немыслимо; оно становится возможностью съ момента установленія частной собственности.—Примѣръ другихъ племенъ, въ томъ

числѣ арабовъ и кабиловъ Алжира, у которыхъ начало племенной нераздѣльности отмѣнено было въ 80-хъ годахъ французскимъ правительствомъ, убѣждаетъ въ томъ, что созданіе частной собственности у индѣйцевъ только ускоритъ процессъ обезземеленія ихъ бѣлыми.

Представленный нами очеркъ, какъ мы полагаемъ, не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что на ряду съ общими причинами постепеннаго исчезновенія американской расы, могутъ быть указаны и другія, спеціальныя, вызванныя характеромъ тѣхъ мѣръ, какія по отношенію къ нимъ приняты были бѣлыми. Только въ послѣднее время мы можемъ отмѣтить большую заботливость о нихъ со стороны американскихъ правительствъ. Она высказывается въ двоякомъ направленіи: во-первыхъ, въ фактѣ уплаты ими ежегодно значительныхъ денежныхъ пособій, болѣе нежели 100 тысячъ, краснокожимъ, населяющимъ индѣйскій резервъ, результатомъ чего является, впрочемъ, только искусственное поддержаніе въ средѣ послѣднихъ той неспособности къ труду, которая, какъ мы сказали, должна быть признана главной причиной непримѣнимости къ ихъ быту европейской культуры; во-вторыхъ, въ попыткѣ введенія между ними начальнаго образованія. Въ любопытномъ мемуарѣ, недавно прочитанномъ Полемъ-Пасси въ парижской академіи нравственныхъ и политическихъ наукъ, мы находимъ на этотъ счетъ слѣдующія данныя. Ежегодно федеральное правительство затрачиваетъ до 360 тысячъ долларовъ для цѣлей народнаго образованія въ средѣ индѣйцевъ, поселенныхъ по правому берегу Миссисипи; сверхъ того, штатъ Нью-Іоркъ платитъ еще 9 тысячъ долларовъ на заведеніе школъ и содержаніе учителей на протяженіи расположенныхъ въ его границахъ индѣйскихъ резервовъ. При всемъ томъ этихъ средствъ далеко недостаточно для удовлетворенія запроса индѣйской молодежи на полученіе начальнаго образованія. Запросъ этотъ весьма значителенъ, какъ убѣждаютъ насъ въ томъ далеко неполныя, конечно, статистическія данныя о посѣщаемости школъ учениками изъ краснокожихъ. Вотъ одно изъ нихъ: въ 1881 г. изъ 1607 дѣтей краснокожихъ—цифра, выражающая собою число ихъ въ штатѣ Нью-Іоркъ, 1175 посѣщали школу въ теченіе цѣлаго года, хотя и съ значительными пропусками. По приблизительному вычисленію потребовалась бы затрата ежегодно не менѣе 10 тысячъ долларовъ для первоначальнаго обученія всѣхъ дѣтей индѣйцевъ, т.-е. сумма, почти въ 80 разъ больше той, какая въ наши дни затрачивается федеральнымъ правительствомъ. Французскій путешественникъ, по нашему мнѣнію, преувеличиваетъ поэтому зна-

ченіе, какое американская школа оказываетъ на краснокожихъ, говоря, что съ ея помощью индѣйцы, приблизившись къ бѣлымъ по своему образованію, пріобрѣтутъ возможность рано или поздно окончательно слиться съ ними путемъ заключенія смѣшанныхъ браковъ. Опытъ обученія краснокожихъ европейскому знанію сдѣланъ еще такъ недавно и къ тому же въ такихъ скромныхъ размѣрахъ, что судить о томъ вліяніи, какое американская школа можетъ оказать на ассимиляцію краснокожихъ съ бѣлыми, по меньшей мѣрѣ, преждевременно. Несомнѣнно однако, что въ этой школѣ слѣдуетъ видѣть единственное средство къ ея достиженію. Если ассимиляція индѣйцевъ вообще возможна, то, разумѣется, только путемъ обученія ихъ вмѣстѣ съ языкомъ и грамотой и тѣмъ элементарнымъ техническимъ знаніямъ, безъ которыхъ имъ такъ трудно перейти отъ первобытныхъ промысловъ къ земледѣльческимъ занятіямъ, отъ кочевья къ осѣдлости, отъ дикости и варварства—къ гражданскому обороту.

Не меньше трудностей представляетъ задача ассимилированія бѣлыми негритянской расы. Если, съ одной стороны, общность религіи является весьма существеннымъ условіемъ ихъ сближенія и взаимнаго пониманія, то, съ другой стороны, численность негровъ въ связи съ тѣмъ чисто физическимъ отвращеніемъ, какое доселѣ вызываетъ въ человѣкѣ бѣлой крови всякая мысль о союзѣ съ представителями африканской расы, кажутся намъ непреодолимыми препятствіями къ достиженію того полнаго слія-нія, какое еще во времена Токвиля возвѣщаемо было аболиціонистами, какъ необходимый и желанный исходъ эмансипаціи. Какова же, спрашивается, при такихъ условіяхъ вѣроятная будущность негритянской расы? Многіе американскіе публицисты, развивая мысль, высказанную нѣкогда самимъ Линвольномъ, предсказываютъ выселеніе негровъ на американскій материкъ, въ основанную американцами республику Либерію. Надо сказать, однако, что факты нисколько не оправдываютъ такихъ ожиданій; выселенія негровъ массами нѣтъ и помину, и это потому, что, по справедливому замѣчанію, обстоятельно изучившаго ихъ современный бытъ, англичанина Комбля, ожидающія ихъ въ Либеріи условія едва ли могутъ быть болѣе благопріятны, чѣмъ тѣ, какими они пользуются въ Америкѣ, при широтѣ предоставленныхъ имъ политическихъ правъ и при сравнительной, какъ мы увидимъ ниже, легкости найти заработки въ наемномъ трудѣ или самимъ сдѣлаться недвижимыми собственниками.

Нѣсколько большее вѣроятіе представляютъ предположенія тѣхъ публицистовъ, которые думаютъ, что въ недалекомъ буду-

щемъ негритянская раса сосредоточится массами въ штатахъ, прилегающихъ къ мексиканскому заливу, въ которыхъ она одна по своему физическому сложенію способна вынести тотъ, почти невыполнимый для бѣлыхъ трудъ, какого требуетъ разведеніе хлопка. Статистическія данныя, свидѣтельствующія о скопленіи чернаго населенія именно въ этихъ штатахъ, повидимому, подкрѣпляютъ эти догадки. Въ самомъ дѣлѣ, по даннымъ послѣдней переписи штаты, въ которыхъ негры встрѣчаются не только въ равномъ, но даже большемъ числѣ, чѣмъ бѣлые,—это Южная Каролина, Луизіана и Миссисипи, въ которыхъ число ихъ колеблется между $^1/_2$ и тремя пятыми всего населенія. Въ Алабамѣ, Флоридѣ, Георгіи, Сѣверной Каролинѣ, они представляютъ гдѣ одну треть, а гдѣ и половину всего населенія. Въ болѣе Сѣверныхъ Штатахъ процентное отношеніе черныхъ къ бѣлымъ уже падаетъ отъ одной трети до одной четверти всего населенія. Въ Сѣверныхъ и Западныхъ штатахъ, незнавшихъ рабства негровъ,—число ихъ весьма ничтожно.

Предположеніе на счетъ сосредоточенія въ недалекомъ будущемъ большей части чернаго населенія въ хлопчато-бумажной полосѣ Соединенныхъ Штатовъ находитъ подтвержденіе себѣ и въ фактѣ сравнительно быстраго возрастанія ихъ земельной собственности именно въ этой полосѣ. Данныя, которыми мы располагаемъ на этотъ счетъ, далеко не отличаются, однако, ни полнотою, ни точностью; мы въ состояніи только сдѣлать отрывочныя указанія, на тотъ фактъ, напр., что въ Георгіи число акровъ, составляющихъ собственность негровъ, въ наше время не менѣе 541 тысячи акровъ, причемъ въ промежутокъ времени отъ 1878 г. по 1883 г. къ прежнимъ земельнымъ владѣніямъ негритянской расы въ Георгіи прибавилось не болѣе и не менѣе, какъ 39 съ-лишнимъ тысячъ акровъ. Мы можемъ также сослаться на фактъ пріобрѣтенія ими значительнаго количества земель въ Южной Каролинѣ, не безъ прямого участія въ этомъ отношеніи того правительства, которое водворено было здѣсь вслѣдъ за пораженіемъ южныхъ ополченій, и которое, какъ составленное изъ аболиціонистовъ, признало полезнымъ затратить довольно значительныя денежныя суммы на покупку плантацій съ тѣмъ, чтобы поселить на нихъ негровъ на правахъ, если не собственниковъ, то долгосрочныхъ арендаторовъ. Эта мѣра не успѣла впрочемъ принести всѣхъ, ожидаемыхъ отъ нея результатовъ, по причинѣ своего кратковременнаго дѣйствія. Новые выборы въ Штатѣ повели къ замѣнѣ благопріятнаго неграмъ правительства враждебнымъ имъ демократическимъ, которое затѣмъ

и поспѣшило отказаться отъ дальнѣйшаго примѣненія вышеописанной системы. Гораздо дѣйствительнѣе оказались тѣ мѣропріятія, какія приняты были въ Южной Каролинѣ вслѣдъ за подавленіемъ возстанія по отношенію къ землямъ, отобраннымъ правительствомъ у южныхъ плантаторовъ за недоимки. Земли эти разбиты были на участки величиною отъ десяти до двадцати акровъ каждый и проданы затѣмъ на дешевыхъ условіяхъ въ полную собственность освобожденнымъ изъ неволи неграмъ. Въ Луизіанѣ, гдѣ господствующей формой продолжаютъ оставаться средніе и крупные плантаціи, негры являются не столько собственниками, сколько долгосрочными арендаторами, или вѣрнѣе говоря, половниками. Они снимаютъ у бѣлыхъ земли, годныя для разведенія хлопка подъ условіемъ уплаты имъ ежегодно отъ четверти до половины продукта, смотря по тому — принимаетъ-ли арендаторъ издержки на себя, или предоставляетъ производства ихъ хозяину.

Перечисляя различныя мнѣнія касательно будущаго негритянской расы, я не упомянулъ пока о томъ, которое разсчитываетъ на совершенное ея вымираніе и ссылается въ подкрѣпленіе этой увѣренности на фактъ усилившейся между неграми смертности съ момента отпущенія ихъ на волю. Это мнѣніе еще недавно пользовалось широкимъ признаніемъ не только въ Америкѣ, но и въ Европѣ, гдѣ оно поддерживалось между прочимъ Клодъ-Жане въ его, довольно извѣстномъ, сочиненіи о современномъ положеніи Соединенныхъ Штатовъ, — сочиненіи, изданномъ не далѣе, какъ въ 1876 г. Такое мнѣніе составилось частью на основаніи довольно ошибочныхъ статистическихъ данныхъ, доставленныхъ девятой переписью 1870 г., производство которой относится въ эпохѣ еще неполнаго замиренія Юга, систематическаго устраненія себя отъ дѣлъ со стороны бѣлаго населенія и необходимости предоставить поэтому производство переписи въ южныхъ штатахъ плохо подготовленнымъ счетчикамъ изъ негровъ. Не удивительно, поэтому, если по даннымъ этой переписи оказалось, что процессъ возрастанія негровъ, представлявшій собою въ десятилѣтіе,—отъ 1850—60 г., двадцать два и одну десятую (22,1) въ слѣдующее затѣмъ палъ до девяти и девяти десятыхъ (9,9). Нельзя, впрочемъ, отрицать и того, чтобы время, непосредственно слѣдовавшее за эмансипаціей, не отразилось гибельно на судьбахъ негритянскаго населенія. Надѣленіе ихъ политическимъ полноправіемъ, открытая поддержка, оказываемая имъ правительствами, почти цѣликомъ составленными изъ сѣверныхъ выходцевъ, враждебныхъ плантаторамъ, нако-

нецъ, надежда найти легкіе заработки въ болѣе крупныхъ центрахъ населенія, все это, вмѣсто взятое, имѣло своимъ послѣдствіемъ оставленіе неграми плантацій и сосредоточеніе ихъ массами въ городахъ. Оставленные безъ всякаго надзора, негры воспользовались дарованной имъ свободой, какъ средствомъ освободить себя на время отъ всякаго постояннаго труда. Довольствуясь случайными заработками и тою денежной поддержкой, какую охотно доставляли имъ республиканскіе политиканы, нерѣдко систематически скупавшіе ихъ голоса на выборахъ, негры предались бездѣйствію и лѣни со всѣми сопровождающими ихъ пороками и въ частности—пьянствомъ. Послѣдствіемъ, какъ и могло было ожидать, явилась увеличившаяся въ ихъ средѣ смертность. Послѣдняя и повела къ паденію процента ихъ прироста, по всей вѣроятности, однако, не въ тѣхъ ужасающихъ размѣрахъ, какіе даютъ намъ плохо собираемыя статистическія данныя. Произведенная въ 1880 г. десятая перепись не оставляетъ болѣе ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что условія, вызвавшія уменьшеніе прироста, прекратили свое дѣйствіе, такъ какъ ею указывается возрастаніе негритянскаго племени на цѣлыхъ 34,8%. Итакъ, о вымираніи черной расы въ Америкѣ не можетъ быть болѣе и помину.

Но, если съ одной стороны, такой исходъ не лежитъ въ области возможнаго, то, съ другой стороны, не болѣе правдоподобнымъ является и то предположеніе, что рано или поздно, путемъ взаимныхъ браковъ, негры окончательно сольются съ бѣлыми и составятъ одну съ ними смѣшанную расу. Высказывая наше сомнѣніе на этотъ счетъ, мы не хотимъ сказать этимъ, что отрицаемъ за неграми всякую способность къ развитію и пріобрѣтенію европейскаго просвѣщенія. Такъ, недавно еще начавшіеся опыты устройства отдѣльныхъ школъ для цвѣтнаго населенія дали уже блестящіе результаты. На разстояніи не болѣе пяти лѣтъ, со времени устройства на счетъ федеральнаго правительства спеціальныхъ школъ для негровъ, мы встрѣчаемся уже въ 1870 г. съ грандіозной цифрой 247 тысячъ съ-лишнимъ негритянскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, получающихъ обученіе въ этихъ школахъ. Статистика народнаго образованія за 1879 г. даетъ намъ уже 686 тысячъ дѣтей негритянскаго происхожденія, посѣщающихъ начальную школу, и число это покажется особенно значительнымъ, разъ мы примемъ во вниманіе, что въ томъ возрастѣ, въ которомъ американское законодательство призываетъ къ посѣщенію школы, согласно послѣдней переписи, имѣется всего одинъ милліонъ 668 тысячъ негровъ. Такимъ образомъ,

болѣе $^1/_3$ негритіанскихъ дѣтей получаетъ уже начальное образованіе. По отзыву учителей дѣти негровъ обнаруживаютъ не только прилежаніе, но и значительныя способности, по крайней мѣрѣ, въ раннемъ возрастѣ; съ годами будто бы и тѣ, и другія, замѣтно исчезаютъ. Какъ бы то ни было, засвидѣтельствованное выше приведенными соображеніями стремленіе къ образованію не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что причину невозможности сліянія негровъ съ бѣлой расой слѣдуетъ искать не въ неспособности ихъ къ европейской культурѣ. Но если такъ, то въ чемъ же, спрашивается, видѣть препятствіе къ ихъ ассимилированію? Я полагаю, что ихъ слѣдуетъ видѣть въ томъ физическомъ отвращеніи, какое не только въ прежнее время, но и въ наши дни, вызываетъ въ бѣлыхъ соединеніе брачными узами съ представителями черной расы. Это отвращеніе, вызвавшее и законодательное запрещеніе такихъ браковъ подъ угрозою наказанія, встрѣчается не въ однихъ только Южныхъ Штатахъ. Виргинскій сводъ, грозящій тюремнымъ заключеніемъ всѣмъ неграмъ, пытающимся вступить въ бракъ съ бѣлыми, и наоборотъ,—въ этомъ отношеніи воспроизводитъ лишь тѣ мѣропріятія, какія на этотъ счетъ можно встрѣтить, по словамъ Клодъ-Жане, въ законодательствахъ Мичигана и Массачусетса. Въ Луизіанѣ, какъ говорилъ мнѣ объ этомъ извѣстный американскій романистъ Кебель, предубѣжденіе противъ такихъ союзовъ такъ сильно, что не является даже необходимости запрещенія ихъ законодательнымъ порядкомъ. То же отвращеніе одной расы къ другой лежитъ въ основѣ всѣхъ мѣропріятій къ устройству самостоятельныхъ школъ и пріютовъ для черныхъ дѣтей; опять таки эти мѣропріятія встрѣчаются не въ однихъ только Южныхъ Штатахъ. Въ Филадельфіи, напр., мнѣ пришлось посѣтить заведеніе для малолѣтнихъ преступниковъ, въ которомъ обособленіе расъ соблюдалось съ величайшею строгостью, и дѣти негритянскаго происхожденія отдѣлены были отъ остальныхъ каменною стѣною. О томъ, какъ сильно нежеланіе американцевъ допускать своихъ дѣтей въ однѣ школы съ неграми, можно судить по случаямъ въ родѣ слѣдующаго. Въ 1874 году городской совѣтъ Нешвиля, узнавъ, что американскій сенатъ высказался въ пользу устройства смѣшанныхъ школъ для дѣтей обѣихъ расъ, постановилъ прекратить дальнѣйшее сооруженіе школьныхъ зданій. Въ оправданіе своему нежеланію посылать дѣтей въ смѣшанную школу, американцы приводятъ обыкновенно то соображеніе, что при легкости нравовъ, характеризующей домашній бытъ негровъ и привитой имъ еще съ того времени, когда рабовладѣльцамъ дозволено было

разлучать супруговъ при продажѣ, дѣти негровъ получаютъ въ семьѣ весьма шаткія представленія о нравственности, и потому ихъ сообщество крайне нежелательно для дѣтей бѣлыхъ. Но едвали этими же соображеніями можно объяснить нежеланіе бѣлыхъ ходить съ неграми въ общій храмъ, посѣщать общія обѣимъ расамъ гулянья, обѣдать въ однихъ и тѣхъ же ресторанахъ или жить совмѣстно въ гостинницахъ. Такой рѣшительный отказъ отъ гражданскаго общенія съ черной расой особенно наглядно выступаетъ въ Южныхъ Штатахъ; но и въ Массачусетсѣ и при томъ въ главномъ его городѣ Бостонѣ мнѣ пришлось быть случайнымъ свидѣтелемъ слѣдующаго характернаго факта. Въ одной со мною гостинницѣ желалъ остановиться негръ въ чинѣ генерала на американской службѣ; ему было объявлено при мнѣ, что всѣ комнаты въ гостинницѣ заняты, хотя, какъ оказалось, свободныхъ номеровъ было не мало. На слѣдующій день генералъ негритянинъ обратился съ искомъ въ суды, жалуясь на на несенное ему оскорбленіе. Исходъ дѣла мнѣ неизвѣстенъ.

Несравненно меньшую важность сравнительно съ предъидущими имѣетъ въ настоящее время китайскій вопросъ. Дѣло въ томъ, что постановленіемъ конгресса, состоявшемся четыре года назадъ, дальнѣйшій ввозъ китайцевъ въ Соединенные Штаты воспрещенъ, и что поэтому отдѣльнымъ представителямъ желтой расы только съ трудомъ удается проникнуть въ предѣлы американской федераціи, проходя черезъ англо-американскія владѣнія. Запрещеніе дальнѣйшаго ввоза китайцевъ, по крайней мѣрѣ, на западѣ Америки, встрѣчено было съ большимъ сочувствіемъ со стороны массы рабочаго люда и содѣйствовало временной популярности президента Артура. Мнѣ пришлось посѣтить Америку какъ-разъ за нѣсколько недѣль до утвержденія президентомъ постановленій конгресса на этотъ счетъ, и я сдѣлался, такимъ образомъ, невольнымъ свидѣтелемъ той агитаціи, которая устроена была на западѣ съ цѣлью повліять на его рѣшеніе. Безъ преувеличенія могу сказать, что отрицательныя стороны въ характерѣ американцевъ ни въ чемъ не обрисовались предо мною съ такой рѣшительностью, какъ въ этой по-истинѣ безчеловѣчной агитаціи. Подтасовка фактовъ, клевета, явныя запугиванія правительства, черезъ посредство газетъ, грозившихъ ему потерей его популярности на всемъ западѣ, разъ оно не согласится на такую мѣру; циническое заявленіе, что на ближайшихъ выборахъ будутъ избраны депутатами только лица, враждебныя китайской эмиграціи— и рядомъ съ этимъ, акты личнаго насилія противъ китайскихъ рабочихъ, нападеніе на нихъ подъ-часъ даже съ оружіемъ въ

рукахъ, разогнаніе силою ихъ совершенно мирныхъ собраній, устройство обществъ съ цѣлью противиться дальнѣйшему пріему китайскихъ рабочихъ предпринимателями и т. п.—вотъ тѣ мѣры, какими подготовлено было враждебное китайцамъ рѣшеніе президента.

Чтобы вызвать такой антагонизмъ къ себѣ, чтобы сдѣлаться предметомъ раздоровъ между отдѣльными классами общества, китайцы, какъ можетъ показаться на первый взглядъ, должны же были запятнать себя какими либо дѣйствіями, открыто враждебными бѣлому населенію? Ничуть не бывало. Комитетъ, назначенный конгресомъ въ 1876 г. для разслѣдованія причинъ и хода китайской эмиграціи, вполнѣ выяснилъ тотъ фактъ, что желѣзная дорога, соединяющая Чикаго съ С.-Франциско, — дорога, благодаря которой наплывъ новыхъ поселенцевъ на западъ Америки такъ быстро возросъ за послѣдніе годы, оставалась бы досель неоконченной, еслибы строителямъ ея не пришло въ голову обратиться къ содѣйствію китайцевъ, болѣе выносливыхъ, нежели бѣлые, и болѣе способныхъ переносить тѣ зловредныя атмосферическія вліянія, отъ которыхъ въ болотистыхъ мѣстностяхъ бѣлый падаетъ нерѣдко жертвою маларіи или заразительной лихорадки. Изъ тѣхъ же данныхъ видно, что ихъ трудомъ, направленнымъ къ осушенію болотъ и къ проведенію дорогъ, создана по 1877 годъ включительно цѣнность не менѣе какъ 290 милліоновъ долларовъ.

Итакъ, вотъ что сдѣлано китайцами для поднятія благосостоянія той страны, которая рѣшилась не пускать ихъ болѣе въ свои предѣлы, отступая тѣмъ самымъ отъ громко провозглашеннаго ею же самою притязанія быть воспріемницею всѣхъ эмигрантовъ, изъ какихъ бы странъ они ни явились.

Обыкновенно ищутъ причинъ такой политики американцевъ по отношенію къ китайцамъ въ желаніи избѣжать на будущее время той конкурренціи, какую оказываютъ они американскимъ рабочимъ, вліяя въ конечномъ результатѣ на пониженіе ихъ заработной платы. Несомнѣнно, что ближайшій поводъ недовольства китайцами не иной, какъ этотъ; несомнѣнно, что возможность имѣть въ ихъ лицѣ рабочихъ, трудъ которыхъ оплачивается всего на всего пятнадцатью долларами въ мѣсяцъ рано или поздно долженъ отразиться невыгодно на судьбѣ американскаго рабочаго, все еще получающаго, однако, какъ видно изъ заявленій, сдѣланныхъ комитету конгресса строителями дороги къ Восточному океану до тридцати долларовъ въ мѣсяцъ. Но конкурренція грозитъ рабочимъ запада со стороны не однихъ китайцевъ, но и всѣхъ

вновь эмигрирующихъ въ него бѣлыхъ. Съ другой стороны, результаты китайской конкурренціи еще не успѣли сказаться вполнѣ, такъ что западный рабочій все еще получаетъ плату, почти въ два раза большую противъ той, которой долженъ довольствоваться рабочій въ пріатлантическихъ штатахъ. При такихъ условіяхъ остается необъясненной причина, по которой агитація противъ дальнѣйшаго паденія заработной платы направилась именно противъ китайцевъ, и по которой она успѣла уже принять настолько ужасающіе размѣры, что правительству въ интересахъ сохраненія его популярности не осталось иного исхода, какъ запретить совершенно дальнѣйшій ихъ ввозъ. Очевидно, что объясняя происхожденіе того антагонизма, какой китайцы встрѣчаютъ со стороны бѣлыхъ, нужно считаться съ чѣмъ-то постороннимъ всякому экономическому разсчету, всякому страху конкурренціи. Очевидно, что движеніе, въ рядахъ котораго мы встрѣчаемъ наряду съ рабочими и предпринимателей, интересы которыхъ клонятся скорѣе къ удержанію дешеваго труда китайцевъ, должно имѣть своимъ источникомъ болѣе общую причину,—причину, корень которой лежитъ въ тѣхъ представленіяхъ, какія средній американецъ, къ какому бы классу онъ ни принадлежалъ, составляетъ себѣ о человѣкѣ желтой расы и о возможныхъ послѣдствіяхъ гражданскаго общенія съ нимъ со стороны бѣлыхъ. По нашему мнѣнію, причина, по которой именно китайская, а не другая какая эмиграція, была признана опасной для дальнѣйшаго благосостоянія большинства населенія американскаго запада, лежитъ не въ размѣрахъ, принятыхъ ею за послѣдніе годы, такъ какъ эти размѣры не обнаруживаютъ тенденціи къ возрастанію, и во всякомъ случаѣ несравненно меньше тѣхъ, какія одновременно приняла эмиграція изъ Восточныхъ Штатовъ и Европы. Она коренится также не въ опасеніи, что трудъ китайцевъ въ скоромъ времени вытѣснитъ совершенно трудъ бѣлыхъ, такъ какъ для многихъ видовъ труда, требующихъ искусства и технической подготовки, послѣдній оказывается незамѣнимымъ и прямымъ послѣдствіемъ китайской конкурренціи, является пока лишь переходъ бѣлыхъ рабочихъ отъ низшихъ видовъ труда, хуже оплачиваемыхъ къ высшимъ, наиболѣе доходнымъ. Источникъ ея, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ видѣть въ той разобщенности обѣихъ расъ, въ томъ отсутствіи взаимнаго пониманія, въ той неспособности слія́нія и ассимилированія ихъ, которая, какъ я полагаю, обусловливаетъ собою вообще то недоброжелательство, какое бѣлое населеніе Соединенныхъ Штатовъ питаетъ по отношенію ко всему цвѣтному. Въ бытность мою въ Соединенныхъ Штатахъ мнѣ стоило только прислушиваться къ

тому, что составляло предметъ ежедневныхъ разговоровъ почти во всѣхъ слояхъ общества, стоило только прочитывать то, что на разный ладъ высказывалось въ руководящихъ органахъ западно-американской печати, чтобы вынести то убѣжденіе, что для массы населенія быть китайцевъ является какимъ-то отрицаніемъ самыхъ основъ американской культуры, религіозныхъ, нравственныхъ и экономическихъ, и что въ сожительствѣ ихъ на одной почвѣ и подъ однимъ небомъ съ американцами, послѣдніе видятъ постоянную угрозу своей вѣками сложившейся гражданственности. Недаромъ же противникамъ анти-китайской агитаціи приходилось направлять все свое стараніе на доказательство того, что китайцамъ не чужды общія начала христіанской нравственности, что китайскія женщины не поголовно проститутки, что пристрастіе къ пьянству и азартнымъ играмъ не составляетъ особенности однихъ подданныхъ Голубой Имперіи, что они не дикари и не варвары, а люди, не лишенные даже первоначальнаго образованія, что, съ другой стороны, состояніе ихъ не носитъ на себѣ печати несвободы и рабства, что попадаютъ они въ Америку по собственному выбору, а не по принужденію, что лица, заключающія отъ ихъ имени договоры съ предпринимателями, не болѣе, какъ артельные старосты, отнюдь не ихъ господа и повелители, и что такимъ образомъ общія основы ихъ быта, при видимомъ различіи, представляютъ въ то же время и не мало чертъ сходства съ тѣми, на которыхъ опирается американская гражданственность. При той естественной преградѣ къ взаимному пониманію, какое представляетъ различіе языка, неудивительно, если разъ составившееся представленіе, неблагопріятное для китайцевъ, не могло быть поколеблено, по крайней мѣрѣ, въ массѣ бѣлаго населенія Западныхъ Штатовъ, и если принятая конгрессомъ и утвержденная президентомъ мѣра касательно запрещенія дальнѣйшаго въѣзда ихъ въ Соединенные Штаты была принята населеніемъ съ энтузіазмомъ, какъ нѣчто гарантирующее американской гражданственности безбоязненное существованіе въ будущемъ. „Если китайцы останутся недовольны этимъ рѣшеніемъ, приходилось намъ слышать не разъ въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ американскаго общества; если это недовольство поведетъ даже къ открытой войнѣ ихъ съ нами, намъ лучше вынести эту войну, нежели дозволить имъ наводнить нашу страну, искореняя въ ней основы христіанской религіи, нравственности и дорогой намъ гражданской свободы“. Вотъ до чего можетъ дойти предубѣжденіе одной расы по отношенію къ другой, вотъ до какой степени американцы, такъ блистательно доказавшіе свое призваніе ассимилировать себѣ

однокровныя съ ними національности, неспособны къ сліянію съ народностями чуждой имъ расы. Уѣзжая изъ Америки, я вынесъ то глубокое убѣжденіе, что почва Новаго Свѣта призвана быть ареной одной европейской культуры, и что пересажденіе въ нее излишковъ населенія изъ другихъ частей свѣта немыслимо, по крайней мѣрѣ мирнымъ путемъ. Подобно англичанамъ, американцы въ правѣ были-бы признать христіанство одной изъ основъ ихъ конституціи, но вмѣстѣ съ нимъ и опирающуюся на его ученіи нравственность и возникшую на его почвѣ экономическую и общественную организацію. Имъ совершенно недостаетъ способности пониманія иныхъ религіозныхъ основъ, иной морали, иныхъ общественныхъ и политическихъ идеаловъ; а съ непониманіемъ связывается предубѣжденіе и ненависть,—ненависть, дѣлающая совершенно немыслимой, по крайней мѣрѣ въ ближайшемъ будущемъ, мирное сожительство ихъ на правахъ гражданъ одного государства съ народностями, разными съ ними по крови и вѣрѣ, а также по выработаннымъ исторіей нравственнымъ устоямъ.

М. Ковалевскій.

МИЛЫЙ ДРУГЪ

Повѣсть Гюи-де-Мопассана.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Жоржъ Дюруа вернулся къ своимъ прежнимъ привычкамъ.

Занявъ квартиру нижняго этажа дома въ Константинопольской улицѣ, онъ жилъ степенно, какъ подобаетъ человѣку, который готовится къ чему-то высшему. Даже отношенія къ m-me де-Марель приняли характеръ болѣе серьезный, точно онъ пріучалъ себя къ грядущему событію. Она часто удивлялась мирному теченію ихъ жизни и, смѣясь, повторяла:

— Ты еще буржуазнѣе моего мужа.

М-me Форестье все не возвращалась. Она зажилась въ Каннѣ. Жоржъ получилъ отъ нея письмо съ извѣщеніемъ, что она пріѣдетъ въ апрѣлѣ, и ни одного намека на то, какъ они разстались. Онъ ждалъ, — твердо рѣшилъ употребить всѣ старанія, чтобы жениться на ней, несмотря ни на какія колебанія съ ея стороны. Онъ вѣрилъ въ свою звѣзду, вѣрилъ въ силу обольщенія, какою былъ одаренъ,—силу смутную, но непреодолимую, которой покорялись всѣ женщины.

Коротенькая записка извѣстила его наконецъ о томъ, что желанный часъ близокъ:

„Я въ Парижѣ. Навѣстите меня.—Мадлена Форестье".

И только. Онъ получилъ записку въ девять часовъ утра, а въ три пополудни уже явился къ Мадленѣ. Она протянула ему обѣ

руки, улыбаясь своей милой, привѣтливой улыбкой, и они нѣсколько секундъ молча глядѣли другъ другу въ глаза.

Затѣмъ она прошептала:

— Какъ вы были добры, что пріѣхали къ намъ въ ту страшную минуту.

Онъ отвѣчалъ:

— Я бы все сдѣлалъ, что́ бы вы мнѣ ни приказали.

Они усѣлись. Она стала разспрашивать про Вальтеровъ, про всѣхъ сотрудниковъ.

Она часто думала о журналѣ.

— Я очень по немъ скучала,—говорила она,—очень; я сама стала журналистомъ въ душѣ. Что хотите, мнѣ нравится это ремесло.

И умолкла. Въ ея улыбкѣ, въ тонѣ голоса, въ самыхъ словахъ ему представился родъ вызова и, хотя онъ обѣщалъ себѣ не торопиться, но пробормоталъ:

— Если такъ, то почему... почему бы вамъ не вернуться къ нему... подъ именемъ Дюруа?

Она вдругъ перестала улыбаться и, положивъ ему руку на плечо, прошептала:

— Не будемъ пока говорить объ этомъ.

Но онъ догадался, что она соглашается, и упалъ передъ ней на колѣни, сталъ страстно цѣловать ея руки и, задыхаясь, повторялъ:

— Благодарю, благодарю васъ; о! какъ я васъ люблю.

Она встала. Онъ послѣдовалъ за ней и увидѣлъ, что она очень блѣдна. Тогда онъ понялъ, что, быть можетъ, давно уже нравится ей и, обнявъ ее, поцѣловалъ долгимъ, нѣжнымъ и солиднымъ поцѣлуемъ въ лобъ.

Высвободившись изъ его объятій, она серьезно произнесла:

— Послушайте, мой другъ, я еще ничего не рѣшила, но, можетъ быть, и соглашусь. Обѣщайте мнѣ только держать все въ безусловной тайнѣ, пока я не сниму съ васъ зарока.

Онъ поклялся и ушелъ, не помня себя отъ радости.

Съ этихъ поръ онъ сталъ вести себя очень скромно во время своихъ посѣщеній и не добивался болѣе точнаго отвѣта, такъ какъ она взяла привычку, говоря о будущемъ, употреблять слова: „впослѣдствіи“, „современемъ“, и составлять планы, въ которыхъ ихъ существованія сливались, и все это служило болѣе пріятнымъ и деликатнымъ отвѣтомъ, нежели формальное: да.

Дюруа работалъ какъ волъ, тратилъ мало и старался отложить нѣсколько денегъ, чтобы не быть безъ гроша ко времени свадьбы. Онъ становился такъ скупъ, какъ прежде былъ расточителенъ.

Прошло лѣто, прошла и осень; никто ничего не подозрѣвалъ, потому что они видѣлись рѣдко и совсѣмъ просто.

Разъ вечеромъ она сказала, пристально глядя ему въ глаза:

— Вы еще не сообщали о нашихъ планахъ m-me де-Марель?

— Нѣтъ, мой другъ. Я обѣщалъ вамъ держать ихъ въ тайнѣ и никому рта не раскрывалъ.

— Знаете... мнѣ кажется, пора было бы ее предупредить... Я возьму на себя увѣдомить Вальтеровъ. На этой же недѣлѣ, хотите?

Онъ покраснѣлъ.

— Да, завтра же.

Она отвела глаза, какъ бы не замѣчая его смущенія, и продолжала:

— Если хотите, мы повѣнчаемся въ началѣ мая. Это будетъ вполнѣ прилично.

— Я на все и съ радостью готовъ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобы это произошло 10 мая, въ субботу; это какъ разъ день моего рожденія.

— Хорошо, пусть будетъ 10 мая.

— Ваши родители живутъ около Руана, не правда ли? по крайней мѣрѣ, вы такъ мнѣ говорили?

— Да, около Руана, въ Котлэ.

— Чѣмъ они занимаются?

— Они... они мелкіе рантьé.

— Ахъ! мнѣ очень хотѣлось бы съ ними познакомиться.

Онъ смутился и колебался:

— Но... но они вѣдь... Потомъ вдругъ рѣшился какъ человѣкъ съ характеромъ:

— Мой другъ, они простые мужики, содержатъ кабакъ и выжимали изъ себя всѣ соки, чтобы дать мнѣ образованіе. Я не стыжусь ихъ... но ихъ... простота... ихъ безыскусственность могли бы васъ, можетъ быть, стѣснить?

Она очаровательно улыбнулась и лицо ея засіяло добротой.

— Нѣтъ, я чувствую, что полюблю ихъ. Мы поѣдемъ съ ними повидаться, непремѣнно. Мы еще поговоримъ объ этомъ. Я вѣдь тоже дочь бѣдныхъ родителей. Но мои родители умерли. У меня никого нѣтъ на свѣтѣ...

Она протянула ему обѣ руки, прибавивъ:

— Кромѣ васъ.

Онъ почувствовалъ себя растроганнымъ, взволнованнымъ, покореннымъ, какъ еще никакой другой женщиной.

— Мнѣ пришла въ голову мысль,—продолжала она,—но не знаю, какъ и высказать.

Онъ спросилъ:

— Что такое?

— Вотъ въ чемъ дѣло, mon cher; я, какъ и всѣ женщины, имѣю свои маленькія слабости: я люблю все, что блеститъ, все, что гремитъ. Мнѣ пріятно было бы носить благородную фамилію. Не могли ли бы вы, по случаю нашей женитьбы, нѣсколько... нѣсколько облагородиться...

Теперь ея чередъ былъ покраснѣть, точно она предлагала ему нѣчто двусмысленное.

Онъ отвѣчалъ спокойно.

— Я часто объ этомъ думалъ, но не знаю, какъ это сдѣлать.

Отчего же?

Онъ засмѣялся.

— Отъ того, что боюсь быть смѣшнымъ.

Она пожала плечами.

— Нисколько. Всѣ это дѣлаютъ, и никто надъ ними не смѣется. Раздѣлите ваше имя на двое: дю-Руа. Видите какъ хорошо выходитъ.

Онъ отвѣчалъ безъ запинки, какъ человѣкъ, уже не разъ объ этомъ думавшій.

— Нѣтъ, это не годится. Это слишкомъ просто, слишкомъ обыкновенно, слишкомъ извѣстно. Мнѣ приходило въ голову назваться именемъ моей родины, сначала въ видѣ литературнаго псевдонима, затѣмъ мало-по-малу присоединить его къ своей фамиліи и со-временемъ раздѣлить ее на двое, какъ вы предлагаете.

Она спросила:

— Ваша родина Котлэ.

— Да.

Она задумалась.

— Нѣтъ, мнѣ не нравится окончаніе этого названія. Попробуемъ его нѣсколько измѣнить... Котлэ...

Она взяла перо и выписывала фамиліи на бумагѣ, изучая ихъ физіономію. Вдругъ она вскрикнула:

— Послушайте, послушайте, вотъ что я придумала.

И она протянула ему бумагу, на которой онъ прочиталъ:

— М-me Дюруа де-Котель.

Онъ подумалъ нѣсколько секундъ, затѣмъ объявилъ торжественно:

— Да; это очень хорошо.

Она была въ восторгѣ и повторяла:

— Дюруа де Котель, Дюруа де-Котель, m-me Дюруа де-Котель. Это прелестно, прелестно.

Потомъ прибавила съ убѣжденнымъ видомъ:

— И вы увидите, какъ легко будетъ заставить всѣхъ признать эту фамилію. Надо только воспользоваться случаемъ, потому что потомъ было бы поздно. Вы съ завтрашняго же дня должны подписываться подъ вашими статьями Д. де-Котель, а въ отдѣлѣ слуховъ просто: Дюруа. Это ежедневно дѣлается въ прессѣ, и никто не удивится тому, что вы изберете себѣ псевдонимъ. А потомъ, по поводу нашего бракосочетанія, мы можемъ пойти еще дальше и объяснить своимъ знакомымъ, что вы отказались отъ частицы „де“ изъ скромности, въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, а то, пожалуй, и вовсе ничего не нужно объяснять. Какъ зовутъ вашего отца по имени?

— Александръ.

Она пробормотала два или три раза сряду: — Александръ, Александръ, прислушиваясь къ звуку этого слова, затѣмъ написала на листѣ бѣлой бумаги:

„М-г и М-me Александръ дю-Руа де-Котель имѣютъ честь извѣстить васъ о женитьбѣ ихъ сына m-г Жоржа дю-Руа де-Котель на m-me Мадленъ Форестьѣ“.

Оставивъ бумагу, она изучала эффектъ написанныхъ ею словъ и объявила съ восторгомъ:

— При нѣкоторой методѣ можно добиться всего, что угодно.

Когда онъ очутился на улицѣ, съ твердымъ рѣшеніемъ называться отнынѣ дю-Руа и даже дю-Руа де-Котель, ему показалось, что онъ какъ будто выросъ. Онъ шелъ болѣе увѣреннымъ шагомъ, задравъ кверху голову и закрутивъ гордо усы, какъ подобаетъ дворянину. Ему хотѣлось сообщить прохожимъ:

— Меня зовутъ дю-Руа де-Котель.

Но, вернувшись къ себѣ, онъ сталъ тревожиться мыслью о m-me де-Марель и немедленно написалъ ей, прося свиданія на завтра.

— Задастъ она мнѣ звону, — думалъ онъ; — придется выдержать анаѳемскую сцену.

Но затѣмъ махнулъ рукой съ свойственной ему безпечностью, заставлявшей его пренебрегать непріятными сторонами жизни, и принялся писать статью и фантазировать на счетъ новыхъ налоговъ, которые бы слѣдовало назначить, чтобы уравновѣсить бюджетъ. Онъ предлагалъ взимать сто франковъ въ годъ за дворянскую частицу „де“, а за титулы, начиная барономъ и кончая принцемъ, отъ пятисотъ до пяти тысячъ франковъ.

И подписался Д. де-Котель.

Онъ получилъ на слѣдующее утро телеграмму отъ де-Марель, въ которой она извѣщала, что будетъ въ часъ.

Онъ ждалъ ее не совсѣмъ покойно, хотя рѣшилъ не откладывать дѣла въ долгій ящикъ и сразу же объявить свою новость, а затѣмъ благоразумными доводами доказать ей, что не можетъ же онъ вѣчно оставаться холостякомъ, а такъ какъ ея мужъ упорно живетъ, то ему приходится избрать другую въ законныя подруги.

Но все-таки онъ волновался, и, когда раздался звонокъ, сердце у него сильно забилось.

Она бросилась ему на шею, говоря:

— Здравствуй „милый другъ“.

Но, найдя его поцѣлуй холоднымъ, поглядѣла на него и спросила:

— Что съ тобой?

— Сядь,—сказалъ онъ,—и поговоримъ серьезно.

Она сѣла, не снимая шляпки и только приподняла вуалетку.

Онъ опустилъ глаза, готовя предисловіе. И началъ медленнымъ голосомъ.

— Мой милый другъ, я очень смущенъ, очень огорченъ и не знаю, какъ сообщить то, что мнѣ нужно тебѣ сказать. Я тебя очень люблю, право, я отъ души тебя люблю, поэтому мнѣ страшно огорчить тебя. Это страшитъ меня еще больше чѣмъ новость, которую мнѣ надо тебѣ сообщить.

Она поблѣднѣла и, чувствуя, что дрожитъ, пролепетала:

— Что такое? говори скорѣй.

Онъ произнесъ печальнымъ, но рѣшительнымъ голосомъ, и съ тѣмъ притворнымъ унынiемъ, съ какимъ сообщаютъ пріятныя несчастія:

— Я женюсь.

Она вздрогнула тяжело, всей грудью, какъ женщина, близкая къ обмороку, и затѣмъ стала задыхаться, такъ что не могла произнести ни слова.

Видя, что она ничего не говоритъ, онъ продолжалъ:

— Ты не можешь себѣ представить, что я выстрадалъ, прежде нежели пришелъ къ этому рѣшенію. Но у меня нѣтъ ни положенія, ни состоянія. Я одинокъ, затерянъ въ Парижѣ, мнѣ нужно имѣть около себя человѣка, который бы, помогая мнѣ совѣтомъ, утѣшалъ и поддерживалъ меня. Я искалъ и нашелъ помощницу и союзницу.

Онъ умолкъ, полагая, что она ему отвѣтитъ, и ожидая брани и яростныхъ упрековъ.

Она прижала одну руку къ сердцу, какъ бы затѣмъ, чтобы сдержать его біеніе, и по прежнему тяжело и прерывисто дышала. Отъ тяжкихъ вздоховъ не только грудь содрогалась у ней, но и голова.

Онъ взялъ другую руку, которая лежала на ручкѣ кресель, но она быстро отняла ее. Потомъ проговорила точно въ полуснѣ:—О! Боже мой!

Онъ всталъ передъ ней на колѣни, но не смѣлъ дотронуться до нее и бормоталъ, растроганный ея молчаніемъ гораздо болѣе, чѣмъ былъ бы ея упреками:—Клò, милая моя Клò, войди въ мое положеніе. Пойми, мои чувства. Еслибы я могъ на тебѣ жениться, то съ какою радостью я бы это сдѣлалъ. Но ты замужемъ. Что же мнѣ было дѣлать? Подумай, ну подумай хорошенько. Мнѣ надо составить себѣ карьеру, а это невозможно, пока у меня не будетъ своего дома. Еслибы ты знала!.. бывали дни, когда мнѣ хотѣлось убить твоего мужа...

Онъ говорилъ кроткимъ, тихимъ, обворожительнымъ голосомъ, который ласкалъ ухо какъ музыка, и проникалъ въ грудь, точно ароматъ.

И увидѣлъ, какъ двѣ крупныя слезы медленно наполнили неподвижные глаза его собесѣдницы и скатились къ ней на колѣни, между тѣмъ какъ двѣ другихъ уже снова выступили на рѣсницахъ.

Онъ бормоталъ:—О! не плачь, пожалуйста не плачь, милая Клò, ты разрываешь мнѣ душу.

Тогда она сдѣлала усиліе надъ собой, и это стоило ей большого труда, чтобы сохранить чувства собственнаго достоинства и гордости, и спросила дребезжащимъ голосомъ женщины, готовящейся зарыдать:

— Кто она?

Онъ медлилъ съ минуту, затѣмъ, понявъ, что это неизбѣжно, проговорилъ:

— Мадлена Форестьѣ.

М-me де Марель вздрогнула всѣмъ тѣломъ, но не промолвила ни слова и такъ задумалась, что какъ будто позабыла, что онъ стоитъ передъ нею на колѣняхъ.

И двѣ прозрачныхъ капли непрерывно наполняли ея глаза, падали, затѣмъ снова появлялись и скатывались.

Она встала. Дюруа понялъ, что она уходитъ, не сказавъ ни слова, не упрекая, но и не простивъ. И почувствовалъ себя оскорбленнымъ, униженнымъ въ глубинѣ души. Желая удержать ее, онъ схватилъ ее за платье и охватилъ руками ея колѣни, но замѣтилъ, что она отталкиваетъ его.

Онъ умолялъ:—Пожалуйста, не уходи такъ отъ меня.

Тогда она поглядѣла на него сверху внизъ, тѣмъ заплаканнымъ, унылымъ и прелестнымъ взглядомъ, въ которомъ выражается все горе женской души и проговорила:

— Мнѣ... нечего... нечего говорить... мнѣ... нечего здѣсь дѣлать... ты... ты правъ, ты хорошо выбралъ то, что тебѣ нужно.

И высвободившись изъ его рукъ, она ушла, и онъ не пытался долѣе ее удержать.

Оставшись одинъ, онъ всталъ съ колѣнъ, оглушенный, точно его хватили палкой по головѣ, затѣмъ махнувъ рукой, пробормоталъ:

— Ну тѣмъ хуже, или тѣмъ лучше. Дѣло обошлось безъ слезъ. Пожалуй такъ лучше.

И сваливъ съ плечъ тяжкое бремя, почувствовавъ себя вдругъ свободнымъ, независимымъ, съ развязанными руками для новой жизни, онъ принялся боксировать со стѣной и изо всей мочи стучалъ по ней кулаками, въ опьяненіи отъ своего успѣха и силы, точно онъ боролся съ судьбой.

Когда m-me Форестье спросила у него:

— Предупредили ли вы m-me де Марель?

Онъ спокойно отвѣчалъ:

— Да, разумѣется.

Она пристально глядѣла на него своимъ яснымъ взглядомъ:

— И это... ее не... смутило?

— Нисколько. Она нашла это прекраснымъ.

Скоро новость всѣхъ облетѣла. Одни удивлялись, другіе увѣряли, что предвидѣли это, третьи наконецъ улыбались, давая этимъ понять, что нисколько не удивлены.

Молодой человѣкъ, подписывавшій теперь свои хроники Д. де-Котель, а слухи—Дюруа, политическія же статьи, которыя давалъ время отъ времени—дю-Руа,—проводилъ полъ дня у своей невѣсты; она обращалась съ нимъ съ братской фамиліарностью, въ которой просвѣчивала однако наивная нѣжность, влеченіе, скрываемое какъ недостойная слабость. Она рѣшила, что церемонія произойдетъ въ большой тайнѣ, въ присутствіи однихъ только свидѣтелей, и что въ тотъ же вечеръ они уѣдутъ въ Руанъ. На другой день отправятся навѣстить престарѣлыхъ родителей журналиста, и пробудутъ съ ними нѣсколько дней.

Дюруа пытался было отговорить ее отъ этого, но не успѣлъ, и наконецъ подчинился. Такимъ образомъ, когда наступило 10 мая, молодые, послѣ краткаго визита въ мэрію и не долгой обѣдни въ Notre-Dame de Lorette, вернулись къ себѣ на квар-

тиру одни, чтобы запереть чемоданы, и отправились на Сен-Лазарскую станцію желѣзной дороги, гдѣ сѣли на шестичасовой поѣздъ, увезшій ихъ въ Нормандію.

Они не успѣли сказать другъ съ другомъ и двадцати словъ, пока не очутились одни въ вагонѣ. Когда поѣздъ тронулся, они взглянули другъ на друга и засмѣялись, чтобы скрыть нѣкоторое смущеніе, котораго не хотѣли показать.

Поѣздъ тихо проѣхалъ мимо станціи, затѣмъ покатился по безобразной равнинѣ, идущей отъ укрѣпленій къ Сенѣ.

Дюруа и жена его время отъ времени произносили нѣсколько незначущихъ словъ, затѣмъ опять принимались глядѣть въ окно.

Когда они проѣзжали черезъ Аньерскій мостъ, имъ стало вдругъ весело при видѣ рѣки, покрытой рыбачьими и каталь-ными лодками. Солнце, яркое майское солнце бросало косые лучи на лодки и на спокойную рѣку, казавшуюся неподвижной, застывшей на мѣстѣ отъ жары и блеска догорающаго дня. Парусная барка по срединѣ рѣки, распустившая на двухъ своихъ концахъ два большихъ треугольника изъ бѣлой парусины, чтобы воспользоваться малѣйшимъ дуновеніемъ вѣтерка, казалась боль-шой птицей, готовящейся улетѣть.

Дюруа пробормоталъ:—Я обожаю окрестности Парижа... Мнѣ случилось ѣсть такую уху, вкуснѣе которой я ничего не знаю.

Она отвѣчала:—А катанье-то въ лодкѣ! Какъ пріятно сколь-зить по рѣкѣ при солнечномъ закатѣ!

И оба умолкли; точно не смѣли продолжать этихъ изліяній о своей прошлой жизни и про себя наслаждались поэзіей сожа-лѣнія о минувшемъ.

Дюруа, сидѣвшій напротивъ жены, взялъ ея руку и мед-ленно поцѣловалъ.

— Когда мы вернемся,—сказалъ онъ, мы будемъ иногда ѣздить обѣдать въ Шату.

Она пробормотала:

— У насъ будетъ столько дѣла,—такимъ тономъ, точно хо-тѣла сказать:—надо предпочесть полезное пріятному.

Онъ все еще держалъ ея руку, думая, какимъ образомъ перейти къ ласкамъ. Онъ не былъ бы такъ смущенъ, еслибы имѣлъ дѣло съ невинной, молодой дѣвушкой. Но смышленый и опытный умъ, который онъ сознавалъ у своей жены стѣснялъ его. Онъ боялся показаться ей глупымъ, слишкомъ застѣнчивымъ, или слишкомъ грубымъ, черезъ-чуръ медлительнымъ, или черезъ-чуръ нетерпѣливымъ.

Онъ сжималъ ея руку, но она не отвѣчала на его пожатіе.

Онъ сказалъ:

— Мнѣ кажется очень смѣшнымъ, что вы моя жена.

Она какъ будто удивилась:

— Отчего же?

— Не знаю. Мнѣ это кажется смѣшно. Мнѣ хочется васъ поцѣловать, и я удивляюсь, что имѣю на это право.

Она спокойно протянула ему щеку, и онъ поцѣловалъ ее, точно сестру.

Онъ продолжалъ:

— Въ первый разъ какъ я васъ увидѣлъ, знаете на этомъ обѣдѣ, на который меня пригласилъ Форестье́, я сказалъ себѣ:— Чортъ возьми!—если бы я могъ найти себѣ такую жену. Ну и вотъ, вы моя жена.

Она прошептала:—Вы очень любезны—и пристально поглядѣла на него своими неизмѣнно улыбающимися глазами.

Онъ думалъ: —„Я слишкомъ холоденъ. Я глупъ. Мнѣ слѣдовало бы быть рѣшительнѣе".

И спросилъ:

— Какъ вы познакомились съ Форестье́?

Она отвѣчала съ задорнымъ лукавствомъ: — Неужели мы ѣдемъ въ Руанъ, чтобы говорить о немъ?

Онъ покраснѣлъ и пробормоталъ:

— Я глупъ. Я васъ конфужусь.

Она пришла въ восхищеніе:

— Меня?—не можетъ быть!—Отчего это?

Онъ сѣлъ рядомъ съ ней, очень близко. Она закричала:— Ахъ!—очень!

Поѣздъ проѣзжалъ черезъ Сен-Жерменскій лѣсъ, и она видѣла какъ испуганная дикая коза пронеслась по аллеѣ.

Дюруа наклонился въ то время какъ она глядѣла въ окно и поцѣловалъ нѣжнымъ и продолжительнымъ поцѣлуемъ ея шею.

Она нѣсколько секундъ не шевелилась, потомъ приподняла голову и сказала:

— Мнѣ щекотно, перестаньте дурачиться.

Но онъ не унимался и цѣловалъ ея шейку. Она встряхнулась:

— Будетъ же!

Онъ взялъ ея голову правой рукой и повернулъ къ себѣ. И впился въ ея губы, какъ коршунъ въ свою добычу.

Она сопротивлялась, отталкивала его, старалась высвободиться. Наконецъ ей это удалось, и она снова проговорила:

— Да перестаньте же.

Но онъ не слушалъ ее, обнимая все крѣпче, и жадно цѣловалъ.

Отчаяннымъ усиліемъ она высвободилась и поспѣшно встала.

— Послушай, Жоржъ, будетъ! Вѣдь мы не дѣти, надѣюсь.

Онъ выпрямился и сѣлъ весь красный, но словно облитый холодной водой этими разсудительными словами, затѣмъ, вернувши нѣкоторое хладнокровіе, весело сказалъ:

— Хорошо; но, чортъ меня побери, если вы услышите отъ меня двадцать путныхъ словъ до Руана. А подумайте, что мы проѣзжаемъ еще только Пуасси.

— Хорошо, я буду говорить за двоихъ, отвѣчала она.

И, тихонько усѣвшись около него, обстоятельно заговорила о томъ, что они предпримутъ по возвращеніи. Они должны удержать за собой квартиру, въ которой она жила съ первымъ мужемъ, и Дюруа наслѣдуетъ такъ же занятіямъ и жалованью Форестье въ Vie-Française.

Впрочемъ, еще до свадьбы она распредѣлила, съ аккуратностью дѣлового человѣка, всѣ финансовыя подробности ихъ хозяйства. Они женились при условіи отдѣльнаго владѣнія имуществомъ, съ различными предосторожностями на всѣ возможные случаи, какъ-то: смерть, разводъ, рожденіе одного или нѣсколькихъ дѣтей.

Молодой человѣкъ заявилъ, что у него четыре тысячи капитала, но изъ этой суммы онъ занялъ тысячу пятьсотъ франковъ. Остальныя были результатомъ сбереженій, которыя онъ дѣлалъ въ виду ожидавшагося событія.

Молодая женщина приносила сорокъ тысячъ франковъ, оставленныхъ ей, какъ она объявила, Форестье.

Она упомянула о немъ, приводя его въ примѣръ.

— Онъ былъ очень экономный, очень солидный, очень трудолюбивый человѣкъ,—говорила она,—и въ самомъ непродолжительномъ времени разбогатѣлъ бы.

Дюруа не слушалъ, занятый другими мыслями.

Она иногда умолкала и какъ бы обдумывала дальнѣйшія слова, и затѣмъ продолжала:

— Года черезъ три-четыре вамъ легко будетъ получить тридцать-сорокъ тысячъ франковъ въ годъ. И Шарль имѣлъ бы столько, если бы оставался въ живыхъ.

Дюруа, находившій, что нравоученія слишкомъ долго длятся, отвѣчалъ:

— Я думаю, что мы ѣдемъ въ Руанъ не затѣмъ, чтобы говорить о немъ.

Она слегка хлопнула его по щекѣ.

— Правда ваша.—Виновата.

Она смѣялась, говоря это.

Онъ нарочно держалъ руки сложенными на колѣняхъ, какъ послушные мальчики.

— У васъ очень глупый видъ,—замѣтила она.

Онъ возразилъ:

— Это моя роль отнынѣ, и вы сейчасъ благоразумно мнѣ о томъ напомнили. Я больше ей не измѣню.

Она спросила:

— Почему?

— Потому что вы берете на себя трудъ вести нашъ домъ и даже руководить моей особой. Впрочемъ, оно вамъ и подобаетъ, какъ вдовѣ.

Она удивилась:—что вы хотите этимъ сказать?

— Что у васъ есть опытъ, которымъ вы должны просвѣтить мою неопытность, и познакомить меня съ брачной жизнью, а потому вамъ слѣдуетъ учить меня, невиннаго холостяка,—вотъ что.

Она вскричала:

— Вотъ еще что выдумалъ!

Онъ отвѣчалъ:

— Да-съ, именно.—Я-то вѣдь не знаю женщинъ, а вы знаете мужчинъ, потому что вы вдова, да-съ, и вы займетесь моимъ воспитаніемъ... сегодня вечеромъ... вотъ... и можете даже заняться этимъ немедленно, если хотите... вотъ что!

Она развеселилась:

— О!—если вы разсчитываете на меня въ этомъ случаѣ...

Онъ заговорилъ нетвердымъ голосомъ школьника, отвѣчающаго урокъ и безпрестанно спотыкающагося:

— Конечно... разсчитываю... и увѣренъ даже,—что вы дадите мнѣ солидное образованіе... въ двадцать уроковъ... десять посвящены будутъ первымъ началамъ... чтенію и грамматикѣ, десять на усовершенствованіе и риторику... я вѣдь ничего не знаю, ровно ничего, вотъ что!

Она вскричала, безмѣрно забавляясь:

— Ты глупъ!

Онъ подхватилъ:

— Такъ какъ ты начала первая говорить мнѣ ты, — то я послѣдую твоему примѣру, и скажу тебѣ, моя радость, что я тебя обожаю съ каждой минутой все сильнѣе и сильнѣе, и нахожу, что до Руана ужасно далеко.

Онъ произнесъ эту тираду съ интонаціями актера и забавной мимикой, смѣшившей молодую женщину, привыкшую къ ма-

нерамъ и школьничествамъ журнальной богемы. Она исподлобья поглядывала на него, находя, что онъ, право, очень милъ; въ ней, какъ это часто бываетъ, боролось желаніе сорвать плодъ съ дерева, противъ доводовъ разсудка, совѣтующаго подождать обѣда и съѣсть его за дессертомъ. И вотъ, покраснѣвъ немного отъ мыслей, осаждавшихъ ее, она сказала:

— Милый ученикъ, повѣрьте моей опытности, моей великой опытности. Поцѣлуи въ вагонахъ никуда не годятся. Они разстраиваютъ желудокъ.

Потомъ покраснѣвъ еще сильнѣе, пробормотала:

— Никогда не слѣдуетъ косить хлѣбъ у корня.

Онъ ухмылялся двусмысленностямъ, которыя слышалъ изъ этого хорошенькаго ротика, и перекрестился, бормоча что-то губами, точно читалъ молитву; затѣмъ объявилъ:

— Я отдалъ себя подъ защиту Св. Антонія,—покровителя отъ всѣхъ соблазновъ, и теперь сталъ каменнымъ.

Ночь тихо спускалась, окутывая прозрачной тѣнью, точно легкимъ крепомъ, поля, тянувшіяся справа. Поѣздъ ѣхалъ вдоль Сены, и молодые стали смотрѣть на рѣку, раскинувшуюся возлѣ рельсовъ, точно широкая металлическая лента, тамъ и сямъ окрашенная пурпуромъ и золотомъ заходящаго солнца. Закатъ мало-по-малу погасалъ, небо становилось темно, и вся природа омрачалась. И поля тонули въ потемкахъ съ тѣмъ зловѣщимъ трепетомъ, похожимъ на предсмертную дрожь, который каждые сумерки проносится надъ землей. Меланхолія вечера проникала въ открытое окно и въ души, передъ тѣмъ такія радостныя, двухъ молодыхъ супруговъ, внезапно умолкнувшихъ.

Они ближе тѣснились другъ къ дружкѣ, созерцая эту агонію дня, чуднаго, яснаго, майскаго дня.

Въ Мантѣ они зажгли маленькій масляный фонарь, бросавшій желтый и трепещущій свѣтъ на сѣрое сукно, которымъ были обиты подушки вагона. Дюруа обнялъ талію жены и прижалъ ее къ себѣ; страсть въ немъ перешла въ нѣжность, въ томную нѣжность, въ желаніе ласкъ, которыми утѣшаютъ дѣтей.

Онъ тихо прошепталъ:

— Я буду тебя очень любить, моя милая Мадъ.

Нѣжность его голоса растрогала молодую женщину и она подставила ему губы для поцѣлуя, въ то время какъ онъ прижикъ головой къ ея груди.

То былъ долгій, молчаливый и глубокій поцѣлуй, послѣ котораго оба почувствовали себя немного разочарованными и не

двигались съ мѣста до тѣхъ поръ, пока свистокъ не далъ знать о близости станціи.

Она проговорила, хлопнувъ кончиками пальцевъ по растрепаннымъ волосамъ мужа:

— Это очень глупо,—мы ведемъ себя какъ дѣти.

Но онъ цѣловалъ ей руки, съ лихорадочной поспѣшностью, и отвѣчалъ:

— Я тебя обожаю, моя милая Мадъ.

До самаго Руана они просидѣли, почти не шевелясь, прижавшись щекою къ щекѣ, глядя въ окно на темноту, въ которой по-временамъ мелькали огни домовъ. Мысли ихъ блуждали, Богъ вѣсть гдѣ, но они были счастливы тѣмъ, что такъ близки.

Они остановились въ гостинницѣ, окна которой выходили на набережную, и, слегка поужинавъ, легли спать.

Служанка разбудила ихъ на другой день, когда пробило восемь часовъ.

Выпивъ чашку чая, поданную имъ на ночной столикъ, Дюруа поглядѣлъ на свою жену и вдругъ, съ радостнымъ порывомъ человѣка счастливаго, который нашелъ кладъ, заключилъ ее въ объятія, бормоча:—Моя милая Мадъ, я чувствую, что люблю тебя очень, очень... очень.

Она улыбалась довѣрчивой и довольной улыбкой и прошептала, возвращая ему его поцѣлуи:

— И я также.. можетъ быть.

Но его безпокоилъ визитъ къ родителямъ. Онъ не разъ уже предупреждалъ жену, подготовлялъ ее къ тому, что ихъ ожидаетъ, всячески убѣждалъ. И нашелъ нужнымъ еще повторить:

— Вѣдь, знаешь,—они простые мужики, совсѣмъ простые, настоящіе мужики, а не оперные пейза́не.

Она смѣялась.

— Да знаю, знаю,—ты мнѣ ужъ это говорилъ.

— Намъ будетъ очень безпокойно дома, очень неуютно. Въ моей комнатѣ стоитъ старая кровать съ соломеннымъ тюфякомъ. Въ Котлэ о пружинныхъ матрацахъ и не слыхивали.

Она казалась въ восторгѣ:

— Тѣмъ лучше. И отлично, что нельзя будетъ крѣпко спать...

Она надѣла пеньюаръ, большой пеньюаръ изъ бѣлой фланели, который Дюруа тотчасъ же узналъ; его передернуло при видѣ его. Почему? Не могла же его жена бросить весь свой гардеробъ и завести новый. Нужды нѣтъ: ему бы хотѣлось, чтобы ея ночной костюмъ, ея ночное бѣлье было бы другое, а не то, въ которомъ ее видалъ покойный мужъ. Ему казалось, что мягкая и

теплая матерія сохранила въ своихъ складкахъ слѣды отъ прикосновенія Форестьѐ.

Онъ направился къ окну и закурилъ папиросу.

Видъ порта, широкой рѣки, покрытой большими кораблями съ стройными мачтами, приземистыми и неуклюжими пароходами, которыхъ съ шумомъ опорожняли большіе вертящіеся паровики, поразилъ его, хотя онъ и давно былъ ему знакомъ. И онъ вскричалъ:—Ахъ, какъ это красиво.

Мадлена подбѣжала и положила обѣ руки на плечо мужа и, наклонившись къ нему въ фамиліарной позѣ, твердила восхищенная, растроганная:

— О! какъ прекрасно! какъ прекрасно! Я и не знала, что въ Руанѣ столько кораблей!

Черезъ часъ они отправились, потому что должны были завтракать у стариковъ, предупрежденныхъ объ этомъ за нѣсколько дней.

Открытый и забрызганный фіакръ повезъ ихъ съ такимъ шумомъ, точно въ немъ прыгали и колотились другъ о дружку кастрюли. Сначала они ѣхали по бульвару, довольно безобразному, потомъ поѣхали мимо луговъ, по которымъ протекала рѣка, потомъ стали подниматься въ гору.

Утомленная Мадлена заснула, убаюканная ласковыми лучами солнца, которые восхитительно грѣли ее, точно она брала ванну изъ свѣта и сельскаго воздуха.

Мужъ разбудилъ ее.

— Посмотри,—сказалъ онъ.

Они остановились, поднявшись на двѣ трети горы, на мѣстѣ славившемся своей живописностью, и куда возили туристовъ.

Отсюда взоръ господствовалъ надъ громадной, широкой и длинной долиной, по которой отъ одного конца до другого протекала свѣтлая рѣка, извивавшаяся, какъ змѣя. Она виднѣлась издалека, усѣянная многочисленными островами, и описывала большой кругъ прежде, нежели проникнуть въ Руанъ. На правомъ берегу раскинулся городъ, слегка окутанный утреннимъ туманомъ, съ яркими пятнами солнца на крышахъ, съ многочисленными колокольнями, стройными, остроконечными, воздушными и изящными, какъ гигантскія игрушки, четырехугольными или круглыми башнями, увѣнчанными геральдическими коронами, набатными и простыми колоколами и всѣми готическими принадлежностями церковныхъ крышъ, надъ которыми господствовалъ острый шпицъ собора, изумительная бронзовая игла, безобразная, странная и несоразмѣрная, самая высокая, какая только существуетъ въ мірѣ.

Напротивъ, по другую сторону рѣки, возвышались круглыя и выпяченныя у своего основанія тонкія заводскія трубы обширнаго Сен-Северскаго предмѣстья.

Перещеголявъ въ числѣ своею многочисленностью сестеръ-колоколенъ, онѣ вздымали на далекомъ растояніи уже за-городомъ свои высокія кирпичныя колонны и дышали черной сажей въ лицо синему небу. И самая высокая изъ всѣхъ, такая же высокая, какъ и пирамида Хеопса, почти равная своей гордой подругѣ, соборной стрѣлкѣ, труба фабрики „La Foudre“, казалась царицей трудового и курящагося фабричнаго міра, подобно тому какъ ея сосѣдка была царицей остроконечнаго міра священныхъ памятниковъ. Вдали, позади рабочаго квартала, тянулся сосновый лѣсъ и Сена, протекавшая межъ двухъ кварталовъ, продолжая свой путь, обтекая большой извилистый холмъ, съ вершиной, увѣнчанной лѣсомъ, и съ обнаженными иногда боками изъ бѣлаго камня, затѣмъ исчезала на горизонтѣ, описавъ новую овальную дугу. Видно было, какъ по рѣкѣ плыли вверхъ и внизъ различныя суда, на буксирѣ у пароходовъ, миніатюрныхъ размѣровъ, выпускавшихъ черныя тучи дыма. Острова тянулись другъ возлѣ друга съ большими промежутками, точно неровныя зерна зеленыхъ четокъ.

Извощикъ ждалъ, чтобы путешественники прекратили свои восторги. Онъ зналъ по опыту, сколько времени длится восхищеніе у различнаго сорта туристовъ, но когда онъ уже тронулся съ мѣста, Дюруа вдругъ увидѣлъ шагахъ въ ста разстоянія престарѣлую чету и выскочилъ изъ экипажа, крича:

— Вотъ они, я ихъ узналъ.

На встрѣчу имъ шло двое крестьянъ—мужчина и женщина, неровнымъ шагомъ, толкая другъ дружку плечомъ. Мужчина былъ невысокаго роста, коренастый, краснолицый и слегка раздобрѣвшій, но сильный, несмотря на преклонныя лѣта. Женщина, высокая, худая, сгорбленная, печальная, настоящая крестьянка, съ дѣтства въ трудовомъ хомутѣ, не знавшая веселаго смѣха, въ то время какъ мужъ зубоскалилъ, потягивая винцо вмѣстѣ съ посѣтителями кабачка.

Мадлена также вышла изъ экипажа и глядѣла на приближеніе этихъ двухъ жалкихъ существъ, съ сжавшимся сердцемъ, съ грустью, которой не предвидѣла. Они не узнавали сына въ красивомъ господинѣ и ни за что бы не угадали, что эта великолѣпная, нарядная дама ихъ невѣстка; и уже хотѣли пройти мимо, торопясь на-встрѣчу ожидаемому дѣтищу и не глядя на этихъ городскихъ господъ, шедшихъ за каретой.

И они прошли мимо, когда Дюруа, смѣясь, закричалъ:

— Здравствуй отецъ.

Оба остановились, какъ вкопанные, удивленные, онѣмѣвъ на мѣстѣ. Старуха первая пришла въ себя и пролепетала, не трогаясь съ мѣста:

— Кажется, сынокъ?

Молодой человѣкъ отвѣчалъ:

— Ну да, да, это я. И подойдя къ ней, поцѣловалъ ее крѣпко, сыновнимъ поцѣлуемъ въ обѣ щеки. Потомъ потерся висками о виски отца, снявшаго картузъ руанскаго фасона изъ черной шелковой матеріи, очень высокій, какіе носятъ торговцы быковъ.

Послѣ того Жоржъ объявилъ:

— Вотъ моя жена.

И деревенская чета уставилась на Мадлену.

Они глядѣли на нее какъ на какой-то феноменъ, съ тревогой и испугомъ, къ которымъ примѣшивалось у отца своего рода одобреніе, а у матери ревнивое недоброжелательство.

Отецъ, бывшій веселаго нрава и поддерживавшій въ себѣ веселость сидромъ и водкой, спросилъ, лукаво подмигивая глазомъ:

— А можно мнѣ ее поцѣловать?

Сынъ отвѣчалъ:

— Еще бы!

И Мадлена, смущенная, подставила одну щеку за другой подъ звонкіе поцѣлуи крестьянина, который послѣ того обтеръ губы ладонью.

Старуха въ свою очередь облобызала невѣстку, но съ враждебной сдержанностью.

Нѣтъ! не о такой невѣсткѣ мечтала она; ей грезилась толстая и краснощекая фермерша, сильная и здоровая какъ лошадь. А эта дама похожа была на кокотку въ своихъ оборкахъ, надушенная мускусомъ. Старуха всѣ духи, безъ исключенія, считала мускусомъ. Послѣ того всѣ двинулись въ путь, позади фіакра, который везъ багажъ молодыхъ.

Старикъ взялъ сына подъ руку и, отставъ съ нимъ немного отъ другихъ, спросилъ:

— Ну что, какъ дѣла?

— Недурно.

— Гмъ. А что жена у тебя богатая?

Жоржъ отвѣчалъ:

— У ней сорокъ тысячъ франковъ.

Старикъ засвисталъ отъ удовольствія и могъ только проговорить:

— Чортъ возьми!—до такой степени его поразила эта цифра. Затѣмъ прибавилъ убѣдительно и серьезно:

— Красавица у тебя жена-то!—Она ему очень понравилась, а онъ въ свое время считался знатокомъ женской красоты.

Мадлена съ свекровью шли рядомъ, не говоря ни слова. Мужчины догнали ихъ.

Дошли до селенія, расположеннаго по краямъ дороги. Съ каждой стороны стояло десять домовъ изъ кирпича и изъ глины; одни крытые соломой, другіе черепицей.

Харчевня дяди Дюруа „Au rendez-vous des amis", избушка, состоявшая изъ нижняго этажа и чердака, стояла какъразъ у входа въ деревню, по лѣвую руку. Еловая вѣтка, воткнутая у двери, указывала по-старинному что жаждущіе люди могутъ зайти сюда утолить жажду.

Приборъ былъ накрытъ въ залѣ харчевни на двухъ сдвинутыхъ и покрытыхъ двумя салфетками столахъ. Сосѣдка, пришедшая помочь по хозяйству, низко поклонилась, при появленіи такой нарядной дамы, затѣмъ, узнавъ Жоржа, вскричала.

— Господи Іисусе, неужто это ты?

Онъ весело отвѣчалъ:

— Да, это я, тетушка Брюлéнъ.

И поздоровался съ ней какъ и съ отцомъ, и матерью. Послѣ того повернулся къ женѣ.

— Пойдемъ въ нашу спальную,—сказалъ онъ,—ты снимешь тамъ шляпку.

Онъ провелъ ее черезъ дверь направо въ холодную, вымощенную кирпичемъ горницу, съ оштукатуренными бѣлыми стѣнами и кроватью съ ситцевымъ пологомъ. Распятіе и подъ нимъ чаша со святой водой, двѣ раскрашенныхъ картинки, изображавшихъ Поля и Виргинію подъ голубою пальмой и Наполеона I верхомъ на желтой лошади, украшали этотъ опрятный, но тоскливый покой.

Какъ только что они остались одни, Дюруа поцѣловалъ Мадлену.

— Здравствуй, Мадъ, я радъ, что увидѣлся съ стариками. Когда живешь въ Парижѣ, то о нихъ не думаешь, но все же пріятно повидать ихъ.

Но отецъ кричалъ, стуча кулакомъ въ перегородку.

— Идите скорѣй, супъ на столѣ.

И надо было сѣсть за столъ.

Обѣдъ длился долго, какъ это водится у крестьянъ. Кушаньевъ было много, но подавались они безтолково: послѣ жа-

реной баранины, вареный угорь, послѣ угря—яичница. Дюруа-отецъ, развеселившись отъ сидра и нѣсколькихъ рюмокъ вина, сыпалъ отборными шуточками, тѣми, какія онъ приберегалъ для торжественныхъ случаевъ, разсказывалъ гривуазныя и неопрятныя исторіи, которыя, увѣрялъ онъ, приключились съ его пріятелями. Жоржъ, знавшій всѣ ихъ наизусть, смѣялся тѣмъ не менѣе, опьяненный роднымъ воздухомъ, охваченный присущей человѣку любовью къ своему углу, къ мѣстамъ, гдѣ провелъ дѣтство, и гдѣ осаждаютъ на каждомъ шагу воспоминанія о быломъ, разные пустяки, мелочи, мѣтка, сдѣланная ножомъ на двери, сломанный стулъ, запахъ сосѣдняго лѣса, дома, навоза.

Старуха Дюруа ничего не говорила, по прежнему печальная и строгая, и исподтишка наблюдала за невѣсткой, чувствуя въ сердцѣ пробудившуюся къ ней ненависть,—ненависть старой труженицы, старой крестьянки, съ мозолистыми руками, съ обезображеннымъ тяжкой работой тѣломъ, къ горожанкѣ, которая казалась ей отверженнымъ проклятымъ существомъ, нечистой тварью, созданной для тунеядства и грѣха. Она вставала каждую минуту изъ-за стола, приносила блюда, наливала въ стаканы желтый и кислый напитокъ изъ графина, или же пѣнистый сидръ изъ бутылокъ, изъ которыхъ пробки скакали какъ изъ бутылокъ съ шипучимъ лимонадомъ.

Мадлена совсѣмъ почти не ѣла, ничего не говорила и сидѣла печальная съ свойственной ей застывшей улыбкой на губахъ, улыбкой унылой, но покорной. Она была разочарована, убита. Почему? Она сама захотѣла пріѣхать. Она вѣдь знала, что ѣдетъ къ мужикамъ, простымъ мужикамъ. Какими же она ихъ себѣ представляла—она, не склонная по природѣ къ мечтаніямъ.

Развѣ она знала? развѣ женщины не надѣятся всегда на нѣчто иное чѣмъ то, что есть въ дѣйствительности? Представлялись ли они ей издали болѣе поэтическими? Нѣтъ; болѣе литературными, можетъ быть, болѣе благородными, болѣе ласковыми, болѣе декоративными. И однако она вовсе не воображала, что они будутъ изящны, какъ въ романахъ. Откуда же происходитъ то, что они ее колютъ тысячью неосязаемыхъ мелочей, тысячью неуловимыхъ грубостей, самой натурой своей мужицкой, своими словами, жестами, веселостью.

Она припоминала свою мать, о которой никогда ни съ кѣмъ не говорила,—гувернантку, воспитанницу Сен-Дени, соблазненную и умершую отъ нищеты и горя, когда Мадленѣ было двѣнадцать лѣтъ. Неизвѣстный воспиталъ дѣвочку. Ея отецъ, вѣроятно!

Кто онъ былъ? Она никогда этого въ точности не знала, хотя у нея были нѣкоторыя подозрѣнія.

Обѣдъ длился нескончаемо. Приходили потребители, жали руки отцу-Дюруа, восклицали при видѣ его сына и хитро подмигивали на его жену.

— Малый-то не промахъ, женку себѣ подобралъ смазливую.

Другіе, менѣе коротко знакомые, садились за деревянные столы, крича:

— Штофъ водки... кружку пива... двѣ рюмки коньяку и проч. И принимались играть въ домино, стуча бѣлыми и черными костями.

Старуха Дюруа не переставала двигаться взадъ и впередъ, прислуживала посѣтителямъ съ своимъ унылымъ видомъ, получала деньги, вытирала столы концемъ синяго передника.

Дымъ отъ глиняныхъ трубокъ и грошевыхъ сигаръ наполнялъ залу. Мадлена закашлялась и сказала:

— Не пойдемъ ли прогуляться; я очень устала сидѣть за столомъ. Обѣдъ все еще не былъ конченъ, и старику Дюруа не понравилось, что невѣстка хочетъ уйти. Тогда она встала и сѣла на стулъ около двери, выходившей на дорогу, дожидаясь, пока свекоръ и мужъ допьютъ кофе и ликеръ.

Жоржъ вскорѣ присоединился къ ней.—Хочешь спуститься къ Сенѣ?—спросилъ онъ.

Она съ радостью согласилась.

— О! да, да, пойдемъ!

Они сошли съ горы, наняли лодку въ Круассе и провели остатокъ дня около одного острова, подъ ивами, и пригрѣтые весенними лучами солнца дремали въ лодкѣ, убаюканные слабыми волнами рѣки.

Съ наступленіемъ сумерокъ, они опять взошли на гору.

Вечерняя трапеза при свѣтѣ сальной свѣчи была еще тяжелѣе для Мадлены, чѣмъ утренняя. Старикъ Дюруа, сильно подвыпившій, молчалъ. Старуха была по прежнему угрюма.

При жалкомъ освѣщеніи тѣни головъ вырѣзывались на сѣрыхъ стѣнахъ съ громадными носами и преувеличенныхъ размѣровъ.

Порою гигантская рука поднимала вилку, величиной съ грабли, и подносила ее ко рту, разверзавшемуся какъ пасть чудовища, когда кто-нибудь повертывался профилемъ въ сторону желтаго и трепещущаго свѣта.

Когда ужинъ былъ оконченъ, Мадлена увела мужа на улицу, чтобы не сидѣть въ мрачной комнатѣ, гдѣ царствовалъ ѣдкій запахъ табачнаго дыма и пролитыхъ напитковъ.

Когда они вышли изъ дому, Жоржъ сказалъ:

— Ты уже скучаешь?

Она протестовала-было, но онъ остановилъ ее:

— Нѣтъ, я это вижу. Если ты хочешь, мы завтра же уѣдемъ.

Она пробормотала:

— Хорошо.

Они тихо шли куда глаза глядятъ. Ночь была теплая, и ея мягкій и глубокій мракъ казался полонъ слабыхъ звуковъ, шелеста, дуновенія. Они вступили въ узкую аллею, подъ очень высокія деревья, между двухъ непроницаемыхъ черныхъ древесныхъ стѣнъ.

Она спросила:

— Гдѣ мы?

Онъ отвѣчалъ:

— Въ лѣсу.

— Онъ великъ?

— Очень великъ; одинъ изъ самыхъ большихъ во Франціи.

Запахъ земли, деревьевъ, мха,—тотъ свѣжій и сильный запахъ, присущій густому лѣсу, куда входитъ и ароматъ молодыхъ почекъ, и палыхъ и заплѣснѣвѣвшихъ листьевъ царилъ въ этой чащѣ. Поднявъ голову, Мадлена увидѣла звѣзды, сверкавшія сквозь верхушки деревъ, и хотя никакой вѣтерокъ не шевелилъ ихъ вѣтвей, но она чувствовала вокругъ себя смутный трепетъ цѣлаго океана листьевъ.

Странная дрожь охватила ея душу и пробѣжала по тѣлу: неопредѣленный страхъ сжалъ ей сердце. Почему? Она сама не понимала. Но ей казалось, что она заблудилась, затерялась въ лѣсу, гдѣ окружена всякими опасностями, всѣми покинута, одинока, совсѣмъ одинока въ мірѣ подъ этимъ живымъ сводомъ, трепетавшимъ надъ ея головой.

Она пробормотала:

— Мнѣ что-то страшно; вернемся назадъ.

— Хорошо.

— И... завтра уѣдемъ въ Парижъ?

— Да, завтра.

— Завтра утромъ?

— Да, завтра утромъ, если тебѣ угодно.

Они вернулись въ домъ. Старики уже улеглись. Мадлена плохо спала: ее безпрестанно будили разные незнакомые и новые для нея деревенскіе звуки: крикъ совы, хрюканье поросенка, запертаго въ сарайчикѣ, прилѣпившемся къ стѣнѣ дома, и пѣніе пѣтуха, начавшееся послѣ полуночи.

Она встала на зарѣ и приготовилась къ отъѣзду.

Когда Жоржъ сообщилъ родителямъ, что уѣзжаетъ, они оба были поражены, но сейчасъ же поняли, кто этому причиной.

Отецъ спросилъ только:

— Скоро ли опять къ намъ?

— Да, разумѣется, нынѣшнимъ же лѣтомъ.

— Ну, тѣмъ лучше.

Старуха проворчала:

— Желаю, чтобы ты не раскаялся въ томъ, что сдѣлалъ.

Онъ оставилъ имъ двѣсти франковъ въ подаровъ, чтобы смягчить ихъ неудовольствіе, и фіакръ, за которымъ сбѣгалъ какой-то мальчишка, подъѣхалъ въ десять часовъ къ дверямъ. Молодые простились со стариками и уѣхали.

Когда они съѣзжали съ горы, Жоржъ засмѣялся:

— Вотъ,—сказалъ онъ,—я тебя предупреждалъ. Мнѣ бы не слѣдовало знакомить тебя съ m-r и m-me Дю-Руа де-Котель старшими.

Она тоже засмѣялась и отвѣчала:

— Я очень рада, что познакомилась съ ними. Они славные люди, и я ихъ искренно полюбила. Я буду посылать имъ гостинцы изъ Парижа.

Потомъ пробормотала:

— Дю-Руа де-Котель! вотъ увидишь, что никого не удивятъ наши пригласительные билеты. Мы всѣмъ разскажемъ, что провели двѣ недѣли въ имѣніи твоихъ родителей.

И наклонившись къ нему, она слегка поцѣловала кончики его завитыхъ усовъ:—Здравствуй, Жедъ!

Онъ отвѣчалъ:

— Здравствуй, Мадъ.

И обхватилъ рукой ея талію.

Вдали, на днѣ долины виднѣлась большая рѣка, развертывавшаяся точно серебряная лента, подъ утренними лучами солнца. Видны были также всѣ фабричныя трубы, посылавшія въ небо облака чернаго дыма и всѣ остроконечныя колокольни стараго города.

II.

Супруги Дю-Руа уже два дня какъ вернулись въ Парижъ, и журналистъ вступилъ въ свою прежнюю должность, въ ожиданіи пока онъ оставитъ отдѣлъ слуховъ, чтобы окончательно посвятить себя спеціальности покойнаго Форестьé и принять въ свое завѣдываніе политическій отдѣлъ.

Сегодня вечеромъ онъ шелъ обѣдать домой, на квартиру своего предшественника, съ веселымъ сердцемъ, съ нетерпѣливымъ желаніемъ обнять жену, въ которую былъ не только влюбленъ, но и незамѣтно подчинился ея вліянію. Проходя мимо цвѣточницы въ концѣ улицы „Notre-Dame-de Lorette“ ему пришла мысль купить букетъ для Мадлены, и онъ выбралъ большой пучекъ розъ, еще не вполнѣ распустившихся, цѣлый лѣсъ благоухающихъ бутоновъ. На каждой площадкѣ своей лѣстницы, онъ съ удовольствіемъ глядѣлся въ зеркало, напоминавшее ему его первый визитъ въ этотъ домъ.

Онъ позвонилъ, потому что забылъ захватить ключъ отъ двери, и тотъ же самый слуга отворилъ дверь, такъ какъ онъ и его оставилъ у себя по совѣту жены.

Онъ спросилъ:

— Барыня вернулась?

— Точно такъ, сударь.

Но проходя по столовой, онъ удивился, что накрыто на три прибора. Портьера гостиной была приподнята, и онъ увидѣлъ, что Мадлена ставитъ въ вазу на каминѣ пучекъ точь-въ-точь такихъ же розъ, какъ онъ ей купилъ. Ему стало досадно, непріятно, точно у него украли его идею, его желаніе оказать вниманіе женѣ и все удовольствіе, которое онъ отъ этого ожидалъ.

Онъ спросилъ, входя:

— У тебя обѣдаютъ гости?

Она отвѣчала, не оборачиваясь и продолжая устанавливать цвѣты:

— И да, и нѣтъ. У меня обѣдаетъ мой давнишній другъ, графъ де-Водрекъ. Онъ привыкъ обѣдать здѣсь по понедѣльникамъ и сегодня придетъ по старому.

Жоржъ пробормоталъ:

— Ахъ! прекрасно!

Онъ стоялъ позади нея съ букетомъ въ рукахъ и ему хотѣлось спрятать его и бросить. Онъ сказалъ, однако:

— Возьми; я принесъ тебѣ розы.

Она быстро обернулась, улыбаясь и крича:

— Ахъ! какъ ты милъ, что подумалъ объ этомъ!

И протянула ему руки и губы съ такой искренней радостью, что онъ почувствовалъ себя утѣшеннымъ.

Она взяла цвѣты, понюхала ихъ и съ живостью обрадованнаго ребенка поставила ихъ въ другую вазу, на каминѣ, напротивъ первой. Затѣмъ объявила, поглядѣвъ какой они производятъ эффектъ:

— Какъ я рада! Теперь мой каминъ въ порядкѣ.

И почти сейчасъ же прибавила съ убѣжденіемъ:

— Знаешь, вѣдь Водрекъ очень милый человѣкъ, ты непремѣнно съ нимъ подружишься.

Звонокъ возвѣстилъ о приходѣ графа. Онъ вошелъ спокойный, развязный, чувствуя себя, какъ дома. Любезно поцѣловавъ пальчики молодой женщины, онъ повернулся къ мужу и протянулъ ему руку, очень привѣтливо спрашивая:

— Какъ поживаете, mon cher Дю-Руа?

Онъ уже не имѣлъ своего прежняго натянутаго, надменнаго вида, но любезно улыбался, показывая этимъ, что положеніе дѣлъ измѣнилось. Удивленный журналистъ старался быть также съ нимъ любезнымъ, въ отвѣтъ на его предупредительность. Не прошло и пяти минутъ какъ можно было подумать, что они знакомы и дружны уже лѣтъ десять. Тогда Мадлена съ сіяющимъ лицомъ сказала имъ:

— Оставляю васъ вдвоемъ. Мнѣ надо распорядиться на счетъ обѣда.

И убѣжала. Мужчины поглядѣли ей вслѣдъ.

Когда она вернулась, то нашла, что они разговариваютъ о театрѣ, по поводу новой піэсы, и до такой степени сходятся во мнѣніи, что чуть уже не подружились, открывъ у себя такое сходство взглядовъ.

Обѣдъ прошелъ весело и пріятно. Графъ долго засидѣлся вечеромъ, такъ ему было хорошо въ этомъ домѣ, съ этой красивой, молодой парочкой.

Когда онъ ушелъ, Мадлена сказала мужу:

— Неправда ли, что онъ отличный человѣкъ? Онъ очень выигрываетъ при ближайшемъ знакомствѣ. И вотъ ужъ другъ, на котораго можно положиться, надежный, преданный, вѣрный! Да, еслибы не онъ...

Она не договорила, и Жоржъ отвѣчалъ:

— Да, я нахожу его очень милымъ. Я думаю, что мы отлично поладимъ.

Но она продолжала:

— Ты не знаешь, намъ надо сегодня же вечеромъ приниматься за работу, прежде, нежели лечь спать. Я не успѣла переговорить съ тобой объ этомъ до обѣда, потому что пріѣхалъ Водрекъ. Мнѣ только-что доставлены важныя новости объ Египтѣ. Ихъ мнѣ сообщилъ Ларошъ, депутатъ, будущій министръ. Мы должны написать большую статью, такую, которая бы произвела

сенсацію. У меня есть факты и цифры. Мы сейчасъ же примемся за работу. Возьми лампу.

Онъ взялъ лампу, и они перешли въ кабинетъ.

Тѣ же книги стояли въ библіотекѣ, на которой теперь красовались три вазы, купленныя въ Жуанскомъ заливѣ Форестье, наканунѣ своей смерти. Подъ столомъ скамейка покойнаго готова была къ услугамъ Дю-Руа, который, усѣвшись, взялъ ручку изъ слоновой кости, кончикъ которой былъ изгрызенъ, должно быть тоже зубами покойнаго.

Мадлена облокотилась на каминъ и, закуривъ папиросу, передала свои новости; затѣмъ изложила свои идеи и планъ статьи, которая уже была въ головѣ.

Онъ слушалъ ее внимательно, дѣлалъ отмѣтки, и когда она кончила, сталъ спорить, изложилъ вопросъ съизнова, расширилъ его рамки, развилъ, въ свою очередь, уже не планъ статьи, но планъ военной кампаніи противъ существующаго министерства, которой настоящая статья должна послужить началомъ. Жена перестала курить, до такой степени интересъ ея былъ возбужденъ, и такія широкія и далекія перспективы открывались ей, когда она слѣдила за мыслью Жоржа.

Время отъ времени она бормотала:

— Да, да... очень хорошо... такъ, такъ... очень, очень умно.

И когда онъ пересталъ говорить, сказала:

— Теперь будемъ писать.

Но ему всегда трудно было начать, и онъ долго искалъ подходящихъ словъ. Тогда она наклонилась къ его плечу и стала шептать ему на ухо готовыя фразы.

Время отъ времени она колебалась и спрашивала:

— Это ли ты хочешь сказать?

Онъ отвѣчалъ:

— Да, да, именно.

Она придумывала ядовитыя, чисто женскія шпильки, чтобы задѣть перваго министра и забавнымъ образомъ припутывала насмѣшки надъ его лицомъ къ насмѣшкамъ надъ его политикой, что не мѣшало послѣднимъ быть очень мѣткими.

Порою Дю-Руа прибавлялъ отъ себя нѣсколько строкъ, отъ чего нападки дѣлались еще глубже и сильнѣе. Онъ тоже вводилъ искусствомъ коварныхъ недомолвокъ, намековъ и изощрялся въ нихъ, редактируя слухи; и когда фактъ, сообщаемый Мадленой, казался ему сомнительнымъ или рискованнымъ, онъ такъ искусно отрицалъ его, что читатель послѣ того только пуще убѣждался въ его вѣрности.

Когда статья была окончена, Жоржъ прочиталъ или, вѣрнѣе сказать, продекламировалъ ее вслухъ.

Они нашли ее съ общаго согласія превосходной и улыбнулись другъ другу радостно и удивленно, точно только-что узнали цѣну другъ другу. Они поглядѣли одинъ другому въ глаза съ выраженіемъ восхищенія и умиленія и съ упоеніемъ обнялись, такъ какъ не только физически, но и умственно симпатизировали одна другому.

Дю-Руа опять взялъ лампу.

— А теперь, бай-бай,—сказалъ онъ съ воспаленнымъ взглядомъ.

Она отвѣчала:

— Проходите впередъ, мой повелитель, такъ какъ вы освѣщаете путь.

Онъ прошелъ и она послѣдовала за нимъ въ спальную, щекоча ему пальцемъ шею около волосъ, чтобы заставить его поскорѣй идти, потому что онъ боялся щекотки.

Статья появилась за подписью Жоржа дю-Руа де-Котель и надѣлала много шума. Въ палатѣ депутатовъ встревожились, а дядюшка Вальтеръ поздравлялъ автора и поручилъ ему редакцію политическаго отдѣла въ Vie Française. Слухи опять отошли къ Дуаренару.

Тогда началась въ журналѣ ловкая и яростная кампанія противъ министерства. Нападки производились очень искусно и подкрѣплялись фактами. Порою тонъ ихъ былъ иронической, порою серьезный, порою шутливый, порою рѣзкій, но непрерывность и мѣткость ихъ всѣхъ дивила. Газеты безпрестанно цитировали Vie Française, приводили изъ нея большіе отрывки, а члены правительства освѣдомлялись, нельзя ли заткнуть глотку префектурой неизвѣстному и ожесточенному врагу.

Дю-Руа становился извѣстенъ въ политическихъ грушахъ. Онъ чувствовалъ, что вліяніе его растетъ по тому, какъ ему жали руки и снимали передъ нимъ шляпы. Кромѣ того, жена приводила его въ восторгъ и удивленіе изворотливостью своего ума, вѣрностью своихъ свѣденій и многочисленностью знакомствъ.

Поминутно онъ заставалъ въ своей гостиной, возвращаясь домой, то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, обходившихся съ Мадленой какъ съ давнишней знакомой, съ серьезной фамильярностью. Гдѣ она познакомилась со всѣми этими людьми? Въ обществѣ, говорила она. Но какъ она съумѣла овла-

дѣть ихъ довѣріемъ и дружбой? этого онъ не могъ взять въ толкъ.

— Какая ловкая дипломатка изъ нея бы вышла,—говорилъ онъ.

Она часто опаздывала къ обѣду, прибѣгала раскраснѣвшись, запыхавшись и, еще не снимая шляпы, говорила:

— Ну ужъ и новостей у меня сегодня цѣлый коробъ. Представь: министръ юстиціи назначилъ двухъ судей, принимавшихъ участіе въ смѣшанныхъ коммиссіяхъ. Мы зададимъ ему такую гонку, что онъ долго будетъ помнить.

И министру задавали гонку, и еще, и еще, да такъ нѣсколько дней подъ рядъ. Депутатъ Ларошъ, обѣдавшій въ улицѣ Фонтенъ по вторникамъ, послѣ графа де Водрека, которымъ начиналась недѣля, изо всей мочи жалъ руки жены и мужа съ выраженіемъ необыкновеннаго удовольствія. Онъ безпрестанно повторялъ:

— Чортъ побери! вотъ такъ народъ. И неужто же мы не успѣемъ послѣ этого.

Онъ надѣялся, что успѣетъ подцѣпить портфель внутреннихъ дѣлъ, за которымъ давно уже гнался.

То былъ политическій дѣятель изъ породы хамелеоновъ, безъ убѣжденій, безъ большого ума, безъ смѣлости и солидныхъ знаній, провинціальный адвокатъ, захолустный красавецъ-мужчина, хитро удерживавшій равновѣсіе между крайними партіями; нѣкотораго рода республиканскій іезуитъ и сомнительнаго характера либералъ, какіе тысячами вырастаютъ на навозѣ всеобщей подачи голоса.

Деревенскій маккіавелизмъ составилъ ему репутацію ловкаго человѣка среди его собратій, среди всѣхъ этихъ неудачниковъ и никуда негодныхъ людей, которые попадаютъ въ депутаты. Онъ былъ достаточно красивъ, щеголеватъ, приличенъ, фамильяренъ и любезенъ, чтобы добиться успѣха. Онъ кружилъ головы въ томъ смѣшанномъ, двусмысленномъ и грубоватомъ обществѣ, которое составляютъ теперешніе правительственные сановники.

О немъ всюду говорили: Ларошъ будетъ министромъ, и онъ еще тверже другихъ былъ увѣренъ, что Ларошъ будетъ министромъ.

Онъ былъ однимъ изъ главныхъ акціонеровъ журнала дядюшки Вальтера, его собрата и соучастника во многихъ финансовыхъ предпріятіяхъ.

Дю-Руа поддерживалъ его съ довѣріемъ и смутными надеждами на счетъ будущихъ благъ. Онъ, впрочемъ, и тутъ шелъ по

стопамъ Форестьé, которому Ларошъ обѣщалъ крестъ, когда наступитъ день торжества.

Орденъ украситъ собою грудь второго мужа Мадлены. Вотъ и все. Въ сущности ничто не перемѣнилось.

Да и всѣ до такой степени находили, что ничего не перемѣнилось, что собратья Дю-Руа придумали шутку, которая начинала его бѣсить. Его звали не иначе какъ Форестьѐ. Какъ только онъ приходилъ въ редакцію, кто-нибудь непремѣнно кричалъ ему: — Послушай-ка, Форестьé. Онъ дѣлалъ видъ, что не слышитъ и рылся въ письмахъ, отложенныхъ въ его ящикъ. Голосъ кричалъ громче:—Эй, Форестьѐ! Слышался подавленный смѣхъ. Когда Дю-Руа направлялся въ кабинетъ издателя, звавшій его останавливалъ по дорогѣ, говоря:—Ахъ! извини пожалуйста, я вѣдь тебѣ говорилъ. Такъ это право глупо, что я вѣчно смѣшиваю тебя съ бѣднымъ Шарлемъ. Это потому, что статьи твои страхъ какъ похожи на его. Не я одинъ, всѣ находятъ.

Дю-Руа ничего не отвѣчалъ, но внутренно бѣсился и началъ ненавидѣть покойнаго.

Самъ Вальтеръ объявилъ ему, что всѣ удивляются сходству слога, оборотовъ рѣчи между статьями прежняго редактора политическаго отдѣла и теперешняго. Положительно это писалъ Форестьé, но только болѣе впечатлительный, нервный, энергическій.

Въ другой разъ Дю-Руа открылъ нечаянно шкапъ, гдѣ стояли бильбокѐ, и увидѣлъ, что бильбокѐ его предшественника покрыты чернымъ крепомъ, а его обвязаны розовой ленточкой.

Всѣ были размѣщены на одной полкѣ по ранжиру и надпись, какъ въ музеѣ, возвѣщала: „Старинная коллекція Форестьé и К°. Форестьé-Дюруа преемникъ, S. G. D. G. Товаръ не подверженный порчѣ и могущій служить во всѣхъ случаяхъ жизни, даже въ путешествіяхъ“.

Заперевъ шкапъ хладнокровно, онъ сказалъ довольно громко, чтобы его слышали:—Вездѣ бываютъ дураки и завистники!

Но онъ былъ оскорбленъ, оскорбленъ въ своей гордости и въ своемъ тщеславіи, какъ писатель, а извѣстно, что эти спеціальности гордость и тщеславіе, порождаютъ нервную обидчивость, вѣчно и въ равной степени, какъ у репортера, такъ и у геніальнаго поэта.

Слово: „Форестьѐ“—раздирало ему уши, онъ боялся его услышать, и краснѣлъ, когда слышалъ.

Для него это имя было язвительной шуткой, болѣе того: обидой. Оно кричало ему:—твоя жена работаетъ за тебя, какъ и за того. Безъ нея ты былъ бы нулемъ.

Онъ охотно допускалъ, что Форестьé былъ бы нулемъ безъ Мадлены, но онъ самъ... какъ бы да не такъ!

Затѣмъ, когда онъ возвращался домой, то же воспоминаніе преслѣдовало его. Вся квартира напоминала ему покойнаго, мебель, всѣ бездѣлушки, все, до чего тотъ дотрогивался. Въ первое время онъ не думалъ объ этомъ. Но досадная шутка, придуманная его сотоварищами, направила его вниманіе на тысячу мелочей, до сихъ поръ, незамѣченныхъ, а теперь досаждавшихъ ему.

Онъ не могъ взять никакой вещи, чтобы ему не показалось, что рука Шарля тянется за ней. Онъ видѣлъ передъ собой и употреблялъ такіе предметы, какіе нѣкогда купилъ, употреблялъ, любилъ Шарль.

И Жоржа начинала раздражать даже мысль о прежнихъ отношеніяхъ его пріятеля съ его женой.

Онъ самъ дивился по временамъ своей досадѣ и не понималъ ее:—что за штука спрашивалъ онъ самого себя, я нисколько не ревную Мадлены къ ея знакомымъ, я никогда не безпокоюсь о томъ, что она дѣлаетъ. Она приходитъ и уходитъ, какъ ей вздумается, а воспоминаніе объ этомъ болванѣ, Шарлѣ, выводитъ меня изъ себя.

И мысленно прибавлялъ:—въ сущности онъ былъ дуракъ, и можетъ быть это самое меня сердитъ. Мнѣ досадно, что Мадлена вышла замужъ за такого глупца.

И безпрерывно повторялъ себѣ:—какъ случилось, что такая женщина могла хоть на одну минуту увлечься этимъ болваномъ?

И его досада съ каждымъ днемъ усиливалась отъ тысячи незначительныхъ подробностей, дѣйствовавшихъ на него, какъ уколы булавки, отъ непрерывнаго напоминанія о покойникѣ то Мадленой, то слугой, то горничной.

Разъ вечеромъ дю-Руа, любившій пирожное, спросилъ:

— Отчего у насъ никогда не бываетъ пирожнаго?—молодая женщина весело отвѣчала:

— Правда, я объ этомъ не подумала. Это потому что Шарль его не терпѣлъ...

Онъ перебилъ ее съ нетерпѣливымъ движеніемъ, котораго не могъ удержать:

— Ахъ, знаешь,—Шарль начинаетъ меня бѣсить. Все Шарль да Шарль, Шарль любилъ это, Шарль не любилъ того-то! Разъ онъ покоится, то оставьте его въ покоѣ, пожалуйста.

Мадлена глядѣла на мужа съ удивленіемъ, ничего не понимая въ его внезапномъ гнѣвѣ. Потомъ, будучи смышленой женщиной, она догадалась отчасти о томъ, что въ немъ происходитъ, объ

медленно проснувшейся въ немъ ревности, такъ сказать ревности заднимъ числомъ, которая усиливалась всѣмъ, что напоминало покойнаго.

Она нашла это, быть можетъ, вздорнымъ, но была польщена и промолчала.

Ему стало досадно на самого себя за то, что онъ не съумѣлъ скрыть своего раздраженія. Когда онъ сѣлъ послѣ обѣда писать статью на завтра, то зацѣпился за скамейку и, смѣясь, спросилъ:

— А у Шарля, значитъ, постоянно зябли ноги?

Она отвѣчала тоже смѣясь:

— О!—онъ жилъ въ вѣчномъ трепетѣ передъ насморкомъ: у него была слабая грудь.

Дю-Руа продолжалъ безжалостно:

— Онъ, впрочемъ, это доказалъ.

И любезно прибавилъ:

— Къ счастью для меня.

И поцѣловалъ руку жены.

Но ложась спать подъ вліяніемъ той же неотступной мысли, онъ опять спросилъ:

— А что Шарль носилъ бумажные колпаки, чтобы ему не дуло въ уши?

Она поддержала шутку и отвѣтила:

— Нѣтъ,—но обвязывалъ голову фуляромъ.

Жоржъ пожалъ плечами и проговорилъ съ пренебреженіемъ человѣка, сознающаго свое превосходство:

— Какая ворона!

Съ этихъ поръ Шарль сталъ для него предметомъ вѣчныхъ толковъ. Онъ говорилъ о немъ по всякому поводу и вовсе безъ повода, называя его не иначе, какъ: „бѣдняга Шарль“! съ видомъ безконечной жалости.

И возвращаясь изъ редакціи, послѣ того какъ его тамъ нѣсколько разъ обозвали именемъ Форестьé, онъ мстилъ покойнику, въ могилѣ, злыми насмѣшками. Онъ напоминалъ про его недостатки, его смѣшныя стороны, его мелочность, съ удовольствіемъ распространялся о нихъ, преувеличивалъ, точно хотѣлъ изгнать изъ сердца жены воспоминаніе о ненавистномъ соперникѣ.

Онъ повторялъ:

— Послушай-ка, Мадъ,—помнишь, какъ эта мокрая курица Форестьé хотѣлъ намъ доказать, что толстяки сильнѣе худощавыхъ.

И принимался разспрашивать о разныхъ интимныхъ вещахъ, о которыхъ молодая женщина, конфузившаяся, отказывалась говорить. Но онъ приставалъ:

— Ну же, ну, разскажи мнѣ про это.

Она говорила сквозь зубы:

— Ахъ!—оставь его, наконецъ, въ покоѣ!

Но онъ настаивалъ:

— Нѣтъ,—скажи мнѣ! — правда, что онъ былъ похожъ въ постелѣ на шута гороховаго!—Какой это былъ болванъ!

Разъ вечеромъ въ концѣ іюня, куря папироску у окна, онъ вдругъ ощутилъ желаніе прогуляться на чистомъ воздухѣ.

Онъ спросилъ:

— Милая Мадъ,—поѣдемъ въ лѣсъ,—хочешь?

— Разумѣется.

Они взяли открытый фіакръ, проѣхали Елисейскія Поля и въѣхали въ Булонскій лѣсъ. Ночь была такъ тиха, что не ощущалось ни малѣйшаго движенія воздуха,—одна изъ тѣхъ душныхъ, парижскихъ ночей, когда грудь дышетъ точно раскаленнымъ паромъ. Цѣлыя вереницы фіакровъ везли подъ деревья армію влюбленныхъ. Фіакры слѣдовали непрерывной цѣпью другъ за другомъ, и Жоржъ съ Мадленой забавлялись, наблюдая за обнявшимися парочками, проѣзжавшими въ этихъ экипажахъ: женщины въ свѣтлыхъ платьяхъ, а мужчины въ темныхъ. То былъ громадный потокъ любовниковъ, текшій въ лѣсъ, подъ звѣзднымъ, яркимъ небомъ. Не слышно было другого шума, кромѣ стука колесъ по землѣ. Парочки проѣзжали, проѣзжали безъ конца, раскинувшись на подушкахъ фіакра, безмолвные, прижимаясь другъ къ другу. Горячій сумракъ казался полонъ поцѣлуями.

Жоржъ и Мадлена тоже заразились господствующей атмосферой любви и тихонько взяли другъ другъ за руку, ни слова не говоря.

Доѣхавъ до поворота, ведущаго къ укрѣпленіямъ, они поцѣловались, и она прошептала, немного сконфуженная:

— Мы опять такъ же глупо ведемъ себя, какъ по дорогѣ въ Руанъ.

Большая цѣпь экипажей разомкнулась при въѣздѣ въ лѣсъ. По дорогѣ, которая вела къ озерамъ и по которой они ѣхали, фіакры нѣсколько порѣдѣли, но густой мракъ, царившій подъ деревьями, воздухъ, освѣжаемый листьями и влажными испареніями отъ ручейковъ, которые текли подъ деревьями, свѣжесть, происходящая отъ широкаго пространства и ночного простора, украшеннаго небесными свѣтилами, придавали обаятельную прелесть поцѣлуямъ гуляющихъ парочекъ и таинственность окутывающему ихъ мраку.

Жоржъ прошепталъ:—О! моя милая Мадъ,—и прижалъ ее къ себѣ.

Она сказала ему:

— Помнишь тотъ лѣсъ, около твоего дома на родинѣ, какой онъ былъ страшный. Мнѣ казалась, что онъ полонъ ужасныхъ звѣрей и что ему нѣтъ конца. А здѣсь, напротивъ того, прелестно. Здѣсь вѣтеръ точно ласкаетъ тебя, и я знаю, что по ту сторону лѣса находится Севръ.

— О!—въ моемъ лѣсу ничего другого не водится, кромѣ оленей, лисицъ, дикихъ козъ и кабановъ; и тамъ, и сямъ стоятъ избушки лѣсниковъ (forestier).

Это слово, тождественное съ фамиліей покойнаго Форестьé, произнесенное имъ нечаянно, удивило его такъ, какъ будто бы кто-то другой прокричалъ ему его изъ лѣсной чащи, и онъ вдругъ умолкъ, охваченный своей странной и упорной досадой, ревнивымъ, мучительнымъ непобѣдимымъ раздраженіемъ, портившимъ ему жизнь съ нѣкоторыхъ поръ.

Черезъ минуту онъ спросилъ:

— Пріѣзжала ли ты когда-нибудь вечеромъ сюда съ Шарлемъ?

Она отвѣчала:

— Да, разумѣется, часто.

И вдругъ ему захотѣлось вернуться домой, нервное раздраженіе сжимало ему горло, гнело сердце, и образъ Форестье опять воцарился въ его умѣ, завладѣлъ имъ, поработилъ его. Онъ ни о чемъ другомъ не могъ больше ни думать, ни говорить. Онъ проговорилъ со злостью въ голосѣ:

— Скажи-ка мнѣ вотъ что, Мадъ...

— Что такое?

— Была ты вѣрна этому бѣдному Шарлю?

Она презрительно пробормотала:

— Ты право становишься глупъ съ твоимъ вѣчнымъ припѣвомъ!

Но онъ не отставалъ:

— Послушай, милая Мадъ, будь откровенна, скажи: ты измѣняла ему, да? сознайся, что да?

Она молчала, возмущенная этимъ, какъ всегда и всѣ женщины.

Онъ настаивалъ:

— Ахъ! — чортъ побери! — если кто-нибудь когда походилъ на рогоносца, такъ это онъ. О, да! о, да! вотъ весело бы мнѣ было узнать, что Форестьé былъ рогоносцемъ. Гмъ! какая это была бы забавная штука!

Онъ почувствовалъ, что она улыбается, можетъ быть какому-нибудь воспоминанію, и настаивалъ:

— Послушай,—скажи; ну чтожъ такое! Напротивъ того, это было бы крайне забавно, что ты мнѣ, именно мнѣ, призналась бы, что его надувала.

Онъ весь дрожалъ отъ ожиданія, надежды, что Шарль, ненавистный Шарль, постылый покойникъ Шарль, подвергался этому стыду и позору.

И между тѣмъ, другое... да, другое чувство, хотя и смутное, подстрекало въ немъ желаніе узнать.

Онъ повторялъ:

— Мадъ, моя милая Мадъ,—пожалуйста скажи. Вотъ ужъ если кто заслуживалъ быть рогоносцемъ, такъ это онъ. Ты была кругомъ права, если нарядила его въ рога. Ну послушай, Мадъ, сознайся!

Должно быть ей показалась наконецъ забавной эта настойчивость, потому что она засмѣялась сухимъ, короткимъ смѣхомъ.

Онъ приставилъ губы къ уху жены и шепталъ:

— Ну признайся... пожалуйста... признайся!

Она сухо оттолкнулась отъ него и рѣзко проговорила:

— Ты глупъ,—развѣ о такихъ вещахъ спрашиваютъ.

Она сказала это такимъ страннымъ тономъ, что ощущеніе холода пробѣжало у него въ жилахъ, и онъ замолчалъ смущенный, растерянный, задыхаясь, точно послѣ сильнаго нравственнаго потрясенія.

Фіакръ теперь ѣхалъ вокругъ озера, куда небо какъ будто просыпало свои звѣзды. Два лебедя, едва примѣтныхъ въ темнотѣ, медленно плавали по водѣ.

Жоржъ закричалъ кучеру:

— Домой.

И экипажъ повернулся, скрещиваясь съ другими, ѣхавшими шагомъ; зажженые фонари ихъ горѣли какъ два глаза въ лѣсной темнотѣ.

Какъ она странно это сказала!

Дю-Руа спрашивалъ себя:—Что это? признаніе? и теперь увѣренность, что она обманывала своего перваго мужа приводила его въ ярость. Ему хотѣлось ее прибить, задушить, оттаскать за волосы! Вотъ когда бы она ему отвѣтила:

— Ахъ!—голубчикъ мой, — еслибы я способна была его обманывать,—то только съ тобой!—какъ бы онъ ее жарко обнялъ, расцѣловалъ, сталъ бы просто обожать.

Онъ сидѣлъ неподвижно, скрестивъ руки, глядя на небо, и

такъ волновался, что не могъ еще разсуждать. Наконецъ мало-по-малу нѣкоторое спокойствіе вернулось къ нему, и стараясь, справиться съ душевной болью, онъ сказалъ себѣ:—Всѣ женщины—потаскушки. Не стоитъ ихъ любить. Надо ими пользоваться—и только.

Сердечная горечь выступала у него на губахъ съ словами презрѣнія и отвращенія. Но онъ не промолвилъ ихъ вслухъ. Онъ повторялъ себѣ:—міръ принадлежитъ силѣ.

Надо быть силой. Надо быть выше всего!

Коляска быстрѣе покатилась. Она проѣзжала мимо укрѣпленій, и Дю-Руа видѣлъ передъ собой красноватый свѣтъ на небѣ, точно зарево отъ громадной кузницы. И слышалъ смутный, громадный, непрерывный гулъ, составленный изъ самыхъ разнообразныхъ и безчисленныхъ звуковъ, глухой, близкій и далекій гулъ, гигантскій пульсъ жизни, дыханіе Парижа въ лѣтнюю ночь, точно колосса, запыхавшагося отъ усталости.

Жоржъ думалъ:—Я былъ бы глупъ, еслибы огорчался всѣмъ этимъ. Каждый долженъ жить для себя. Побѣда остается за сильными. Все въ мірѣ одинъ эгоизмъ. Эгоизмъ, заставляющій искать удовлетворенія честолюбію и деньгамъ, лучше эгоизма, притягивающаго къ женщинамъ и любви!

Тріумфальная арка возвышалась у входа въ городъ на своихъ двухъ чудовищныхъ ногахъ точно какой-то безобразный гигантъ, готовый двинуться въ путь по широкой аллеѣ, разстилавшейся передъ нимъ.

Жоржъ и Мадлена находились въ вереницѣ экипажей, отвозившихъ домой спать всѣхъ мужчинъ и женщинъ. Казалось, что все человѣчество движется вмѣстѣ съ ними, опьяненное радостью, удовольствіемъ, счастіемъ.

Молодая женщина, смутно предчувствовавшая то, что происходило въ душѣ мужа, спросила кроткимъ голосомъ:

— О чемъ ты думаешь, мой другъ. Вотъ уже съ полчаса какъ ты не промолвилъ ни одного слова.

Онъ отвѣчалъ, подсмѣиваясь:

— Я думалъ обо всѣхъ этихъ дуракахъ, которые цѣлуются, и говорилъ себѣ, что—право, въ жизни есть и другое дѣло.

Она промолвила:—Конечно, но и цѣловаться пріятно, иногда...

— Да,—отвѣчалъ онъ,—именно иногда, когда нечего больше дѣлать.

Мысль продолжала въ немъ работать, сдергивая съ жизни ея поэтическую одежду съ какимъ-то злымъ ожесточеніемъ: — Глупъ я буду, если стану стѣсняться, лишать себя чего бы то

ни было, смущаться, безпокоиться, терзаться душевно, какъ я это дѣлаю въ послѣднее время! Воспоминаніе Форестье́ пронеслось у него въ умѣ, не возбуждая больше гнѣва. Ему казалось, что они помирились, что они стали пріятелями. Ему хотѣлось закричать:—Здравствуй, старина!

Мадлена, смущаемая его молчаніемъ, спросила:

— Хочешь съѣсть порцію мороженаго у Тортони,—прежде чѣмъ вернемся домой.

Онъ поглядѣлъ на нее сбоку. Ея тонкій бѣлокурый профиль ярко освѣтился гирляндой газовыхъ рожковъ, возвѣщавшихъ кафе-шантанъ.

Ему подумалось:—Она хорошенькая. Ну что-жъ, тѣмъ лучше! На то въ морѣ щука, чтобъ карась не дремалъ. Но если я еще когда-нибудь стану мучиться изъ-за тебя, то на сѣверномъ полюсѣ станетъ жарко.

Затѣмъ, онъ отвѣчалъ ей:

— Разумѣется,—милочка.

И чтобы она ни о чемъ не догадалась, поцѣловалъ ее.

Молодой женщинѣ показалось, что губы ея мужа холодѣе мрамора.

Однако, онъ улыбался своей обычной улыбкой, подавая ей руку, чтобы помочь выдти изъ экипажа, остановившагося передъ Тортони.

III.

На другой день, придя въ редакцію, Дю-Руа подошелъ къ Буаренару.

— Милый другъ,—сказалъ онъ,—я хочу попросить тебя объ одной услугѣ. Съ нѣкоторыхъ поръ товарищи забавляются тѣмъ, что зовутъ меня Форестье́. Мнѣ это наконецъ надоѣло. Будь такъ добръ, предупреди ихъ деликатнымъ манеромъ, что я надаю пощечинъ первому, который осмѣлится повторить эту шутку. Пусть сообразятъ, стоитъ ли она удара шпаги. Я обращаюсь къ тебѣ потому, что ты человѣкъ хладнокровный и можешь предотвратить худыя послѣдствія, и еще потому, что ты былъ моимъ секундантомъ.

Буаренаръ взялся исполнить его порученіе, и Дю-Руа ушелъ по разнымъ дѣламъ. Когда онъ вернулся спустя часъ времени, никто больше не называлъ его Форестье́.

Придя домой, онъ услышалъ женскіе голоса въ гостиной и спросилъ,—кто это?

— M-me Вальтеръ и m-me де Марель.

Сердце у него слегка забилось, затѣмъ онъ сказалъ себѣ:

— Ба!—вотъ важность!

И открылъ дверь.

Клотильда сидѣла въ углу около камина, озаренная лучемъ дневного свѣта, проникавшаго въ окно; Жоржу показалось что она поблѣднѣла, увидя его; поздоровавшись сначала съ m-me Вальтеръ и ея двумя дочерьми, сидѣвшими по бокамъ матери, точно часовые, онъ повернулся къ m-me де Марель. Она протянула ему руку, онъ взялъ ее и нѣжно пожалъ, какъ бы желая сказать:—я все еще васъ люблю. Она отвѣчала на его пожатіе. Онъ спросилъ:

— Какъ вы поживали все это время? Мы вѣдь сто лѣтъ не видались.

Она отвѣчала развязно:

— Очень хорошо. А вы какъ, bel ami!

И обращаясь къ Мадленѣ, прибавила:

— Ты вѣдь позволишь мнѣ такъ его называть?

— Разумѣется, ma chère. Я позволяю все, что тебѣ только угодно.

Въ этой фразѣ чувствовалась скрытая иронія.

M-me Вальтеръ говорила о празднествѣ, которое собирался задать на своей холостой квартирѣ Жакъ Риваль, большомъ турнирѣ, на который приглашены будутъ свѣтскія дамы. Она говорила:

— Это будетъ очень интересно, но я въ отчаяніи, потому что насъ некому туда отвести. Мой мужъ долженъ уѣхать изъ Парижа какъ-разъ въ это время.

Дю-Руа тотчасъ же предложилъ свои услуги. Она приняла ихъ.

— Мы будемъ вамъ очень благодарны, мои дочери и я.

Онъ глядѣлъ на младшую изъ дѣвицъ Вальтера и думалъ:—А она недурна, право очень недурна!

Сюзанна дѣйствительно была похожа на хорошенькую, бѣлокурую куколку, миніатюрную и изящную, съ тонкой таліей, развитой грудью и боками, съ глазами точно изъ голубой эмали, тщательно разрисованными щепетильнымъ и капризнымъ живописцемъ. У ней была очень бѣлая кожа, совсѣмъ гладкая, безъ всякихъ тѣней и взбитые точно облако волосы, совсѣмъ какъ у тѣхъ куколъ, которыхъ видишь на рукахъ у дѣвчонокъ, гораздо меньше ихъ ростомъ.

Старшая сестра Роза была нехороша собой и совсѣмъ не-

интересна, одна изъ тѣхъ дѣвицъ, которыхъ не замѣчаютъ и про которыхъ не говорятъ.

Мать встала и повернувшись къ Жоржу, сказала:—Итакъ я разсчитываю на васъ въ будущій четвергъ въ два часа.

Онъ отвѣчалъ:

— Вполнѣ къ вашимъ услугамъ. Когда она ушла, m-me де Марель тоже стала прощаться:

— До свиданія, милый другъ.

Теперь уже она пожала ему руку очень сильно, очень продолжительно, и его взволновало это молчаливое признаніе; въ немъ опять проснулась прихоть къ этой вѣтренной, но добродушной мѣщаночкѣ, которая, чего добраго, искренно его любитъ.

„Я побываю у нее завтра", подумалъ онъ.

Когда онъ остался наединѣ съ женой, Мадлена засмѣялась весело и открыто, глядя прямо ему въ лицо.

— Знаешь ли, что ты внушилъ настоящую страсть m-me Вальтеръ.

Онъ отвѣчалъ недовѣрчиво:

— Полно пожалуйста.

— Да, да, увѣряю тебя; она мнѣ говорила про тебя съ безумнымъ восторгомъ. Это такъ странно съ ея стороны! Она бы хотѣла для своихъ дочерей двухъ такихъ мужей, какъ ты... Къ счастью, что у нея этого рода вещи неважны.

Онъ не понималъ, что она хотѣла сказать:

— Какъ такъ неважны?

Она отвѣчала съ убѣжденіемъ женщины, увѣренной въ томъ, что говоритъ:

— О! М-me Вальтеръ изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ никогда не коснулась никакая сплетня, понимаешь, никогда, никогда. Она неуязвима во всѣхъ отношеніяхъ. Ея мужъ... ты его знаешь такъ же хорошо, какъ и я, но она, это другое дѣло. Къ тому же она достаточно настрадалась отъ того, что вышла замужъ за еврея, но была ему вѣрна. Она честная женщина.

Дю-Руа казался удивленнымъ:

— Я думалъ, что она тоже еврейка.

— Она?—вовсе нѣтъ. Она дама-патронесса всѣхъ пріютовъ Св. Магдалины.

Онъ пробормоталъ:

— И я ей нравлюсь?

— Положительно и безусловно. Еслибы ты не былъ женатъ, я бы посовѣтовала бы тебѣ просить руки... Сюзанны, понимаешь?

Онъ отвѣчалъ, крутя усы:

— Ахъ!—и мамаша еще недурна.

Но Маддена не думала, чтобы можно было посягнуть на добродѣтель m-me Вальтеръ.

— Знаешь ли, голубчикъ, я желаю тебѣ обольстить мать, но не боюсь этого. Не въ ея годы свихиваются съ пути истиннаго. Это дѣлается гораздо раньше.

Жоржъ размышлялъ:

— „Если это, однако, правда, что я могъ бы жениться на Сюзаннѣ...

Затѣмъ пожалъ плечами:

— „Да!—вотъ безуміе!.. а отецъ-то".

Однако, обѣщалъ себѣ внимательнѣе наблюдать за обращеніемъ съ нимъ m-me Вальтеръ, не загадывая при этомъ: можетъ ли онъ извлечь изъ этого какую-нибудь пользу.

Весь вечеръ его преслѣдовали воспоминанія о любви къ Клотильдѣ, нѣжныя и въ то же время чувственныя. Онъ припоминалъ ея шаловливыя выходки, миловидность и ихъ похожденія. И повторялъ про себя: — Право, она очень мила, я непремѣнно навѣщу ее завтра.

На слѣдующій день, тотчасъ послѣ завтрака, онъ отправился въ улицу Вернейль. Та же служанка отворила ему дверь и съ фамильярностью мѣщанскихъ слугъ спросила:

— Какъ поживаете, сударь?

Онъ отвѣчалъ:

— Очень хорошо, мое дитя.

И вошелъ въ гостиную, гдѣ неумѣлые пальцы разыгрывали гаммы на фортепіано.

То была Лорина. Онъ думалъ, что она бросится ему на шею, но она важно встала и церемонно присѣла, какъ взрослая особа, и съ достоинствомъ удалилась.

Она до того походила на оскорбленную женщину, что онъ удивился.

Вошла мать. Онъ взялъ ея руки и поцѣловалъ ихъ.

— Какъ часто я о васъ думалъ,—сказалъ онъ.

— А я то,—отвѣчала она.

Онъ сѣлъ. Они улыбались, глядя пристально въ глаза другъ другу и испытывая желаніе поцѣловаться въ губы.

— Милая, милая Кло, я васъ люблю.

— И я васъ также.

— Значитъ... значитъ ты не очень на меня разсердилась?

— И да, и нѣтъ... сначала я была огорчена, но потомъ

поняла твои резоны и сказала себѣ: рано или поздно, а онъ ко мнѣ вернется.

— Я не смѣлъ вернуться, я не зналъ, какъ ты меня встрѣтишь. Я не смѣлъ, но мнѣ очень этого хотѣлось, кстати: что такое съ Лориной. Она едва со мной поздоровалась и ушла съ огорченнымъ видомъ?

— Не знаю, но она не выноситъ твоего имени, послѣ того какъ ты женился. Право, я думаю, что она ревнуетъ.

— Полно пожалуйста.

— Да, да, mon cher. Она больше не зоветъ тебя „милый другъ“; она тебя называетъ г. Форестье.

Дю-Руа покраснѣлъ, но подойдя къ молодой женщинѣ, сказалъ:

— Дай себя поцѣловать. Она позволила.

— Гдѣ намъ можно видѣться?

— Да... въ Константинопольской улицѣ.

— Ахъ!.. квартира значитъ не сдана!

— Нѣтъ... я ее оставила за собой.

— Ты?

— Да. Я подумала, что ты въ нее вернешься.

Самолюбивая радость наполнила его душу. Значитъ она любила его истинной, вѣрной и глубокой любовью. Онъ пробормоталъ:

— Я тебя обожаю.

Затѣмъ спросилъ:

— А твой мужъ здоровъ?

— Да, здоровъ. Онъ только что провелъ здѣсь мѣсяцъ и уѣхалъ третьяго дня.

Дю-Руа не могъ не засмѣяться:

— Какъ это кстати,—замѣтилъ онъ.

Она наивно отвѣчала:

— О, да, очень кстати. Но онъ не мѣшаетъ, когда живетъ въ Парижѣ; тебѣ вѣдь это хорошо извѣстно.

— Правда! Онъ чудесный вообще человѣкъ.

— А ты,—спросила она,—какъ поживаешь въ своей новой обстановкѣ.

— Ни худо, ни хорошо. Моя жена мнѣ товарищъ, компаньонъ.

— И только?

— Только... сердце тутъ не причемъ.

— Понимаю. Она, однако, очень мила.

— Да, но меня не трогаетъ.

Онъ подошелъ къ Клотильдѣ и спросилъ:

— Когда мы увидимся?

— Да... завтра, если хочешь.

— Хочу, въ два часа.

— Хорошо, въ два часа.

Онъ всталъ, собираясь уходить, и пробормоталъ смущеннымъ голосомъ:

— Знаешь, я намѣренъ занять самъ квартиру въ Константинопольской улицѣ. Я этого хочу. Недоставало только, чтобы ты за нее платила.

Она въ свою очередь съ обожаніемъ поцѣловала его руки и проговорила:

— Дѣлай какъ тебѣ угодно. Я довольна уже тѣмъ, что удержала ее за собой для того, чтобы намъ съ тобой видѣться.

Дю-Руа ушелъ вполнѣ счастливый.

Проходя мимо витрины фотографа, онъ увидѣлъ портретъ высокой женщины съ большими глазами, которая напомнила ему m-me Вальтеръ:—Право же, она еще недурна—подумалъ онъ. Какъ это я до сихъ поръ не обратилъ на нее вниманія; любопытно видѣть, какъ она меня встрѣтитъ въ четвергъ.

Онъ потиралъ себѣ руки на ходу, радуясь своимъ успѣхамъ эгоистической радостью ловкаго человѣка, которому все удается, котораго и тщеславіе польщено, и чувственность удовлетворена, какъ это всегда бываетъ, когда человѣкъ нравится женщинамъ.

Когда наступилъ четвергъ,—онъ спросилъ Мадлену:

— Ты не поѣдешь на турниръ къ Ривалю.

— О, нѣтъ! это меня нисколько не интересуетъ. Я отправлюсь въ палату депутатовъ.

Онъ отправился за m-me Вальтеръ въ открытомъ ландо, потому что погода была чудесная.

Онъ просто удивился, увидя ее, такой она ему показалась молодой и красивой. На ней было свѣтлое платье съ небольшимъ разрѣзомъ на груди, прикрытой бѣлымъ кружевомъ. Никогда еще не казалась она ему такой свѣжей. Онъ нашелъ ее дѣйствительно соблазнительной. Она была по обыкновенію спокойна и прилична, съ степеннымъ видомъ благоразумной мамаши, благодаря которому мужчины не обращали на нее почти никакого вниманія. При этомъ она раскрывала ротъ только затѣмъ, чтобы высказать извѣстныя, условныя и умѣренныя истины: идеи у ней были разсудительныя, методичныя, даленія отъ всякихъ крайностей. Дочка ея, Сюзанна, вся въ розовомъ, казалась картинкой Ватò, только-что за-ново отлакированной; а ея старшая сестра

была похожа на гувернантку, которой поручили наблюдать за этой хорошенькой дѣвочкой-игрушкой.

Передъ дверью Риваля стоялъ цѣлый рядъ каретъ.

Турниръ давался въ пользу сиротъ шестого округа Парижа, находящихся подъ покровительствомъ всѣхъ женъ сенаторовъ и депутатовъ, имѣвшихъ отношенія къ Vie-Française.

М-me Вальтеръ обѣщала пріѣхать съ дочерьми, отказавшись отъ титула дамы-патронессы, потому что она давала свое имя только для такихъ добрыхъ дѣлъ, какія предпринимались духовенствомъ, не потому чтобы она была ханжа, но потому, что замужество съ евреемъ вынуждало ее, какъ ей думалось, къ нѣкоторой религіозной выставкѣ, между тѣмъ какъ праздникъ, устраиваемый журналистомъ, имѣлъ республиканскій характеръ и могъ показаться антиклерикальнымъ.

Въ газетахъ всѣхъ оттѣнковъ, читали въ послѣднія три недѣли:

„Нашему извѣстному собрату Жаку Ривалю пришла въ голову остроумная и великодушная мысль устроить въ пользу сиротъ шестого парижскаго округа большой турниръ въ своемъ прекрасномъ манежѣ, прилегающемъ къ его холостой квартирѣ.

„Приглашенія посылаются г-жами Лалонь, Ремонтель, Рисеолень, женами сенаторовъ, и г-жами Ларошъ, Матьа, Персероль, Гролимонъ, женами извѣстныхъ депутатовъ. Въ антрактахъ турнира произведенъ будетъ сборъ пожертвованій, и вся сумма немедленно передается въ руки мэра шестого округа или его представителя".

То была реклама-monstre, которую хитрый журналистъ измыслилъ въ свою пользу.

Жакъ Риваль принималъ гостей при входѣ въ свою квартиру, гдѣ былъ устроенъ буфетъ; издержки предполагалось покрыть изъ сбора.

Любезнымъ жестомъ онъ указывалъ на маленькую лѣсенку, по которой спускались въ погребъ, гдѣ былъ устроенъ манежъ и тиръ. Онъ приговаривалъ:

— Спуститесь внизъ, mesdames, спуститесь внизъ. Турниръ будетъ происходить въ подземныхъ покояхъ.

Онъ бросился со всѣхъ ногъ на встрѣчу женѣ своего редактора, и затѣмъ пожавъ руку Дю-Руа, сказалъ:

— Здравствуйте, „милый другъ".

Тотъ удивился:—Кто вамъ сказалъ?

Риваль перебилъ его:

— М-me Вальтеръ, которая находитъ, что это прозвище вамъ очень пристало.

М-me Вальтеръ произнесла:

— Да, сознаюсь, что еслибы я васъ покороче знала, то послѣдовала бы предмету маленькой Лорины и звала бы васъ также „милый другъ“. Это къ вамъ очень идетъ.

Дю-Руа смѣялся:

— Пожалуйста зовите меня такъ, если вамъ угодно.

Она слегка покраснѣла:

— Нѣтъ, мы не достаточно коротко знакомы.

Онъ прошепталъ:

— Позвольте мнѣ покрайней мѣрѣ надѣяться, что мы познакомимся когда-нибудь покороче.

— Тогда увидимъ,—отвѣчала она.

Онъ пропустилъ ее впередъ передъ узкимъ спускомъ, освѣщеннымъ газовымъ рожкомъ. Внезапный переходъ отъ дневнаго свѣта къ этому желтому освѣщенію представлялъ что-то мрачное.

Запахъ подземелья поднимался съ этой крутой лѣстницы, запахъ нагрѣтаго, но сырого воздуха, заплеснѣвелыхъ стѣнъ хоть и обметенныхъ для этой оказіи. И ко всему этому примѣшивался аромать духовъ, вербены, ириса и другихъ.

Изъ этого подвала доносился шумъ голосовъ, топотъ ногъ большой толпы людей.

Весь подвалъ былъ иллюминованъ газовыми гирляндами и венеціанскими фонарями, спрятанными въ зелени, окутывавшей стѣны ихъ известковаго камня. Ничего кромѣ зелени не было видно. Потолокъ былъ убранъ папоротниками, полъ усыпанъ листьями и цвѣтами.

Всѣ находили, что это прелестно, восхитительно придумано. Въ маленькомъ отдѣленіи подвала на самомъ концѣ возвышалась эстрада для борцевъ между двухъ рядовъ стульевъ для экспертовъ, судей. По всему подвалу разставлены были скамейки по десяти съ каждой стороны, гдѣ могло усѣсться человѣкъ двѣсти. А приглашено было четыреста.

Передъ эстрадой молодые люди въ костюмѣ, присвоенномъ для фехтованья, высокіе, тонкіе, съ перетянутой таліей, съ закрученными усами, уже позировали передъ зрителями. Ихъ называли по фамиліямъ, указывали на спеціалистовъ дѣла и простыхъ любителей,—все имена извѣстныя въ фехтовальномъ мірѣ. Вокругъ нихъ толпились и разговаривали господа въ сюртукахъ, старые и молодые, походившіе на благородныхъ отцовъ, тоже желавшіе показать себя публикѣ, быть ею узнанными и названными. И это были все мастера искусства владѣть шпагой, эксперты по части фехтованья.

Почти всѣ скамейки были заняты женщинами, очень шумѣвшими своими юбками и ретиво болтавшими языкомъ. Онѣ обмахивались вѣеромъ, какъ въ театрѣ, потому что въ этомъ зеленомъ гротѣ было уже жарко, какъ въ банѣ. Время отъ времени какой-нибудь шутникъ выкрикивалъ:—Оршадъ! лимонадъ! пиво!

М-me Вальтеръ съ дочерьми усѣлась на приготовленныя имъ въ первомъ ряду мѣста. Дю-Руа, усадивъ ихъ, собирался отойти, какъ вдругъ чей-то голосъ тихонько произнесъ ему въ спину:

— Здравствуйте, милый другъ!

Онъ быстро обернулся. То была m-me де Марель, сидѣвшая на второй скамейкѣ.

— Вы здѣсь?—сказалъ онъ.

— Да; я хотѣла васъ видѣть.

Они провели цѣлое утро вмѣстѣ наканунѣ въ Константинопольской улицѣ, и она ему не сообщила о своемъ намѣреніи присутствовать на турнирѣ Ривали. Онъ подумалъ:—неужели она пріѣхала за мной шпіонить?

Но поклонился церемонно и пробормоталъ:

— Я долженъ васъ оставить, мужчинамъ не полагается сидѣть на скамейкахъ.

М-me де Марель, поздоровавшись съ m-me Вальтеръ, сказала послѣдней:

— Не пустимъ его, хотите? онъ будетъ называть намъ имена борцовъ и другихъ знаменитостей. Вѣдь онъ можетъ и постоять около насъ.

М-me Вальтеръ попросила:

— О, да! останьтесь съ нами m-r... „милый другъ“. Вы намъ нужны.

Онъ отвѣчалъ:

— Съ удовольствіемъ, повинуюсь.

Со всѣхъ сторонъ слышалось:

— Какой оригинальный подвалъ, и какъ мило убранъ!

Жоржу была хорошо знакома эта сводчатая зала! Онъ помнилъ утро, проведенное имъ здѣсь наканунѣ дуэли, въ безусловномъ одиночествѣ, напротивъ маленькаго бѣлаго картоннаго кружка, глядѣвшаго на него изъ глубины второго подвала точно громадный и страшный глазъ.

Раздался голосъ Ривали, спускавшагося съ лѣстницы:

— Mesdames, сейчасъ начнется!

И шестеро господъ въ обтянутыхъ костюмахъ, чтобы рельефнѣе выдавались ихъ мускулы, взошли на эстраду и сѣли на стульяхъ,

предназначенныхъ для жюри. Въ публикѣ сообщались ихъ имена: —генералъ Реньяльди, предсѣдатель, маленькій человѣчекъ съ большими усами; живописецъ Жозефенъ Ронде́, высокій плѣшивый человѣкъ съ длинной бородой; Матье де Южаръ, Симонъ Рамонсель, Пьеръ де Карвенъ, трое молодыхъ щеголей и Гаспаръ Нербероиъ, учитель фехтованья.

Два объявленія были вывѣшены по двумъ сторонамъ подвала. На правомъ стояло имя: г. Тревкёръ, а на лѣвомъ—г. Плюмо́.

То были два учителя фехтованья, знатоки своего дѣла, но второстепенные. У обоихъ былъ военный видъ, натянутыя движенія, и, отдавъ честь по военному, точно два автомата, они атгаковали другъ друга. Оба были въ одеждѣ изъ бѣлаго полотна и бѣлой кожи; они походили на солдатъ, наряженныхъ въ костюмы Пьерро́ и дерущихся для потѣхи.

Время отъ времени слышалось слово: „Touché“, и шестеро господъ, составлявшихъ жюри, наклоняли головы съ видомъ знатоковъ. Публика же видѣла только двухъ живыхъ, размахивающихъ руками маріонетокъ, и хотя ничего не понимала, но была довольна. Однако, эти два молодца казались ей и неграціозными и нѣсколько смѣшными. Невольно припоминались деревянные борцы, которыхъ продаютъ въ новый годъ на бульварахъ.

Первые два борца были замѣнены гг. Плантономъ и Карапеномъ, гражданскимъ и военнымъ учителями фехтованья. Плантонъ былъ крошечнаго роста, а Карапенъ очень толстъ. Можно было подумать, что первый же ударъ шпаги проткнетъ этотъ шаръ, какъ картонную куклу. Публика смѣялась. Плантонъ прыгалъ какъ обезьяна. Карапенъ двигалъ только рукой, такъ какъ остальное тѣло не могло двигаться отъ толщины. Онъ каждыя пять минутъ наносилъ удары съ такой тяжеловѣсностью и съ такимъ усиліемъ, точно принималъ самое роковое рѣшеніе въ жизни. Знатоки объявили, что онъ отлично фехтуетъ, и довѣрчивая публика повѣрила на-слово.

Затѣмъ предстали гг. Поренъ и Лапальмъ, учитель фехтованья и любитель, и затѣяли отчаянную гимнастику, и съ такой яростью накидывались другъ на друга и гонялись одинъ за другимъ, что вынуждали судей къ бѣгству вмѣстѣ со стульями. Они, такимъ образомъ, пронеслись съ одного конца эстрады до другого, отскакивая другъ отъ друга съ такими забавными прыжками, что дамы смѣялись, и набрасывались одинъ на другого съ такимъ азартомъ, что дамы пугались. Эта борьба ознаменовалась замѣчаніемъ какого-то шутника, возгласившаго:—Не надсаживайтесь, прибавки не будетъ! Публика, возмущенная такой безтактностью, закричала:

— Тсъ!..

Приговоръ экспертовъ сообщенъ былъ публикѣ: они находили, что борцы выказали много энергіи, но не всегда кстати.

Первая часть закончилась весьма эффектнымъ фехтованьемъ между Жакомъ Ривалемъ и знаменитымъ бельгійскимъ профессоромъ, Лебегомъ. Риваль очень понравился женщинамъ. Онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, очень красивъ, хорошо сложенъ, гибокъ, ловокъ, и граціознѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ! Въ его пріемахъ видно было нѣкоторое свѣтское изящество, которое производило пріятное впечатлѣніе и отличалось отъ энергическихъ, но вульгарныхъ пріемовъ его соперника.—Сейчасъ видно человѣка благовоспитаннаго, говорили въ публикѣ. Побѣда осталась за нимъ, и ему апплодировали.

Но съ нѣкоторыхъ поръ странный шумъ надъ головами зрителей нѣсколько тревожилъ ихъ: слышенъ былъ топотъ безчисленныхъ ногъ и громкій хохотъ. Двѣсти человѣкъ гостей, которымъ не удалось сойти внизъ, забавлялись, должно быть, по своему. На маленькой винтовой лѣстницѣ столпилось человѣкъ пятьдесятъ мужчинъ. Жара становилась жестокая внизу. Изъ публики кричали:

— Воздуху! другіе:—пить! Тотъ же шутникъ вопилъ визгливымъ голосомъ, покрывавшимъ разговоры:—Оршадъ! лимонадъ! пиво!

Появился Риваль, весь раскраснѣвшійся въ фехтовальномъ костюмѣ.

— Я прикажу снести внизъ прохладительнаго,—сказалъ онъ.

И подбѣжалъ къ лѣсенкѣ. Но всякое сообщеніе между подваломъ и первымъ этажемъ было отрѣзано. Было бы такъ же легко пробить потолокъ, какъ пробраться сквозь живую человѣческую стѣну, стоявшую на лѣстницѣ.

Риваль кричалъ:—Пришлите мороженаго для дамъ!

Пятьдесятъ голосовъ повторяли:

— Мороженаго! мороженаго!

Наконецъ, появился подносъ, но на немъ стояли пустые стаканы, такъ какъ все содержимое въ нихъ было выпито по дорогѣ.

Громкій голосъ завопилъ:

— Здѣсь можно задохнуться. Кончайте скорѣй и отпустите насъ!

Другой голосъ прокричалъ:—Начинайте сборъ пожертвованій,—и вся публика, задыхающаяся, но, не смотря на это, веселая, повторяла:—Сборъ! Начинайте сборъ!

И шесть дамъ стало обходить скамейки, и слышно было какъ стучали деньги, падая въ кошельки.

Дю-Руа называлъ знаменитостей m-me де Марель, потому что m-me Вальтеръ ихъ всѣхъ знала. Тутъ были свѣтскіе люди, журналисты большихъ старинныхъ органовъ печати, смотрѣвшіе на „Vie-Française“ свысока и съ недовѣрчивостью, происходившей отъ ихъ великой опытности. Сколько уже такихъ политико-финансовыхъ листковъ, порожденныхъ двусмысленными комбинаціями и раздавленныхъ паденіемъ министерства, погибло на ихъ глазахъ! Были тутъ также и живописцы, и скульпторы, которые вообще принадлежатъ къ спортсменамъ; поэтъ-академикъ, на котораго всѣ указывали, два музыканта и много благородныхъ иностранцевъ, которыхъ Дюруа называлъ по фамиліямъ.

Кто-то закричалъ ему:—Bonjour, cher ami. То былъ графъ де Водрекъ. Извинившись передъ дамами, Дю-Руа пошелъ пожать ему руку. Онъ объявилъ, возвратившись:

— Какой прекрасный человѣкъ де Водрекъ. Въ немъ такъ и видѣнъ аристократъ.

M-me де Марель улыбалась, а m-me Вальтеръ промолчала. Она немного устала, и грудь у ней тяжело вздымалась и опускалась, привлекая вниманіе Дю-Руа. И время отъ времени онъ встрѣчалъ взглядъ „хозяйки“, взглядъ смущенный, который она тотчасъ же отводила въ сторону. И онъ говорилъ себѣ:

— Эге-ге! неужто я и ее тоже подстрѣлилъ?

Сборщицы прошли мимо. Ихъ кошельки были полны золота и серебра.

Послѣ того новое объявленіе было вывѣшено на эстрадѣ, со словами:—Большой сюрпризъ!

Члены жюри снова разсѣлись по мѣстамъ. Публика ждала.

Двѣ женщины появились съ рапирами въ рукахъ, въ фехтовальномъ костюмѣ, въ темномъ трико, очень короткой юбкѣ, не доходившей до колѣнъ, въ щитахъ на груди, заставлявшихъ ихъ высоко задирать голову. Обѣ были молодыя и хорошенькія. Онѣ улыбались и раскланивались съ присутствующими. Имъ долго апплодировали.

Онѣ стали фехтовать среди любезнаго шопота и шутокъ. Пріятная улыбка застыла на губахъ судей, одобрявшихъ ихъ пріемы слабыми браво! Публикѣ очень нравилась такая дуэль, и она усердно выражала это: мужчинъ возбуждалъ видъ хорошенькихъ женщинъ, а у женщинъ будилъ присущую парижскому населенію любовь къ двусмысленнымъ играмъ, къ шуткамъ, отзывающимся уличной грязью, ко всему поддѣльно-красивому и ложно-

граціозному: къ пѣвицамъ кафѐ-шантановъ и опереточнымъ куплетамъ.

Каждый разъ какъ одна изъ гимнастокъ нападала на другую, трепетъ радости пробѣгалъ между зрителями. Та, которая стояла къ публикѣ спиной, довольно жирной, заставляла послѣднюю таращить глаза и пялить ротъ, и не сила ея мускуловъ больше всего привлекала вниманіе.

Имъ бѣшено апплодировали.

Затѣмъ послѣдовалъ бой на саблях, но никто не глядѣлъ, потому что общее вниманіе приковалось къ тому, что происходило наверху.

Впродолженіе нѣсколькихъ минутъ слышенъ былъ большой шумъ отъ передвигаемой мебели, потомъ вдругъ раздались звуки фортепіано и послышался правильный топотъ ногъ, прыгавшихъ въ тактъ съ музыкой. Наверху публика импровизировала балъ, чтобы вознаградить себя за то, что ничего не видѣла.

Внизу стали хохотать надъ этой выдумкой, а затѣмъ женщинамъ тоже захотѣлось танцовать, и онѣ перестали глядѣть на то, что происходило на эстрадѣ, и стали громко разговаривать.

Всѣхъ смѣшила мысль запоздавшихъ гостей организовать балъ. Имъ, должно быть, очень весело. Хорошо было бы присоединиться къ нимъ. Но двое новыхъ борцевъ раскланялись и аттаковали другъ-друга такъ энергично и ловко, что глаза невольно слѣдили за ихъ движеніями.

Они дрались съ такой гибкой граціей, съ такой разсчитанной силой, съ такой сдержанностью движеній, съ такимъ совершеннымъ знаніемъ дѣла, что непосвященная въ тайны ремесла толпа была удивлена и очарована.

Ихъ спокойная быстрота, ихъ разумная ловкость, ихъ движенія, торопливыя, но казавшіяся медленными отъ того, что были такъ вѣрно разсчитаны, привлекали и приковывали глазъ своимъ совершенствомъ. Публика почувствовала, что она видитъ нѣчто прекрасное и рѣдкое, что два великихъ артиста показываютъ ей самые совершенные пріемы своего искусства, самую крайнюю степень ловкости, хитрости, знанія дѣла и физической силы.

Никто больше не разговаривалъ—такъ напряженно слѣдили за борцами. Наконецъ, когда они пожали другъ другу руку, послѣ удара рапирой, поднялись крики браво. Топали ногами отъ восторга, ревѣли. Всѣ знали ихъ имена. То были Ларше́ и Равиньякъ.

Разгоряченныя головы становились задорными. Мужчины поглядывали на сосѣдей съ желаніемъ завести съ ними ссору. Изъ за улыбки готовы были вызвать другъ друга. Тѣ, которые въ

жизни не держали рапиры въ рукахъ, размахивали тросточками, подражая пріемамъ фехтовальнаго искусства.

Но мало-по-малу публика выходила по круглой лѣсенкѣ. Всѣ страшно хотѣли пить. И вдругъ, къ великому негодованію, убѣдились, что гости, организовавшіе балъ, опустошили буфетъ и ушли, объявивъ, что невѣжливо обезпокоить двѣсти человѣкъ затѣмъ, чтобы ничего имъ не показать.

Не оставалось ни одного пирожка, ни одной капли шампанскаго, сиропа или пива, ни одной конфетки, ни одного плода, ничего рѣшительно. Все было выпито, съѣдено, унесено. Стали разспрашивать прислугу, корчившую печальное лицо, и скрывавшую желаніе смѣяться. Дамы, утверждала прислуга, были еще безсовѣстнѣе мужчинъ: онѣ пили и ѣли до тошноты. Можно было подумать, что слушаешь разсказъ очевидцевъ, пережившихъ разграбленіе города, взятаго приступомъ.

Нечего дѣлать, надо было уходить ни съ чѣмъ. Мужчины сожалѣли о двадцати франкахъ, пожертвованныхъ ими во время сбора. Верхняя публика угощалась и ничего не платила, говорили они. Дамы, патронессы, собрали слишкомъ три тысячи франковъ. За вычетомъ расходовъ, осталось двѣсти двадцать франковъ на долю сиротъ шестого округа.

Дю-Руа, провожая семейство Вальтеръ, дожидался своего ландо, m-me де-Марель отъ нихъ не отставала. — Неужели же она хочетъ держать меня на веревочкѣ?—подумалъ онъ.

— Не будетъ ли у васъ маленькаго мѣстечка для меня?—спросила она.—Вы были бы очень добры, еслибы отвезли меня домой, послѣ того какъ проводите этихъ дамъ.

М-me Вальтеръ услышала.

— Да, да, разумѣется, „cher amie“, мы помѣстимся втроемъ на задней скамейкѣ.

Дю-Руа нашелъ эту просьбу неделикатной.

Когда онъ отвезъ хозяйку съ дочерьми, то остался вдвоемъ съ де Марель. Она тотчасъ же взяла его за руку.—О! какъ я тебя люблю!—какъ я тебя люблю!

Онъ удивился этому порыву нѣжности.

Она повторяла:

— Ты не можешь себѣ представить, какъ я тебя люблю.

Онъ находилъ эти объясненія преувеличенными и несвоевременными, такъ какъ въ настоящую минуту нисколько не любилъ ее. Она спросила:

— Не прокатимся ли, прежде нежели вернемся домой?

Онъ поспѣшно отвѣчалъ:

— Мнѣ некогда; мнѣ надо работать.

Она пробормотала:

— Какой ты сегодня сердитый.

— Вовсе нѣтъ; но мнѣ некогда.

— Хочешь, чтобы мы свидѣлись завтра?

Онъ колебался, потомъ отвѣчалъ только затѣмъ, чтобы подразнить ее:

— Нѣтъ, завтра я не свободенъ.

Она замолчала, но, доѣхавъ до дому, спросила:

— Когда же ты хочешь, чтобы мы увидѣлись?

— Да... я самъ не знаю... надо подумать... сообразиться съ дѣлами. Я дамъ знать тебѣ телеграммой.

Она медленно вышла изъ экипажа, со слезами на глазахъ и протянула ему руку:

— До свиданія!

— До свиданія!

Оставшись одинъ, онъ пробормоталъ:

— Сегодня она мнѣ совсѣмъ не нравилась и, кромѣ того, я не хочу, чтобы она принимала этотъ тонъ. Женщинъ надо держать въ струнѣ.

Мадлена дожидалась его въ гостиной съ сіяющимъ лицомъ.

— У меня новости,—сказала она.—Дѣло съ Марокко усложняется. Франція, чего добраго, снарядитъ экспедицію черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Во всякомъ случаѣ этимъ обстоятельствомъ воспользуются, чтобы низвергнуть министерство, и Ларошъ постарается завладѣть портфелемъ внутреннихъ дѣлъ.

Дю-Руа, сердито настроенный, дѣлалъ видъ, что ничему не вѣритъ.—Неужели же будутъ такъ безумны, чтобы повторить тунисскую исторію?

Но она пожимала плечами съ нетерпѣніемъ:

— Говорю тебѣ, что да; говорю тебѣ, что да. Развѣ ты не понимаешь, что тутъ у нихъ замѣшаны крупные денежные интересы. Въ настоящее время, мой милый, въ политическихъ комбинаціяхъ не слѣдуетъ говорить: „Cherchez la femme! но—cherchez l'affaire!“

Онъ пробормоталъ:—Ба!—съ презрительнымъ видомъ, чтобы ее побѣсить.

Она сердилась.

— Знаешь, ты такой же наивный, какъ и Форестье!

Она желала его задѣть и ожидала, что онъ разсердится. Но онъ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какъ рогоносецъ Форестье!

Она была поражена и пробормотала:

— О, Жоржъ!

У него былъ дерзкій и насмѣшливый видъ, и онъ продолжалъ:

— Ну, да, разумѣется! Развѣ ты сама не призналась намедни вечеромъ, что Форестье былъ рогоносецъ.

И прибавилъ:

— Бѣдняга!—тономъ глубокаго сожалѣнія.

Мадлена повернулась къ нему спиной, не удостоивая отвѣтомъ и, помолчавъ съ минуту, объявила:

— У насъ во вторникъ будутъ гости, m-me Ларошъ Матье пріѣдетъ обѣдать вмѣстѣ съ виконтессой де-Персмюръ. Хочешь пригласить Риваля и Норбера де-Вареннъ. Я поѣду завтра приглашать m-me Вальтеръ и m-me де-Марель. Можетъ быть, также пріѣдетъ и m-me Риссоленъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ она хлопотала о томъ, чтобы составить себѣ побольше связей, пользуясь политическимъ вліяніемъ своего мужа, и всякими правдами и неправдами заманивала къ себѣ женъ сенаторовъ и депутатовъ, нуждавшихся въ поддержкѣ „Vie-Française“.

Дю-Руа отвѣчалъ:

— Очень хорошо; я берусь пригласить Риваля и Норбера.

Теперь онъ былъ доволенъ и потиралъ руки. Онъ, въ свою очередь, придумалъ какъ дразнить жену и удовлетворить глухую, но мучительную ревность, проснувшуюся въ немъ послѣ прогулки въ лѣсу. Онъ иначе не говорилъ о Форестьé, какъ прибавляя прозвище рогоносца. Онъ хорошо понималъ, что этимъ можетъ въ концѣ-концовъ довести Мадлену до бѣшенства. И впродолженіе вечера ухитрился разъ десять упомянуть съ ироническимъ добродушіемъ о „рогоносцѣ Форестьé“.

Онъ больше не сердился на покойнаго. Онъ мстилъ за него.

Жена притворялась, что не слышитъ, и сидѣла напротивъ него улыбающаяся и спокойная.

На другой день, такъ какъ она собиралась ѣхать приглашать m-me Вальтеръ обѣдать, онъ захотѣлъ опередить ее, чтобы застать m-me Вальтеръ одну и поглядѣть: правда ли, что она къ нему неравнодушна. Его это забавляло и льстило его самолюбію. И кромѣ того... отчего бы и нѣтъ... если только можно.

Онъ отправился на бульваръ Малербъ въ два часа. Его ввели въ гостиную. Онъ сталъ ждать.

М-me Вальтеръ появилась и протянула ему руку съ радостной поспѣшностью.

— Какой добрый вѣтеръ васъ занесъ?

— Вовсе не добрый вѣтеръ, а желаніе васъ видѣть. Непреодолимая сила привела меня къ вамъ, самъ не знаю почему. Мнѣ нечего вамъ сказать. Я пришелъ, вотъ и все. Простите мнѣ этотъ ранній визитъ и откровенность объясненія.

Онъ говорилъ любезнымъ и шутливымъ голосомъ, съ улыбкой на губахъ, но серьезной нотой въ голосѣ.

Она была удивлена, немного покраснѣла и пробормотала:

— Но... право... я васъ не понимаю... вы меня удивляете...

Онъ прибавилъ:

— Это объясненіе въ любви, на веселый мотивъ, чтобы васъ не испугать.

Они усѣлись рядомъ.

Она старалась обратить разговоръ въ шутку.

— Итакъ, это объясненіе въ любви... и серьезное?

— Да, да. Я уже давно собираюсь вамъ его сдѣлать, очень даже давно. Но я не смѣлъ. Про васъ говорятъ, что вы такая строгая, такая недоступная.

Она совсѣмъ оправилась и отвѣчала:

— Почему же вы избрали именно сегодня?

— Не знаю.

И, понижая голосъ, прибавилъ:

— Или, вѣрнѣе сказать потому, что со вчерашняго дня я думаю только о васъ.

Она пролепетала, поблѣднѣвъ:

— Ну, будетъ дурачиться; поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ!

Но онъ такъ неожиданно упалъ передъ нею на колѣни, что она испугалась. Она хотѣла встать, но онъ не пускалъ ее, охвативъ ея талію обѣими руками, и повторялъ страстнымъ голосомъ:

— Да, это правда, я васъ безумно люблю, уже давно, не отвѣчайте мнѣ. Что хотите, я съума схожу! Я васъ люблю... о! еслибы вы знали, какъ я васъ люблю!

Она задыхалась, хотѣла что-то сказать и не могла выговорить ни слова. Она обѣими руками отталкивала его, схвативъ за волосы, чтобы помѣшать ему поцѣловать себя, и вертѣла голову то вправо, то влѣво, чтобы уклониться отъ этого неизбѣжнаго поцѣлуя.

Вдругъ онъ поднялся съ колѣнъ и хотѣлъ ее обнять, но, освободившись на минуту, она вырвалась и стала бѣгать по комнатѣ, уклоняясь отъ его объятій. Онъ нашелъ, что такая погоня смѣшна, и упалъ на стулъ, закрывъ лицо руками и притворяясь, что конвульсивно рыдаетъ.

Потомъ вставъ, закричалъ:

— Прощайте! прощайте!

И убѣжалъ.

Онъ спокойно взялъ въ передней свою тросточку, и вышелъ на улицу, говоря себѣ:

— Чортъ побери! кажется, что дѣло въ шляпѣ.

И пошелъ на телеграфъ, чтобы послать Клодильдѣ телеграмму:

„Завтра въ два часа, на нашей квартирѣ, хорошо?"

И подписалъ „милый другъ", какъ это дѣлалъ послѣ возобновленія ихъ отношеній.

Вернувшись къ себѣ въ обычный часъ, онъ спросилъ жену:

— Ну что, пригласила гостей?

Она отвѣчала:

— Да; только m-me Вальтеръ сказала, что не можетъ навѣрное обѣщать, что пріѣдетъ; толковала про какія-то нравственныя обязательства. Словомъ, была какая-то странная, но я надѣюсь, что она все-таки пріѣдетъ.

Онъ пожалъ плечами:

— Вотъ еще!—разумѣется, пріѣдетъ.

Но не былъ однако въ этомъ увѣренъ, и не могъ успокоиться до самого того дня, когда назначенъ былъ обѣдъ. Утромъ Мадлена получила записку отъ m-me Вальтеръ, гласившую: „Мнѣ удалось освободиться съ большимъ трудомъ, и я пріѣду къ вамъ обѣдать, но мой мужъ не можетъ быть".

Дю-Руа подумалъ:—Отлично я сдѣлалъ, что больше къ ней не заходилъ... Теперь она успокоилась. Ну, надо держать ухо востро!

Онъ съ тревогой однако ждалъ ея появленія.

Она пріѣхала очень спокойная, немного холодная и слегка надменная. Онъ держалъ себя тише воды, ниже травы, смиренно и покорно.

М-me Ларошъ-Матьё и Риссолень пріѣхали вмѣстѣ съ мужьями. Виконтесса де-Персмюръ толковала о большомъ свѣтѣ. М-me де Марель была очаровательна въ фантастическомъ туалетѣ, желтомъ съ черными, въ родѣ испанскаго костюма, прекрасно обрисовывавшемъ ея хорошенькую талію, грудь и полныя руки, и придававшемъ энергическій характеръ ея птичьей головкѣ. Дю-Руа усадилъ возлѣ себя по правую руку m-me Вальтеръ и во время обѣда говорилъ съ ней только о серьезныхъ вещахъ съ преувеличеннымъ уваженіемъ. Время отъ времени онъ поглядывалъ на Клотильду. „Она право, гораздо милѣе и свѣжѣе", думалъ онъ. Потомъ глаза его останавливались на женѣ, и онъ находилъ, что

она тоже недурна, хотя у него и оставалось противъ нея глухая, упорная и злая досада.

Но m-me Вальтеръ увлекала его трудностью побѣды и новизной, всегда плѣняющей мужчинъ.

Она рано пожелала вернуться домой.

— Я васъ провожу,—сказалъ онъ.

Она отказалась. Онъ настаивалъ.

— Почему вы не хотите? Вы меня обижаете! Я буду думать, что вы на меня сердитесь! Развѣ вы не видите, какъ я спокоенъ!

Она отвѣчала:

— Нельзя же вамъ бросить своихъ гостей.

Онъ улыбнулся:

— Ба! я вернусь черезъ двадцать минутъ назадъ. Никто и не замѣтитъ моего отсутствія. Не отказывайте, вы меня оскорбите до глубины души.

Она пробормотала:

— Ну, хорошо, согласна!

Но только-что они очутились въ каретѣ, онъ схватилъ ея руки и началъ страстно цѣловать:

— Я васъ люблю, я васъ люблю, дайте мнѣ вамъ это сказать. Я не буду васъ трогать. Я хочу только повторять вамъ, что я васъ люблю.

Она лепетала:

— О! послѣ... послѣ того, какъ вы мнѣ обѣщали... это дурно... очень дурно...

Онъ какъ будто сдѣлалъ большое усиліе надъ собой и продолжалъ сдержаннымъ голосомъ:

— Послушайте... вы видите, какъ я владѣю собой... И однако... дайте же мнѣ высказать вамъ... я васъ люблю... и позвольте мнѣ повторять вамъ это каждый день... да... позвольте мнѣ приходить посидѣть пять минутъ у вашихъ ногъ и произнести эти три слова, глядя на ваше обожаемое лицо!

Она больше не отнимала у него руки и отвѣчала, задыхаясь, какъ и тогда, у себя дома:

— Нѣтъ... я не могу, я не хочу... подумайте, что скажутъ... мои слуги, мои дочери... нѣтъ, нѣтъ... это невозможно...

Онъ продолжалъ:

— Я не могу больше жить, не видя васъ. Мнѣ все равно, гдѣ бы ни видѣться съ вами, у васъ въ домѣ или въ иномъ мѣстѣ, но мнѣ надо васъ видѣть, хотя бы на одну минуту, дотронуться до вашей руки, подышать воздухомъ, которымъ вы дышете, и

увидѣть ваши чудные, большіе глаза, которые меня сводятъ съ ума.

Она трепетно слушала эту банальную музыку любви и лепетала:

— Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно. Молчите.

Онъ сталъ говорить тише, совсѣмъ на-ухо, понимая, что этой простой и довѣрчивой женщиной надо овладѣть мало-по-малу, не насилуя ее; что надо добиться, чтобы она назначила ему свиданіе, сначала гдѣ она хочетъ, и потомъ, гдѣ онъ самъ назначитъ.

— Послушайте... я долженъ васъ видѣть... я буду васъ ждать у вашихъ дверей... если вы не выйдете, я пойду къ вамъ... но я васъ увижу, я васъ увижу... завтра.

Она повторяла:

— Нѣтъ, нѣтъ, не приходите, я васъ не приму. Подумайте, вѣдь у меня дочери.

— Ну такъ скажите мнѣ, гдѣ я могу васъ встрѣтить... на улицѣ... гдѣ хотите, въ какой хотите часъ, лишь бы мнѣ васъ увидѣть, поклониться вамъ, сказать: я васъ люблю... и уйти.

Она колебалась, потерявъ голову. И такъ какъ карета подъѣзжала къ ея дому, то поспѣшно проговорила.

— Хорошо, завтра я буду въ церкви св. Августина въ половинѣ четвертаго.

Потомъ, выйдя изъ кареты, закричала кучеру:

— Отвезите г. Дюруа домой.

Когда онъ вернулся, жена спросила его:

— Куда ты пропалъ?

Онъ шопотомъ отвѣчалъ:

— Я ходилъ на телеграфъ, послать спѣшную телеграмму.

М-me де Марель подошла.

— Вы меня проводите домой? Вѣдь вы знаете, что я пріѣзжаю обѣдать такую даль, только на этомъ условіи.

И обратившись къ Мадленѣ, спросила:

— Ты не ревнуешь?

М-me Дю-Руа медленно проговорила:

— О, нѣтъ, нисколько.

Гости разъѣзжались. М-me Ларошъ-Матьё была похожа на провинціальную горничную. Она была дочь нотаріуса Матьё, и Ларошъ женился на ней, мелкотравчатымъ провинціальнымъ адвокатомъ. М-me Риссоленъ, старая и претенціозная, напоминала повивальную бабку, образовавшую себя чтеніемъ романовъ, изъ общественной библіотеки. Виконтесса де-Персмюръ относилась къ

нимъ свысока. „Бѣлая Лапка“ съ отвращеніемъ пожимала ихъ вульгарныя руки.

Клотильда, закутанная въ кружевахъ, сказала Мадленѣ, выходя за дверь на лѣстницу:

— Твой обѣдъ отлично удался. Скоро у тебя будетъ первый политическій салонъ въ Парижѣ.

Оставшись вдвоемъ съ Жоржемъ, она прижалась къ нему лепеча:

— О, мой милый „милый другъ“, я съ каждымъ днемъ люблю тебя сильнѣе.

Фіакръ, везшій ихъ, раскачивало какъ корабль на морѣ.

— Здѣсь не такъ уютно, какъ въ нашей комнатѣ,—сказала она.

Онъ отвѣчалъ:—О! да.

Но думалъ въ это время о m-me Вальтеръ.

А. Э.

КОНСТАНТИНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ

КАВЕЛИНЪ

р. 4 ноября 1818 г. — † 3 мая 1885 г.

. . . „Ни огромныя знанія, ни замѣчательный умъ, ни заслуги, ни великій писательскій талантъ, не выдвинули бы такъ впередъ замѣчательную его личность, еслибы къ нимъ не присоединились два другихъ, несравненныхъ — а у насъ, къ сожалѣнію, очень рѣдкихъ — качества: непреклонное убѣжденіе и цѣльный нравственный характеръ, не допускавшій никакихъ сдѣлокъ съ совѣстью, чего бы это ни стоило и чѣмъ бы это ни грозило. Что онъ считалъ за справедливое и истинное, передъ тѣмъ онъ никогда не отступалъ, принося своему убѣжденію всякія жертвы. Зная его взгляды, его образъ мыслей, можно было сказать безъ ошибки впередъ, какъ онъ поступитъ въ томъ или другомъ случаѣ, потому что дѣло у него не расходилось съ мыслью, отъ послѣдней онъ не отвиливалъ по разнымъ постороннимъ соображеніямъ. Такой характеръ не могъ не внушать полнаго довѣрія. Онъ былъ нравственною личностью; съ нимъ можно было не соглашаться, его взглядамъ можно было не сочувствовать, съ извѣстныхъ точекъ зрѣнія ихъ можно было не любить, но не питать къ нему уваженія не было возможности, и въ этомъ его друзья и враги подавали другъ другу руку“. . .

Такъ говорилъ, лѣтъ десять тому назадъ, — К. Д. Кавелинъ о Ю. Ѳ. Самаринѣ, скончавшемся въ Берлинѣ 19 марта 1876 г. [1]), —

---

[1]) См. „Вѣсти. Евр.“, 1876 г., апр., 909 стр.—У насъ сохранилась записка Кавелина, которою онъ извѣщалъ объ этомъ некрологѣ, посвященномъ Самарину: „24 марта 1876 г. – Теперь еще нѣтъ 9 часовъ, а статья о Ю. Ѳ. Самаринѣ совсѣмъ

и теперь, почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ и притомъ единогласно, отозвались о немъ самомъ и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и въ Кіевѣ, и въ Казани, куда явилось первое скорбное извѣстіе о новой утратѣ, постигшей русское общество въ печальной памяти день 3-го мая. Кавелинъ какъ бы чувствовалъ въ себѣ самомъ такую же нравственную природу, какая отличала Самарина, самъ былъ человѣкомъ такого же закала, а потому онъ, не сознавая того, инстинктивно, начерталъ столь же вѣрно, сколько и отчетливо, и свой собственный образъ.

Будущему біографу Кавелина предстоитъ трудная, но, въ то же время, весьма благодарная и широкая задача: написать такую біографію значило бы, по необходимости, коснуться исторіи нашего общества за послѣднія 40 лѣтъ, въ лучшихъ его движеніяхъ, и притомъ въ самыхъ разнообразныхъ его формахъ. Несмотря на то, что Кавелинъ никогда не занималъ выдающагося общественнаго или административнаго поста, — нельзя, однако, не поставить внѣ всякаго сомнѣнія его извѣстнаго вліянія на ходъ общественныхъ идей, которое иногда, хотя и рѣдко, выражалось вполнѣ осязательно. День погребенія Кавелина,—когда, 7 мая, въ стѣнахъ Андреевскаго Собора, на Васильевскомъ-Острову, гдѣ жилъ покойный (7-я лин., 60), около его гроба собрались представители различныхъ эпохъ и изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ общественной и административной дѣятельности, — былъ и лучшею иллюстраціею той разносторонности и того разнообразія дѣятельности самого покойнаго, которому „человѣческое не было чуждо“, гдѣ бы оно ни проявлялось. И тѣмъ не менѣе, такой человѣкъ оставался всегда какъ бы за сценою жизни: мало того: при всякомъ болѣе близкомъ соприкосновеніи съ дѣйствительностью, онъ каждый разъ видѣлъ себя въ необходимости удалиться съ этой сцены и сѣсть за свой рабочій столъ; только тутъ ему являлась вполнѣ обезпеченною „цѣльность“ его нравственнаго характера—но не уединеніе, такъ какъ двери Кавелина всегда два раза въ недѣлю открывались настежь для всѣхъ „ищущихъ правды и добра“. Какъ могло все это случиться, какъ могла такая свѣтлая и чистая душа пронестись скромно надъ землею при жизни.

готова, и черезъ часъ отправится въ вашу типографію. Вотъ какъ мнѣ хочется, чтобы она попала въ апрѣльскую книгу!.. Я все боленъ. Вчера было что-то въ родѣ лихорадки, а сегодня голова сильно болитъ и страшный кашель, отъ котораго ломитъ грудь. Подношу Л. И. ухо, для отодранія онаго, но увѣренъ, что она будетъ милостива и справедлива, и уха моего не отдеретъ, потому что мнѣ самому досадно не быть у васъ сегодня.—К. К.“ Затѣмъ слѣдуетъ postscriptum: „А какъ мнѣ тяжело вспомнить о Самаринѣ—вы не повѣрите! Послѣ Н. Милютина это самая обидная потеря для русской жизни и русскаго общества“.

и потомъ быть такъ торжественно и единогласно оцѣненною по смерти — все это скажетъ намъ будущій біографъ покойнаго, если ему удастся преодолѣть всѣ трудности при рѣшеніи подобной задачи.

Впрочемъ, трудности для біографа покойнаго начинаются чуть не съ самаго дня его рожденія. К. Д. Кавелинъ родился въ Петербургѣ, 4 ноября 1818 г., въ одну изъ самыхъ мрачныхъ эпохъ нашей общественной жизни, наканунѣ 20-хъ годовъ. Его семья оставалась въ столицѣ до 1823 г., когда ему исполнилось пять лѣтъ. Отецъ Кавелина, Дмитрій Александровичъ, былъ въ ту эпоху директоромъ петербургскаго университета, и въ извѣстномъ дѣлѣ лучшихъ профессоровъ того времени, Арсеньева (отца К. К. Арсеньева), Германа, Галича, Раупаха, явился ихъ ожесточеннымъ противникомъ, вмѣстѣ съ извѣстнымъ Руничемъ[1]). Въ 1823 г., Кавелинъ-отецъ, вмѣстѣ со всею семьею, переѣхалъ на жительство въ Рязань, а когда его сыну исполнилось 11 лѣтъ, переселился въ 1829 г. въ Москву, гдѣ, приготовленный домашнимъ воспитаніемъ, К. Д. Кавелинъ поступилъ въ 1835 г. въ университетъ, сначала по филологическому факультету, а потомъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же года, перешелъ на юридическій факультетъ. Такимъ образомъ, дѣтство и отрочество Кавелина, когда получаются первыя и самыя сильныя впечатлѣнія, иногда на всю жизнь, прошли въ такой обстановкѣ, которая никакимъ образомъ не могла предвѣщать будущаго Кавелина — напротивъ. Быть можетъ, тутъ высказалось и вліяніе его матери, по происхожденію шотландки, изъ фамиліи Белли, пуританскаго исповѣданія [2]); первою наставницею Кавелина была его старшая сестра (она была старше его почти 10-ю годами) Софья Дмитріевна, въ замужествѣ Корсакова [3]). На будущія „деревенскія“ симпатіи Кавелина могло имѣть вліяніе и то обстоятельство, что, во время пребыванія его семьи въ Рязани и Москвѣ (1823 — 1835 гг.), семья его проводила

---

[1]) Отецъ К. Д. Кавелина, Дмитрій Александровичъ (род. 1780 г.) — дворянинъ калужской губерніи, 6-ти лѣтъ былъ записанъ въ измайловскій полкъ; 7 л. произведенъ въ капитенармусы; 8 л. — въ сержанты; 15 л., въ 1795 г., выпущенъ капитаномъ въ московскій полевой батальонъ. Въ 1803 г. онъ былъ переименованъ изъ премьеръ-майора въ надворные совѣтники; служилъ въ Грузіи, потомъ, въ 1805 г. перешелъ въ мин. вн. дѣлъ. Въ 1812 г., отецъ Кавелина является уже директоромъ медицинскаго департамента; въ 1816 г. директоромъ Гл. Педагогическаго института, а въ годъ открытія петербургскаго университета, въ 1819 г., назначается директоромъ университета, первымъ ректоромъ котораго былъ избранъ тогда Балугьянскій, деканъ философско-юридическаго факультета.

[2]) Осталась сиротою въ Петербургѣ, 4 лѣтъ отъ роду,—выросла въ домѣ Левашевыхъ, откуда и вышла замужъ за Д. А. Кавелина.

[3]) Нынѣ живетъ въ Казани, мать профессора казанскаго университета, Д. А. Корсакова.

большую часть года въ своемъ родовомъ имѣніи, тульской губ., бѣлевскаго уѣзда, с. Ивановѣ, въ сельской обстановкѣ. Наконецъ, между полнымъ вступленіемъ Кавелина въ жизнь, когда онъ, въ 1839 г., 21 года отъ роду, кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ со степенью кандидата и съ золотою медалью за сочиненіе: „О римскомъ владѣніи", — и между его, отодвинувшимся далеко, на задній планъ, отрочествомъ, онъ попалъ въ другую среду—и въ этой уже средѣ прирожденныя ему наклонности и вкусы могли получить окончательное развитіе, которое и опредѣлило весь умственный и нравственный складъ жизни покойнаго. Въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, юношу готовилъ къ университетскому экзамену В. Г. Бѣлинскій; послѣдній, по разсказамъ Кавелина, дѣйствительно нашелъ въ немъ избалованнаго „барченка" старой дворянской семьи; но, видно, этотъ „барченокъ" исчезъ въ Кавелинѣ скоро и безвозвратно, и позже между нимъ и всѣмъ кружкомъ Бѣлинскаго завязались тѣ тѣсныя, интимныя отношенія, которымъ Кавелинъ остался въ идеѣ вѣрнымъ до конца своей жизни. „Ученикъ" Бѣлинскаго сдѣлался послѣ —„другомъ" Бѣлинскаго.

Въ теченіе пяти лѣтъ со времени выхода изъ университета (1839 — 1844 гг.), Кавелинъ сначала готовился къ магистерскому экзамену, который и выдержалъ въ 1841 г.; въ 1842 г., онъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ-было на службу по министерству юстиціи [1]); но въ 1843 г. возвратился въ Москву для защиты диссертаціи на магистра [2]), что̀ открыло ему дорогу на каѳедру, и въ 1844 г., 5 сентября, Кавелинъ читалъ, на юридическомъ факультетѣ, первую свою лекцію по исторіи русскаго законодательства: черезъ годъ ему было поручено преподаваніе русскихъ государственныхъ и губернскихъ учрежденій, а также и законовъ о состояніяхъ —студентамъ всѣхъ факультетовъ [3]).

Годовое пребываніе въ Петербургѣ, въ 1842-43 г., Кавелинъ всегда относилъ къ самымъ счастливымъ воспоминаніямъ своей жизни: тутъ онъ встрѣтилъ тогда Бѣлинскаго, прожилъ съ нимъ все это время почти неразлучно, и въ эту-то эпоху окончательно укрѣпились между ними самыя дружескія отношенія.

---

[1]) Младшимъ помощникомъ столоначальника (20 сентября 1842 г.). Въ ноябрѣ 1843 г. онъ былъ причисленъ къ департаменту юстиціи, а въ мартѣ 1844 г. уволенъ.

[2]) „Основныя начала русскаго судоустройства и гражданскаго судопроизводства, въ періодъ времени отъ Уложенія до Учрежденія о губерніяхъ".

[3]) Въ маѣ 1844 года, Кавелинъ былъ опредѣленъ исправляющимъ должность адъюнкта, и только въ іюлѣ 1846 г. утвержденъ адъюнктомъ. Кромѣ того, въ 1847 г., онъ былъ опредѣленъ „на опытъ" учителемъ законовѣденія въ спеціальномъ классѣ Александровскаго сиротскаго института въ Москвѣ.

Московскій періодъ дѣятельности Кавелина (1844—1848 гг.) былъ самымъ блестящимъ въ исторіи московскаго университета; тамъ читали тогда Грановскій, Кудрявцевъ, Рѣдкинъ, Соловьевъ, Крыловъ. Но для Кавелина этотъ періодъ былъ весьма непродолжителенъ: въ 1848 г. онъ уже оставилъ университетъ. И тѣмъ не менѣе профессорская дѣятельность Кавелина произвела на его слушателей такое глубокое впечатлѣніе, что, какъ видно, оно не изгладилось и до сихъ поръ. На его похоронахъ видѣли многихъ изъ его московскихъ слушателей, занимающихъ теперь высокіе посты, и нѣкоторые изъ нихъ впослѣдствіи хотя разошлись съ своимъ профессоромъ во взглядахъ и убѣжденіяхъ, но это имъ нисколько не помѣшало почтить память ихъ усопшаго наставника.

Въ своемъ біографическомъ очеркѣ, посвященномъ памяти покойнаго, проф. А. Чупровъ такъ характеризуетъ преподавательскую дѣятельность Кавелина въ московскомъ университетѣ („Русск. Вѣд." № 128):

„Кавелинъ посвящалъ большую часть лекцій обозрѣнію первоначальнаго быта славянъ и изслѣдованію происхожденія древнѣйшихъ славянскихъ учрежденій. Въ его чтеніяхъ исторія права обращалась въ исторію общественнаго быта съ преобладаніемъ юридическаго элемента. Часть лекцій Кавелинъ отдѣлялъ для чтенія и объясненія студентамъ древнихъ памятниковъ законодательства, начиная съ Русской Правды. Молодые люди съ увлеченіемъ слѣдили за талантливымъ развитіемъ теорій лектора и проникались убѣжденіемъ, что исторія права есть самая важная часть исторіи, что смѣна институтовъ и понятій юридическихъ вполнѣ выражаетъ собою все историческое движеніе. Вотъ какъ характеризуетъ чтенія К. Д. одинъ изъ его тогдашнихъ слушателей, (проф. Бестужевъ-Рюминъ, въ біографіи Ешевскаго): „До сихъ поръ еще свѣжо для меня то впечатлѣніе, которое я выносилъ изъ этихъ лекцій, полныхъ юношескаго пыла, свѣжихъ и яркихъ. Профессоръ былъ тогда почти такъ же молодъ, какъ и его слушатели, и оттого его воодушевленіе электрическою искрой сообщалось студентамъ. Общій смыслъ всей русской исторической жизни, еще до сихъ поръ запечатанный семью печатями, казался намъ уже постигнутымъ: мы вѣрили тому, что этотъ смыслъ, выраженный завѣтною смѣной трехъ началъ, родового, вотчиннаго и государственнаго, вполнѣ передавался намъ изящною рѣчью одного изъ самыхъ изящныхъ профессоровъ, котораго мнѣ случалось слышать". Съ взглядами, какіе Кавелинъ проводилъ въ своихъ лекціяхъ, онъ познакомилъ русскую публику въ статьѣ, помѣщенной въ первой книжкѣ „Современника" за 1847 годъ, подъ заглавіемъ: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи".

Къ вышеприведенной характеристикѣ Кавелина, какъ профессора, присоединимъ воспоминанія о томъ же предметѣ одного изъ старыхъ московскихъ студентовъ Н. П. Колюпанова, сообщившаго („Рус. Вѣд.", № 123) нѣсколько весьма интересныхъ и рельефныхъ чертъ профессорской дѣятельности Кавелина въ Москвѣ, вслѣдъ за его смертью:

„Я слушалъ — говоритъ г. Колюпановъ, — лекціи Константина Дмитріевича Кавелина — въ сороковыхъ годахъ. Онъ былъ тогда совсѣмъ юный профессоръ, не старѣе иныхъ студентовъ, полный силъ, вполнѣ преданный наукѣ, разработкѣ которой онъ положилъ прочное и самобытное начало. Я оставляю въ сторонѣ его чисто ученую профессорскую дѣятельность, которая не можетъ быть предметомъ бѣглой замѣтки; постараюсь передать его отношенія къ студентамъ, что было несравненно важнѣе лекцій. Послѣднія отошли въ область исторіи, — наука пошла несравненно далѣе, и самъ Константинъ Дмитріевичъ въ позднѣйшихъ своихъ литературныхъ трудахъ перешелъ совсѣмъ на другую почву; но его отношенія къ студентамъ воспитали цѣлое поколѣніе, дѣятельность котораго продолжается до сихъ поръ и несомнѣнно отразится въ ближайшемъ будущемъ.

„Въ то время, большинство профессоровъ (Грановскій, Кавелинъ, Рѣдкинъ и др.) посвящали свои воскресныя утра бесѣдамъ со студентами; въ особенности часто и усердно посѣщались эти бесѣды у Грановскаго и Кавелина. Бесѣды Грановскаго отличались, такъ сказать, большею торжественностью: Тимоѳей Николаевичъ былъ старше Константина Дмитріевича и лѣтами, и университетскою службою; онъ былъ окруженъ въ глазахъ студентовъ ореоломъ, который, при всемъ глубокомъ уваженіи, постепенно напоминалъ объ относительной разности между молодымъ человѣкомъ и профессоромъ, воспитавшимъ уже нѣсколько поколѣній. Поэтому на бесѣдахъ у Грановскаго студенты держались сдержаннѣе и ограничивались большею частью совѣтами по текущимъ занятіямъ и общими разсужденіями о выдающихся явленіяхъ въ чисто научной сферѣ, на которыя обращалъ вниманіе своихъ гостей всегда радушно принимавшій молодежь хозяинъ. Но съ Кавелинымъ студентовъ сближалъ прежде всего возрастъ; кромѣ того, въ свои отношенія къ нимъ онъ вносилъ столько рѣдкой, искренней и задушевной теплоты, что передъ нимъ всѣ являлись, такъ сказать, на распашку, каждый готовъ былъ ему открыть свою душу и въ отвѣтъ получалъ такое участіе, котораго онъ могъ бы ожидать отъ самаго преданнаго друга, какъ бы ни былъ мелоченъ тотъ случай, который подавалъ поводъ къ объясненію съ Константиномъ Дмитріевичемъ. Оттого между Кавелинымъ и студентами образовалась та великая нравственная связь, которая клала отпеча-

токъ на цѣлую жизнь и установляла между людьми, которыхъ судьба впослѣдствіи разсѣевала по всей русской землѣ, — извѣстное единство стремленій, задачъ и усилій, направленныхъ къ достиженію цѣли, намѣченной еще въ эпоху подготовленія къ практической дѣятельности.

„Кавелинъ всячески старался пріохотить студентовъ къ серьезнымъ занятіямъ, не ограничиваясь тупымъ и безплоднымъ заучиваніемъ лекцій, ради экзамена и диплома. Каждый разъ, въ началѣ своей лекціи, Кавелинъ указывалъ очереднаго студента, который къ слѣдующему разу обязанъ былъ составить эту лекцію; Кавелинъ возвращалъ ее исправленною, или, если она совсѣмъ оказывалась негодною, вызывалъ къ себѣ на домъ, для объясненія, составителя и заставлялъ передѣлать. На своихъ воскресныхъ бесѣдахъ онъ указывалъ тэму для разработки, объяснялъ направленіе, снабжалъ источниками. Такъ онъ роздалъ для обработки всю эпоху Петра въ видѣ отдѣльныхъ монографій. Въ результатѣ получились двѣ работы, напечатанныя въ „Современникѣ“, изъ той эпохи, — одна Аѳанасьева, а другая Егунова, положившія начало литературной дѣятельности обоихъ. Подъ ближайшимъ руководствомъ Кавелина въ то же время Ерлыковъ,—котораго въ особенности поддерживалъ Кавелинъ, какъ единственнаго въ то время студента изъ крестьянъ,—составилъ сводъ губныхъ грамотъ. Постоянными посѣтителями бесѣдъ Кавелина были Ѳ. М. Дмитріевъ, Б. Н. Чичеринъ, А. М. Унковскій и др.,—на нихъ являлись даже студенты другихъ факультетовъ, такъ что скромный кабинетъ едва вмѣщалъ массу собравшихся гостей. Изрѣдка студенческая бесѣда оживлялась присутствіемъ лицъ, не принадлежащихъ къ университетскому кружку; такъ, я помню не разъ участвовавшихъ В. П. Боткина, Сатина.

„Но преобладающее мѣсто въ воскресныхъ бесѣдахъ занималъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Составъ студентовъ былъ тогда другой: большинство ихъ принадлежало къ помѣщикамъ, къ рабовладѣльцамъ, какъ не стѣсняясь заявлялъ имъ въ глаза Константинъ Дмитріевичъ. Его рѣзкій, безпощадный протестъ противъ крѣпостного права имѣлъ громадное значеніе. Въ умѣ всякаго шевельнулось сомнѣніе; болѣе или менѣе, но невольно, протестъ этотъ переходилъ въ слушателей. Какъ-то совѣстно становилось обращаться къ этому явленію такъ спокойно и безразлично, какъ это дѣлалось до знакомства съ Константиномъ Дмитріевичемъ. И эта дѣятельность не прошла безслѣдно. Не мало его слушателей явилось впослѣдствіи и въ числѣ меньшинства губернскихъ комитетовъ, и въ рядахъ мировыхъ посредниковъ перваго призыва. Такимъ образомъ, дѣло, которому Константинъ Дмитріевичъ посвятилъ цѣлую свою жизнь,—онъ

началъ еще въ молодости, съ первыхъ шаговъ своей профессорской дѣятельности, въ то время, когда для большинства крѣпостное право представлялось незыблемымъ устоемъ русской жизни"...

Оставленіе, въ 1848 году, каѳедры въ московскомъ университетѣ, раздѣлившее жизнь Кавелина на два періода: московскій (1829—1848 гг.) и петербургскій (1848—1885 гг.), было единственнымъ крупнымъ событіемъ, не имѣвшимъ никакого отношенія къ теченію общественной жизни; но и это дѣло было порывомъ добраго, гуманнаго чувства, приведшаго его въ прикосновеніе съ формальнымъ правомъ другой стороны. Кавелинъ, какъ извѣстно, заключилъ эту „исторію" самопожертвованіемъ: считая своего противника болѣе заслуженнымъ и полезнымъ для науки, онъ поспѣшилъ подать въ отставку, чтобы сохранить университету одного изъ лучшихъ его преподавателей, и одновременно съ тѣмъ переселился навсегда въ Петербургъ.

Въ сентябрѣ того же 1848 г., Кавелинъ устроился сначала на службѣ въ хозяйственномъ департаментѣ мин. внутр. дѣлъ, редакторомъ „городского отдѣленія", гдѣ и оставался до 1850 г.; въ 1850 г., онъ былъ перемѣщенъ въ штабъ Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича, главнаго начальника военныхъ учебныхъ заведеній, начальникомъ воспитательнаго отдѣленія штаба; въ 1853 г., Кавелинъ получилъ мѣсто начальника отдѣленія въ канцеляріи комитета министровъ, но, вслѣдствіе ходатайства Наслѣдника Цесаревича, былъ оставленъ, по Высочайшему повелѣнію, при штабѣ, въ качествѣ члена учебнаго комитета по военно-учебнымъ заведеніямъ, безъ особаго содержанія за то. Всѣ эти служебныя обязанности были оставлены Кавелинымъ въ 1857 г., когда онъ вступилъ снова на каѳедру ординарнымъ профессоромъ по юридическому факультету петербургскаго университета.

Московскій университетъ, можно сказать, утратилъ много въ лицѣ Кавелина, но тѣмъ не менѣе случайное переселеніе его въ Петербургъ слѣдуетъ назвать въ общественномъ смыслѣ счастливымъ: Кавелинъ попалъ такимъ образомъ въ тотъ самый центръ, гдѣ съ половины 50-хъ годовъ пошла быстро впередъ сильная и довольно открытая подготовительная работа по вопросу объ освобожденіи крестьянъ; онъ, носившій давно въ себѣ эту задачу, могъ легко сблизиться, и дѣйствительно сблизился съ людьми, которымъ вскорѣ было суждено выступить исполнителями дѣла. Самая служба въ Петербургѣ, бывшая, конечно, дѣломъ опять простого случая, осталась не безъ вліянія въ томъ же смыслѣ. Во главѣ ближайшаго управленія военно-учебными заведеніями стоялъ тогда Я. И. Ростовцевъ, имѣвшій потомъ, какъ извѣстно, большое вліяніе на ходъ

крестьянскаго вопроса. Благодаря переселенію въ Петербургъ, Кавелинъ получилъ въ самомъ началѣ 50-хъ годовъ доступъ и въ общество великой княгини Елены Павловны, гдѣ, начиная съ 1855 г., весьма серьезно интересовались задачами, имѣвшими отношеніе къ крестьянскому вопросу. Таланты Кавелина, его неотразимое личное обаяніе, не могли не производить впечатлѣнія на тѣхъ, кому изъ этого общества вскорѣ предстояло практически осуществлять дѣло освобожденія крестьянъ. Голосъ Кавелина, искренній, убѣжденный, не могъ въ такой средѣ пропадать даромъ, — и вотъ гдѣ надобно искать начала серьезнаго, хотя и невидимаго вліянія Кавелина на дальнѣйшую судьбу крестьянскаго вопроса. При дворѣ покойной великой княгини, одной изъ просвѣщеннѣйшихъ женщинъ того времени, Кавелинъ могъ найти себѣ вторично аудиторію, но уже спеціальную, и притомъ, какъ мы сказали, состоявшую изъ будущихъ дѣятелей въ той области, которая всегда была самою интересною въ глазахъ покойнаго.

Такъ прошло первое десятилѣтіе петербургской жизни Кавелина (1848—1857 гг.), можетъ быть, самое важное для его біографа, но едва ли не менѣе всего доступное изслѣдователю, такъ какъ большинства главныхъ лицъ упомянутаго общества не существуетъ, и теперь только немногіе могутъ свидѣтельствовать о немъ. Отъ этой эпохи остались за то слѣды его обширной литературной и ученой дѣятельности въ многочисленныхъ статьяхъ, состоявшихъ преимущественно въ критическомъ разборѣ сочиненій по русской исторіи и юриспруденціи; всѣ эти статьи помѣщались, между 1848 и 1857 гг., въ журналахъ „Современникъ“ и „Отечественныя Записки“, и составили почти цѣлые три тома въ собраніи сочиненій К. Д. Кавелина, появившемся въ 1859 г. (изд. Солдатенкова, въ Москвѣ).

Въ 1857 г., и въ судьбѣ Кавелина, и въ исторіи крестьянскаго вопроса, совершился поворотъ: въ сентябрѣ этого года Кавелинъ вступилъ на каѳедру русскаго гражданскаго права, въ петербургскомъ университетѣ, и вскорѣ затѣмъ былъ приглашенъ читать лекціи по энциклопедіи законовѣдѣнія покойному Наслѣднику Цесаревичу Николаю Александровичу; а 20 ноября того же года послѣдовалъ призывъ покойнаго Государя къ дворянству, приглашавшій его на дѣло освобожденія крестьянъ.

Въ своей вступительной лекціи въ университетѣ, Кавелинъ, возвращаясь къ воспоминаніямъ о прерванной имъ профессурѣ въ Москвѣ, говорилъ такъ:

„Тринадцать лѣтъ тому назадъ, еще молодымъ человѣкомъ (тогда Кавелину было 26 лѣтъ), я вступалъ на каѳедру въ старѣйшемъ изъ русскихъ университетовъ. Это была счастливая пора. Жизнь манила

впередъ. Наука, лекціи, дружба, наполняли существованіе. Въ памяти моей воскресаютъ образы дорогихъ наставниковъ и товарищей, которые словами участія или строгимъ совѣтомъ дружбы руководили первые робкіе мои шаги на ученомъ поприщѣ. Многихъ изъ нихъ уже нѣтъ болѣе въ живыхъ. Въ теперешнюю торжественную для меня минуту сердце сжимается скорбью при мысли, что я никогда не увижу ихъ больше, никогда уже не услышу ихъ голоса. И теперь, возвращаясь на каѳедру черезъ девять лѣтъ, я приношу съ собой то же непоколебимое убѣжденіе въ высокомъ значеніи науки, ту же горячую вѣру въ высокія историческія судьбы отечества, то же довѣріе къ нашимъ молодымъ поколѣніямъ, въ особенности университетскому, которымъ по закону естественнаго преемства принадлежитъ будущее; наконецъ, ту же готовность работать для науки и каѳедры по крайнему разумѣнію, по мѣрѣ силы".

Но и на этотъ разъ профессорская карьера Кавелина продолжалась не болѣе четырехъ лѣтъ (1857—1861 гг.), какъ то было и въ Москвѣ, и точно такъ же, какъ въ Москвѣ, Кавелинъ, по нравственному и научному вліянію на учащуюся молодежь, занималъ первенствующее мѣсто въ коллегіи профессоровъ. Впрочемъ, упомянутое уже нами, обаяніе личности покойнаго сопровождало его въ жизни неразлучно, куда бы онъ ни появлялся. Такое же впечатлѣніе онъ произвелъ и на своего царственнаго ученика: покойный Наслѣдникъ Цесаревичъ, много лѣтъ спустя, часто вспоминалъ о лекціяхъ Кавелина, продолжавшихся не болѣе года (въ 1857—1858 гг.), и о немъ самомъ, и при всякомъ случаѣ, у своихъ профессоровъ, лично знавшихъ Кавелина, разспрашивалъ о немъ, постоянно интересовался его судьбой; по всему было видно, что Кавелинъ оставилъ въ немъ самыя свѣтлыя и пріятныя воспоминанія. „А что Константинъ Дмитріевичъ"? — это было со стороны покойнаго Наслѣдника Цесаревича неизбѣжнымъ вопросомъ, котораго онъ почти никогда не забывалъ дѣлать, и всегда посылалъ ему привѣтъ отъ себя. Дѣйствительно, К. Д. Кавелинъ обладалъ необычайнымъ свойствомъ, говоря однимъ и тѣмъ же языкомъ и проповѣдуя тѣ же идеи и въ кабинетѣ Наслѣдника Цесаревича, и въ университетской аудиторіи, производить одинаковое впечатлѣніе, вездѣ привязывать къ себѣ и одинаково во всѣхъ возбуждать чувство добраго, справедливаго и великодушнаго. Это былъ его личный секретъ, унесенный имъ въ могилу.

Въ этотъ же четырехлѣтній періодъ Кавелинъ въ первый разъ выступилъ публично и по крестьянскому вопросу. Почти вслѣдъ за упомянутымъ рескриптомъ дворянству, 20 ноября 1857 г., Кавелинъ, воспользовавшись зимними вакаціями, ѣздилъ въ Москву, и тамъ на публичномъ обѣдѣ, на которомъ собралось все, что было лучшаго въ Москвѣ, произнесъ замѣчательную рѣчь:

„Мы знаемъ,—говорилъ онъ,—о великодушномъ призывѣ Государя къ дворянству, послѣдовавшемъ 20 ноября. Этого 20 ноября ждали многія поколѣнія, уже сошедшія въ могилу; его издавна провидѣли и предсказывали лучшіе умы и благороднѣйшія сердца; оно озаботило многія царствованія; въ ожиданіи его истомилось много сердецъ, жаждавшихъ правды; къ нему сходились надежды и раздумье всѣхъ. Только будущее, сокрытое отъ насъ, смутно лишь предугадываемое, можетъ выказать всѣ матеріальныя, гражданскія и нравственныя послѣдствія великаго дѣла, начатаго 20 ноября. Нашъ долгъ и призваніе—приготовиться къ нему достойнымъ образомъ, ибо мы видимъ начало разрѣшенія задачи, сложившейся цѣлыми вѣками русской исторіи; но многіе изъ насъ еще не ступятъ на святую, обѣтованную землю. Пусть же другіе, послѣ насъ, не упрекнутъ насъ въ легкомысленномъ къ нимъ равнодушіи, но съ благодарностью вспомнятъ трудъ и любовь, которые и мы принесли на общее дѣло, насколько мы могли и умѣли. 20-е ноября открываетъ для насъ возможность озаботиться о правильномъ устройствѣ нашего экономическаго быта. Я говорю: возможность, потому что нашему благоразумію и любви къ отечеству предоставлено пріискать среднія мѣры для согласненія разрозненныхъ и разнорѣчащихъ интересовъ. Чтобы оцѣнить весь глубокій смыслъ этого довѣрія, вспомнимъ, что общественная жизнь неудержимо развивается, и не въ человѣческихъ силахъ измѣнить ея ходъ, подчиненный извѣстнымъ законамъ; но отъ людей зависитъ путь, по которому развивается народная жизнь. Люди или предугадываютъ общественныя потребности и мудро направляютъ въ этомъ смыслѣ свои дѣйствія, или они отступаютъ передъ задачей и, увлекаясь разными побужденіями, отклоняются отъ предстоящаго, ближайшаго дѣла. Въ первомъ случаѣ, жизнь совершается стройно, послѣдовательно, трудности устраняются безъ существенныхъ пожертвованій, со всевозможной пощадой интересовъ всѣхъ и каждаго; во второмъ—задача все-таки рѣшается, но только сама собой, какъ придется, съ матеріальнымъ ущербомъ и безъ чьей-либо заслуги, напротивъ, съ утратою нравственнаго достоинства, въ подтвержденіе неоспоримой истины, что правда, нравственность и выгода соединены нерасторжимыми узами“.

Эта рѣчь была только сокращеніемъ того, что составляло спеціальный предметъ изслѣдованія крестьянскаго вопроса въ особой запискѣ Кавелина, которая ходила въ то время по рукамъ между людьми, близко заинтересованными въ разрѣшеніи этого важнаго вопроса на практикѣ. Въ первыхъ книжкахъ „Современника“, за 1858 годъ, появилось извлеченіе изъ этой записки, подъ заглавіемъ: „О новыхъ условіяхъ сельскаго быта“, и притомъ въ тѣхъ предѣ-

лахъ, въ какихъ то было возможно, по усмотрѣнію еще существовавшей тогда предварительной цензуры [1]). Капитальною стороною въ дѣлѣ освобожденія былъ вопросъ о надѣлѣ, раздѣлившій самихъ партизановъ освобожденія: Кавелинъ въ своей запискѣ стоялъ горячо за освобожденіе съ земельнымъ надѣломъ, съ цѣлью спасенія Россіи отъ сельскаго пролетаріата, а вмѣстѣ и городского. Мысль Кавелина въ 1858 году была признана неудобною, и авторъ статьи нашелъ себя вынужденнымъ отказаться и отъ преподаванія Наслѣднику Цесаревичу, и отъ всякаго вознагражденія, въ томъ или другомъ видѣ, какое ему предлагалось, вѣроятно, съ цѣлью ослабить впечатлѣніе такого внезапнаго удаленія Кавелина. Можно потому думать, что неудовольствіе противъ Кавелина не было особенно глубоко; Кавелинъ являлся жертвою и временною уступкою сильнымъ въ то время противникамъ освобожденія крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ; и дѣйствительно, три года спустя, 19 января 1861 года освобожденіе крестьянъ было осуществлено именно по той программѣ, которую защищалъ Кавелинъ и за которую пришлось ему потерпѣть.

Въ томъ же 1861 г. закончилась и профессорская карьера покойнаго въ петербургскомъ университетѣ; но на этотъ разъ, Кавелинъ подалъ прошеніе объ отставкѣ не по личнымъ причинамъ, а вслѣдствіе своего убѣжденія, что онъ не можетъ болѣе исполнять обязанности профессора такъ, какъ онъ ихъ всегда понималъ. Послѣдовавшая, мѣсяцъ спустя послѣ отставки Кавелина, личная перемѣна и въ самомъ министерствѣ народнаго просвѣщенія, вызвавшемъ его отставку,—не сдѣлала существенной перемѣны въ судьбѣ Кавелина: при открытіи университета въ 1862 г., онъ не могъ возвратиться на оставленную имъ каѳедру, но въ то же время получилъ приглашеніе отъ попечителя одесскаго округа занять каѳедру въ открывавшемся тогда новороссійскомъ университетѣ; это послѣднее предположеніе не могло, однако, осуществиться, и Кавелинъ ограничился только принятіемъ сдѣланнаго ему вызова со стороны новаго министерства народнаго просвѣщенія А. В. Головнина—отправиться за границу, съ цѣлью собрать всѣ необходимыя свѣденія объ иностранныхъ университетахъ и подготовить, такимъ образомъ, матеріалы для реформы университетскаго устава, осуществленной въ 1863 году. Кавелинъ провелъ болѣе года за границей, и его работы были помѣщены въ „Журналѣ

[1]) Статья была напечатана безъ подписи автора, и притомъ безъ его согласія, вѣроятно, по одному изъ списковъ, ходившихъ въ то время по рукамъ въ городѣ, а потому не трудно было послѣ узнать имя автора. Подлинная записка, во всемъ своемъ объемѣ, сохранялась Кавелинымъ до конца его жизни, и вполнѣ заслуживаетъ быть напечатанною теперь, какъ любопытный историческій документъ, имѣвшій большое значеніе при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса.

министерства народнаго просвѣщенія" за 1862 и 1863 г., и въ „Русскомъ Вѣстникѣ".

Послѣднее двадцатипятилѣтіе жизни Кавелина (1861—1885 гг.) началось и протекло почти уже на глазахъ большинства живущихъ и теперь поколѣній. Цѣлую четверть столѣтія жизни, полной силъ, Кавелинъ оставался собственно не у дѣлъ, совершенно въ сторонѣ отъ большихъ теченій общественной жизни: онъ, правда, состоялъ въ этотъ періодъ времени на службѣ въ министерствѣ финансовъ, какъ его юрисконсультъ [1]); нѣтъ сомнѣнія, что онъ принесъ дѣлу не малую долю пользы и своими обширными свѣденіями, и своимъ глубоко честнымъ, правдивымъ характеромъ, но едвали будущій біографъ остановится на этой сторонѣ дѣятельности Кавелина,—до такой степени она представляется эпизодомъ, случаемъ, въ главномъ руслѣ теченія жизни и помысловъ покойнаго. Только въ самомъ концѣ 70-хъ годовъ, Кавелинъ, какъ бы въ силу поговорки: „on revient toujours à ses premiers amours", принялъ каѳедру въ военно-юридической академіи [2]); но его служба, благодаря преждевременной смерти, была и тутъ коротка, и явилась въ его жизни какъ бы только для того, чтобы послужить новымъ доказательствомъ, что и на склонѣ своихъ лѣтъ, несмотря на всѣ физическія тревоги, невзгоды и слѣпые удары судьбы, безпощадно косившей около него все, чѣмъ жило его прекрасное сердце, онъ не утратилъ прежняго своего обаянія на молодыхъ слушателей, которое, впрочемъ, распространялось на всякаго, кто имѣлъ наслажденіе слушать его всегда горячую, задушевную бесѣду. Присутствовавшіе на панихидахъ и на погребеніи Кавелина видѣли самыя трогательныя сцены беззавѣтной, истинно-сыновней любви учениковъ къ своему обожаемому профессору. Вѣчно юное сердце самого Кавелина находило всегда себѣ откликъ въ такихъ же юныхъ сердцахъ, и затѣмъ, положеніе слушателей, ихъ внѣшняя, самая разнообразная обстановка, предшествующая исторія воспитанія, на этотъ разъ весьма различная—все это нисколько не измѣняло впечатлѣнія слушателей, и Кавелинъ вездѣ завоевывалъ себѣ безпредѣльную симпатію, съ перваго слова и навсегда.

Въ числѣ многочисленныхъ воспоминаній о Кавелинѣ, которыя были вызваны его смертью, намъ встрѣтилось нѣсколько словъ о покойномъ, высказанныхъ и однимъ изъ его бывшихъ старѣйшихъ учениковъ военно-юридической академіи, г. Шавердовымъ („Волжскій Вѣстникъ", № 102):

---

[1]) Поступилъ на службу въ декабрѣ 1864 г., по приглашенію К. К. Грота, въ эпоху образованія акцизной системы, смѣнившей откупную.

[2]) Началъ читать лекціи въ сентябрѣ 1878 г., съ самаго основанія военно-юридической академіи.

„Какъ теперь помню ту минуту,—говоритъ авторъ воспоминаній,—когда въ аудиторію къ намъ, впервые, вошелъ небольшого роста, довольно полный, старичекъ съ большимъ выпуклымъ лбомъ мыслителя, карими, проницательными глазами, пристально и прямо глядящими изъ-подъ очковъ, и сѣдой окладистой бородой: это и былъ К. Д. Кавелинъ. Яснымъ, привѣтливымъ взоромъ окинулъ онъ насъ, слушателей, только-что поступившихъ въ академію, и мягкимъ, задушевнымъ голосомъ началъ вступленіе къ своему курсу... Сначала было трудно слѣдить за его мыслію, трудно было разобраться въ массѣ непривычныхъ для слушателей строго-научныхъ положеній лектора, но, мало-по-малу, онъ овладѣвалъ своей аудиторіей, умственный горизонтъ слушателей расширялся, и все то, что̀ казалось до тѣхъ поръ самымъ обыкновеннымъ явленіемъ общественной жизни, не стоющимъ особаго вниманія, получало глубокій смыслъ и значеніе, подвергшись философскому анализу уважаемаго профессора.

„Въ ряду профессоровъ военно-юридической академіи, кромѣ К. Д. Кавелина, находилось еще нѣсколько выдающихся въ ученомъ мірѣ лицъ—каковы: Н. А. Неклюдовъ, С. Бершадскій, Н. Коркуновъ и др.; но, по справедливости надо сказать, что никто изъ нихъ не могъ сравняться съ Кавелинымъ по тому нравственному вліянію на аудиторію, какимъ обладалъ этотъ профессоръ. Вліяніе его на слушателей, если можно такъ выразиться, не ограничивалось стѣнами аудиторіи и профессорской каѳедрой—нѣтъ; для этого почтеннаго и гуманнѣйшаго человѣка не было большаго удовольствія, какъ бесѣдовать съ слушателями „внѣ аудиторіи“, разъяснять имъ непонятыя мѣста его лекцій, или же отвѣчать, вообще, на вопросы, такъ или иначе касающіеся теоріи гражданскаго права... Передъ выходомъ изъ академіи, слушатели моего курса поднесли глубоко-уважаемому К. Д. Кавелину альбомъ съ своими фотографическими карточками и получили взамѣнъ, каждый, по кабинетному портрету профессора, съ его факсимиле“.

Приведенное нами мѣсто изъ воспоминаній г. Шавердова любопытно еще и тѣмъ, что авторъ говоритъ о Кавелинѣ 80-хъ годовъ почти то же самое, что, какъ мы видѣли, говоритъ старый московскій студентъ, г. Колюпановъ, о Кавелинѣ 40-хъ годовъ.

Въ самомъ началѣ 80-хъ годовъ, Кавелину представился случай возвратиться въ министерство народнаго просвѣщенія и занять постъ попечителя дерптскаго учебнаго округа. Друзья покойнаго сожалѣли о разлукѣ съ нимъ, но вмѣстѣ радовались, что такое лицо, подобное Пирогову, займетъ мѣсто, вполнѣ соотвѣтствующее его характеру, и лучше чѣмъ кто-либо выйдетъ изъ тѣхъ особыхъ затрудненій, какія представляетъ край для административнаго дѣя-

теля. Кавелинъ, однако, отказался, находя, что онъ не удовлетворитъ ни ту, ни другую сторону, а дѣйствовать по чужой программѣ онъ не умѣетъ.

Если Кавелинъ въ самое послѣднее время принялъ званіе президента Вольнаго Экономическаго Общества, то только потому, что занятія въ этомъ Обществѣ, какъ онъ полагалъ, поставятъ его лицомъ къ лицу съ любимымъ предметомъ всей его жизни—вопросами крестьянскаго хозяйства. Весьма скоро, однако, онъ нашелъ себя вынужденнымъ сложить свое новое званіе; онъ не желалъ тратить своихъ силъ на мелкую борьбу, притомъ поставленную на почву интересовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ интересами общественными — и тѣмъ еще болѣе внушилъ къ себѣ уваженіе со стороны тѣхъ, которые не перестали цѣнить его и послѣ сложенія имъ съ себя званія президента.

Такимъ образомъ, можно сказать, что въ послѣднее двадцатипятилѣтіе Кавелинъ держалъ себя почти совсѣмъ въ сторонѣ, и тѣмъ не менѣе его авторитетъ, его имя, и въ эту эпоху росли съ каждымъ годомъ и все болѣе и болѣе выигрывали въ общественномъ мнѣніи. Всѣмъ этимъ онъ былъ обязанъ своимъ публицистическимъ трудамъ въ спеціальной области крестьянскаго вопроса, который не представлялся ему вполнѣ рѣшеннымъ однимъ актомъ освобожденія, хотя бы и съ земельнымъ надѣломъ. Въ то же время Кавелинъ взялъ на себя практическое осуществленіе своихъ идей въ небольшомъ районѣ своего родного села Иванова, бѣлевскаго уѣзда, тульской губерніи, гдѣ онъ устроилъ сыроварню, деревенскій банкъ, двѣ школы. Въ послѣдніе годы жизни, Кавелина интересовали также вопросы высшаго порядка, и результатомъ того явился рядъ его замѣчательныхъ этюдовъ изъ области психологіи и морали, заключившійся предсмертною работою, подъ заглавіемъ: „Задачи этики“; она была имъ посвящена той же молодежи, которая, вмѣстѣ съ крестьянскимъ міромъ, составляла любимый предметъ заботъ всей его жизни [1]).

---

[1]) Важнѣйшіе труды К. Д. Кавелина, и публицистическаго, и философскаго характера, за послѣднія 20 лѣтъ, помѣщались, главнымъ образомъ, въ „Вѣстникѣ Европы“: въ 1866 г.—„Мысли и замѣтки о русской исторіи“; 1868 г.—„Нѣмецкая современная психологія“; 1872 г.—„Задачи психологіи“; 1874 г.—„Психологическая критика“; „Нѣсколько словъ“ въ отвѣтъ на „Нѣсколько словъ“ проф. Сѣченова; 1875 г.—„Психологическая критика: замѣчанія Ю. Ѳ. Самарина на книгу: „Задачи психологіи“; 1876 г.—„Некрологъ Ю. Ѳ. Самарина“; 1877 г.—„Поземельная община древней и новой Россіи“; 1878 г.—„О задачахъ искусства“; 1880 г.—„Мефистофель Антокольскаго“; „Письмо Ѳ. М. Достоевскому; 1881 г.—„Крестьянскій вопросъ“; 1882 г.—„Путевыя письма“; „Полемика по поводу книги г. Нотовича“; 1883 г.—„Освобожденіе крестьянъ и г. фонъ Самсонъ Гиммельстіерна“; 1884 г.— „Задачи этики“.—Послѣднее изслѣдованіе вышло особою брошюрою въ январѣ нынѣшняго года, и въ началѣ мая разошлось сполна.

„Все въ природѣ капитализируется, — говоритъ Кавелинъ въ своемъ посвященіи,—даже лучи солнца! Неужели однѣ человѣческія силы, особливо свѣжія, молодыя, должны разсѣеваться понапрасну"?—спрашиваетъ онъ, смотря печально на даровую потерю этихъ драгоцѣнныхъ силъ. „Только воспитаніемъ и безпрестаннымъ упражненіемъ,—такъ заключаетъ онъ, свой трудъ,—мысль обращается въ дѣйствительность, и ихъ различіе исчезаетъ совсѣмъ: идеалъ становится дѣйствительностью, дѣйствительность — идеаломъ"!....

Въ своей жизни частной, домашней, Кавелинъ былъ извѣстенъ одинаково, и великимъ счастьемъ—вырастить замѣчательныхъ дѣтей, и великимъ несчастьемъ—преждевременной ихъ утраты. Онъ имѣлъ единственнаго сына, Дмитрія, и единственную дочь (въ замужествѣ С. К. Брюллова). Смерть похитила перваго,—феноменальнаго юношу, по своимъ способностямъ и характеру,—на порогѣ университета, въ 1861 году, почти одновременно съ отставкою Кавелина; а въ 1877 г. скончалась его дочь, 25 лѣтъ отъ роду: ея въ высшей степени симпатичный и незабвенный образъ, можно сказать, обезсмертилъ Тургеневъ, посвятивъ ей некрологъ. При смертномъ одрѣ Кавелина оставались только два ея сына—внуки его; жена его, сестра В. Ѳ. Корша, скончалась вскорѣ послѣ дочери, въ 1879 году.

Всѣ такія жизненныя невзгоды Кавелинъ выносилъ съ удивительною твердостью духа, и еслибы не двѣ тяжелыя болѣзни, посѣтившія его, въ началѣ 80-хъ годовъ, одна за другою,—то по живости его движеній, звучному голосу, веселому до заразительности смѣху, его можно было бы принять за юношу. Такимъ онъ былъ, можно сказать, еще за 10 дней до смерти. 23 апрѣля, случайная простуда положила его въ постель, съ которой онъ уже не вставалъ. Съ 24 по 30 апрѣля жизнь его висѣла на волоскѣ; но 1 мая болѣзнь, неожиданно для самого доктора, приняла вдругъ такой счастливый оборотъ, что можно было осмѣлиться произнести слово—надежда. 2-го мая — такая же рѣзкая перемѣна, но — къ худшему, и 3-го мая, рано утромъ, въ 7 часовъ, Кавелина не стало. Въ 9 часовъ утра, 7-го мая, друзья и ученики покойнаго изъ военно-юридической академіи на

Въ 1881 г. Кавелинъ принималъ самое дѣятельное участіе въ газетѣ „Порядокъ"; изъ болѣе крупныхъ его работъ, помѣщенныхъ тамъ, упомянемъ: „Письма изъ деревни", и „Некрологъ А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго". Другія его мелкія публицистическія статьи помѣщались чаще всего въ „Спб. Вѣдом." и. р. В. Ѳ. Корша", въ „Новостяхъ" и въ „Недѣлѣ".

Нѣкоторыя изъ работъ Кавелина не могли быть признаны въ то время удобными для печати, и появлялись впослѣдствіи безъ его имени въ Берлинѣ; таковы: 1) „Что намъ быть? Отвѣтъ редактору газеты: „Русскій Міръ", въ 2-хъ письмахъ. 1875".— 2) „Политическіе призраки. Верховная власть и административный произволъ. Одинъ изъ современныхъ вопросовъ. 1877".—3) „Разговоръ съ соціалистомъ-революціонеромъ. 1880".

рукахъ отнесли его тѣло въ соборъ Андрея Первозваннаго, въ приходѣ котораго онъ состоялъ весьма дѣятельнымъ членомъ попечительства о бѣдныхъ, а оттуда погребальная колесница, предшествуемая многочисленными вѣнками [1]) и академіею въ полномъ ея составѣ, направилась на Волково кладбище, гдѣ въ 2 часа дня гробъ былъ опущенъ въ могилу, приготовленную въ Тургеневской оградѣ.

Покойный не сдѣлалъ никакихъ распоряженій относительно мѣста погребенія; жена его и сынъ лежатъ въ разныхъ мѣстахъ Смоленскаго кладбища, а дочь—на кладбищѣ города Павловска. Вслѣдствіе того, зять покойнаго, П. А. Брюлловъ, поддерживаемый друзьями Кавелина, выразилъ желаніе и получилъ отъ городского общественнаго управленія, которому принадлежитъ Тургеневская ограда, разрѣшеніе похоронить его рядомъ съ старшимъ другомъ его семьи, Тургеневымъ, избравшимъ Волково кладбище, съ цѣлью быть погребеннымъ рядомъ съ Бѣлинскимъ. Но мѣсто, назначенное для перенесенія туда останковъ Бѣлинскаго, не могло быть занято согласно назначенію, и вотъ это-то самое мѣсто возлѣ Тургенева и занялъ теперь тотъ, кто всю жизнь справедливо называлъ себя „ученикомъ и другомъ“ Бѣлинскаго. Рядомъ покоятся теперь, съ одной стороны, авторъ „Записокъ Охотника“, говорившій въ пятидесятыхъ годахъ высоко-художественными образами о необходимости „новаго быта“ крестьянъ, а съ другой—его сверстникъ и другъ, произнесшій прямо и публично первое слово „о

---

[1]) По вѣнкамъ можно отчасти судить о многообразныхъ отношеніяхъ покойнаго; вѣнки служили иллюстрированной его біографіей. Впереди всѣхъ, шелъ вѣнокъ отъ города — своему уроженцу, которому Дума оказала гостепріимство въ 1862 г., когда Кавелинъ, по временномъ закрытіи университета, читалъ свои блестящія лекціи въ большомъ Александровскомъ залѣ. За городскимъ вѣнкомъ слѣдовали два вѣнка отъ спб. университета и отъ его студентовъ, и вѣнокъ отъ казанскаго университета, котораго покойный былъ почетнымъ членомъ. Къ университетской молодежи присоединились вѣнки отъ студентовъ-медиковъ и технологовъ. Далѣе слѣдовали вѣнки отъ литературнаго фонда, гдѣ такъ много лично работалъ Кавелинъ; отъ вольнаго экономическаго общества, котораго онъ былъ въ послѣднее время президентомъ; отъ спб. присяжныхъ повѣренныхъ, между которыми не мало было его учениковъ; отъ московскаго юридическаго общества; вѣнокъ отъ спб. юридическаго общества, котораго онъ былъ членомъ съ основанія, былъ возложенъ на гробъ; отъ редакцій „Вѣстника Европы“, „Недѣли“, „Новостей“ и „Русскихъ Вѣдомостей“; отъ товарищества художественныхъ передвижныхъ выставокъ, среди котораго покойный насчитывалъ много друзей, начиная съ И. Н. Крамского, сдѣлавшаго превосходный эскизъ усопшаго; и наконецъ, отъ васильевостровской женской гимназіи, гдѣ сначала училась, а потомъ была блистательной преподавательницей дочь Кавелина. Непосредственно предъ гробомъ шли два вѣнка отъ бывшихъ слушателей военно-юридической академіи, отъ слушателей нынѣшнихъ, и отъ конференціи академіи серебряный вѣнокъ. —Отсутствовали только московскій университетъ, гдѣ учился и училъ покойный, и кіевскій университетъ, котораго онъ былъ почетнымъ членомъ. Не было вѣнковъ также отъ нѣкоторыхъ журналовъ и газетъ, въ которыхъ писалъ Кавелинъ, вѣроятно, вслѣдствіе перемѣны въ личномъ составѣ ихъ редакцій.

новыхъ условіяхъ сельскаго быта"—въ тѣхъ же пятидесятыхъ годахъ. Оба они родились въ одинъ годъ; почти одинъ за другимъ сошли въ могилу, и оба дружно всю жизнь преслѣдовали одну и ту же цѣль, съ одинаковымъ талантомъ и убѣжденностью: одинъ, какъ великій художникъ, другой—какъ убѣжденный и неутомимый публицистъ. Оба, можно сказать, отошли въ могилу прямо отъ рабочаго стола: „Стихотворенія въ прозѣ" были лебединою пѣснью Тургенева и явились въ печати за нѣсколько мѣсяцевъ до его смерти; такое же значеніе для Кавелина представила его послѣдняя монографія: „Задачи этики" [1]).

Вполнѣ потому справедливо говоритъ г. А. К. („Недѣля", № 19), въ одномъ изъ лучшихъ этюдовъ, вызванныхъ смертью Кавелина, о людяхъ, подобныхъ покойному:

„Въ битвѣ жизни они не кладутъ оружія до конца. Ихъ воспріимчивая голова и чуткое сердце работаютъ дружно и неутомимо, пожуда въ нихъ горитъ огонь жизни. Они умираютъ, какъ солдаты въ ратномъ строю, на дѣйствительной службѣ, не увольняя себя ни въ запасъ, ни въ безсрочный отпускъ, и уже чувствуя дыханіе смерти, холодѣющими устами еще шепчутъ свой нравственный пароль и лозунгъ. Жизнь часто не щадитъ ихъ—и на закатѣ дней, въ годы обычнаго для всѣхъ отдыха и квіетизма, наноситъ ихъ усталой, но стойкой, душѣ тяжелые удары. Но зато—ничто изъ области живыхъ общественныхъ вопросовъ не остается имъ чуждымъ. Вступая въ жизнь съ однимъ поколѣніемъ, они дѣлятся знаніемъ съ другимъ, работаютъ рука объ руку съ третьимъ, подводятъ итоги мысли съ четвертымъ, указываютъ идеалы пятому... и сходятъ со сцены всѣмъ имъ понятные, близкіе, бодрые и поучительные до конца. Они не „переживаютъ" себя, ибо жить для нихъ не значитъ существовать и только порою обращаться къ своимъ, нерѣдко богатымъ, воспоминаніямъ... Ихъ чуждый личныхъ разсчетовъ внутренній взоръ съ тревожною надеждою всегда устремляется въ будущее, и въ ихъ

[1]) Въ спеціальной области гражданскаго права, труды Кавелина еще ближе подходятъ ко дню его смерти. Въ послѣдніе годы жизни онъ издалъ „Права и обязанности по имуществамъ и договорамъ", „Очеркъ юридическихъ отношеній, возникающихъ изъ наслѣдованія" и „Очеркъ отношеній, возникающихъ изъ семейнаго права". За двѣ недѣли до смерти, онъ кончилъ записку „О вотчинныхъ правахъ", которая была имъ представлена въ комиссію по составленію новаго гражданскаго уложенія. Къ числу такихъ неизданныхъ мемуаровъ покойнаго изъ послѣдняго года его жизни надобно отнести его обстоятельную „записку", поданную имъ предсѣдателю здѣшняго окружнаго суда, по окончаніи покойнымъ сессіи, въ качествѣ присяжнаго засѣдателя. Знакомые съ ея содержаніемъ свидѣтельствуютъ, что эта „записка" содержитъ въ себѣ много цѣнныхъ и глубокихъ замѣчаній о недостаткахъ нашего уголовнаго закона, а потому нельзя не пожелать, чтобы она сдѣлалась достояніемъ юридическаго міра и не заглохла въ архивѣ суда.

многогранной душѣ всегда найдутся стороны, которыми она тѣсно соприкасается съ настроеніемъ и стремленіями лучшей части современнаго имъ общества... Русскій человѣкъ до мозга костей, знатокъ быта и глубокій изслѣдователь явленій исторіи своего народа, Кавелинъ нѣжно и беззавѣтно любилъ этотъ народъ. Онъ свѣтло смотрѣлъ впередъ, не смущаясь за призваніе, за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли въ этомъ отношеніи оптимистомъ... Онъ не отрицалъ нѣкоторыхъ темныхъ, грубыхъ сторонъ нашего сельскаго быта, на которомъ, какъ на устояхъ, должна, по его мнѣнію, стоять Россія,—но онъ возставалъ противъ поспѣшныхъ и мрачныхъ обобщеній... Онъ часто доказывалъ, что о народѣ слѣдуетъ судить не по его нравамъ и привычкамъ, а по его идеаламъ, стремленіямъ. Онъ съ удовольствіемъ повторялъ процитированное предъ нимъ однажды изреченіе Монтескьё: „Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs“...

Въ бѣгломъ очеркѣ мы, конечно, не только не исчерпали, но едва ли успѣли хотя бы намѣтить всѣ стороны жизни дорогого намъ Константина Дмитріевича, соединеннаго съ редакціею нашего журнала въ теченіе почти 20 лѣтъ самыми тѣсными, дружескими узами. Какъ справедливо замѣтилъ г. А. К., это была „многогранная“ душа, въ которой свободно отражались самыя разнообразныя явленія общественной жизни, и при всемъ томъ, будущаго біографа должна занять прежде всего эта самая душа, возсозданіе ея образа. Мы поставили во главѣ нашего очерка такой образъ, начертанный самимъ Кавелинымъ, по поводу смерти Самарина; заключимъ его же словами, которыми онъ оканчиваетъ вышеупомянутый некрологъ; эти слова заслуживаютъ вполнѣ быть начертанными на могилѣ самого Кавелина; въ нихъ можно найти разгадку всей жизни покойнаго:

„Великое воспитательное, культурное значеніе,—говорилъ Кавелинъ, думая о Самаринѣ,—имѣютъ только тѣ общественные дѣятели, у которыхъ мысль и дѣло, убѣжденіе и программа, слиты въ одно: только это создаетъ имъ вѣчную память въ послѣдующихъ поколѣніяхъ. Прочія—историческія и общественныя полезности осуждены на забвеніе, какъ только ихъ роль сыграна. Въ ходѣ исторіи—программы, знамена, партіи, мѣняются, смотря по комбинаціямъ общественныхъ элементовъ, которые, въ свою очередь, зависятъ отъ общихъ законовъ развитія. Но людей воспитываетъ нравственно не эта механика движенія, а то, какъ къ ней относились живые двигатели“.

Эти послѣднія слова и въ устахъ, и въ практикѣ жизни Кавелина, были всегда вмѣстѣ и точкою отправленія, и послѣднею цѣлью: „не механика движенія“, какъ выразился покойный, не положитель-

ные законы, не внѣшнія формы,—а „живой двигатель“ этой механики, нравственная личность, осуществляющая законъ и наполняющая собою всякую форму—рѣшаетъ участь каждаго общества, каждой страны. Можно соглашаться съ такимъ положеніемъ и не соглашаться,—но вѣрно и несомнѣнно одно, что счастливо то общество, которое имѣло своего Кавелина; оно не можетъ теперь не скорбѣть глубоко объ утратѣ и того послѣдняго, который былъ завѣщанъ ему эпохою сороковыхъ годовъ [1])...

М. С.

17 мая, 1885.

---

[1]) Присоединяемъ въ заключеніе нѣсколько писемъ Кавелина къ Н. Б., гдѣ онъ говоритъ о своей послѣдней работѣ: „Задачи этики“ и о планахъ новыхъ работъ:

„25 іюня, 1884. С. Иваново.—Я наслаждаюсь деревней и усердно работаю надъ большой статьей о нравственности, которую, на дняхъ, въ чернѣ совсѣмъ окончу. Затѣмъ начну ее отдѣлывать, отшлифовывать и надѣюсь къ отъѣзду изъ деревни окончательно приготовить къ печати, чтобъ тотчасъ по пріѣздѣ въ Петербургъ сдать въ редакцію „Вѣстника Европы“. Меня очень будетъ интересовать, какъ приметъ публика эту работу, надъ которой я думалъ лѣтъ двѣнадцать и за которую принимался раза четыре, но все неудачно. Если бы я умеръ теперь, дня черезъ четыре, мысли мои не пропали бы, и это меня радуетъ какъ ребенка. Высказаться объ этомъ предметѣ было для меня потребностью, написать о немъ статью было какою-то обязанностью, которая тяготила меня какъ старый долгъ, пока не уплаченъ“.

„1 августа, 1884. С. Иваново.—Вообразите себѣ, что я кончилъ, наконецъ „Задачи этики“ совсѣмъ на отдѣлку, и передо мною лежитъ готовый къ печати трудъ, надъ которымъ я думалъ, и о которомъ мечталъ лѣтъ 12. Для меня это почти то же своего рода „нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ“! У меня было на душѣ высказать то, что я высказалъ въ этой рукописи, и если не успѣю больше ничего написать, то бѣды въ этомъ никакой не будетъ: все главное и существенное, что я могъ и долженъ былъ сказать—сказано. Вышло листовъ семь печатныхъ „Вѣстника Европы“. Надѣюсь начать печатать въ сентябрѣ, такъ чтобъ въ трехъ послѣднихъ книжкахъ умѣстилась вся работа. Сдѣлаю тысячу особыхъ экземпляровъ и посвящу молодому поколѣнію, которое больше всѣхъ нуждается въ словѣ утѣшенія и поддержки: оно страшно изломано, измучено и исковеркано, сначала иллюзіями, теперь... Съ осени примусь, но не сильно, за другую большую работу. Хочу написать книгу изъ которой всякій грамотный получилъ бы самыя элементарныя понятія о правахъ и обязанностяхъ общественныхъ и политическихъ учрежденіяхъ и законахъ. У насъ ничего такого нѣтъ, а запросъ большой на такія свѣденія“.

„3 сентября, 1884. С.-Петербургъ.—Теперь помышляю о новой работѣ—объ энциклопедіи политическихъ, юридическихъ и экономическихъ наукъ, о чемъ вамъ уже писалъ. Въ видѣ предисловія, напишу исторію постепеннаго развитія общества и государства и образованія международныхъ отношеній,—начиная съ быта бродячихъ дикихъ народцевъ и оканчивая нынѣшними формами жизни и быта самыхъ передовыхъ народовъ и ихъ взаимныхъ отношеній. Главная задача—показать, какъ постепенно измѣнялся общественный бытъ людей, отъ самыхъ простыхъ до самыхъ сложныхъ формъ общежитія. Спѣшить не стану. Придется прочесть много книгъ. Эту работу помѣщу у С. въ журналѣ“...

ПАМЯТИ К. Д. КАВЕЛИНА.

Рѣчь, произнесенная въ административномъ отдѣленіи Юридическаго Общества при С.-Петербургскомъ университетѣ, въ засѣданіи 11 мая 1885 года, дѣйствит. членомъ общества, В. Д. Спасовичемъ.

Мм. Гг. Въ послѣднемъ засѣданіи московскаго Юридическаго Общества, какъ намъ извѣстно изъ газетъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и талантливѣйшихъ ученыхъ русскихъ юристовъ, С. А. Муромцевъ, а за нимъ и его товарищи, выразили горячими, сильно прочувствованными словами, скорбь объ утратѣ, понесенной всею Россіею, схоронившею на дняхъ Константина Дмитріевича Кавелина.—Эту потерю мы чувствуемъ сугубо. Кавелинъ принадлежалъ въ гораздо большей степени Петербургу, нежели Москвѣ: въ Петербургѣ родился Кавелинъ; въ Москвѣ провелъ онъ только свою раннюю молодость; конецъ же этой молодости, начиная отъ 30 лѣтъ, весь зрѣлый и преклонный его возрастъ до дня смерти на 67 году, прошли среди насъ въ Петербургѣ. Онъ былъ однимъ изъ основателей нашего Юридическаго Общества, и всегда охотно посѣщалъ наши засѣданія. Я помню, съ какимъ удовольствіемъ онъ въ нынѣшнемъ еще году вспоминалъ о выслушанномъ имъ докладѣ Л. З. Слонимскаго о поземельной собственности, развивавшемъ нѣкоторыя идеи, которымъ онъ всегда сочувствовалъ.—Намъ памятенъ еще и собственный докладъ К. Д. Кавелина въ гражданскомъ отдѣленіи по поводу кодификаціи нашего гражданскаго права, и диспутъ по этому вопросу съ другимъ изъ нашихъ ученыхъ, диспутъ—который пресѣченъ былъ, не дойдя до своего конца, потому что противникъ Константина Дмитріевича, по странному недоразумѣнію, поставилъ споръ на личную почву, объясняя критику Кавелина эгоистическими мотивами. Личное достоинство не дозволило умершему отвѣчать, онъ только улыбнулся иронически, да и въ самомъ дѣлѣ онъ былъ бы послѣднимъ изъ всѣхъ, кого можно было бы заподозрить въ какихъ-либо эгоистическихъ разсчетахъ.—Всѣ въ одинъ голосъ говорятъ: это былъ человѣкъ цѣльный. Да, онъ и былъ таковъ: кого любилъ, того всѣмъ сердцемъ любилъ; кто былъ ему противенъ, того онъ сильно и страстно ненавидѣлъ, но и эта любовь, и эта ненависть, никогда не возбуждались личными соображеніями, а всегда опредѣлялись и руководимы были понятіями общественнаго, народнаго или общечеловѣческаго добра. Кавелинъ меньше привязывался по натурѣ своей къ людямъ, нежели къ идеямъ.

—Я помню, какъ не разъ приходилось ему, не озираясь и повидимому не особенно печалясь, разставаться съ людьми, съ которыми онъ жилъ десятки лѣтъ, когда ихъ пути расходились съ его собственнымъ подъ прямымъ угломъ на общественной аренѣ; но зато какой же онъ былъ вѣрный товарищъ и заступникъ всякаго, въ комъ онъ не извѣрился, кого считалъ принадлежащимъ къ одному лагерю, въ комъ замѣчалъ одушевленіе идеями добра.—Онъ былъ прежде всего моралистъ, строгій цѣнитель поступковъ, воплощенная, ходячая общественная совѣсть. —Онъ былъ неисчерпаемымъ источникомъ громадной благотворной нравственной силы, которую расточалъ кругомъ себя съ необычайной щедростью.—Кто имѣлъ счастіе быть съ нимъ лично знакомымъ, тотъ не могъ не знать, какъ благотворно дѣйствовало всякое общеніе съ этимъ безпримѣрно общительнымъ и отзывчивымъ человѣкомъ; какъ благотворны были его указанія, его совѣты; какъ широкъ былъ кругъ его вліянія на современниковъ. Наибольшая часть его „я“ уходила на это непосредственное вліяніе на людей, и сравнительно меньшая часть проявлялась въ трудахъ, которые, однако, настолько содержательны, что, благодаря имъ однимъ, имя покойнаго перейдетъ къ далекому потомству, за нимъ обезпечено безсмертіе. — Еслибы каждый изъ насъ—нельзя сказать, чтобы изъ насъ немногихъ (это число довольно значительно),—знавшихъ лично Константина Дмитріевича, разсказалъ только свои съ нимъ сношенія, то я увѣренъ, что получился бы образъ умершаго болѣе живой и рельефный, чѣмъ тотъ, который могутъ дать сами его произведенія.—Позвольте мнѣ, мм. гг., дать первый примѣръ такой личной исповѣди и передать вамъ три особенно памятные для меня момента моихъ отношеній къ великому покойному.

Константинъ Дмитріевичъ зналъ меня по моей диссертаціи „pro venia legendi“, 1852 г.: „Объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу, по древнему польскому праву“. Вступивъ въ с.-петербургскій университетъ въ 1857 году на каѳедру, онъ вскорѣ потомъ поставилъ мою кандидатуру на каѳедру уголовнаго права. Ему я обязанъ, что я занялъ этотъ постъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе трехъ лѣтъ, я видался съ Константиномъ Димитріевичемъ почти ежедневно. Подъ его вліяніемъ разсѣялись въ умѣ моемъ послѣдніе остатки прежняго міросозерцанія, усвоены пріемы научнаго изслѣдованія. Кавелинъ былъ рѣшительный противникъ всякаго „метафизическаго абсолюта“; въ послѣдніе годы онъ еще спорилъ противу допущенія въ область умозрѣнія Спенсерова элемента „непознаваемаго“. — Онъ былъ предводитель, настоящій leader и средоточіе нашего кружка въ университетѣ; съ нимъ мы отстаивали въ 1861 г., противъ предполагаемой тогда ломки, старый университетъ; съ нимъ мы подали

въ отставку, съ нимъ потомъ мы работали въ коммиссіи по составленію новаго университетскаго устава. Для меня лично Константинъ Дмитріевичъ былъ всегда любимый и глубоко уважаемый учитель.

Второй памятный моментъ моихъ отношеній къ покойному относится къ концу 1858 и началу 1859 г. Въ его квартирѣ, при его горячемъ и ободряющемъ содѣйствіи, возникъ планъ изданія нѣсколькими въ С.-Петербургѣ осѣдлыми поляками, съ которыми Кавелинъ былъ особенно друженъ, польской газеты „Słowo“, въ духѣ такъ называемомъ теперь „примирительномъ“, то-есть съ направленіемъ къ отысканію условій дружнаго и братскаго въ культурномъ отношеніи сожительства, которое бы заступило нетерпимость, самосъѣданіе и взаимное самоистребленіе, составлявшія до тѣхъ поръ отличительную черту нѣкоторыхъ междуславянскихъ отношеній.—Когда, по послѣдовавшимъ для новаго органа невзгодамъ, издатель его подвергся заключенію, Кавелинъ хлопоталъ объ освобожденіи его; въ томъ же смыслѣ дѣйствовалъ тогда и Тургеневъ, какъ видно изъ публикованныхъ посмертныхъ о немъ воспоминаній и его переписки.

Третій моментъ въ моихъ воспоминаніяхъ касается послѣдняго литературнаго труда Константина Дмитріевича Кавелина: „Задачи этики“.—Этому труду умершій придавалъ большое значеніе: онъ въ него вложилъ самыя задушевныя свои мысли, и былъ сильно озабоченъ тѣмъ, чтобы сочиненіе не проскользнуло только по поверхности общества, но остановило на себѣ вниманіе и нашло оцѣнку. По содержанію труда мы спорили съ Константиномъ Дмитріевичемъ, и онъ взялъ съ меня слово, которое я считаю завѣтомъ, формулировать не устно, а письменно, мои противъ его „Задачъ этики“ возраженія.—Въ книжкѣ Кавелина, когда я ее читаю, онъ воскресаетъ весь, съ его типическими чертами, съ особенностями его міросозерцанія. — Онъ несомнѣнно человѣкъ „сороковыхъ годовъ“; человѣкъ, котораго убѣжденія окончательно сложились въ тотъ періодъ развитія русской мысли, когда общій стволъ ея еще не развѣтвился вполнѣ на западничество и на славянофильство, оттого, что въ немъ были черты и того, и другого направленія. — Согласно съ лучшими людьми своего поколѣнія обоихъ направленій, онъ вѣрилъ, что европейскій западъ быстро идетъ къ своему концу, что новое вино — выработанная имъ культура—не можетъ храниться въ ветхихъ мѣхахъ; онъ вѣрилъ, что есть мѣха новые для этого вина. Что эти новые мѣха— славянство, а во главѣ его доработавшееся до своеобразной государственности русское племя,—это для Кавелина было очевидно уже по одному тому, что на этой „бѣлой страницѣ“ до сихъ поръ ровно ничего не написано. Весь умственный трудъ ученаго и гражданина направленъ былъ къ разгадкѣ того, что̀ будетъ въ будущемъ на этомъ листѣ напи-

сано. Отвѣтъ подсказывала ему собственная его жизнь, которая такъ сложилась, что вся вертѣлась около одного главнаго по его времени событія: освобожденія крестьянъ,—„мужицкое царство“, міръ сей, въ противоположность съ отходящимъ міромъ городовъ.—Мы, люди позднѣйшіе, воспитанные при иныхъ условіяхъ, не могли безусловно предаваться этимъ идеаламъ. И западъ не представляется намъ столь одряхлѣвшимъ и отжившимъ,—и спорили мы о качествахъ новаго вина, и на „бѣломъ листѣ“ являлись на нашихъ глазахъ слегка рисующіяся черты, иногда и непригляднаго, далеко не соотвѣтствующія искомому идеалу; и смущало насъ то, что „царство мужицкое“ можетъ быть таковымъ, только пока оно некультурно, и перестанетъ быть мужицкимъ, коль скоро сдѣлается мало-мальски культурнымъ. — Мы очевидно расходились съ Константиномъ Дмитріевичемъ въ понятіяхъ о близости ожидаемаго обновленія міра, но его сильное упованіе увлекало и насъ, и пріучало насъ жить мысленно въ XX и XXI столѣтіи. Будемъ уповать въ то лучшее будущее,—это самый достойный способъ почтить память великаго упователя, о нежданной кончинѣ котораго мы нынѣ можемъ только глубоко скорбѣть.

НАДЪ СВѢЖЕЙ МОГИЛОЙ К. Д. КАВЕЛИНА.

(7 мая 1885 г.)

Еще одинъ свѣточъ погасъ
Средь сумерекъ скорбнаго міра...
Увы! Какъ огни послѣ пира,
Мудрѣйшіе, лучшіе, гаснутъ межъ насъ,
И ночь все темнѣетъ надъ родиной бѣдной.
Да, пиръ миновалъ, пиръ восторженныхъ словъ,
Великихъ надеждъ, безкорыстныхъ трудовъ,
Какъ сонъ миновалъ—и безслѣдно;
Напрасно горѣлъ ослѣпительный свѣтъ,
Безплодно мы рвались куда-то;
Какъ прежде, нѣтъ правды—и счастія нѣтъ!
Россія могилами только богата!
И тотъ, кто усталъ наболѣвшей душой
Скорбѣть о невзгодахъ отчизны,
Отраду ищи не въ столицѣ большой,
Не въ сонномъ иль суетномъ омутѣ жизни:
Сюда приходи! Здѣсь душой отдыхай!
Есть время, когда утѣшаютъ могилы:
Ужели безсиленъ тотъ край,
Гдѣ выросли эти могучія силы?!
Вѣрь мертвымъ! Вѣрь тѣмъ, кто, надеждой горя,
Средь насъ возвышался вершиной блестящей,
И къ смутной толпѣ, у подошвы стоящей,
Взывалъ съ возвышенья: „заря!“...
Быть можетъ, отъ насъ не на вѣкъ отлетѣли
Былыя надежды, былая весна:
Въ могилѣ того, надъ кѣмъ плачетъ страна,
Грядущее спитъ, какъ дитя въ колыбели...

Н. Минскій.

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ К. Д. КАВЕЛИНА.

Библіографическій очеркъ.

„Сдавая всю свою прошлую печатную
„дѣятельность окончательно въ архивъ, я
„прошу читателей, друзей и не-друзей,
„смотрѣть на нее не какъ на дѣйствіе,
„а какъ на воспоминаніе".

Кавелинъ.

При первой вѣсти о кончинѣ К. Д. Кавелина, мы просмотрѣли, какія біографическія свѣденія о покойномъ уже раньше существовали въ различныхъ изданіяхъ. Наши розысканія дали скудный результатъ. Въ самомъ дѣлѣ, двѣ неполныя страницы въ „Біографическомъ Словарѣ Московскаго университета" (М. 1855 г., ч. I); одна страница въ книгѣ Григорьева: „С.-Петербургскій университетъ въ теченіе первыхъ пятидесяти лѣтъ" (Спб., 1870 г.); нѣсколько строкъ въ „Портретной Галереѣ" Мюнстера (Спб., 1869 г., т. II) и въ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ" Панаева (Спб., 1876 г.), — вотъ тѣ немногіе источники, которые могли передать самые общіе факты изъ жизни покойнаго [1]). Еще болѣе пробѣловъ представили намъ давнишнія указанія на ученo-литературную дѣятельность Кавелина. Такъ, въ названномъ „Словарѣ" упомянуты только два труда, — объ остальномъ же замѣчено, что они помѣщались въ „Отечественныхъ Запискахъ" и „Современникѣ"; въ книгѣ Григорьева перечислены лишь нѣкоторыя журнальныя статьи и — странно — совсѣмъ забыто „Собраніе сочиненій", 1859 г.; наконецъ, „Систематическій каталогъ" Межова пропустилъ безъ обозначенія очень многія печатныя работы умершаго профессора. Вотъ въ какомъ неполномъ видѣ явились передъ нами и жизнь, и труды К. Д. Кавелина.

Конечно, въ настоящую минуту слѣдуетъ ожидать, что „воспоминанія" или „записки" друзей и знакомыхъ значительно пополнятъ біографію покойнаго; но едва ли среди такихъ трудовъ найдутъ себѣ мѣсто библіографическія указанія на всѣ произведенія его пера. Поэтому мы, на основаніи давно собираемыхъ нами матеріа-

[1]) Упомянемъ еще кстати итальянскій „Dizionario biografico degli scrittori contemporanei", г. де-Губернатиса (Firenze, 1879, стр. 582). Фактическія свѣденія очерка жизни были доставлены самимъ Кавелинымъ, а потому, при всей краткости, отличаются точностью.—*Ред.*

ловъ о дѣятельности русскихъ ученыхъ и писателей, рѣшаемся представить обзоръ сочиненій Кавелина въ ихъ хронологическомъ порядкѣ:

1841 г.: 1) О теоріяхъ владѣнія (Юрид. Записки, изд. П. Рѣдкинымъ, М., т. I).

Эта статья передѣлана изъ студенческаго труда на тэму: „О римскомъ владѣніи", за который авторъ получилъ золотую медаль при выпускѣ изъ университета въ 1839 году.

1842 г.: 2) Устройство гражданскихъ судовъ отъ Уложенія царя Алексѣя Михайловича до Петра Великаго (Юрид. Записки, изд. П. Рѣдкинымъ, М. т. II).

Отрывокъ изъ магистерской диссертаціи.

1844 г.: 3) Основныя начала русскаго судоустройства и гражданскаго судопроизводства, въ періодъ времени отъ Уложенія до Учрежденія о губерніяхъ. М.

Это „разсужденіе", защищенное въ московскомъ университетѣ 24 февраля того же года, доставило автору степень магистра гражданскаго законодательства (о самомъ диспутѣ см. статью въ „Москвитянинѣ" 1844 г., ч. II, стр. 229).

1845 г.: 4) Юридическій бытъ Силезіи и Лужицъ и введеніе нѣмецкихъ колонистовъ (Сборникъ историч. и статистич. свѣденій о Россіи, изд. Д. Валуевымъ, М., т. I, ч. I).

5) Рецензія на „Сибирскій Сборникъ", изд. Д. Валуевымъ (Отеч. Записки, кн. 7).

1846 г.: 6) Разборъ „Сборника историческихъ и статистическихъ свѣденій о Россіи", изданнаго Д. Валуевымъ (Отеч. Записки, кн. 7).

7) Разборъ книги Соловьева: „Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ" (Отеч. Записки, кн. 12).

1847 г.: 8) Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи (Современ., кн. 1).

9) Взглядъ на русскую литературу, по части русской исторіи въ 1845 году (Отеч. Записки, кн. 1).

10) Объ „Историко-критическихъ отрывкахъ, замѣчаніяхъ и лекціяхъ" Погодина (Отеч. Записки, кн. 1 и 3).

11) Разборъ книги Калачова: „Изслѣдованія о Русской Правдѣ“ (Отеч. Записки, кн. 2).

12) О „Чтеніяхъ въ Имп. Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ“ (Современ., кн. 5).

13) О „Памятникахъ, изданныхъ временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ“ (Тамъ же).

14) Критическая статья о книгѣ Соловьева: „Исторія родовыхъ отношеній между русскими князьями Рюрикова дома“ (Современ., кн. 8 и 12).

Конецъ этой статьи былъ помѣщенъ въ „Современникѣ“ 1848 года (кн. 5).

15) Отвѣтъ „Москвитянину“ (Современ., кн. 12).

Этотъ „отвѣтъ“ вызванъ статьей: „О мнѣніяхъ „Современника“, напечатанной въ „Москвитянинѣ“ и подписанной: „М... З... К...“ (т.-е. псевдонимомъ Ю. Ѳ. Самарина).

1848 г.: 16) Разборъ книги А. Лакьера: „О вотчинахъ и помѣстьяхъ“ (Современ., кн. 8).

17) О книгѣ Фундуклея: „Обозрѣніе могилъ, валовъ и городищъ Кіевской губерніи“ (Отеч. Записки, кн. 8).

18) О сочиненіи Терещенка: „Бытъ русскаго народа“ (Современ., кн. 9—12).

19) Рецензія на книгу Рождественскаго: „Руководство къ россійскимъ законамъ“ (Современ., кн. 10).

20) Объ „Изслѣдованіяхъ, относящихся къ древней исторіи“, Круга (Отеч. Записки, кн. 12).

1849 г.: 21) Разборъ книги М. Михайлова: „Исторія образованія и развитія системы русскаго гражданскаго судопроизводства“ (Современ., кн. 2).

22) Рецензія на книгу Рождественскаго: „Обозрѣніе внѣшней исторіи русскаго законодательства“ (Современ., кн. 3).

23) Ремесленная богадельня и вообще управленіе ремесленнымъ сословіемъ въ Петербургѣ (С.-Петерб. Полиц. Вѣдом., № 173).

1850 г.: 24) О сочиненіи А. Тюрина: „Общественныя и земскія отношенія въ древней Руси“ (Отеч. Записки, кн. 4).

25) Объ „Архивѣ историко-юридическихъ свѣденій, относящихся до Россіи“, изд. Калачовымъ (кн. 5).

26) Объ „Описаніи Государственнаго архива старыхъ дѣлъ“ (кн. 7).

27) Разборъ монографіи В. Шульгина: „О состояніи женщинъ въ Россіи до Петра Великаго“ (кн. 8).

28) Рецензія на сочиненіе П. Павлова: „Объ историческомъ значеніи царствованія Бориса Годунова“ (кн. 9).

1851 г.: 29) О статьѣ А. Аѳанасьева: „Вѣдунъ и вѣдьма“ (Отеч. Зап., кн. 6).

30) Рецензія сочиненія Троцины: „Исторія судебныхъ учрежденій Россіи“ (кн. 10).

31) О первомъ томѣ „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, Соловьева (кн. 12).

Затѣмъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ (1852—1855) нами не найдено ни одной журнальной статьи или отдѣльно изданнаго сочиненія Кавелина. Мы только знаемъ одно краткое объявленіе „Отечественныхъ Записокъ“, въ которомъ говорится, что онъ участвовалъ въ библіографической хроникѣ этого журнала за 1852 годъ; но намъ не извѣстно, какая именно рецензія или критика принадлежитъ покойному въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1852 года.

1856 г.: 32) Разборъ книги Б. Чичерина: „Областныя учрежденія Россіи въ XVII вѣкѣ“ (Отеч. Записки, кн. 12).

33) О кончинѣ Петра Васильевича Кирѣевскаго (С.-Петерб. Вѣдом., № 242).

1857 г.: 34) Отчетъ Импер. Вольнаго Экономическаго Общества за 1856 годъ (Труды Вольнаго Экономич. Общества, кн. 3).

Затѣмъ этотъ „Отчетъ“ вышелъ отдѣльной брошюрой (Спб. 1857 г., 103 стр.).

35) Слуга, современный физіологическій очеркъ (Русск. Вѣстн., кн. 5).

1858 г.: 36) О кончинѣ Александра Андреевича Иванова (Русск. Вѣстн., кн. 13).

37) О новыхъ условіяхъ сельскаго быта (Соврем., февр. и мартъ, безъ подписи автора).

1859 г.: 38) Замѣтка о подрядахъ и поставкахъ (Архивъ истор. и практич. свѣденій о Россіи, изд. Н. Калачовымъ, М., кн. 1).

39) Взглядъ на русскую сельскую общину (Атеней, кн. 2).

40) Сочиненія К. Д. Кавелина, собраніе, изданное К. Солдатенковымъ и Н. Щепкинымъ, М., четыре части.

Въ первой части помѣщены разсужденія, изслѣдованія и извлеченія; во-второй и третьей—критическія статьи и рецензіи, а въ четвертой — критическія статьи и разсужденія, относящіяся къ народному быту. — Надо замѣтить, что въ это собраніе сочиненій не вошли нѣкоторыя названныя нами выше статьи.

1860 г.: 41) Взглядъ на историческое развитіе русскаго порядка законнаго наслѣдованія и сравненіе теперешняго законодательства объ этомъ предметѣ съ римскимъ, французскимъ и прусскимъ (Современ., кн. 2).

Это была „рѣчь", произнесенная авторомъ на торжественномъ актѣ петербургскаго университета (8-го февраля) и тогда же вышедшая отдѣльно брошюрою (Спб., 88 стр.). Она вызвала разборъ г. Лохвицкаго, напечатанный въ „Отечественныхъ Запискахъ" (1861 г., кн. 1), на что авторъ „рѣчи" помѣстилъ отвѣтъ въ „Современникѣ" (1861 г., кн. 2).

42) Объ учетѣ досрочныхъ платежей по обязательствамъ (Юрид. Журналъ, кн. 3).

43) Письма изъ деревни (Московск. Вѣдом., № 192 и 194).

1861 г.: 44) Паспорты въ Россіи (Вѣкъ, № 3—4).

45) Отмѣна старыхъ ярмарочныхъ обычаевъ въ остзейскихъ губерніяхъ (№ 5).

46) Заселеніе помѣщичьихъ земель Крыма (№ 8).

47) Мировые посредники (№ 17).

Эта же статья помѣщена въ журналѣ: „Сельское Хозяйство" (1861 г., № 7).

1862 г.: 48) Записка по поводу годового собранія Общества для пособія нуждающимся литераторамъ (С.-Петерб. Вѣдом., № 43).

49) Объ ограниченіи гражданской правоспособности въ Россіи по состояніямъ и званіямъ (Журн. мин. юстиціи, кн. 3).

50) Объ организаціи учебной части во Франціи (Журн. мин. народн. просвѣщ., кн. 5 и 11).

Это—извлеченія изъ писемъ, писанныхъ авторомъ изъ Парижа къ управляющему министерствомъ народнаго просвѣщенія, А. В. Головнину.

51) Очеркъ французскаго университета (Журналъ мин. народн. просвѣщ., кн. 6, 7 и 11).

1863 г.: 52) Свобода преподаванія и ученія въ Германіи (Журн. мин. народн. просвѣщ., кн. 3—4).

53) Извлеченіе изъ письма, отъ 25-го марта (6-го апрѣля) 1863 года изъ Тюбингена. Спб., 27 стр.

54) Замѣтки о Новоузенскомъ краѣ Самарской губерніи (С.-Петерб. Вѣдом., № 216).

55) Чего желательно для Россіи: новаго свода или уложенія? (С.-Петерб. Вѣдом., № 223).

1864 г.: 56) Что̀ есть гражданское право, и гдѣ его предѣлы? Одинъ изъ современныхъ юридическихъ вопросовъ. Спб., 152 стр.

Эта брошюра составилась изъ статей, напечатанныхъ подъ тѣмъ же заглавіемъ въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ (1864 г., № 8, 14, 18, 24, 31 и 37).

57) По поводу губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденій, Спб., 66 стр.

Отдѣльный оттискъ статей, помѣщенныхъ въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ (1864 г., № 49, 51 и 53).

1865 г.: 58) Устройство и управленіе нѣмецкихъ университетовъ (Русск. Вѣстн., кн. 2—4).

59) Мысли о современныхъ научныхъ направленіяхъ, Спб.

Названная брошюра вызвана диссертаціей г. Неклюдова: „Уголовно-статистическіе этюды“. Она сначала, въ видѣ критическихъ статей, появилась въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ (1865 г., № 132—133).

1866 г.: 60) Мысли и замѣтки о русской исторіи (Вѣстникъ Евр., кн. 2).

Эта статья написана по поводу „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, С. Соловьева и „Исторіи царствованія Петра Великаго“, Н. Устрялова.

1868 г.: 61) Нѣмецкая современная психологія. О книгѣ г. Троицкаго: „Нѣмецкая психологія въ текущемъ столѣтіи“ (Вѣстн. Евр., кн. 1).

Послѣ названнаго критическаго труда въ учено-литературной дѣятельности Кавелина снова оказывается четырехлѣтній перерывъ (1868—1871 г.). За это время, какъ намъ извѣстно, не появилось ни одной отдѣльной брошюры

или большой журнальной статьи, если только покойный не напечаталъ ихъ безъ своей фамиліи или подъ какимъ-нибудь псевдонимомъ.

1872 г.: 62) Задачи психологіи (Вѣстн. Евр., кн. 1—4).

Этотъ замѣчательный трудъ, сначала помѣщенный въ журналѣ, вышелъ и отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ: „Задачи психологіи, соображенія о методахъ и программѣ психологическихъ изслѣдованій". Спб., 1872 и 1883 г.

63) Разборъ сочиненія Д. Корсакова: „Меря и Ростовское княжество" (С.-Петерб. Вѣд., № 102).

64) Письмо въ редакцію, по поводу книги: „Задачи психологіи" (Тж., № 307).

1874 г.: 65) Психологическая критика (Вѣстн. Евр., кн. 3—6 и 9).

Эти статьи вызваны замѣчаніями пр. Сѣченова на книгу: „Задачи психологіи".

66) Апріорная философія или положительная наука? По поводу диссертаціи Вл. Соловьева. Спб., 48 стр.

67) Кризисъ западной философіи. Спб., 48 стр.

68) Психологическая критика: замѣчанія Ю. Ѳ. Самарина на книгу: „Задачи психологіи" (Вѣстн. Евр., кн. 5, 6 и 7).

69) По поводу полемики В. Лесевича и В. Соловьева (Недѣля, № 15).

70) Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики (Тж., № 40).

К. Д. Кавелинъ составилъ свои воспоминанія о замѣчательномъ критикѣ, по просьбѣ А. Н. Пыпина, занятаго въ то время извѣстною біографіею Бѣлинскаго, въ которую и вошли отчасти эти воспоминанія.

71) Возможно ли метафизическое знаніе? (Тж. № 42).

1876 г.: 72) Разборъ книги Е. Якушкина: „Обычное право" (Тж., № 3—7).

73) Общинное владѣніе, Спб., 63 стр.

Названная брошюра появилась и на нѣмецкомъ языкѣ подъ заглавіемъ: „Der bürgerliche Gemeindebesitz in Russland" (Leipzig, 1877).

74) Некрологъ Ю. Ѳ. Самарина (Вѣстн. Евр., кн. 4).

1877 г.: 75) Русское изслѣдованіе о позитивизмѣ (Недѣля, № 2).

Разборъ книги В. Лесевича: „Опытъ критическаго изслѣдованія основныхъ началъ позитивной философіи".

76) О книгѣ Ю. Янсона: „Опытъ статистическаго изслѣдованія о крестьянскхъ надѣлахъ и платежахъ" (Сѣверн. Вѣстн., № 21).

77) А. П. Елагина. Біографическій очеркъ. (Тж., № 68—69).

78) Поземельная община въ древней и новой Россіи (Вѣстн. Евр., кн. 5).

79) Разборъ сочиненія кн. А. Васильчикова: „Землевладѣніе и земледѣліе въ Россіи" (Недѣля, № 26—29).

1878 г.: 80) О задачахъ искусства (Вѣстн. Евр., кн. 10).

1879 г.: 81) Записка о положеніи полевого хозяйства у крестьянъ сельца Иванова (Тульской губерніи, Бѣлевскаго уѣзда) и о томъ, какъ его поправить. Спб., 18 стр.

82) Права и обязаниости по имуществамъ и обязательствамъ въ примѣненіи къ русскому законодательству. Спб., 442 стр.

1880 г.: 83) Какое мѣсто занимаетъ гражданское право въ системѣ права вообще? (Журналъ гражданск. и уголовн. права, кн. 1—2).

84) Мефистофель Антокольскаго, письмо въ редакцію (Вѣстн. Евр., кн. 7).

85) Письмо Ѳ. Н. Достоевскому (Тж., кн. 11).

1881 г.: 86) Крестьянскій вопросъ, изслѣдованіе (Вѣстн. Евр., кн. 3, 8—10 и 12).

Это изслѣдованіе вышло и отдѣльно. Спб. 1882 г., 219 стр. Въ томъ же 1881 г., Кавелинъ писалъ въ газетѣ „Порядокъ"; выше, въ некрологѣ, указаны болѣе крупныя его статьи въ этой газетѣ, и притомъ подписанныя имъ, а также и тѣ труды, которые были издаваемы имъ же заграницею около того же времени.

1882 г.: 87) Новый портретъ В. Г. Бѣлинскаго (Русск. Мысль, кн. 9).

88) Путевыя письма (Вѣстн. Евр., кн. 10).

89) Полемика по поводу книги г. Нотовича: Основы реформъ мѣстнаго и центральнаго управленія (Тж., кн. 12).

1883 г.: 90) О мѣрахъ къ оживленію дѣятельности общества по улучшенію экономическихъ условій сельскаго хозяйства" (Труды Имп. Вольн. Экономич. Общества, кн. 4).

91) Освобожденіе крестьянъ и г. фонъ Самсонъ-Гиммельстіерна (Вѣстн. Евр., кн. 9).

1884 г.: 92) Крестьянскій разговоръ (Сельск. Вѣсти.).

93) Очеркъ юридическихъ отношеній, возникающихъ изъ семейнаго союза. Спб.

94) Задачи этики, изслѣдованіе (Вѣстн. Евр., кн. 10—12).

Оно вышло и отдѣльно, подъ заглавіемъ: „Задачи этики, ученіе о нравственности при современныхъ условіяхъ знанія", съ предисловіемъ, посвященнымъ молодому поколѣнію. Спб., 1885 г. (въ количествѣ 1,000 экземпляровъ, которые уже разошлись всѣ сполна).

95) Философія и наука въ Европѣ и у насъ („За двадцать-пять лѣтъ", сборникъ, изд. Обществомъ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ).

1885 г.: 96) Очеркъ юридическихъ отношеній, возникающихъ изъ наслѣдованія имущества. Спб.

Весьма возможно, что этотъ перечень еще не полонъ; но здѣсь собрано самое существенное, такъ что будетъ уже не трудно, по указаніямъ друзей покойнаго, современемъ восполнить настоящій перечень.

Д. Языковъ.

Москва, 15 мая.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е іюня, 1885.

Проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ, какъ возможная основа дворянскаго земельнаго банка.—Двѣ противоположныя точки зрѣнія на дѣятельность будущаго банка, и обусловливаемые ими спорные пункты.—Необходимые предѣлы и условія удешевленія кредита.—Близкій конецъ подушной подати.

Мѣсяца три тому назадъ, министерство финансовъ внесло на разсмотрѣніе государственнаго совѣта проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ. На основаніи этого проекта, государственный земельный банкъ долженъ былъ замѣнить собою крестьянскій поземельный банкъ, присоединивъ къ кругу дѣйствій послѣдняго выдачу долгосрочныхъ ссудъ землевладѣльцамъ безъ различія состояній,—подъ залогъ ихъ земельной собственности. Теперь, въ виду Высочайшаго рескрипта 21 апрѣля, постановка вопроса существенно измѣнилась; рѣшено создать особый дворянскій земельный банкъ, т.-е., съ одной стороны,—не соединять новаго учрежденія съ существующимъ уже крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ, съ другой—сдѣлать его источникомъ кредита исключительно для землевладѣльцевъ, принадлежащихъ къ дворянскому сословію. Отсюда не слѣдуетъ еще, однако чтобы законопроектъ, опредѣлявшій устройство и дѣятельность государственнаго земельнаго банка потерялъ всякое значеніе и силу; весьма вѣроятно, что главныя основанія его перейдутъ цѣликомъ въ положеніе о дворянскомъ земельномъ банкѣ. Сущность этихъ основаній, насколько намъ извѣстно, заключается въ слѣдующемъ. Учреждая земельный банкъ, правительство имѣетъ цѣлью придти на помощь поземельной собственности удешевленіемъ необходимаго для нея долгосрочнаго кредита. Удешевленіе это становится возможнымъ уже въ силу того, что кредиторомъ является государство, пользующееся большимъ довѣріемъ, чѣмъ частныя обще-

ства; цѣна закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ государственнымъ учрежденіемъ, непремѣнно должна быть выше цѣны закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ акціонерными банками или обществами взаимнаго кредита. Сравнительно съ кредитомъ, оказываемымъ акціонерными банками, кредитъ, исходящій отъ государства, долженъ быть дешевле и потому, что государство не нуждается въ барышахъ отъ предпріятія и соразмѣряетъ платежи своихъ должниковъ единственно съ цифрой процентовъ и погашенія по закладнымъ листамъ—плюсъ издержки управленія. Удешевлять государственный кредитъ дальше этой нормы нѣтъ никакого разумнаго и справедливаго основанія, такъ какъ это было бы равносильно обремененію, въ пользу землевладѣльцевъ, другихъ классовъ населенія. Процентъ, взимаемый по ссудамъ (независимо отъ погашенія и издержекъ управленія), долженъ быть, слѣдовательно, не выше, но и не ниже того, который уплачивается по государственнымъ займамъ. Размѣръ выдаваемыхъ ссудъ долженъ быть опредѣленъ такимъ образомъ, чтобы предупредить по возможности всякій ущербъ для казны въ случаѣ неисправности должника; этому же условію долженъ удовлетворять и порядокъ взысканія просроченныхъ ссудъ, а также порядокъ перезалога въ государственномъ земельномъ банкѣ имѣній, заложенныхъ въ частныхъ кредитныхъ установленіяхъ.

Согласно съ этими основными началами, проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ установляетъ выпускъ пятипроцентныхъ закладныхъ листовъ, либо реализуемыхъ самимъ банкомъ, либо, съ разрѣшенія министра финансовъ выдаваемыхъ на руки заемщикамъ. Ссуды выдаются на 48 лѣтъ и восемь мѣсяцевъ; заемщики уплачиваютъ единовременно 1% съ общей суммы ссуды, а затѣмъ, каждые шесть мѣсяцевъ $2^1/_2$ % роста, $^1/_4$ % погашенія и $^1/_4$ % на составленіе запаснаго капитала и на расходы по управленію банкомъ. Послѣдній платежъ понижается по мѣрѣ погашенія долга и вовсе прекращается по истеченіи сорока лѣтъ со времени выдачи ссуды. Для уплаты недоимки назначается полугодичный льготный срокъ, причемъ съ неуплаченной суммы взыскивается пеня, по 1% въ мѣсяцъ. Въ случаѣ чрезвычайныхъ бѣдствій, значительно сократившихъ доходъ съ заложеннаго имѣнія, можетъ быть допущена отсрочка платежей, не болѣе какъ на два года; допускается при извѣстныхъ условіяхъ и разсрочка въ уплатѣ отсроченной недоимки. По истеченіи льготнаго срока или отсрочки, имѣніе неисправнаго должника назначается въ продажу съ публичнаго торга. Размѣръ ссудъ не долженъ превышать 60% оцѣночной стоимости закладываемаго имѣнія. Исключеніе изъ этого правила можетъ быть допущено только въ тѣхъ случаяхъ, когда перезалогу въ государственномъ

банкѣ имѣнія, заложеннаго въ частномъ кредитномъ установленіи, препятствуетъ отсутствіе источника на покрытіе разницы между суммою, необходимою для погашенія прежняго долга, и суммою выдаваемою государственнымъ банкомъ. При такихъ условіяхъ, размѣръ ссуды можетъ быть доведенъ до 70% оцѣночной стоимости имѣнія, но не иначе какъ по постановленію совѣта банка, принятому большинствомъ двухъ третей голосовъ и утвержденному министромъ финансовъ. Фабрики, заводы и горные промыслы, находящіеся въ закладываемыхъ имѣніяхъ, не должны быть включаемы въ оцѣнку, а лѣса могутъ быть включаемы въ нее лишь въ томъ случаѣ, если эксплуатація ихъ производится и будетъ производиться въ продолженіе всего срока займа по раціональному хозяйственному плану. Стоимость закладываемыхъ имѣній опредѣляется либо по нормальной, либо по спеціальной оцѣнкѣ, причемъ послѣдняя можетъ быть производима какъ по просьбѣ владѣльца, въ видахъ увеличенія ссуды, такъ и по усмотрѣнію отдѣленія банка, если нормальная оцѣнка въ примѣненіи къ данному случаю покажется ему слишкомъ высокой.

Указавъ существенныя черты положенія о государственномъ земельномъ банкѣ, мы намѣтили, этимъ самымъ, и тѣ пункты, по которымъ происходила и происходитъ, быть можетъ, до сихъ поръ борьба между двумя противоположными теченіями или взглядами: общимъ, государственнымъ—и частнымъ, сословнымъ. Положеніе о государственномъ земельномъ банкѣ нанесло тяжелый ударъ преувеличеннымъ надеждамъ, возбужденнымъ, въ землевладѣльческихъ и тѣмъ болѣе въ дворянско-помѣщичьихъ сферахъ, обѣщаніемъ земскаго поземельнаго кредита. Значительное пониженіе ежегодныхъ платежей (болѣе чѣмъ на два процента противъ взимаемыхъ частными кредитными установленіями), выгоды, ожидаемыя отъ высокаго, сравнительно, курса государственныхъ закладныхъ листовъ, льготный срокъ для уплаты недоимокъ, возможность отсрочки и разсрочки—все это не удовлетворяло массу чаявшихъ „воспособленія“ отъ неистощимой, по ихъ понятіямъ, государственной казны. Въ особенности недовольными оказались тѣ, имѣнія которыхъ уже заложены въ частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Изъ ихъ среды—или отъ лица усердныхъ ихъ защитниковъ — идутъ самыя разнообразныя предложенія, несогласимыя, бо́льшею частью, съ основною мыслью законопроекта, а иногда и прямо ей противоположныя. Предлагается, напримѣръ, погасить всѣ долги поземельной собственности частнымъ банкамъ посредствомъ выпуска кредитныхъ билетовъ на соотвѣтствующую сумму (до 500 милліоновъ рублей). Имѣнія, освобожденныя, такимъ образомъ, отъ залога въ частныхъ банкахъ, признавались бы заложенными въ государственномъ банкѣ, а

владѣльцы ихъ платили бы въ казну 5%, считая въ томъ числѣ и ростъ, и погашеніе, и расходы на управленіе банкомъ. Въ суммѣ выпуска кредитныхъ билетовъ могла бы быть открыта подписка на государственныя бумаги, приносящія проценты, равный взимаемому съ владѣльцевъ заложенныхъ имѣній или даже нѣсколько бо́льшій, еслибы часть кредитныхъ билетовъ, поступившихъ въ обмѣнъ на новыя процентныя бумаги, была обращена на постройку желѣзныхъ дорогъ. Доходомъ съ этихъ дорогъ покрывалась бы разница между платежами съ заложенныхъ имѣній и процентами по новымъ займамъ. Указываются и другія мѣры, менѣе рѣшительныя, напр., принятіе въ залогъ государственнымъ банкомъ, по желанію владѣльца, каждаго имѣнія, заложеннаго въ частномъ кредитномъ установленіи, въ той суммѣ, въ какой оно здѣсь заложено, безъ производства новой оцѣнки и съ полнымъ удовлетвореніемъ прежняго долга за счетъ государственнаго банка.

Вторая категорія предложеній имѣетъ въ виду не однихъ только владѣльцевъ имѣній, уже заложенныхъ въ частныхъ кредитныхъ установленіяхъ, а всѣхъ будущихъ заемщиковъ государственнаго банка. Главная цѣль этихъ предложеній заключается въ томъ, чтобы гарантировать заемщиковъ противъ потерь, сопряженныхъ съ реализаціей закладныхъ листовъ ниже номинальной ихъ стоимости (обусловливающей собою размѣръ платежей заемщиковъ). Одни хотѣли бы присвоить государственнымъ закладнымъ листамъ свободное обращеніе внутри имперіи, по примѣру прежнихъ билетовъ опекунскаго совѣта, т.-е. допускать ихъ пріемъ при платежахъ казнѣ наравнѣ съ кредитными билетами; другіе требуютъ просто выдачи ссудъ кредитными билетами, въ суммѣ равной нарицательной цифрѣ долга; третьи, также настаивая на такомъ способѣ выдачи ссудъ, предлагаютъ записывать курсовую разницу особымъ долгомъ на заемщикѣ и погашать этотъ долгъ изъ прибылей банка. Другой предметъ желаній—это уменьшеніе цифры ежегодныхъ платежей, обязательныхъ для заемщиковъ. Мы видѣли уже, что въ одномъ изъ контръ-проектовъ эта цифра ограничивается пятью процентами, tout compris; той же цѣли предполагается достигнуть инымъ путемъ—безсрочностью ссудъ, т.-е. отсутствіемъ погашенія, причемъ вмѣсто закладныхъ листовъ пришлось бы выпускать свидѣтельства непрерывнаго дохода. Въ связи съ послѣднимъ предположеніемъ является мысль о взиманіи съ не-дворянина, покупающаго заложенное дворянское имѣніе, пяти или десяти-процентной доплаты къ суммѣ, въ которой имѣніе заложено, съ тѣмъ, чтобы эти доплаты обращались на погашеніе съ премій — не обязательно, а по усмотрѣнію банка — выпущенныхъ банкомъ свидѣтельствъ. — Третья категорія предложеній касается,

наконецъ, способовъ взысканія просроченныхъ ссудъ. По мнѣнію однихъ, имѣнія неисправныхъ владѣльцевъ должны поступать въ опеку или попечительство, по мнѣнію другихъ—они должны становиться собственностью министерства государственныхъ имуществъ или департамента удѣловъ, отъ которыхъ будетъ зависѣть либо оставить ихъ за собою, либо продать по вольной цѣнѣ въ дворянскій родъ, съ переводомъ долга.

Соединительнымъ звеномъ всѣхъ перечисленныхъ нами предложеній—и вмѣстѣ съ тѣмъ демаркаціонной чертой, отдѣляющей ихъ отъ первоначальнаго правительственнаго проекта—является, очевидно, служеніе частному интересу, стремленіе доставить ему перевѣсъ надъ интересомъ общимъ, государственнымъ. Проектъ министерства финансовъ обезпечиваетъ землевладѣльцевъ настолько, насколько это возможно безъ потерь для казны, т.-е. для плательщиковъ податей, для массы народа; авторы контръ-предложеній заботятся только о наибольшей выгодности государственнаго кредита для землевладѣльцевъ, хотя бы такая выгодность достигалась въ ущербъ казнѣ, въ ущербъ другимъ сословіямъ и классамъ общества. Чѣмъ инымъ, какъ не этой односторонней заботой, можно объяснить, напримѣръ, достопамятную мысль о погашеніи всѣхъ долговъ землевладѣльцевъ частнымъ кредитнымъ установленіямъ, путемъ выпуска кредитныхъ билетовъ на сумму 500 милліоновъ рублей? Не удивительно ли, что такая мысль могла быть заявлена именно въ то время, когда дѣйствуетъ указъ 1 января 1881 г., когда усилія правительства направлены къ изъятію изъ обращенія части кредитныхъ билетовъ? Какъ страстно, какъ слѣпо нужно быть преданнымъ одной общественной группѣ, чтобы поддерживать, съ надеждой на успѣхъ, мѣру, радикально противоположную господствующей финансовой системѣ—мѣру, изъ-за выгоды немногихъ ставящую на карту правильный ходъ всего государственнаго и народнаго хозяйства! Немногимъ лучше было бы и присвоеніе закладнымъ листамъ такой свободы обращенія, которая почти уравняла бы ихъ съ кредитными билетами. Менѣе крупными по своимъ возможнымъ результатамъ, но столь же несогласными съ справедливостью, представляются всѣ тѣ предложенія, цѣль которыхъ—возложить потери, сопряженныя съ реализаціей закладныхъ листовъ или съ перезалогомъ имѣній, не на заемщиковъ, а на казну, т.-е. опять-таки на тѣ же всевыносящія плечи плательщиковъ податей. Выражается ли эта цѣль рѣшительно и прямо, или скрывается за фантастическимъ проектомъ постройки желѣзныхъ дорогъ, доходъ съ которыхъ (а если дохода не будетъ?..) покрывалъ бы разницу между платежами заемщиковъ и платежами казны—это совершенно все равно; безразлично также, будутъ ли потери казны зависѣть отъ слишкомъ

высокой оцѣнки заложенныхъ имѣній или отъ выдачи въ ссуду слишкомъ большой части оцѣночной ихъ стоимости, или отъ выдачи ссуды полностью, при курсѣ закладныхъ листовъ ниже pari, или отъ недостаточной энергіи въ взиманіи просроченныхъ ссудъ. Важно то, что во всѣхъ этихъ случаяхъ помощь достаточному классу общества будетъ оказываться на счетъ недостаточной массы, что кредитъ, законный только при безубыточности его для государства, получитъ характеръ благотворительности, ничѣмъ не вызываемой и не оправдываемой. Мы не утверждаемъ, чтобы къ министерскому проекту нельзя было прибавить ни одной статьи, благопріятной для заемщиковъ; мы настаиваемъ только на необходимости сохранить неприкосновеннымъ основное начало проекта—преобладаніе государственнаго интереса надъ интересомъ заемщиковъ. Поясникъ нашу мысль двумя примѣрами. Одно изъ предложеній, приведенныхъ нами выше, направлено къ тому, чтобы разница между номинальною и курсовою, въ моментъ выдачи ссуды, стоимостью закладныхъ листовъ записывалась особымъ долгомъ на заемщикѣ и погашалась изъ прибылей банка. Ничего противорѣчащаго основному принципу законопроекта въ этомъ предложеніи нѣтъ, потому что государство вовсе не думаетъ обращать въ свою пользу прибыли банка; но что, если такихъ прибылей не будетъ вовсе, или онѣ будутъ поглощаться всецѣло убытками отъ банковыхъ операцій? Чѣмъ и какъ будетъ погашаемъ тогда „особый долгъ“ заемщика? Не преждевременно ли поэтому включать теперь въ уставъ банка такое правило, которое, быть можетъ, окажется неисполнимымъ? Не лучше ли предоставить разрѣшеніе этого вопроса будущему, или по крайней мѣрѣ указать способъ погашенія „особаго долга“, при невозможности покрыть его изъ прибылей банка? Безъ такого указанія, „особые долги“ легко могутъ обратиться въ источникъ невознаградимыхъ потерь для новаго учрежденія. Другой примѣръ: въ замѣнъ публичной продажи, какъ послѣдствія просрочки, предлагается взятіе имѣнія въ опеку или попечительство. Эту мысль нельзя отвергнуть безусловно, такъ какъ интересы банка или казны вовсе не требуютъ продажи имѣнія всегда, во что бы то ни стало: но столь же невозможно и принять ее безъ всякой оговорки, т.-е. сдѣлать учрежденіе опеки (или попечительства) общимъ правиломъ, продолжительность ея—безсрочной. Необходимо опредѣлить, въ какихъ случаяхъ и насколько времени можетъ быть учреждаема опека надъ имѣніемъ неисправнаго должника, при какихъ условіяхъ банкъ можетъ приступить къ продажѣ имѣнія, состоящаго въ опекѣ, и т. п. Вполнѣ неудовлетворительными кажутся намъ всѣ комбинаціи, при которыхъ нельзя было бы приводить въ ясность убытки, понесенные банкомъ. Сюда относится, напримѣръ, оставленіе имѣній, въ

случаѣ просрочки платежа, за министерствомъ государственныхъ имуществъ или департаментомъ удѣловъ. Само собою разумѣется, что эти учрежденія не должны быть лишены права покупать съ публичнаго торга имѣній, продаваемыхъ за долгъ банку—но при такой покупкѣ, какъ и при всякой другой, должна и можетъ быть выяснена потеря банка (или отсутствіе потери), между тѣмъ какъ удержаніе имѣнія казною, безъ предшествующихъ торговъ, оставляло бы этотъ вопросъ вовсе неразрѣшеннымъ. Помириться съ этимъ было бы легко, еслибы имѣнія, удержанныя казною, становились ея неотъемлемою собственностью и раздавались ею въ долгосрочную аренду малоземельнымъ или безземельнымъ крестьянамъ; но въ томъ проектѣ, противъ котораго мы возражаемъ, казнѣ предназначается роль передаточной инстанціи, устраивающей переходъ имѣнія отъ одного дворянскаго рода къ другому.

Намъ могутъ замѣтить, что соображенія, приводимыя нами въ защиту основныхъ началъ законопроекта о государственномъ земельномъ банкѣ, не имѣютъ примѣненія къ дворянскому земельному банку, поставленному, рескриптомъ 21-го апрѣля, на мѣсто государственнаго. Дворянскій банкъ учреждается съ цѣлью „привлеченія дворянъ къ постоянному пребыванію въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ предстоитъ имъ преимущественно приложить свои силы къ дѣятельности, требуемой отъ нихъ долгомъ ихъ званія". Стремленіемъ къ этой цѣли не оправдываются ли нѣкоторыя жертвы со стороны государства, не оправдывается ли удешевленіе дворянско-помѣщичьяго кредита на счетъ казны, т.-е. на счетъ народа? Мы думаемъ, что нѣтъ. Все различіе между положеніемъ дѣлъ до и послѣ обнародованія рескрипта заключается въ томъ, что прежде шла рѣчь о государственной помощи землевладѣнію вообще, а теперь право на помощь признано за однимъ только дворянскимъ землевладѣніемъ. Помощь, оказываемая самымъ фактомъ открытія государственнаго кредита, весьма значительна — такъ значительна, что нѣтъ ни надобности, ни основанія усиливать ее невыгодными для государства условіями кредита. Привилегія, созданная для дворянъ, увеличиваетъ для нихъ уже сама по себѣ шансы успѣха въ соперничествѣ съ землевладѣльцами другихъ сословій. Въ государственномъ земельномъ банкѣ могли бы кредитоваться, на равныхъ правахъ, всѣ землевладѣльцы; дешевый кредитъ не могъ бы сдѣлаться, въ рукахъ одной категоріи землевладѣльцевъ, орудіемъ борьбы противъ всѣхъ остальныхъ. Теперь онъ становится именно такимъ орудіемъ—орудіемъ сильнымъ и безъ дальнѣйшаго обостренія, т.-е. безъ дальнѣйшихъ льготъ въ пользу заемщиковъ дворянскаго банка. Представимъ себѣ, что изъ двухъ землевладѣльцевъ, владѣ-

ющихъ двумя смежными одинаково цѣнными участками земли, одинъ принадлежитъ къ дворянскому сословію, другой — не принадлежитъ къ нему. Первый получаетъ ссуду, въ цифрѣ почти равной номинальному долгу, за 6%, съ постепеннымъ уменьшеніемъ этого платежа до 5½%, и съ перспективой весьма серьезныхъ льготъ въ случаѣ неисправности; второй по прежнему долженъ платить 8 — 9 процентовъ за ссуду, реализованную при сравнительно невыгодныхъ условіяхъ, тѣмъ болѣе невыгодныхъ, чѣмъ сильнѣе отразится на частныхъ банкахъ учрежденіе дворянскаго банка, — и съ постояннымъ рискомъ продажи имѣнія, хотя бы просрочка въ платежѣ была вызвана пожаромъ, наводненіемъ или неурожаемъ. Неужели различіе между обоими землевладѣльцами еще недостаточно велико, неужели необходимо расширять и углублять его еще больше, въ ущербъ плательщикамъ податей?... Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ основаніи поощренія, оказываемаго дворянскому землевладѣнію, лежитъ не что иное, какъ цѣлый рядъ предположеній: предположеніе, что „оскудѣніе“ землевладѣльца-дворянина зависитъ не отъ его собственной небрежности, неумѣлости, или неразсчетливости, а отъ непреодолимыхъ и неотвратимыхъ обстоятельствъ; предположеніе, что полученная на льготныхъ условіяхъ ссуда пойдетъ на улучшеніе хозяйства, а не на что-либо другое, менѣе производительное; предположеніе, что улучшивъ свое хозяйство и поправивъ свое состояніе, дворянинъ-землевладѣлецъ поселится въ своей усадьбѣ и приметъ дѣятельное участіе въ мѣстномъ управленіи; предположеніе, что это участіе будетъ полезно для населенія; предположеніе, что дворянинъ-землевладѣлецъ окажется лучшимъ сосѣдомъ, работодателемъ, совѣтникомъ и помощникомъ для крестьянъ, чѣмъ землевладѣлецъ не-дворянскаго происхожденія, и т. д. Чѣмъ больше подобныхъ предположеній, тѣмъ легче можетъ не оправдаться одно изъ нихъ — или многія. Кредитъ, ими обусловливаемый, подлежитъ поэтому удешевленію лишь въ такихъ предѣлахъ, въ какихъ снисхожденіе къ однимъ, немногимъ, не служитъ отягощеніемъ для другихъ, для массы народа.

Газетамъ и журналамъ домогающимся все большихъ и большихъ льготъ для дворянъ-землевладѣльцевъ, не мѣшало бы вспомнить одинъ фактъ изъ своего собственнаго недавняго прошедшаго. Когда, три года тому назадъ, въ высшихъ законодательныхъ учрежденіяхъ разсматривался законопроектъ о крестьянскомъ земельномъ банкѣ, органы печати, въ настоящее время столь усердно ратующіе за интересы одного сословія, являлись сторонниками совсѣмъ другого начала; они утверждали, что мелкій поземельный кредитъ не долженъ быть исключительно крестьянскимъ, что пользованіе имъ, въ

извѣстныхъ размѣрахъ (до 10—15 тысячъ рублей) должно быть доступно для всѣхъ классовъ общества. Оставаясь послѣдовательными самимъ себѣ, они должны были бы стоять и теперь за безсословный кредитъ или, по крайней мѣрѣ, за умѣренность сословныхъ кредитныхъ привилегій. Нельзя не замѣтить, однако, что противорѣчіе коренится здѣсь лишь въ выборѣ аргументовъ, а не въ основной мысли. Въ 1882 г., имѣлось въ виду затормазить развитіе крестьянскаго землевладѣнія, затруднить переходъ земель изъ рукъ дворянства въ руки крестьянъ—теперь имѣется въ виду та же цѣль, только достигаемая инымъ путемъ, иными средствами. Главная ошибка журналовъ, о которыхъ мы говоримъ, заключается въ томъ, что они не принимаютъ въ разсчетъ одного существенно-важнаго различія между крестьянствомъ и дворянствомъ. Крестьянство—это масса, вся жизнь которой связана съ землею. Способствуя сосредоточенію въ рукахъ этой массы необходимаго для нея количества земли, государство покровительствуетъ не сословію—оно покровительствуетъ землевладѣльцамъ, лично обрабатывающимъ землю. Отсюда ограниченіе ссудъ, выдаваемыхъ крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ, извѣстными минимальными нормами, сообразно съ числомъ дворовъ или душъ. И все-таки основанія, на которыхъ дѣйствуетъ крестьянскій банкъ, исключаютъ возможность убытковъ для казны или, по крайней мѣрѣ, доводятъ ея рискъ до наименьшихъ размѣровъ. Мыслимо ли затѣмъ такое устройство „дворянскаго“ кредита, при которомъ потери со стороны казны были бы не только возможны, не только вѣроятны, но и неизбѣжны?

Параллель между банками крестьянскимъ и дворянскимъ наводитъ еще на другія мысли. Мы только-что упомянули объ ограниченіяхъ, которымъ подчинены ссуды изъ крестьянскаго поземельнаго банка. Управленіемъ банка эти ограниченія понимаются и примѣняются весьма серьезно; мы знаемъ, напримѣръ, что оно отказываетъ въ ссудѣ, если покупщики владѣютъ уже такимъ количествомъ земли, больше котораго они не могутъ обработать силами своихъ семействъ. Отсюда возможность предполагать, что ссуды, производимыя крестьянскимъ банкомъ, приводятъ, въ большинствѣ случаевъ, къ своей настоящей цѣли, что средства, получаемыя крестьянами отъ государства, не становятся орудіемъ эксплуатаціи или наживы. Нѣчто подобное можетъ и, какъ намъ кажется, должно быть достигнуто и по отношенію къ дворянскому банку. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что однимъ изъ мотивовъ замѣны безсословнаго поземельнаго банка сословнымъ, дворянскимъ, послужило недовѣріе къ способности и готовности землевладѣльцевъ-не-дворянъ пользоваться какъ слѣдуетъ благодѣяніемъ государственнаго кредита. Высказы-

валось опасеніе, что открытіе дешеваго кредита каждому землевладѣльцу будетъ равносильно поощренію хозяйственныхъ или экономическихъ безобразій, спекуляціи землями, скупки ихъ для хищнической разработки или для раздачи въ аренду по ростовщическимъ цѣнамъ. Положимъ, что это опасеніе не было лишено основаній; но развѣ для его устраненія достаточно простой замѣны безсословнаго кредита кредитомъ дворянскимъ? Развѣ кулаки, истощающіе землю и эксплуатирующіе народъ, встрѣчаются только между разночинцами? Чтобы убѣдиться въ противномъ, стоитъ вспомнить хотя бы того полтавскаго ростовщика изъ среды дворянъ-землевладѣльцевъ, о которомъ мы упоминали въ одномъ изъ нашихъ предъидущихъ обозрѣній (№ 3). Само собою разумѣется, что управленію банкомъ не можетъ быть предоставлена повѣрка нравственныхъ качествъ землевладѣльца, ходатайствующаго о ссудѣ; но и помимо такой повѣрки есть возможность убѣдиться, до извѣстной степени, въ томъ, что ссуда будетъ употреблена производительно и согласно съ цѣлью учрежденія дворянскаго банка. Такъ напримѣръ, условіемъ для выдачи ссуды могло бы служить постоянное пребываніе въ усадьбѣ въ продолженіе нѣсколькихъ предшествовавшихъ лѣтъ или производство въ имѣніи извѣстныхъ хозяйственныхъ улучшеній, или обязательство произвести ихъ въ теченіе опредѣленнаго срока, и т. п. Исключеніе изъ общаго правила могло бы быть допущено только для перезалога имѣній, уже заложенныхъ въ частныхъ кредитныхъ установленіяхъ, такъ какъ здѣсь достаточнымъ мотивомъ къ выдачѣ ссуды является замѣна однихъ, чрезмѣрно обременительныхъ, условій кредита другими, болѣе легкими.

Ограниченія въ родѣ предлагаемыхъ нами имѣютъ во всякомъ случаѣ большее право на существованіе, чѣмъ ограниченія другой категоріи, рекомендуемыя „Московскими Вѣдомостями“. Разъ, что пользованіе государственнымъ кредитомъ признано привилегіей дворянства, переходъ имѣнія, заложеннаго въ дворянскомъ банкѣ въ руки не-дворянина, естественно долженъ имѣть послѣдствіемъ возвращеніе выданной подъ имѣніе ссуды; но идти еще дальше, требовать отъ покупщика-недворянина, сверхъ возврата ссуды, еще пяти или десяти-процентной къ ней доплаты, значило бы, съ одной стороны, подкладывать палки подъ колеса жизни, задерживать неизбѣжныя и весьма часто желательныя перемѣны въ распредѣленіи поземельной собственности, съ другой—жертвовать реальными интересами отдѣльныхъ дворянъ мнимымъ интересамъ всего дворянства. Заплатить за имѣніе больше, чѣмъ оно стоитъ, никто—кромѣ самыхъ исключительныхъ случаевъ—не согласится; вся тяжесть доплаты легла бы поэтому не на покупщика-недворянина, а на продавца-дворянина.

Или, быть можетъ, этого-то именно и хотятъ авторы предложенія, разсматривая доплату какъ премію въ пользу продажи имѣнія дворяниномъ, дворянину, какъ штрафъ за продажу дворянскаго имѣнія лицу другого сословія? Но и теперь вѣдь никто изъ дворянъ не старается, во что бы то ни стало, сбыть свое имѣніе не-дворянину; если между покупателями дворянскихъ имѣній такъ много не-дворянъ, то это зависитъ отъ совокупности причинъ, изъ которыхъ развѣ весьма немногія будутъ устранены или смягчены существованіемъ дворянскаго банка. Еще менѣе основательнымъ и еще менѣе выгоднымъ для самихъ дворянъ было бы предлагаемое той же газетой запрещеніе продажи заложенныхъ въ дворянскомъ банкѣ имѣній за долги постороннимъ лицамъ. Оно было бы неосновательно, потому что достаточнымъ обезпеченіемъ для банка служитъ право на преимущественное удовлетвореніе изъ вырученной за имѣніе суммы; оно было бы невыгодно для дворянъ, потому что значительно уменьшило бы ихъ кредитоспособность. Не говоримъ уже о нарушеніи правъ частныхъ кредиторовъ, еслибы запрещенію продажи было дано обратное дѣйствіе. Не выдерживаетъ далѣе критики и мысль объ ограниченіи по отношенію къ имѣніямъ, заложеннымъ въ дворянскомъ банкѣ—завѣщательнаго права. Завѣщаніе, составленное въ пользу члена другого рода, проектируется признавать дѣйствительнымъ лишь подъ условіемъ согласія на то банка. Но развѣ банкъ заинтересованъ въ томъ, какому роду принадлежитъ заложенное имѣніе? Развѣ отъ этого зависитъ состоятельность владѣльца или цѣлесообразное употребленіе ссуды? Ограниченія въ правѣ распоряженія поземельною собственностью, при жизни или на случай смерти, безусловно необходимы—но основанія ихъ не должны быть столь узки и односторонни, и регулированіе ихъ должно быть предоставлено учрежденіямъ совершенно другого рода, чѣмъ земельный банкъ.

Во всѣхъ отношеніяхъ неудачной кажется намъ мысль о сообщеніи ссудамъ, которыя будутъ выдаваемы дворянскимъ земельнымъ банкомъ, характера безсрочности. Фантастичность финансоваго проекта, связаннаго съ этою мыслью (выпускъ непрерывно-доходныхъ свидѣтельствъ, погашаемыхъ, съ преміями, когда вздумается министерству финансовъ), не требуетъ доказательствъ; нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, привлекать кредиторовъ обѣщаніемъ премій, съ другой—обусловливать исполненіе этого обѣщанія усмотрѣніемъ того или другого вѣдомства, въ свою очередь зависящимъ отъ случайныхъ обстоятельствъ (отъ количества и цѣнности заложенныхъ дворянскихъ имѣній, пріобрѣтаемыхъ не-дворянами). Самимъ дворянамъ-землевладѣльцамъ безсрочность кредита принесла бы гораздо болѣе вреда,

чѣмъ пользы. Сложивъ съ нихъ ничтожный, едва замѣтный (полупроцентный) взносъ на погашеніе, она лишила бы ихъ самаго простого и удобнаго средства освободить имѣніе отъ лежащаго на немъ долга, заставила бы ихъ свыкнуться съ задолженностью имѣнія, какъ съ чѣмъ-то нормальнымъ и неизбѣжнымъ. Гораздо естественнѣе платить нѣсколько больше и сознавать, что съ каждымъ послѣдовательнымъ платежемъ приближается моментъ окончательной расплаты, чѣмъ платить нѣсколько меньше, вовсе не имѣя въ виду прекращенія платежей. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что безсрочность кредита, въ глазахъ ея изобрѣтателей—не что иное, какъ средство связать дворянское землевладѣніе, сдѣлать его по возможности неизмѣняемымъ и неподвижнымъ, въ разрѣзъ съ требованіями жизни и въ ущербъ истиннымъ интересамъ народа и государства.

Намъ остается только упомянуть о внѣшней организаціи банка. Проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ предоставлялъ завѣдываніе дѣлами банка совѣту, въ которомъ предсѣдательствовалъ бы управляющій банкомъ, опредѣляемый Высочайшею властью, а члены отчасти (въ числѣ не болѣе семи) назначались бы министромъ финансовъ, отчасти (въ числѣ не болѣе четырехъ) приглашались бы министромъ изъ среды членовъ отдѣленій банка, выбранныхъ дворянскими и земскими собраніями. Каждое мѣстное отдѣленіе банка должно было состоять изъ управляющаго и двухъ членовъ-оцѣнщиковъ, назначаемыхъ министромъ финансовъ, и двухъ членовъ, избираемыхъ—одинъ дворянскимъ, другой земскимъ собраніемъ. Разъ, что на мѣсто государственнаго земельнаго банка поставленъ банкъ дворянскій, члены по выбору земскихъ собраній естественно должны быть замѣнены, какъ въ отдѣленіяхъ банка, такъ и въ совѣтѣ, представителями дворянства; но крайніе сословники идутъ гораздо дальше. „Должности дворянскаго банка,—восклицаетъ главный органъ этой группы,—какъ въ центральномъ управленіи, такъ и въ отдѣленіяхъ его, слѣдовало бы предоставлять лицамъ отъ дворянства. Кому же и наблюдать дворянскіе интересы, какъ не лицамъ отъ дворянства? Съ другой стороны, кому ближе знать нужды и потребности дворянскаго землевладѣнія, а также и способы къ ихъ удовлетворенію, какъ не самимъ помѣщикамъ?“ Прочитавъ эти строки, можно подумать, что дворянскій банкъ учреждается на спеціально-дворянскія средства и исключительно въ виду спеціально-дворянскихъ интересовъ. Неужели государство можетъ ограничиться скромною ролью поручителя или bailleur de fonds, разрѣшивъ одному сословію распоряжаться по своему усмотрѣнію общегосударственнымъ дѣломъ? Чѣмъ ближе представители дворянства способны принять къ сердцу „нужды и потребности“ своего

сословія, тѣмъ меньше можетъ быть рѣчь о предоставленіи имъ однимъ безконтрольнаго управленія дворянскимъ банкомъ. „Дворянскій“ по своему назначенію, онъ остается государственнымъ по своему происхожденію, по источнику своихъ средствъ и основанію своего кредита; государственнымъ, а не сословнымъ, должно быть. слѣдовательно, и его устройство. Для той доли вліянія, которая законно и основательно можетъ быть дана дворянству въ дворянскомъ банкѣ, вполнѣ достаточно выборныхъ членовъ отдѣленій и совѣта, установляемыхъ министерскимъ законопроектомъ.—Сдѣлать дворянство полновластнымъ распорядителемъ создаваемаго въ его пользу государственнаго кредита не предлагалъ даже такой ревнитель дворянскихъ привилегій, какъ г. Новосельскій. Констатируя слабое развитіе ссудъ подъ соло-векселя, разрѣшенныхъ законами 28 мая 1883 и 24 января 1884 г. [1]), г. Новосельскій („Русскій Вѣстникъ“, № 3) доказывалъ необходимость допустить открытіе въ каждомъ уѣздѣ одного или нѣсколькихъ союзовъ помѣщиковъ-дворянъ, занимающихся извлеченіемъ доходовъ изъ земли не сдачей угодій въ аренду или полей для обработки исполу, а путемъ самостоятельной хозяйственной дѣятельности, и открывать каждому союзу въ государственномъ банкѣ опредѣленный кредитъ, изъ котораго члены союза могли бы получать краткосрочныя ссуды, съ круговою другъ за друга порукою. Итакъ. кредитованіе дворянскихъ союзовъ г. Новосельскій предлагаетъ оставить за учрежденіемъ всецѣло государственнымъ. разрѣшивъ союзамъ только распредѣленіе ассигнованнаго кредита между своими членами; гарантіей правильности дѣйствій союза является. притомъ, взаимная отвѣтственность его членовъ. Мы далеки отъ мысли защищать проектъ г. Новосельскаго, весь проникнутый антипатичнымъ для насъ узко-сословнымъ духомъ [2]);

[1]) Нельзя сказать, чтобы цифра ссудъ этого рода была такъ незначительна, какъ утверждаетъ г. Новосельскій. Въ продолженіе десяти мѣсяцевъ (съ 1 мая 1884 по 1 марта 1885 г.) общая сумма разрѣшеннаго кредита не достигла, правда, и двухъ милліоновъ рублей — но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что выдача ссудъ была открыта, до 1 марта нынѣшняго года, только въ девятнадцати губерніяхъ, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ—въ самомъ концѣ отчетнаго періода. Что открытіе кредита не обставлено излишними затрудненіями, это явствуетъ изъ того, что цифра разрѣшеннаго кредита (1.967,400 р.) далеко превышаетъ цифру дѣйствительно полученныхъ ссудъ (1.100,000 р.).

[2]) До какой степени доведена у г. Новосельскаго дворянская тенденціозность, объ этомъ можно судить по слѣдующему обстоятельству: онъ предлагаетъ возложить на проектируемые имъ дворянскіе союзы открытіе и веденіе краткосрочнаго кредита для крестьянъ—другими словами, создать для дворянства неизсякаемый источникъ вліянія на крестьянъ. Изобрѣтательность нашихъ теоретиковъ и практиковъ „властной руки“ по-истинѣ изумительна; чего только не придумываютъ они для уловленія массы, какими только сѣтями не замышляютъ замѣнить лопнувшія „крѣпостныя сѣти!“

мы ссылаемся на него только съ цѣлью показать, что даже въ рядахъ сословниковъ не всѣ относятся къ очередному вопросу съ легкомыслiемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, не всѣ хотятъ отдать государственный поземельный кредитъ въ полное и безусловное распоряженіе одного сословія.

Выходя изъ узкой сферы сословныхъ интересовъ, отрадно встрѣтиться съ такой широкой, гуманной, справедливой мѣрой, какъ предполагаемая повсемѣстная (кромѣ Сибири) отмѣна подушной подати. Остановка въ движенiи этого вопроса, о которой мы говорили при разборѣ государственной росписи на 1885 г. (см. февральское внутреннее обозрѣніе), была вызвана, какъ оказывается теперь, именно желанiемъ привести его къ окончательному рѣшенію, не ожидая крайняго срока (1891 г.), назначеннаго указомъ 18 мая 1882 г. Взиманіе подушной подати предполагается, какъ мы слышали, прекратить въ Европейской Россіи: для бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ—съ 1 января 1886, для бывшихъ государственныхъ крестьянъ съ 1 января 1887 г. Одновременно съ послѣдней мѣрой должна быть повышена оброчная подать, вносимая бывшими государственными крестьянами—повышена по каждому селенію на сумму уплачиваемой имъ теперь подушной подати, но съ тѣмъ, чтобы увеличенный по этому разсчету оброчный платежъ съ десятины надѣла не превышалъ средняго по уѣзду выкупного платежа бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Обусловливаемое этой оговоркой уменьшеніе податного бремени составитъ около двухъ милліоновъ рублей и упадетъ, въ силу принятаго принципа соразмѣрности между оброчною податью и выкупными платежами, именно на тѣ губерніи, для которыхъ оно всего болѣе необходимо (петербургская, новгородская, псковская, тверская и др.). Для пополненія пробѣла въ государственныхъ доходахъ имѣется въ виду, помимо повышенія оброчной подати, еще другое средство: повышеніе питейнаго акциза на одну копѣйку съ градуса спирта, т.-е. доведеніе акциза до девяти копѣекъ съ градуса. Нельзя сказать, чтобы эта мѣра заслуживала, сама по себѣ, большого сочувствія—но изъ двухъ золъ нужно выбирать меньшее, какимъ, безъ сомнѣнія, является повышеніе цѣны вина, сравнительно съ сохраненіемъ подушной подати. Найти инымъ путемъ двадцать слишкомъ милліоновъ, необходимыхъ для уравновѣшенія бюджета, въ настоящую минуту едва ли было бы возможно. Если значительная часть отмѣняемаго сбора и упадетъ, въ другой лишь формѣ, на ту же массу населенія, которая несла его до сихъ поръ, то перемѣна къ лучшему все-таки будетъ далеко не маловажна. Исчезнетъ, наконецъ, нема-

вистное различіе между податными и неподатными классами общества; распредѣленіе платежей сдѣлается болѣе правильнымъ; очистится, вмѣстѣ съ тѣмъ, путь для другой реформы, давно уже поставленной на очередь, но до сихъ поръ не двигавшейся съ мѣста. Когда, въ 1883 г., совершился второй шагъ къ отмѣнѣ подушной подати, министерству внутреннихъ дѣлъ предоставлено было „войти въ соображеніе о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя могутъ быть сдѣланы въ дѣйствующихъ правилахъ о паспортахъ и о перечисленіи лицъ податного состоянія изъ одного общества въ другое, съ цѣлью доставленія бо̀льшей свободы передвиженія тѣмъ изъ сихъ лицъ, съ коихъ сложена подушная подать". Если порученіе, данное тогда министру внутреннихъ дѣлъ, осталось безъ исполненія, то причину этому слѣдуетъ искать, по всей вѣроятности, именно въ томъ, что подушная подать въ 1883-мъ, какъ и въ 1882-мъ году, была отмѣнена вполнѣ только для немногихъ категорій плательщиковъ, и что установлять частныя облегченія въ паспортныхъ правилахъ признано было не вполнѣ удобнымъ. Теперь вопросъ о паспортахъ поднимается вновь, съ гораздо бо̀льшими шансами успѣха. На министровъ финансовъ и внутреннихъ дѣлъ предполагается возложить составленіе и внесеніе въ государственный совѣтъ предположеній объ измѣненіяхъ въ паспортной системѣ, въ связи съ отмѣною подушнаго счета населенія. Есть, такимъ образомъ, основаніе надѣяться, что отмѣна подушной подати повлечетъ за собою отмѣну или значительное уменьшеніе стѣсненій, матеріальный вредъ которыхъ для народа выражается далеко не одною лишь суммой паспортнаго сбора. Дальнѣйшихъ облегченій для массы населенія можно ожидать отъ другихъ мѣръ, также связанныхъ съ отмѣной подушной подати: отъ переоброчки государственныхъ крестьянъ, не въ видахъ повышенія оброчной подати (норму, которой она достигнетъ по присоединеніи къ ней подушной подати, предполагается объявить предѣльною, наивысшею), а въ видахъ согласованія ея съ доходностью надѣловъ,—и отъ пересмотра законовъ, которыми установлена круговая отвѣтственность по платежу казенныхъ окладныхъ сборовъ.

НАШИ ТРЯПИЧНИКИ

Изслѣдованіе одного изъ главныхъ источниковъ заразы.

Всматриваясь, какъ практическій врачъ, въ болѣзни, свирѣпствующія въ Россіи, и слѣдя за статистическими данными заболѣваемости въ Петербургѣ, каждый практическій врачъ не можетъ не прійдти къ слѣдующему заключенію: Петербургъ находится постоянно подъ бичемъ цѣлой обширной группы инфекціонныхъ и заразныхъ болѣзней. Ее составляютъ: брюшной, сыпной и возвратный тифъ, оспа, дифтеритъ, скарлатина, корь, коклюшъ и т. д. Въ извѣстные періоды времени, ничѣмъ опредѣленнымъ не отличающіеся, всѣ формы этой группы какъ будто притихаютъ, но ни одна изъ нихъ никогда совершенно не прекращается. Въ другое время, тоже ничѣмъ характернымъ не выдающееся, замѣчается общее ожесточеніе заболѣванія всѣми заразными и инфекціонными формами; чаще же всего изъ всей группы, въ данное время, выдѣляется одна форма, временно преобладающая надъ другими, и ей достается львиная доля добычи. Просвирѣпствовавъ болѣе или менѣе долгое время, она, неизвѣстно по чему, вдругъ ослабѣваетъ, уступая пальму первенства другому виду этихъ болѣзней. Прежде, въ тотъ или другой періодъ времени, огромное число изъ населенія заболѣвало брюшнымъ тифомъ; нѣкоторое время спустя сыпной тифъ, до того мало распространенный, началъ сильно увеличиваться, а количество заболѣваемыхъ брюшнымъ тифомъ замѣтно уменьшалось; то же самое мы видѣли съ оспой, дифтеритомъ, скарлатиной и т. п. Въ продолженіе долгаго времени и въ нѣсколько пріемовъ азіатская холера такъ долго гостила у насъ въ Петербургѣ, какъ нигдѣ въ Европѣ. Эти колебанія какъ въ временномъ развитіи ожесточенія, такъ и въ ослабленіи отдѣльныхъ видовъ указанной группы болѣзней, очевидно, далеко не вполнѣ зависятъ отъ перехода заразы отъ больныхъ и ихъ выдѣленій, отъ вліянія платья и заразныхъ жилищъ на здоровыхъ. Еслибы это имѣло мѣсто, то при полнѣйшемъ игнорированіи до настоящаго времени всѣхъ дезинфекцирующихъ мѣръ въ жилищахъ бѣдняковъ, гдѣ преимущественно гнѣздятся инфекціонныя и заразныя болѣзни, при нечистотѣ и дурной вентиляціи этихъ жилищъ и при ужасныхъ гигіеническихъ условіяхъ ихъ обитателей, разъ развившаяся зараза или инфекція должна была бы постоянно расти и окончиться только повальнымъ пораженіемъ всѣхъ къ ней расположенныхъ жителей.

Мы же видимъ, наоборотъ, что та или другая заразная или инфекціонная форма, достигшая наибольшаго развитія, вдругъ теряетъ свою силу и уменьшается независимо отъ какихъ бы то ни было мѣръ гигіенистовъ. Статистика инфекціонныхъ и заразныхъ больныхъ въ Петербургѣ доказываетъ сказанное не только въ настоящее время, когда употребляются кой-какія мѣры обеззараженія жилищъ, но и относительно прежнихъ лѣтъ, когда распространеніе заразы отъ больныхъ на здоровыхъ не встрѣчало абсолютно никакихъ преградъ, и когда зараженныя квартиры оставались неприкосновенными разсадниками инфекціонныхъ и заразныхъ болѣзней. Все это заставляетъ думать, что, независимо отъ непосредственной заразы, передаваемой больными, ихъ одеждой и другими предметами, съ которыми они приходили въ соприкосновеніе, а также воздухомъ ихъ жилья, на развитіе и распространеніе заразныхъ болѣзней вліяютъ и другія, болѣе отдаленныя, такъ сказать, внѣшнія причины. Одна изъ этихъ причинъ составляетъ предметъ настоящей статьи.

Въ Россіи издавна существуетъ промыселъ тряпьемъ и костями. Я знаю здѣсь купцовъ, наживщихъ милліонныя состоянія этой торговлей. Ея поприщемъ служатъ не отдѣльные пункты и города, а вся сплошная Россія отъ архангельской и олонецкой губерній до самыхъ южныхъ, восточныхъ и западныхъ ея окраинъ. Отъ большихъ городовъ до самыхъ малыхъ селъ и деревень, всякая баба и крестьянинъ знаютъ, что рано или поздно явится тряпичникъ за такимъ товаромъ, и каждый, кто поразсчетливѣе, по мѣрѣ возможности, собираетъ для него всякое тряпье и кости. Тряпичники разъѣзжаютъ по городамъ и деревнямъ съ глиняной посудой, съ бусами и тому подобнымъ товаромъ и мѣняютъ его на тряпки и кости. Кто не попадается на эту ловушку, тотъ получаетъ за собранное деньгами. По имѣющимся у меня вѣрнымъ свѣденіямъ, въ сѣверныхъ губерніяхъ, какъ-то: въ архангельской, вологодской, новгородской и с.-петербургской, платятъ приблизительно по $^1/_2$ копѣйки за фунтъ тряпья, а за пудъ костей отъ 5-ти и не выше 10-ти копѣекъ. Разумѣется, что тряпки и кости, какъ отбросы одной семьи, слишкомъ ничтожны количествомъ, и потому желающіе получить за нихъ какую-нибудь плату собираютъ ихъ посредствомъ ребятишекъ на заднихъ дворахъ, въ навозныхъ кучахъ, мусорныхъ ямахъ и т. п. Въ Петербургѣ и Москвѣ существуютъ аферисты, дающіе самое скудное вознагражденіе спеціалистамъ-тряпичникамъ, приносящимъ имъ еженедѣльно все собранное. Этотъ товаръ собирается и накопляется понемногу—мѣсяцами и годами, сохраняется на чердакахъ, подвалахъ или вообще въ мѣстахъ возлѣ жилищъ. Количество костей животныхъ, битыхъ для собственнаго прокормленія семьи, также очень ничтожно, а по-

тому сборщики костей ищутъ и собираютъ ихъ вездѣ, они, разумѣется, не брезгаютъ и костями падали. Эта жатва особенно обильна въ мѣстахъ, гдѣ господствуютъ эпизоотіи. Мнѣ передавали за достовѣрное, что между собранными, такимъ образомъ, костями, встрѣчаются и человѣческія. Послѣднія получаются при рытіи канавъ и ямъ на старыхъ кладбищахъ, или когда мертвые хоронятся не глубоко въ землѣ и собаки вытаскиваютъ человѣческія кости изъ подъ незначительнаго слоя покрывающей ихъ земли. Кто знакомъ съ поверхностнымъ зарываніемъ труповъ на деревенскихъ кладбищахъ и недостаточными или совершенно отсутствующими оградами послѣднихъ, тотъ вполнѣ можетъ повѣрить сказанному.

Всѣмъ извѣстно, что лучшимъ воспріемникомъ и хранителемъ всѣхъ возможныхъ болѣзненныхъ заразъ представляются шерстяныя ткани. Доказано фактами, что шерстяныя вещи и платья, бывшія въ соприкосновеніи съ чумными, дифтеритными и тому подобными заразительными больными, сохраняютъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, разъ воспринятую заразу. Исторія развитія чумныхъ эпидемій ясно показываетъ, что иныя распространялись только шерстянымъ платьемъ зачумленнаго, вынутымъ изъ сундука, въ которомъ оно безвредно хранилось въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. На этотъ способъ распространенія заразныхъ болѣзней уже обращено вниманіе за границей. M. Gilbert описалъ случаи распространенія оспы старымъ тряпьемъ и старымъ платьемъ. Марсельская городская дума въ 1879 году сдѣлала обязательное постановленіе о дезинфекціи тряпья и платья отъ оспенныхъ больныхъ. Во время послѣдней холерной эпидеміи во Франціи торговля тряпьемъ и выдѣлка изъ нихъ на фабрикахъ разныхъ продуктовъ была совершенно запрещена.

Если бы каждая тряпка, собранная тряпичникомъ, могла разсказать свою біографію съ того времени, какъ она вышла въ видѣ новаго платья изъ подъ иглы портного до ея настоящаго положенія, то рѣдкая изъ нихъ, на своемъ вѣку, не служила одеждой, подстилкой или покрываломъ больному той или другой формой изъ заразительныхъ болѣзней. Еслибы былъ возможенъ точный анализъ того, чѣмъ пропитана каждая тряпка, то во множествѣ изъ нихъ оказался бы оспенный, сифилитическій гной, дифтеритная матерія и т. п.

Собранныя вышесказаннымъ образомъ тряпки, даже полученныя изъ помойныхъ ямъ и навозныхъ кучъ, сохраняются безъ всякой очистки, даже не споласкиваются водой. Также точно и собранныя кости, сохраняемыя въ общихъ кучахъ съ тряпками, не очищаются отъ мягкихъ частей, мускуловъ, сухожилій и другихъ частей. Послѣднія гніютъ и, въ свою очередь, заражаютъ воздухъ. Легко себѣ представить плоды такого сожительства зараженнаго тряпья съ гнію-

щими костями. Они уже въ первыхъ мѣстахъ ихъ собиранія даютъ себя знать тифами, оспой, дифтеритомъ и тому подобными болѣзнями, безвыходно, особенно зимой, свирѣпствующими въ нашихъ деревняхъ, селахъ и городахъ. Если они не составляютъ единственной причины этихъ повальныхъ болѣзней, то во всякомъ случаѣ являются однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ агентовъ. Но сказанное представляетъ только первые шаги или, такъ сказать, частныя, безсознательныя попытки невѣжества въ распространеніи заразныхъ болѣзней.

Тряпичники по профессіи являются болѣе широкими дѣятелями въ дѣлѣ концентраціи, обобщенія и распространенія на большихъ пространствахъ тѣхъ заразныхъ началъ. Купленныя ими тряпки и кости у отдѣльныхъ личностей или собираются въ большія кучи, которыя складываются иногда въ самомъ городѣ, селѣ или вблизи ихъ или въ баркахъ, плотахъ на судоходной рѣкѣ. Отсюда всѣ кости и тряпки, собранныя на всемъ пространствѣ данной мѣстности, перевозятся на возахъ или по рѣкамъ въ Петербургъ, Москву или другіе большіе центры, гдѣ находятся костяные заводы и фабрики для возстановленія изъ тряпокъ шерсти. Такимъ образомъ концентрированный товаръ, распространяющій всѣ виды заразы, до прибытія къ мѣсту назначенія, все болѣе и болѣе увеличиваетъ свою смертоносную силу. Съ приходомъ на мѣсто назначенія, кости отдѣляются отъ тряпокъ. Первыя поступаютъ на костяные заводы, гдѣ изъ нихъ вырабатывается костяной клей, животный уголь, порошокъ для удобренія полей, а тряпки направляются на спеціальныя фабрики. По собраннымъ мною свѣденіямъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ существуетъ нѣсколько такихъ фабрикъ, продуцирующихъ свою работу въ большихъ размѣрахъ. Всѣ онѣ руководствуются вообще одинаковыми началами, и потому достаточно будетъ описать одну изъ этихъ фабрикъ, спеціально мною изученную.

Заводъ находится въ Александро-Невской части, по Монастырской рѣчкѣ, близъ Обводнаго канала, въ зданіи арендуемомъ г. Делле у г. Струбинскаго. Кромѣ этого завода въ Петербургѣ находятся еще большіе, таковые же г. Клебера, возлѣ варшавской желѣзной дороги, Левинсона за Московской заставой и другіе.

Шерстяныя тряпки, отдѣленныя въ Петербургѣ отъ своихъ спутниковъ—костей, поступаютъ на заводъ, гдѣ онѣ предварительно сортируются по качеству ихъ шерстяной матеріи. Для этой сортировки требуется осмотръ и ощупываніе каждой такой тряпки. Этимъ занимаются мужчины, женщины и дѣти. Послѣ сортировки, тряпки складываются въ отдѣльные тюки и мѣшки. Послѣдніе не зашиваются и переносятся въ склады, находящіеся при заводѣ, гдѣ они хранятся до востребованія на фабрику.

При самой фабрикѣ находится огромный залъ, наполненный мѣшками и тюками съ тряпьемъ. Я засталъ воздухъ въ этомъ залѣ и вообще на фабрикѣ непріятнымъ и тяжелымъ, но мнѣ разсказывали достовѣрные люди, посѣщающіе часто эту фабрику и живущіе въ ея сосѣдствѣ, что отъ этого тряпья часто бываетъ такой невыносимый смрадъ, что безъ тошноты нельзя пройти мимо самаго завода. Вѣроятно, что подъ вліяніемъ атмосферическихъ условій, какъ влажности и теплоты воздуха, содержимое тряпья, по временамъ, растворяется, разлагается и его больше улетучивающіяся части даютъ себя сильно знать обонянію.

На фабрикахъ изъ сортированныхъ тряпокъ возстановляется шерсть, которая снова идетъ преимущественно на всѣ большія суконныя фабрики, примѣшивающія эту шерсть не только къ дешевымъ сортамъ сукна, но даже и къ хорошимъ. Остатки, негодные для этого употребленія, въ видѣ пыли и мелкихъ шерстяныхъ волоконъ, поступаютъ на бумажныя фабрики, преимущественно для посыпки на дорогихъ обояхъ, чтобы дать имъ видъ бархата или сукна. Самое возстановленіе изъ старыхъ тряпокъ шерстяныхъ волоконъ получается слѣдующей процедурой: сначала каждая тряпка на столѣ съ широкимъ для этого приспособленнымъ ножомъ посредствомъ скобленія очищается отъ наружнаго слоя грязи и пыли и разрѣзается. Остатки такого скобленія падаютъ на сито и внизу воспринимаются для продажи на бумажныя фабрики. Затѣмъ тряпки, послѣ этого своеобразнаго очищенія, переносятся собственно на фабрику, гдѣ ихъ первоначально кладутъ въ машину, расщипывающую ихъ на болѣе мелкіе лоскутья посредствомъ барабана съ зубьями и съ помощью желѣзныхъ цѣпей, на подобіе молотильной машины, выбивающую изъ нихъ пыль. Послѣдняя, съ мелкими шерстяными кусочками, силой движенія воздуха выгоняется въ особую камеру, находящуюся въ связи съ сказанной машиной. Этотъ послѣдній продуктъ, негодный для добыванія изъ него шерстяныхъ нитокъ, поступаетъ за дешевую цѣну на тѣ же бумажныя фабрики. Такимъ образомъ, ничто не теряется для кармана фабриканта, и всѣ элементы зараженія вполнѣ сохраняются, какъ для рабочихъ, такъ и для населенія Петербурга. Расщипленныя же первой машиной тряпки переносятся въ другую, гдѣ шерстяныя части добываются изъ нихъ еще въ болѣе мелкомъ видѣ. Такимъ образомъ измельченныя шерстяныя хлопья тряпокъ идутъ на болѣе сложныя машины съ барабанами, обитыми стальной щеткой, окончательно расчесывающей остатки тряпокъ. Эта масса съ помощью другихъ машинъ превращается въ войлокообразную массу шерсти. Затѣмъ эта шерсть поступаетъ на прядильныя машины, съ помощью которыхъ шерсть скручивается въ нитки

и наматывается на шпульки. Послѣднія упаковываются въ ящики и отправляются на суконно-ткацкія фабрики. Я прошу обратить вниманіе, что всѣ эти тряпки ни до, ни во время ихъ обработки на фабрикахъ нетолько ничѣмъ не дезинфекцируются, но даже не спрыскиваются водой, и потому во время ихъ обработки всѣ заразныя вещества тряпокъ въ видѣ вонючей пыли наполняютъ помѣщеніе фабрики, почему онѣ и названы народомъ „фабриками чертовой пыли".

Понятно, что ядовитое дѣйствіе этой пыли не ограничивается только рабочими и дѣтьми, занятыми на фабрикахъ, но освобождаясь изъ зданій фабрикъ эта пыль вѣтромъ переносится изъ окраинъ на весь городъ, отравляя его воздухъ и доставляя неизсякаемый извнѣ матеріалъ для заразныхъ и инфекціонныхъ заболѣваній. Этотъ общій источникъ народныхъ бѣдствій не только безнаказанно и безконтрольно существуетъ, игнорируется не только санитарными учрежденіями, но и спеціальными коммиссіями, учреждающимися для борьбы съ заразными и инфекціонными болѣзнями. Эти заразныя вещества, безпрепятственно вносимыя въ Петербургъ, Москву изо всѣхъ концовъ Россіи, въ тѣсныхъ улицахъ столицы, въ скученномъ ея населеніи, въ дурныхъ и плохо провѣтриваемыхъ жилищахъ, находятъ удобную почву для дальнѣйшаго развитія. Если мы вспомнимъ, что большинство столичнаго населенія страдаетъ разстройствомъ нервной системы вслѣдствіе излишествъ, нужды и пьянства, плохимъ кровотвореніемъ, обусловливаемымъ дурнымъ воздухомъ жилищъ, климатомъ, не свѣжей — не питательной пищей, что наша болотистая почва и поверхностное стояніе почвенныхъ водъ способствуютъ поглощенію и размноженію всѣхъ заразныхъ и гніющихъ веществъ, то мы поймемъ, что Петербургъ представляетъ всѣ условія для воспріятія, сохраненія и размноженія всѣхъ заразныхъ и инфекціонныхъ болѣзней. А какъ наши столицы находятся въ безпрерывныхъ сношеніяхъ какъ между собою, такъ и съ населеніемъ почти всѣхъ населенныхъ мѣстностей Россіи, то понятно, что столицы воздаютъ послѣднимъ сторицею то зло, которое имъ внесли оттуда спекуляторы тряпьемъ и костями, оставаясь постоянными разсадниками заразныхъ и инфекціонныхъ болѣзней въ провинціи. Итакъ мы видимъ, что однѣ только мѣры обеззараженія мѣстныхъ больныхъ и ихъ одежды и жилищъ, карантины отъ сосѣднихъ государствъ не въ состояніи предупредить и защитить жителей столицы отъ вліянія заразнаго вещества. Для предупрежденія наводненія не готовятъ помпы для выкачиванія воды изъ наводненныхъ улицъ, а стараются образовать плотину, защищающую мѣстность отъ общаго источника, откуда угрожаетъ наводненіе.

Сказанное создаетъ двѣ новыя задачи для охраненія народнаго здравія: первая состоитъ въ томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности, уни-

чтожить или ослабить заразныя и инфекціонныя начала, распространяемыя по всей Россіи тряпичнымъ и костянымъ промысломъ. Для этого должны быть принимаемы мѣры, относительно сохраненія сказанныхъ продуктовъ въ частныхъ жилищахъ собирателей тряпокъ и костей, относительно собиранія и храненія ихъ въ кучахъ артельщиками, до отправки ихъ къ мѣстамъ назначенія, затѣмъ при перевозкѣ ихъ и, наконецъ, при сохраненіи ихъ и сортировкѣ на фабрикахъ. Вторая задача состоитъ въ томъ, чтобы при добываніи шерсти изъ тряпокъ сдѣлать ихъ безвредными, какъ для рабочихъ, такъ и для обывателей города, куда заразные и инфекціонные элементы тряпокъ приносятся вѣтромъ. При рѣшеніи первой задачи невольно возникаетъ слѣдующій вопросъ: не лучше ли вовсе запретить этотъ промыселъ, опасный и приносящій много несчастій для всего населенія страны? Изъ этихъ промысловъ можно бы только позволить одинъ костяной, потому что кости представляютъ меньше опасности для распространенія заразныхъ болѣзней, и продукты, изъ нихъ добываемые, болѣе или менѣе необходимы для нѣкоторыхъ техническихъ производствъ. Тряпичный промыселъ ничего не имѣетъ за себя. Для бѣднаго народа, собственно собирателей тряпокъ, этотъ промыселъ, какъ мы видѣли, даетъ такіе ничтожные гроши, что о лишеніи такого заработка и говорить не стоитъ. Бѣднякъ еще охотнѣе откажется отъ этой ничтожной выгоды, если ему растолкуютъ, что изъ-за какихъ-нибудь десяти копѣекъ за собираемыя и сохраняемыя у себя тряпки, онъ рискуетъ самъ заразиться и потерять кого-либо изъ членовъ своей семьи отъ болѣзни, развившейся, благодаря этимъ тряпкамъ. Единственная выгода, дѣйствительно огромная, отъ этого промысла остается въ карманахъ эксплуататоровъ этихъ бѣдняковъ. Если мы даже допустимъ, что примѣсь тряпичной шерсти къ вновь приготовляемымъ тканямъ немного удешевляетъ ихъ цѣны, то всякій откажется отъ этой ничтожной экономіи при одной мысли, что наше шерстяное платье, приходящее въ такое близкое соприкосновеніе съ нашимъ тѣломъ, что обои нашихъ комнатъ содержатъ въ себѣ значительныя части шерсти, полученной изъ грязи и зараженныхъ тряпокъ безъ всякой дезинфекціи.

Шумъ, поднятый въ Парижѣ въ прошломъ году тряпичнымъ вопросомъ, заставилъ многихъ французскихъ литераторовъ высказаться въ защиту тряпичниковъ. Для того, чтобы убѣдиться насколько эти доводы примѣнимы къ людямъ, занимающимся этимъ дѣломъ у насъ, я считаю полезнымъ отклониться нѣсколько въ сторону и разсмотрѣть тряпичное дѣло и его дѣятелей въ Парижѣ. Проведенная параллель между парижскими и нашими тряпичниками, надѣюсь, послужитъ еще къ большему разъясненію занимающаго насъ вопроса. До настоя-

щаго года въ Парижѣ сохранился древній и очень вредный для здоровья жителей обычай выбрасыванья мусора и отбросовъ каждой квартиры на улицу. Эти кучи и слои мусора, ежедневно вывозимые и вновь образующіеся, служили приманкой для многихъ тряпичниковъ. По ночамъ они въ нихъ рылись и собирали свою добычу, служившую средствомъ ихъ пропитанія. Въ 1884 году парижская префектура, испугавшись приближенія холерной эпидеміи, издала приказъ, которымъ запрещалось выбрасываніе на улицу мусора, и поставлено было въ обязанность домохозяевамъ собирать весь домашній мусоръ въ особенномъ хранилищѣ, въ видѣ ящика, который долженъ былъ выставляться къ извѣстному часу утра передъ подъѣздомъ дома или у воротъ. Въ опредѣленное время появлялся передъ домомъ мусорный вагонъ, куда выпоражнивалось содержимое сказаннаго ящика. Это распоряженіе подняло горькія жалобы и протесты со стороны тряпичниковъ, потому что оно лишило ихъ источника пропитанія. Въ глубокихъ ящикахъ было совершенно неудобно искать тряпье и времени для этого у нихъ оставалось мало. Къ этому протесту отнесся сочувственно почти весь Парижъ. Въ пользу тряпичниковъ заговорила пресса, они были предметами разговоровъ въ роскошныхъ салонахъ и въ палатѣ депутатовъ. Присущая французскому обществу отзывчивость къ лишеніямъ и несчастію ближняго не могла сама по себѣ объяснить этого участія къ тряпичникамъ. Требованіе префектуры было вполнѣ справедливо и, въ виду грозящей холерной эпидеміи, даже необходимо. Соръ, покрывающій улицы и издающій зловоніе, сдѣлался анахронизмомъ для „столицы міра“ и крайне вреднымъ въ гигіеническомъ отношеніи. Для того, чтобы придать защитѣ интересовъ тряпичниковъ болѣе вѣское основаніе, газеты прибѣгли къ преувеличиваніямъ ихъ значенія. Такъ, напримѣръ, нѣкоторыя газеты насчитали людей, живущихъ тряпичнымъ ремесломъ, до 30 и даже до 50 тысячъ. По ихъ исчисленіямъ каждый изъ тряпичниковъ зарабатывалъ среднимъ числомъ до 6-ти франковъ въ сутки, что составляетъ около 109 милліоновъ въ годъ. Колоссальный, повидимому, доходъ, извлекаемый изъ никому негодныхъ отбросовъ. Однако, справедливость этихъ цифръ была опровергнута оффиціальнымъ отчетомъ начальника по инженерной части города Парижа Г. Альфонда. Изъ представленныхъ имъ статистическихъ данныхъ выяснилось, что всего въ Парижѣ занимающихся тряпичнымъ дѣломъ 7,050 человѣкъ обоего пола, изъ которыхъ 5,248 человѣкъ живутъ въ самомъ Парижѣ и 1802 въ предмѣстьяхъ столицы, откуда они ночью приходятъ за добычей въ Парижъ, а съ зарею возвращаются съ добытой ношей домой. По его вычисленіямъ каждый изъ нихъ вырабатываетъ около 3-хъ франковъ въ сутки, что составляетъ годовой заработокъ

всей корпораціи отъ 6 до 7 милліоновъ франковъ въ годъ. Главная причина сочувствія тряпичникамъ даже во вредъ гигіеническимъ и санитарнымъ условіямъ Парижа заключается въ симпатичности самаго типа парижскаго тряпичника, издавна рѣзко охарактеризовавшагося. Этотъ тряпичникъ со своимъ фонаремъ, крючкомъ и торбой, копошащійся по ночамъ и во всякую погоду въ мусорныхъ кучахъ парижскихъ улицъ издавна фигурируетъ героемъ французскихъ романовъ и легендъ, гораздо болѣе симпатичнымъ, нежели рыцари среднихъ вѣковъ съ ихъ копьями и забралами. Главная симпатія, внушаемая тряпичникомъ, заключается въ нравственныхъ принципахъ выработавшихся въ этомъ классѣ людей. Брилліантъ гораздо больше блеститъ среди грязи, нежели въ золотѣ. Сочетаніе этого отвратительнаго ремесла съ нравственными принципами еще больше трогаетъ, нежели хорошія начала и поступки богатаго и живущаго въ роскоши общества. Чтобы понять сказанное, разсмотримъ немного подробнѣе жизнь этой корпораціи. Она раздѣляется на слѣдующіе разряды: 1) дилетанты, занимающіеся днемъ другимъ дѣломъ, а съ наступленіемъ ночи ищущіе свое пропитаніе въ тряпичномъ промыслѣ, такъ, напримѣръ таковые встрѣчаются между студентами, которые днемъ опрятно одѣтые засѣдаютъ въ аудиторіяхъ, а ночью берутся за крюкъ и фонарь для добыванія въ навозныхъ кучахъ средствъ къ существованію; такіе случайные члены корпораціи называются „tiffins“ или „chineures“; 2) далѣе идутъ „rouleurs“, настоящіе тряпичники, по ремеслу, ничѣмъ другимъ не занимающіеся; 3) тряпичники, пріобрѣвшіе большое довѣріе со стороны домохозяевъ и дворниковъ, они допускаются и въ самые дома для изысканій въ мусорѣ, прежде нежели онъ выбрасывается на улицу,—ихъ называютъ „placiers“; и, наконецъ, 4) капиталисты-тряпичники, собственно не собирающіе, а скупающіе собранное у тряпичниковъ.

Настоящіе тряпичники по профессіи живутъ обыкновенно особенными колоніями. Они составляютъ большинство населенія въ улицѣ Mouffetard на лѣвомъ берегу Сены; кромѣ того, они живутъ въ сѣверной части Парижа въ la Villette и Montmartre, и въ южной части въ Montrouge. Ихъ жилища очень бѣдно и легко построены. Отъ сохраняющихся въ жилищахъ и около нихъ собранныхъ тряпокъ и костей воздухъ не только въ домахъ, но и улицахъ очень непріятенъ.

Эти колоніи живутъ своей собственной жизнію. Они представляютъ государство въ государствѣ. Ремесло переходитъ отъ отца къ дѣтямъ. Религія среди нихъ не процвѣтаетъ. Они обыкновенно не ходятъ въ церковь, не вѣнчаются по христіанскому обряду и не крестятъ своихъ дѣтей. Тѣмъ не менѣе, честность всей корпораціи

изумительная. Между ними не встрѣчаются не только преступники, но и даже простые воры. Во время учрежденія коммуны въ Парижѣ они не примкнули къ ней и не были противъ нея. Согласно положенію, тряпичники имѣютъ право только пользоваться найденными тряпками, костями, битымъ стекломъ, старыми жестяными коробками и вещами, но не предметами, годными къ употребленію, и деньгами, случайно попавшими въ мусоръ. Увѣряютъ, что тряпичники всегда исполняютъ это обязательство безусловно, возвращая дворникамъ найденные предметы, на которые они не имѣютъ права. Классъ людей, вытѣсненный обществомъ, не дающимъ ему средствъ къ нормальному заработку, питается ненужными этому обществу отбросками. Тряпичникъ не обращается къ благотворительности, а извлекаетъ пользу для общества изъ того, что оно считаетъ негоднымъ. Онъ и не желаетъ имѣть дѣло съ этимъ зазнавшимся обществомъ. Его фонарь освѣщаетъ только отбросы, а его собственная личность остается невидимкой въ ночной темнотѣ, но не смотря на то, онъ остается честенъ относительно чуждаго ему общества. Вотъ причина симпатіи, невольно внушаемой парижскимъ тряпичникомъ. Есть еще и другая причина, можетъ быть безсознательно заставляющая интеллигентнаго парижанина сочувствовать тряпичнику. Въ нашъ вѣкъ капиталы все болѣе и болѣе сосредоточиваются въ рукахъ аферистовъ и кулаковъ. Ученый, художникъ, литераторъ и т. п. все больше и больше дѣлаются пролетаріями, которымъ, за рѣдкими исключеніями, едва хватаетъ зарабатываемаго на текущіе, ежедневные расходы для жизни. Человѣку идеи откладываніе на черный день и трудно, и часто недоступно. Кто изъ этихъ людей можетъ быть увѣренъ, что старость или жизненныя невзгоды настолько надломятъ его силы, что онъ сдѣлается негоднымъ для общества. Фонарь и крюкъ тряпичника привлекательнѣе нищенской сумы.

Говорятъ, что среди парижскихъ тряпичниковъ встрѣчаются и бывшія знаменитости на ученомъ и артистическомъ поприщѣ, и люди, занимавшіе въ свое время высокіе посты въ государствѣ. Въ этомъ отношеніи очень характеренъ слѣдующій разсказъ поэта Gérard de Nerval'я.

Разъ, въ глухую ночь, около 3-хъ часовъ, онъ на-веселѣ возвращался домой. На дорогѣ онъ догналъ тряпичника, который тихо плелся передъ нимъ съ своей тяжелой ношей.—Который часъ, мой другъ?—спросилъ поэтъ тряпичника. Послѣдній отвѣчалъ:—„Quota hora est? tertiam esse credo“. Когда изумленный поэтъ взглянулъ на тряпичника, то тотъ продолжалъ, не стѣсняясь, свой разговоръ съ нимъ на изящномъ салонномъ французскомъ языкѣ: „вы удивляетесь, благородный кутила, тому, что я говорю по-латыни? Узнайте, что вы

имѣете честь говорить съ бывшимъ секретаремъ и многолѣтнимъ сотрудникомъ г. Beaumarchais". Затѣмъ, вѣжливо поклонившись, онъ исчезъ въ боковой улицѣ. Всякій русскій поймете, что между такими парижскими тряпичниками и нашими нѣтъ ничего общаго. У насъ главные собиратели тряпья и костей суть крестьяне, ихъ бабы и мальчики, смотрящіе на это, какъ на побочный доходъ, въ сущности самый ничтожный. По вѣрнымъ статистическимъ даннымъ г. Alphond'a, парижскій тряпичникъ получаетъ за 100 кило костей 4 франка, за тотъ же вѣсъ шерстяныхъ тряпокъ 40 франковъ; наши же крестьяне получаютъ за то же—копѣйки, слѣдовательно, весь барышъ остается только въ рукахъ скупщиковъ и фабрикантовъ. Послѣдними же нанимаются за гроши спеціальные тряпичники, обыкновенно молодые люди, способные и ко всякой другой работѣ.

Слѣдовательно, мы видимъ, что для сохраненія у насъ тряпичнаго дѣла въ настоящее время нѣтъ не только разумныхъ, но даже и гуманныхъ доводовъ. Но если рутина не дозволяетъ полнаго запрещенія торговли тряпьемъ и возстановленія изъ него шерсти, то все-таки необходимы мѣры, ослабляющія вредное вліяніе этого промысла. Эти мѣры должны состоять, въ главныхъ чертахъ, въ нижеслѣдующемъ:

Во-1-хъ, объяснить жителямъ, занимающимся собираніемъ тряпья, вредъ и опасность сохраненія этихъ предметовъ въ ихъ жилищахъ и около нихъ.

Во-2-хъ, строго запретить совмѣстное собираніе тряпокъ и костей, а также ихъ сохраненіе и перевозку вмѣстѣ.

Въ 3-хъ, обложить штрафомъ тѣхъ, въ домахъ которыхъ найдутся такіе склады.

Въ 4-хъ, артельщикамъ, скупающимъ тряпки, запретить разъѣзжать по деревнямъ и селамъ, а имѣть опредѣленныя помѣщенія и склады, гдѣ бы происходила покупка и сохраненіе тряпья.

Устройство послѣднихъ можетъ быть допущено въ изолированныхъ мѣстахъ и въ зданіяхъ, плотно закрытыхъ. Тряпки должны обязательно сохраняться только въ мѣшкахъ, пропитанныхъ олифой, которые плотно должны зашиваться. Ихъ содержимое до зашиванія должно вспрыскиваться $^1/_{2000}$ растворомъ сулемы, признанной лучшимъ дезинфектирующимъ веществомъ, даже въ такомъ слабомъ растворѣ. Самые мѣшки нужно вспрыскивать тѣмъ же, или пятипроцентнымъ растворомъ карболовой кислоты. Только такимъ образомъ тряпки могутъ быть допущены къ перевозкѣ по различнымъ дорогамъ и къ сохраненію на фабрикахъ.

Въ 5-хъ, каждая фабрика должна обязательно имѣть дезинфек-

ціонную камеру, въ которой всѣ поступающія тряпки были бы дезинфекцируемы, до ихъ поступленія на выдѣлку.

Что касается средствъ къ предохраненію собственно рабочихъ на сказанныхъ фабрикахъ, то, по моему мнѣнію, нужно имѣть въ виду два вредныхъ начала, сопряженныхъ съ занятіями на этихъ фабрикахъ: во-1-хъ, вліяніе шерстяной пыли и мельчайшихъ волоконъ и кусочковъ шерсти, наполняющихъ воздухъ мастерскихъ и попадающихъ съ воздухомъ въ дыхательные пути; и во-2-хъ, дѣйствіе на рабочихъ заразныхъ элементовъ, тѣсно связанныхъ съ пылью и шерстью тряпокъ. Что касается первой задачи, то она очень важна.

Г. Котсемъ, изучавшій вліяніе на рабочихъ вдыхаемой пыли на хлопчато-бумажныхъ фабрикахъ пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ. Пребываніе на этихъ фабрикахъ вызываетъ сначала только простой бронхіальный катарръ съ припадками удушья и мучительнаго кашля. Въ извергаемой мокротѣ подъ микроскопомъ находятся маленькія тѣльца, совершенно похожія на частички пыли, переполняющія воздухъ рабочихъ помѣщеній. Затѣмъ болѣзнь переходитъ въ пораженіе самой легочной ткани, которое впослѣдствіи сопровождается лихорадочными движеніями, ночными потами, поносами. Въ извергаемой въ этомъ періодѣ мокротѣ уже находятся частицы распавшейся легочной ткани. Эта болѣзнь, по наблюденіямъ Котсема продолжается отъ 16 до 22 мѣсяцевъ; она до того убійственна, что изъ 250 больныхъ у него выздоровѣло всего четверо. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на тотъ фактъ, что, по его наблюденіямъ, болѣзнь больше всего развивается у работниковъ и работницъ въ возрастѣ отъ 13 до 30 лѣтъ, и въ этомъ возрастѣ представляется самою опасною. Тѣ же результаты и относительно вдыханія шерстяной пыли описаны г. Зоммербродомъ и англійскими врачами, наблюдавшими за работающими на Shoddy-Fabric, на которыхъ тоже старыя шерстяныя тряпки расчесываются и перерабатываются въ новыя дешевыя шерстяныя ткани. Для выполненія указанныхъ задачъ, имѣя въ виду особенный вредъ означенной пыли на молодыхъ людей, нужно, во-1-хъ, совершенно запретить принимать на эти фабрики дѣтей и вообще работниковъ моложе 20-ти лѣтняго возраста; во-2-хъ, во всѣхъ комнатахъ, гдѣ производится работа, выставлять пульверизаторы, гдѣ, съ помощью воды, съ примѣсью скипидарнаго масла пыль прибивалась бы и дезинфекцировалась; въ 3-хъ, заставлять каждаго рабочаго, во время работы, носить респираторъ, спрыскиваемый растворомъ карболовой кислоты.

М. Звѣнскій.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е іюня. 1885.

Мирныя вѣянія въ международной политикѣ.—Англійскія парламентскія рѣчи.—Упреки въ парламентѣ русской дипломатіи.—Напрасные поводы къ недоразумѣніямъ. — Результаты англо-русскаго конфликта, и отношеніе къ нимъ печати. — Кончина Виктора Гюго; труды и заслуги его, какъ писателя и человѣка.

Гроза прошла. Англо-русское столкновеніе, поднявшее столько шуму и пыли въ Европѣ, вернулось на свое естественное мѣсто въ международной политикѣ и перестало служить матеріаломъ для усердныхъ порывовъ патріотизма въ обѣихъ заинтересованныхъ странахъ. Заботы и тревоги всѣхъ искреннихъ друзей человѣчества, пораженныхъ перспективою безсмысленной колоссальной рѣзни между двумя великими народами, не вызываютъ уже глумленія на столбцахъ воинственныхъ газетъ. Битва съ афганцами при Кушкѣ осталась, какъ и слѣдовало ожидать, только случайнымъ эпизодомъ въ ряду нашихъ средне-азіатскихъ дѣлъ—эпизодомъ безъ того эффектнаго и кровопролитнаго продолженія, которое съ „легкимъ сердцемъ" возвѣщалось и проповѣдывалось разсчетливыми интендантами печати.

Теперь уже никто не сомнѣвается въ томъ, что англійское правительство, руководимое Гладстономъ, не думало серьезно начинать войну, и что угрозы его имѣли лишь цѣлью добиться отъ Россіи уступокъ, способныхъ доставить англичанамъ нѣкоторое удовлетвореніе за неудачи въ Египтѣ и въ другихъ краяхъ. Надежды Гладстона основывались на краснорѣчивыхъ примѣрахъ недавняго прошлаго: блестящія дипломатическія побѣды лорда Биконсфильда послѣ окончанія русско-турецкой войны достигнуты были также простымъ бряцаніемъ оружія, угрожающими рѣчами и нотами, безъ дѣйствительныхъ военныхъ усилій и жертвъ. Но успѣшная остановка русскихъ войскъ при Санъ-Стефано и русскія уступки на берлинскомъ конгрессѣ совершились при обстоятельствахъ, не имѣющихъ и тѣни сходства съ настоящимъ положеніемъ дѣлъ. Россія была истощена продолжительною войною, и британскія угрозы находили поддержку въ сомнительномъ образѣ дѣйствій Австро-Венгріи и отчасти Германіи; появленіе англійскаго флота въ Черномъ и Балтійскомъ моряхъ могло-бы легко оказаться сигналомъ для враждебнаго намъ вмѣшательства могущественныхъ континентальныхъ державъ, гото-

выхъ воспользоваться случаемъ, чтобы вырвать изъ русскихъ рукъ заманчивое турецкое наслѣдство. Ничего подобнаго не представлялось въ послѣднемъ политическомъ кризисѣ. Англіи пришлось-бы воевать одной, безъ союзниковъ и друзей въ Европѣ, при весьма ненадежныхъ союзникахъ въ Азіи; общественное мнѣніе повсюду стояло за миръ и не находило достаточныхъ поводовъ для взрыва, результаты котораго невозможно было-бы предвидѣть. Зная прошлое Гладстона и его товарищей по министерству, трудно было повѣрить серьезности ихъ военныхъ приготовленій; Россія могла безъ особеннаго риска отклонять чрезмѣрныя требованія лондонскаго кабинета и спокойно выжидать дальнѣйшихъ событій. Русская дипломатія успѣла придать болѣе миролюбивый характеръ обострившимся отношеніямъ, и обоюдные переговоры быстро привели къ желанной развязкѣ. Ровно черезъ недѣлю послѣ своей рѣшительной рѣчи о возможной войнѣ и о необходимомъ для нея чрезвычайномъ кредитѣ, Гладстонъ заявилъ въ парламентѣ, что „оба правительства согласились придумать способы для устраненія разногласій, вызванныхъ столкновеніемъ при Пендэ“, и что Англія, какъ и Россія, нисколько не желаетъ подвергать суду храбрыхъ офицеровъ той или другой стороны. По словамъ Гладстона, „обѣ державы готовы отдать на разрѣшеніе какого-либо дружественнаго государства тѣ недоразумѣнія, которыя могли возникнуть при истолкованіи соглашенія 16 марта, съ цѣлью уладить дѣло согласно достоинству обоихъ правительствъ“.

Разумѣется, такой неожиданный поворотъ въ сторону мира долженъ былъ показаться весьма обиднымъ для англійскихъ патріотовъ. Одинъ изъ наиболѣе энергичныхъ дѣятелей оппозиціи, лордъ Рандольфъ Черчилль, произнесъ въ томъ же засѣданіи 4 мая горячую филиппику противъ министерства, обвиняя его въ „низкой и трусливой капитуляціи“. Ораторъ направилъ также свои удары противъ Россіи и изобразилъ по своему послѣдовательный ходъ нашихъ среднеазіатскихъ завоеваній. Онъ старался доказать, что парламентъ Англіи не можетъ питать довѣрія ни къ правительству Россіи, ни къ правительству королевы Викторіи. Онъ указывалъ на важность задачъ и вопросовъ, которые какъ-бы умышленно затемнялись преувеличеннымъ вниманіемъ, посвященнымъ „ничтожной свалкѣ между двумя варварскими вождями“. Смѣлыя рѣчи лорда Черчилля встрѣчаютъ сочувственный отголосокъ въ англійскомъ обществѣ и въ печати; онъ считается выразителемъ общественнаго настроенія, и популярность его начинаетъ сильно подрывать авторитетъ оффиціальныхъ предводителей торійской партіи, сера Норскота и лорда Солисбюри. Англійскія газеты повторяютъ вслѣдъ за лордомъ Черчилемъ, что русское поступательное движеніе въ средней Азіи со-

стоитъ изъ „цѣлаго ряда обдуманныхъ вѣроломствъ“ по отношенію къ Англіи. Дѣло въ томъ, что Россія будто-бы постоянно давала торжественныя обѣщанія не идти далѣе извѣстной черты, и каждый разъ нарушала эти обязательства безъ всякихъ стѣсненій. Наша дипломатія не разъ заявляла, напримѣръ, что Россія не имѣетъ намѣренія занимать Мервъ, а между тѣмъ, этотъ „ключъ къ Индіи“ былъ занятъ нашими войсками; то-же самое было и съ другими пріобрѣтеніями нашими въ среднеазіатскихъ степяхъ, если вѣрить англичанамъ. Невольно возникаетъ вопросъ: съ какой стати самостоятельная и могущественная держава, какъ Россія, связывала-бы себя „торжественными обѣщаніями“, если не имѣла въ виду исполнить ихъ въ точности? Не кроется-ли здѣсь какое-либо недоразумѣніе относительно смысла обычныхъ успокоительныхъ увѣреній, которыми обмѣнивались кабинеты для устраненія непріятныхъ споровъ? Не было-ли наконецъ ошибкою со стороны нашихъ дипломатовъ давать обѣщанія, которыя могли быть поняты въ смыслѣ обязательствъ, ограничивающихъ свободу нашихъ дѣйствій въ будущемъ?

По этому поводу необходимо вспомнить, что сущность нашей среднеазіатской политики была впервые объяснена подробно въ извѣстномъ циркулярѣ князя Горчакова отъ 21 ноября 1864 года. Въ этомъ дипломатическомъ документѣ изложены предположенія русскаго правительства, заключающія въ себѣ нѣчто въ родѣ программы и заранѣе оправдывающія неизбѣжность дальнѣйшихъ шаговъ въ средней Азіи. „Положеніе Россіи въ средней Азіи,—говорится въ циркулярѣ князя Горчакова,—одинаково съ положеніемъ всѣхъ образованныхъ государствъ, которыя приходятъ въ соприкосновеніе съ народами полудикими, бродячими, безъ твердой общественной организаціи. Въ подобномъ случаѣ интересы безопасности границъ и торговыхъ сношеній требуютъ, чтобы болѣе образованное государство имѣло извѣстную власть надъ сосѣдями, которыхъ дикіе и буйные нравы дѣлаютъ весьма неудобными. Оно начинаетъ прежде всего съ обузданія набѣговъ и грабительствъ. Дабы положить имъ предѣлъ, оно бываетъ вынуждено привести пограничные народцы къ болѣе или менѣе прямому подчиненію. По достиженіи такого результата, эти народцы пріобрѣтаютъ болѣе спокойныя привычки, но въ свою очередь они подвергаются нападеніямъ болѣе отдаленныхъ племенъ. Государство обязано защищать ихъ отъ этихъ грабительствъ и наказывать тѣхъ, кто ихъ совершаетъ. Отсюда необходимость далекихъ, продолжительныхъ, періодическихъ экспедицій противъ врага, который въ силу своего общественнаго устройства является неуловимымъ. Если оно ограничится наказаніемъ хищниковъ и потомъ удалится, то урокъ скоро

забудется, и удаленіе будетъ приписано слабости; азіатскіе народы по преимуществу уважаютъ только видимую внѣшнюю силу. Поэтому работа должна постоянно начинаться вновь. Чтобы прекратить эти хроническіе безпорядки, устраиваются укрѣпленные пункты среди враждебнаго населенія, которое мало-по-мало приводится къ болѣе или менѣе насильственному подчиненію. Но за этою второю линіею другія, еще болѣе отдаленныя племена начинаютъ представлять такія же опасности и вызывать тѣ же мѣры обузданія. Такимъ образомъ, государство должно рѣшиться на что-нибудь одно: или отказаться отъ этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянныя неурядицы, дѣлающія невозможными здѣсь никакое благосостояніе, никакую безопасность и никакое образованіе, или же все болѣе и болѣе подвигаться въ глубь дикихъ странъ, гдѣ разстоянія съ каждымъ сдѣланнымъ шагомъ увеличиваютъ затрудненія и тягости, которымъ оно подвергается. Такова была участь всѣхъ государствъ, поставленныхъ въ тѣ же условія. Соединенные Штаты въ Америкѣ, Франція въ Алжирѣ, Голландія въ своихъ колоніяхъ, Англія въ Остъ-Индіи,—всѣ неизбѣжно увлекались на путь того движенія впередъ, въ которомъ менѣе честолюбія, чѣмъ крайней необходимости, и гдѣ величайшая трудность состоитъ въ умѣньи остановиться". Князь Горчаковъ заявляетъ далѣе, что подобныя вынужденныя завоеванія не соотвѣтствуютъ цѣлямъ русской политики, которая „стремится не къ тому, чтобы расширить внѣ всякой разумной мѣры границы земель, подчиненныхъ русскому скипетру, а къ тому, чтобы утвердить въ нихъ свою власть на прочныхъ основаніяхъ, обезпечить ихъ безопасность и развить въ нихъ общественное устройство, торговлю, благосостояніе и цивилизацію". Правительство предполагало остановиться на линіи Чимкента, укрѣпивъ ее такимъ образомъ, чтобы „всѣ наши посты могли взаимно поддерживать другъ друга и не оставляли никакого промежутка, черезъ который могли бы безнаказанно производиться вторженія и грабительства со стороны кочующихъ племенъ"; признано было также необходимымъ „окончательно опредѣлить эту пограничную линію, чтобы избѣжать опасныхъ и почти неминуемыхъ увлеченій, которыя могли бы, отъ возмездія къ возмездію, привести къ безграничному расширенію". Однако, предположенная граница оказалась непрактичною, и уже въ слѣдующемъ году присоединенъ былъ Ташкентъ; такая же судьба постигла позднѣе другія сосѣднія ханства. Англія питалась положить предѣлъ этому движенію при помощи дипломатическихъ сдѣлокъ; въ 1869 г. она добилась отъ Россіи положительнаго увѣренія, что „императорское правительство считаетъ Афганистанъ совершенно внѣ той сферы, въ которой Россія могла бы быть призвана оказывать свое вліяніе" и

что „никакое вмѣшательство, противное независимости этого государства, не входитъ въ намѣренія петербургскаго кабинета". Съ тѣхъ поръ неоднократно поднимался вопросъ о нейтральной полосѣ, предназначенной отдѣлять русскія владѣнія отъ англійскихъ въ средней Азіи; Афганистанъ долженъ былъ служить этимъ неприкосновеннымъ пограничнымъ государствомъ или „буферомъ" между обѣими великими державами, о чемъ и состоялось соглашеніе въ 1873 году, подтвержденное два года спустя. Въ меморандумѣ князя Горчакова отъ 17 апрѣля 1875 года выговорена была, однако, свобода дѣйствій для Россіи, на случай возможныхъ пограничныхъ замѣшательствъ. „Изъ того обстоятельства, — сказано было въ этомъ актѣ, — что мы неоднократно по доброй волѣ и дружелюбно выражали наши взгляды на среднюю Азію и особенно наше твердое намѣреніе отнюдь не преслѣдовать здѣсь политики завоеваній и присоединеній, лондонскій кабинетъ, повидимому, выводитъ заключеніе, что мы приняли на себя относительно Англіи положительныя обязательства по этому предмету. Изъ того, что событія вынудили насъ помимо воли отступить въ извѣстной мѣрѣ отъ нашей программы, дѣлаютъ, какъ кажется, выводъ, что императорскій кабинетъ не исполнилъ формальныхъ обѣщаній. Такія заключенія мы считаемъ несогласными съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣлъ, равно какъ съ духомъ и буквой соглашеній, состоявшихся между обоими правительствами. Всегда подразумѣвалось само собою, что и та, и другая сторона, сохраняютъ свободу въ своихъ дѣйствіяхъ и въ оцѣнкѣ мѣръ, признаваемыхъ необходимыми для собственной ихъ безопасности" [1]).

Приведенныя указанія опровергаютъ самый фактъ существованія обязательствъ, на нарушеніе которыхъ жалуются англичане; но очевидно въ то же время, что англійскіе государственные люди постоянно расходились съ нашей дипломатіей въ пониманіи ея успокоительныхъ заявленій, и тѣмъ не менѣе заявленія подобнаго рода повторялись по поводу каждаго спорнаго пункта, порождая новыя разногласія и недоразумѣнія. Миролюбивыя увѣренія нашего кабинета страдали, быть можетъ, нѣкоторою неясностью, если изъ нихъ постоянно дѣлались выводы, несогласные съ дѣйствительнымъ ихъ смысломъ; гораздо лучше и цѣлесообразнѣе было бы поэтому избѣгать такого рода увѣреній, принимаемыхъ за положительныя обѣщанія. Напримѣръ, въ 1879 году сообщено было британскому посланнику въ Петербургѣ, лорду Дюфферину, что русское правительство категорически отрицаетъ приписываемое ему намѣреніе занять Мервъ. Если при этомъ имѣлось

[1]) „Россія и Англія въ средней Азіи", проф. Ѳ. Ѳ. Мартенса (Спб., 1880), стр. 22—3, 28, 66—7 и др.

въ виду отсутствіе такого намѣренія, только въ данный моментъ, то сообщеніе не представляло бы никакого политическаго интереса и могло бы казаться совершенно излишнимъ; достаточно было просто опровергнуть слухи о движеніи русскихъ войскъ къ Мерву, не касаясь вопроса о настоящихъ или будущихъ намѣреніяхъ Россіи по этому предмету. Отрицаніе извѣстныхъ намѣреній въ области внѣшней политики соединяется нерѣдко съ полною увѣренностью въ невозможности тѣхъ фактовъ, въ которыхъ проявлялись бы эти намѣренія; такъ, прусскій кабинетъ могъ въ 1870 году отвергать всякую мысль о притязаніяхъ на замѣщеніе испанскаго престола кѣмъ-либо изъ членовъ фамиліи Гогенцоллерновъ, ибо внутреннія дѣла Испаніи не входятъ въ кругъ обязательныхъ или возможныхъ заботъ Пруссіи. Но положеніе пограничныхъ земель въ средней Азіи затрогиваетъ такъ или иначе интересы Россіи; оно не можетъ быть вполнѣ выдѣлено изъ сферы ея вліянія, и перемѣны, не совершившіяся до сихъ поръ, могутъ случиться впослѣдствіи: сегодняшнія намѣренія легко опрокидываются завтрашними событіями. Эта точка зрѣнія, имѣющая свою основу въ особенностяхъ средне-азіатскихъ дѣлъ, изложена очень ясно въ упомянутомъ выше циркулярѣ 1864 года, и нужно только пожалѣть о томъ, что она какъ-будто упускалась изъ виду въ отдѣльныхъ случаяхъ, при объясненіяхъ съ представителями Англіи. При неустановившемся общемъ ходѣ дѣлъ въ средней Азіи, нельзя не видѣть нѣкоторой доли неосторожности въ отрицаніи такихъ намѣреній, которыя легко могли появиться въ каждый данный моментъ, въ силу спеціальныхъ мѣстныхъ причинъ или событій. Правда, дипломатическія увѣренія всегда обставляются необходимыми оговорками и ограниченіями; рѣшимость не занимать данной мѣстности падаетъ сама собою, въ случаѣ враждебныхъ дѣйствій ея обитателей. Но эти оговорки и ограниченія забываются, а самыя увѣренія сохраняются въ памяти всѣхъ, превращаясь незамѣтно въ безусловныя „торжественныя обязательства“. Соблюденіе условій и оговорокъ нисколько не гарантируетъ отъ обвиненій въ вѣроломствѣ, если совершился фактъ, непріятный другой сторонѣ; наглядный примѣръ мы видѣли еще очень недавно, когда чуть не возгорѣлась война изъ-за дѣла при Кушкѣ. Въ соглашеніи 16 марта прямо оговорено было со стороны Россіи, что враждебныя попытки афганцевъ или безпорядки въ Индіи освобождаютъ русскія войска отъ обязанности сохранять status quo; между тѣмъ, несмотря на положительное утвержденіе русскаго правительства о непріязненныхъ дѣйствіяхъ афганцевъ при Ташъ-Кепри, битва при Кушкѣ сочтена была сразу за вѣроломное нарушеніе заключенной сдѣлки. Намъ казалось бы, что дипломатія должна была давно уже постановить себѣ за правило не давать ни-

какихъ обѣщаній или увѣреній относительно пограничныхъ земель въ средней Азіи; опытъ прошлаго въ этомъ отношеніи признавался довольно убѣдительнымъ еще десять лѣтъ тому назадъ, какъ видно изъ меморандума князя Горчакова отъ 17 апрѣля 1875 года. Англійскіе политическіе дѣятели и публицисты успѣшно поддерживаютъ въ Европѣ самыя невыгодныя для насъ представленія о честности и добросовѣстности русской политики; и мы сами какъ-будто даемъ для этого поводъ, высказывая отъ времени до времени готовность воздерживаться отъ шаговъ, которые вслѣдъ затѣмъ оказываются неизбѣжными.

По мѣрѣ того, какъ проходитъ возбужденіе, вызванное дѣломъ при Кушкѣ, дѣйствительный характеръ среднеазіатской политики Россіи начинаетъ получать болѣе спокойную оцѣнку со стороны англичанъ; вмѣстѣ съ тѣмъ заботы о многочисленныхъ и постоянно мѣняющихся „ключахъ въ Индію“ уступаютъ мѣсто болѣе реальному вопросу о надлежащей защитѣ непосредственныхъ границъ индійскихъ владѣній. Въ этомъ смыслѣ особенно интересна была обстоятельная рѣчь герцога Аргайлля, занявшая собою два засѣданія палаты лордовъ, 11 и 12 мая. Герцогъ Аргайлль, авторъ обширнаго трактата о восточномъ вопросѣ, обратилъ вниманіе на упомянутую выше ноту князя Горчакова отъ 21 ноября 1864 года, чтобы оправдать русскую дипломатію отъ напрасныхъ нареканій. По мнѣнію оратора, русское поступательное движеніе въ средней Азіи вызывается отчасти естественными причинами, которыхъ нельзя устранить при помощи дипломатическихъ сдѣлокъ; между прочимъ, тутъ играютъ роль географическія и этнографическія условія,—отсутствіе точной границы и неопредѣленность владѣній пограничныхъ племенъ. Афганистанъ столь же мало способенъ сдерживать напоръ Россіи и служить буферомъ между обѣими имперіями, какъ и прочія азіатскія ханства; это разочарованіе насчетъ надежности афганцевъ и ихъ эмира становится уже всеобщимъ въ Англіи. Англичанамъ приходится разсчитывать только на свои собственныя силы въ дѣлѣ охраны индійскихъ границъ; эти границы должны быть укрѣплены надлежащимъ образомъ, по всѣмъ правиламъ военнаго искусства, для встрѣчи возможныхъ случайностей въ будущемъ. Взгляды герцога Аргайлля были приняты весьма сочувственно не только правительствомъ въ лицѣ графа Гренвилля и лорда Кимберлея (министра по дѣламъ Индіи), но и консервативнымъ большинствомъ палаты; самъ маркизъ Салисбюри призналъ справедливость соображеній, высказанныхъ сторонниками мира. Лордъ Гренвилль счелъ даже нужнымъ сгладить впечатлѣніе оскорбительной для русскаго правительства рѣчи лорда Черчилля, о которой мы упомянули выше; въ сущности ми-

нистръ совершилъ неловкость, возражая въ верхней палатѣ противъ оратора, говорившаго въ нижней,—за что и подвергся невѣроятно рѣзкой выходкѣ со стороны послѣдняго, въ письмѣ, напечатанномъ въ въ „Times'ѣ". Редакція этой вліятельной газеты, помѣщая на своихъ столбцахъ письмо лорда Черчилля, оплакиваетъ въ передовой статьѣ упадокъ политическихъ нравовъ и забвеніе всякихъ приличій: дѣло дошло до того, что заслуженнаго государственнаго человѣка называютъ печатно „несчастною личностью", тычутъ въ грязь всю его многолѣтнюю карьеру и обвиняютъ его въ лживости и невѣжествѣ. Конечно, редакція „Times'a" могла бы избѣгнуть этихъ ламентацій въ данномъ случаѣ, отказавъ въ помѣщеніи ругательныхъ словъ, не имѣющихъ связи съ фактическимъ содержаніемъ письма и написанныхъ, очевидно, подъ вліяніемъ минутнаго раздраженія. Не есть ли это отчасти упущеніе со стороны печати, призванной по возможности охранять политическіе и общественные нравы отъ недостойныхъ публичныхъ посягательствъ? Повидимому, „Times" въ нѣкоторой степени раздѣляетъ патріотическія увлеченія лорда Черчилля, и газета не хотѣла отказать себѣ въ удовольствіи сдѣлать непріятность министру, который считается главнымъ виновникомъ новѣйшихъ политическихъ неудачъ Англіи. Само собою разумѣется, что въ душѣ всякій англичанинъ благодаритъ министерство за избавленіе отъ тяжелой и рискованной войны; но всѣ раздражены—и не безъ основанія—неумѣлымъ веденіемъ переговоровъ, излишнею требовательностью въ началѣ и обидною уступчивостью въ концѣ, общею неясностью и противорѣчивостью внѣшней политики кабинета, наконецъ, напряженными финансовыми затратами и тревогами.

Министерство Гладстона пока извлекло одну несомнѣнную выгоду изъ средне-азіатской горячки, охватившей общественное мнѣніе въ Англіи; оно успѣло незамѣтно ликвидировать свое суданское предпріятіе, въ виду новыхъ болѣе важныхъ заботъ. Отреченіе отъ предположенной экспедиціи противъ побѣдителей генерала Гордона не обратило на себя особеннаго вниманія: никто не думалъ о Суданѣ, когда дѣло шло о столкновеніи съ Россіею. Теперь Англія свободна и отъ безплодныхъ походовъ противъ махди, и отъ опасностей англо-русскаго конфликта. Въ то же время Гладстону удалось вновь сплотить около себя либеральную партію въ странѣ и въ парламентѣ, подъ вліяніемъ общаго политическаго возбужденія; но возбужденіе прошло, и опять обнаруживаются признаки разлада въ средѣ большинства палаты общинъ и въ средѣ самаго кабинета. Такъ-называемые радикальные члены министерства, Чамберленъ, сэръ Чарльсъ Дилькъ и Шау Лефевръ, разошлись съ Гладстономъ по вопросу о возобновленіи дѣйствія исключительныхъ мѣръ въ Ирландіи, и мини-

стерскій кризисъ былъ устраненъ компромиссомъ, въ силу котораго эти непопулярныя мѣры оставляются только на годичный срокъ. Внѣшнія неудачи бросили тѣнь и на внутреннія, обыкновенно столь блестящія дѣла либеральнаго кабинета. Реформаторская дѣятельность остановилась на время, финансы разстроились въ нѣкоторой степени, сравнительно съ предшествовавшими годами, и весь ходъ политическихъ дѣлъ кажется неудовлетворительнымъ для Англіи. Не вездѣ дѣла идутъ лучше; разница только въ томъ, что англичане въ парламентѣ и въ печати громко разъясняютъ свои невзгоды, выставляя малѣйшія ошибки министровъ и дипломатовъ,—тогда какъ при другихъ политическихъ условіяхъ многое оставалось бы скрытымъ, разростаясь свободно въ тиши и не давая повода къ непріятной критикѣ.

Безпристрастные органы европейской печати высказываются съ полнымъ одобреніемъ образу дѣйствій русской дипломатіи во время послѣдняго кризиса; это одобреніе имѣетъ тѣмъ болѣе значенія, что матеріалъ для выводовъ дается исключительно одною стороною—Англіею, въ публикуемыхъ ею „синихъ книгахъ". Оттуда и наши газеты почерпаютъ свои свѣденія о нашей внѣшней политикѣ, о переговорахъ и соглашеніяхъ, столь живо интересующихъ русское общество. Жаль только, что дипломатическая переписка является, такимъ образомъ, въ одностороннемъ освѣщеніи чужой державы, и что это освѣщеніе, производимое подборомъ документовъ, не находитъ себѣ надлежащаго противовѣса. Какъ бы то ни было, результаты переговоровъ оказались благопріятными для сохраненія мира и для интересовъ Россіи. Поѣздка въ Берлинъ одного изъ младшихъ членовъ лондонскаго кабинета, лорда Розберри, можетъ только способствовать устраненію разногласій, столь часто возникавшихъ въ послѣднее время между Англіею и двумя великими имперіями материка.

Русское общество можетъ быть только довольно мирнымъ исходомъ кризиса; одинокій недовольный голосъ замѣчался лишь на столбцахъ разсчетливыхъ и предпріимчивыхъ газетъ, неспособныхъ отличить безсмысленную воинственность, вредную для страны, отъ сознательныхъ государственныхъ цѣлей, осуществляемыхъ иногда войною. Возгласы въ пользу войны, не оправдываемой жизненными интересами государства и народа, всегда и повсюду прикрывали собою реакціонныя поползновенія и эгоистическіе разсчеты,—если только предположить, что такіе люди вообще руководствуются какими-либо мотивами въ своихъ желаніяхъ и стремленіяхъ. Объ исключительныхъ случаяхъ нечего и говорить,—они относятся уже къ области патологіи, личной или общественной.

Викторъ Гюго, одинъ изъ наиболѣе блестящихъ и плодовитыхъ поэтовъ настоящаго столѣтія, скончался 22 (10) мая, на 84-мъ году жизни. Въ европейской литературѣ послѣднихъ пятидесяти лѣтъ не было имени болѣе громкаго, славы болѣе распространенной, авторитета болѣе общепризнаннаго. Эта фигура возвышалась одиноко надъ всѣми литературными движеніями и дѣятелями современной Франціи; она занимала какъ бы царственное мѣсто, ни съ чѣмъ не сравнимое и никѣмъ не оспариваемое. Виктору Гюго суждено было дожить до самаго ослѣпительнаго апоѳеоза, какой когда-либо выпадалъ на долю великаго писателя; онъ при жизни еще перешелъ въ безсмертіе. Онъ былъ уже не только удивительнымъ поэтомъ, но и кумиромъ, полубогомъ, предъ которымъ преклонялись сильные міра сего; онъ не только создавалъ произведенія, блещущія великолѣпіемъ красокъ и идей, но и издавалъ манифесты въ пользу мира, писалъ ноты къ монархамъ, заступался за угнетенныхъ и преслѣдуемыхъ, утѣшалъ народы своими пророческими изреченіями и ставилъ свое имя во главѣ всякаго великодушнаго общественнаго порыва. Всѣмъ памятно категорическое обращеніе его къ императору Францу-Іосифу. Викторъ Гюго, дѣйствуя такъ, самъ по себѣ составлялъ какъ бы великую державу; онъ не просто говорилъ отъ своего имени, а торжественно заявлялъ мнѣніе „лучшей части человѣчества", представляемой въ его лицѣ. Когда онъ хотѣлъ выразить свое сочувствіе Гамбеттѣ въ періодъ народной обороны, онъ считалъ достаточнымъ передать ему черезъ одного изъ своихъ приближенныхъ многозначительную фразу: „Викторъ Гюго шлетъ свой привѣтъ Гамбеттѣ". Въ недоброжелательной ему части журналистики упоминалось нерѣдко, съ оттѣнкомъ ироніи, о „дворѣ Виктора Гюго", объ этомъ ограниченномъ кругѣ избранныхъ поклонниковъ и обожателей, заслонявшихъ его отъ толпы обыкновенныхъ смертныхъ. Викторъ Гюго былъ настоящимъ королемъ литературы; онъ съ рѣдкою полнотою воплощалъ въ себѣ всѣ особенности французскаго національнаго генія и придавалъ небывалый блескъ его недостаткамъ. Онъ царилъ во всѣхъ родахъ поэзіи, былъ творцомъ и новаторомъ въ драмѣ и въ романѣ, поражалъ неистощимымъ богатствомъ образовъ и расточительною роскошью языка. Въ послѣдніе годы его творчества форма замѣтно даже подавляла содержаніе, и смѣлыя комбинаціи словъ переходили въ вычурность.

Справедливо было замѣчено, что талантовъ и трудолюбія Виктора Гюго хватило бы на нѣсколько великихъ именъ: масса его произведеній могла бы сдѣлать знаменитыми по меньшей мѣрѣ трехъ писателей—поэта, романиста и драматурга. Этотъ гигантъ былъ образцовымъ труженикомъ; его неутомимая дѣятельность можетъ служить

краснорѣчивымъ укоромъ тѣмъ поэтамъ и беллетристамъ, которые тщательно берегутъ свои скромныя дарованія отъ чрезмѣрнаго будто бы напряженія. Неспособность къ усидчивому труду, прикрываемая возвышенными мотивами, довольно часто встрѣчается въ средѣ русскихъ молодыхъ писателей, и поучительные примѣры западно-европейскихъ свѣтилъ устраняютъ оптимистическое толкованіе этого печальнаго явленія. Живя въ изгнаніи на островѣ Гернсеѣ, Гюго неизмѣнно работалъ и съ замѣчательною аккуратностью распредѣлялъ свое время; его регулярный образъ жизни характеризуется сдѣланною имъ надписью на стѣнѣ его „Hauteville-house“: „Lever à six, dîner à dix, souper à six, coucher à dix, — fait vivre l'homme dix fois dix“.

Гюго былъ аристократомъ по натурѣ, но демократомъ по симпатіямъ и убѣжденіямъ; онъ считалъ за собою древнюю родословную, ибо отецъ его, наполеоновскій генералъ, возведенный въ графы, слѣдовалъ общему стремленію вновь созданной аристократіи—облагораживать свое прошлое, иногда весьма демократичное. Дѣдъ Виктора Гюго былъ столярнымъ мастеромъ въ Мецѣ. Поэтъ родился въ 1802 г. въ Безансонѣ, гдѣ отецъ его служилъ капитаномъ. Хилый ребенокъ не предвѣщалъ долгой жизни; но онъ постарался опровергнуть заботливыя предсказанія врачей. Отецъ участвовалъ въ главнѣйшихъ походахъ имперіи и сдѣлался областнымъ начальникомъ въ Италіи: вмѣстѣ съ нимъ маленькій Викторъ странствовалъ по Европѣ и провелъ дѣтскіе годы въ Испаніи, гдѣ генералъ Гюго былъ уже мажордомомъ короля Жозефа и правителемъ трехъ провинцій. Съ 1812 года поэтъ воспитывался въ Парижѣ и рано началъ писать стихи; пятнадцати лѣтъ отъ роду онъ послалъ во французскую академію посланіе, которое потому только не удостоено было преміи, что сообщеніе автора о возрастѣ его сочтено было за насмѣшку. Онъ сталъ печатать оды и поэмы, доставившія ему быструю славу; Шатобріанъ назвалъ его „божественнымъ ребенкомъ“. Отецъ предлагалъ Виктору подумать о болѣе надежной профессіи, чѣмъ литература,—подъ угрозою оставленія его на произволъ судьбы. Матери уже не было въ живыхъ; она умерла въ 1821 году. Первая книжка стихотвореній обратила на юнаго поэта вниманіе короля Людовика XVIII, который назначилъ ему тысячу франковъ въ годъ изъ своей собственной кассы; это дало молодому Гюго возможность жениться на любимой дѣвушкѣ, подругѣ дѣтства. Поэтъ былъ еще проникнутъ строгими монархическими чувствами, благодаря вліянію своей матери, вандейской уроженки. Въ 1827 году онъ напечаталъ „Кромвеля“, драму, неудобную для сцены, съ смѣлымъ предисловіемъ, имѣвшимъ характеръ манифеста новой романтической школы. Въ 1829 году появи-

лись „Les Orientales", а три недѣли спустя—„Le dernier jour d'un condamné". Слава автора была окончательно упрочена. Въ томъ же году Гюго издалъ „Marion Delorme", пьесу въ пяти актахъ, написанную имъ въ теченіе трехъ недѣль. Цензура запретила представленіе этой пьесы, и авторъ черезъ полтора мѣсяца представилъ другую, знаменитую „Hernani". Успѣхъ былъ колоссальный; пьеса давалась сорокъ пять разъ, — всѣ приверженцы новаго направленія привѣтствовали его полное торжество, въ лицѣ Гюго. Въ 1830 году Гюго написалъ, въ пять съ половиною мѣсяцевъ, „Notre-Dame de Paris". Пьеса „Le roi s'amuse", напечатанная въ 1832 году, была запрещена цензурою и впервые представлена на сценѣ только полвѣка спустя, въ 1882 году. Для сцены были еще написаны поэтомъ—„Lucrèce Borgia", „Marie Tudor", „Angelo", „Ruy-Blas" и "Burgraves"; въ то же время онъ печаталъ сборники стихотвореній—прелестныя „Feuilles d'automne", „Les voix interieures", „Rayons et ombres".

Въ 1841 году Гюго былъ избранъ въ члены академіи; онъ проникся политическимъ честолюбіемъ и мечталъ о парламентскихъ побѣдахъ. Палата депутатовъ была недоступна ему, такъ какъ она существовала только для людей, обладающихъ значительнымъ имущественнымъ цензомъ. Король Луи-Филиппъ воспользовался своимъ правомъ—назначать перовъ Франціи, между прочимъ, изъ среды членовъ академіи, и Викторъ Гюго въ 1845 году вступилъ въ составъ верхней палаты. Послѣ февральской революціи въ мнѣніяхъ поэта замѣчается поворотъ въ сторону демократіи. Онъ основалъ газету „Evénement", въ которой поддерживалъ кандидатуру Луи-Наполеона на постъ президента республики, — Гюго ошибался насчетъ принца, какъ ошибались люди болѣе опытные и проницательные въ политикѣ, какъ Тьеръ. Въ парламентѣ онъ засѣдалъ уже въ рядахъ демократической партіи, въ качествѣ ея предводителя и оратора. Императорскія замашки и приготовленія принца-претендента нашли въ Гюго горячаго обличителя. Наиболѣе замѣчательныя рѣчи произнесены имъ въ періодъ борьбы противъ Луи-Наполеона. Викторъ Гюго принималъ энергическое участіе въ усиліяхъ небольшой группы депутатовъ организовать сопротивленіе противъ государственнаго переворота 2 декабря 1851 года. Поэту удалось во-время скрыться въ домѣ одного маркиза, послѣ того какъ нѣкоторые бывшіе пріятели отказались помѣстить его у себя. Маркизъ снабдилъ его паспортомъ, и Гюго благополучно выбрался изъ страны, сдѣлавшейся добычей бонапартистовъ. Въ Брюсселѣ онъ тотчасъ же выпустилъ брошюру „Napoléon le Petit", — смѣлый и презрительный вызовъ, брошенный новому повелителю Франціи. Бельгійское правительство сочло для себя опаснымъ пребываніе поэта на его территоріи, и Гюго уда-

лился на островъ Джерсей, съ котораго впослѣдствіи переѣхалъ на другой островъ, Гернсей. Въ 1853 году вышло въ свѣтъ произведеніе, которымъ зачитывались въ Европѣ и во Франціи,—„Châtiments"; наполеоновскія таможни и полицейскія мѣры не могли помѣшать необычайному распространенію этой книги, путемъ контрабанды. Въ 1856 году напечатаны два тома „Contemplations"; въ 1859 году — „Legende des siècles", въ двухъ томахъ, а въ 1862 году—наиболѣе объемистый изъ его романовъ—„Les Miserables", въ десяти томахъ. Въ этомъ послѣднемъ романѣ сила таланта Гюго достигла своего апогея; позднѣйшія сочиненія обнаруживаютъ уже нѣкоторую усталость творчества, — въ нихъ внѣшній эффектъ преобладаетъ надъ стройностью и послѣдовательностью мысли, культъ фразы возводится на степень высшаго искусства и порождаетъ блестящіе фейерверки, отъ которыхъ, однако, вѣетъ нѣкоторою холодностью. Достаточно перечислить главнѣйшіе труды этого послѣдняго періода дѣятельности Гюго—„Travailleurs de la mer", „L'homme qui rit", „L'année terrible", „Quatre-vingt-treize", вторая серія „Légende des siècles", „L'ane", „Torquemada", „Les quatre vents de l'esprit". Въ 1877 году вышла „Histoire d'un crime", написанная еще въ 1852 году, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ переворота 2 декабря. Политическія рѣчи и статьи собраны въ трехъ томахъ, подъ заглавіемъ: „Actes et paroles".

Изъ этого краткаго обзора можно видѣть, какое громадное литературное наслѣдство оставилъ послѣ себя Гюго. Существуетъ нѣчто болѣе достойное уваженія, чѣмъ самая геніальность,—это способность извлечь для общей пользы всѣ сокровища, скрытыя въ глубинахъ генія, твердая и непоколебимая рѣшимость утилизировать всѣ разнообразные рессурсы, которые природа щедро совмѣстила въ одномъ человѣкѣ. Викторъ Гюго разработалъ всѣ изгибы своего дарованія, не позволяя себѣ ни отдыха, ни успокоенія на лаврахъ; онъ далъ все, что было въ немъ, безъ остатка, и старался даже дать больше, чѣмъ слѣдовало бы въ интересахъ его славы,—онъ пытался еще перешагнуть за предѣлы своего призванія и играть роль политическаго дѣятеля, какъ будто ему мало было литературнаго господства, поддерживаемаго непрерывнымъ плодотворнымъ трудомъ. Эта любопытная сторона многолѣтней карьеры Гюго была въ свое время подробно разобрана въ нашемъ журналѣ, по поводу появленія упомянутаго выше сборника: „Actes et paroles" [1]).

Каковы бы ни были самообольщенія и ошибки великаго поэта, его цѣли и идеалы всегда оставались свѣтлыми, возвышенными. Вѣра

[1]) См. „Вѣстникъ Европы". 1876, апрѣль, стр. 601 — 647, статья К. К. Арсеньева.

въ будущность человѣчества, свѣжая энергія души, оптимизмъ въ лучшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова,—придавали Виктору Гюго необычайную притягательную силу, окружали его особымъ ореоломъ не только въ глазахъ Франціи, но и въ глазахъ всего просвѣщеннаго міра. Вотъ что писалъ и проповѣдывалъ семидесяти-трехлѣтній Гюго въ предисловіи къ своимъ „Actes et paroles“: „Человѣчество имѣетъ два полюса — истинное и прекрасное; оно будетъ управляться въ одной области знаніемъ, въ другой—идеаломъ. Битвы уступятъ мѣсто открытіямъ; народы перестанутъ завоевывать, они будутъ расти и просвѣщаться; люди не будутъ болѣе воинами, они будутъ работниками,—будутъ искать, строить, изобрѣтать; истребленіе не будетъ славою. Это будетъ замѣна убійцъ творцами. Цивилизація, состоявшая вся изъ дѣйствій, перейдетъ въ господство мысли; публичная жизнь образуется изъ изученія истины и творчества красоты; образцовыя произведенія искусства будутъ событіями; люди будутъ больше увлекаться Иліадою, чѣмъ Аустерлицемъ. Границы исчезнутъ при свѣтѣ умовъ“. Много ли найдется теперь юношей, способныхъ раздѣлять эту теплую вѣру престарѣлаго поэта, пережившаго всякія превратности, и личныя и общественныя? „Слава,—какъ справедливо замѣчаетъ французскій критикъ Эдуардъ Шереръ,—не идетъ къ скептикамъ; народъ любитъ только тѣхъ, которые вѣруютъ въ дорогія ему иллюзіи или истины“.

Какъ будто въ подтвержденіе теоріи о родствѣ геніальности съ психическими болѣзнями, семейство Гюго представляетъ нѣсколько случаевъ помѣшательства: старшій братъ его умеръ въ Шарантонѣ, а единственная оставшаяся въ живыхъ дочь поэта находится понынѣ въ больницѣ для душевно-больныхъ. Самъ Викторъ Гюго былъ образцомъ умственнаго и физическаго здоровья. Тѣло его покоронено въ Пантеонѣ (бывшей церкви св. Женевьевы, въ такъ-назыв. Латинскомъ кварталѣ, близъ Сорбонны), которому возвращено теперь первоначальное его назначеніе—служить усыпальницею великихъ людей Франціи.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1-е іюня 1885.

— Великая княгиня Екатерина Алексѣевна, 1729—1761 г. Историческій очеркъ П. Дирина. Спб. 1884.

Монографіи такого рода, какъ книга г. Дирина, положительно входятъ въ моду въ нашей исторической литературѣ, и, разумѣется, этому надо только радоваться, потому что онѣ послужатъ къ большему распространенію историческихъ познаній въ нашемъ обществѣ; самые эти труды вызываются возрастаніемъ общественнаго интереса къ исторіи. Цѣль подобныхъ трудовъ часто бываетъ почти исключительно популярная: въ книгѣ г. Дирина не найдется, кажется, ничего такого, что̀ не было бы достаточно извѣстно изъ другихъ сочиненій объ императрицѣ Екатеринѣ II и изъ ея собственныхъ мемуаровъ; но сочиненіе г. Дирина тѣмъ не менѣе полезно, какъ подробное сопоставленіе разбросанныхъ свѣденій,—тѣмъ болѣе, что монографія имѣетъ свойство привлекать особое вниманіе къ лицамъ и событіямъ, на которыхъ она останавливается.

Если не ошибаемся, авторъ впервые предпринялъ въ своей книгѣ нѣсколько обширный историческій трудъ; и, быть можетъ, онъ не посѣтуетъ на нѣсколько замѣчаній, которыя вызываетъ его книга—какъ постановкой самого предмета, такъ и изложеніемъ.—На первыхъ страницахъ авторъ хотѣлъ представить общее положеніе историческаго вопроса о личности и времени импер. Екатерины II, и разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ:

„Рѣдкое имя пользовалось такою популярностью въ историческихъ судьбахъ народа (?), какъ имя Екатерины II въ средѣ русскихъ... Современники благоговѣли предъ ея именемъ. Дошедшіе до насъ воспоминанія и мемуары той эпохи дышутъ самою горячею преданностью и какимъ-то поклоненіемъ предъ монархиней. Съ другой стороны, одновременно съ похвалами, исходящими изъ сердецъ русскихъ,

появляются самые ярые обвинители Екатерины въ лицѣ иностранныхъ писателей. Эти послѣдніе вызвали нѣкоторыхъ подражателей (?) въ средѣ позднѣйшихъ русскихъ критиковъ, которые, задавшись цѣлью представить личность и дѣятельность Екатерины, старались доказать (?) всю неприглядность ея царствованія, въ продолженіе котораго неурядицы и бѣдствія государства были почти всеобщи и скрывались только за внѣшнимъ блескомъ обстановки. Сопоставляя отзывы и сужденія современныхъ и послѣдующихъ критиковъ, невольно рождается вопросъ: которые изъ нихъ болѣе достойны довѣрія?...

„Противорѣчія современниковъ понятны,—продолжаетъ авторъ.—Иностранцы судили Екатерину, какъ дѣятеля политическаго, не щадившаго никого, чей образъ мыслей и дѣйствій не соотвѣтствовалъ ея видамъ, направленнымъ къ пользѣ Россіи, и поэтому (?) они примѣшивали язвительные намеки на частную жизнь Екатерины, забывая, что она, будучи императрицею, въ тоже время оставалась и человѣкомъ, а, слѣдовательно, ей, какъ всякому человѣку, были присущи и свои недостатки. Русскіе, напротивъ того, не могли не сознавать ея государственной мудрости, благодаря которой весь періодъ ея царствованія наполненъ полезными учрежденіями и реформами по внутреннему управленію, и наконецъ, благодаря которой, отечество наше было поставлено дѣйствительно на степень первенствующей державы. Строгая и непривѣтливая къ иностранцамъ (?), Екатерина являлась величественною и кроткою къ своимъ подданнымъ“, и пр. (стр. 3—5).

Авторъ оставляетъ вопросъ безъ разсмотрѣнія, хотя очевидно его мнѣніе склоняется въ эту вторую сторону,—и переходитъ прямо къ своей біографической темѣ, замѣчая, что характеръ Екатерины II не можетъ быть вполнѣ объясненъ безъ исторіи ея ранняго воспитанія и условій, въ которыхъ складывалась ея жизнь.—Возвратимся къ предъидущимъ разсужденіямъ. Къ сожалѣнію, они исполнены неточностями и нѣсколько страннымъ пониманіемъ исторической задачи. Несправедливо, во-первыхъ, противопоставленіе русскихъ современныхъ восхваленій имп. Екатерины и „ярыхъ обвиненій“ ея со стороны иностранныхъ писателей. Напротивъ, слишкомъ извѣстно, что между послѣдними были восхвалители, которые никакъ не уступятъ русскимъ панегиристамъ Екатерины II, и между ними были такія всесвѣтныя знаменитости своего времени, какъ напр. Вольтеръ и Дидро. Сказать, что мнѣнія иностранцевъ объ Екатеринѣ потому бывали неблагопріятны, что она была „строга и непривѣтлива“ къ иностранцамъ,—опять произвольно, потому что большей привѣтливости къ тогдашнимъ философамъ-публицистамъ, чѣмъ оказывала Екатерина, нельзя найти по всей русской исторіи; напротивъ, она за ними ухаживала

какъ нельзя любезнѣе, и достигала своей цѣли, т.-е. восторженныхъ панегириковъ.

Далѣе, авторъ забылъ, что русскіе писатели, не только временъ Екатерины, но и долго послѣ, вовсе не были въ такомъ положеніи, чтобы они могли пользоваться какой нибудь свободой мнѣній: путь панегирика былъ для нихъ совершенно открытъ; но былъ ли открытъ путь свободной критики? Извѣстно, что были, однако, еще въ прошломъ столѣтіи попытки намекнуть на другую сторону медали, на темные факты славнаго царствованія, но что эти попытки были тотчасъ подавляемы и обходились очень дорого своимъ авторамъ. Извѣстно, что настроеніе самой Екатерины было очень несходно въ началѣ и въ концѣ царствованія, и что особенно въ этомъ концѣ немыслимо ждать отъ русскихъ современныхъ писателей свободнаго и искренняго слова. Тѣ немногія попытки критическаго взгляда на русскую жизнь, какія все-таки сохранились, эти немногіе отголоски искреннихъ мнѣній превышаютъ, конечно, сотню льстивыхъ панегириковъ, оффиціальныхъ одъ, похвальныхъ словъ и т. д. Далѣе, авторъ полагаетъ, будто бы позднѣйшіе русскіе „критики“, „старавшіеся доказать неприглядность“ царствованія Екатерины II, явились только подражателями иностранныхъ писателей, ярыхъ ея обвинителей. Понятіе крайне странное и несерьезное. Какъ мы сейчасъ замѣчали, до недавняго времени въ нашей литературѣ совсѣмъ отсутствовала сколько-нибудь критическая исторія вѣка Екатерины, какъ и вообще прошлаго столѣтія и временъ новѣйшихъ: нечего было и ожидать какихъ-либо отзывовъ о томъ времени, кромѣ льстивыхъ и восхвалительныхъ. Что современники блестящаго вѣка не были однако только панегиристами, это становится болѣе и болѣе очевидно по мѣрѣ того, какъ всплываютъ старые сочиненія и мемуары, доселѣ хранившіеся подъ спудомъ. Спеціальному историку Екатерины слѣдовало бы имѣть объ этомъ понятіе. Ему слѣдовало бы также знать, какъ вообще шло у насъ изученіе исторіи прошлаго вѣка. Сказать, что русскіе позднѣйшіе критики были подражателями иностранныхъ писателей, можно только при большомъ невѣденіи объ этомъ предметѣ. На дѣлѣ, старые иностранные писатели объ Екатеринѣ II не только забыты, но и совсѣмъ почти ненужны для новѣйшихъ историковъ: какъ только открылась возможность говорить объ этомъ времени, въ исторической литературѣ появилась уже и продолжаетъ появляться масса своихъ домашнихъ источниковъ, частныхъ и оффиціальныхъ, старыхъ мемуаровъ, переписки, документовъ; матеріалъ является въ такомъ обиліи, что смѣшно говорить, будто бы „позднѣйшимъ критикамъ“ нужны были старые иностранные писатели, какъ образцы для подражанія. Странно также и недоумѣніе автора при

вопросѣ: которые изъ отзывовъ, старыхъ и позднѣйшихъ, болѣе достойны довѣрія? Для историка, „отзывы“ имѣютъ очень второстепенное значеніе, или бываютъ совсѣмъ безразличны; свое „довѣріе“ онъ даетъ не словамъ, а критически выясненнымъ фактамъ.

Изложеніе г. Дирина вообще довольно близко слѣдуетъ за источниками, которыми онъ пользовался. Авторъ рѣдко оставляетъ разсказъ для психологическихъ объясненій, напр. хотя бы для объясненія того мудренаго положенія, въ которомъ жила Екатерина при дворѣ Елизаветы Петровны по вступленіи въ бракъ съ великимъ княземъ, наслѣдникомъ русскаго престола; читателю самому приходится выяснять развитіе характера Екатерины по фактамъ, сообщаемымъ у автора. Иныя подробности, какъ напр. тѣ, которыя касаются личной жизни Екатерины въ первые годы ея замужества, недостаточно переданы и самимъ авторомъ, такъ что и читатель остается относительно ихъ въ недоумѣніи,—между тѣмъ, эти подробности очень важны для объясненія ея дальнѣйшей исторіи, и въ современныхъ источникахъ они указываются.—Правда, что въ этомъ случаѣ авторъ могъ быть стѣсненъ внѣшними соображеніями.

Мы указали бы еще одинъ недостатокъ въ книгѣ г. Дирина. Давно замѣчено, что въ нашей нынѣшней литературѣ распространилось чрезвычайно небрежное отношеніе къ формѣ и языку. Странно сказать, но рядомъ съ распространеніемъ классицизма въ школѣ, фельетонная неряшливость изложенія проникаетъ и въ беллетристику, и въ серьезныя книги, и доходитъ наконецъ до неправильностей въ самомъ языкѣ, до отрицанія грамматики. Къ сожалѣнію, трудъ г. Дирина далеко не свободенъ отъ подобныхъ недостатковъ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

„Принцъ Фридрихъ-Августъ былъ ребенокъ чрезвычайно слабаго сложенія и здоровья, и его болѣзненное состояніе требовало постояннаго тщательнаго ухода и бережливости“ (стр. 13).

„Екатерина писала весьма своеобразно не только по-русски и по-французски, но и на нѣмецкомъ языкѣ, бывшемъ ей природнымъ до четырнадцатилѣтняго возраста“ (стр. 14). Полагаемъ, что нѣмецкій языкъ остался навсегда ея природнымъ языкомъ,—хотя бы послѣ она предпочитала ему какой угодно другой языкъ.

„Объ учителяхъ Екатерины можно сказать весьма немного. Повидимому, намять о нихъ изгладилась вмѣстѣ съ временемъ“ (стр. 15). Логическое построеніе послѣдней фразы неудовлетворительно. „Объясняется это отчасти тѣмъ, что въ молодые годы Екатерины не было никого, кто могъ бы... стараться оставить памятники ея жизни“ (тамъ же).

Когда возникъ планъ найти невѣсту для вел. кн. Петра Ѳедоро-

вича—„при дворѣ пошла въ ходъ цѣлая система политическихъ интригъ. Начиная съ канцлера Бестужева, каждый изъ представителей иностранныхъ державъ старался выдвинуть свою кандидатку“ (стр. 21). Выходитъ, что канцлеръ Бестужевъ принадлежалъ къ числу представителей иностранныхъ державъ.

„Просвященный“ (стр. 80)—надо думать, опечатка.

Екатерина держалась съ большимъ тактомъ относительно императрицы Елизаветы Петровны. „Усвоивъ себѣ всѣ ея недостатки и отдавая справедливость ея качествамъ (вѣроятно, пропущено: хорошимъ), Екатерина овладѣла ея довѣріемъ и любовью“ (стр. 89). Авторъ, безъ сомнѣнія, хотѣлъ сказать совсѣмъ не то, что сказалъ,—именно, что Екатерина подмѣтила недостатки Елизаветы, а не то, что она ихъ переняла.

„Нерасположеніе духа“ (стр. 97) означаетъ вѣроятно: дурное расположеніе духа.

О герцогѣ голштинскомъ Августѣ, дядѣ Екатерины, авторъ говоритъ: „не взирая на его уродливость, онъ былъ грубъ и весьма простъ (стр. 101). Какая связь между этими качествами, непонятно.

О положеніи Екатерины послѣ рожденія Павла: „Во время болѣзни много пролила она слезъ... Но, оправившись окончательно отъ родовъ, оскорбленное чувство самолюбія требовало удовлетворенія“ (стр. 183). Выходитъ, что чувство самолюбія оправилось отъ родовъ.

И такъ далѣе. Присоединяются другія неточности. Напримѣръ, наставникъ Екатерины называется Теодорскимъ, когда его имя было Тодорскій (стр. 44 и др.); графъ Гендриковъ названъ Гейнриковъ (стр. 93). На стр. 96 мы читаемъ слѣдующее: Екатерина писала письмо къ имп. Елизаветѣ. „Приводимъ его,—говоритъ авторъ,—цѣликомъ, въ переводѣ, какъ образецъ сношеній великой княжны съ императрицею и какъ первое письмо ея на русскомъ языкѣ“. Какой же былъ переводъ съ русскаго языка?

Всѣхъ этихъ недостатковъ языка и самаго изложенія нетрудно было бы избѣжать при болѣе внимательномъ отношеніи къ работѣ.

— Очерки изъ исторіи Тамбовскаго края. Выпускъ 3-й. Изслѣдованіе И. И. Дубасова. Москва, 1884.

Въ свое время въ Литературномъ Обозрѣніи „Вѣстника Европы“ данъ былъ отчетъ о первыхъ двухъ выпускахъ сочиненія г. Дубасова. Въ началѣ третьяго выпуска, авторъ счелъ нужнымъ остановиться на тѣхъ отзывахъ, какіе явились объ его книгѣ въ газетахъ и журналахъ, и ревностно защищаетъ свою книгу не только отъ несправедливыхъ нападеній, какія бывали, но и отъ спокойныхъ—и не

лишенныхъ правды—замѣчаній: противъ рецензіи журнала „Р. Мысль“ онъ возражаетъ, что „съ вѣтру говорить не привыкъ“; противъ другого журнала защищаетъ слово: „изслѣдованіе“, какимъ называетъ свою книгу,—„какъ будто нахожденіе и обнародованіе прежде никому неизвѣстныхъ матеріаловъ не есть изслѣдованіе“, и т. д. Мы не желаемъ огорчать почтеннаго автора, но относительно послѣдняго пункта думаемъ, что „нахожденіе и обнародованіе матеріаловъ“ дѣйствительно есть не изслѣдованіе, а—изданіе или пересказъ матеріаловъ. Изслѣдованіе предполагаетъ аналитическую работу, систематическое объясненіе историческихъ явленій,—а этого книга г. Дубасова не представляетъ, какъ ни любопытны были многіе сообщенные въ ней факты. Въ другомъ мѣстѣ авторъ самъ говоритъ о своемъ „изслѣдованіи“ нѣчто иное; именно, когда ему замѣчали, что въ своихъ показаніяхъ о числѣ жителей въ тамбовскихъ городахъ онъ не взялъ къ своимъ архивнымъ свѣденіямъ и печатныхъ свѣденій прошлаго вѣка, онъ отговаривается тѣмъ, что „задался цѣлью изучить именно архивные источники относительно тамбовскаго края“; но изученіе источниковъ, на обыкновенномъ языкѣ, есть еще только первый шагъ къ изслѣдованію, а не самое изслѣдованіе, и для послѣдняго именно необходимо и обязательно принимать въ разсчетъ всякіе, и архивные и не-архивные источники. Другая отговорка, что „всѣхъ печатныхъ источниковъ на избранную тэму въ такомъ скромномъ провинціальномъ городѣ, какъ Тамбовъ, и имѣть нельзя“—можетъ вызвать замѣчаніе, что въ Тамбовѣ нѣтъ и тѣхъ матеріаловъ, которые авторъ изучалъ въ московскихъ архивахъ; въ той же Москвѣ можно было познакомиться и съ тѣми печатными источниками, знаніе которыхъ необходимо было бы для „изслѣдованія“.

Мы говоримъ обо всемъ этомъ къ тому, что авторъ напрасно тратитъ усилія на защиту титула своей работы. Характеръ ея ясенъ,—это отдѣльные, большей частью, несвязанные внутренно очерки разныхъ событій тамбовской старины по архивнымъ матеріаламъ, и измѣнить этого характера авторъ не могъ бы никакими заглавіями. Ему приходится, наконецъ, сознаться (стр. 6): „строгаго плана въ общепринятомъ смыслѣ у меня и не могло быть по характеру и направленію многихъ работъ (?). Планъ мой дѣйствительно выяснится по окончаніи моихъ очерковъ, которые, по моему мнѣнію, только начаты“... „Направленіе“ заключается, повидимому, просто въ томъ, что, по мѣрѣ появленія новаго матеріала, у автора составляются новые разсказы безъ особеннаго порядка и системы, такъ что, дошедши разъ въ тамбовской исторіи отъ XVII вѣка до XIX-го, авторъ въ 3-мъ выпускѣ возвращается опять назадъ въ XVII-й вѣкъ, напр. опять

пересчитываетъ старинныхъ воеводъ, которые не названы—т.-е. пропущены—были въ первыхъ выпускахъ (стр. 36, прим.). Такимъ образомъ, самый матеріалъ является въ разбросанномъ видѣ, и „изслѣдованія“ тутъ совсѣмъ нѣтъ.

Намъ кажется, что гораздо лучше было бы, еслибы авторъ, не мудрствуя лукаво и оставя притязанія, передавалъ матеріалъ, по мѣрѣ своего изученія, и заботился только о наибольшей вѣрности этой передачи. Между тѣмъ, теперь онъ старается искусственно закруглять свои отдѣльные очерки, прибавлять мнимыя обобщенія и украшенія, а передача матеріала остается неполной.

Напримѣръ, на стр. 70-й мы читаемъ такое фразистое разсужденіе о XVIII вѣкѣ: „По смерти Петра Великаго, всероссійская жизнь повсемѣстно нравственно ослабѣла (?). Явилась дикая и нелѣпая бироновщина, съ ея чужеземными хищными проходимцами. Со дня на день укрѣплялся бюрократизмъ, и народная жизнь видоизмѣнялась по нѣмецкому шаблону... Очень плохо приходилось въ тѣ дни и нашему краю“ и т. д. Читатель ожидаетъ, что эти слова оправдаются разсказомъ о предшествующей нравственной крѣпости „всероссійской“ жизни и фактами послѣдующаго нашествія бироновщины и „чужеземныхъ хищныхъ проходимцевъ“,—но онъ обманется: ничего этого нѣтъ; приведенныя слова были только фразой для закругленія главы. На дѣлѣ, времена до-петровскія вовсе не даютъ утѣшительной картины, и авторъ долженъ отмѣчать въ XVII вѣкѣ факты „приказнаго и воинскаго самоуправства“ (стр. 32), а отъ половины XVIII вѣка приводить факты насилія и грабежа, совершаемыхъ не „чужеземными проходимцами“, а своими домашними людьми, притомъ такими, которые были въ особенности хранителями преданія. „Въ числѣ народныхъ обидчиковъ,—разсказываетъ авторъ,—и нарушителей общественнаго спокойствія не послѣднее мѣсто занимали иногда монастыри и приходское духовенство“ (стр. 73). Слѣдуютъ примѣры насилій, грабежа, „наглаго озорничества“ духовныхъ лицъ. Что касается грабежей со стороны приказнаго люда, то они шли какъ до бироновщины, такъ и послѣ, и, конечно, не по нѣмецкому, а просто по давнему домашнему „шаблону“ (ср. разсказы изъ временъ имп. Елизаветы, стр. 82 и др.).

Упоминая о приходѣ калмыковъ на нижнюю Волгу и ихъ грабежахъ, авторъ восклицаетъ: „И мы не знаемъ, чему въ данномъ случаѣ болѣе удивляться: необузданной ли наглости полудикихъ азіатовъ, или же чрезвычайной терпѣливости и уступчивости московскаго правительства“ (стр. 43). Опять—фраза безсодержательная. Удивляться совершенно нечему: нравы калмыковъ были тѣ же, какіе были обыкновенно у азіатскихъ кочевниковъ, у крымскихъ, ногайскихъ и кубанскихъ татаръ и другихъ грабителей; а отсутствіе от-

пора объяснялось недостаткомъ у московскаго правительства военной силы для защиты обширной границы. „Необузданная наглость полудикихъ азіатовъ“ должна бы быть для автора тѣмъ менѣе удивительна, что на слѣдующей же страницѣ онъ самъ разсказываетъ такую исторію (стр. 44): однажды ѣхалъ изъ Астрахани въ Москву бояринъ Иванъ Даниловичъ Милославскій съ ратными людьми и по дорогѣ, „умысля съ княземъ Одоевскимъ“ (который былъ астраханскимъ воеводой и долженъ былъ особенно заботиться о мирѣ съ калмыками), калмыцкій улусъ и калмыцкихъ людей „погромилъ“, набралъ плѣнныхъ и забралъ много скота. „Вслѣдствіе этого,—замѣчаетъ простодушно авторъ, забывъ о „наглости“ калмыковъ,—немедленно начались со стороны калмыковъ сильные набѣги“.

Въ главѣ: „Тамбовскія были прошлаго вѣка“ авторъ собралъ цѣлую массу фактовъ, рисующихъ весьма первобытное состояніе общества, господство тягостныхъ для народа учрежденій и администраціи, и въ результатѣ ихъ—произвола, насилій, грабежей, въ которыхъ, каждый на свой ладъ, участвовали всякіе слои населенія, и въ концѣ авторъ не могъ опять обойтись безъ реторическихъ восклицаній:

„Невесела и неспокойна была жизнь нашихъ предковъ — тамбовцевъ, и тѣмъ съ большимъ довѣріемъ должны мы отнестись къ нашему настоящему и будущему (?). Я не сомнѣваюсь, что въ описываемую эпоху были у насъ и радостныя явленія. Несомнѣнно, бывали у насъ и добрые патріархальные помѣщики, и безкорыстные чиновники, и ревностные благочестивые пастыри, такъ какъ (?) въ жизни человѣческой горе обыкновенно перемѣшивается съ радостію, злоба съ милосердіемъ, богатство съ нищетою, сила съ слабостію, покой съ тревогою (?),—и мы первые искренно обрадовались бы, еслибы положительныя бытовыя черты нашего края кѣмъ либо были научно, т.-е. по несомнѣннымъ документамъ и инымъ памятникамъ, установлены. Тогда эта послѣдняя наша догадка о существованіи и свѣтлыхъ сторонъ отжившаго нашего быта стала бы неопровержимымъ фактомъ“ (стр. 94). А до тѣхъ поръ эта тирада останется напрасной тратой словъ. Вообще, лирическіе эпизоды, намъ кажется, не служатъ къ пользѣ книги г. Дубасова.

Но за всѣмъ тѣмъ и въ настоящемъ выпускѣ есть немало любопытныхъ подробностей о старой провинціальной жизни, которыя даютъ картину не только одного мѣстнаго быта, но и вообще нравовъ „добраго стараго времени“. Исторія давно усумнилась въ привлекательности этого добраго времени, и чѣмъ дальше идетъ знакомство съ нимъ, тѣмъ больше блѣднѣютъ розовыя краски и превращаются въ довольно сѣрыя.

Старый бытъ, который изображаетъ г. Дубасовъ по своимъ

матеріаламъ о Тамбовскомъ краѣ, безъ сомнѣнія, не былъ свойственъ только одному этому краю, и разсказъ о немъ любопытенъ и въ болѣе широкомъ историческомъ смыслѣ. Добрые старые нравы состояли въ весьма первобытномъ складѣ жизни, гдѣ, благодаря конечно не Петровской реформѣ, а гораздо болѣе старому преданію, господствовалъ полный произволъ административныхъ властей и помѣщиковъ, и гдѣ этой привычкой къ произволу заражались всѣ, кому доставалась какая-нибудь власть. Воеводы дѣлали, разумѣется, все что хотѣли; бывали, безъ сомнѣнія, между ними добрые люди, но были и люди строптивые и алчные, отъ которыхъ не было никакой защиты; дворяне и „дѣти боярскіе“ захватывали монастырскія земли, забирали людей. Подобные обычаи, какъ нельзя больше, способствовали разбою, который доходилъ до того, что разбойники однажды въ самомъ городѣ ограбили воеводскій домъ; съ другой стороны, необузданность помѣщичьей власти также доходила до настоящаго разбоя. Иные помѣщики совершали открытые разбои надъ своими сосѣдями, и доходило до того, что во главѣ грабительскихъ шаекъ становились даже барыни-помѣщицы, какъ кн. Енгалычева, Моисеева, въ царствованія имп. Елизаветы и Екатерины. Въ составѣ обыкновенныхъ разбойничьихъ шаекъ, грабившихъ по большимъ дорогамъ, кромѣ бѣглыхъ крестьянъ, солдатъ, бывали духовныя лица, священники и даже дворяне (стр. 89—91). Отъ административныхъ и помѣщичьихъ притѣсненій было одно спасеніе—въ бѣгахъ. Бѣгали люди всякихъ сословій: дворяне, уходившіе отъ требованій на военную службу; духовенство, бѣгавшее отъ своего стѣсненнаго положенія,—бывали случаи, что священники, даже протоіереи убѣгали въ раскольничьи скиты; всего больше бѣгали, конечно, помѣщичьи крестьяне, и манія бѣгства и потребность какой-нибудь свободы доходила до того, что въ бѣга отправилась однажды 80-лѣтняя старуха. Явленіе было столь обычное, что крестьянинъ-бѣглецъ, нерѣдко человѣкъ совсѣмъ смирный, убѣгалъ отъ суроваго помѣщика иногда въ ближайшее сосѣдство, гдѣ и продолжалъ спокойно свою крестьянскую работу (стр. 84—86).

Къ сожалѣнію, разсказъ г. Дубасова о подобныхъ явленіяхъ имѣетъ вообще слишкомъ анекдотическій характеръ; онъ приводитъ, для образчика, нѣсколько случаевъ и затѣмъ считаетъ дѣло извѣстнымъ—между тѣмъ, именно важно было бы имѣть, кромѣ образчиковъ, возможность судить о степени распространенія подобныхъ фактовъ. Онъ упоминаетъ, напримѣръ, о разбойнической партіи, которая нѣсколько лѣтъ грабила въ нынѣшнихъ губерніяхъ: тамбовской, пензенской и саратовской, и захваченной въ 1767 г., и въ которой атаманами были три священника (!), и замѣчаетъ вслѣдъ затѣмъ: „но мы пропускаемъ

всѣ извѣстные намъ факты въ родѣ вышеозначеннаго" и т. д. (стр. 151); но дѣло „изслѣдованія" именно и состояло бы не въ томъ, чтобы сообщать анекдотическіе случаи (изъ которыхъ, собственно говоря, трудно дѣлать какіе-нибудь выводы), а въ томъ, чтобы, сколько возможно, опредѣлить распространеніе того или другого явленія, и разъяснить его причину.

Духовенство жило въ большой бѣдности; церкви имѣли вообще весьма скудную обстановку. Авторъ, въ разныхъ мѣстахъ своей книги, сообщаетъ объ этомъ очень ясныя свидѣтельства; но та же наклонность къ лирическимъ изліяніямъ и украшеніямъ, образчики которой мы видѣли, и здѣсь мѣшаетъ простому изложенію дѣла, да и самой правдѣ. Разсказавши въ началѣ книги по старымъ описямъ о характерѣ старинныхъ церквей,—церкви вообще были деревянныя, крытыя дранью, часто ветхія, сосуды оловянные и деревянные, покровы крашенные, ризы полотняныя и т. п.,—авторъ спѣшитъ съ своимъ разсужденіемъ: „однако, мы не можемъ не высказать, что внѣшняя убогость нашихъ деревенскихъ храмовъ вовсе еще не свидѣтельствуетъ о былой нашей нищетѣ. Скорѣе всего, церковная убогость наша зависѣла отъ нашей патріархальности и отъ трудности достать въ нашихъ захолустьяхъ хорошіе матеріалы и хорошихъ мастеровъ" (стр. 31—32). Непонятно; если бы не было бѣдности, то, конечно, были бы сосуды серебряные, а не деревянные, и ризы не полотняныя, а парчевыя—ихъ просто было бы купить и въ то время, еслибъ только было на что. И главное, тутъ же рядомъ самъ г. Дубасовъ разсказываетъ о нищетѣ церквей и монастырей, которымъ „свѣчъ и ладону, и вина церковнаго взять негдѣ и питаться нечѣмъ" (стр. 28), а въ другомъ мѣстѣ онъ разсказываетъ объ этой бѣдности и подробнѣе. Въ концѣ прошлаго столѣтія—„бѣдность причтовъ доходила до крайности. Священники ходили по приходамъ въ лаптяхъ, полушубкахъ и посконныхъ рубахахъ, и только немногіе изъ нихъ имѣли возможность въ торжественные дни надѣвать нанковыя рясы. Жили они въ простыхъ, большею частію, курныхъ, избахъ и въ бытовомъ отношеніи почти вовсе не отличались отъ убогаго и невѣжественнаго крестьянства" и т. д. (стр. 118). Что же, и здѣсь „наша убогость" происходила отъ „нашей патріархальности" (?).

О „нашей патріархальности" есть въ книгѣ г. Дубасова не мало любопытныхъ свѣденій. Первые проблески образованія и разумной заботы о нуждахъ края начинаются, повидимому, только съ конца царствованія Екатерины II. Таковы приводимыя авторомъ подробности объ извѣстномъ графѣ М. Ѳ. Каменскомъ, который былъ генералъ-губернаторомъ въ Тамбовѣ въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія; таковы подробности о нѣкоторыхъ тамбовскихъ помѣщикахъ, на кото-

рыхъ отразилось гуманное и образовательное вліяніе того времени. Нѣсколько позднѣе, въ царствованіе Александра I, одинъ изъ тамбовскихъ помѣщиковъ, Кривцовъ, составилъ даже „обширный и обстоятельный проектъ объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ“ (стр. 112).

Словомъ, трудъ г. Дубасова заключаетъ много полезнаго и любопытнаго матеріала для мѣстной исторіи и вообще для исторіи нашей культуры XVII—XVIII вѣка; но жаль, что хотя авторъ непремѣнно желаетъ считать свой трудъ „изслѣдованіемъ“, матеріалъ его остается разбросаннымъ, не сопоставленнымъ систематически и не выясненнымъ, какъ подобало бы въ „изслѣдованіи“. Одинъ предметъ излагается по нѣскольку разъ (напр. исторія тамбовскихъ воеводъ, положеніе духовенства и т. под.); въ одномъ мѣстѣ собираются, чисто анекдотически, совсѣмъ разнородные факты (напр. стр. 95—108 и др.); разсказъ, разбитый на отдѣльные очерки, не оставляетъ цѣльнаго впечатлѣнія. При всемъ томъ трудъ г. Дубасова составляетъ весьма полезное пріобрѣтеніе для мало разработанной провинціальной исторіи.

—Монографіи по исторіи западной и юго-западной Россіи. В. Б. Антоновича. Томъ I. Кіевъ, 1885.

Это изданіе безъ сомнѣнія доставитъ удовольствіе всѣмъ, занимающимся русской, и особливо южно-русской и западно-русской исторіей. В. Б. Антоновичъ въ настоящее время есть безспорно лучшій знатокъ этой области русской исторіи, и давно чувствовалась потребность въ изданіи, которое соединило бы его труды, разсѣянные въ кіевскихъ „Университетскихъ извѣстіяхъ“, „Кіевской Старинѣ“, въ „Архивѣ юго-западной Россіи“, гдѣ они являлись въ видѣ объяснительныхъ предисловій къ актамъ, и пр. Соединеніе этихъ трудовъ въ отдѣльномъ изданіи послужитъ и къ распространенію ихъ въ большой публикѣ, до которой спеціальныя ученыя изданія обыкновенно не доходятъ.

Исторія русскаго юго-запада составляетъ одинъ изъ наименѣе обработанныхъ отдѣловъ нашей исторіи. Огромная масса матеріаловъ ея хранится въ южныхъ библіотекахъ и архивахъ, содержаніе которыхъ было чрезвычайно мало извѣстно до изданій прежней кіевской коммиссіи для разбора древнихъ актовъ и до упомянутаго „Архива“. Этотъ послѣдній состоитъ уже изъ длиннаго ряда томовъ, но еще далеко не выполнилъ предположенной имъ программы; въ тоже время появляется много матеріала въ археографическихъ изданіяхъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Вильнѣ и т. д., и вся эта масса источни-

ковъ не имѣетъ болѣе компетентнаго изслѣдователя, чѣмъ г. Антоновичъ. Обширное, книжное и живое знаніе историческихъ источниковъ, уцѣлѣвшихъ памятниковъ и преданій—отъ до-исторической археологіи, гдѣ ученый кіевскій профессоръ является однимъ изъ наиболѣе авторитетныхъ изыскателей, до эпохи исторической и до современной народной поэзіи и быта,—это знаніе соединяется у г. Антоновича съ сильнымъ критическимъ пріемомъ и съ другимъ качествомъ, особливо драгоцѣннымъ у историка, — съ искусствомъ обобщенія, съ умѣньемъ открывать движущіе элементы историческаго развитія. Это—не историческій повѣствователь, какъ былъ Костомаровъ, а именно историкъ-аналитикъ, разлагающій историческія событія на ихъ глубокія основанія въ отношеніяхъ народной и общественной жизни и дающій историческую формулу, отысканіе которой и есть задача исторической критики.

Въ настоящемъ первомъ томѣ заключается уже нѣсколько изслѣдованій, касающихся крупныхъ вопросовъ старой и новѣйшей исторіи русскаго юго-запада, а именно: очеркъ исторіи вел. княжества Литовскаго до смерти Ольгерда—гдѣ авторъ обратилъ особое вниманіе именно на темную сторону вопроса, почти внезапное возникновеніе государства среди полудикаго племени и начало его отношеній къ племенамъ русскимъ, и даетъ этому вопросу весьма ясное и логичное объясненіе; изслѣдованіе о городахъ юго-западнаго края и эпизодъ изъ городской исторіи Кіева въ XVI—XVII столѣтіяхъ; любопытное изслѣдованіе о „Кіевѣ, его судьбѣ и значеніи съ XIV по XVI столѣтіе“, опять разъясняющее темный вопросъ о судьбѣ Кіева и съ нимъ Кіевской области въ эпоху упадка, относительно которой у историковъ существовали весьма смутныя представленія, какъ напр. упорно защищавшееся предположеніе о совершенномъ разрушеніи Кіева и запустѣніи его области послѣ татарскаго нашествія и о приходѣ, вслѣдствіе того, совершенно новаго населенія, положившаго начало малорусской народности не ранѣе XIII—XIV вѣка; далѣе: очеркъ отношеній польскаго государства къ православію и православной церкви, и очеркъ состоянія этой церкви въ юго-западной Россіи съ половины XVII до конца XVIII столѣтія.

Большая часть этихъ изслѣдованій составлена на основаніи грамотъ и документовъ, издаваемыхъ Кіевской археографической коммиссіей, и составляетъ комментарій къ нимъ и вмѣстѣ ихъ критическую разработку, и такъ какъ самые документы всего чаще являлись впервые въ ряду историческихъ источниковъ, то и изслѣдованія были новымъ вкладомъ въ наше историческое знаніе о русскомъ юго-западѣ. Мы указывали свойства работъ г. Антоновича: ихъ особенную силу составляетъ близкое изученіе матеріала, на которомъ авторъ по-

стоянно опирается, и потому отсутствіе всякихъ произвольныхъ положеній и готовыхъ обобщеній; а съ другой стороны, ихъ великій интересъ заключается въ изображеніи именно внутреннихъ—земельныхъ, городскихъ, церковныхъ, культурныхъ — отношеній, въ которыхъ сталкивались въ юго-западной Руси два племени, съ ихъ различной исторіей, преданьями и общественными стремленіями.

Надо желать, чтобы изданіе „Монографій“ скорѣе было доведено до конца, и облегчило для любителей исторіи пользованіе трудами, имѣющими первостепенное значеніе для изученія судебъ юго-западной Россіи, древней и новой. — А. В.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-е іюня, 1885.

По поводу смерти К. Д. Кавелина. — Окончаніе городскихъ выборовъ. — Выборное начало по Городовому Положенію 1870 и 1846 г. — Отзывы современниковъ о выборахъ и о характерѣ городского общественнаго управленія до 1870 года. — Недостатки нынѣ дѣйствующаго выборнаго начала. — Сравненіе нынѣшнихъ выборовъ съ предъидущими, и составъ новой Думы (1885—1889 гг.).

Истекшій мѣсяцъ открылся прискорбнымъ событіемъ — смертью К. Д. Кавелина, и съ этой минуты, можно сказать, какъ бы опустилась завѣса, отдѣлившая насъ теперь окончательно отъ живого общенія съ „людьми сороковыхъ годовъ“. Съ нами еще остаются, и то весьма немногіе, — два три имени — изъ ихъ самыхъ близкихъ друзей,—но дѣятелемъ той эпохи, сошедшимъ позже всѣхъ съ исторической сцены, былъ — Кавелинъ. Онъ умеръ, какъ жилъ, окруженный всеобщимъ уваженіемъ, и сошелъ въ могилу, сопровождаемый рѣдкими по единодушію и искреннѣйшими общественными симпатіями. Кавелинъ не признавалъ надъ собою силы изреченія: tempora mutantur, et nos mutamur in illis!—и въ этомъ, быть можетъ, лежитъ причина того нравственнаго вліянія, какимъ пользовался покойный въ теченіе всей своей жизни. Посвященный выше памяти Кавелина некрологъ даетъ въ общихъ чертахъ понятіе о пройденномъ имъ жизненномъ поприщѣ; потому здѣсь ограничимся однимъ указаніемъ на фактъ, о которомъ въ некрологѣ упомянуто только мимоходомъ. По поводу смерти Кавелина, въ газетахъ появились весьма сочувственныя предложенія — увѣковѣчить тѣмъ или другимъ способомъ память Кавелина. Между прочимъ, предлагалось собрать подпискою капиталъ на стипендію имени Кавелина въ университетѣ, и казначей здѣшняго юридическаго Общества выразилъ готовность собирать пожертвованія съ этою цѣлью.

Но въ дѣятельности покойнаго есть сторoны, которыя можно назвать особенно характеристичными, и потому, быть можетъ, было бы болѣе желательно воспользоваться именно этими сторонами его дѣятельности, чтобы избрать форму, въ которой было бы всего лучше почтить его память.

При безграничной любви Кавелина къ „деревнѣ“, доходившей до прямо противоположнаго чувства къ „городу“, при его глубокомъ, въ то же время, убѣжденіи, что распространеніе начальнаго образованія въ деревнѣ составляетъ первую обязанность каждаго образо-

ваннаго человѣка, получившаго, какъ говаривалъ часто Кавелинъ, свое высшее образованіе на счетъ той же „деревни“, содержащей и гимназіи, и университеты, — нисколько не удивительно, что покойный примѣнялъ свои идеи къ практикѣ жизни, въ томъ небольшомъ родовомъ имѣніи, тульской губерніи, бѣлевскаго уѣзда, гдѣ протекло его дѣтство, и куда онъ лѣтомъ ѣздилъ ежегодно отдыхать и вмѣстѣ трудиться въ преклонные годы. Кавелинъ какъ бы памятовалъ стихъ французскаго поэта:

Heureux celui qui pouvait faire un peu de bien
Dans son petit coin!

Между прочимъ, онъ основалъ въ своемъ селѣ Ивановѣ двѣ народныхъ школы и содержалъ ихъ на свой счетъ; но это не было пожертвованіемъ изъ доходовъ съ имѣнія, которое едва могло покрывать расходы на различныя усовершенствованія и нововведенія по хозяйству; Кавелинъ выдѣлялъ сумму на расходъ по содержанію школъ изъ средствъ, пріобрѣтаемыхъ имъ личною службою въ городѣ и литературнымъ трудомъ. Содержаніе обѣихъ школъ обходилось ему до 1000 рублей въ годъ, и теперь, когда за его смертью эти два послѣдніе источника изсякли, Кавелинскія школы должны остаться безъ средствъ къ дальнѣйшему существованію: сама деревня никогда не давала такихъ средствъ, и было бы теперь прискорбно думать, что русское общество, которому Кавелинъ служилъ такъ долго и такъ безкорыстно, не сочло бы, съ своей стороны, мѣръ, къ тому, чтобы поддержать то добро, которое посѣялъ покойный въ своемъ родномъ уголкѣ. Это было бы лучшимъ способомъ почтить память покойнаго, и многочисленнымъ его друзьямъ и почитателямъ не представило бы особыхъ трудностей собрать капиталъ, проценты съ котораго обезпечили бы на всѣ времена существованіе Кавелинскихъ школъ. Говоря такъ, мы вовсе не думаемъ возражать противъ вышеупомянутаго предложенія собрать капиталъ для стипендіи имени Кавелина, но желали бы видѣть прежде осуществленнымъ наше предложеніе.

Два мѣсяца тому назадъ по поводу начала городскихъ выборовъ въ Петербургѣ, у насъ говорилось: „можно ли себѣ представить болѣе сильный аргументъ въ пользу неотложнаго пересмотра Городового Положенія 1870 г., чѣмъ результатъ выборовъ въ петербургскую Думу по первому разряду избирателей“? Въ маѣ совершились выборы и по остальнымъ двумъ разрядамъ; новая Дума окончательно составилась, въ полномъ числѣ 252 гласныхъ; но и послѣдніе выборы не опровергли справедливости вышесказаннаго. Хотя такъ-называемая Кахановская коммиссія уже съ мѣсяцъ тому назадъ закрыта, но,

насколько можно судить по сообщеніямъ газетъ о принципахъ, положенныхъ коммиссіею въ основаніе для пересмотра Городового Положенія 1870 года, проектъ коммиссіи коснулся и выборнаго начала, въ смыслѣ его улучшенія, какъ по существу дѣла, такъ и по внѣшнимъ пріемамъ.

Конечно, выборное начало, нынѣ дѣйствующее, должно обратить на себя вниманіе прежде всего, такъ какъ имъ опредѣляется составъ избирателей. Въ этомъ отношеніи представляется два пути, и каждый изъ нихъ имѣетъ уже для себя защитниковъ. Одни полагаютъ, что недостатокъ существующаго выборнаго начала заключается въ томъ, что онъ допустилъ безсословность, и что сословные выборы, по Городовому Положенію 1846 года, представляли несравненно болѣе гарантій для лучшаго личнаго выбора, такъ какъ сословные избиратели стояли ближе другъ къ другу и старались послать въ Общую Думу лучшихъ своихъ представителей, чтобы успѣшнѣе бороться съ представителями другихъ городскихъ сословій. Но у насъ, вмѣстѣ съ безсословною Думою, сохранились и сословныя собранія, и мы думаемъ, едва ли бы лицо безпристрастное дало утвердительный отвѣтъ на вопросъ: отличаются ли выборы членовъ въ сословныя собранія своею безукоризненностью, и много ли содѣйствуетъ сословность къ тому, чтобы избирались въ представители сословій лучшіе люди? Но и независимо отъ того, какимъ образомъ возможно осуществить въ наше время сословность въ дѣлѣ представленія города, когда въ самой жизни сословія теперь уже не представляютъ тѣхъ граней, какими они были отдѣлены въ 40-хъ и 50-хъ годахъ? При Городовомъ Положеніи 1846 года, настоящимъ хозяиномъ города былъ представитель высшей администраціи; Общая Дума была скорѣе совѣщательнымъ при немъ собраніемъ; тогда, понятно, могли являться въ Думу представители не города, но сословій; но какимъ образомъ теперь, когда Дума распоряжается самостоятельно городскимъ хозяйствомъ, можно ожидать пользы отъ сословныхъ взглядовъ на общіе хозяйственные вопросы, да и какимъ образомъ подобные вопросы могутъ разсматриваться съ точки зрѣнія сословной? Быть можетъ, защитники сословнаго выборнаго начала 1846 г. думаютъ при этомъ о возвращеніи и къ прочимъ порядкамъ того времени, когда Дума могла спать спокойно, за спиною администраціи; но въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ припомнить, что правительство того времени было вынуждено отказаться отъ прежней системы подначальнаго городского общественнаго управленія не чѣмъ другимъ, какъ собственнымъ опытомъ, убѣдившимъ правительство въ томъ, что при подобной опекѣ нѣтъ возможности и думать о какомъ-нибудь дальнѣйшемъ успѣхѣ городского благоустройства. Книга, изданная Думою,

по поводу исполнившагося столѣтія Екатерининской грамоты, преисполнена фактическими доказательствами справедливости вышесказаннаго.

Любопытно и назидательно въ такую эпоху, какъ наша, когда является такъ много воздыхателей о Городовомъ Положеніи 1846 года,— напомнить имъ, что̀ говорилось, и что̀, можетъ быть, говорили они сами, наканунѣ послѣдней реформы городского общественнаго управленія, въ концѣ 60-хъ годовъ. Нашъ журналъ въ ту эпоху только что открывалъ свою дѣятельность, и въ самыхъ первыхъ книгахъ перваго года его существованія появилось не мало статей по ожидавшейся тогда реформѣ Городового Положенія. Лѣтъ 20 тому назадъ, въ 1866 г., г. L. (одинъ изъ гласныхъ Общей Думы) помѣстилъ въ нашемъ журналѣ цѣлый рядъ весьма любопытныхъ статей: „О современномъ городскомъ общественномъ управленіи“, и Н. П. Колюпановъ представилъ у насъ же подробнѣйшую картину того крайне печальнаго положенія, до какого довело городское хозяйство, погибавшее отъ громадныхъ дефицитовъ, благодаря принципамъ Городового Положенія 1846 года.

Вотъ, какъ характеризируются у г. L. тогдашніе выборы [1]), по закону 1846 года: „Самый обрядъ городскихъ выборовъ, за отсутствіемъ обстоятельныхъ постановленій въ законодательствѣ, производился разнообразно и произвольно, цѣлымъ обществомъ, иногда весьма многолюднымъ и притомъ состоящимъ изъ лицъ разныхъ званій, различнаго образованія, привычекъ и самыхъ нравовъ: при семъ, въ дѣлѣ выборовъ весьма невыгодное вліяніе оказывала необразованность большей части гражданъ, нерѣдко самихъ распорядителей выборовъ, потворствовавшихъ другъ другу по личнымъ отношеніямъ и видамъ корысти, стремившихся къ возвышенію не по достоинству, а посредствомъ разныхъ происковъ“ и т. д.

А каково было до 1870 г. само городское общественное управленіе въ своемъ личномъ составѣ, объ этомъ г. L. свидѣтельствуетъ уже словами сенатора Сафонова, заимствованными изъ его всеподданнѣйшаго рапорта: „Городскія головы и члены Думы, какъ люди, большею частью, съ ограниченными понятіями, и, по положенію своему, и по торговлѣ, болѣе зависимые, полагаютъ главною и единственною своею обязанностью какъ можно скорѣе исполнить всѣ требованія начальства, не понимая или не смѣя понимать, что, кромѣ исполненія этихъ, лежащихъ на нихъ по закону, обязанностей, они имѣютъ не менѣе важную обязанность — заботиться о пользахъ и нуждахъ города и его обывателей, и быть ходатаями въ этомъ предъ

[1]) „Вѣсти Евр.“. 1866, т. III, отд. V, стр. 74.

начальствомъ... Такимъ образомъ, городскія Думы, въ настоящемъ ихъ положеніи, вмѣсто того, чтобы судить и совѣщаться о благѣ города и его жителей, обратились почти въ исполнительныя учрежденія".

Такъ отзывались и о городскихъ выборахъ, и о городскомъ общественномъ управленіи, построенномъ на началахъ Городового Положенія 1846 года, современники того порядка вещей, и притомъ лица, пользовавшіяся особымъ довѣріемъ правительства; а теперь намъ указываютъ на этотъ порядокъ вещей, какъ на какой-нибудь Эльдорадо, къ которому мы должны стремиться, возвращаясь вспять [1]).

Городовое Положеніе 1870 года страдаетъ вовсе не тѣмъ, что оно построено на безсословности; его существенный недостатокъ заключается въ томъ, что оно положило въ основаніе начало, въ силу котораго только тотъ пользуется правомъ представительства и завѣдуетъ городскимъ хозяйствомъ, кто уплачиваетъ налоги въ городскую казну. Начало само по себѣ правильное и логическое, но вопросъ въ томъ: кто же уплачиваетъ налоги на дѣлѣ? На это отвѣчаетъ Городовое Положеніе: тотъ, кто вноситъ оцѣночный сборъ, т.-е. кто владѣетъ домомъ; тотъ, кто содержитъ торговое или промышленное заведеніе, а слѣдовательно платитъ за купеческое свидѣтельство, или, наконецъ, тотъ, кто, проживъ въ городѣ 2 года, уплачиваетъ въ пользу города установленный сборъ со свидѣтельствъ, размѣръ котораго иногда ограничивается нѣсколькими копѣйками въ годъ. Спрашивается: что общаго съ городскими интересами можетъ имѣть вносящій въ городскую казну нѣсколько копѣекъ, и какимъ образомъ даже домовладѣльца можно принять за городского плательщика, когда собственно онъ является только домопромышленникомъ, собирающимъ налогъ съ своихъ квартирантовъ и вносящимъ собранную имъ сумму въ городскую казну. Кто болѣе заинтересованъ въ судьбахъ города,

---

[1]) Недавно въ Берлинѣ вышла книжка: „Russische Leute" съ описаніемъ прошлогодней поѣздки г. Дернбурга, редактора газеты „National Zeitung"—въ Москву и по Волгѣ. Путешественникъ осматривалъ зданіе московской Думы, въ сопровожденіи одного изъ избирателей, который, между прочимъ, объяснилъ ему слѣдующее:—„Нынѣче Дума не то, что прежде; тутъ засѣдаютъ не отборные люди. Новое Городовое Положеніе (1870 г.) все испортило намъ. Прежде мы имѣли сословныхъ представителей: выбирали дворяне, чиновники, крупное купечество, мѣщанство—всѣ были такимъ порядкомъ довольны, и городское управленіе шло великолѣпно (?!). Все это было опрокинуто однимъ махомъ изъ Петербурга. У насъ теперь демократическіе выборы по прусской системѣ, а вслѣдствіе того трактирщики и интриганы получили перевѣсъ". Г. Дернбургъ, пруссакъ, записалъ слова своего собесѣдника, и оставилъ безъ изслѣдованія вопросъ: почему же въ самой Пруссіи эти „демократическіе выборы" не приводятъ къ такимъ же результатамъ, а въ Берлинѣ, конечно, существуютъ и трактирщики, и интриганы.

уроженецъ ли, проживший иногда въ городѣ десятки лѣтъ, или домовладѣлецъ, купивший вчера въ городѣ домъ съ такою же цѣлью, съ какой покупаютъ процентныя бумаги или открываютъ какое-нибудь промышленное заведеніе? Можно ли считать гражданами только людей, имѣющихъ собственный экипажъ или промышляющихъ своимъ экипажемъ отдачею его въ наймы, т.-е. извощиковъ, съѣзжающихся со всѣхъ сторонъ на промыслы, — сѣдоковъ же, эксплуатируемыхъ содержателями экипажей, не считать за гражданъ. Между тѣмъ, квартиранты, очень часто коренные жители Петербурга, устранены въ огромномъ большинствѣ отъ представительства, а пользуются имъ очень часто переселенцы, только потому, что они вчера пріобрѣли домъ, съ цѣлью эксплуатаціи. Очевидно, что въ ближайшемъ будущемъ необходимо болѣе правильное и нормальное опредѣленіе того, что̀ собственно должно служить признакомъ принадлежности лица городскому обществу, и какія условія, и притомъ не одни матеріальныя, должны составлять основаніе для избирательнаго ценза.

Настоящіе выборы послужили поводомъ къ многочисленнымъ жалобамъ на злоупотребленія. Отчасти эти злоупотребленія опирались на недостаточность болѣе строгихъ опредѣленій въ законѣ: такъ, напримѣръ, дано широкое право дѣйствовать въ такомъ дѣлѣ, какъ выборы, на основаніи довѣренностей; отчасти же такія злоупотребленія имѣли общій характеръ съ выборами всѣхъ странъ и народовъ, т.-е. свидѣтельствовали о степени развитія сознанія своего долга въ массѣ избирателей. Первое неудобство, до извѣстной степени, можетъ быть ослаблено въ будущемъ однимъ почеркомъ пера законодателя, — но не уничтожено, такъ какъ, при имѣніи на лицо второго факта, т.-е. отсутствія сознанія своего долга, никакія стѣсненія не въ состояніи искоренить зла.

Число избирателей въ Петербургѣ, если видоизмѣнялось въ теченіе первыхъ 12 лѣтъ городского общественнаго управленія (1873—1885 гг.), то въ этомъ надобно видѣть результатъ болѣе или менѣе внимательнаго отношенія къ составленію избирательныхъ списковъ: такъ, въ 1873 г. оказалось 18,590 избирателей, и изъ нихъ явилось на выборы 1,411!! Въ 1877 г., при вторыхъ выборахъ въ гласные, избирателей насчитывалось до 20,522, а на выборы явилось 2.136 человѣкъ. Въ 1881 г., избирателей оказалось не болѣе 17,741, но на выборы явилось болѣе прежняго, а именно, 2,630 человѣкъ. Въ нынѣшнемъ же году, первоначальный, неправильно составленный, списокъ содержалъ въ себѣ 20,233 избирателя, но за послѣдовавшимъ исключеніемъ недоимщиковъ, едва ли осталось и 17,000, а на выборы явилось до 3,750 человѣкъ, т.-е. такое число, какое до сихъ поръ

не являлось никогда. Изъ нихъ первому разряду принадлежатъ 166, второму—473, и третьему—3,111.

Никогда также составъ новой Думы не представлялъ собою такого глубокаго, въ численномъ отношеніи, измѣненія, какъ при нынѣшнихъ выборахъ. Изъ общаго состава Думы 1881—1884 гг., въ 252 гласныхъ, избрано только 130 (изъ нихъ 30 принадлежатъ еще Общей Думѣ), а 122 лица выбраны въ первый разъ. Менѣе всего измѣнился первый разрядъ, гдѣ выбрано только 14 новыхъ членовъ; во второмъ—49, а въ третьемъ—59 новыхъ лицъ.

Первые шаги новой Думы, которые теперь не заставятъ себя долго ждать, опредѣлятъ ея будущій характеръ, въ томъ или другомъ смыслѣ, а потому было бы преждевременно стараться угадывать сегодня то, о чемъ можно съ очевидностью и безошибочно высказаться завтра.

ИЗВѢСТІЯ.

О подпискѣ на памятникъ Гоголю.

Общество любителей россійской словесности, состоящее при Императорскомъ московскомъ университетѣ, извѣщаетъ, что съ 1-го апрѣля по 1-е мая сего 1885 года къ казначею Общества поступили собранныя съ Высочайшаго соизволенія пожертвованія на сооруженіе въ Москвѣ памятника Николаю Васильевичу Гоголю: 1) по подписному листу № 242 черезъ бѣлевскую уѣздную земскую управу—8 р.; 2) по подписнымъ листамъ №№ 61 и 62 черезъ предсѣдателя казанской губернской земской управы—20 руб,; 3) по подписному листу № 202 черезъ архангельскаго городского голову—3 руб. 35 коп.; 4) черезъ Н. А. Каблукова—7 руб.; 5) по подписному листу № 204 черезъ астраханскаго городского голову—14 руб. 70 коп.; 6) по подписному листу № 12 черезъ Н. Неелова — 40 руб. 80 коп.; 7) по подписному листу № 19 черезъ А. Н. Веселовскаго—16 руб. 75 коп.; и 8) процентовъ по вкладному билету московскаго купеческаго общества взаимнаго кредита № 4,351—18 руб. 53 коп. Итого, сто-двадцать-девять рублей 13 коп., а съ прежде полученными всего: одиннадцать-тысячъ сто-двадцать-шесть рублей 32 копѣйки.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ТРЕТЬЯГО ТОМА

МАЙ — ІЮНЬ, 1885.

Книга пятая. — Май.

стр.

Жизнь за жизнь.—Разсказъ.—VII-XII.—Н. А. ТАЛЬ 5
Тормазы русскаго искусства.—XIV-XIX.—Окончаніе—В. В. СТАСОВА 64
Родительская кровь.—Очеркъ.—Д. Н. МАМИНА 115
Крымскіе пейзажи.—I. Море.—II. Горы.—А. ЛУГОВОЙ 157
О задачахъ русской этнографіи.—II.—Окончаніе.—А. Н. ПЫПИНА 159
Этюды по психологіи творчества.—I-VII.—П. Д. БОБОРЫКИНА 182
Стихотворенія.—I-II.—Н. МИНСКІЙ 220
Пейзажъ въ современномъ русскомъ романѣ.—К. К. АРСЕНЬЕВА 222
Милый другъ.—Повѣсть Ги де-Мопассана.—VII-VIII.—А. Э. 262
Греки въ московскомъ царствѣ.—А. В—НЪ 298
Стихотворенія.—I-IV.—Кн. Э. Э. УХТОМСКАГО 321
Хроника: — Текущая сельско-хозяйственная статистика, въ трудахъ департамента земледѣлія и сельской промышленности.—В. В. 324
Морской портъ въ Петербургѣ.—Z. 344
Внутреннее Обозрѣніе.—Закрытіе Кахановской коммиссіи.—Администрація и судъ.—Законопроектъ о налогѣ на процентныя бумаги.—Отношеніе его къ подоходному налогу.—Инструкція чинамъ фабричной инспекціи.—Успѣхи и притязанія протекціонизма.—Высочайшій рескриптъ дворянству. 360
Письма изъ Москвы.—Z. 380
Иностранное Обозрѣніе.—Перспектива войны съ Англіею.—Особенности настоящаго кризиса.—Рѣчь Гладстона въ палатѣ общинъ, при требованіи кредита на военныя надобности.—Русскій отвѣтъ на депешу генерала Лемсдена.—Какой смыслъ для Россіи имѣла бы война съ Англіею, при современномъ положеніи дѣлъ въ Европѣ?—Увлеченія печати.—Паденіе Жюля Ферри во Франціи, и новое министерство Бриссона 386
Литературное Обозрѣніе.—Исторія Санктъ-Петербурга, съ основанія города до введенія въ дѣйствіе выборнаго городского управленія, 1703—1782. П. Н. Петрова.—О популяризаціи свѣдѣній по классической древности, Д. И. Нагуевскаго.—Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго, состав. В. Зелинскій.—А. В—НЪ 402
Некрологъ.—Н. И. Костомаровъ.—А. Н. ПЫПИНА 411
Изъ Общественной Хроники.—Настроеніе общества и печати, въ виду возможной войны.—Походъ противъ дипломатіи и дипломатовъ.—Духовная связь между воинственнымъ азартомъ и домашнимъ реакціонерствомъ.—Празднество 6-го апрѣля, и внѣшнія къ нему приставки.—Столѣтіе петербургскаго городского общества 427
Библіографическій Листокъ.—Столѣтіе Спб. Городского Общества. 1785—1885 гг. Изд. Спб. Городской Думы.—Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго общества, т. 42 и 43.—Учебникъ исторіи, пр. А. Трачевскаго: Русская исторія.—Современный пессимизмъ въ Германіи, кн. Д. Цертелева.

Книга шестая.—Іюнь.

стр.

Жизнь за жизнь.—Разсказъ.—Часть вторая и послѣдняя.—Н. А. ТАЛЬ. . . 441
Россія и Франція, въ концѣ прошедшаго вѣка.—1794-1799 гг. — А. С. ТРАЧЕВСКАГО. 506
Прокаженный.—Стих. Н. МИНСКАГО. 563
Этюды по психологіи творчества.—VIII-XV.—Окончаніе.—П. Д. БОБОРЫКИНА. 566
Шугнанъ.—Афганистанскіе очерки.—I-VIII.—Д. Л. ИВАНОВА 612
Пестрыя письма.—VII.—Н. ЩЕДРИНА 659
Національный вопросъ въ старомъ и новомъ свѣтѣ.—М. М. КОВАЛЕВСКАГО. 677
Милый другъ. — Повѣсть Гюи де-Мопассана. — Часть вторая и послѣдняя. — I-III. — А. Э. 732
Хроника.—Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ.—Некрологъ.—М. С. . 787
Памяти К. Д. Кавелина.—Рѣчь въ Юрид. Обществѣ.—В. Д. СПАСОВИЧА. . 807
Надъ свѣжей могилой.—Стих. Н. МИНСКАГО 811
Учено-литературная дѣятельность К. Д. Кавелина.—Библіографическій очеркъ.—Д. Д. ЯЗЫКОВА 812
Внутреннее Обозрѣніе. — Проектъ положенія о государственномъ земельномъ банкѣ, какъ возможная основа дворянскаго земельнаго банка.—Двѣ противоположныя точки зрѣнія на дѣятельность будущаго банка и обусловливаемые ими спорные пункты.—Необходимые предѣлы и условія удешевленія кредита.—Близкій конецъ подушной подати 821
Наши тряпичники.—Изслѣдованіе одного изъ главныхъ источниковъ заразы.—М. ЗЕЛЕНСКАГО 836
Иностранное Обозрѣніе.—Мирныя вѣянія въ международной политикѣ.—Англійскія парламентскія рѣчи.—Упреки въ парламентѣ русской дипломатіи.—Напрасные поводы къ недоразумѣніямъ.—Результаты англо-русскаго конфликта и отношеніе къ нимъ печати.—Кончина Виктора Гюго; труды и и заслуги его, какъ писателя и человѣка 848
Литературное Обозрѣніе.—Великая княгиня Екатерина Алексѣевна, П. Дирина.—Очеркъ изъ исторіи Тамбовскаго края, И. И. Дубасова.—Монографіи по исторіи западной и юго-западной Россіи, В. Б. Антоновича. — А. В. . 862
Изъ Общественной Хроники.—По поводу смерти К. Д. Кавелина. — Окончаніе городскихъ выборовъ.—Выборное начало по Городовому Положенію 1870 и 1846 г.—Отзывы современниковъ о выборахъ и характерѣ городского общественнаго управленія до 1870 года. — Недостатки нынѣ дѣйствующаго выборнаго начала.—Сравненіе нынѣшнихъ выборовъ съ предъидущими, и составъ новой Думы (1885—1889 гг.) 875
Извѣстія.—О подпискѣ на памятникъ Гоголю 882
Библіографическій Листокъ. — Рѣчь гласнаго В. И. Герье, 21 апрѣля 1885 г., въ московской Думѣ.—Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества, т. 45 и 47.—Давидъ Рикардо и Карлъ Марксъ, Н. И. Зибера.—Путеводитель и собесѣдникъ въ путешествіи по Кавказу, М. Владыкина.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Столѣтіе С.-Петербургскаго Городского Общества. 1785—1885 гг. Изданіе Спб. Городской Думы. Спб. 1885. Стр. 403. Съ портретомъ имп. Екатерины II. Ц. 2 р.

Изъ доклада, избранной Думою, особой коммиссіи, замѣняющаго въ настоящемъ случаѣ предисловіе, видно, что исполненіе дѣла было возложено на проф. И. И. Дитятина, извѣстнаго своими обширными трудами по исторіи нашихъ городскихъ учрежденій. Самая книга состоитъ изъ введенія, посвященнаго анализу жалованной грамоты 1785 г., и двухъ отдѣловъ: въ первомъ отдѣлѣ разсматривается исторія постепеннаго развитія, въ теченіе ста лѣтъ, городскихъ учрежденій С.-Петербурга; второй отдѣлъ посвященъ обзору хода столичнаго городского хозяйства за тотъ же періодъ. Въ концѣ помѣщены любопытныя приложенія съ шестью городскими росписями изъ различныхъ эпохъ настоящаго столѣтія, отъ 1803 г. до 1885 г.; при одномъ бѣгломъ просмотрѣ этихъ росписей, дѣлается яснымъ все различіе городского хозяйства въ наше время и предшествующія эпохи, не только въ количественномъ отношеніи, но и въ качественномъ. Въ общемъ результатѣ исторіи столѣтія городскихъ учрежденій оказывается несомнѣннымъ одно, а именно, что успѣхи городского хозяйства и процвѣтаніе его всегда зависѣли до сихъ поръ вполнѣ отъ успѣховъ въ развитіи городскихъ учрежденій: чѣмъ болѣе послѣднія вызывали самодѣятельность въ самомъ городскомъ обществѣ, чѣмъ болѣе давалось простора его самостоятельности и независимости отъ административнаго произвола, тѣмъ болѣе развивалось и преуспѣвало само городское хозяйство. — Къ изданію приложена, превосходно исполненная, геліографюра съ гравюры портрета имп. Екатерины II, писаннаго въ 1784 г.—наканунѣ подписанія ею жалованной грамоты городамъ россійской имперіи.

Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Тт. 42 и 43. Спб. 1885. Стр. 497 и 636. Ц. по 3 р.

Сорокъ-вторымъ томомъ оканчивается изданіе бумагъ имп. Екатерины II, хранящихся въ государственномъ архивѣ. Предыдущіе четыре тома (7, 10, 13 и 27) заключали въ себѣ время отъ 1744 г. по 1788 г. включительно; настоящій выпускъ содержитъ письма, рескрипты и записки императрицы, начиная отъ 1789 до 1796 г., и кончается запиской Екатерины II, съ указаніемъ мѣстъ, гдѣ она желаетъ быть погребенной, въ случаѣ смерти въ томъ или другомъ городѣ. Сверхъ того, въ этомъ же томѣ началось изданіе не опубликованныхъ предписаній и повелѣній, хранящихся въ архивѣ сената въ С.-Петербургѣ, и пока издана небольшая ихъ серія за іюнь, іюль и августъ 1762 г. — Слѣдующій по числу, сорокъ-третій томъ относится къ той же Екатерининской эпохѣ, и представляетъ собраніе любопытнѣйшихъ документовъ, а именно, наказовъ отъ присутственныхъ мѣстъ къ „Коммиссію о сочиненіи проекта Уложенія“, начиная съ сената и кончая главнымъ магистратомъ, главною полиціею и различными канцеляріями. Особенно замѣчательны наказы депутатамъ отъ сената и синода; ихъ можно разсматривать какъ лучшую и вѣрную картину того печальнаго внутренняго состоянія, въ какомъ находилось и государство, и общество, требовавшее самыхъ рѣшительныхъ и существенныхъ реформъ, по признанію самихъ высшихъ правительственныхъ органовъ. Весьма интересенъ также наказъ депутату академіи наукъ, касающійся воспитанія, устройства школьнаго дѣла, печатнаго дѣла и т. д.

Учебникъ исторіи, проф. А. Трачевскаго. Русская исторія. Спб. 1885 г. Стр. 574. Ц. 2 р.

Авторъ, признавая себя въ предисловіи ревностнымъ послѣдователемъ научнаго преданія, образованнаго трудами историка С. М. Соловьева, вмѣстѣ съ тѣмъ, задался, повидимому, двумя главными задачами: изложить государственную исторію отечества въ тѣсной связи съ культурнымъ развитіемъ страны, и въ то же время слить отечественную исторію съ общимъ ходомъ, какъ западной, такъ и славянской исторіи. Въ результатѣ получилась, если можно такъ выразиться, энциклопедія русской исторіи, которую нельзя не признать весьма полезнымъ руководительствомъ для самодѣятельнаго преподавателя. При такой широкой цѣли и при новости программы, весьма естественны и легко возможны нѣкоторые недостатки, предчувствованные, впрочемъ, и самимъ авторомъ: „учебникъ— не ученый трактатъ,—говоритъ онъ весьма справедливо:—здѣсь должно или догматически излагать вопросъ, или вовсе не касаться его“. Нарушенія такого правила встрѣчаются въ трудѣ пр. Трачевскаго не разъ, и легко могутъ быть исправлены, если онъ, памятуя вышесказанное имъ же самимъ, пройдется по своему труду. Въ подобной энциклопедіи слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, избѣгать также точныхъ опредѣленій посредствомъ однихъ короткихъ эпитетовъ, въ родѣ аттестатовъ, выдаваемыхъ лично авторомъ тѣмъ или другимъ общественнымъ, научнымъ и литературнымъ дѣятелямъ: „бездарный“ Мартыновъ, переводчикъ Гомера; „нашъ Табуллъ“ Батюшковъ; „циникъ„ Нарѣжный—все это мало можетъ удовлетворить читателя при двухъ, трехъ строчкахъ, посвященныхъ каждому изъ упомянутыхъ лицъ. Хронологическая таблица, которая служитъ вмѣстѣ какъ бы и содержаніемъ всей книги, можно подумать, составлена безъ системы и какъ бы случайно; вслѣдствіе того, русская исторія, доведенная въ этомъ учебникѣ до 1885 г., заключается въ 1884 г. тремя фактами, какъ бы исчерпывающими все значеніе этого года: смертью Тотлебена и двумя новыми операми Рубинштейна и Чайковскаго: „Нерона“ и „Мазепа“ (стр. 492). При энциклопедическомъ направленіи труда пр. Трачевскаго, приложенный имъ и весьма обстоятельно составленный указатель именъ и терминовъ во многомъ облегчаетъ пользованіе книгою. Желательно было бы, къ случаѣ новаго изданія этого труда, видѣть указанія на источники и монографіи, гдѣ преподаватель могъ бы найти подробное развитіе тѣхъ краткихъ свѣденій, которыя сообщаются о томъ или другомъ предметѣ въ учебникѣ.

Современный пессимизмъ въ Германіи. Очеркъ нравственной философіи Шопенгауэрна и Гартмана. Кн. Д. Цертелева М. 1885 г. Стр. 277. Ц. 2 руб.

Авторъ оканчиваетъ настоящимъ трудомъ критическій разборъ научныхъ положеній упомянутыхъ ученыхъ, предпринятый имъ еще въ 1880 г. Имѣя въ виду, главнымъ образомъ, то вліяніе, какое обнаружилъ пессимизмъ на музыку, поэзію и вообще на художественное творчество въ формѣ слова, авторъ въ своемъ трудѣ, по возможности, избѣгалъ отвлеченныхъ вопросовъ изъ теоріи познанія и метафизики, чтобы тѣмъ сдѣлать свою книгу болѣе доступною неспеціалистамъ въ философіи, и, повидимому, достигъ вполнѣ своей цѣли.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

НА 1885 Г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

	Годъ:	Полгода:	Четверть:		Годъ:	Полгода:	Четверть:
Безъ доставки . . .	15 р. 50 к.	8 р.	4 р.	Съ пересылкою . .	17 „ — „	10 „	6 „
Съ доставкою . . .	16 „ — „	9 „	5 „	За-границей	19 „ — „	11 „	7 „

Нумеръ журнала отдѣльно, съ доставкою и пересылкою, въ Россіи — 2 р. 50 к., за-границей — 3 руб.

☛ Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою. ☚

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7, и 2) въ ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелье, на Невскомъ проспектѣ;—въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи.—Иногородные обращаются по почтѣ въ редакцію журнала: Спб., Галерная, 20, а лично—въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскимъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, и тѣмъ изъ иногородныхъ и иностранныхъ, которые высылаютъ подписную сумму *по почтѣ* въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адресса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (NB *допущена* выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адресса просятъ извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адресса изъ городскихъ въ иногородные доплачивается 1 р. 50 к., изъ иногородныхъ въ городскіе—40 коп.; и изъ городскихъ или иногородныхъ въ иностранные — недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ по государствахъ.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера журнала.

Билеты на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногородныхъ, которые прилагаютъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА: Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА: Вас. Остр., Академ. пер., 7.

ѣ

ТУРЫ.

: Полгода: Четверть:
— „ 10 „ 6 „
— „ 11 „ 7 „

сія — 2 р. 50 к.,

ступкою.

Конторѣ журнала
лин., 7, и 2) въ
Невскомъ прос-
нтова, на Кузнец-
3) въ Конторѣ Н.
очтѣ въ редакцію
ру. Тамъ же при-
нія въ журналѣ.

скимъ подписчикамъ
ъ, которые выслали
рная, 20, съ сообще-
чрежденіе, гдѣ (XB)

казаніемъ прежняго
чивается 1 р. 50 к.;
иностранные —

а сдѣлана въ выше-
ложе, какъ по по-

ородныхъ, которые

ЖУ
л., 7

3 2044 010 581 163
WIDENER
STACK STUDY
CHARGE
CANCELLED